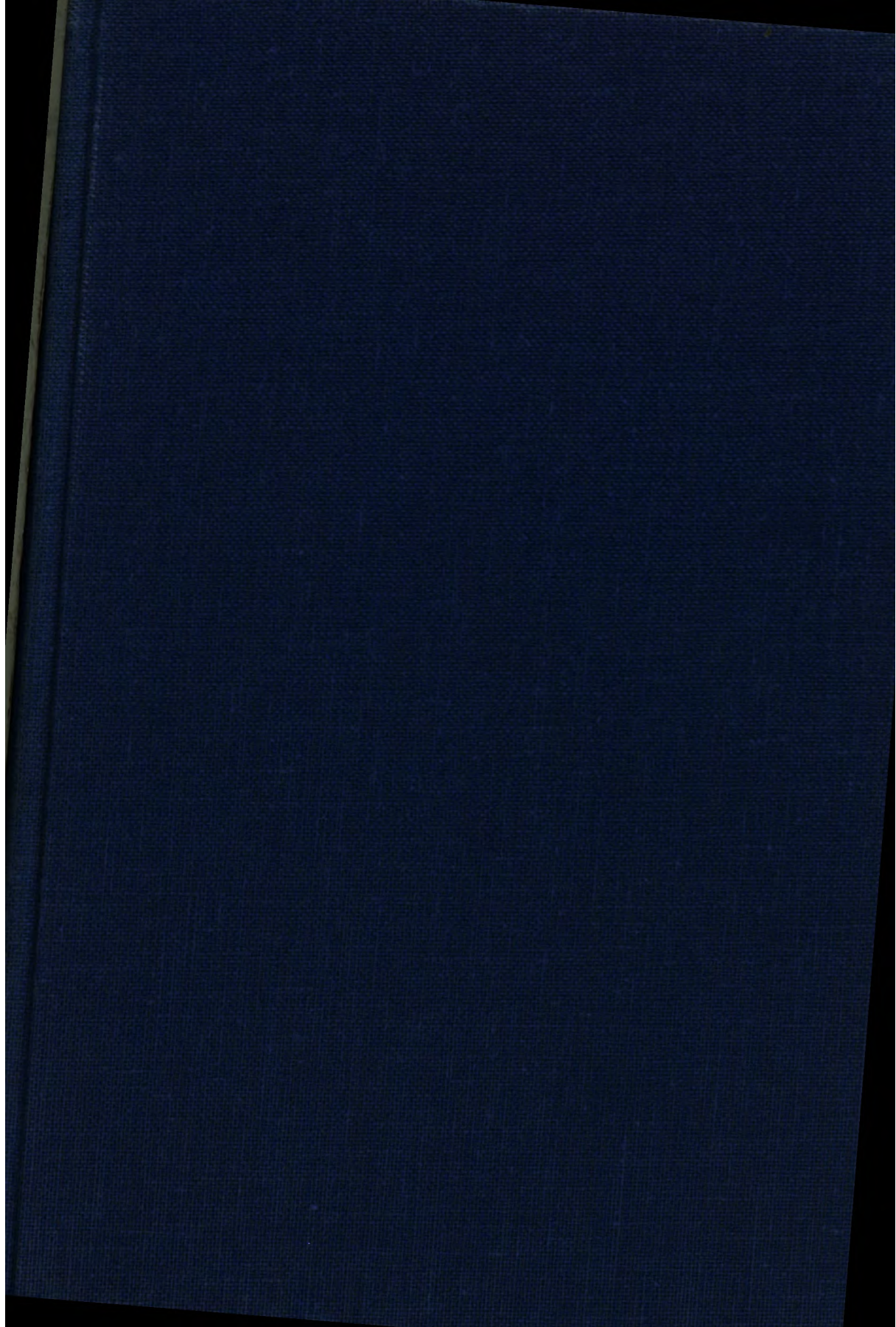
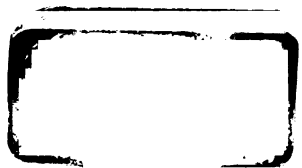






THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHITECTURE
OF THE
CITY OF
NEW YORK



SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS

94/30

Indiana University
JUN 18 1974
Library

Published by Europe Printing Establishment

This volume was previously announced as

SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS, 265/11

a series published by Mouton Publishers, The Hague, Netherlands

(supplements Slavistic Printings and Reprintings, 94/1–11)



EUROPE PRINTING ESTABLISHMENT

VADUZ – LIECHTENSTEIN

1973

Былое

БЫЛОЕ

№ 23

1924

— 12 —

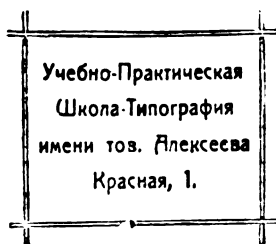
DK1

.B992

New ser.

no. 23-24

INDIANA UNIVERSITY LIBRARY



Юность Достоевского.

Ночь белая болезненна, бледна.
Вот юный Достоевский у окна,
Пред ним в слезах Некрасов, Григорович....
Борис Садовской.

Плещев был другом Достоевского. Плещеву посвятил Достоевский "Белые ночи", — самое интимное, кажется, из написанного до каторги. Повесть эта, несомненно, чем-то обязана его дружбе с Плещевым. У нее есть "двойник", — среди повестей Плещева: "Дружеские советы" (1849 г.). Обе повести возникли от какого-то душевного созвучия, от какого-то дружеского сродства, — пусть только временного, — Достоевского и Плещева. Когда, спустя много лет, просматривал Достоевский свою юношескую повесть, чтобы вновь ее напечатать, он сделал некоторые поправки, и, кажется, только для того, чтобы вновь и еще сильнее подчеркнуть ее родство с повестью друга... В дружбе, как и в любви, всегда бывает наивысший подъем и затем упадок, склонение.

В 1849 году друзья расстались; а после ссылки отношения не окрепли потому, что не обновились. Перед нами — пачка писем Плещева к Достоевскому за 1857—1864 годы. Это завершение старой дружбы. Письма эти и ценны исследователю Достоевского, как отголоски былого. Они не столько обрисовывают Достоевского начала 60-х г.г., сколько отражают тень 40-х. Момент уже подъема дружбы — "Белые ночи", кружок Дурова, равно обоем близкое "мечтательство". Письма 60-х г.г. непонятны без этого юношеского "мечтательства" 40-х г.г. Но и более того, дружба юноши Достоевского к Плещеву лишь эпизод в более сложной истории ранних настроений Достоевского, в той истории, где действующим лицом был и Белинский, был и Буташевич-Петрашевский. Надо увидеть самые корни того "мечтательства", которое роднило Достоевского с Плещевым. Их дружба родилась из общего увлечения, из однородного ("мечтательного") переживания французских социальных утопий. Но первым вдохновителем этих мечтаний, по крайней мере, для Достоевского, — был Белинский. А ведь в истории дружбы Достоевского и Плещева, конечно, весь интерес сосредоточен на Достоевском.

В воспоминаниях Григоровича, Панаева, Панаевой-Головачевой и в позднейших воспоминаниях самого Достоевского ¹⁾ подробно рассказано, как он, в мае 1845 года, в первый раз встретился с Белинским. Эта встреча тогда оценена была Достоевским, как „торжественный момент, перелом навеки, начало чего-то совсем нового“ Белинский предстал пред ним не только как „страшный критик“, но и как нечто большее. „Тогда, в первые дни знакомства, — вспоминал Достоевский много лет спустя, — привязавшись ко мне всем сердцем, Белинский тотчас же бросился... обращать меня в свою веру... Я застал его страстным социалистом“. И Достоевский „страстно принял тогда всё учение его“. „У них одних истина — думал он о кружке Белинского, — а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом; мы победим, о, в них, с ними“... Какова эта „истина“, так страстно воспринятая юношей Достоевским?

В то время авторитетами и учителями Белинского были, по словам Достоевского, „прежде всего Жорж Санд... Кабет, Пьер Леру и Прудон, тогда еще только начинавший свою деятельность ²⁾. Этих четырех, сколько припоминаю, всего более уважал тогда Белинский. Фурье уже далеко не так уважался. О них толковалось по целым вечерам“.

Каба, П. Леру, Фурье, Жорж Санд. — Вот имена, которые помогут восстановить ту „истину“, которая с таким пылким восторгом была принята Достоевским из рук Белинского весной 1845 года. Всё это представители современного тогда французского утопического социализма. Системы утопистов, отличаясь друг от друга в деталях, родственны, однако, между собой, если за их деталями искать типическое мировоззрение. Но именно о таком мировоззрении, очевидно, говорил Достоевский, вспоминая „истину“, переданную ему Белинским. Системы утопического социализма необходимо поэтому рассматривать в совокупности, тем более, что в Россию они явились, по словам современника, в виде „не слишком плотной и солидной амальгамы“ (Аппенков).

Социальный утопизм, как идеология, странно совмещает в себе особенности мировоззрений двух эпох, на рубеже которых он зародился ... Герой одного романа Жорж Занд („Jeanne“), представитель этих идей, очень верно схватывает их сущность одним восклицанием: „Когда-нибудь Шатобриан и Берамже подадут друг другу руки“. — Революционная, рационалистическая идеология XVIII-го века и мистика нео-католицизма реставрации, эпигон революции Берамже и „восстановитель“ христианства Шатобриан, — в равной

¹⁾ См. Д. В. Григорович, Собрание сочинений. Изд. А. Маркса, т. XII, стр. 270—275; — И. Панаев, Литературные воспоминания, 1838 г., ч. II, стр. 311—312; — Головачева-Панаева, Воспоминания, стр. 157—160; — также П. В. Аппенков, Литературные воспоминания, 1909 г., стр. 290—292; — Собрание сочинений Достоевского. Изд. А. Маркса, т. IX, стр. 170—175; т. XI, стр. 29—33.

²⁾ Сильное увлечение Белинского Прудоном необходимо отнестись лишь к концу 1846 г. и началу 1847-го; для 1845-го же едва ли оно характерно.

мере передали свое духовное наследие утопистам. Кроме того, основные положения немецкого идеализма, проникавшие в 30—40-е годы во Францию (через посредство хотя бы В. Кузена), не остались вне поля зрения этих французских мыслителей; историко-культурные и историко-религиозные обобщения утопистов преимущественно связаны с всеобъемлющими построениями философии истории Шеллинга и Гегеля... Для русских идеалистов 30-х и 40-х годов переход от „Натурфилософии“ Шеллинга или „Феноменологии“ Гегеля к системе Пьера Леру (например) был довольно логичен....¹⁾.

Самое общее, что характеризует собою все системы утопического социализма — это своеобразный гуманизм, любовь к человеку, доведенная до молитвенного восторга и преклонения, гуманизм, как религия. Задавался гордой целью выяснить причины человеческого страдания и, главное, найти средство его предотвратить навсегда, — авторы социальных утогий прежде всего взывают к сочувствию страдающему человеку. Страдание, как бы ни проявлялось оно и чем бы ни было вызвано, — это отправная точка их умозрений, последний их довод в пользу своего учения. Вот как начинается, например, свое изложение системы Фурье В. Консидеран: „Для умов, которые умеют подняться над сферой вульгарных интересов, тысячи голосов, жалующихся и протестующих,

¹⁾ В основу дальнейшего очерка идеологии французских утопистов лежат, главным образом, следующие сочинения этих мыслителей, наиболее популярные в русском обществе 40-х годов: „Voyage en Icarie“ Cabet (1842), „La destinée sociale“ V. Considéranta, ученика и популяризатора Фурье (1834), „Nouveau Christianisme“ Saint-Simona (1819), „Paroles d'un croyant“ Lamennais (1834), „Du Christianisme et de son origine démocratique“ P. Leru (1848) и др. — Большая часть этих произведений была безусловно известна Достоевскому в 40-х годах. В своих показаниях Следственной комиссии по делу Петрашевского Достоевский говорит о „фурьеризме и кабетизме“ (см. Ч. Ветринский, Достоевский в воспоминаниях современников, стр. 318—322). Эти же системы обычно упоминает он в позднейших сочинениях, говоря о социализме 40-х годов (см. напр. Собр. сочинений, изд. А. Маркса, т. XI, стр. 67). Но есть и непосредственные доказательства того, что Достоевский читал указанные сочинения Кабета и Консидерана. В „Зимних заметках о летних впечатлениях“ (1863), вспоминая 40-е годы, Достоевский говорит: „Впрочем, провозглашена была формула „каждый для всех и все для каждого“... „вся формула целиком взята из одной всем известной книжки“. Эта, с точки зрения Достоевского, „всем известная книжка“ и есть „Voyage en Icarie“ Cabet: на заглавном листе ее французского издания (1842) стоят эти тезисы: „Тона роуг часан — часан роуг тона“; что касается книги Консидерана, то и ее Достоевский безусловно читал: уже в своих показаниях он упоминает имя знаменитого ученика Фурье (см. Ч. Ветринский, Достоевский в воспоминаниях, стр. 321). Позднейшие отзывы Достоевского также свидетельствуют об этом источнике его сведений в области фурьеризма: „Трудолюбивый народ... — говорит Раскольников о социалистах, — несущая, доскать, кирпичи на всеобщее счастье“ (см. „Преступление и наказание“, изд. А. Маркса, стр. 271). „Apporter sa pierre à l'Edifice Nouveau“ — фигуральное выражение, часто встречающееся в книге Консидерана. „Nouveau Christianisme“ Сен-Симона Достоевский должен был узнать от В. Майкова, читавшего эту книгу как раз в период своей дружбы с ним (см. ниже). Наконец, согласно воспоминаниям А. П. Милюкова (см. Ч. Ветринский, Достоевский в воспоминаниях, стр. 45—46), Достоевский читал и „Paroles d'un croyant“ Ламеннаэ. — Все названные книги цитируются дальше в нашем переводе.

сливаются в один мощный и ужасающий голос, — человека, который страдает“ („La destinée sociale“). И такими призывами к состраданию полны все трактаты утопистов...

Эта гуманическая тревога сразу же ищет себе обоснования в религии. И Фурье, и Леру, тем более Сен-Симон и Ламенна, все они не упускают случая, чтобы упомянуть о своем религиозном правоверии, об истинно христианском образе своих мыслей. Однако, лишь условно они могут быть названы христианами; их христианство имеет своеобразный оттенок...

Проблема страдания, в которую упираются все умозрения утопистов, правда, расширяется ими до пределов нравственно-религиозной проблемы о природе зла; это и сближает их с евангелием. Однако, и самая постановка этой проблемы утопистами, и разрешение ее делают их чуждыми духу христианства.

Роковая ошибка, — думают утописты, — считать зло неотъемлемой частью человеческого существа; человек по природе своей не зол; наоборот, он „прекрасен, совершенен, подобен ангелам (angélique)“; душа его — это „эманация божества“, люди — дети божии, „сыновья одного отца“, они рождены только „для одного бога“. Эта вера в богоподобие человека, в его усыновленность богом проходит через все утопические системы, выливается в восторженных гимнах человеку и человечеству. Таким образом, мысль Жан-Жака Руссо: „всё выходит прекрасным из рук творца, и всё извращается в руках человека“, — у утопистов, всё же преемников Шатобриана, действительно, приобретает некоторый религиозный оттенок. Может-ли бог, бесконечно справедливый и милостивый, своей волей утверждать зло на земле? — думают они. Для утопистов зло несовместимо с высшей волей; оно не может быть требованием божеской справедливости, но и не может корениться в свободной воле подверженного греху человека; богоусыновленность человека для них исключает возможность свободного греха. Им кажется несовместимой идея божественного милосердия с идеей законности земного зла, этого наследия первородного греха, согласно учению церкви. В такой „реабилитации божества“ (у Каба, например, см. „Voyage en Icarie“, стр. 386) — своеобразие религиозных настроений утопистов. Расходясь с историческим христианством, с учением церкви, они провозглашают „восстановленную“ яко-бы христианскую доктрину в ее первоначальной чистоте. Цель их — „вернуть народы к истинному духу христианства, попытаться определить значение религиозного чувства в жизни общества“ (Сен-Симон). Создается, таким образом, „новое или истинное“ христианство, с проповедью которого, кроме Сен-Симона, выступают Каба, П. Леру, Ламенна. Не разрывая прямо с христианской догматикой, не отрицая, например, подобно Вольтеру и деистам XVIII-го века, божественное откровение, как основу религии, но и не высказываясь положительно по этому поводу, утописты главное свое внимание направляют на евангельскую мораль, не отгаывая ей при этом в божественности. „Люди, уверенные в том, что своим вольтерьянским смехом сумеют опровергнуть автора этих строк, — читаем в предисловии к „Новому христианству“, — пусть-ка

они ищут в своих пресловутых системах моральное учение более всеобщее, более простое, более популярное, чем христианская мораль" (Saint-Simon, Nouveau Christianisme). Эти „новые“ христиане стремятся отделить чистое зерно откровения от внешнего и чуждого ему; „то, что бог сам лично возвестил людям, от того, что клирики объявили от его имени (Сен-Симон),— как будто для христианина может быть какой-нибудь иной критерий божественности той или иной истины, кроме как единомыслие церкви.

Но для утопистов этот критерий — в приложимости догмата или заповеди к земному благополучию человека. „Бог сказал: люди должны быть братьями между собой. Эта высокая заповедь содержит в себе всё, что есть божественного в христианской религии" (Saint-Simon, Nouveau Christianisme, стр. 94; см. также Piere Leroux, Du Christianisme, стр. 11, 94, 114).

Так, чуждая религии тенденция, — стремление практически разрешить вопрос о зле и страдании на земле, — сразу предопределяет характер этого „истинного“ христианства; в основе своей оно становится эвдемонистическим. Гуманизм, становясь религией, уже не мирится с христианством; сущность его (сострадание, восторженная любовь к человеку), видимо христианская, — влечет, однако, к безбожию...

Итак, евангельская мораль, — не далекий идеал личного совершенства, а как некая норма будущих социальных отношений, сообщенная людям в божественном откровении, — такова сущность христианства утопистов. Христос, согласно этому учению, приходит восстановить человека в его природной красоте и силе, исполнить волю бога-отца и даровать счастье его детям, вернув им отнятый рай, здесь, на земле; так исчезает мистический смысл и красота Голгофы, этого залога духовного единения человека с богом в страдании богочеловека, — и заменяется восторженной жалостью перед непонятым, напрасно казненным героем-человеколюбом; кровь и страдания Христа — не утверждение христианства, но гибель, временное крушение дела земного устройства человечества, ради которого и приходил якобы Христос; дело христово нуждается поэтому в продолжении, в помощи новых избранных, и утописты охотно сравнивают и сопоставляют с ним других „друзей человечества" (Магомета, Ньютона, самих себя).

В таком искаженном воззрении исчезает для утопистов их собственное противоречие, — между религией и страданиями „божественного“ человека. Зло не есть воля или предопределение бога; оно и не проявление человеческой природы („божественной"); зло — временный, случайный и преходящий результат непонимания сущности христианства, каким оно было в первые века своего существования. Критика этих верований — не наша задача.

Вернуться к этому „незагрязненному“ источнику, угодить апостолам раннего христианства — в этом видели утописты свое призвание, свою миссию. Образ Христа в освещении человеческого героизма, как прообраз вновь ожидаемого героя; христианство первых веков, яко-бы ожидающее своего земного осуществления, носители его, распространяющие новую веру в земное братство и предчувствующие в целях будущего осуществление своего идеала, — в такой

стилизации гуманизма христианство пленяло воображение утопистов, заражало их пафосом пророчеств и миссианизма. Сравнивая себя с гонимыми христианами времен Нерона, с евреями, руководимыми Моисеем, они ждут и пророчествуют близость царства божьего на земле, нового земного рая, — „золотого века“, „обетованной земли“, „Нового Иерусалима“. — „Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь“. — Так начинает, например, Ламеннэ свою религиозно-утопическую проповедь. — „Имеющие уши да слышат, имеющие глаза пусть откроют их и видят, ибо близится время. Отец породил сына, свое слово, и слово стало плотью, и сын жил между нами; он пришел в мир, и мир не признал его; он придет снова и обновит землю, и это будет как-бы вторым творением. Прислушайся и скажи мне, откуда исходит этот неясный, неопределенный и странный шум, который доносится со всех сторон. Положи руку на землю и скажи мне, почему она содрогнулась. Что-то, чего мы не знаем, совершается на земле. Это дело божие“. (*L'ame n'aie, Paroles d'un croyant*).

Пророческий тон, экзальтация ясновидения придавала совершенно своеобразный характер идеологии утопистов: точное открытие ученого (на что претендовала, например, система Фурье) превращалось в страстную веру фанатика-сектатора... Это и было, в значительной мере, причиной успеха и распространения идей. Они поражали воображение, говорили чувству... Неудивительно поэтому, что ими пленялись художники... Французская литература 30-х и 40-х годов пропагандировала эти идеи с большим даже успехом, чем собственные сочинения утопистов. В. Гюго, Бальзак, Жорж Санд и второстепенные писатели, — Эжен Сю, например, — одни в большей, другие в меньшей мере, но все отдали дань увлечения социальному утопизму. Одни (как Жорж Санд) прямо переносили в свои романы ту или иную социальную теорию, влагали в уста своих героев и героинь страстные декламации о Христе, героях человечества, о грядущем земном рае и т. п. (такова, например, *Lelia* в романе того же названия); другие в своих изображениях быта, в выборе мотивов лирики руководились лишь общим гуманистическим настроением, жалостью к „страдающему человеку“; этим „духом времени“ одинаково веет от лирических пьес Гюго и от отдельных сцен „Человеческой комедии“ Бальзака, от поэтических декламаций Ламартина и „Парижских тайн“ Э. Сю... Так, в аспекте религиозной и поэтической проповеди предстает центральная идея всех утопий — идея социальной реформы, которая должна заменить собою политические перевороты и кровавые революции ¹⁾. Зло, как досадная случайность, не имеющая корней ни в природе человека, ни во всеблагой воле божества, должно моментально исчезнуть на земле, лишь осуществится или коммунистическая община (Каба), или фаланстерианский строй (Фурье-Консидеран), или религиозная ассоциация (Сен-Симон). Критике существующего социального строя и подробному описанию идеального посвящена большая часть сочинений каждого из утопистов. Но воспламененные энтузиазмом первых подвижников христианства, мечтой о религиозном идеале, низведенном

¹⁾ Отказ от „политики“ — это боевой лозунг большинства утопистов.

на землю, новые реформаторы остаются верными себе в самых положительных частях своего учения, будь это вопросы частной и общей собственности (Кабэ) или психологические изыскания над человеческими страстями (Фурье). Рисуя во всех деталях фантастическими чертами идеальный общественный строй счастливого человечества, они как бы подыскивают конкретные формы для отвлеченного понятия, — „царство божие на земле“. Так, Консидеран, описав фаланстерианский строй, период „Всемирной гармонии“, называет его „обетованной землей“, „социальной судьбой человека, волей господина на земле“¹⁾. У Пьера Леру это смешение религиозного идеала с утопической концепцией социального строя разрастается в грандиозное отождествление идеи социального прогресса — с развитием религиозного сознания человечества, всемирной церкви синтетической религии будущего, вмещающей в себе все религии всех времен и народов, — с идеальным обществом²⁾...

При рассмотрении способов осуществления идеального строя, предлагаемых социальными системами утопистов, принято, обычно, говорить об идее исторического развития, впервые представляющей в этих учениях, сменив рационалистическое понимание истории в революционной идеологии XVIII века³⁾.

Но, не допуская логического произвола в истории, утописты, — эти „христиане времен Нерона“ в XIX столетии, — охотно допускают произвол чуда, — чуда божественного вмешательства или личного героизма. На фоне религиозно-исторической концепции П. Леру, рассматривающего все многовековое бытие человечества и его развитие, как непосредственный результат непрерывающейся цепи откровений божества, — на этом фоне логически необходимо допустить новое откровение, уже окончательно восполняющее, завершающее судьбы человечества... Но еще более характерна для утопистов вера в человеческое, т.е. чудо, любовь к человеку, „сыну божьему на земле“, с „божественной душой“, с „душой ангелов“; она заставляет утопистов забывать о неопределимой исторической необходимости, о ее законах, тяготеющих над жизнью человечества. Так, Фурье, высказав мысль о необходимости переходных ступеней гарантизма и социантизма, как бы забывает ее, верит и убеждает других, что если осуществить фаланстерианский строй в небольшом масштабе, в виде опыта, то пример кучки счастливых людей заразит всё человечество, и оно в несколько лет достигнет периода мировой гармонии, минуя переходные периоды. Для осуществления опыта необходим только известный капитал; и вот Фурье вызывает к человеческому великодушию, мечтает о богаче энтузиасте, жертвующем несколько сот тысяч франков на благо человечества, назначает приемные часы для свидания с ним, с упорством и настойчивостью фанатика терпеливо ждет его ежедневно в течение нескольких лет. Этим объясняются странные, на первый взгляд, бонапартистские симпатии утопистов

¹⁾ Considerant, La destinée sociale, 1831 г., т. I, изд. 1848 г., стр. 359; т. II изд. 1849 г., стр. 27

²⁾ P. Leroux, Du Christianisme et de son origine démocratique, изд. 1848 г. стр. 114, 115 и др.

³⁾ См., например, С. Прокопович, Проблемы социализма, стр. 87 — 97 и др.

(Сен-Симона, Фурье, Кабэ), в трактатах которых слышатся, подчас, отзвуки патристических песен Беранже. Ведь воля сильной и благородной личности, героизм и великодушные — вполне достаточные условия для создания „мировой гармонии“, нового земного рая. Истина открыта ими, нужен только герой, который воплотит эту истину в жизни ¹⁾; отсюда страстный призыв к героизму, стремление убедить людей быть великодушными и прекрасными.

Вера избранных душ, заключающих в себе идеал прекрасного человечества, совершит чудо, — вот убеждение утопистов. И „гармония воцарится посреди своих лучезарных фаланстер“; стоит лишь раскрыть этот идеал человечества тем, души которых уже смутно предчувствуют его, томятся его ожиданием.

Так личный героизм преодолевает косные законы социального неравенства — единственный источник зла; счастье человечества, „как пламя пожара“, распространится на земле; „восторженный крик, хвалебный гимн любви, сменит плач и стоны народов, сгибающихся от одного полюса до другого, под бременем нищеты, раздираемых страданием и ужасом“, и „народы подадут друг другу руку в братском и святом союзе“ (Консидеран). В роскошных дворцах-фаланстерах или посреди бесконечных садов Икарый, люди „с ясностью, радостью и счастьем на лицах“, среди цветов, музыки, торжественных и согласных гимнов, среди прекрасных, всеми любимых и счастливых детей (Кабэ) поймут, что „судьбы и земное назначение человека — это господство над своей планетой“; „человек возьмет свой скипетр и корону: он царствует, он управляет, он поведывает“ (Консидеран); „его физические, нравственные и умственные способности достигнут чудесного развития“ (Консидеран); „мужчины будут соединять в себе гибкость и силу, а женщины — грацию и здоровье, и от них произойдут новые поколения детей еще более сильных и прекрасных, чем их матери и отцы“ (Кабэ)...

Так, идеология утопистов приходит к руководящей мечте своей о „прекрасном человеке“, „земном владыке“, умеющем „построить жилище, достойное себя, возвести дворец земного царства“ (Консидеран).

Мы видели уже, что гуманизм, которым пропихнуты утопические системы, открыто не разрывает с религией; наоборот, он стремится как бы опереться на нее; но, вместе с тем, незаметно подчиняет ее себе, тем самым искажая: „земной владыка“, — будущее счастливое человечество, которому поются здесь гимны, ясно противопоставляется богу; гуманизм таит в себе начало богоборческое; руководясь своим гедоническим (не христианским) идеалом „земного рая“, „новые“ христиане обвиняют или „оправдывают“ божество, противопоставляя ему, как обвинителя, как высшую силу, человечество; и гуманизм неумолимо сближается к атеизму... ²⁾. Таковы общие очертания идеологии утопистов.

¹⁾ В фантастическом романе Кабэ воля такого великодушного энтузиаста создает идеальную коммунистическую общину „Икарый“.

²⁾ Такие переходы религиозной мысли ярко представлены некоторыми романами Жорж Санд („Consuelo“, „Lelia“ и др.). Этот гуманистический уклон к атеизму характернее всего у П. Леру; есть он и у Кабэ.

Сотканный из противоречивых положений, она не представляла чего-либо стройного, логически оформленного. Зародившись во Франции в 20-х г.г., в эпоху новых тогда там романтических веяний, социальный утопизм находит себе некоторое объяснение в общей романтической настроенности французского общества 20—30-х годов... Консидеран на первой странице своей книги написал следующие слова: „она понравится душам пламенным и восторженным, — юношам и женщинам“. Это характеризует не только книгу Консидерана, но и самый тип мировоззрения утопистов.

Идеологию эту усваивает Белинский в 1840 году, в период нового сближения с Герценом, уже давно исповедывавшим религию Сен-Симона, написавшем в 1838 году „исторические сцены в социально-религиозном духе... вроде Пьера Леру“; и в письмах Белинского за этот период начинают встречаться упоминания сен-симонистов и сен-симонизма ¹⁾; он с жадностью перечитывает романы Жорж Санд, статьи Пьера Леру в „Revue Indépendante“ и „Encyclopédie Nouvelle“ ²⁾. И сознание противоречия „идеи достоинства человеческой личности и ее горькой участи“ сменяется в Белинском восторженным принятием новой оптимистической религии. „Идеи либерализма в высшей степени разумная и христианская, — пишет он Боткину ³⁾, — ибо задача его — возвращение прав личного человека, восстановление человеческого достоинства, и сам спаситель сходил на землю и страдал на кресте за личного человека“. Прочитав повесть Жорж Санд „Мельхиор“, Белинский восторженно восклицает: „Мы счастливы, очи наши узрели спасение наше, и мы отпущены с миром владыкою; мы дождались пророков наших и узнали их; мы дождались знамений — и поняли, и уразумели их“ ⁴⁾. — „Ты срезался на Consuelo, — пишет он В. Боткину ⁵⁾, — это великое божественное произведение“. „Consuelo“ — роман, наиболее отразивший влияние идей Пьера Леру на Жорж Санд ⁶⁾... Но наиболее полной исповедью этой новой „религии“ Белинского является его письмо к В. Боткину от 8 сентября 1841 года: „Я теперь в новой крайности, — говорит Белинский, — это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, альфой и омегой веры и знания... Настанет время, продолжает он, — и горячо верю этому, — настанет время, когда никого не будут жечь, никому не будут рубить головы, когда преступник, как милости и спасения, будет молить себе казни, и не будет ему казни, но жизнь останется ему в казни, как теперь смерть; когда не будет бессмысленных форм и обрядов,

¹⁾ Белинский, Письма, под ред. Е. Ляцкого. СПб., 1914, т. II, стр. 248.

²⁾ См. И. Панаев, Литературные воспоминания, часть II, стр. 255; Белинский, Письма, т. II, стр. 425. Статьи Пьера Леру, печатавшиеся впервые в указанных журналах, впоследствии (1848 г.) были собраны в одной книге, — „Du christianisme et de son origine démocratique“, которую мы выше цитировали.

³⁾ 11 декабря 1840 г. См. Письма, т. II, стр. 187.

⁴⁾ Письмо к И. Панаеву 5 декабря 1841 г. См. Письма, т. II, стр. 325.

⁵⁾ 9 декабря 1842 года. См. Письма, т. II, стр. 328.

⁶⁾ О влиянии Пьера Леру на Жорж Санд и на его творчество. См. В. Каренин, Жорж Санд, ее жизнь и произведения, т. II. Пгр., 1916, стр. 2—18.

не будет договоров и условий на чувство, не будет долга и обязанностей, а воля будет уступать по воле, а любви; когда не будет мужей и жен, а будут любовники и любовницы, и когда любовница придет к любовнику и скажет: я люблю другого—любовник ответит: я не могу быть счастлив без тебя, я буду страдать всю жизнь, но ступай к тому, кого ты любишь,—и не примет ее жертвы, если по великодушию она захочет остаться с ним, но подобно богу скажет ей: милости хочу, а не жертвы... Не будет богатых, не будет бедных, ни царей, ни подданных, но будут братья, будут люди, и, по глаголу апостола Павла, Христос даст свою власть отцу и отец-Разум снова вопарится, но уже в новом небе и над новою землею“¹⁾.—Вот что должен был услышать Достоевский, придя к Белинскому весной 1845 года²⁾.—„Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма“,—говорит Достоевский в приведенном выше рассказе о знакомстве своем с Белинским. Эти слова должны быть приняты, как мы видим, лишь наполовину: в 1845 году Белинский был социалистом, но не проповедывал атеизм, а продолжал еще верить в вопарившегося над землею бога,—правда, „над новой землей“ „восстановленного, обожествленного человечества“.

„Восторженно“ принимая эту веру Белинского, Достоевский не был, однако, совершенно неподготовленным к ней. Он почти с детства был в курсе журнально-литературной жизни³⁾. Но русская журналистика второй половины 30-х и начала 40-х годов уже в значительной мере вводила в литературный обиход русской публики идеи и имена французского социализма. Так, „Библиотека для Чтения“,—журнал, попавший в руки Достоевскому еще в 1834 году,—дает подробный отчет о всех выходящих романах Жюль Санд, знакомит читателей с идеями французской писательницы, конечно, по своему освещая их.

¹⁾ См. Письма, т. II, стр. 267—268.

²⁾ О продолжающемся в 1845 году увлечении Белинского „идеями социализма“, кроме указания Достоевского на Жюль Санд, Пьера Леру и Каба, как на его авторитетов,—говорят и воспоминания Тургенева (См. Собр. соч. И. С. Тургенева. Изд. А. Маркса, т. XII), и воспоминания Гончарова. Гончаров, появившийся у Белинского впервые в начале 1846 года, в своих позднейших воспоминаниях рассказывает, между прочим, следующий эпизод (тут же упоминает Фурье): „Всматриваясь и вслушиваясь в неясный еще и новый у нас слух и говор о коммунизме, Белинский наивно, искренно, восты про себя мечтательно произнес однажды: „Конечно, будь у меня тысяч сто, их не стоило бы жертвовать,—но будь у меня миллионы, я отдал бы их“. (См. Собрание соч. Изд. А. Маркса, т. XI, стр. 162).—См. также рецензии Белинского на роман Эжена Сэн „Парижские тайны“, в конце 1844 года, и о „Мельнике“ Жюль Санд, в начале 1846 г. Полное собр. соч. В. Г. Белинского под ред. С. А. Венгерова, т. VIII, стр. 467—485; т. X, стр. 122—124.

³⁾ В доме родителей и в пансионе Чермака Достоевский уже читает „Библиотеку для Чтения“ Сенковского (См. Биография, письма, ред. Ор. Миллера и Н. Страхова, стр. 24); в письмах к брату из Инженерного училища упоминает другой журнал—„Сын Отечества“ (См. Ibid., стр. 11); в начале 40-х годов, по выходе из училища, Достоевский, по своим занятиям, интересам и знакомствам, уже непосредственно связан с миром журналистики.—См. Биография, письма и т. д., стр. 25—31.

„Известно, что главная мысль начальников французского романтизма,—мысль нелепая и столько же противная рассудку, сколько религии, нравам и выводам естественной истории,—заключается в том, что будто супружество есть состояние, несогласное с человеческой природою. Гг. Бальзак, В. Гюго, Фурье и др. ворочают эту сумасбродную идею уже несколько лет,—говорит рецензент „Библиотеки для Чтения“ по поводу статьи г-жи Дюдеван ¹⁾ в „Journal des Femmes“ ²⁾. В 1837 году, когда круг интересов Достоевского уже очень широк, „Библиотека для Чтения“ печатает большую статью, непосредственно вводящую читателя в сферу социалистических интересов. Статья „Томас Морус и его утопия“ подробно излагает биографию и систему английского утописта XVI века. „Наш век читал много переделок „Утопии“, — говорит автор статьи, — хотя авторы этих переделок и не знали оригинального сочинения. Учения сенсимонистов и фурьеристов находятся в „Утопии“; нападки на право собственности находятся в „Утопии“... „Утопия“ есть ничто иное, как тема абсолютного блага, которую умы пыльные и нетерпеливые переделывали во все времена, стараясь утешиться в том, что в мире, в котором они живут, нет даже и блага относительного“ ³⁾. В этом году умер Фурье, и „Русский Инвалид“ дал на страницах своих „Литературных Прибавлений“ прочувствованный некролог. „Великий преобразователь Карл Фурье (Charles Fourier) умер в Париже 9-ого октября нынешнего года, в каком то чердаке, забытый, оставленный всеми. Знаменитый автор „Traité de l'association“, „Théorie des quatre mouvements“—и „Nouveau monde industriel“ — испустил последнее дыхание на соломе; гений, посвятивший всю жизнь свою для блага человечества и решивший тайну извлекать пользу из самых страстей, жил в нищете, не имея часто насущного хлеба—и где же? в стране, которая гордится своим просвещением, которая называет народ свой первою нацией в мире... Общество, посреди которого жил Фурье, готовило ему еще награду, какою оно привыкло наделять до сих пор людей великих: забвение, насмешки, оскорбления, злобу и страдания... Фурье сделался жертвою и умер в нищете... Он не мог, подобно Моисею, увидеть богатые долины земли обетованной, земли грядущего, в которой отныне могущество его гения поведет людей без собственного их сознания“ ⁴⁾... Увлекаясь уже романами Жорж Санд, Достоевский встречал в журналах имя любимой писательницы в сопоставлении с именами этих „великих преобразователей“, новых Моисеев, ведущих человечество к „обетованной земле“, „земле грядущего“ ⁵⁾. Чтение этих журналов вводит Достоевского, — сперва воспитаника пансиона Чермака, потом кадета Инженерного училища, в круг интересов литературной современности. Это облегчает Достоевскому „восторженное“ приятие от Белинского его „веры“, уже прежде знакомой по именам ее западных проповед-

¹⁾ Жорж Санд.

²⁾ „Библиотека для Чтения“ 1834, т. II, отд. VII, стр. 83.

³⁾ Ibid. 1837, т. XXIV, отд. III, стр. 56.

⁴⁾ „Русский Инвалид“ (Литературные Прибавления) 1837, № 48, стр. 473.

⁵⁾ См., например, „Библиотека для Чтения“ 1843, т. 59, отд. III, стр. 23.

ников, уже предчувствовавшейся, и в 1845 году лишь санкционированной авторитетом.

Сходство мировоззрения сближает людей и внешне. Тесные отношения Достоевского с Белинским и его кружком в течение первого года знакомства свидетельствуют о непрекращающейся близости их убеждений, их общем увлечении утопическим социализмом... После проведенного в Ревеле лета, осенью (1845 г.) Достоевский возвращается в Петербург и почти на другой же день спешит зайти к Белинскому ¹⁾. 8 октября он уже пишет брату, что часто бывает у него; „он ко мне до-нельзя расположен и серьезно видит во мне доказательство перед публикою и оправдание мнений своих“ — прибавляет Достоевский ²⁾. Он сразу входит во все интересы кружка, принят там, как свой, знакомится с Кронсбергом, почти влюбляется в „поэта Тургенева“, который — „на днях воротился из Парижа“, встречается с Герценом, Гончаровым, Сологубом, Цанаевым; наконец, принимает участие в предприятии Некрасова, — издание юмористического альманаха „Зубоскал“, и пишет к нему объявление; он в курсе злободневной тогда полемики Белинского с московскими славянофилами и разделяет ужас и негодование критика по поводу новой тогда книги („Переписка с друзьями“) Гоголя ³⁾. Весною 1846 года семья Белинского уезжает в Ревель, и Достоевский устраивает ей знакомство с братом ⁴⁾. Сам Белинский, путешествовавший это лето по югу России, свои письма к жене адресует на имя Достоевского ⁵⁾. Его отзывы о Достоевском, в этот период, крайне сочувственны ⁶⁾. Так проходит 1845 год и первые месяцы 1846-го. Осенью этого года, по возвращении в Петербург, Достоевский возобновляет свои близкие отношения с кругом лиц, группировавшихся около Белинского. 17 сентября он пишет брату: „Нового у нас ничего не слышно. Всё по старому; ждут Белинского. М — те Белинская тебе кланяется“ ⁷⁾. Однако, возвращение Белинского не оправдало нетерпеливых ожиданий его молодого ученика. Уже 26 ноября Достоевский рассказывает брату о своей ссоре с „Современником“ в лице Некрасова, которого он, якобы, „разругал в пух“... — „Одним словом, грязная история. Теперь они выпускают, что я заражен самолюбием, возмечтал о себе и передаюсь Краевскому... Некрасов же меня собирается ругать. Что же касается Белинского, — прибавляет Достоевский, — то это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе. Только с ним я сохранил прежние добрые отношения. Он человек благородный“ ⁸⁾. Здесь начало кризиса отношения

¹⁾ См. О. Р. Миллер и Н. Страхов, Письма Достоевского, стр. 37.

²⁾ Ibid., стр. 39.

³⁾ Ibid., стр. 39, 41, 42, 47, 49 и др.

⁴⁾ Ibid., стр. 48.

⁵⁾ Белинский И., Письма, т. III, с 151.

⁶⁾ Ibid., т. III, стр. 90, 98, 102.

⁷⁾ О. Р. Миллер и Н. Страхов, Письма Достоевского, стр. 50.

⁸⁾ Ibid., стр. 58.

Достоевского и Белинского. Формально отношения продолжают существовать еще некоторое время: для первой книжки „Современника“, нового органа Белинского, Достоевский дает свой „Роман в письмах“, а 17 декабря (1846 г.) пишет брату: „Бываю у Белинского. Он всё хворает, но с надеждами“ ¹⁾. Достоевский продолжает бывать у Белинского и в самом начале 1847 года ²⁾. Но, приблизительно, в феврале обрываются и эти чисто-внешние отношения... Начиная с письма к Боткину от 17 февраля 1847 года, Белинский не упускает случая в своей переписке резко и насмешливо отозваться о Достоевском. „Кстати, чуть было не забыл,—пишет он В. Боткину ³⁾,—презабавный анекдот о Достоевском. Воспользовавшись крайнею нуждою Краевского в повестях, он превосходно надул этого умного, практического человека. Он забрал у него более 4 тысяч асс. и заключил с ним контракт, по которому обязался 5 декабря доставить ему 1-ю часть нового своего романа, 5 января—2-ю, 5 февраля—3-ю, 5 марта—4-ю часть. Проходит декабрь Достоевский не является к Краевскому; проходит январь—тоже (а где найти его, Краевский не знает); наконец, в нынешнем месяце в одно прекрасное утро, раздается в прихожей Краевского звонок, человек открывает дверь и видит Достоевского, снимает с него шинель и бежит доложить. Краевский, разумеется, обрадовался, говорит—проси,—человек идет в переднюю и—не видит ни галош, ни шинели, ни самого Достоевского“. Белинский мог рассказать такой „анекдот“ только после полного разрыва с его действующим лицом. Эти строки написаны, очевидно, под свежим впечатлением недавно происшедшей резкой и уже окончательной размовки с Достоевским, потому что через два дня после письма к Боткину Белинский опять обращается к „анекдоту“ о Достоевском и Краевском,—в письме к Тургеневу от 19 февраля. И, пересказав „анекдот“, Белинский прибавляет: „не правда ли, что точь в точь сцена из „войника?““ ⁴⁾ С другой стороны, в самом начале весны 1847 г. Достоевский пишет брату, что его новая повесть „утрет нос друзьям Современникам, которые решительно стараются похоронить меня. Но к чорту их“. И горьким разочарованием в своих, теперь уже прежних, друзьях, неуверенностью в себе самом, звучат заключительные слова этого письма: „Ты не согласишься. Вот уже третий год литературного моего поприща, я как в чаду. Не вижу жизни, некогда опомниться; наука уходит за невремением. Хочется установиться. Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад, тут бедность, срочная работа,—кабы покой!“ ⁵⁾ Итак, восторженная дружба, установившаяся весной 1845 года, получает какую-то трещину к концу осени 1846 года, когда Белинский возвратился из путешествия на юг, и, наконец, резко обрывается в самом начале 1847 года, прибли-

¹⁾ Ibid., стр. 60.

²⁾ Ibid., стр. 63.

³⁾ Белинский. Письма, т. III, стр. 176.

⁴⁾ Ibid., т. III, стр. 180.

⁵⁾ Ор. Миллер и Н. Страхов, Письма Достоевского, стр. 64, 65.

нительно в феврале месяце ¹⁾). „Но в чорту их, друзей Современников“, — запальчиво восклицает Достоевский. — „Надулись же мы . . . с Достоевским — гением“, — говорит Белинский ²⁾).

Оставляя совершенно в стороне все иные причины этого разрыва (неуживчивый, раздражительный и самолюбивый характер Достоевского, чисто литературные разногласия и т. п.), постараемся осветить его с идейной стороны. Ведь залогом дружбы было единство веры в ту „истину“, которая раскрывалась в утопических учениях Пьера Леру, Кабэ, в романах Жорж Сандт. Отношения, спаянные общим энтузиазмом веры, не могли бы разрушиться, если бы эта спайка продолжала существовать. Надо предположить, следовательно, что между концом 1846 г. и началом 1847 года она исчезла. Кто же из двух разрушил ее? Кто же — учитель или ученик, оказался отступником?

Еще осенью 1846 года Достоевский сблизился с кружком братьев Бекетовых. Григорович, член этого кружка, рассказал о нем в своих воспоминаниях: „Около Бекетовых, мало-по-малу, образовался целый кружок; мы (т. е. Григорович и Достоевский) вступили в него благодаря старшему из братьев, Алексею Николаевичу, бывшему нашему товарищу по училищу. Братья его Николай Николаевич, известный теперь профессор химии, и Андрей Николаевич, не менее известный профессор ботаники, были тогда еще студентами. Всякий раз встречалось здесь множество лиц, большею частью таких же молодых, как мы были сами; в числе их особенно часто являлся А. Н. Плещеев, тогда также студент... Всех в равной степени притягивала симпатия к старшему брату, Алексею Николаевичу. Это была воплощенная доброта и прямодушие в соединении с развитым умом и горячею душой, возмущавшиеся всякою неправдой, отзывавшиеся всякому благородному, честному стремлению. Собирались большею частью вечером... Сходило иногда до пятнадцати человек... Кто бы ни говорил, о чем бы ни шла речь, касались ли событий в Петербурге, в России, за границей, обсуждался ли литературный или художественный вопрос, во всем чувствовался прилив свежих сил, живой нерв молодости, ... везде слышался негодующий, благородный порыв против угнетения и несправедливости... Кружку Бекетовых я многим обязан, — прибавляет Григорович, — я ни над чем не задумывался сколько-нибудь серьезно; общественные вопросы меня несколько не интересовали. Многое, о чем не приходило мне в голову.

¹⁾ Наша датировка разрыва отношений Достоевского и Белинского подтверждается и позднейшими указаниями Достоевского: „от охлаждения мы перешли к формальной ссоре, так что и не виделись друг с другом в продолжение всего последнего года его жизни“, — говорит Достоевский в своих показаниях по делу Петрашевского (См. Ч. Встринский, Достоевский, стр. 316). — „В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня не влюбил“, — говорит Достоевский в „Дневнике писателя“ 1873 г. (Собрание сочин. Изд. А. Маркса, т. IX, стр. 175). — Белинский умер в начале 1848 года (26 мая).

²⁾ Белинский, Письма, т. III, стр. 328.

стало теперь занимать меня; живое слово, отрезвляющее ум от легкомыслия, я впервые услышал только здесь, в кружке Бекетовых" ¹⁾). Итак здесь говорилось о событиях за границей, „слышался негодующий протест против угнетения и несправедливости“, выдвигались на обсуждение вопросы общественные. Душой этого кружка был Валерьян Майков ²⁾). Он блестяще начинал тогда деятельность литературного критика, заменив Белинского на страницах „Отечественных Записок“. Кончив курс юридического факультета в Петербургском университете, он уже успел ~~побывать~~ за границей. В 1845 году он принимает участие в составлении „Карматного словаря иностранных слов“ Петрашевского — маленькой энциклопедии, целью которой было распространение идей французского социализма ³⁾). Это и оправдывает слова Хавыкова, другого члена кружка Бекетовых, показавшего позже, перед Следственной комиссией по делу Петрашевского, что кружок этот, по своим интересам, был социалистическим ⁴⁾). С этим кружком сближается Достоевский в период охлаждения к Белинскому, — в конце 1846 года. У него устанавливаются близкие отношения с наиболее видными его членами; имя Валерьяна Майкова несколько раз встречается в его переписке за это время ⁵⁾, и много лет спустя, по выходе из острога, Достоевский в первом же письме к Аполлону Майкову вспоминает „незабвенного Валерьяна Николаевича“ и его разборы и критики в „Отечественных Записках“ ⁶⁾). Здесь же в кружке Бекетовых, надо искать начало дружбы Достоевского с А. Плещеевым. Дружеские отношения создаются и с самими Бекетовыми. — „Я обедаю в складчине, — пишет Достоевский брату осенью 1846 года. — У Бекетовых собралось шесть человек знакомых, в том числе я и Григорович“ ⁷⁾). В другом письме Достоевский рассказывает брату о своем „возрождении, не только нравственно, но и физически“. „Я много обязан в этом деле моим добрым друзьям Бекетовым, Залюбецкому и другим, с которыми я живу; это люди деловые, умные, с превосходным сердцем, с благородством, с характером. Они меня вылечили своим обществом. Я предложил жить вместе. Нашлась квартира большая, и все издержки... всё не превышает 1200 руб. асс. с человека в год...“ И уже как непосредственный отголосок идейных интересов кружка ⁸⁾ звучит следующее затем восклицание: „Так велики

¹⁾ См. Полное собр. сочин. Д. Н. Григоровича. Изд. А. Маркса, т. XII, стр. 275—277.

²⁾ См. о Валерьяне Майкове, там же, стр. 231.

³⁾ См. В. И. Семеновский, М. В. Бутаевич-Петрашевский: „Голос Минувшего“ 1913, № 2, стр. 121—124. В дальнейшем изложении, ссылаясь на ряд статей В. И. Семеновского о Петрашевском и „петрашевцах“, печатавшихся в указанном журнале за годы: 1913, 1915 и 1916, мы будем сокращенно называть „Голос Минувшего“ и т. д.

⁴⁾ „Голос Минувшего“ 1916, № 2, стр. 138.

⁵⁾ Ор. Миллер и Н. Страхов, Письма Достоевского..., стр. 51, 58 и др.

⁶⁾ Ibid., стр. 83.

⁷⁾ Ibid., стр. 50.

⁸⁾ Об этих интересах, отчасти, свидетельствуют воспоминания Н. Флеровского (Верья), бывшего в 1847 году студентом Казанского университета, куда перевелись братья Бекетовы. „Они распространяли ученые Фурие и тут результаты были те же, как в Петербурге“ — говорит о них Флеровский. См. „Голос Минувшего“ 1915, № 3, стр. 138.

благодеяния ассоциации...“¹⁾ Весною 1845 года, приняв от Белинского „истину“, Достоевский восклицал: „О, к ним, с ними... я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как они, пребуду верен!“ В конце 1846 года и начале 1847-го, как видим, он „пребыл верен“, и все-таки произошел разрыв. — Что же касается до Белинского, то это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе, — говорит Достоевский. Очевидно, Белинский, возвратившись из путешествия по югу России, предстал перед Достоевским иным, чем был прежде...

Действительно, письма Белинского начала 1847 года ясно свидетельствуют о новой ломке его убеждений, о новом пересмотре мировоззрения²⁾. В письмах к Боткину (6 февраля 1847 г.) Белинский высказывается по поводу статьи „Исследования об элевсинских таинствах“, напечатанной во второй книге „Современника“. Статья эта, переведенная с французского гр. С. С. Уваровым, носит явные следы влияния историко-религиозных взглядов П. Леру. — „Статья об элевсинских таинствах показала мне ни то, ни сё, — пишет Белинский. — Основная мысль ее та, что элевсинские таинства — великий факт древней жизни;... кажется, тут было хранилище всех преданий космогонических и нравственных, которые с Востока собирались в Грецию и в Элевсине передавались в мистических формах и обрядах для сильнейшего эффекта на подлейшую часть человеческой души — фантазию. Короче: это был мистицизм древности... Вообще, мне кажется, элевсинские таинства имеют только ученый, чисто-объективный интерес, а со стороны субъективного — они не стоят выеденного яйца“³⁾. По поводу статьи Литтре („Важность и успехи физиологии“) Белинский уже определенно говорит: „Социальные и добродетельные ослы не в состоянии и понять его... он равно не принадлежит ни... подлецам и ворам-умникам „Journal des Débats“ и „Revue des deux Mondes“, ни... социалистам — этим насекомым, вылупившимся из навозу, которым завален задний двор гения Руссо. Кстати, — прибавляет Белинский, — в „Journal de France“ я прочел отрывок из 1-го тома „Истории революции“ Луи Блана... Смыслители — что за узкокошье! Да это Шевырев!“⁴⁾ Это развенчание недавних авторитетов не менее ясно проявляется и в дальнейших письмах этого года. 17 февраля он уже пишет В. Боткину, что имел случай вновь полюбоваться нахальной недобросовестностью, свойственною французам, и вспомнил Пьера Леру⁵⁾. Уже из-за границы, из Дрездена, по поводу „Истории фран-

¹⁾ См. Ор. Миллер и Н. Страхов, Письма Достоевского..., стр. 58, 59. (В этом же письме, от 26 ноября, Достоевский рассказывает о своей ссоре с кружком Белинского). — Отголоски социалистических интересов Достоевского, чувствуются, как указывает Ор. Миллер (Материалы для жизнеописания Достоевского, стр. 72), и в других его письмах. — См. Письма..., стр. 61, 65, 67.

²⁾ См. об этом Иванов-Разумник. В. Г. Белинский. Критико-биографический очерк. Собрание сочинений В. Г. Белинского. СПб., 1911, т. I, стр. CVIII, CIX и др.

³⁾ Белинский. Письма, т. III, стр. 165.

⁴⁾ Ibid., стр. 165—166.

⁵⁾ Ibid., т. III, стр. 173. — В этом же письме Белинский рассказывает известный уже „презаванный анекдот о Достоевском“.

цузской революции" Луж Блана Белинский пишет Боткину (7 июля 1847 г.) „Блашка умел сделать из нее прескучную и препрошлую книгу... О, лошадь! Теперь читаю Ламартинишку¹⁾... Надоели мне эти ракалии: плачу от скуки и досады, а читаю"²⁾. И даже Жорж Санд, столько восторгов Белинского вызывавшая своими романами несколько лет назад, не минует общей участи: „Посмотрите на Жорж Санд в тех ее романах, где рисует она свой идеал общества;— пишет Белинский К. Д. Кавелину, — читая их, думаешь читать переписку Гоголя"³⁾. Новые авторитеты Белинского, его суждения об них объясняют, какие стороны утопического социализма вызвали в начале 1847 года такой резкий протест с его стороны. Еще раньше Белинский был знаком с новыми тогда течениями западно-европейской философской мысли. Левое гегельянство и его орган „Hallische Jahrbücher“, основанный Руге, главный представитель его Фейербах, этот „заблудший сын немецкого идеализма“, воздвигнувший на развалинах гегелева панлогизма материалистическую философию, — всё это входило в круг интересов Белинского еще в первые годы десятилетия⁴⁾. Теперь, в 1847 году, Белинский вплотную подходит к французским представителям этой обще-европейской реакции на идеалистическую философию. Позитивная философия Огюста Конта окончательно разрушает бывшее увлечение Белинского немецким идеализмом, заодно сметая и французские утопии „Прелесть! Вот человек"⁵⁾, — восклицает Белинский по поводу Литтре, ученика Огюста Конта, и его статьи „Важность и успехи физиологии“ (напечатанной во второй книжке „Современника“). „Конт — человек замечательный, — пишет он Боткину, — этот человек — замечательное явление, как реакция теологическому вмешательству в науку, и реакция энергичная, беспокойная и тревожная... Что действия, т. е. деятельность ума есть результат деятельности мозговых органов — в этом нет никакого сомнения, ... — спешит Белинский заявить о своих новых материалистических убеждениях. — Метафизику к чорту: это слово означает сверх-натуральное, следовательно, нелепость; ... духовное... есть ничто иное, как деятельность физического. — Освободить науку от призраков трансцендентализма и théologie, показать границы ума, ... оторвать его навсегда от всего фантастического и мистического — вот, что сделает основатель новой философии"⁶⁾. И необходимо вспомнить, что в этом же письме говорится о „невежестве“ Пьера Леру; очевидно, новые основы мировоззрения Белинского, явно противоречащие идеологии утопистов, сознательно выдвигаются им, против своих же недавних авторитетов, как это всегда бывало у Белинского... „Прочел ли ты книгу Макса Штирнера?“ — спрашивает он Боткина (в том же письме). Книга эта — „Единственный и его собственность“, вышедшая в Германии в 1854 г.

¹⁾ „История Жирондистов“ Ламартина.

²⁾ Белинский. Письма, т. III, стр. 245 — 246.

³⁾ Ibid., стр. 313; — см. также письмо Боткину, Ibid., стр. 325.

⁴⁾ См. Ibid., т. II, стр. 212—317; т. III, стр. 87, а также письмо В. Водкина к Белинскому 22 марта 1842 г. — т. III, стр. 418, 421.

⁵⁾ Ibid., т. III, стр. 165.

⁶⁾ Ibid., т. III, стр. 73 — 175.

определяет теперь собою его этические взгляды. Вот каковы они были, по рассказу П. В. Анненкова: „Доказано, что человек и чувствует, и мыслит, и действует неизменно по закону эгоистических побуждений, да других и иметь не может... Моральным принципом эгоизм делается только тогда, когда каждая отдельная личность будет в состоянии присоединить к своим частным интересам и нуждам еще интересы... целой цивилизации, смотреть на них, как на одно и то же дело, посвящать им те заботы, которые вызываются у нее потребностью самосохранения, самозащиты и прочее... И заметить надо, что при этом любовь, сочувствие, уважение и вообще сердечные настроения не играют никакой роли“¹⁾. Так, вместо проповеди синтетической религии будущего (П. Леру)—требование „освободить науку от признаков трансцендентализма и theologie“, вместо пафоса христианского альтруизма, вместо проповеди „восстановленного“ христианства — эгоизм, как неизменный двигатель человечества... Таков Белинский в самом начале 1847 года, ратующий против „романтизма, мечтательности, сентиментальности, провинциализма“²⁾..

С „мечтателями“ кружка Бекетовых у него, естественно, не могло быть уже теперь общего языка. Это скоро и проявилось, — в полемике, завязавшейся между „Отечественными Записками“, — журналом, где сотрудничали литераторы этого кружка (Валериан Майков, Аполлон Майков, Григорович, Плещеев, Достоевский) и „Современником“, новым органом Белинского. Poleмику начал В. Майков, заместитель Белинского в журнале А. А. Краевского. В ноябрьской книжке „Отечественных Записок“ (1846 г.) появилась его статья по поводу „Стихотворений Кольцова“, вышедших тогда отдельной книжкой со вступительной статьей Белинского („О жизни и сочинениях Кольцова“). Эта последняя и вызвала возражения молодого критика. („А. В. Кольцов“, Отечественные Записки“ 1846 г., т. XLIX). Предметом полемики явился вопрос о личности и национальности, как определяющем ее развитии начале. Возражая Белинскому, Майков решает этот вопрос по своему, явно выдавая французские источники своих убеждений. Как все утописты, В. Майков в своих построениях исходит из идеального понятия личности, — „свободно-разумного существа, созданного по образу и подобию бога“, вмещающего в себе всю „чистоту и полноту богоподобия“. „Пороки могут быть объяснены внешними обстоятельствами, — говорит Майков, — между тем, как добродетели природоу чины человеческой природе, как силы, составляющие ее сущность“³⁾. Если человек, рассматриваемый без отношения к внешнему миру не может заключать в себе пороков и одарен одним только добродетелями, то источник всего порочного должен заключаться не в чем ином, как в столкновении его страдательных и деятельных сил с внешними обстоятельствами. Порок имеет источником внешние обстоятельства, действующие на человека... Национальность один из внешних деятелей“. Поэтому то „человек, которого можно назвать типом какой бы то ни было нации, никак не может быть не только

¹⁾ Литературные воспоминания П. В. Анненкова. СПб, 1909, стр. 441 — 316.

²⁾ Белинский и Письма, т. III, стр. 199.

³⁾ Сравни выше.

великим, но даже и необыкновенным" ¹⁾). Так, отправляясь от основных тезисов утопической идеологии, В. Майков наносит удар Белинскому в его суждении о „гениальном таланте“ Кольцова, поэте национальном по преимуществу. Согласно характерному для утопистов убеждению, что историю делает боговдохновенный героизм избранных натур, Майков иначе, чем Белинский, строит понятие „гения“ и „великого человека“. „Человек, в котором, как в зеркале, отражается картина внешних обстоятельств его жизни, вся панорама фактов его возникновения и развития, это ли свободно разумное существо, созданное по образу и подобию бога? — восклицает В. Майков. — Где же в нем свобода и разум?... Если вникнуть в источник нашего уважения к тем людям, которых называем мы великими, нельзя не убедиться, что мы уважаем в них силу противодействия внешним обстоятельствам, препятствующим каждому из нас приблизиться к идеалу богоподобного человека. Виновики великих общественных переворотов, все без исключения, были и должны были одарены великою свободою личности и ополчены на подвиги вопиющим противоречием своих свойств со свойствами окружающих их явлений общественности и природы... Величайший переворот в жизни человечества произведен был самим богом в образе человека. Христос, со стороны своего человеческого существа, являет собою совершеннейший образец того, что называем мы величием личности: истинное его учение находится в такой радикальной противоположности с идеями древнего мира, до такой степени возвышается над законами исторических явлений, что человечество до сих пор, в продолжение восемнадцати веков, не могло еще дорасти до половины той независимости взгляда, без которой не возможно уразумение и осуществление его... Каждый из них (великих людей) должен был приблизиться к известной степени к идеалу богоподобного человека, чтобы сделаться великим" ²⁾). Это исповедание социалистической веры В. Майкова вызвало суровую отповедь Белинского в первой же книжке „Современника“ (в статье „Взгляд на русскую литературу 1846 года“). Новообращенный позитивист ³⁾, восторгающийся теперь статьями Литтре, Белинский стремится показать несостоятельность самого метода, которым пользуется противник: „На свете нет ничего безусловно важного или неважного, — говорит Белинский. — Против этой истины могут спорить только те исключительно теоретические натуры, которые до тех пор и умы, пока носят в общих отвлеченностях, а как скоро спустятся в сферу приложений общего к частному, словом, в мир действительности тотчас оказываются сомнительными насчет нормального состояния их мозга... Идея истины и добра признавалась всеми народами, во все века; но что

¹⁾ См. В. Майков. Критические опыты. СПб., 1891, стр. 62 — 64.

²⁾ См. Ibid., стр. 67 — 68. — Необходимо отметить, что в 1846 году, когда были написаны Майковым эти строки, он читал Сен-Симона, — его книгу „Nouveau Christianisme“, взяв ее из библиотеки кружка Петрашевского, основанной в этом же году. (См. „Голос Минувшего“ 1913, № 2, стр. 125; № 8, стр. 51).

³⁾ Влияние идей О. Конта и Литтре на эту статью Белинского указано И в а н о в и м — Р а з у м н и к о м (См. его написание сочинений Белинского, т. III, стр. 739 — 740).

непреложная истина, что добро для одного народа или века, то часто бывает ложью и злом для другого народа, в другой век. Поэтому, безусловный или абсолютный способ суждения есть самый легкий, но зато и самый ненадежный... Ничего нет легче, как определить, чем должен быть человек в нравственном отношении; но ничего нет труднее, как показать, почему вот этот человек сделался тем, что он есть" ¹⁾... Осудив так сурово „абсолютный способ суждения“ В. Майкова, Белинский противопоставляет ему другой, чисто эмпирический. „Психология, — говорит он, — не опирающаяся на физиологию, так же несостоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии. Современная наука не удовлетворялась и этим: химическим анализом хочет она проникнуть в таинственную лабораторию природы, а наблюдением над эмбрионом (зародышем) проследить физический процесс нравственного развития“ ²⁾. Это приводит Белинского, исповедника материализма, к признанию внешней обусловленности нравственной личности, в частности к утверждению невозможности „разделить народное и человеческое на два..., враждебные одно другому начала“ — к резкому противоречию с В. Майковым в понимании „гениальной личности“ ³⁾. Полемизируя с Майковым, Белинский ясно отдает себе отчет, каковы источники убеждений противника: „Теперь Европу занимают новые великие вопросы, — говорит он. — Интересоваться ими, следить за ними нам можно и должно... Но в то же время для нас было бы бесполезно принимать эти вопросы, как наши собственные. В них нашего только то, что применимо к нашему положению; всё остальное чуждо нам, и мы стали бы играть роль Дон-Кихотов, горячась из-за него“ ⁴⁾. Делая, таким образом, выпад против учителей В. Майкова, еще так недавно близких ему самому, Белинский не забывает и его единомышленников: он тут же крайне несочувственно отзывается о сборнике стихов Плещеева, высмеяв его латинский эпиграф, сочувственно отмеченный в рецензии В. Майкова ⁵⁾. И уже имея в виду, очевидно, их обоих (В. Майкова и А. Плещеева), вместе с другими сторонниками идей утопического социализма, Белинский соглашается „скорее перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманических космополитов“ ⁶⁾... Разрыв с Достоевским, единомышленником и другом В. Майкова и А. Плещеева (по кружку Бекетовых), таким же, как они, „гуманическим космополитом“, — разрыв с ним был неизбежен для Белинского. Он назрел и совершился как-раз в период полемических схваток Белинского с В. Майковым (между ноябрем 1846 года и февралем 1847 года); разрыв этот необхо-

¹⁾ Собр. сочинений В. Г. Белинского. Изд. под ред. Иванова-Разумника. СПб., 1914, т. III, стр. 759.

²⁾ Ibid., стр. 763.

³⁾ Ibid., стр. 762, 766 — 769.

⁴⁾ Ibid., стр. 770.

⁵⁾ В. Майков писал в „Отечественных Записках“: „Плещеев сильно сочувствует вопросам своего времени, страдает всеми недугами века, болезненно мучится несовершенствами общества и сгорает нетщето жаждой споспешествовать его совершенствованию и торжеству на земле истины, любви и братства“ (Критические опыты, стр. 130).

⁶⁾ Собр. сочинений Белинского, т. III, стр. 764 — 766.

димо рассматривать в связи с этой полемикой¹⁾... В. Майков разошелся с Белинским в решении вопроса о нравственной самостоятельности личности. — Позднейший рассказ „Дневника писателя“ свидетельствует, что этот же вопрос встал между Достоевским и Белинским. В своих построениях В. Майков исходил из идеального понятия личности, — „богоподобной“, приближающейся к Христу. Этот метод, как было указано, вызвал желчные нападки Белинского, назвавшего его „абсолютным способом суждения“. — Очевидно, в этой же плоскости нужно рассматривать резкий выпад Белинского против Христа, о котором рассказывает Достоевский. „Нравственную ответственность личности, он отрицал радикально. Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться... Но Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием“. Стремясь доказать невозможность „абсолютного способа суждения“, Белинский, вероятно, и сказал эти слова, так оскорбившие Достоевского: „Поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком: так и ступевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества“²⁾. Слова эти логически вытекали из новых убеждений Белинского: его этические взгляды делали смешной сущность евангельской этики; утописты, подобно В. Майкову, выступали с именем Иисуса на устах, свое учение считали восстановленным христианством; для Белинского они стали теперь „шумливой, в сущности бессильной и ничтожной партией“, „foux sublimes“, „фантастическими романтиками“. В пылу ниспровержения своих недавних авторитетов, которым проникнуто всё написанное им в конце 1846 года и в начале 1847 года, и, очевидно, оспаривая аргументы В. Майкова, Белинский не остановился перед последним препятствием: единомышленнику В. Майкова, Достоевскому, сказал эти „кошунственные“ слова о Христе³⁾. Таким образом, принципиальные причины разрыва, указанные в позднейшей статье „Дневника писателя“ (свобода воли, образ Христа) вполне оправдываются убеждениями как Достоевского, так и Белинского: христианский социалист Достоевский ушел от позитивиста Белинского. И, конечно, не случайно, упомянув книгу Штирнера, Белинский вспоминает „кстати презабавный анекдот о Достоевском“; разбранив „Хозяйку“ и Достоевского, разражается бранью против Луи-Блана;

¹⁾ О том, на чьей стороне был Достоевский в полемике Белинского с В. Майковым, свидетельствуют, кроме всего прочего, некоторые позднейшие его замечания. Так, в своем показании Следственной комиссии (по делу Петрашевского) Достоевский повторяет один из главных упреков В. Майкова (в статье „А. В. Кольцов“) Белинскому: „бездоказательность, — говорит Достоевский, — недостаток, от которого Белинский никогда не мог избавиться в своих критических статьях“ (См. Ч. Ветринский, Достоевский, стр. 315). — Книжки „Отечественных Записок“ с критическими статьями В. Майкова были в руках у Достоевского перед самым арестом (См. Письма Достоевского, стр. 83).

²⁾ Собрание сочинений Достоевского. Изд. А. Маркса, т. IX, стр. 172, 173.

³⁾ Этим же переломом мировоззрения Белинского, очевидно, должны быть объяснены и те колебания в его оценке „Бедных людей“, на которые указывает Ор. Миллер, совершенно произвольно объяснив их влиянием Достоевского на критика. (См. Ор. Миллер и Н. Страхов, Биография, письма... стр. 61, 76).

рассказывает о своем „омерзении“ к Руссо, раднаачальнику социалистов, — „который так похож на Достоевского“¹⁾.

После разрыва с Белинским новые связи и знакомства Достоевского неизменно сталкивают его всё с тем же учением утопического социализма. В начале 1847 г. распался кружок „гуманических космополитов“ братьев Бекетовых, так как эти последние переехали из Петербурга в Казань²⁾. Их товарищи (Плещеев, Ханыков и др.) применили к другому, более многочисленному и уже два года существовавшему кружку Буташевича-Петрашевского. Среди них был и Ф. Достоевский³⁾. Малосплоченный, весьма разнобразный по составу, кружок Буташевича-Петрашевского, в лице почти всех своих представителей, был захвачен, однако, идеями утопического социализма. Об этом свидетельствуют, хотя бы, списки книг, находившихся в обращении у членов кружка: многочисленные сочинения Фурье и его учеников (прежде всего В. Консидерана), „Religion Saint-Simonienne“ и „Nouveau Christianisme“, „Voyage en Icarie“ и „Du vrai Christianisme suivant Jesus Christ“ Каба, различные сочинения П. Леру, „Paroles d'un croyant“ Ламенна, отдельные номера „Revue Indépendante“ (журнала П. Леру, Жорж Санд и Вьардо) и фурьеристского журнала La Phalange, романы Жорж Санд („Mauprat“, „Pisicino“, „Jusques“), — вот та литература, которая отвечала интересам посетителей Петрашевского⁴⁾. Наиболее популярным среди них было учение Фурье. Прежде всего, „отчаянным фурьеристом“ был основатель и руководитель кружка,

¹⁾ См. Белинский П. Письма, т. III, стр. 176, 338. — Среди историко-литературных исследований, так или иначе освещающих отношения Достоевского и Белинского, наибольшего внимания заслуживают работы С. Ашевского. („Белинский в оценке его современников“. СПб., 1911, стр. 188—205; „Достоевский и Белинский“, („Мир Божий“ 1904, кн. I, стр. 197 — 239) и В. И. Семевского („Голос Минувшего“ 1915, кн. II, стр. 5 — 43). Но и они далеко не исчерпывают вопроса до конца. В книге С. Ашевского собраны все отзывы Достоевского о Белинском; однако, не сделано даже попытки осветить ими причины дружбы и разрыва. Статья в „Мире Божием“ значительно полнее; но и здесь автор, выясняя причины разрыва, почти ограничивается указанием на „охлаждение Белинского к таланту Достоевского“ и на „чудовищное самолюбие“ последнего, совершенно оставляя в стороне перемены в мировоззрении Белинского (1845 — 1847 г.г.), его полемику с В. Майковым и пр. Что же касается В. И. Семевского, то он почти ничего не прибавляет к тому, что указано С. Ашевским: „Белинский охладел к Достоевскому, — говорит он, — вследствие чрезмерного самолюбия, неаккуратности Достоевского в денежных делах, различия литературных взглядов и вероятно, того инстинкта, который не мог изгладиться под влиянием проповедей Белинского“.

²⁾ См. „Воспоминания“ Флеровского, „Голос Минувшего“ 1915, № 3, стр. 138.

³⁾ Барановский (один из „петрашевцев“) показал перед Следственной комиссией, что Достоевский впервые появился на вечерах Петрашевского зимой 1846 — 1847 года. См. „Голос Минувшего“ 1913, № 4, стр. 95. Но показания самого Достоевского точнее определяют эту дату: случайно, через Плещеева, познакомившись с Петрашевским весной 1846 года (перед самым отъездом в Ревель к брату), Достоевский „пошел к нему в первый раз уже около поста сорок седьмого года“. (См. „Голос Минувшего“ 1915, № 11, стр. 25).

⁴⁾ См. „Голос Минувшего“ 1913, № 8, стр. 53 — 55.

М. В. Бугашевич-Петрашевский ¹⁾; о своем увлечении фурьеризмом рассказывают в позднейших воспоминаниях Д. Д. Ахшарумов и Ястржембский ²⁾; точно также Кайданов был „совершенно убежден в истине и исполнимости учения Фурье“ и готов был „скорее отказаться от сапогов, нежели от книг одного из апостолов Фурье“ ³⁾; наконец, докладная записка Генерал-аудиториата называет фурьеристами Ханыкова, братьев Дебу, Кашкина, Тимковского. И, конечно, это еще далеко не все из числа „петрашевцев“, знавших и увлекавшихся этой системой. Преобладающий интерес к фурьеризму сказывался на характере „пятниц“ Петрашевского: так, Данилевский несколько вечеров подряд излагает эту систему; Баласогло говорит о семейном счастье в духе учения Фурье и т. д. и т. д... Таков духовный облик кружка, членом которого становится Достоевский весной 1847 г. ⁴⁾. Достоевский не принимал, однако, слишком активного участия в его внутренней жизни. Агент Антонелли показал, что Достоевский „принимал участие (1 апреля 1849 г.) в прениях о трех главных вопросах: свобода книгопечатания, освобождение крестьян и преобразование судопроизводства“ ⁵⁾. Сам Достоевский показал, что „говорил... только три раза или, лучше сказать, два раза. Раз о литературе, по поводу спора с Петрашевским из-за Крылова, а другой раз о личности и об эгоизме“ ⁶⁾. Наконец, самым крупным его выступлением было чтение письма Белинского к Гоголю 15 апреля 1849 года. Вот всё, чем проявил себя Достоевский на „пятницах“ Петрашевского. Он не принимает участия в таких крупных событиях из жизни кружка, как, например, обед в день рождения Фурье, или тайные совещания с Черносвитовым ⁷⁾; он вызывает даже упреки Баласогло за безразличное, яко-бы, отношение к идейным интересам кружка ⁸⁾. Причину этого обособления надо, вероятно, искать в личных его отношениях с Петрашевским. — „Я никогда не был в очень коротких отношениях с Петрашевским, — говорит Достоевский в своих показаниях, — хотя и ездил к нему по пятницам, а он, в свою очередь, отдавал мне визиты. Это одно из таких знакомств моих, которым я не дорожил слишком много, не имел сходства в характере, ни во многих понятиях с Петрашевским;... у нас мало было пунктов соединения... — в идеях... Мы оба опасались долго заговариваться друг с другом, потому что с десятого слова мы бы оба заспорили, а это нам обоем надоело“ ⁹⁾. Эти разногласия не могли, однако, сводиться к увлечению системой Фурье — с одной стороны, и к отрицанию этой системы, — с другой:

¹⁾ См. „Голос Минувшего“ 1913, № 2, стр. 129; № 8, стр. 55 — 60.

²⁾ Воспоминания Д. Д. Ахшарумова. Изд. „Обществ. Польза“ 1903, стр. 14: — „Мемуар петрашевца“ — „Минувшие Годы“ 1908, № 1.

³⁾ „Общество пропаганды в 1849 г.“, Лейпциг, 1875, стр. 79 — 82.

⁴⁾ Воспоминания некоторых „петрашевцев“ о Достоевском приведены у Ор. Миллера (См. Биография, письма..., стр. 90, 95).

⁵⁾ См. „Общество пропаганды“, стр. 60.

⁶⁾ См. „Голос Минувшего“ 1915, № 11, стр. 29.

⁷⁾ См. Ibid., 1913, № 8, стр. 62, 77.

⁸⁾ См. Ibid., № 6, стр. 68.

⁹⁾ См. Ibid., 1915, № 11, стр. 25, 27.

кружок Плещеева и Дурова, созданный по инициативе Достоевского, в этом отношении совершенно не отличался от собраний Петрашевского (см. ниже). Разногласия эти коренились, очевидно, в различном способе восприятия одних и тех же идей... Фурье был не единственный авторитет Петрашевского: при аресте у него были взяты, между прочим: один том сочинений Гельвеция, „Жизнь Иисуса“ Штрауса и какое-то сочинение Фейербаха. Новые тогда материалистические течения философской мысли, представленные левым Гегельянством, и старый французский скептицизм XVIII века — определяют собой мировоззрение Петрашевского не в меньшей мере, чем система Фурье. Уже в статье „Карманного словаря иностранных слов“ — „Натурализм“ Петрашевский „без обиняков изложил основную идею системы Фейербаха в области религии“, по словам Герцена ¹⁾. Среди „Запаса общепользовного“ (особая рубрика в записной книжке Петрашевского) находим рассуждение „об истинных началах так называемой христианской религии“; „слепая вера в бога вредна, ибо она повергает человека в бездействие и косность“, — говорил Петрашевский Ханыкову; наконец, в письме к Тимковскому он назвал Христа „известным демагогом, несколько неудачно кончившим свою карьеру“, и т. д. и т. д. ²⁾. Человек неспособный на компромиссы, Бутаевич-Петрашевский сумел согласовать эти принципы атеистического мировоззрения с фурьеризмом. Будучи „старым фурьеристом“, он отказывается, однако „всё, встречаемое в сочинениях Фурье... принимать *au pied de la lettre*; верить ему, как алкорану“. Отбросив религиозные предпосылки и фантастический элемент, Петрашевский взял от системы Фурье лишь ее позитивную сторону. „Организация работы... взгляд глубокий на природу человека, разбор естественных склонностей человека, страстей,... взгляд на историю, который может объяснить множество явлений из прошедшей истории человечества и даже будущей“ ³⁾ — вот что, вполне сознательно, выбирает Петрашевский из этого учения... Позитивно-атеистическое мировоззрение было свойственно и некоторым посетителям Петрашевского, например Спешневу, Толю... ⁴⁾. Но, с другой стороны, многие из „петрашевцев“, оставаясь в плоскости социалистических интересов, отнюдь не придерживались взглядов позитивно-материалистической философии. „Говорили, что кружок Петрашевского состоял из безбожников, — вспоминает позже Д. Ахшарумов ⁵⁾. — Люди, нас судившие или близко знавшие, были бы не менее, чем мы, удивлены этими слухами. Источником их, без сомнения, могли быть только черная клевета или полное незнание“. Несмотря на явное преувеличение, утверждение Ахшарумова не лишено доли правды. Прежде всего, необходимо указать, что Следственная комиссия, рассматривавшая религиозное вольномыслие столь же строго, как и политическое, из всех 32 лиц, арестованных, по делу Петрашевского, указывает как „провинившихся“ в атеизме,

¹⁾ Ibid., 1913 г., № 2, стр. 136.

²⁾ Ibid., № 6, стр. 57 — 58.

³⁾ Ibid., № 8, стр. 56.

⁴⁾ Ibid., № 6, стр. 56 — 57; 1915, № 12, стр. 70 — 71 и др.

⁵⁾ См. Д. Д. Ахшарумов. Воспоминания, стр. 20.

только 8 человек: Бутаевича-Петрашевского, Спешнева, Филиппова, Ахшарумова, Ханыкова, Кашкина, Толя, Катенева ¹⁾. Относительно остальных подобных обвинений не выдвигалось. И это понятно: Тимковский, страстный фурьерист, делает у Петрашевского предложение „доказать, как дважды два четыре, о божественном воплощении“ ²⁾; крайне религиозны — Модерский, квартирант Петрашевского, и музыкант Серебряков ³⁾; Дуров, по словам Достоевского, „религиозен до смешного“ ⁴⁾ и т. д. Такое разномыслие посетителей Петрашевского неоднократно вызывало дебаты и столкновения. Осенью 1848 года Спешнев объявил, что будет читать „трактат об атеизме“; „фурьеристы братья Дебу... и Ханыков очень заинтересовались этим и готовили возражения с своей точки зрения“; после речи Толя „о ненужности религии“ (на собрании 11 марта 1849 г.) „многие, по словам Антонелли (агента), возражали... особенно много и красноречиво говорили двое, — Истржембский“ и какой-то молодой человек — Порфирий Ламанский). Продолжение доклада Толя (на собрании 25 марта) опять вызвало, по словам агента, „большие дебаты“ ⁵⁾. Но наиболее крупным проявлением этого религиозного разномыслия „петрашевцев“ был конфликт, происшедший между Петрашевским и Тимковским, бравшимся „доказать путем чисто-научным божественность Ис. Христа“. Речь Тимковского, произнесенная на одной из „пятниц“, осенью 1848 года, вызвала суровое возражение Петрашевского в виде письма, озаглавленного: „В чужой монастырь с своим уставом не ходят“. „Вы объявили себя фурьеристом, — писал Петрашевский... — Но, чувствуя какой-либо системе (sic!), следует ли еще принимать ее во всем безусловно, даже и в том, что в ней нельзя считать рационально доказанным... и можно откинуть без изъятия для полного уразумения мысли? Зачем вам было вызываться доказывать материальную действительность воплощения?“.. И, очевидно далеко не все из посетителей Петрашевского были на его стороне в этом споре: перед отъездом Тимковского из Петербурга (в декабре 1848 г.) семь человек дали ему прощальный обед, чтобы доказать, что „мысли их сходны“... ⁶⁾ В той же, очевидно, плоскости, что и конфликт Тимковского с Петрашевским, надо рассматривать разногласия последнего с Достоевским ⁷⁾.

„До ноября месяца (1848 года)... других сходок или таких разговорных обществ, как у Петрашевского, не было, — рассказывал в своих показаниях

¹⁾ „Общество пропаганды“, стр. 125 — 133.

²⁾ „Голос Минувшего“ 1913, № 9, стр. 117.

³⁾ Ibid., № 6, стр. 38.

⁴⁾ Ор. Миллер и Н. Страхов, Биография, письма... стр. 95.

⁵⁾ „Голос Минувшего“ 1913, № 4, стр. 109; № 6, стр. 56 — 57, 63.

⁶⁾ См. Ibid., № 4, стр. 112 — 120.

⁷⁾ Это подтверждается и позднейшими отзывами Достоевского о Петрашевском. По свидетельству А. Г. Достоевской, „на Федора Михайловича Петрашевский произвел отталкивающее впечатление тем, что был безбожник и глумился над верой“ (См. Ор. Миллер, Биография, письма..., стр. 91) — „Петрашевский по прежнему без здравого смысла“, — писал Достоевский брату 22 февраля 1854 года из Омска. (См. „Русская старина“ 1883, № 9, стр. 511 — 520).

Спешнев. — В ноябре же или в конце октября, мысль о таких разговорных обществах стала нравиться другим, которым почему-либо не нравилось общество Петрашевского, и они вознамерились перестать посещать его и открыть свой салон. Так пришли ко мне в одно время Плещеев и Достоевский и сказали, что им хотелось бы сходиться с своими знакомыми в другом месте, а не у Петрашевского...¹⁾ Организовались собрания у Плещеева и Дурова.

Так, осенью 1848 года, т.-е. как-раз в тот период, когда указанные разногласия среди „петрашевцев“ достигли наибольшей обостренности, — по инициативе Достоевского и Плещеева организуется новый кружок, и он объединяет собой именно тех из посетителей Петрашевского, которые не мирятся с позитивно-атеистическими взглядами большинства: кроме братьев Достоевских и Плещеева, встречаем здесь Филиппова, автора „Толкования 10 заповедей“ (подражал „Paroles d'un croyant“ Ламеннэ)²⁾, братьев Ламанских, один из которых возражал у Петрашевского Толю (см. выше), Дурова, Тимковского и др. Но инициаторами этого обособления от Петрашевского были Достоевский и Плещеев. Следовательно, указанный принципиальный характер обособления отражает, очевидно, в себе и настроение Достоевского, и его душевное сродство с Плещеевым... Впрочем, на этих новых собраниях (происходивших сперва у Плещеева, а потом у Дурова, Пальма и Щелкова, живших вместе), также как и у Петрашевского „более всего говорили о социализме“³⁾; „Толки о Нью-Ланарке Роберта Оуэна и об Икарии Каба, а в особенности о фаланстере Фурье... занимали иногда значительную часть вечера“⁴⁾. Как и у Петрашевского, Н. Я. Данилевский излагает здесь систему Фурье, А. П. Милюков читает свой церковно-славянский перевод отрывка „Paroles d'un croyant“⁵⁾. Значит, расхождение с кружком Петрашевского было не в самих идеях утопий, а в своеобразных оттенках восприятия и переживания их.

Короткий период существования этого нового кружка и был периодом особенно близких дружеских отношений Достоевского и Плещеева.

В то время, как складывался этот новый кружок, Достоевский работал над „Белыми ночами“. Повесть эта появилась в декабрьской книжке „Отечественных Записок“ 1848 года, — с посвящением А. Н. Плещееву. А в одной из следующих книжек журнала Плещеев напечатал и свою повесть, и затем, в письме к другу, (из Москвы от 14-го марта 1849 г.) спрашивал о ней:

„Не прочли ли вы „Дружеские советы“? Пожалуйста скажите о них нелицеприятный суд“. И тут же прибавлял, невольно выдавая свою сердечную преданность кружку, а вместе и преданность ему своего корреспондента: „Кланяйтесь от меня всем, кто бывает по субботам у Дурова, Пальма и Щелкова, им трем в особенности. Головинского тоже облобызайте; Милюкову,

¹⁾ См. „Голос Минувшего“ 1915, № 11, стр. 39 — 40.

²⁾ См. Ibid., № 12, стр. 52.

³⁾ См. Ibid., 1915 г. № 11, стр. 40.

⁴⁾ Воспоминания А. П. Милюкова — см. Ч. Ветринский и Я., Достоевский, стр. 44.

⁵⁾ См. Ibid., стр. 45.

Григорьеву, Момбелли, Ломанскому 1 и 2, Филиппову, Кашевскому, Спешневу, Мордвинову и Михайлу Михайловичу всем salut et fraternité¹⁾.

Близкое сходство „Белых ночей“ и „Дружеских советов“ не должно быть поэтому неожиданным. Обе повести возникли из однородного настроения друзей-авторов, которое, кроме того, родило и весь их кругок.

Василий Михайлович Ломтев,—главное действующее лицо повести Плещеева, такой же „мечтатель“, как и герой „сентиментального романа“ Достоевского. „Он вел жизнь уединенную, ленивую, мечтательную. Окончив курс наук, не торопился, подобно большей части своих товарищей, отыскивать себе места,... а стал кое-как перебиваться частными уроками русской словесности, да небольшой срочной работой, получаемой им от знакомого журналиста... Книг у него было немного, и почти все стихи: сочинения Пушкина и Жуковского, Шиллера и Гете, еще несколько мелких немецких поэтов, „Дон-Кихот“, и потом два-три французские романа, как например „Оберман“ и „Адольф“... Это были, что называется, настоящие книги Василия Михайловича. Он беспрестанно перечитывал их, заучивал даже некоторые места наизусть. Пушкина и Шиллера, в особенности, он не выпускал из рук. Часто, в летнюю ночь, открывал он окно своего мезонина и, смотря на колышавшиеся при лунном свете деревья Среднего проспекта, начинал декламировать вслух строфы из Пушкина. Вообще почитать очень любил Василий Михайлович, и большая часть его времени проходила в мечтаниях. Разные несбыточные романы, которых он сам был, конечно, героем, складывались у него в голове; ему нравилось, по воле прихотливого воображения, запутывать и развязывать эти сказки“. „Сказки“ эти, подобно грезам „мечтателя“ в повести Достоевского, превращаются в воображении Ломтева в какую-то странную, фантастическую реальность. „Он так сжился с ними, так умел перечувствовать их, что порой ему даже казалось, будто он в самом деле переживает всё это“²⁾. Этот его фантастический мир, по своему содержанию, очень похож на „узоры небывалой, причудливой жизни“ героя „Белых ночей“. — „Странные, мрачные грезы приходили ему иногда в голову. Он воображал себя умирающим, одиноким; вокруг постели чужие, незнакомые люди, без участия и сострадания на лицах,... но в этой толпе он вдруг замечает томное, меланхолическое личико, полное невыразимой прелести и доброты. Эти большие голубые глаза устремились на него с таким сожалением;... ему показалось даже, что в них блеснули две слезинки... да, он не ошибся: она подносит к лицу платок..., но кто же ты, милое, доброе дитя, явившееся, как ангел утешитель, к одру умирающего... И она, бледная и дрожащая, бросается перед ним на колени, и прерывая рыданиями слова свои, отвечает ему: „Я дочь этих людей, что были тут

¹⁾ См. „Голос Минувшего“ 1915, № 12, стр. 61. — „Дружеские советы“ см. „Повести и рассказы“ А. Н. Плещеева, под ред. П. В. Выхова. Изд. А. А. Плещеева. СПб., 1896, т. 1, стр. 187 — 192.

²⁾ Сравни у Достоевского: „Право, верить готов в данную минуту, что вся эта жизнь не возбужденно чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее!“ — См. Собр. сочинений. Изд. А. Маркса, т. II, стр. 21.

сейчас, я любила тебя..., любила так долго и тайно, но не смела бы никогда высказать тебе любви, которой ты не замечал, живя подле меня, видя меня перед собой почти каждый день... Теперь я не в силах сдерживать своих чувств; они просятся, рвутся из груди моей..., они терзают и давят меня"... И он прижимает ее к больной груди, осыпает ее горячими поцелуями" ¹⁾). — Сходство повестей Достоевского и Плещеева обнаруживается и в их сюжете. Оба мечтателя — и Ломтев, и герой „Белых ночей“, расстаются со своим фантастическим миром для мимолетной, но уже действительной любви, которая останется, однако, неразделенной: героиня повести Плещеева, как и Настенька в „Белых ночах“, — невеста другого; Ломтев, подобно „мечтателю“ Достоевского, „благодарит судьбу, что хоть одну минуту блаженства она даровала ему, хоть одну минуту, прожитую истинною действительною жизнью...“ ²⁾).

Говорить о непосредственном литературном влиянии одной повести на другую нет оснований: они написаны почти одновременно ³⁾).

Скорее, они могли возникнуть из общих литературных увлечений Достоевского и Плещеева. „Французские романы“, которыми зачитывается Ломтев, не указывают ли на Жорж Санд, например, которой увлекался Достоевский, а Плещеев, как и все тогда, тоже разделял это увлечение. Но если сходство двух повестей и восходит к какой-либо литературной традиции, — всё равно какая-то душевная однородность Достоевского и Плещеева в конце 1848 года несомненна. Без нее невозможно было бы одновременное совпадение и литературных традиций у двух писателей. Но сейчас, только эта их душевная однородность нас и интересует... Достоевский недаром наделил свой „сентиментальный роман“ пояснительным подзаголовком — „Из воспоминаний мечтателя“. „Белые ночи“ явно отмечены характером автобиографических признаний.

Во всех позднейших своих воспоминаниях о 40-х годах Достоевский всегда удивительно единообразно характеризовал самого себя и свои юношеские настроения: „Я был тогда страшный мечтатель“, — говорит он, вспоминая в „Дневнике писателя“ свою первую встречу с Белинским; „конец сороковых годов — эпоха моих самых беззаветных и страстных мечтаний“ ⁴⁾); „и чего и не переменял в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душой моей в золотых и воспаленных грезах, точно от опиума. Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище. Я до того замечтался, что проглядел всю мою молодость“ ⁵⁾ и т. д. и т. д. Книжное мечтательство — вот формула, которой Достоевский как бы совершенно исчерпывает свою внутреннюю жизнь эпохи 40-х годов. И художественное творчество его юношеского периода, а отчасти и позднейшего, неуклонно возвращается всё к одной

¹⁾ Сравни у Достоевского — Ibid., стр. 22, 23.

²⁾ Ср. „Белые ночи“. Собр. сочинений Достоевского. Изд. А. Маркса, т. II, стр. 54.

³⁾ „Белые ночи“ Достоевского были напечатаны в „Отечественных Записках“, (1848 г.), т. 61; „Дружеские советы“ — Ibid., т. 63.

⁴⁾ Собр. сочинений Ф. М. Достоевского. Изд. Маркса т. X, стр. 34.

⁵⁾ Фельетон „Петербургские споведания в стихах и прозе“. См. „Русская Мысль“ 1916, № 1, стр. 109.

и той же теме: „Мечтательство“ „Белых ночей“ не одиноко в творчестве Достоевского. Ему уделено место и в „Бедных людях“, и в „Неточке Незвановой“; как нечто неоформленное, как сырой материал, непреодоленный творчеством, оно раскрывается в „Хозяйке“ и уже с художественной полнотой и законченностью, как цельный, замкнутый мир, предстает в рассказе героя „Белых ночей“; — наконец, „подпольный герой“, с желчью и сарказмом, шаржируя и каррикатура, подробно рассказывает, как петербургские „мечтатели“ сороковых годов „спасались во всё „прекрасное и высокое“ и „сколько любви переживали, бывало, в этих мечтах своих, в этих „спасениях“¹⁾...

Таким образом, о „мечтательстве“ Достоевского 40-х годов можно судить по „мечтательству“ его юношеских героев, тем более, что он сам не проводил между ними и собой резкой грани²⁾... „Вне должно быть уравновешено с внутренним,—писал Достоевский брату. — Иначе, с отсутствием внешних явлений, внутреннее возьмет слишком опасный верх. Нервы и фантазия займут очень много места в существе. Всякое внешнее явление с непривычки кажется колоссальным и пугает как-то. Начинаешь бояться жизни“³⁾. Это один из признаков того преобладающего настроения юноши Достоевского, которое можно условно называть „мечтательством“. „Мечтатель“ „как будто запирается в монастырь, как будто отрешается от света... он дичает, не замечая того“ („Хозяйка“), „как будто таится... даже от дневного света... запирается в себе... и приростает к своему углу, как улитка“ („Белые ночи“)... Эта отчужденность от внешнего мира, доходящая до страха перед ним, искупается богатством другой „своей особенной жизни“, „небывалой и причудливой“. — „Всё, начиная с детских, неясных грез“, все мысли и мечты... всё, что вычитал в книжках, всё, о чем уже и забыл давно, всё одушевлялось, всё складывалось, воплощалось, вставало... в колоссальных формах и образах, ходило, роплоось кругом“ („Хозяйка“). Эту „жизнь фантазии, жизнь резкого отчуждения от всего окружающего“ Достоевский любил сравнивать с опьянением наркотика: она „медленным, упительным ядом отравляет ночной покой“ Ордынова („Хозяйка“); каждая минута фантастического счастья мечтателя „Белых ночей“ — „новый прием утонченного, сладостного яда“; „золотые, воспаленные грезы, точно от опиума“, вспоминал позже Достоевский (в „Петербургских сновидениях“)...

¹⁾ Собр. сочинений т. III, стр. 117. — Здесь кстати отметить, что „Записки из подполья“, по первоначальному замыслу, должны были, вероятно, называться „Исповедь“. В период работы Достоевского над этим произведением редакция журнала „Время“ оповестила читателей о скором появлении нового его романа „Исповедь“. Вскоре после этого, в первых же книжках „Эпохи“ (1864), заменившей „Время“, появилась „Записки из подполья“. (См. А. Г. Достоевская, Библиографический указатель..., стр. 318).

²⁾ В фельетоне „Петербургские сновидения“ (1861) Достоевский от своего имени, и про себя рассказывает „фантастическое видение на Неве“, несколькими годами раньше рассказав его в третьем лице, о герое повести „Слабое сердце“ (1848). См. об этом мою заметку „Русская Мысль“ 1916, январь, стр. 103 — 106.

³⁾ См. Ор. Миллер и Н. Страхов. Письма Ф. М. Достоевского..., стр. 61.

Так, мечтатель „Белых ночей“ — автопортрет Достоевского 40-х годов. И как бы сильно ни был он стилизован сентиментальным сюжетом повести — его живые очертания заметны и выступают... Но и не только собственный облик Достоевского охвачен и запечатлен этими портретными очертаниями его героя — мечтателя. Повесть была посвящена другу, а Достоевский вообще был скуп на литературные посвящения¹⁾. И подобно немногим другим посвящениям Достоевского, и это было вызвано внутренне обоснованными побуждениями. Автопортрет был вместе и портретом друга. Посвящение „Белых ночей“ Плещееву тотчас и оправдалось, как неслучайное, появление „Дружеских советов“.

Друзья-мечтатели как бы переключались тогда художественные признаниями о том, что их особенно роднило и связывало.

Друзья-„спутники“ (а Плещеев 40-х гг., конечно, только духовный „спутник“ Достоевского) тем и ценны для историка, что помогают отделить во внутренней жизни самоценных и самостоятельных душ (в данном случае Достоевского) их подлинно „свое“ достоинство от извне привнесенного. „Спутник“ светит не всегда только отраженным светом „сопровождаемого“. Роднит их часто и среда, — ее воздух, ее душевные навыки, юношеское „мечтательство“ Достоевского, к которому он мысленно возвращался всю свою жизнь, то вспоминая его, то с ним враждуя, которое, казалось, выстрадано им было тогда, в 40-х гг., в полном одиночестве, только над книгами Шиллера и Жорж Санд, — на самом деле, не было таким уже вовсе одиноким и самобытным настроением. Оно совпадало с родственным настроением других (Плещеева), развивалось, крепло и даже находило формы литературного обнаружения в душевных „встречах“ и „созвучиях“. И роднясь с Плещеевым, „мечтательство“ Достоевского 40-х годов явно обнаруживает свою типическую основу: дух кружка Бекетовых, отчасти Бутаевича-Петрашевского, а в особенности того, который сложился осенью 1848 года.

Одиночество „мечтателя“, уединенного от всех и всего своими грезами о пленительно-невозможном, заносилось на страницы повестей Достоевского и Плещеева из повседневной прозы и душевных привычек кружковой жизни — идеализируясь, правда, а у Достоевского, конечно, и становясь неподражаемо своеобразным. Вот несколько бытовых штрихов из жизни кружка „друзей-мечтателей“.

Плещеев в марте 1849 года покинул Петербург и проездом в имение родных задержался в Москве. Он не теряет времени и знакомится с городом. Был на лекциях Грановского и Кудрявцева, встретил где-то и сразу не влюбил Шевырева, узнал и спешит сообщить друзьям, что славянофильство имеет очень ограниченный круг прозелитов: „Хомяков — очень умный, умеющий

¹⁾ Кроме „Белых ночей“, только еще три произведения Достоевского наделены посвящениями: „Униженные и оскорбленные“ (М. М. Достоевскому), „Идиот“ (С. А. Ивановой), „Братья Карамазовы“ (1) А. Г. Достоевской. — См. „Библиограф. указатель“ А. Г. Достоевской, стр. 34, 35, 40.

заставить себя слушать“, а К. Аксаков — „фанатик, с бородой — по колено, как царь Берендей“; сам он, Плетцев, „завтра будет обедать в Английском, клубе“... и т. д. и т. д. И несмотря на всё это, — „до сих пор скучно и будет скучно“. Вот, оказывается, почему: он уже давно нигде не ездил из Петербурга, а этот город, — Москва, — „огромный и людный кажется чем то диким с своими нелепыми расстояниями, с своими бесконечными медными гулами“; в московских кружках — все чувствуют себя как то не на месте. Хочется чего то еще... а это что то есть, кажется, дружеский, откровенный интимный разговор, в котором пища не одному уму, но и сердцу“... „А он возможен только с людьми, которых я хорошо знаю и которые меня знают вдоль и поперек, следовательно, возможен только в Петербурге“. — Уют душевного одиночества, с глазу на глаз с своими мечтами, к которому привык так, что оторваться от него для иной жизни — страшно; это — тип душевной жизни Ордынова, Неточки Незвановой, героя „Белых ночей“, так же как и Ломтева; но таков уже и сам Плетцев.. Он не надолго оторвался от привычной жизни кружка, и вот уже — „плакать хочется. Назовите это, как хотите, романтизмом что ли, благо уже это слово в моде, сентиментальностью... мне всё равно, только мне жаль всего, и людей, и улиц, и кондитерской Иванова... Ужасно хочется поскорей назад“. Кружок — это граница, переступить которую и страшно, и неприятно „мечтателю“. — „Мы так сошлись, — признается Плетцев Дурову и Пальму, — что я вправе считать вас своими лучшими друзьями. В доказательство о моей искренней симпатии... посвящу вам первую повесть, которая напишется ¹⁾“. Это же кружковое настроение вызвало, очевидно, и посвящение „Белых ночей“, и ответную повесть друга, породило из себя их однотонность и самую дружбу Достоевского и Плетцева.

„Мечтательство“ Достоевского, Плетцева и их кружка, как характерный тон, окраска душевной жизни безотносительно к ее материалу, содержанию — это всё та же романтическая тревога, Sehnsucht, повышенная чувствость и впечатлительность к духовному, которой тогда, в 30-х и 40-х гг., наделены были у нас многие. Своеобразие наших „романтиков“, Достоевского и Плетцева, в том запасе идей, который служил содержанием этого романтического переживания, их „мечтательства“. Определить это содержание не трудно из связи со всем, что уже было сказано. Вспомним: восторженное „приятие веры“ Белинского весной 1845 г., ссора и разрыв с ним в момент его отказа от этой веры, дружба с кучкой „гуманических космополитов“, братьев Бекетовых, пятницы Буташевича-Петрашевского, создание собственного кружка осенью 1848 года — таковы события в жизни Достоевского той эпохи. А когда в начале апреля 1849 года в кружке решено было заняться общим изучением современной России и каждому предложено было сделать тот или иной доклад — Достоевский темой своего доклада избрал социализм ²⁾.

¹⁾ См. „Голос Минувшего“ 1915, № 12, стр. 58 — 65.

²⁾ См. Ibid., стр. 44.

Так, от 1845 года (а может быть и раньше) и до самого ареста (апрель 1849 г.) Достоевский не выходит из круга изложенных нами идей социальных утопий. В этом круге его неизменно замыкаются все знакомства и встречи, собственные его интересы, наконец, дружба. Ведь, таков же был и путь Плещеева за эти годы. Еще в 1844 году Плетнев, встретившись где-то с Плещеевым, писал о нем Гроту: „Как эти молодые люди заражены доктриною Краевского“ (т. е. Белинского, тогда поклонявшегося утопистам¹⁾). И первый сборник стихов Плещеева (1846 г.) был несомненным отголоском настроений и увлечений кружка Бекетовых, к которому он тогда принадлежал вместе с Достоевским²⁾.

Позже, вспоминая „давнопрошедшую“ историю 1849 года, определенно говорил Достоевский о своих „убеждениях“, отречься от которых тогда, стоя на эшафоте, он, вместе с другими „почел бы за бесчестье“³⁾. А Плещеев, тоже спустя много лет, говорил еще определеннее: „Системой Фурье я когда то в особенности занимался“⁴⁾. Вера в богоусыновленность „прекрасного“ человека, религия земного счастья, богочеловек — мессия будущего земного царства божия, фантастические очертания этой „социальной судьбы“ человечества совершенного почти божественным совершенством — все эти уже знакомые нам темы французских утопий несомненно и были содержанием „мечтательства“ Достоевского и Плещеева. Письма Достоевского к брату, его повести 40-х гг., показания на суде, позднейшие воспоминания и проч. дают ряд отрывочных, но внутренне согласных друг с другом свидетельств тому, что изложенное в начале этой работы мировоззрение, которое можно извлечь из трактатов Сен-Симона, Фурье, Леру и др., из романов Жюль-Санд — и было юношеским мировоззрением Достоевского, идейным содержанием его „мечтательства“. Мотивы лирики Плещеева укрепляют этот вывод.

Круг чтения юноши Достоевского, судя по его переписке с братом, был необыкновенно широк. Но и среди излюбленных писателей, Достоевский всегда выделял одно имя. „В ряду целой плеяды новых писателей, тогда вдруг прославившихся и прогремевших по всей Европе, — вспоминал Достоевский в 1876 году, — Жюль-Санд, по крайней мере, по моим воспоминаниям судя, заняла у нас сразу чуть не первое место“⁵⁾. „Мы набросились на одного Жюль-Санд, — и боже, как мы тогда зачитались“⁶⁾. Письма Достоевского сохранили некоторые следы этого юношеского увлечения: „Прочти Тевекина (Жюль-Санд в „Отечественных Записках“, октябрь), — пишет Достоевский брату в 1845 году. — Ничего подобного не было еще в нашем столетии. Вот люди первообразы“⁷⁾.

¹⁾ См. Ibid., № 11, стр. 35.

²⁾ См. выше.

³⁾ Собр. сочинений. Изд. А. Маркса. т. IX, стр. 341.

⁴⁾ Письмо к Добролюбову — „Русская Мысль“ 1913, январь, стр. 145.

⁵⁾ Собр. сочинений Изд. А. Маркса, т. X, стр. 207 — 208.

⁶⁾ См. Ibid., т. IX, стр. 26 — 27.

⁷⁾ См. О. Миллер и Н. Страхов, Письма Ф. М. Достоевского..., стр. 41.

Повесть Жорж-Санд „Teverino“ уже самым своим построением развивает и доказывает одну предвзятую мысль. Четыре действующие лица этой повести сгруппированы попарно. Аристократы Леонс и Сабина — скучающие, безвольные, нерешительные в своем чувстве, убивающие его рефлексией. — Крестьянка Мадлена и бродяга Теверино, напротив, умеют вместить в себе радость жизни во всей ее полноте, — они талантливы, честны, благородны. Словом, весь роман как бы доказывает убеждение одного из героев, что „внешние обстоятельства не настолько сильны, чтобы разрушить божественное начало (pouvoir divin) в душе человека, чтобы растлить навсегда потомство рабов“. . . . „Ничего подобного не было еще в нашем столетии“ — у Достоевского, столь чуткого к искусству, такая оценка неожиданна.

Этот преувеличенный отзыв могло подсказать Достоевскому только очень сильное сочувствие тенденциям писательницы. Герои повести — исповедники „нового христианства“ Сен-Симона или Леру. „Я верю, говорит гениальный нищий, что дары господа всегда имеют какое-нибудь назначение, и что последние теперь на земле не будут последними в царстве его. Кто-то давно, давно сказал это“. И Теверино, конечно, верит в царство его на земле... Другое произведение Жорж-Санд — „Jeanne“, роман, прочитанный Достоевским, вероятно, в 1845 году ¹⁾ был назван им впоследствии гениальным ²⁾. Но и в нем изображены энтузиасты-мечтатели, исповедники „христианского радикализма“ — Гильом, поклонник Шатобриана, англичанин Артур, приверженец утопического гуманизма. Героиня романа, крестьянка Жанна, воодушевлена жаждой религиозного служения человечеству; она дает обет целомудрия, чтобы, подобно Жанне д'Арк, исполнить взятый на себя долг, — вернуть счастье людям, уничтожить на земле горе и нищету. . . . Наконец, восторженный Эмиль, старый маркиз Буачиби и крестьянин Жак (в романе „Le péché de M. Antoine“ ³⁾) уже непосредственно развивают доктрину „восстановленного христианства“ утопистов в своих длинных диалогах, в спорах с фабрикантом Кордонна... Через увлечение „христианскими“ романами Жорж-Санд, Достоевский последовательно пришел к „новому“ христианству социалистов, — к чтению „Nouveau Christianisme“ Сен-Симона, „Du vrai Christianisme suivant Jesus Christ“ Кабэ ⁴⁾, к пророчествам грядущего рая аббата Ламенна... „Гомер (баснословный человек может быть, как Христос, воплощенный богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу“, — писал Достоевский брату... „Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос новому“ ⁵⁾. Так, в атмосфере нар-

¹⁾ В 1845 году этот роман печатался в русском переводе на страницах „Отечественных Записок“.

²⁾ См. Собр. сочинений, т. X, стр. 210.

³⁾ Роман этот печатался в „Отеч. Зп.“ 1846, (см. т. т. XLVI, XLVII). Достоевский не мог не прочесть его.

⁴⁾ Это сочинение Кабэ Достоевский брал из библиотеки кружка Петрашевского. См. „Голос Минувшего“ 1915, № 12, стр. 39.

⁵⁾ См. Письма, стр. 16.

котического мечтательства, впервые у Достоевского зарождается мечта о Христе, дающем „организацию земной жизни“, разрешающем земные противоречия. — „В юношеской фантазии моей я любил воображать себя... христианином из времен Нерона“, — говорит он в позднейших воспоминаниях ¹⁾. Образ проповедника первых веков христианства, — этот идеал утопистов, пленяет воображение Достоевского; отсюда — непосредственный переход к мистическому предчувствию осуществленного на земле рая, — грезы о „золотом веке“, „обетованной земле человечества“. Достоевский сам рассказал об этих юношеских грезах своих в одном автобиографическом отрывке: „Я фантазер, я мистик и признаюсь вам, Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною. Еще с детства, почти затерянный, заброшенный в Петербурге, я как-то всё боялся его. Помню одно происшествие... которое ужасно поразило меня. Я рассказываю вам его во всей подробности... Помню раз в зимний январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в зимнюю морозно-мутную даль... И вот ему вдруг показалось, что „новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе...; что весь этот мир, со всеми жилищами его сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих, или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который... тотчас исчезнет и искурится паром в темно-синему небу“. Петербург, воспринятый в свете социальных романов Эжена Сю, (который недаром упоминается тут же ²⁾), заставляет Достоевского создать себе в воображении собственный, особый мир, „новый город, с новыми зданиями“, как надстройку над старым, с его „сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами“. Герои юношеских повестей Достоевского как бы вторят этим собственным его грёзам. — „Но знаете ли, что мне пришло теперь в голову... — говорит одна из мечтательниц Достоевского (Настенька „Белых ночей“), — мне уже давно всё это приходило в голову. Послушайте, зачем мы все не так, как бы братья с братьями?“ ³⁾. Полу-христианский идеал утопистов, эта тоска по „новому городу“, где все будут „как бы братья с братьями“ чувствуется в мечтательстве и других героев Достоевского. Неточке Незвановой, еще совсем маленькой девочке, предстает уже, хотя и в детских еще формах, эта же мечта о „золотом веке“. „Богатый дом с красными занавесками“, который видит она из своего окна, помогает ей воплотить эту неясную мечту в конкретный образ. „Мы переселимся в этот дом, мечтает она, и будем в нем жить в каком-то вечном празднике и вечном блаженстве“, там будет „рай“ и всегдашний праздник ⁴⁾. Точно также, Ордынцов („Хозяйка“) в своих больных грезах „видел, как

¹⁾ См. „Петербургские сновидения“, фельетон Достоевского. „Русская Мысль“ 1916. январь, стр. 109.

²⁾ Ibid., с 108—109.

³⁾ Собр. сочинений, т. II, стр. 41.

⁴⁾ Ibid., стр. 83.

раскидывались перед ним волшебные роскошные сады, как слагались и разрушались в глазах его целые города... мыслили не бесплотными идеями, а целыми мирами, целыми созданиями". Источники этих „пророческих“ мечтаний Достоевского о „вечном празднике“, о „рае“, „волшебных роскошных садах“ делается особенно понятным, если вспомнить его показания пред Следственной комиссией в 1849 году и позднейшие отзывы о фурьеризме. „Фурьеризм — система мирная, — писал Достоевский в 1849 году, — она очаровывает душу своею изящностью, обольщает сердце тою любовью к человечеству, которая воодушевляла Фурье, когда он составлял свою систему, и удивляет ум своею стройностью“; фурьерист — это „мягкая, незлобивая, мечтательная душа“ ¹). И много лет спустя Достоевский изобразил фурьериста Липутина „упивающимся по ночам восторгами пред фантастическими картинками будущей фаланстеры“ ²). Такова же психология „мечтателя“: „Сколько любви, господи, сколько любви переживал я, бывало, в этих мечтах моих, в этих „спасениях“ во всё прекрасное и высокое“... — говорит Достоевский в „Записках из подполья“. Всё, впрочем, благополучно всегда оканчивалось ленивым и упительным переходом к искусству, т. е. „к прекрасным формам бытия, совсем готовым“ ³)... Очевидно, „прекрасные формы бытия“, о которых грезил „мечтатель“ Достоевский, и были „фантастическими картинками будущей фаланстеры“... Создав воображением эти „прекрасные формы бытия“, этот мир „сказочный и фантастический“, поверив в него, как в реальность, как в „пророчество“, „предопределение“, Достоевский готов, подобно Консидерану, воскликнуть: „Нет, это слишком красиво, чтобы не быть истинной, назначением человека, волей господ на земле“. — „Право, верить готов в минуту, — говорит он, — что вся эта жизнь — не возбуждение чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее“ ⁴). Отсюда — утопическая вера в произвол чуда, которым осуществится земной идеал — отсутствие историзма, как основная особенность мировоззрения Достоевского даже и позднейших периодов. „Я слепо верил тогда, — говорит „подпольный“ герой, — что, каким то чудом, каким то внешним обстоятельством всё это вдруг раздвинется, расширится... я получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их на род человеческий“ ⁵), — подобно воображаемому энтузиасту, которого целые годы ждал Фурье в своем кабинете, подобно героям и героиням Жюль-Санд ⁶) или фантастическому Икару Кабэ ⁷).

¹) См. Ч. Ветривский и Достоевский..., стр. 321, 322.

²) См. „Бесы“. Собр. сочинений, т. VII стр. 51.

³) См. Ibid., т. III, стр. 117.

⁴) „Вечные ночи“, см. Ibid., т. II, стр. 21.

⁵) См. Ibid., т. III, стр. 117.

⁶) Вальмарина (в романе „Lélia“), крестьянка Жанна (в романе „Jeanne“) и др.

⁷) Вся история Икара и созданного им государства Икарнии построена автором (Кабэ) по аналогии с историей Наполеона. Филантроп-преобразователь у Кабэ разбивает коалицию королей-ретроградов тоже в битве при Аустерлице. — И Достоевский в своих мечтах, подобно этому идеализированному Наполеону, „идет босой и голодный проповедывать новые идеи и разбивает ретроградов под Аустерлицем“. См. „Записки из подполья“ Собр. сочинений, т. III, стр. 117.

„Я был осужден за мечты, за теории“ ¹⁾), — писал впоследствии Достоевский, отождествляя свои „мечты“ и теории социализма; „мечтательный бред“, — говорит он в другом месте ²⁾), опять этим словом „мечтательный“ характеризуя свое юношеское увлечение утопиями.

Уже Белинский требовал изгнания „theologie“ из науки, возвещал гибель и несостоятельность романтизма, называя его провинциальностью; уже Буташевич-Петрашевский внушал своим верным последователям необходимость позитивных поправок к слишком фантастической и ненаучной системе Фурье. Это — предвестники 60-х годов.

Но Достоевский, за ним Плещеев и другие их единомышленники, в „книгах Фурье и его апостолов“ настойчиво искали и находили материал для „мечтательства“, — религию и поэзию гуманизма. Эту поэзию находил там Плещеев. Для него „золотой век, всё человеческое счастье будущего — лирический мотив. Его муза, обращаясь к поэту, говорит почти языком утопий.

„И ты пойдешь избранный мой Левит,
„И в мире голос твой не даром прозвучит
„Зерно любви в сердца глубоко западет;
„Придет пора и даст оно роскошный плод.
„И человеку той поры не долго ждать,
„Не долго будет он томиться и страдать.
„Воскреснет в жизни мир. Смотри — уж правды луч.
„Прозревшим племенам сверкает из-за туч.

(„Сон“ в сборнике Плещеева 1846 года).

Эпиграф из „Paroles d'un croyant“ — выдает источник этого своеобразного вдохновения: „La terre est triste et desséchée, mais elle reverdira. La haine du mechant ne passera pas éternellement sur elle, comme un soufflé, qui brûle“...

Юношеская дружба Достоевского и Плещеева скреплялась сходством настроений и верований.

События конца апреля 1849 года, — арест, суд и ссылка, — сразу оборвали эту жизнь одинокого „мечтательства“. Плещеев, так недавно еще до слез тосковавший о привычном быте кружка, теперь должен был в захолустном Оренбурге мириться с участью поднадзорного рядового. К Достоевскому судьба была еще строже. Но строгость эта оказалась целительной. Несомненно, он уже задыхался в спертom воздухе одиноких мечтаний, в кружковой обособленности. Позже он не побоялся, ведь, назвать эту одинокую жизнь приближавшимся безумием, душевной болезнью, арест же и ссылку — исцелением ³⁾).

Что сталося с юношеским мечтательством за годы каторги, что из него уделело в этом испытании огнем, в этой поверке жизнью, полной греха,

¹⁾ Письмо к Э. П. Тотлебену 1856 г. 5

²⁾ См. Собр. сочинений, т. IX, стр. 338.

³⁾ Письмо С. Д. Яновскому 1872 г. — см. „Биография, письма...“, стр. 316.

отчаяния и злобы — выяснить всё это сейчас не является нашей задачей ¹⁾. Но согласимся заранее: дальнейшая религиозная жизнь Достоевского во многом была предопределена этими двумя, сильно пережитыми и столь разнообразными моментами его мысли: „мечтательная“ религия гуманизма, отрицавшая органическую греховность „божественного“ человека, и Мертвый Дом, где надо было быть слепым, чтобы не видеть духовную изначальность греха, где всё в „божественном“ человеке смердело грехом. Из этого противоречия и других подобных, тоже подсказанных юношеским „мечтательством“, возникла та противоречивая сложность богопознания Достоевского, — сложность противоречий атеизма, религии гуманности и чистого первоначального христианства, — которой отмечены его большие романы от „Преступления и наказания“ до „Братьев Карамазовых“. Годы каторги вовсе не так легко и не бесследно стерли в душе Достоевского старые „мечтательные“ идеи, как это иногда представляют себе биографы. Темы юношеского „мечтательства“ не покидали Достоевского и на каторге, не покидали и потом во всю его жизнь; они сочетались только с новым жизненным и религиозным опытом, обострились и достигли подлинно религиозной глубины. Но этот процесс усложнения юношеского „мечтательства“ был долг; первые романы Достоевского после каторги („Дядюшкин сон“, „Село Степанчиково“, „Униженные и оскорбленные“), его публицистика в период журнала „Время“ мало чем разнятся от написанного и пережитого им в 40-х годах, и только отдельные проблески „нового“, словно зарницы, предвещают тут бурю „Подполья“ (1864 г.).

Иная судьба юношеских настроений Плещеева. Размеры и одаренность личности редко обнаруживаются сразу. Юноша Достоевский мог сливаться с Плещеевым, не сильно разниться от него (для поверхностного взгляда) в однотонности настроений и верований. Но роковое десятилетие (1849—59 гг.) до конца обнаружило скрытое прежде несходство. В Достоевском раскрылись неисчерпаемые возможности духовного роста; в Плещееве — душевная косность, неподвижность дюжинного человека. В 1859 году, возвратясь из ссылки, Достоевский был обладателем новых, им самим еще вполне нецененных духовных сокровищ. Плещеев, вернувшись из Оренбурга в Москву, каким-либо новым приобретением похвалиться не мог. С тем же лицом и голосом, что и прежде, он только потускнел немного, чаще стал говорить о литературных гонимых и ценах на квартиры. Но под этими житейскими морщинами — всё тоже знакомое лицо прекраснодушного „мечтателя“ 40-х гг.... Могла ли возобновиться и вновь окрепнуть старая дружба. То, что один хранил в себе как нажитое раз на всегда и неизменно ценное, другой, в лучшем случае, мог иногда припомнить с снисходительной и грустной улыбкой, а в дурную минуту и облить желчью сарказмов...

Всё же переписка между бывшими друзьями завязалась сейчас же, как только стала возможной, и, в особенности в начале, носила сердечный характер возобновляющейся близости. Писем Достоевского мы не знаем. Но ответы

¹⁾ Это — задача самостоятельной статьи, продолжающей настоящую.

Плещеева частью отражают мысли корреспондента, частью настолько характеризуют самого Плещеева, что угадать какова могла быть теперь у них степень душевного сродства и взаимного понимания — не трудно ¹⁾.

Только что произведенный в прапорщики и, наконец, свободный, Достоевский (в несохранившемся письме) из Семиналатинска в начале 1857 года извещал друга о своей предстоящей женитьбе. Этим, кажется, и началась переписка. Плещеев отвечал из Оренбурга. Он тоже свободен уже; писал государю лично и надеется на скорое возвращение в столицы; успел уже кое что напечатать в „Русском Вестнике“, теперь вступает в гражданскую службу. Узнав о женитьбе Достоевского, готов почти завидовать. „Вы нашли то, к чему так напрасно и горячо рвалось мое сердце с той поры как я начал сознавать себя человеком. Любящее, преданное существо... об этом я только смел мечтать — всё это только я видел во сне“. Так сразу выступают знакомые очертания „мечтателя“ Ломтева... Но Достоевскому интересен был новый облик старого друга. Очевидно, в своем письме он спрашивал о внутренних переменах. — „Что касается до жизни внутренней, как говорится, — торопливо отвечает Плещеев, заканчивая письмо, — об этом когда-нибудь потолкуем, мой друг, в иное время. Спешу чтобы не опоздать на почту“. И не раз еще на протяжении сохранившейся переписки такие запросы Достоевского заставляют Плещеева врасплох; он словно отговаривается, отмахивается от них: „об этом когда-нибудь потолкуем“, „дай бог поскорей нам сойтись“, „мне самому бы хотелось о многом с вами поговорить“, а пока письма заполняются чем-нибудь посторонним. Впрочем, они и сами собой выдают эту „внутреннюю жизнь“ Плещеева. Она неизменно та же, что и в 40-х годах. Надо только собрать вместе характерные штрихи и оттенки тут и там рассеянные в этих письмах, и тогда сам выступит знакомый уже образ... Плещеев спешил тогда в столицы, предвкушая встречи и знакомства. „Услышу снова толки о разных внушающих предметах... две, три личности хотелось бы увидеть“. В Петербурге и Москве встретил он, действительно, многих; старые знакомства возобновились, завел новые. В письмах к Достоевскому, оставшемуся всё еще в провинции, он не скупится на отзывы о своих старых и новых знакомых. Однообразие этих отзывов невольно бросается в глаза, оно характерно.

„Душевно рад, что вы получили, наконец, письмо от Каткова и деньги. Он, действительно, благородный человек“; „Тургенев — это личность в высшей степени симпатичная, любящая. Он всех влечет к себе с первого разу“; недаром кто-то „недавно выразился про Тургенева: племянник Иисуса Христа“. Некрасов „вообще — человек хороший,... человек сильно чувствующий, не лишенный теплоты“; А. П. Григорьев — „человек отличный. Сердце у него бесподобное“; граф Баранов — „это благороднейшая личность“; Головинский („петрашевец“) — „хороший малый, готовый на всё доброе“ „литератор

¹⁾ Письма Плещеева к Достоевскому за 1857—1864 гг., до сих пор не опубликованные принадлежат Пушкинскому Дому при Российской Академии Наук.

Михайлов — натура весьма симпатичная, добрая"; „мне жаль Панаева, он добрый был человек" и т. д. и т. д... Трудно поверить, чтобы за этими однообразными, словно заученными похвалами, скрывалось истинное внимание и вдумчивая проверка того или иного лица и характера. Тут, вероятно, как раз обратное: застарелые привычки кружкового „мечтательства", наивная гуманическая восторженность. Назвать Тургенева „племянником Иисуса Христа" мог только тот, кто хорошо воспринял в свое время и продолжал помнить и теперь рассуждения Валериана Майкова о „богоподобии" человека, „L'Humanité" Пьера Леру, „Nouveau Christianisme" Сен-Симона. И, конечно, в себе ошибался Плещеев, вдруг заявляя: „Довольно! прошла пора поклонения, великим личностям". Для Плещеева эта пора не прошла и теперь. Зато с неведомой для него остротой и болью в то время изживал ее Достоевский...

В письмах Плещеева много литературных суждений, главным образом, отзывов о литературных новинках. И опять Достоевский не мог, вероятно, не улыбаться грустно, узнавая и тут свое былое „мечтательство", „субботы" у Дурова. Но как прежде, серьезно соглашаться с Плещеевым теперь, конечно, уже не мог. Но и Плещеев защищался: „С тем, что вы говорите о таланте Некрасова я не совсем согласен. В нем есть и любовь, есть и сочувствие ко всему что, угнетено и страдает". Достоевский, конечно, улыбается; а пройдет четыре года, и карикатурный эпиграф в „Записках из подполья" будет выбран. „Из той же поэзии"...

Достоевский жил уже в Твери, когда друзья хлопотали в Петербурге приставляя в журналах новый роман „Село Степанчиково". В его успехе Достоевский не был уверен, и Плещеев спрашивал: „Отчего вы думаете, что он мне не понравится? И что вы разумеете под словами: мало любви? Если — любовную интригу, то я совсем не предпочитаю те повести, где она есть. Если же в нем нет любви к ближнему, к человечеству — словом, любви христианской, то это действительно недостаток, но я этого не могу предположить". Немисправимый „мечтатель", Плещеев не мог, очевидно, предположить и другого — того, что для его старого друга стало слишком очевидной истиной, добытой горьким опытом: что любовь к человечеству, процветавшая в кружках 40-х гг., и любовь христианская мало друг на друга похожи. И, вероятно, вскоре после этого письма, читая „Село Степанчиково" в „Отечественных Записках", Плещеев с наивным недоумением должен был остановиться над той страницей романа, где „мечтатель", племянник Ростанева, пытается по-своему объяснить загадочный характер Опескина, а Достоевский явно смеется и над ним, и над его объяснением: „С жаром начал говорить о том, что в самом падшем создании могут еще сохраниться высочайшие человеческие чувства; что нельзя презирать падших, а, напротив, должно отыскивать и восстанавливать; словом, воспламенился и рассказал даже о натуральной школе; в заключение же прочел стих:

Когда из мрака заблуждений...

Взаимное непонимание старых друзей еще не раз прорвется наружу в их запоздавшей переписке. В одном из своих писем Достоевский делился

впечатлениями от нового романа Тургенева („Накануне“). Плещеев рассердился. „Я на тебя, братец ты мой, был сердит за твой отзыв о романе Тургенева, — отвечает он... — Почему так легко жить болгару, посвятившему себя великому делу освобождения родины? Не знаю легко ли ему жить, но я бы желал пожить такой жизнью. Когда эти натуры несут на плаху голову во имя любви и правды, ужели они менее гамлетов и гамлетиков достойны сочувствия?“ Понять мысль своего корреспондента Плещеев не хочет или не может; но сердится, потому что задето одно из старых пристрастий: „герои человечества“ по прежнему имеют над ним обаяние. По прежнему, очевидно, любит он и верит в свои стили: „Вперед без страха и сомненья“... А Достоевский скоро совсем иным тоном расскажет об этих героических мечтах 40-х г.г.: „мечтал я ужасно, мечтал по три месяца сряду, забившись в свой угол... Я иду босой и голодный проповедывать новые идеи и разбиваю ретроградов под Аустерлицем... Все плачут и целуют меня (значит что же бы они были за болваны)... затем играется марш... и т. д. („Записки из подполья“). „Мечтательство“ Плещеева не испытало таких горьких переживаний. Он не изменился. Не изменился даже в мечтах. Сохранилось, например, старая привычка чуть-ли не в каждом письме осведомляться или осведомлять корреспондента о товарищах по кружку. „Головинский был у меня. Он все тот же“... „Говорят Европеус в Твери страшно ораторствовал. Опиши мне, что там было“; „правда ли, что Спешнев в Петербурге? Видел ли ты его и что он — переменялся ли? Пожалуйста, поклонись от меня усердно“; „Что Головинский?“... и т. д.

Есть несколько слов в одном из последних писем Плещеева, которыми объяснил он до конца, сам того не сознавая — почему не могло уже быть у него прежней дружбы с Достоевским. Он говорит тут о новом, затеваемом в Москве журнале и боится — пойдет ли он. И вот признание: „Нужно сказать новое слово... а где оно? А старым... не привлечешь“. Плещеев все еще не рассмотрел и не понял, чем стал, или, вот именно в тот момент, чем становился его бывший друг. Иначе не сказал бы этих слов, не сказал бы с такой наивной уверенностью, что согласится и Достоевский не иметь своего „нового слова“... Но лучше, конечно, понимал своего бывшего друга Достоевский. И потому слишком ясно должен был видеть, что дружба их — только в прошлом. В 1862 году, когда написано было это письмо, он весь трепетал и содрогался ощущением в себе того, „нового слова“, которое призван был сказать и уже начинал выговаривать. Самое выражение это — „новое слово“ — он не переставал повторять тогда и, конечно, имел на то право. 1862 год — разгар его новой публицистики; неясные еще мысли о „почве“ опьяняли и манили к себе, как неизведанная тайна; в нем прирастал уже давно бродивший в воображении замысел „Преступления и наказания“... Старого „мечтательного“ сродства с Плещеевым не стало. И дружба, когда-то возникшая из него, должна была неизбежно заглотнуть. Как-то незаметно и затеялась она в деловых и житейских мелочах. „Мне нужно 150 руб. Некрасов нынче туг стал на деньги. Нужно вносить плату за детей в гимназию и подошел срок квартиры; а контракт у меня анафемский. Я у тебя не долг требую, а прошу ссудить меня“ и т. д.

Но если старой дружбы теперь и не стало — сохранилась память о ней. А беречь старые воспоминания умел Достоевский. В 1865 году Стелловский выпустил новое издание „Белых ночей“. На книжке значилось: „Вновь просмотренное самим автором издание“. И вот просматривая свою старую повесть, Достоевский, очевидно, вспомнил что-то и сделал небольшие поправки. Внимание к себе привлекало одно место в рассказе „мечтателя“: „Этот сад., где они так часто ходили вдвоем, надеялись, тосковали, любили“... Так читалось оно в журнальном издании 1848 года. Теперь, вновь пересматривая, Достоевский продолжил эту фразу, усилив ее лиризм: „Тосковали, любили, любили друг друга так долго, так долго и нежно“. Поправка подсказана была памятью о прошедшем. Этот первый стих известной пьесы Лермонтова — „Они любили друг друга так долго и нежно“, почему-нибудь особенно дорогой, когда-то был выбран Плещеевым, как эпиграф к одной его ранней повести („Енотовая шуба“ 1847 г.); а затем он же отозвался и в „Дружеских советах“. Ломтев мечтал о том, как „она бледная и дрожащая, прерывая рыданиями слова свои“, будет ему признаваться: „Я любила тебя... любила так долго и тайно“. И теперь, в 1864 году, внося маленькую эту поправку в свою юношескую повесть, Достоевский еще раз подчеркнул и отметил ее исконное родство Плещееву. Был, значит, в той старой „мечтательной“ дружбе и настоящий лиризм. И нетвердая память Достоевского в этом не изменила ему.

Н. К. Михайловский в деле Каракозова.¹⁾

Сопоставление имени Каракозова с именем Н. К. Михайловского может несколько удивить читателя. Никогда в списке каракозовцев Н. К. Михайловский не фигурировал, ничего об его отношении к каракозовскому процессу, а тем более к покушению Каракозова на жизнь императора Александра II,—мы не знаем. Откуда же такое сопоставление?

Оно объясняется довольно просто. Дело Каракозова одно из наименее изученных в истории нашего революционного прошлого. Только теперь, после того, как революция открыла все архивы для общего пользования с научными целями, каракозовское дело стало доступным и начало изучаться. При этом почти сразу же в нем оказались новые документы, дающие нам право поставить вопрос о том, не находился ли в каком либо отношении к событиям того времени, связанным с поступком Д. В. Каракозова, будущий крупнейший русский теоретик революционного движения — Ник. Конст. Михайловский? Странного тут ничего нет, так же, как нет ничего неожиданного. Предположение о какой-то причастности Михайловского к каракозовским кружкам могло возникнуть и раньше на основании „Литературных воспоминаний“ самого Михайловского. Читатель, вероятно, помнит, как Михайловский рассказывает там о своих первых шагах на литературном поприще, о знакомстве с кружком литературной богемы 60-х гг., для описания жизни которой „нужно было бы перо Мюрге“ (том VII, стр. 41), о том, как совсем еще юношей он вошел в кружок Курочкина, — Ник. Степ., брата переводчика Беранже и издателя „Искры“, — и как в то же время у него завязались тесные сношения с „неким Николаем Дмитриевичем Ножиным“, сыгравшим огромную роль в его жизни, так же, как впрочем, не прошедшим бесследно и в жизни других выдающихся русских людей, даже

¹⁾ Настоящая статья была написана еще в мае 1918 г., когда архив III-го Отд. находился на хранении в Пушкинском Доме при Академии Наук. Дело о Н. Д. Ножине было мной тогда получено через Б. Л. Модзалевского. После того в печати появились некоторые новые материалы по делу Каракозова, которыми и я воспользовался для дополнения своей работы. Это относится, главным образом, к „Запискам гев. Черевина“ (Кострома, 1918), которые вышли в свет после того, как я закончил свою статью, и к некоторым другим документам, в своем месте указанным в моей статье.

Автор.

крупнейших ученых своего времени, напр., А. О. Ковалевского, а отчасти даже и И. И. Мечникова ¹⁾).

Это был,—пишет о нем Михайловский,— молодой еще человек брызжущего ума, сверкающей фантазии, огромных способностей к труду и обширных знаний (по биологии). Я его изобразил впоследствии под именем Бухарцева, в своих полубеллетристических очерках „В перемешку“. Это изображение очень точно, за исключением, конечно, отношений Бухарцева-Ножина к сочиненной фавеле очерков. Курочкин, знавший Ножина раньше, благоволил перед ним. Желавшие познакомиться с Ножиним благоволят обратиться к упомянутым очеркам“ ²⁾).

С Ножиним-Бухарцевым Н. К. Михайловский начал работать в маленьком библиографическом журнальчике „Книжный Вестник“, выходившем с апреля 1860 г. по июль 1867 г. Когда именно вступили в него Ножин и Михайловский в точности, к сожалению, не установлено. Известно, однако, что с № 22 от 30 ноября 1865 года „Книжный Вестник“ стал выходить *под редакцией* двух новых молодых друзей, но сотрудничали в нем они, повидимому, и раньше, быть может еще до личного знакомства друг с другом. По крайней мере, с февраля 1865 года мы встречаем уже в „Книжном Вестнике“ статьи и заметки, почти наверное принадлежащие Н. К. Михайловскому и притом очень характерные.

— „Стали мы работать в „Книжном Вестнике“ с чрезвычайным усердием, по крайней мере, мы с Ножиним,—рассказывает Михайловский.—Всё шло, как следует, но в самом конце марта 1866 года Ножин опасно заболел, говорят, тифом. Заболел он на квартире у Курочкина, откуда его пришлось отправить в больницу, и там его быстро скрутило: 3-го апреля он умер. На другой день, 4-го апреля, всю Россию всполошил каракозовский выстрел. 6-го апреля мы хоронили Ножина, даже в уме не имея, чтобы он мог состоять в каком-нибудь отношении к злощастному выстрелу. Я и до сих пор не знаю,—продолжает Михайловский,—и на эти его слова мы обращаем особенное внимание читателя,—какое это было отношение и даже было-ли какое-нибудь. В одном из первых официальных сообщений Следственной комиссии имя Ножина поминалось, но всего один раз; ни кого из прикосновенных к делу я никогда у Ножина не видал, даже фамилий их от него, хотя бы случайно, не слышал, равно как не слышал от него никаких разговоров, которые намекали бы на какое-нибудь его участие в подобном деле“ ³⁾.

Дальше Михайловский говорит о панике в обществе, произведенной делом Каракозова, об арестах среди знакомых Ножина,—арестовали Курочкина и Зайцева, и затем прибавляет:

¹⁾ Подробнее об этом, см. в ст. С. Г. Сватикова о Н. Д. Ножине в № 10 „Голос Мин.“ за 1916 г. На эту статью в дальнейшем мне придется делать неоднократные ссылки, имея в виду ее чрезвычайно ценный биографический материал о Ножине.

²⁾ „Литературные воспоминания“. Сочинения, том VII, стр. 17.

³⁾ См. т. VII, стр. 17. Писано в марте 1891 г.—Курсив мой.

„И был лишь призываем к допросу: спрашивали о Ножине, я сказал всё, что знал, но оказалось, что интересного для следствия я ничего не знал“... ¹⁾

Итак, вот собственное показание Н. К. Михайловского об его отношении к делу Каракозова. Не только сам он никакого отношения к этому делу не имел, но даже не знал, был ли в какой прикосновенности к нему его ближайший друг и сотоварищ по работе в „Книжном Вестнике“ — Н. Д. Ножин. По крайней мере, никого из участников дела он у него никогда не видал, фамилий их от него, хотя бы случайно, не слышал, и сам, будучи призванным на допрос, показал по делу всё, что знал, но оказалось, что интересного для следствия он ничего не знал. Какие же тут могут быть споры и о каком отношении Михайловского к делу Каракозова мы намерены говорить?!

Показание Н. К. Михайловского в Следственной комиссии гр. М. Н. Муравьева теперь разыскано в архиве III-го Отделения, и находится в папке под заглавием: „Производство высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии.—О кружках знакомых коллежского секретаря Николая Ножина и причине его смерти.—Начато 29-го апреля 1866 года. Кончено 18 февраля 1867 г. На 137 листах.— По описи № 273“. На деле есть пометка: „При сем следуют бумаги и книги в трех больших связках № 27 и 61 и четырех пакетах № 71, 82, 86, и 152“. Связок и пакетов при деле не оказалось; где они находятся неизвестно.

Показание Н. К. Михайловского, представляющее очень большой интерес для его биографии, написано им собственноручно и занимает листы 96-97 дела. Оно заключает в себе два полных полулиста и часть третьего. Ниже я привожу полностью всё то, что тогда показал Михайловский, и делаю его показанию тщательную проверку. Мы увидим там, что вопреки категорическому утверждению в „Литерат. воспоминаниях“, Н. К. Михайловский на допросе не только не показал всё, что знал, как он писал впоследствии, но, совершенно напротив, он не сказал ровно ничего из того, что знал,—это во первых. И во вторых, не может быть сомнения, что ему были известны многие факты, очень интересные для следствия, но тщательно скрытые от следователя молодым Михайловским. Всем этим обстоятельствам мы придаем очень большое значение и подробно на них ниже остановимся.

Таким образом, категорический тон приведенной цитаты из „Литерат. воспоминаний“, чем бы он ни объяснялся,—не может на нас теперь действовать так, как он действовал раньше, особенно в то время, когда эти воспоминания писались, то-есть в начале 1890-х гг. Но то же самое мы должны сказать также о другой части приведенных выше слов Н. К. Михайловского, где он говорит, что никогда никого из лиц, прикосновенных к делу Каракозова, он у Ножина не видал, даже фамилий их от него, хотя бы случайно, не слышал...

Даже фамилий не слышал. Для биографа Н. К. Михайловского эти слова не могут не показаться странными, если хотите, даже загадочными

¹⁾ Сочинения, т. VII, стр. 18

Они ставят перед нами целый ряд вопросов и вызывают целый ряд сомнений. Целый ряд фактов убеждает нас, что приведенные утверждения Н. К. Михайловского совершенно не соответствуют действительности. Не станем опять таки касаться пока вопросов, невольно сейчас же возникающих:—если эти слова невероятны, то зачем они сказаны? к чему это категорическое отрицание в такой утрированной к тому же форме? Попробуем сначала разрешить простой объективный вопрос: могло ли быть то, что говорит Михайловский; допустимо ли у него полное незнание с лицами, группировавшимися около Ножина, или нет? Достаточно поставить такой вопрос, чтобы ответить на него, притом на основании бесспорных фактов, отрицательно. Несколько таких фактов я позволю себе здесь привести немедленно, так как без них станет невозможным всё мое дальнейшее изложение с его попыткой определить, пусть даже только гипотетически, отношение Михайловского к тогдашним каракозовским делам.

Каракозовское дело развивалось сразу в двух городах: в Москве и в Петербурге. В Москве центральную роль играл Ишутин, а около него группировались Николаев, Юрасов, Загибалов, Странден, Ермолов и др. студенты Московского университета, по большей части, уроженцы Пензенской губернии. Политическая группировка там выросла из группировки по землячествам,—факт, уже отмеченный некоторыми исследователями. Вполне допустимо, что фамилий участников московского кружка Н. К. Михайловский мог не слышать от Ножина; весьма вероятно, что никого из них он у него не видал и вообще нигде их не встречал. И если,—что тоже возможно,—под каракозовцами Михайловский понимает, как это в общем принято у нас, главным образом, москвичей, то слова его станут вполне правдоподобными. Но, ведь, к каракозовским кружкам были причастны также и петербуржцы, представлявшие самостоятельное отделение и имевшие своих собственных руководителей, притом таких, которых Н. К. Михайловский не мог не знать, не мог не видеть их там же, где бывал постоянно один ли или вместе с Ножиным.

В Петербурге руководящим лицом у каракозовцев был Иван Александрович Худяков, человек, несомненно, очень крупный и талантливый. Роль Худякова в деле и в процессе каракозовцев до сих пор недостаточно выяснена, между тем она там была более, чем значительной. В сущности Худяков был центральным лицом всего дела каракозовцев, как самый крупный, самый талантливый и наиболее радикально настроенный человек. Против Худякова, после его ареста, вел самую энергичную кампанию в „Моск. Ведомостях“. Катков, считавший его,—и с полным основанием,—интеллектуальным виновником покушения Каракозова ¹⁾. Сами каракозовцы были, как

¹⁾ См. напр., в передовой статье № 168 за 1866 г.—„Из всех лиц, привлеченных к следствию по делу Каракозова, не исключая самого Каракозова, только одно оказывается имеющим серьезное политическое значение. Как велико это значение, об этом трудно судить по тем скудным данным, которые дают себя извлечь из статьи „Северной Почты“, но, несомненно, что единственное лицо в этом деле, имеющее поли-

известно, настроены против покушения и предпринимали ряд усилий, чтобы остановить Каракозова от выполнения задуманного им покушения. Роль Худякова, поскольку это можно судить по его „Автобиографии“, хотя она и написана с очень многими умолчаниями, была, повидимому, несколько иной. В нем Каракозов нашел опору и поддержку и с его помощью довел свое дело до конца. На допросах Худякова так и спрашивали: „Вы направили удар?“. Каждый допрос начинался и кончался такими обвинениями ¹⁾. Что Худяков был принципиальным сторонником цареубийства, это видно из той же его „Автобиографии“, несмотря на всю ее недоговоренность. Любопытно отметить, что на той же точке зрения он оставался и позже, будучи уже сослан на поселение в Верхоянск. Среди архивных дел III-го Отделения, ныне разысканных, находится, между прочим, донос неизвестного нам человека (подписан несомненным псевдонимом: „А. Трофимович“), донос на Худякова, посвященный изложению его взглядов на покушение Березовского на Александра II в Париже 25 мая 1867 г. Интересуясь положением Худякова в Верхоянске и внимательно следя за его образом мыслей, III-е Отделение командировало к нему своего агента, приехавшего в Верхоянск, сколько можно судить по доносу, под видом купца.—Втершись в доверие к Худякову, Трофимович интервьюировал его по целому ряду пунктов в том числе и об отношении к цареубийству. Вот что он доносил в последнем случае:

— „При разговоре о покушении, бывшем 25 мая в Париже, Худяков сказал, что государь очень счастлив, избежав два раза от направленных на него выстрелов, но что все-таки это не спасет его, и он революционерами обречен на смерть“ ²⁾.

тический характер, (курсив подл.) это есть непоименованный агент, живший в Петербурге, издававший народные книжки и ездивший летом прошлого года за границу“. — „Вышеупомянутое лицо, очевидно, по своему образованию и роду жизни, принадлежит к гораздо высшему общественному уровню, чем Каракозов и все его московские товарищи“, и пр. Речь идет тут о Худякове. Далее Катков называет его тем „искусителем“, который и подтолкнул Каракозова на его поступок. В № 202 от 27 сент. 1867 г. Катков подчеркивает, что—„обвинение преследовало Худякова, как главного зачинщика“. Катков по тому и был, между прочим, недоволен Муравьевым, что его комиссия не сумела установить для всех очевидную вину Худякова и тем спасла его от петли.

¹⁾ См. Автобиография Худякова. Женева 1882, стр. 128. Перепечатана с сокращениями, в „Истор. Вестн.“ 1906, №№ 10-12.

²⁾ Донос Трофимовича был представлен иркутским ген.-губернатором Корсаковым шефу жандармов гр. П. А. Шувалову при следующем сопроводительном письме: — „Долгом считая препроводить вашему сиятельству полученные мною от якутского губернатора и советника Лохвицкого совершенно секретные сведения о преступнике Худякове“. (Письмо за № 5597 от 18 окт. 1868 г.) Донос Трофимовича чрезвычайно дорого обошелся Худякову: он сошел с ума в Верхоянске в 1870—1871 г.г., но его и больного не выпускали оттуда. Переписка по этому поводу, имеющаяся в III-ем Отделении рисует страшную, трагическую картину агонии в якутских тундрах талантливого и погубляющего ученого. Когда Худякова, наконец, разрешили вывезти из Верхоянска, он был уже безнадежно болен и умер в Иркутске в больнице в 1876 г. Документы о Худякове, которые я тут цитирую, тоже находятся в архиве III-го Отделения, но не в деле о Ношине, а в особом деле о Худякове.,

И дальше Худяков подробно аргументирует свое мнение, доказывая Трофимовичу, что иначе нельзя поступить. Царь и революция взаимно исключают друг друга. Первый шаг революционеров должен быть направлен против царя. „Худяков сказал, что это в данном случае извинительно и необходимо“, — доносит Трофимович. Извинительно прибегнуть к царубийству, ради общего блага. Необходимо потому, что „нельзя обойтись без царубийства“. — „Государь и их фамилии не так легко откажутся от своей власти и, пока будут живы, всегда найдут приверженцев и будут стараться вернуть себе власть, и это поведет к беспрерывным кровопролитиям, то в отвращение подобных покушений лучше пожертвовать жизнью нескольких царственных особ“.

Следует отметить, что и в процессе каракозовцев Худяков занимал первоначально центральное положение. Представители прокуратуры, составившие так же, как и Следственная комиссия Муравьева, обвинительный акт, ставили его на первое место, и ему грозила, в случае, если бы обвинение подтвердилось, самое высшее наказание, которого и требовал для него Катков, — смертная казнь. „Веревок у нас много, мы их всех перевешиваем“, — открыто при подсудимых рассуждали члены комиссии („Автобиография“, стр. 138). — Но Худяков отделался ссылкой на поселение, так как суд отверг те обвинения, которые ему вменялись. Чтобы понять такой приговор, как бы опровергающий все предположения о близком участии Худякова в покушении Каракозова, надо помнить, что суд над каракозовцами (но не над самим Каракозовым) происходил в исключительной обстановке. Это был первый политический процесс при новых судебных уставах. Каракозовцев судили не так, как судили впоследствии, а с соблюдением юридических гарантий. В приговоре суда встречаются даже эти слова: — „юридически неизобличенного“ в том или ином преступлении. Так случилось и с Худяковым: — несмотря на все улики против него, — а этих улик накопилось очень много, виновность Худякова не была установлена юридически, и он, вместо смертной казни, к великому негодованию Каткова, ничуть этого не скрывавшего, получил всего только ссылку на поселение.

Я сделал это отклонение в сторону для того, чтобы читатель мог составить себе некоторое представление о Худякове и его роли в деле Каракозова. Я должен напомнить также здесь, что Худяков являлся не только революционером обычного типа, — это был молодой ученый и литератор, очень популярный в то время в интеллигентных кружках Петрограда. У него были большие связи в литературной среде, в частности, он был в близких отношениях с редакцией „Современника“ и в особенности с Гр. Зах. Елисеевым¹⁾. Для нас и этот факт представляет специальный интерес, так как в то же время с тем же Елисеевым поддерживал знакомство и Н. Д. Ножин. По

¹⁾ См. об этом у Михайловского. Сочинения, т. VII, стр. 466, слова Елисеева „И. А. Худяков, очень ко мне близкий молодой человек, хорошо меня знавший, к которому я был очень привязан“ и пр. О научных работах Худякова по фольклору см. у Пылина в „Истории русской этнографии“, т. I, с. 34; т. II, с. 225, 316; т. IV, с. 164, 462.

крайней мере, в моих материалах есть указание, полученное мною в свое время от Е. Н. Водовозовой, на то, как она в 1865 году встречала у Елисеева Ножина и Михайловского, с одной стороны, и Худякова, с другой. Трудно поверить, чтобы, бывая одновременно у Елисеева, будучи все трое молодыми начинающими литераторами, одинаково серьезно занимающимися смежными научными проблемами, они остались бы неизвестными друг с другом, если только такого знакомства не установилось между ними еще раньше, что вполне возможно. Итак: — мы имеем полное основание предположить, что Н. К. Михайловский в 1866 году, во время выстрела Каракозова, после того, как начались аресты, и был арестован в числе других Худяков, не мог бы не вспомнить, что фамилии этих лиц он слышал и раньше, а, может быть, и лично с ними встречался.

В частности, он их должен был слышать от Ножина. Знакомство Ножина с Худяковым — факт, прочно устанавливаемый, помимо других источников, документами по делу Каракозова. В том самом деле о Ножине, которое мы здесь исследуем, первым же был допрошен Худяков. Он дал (см. лист 5-ый) следующее показание:

„1866 года апреля 29 числа честь имею объяснить, что Ножин помер (как помнится, 1-го или...) до свадьбы Никольского; на похоронах его я не был; кто распоряжался не знаю, но знаю, что на похоронах Ножина были Александр Лебедев и Николай Курочкин. — Домашний учитель Иван Худяков...¹⁾“

Из этого показания совершенно ясно, что Ножин был знаком с Худяковым.

Затем у Курочкина оказался при обыске адрес Худякова: „На Васильевском Острове, на углу Большого проспекта и 9 линии, д. Холм. — Худякову“. — „Адрес этот принадлежал покойному Ножину“, — показал 30 апр. 1866 г. на допросе Курочкин. И, действительно, он написан рукой Ножина и взят у Курочкина в ножинских бумагах. Что же касается самого Худякова, то сначала Курочкин пытался категорически отказаться от знакомства с ним. „Я с Худяковым не знаком, — прямо заявил он. — Какие были отношения Худякова к Ножину, я не знаю“. Однако, Курочкин прибавил к этому, что он видел раза два Худякова (не будучи с ним знакомым), но где именно, — не припомнит. Вероятно, по поводу какого либо издания“.

Комиссия этим ответом не удовлетворилась и потребовала от Курочкина точного указания, когда и где он виделся с Худяковым. Вопрос был поставлен в очень категорической форме. — „При всем желании, — заявил Курочкин, — положительно не могу вспомнить это; помню только, что этому месяца три или четыре. Едва ли это было не в книжном магазине Сеньковского или в магазине Яковлева. Перед тем в прошлом году я видел его у Ножина“.

Наконец, в июне месяце Курочкин внес еще одно изменение в свое показание о Худякове: „Объясняю, что познакомился с ним я у Елисеева, со-

¹⁾ Слова в скобках — зачеркнуты. Об Александре Лебедеве и Никольском, о которых здесь упоминает Худяков, см. ниже. И Лебедев и Никольский входили в состав петербургского кружка каракозовцев.

трудника „Искры“, года два тому назад и, как я вспоминаю, в июле месяце прошлого года встретил его жену у Зайцевых в Коломнах, ехал вместе с нею в город и был приглашен ею к ним и там обедал. Последний раз видел я его не в книжном магазине, как мне казалось, а на литературном чтении в пользу бедных, происходившем в посту, в зале Венардаки. У меня же года полтора он не бывал; и прежде, как я вспомнил, был раз или два, но когда именно, не помню, так как в близких отношениях с ним я не был¹⁾.

Эти показания устанавливают два ряда фактов. Во первых, несомненное и, притом, конечно, близкое, знакомство Курочкина с Худяковым, несмотря на все его оговорки к своим словам. Этот ряд фактов важен в том отношении, что им почти решается вопрос о неизбежности личного знакомства с Худяковым не только перечисленных только что лиц, но и Н. К. Михайловского. Везде, где бывал Михайловский: у Елисеева, у Ножина, у Курочкина, — бывал и Худяков.

Кроме того, показание, данное Курочкиным, устанавливает и приблизительно дату знакомства Ножина с Худяковым. В июне 1866 г. Курочкин показал, что „в прошлом году“ он видел Худякова у Ножина. Очевидно, осенью 1865 г. они во всяком случае были уже знакомы.

Возможно, впрочем, что знакомы они были еще и раньше. Сделать такое предположение заставляет нас следующий факт. В деле о Ножине есть цитата из какого то письма, ни автор этого письма, ни адресат не были установлены. Установлено лишь, что письмо из-за границы. Датировано оно апрелем 1865 г. Автор этого письма сообщает, что он — „получил от Ножина до сих пор (15 апр. 1865 г.) только коротенькую записку касательно дела Худякова“ (л. 7 дела о Ножине).

В апреле 1865 г. Худяков находился за границей, в Женеве. В этом году он издал там, между прочим, свою брошюрку — „Для истинного христианина“, под псевдонимом — „Игнатия“ (Женева, 1865). Ножин же из-за границы (он туда выехал в 1861 г.) вернулся в Россию, как это теперь видно из документов III-го Отделения, в конце 1864 г., когда Худякова в Петербурге не было. Осенью 1864 г. мы видим Ножина уже в Тамбовской губ., у его матери, по второму мужу Де-ля-Гарди. Следовательно, познакомиться в России они не могли, а всего вернее, судя по только что приведенному письму, встретились еще за границей, вероятно, в первые месяцы пребывания там Худякова; вернувшись же в Россию, поддерживали друг с другом тесные отношения. С осени 1865 г. и тот и другой, хорошо уже зная друг друга с за-границы, входят в петербургский кружок каракозовцев и занимают в нем выдающееся положение, если не прямо центральное.

Среди материалов, имеющих у меня, помимо архивных, есть, между прочим, рукописная справка о Ножине, принадлежащая старому каракозовцу В. А. Черкезову, в которой я нахожу такие слова:

¹⁾ Бумаги Н. С. Курочкина, взятые в свое время у него при аресте, были ему возвращены в 1867 г., в два приема, 10 января и 14 августа. В настоящее время они находятся в Пушкинском Доме. Показания Курочкина о них см. в деле по описи № 203 в архиве III-го Отделения.

„Ближайшим человеком у каракозовцев в Петербурге был И. А. Худяков, а также был близок Александр Никольский, переводчик „Образования человеческого характера“ Оуэна. Из молодых, вращавшихся вокруг него, мне помнятся имена инженера Павла Михайлова, Германа Лопатина и Ножина. У каракозовцев были связи и с народнической фракцией „Современника“, — Гр. Зах. Елисеев, В. А. Слепцов. — Ножин, если не ошибаюсь, был тоже знаком со Слепцовым“¹⁾.

Помимо В. А. Черкезова, его хорошо помнит, упоминаемый Черкезовым, Герман Александрович Лопатин; и в моих материалах о Ножине есть рассказ Лопатина о выступлении Ножина на диспуте Александра Онуфр. Ковалевского в Петербургском университете, диспуте — „очень точно“, — по словам Г. А. Лопатина, — описанном в очерках Н. К. Михайловского „В перемену“, где Михайловский воспроизводит речь Бухарцева (Сочинения, т. IV, стр. 268).

Таким образом, мы видим, что круг знакомых Ножина в наших глазах расширяется всё больше и больше. Он несомненно и давно уже знаком с Худяковым, игравшим центральную роль в среде каракозовцев. У него обширные связи в литературной среде, — Елисеев, Слепцов, с одной стороны, Курочкины, с другой. Через Курочкина Ножин имеет доступ в „Искру“, где помещает в № 8 за 1865г. статью против Писарева и Зайцева²⁾, факт очень интересный и заслуживающий большого внимания, так как в этой статье Ножин выступает противником индивидуализма „мыслящих реалистов“ и защищает социалистическую точку зрения в духе Чернышевского и позднейшей народнической социологии Лаврова и Михайловского. Отметим, между прочим, что некоторое отношение к кружку Ножина имеет также и сам Петр Лаврович Лавров, — его имя мелькает в некоторых показаниях: он знаком с Зайцевым и Николаем Курочкиным, с ним Зайцев советуется (показание Конради, лист 87—88), куда

¹⁾ Об отношениях Г. А. Лопатина и Худякова см. в статье Г. А. Лопатина (анонимной) в двухнедельнике П. Л. Лаврова — „Вперед“ № 45, от 15 дек. 1876 г. (перепеч. в кн. „Г. А. Лопатин. Автобиография. Показания, Статьи, Петр., 1922). Статья чрезвычайно важна для характеристики каракозовцев. Об инженере Павле Михайлове см. в докладной записке гр. Муравьева императору Александру II, поданной летом 1866 г. Она напечатана в статье В. Евгеньева — „Дело Каракозова и редакция „Современника“ — „Заветы“, июль, 1914, о Михайлове, стр. 88. — Там же см. об Александре Никольском и Александре Лебедеве, (стр. 66), где говорится, как Никольский был послан Худяковым в Москву организовывать побег Серно-Соловьевича, и стр. 83 — о школе Европеус, в которой преподавали — „жена известного Худякова, Никольский, Лопатин, Лебедев и иные подобные“. О Никольском см. также „Автобиографию“ Худякова, стр. 104, 108, 109, 120, 123, 139. Про Никольского Худяков, между прочим, пишет: — „Никольский был одною из светлейших личностей, которых я только встречал в своей жизни“. Все трое: Худяков, Лебедев, Никольский — родственники. Худяков и Никольский были женаты на родных сестрах Лебедева и жили вместе на одной квартире перед 4 апреля. Все эти справки очень важны при определении отношений Н. К. Михайловского к каракозовцам.

²⁾ „По поводу статей „Русск. Слова“ о невольничестве“ Зайцев тогда доказывал, на основании Дарвина, что невольничество вполне нормально, так как объясняется дарвинским законом борьбы за существование. Ср. у Михайловского. Сочинения, т. V, ст. 306 и др.

перевести больного Ножи́на. Когда Ножи́н умер д-р Конради обратился к тому же П. Л. Лаврову со следующим письмом:

— „Петр Лаврович. Передайте, пожалуйста, Курочкину (адрес которого мне неизвестен), что Ножи́н умер сегодня утром, в 8½ часов. В момент смерти я его не застал, но пришел по окончании агонии. Курочкин, может быть, знает его родных, или его знакомые захотят его, если не похоронить, то быть, по крайней мере, на казенных похоронах. Если не будет до завтра особенных препятствий, то я вскрою его, тем более, что вскрытие может быть очень интересным“.

Почему вскрытие может быть интересным из письма д-ра Конради, к сожалению, не ясно.

Письмо это датировано 3 апреля. Оно написано накануне покушения Карамозова, выстрел которого, по словам Михайловского, „восполинил всю Россию“. Повидимому, Лавров тотчас же отправил эту записку Н. С. Курочкину, сделав на ней передаточную надпись:

— „Многоуважаемый Николай Степанович, посылаю Вам в оригинале печальную записку Конради. Жалею, что молодые силы погибли рано, хотя я не сочувствовал Ножи́ну, но искренне жалею о нем“. Подпись: — „П. Лавров“¹⁾.

Сопоставляя все эти факты, мы видим, что Ножи́н вращался в самых интимных кругах тогдашней центро-бегемы, и то и дело, от обще-литературных связей, по которым его и знал несомненно П. Л. Лавров, переходил к связям чисто революционным. Круг его знакомств был очень широк; на одном фланге тут стояли люди чистой науки (см. об этом также у Саватикова) и литераторы, на другой — революционеры. Конечно, знакомства эти перемешались и образовывали тесно спутанный клубок. С тем же Н. С. Курочкиным Ножи́н познакомился еще за границей во Флоренции, в 1868 г., когда встречался с Бакуниным и Львом Мечниковым. Такой же спутанный клубок всевозможных знакомств образовался у него и в Петербурге.

Наметая этот круг знакомых Ножи́на, мы, без всякого риска ошибиться, можем предположить, что все его знакомые были одновременно и знакомыми Н. К. Михайловского, непосредственно или по наслышке. Не слышать о них от Ножи́на чего-либо, хотя бы только случайно, Михайловский никак не мог. Но у нас есть и документальные основания для такого предположения. Мы видели выше, как Худяков показал, что сам он не присутствовал на похоронах Ножи́на²⁾, хотя и состоял с ним в давнем уже общении, но что там были Николай Курочкин и Александр Лебедев. Лебедев — родственник Худякова, брат его жены. Лебедев привлекался к карамозовскому делу, как один из ближайших участников всех их обще-социалистических предприятий. Через Лебедева до Худякова так же близко, как через Курочкина до Михайловского. Был ли, однако, Михайловский знаком с Лебедевым, мог ли слышать хотя бы его

¹⁾ Из бумаг Н. С. Курочкина, хранящихся в Пушкинском Доме. Получены мною через П. Е. Щеголева.

²⁾ Повидимому, по личным причинам. О том, как он жил эти дни (конец марта и начало апреля) см. в его „Автобиография“, стр. 96—110.

фамилию от Ножина, если уж не фамилию Худякова, с которыми Лебедев находился в постоянных и очень близких сношениях? Имя Лебедева проходит по всему делу о Ножине, по всем показаниям и по всем почти листам. Лебедев фигурирует там, как один из постояннейших посетителей квартиры Ножина, один из его ближайших знакомых, и некоторыми свидетелями имя Лебедева ставится за одни скобки с именем Н. К. Михайловского. Квартирная хозяйка Ножина, дворянка Устинья Тараскевич, показала:— „Ножина посещали многие знакомые, но из них я знаю фамилии только двух братьев Курочкиных, Зайцева, Орлова, который несколько даже дней жил у Ножина, Михайловского и Лебедева. Вообще,—прибавляет Тараскевич,—у Ножина бывало много гостей, которые собирались к нему по вечерам, в числе человек до 20-ти, и просиживали у него всю ночь. Занимались они чтением и разговором о научных предметах“ (показание дано 26 июля, лист 27).

Допрошен был комиссией и сам Александр Лебедев¹⁾. Что он показал? Именно то, что и следовало ожидать. Показал, что был знаком и с Ножиным и с Михайловским.

— „Осенью прошлого 1865 года встречался я с Ножиным в Публичной библиотеке, затем, приблизительно в ноябре того же года, познакомился с ним. Он иногда бывал у нас, то есть у Ведерникова и у меня, так как мы жили вместе. Я также посещал его по мере надобности. Он давал нам статьи для перевода, книги для чтения и разбора для „Книжного Вестника“. Если не ошибаюсь во времени, вскоре после переезда Ножина в Итальянскую дом № 63, я с Ведерниковым, зашедши раз случайно к Ножину, вечером, застали у него много гостей, из которых большинство были кадеты морского корпуса, из которых я не знаю ни одной фамилии. Из известных мне лиц там были: Курочкин, Зайцев, Михайловский, Загоржельский“.

И дальше:

— „Незадолго до его болезни, Ножин, собираясь переезжать с квартиры, позвал нас на маленький вечер, где, кроме меня с Ведерниковым, были опять те же личности, т.-е. Курочкин, Зайцев, Михайловский“.

И еще:

— „На похоронах, я помню, были Курочкин, Зайцев, другой Курочкин-офицер, Загоржельский, Михайловский“²⁾.

Сводя вместе всё сказанное выше, получаем новый плотно спаянный клубок общих знакомых и намечаем настоящую соединительную сеть между Ножиным и Худяковым и между Худяковым и Н. К. Михайловским. Было бы каким то чудом, если бы при таких условиях оказалось, что Михайловский не был знаком с Худяковым, прекрасно зная и Ножина, и Александра Лебедева, и, наверное, еще многих других лиц, следствием не захваченных, но находив-

¹⁾ Его не следует смешивать с другим Лебедевым Владимиром, о котором см. „Автобиографию“ Худякова, стр. 126—127.

²⁾ Показание дано 5 августа 1866 г., см. его на листах 113—115. Имя Лебедева проходит по листам 27, 87, 88, 102, 110, 111.

пихся в общении с кружками петербургских каракозовцев. Что он впоследствии самым тщательным образом скрывал такие знакомства, избегая упоминать о них даже в „Литературных воспоминаниях“, это вполне понятно. После 4-го апреля 1866 г. афишировать свои связи с человеком, подобным Худякову, особенно не приходилось, да еще столь легальному писателю, как Н. К. Михайловский. В 1880—1890 г.г., в разгар реакции, цензура не допускала никакого упоминания о деле Каракозова,—тогда в статье Н. К. Михайловского в „Русской Мысли“ об Елисееве были выкинуты цензурой нынешние стр. 463-490 тома VII, на которых говорилось как раз о Худякове и его сношениях с Елисеевым¹⁾. Зная, кроме того, что за ним неотступно и обидительно наблюдают, подозревая, наконец, что секретному надзору могут быть памятли не только его каракозовские знакомства, но и позднейшие связи с деятелями 1 марта 1881 г.,—Н. К. Михайловский мог принимать сугубые меры для того, чтобы успокоить своих черберов и цензурных и политических. Разве не могли открыться, при излишней откровенности, какие-нибудь новые факты, особым образом освещающие дело 4 апреля, которое, ведь, было все-таки связано с вопросом о переубийстве? Рассказывает же Михайловский в воспоминаниях о В. Н. Фигнер (т. X, стр. 58), как однажды, в 1901 г., на допросе ему сказал жандармский полковник, что „недавно, например, нашелся новый документ по делу 1 марта“. — „Как ни интересно было узнать, что это за документ, я, разумеется, не решился,—прибавляет Михайловский,—спросить о нем полковника“. И не только не решился, но, вероятно, постарался бы принять, в случае опасности, особые меры предосторожности, чтобы показать свое полное равнодушие к этим документам и ко всему делу 1 марта. Такие же меры Н. К. Михайловский принимал и в вопросе о своем отношении к делу Каракозова, придавая своим словам тон утрированного отрицания, доводя их почти до абсурда. Но как бы это ни было в 1891 г., когда писались „Литерат. воспоминания“, а в эпоху 1860-х г.г. того, что Михайловский рассказывает, быть не могло. Теперь это ясно само собой. В эпоху 60 г.г. в частности в 1864—1866 г.г., Михайловский, как и Ножин, вращался в самом пекле тогдашней революционно-литературной „богеми“. Перед его глазами проходили многие из каракозовцев, и сам он едва не сделался подсудимым. Так говорят, по крайней мере, факты. Ножин, Курочкин, Худяков, Никольский, Лебедев—это и есть та самая богема, для описания которой нужно было бы перо Мюрге, и в среде которой Михайловский провел 1865—1866 гг. В частности, Михайловский не мог не знать, а тем более не мог не слышать, кроме всех остальных, и о Никольском, упоминаемом Черкезовым. В 1865 г. вышла в свет в переводе с английского книга—„Образование человеческого характера“, без имени автора и без имени переводчика. Автора не трудно узнать, им является—Оуэн. Переводчиком же, как мы видели выше из слов Черкезова, был Александр Никольский—каракозовец. На эту книгу в № 1 „Книжи.

¹⁾ Эта статья о Елисееве в полном виде, с местами, выпущенных цензурой, была приложена Н. К. Михайловским к собранию сочинений Г. З. Елисеева, двухтомное издание 1891 года. Но оно было уничтожено цензурой.

Вестника". от 15 янв. 1866 г. была помещена рецензия, — тоже анонимная. Принадлежит она Н. К. Михайловскому и ныне введена в X том его сочинений. При крайне ограниченном круге тогдашней богемы Н. К. Михайловский не мог не знать, кто был переводчиком книги Оуена, и он это, конечно, знал. А быть может (я думаю: наверное) знал лично и автора, который затем оказался одним из серьезных участников каракозовских кружков в Петербурге.

Пусть читатель теперь подведет сам итоги всем этим справкам, и пусть он вспомнит слова Н. К. Михайловского:

— „Никого из прикосновенных к делу я никогда у Ножина не видал, даже фамилий их от него, хотя бы случайно, не слышал“.

С совершенно спокойной совестью мы можем сказать, что это невероятно; этого не могло быть и этого, конечно, не было. Люди эти, притом игравшие центральную роль в каракозовских организациях Петербурга, не могли не быть известны Михайловскому, пусть даже только по имени, а вернее всего, что вовсе не по имени только.

Как я сказал выше, я не ищу объяснения того, почему Н. К. Михайловским были написаны такие заведомо невероятные слова и притом в такой отрицательно-категорической форме. Мы пока отмечаем и устанавливаем объективные факты, — не больше. Но я считаю нужным тут же отметить, что в его „Литерат. воспоминаниях“, в той же главе, из которой мною взяты все эти нагромождения одних отрицаний на другие, есть и еще, притом гораздо менее правдоподобные, утверждения. Почему Н. К. Михайловский их допускает — иное дело, но они есть. В самом начале своих „Литературных воспоминаний“ он говорит, напр., так:

— „Для меня лично „Литературные воспоминания“ — плеоназм. Иных воспоминаний, кроме литературных, я бы не мог предложить читателю, потому что вся моя жизнь протекала в литературе. Конечно, и у меня, как у всякого, были вне-литературные связи и отношения, но я не полагаю их интересными для читателя“ (том VII, стр. 2).

Странное заявление! Странное и неправдоподобное. В X томе сочинений Михайловского есть только что цитированные „Воспоминания о В. Н. Фигнер“. Какие это воспоминания, — литературные или нелитературные? И, если не литературные, то „интересны-ли они для читателя“ или нет? Если бы они не были интересными, то, вероятно, Михайловский не стал бы их писать. Там же в X томе есть у Н. К. Михайловского еще воспоминания о В. К. фон-Плеве: „Встреча с В. К. фон-Плеве“. Есть там же „Летучий Листок“, письма к П. Л. Лаврову и другие материалы. Всё это, конечно, литература, но не та, о которой Михайловский говорит в приведенной цитате. Письмо Исполнит. Комитета Народной Воли к имп. Александру III, бывшее на редакционном просмотре у Н. К. Михайловского, — тоже едва ли может быть отнесено к области литературы и связанных с нею „воспоминаний“, между тем об этом Н. К. Михайловский мог бы рассказать немало интересного. Да он об

этом и пытался много раз вспоминать.—Что такое в самом деле беллетристика Н. К. Михайловского, как не воспоминания, облеченные в художественную, то-есть наиболее цензурную при данных условиях форму? В качестве беллетриста Михайловский выступал неоднократно.

В начале 80-х гг. Михайловский начал писать роман „Карьера Оладушкина“. Роман остался незаконченным, в обрывках, в черновых набросках. Но мы знаем теперь, в чем должна была состоять карьера Оладушкина:—он становился в романе Михайловского инициатором мысли о „Священной Дружине“¹⁾. Оладушкин, бывший революционер, делал свою карьеру в качестве „мужественного добровольца“ гр. Бобби (гр. Шувалов) и других героев того времени. Написать такой роман или хотя бы задумать его, не имея никаких других воспоминаний и наблюдений, кроме тех, которые дает чисто литературная среда, было бы, конечно, нельзя.

А те же очерки „В пережку“? Это ведь роман в типе „Андрея Кожухова“, хотя и другой эпохи. Роман, в котором тоже выведены настоящие революционеры 60-х гг. (Нибуш, Сидкий, Апостолов, Соня и др.) притом взятые порой прямо из жизни,—напр. Бухарцев-Ножин.

Откуда-же могли бы взяться у Н. К. Михайловского все эти типы, если бы у него не было никаких иных воспоминаний, кроме чисто литературных и если бы он не имел самых живых непосредственных связей с революционной средой?

После всех приведенных справок мы можем теперь обратиться непосредственно к показанию Н. К. Михайловского в Следственной комиссии гр. М. Н. Муравьева. Отчасти мы к нему уже подготовлены и можем судить, что там должно быть и чего встретить нет надежды. Для исследователя положение здесь затрудняется тем, что на допросе вообще, а на таком, как каразовское дело в частности, все, и обвиняемые, и свидетели, должны были стараться запутать как можно больше следователей и сбить их с настоящей дороги на ложную тропу. Таковой была и тактика Михайловского, в совершенстве им выполненная. Он сделал всё, чтобы уверить следователя, будто бы он говорит ему всё, ничего нескрывая из того, что знает, но что интересного для следствия он не знает ничего. Цели своей Михайловский, несомненно, достиг, спутал следователя, но запутал и будущих исследователей той эпохи, в частности, своих биографов. Здесь биографу Михайловского приходится теперь брать на себя не легкую задачу опаривать то, что он утверждал вполне категорически. Конечно, показания на политических допросах всегда таковы, что никто и никому не обязан верить в них. Особенно же не приходится просто доверять каждому слову на допросах по таким делам, как каразовское, да еще в таких комиссиях, как муравьевская. Здесь всё должно быть заново проверено, и только на основе такой

¹⁾ Подробнее об этом см. в моей статье о „Карьере Оладушкина“ в № 2 и 3 Гол. Минувш. за 1914 г.

проверки мы и можем составить определенный взгляд на вещи. Попытку подобной проверки показания Михайловского и представляет моя статья. Но, конечно, прежде чем проверять его, мы должны с ним познакомиться. Вот это показание от слова и до слова.

„1866 года августа 3-го дня высочайше учрежденной, под председательством генерала от инфантерии графа Муравьева, Следственной комиссии дворянин Николай Михайловский на предложенные ему вопросы объяснил:

Зовут меня Николай Константинович Михайловский. От рода имею 23 года. Вероисповедания православного. На исповеди и у св. причастия был, сколько помнится, в 1862 г. Уроженец Казужской губ., холост. Под судом и следствием не был. Первоначальное воспитание получил в Костромской гимназии, затем был в горном корпусе, где курса не кончил; вышел из института лет 5, 6 тому назад. С тех пор проживаю в Петербурге. Занимаюсь литературой. Работаю в „Книжном Вестнике“. С Ножиным познакомился около года тому назад через товарища моего по институту Львова, с которым Ножин жил в то время на Выборгской стороне, дома и улицы не помню. Львов этот выехал из Петербурга около 8 месяцев, куда—не знаю, но слышал, что он поступил на место домашнего учителя. У Ножина бывал я довольно часто и в разное время встречал у него Зайцева, Н. Курочкина, Соколова, Фридолина, Згожельского и других лиц, имен которых я не знаю. О том, что Ножин отлучался из дома в исходе великого поста, незадолго перед своей болезнью,—не слышал. На вечере у Ножина, на котором было человек до 20—30 гостей, был и я. Устраивался этот вечер в складчину по 1 р. с., получил я приглашение от Ножина, видел на вечере Н. Курочкина, Зайцева, Згожельского и многих морских кадет, которых ни прежде, ни после того не встречал. На вечере этом играли в карты и пили. Бывая у Ножина, я проводил время почти исключительно в разговорах по делам „Книжного Вестника“, в котором оба мы принимали участие. Встречал у него вышепоименованные лица. Бывал у него в разное время (видел у него ¹⁾ дня). Видел у него и даму, но кто она, не знаю. И так как бывал у Ножина, вместе с упомянутыми лицами (вече), нередко по вечерам, то (о) положительного объяснения о том вечере, который был незадолго до болезни Ножина,—дать не могу, так как у меня не сохранилось никакого особенного воспоминания о нем. В страстную субботу, часу в первом, я был у Ножина, застал его в кровати, но не как больного, потому что он мне жаловался только на чирей, который ему мешал вставать. Оставался я у него недолго и уходил ли он в этот день из дома, я не знаю. На святой неделе, в какой день, не помню, я зашел к Курочкину, (в какой) по делам „Книж. Вестн.“ и, не застав его дома, узнал от кухарки, что у них лежит больной Ножин. Ножина я застал уже в бреду, при нем находился Фридолин, и знаю, что лечил Ножина доктор Малаксманов (В). С этого раза я Ножина посещал у Курочкина на квартире каждый день до отправления его в больницу. Встречал там Зайцева, Фридолина, Згожельского и ту даму, о которой

¹⁾ Слова, поставленные в скобки, зачеркнуты в показании.

я писал выше, и некоторые другие личности, которых я знаю только в лицо. О смерти Ножина узнал 4 апреля от Эгожельского. На похоронах Ножина и на следовавшем затем обеде я был и видел там вышепоименованные лица, за исключением Соколова и дамы, о которой писал. Фридолфина видел только на похоронах. Кроме того, на похоронах и обеде были многие лица, которых я не знаю, большую часть, как я слышал, товарищи Ножина по лицу. Похороны и обед устраивались на деньги, пожертвованные и присланные из литературного фонда—50 р. Я же в складчину не участвовал. С кладбища я, вслед за другими, поехал в гостиницу „Москва“, где, повидимому, распоряжался Н. Курочкин, но кому принадлежит инициатива этого обеда—я не знаю. Дворянин Николай Константинович Михайловский.

Показание отбирал член комиссии, гвардии капитан Васильчиков.

Я не хотел пестрить показание Н. К. Михайловского никакими курсивами и потому привел его так, как оно есть, без всяких подчеркиваний. Но читатель видит, как и без них некоторые места в этом показании сами бросаются в глаза. Именно те места, в которых Михайловский уклоняется от прямых ответов, то и дело повторяя: не знаю, не слышал, не видел. В сущности всё показание состоит из такого рода уклонений. Михайловский в нем рисуется перед нами крайне замкнутым, каким он и был вообще, застегнутым на все пуговицы, наглухо, неприступным для следователя. Так как для нас это обстоятельство имеет очень большое значение, то попробуем внимательнее взглянуть, что говорил Михайловский и на какие вопросы отвечал.

К сожалению, у нас нет вопросов пунктов, но они ясны из текста. Помимо обычных справок о личности свидетеля (лето, вероисповедание, сословие и пр.) следователь, капитан гвардии Васильчиков, человек, повидимому, не выкапавший особенно в суть дела, поинтересовался узнать от Н. К. Михайловского: 1) когда он познакомился с Ножиным, и кто Ножина посещал—вопрос вполне естественный, 2) следователь почему то очень интересовался, как увидим, не случайно, куда Ножин отлучался из дома в исходе великого поста, и 3) что это за вечеринки происходили у него. Затем шли расспросы о смерти Ножина и похоронах: как умер, как хоронили, кто присутствовал на погребении, на поминках и пр. Нужно сказать, что и всё дело, из которого я взял приведенный документ, так и озаглавлено: — „О кружке знакомых коллежского секретаря Николая Ножина и причине его смерти“. Почему-то, значит, Следственная комиссия гр. Муравьева интересовалась причиной смерти Ножина.

Что же мог вынести следователь, капитан гвардии Васильчиков, из ответов, которые ему дал Н. К. Михайловский? Вот он его спрашивает, куда Ножин отлучался из дома в исходе великого поста, и Михайловский, который „у Ножина бывал довольно часто“ и „в разное время дня“, отвечает:

„О том, что Ножин отлучался из дома в исходе великого поста, незадолго перед своей болезнью — не слышал“.

Об этом все слышали, об этом все показывали, упоминая постоянно имя самого Н. К. Михайловского в числе наиболее близких друзей Ножина:

не слышал же об этом и не знал о такой отлучке только один он, неотлучно почти находившийся при Ножице, живший с ним чуть не вместе ¹⁾).

Интересуется затем следователь, что это за вечеринки бывали у Ножина? Михайловский отвечает, что вечеринки бывали самые невинные:—„играли в карты и пили“. Любопытнее всего, что в очерках—„В перемену“ о Бухарцеве-Ножице тот же Н. К. Михайловский говорит:—„Мимоходом сказать, он и вина не пил“ ²⁾).

Как и всякий следователь, капитан гвардии Васильчиков, особенно интересовался вопросом о лицах, знакомых с Ножиным.—„С кем был знаком Ножин,—спрашивает он у Н. К. Михайловского,—кто у него бывал?“ В ответ Михайловский называет несколько фамилий: Ножин был знаком наиболее интимно и близко с Курочкиным, Зайцевым, Згожельским. Згожельский—корректор „Книжного Вестника“. Знакомство с Зайцевым Ножина было известно полиции еще с лета 1865 года, когда Ножин, с помощью Зайцева, увез от своего вотчина Де-ля-Гарди свою сестру Марию, о чем подробно рассказано у Н. К. Михайловского в очерках—„В перемену“ ³⁾ и в выше цитированной статье С. Г. Сватикова. Курочкин знал Ножина еще за границей (в 1863—1864 г.г., во Флоренции) и был его официальным другом, да и заболел Ножин на квартире Курочкина ⁴⁾. Значит скрывать знакомство этих лиц с Ножиным не было никакой нужды, назвать их можно было без всякой опасности. Но за этим замкнутым кругом в три-четыре имени всё остальное оказалось для Михайловского неизвестным. Следователь спрашивает: кто посещал Ножина?—Ответ:—Курочкин, Зайцев, Згожельский,—и другие лица, имен которых я не знаю“. Новый вопрос: кто был на вечере у Ножина? И опять ответ:—Курочкин, Зайцев, Згожельский и морские кадеты, которых Михайловский—„ни прежде, ни после того не встречал“. Дальше он прибавляет:—„Видел у него и даму, но кто она, не знаю“. Кто бывал у Ножина во время болезни?—„Встречал там—отвечает Михайловский—Зайцева, Фридолина, Згожельского и ту даму, о которой писал выше, и некоторых других личностей, которых я знаю только в лицо“. Кто был на похоронах?—„Многие лица, которых я не знаю“. Кому принадлежит инициатива обеда? Распоряжался на похоронах, по видимому, Курочкин,—„но кому принадлежит инициатива обеда—я не знаю“.

И вот, повторивши столько раз:—„я не знаю“, Н. К. Михайловский пишет в „Литерат. воспоминаниях“:—„Я сказал всё, что знал“.

¹⁾ Есть сведения, что одно время в 1865—1866 г.г. Ножин и Михайловский жили на одной квартире. Это мне сообщала покойная Е. К. Мачкова, сестра Н. К. Михайловского.

²⁾ См. Сочинения, т. IV, стр. 269, курсив мой.

³⁾ См. там же, 270—272. Ср. воспоминания бар. А. И. Дельвига. СПб. 1913 г., т. III. Ср. у Сватикова, стр. 30 и сл. Очень любопытную переписку Ножина с сестрой. см. в „деле“, 8—9 листы.

⁴⁾ Заболел он, собственно, у себя на квартире, но был вскоре перевезен в Курочкину.

Конечно, это только *manière de parler*, многого напротив он не сказал и не сказал умышленно. Картина получалась в сущности из всего следствия „о кружке знакомых коллежского секретаря Николая Ножина“—вполне определенная, и странно, что следователь не обратил на нее должного внимания. Положительно все имеющиеся материалы рисуют нам Ножина, как человека, революционно настроенного. В деле есть показание одного из липецких товарищей Ножина,—Александра Баумгартена. Однажды Ножин попенял ему, что напрасно он пошел по служебной дороге: скоро-де будет революция и его тогда повесят ¹⁾. Буквально то же самое он предсказывал другому своему товарищу по лицу же, Сергею Ал. Ольхину, рассказ о чем есть в выше цитированной статье С. Г. Сватикова. На замечании у правительства Ножин находился еще с лета 1865 года, когда, вследствие увоза им сестры от родителей, он отдан был, с высочайшего разрешения, под неослабное наблюдение полиции ²⁾. За границей Ножин находился в постоянных сношениях с эмигрантами, между прочим с Бакуниным, который вообще оказал на него большое влияние. Живя в России, он продолжал ту же самую деятельность, и следствие нарисовало довольно любопытную картину того, как он вел пропаганду. У него постоянно народ, у него часто собираются гости, проводит целые ночи в чтении книг и спорах. Хозяйка квартиры, прислуга, полицейский пристав об этом дали согласные и вполне правдоподобные показания. Тут, несомненно, шла усиленная агитационная работа, в которой, повидимому, принимал близкое участие и Н. К. Михайловский. Не даром же в „Литерат. воспоминаниях“ (т. VII, стр. 11) он, говоря о своем стремлении к адвокатуре (в 1860—62 г.г.), упоминал „о маленьких разговорных успехах в кругу товарищей“, которые ему приходилось одерживать в то время. Ссылка же Михайловского в показании на „Книжный Вестник“ (по делам которого он яко-бы и выдался с Ножиным), разумеется, не более, как лишний отвод внимания следователя в сторону наименее для него опасную. Суть тут была, конечно, не в „Книжном Вестнике“, а в чем-то ином; это понятно само собой, без дальнейших доказательств. С нелегальной литературой Михайловский знакомится еще в Горном корпусе, где он читает уже и „Колокол“ Герцена, и первые прокламации, и сам участвует в студенческих журналах ³⁾, а в конце концов уходит из корпуса из-за одной школьной истории,

¹⁾ Вот, что сказал Баумгартен: „В последний раз, когда я его видел, он забежал ко мне на минутку, не помню за чем, кажется, за сочинением Мюллера Пулье (физика); мы вместе вышли на улицу, и тут Ножин объяснил мне, что я человек потерпанный, потому что служу, что я совершенно опустился, что меня когда нибудь повесят“ и пр. См. л. 48 дела о Ножине. Показание дапо 29 июля 1866 г.

²⁾ Официальная справка, имеющаяся в деле о Ножине гласит: — „В сентябре 1865 г. за Ножиным и лицами, кои по наблюдению полиции заявили свое учение о нигилизме, повелено иметь негласно бдительный надзор (курс. подл.) с тем, чтобы местное начальство, в случае надобности, принимало против них более строгие административные меры в пределах предоставленной власти“. Как видно из той же справки, это постановление удостоилось высочайшего одобрения. Хватало, значит, времени у Александра II заниматься даже такими мелочами полицейской жизни.

³⁾ Подробнее см. у К. Скальковского в книге „Воспоминание молодости“. — Скальковский учился одновременно с Н. К. Михайловским в Горном корпусе.

„в которой он принял самое деятельное и горячее участие“ (т. IV, стр. 254), т. е., из-за привосновенности к студенческим беспорядкам. Потом в 1863—1864 г.г. Михайловский пытается организовать переплетные артели в духе Чернышевского (ср. т. X, стр. LVIII); позже в 1865 г. попадает в самый центр литературно-революционной богемы и знакомится с Ножиным. Его постоянно видят в тех кружках, где обычно собирается радикальная молодежь. К подтверждениям этого рода, приведенным выше в достаточном количестве, мы можем прибавить и еще одно, очень характерное. По словам М. П. Сажина, хорошо знавшего радикальную среду середины 1860-х г.г., в Петербурге, в годы 1865—1866, на Гороховой ул. существовала полу-легальная библиотека-читальня, представлявшая собою собственно клуб радикальной молодежи, в котором сходились, обычно по вечерам, тогдашние „нигилисты“. Просуществовала эта читальня-клуб до самого 4 апреля 1866 г., когда ей пришлось закрыться. Содержалась читальня на артельных началах. В числе лиц, постоянно ее посещавших, на ряду с другими М. П. Сажин хорошо помнит и Ножина, и Михайловского. Несомненно, духовно и идейно Михайловский целиком живет одной жизнью с тогдашней революционной богемой, дышит одним воздухом с нею. Тот же М. П. Сажин сообщает и еще один любопытный факт: „Книжный Вестник“, который тогда издавали и редактировали Ножин и Михайловский, считался в кружках радикальной молодежи „своим“ органом и усиленно читался. Когда многие из тогдашней богемы после 4 апреля оказались арестованы, когда начались в обществе паника, всеобщее отступничество, доносы, травля нигилистов, Н. К. Михайловский пишет статью: — „4 апреля и русская журналистика“ (см. т. VII, стр. 18), пробуя образумить потерявших голову соотечественников. Статья остается ненапечатанной, рукопись до нас не дошла: где она, и сохранилась ли, неизвестно, но самый факт попытки написать ее в момент такого террора, какой был тогда, очень характерен. Несколько позже то же революционное настроение проявляется у Н. К. Михайловского еще резче: — он категорически в 1868 году отказывается вступить сотрудником в „Отечествен. Записки“, только что перед тем взятые в аренду Некрасовым и Елисеевым, отказывается из-за того, что там будет Некрасов, воспевший Муравьева на публичном обеде в каракозовские дни. Простить этого великому поэту молодой Михайловский никак не мог, о чем он подробно рассказывает в своих „Литературных воспоминаниях“¹⁾. Словом, целый ряд фактов говорит нам о том, что настроение самого Михайловского и всего кружка, группировавшегося около Ножина и вне сомнения связанного через Ножина непосредственно с Худяковым, было вполне определено. При желании Михайловский мог бы, разумеется, рассказать очень многое интересного для следователя из того, что он действительно знал, но на его счастье следователь не особенно этим даже интересовался. Вообще, тогдашние, так называемые, розыскные органы далеко не стояли на надлежащей высоте; сами они, своими средствами, без указаний со стороны, ничего не могли сделать, хо-

¹⁾ См. Сочинения, т. VII, стр. 45 и сл.

дили, как в потемках. Они могли выпытывать из людей признания, как выпытывал Муравьев признания Шаганова (см. у Евгеньева в указ. статье в „Заветах“); они могли даже просто бить и чуть и не пытать обвиняемых, как они зверски избивали Худякова, доведя его до грани почти прямого сумасшествия ¹⁾, и как они бесчеловечно истязали Каракозова. Но дальше этого их умение вести следствие не шло. Что-то крайне ограниченное, беспомощное и детски неумелое чувствуется и в следствии по делу Ножина, которое вел капитан гвардии Васильчиков. И почему этот капитан гвардии, быть может, очень хороший на своем месте в какой-нибудь гвардейской казарме, почувствовал себя следователем, никак понять нельзя. Следствие он вел топорно, пробираясь напрямки к цели, которая ему была указана:—разъяснить причины смерти Ножина,—и всё, попадавшееся по пути, к счастью для обвиняемых и для свидетелей, грань между которыми то и дело стиралась,—отметал. Между тем в этих попутно выяснявшихся обстоятельствах было много характерного и типичного. Особенно любопытен рапорт от 31 авг. 1866 г. некоего кавалерийского корнета, Проценко помощника полицейского пристава, которым был тогда Юнге,—„известный знаменитый шпион того времени“, как выражается о нем Худяков в своей „Автобиографии“, (стр. 120). Проценко в точности не мог упомянуть, когда именно, но „кажется в январе месяце настоящего (1866 года), он, проезжая мимо дома Зноско, где квартировала дворянка Тараскевич, увидел что в ее квартире все окна освещены, удивился этому, встал с дрожек, подошел к воротам и решил взойти в квартиру к Тараскевич, „как знакомый с нею“. „При входе в коридор я увидел,—пишет он в своем рапорте,—на вешалке очень много верхнего платья штатского, а в том числе несколько военных и юнкерских шинелей морского ведомства (черных) и еще серого сукна“. На вопрос Проценко, обращенный к хозяйке:—„Что это за бал у вас сегодня?“—Тараскевич отвечала, что квартирант ее, студент Ножин, празднует новоселье. Войдя в комнату хозяйки Проценко через открытую дверь увидел у Ножина много каких то юнкеров и молодых людей, „из числа коих именно Ножин,—по его словам.—зашел в комнату хозяйки, поклонился мне и подал руку, потому что я его знал лично.—поясняет Проценко,—в то время, когда он увез родную свою сестру, которую разыскал в Петербурге поручик Юнге, а я в то время был помощником г-на Юнге“. Ножин, сказавши Проценко о своем новосельи, вернулся обратно к своим гостям. Что он там говорил, Проценко не слышал,—но только могу предположить,—выражает он свое мнение,—что он объявил им о том, что я полицейский офицер и именно помощник г-на Юнге“. Гости немедленно стали расходиться по домам. И хотя было уже около двух часов ночи, хозяйка все-таки сказала корнету Проценко:—„Они бы еще кутили, да полицейский мундир их испугал“. „Между студентами я никого лично не знал,—прибавляет наш корнет,—а только тогда же слышал от хозяйки фамилии бывших там следующих лиц: Курочкин, Зайцев, Лебедев, Михайлов“...

¹⁾ См. „Автобиография“, стр. 132. Рассказ Худякова, как он был избит на допросе. В деле о Худякове есть документ, рапорт ген. Сорокина Н. В. Мезенцеву от 25 апр. 1866 г. за № 86, всецело подтверждающий то, что рассказывает Худяков.

Не — „Михайлов“ —, а Н. К. Михайловский, конечно...

Корнет Проценко нарисовал в своем рапорте живую и яркую сцену и нарисовал ее весьма, повидимому, точно. Он попал на революционную сходку, одну из тех, какие у Ножина бывали очень часто и застал там всех в сборе: — людей было много и штатских, и военных, и ординарных, и выдающихся, были и руководители, в том числе Лебедев, зашедший сюда, как он показывал на допросе (см. выше) — „случайно“. Но следователь на этот эпизод не обратил внимания. Не обратил также внимания на то, что морские кадеты дали на допросе заведомо неверное, шитое белыми нитками показание, во много раз менее правдоподобное, чем рапорт Проценко. Мысль следователя витала где-то над этими бытовыми мелочами, столь нам знакомыми и даже дорогими. Его интересовало что-то другое, он был неотступно занят какой-то более важной и серьезной задачей, которую он и решал, упорно добиваясь: отчего помер Ножин, чем он хворал, когда он заболел, а — главное — куда это он отлучался из дома в середине великого поста, с кем виделся и пр. Эти настойчивые попытки добиться ответа на столь, казалось бы, простые вопросы, наконец, начинают утомлять читателя следственного дела и невольно вызывают встречный вопрос: — да в чем же тут суть? Откуда эти недоумения? Что это вообще за дело: — „О причине смерти коллежского секретаря Николая Ножина“. — Или в его смерти было что-нибудь странное, что-нибудь загадочное, или он умер при каких-то не выясненных обстоятельствах, раз комиссия гр. Муравьева пришлось специально и так упорно заниматься этим вопросом, направив тем самым всё следствие на ложный путь?

Это очень странно: — но тут есть, повидимому, действительно какая-то загадка, на присутствие которой в жизни Ножина, неоднократно намекал ни кто иной, как сам Н. К. Михайловский. Перечтите цитаты, приведенные выше из — „Литературн. воспоминаний“, обратите внимание на курсив, сделанный там мною в одном месте: — „В самом конце марта 1866 года Ножин опасно заболел, говорят, тифом“...

Заболел, говорят, тифом. Но чем же он заболел на самом деле? Неужели этого опять таки не знал Н. К. Михайловский, ближайший друг Ножина?

Еще более странные места мы находим в очерках — „В пережку“, в которых за биографическим материалом о Ножине, отсылает читателя сам Михайловский. Там по поводу смерти Ножина брошена такая фраза:

„По безобразной воле судьбы он умер при таких странных и досих пор для меня не вполне ясных условиях, что“... ¹⁾ и пр.

И в другом месте тех же очерков: „Я — не мистик, но в предчувствия верю. Верю, что сильно заинтересованный, сильно любящий, сильно ненавидящий человек может предугадать грядущие события не только путем сознательного расчета вероятностей, а и бессознательно. Психологи и психиатры

¹⁾ См. Сочинения, т. IV, стр. 267. Курсив мой.

объясняют это, впрочем, как-то очень просто и естественно. За четыре дня до смерти Бухарцева я полужнал или чувствовал (не знаю, как вернее сказать), что его скоро не будет. Это—факт¹⁾.

Чрезвычайно интересное признание! Что такое предчувствие у Н. К. Михайловского действительно было,—это несомненно. В этом нас убеждает весь характер приведенной фразы—искренний и серьезный. Откуда же оно могло явиться? Ибо для него, разумеется, должны были быть какие-то реальные основания. Очевидно, Михайловскому очень хорошо была известна жизнь Ножины, и, очевидно, в этой жизни имели место какие-то такие особенности, которые заранее и заведомо обрекали Ножину на гибель. Иначе понять слова Михайловского мы не можем, и понять их иначе нельзя, тем более, что на такого рода обстоятельства есть прямой намек в тех же очерках „В перемежку“.— „Бухарцев,—пишет Михайловский,—незадолго перед смертью обратил особенное внимание на Нибуша. Какие-то у них таинственные разговоры происходили, куда-то они вместе уходили, а возвращались порознь или, наоборот, уходили порознь, а возвращались вместе. Нибуш просто благоговел перед Бухарцевым и даже несколько боялся его“²⁾).

Кто такой Нибуш? Ответом на это служат те страницы „В перемежку“, где Михайловский описывает свои впечатления от картины Семирадского на выставке; это, вообще, центральная часть его романа, ключ к объяснению его сокровенного смысла. Там все герои „В перемежку“, такие, как Нибуш, занимают правую часть картины Семирадского, обращаются в „Своточи христианства“, это мученики революции, это ее своточи. Они там гибнут, ибо обречены на гибель.

Бухарцев-Ножин тоже был обреченным, и вот откуда загадочное предчувствие Н. К. Михайловского!...

Он был обреченным, на это у нас, кроме тех фактов, которые приводит в своей статье С. Г. Сватиков, есть и документальные данные, о которых упоминает и Михайловский. Такого рода документом является прежде всего первое же из официальных сообщений Следственной комиссии по делу Каракозова, в котором, по словам Михайловского (см. их выше), — „имя Ножина упоминалось, но,—прибавляет Н. К. Михайловский,—всего один раз“. Сколько раз оно там упоминалось, не имеет большого значения, важно лишь в какой связи оно там фигурировало. А затем, это и неверно или, собственно, это не точно, что о Ножине там говорится „всего только один раз“, ибо хотя имя Ножина „упоминается“ там, действительно, только раз, но говорится о нем в сообщении Следственной комиссии дважды, только безымянно.

Сообщение Следственной комиссии по делу Каракозова, о котором здесь идет речь, было напечатано первоначально в „Северной Почте“ в № 166 от 2 августа 1866 г. Оно очень пространно и весьма интересно. Почти всё оно посвящено обличению „нигилистов и нигилизма“.

¹⁾ Сочинения, т. IV, стр. 315. Курсив мой.

²⁾ Там же, т. IV, стр. 290—291.

„Это разрушительное направление мыслей и учений между молодым поколением поддерживалось также заграничною революционною прессою, находившей средства распространяться даже среди учебных заведений. Многие из молодых людей, отправлявшихся за границу с научною целью, входили там в сношения с агентами революционных обществ и более других заражались социалистическим направлением, которое этим путем распространялось и безвозвратно среди нашего молодого поколения“.

Из числа этих многих молодых людей правительственное сообщение называет дальше Ножина, упоминая о его связях и сношениях с Худяковым, который в сообщении, впрочем, по имени прямо не называется.

— „Каракозов,—говорится в цитируемом документе,—будучи по отыскам товарищей всегда молчаливым и сосредоточенным, сочувствовал злодейскому замыслу и, желая его исполнить, на первой неделе прошлого великого поста отправился в Петербург, где и был в сношениях с вышеупомянутым революционным агентом московских кружков ¹⁾. Последний ²⁾ был известен изданием книг для народного чтения, в конях проводились самые зловерные мысли с целью развратить молодое поколение, состоял в сношениях с социалистическим кружком крайнего нигилиста Ножина, умершего в апреле сего года, который находился в сношениях и в связях и переписке с заграничными агитаторами“.

Как видит читатель, имя Ножина в правительственном сообщении фигурирует, в одной плоскости, в непосредственной связи с именем Д. В. Каракозова, прибывшего в начале великого поста в Петербург для совершения покушения, и с именем И. А. Худякова, того самого, которого Катков тогда травил в „Московск. Ведомостях“ из номера в номер, считая его, как мы говорили выше, с полным основанием интеллектуальным виновником покушения на Александра II...³⁾

Итак, был Каракозов, приехавший в начале поста в Петроград и стрелявший в царя в понедельник на фоминой неделе. Был Худяков, ответственный человек в петербургской группе каракозовцев и „сочинитель зловерных книг“, и был еще крайний нигилист Ножин. От Каракозова к Худякову. От Худякова, к Ножину,—такова линия, проводимая в правительственном сообщении, в котором, по выражению Михайловского, имя Ножина упоминается—„всего один раз“. Надо, впрочем, сказать что имя Каракозова там тоже упоминается всего только два-три раза, а—Худякова даже ни одного. Значит ли это, что оба они не были причастны к покушению на жизнь царя?

Но в правительственном сообщении знаменательно не только сопоставление имен Каракозова и Худякова с именем „крайнего нигилиста Ножина“, а также и дата, там упомянутая: — „На первой неделе прошлого великого поста (Каракозов) отправился в Петербург“.

¹⁾ То-есть Худяковым.

²⁾ Худяков.

³⁾ См. „Московские Ведомости“. Передовые статьи в № 163 от 3 августа 1866 г., а также №№ 168, 202 и др.—Ср. Собрание сочинений М. Н. Каткова.

И в другом месте:

— „Прибыв на первой неделе великого поста в Петербург, без всякого вида, Каракозов проживал здесь в разных гостиницах, частных квартирах и у одного медика ¹⁾, который в течение четырех дней давал ему приют и стол, зная, что он без паспорта, и входил с ним в разговоры о распространении в народе социализма. Каракозов показывает, что он узнал от того же медика о существовании в Петербурге разных социалистических кружков с политической целью“.— „Во время пребывания своего в Петербурге Каракозов распространил написанную им прокламацию—. „Друзьям рабочим“ между мастеровыми на заводах и другими лицами, вел развратную жизнь, ходил по трактирам и портерным“.

Остановимся несколько на этих словах. По словам Каракозова, переданным в правит. сообщении, он узнал от Кобылина о каких то социалистических кружках, существовавших в Петербурге. Это указание заставляет вспомнить один очень существенный момент из допроса Курочкина. Курочкин именно показал, что когда Ножин захворал, то к нему был приведен Фридолинным ординатор из клиники Медико-хирургической академии, — К о б ы л и н. Но Курочкин тут же поспешно прибавлял, что сам он того и другого видел в первый раз.

С другой стороны ген. Черевин говорит в своих записках, что Каракозов в конце апреля „объявил, что о намерении его стрелять в государя знал один лишь Кобылин, что сей последний назвал ему некоторых членов петербургского общества, называемого Константиновским, что напоминает он лишь фамилии Путаты и Ножина“ (стр. 18).

— „Оказалось, — прибавляет Черевин, — что Ножин давно был известен полиции, как личность, долгое время проживавшая за границей, где вступил в самые близкие отношения с польскими и русскими эмигрантами“.

Разве мы совершим насилие над фактами, если заключим на основании этих справок, что Каракозов в Петербурге через Кобылина, или каким другим путем, но безусловно з н а л о существовании кружков Ножина и о нем самом? Этот факт имеет крупное значение для всего последующего наложения.

Итак, на первой неделе великого поста Каракозов приехал в Петербург. Между тем, в Москве товарищи Каракозова заподозрили, что он уехал в Петербург с целью совершить царевбийство, и были встревожены этой мыслью, так как, по разным соображениям, они не хотели, чтобы покушение на царя совершилось („они либо отвергали царевбийство, либо находили его ранозременным“). Двое из них на четвертой неделе поста отправились поэтому в Петербург, чтобы остановить Каракозова от задуманного им предприятия. Каракозов был размыскан ими „на набережной около Зимнего дворца в крестьянской одежде“; после длительного убеждения, он „рассказал им в общих выражениях о своих здесь сношениях“. Значит

¹⁾ Кобылина.

какие то и с кем то сношения у него здесь были—Каракозов пообещал москвичам вернуться обратно в Москву.

— „Товарищи его, пробыв в Петербурге три дня, возвратились в Москву, а Каракозов оставался в Петербурге до конца великого поста, когда“... ¹⁾ и пр. — остальное нам пока не интересно.

Для определения некоторых неразъясненных страниц в биографии Н. К. Михайловского эти справки имеют очень большое значение. Читатель помнит, наверное, как на допросе в Следственной комиссии капитан гвардии Васильчиков спрашивал Михайловского, не знает ли он, куда исчезал Н. Д. Ножин в середине великого поста? Великим постом с Ножинным произошла какая-то, действительно, странная и загадочная история. Наиболее обстоятельно об этом рассказал некто Орлов, товарищ Ножина по детским годам. Пасха в тот год была ранняя: — 27 марта. На шестой неделе поста, 16 марта, Орлов, по его показанию, приехал из Москвы, где он постоянно проживал, в Петербург и заехал, чтобы переночевать, к В. А. Зайцеву. У Зайцева места для ночлега не оказалось, и так как Зайцев жил в одном доме с Ножинным, по Итальянской ул., № 63, то он отвел Орлова на ночлег к нему. Орлов устроился там хорошо: — оказалось, что хозяина не было дома и комната пустовала. Прошел день, другой, третий, — Ножин не явился. Это начинало казаться странным и возбуждало в окружающих сомнения и беспокойство. Куда он исчез, никто не знал, где он находится. — терялись в догадках. Наконец, числа 19-го Орлов узнал от Згожельского, что Згожельский случайно встретил Ножина на Невском, и тот ему что-то рассказал о своем исчезновении, но что, — неизвестно: — того листа, где передан этот рассказ, в архивном деле не имеется, и где он — установить не удалось. Вернулся Ножин, как я только что сказал, 19 марта; было это в субботу. Вечером в тот же день Орлов зашел к нему, но нашел там несколько человек, о чем-то с Ножинным разговаривавших. Орлов заметил, что он в этом разговоре как будто лишний, и ушел вниз к Зайцеву. Поднялся он оттуда вверх к Ножину уже поздней ночью (Ножин жил на два этажа выше Зайцева), чтобы ложиться спать. Там еще были, однако, люди. Разошлись почти все, но двое оставались, в том числе Н. С. Курочкин. Скоро и они ушли.

Сам Орлов за это время с Ножинным ни о чем не разговаривал. Вернулся Ножин каким-то изволинованным, чем-то повидимому удрученным, нервничал, был беспокоен. В разговор вступал неохотно и, вопреки своему обыкновению, поддерживал его плохо. Где он был, Орлов в точности не знал. Куда-то ездил, а куда, — не говорил. Сказал, впрочем, что был „в Петергофе“. Упоминает о Петергофе Орлов как-то вяло, неуверенно. Говорит он также о какой-то любовной истории Ножина, называет даже даму, которая бывала у Ножина, которую там видел и Н. К. Михайловский, хотя и „не знал“ ее фамилии (Орлов и другие ее называют полным именем), слышал, что Ножин был в нее влюблен, но чего ради было из-за этого ездить „в Петергоф“, когда

¹⁾ См. „Государств. преступления“, ред. В. Я. Богучарского, т. I, стр. 140. Курсы все мон.

дама эта жила в Петербурге, и не видно ни из чего, чтобы куда-нибудь отлучалась—всё это представляется непонятным. И затем, если бы у Ножина действительно имелась какая-то интимная связь с этой дамой, то едва ли бы его товарищи стали на следствии перед жандармами вложить по гриву ее имя. Дало тут, очевидно, было не в даме и не в любовной истории.

Но если не в даме и не в любви, так в чем же наконец? Что за загадочная история в середине XIX века?

История, действительно, загадочная и, может быть, во многом так неразгаданной для нас и останется. Можно, однако, постараться, хотя бы приблизительно, ее разгадать и построить некоторую гипотезу для ее объяснения. Гипотеза эта будет заключаться в следующем: Ножин был, очевидно, осведомлен через Худякова, или через кого-нибудь иного, о намерении Каракозова стрелять в царя, и его исчезновение великим постом надо поставить в связь именно с этим фактом. Таково совершенно неожиданное обстоятельство, которое нам теперь открывается в деле Каракозова. И нужно-ли прибавлять, что если об этом знал Ножин, то знал также и Н. К. Михайловский, несмотря на его заявление, что ничего интересного для следствия он сказать на допросе не мог,—не не мог, а не хотел. Так будет вернее, и при допущении такого предположения всё поведение Н. К. Михайловского нам станет сразу совершенно понятным.

Есть ли, однако, данные для такого рода предположений? Прямых данных нет никаких; то-есть, пока нет. Что будет открыто со временем—никто не знает. Но косвенных данных, как это отчасти перед нами уже выяснилось,—очень много.

Первое, что для нас теперь совершенно ясно во всей этой загадочной истории, это то, чего ради Следственная комиссия графа Муравьева так настойчиво старалась разрешить вопрос о причинах смерти Ножина. Разрешение этого вопроса в том как раз и заключается, что имя Ножина для комиссии связывалось с именем Каракозова и с его намерением стрелять в Александра II. Этот факт стоит вне всякого сомнения, так как на него есть определенный намек и в самом делопроизводстве. Именно в заключении ко всему этому делу о Ножине говорится следующее:

— „В марте 1866 года Ножин проживал в Петербурге, и 3-го апреля умер в Марининской больнице, в которую был доставлен накануне того дня; при следствии же, начавшемся после того, по поводу события 4-го апреля, возникло предположение, что преступление это не чуждо участия Ножина и друзей его, и что кратковременная болезнь его, кончившаяся смертью, находится в связи с означенным событием“... ¹⁾.

¹⁾ Цитирую заключительную справку „Об умершем коллежском секретаре Ножине“ имеющуюся в деле о нем.

Исследовав, однако, самым тщательным образом историю последних дней Ножина, комиссия гр. Муравьева не нашла оснований для подтверждения своих подозрений. „Напротив, дознано,—говорится в цитируемом документе,— что Ножин умер от сильного расстройства внутренних органов и правильности кровообращения, и что причина болезни, по заключению участвовавшего в исследовании врача, крылась в самом организме и могла появиться весьма задолго до обнаружения ее“.

Напротив, дознано.

Почему опять таки напротив? Напротив—значит вопреки. Вопреки чему же это дознано? На это мы тоже можем ответить вполне точно и определенно.

Дело в том, что около смерти Ножина тогда же, тотчас после того, как он умер, начали роиться какие-то странные легенды. И легенды очень живучие. Квартирная хозяйка Зайцева, Мария Шмолен, 28 июля 1866 г. показала, напр., о Тараскевич, квартирной хозяйке Ножина: „У Тараскевич проживал казачий офицер Константин Панцер, который впоследствии недолгое время жил у меня;—от него я слышала, что будто-бы Ножин не умер, и что будто-бы под его именем похоронили другого. На чем основывал он это предположение, я не знаю и более подробно об этом не слышала“.

Комиссия стала разыскивать казачьего офицера Панцера, но разыскала ли его, из дела не видно.

Можно ли, однако, придавать значение словам какой-то там квартирной хозяйки и пересудам ее с никому неизвестным казачьим офицером. Это, конечно, так, но слухи такого рода всё-таки очень характерны, хотя бы уже потому, что дыма без огня не бывает. К тому же далеко не одна Тараскевич и не только Панцер связывали с именем Ножина и с обстоятельствами его смерти какие-то легенды. Давно уже собирая материалы для биографии Н.Д. Ножина и обладая в настоящее время довольно интересной коллекцией их, я получил, между прочим, в 1908 или 1909 году письмо от покойного ныне А. М. Скабичевского, человека, враждавшего в 60-х и 70-х г.г. в передовых радикально-народнических кружках, письмо, в котором А. М. Скабичевский пишет.

— „Что касается Ножина, то лично я его не знал. Слышал только, что он принимал деятельное участие в тех организациях, из которых последовал выстрел Каракозова, и что он умер не своею смертью: не то был отравлен, не то отравился сам, но, насколько слухи эти верны, опять таки не знаю“.

Для нас пока неважно, верны они или не верны. Для нас важно лишь установить, что они были и не только были вообще, но и весьма усиленно циркулировали. Я напомню также читателю, что дело о причинах смерти Ножина началось 29 апреля 1866 года, значит, за две-три недели слухи эти настолько распространились, что дошли и до III-го Отделения и заставили его заняться тщательным исследованием вопроса, насколько всё, что тогда говорилось, справедливо. Исследовав этот вопрос со всей доступной ему тщательностью,—на самом деле очень топорно и неумело,—III-е Отделение убедилось, что „напротив“, вопреки всему рассказанному какой-то там

Тараскевич и др., Ножин умер естественной смертью. Оно в этом убедилось, а слухи продолжали расти, шириться и перебросились даже в провинцию. В деле о смерти Ножина есть чрезвычайно характерное письмо от 19 апр. 1866 г. из Тамбова в Петербург на имя Сергея Ал. Ольхина от его (и Ножина) лицейского товарища А. Сазонова, письмо, посвященное всё тем же причинам смерти Ножина.

Сазонов пишет патетическое и вместе с тем негодующее обращение к Ольхину от имени матери Ножина, по второму мужу де-ля-Гарди. Мать Ножина, при жизни относившаяся к нему очень холодно и жестко, была потрясена его смертью и очень ею взволнована. Особенно же ее волновали слухи, что Ножин вовсе не умер, что вместо него похоронили совсем иного человека, а сам он жив и кем-то предназначен, или сам себя предназначил, на какое-то революционное преступление; что друзья его тщательно всё это от всех скрывают, никому ничего не говорят и держат всё дело в страшной тайне. Обо всем этом Сазонов пишет Ольхину, умоляет его разузнать правду о деле Ножина и написать подробно им в Тамбов.

Из дела и допроса Сергея Ольхина видно, что Ольхин на письмо это тогда же ответил Сазонову, но что он ответил—мы не знаем. Сущность его ответа, однако, не трудно теперь восстановить по статье С. Г. Сватикова, на которую я уже не раз ссылался. На стр. 35 своей статьи С. Г. Сватиков между прочим говорит:

— „По поводу причины скоропостижной смерти Ножина, уже после того, как его имя было упомянуто в правительственном сообщении, возникли самые нелепые слухи ¹⁾. Правда, и Михайловский говорит: „по безобразной воле судьбы Ножин умер при странных и до сих пор для меня неясных условиях“. Ольхин поясняет, что среди лицейских товарищей ходили слухи, будто бы Ножин незадолго до 4 апреля осведомился точно о замысле Каракозова; будто бы, несмотря на его—„нигилизм“, в нем заговорила дворянская кровь, и он неосторожно высказал Курочкину мысль, что нужно предупредить царевубийство, сделавши донос в III Отделение. Тогда Курочкин, будто бы, замешанный в дело более, нежели открылось, и желая осуществления замыслов Каракозова, дал ему яда, от которого Ножин и умер накануне 4 апреля, не предупредивши рокового выстрела. Другие же говорили, что правительство сваливает на „известного нигилиста“ Ножина участие в подготовке царевубийства, как на покойника, с которого нечего брать, скрывая свое полное незнание. Мне кажется,—прибавляет от себя С. Г. Сватиков,—что никакой кровавой тайны не связано со смертью Ножина“...

Я бы не рискнул на месте С. Г. Сватикова выразиться столь категорически: ни о какой тайне. Правда, Сватиков говорит о кровавой тайне. Кровавая тайна,—это несомненно из области преувеличения и фантастических слухов;

¹⁾ Имя Ножина в правительственном сообщении было упомянуто, как мы видели, 3 августа 1866 г., но слухи эти начали распространяться гораздо раньше, тотчас после смерти Ножина. Ср. выше показание Тараскевич, данные еще 28 июля.

кровавой тайны тут не было, но тайна вообще была. Во всяком случае, заявление Олькина: „будто бы незадолго до 4 апреля Ножи осведомился точно о замысле Караковского“, заслуживает самого серьезного внимания. Оно безусловно не только не „нелепо“, взятое само по себе, но более, чем правдоподобно.

Вполне вероятно точно также, что Ножи намерению Караковского стрелять в царя совершенно не сочувствовал. И вовсе не потому, что в нем „заговорила дворянская кровь“, а по совсем иным причинам. Цареубийство в тот момент, да еще и долгое время спустя, вовсе не составляло практической задачи в деятельности русских революционеров и не пользовалось в их среде популярностью. Мысли их были направлены не в эту, а совсем в иную сторону. Пусть читатель вспомнит, что говорит в этом отношении о первой половине 1870-х г.г. П. А. Кропоткин в „Записках революционера“, и тогда без всякой апелляции к „дворянской крови“ ему станет понятна психология противников Караковского. Но прошлое русского революционного движения таит в себе еще более яркие параллели в отношении к цареубийству русских революционеров разных эпох. Об одной из этих параллелей напомнила совсем недавно В. Н. Фигнер в своей книге „Запечатленный Труд“. На стр. 126 своих записок Вера Николаевна рассказывает о той страшной буре, которую, в конце 1870-х г.г., в Петербурге, в кружках „Земли и Воли“, вызвало намерение Гольденберга (заменившего тут же Соловьевым), стрелять в Александра II. После ряда частных и горячих столкновений, вопрос о покушении был поставлен на обсуждение центральной группы землевольцев. Но, передавая о намерении Соловьева, сторонники террористического выступления сочли необходимым умолчать о его имени, — „таково было, — поясняет В. Н. Фигнер, — недоверие и опасение относительно настроения“ тех лиц, которые протестовали против применения в данном случае террористической тактики. Между тем, во главе этих протестантов, возбуждавших недоверие к себе, стояли столь безупречнейшие люди, как Плеханов и Попов („Родионич“). Когда, однако, прения развернулись, и стало ясно, что протестанты сдавать своих позиций вовсе не намерены и на отступление не пойдут, им было сообщено, что решение сторонников данного покушения на Александра II — непоколебимо, и никакой отказ со стороны центральной группы не отвлечет их от задуманного дела. Этот ультиматум, игнорировавший мнение организации, переполнил меру терпения протестантов против террора. И возмущенный Попов, — как рассказывает В. Н. Фигнер, воскликнул: — „Если среди вас найдется Караков, то не является ли и новый Комиссаров, который не пожелает считаться с вашим решением“. На это друг Попова, Ал. Квятковский, вместе с ним ходивший в народ, ответил — „Если этим Комиссаровым будешь ты, то я и тебя убью“.

Всё это происходило в марте 1879 г., спустя 13 лет после покушения Караковского. Что-же удивительного, если не в конце 1870-х годов, а в середине 1860-х таким же приблизительно настроением оказался охваченным и Ножи? По характеру Ножи был человеком, отличающимся способностью

и стремительному действию. В критические моменты он сразу предпринимал свои решения и, чтобы достигнуть цели, сразу, с головой, бросался в исполнение задуманного дела. О нескольких фактах такого рода из жизни Ножина рассказывает Н. К. Михайловский в очерках — „В перемену“ (см. т. IV, стр. 269). И, конечно, чем серьезнее бывало задуманное дело, тем стремительнее, не тратя времени на рассуждения, брался за его исполнение Ножин. Так естественно поэтому предположить, что, узнав о намерении Каракозова стрелять в царя и не сочувствуя ему, Ножин сделал всё, чтобы помешать Каракозову, и помешать во что бы то ни стало. С этим и должно было быть связано его таинственное исчезновение в середине марта 1866 г. и всё его поведение за эти дни. Мы не знаем, что встретил он в этом случае со стороны Каракозова, и даже нашел ли он его тогда. Вероятнее всего, что нашел, и если нашел, то увидел в Каракозове такую же непоколебимость, какую Попов и Плеханов нашли в сторонниках Соловьева. Повидимому, за эти мартовские дни Ножин находился в крайнем нервно-потрясении. Болезнь еще более обострила его переживания, и, бессильный предпринять что-либо для отвращения рокового шага, задуманного Каракозовым, он решается на отчаянную меру, ту самую, какой грозил Попов в рассказе Фигнер своим противникам. Он уже больной и полу-умирающий делает попытку довести до сведения администрации об опасности, угрожающей царю. В записках ген. Черевина есть, между прочим, место, непосредственно подтверждающее такое предположение.

— „За несколько дней до преступления 4 апреля, — говорит он, — в течение св. недели петербургский военный губернатор Суворов получил письмо от некоего Ножина (бывшего воспитанника лицей) из Марининской больницы. Ножин писал, что, чувствуя приближение смерти, он просит Суворова навестить его в больнице и выслушать от него важную тайну. Сколько мне известно, — прибавляет Черевин, — просьба Ножина не была уважена“.

Приблизительно то же самое сообщает бар. А. И. Дельвиг в книге „Мои воспоминания“ (т. III, стр. 347): — „Говорят, — пишет он, — что Ножин перед смертью хотел видеть обер-полицеймейстера Анненкова, который к нему не поехал. Не хотел ли он что нибудь открыть Анненкову?“.

Показание Дельвига тем интересно, что сам Дельвиг вращался одинаково как в кругу высшей бюрократии столицы, так и был близок семье матери Ножина, де-ля-Гарди. И, он, и Черевин были в этом случае людьми осведомленными.

С другой стороны, так как все следствие по делу Каракозова велось крайне неумело, то многое осталось неоткрытым. Следствие установило лишь, что „на четвертой неделе поста“ приезжали из Москвы друзья Каракозова, — это были Ермолов и Странден — отговаривать Каракозова от его намерения стрелять в царя и, казалось, отговорили и уехали обратно. Но, кроме таких официально известных сведений, у нас есть еще сведения неофициального характера, следствием не установленные, которые говорят, что были и еще какие-то попытки остановить Каракозова от покушения на

царя. Лет 10—15 тому назад в Томске на одном частном собрании старый каракозовец Максимилиан Николаевич Загibalов, имя которого я упоминал выше, член московской организации, получивший по приговору 12 лет каторжных работ, делился своими воспоминаниями о революционной старине и рассказывал о своем процессе. При этом М. Н. Загibalов сообщал, что, кроме установленных следствием, были и еще попытки остановить Каракозова, но от кого они исходили и кем они предпринимались, он, правда, не сообщал. От кого бы они, однако, ни исходили, для нас чрезвычайно важен самый факт такого сообщения. И в нем нет ничего удивительного. В Петербурге Каракозов пробыл с одним перерывом весь великий пост, от начала до конца. От революционных кружков он не скрывался, напротив, входил с ними в сношения, писал прокламацию¹⁾, распространял даже ее. Постоянно виделся с Худяковым, и Худяков помогал ему в его предприятии. Худяков же, как мы знаем, находился в самых тесных сношениях с Ножиним и со всей его группой. Что же удивительного при таких обстоятельствах, если Ножин узнает от того же Худякова о намерении Каракозова стрелять в царя. Может быть, впрочем, и не от него, а от когонибудь иного, но всё равно узнает и исчезает из дома. Зачем? Куда? Очень просто:—ищет по городу, или вне города, Каракозова, чтобы остановить его от безумного шага.

Но всей вероятности, это так и было! Конечно, это только гипотеза, только предположение. Но оно решительно во всем соответствует всем фактам, приведенным выше. Что Ножин умер при тех или иных, но всё-таки при каких-то странных обстоятельствах, это, как отмечает и сам Сватиков,—признает даже Н. К. Михайловский. С этим фактом нельзя не считаться. Михайловский не то же, что Скабичевский, или Сазонов, или Ольхин, а тем более не то же, что Тараскевич, или Панцер, или хотя бы барон Дельвиг. А, однако, он бросил в очерках—„В пережку“ загадочную фразу о смерти Ножина, и она так и остается неразъясненной, тогда как загадочность ее для нас теперь уже установлена документально.

¹⁾ Прокламация Каракозова „Друзьям-рабочим“ напечатана теперь впервые в статье А. А. Шилова в „Гол. Мин.“, октябрь-декабрь 1918 г. О ней см. также в ст. Щеголева о Каракозове в сборнике № 1 „Музей Революции“. Основываясь на показании Каракозова, оба автора считают его самого составителем прокламации. Однако, вопрос о том, кто был в действительности автором этой прокламации, едва-ли не нужно считать открытым, несмотря на прямые заявления Каракозова, что автором был только он. Вопрос этот требует тщательного исследования заново, так как по целому ряду характерных признаков эту прокламацию можно приписать скорее всего И. А. Худякову. В ней всё типично худяковское: и стиль, и манера аргументации, и самые взгляды, и общий тип популярной листовки, выработанный в 1860 г.г. именно Худяковым, а не кем иным. Тот факт, что Каракозов признал ее своим произведением, не решает вопроса. Более 50-ти лет в русской литературе прокламация „К молодому поколению“ считалась принадлежащей М. И. Михайлову, и сам он признавал себя автором ее. На деле же эта прокламация написана Н. В. Шелгуновым гораздо более, чем Михайловым. Невероятно, что и прокламация „Друзьям рабочим“ написана Худяковым в большей степени, чем Каракозовым.

Тот же Н. К. Михайловский в тех же очерках „В пережку“ признает и другое:—все эти сношения Бухарцева с Нибушем — эта их конспирация: то вместе уйдут, а вернутся врозь, то врозь уйдут, а вернутся вместе,—всё это хотя и сказано мимоходом, но с совершенно определенной целью. Куда-то Бухарцев, значит, исчезал временами, совершенно так же, как и Ножин исчез на шестой неделе поста, а по всей вероятности исчезал и ранее. Предполагая, что он исчезал для того, чтобы найти Каракозова, мы гипотезируем. Но у нас есть один из обычных способов проверки всякой гипотезы — гипотеза приемлема только тогда, когда только она объясняет необъяснимый иначе целый ряд фактов. Допустите только сделанное нами предположение, и тогда всё станет сразу понятным. Всё! От показания Тараскевича вплоть до показания Н. К. Михайловского в его „Литературных воспоминаниях“ за 1891 год.

Там в воспоминаниях Н. К. Михайловский пишет, что он сказал на допросе всё, что знал, но оказалось, что интересного для следствия он ничего не знал.

Мы видели его показание и критически рассмотрели, что и как он показывал. Мы можем теперь сказать, что он знал всё, что было, но из того, что знал, ровно ничего не показал следователю. Замкнутый и сдержанный по натуре, еще юношей, пусть даже случайно приблизившийся к такой страшной трагедии, как 4 апреля, почти свидетель муравьевского следствия, сам едва не превратившийся в подсудимого,—мог ли он не учесть всех этих моментов и не похоронить в самом себе этой тайны тогдашних предсмертных уже страданий своего друга. И он похоронил ее. Перед потомством он замкнулся так же, как замкнулся перед следователем. Необычайно выдержанно, корректно, но с тайным издевательством над следователем, он принял все меры, чтобы сбить его с надлежащего пути и не дать ему никаких наводящих указаний. И он своим, выработанным уже тогда, твердым и характерным почерком навсегда зачертил какую-то тайну и оставил нас перед несколькими загадочными страницами своей биографии.

Будут ли они когда-нибудь полностью разгаданы?

Май 1918—1923.

Евгений Колосов.

Литературные воспоминания. ¹⁾

В самом начале девяностых годов стали обозначаться какие-то признаки перелома в общественном настроении: среди вялой жизни — „жизни презренной, жизни обывательской“, как говорится у Чехова, — появились некоторые черты острого возбуждения. Они, несомненно, находились в связи с курсом экономической политики, который взял Витте, после сравнительно робких опытов и начинаний Вышнеградского. Витте быстро и решительно покончил со следами натурального хозяйства. Его финансовые реформы и, особенно, установление золотой валюты были самым могущественным орудием европеизации России. Бумажные деньги, как это ни парадоксально кажется на первый взгляд, могли бы составить дополнительную единицу в „триаде“ русской самобытности, формулированной Уваровым: самодержавие, православие, народность плюс — ассигнации. Совсем не случайно, что славянофильствующая часть публицистики, и среди нее пылкий, неумеренный, развязный, но, несомненно, талантливый С. Ф. Шарапов, была против введения золотой валюты. Золотая валюта — это то же, что общий язык человечества для торговли, промышленности, гражданского оборота. Золотая валюта есть подлинный и настоящий интернационал. Истинственно, едва ли с полным пониманием всех политических и социальных последствий введения золотой валюты, реакционные элементы боролись против реформы Витте. Статьи, брошюры, памфлеты, угрозы, пророчества — всё это сыпалось на Витте. Доказывалось, что бумажные деньги — наше богатство, а золото — ничто. Помню одну особенно задорную и парадоксальную брошюру некоего Путаты. По поводу этой брошюры напечатаны были юмористические стихи с припевом: „А всё же, Путата, милей мне золото“.

Одновременно с золотой валютой наступила эпоха промышленного гриздерства, напоминавшая конец 60-х и начало 70-х годов. И как тогда, фельетоны Незнакомца, статьи Скальковского, „Бирж. Вед.“ Баймакова и пр. сосредоточивались вокруг явлений акционерной жизни, так и теперь пресса получила новую пищу, новое значение, новые темы в финансовой и экономической области. Но, конечно, гриздерство конца 60-х и начала 70-х годов было сущей безделицей в сравнении с промышленным и, особенно, биржевым ажиотажем начала девяностых годов. Главное было даже не в бешеном подъ-

¹⁾ См. „Былое“ кн. 22.

еме всякого рода ценностей, а в том, что впервые у нас в России в биржевой игре и биржевых спекуляциях стала принимать участие широкая публика. Являлась „кулиса“, которую обрабатывала биржа. „Кулиса“ — это уже масса, публика, обыватель, толпа. Безмерно повысилось и раздулось значение рекламы, а отсюда и влияние и значение прессы для биржи.

Нравы нашей прессы были, в общем, довольно чисты и невинны. В худшем случае, попадались бутербродные рецензенты и репортеры. Но с первым расцветом биржи и широкой спекуляции нравы прессы стали быстро, — не скажу портиться, — а видоизменяться. Как то само собою вышло, что значительная часть органов печати стала группироваться вокруг крупных финансовых, промышленных и банковских соединений. Финансисты ли и биржевики искали прессу, пресса ли искала их, — я не знаю, но объявления, промессы и пр. продукты биржевого и банковского хозяйства не могли не оказывать, хотя бы косвенно, влияния на печать. Это — с одной стороны, а с другой — все играли, и стар, и млад, и юноша в семнадцать лет, и старик с седою головою. Дамы в особенности, генералы — преимущественно. Биржевые обозрения, которых раньше никто не читал, которые и печатались не чаще раза в неделю — стали самой живою и бойкою рубрикою газет. Большие органы печати еще держались кое-как, хотя, нет-нет, то в хронике, то в статьях и заметках проскальзывали весьма недвусмысленные рекламы предприятиям, банкам, выпускам акций и облигаций и пр. В мелкой же прессе биржевой отдел затмил и спорт, и театр. „Рецензии“ о биржевых сделках, повышениях и понижениях появились изо дня в день, подстегивая одних, разочаровывая других, поощряя третьих, отвергая в меланхолию четвертых. Среди газетных биржевых хроникеров отличался особенно бойкостью (и сравнительно, беспристрастием) некто Шабизев, делавший тираж „Пет. Листку“. Эти рецензии и заметки влияли, действительно, на биржу. Дело в том, что после закрытия официальной биржи и установления котировки, начиналась неофициальная биржа, когда биржевые зайцы, мелкая и крупная кулиса, а иногда и банки подготавливались к завтрашнему биржевому собранию и скупали или продавали ценности, в соответствии с определившеюся тенденциею рынка или планами биржевых королей и магнатов. Собственно тут-то и была настоящая „игра“, которая на биржевых собраниях лишь реализировалась. На биржу допускался не всякий, — здесь же мог покупать и продавать всяк, кто хотел. Местом этих биржевых, неофициальных и особенно популярных собраний, был так называемый Милютин ряд с прилегающею к нему частью Невского, усеянный небольшими банкирскими конторами. Место это прозывалось почему-то „американской биржей“. От 3 до 6-7 часов вечера здесь толпились мелкие зайцы, кулисы, маклера, игроки, выигравшие, проигравшиеся, чающие выиграть и потерявшие надежду воспрянуть. Для газеты, выходившей утром и определявшей биржевое настроение читателя, было очень важно изобразить картину „американской биржи“, с ее сенсациями, слухами, враньем, утками, хитроумными маневрами понижателей, повышателей и т. д. В этом хмельном чаду игры газеты понемногу теряли свою невинность. В конце концов, все ведь играли.

Более того, почти все выигрывали. Я старался понять, кто же, в конце концов, проигрывает, если все выигрывают; где тот дурак, который плачет последним, и тот умный, который последним смеется. Было так соблазнительно купить что угодно, положить на оп call, потом взять прибыль, опять что-то купить (в большинстве случаев, безразлично что), и опять сделать то же... В редакциях газет играли совершенно так же, как в канцеляриях, как в лавках, как в салонах. Для того, чтобы открыть онкольный счет в мелкой банкирской конторе, достаточно было иметь рублей полтораста наличными. Обычно принимали бумаги в 75% котировочной стоимости. Следовательно, на 150 руб. можно было иметь бумаг на 600 руб.; онкольный счет открывался, начиная с 1000 р., и „по знакомству“ бумаги принимали только с 15% обеспечения. Как же было не играть при столь льготных условиях? В случае резкого падения ценности бумаги, разумеется, требовали доплаты, или продавали „экзекуционно“ заложенные бумаги, что называлось „высечь“ кулису. Высекши кулису, крупные игроки устраивали повышение, и купленное по низким ценам продавали по высоким. Я помню очень хорошо, что самым трудным для меня из политической экономики было уразуметь сущность биржевых операций. Но в описываемое время я отлично понял, что такое „hausse“, „baisse“ и пр.

Как я уже заметил, играли все: одни откровенно, шатаясь на „американской бирже“, другие — прикровенно. При хороших связях, можно было получить ценное указание о какомнибудь выпуске дополнительных акций, о предполагаемых размерах дивиденда, о новых заказах и т. п. Не соблазниться было трудно, но, конечно, можно было делать, перефразируя поговорку, „mauvaise min au bon jeu“. В разгаре биржевого повышения, покойный А. П. Коломнин, управлявший, в качестве зятя А. С. Суворина, делами „Нового Времени“, весьма корректный и порядочный человек, рассказывал мне, как однажды издатель „Нового Времени“ спросил его, какая де наличность имеется в кассе, и, узнав, что совершенно свободная наличность превышает несколько сот тыс. рублей, сказал: „Надо чтонибудь купить“. Коломнин, состоявший юрисконсультom какого-то банка, заметил, что надо бы справиться, что именно купить, Суворин-же молвил: — „Ну, что там справляться? Дайте-ка мне биржевой лист, вот куда ткну пальцем — то и купите“.

— И представьте, — наивно восклицал Коломнин, — до чего везет человеку! Ткнул он в какие-то пароходные акции, вздор совершеннейший, об них на бирже и упоминать то никто не упоминал, и вдруг, ни с того, ни с сего пошли, пошли в гору... Удивительно везет! Вот кому бы на бирже играть...

Я думаю, однако, что дело было не столько в слепой фортуне, сколько в том, что Суворин кое-что прослышал, — а прослышать ему было не трудно, — но по обыкновению своему, он слукавил и посмеялся над своими приближенными. Я рассказываю здесь не только о том, что видел, но и о том, чем в мое время земля слухом полнилась... Я никогда, например, не слышал, от заклятых врагов даже, чтобы Витте спекулировал или играл на бирже. Иногда что то шипели про его близких, но лично о нем злые языки в этом смысле молчали. Да и не в духе Витте была стяжательность. Поглощающе его

страстью было властолюбие и честолюбие, а это не совмещается с наклоном к наживе. Но, несомненно, Витте отлично умел пользоваться золотым дождем и лил его в изобилии, когда это нужно было в интересах его государственной деятельности. И кто наблюдал светскую жизнь, мог отлично видеть, как в отношениях к Витте во всех этих куртизанах двора и высшего общества постоянно боролись два чувства: инстинктивная, родовая ненависть к выскочке и невольный трепет пред человеком, которому достаточно повернуть кран, чтобы пустить освежающий и укрепляющий золотой душ. И все стремились сохранить достоинство в недостойном положении. Особенно забавно было наблюдать этих куртизанов около графини Витте — я часто лорнировал ложу ее в театре: надо забежать, но в то же время, как бы не заметили придворные соглядатаи, потому что она не принята при дворе и т. п. А кстати сказать, графиня Витте была на вид в высшей степени изящна и *distinguée*. Если для того, чтобы узнать о новостях биржи, сановники готовы были торчать около любезнейшего Мойсея Соломоновича и играть дуэты с директором учетно-ссудного банка А. И. Заком, который очень любил свою скрипку, то легко себе представить, какой флирт заводили с Витте!

Но возвращаюсь к газетному миру. В этот медовый месяц нашего промышленного и биржевого оживления редактором „Пет. Газеты“ был сын издателя, покойный ныне Н. С. Худеков, а по молодости его лет к нему был приставлен, так сказать, дядькой в качестве второго редактора П. Ф. Левдик, с которым мы уже встречались в редакции „С.-Пет. Ведомостей“. П. Ф. Левдик был неглупый, довольно образованный и воспитанный человек, сын тайного советника; долго жил за границей, причем молодость его покрыта „мраком неизвестности“. На вид сдержанный, холодный, по натуре он был игрок. Говорили, что, собственно, благодаря азарту, он стал „блудным сыном“ в строгом бюрократическом семействе своего отца и должен был бежать за границу. По страстной натуре, его бросало в разные стороны. Частенько он пропадал, как Алеко, в цыганских „таборах“ Самарканда, где у него вечно были романы и откуда он непременно брал жен (он был женат дважды и оба раза на новодеревенских цыганках).

Всегда так бывает, что на ловца и зверь бежит. Биржевая вакханалия была настоящей стихией Левдика. Он являлся в редакцию, аккуратно делал, что полагается, но душа его была на „американской бирже“. Едва кончив занятия — утренние занятия в редакции кончались в то время рано, — часа в три, — он надевал свой цилиндр и тихими, крадущимися шагами отправлялся на „американскую биржу“. Там была контора Кутузова — из второстепенных, — где „прессе“ оказывалось почти такое же благорасположение, какое оказывал по столовой и буфетной части трактир „Мало-Ярославец“. Открывали окошко и с доплатой в 50 рублей. Ревизии кредитной канцелярии были введены позднее, да, в конце концов, при желании, кто же мог воспрепятствовать банкиру открывать какие угодно счета? Как и следовало ожидать, в результате столь блистательной системы, Кутузов прогорел. Увы, что можно было получить с „братьев-писателей“ в случае неблагоприятного „ультимо“?

Да, „ультимо“... Ибо, надо вам сказать, что биржевой жаргон очень быстро вошел в употребление. Через два-три месяца все уже говорили довольно свободно: „почем видны деньги?“, „деньги видны по 185“, „а с нохом дают?“ „дают и с нохом“. „Нох“—немецкое „носіт“—означало, что не только купили наличность, но при этом добавляли: „а коли еще есть по этой цене—так, „пожалуйста, возьмем“. И когда чихали, то на приветствие: „будьте здоровы“, отвечали: „и вам того же, с нохом“.

Со времени великой войны нас, конечно, трудно удивить спекуляцией. В сущности, спекуляция упростилась до последней возможности: покупай, что хочешь, а потом продавай с пользой; опять получай и снова продавай. Безостановочный рост цен, которому не видно предела, давно лишил спекуляцию какого либо оттенка риска и соображения. Кто всё покупал и по какой угодно цене покупал, тот всё продавал и непременно по высшей цене. А дело было только в размахе и размерах. В течение почти целого года биржевая игра напоминала нашу спекулянтскую эру и представляла нечто вроде беспроигрышной лотереи: кто ни покупал и что ни покупал, — всё равно оставался в барышах, разве только продавал на сроки (ultimo), когда и случались неприятные казусы. Соблазн рос, ширился и захватывал самых отъявленных скептиков и самых равнодушных людей. В один прекрасный день, получив 100 р. гонорара из редакции, я отдал бумажку кому-то из товарищей „на биржевую игру“, хотя, признаться, не без колебания.

— А как же прачка? — сказал я робко — и потом еще портному за перелачковку брюк...

— Ничего, пустяки... Сыграешь на бирже и заплатишь прачке...

На сторублевую бумажку мне открыли „онколь“, купив, как я потом узнал, пять штук брянских и десять путиловских. Через пять дней мой руководитель сказал:

— Надо покупать варшавский банк...

— Как, варшавский банк? Да как же я могу купить варшавский банк?

— Чудак! Продадим путиловские и брянские, и купим варшавский банк...

Оказалось, что у меня уже не 100, а 325 руб., на каковые куплен был „варшавский банк“. Прошла неделя, и мне продали „варшавский банк“ за 625 р. и купили уже 25 путиловских и 15 брянских. А через пять дней продали, и на оказавшиеся 1500 р. купили „Днепр“. Я уже не спрашивал, какой такой „Днепр“, а поплыл по течению. И действительно, в конце мая, когда навигация по Днепру была в полном разгаре, у меня оказалось уже 3½ тысячи рублей и кроме того, еще какой то десяток акций на онколе. Я ничего не понимал. Из биржевых прибылей я уже давно уплатил прачке и портному, купил себе тросточку красного дерева и, помахивая ею, в тяжелом раздумье гулял по аллеям „Аркадии“. Дело в том, что я был капиталист, а капиталист отнюдь не покомится на розах: он должен денно и нощно думать о судьбах вверенной ему частицы национального богатства. Богатство обременяло меня. Я не знал, что с ним делать. Я зевал, как пушкинский Фауст, и чувствовал тень подкрадывающегося сплина. И вот, однажды, пресы-

ценный всеми земными удовольствиями, которые в то блаженное время можно было купить в „Аркадии“ рубля за 3 — 4, я рассеянно слушал рассказы камер-юнкера Безобразова (см. выше) вернувшегося из Швеции, о шведском пунше и еще о чем-то специально шведском. Безобразов был при деньгах, так как в это время уже состоялось распределение популярного, так сказать, в литературно-журнальной среде, „плещеевского наследства“ (о чем скажу вскоре более подробно), и Безобразов, близкий друг семейства Плещеевых, был взыскан судьбою.

— Отчего бы вам не поехать за границу? — сказал вдруг Безобразов, — что вы тут киснете?

В самом деле, почему бы мне не поехать? Ведь я богат. Кстати, тут подвернулись события: президент французской республики Карно был убит анархистом, а в Антверпене открылась всемирная выставка и предполагался международный конгресс журналистов. Меня снабдили разными удостоверениями и редакционными свидетельствами — по нынешнему „мандатами“, и я имел видимость человека, отправляющегося за границу не только для собственного удовольствия, но и по неотложной надобности. Нашелся и попутчик, Н. Е. Эфрос, который ехал тоже как будто от редакции „Новости Дня“, а в действительности, тоже больше затем, чтобы людей посмотреть и себя показать.

Так случилось, что я в первый раз поехал за границу. Впоследствии я ездил за границу ежегодно, и если память мне не изменяет, двенадцать раз возил себя в Кассинген, где меня знали уже многие отельчики, в качестве почетного Stammgast'a, по немецкому выражению. Но первое впечатление, как первую любовь, забыть нельзя — оно неискоренимо.

Я был подавлен, поражен и ходил с разинутым ртом. Чужд, великолепен, непонятен был немецкий кондуктор, немецкий вагон, немецкий кельнер — все эти люди, предметы, вещи, отношения, столь непохожие на наши. По мере удаления на запад, всё разительнее становилась перемена, всё фантастичнее то, что открывалось взору, всё сказочнее окружавшая обстановка. Когда мы подъезжали к французской границе, меня била лихорадка. Ведь это была „прекрасная Франция“, с ней связаны великие легенды революции, борьбы за свободу, страна демократии, страна утонченного искусства, изящнейшей литературы. Не помню, как называлась станция на французо-бельгийской границе, где выполнялась таможенная процедура. Было раннее слегка сыроватое утро. Толстая баба заскоружлыми руками рылась в моем чемоданчике, швырялась вещами и рокотала басом отрывистые слова; худощавый, похожий на птицу, французик кричал: „*qu'avez vous à déclarer?*“. На платформах стлался слой липкой грязи; жалкие заборы и грязные двери; гнусного вида уборные... В заключение гарсон обсчитал на 3 франка, по случаю первого, так сказать, знакомства. Всё это было неожиданно, после Германии, но впечатления только мелькнули по поверхности, и вновь душа была устремлена вперед к Парижу — к „ville lumière“, к этому единственному и несравненному городу. Жадно глядел я в окно на мелькающие зеленые поля, из-за дали которых должен открыться Город-Светоч, Город-Легенда...

А, ведь, точно, другого такого города и нет, и не будет. Теперь я могу это сказать совершенно спокойно, не впадая ни в какие восторженности и преувеличения. Есть — помимо физического, так сказать, города, его вида, тела и населения — еще незримый город, окружающий физический; его воздух, его атмосфера. История дышет; века дышут; предания дышут, — и всё это, за пределами материально постигаемого и осязаемого, оставляет свой след, окружает, как нимбом, город, и вторгается некоторою, спиритуалистическою, так сказать, плоскостью, в физическую плоскость Парижа. Каждый камень здесь — история, и как ясно различаешь линии лица, испытанного жизнью, — так читаешь историю старого города по старым камням, деревьям, улицам...

Мы остановились, по совету одного из петербургских знакомых, в небольшом, как говорится, „буржуазном“ отеле. Немедленно пустился я розыскивать нужных людей для того, чтобы запасть пропуском на похороны Карно. Нужным человеком оказался впоследствии весьма известный — печальною известностью — Иван Федорович Манасевич-Мануйлов. Он был в то время еще совсем мальчик, — лет 20 с хвостиком, — и в Петербурге шатался по репортерско-интервьюерским делам, работая, главным образом, в „Новостях“ Нотовича и в приложениях к „Новостям“ — „Петербург. Жизни“. Манасевича-Мануйлова называли все „Ваничкой“, хотя Ваничка был уже женат, и притом прероманически, что, впрочем, составляло всегда его отличительное свойство. Жену свою, Софью Петровну, тоненькую, хорошенькую барыньку, он где-то отбил, или у кого-то отбил, чуть ли не выкрал. Ваничка был вертлявый, шустрый, невысокого роста брюнетик, с черными, как маслина, глазами, и темным румянцем. Вообще, в известном смысле и на известных лиц мог действовать, как Алкивиад — неотразимо. Был он добродушно болтлив, причем врал, как сивый мерин, услужлив, воспитан, приятно вкрадчив. Одним словом, „душа общества“. Были у него и известные средства, оставленные отцом, средней руки екатеринбургским золотопромышленником, однако, выдававшиеся, до достижения Ваничкой 30 лет, только в виде процентов. Кроме того, он получал деньги от мамыши, и сверх сего, добывал их всячески. Злые языки болтали, будто Ваничка устроился в „Новостях“, потому что Нотович, который, подобно Мольеру, брал свое добро всюду, где находил, взял в займы у родителей Ванички некоторую сумму. Во всяком случае, он и в Петербурге жил довольно роскошно и комфортабельно, и устраивал у себя всякие „суаре“ с картинками, домашним лото и т. д. Мамаша, как и следовало ожидать от дамы екатеринбургского света, и притом из евреек, была помешана на высшем обществе, бредила кавалергардами, желтыми кирасирами и атташе при посольстве, мечтая пристроить за какого-нибудь штатского или военного фешенебельного молодого человека свою дочь (в чем, кажется, и преуспела), и не жалела денег также и для того, чтобы пустить Ваничку по дипломатической части. Он, действительно, числился в канцелярии у Мосолова, а в Париже терся при русском посольстве (послом был в то время бар. Моренгейм) и состоял, едва ли в совершенно безмездной, дружбе с советником посольства, д. ст. сов. Ганзеном, русским датчанином. Представить себе Ваничку дипло-

матом было делом довольно мудреным, и все добродушно над этим подсмеивались, пока в один прекрасный день, в 1903, кажется, году, имя И. Ф. Манасевича-Мануйлова обошло всю заграничную печать, в качестве особо уполномоченного лица, которому было „секретнейше“ поручено обставить всевозможными предосторожностями ответный визит Николая II итальянскому королю, и который так этот визит обставил, что путешествие, к великому скандалу, совсем не состоялось.

Ваничка с Софьей Петровной жил в „Hôtel de Russie“, на самом бойком месте бульваров, близ улицы Друо. После нашего тихого „буржуазного отеля“, отель, в котором жил Ваничка, действовал, можно сказать, ошеломляюще. Сам Ваничка производил впечатление чрезвычайно занятого какими то важными государственными делами человека. Он напоил меня „русским чаем“ и предложил немедленно отправиться к „синдику“ иностранной парламентской печати, корреспонденту „Нов. Времени“, И. Я. Яковлеву (Павловскому). Торжественные похороны убитого президента были назначены через два — три дня, и надо было спешить. И. Я. Яковлев жил тогда всё в той же квартире, на улице Гуно, 7, где он жил 20 лет спустя, и где, может быть, живет и по сейчас. Я, кажется, познакомился с ним в Петербурге, куда он приезжал как-то летом, в саду „Аркадия“, при довольно странных обстоятельствах. Именно, друг мой, В. П. Далматов, бывший в этот вечер в том особом настроении, о котором где-то у Г. Успенского говорится: „а ежели у меня такое намерение, чтобы полу-штоф“, — В. П. Далматов, говорю я, вдруг ни с того, ни с сего, заприметив Яковлева в группе журналистов на одной из центральных аллей сада, стал перед ними на колени и с большим чувством продекламировал: „Не тебе, не тебе, а всей русской печати кланяюсь!“ Сцена вышла трогательная, но не совсем уместная. Далматова стали поднимать, он упирался и, указывая на Яковлева, продолжал: „Это не человек! Это скала! Это пирамида! Это сфинкс!“, и тогда мне пришлось пустить в ход всё свое влияние на моего друга (неоднократно уже испытанное). Вот при этом то эпизоде я, помнится, и свел знакомство с Яковлевым. Этот способный и образованный журналист оказывал, вообще, много услуг русским, заблудившимся в Париже, хотя неизменно сохранял на лице мизантропическое, хмурое, брюзгливое выражение. Я его часто потом видал, подолгу разговаривал, ценил беседу с ним, но всегда испытывал такое чувство, что и я не впопад пришел, и он не впопад меня принимает, что не то сапог жмет ему ногу, не то он рыжиков поел, и у него отрыжка, не то сейчас ему надо бежать в ломбард закладывать женин салоп. Мне кажется, что сотрудничество в „Нов. Времени“ ему не дешево доставалось. Он был из политических эмигрантов, а писал корреспонденции в „Нов. Времени“. Был еврей, а сотрудничал у Суворина. Это не могло не угнетать. Но „Нов. Время“ обеспечивало: он имел 24.000 фр. жалованья в год, и мог жить безбедно, с женой, типичной русской акушеркой, и уже подраставшими детьми. Когда разыгралось дело Дрейфуса, и „Нов. Время“ сочло своею, так сказать, священною обязанностью с пеной у рта доказывать виновность Дрейфуса — словно газета

*

состояла на службе у французского генерального штаба — Яковлев, наконец, не выдержал и прекратил сотрудничество. Суворин не мало дивился этому поступку Павловского, как совершенно искренно, по великой, обворожительной, грациозной беспринципности своей, не понимал причины охлаждения к нему Чехова, произошедшего отчасти также в связи с делом Дрейфуса.

Я уже сказал выше, И. Я. Павловский был „синдиком“ иностранной парламентской печати. Пресса делилась на три секции и занимала в Палате строго и точно обозначенные места: парижская печать занимала второй ярус, провинциальная — левый сектор верхнего яруса, а иностранная — правый сектор. Среди парижских корреспондентов иностранных газет были в то время лица весьма известные. Не говорю уже о корреспондентах „Таймса“, был Макс Нордау; если не изменяет память, Вольф от „Берл. Тагесбл.“ (ныне редактор этой газеты) и др. Избрание Павловского синдиком, во всяком случае, свидетельствовало о значении его и влияния среди товарищей.

И. Я. Павловский написал разные удостоверения и бумажки, и с этими бумажками я, в сопровождении Ванички, который также о себе хлопотал, стал бегать по французским департаментам. Департаменты эти отличались пышными названиями и красивыми лестницами. Вывеска была, положим, — „Chef du protocole“ — „ober-церемониймейстер“, так сказать, а лестница с заднего двора, и из коридоров выглядывают небритые курьеры, в трепанных пиджаках. То ли дело наши департаменты!

Наконец, все формальности были улажены, на руках имелись и cartes d'entrée и permis de la circulation.

— Не забудьте черные запонки к белому галстуку, — сказал мне Ваничка на прощание.

Увы, дело было не в черных запонках, а в том, что у меня и фрака то не было. Пришлось поехать в Bon Marché и купить фракную пару. Затем приобрести цилиндр. Благодаря Ваничке, всё это уладилось довольно быстро. Затем мы с ним поехали в „кулуары“.

Теперь, т.-е. не теперь, конечно, а в свое время — „кулуары“ стали обычным и даже затасканным словечком репортерского жаргона. Но представьте себе журналиста, выдержанного в хорошей победоносцевской школе и писавшего в „высшей степени цензурных газетах“. И такого то журналиста ведут в „кулуары“...

Вот прошло этому без малого тридцать лет. Но я и сейчас не только помню ошеломляющее впечатление кулуаров, но и как бы вновь переживаю трепет, охвативший меня при посещении Палаты депутатов.

С ролью и значением французской печати я уже был знаком. Едва только приехав, я зашел в кафе и спросил себе на завтрак, что полагается, и к нему газету „Intransigeant“, издаваемую Рошфором. Ее в Россию не пропускали, и знакомство с парижской прессой ограничивалось „Фигаро“, „Голуа“ и т. п. газетами. Я читал, прихлебывая кофе, и чашка дрожала у меня в руках. Первое мое впечатление было то, что уже началась революция. Такие слова по адресу министров, как „предатель“, „подлец“, „дурак“

и т. п., а по адресу президента республики „старый чепчик“, „ставленные банкиров“ и т. п. Рошфор выпаливал по дюжине в минуту. И казалось совершенно очевидным, что если можно печатать такие газеты и тискать черным по белому такие слова, то власти уже нет, революция торжествует, и сейчас, из-за угла, начинается стрельба по баррикадам. Но ничего не было похожего на революцию; как в самые обыкновенные будничные дни, мимо кафе шли прохожие, густая толпа приказчиков, рабочих, чиновников, дам и девиц, мидинеток и кухарок, с очаровательною грациею (увы, ныне исчезающею или почти исчезающею) подбиравших двумя пальцами свои юбки; меланхолично скрестив руки на груди, стоял на супротив длинноносый, усатый городской; громыхали фургоны и прищелкивали кучера омнибусов и фиакров. „Но позвольте, — недоумевал я, — ведь, тут явно напечатано, что министры — мерзавцы и президент — „старый чепчик“. А город спокоен, а городской дремлет, а гарсон из кафе подмигивает горничной, и чорт их знает, как это у них происходит! Караул, что ли, закричать? И я так разнервничался, что опрокинул графин, разбил его вдребезги, и это было единственное в Париже реальное нарушение тишины и спокойствия, вызванное статьей Рошфора о министрах-мерзавцах и большом чепце-президенте республики. Свободная печать вырабатывает полный иммунитет к крайностям, преувеличениям и выкрикам политического памфлета, и та доза свободной печати, которая убивает деспотическое правительство, проглатывается, как приятный „аррэгити“, как рюмка коньяку, привычным организмом политически свободного народа. „Я каждый день с утра глотаю по жабе“ — писал Зола во время дела Дрейфуса. Ну, и что же? Правда восторжествовала, „La véritée-t-en marche“, и Зола вышел победителем...

„Булуары“ французской Палаты депутатов — грязноватые, плохо выраженные, выцветшие, как все французские правительственные учреждения — были полным полною народа. Две трети составляли корреспонденты, репортеры и редакторы газет, которые интервьюировали; одну треть — депутаты и министры, которых интервьюировали. Все были в кургуzych пиджачках и шляпах, надвинутых на затылок. Единственный джентльмен, среди этой, такой будничной, такой затрапезной толпы, был издатель „Голуа“, Артур Мейер — в безукоризненном „рединготе“ и цилиндре. Издатель роялистского органа для высшего общества носил, казалось, частицу своей политической программы не только в рединготе, но даже в гетрах и перчатках. Все же прочие, включая министров, поражали небрежностью, с какою были одеты. И всё тут было небрежно, вплоть до курьеров и сторожей, в таких же кургуzych, как у министров, пиджачках, сидевших у дверей и еле привстававших, здороваясь с министрами. „Bonjour, m-re ministre!“ „Bonjour, mon brave!“

„И это власть!“ — шептал я побелевшими устами, вспоминал, каким орлом входил в департаменты любой Максим Петрович.

Правительство представило в Палату закон против анархистов, вызванный убийством Карно. Я наслушался всех лучших парламентских ораторов Франции, в том числе и нынешнего президента республики, Мильерана.

Но не столько эти новые и острые ощущения увлекали меня, сколько наблюдения за газетной братией — за моими счастливыми коллегами. Меня поражала прежде всего организация корреспондентской службы. Обширный телеграф был тут же, и телеграммы иностранными и провинциальными корреспондентами либо спускались прямо вниз в аппаратную на особых блоках, либо сдавались свернутыми в трубочку курьерам. Одним только нам, русским, корреспондентам, спешить было не для чего и не зачем. Сплошь и рядом случалось, что в конце заседания мы читали уже отчеты о начале, напечатанные в „Тан“ и др. дневных газетах, выходящих в 3 часа. Помню старого газетчика, тайком притаившегося на галлерею журналистов и продававшего свежие номера. Удивительный эго был старичок. Больше на русского похож. Продаст десяток номеров, и примостится где-нибудь сбоку, жадно слушает прения, и о коммерции забудет...

Я почти ни с кем из корреспондентов не знакомился. Это были люди ремесла, профессионалы. Рослые и здоровые англичане, потрепанные итальянцы и испанцы, какие то греки, румыны — чистокровные репортеры, в общем. Немцы казались образованнее и серьезнее, но они были необщительны. Французы были отделены от нас карантинном, и смешиваться с ними, как в нашем ярусе, так и в нижнем, было почти физически невозможно. Когда прения затягивались, и пора было уже отправляться в редакцию, они без церемоний кричали „аих voix!“ (голосовать!), и хотя председатель неистово звонил в колокол, они еще неистовее шумели.

Русская жизнь, вся в общем и целом, и журналистика, как моя профессия, в частности, — впервые представилась мне в их настоящем виде. Я понял, что моя родина — страна примитива, несложного, простого состава, и если она может быть названа страной неограниченных возможностей, то в таком же смысле, в каком это говорится о ребенке, едва научившемся лепетать. Я впервые понял, что такое культура страны, и что культура, в сущности, далеко не совпадает с образованностью. Помню, два моих французских приятеля — Жюль Буа, в то время начинающий писатель, и Франсис Шевасю, даровитый фельетонист „Фигаро“, „Жиль-Блаза“ и других газет, отправились как то кататься в Булонский лес, захватив вместе со своими дамами также и меня. Ночь была очаровательная — мягкая, нежная, какая бывает именно в этом поясе, у нас, например, на Украине. Огромный парк был погружен в темный полумрак, и только местами из-за листвы вырывались яркие снопы электрических ламп вместе со звуками румынских и цыганских оркестров. Мечталось. Хотелось поэзии, сказки, очарования. Кто были эти дамы, в роскошных шляпах и таких элегантных туалетах? Вероятно, какие-нибудь модистки или, быть может, в лучшем случае, *demoiselles de bureau*. Но почему они были, как герцогини? Почему, хотя они были в десять раз менее образованы и просвещены, чем курсистки и студентки, которых я знал когда-то, и дамы писательницы, со стриженной головой и папиросой в зубах, которых я знал теперь, — они представляли всем обликом своим, голосами и манерой речи, — бесконечно более совершенную и законченную ступень культуры? Почему во

французском языке так много закрытых, стыдливых, сдержанных в гортанной и небной плоскостях, звуков, и почему мы, как вороны, каркаем с открытым ртом, и всю свою фонетику выкладываем наружу? И так как было тепло, мечтательно и благоуханно, то я, сам не знаю как, стал заглядываться на зрезды, и читать Пушкина. Мне казалось, что гармония его стиха так совпадает с поэзией этой удивительной ночи, молчащей и полной отголосков, темной и светящейся купами фонарей. „Ах, как жестко, — сказала одна из дам, — я не понимаю, конечно, смысла, но это дерет ухо“. Пушкин дерет ухо!..

Я впал в уныние.

Всё тут забежало вперед. Милые, молодые французские литераторы ставили меня, с моею полу-варварской наивностью, в тупик. Жюль Буа подарил мне свои романы, которые мне не понравились, и главным образом, тем, что он немилосердно врал про Заратустру (Ницше только что входил в моду во Франции) и каких-то цариц Вавилона, которые будто бы лобызали ступени храма, добиваясь чего то „au delà“, а какого „au delà“ и сами не знают. А сам он жил в темноватой и гризноватой улице Шапталь, вроде нашего Деятрного переулка, в двух комнатенках, и я видел стоптанные дамские туфли без задников, которые он тщательно убирал, когда я к нему являлся. И причем тут царицы Вавилона? А когда появились отчеты о похоронах Карно, то в „Фигаро“ и др. газетах, среди знатных иностранцев, я встретил и свое имя, со следующим прибавлением такой-то „supplément Aurélien Echoll de S. Pétersbourg“. Орельен Шоль был в то время кумиром французских деми-монденов, кулисы, вообще, бульварного люда, и написать это — значило, сделать меня прямо знаменитостью. Когда я сказал Буа, что, дескать, mon ami, зачем вы тут про Орельена Шоля наврали — он, открыто блеснул глазами и ответил: „Но ведь это de la jolie réclame“. „Ах, Буа, Буа, — сказал я — всё то вы врете, вот и в романах своих врете про какую-то Семирамиду“. Буа, однако, несколько не обиделся, а молвил только:

— Hein? Mais il faut quelque chose de nouveau...

И потащил меня завтракать, полагая вопрос исчерпанным.

Словом, как некогда „европейца всё внимание народ сей чудный вызывал“, так тут было — наоборот. И когда я попал в Антверпен на международный конгресс журналистов, то испытал еще более гнетущее и тупое чувство. Журналисты были похожи всем — и костюмом, и манерами, и видом своим — на коммивояжеров и бакалейщиков. Разговоры шли о том, как отправлять подешевле телеграммы, пересылать с курьерскими поездами клише, и заказывать полетче бумагу. Я всё ждал, что кто-нибудь, наконец, встанет и скажет: „Господа, с печатным словом следует обращаться честно. Вспомните, что завещал нам наш великий русский писатель...“ Ну, как водится. Но и слова „писатель“ я ни разу не слышал. От России в президиуме заседал М. А. Загуляев, некогда сотрудник „Голоса“, а тогда „Нов. Времени“ и нашего дипломатического официоза „Journal de S. Pétersbourg“. Так как Загуляев имел совершенно корректный вид, носил лощенный цилиндр и даже слегка припудривал лицо, то он представлялся в числе прочих королем или коро-

леве — не помню, и нас, русских журналистов, не только словом, но и взглядом не удостоивал. На третий день эта биржа бакалейщиков и коммивояжеров до того мне опостылила, что я снова уехал в Париж. Было уже позднее лето. Палата разбегалась на каникулы. Я просиживал целые дни и вечера на бульварах в кафе и до сита не мог наглядеться на изумительную парижскую толпу. Не хотелось ни с кем говорить и всего менее таяло в соотечественникам, которых и из литературной братии, особенно в то время, в Париже скопилось множество. Свои были не занимательны и как то скучны, — скучны по новому. Именно здесь, в Париже, я видел их с какой-то другой стороны, вот вроде того, как Анна Каренина, уже захваченная интересом к Вронскому, вдруг увидела оттопыренные, большие уши мужа. Французы были гнетуще непонятны. Однажды, помнится, я беседовал с романистом Франсом (не Анатолем, а другим — тоже написавшим с десяток романов). Это был очень простой, интеллигентского вида, не очень молодой француз, с открытым, хорошим лицом, и детей у него была куча — одним словом, будто и не француз. Говорили о „Крейцеровой Сонате“, которая в то время только что появилась в переводе. „А ведь согласитесь, дорогой Франс, — заметил я, — что есть что-то тревожащее в половой любви, какой-то осадок раскаяния. Неужели вы не задаете себе вопроса, почему вы любите“. „О, — ответил он просто, — *parce que ça me fait plaisir*“. И он запыхтел своей трубкой... Я замолчал и думал: „Вот скажите так-то нашему интеллигенту, — люблю, потому что это доставляет мне удовольствие!“

Скучно там, на родине; непонятно — здесь, на чужбине.

Раз как-то вечером, в увеселительном саду, я столкнулся с А. А. Плещеевым. Он проживал в Париже свою часть наследства. Я упоминал уже об этом феерическом наследстве, более трех миллионов, упавшем, как в сказке, на голову старику А. Н. Плещееву от какой-то чуть не троюродной тетки, да еще с немецкой фамилией. Семья Плещеевых отличалась редкой добротой и великодушием. Старик давно уже пользовался щедрыми субсидиями Литературного фонда и, получив наследство, первым делом уделил толлику Фонду, а затем стал раздавать деньги товарищам и сверстникам. Наступил, можно сказать, золотой век русской литературы. Вдруг у П. И. Вейнберга, например, появился новый английский плед, а на голове новая щегольская шляпа. Все понимали, откуда это. Дети Плещеева, выделенные им, не отставали от отца. Младший сын, Николай, был измайловский офицер, и от его части наследства, собственно, хорошо было измайловским офицерам. Журналистика же процвела от старшей линии плещеевского наследства. А. А. Плещеев решительно не мог себе вообразить, чтобы кто-нибудь из его товарищей ушел от него с пустыми руками. У него была записная книжка, куда он аккуратно вносил рубли и трешники, когда-либо у кого-либо взятые взаймы. А у кого он не брал взаймы? И всех заимодавцев своих он почитал долгом одаривать. „Да возьмите тысячу“ — говорил он мне, угощая завтраком от Кюба. „Да не надо, А. А.“. „Ну, возьмите пятьсот!“ „И пятьсот не надо. Понадобится — возьму“. А. А. был очень этим огорчен и даже надулся.

Когда я встретил его в Париже, от его миллиона осталось уже тысяч 75, не больше. Но train он вел прежний. Ему неизменно сопутствовали два домашних доктора — один по внутренним, другой — по нервным болезням, так как А. А. Плещеев, сколько я его знаю, всегда был убежден, что чем-то болен, и смерть караулит его за углом. Обоих докторов он таскал с собою всюду — в театр, в баню, в парикмахерскую. Когда садились за обед или ужин, оба доктора с внимательнейшим видом изучали меню и заботливо устраняли из него всё, что могло повредить здоровью А. А. Плещеева. Ничем нельзя было так огорчить А. А., как сказав что-нибудь ироническое по поводу его домашних врачей, которых от хорошей еды и хорошего жалования раздуло горой. Это были наоборот „герои труда“, жертвы медицинского долга и переутомления. Мы пообедали как то в компании у Дюфура или какого-то другого именитого французского ресторатора, т.-е. Плещеев, я и два доктора. Плещеев выпил немного красного вина с водой; доктора же, которые были не дураки выпить, посоветовали мне с лечебной целью отведать разных сортов напитков. А. А. смотрел грустными глазами и вздыхал.

— Вот скоро деньги кончатся — сказал он мне, совершенно с таким видом, как будто бы говорил: вот скоро наступит осень, завянет лист, засеребрится иней, и так как это неотвратно, то юнкер Шмит из пистолета должен застрелиться.

Затем он помолчал, обнял меня и прибавил на прощанье:

— Кланяйтесь там... Должно быть, теперь уже скоро... Да... Скажите, что скоро... Деньги кончатся...

И уныло зашагал по панели, поддерживаемый двумя докторами.

* * *

Вместе с финансово-экономическим оживлением, в начале девяностых годов чуть-чуть стала проходить и обывательская оторопь, вызванная тяжелой, свинцовою реакциею, которую внес царственный „хозяин земли русской“, Александр III. Состояние обывателя, — разумею интеллигентного — (по терминологии Щедрина „русский культурный человек“), было в 1880-х годах истинно плачевное. Это была именно оторопь. Не говорили, а шушукались. Всякое социальное общение, всякий признак такого общения — уже сами по себе, представляли нечто предосудительное. Новый университетский устав называл студентов „отдельными посетителями университетов“, и эта частная квалификация могла быть с успехом применена ко всякого рода звания и состояния людям. Все были „отдельные посетители“, индивидуальные визитеры житейского поприща. Отдельный посетитель — кто бы он ни был — чиновник, рабочий, купец или студент, литератор или аптекарь — делал свое отдельное „посетительское“ дело и, отделав его, скрывался в свою норку. Корпоративная связь, профессиональная или цеховая, во всяком случае, носила в своем зародыше „действие скопом“, а действие скопом, хотя бы это было хорошее пение, есть уже один из признаков „революции“. Обывательская оторопь в том, главным образом, и выражалась, что люди избе-

гали взаимного общения инстинктивно, даже без начальственного о том предписания, а начальство, разумеется, где и как только могло, содействовало распылению общественных и профессиональных групп. Распыляло и повелевало.

Литературная среда, разумеется, состояла особо на примете и принуждена была вести себя тише воды, ниже травы. Единственным учреждением профессионального оттенка был „Литературный фонд“, выдававший пособия нуждающимся литераторам, и иногда представлятельствовавший в торжественных случаях, например, на юбилее Д. В. Григоровича. Среди тусклых литературных явлений этих годов юбилей Григоровича составил в некотором роде событие.

Отпраздновали юбилей у Кюба; речей было много, большей частью бесцветных. Господа литераторы находились уже в порядочном подпитии, так что, когда один из них повалился в ноги Григоровичу и, ударяя себя кулаком в грудь, возопил: „Я сын Антона Горемыки!..“, — то трактирщик-француз счел себя вынужденным вмешаться и, войдя в залу торжества с несколькими метрдотелями, учтиво, но твердо и решительно, заявил:

— Pardon, messieurs, je dois travailler...

И очистил залу. „Отдельные посетители литературы“ разбрелись по трактирам, и через час у Палкина В. А. Тихонов плакал и говорил:

— Какой позор! Какое поношение! Французик из Бордо заявляет — кому? — цвет русской литературы! — je dois travailler!

Он выпил еще водки и, сделав злое-мрачное лицо, добавил:

— Друг! Вот вам мой завет: бойтесь трезвенников!..

И точно, по слову В. А. Тихонова, если что и объединяло русскую литературу, то это именно более или менее единодушная боязнь трезвенников. В этом смысле, применительно к возможностям, делались время от времени кое-какие попытки. Так, существовали какие-то ежемесячные обеды писателей, впоследствии переименованные в „ежемесячные обеды беллетристов“. Они возникли еще в половине 1880-х годов, и, однажды, участники обеда решили послать приветственную телеграмму таяко в то время хворавшему М. Е. Салтыкову, подписавшись „ежемесячно обедающие писатели“. Салтыков ответил приблизительно следующее: „Ежемесячно обедающим писателям, туда-то. Благодарю за телеграмму. Ежедневно обедающий писатель Салтыков“. Одно время существовал „Пушкинский кружок“ — нечто вроде клуба, с гостями. Помещался он в Знаменской, как она тогда называлась, гостинице (впоследствии „Северная“, что против Николаевского вокзала). Во главе кружка стояли, кажется, Н. А. Лейкин и ныне здравствующий К. С. Баранцевич. Начали, сколько помнится, хорошо, т.-е. не без литературного оживления, но вскоре характер „Пушкинского кружка“ и его вечеров стал приобретать черты Приказчиьего и Немецкого клубов. Я не помню уже, при каких обстоятельствах произошла его ликвидация. Но, во всяком случае, тень Пушкина едва-ль его усыновила и Арзамасом из гроба нарекла.

Взаимная тяга литературных деятелей, а особенно совершенно беспризорных газетных работников, однако, давала себя чувствовать. Необходимость какой-либо

солидаризации интересов, профессионального общения — явления настолько неистребимые, что даже толстовско-победоносцевский автократический дух ничего с этим не мог поделать. На этой почве возникли два учреждения, которым судьба послала относительно долгую жизнь. Это — „Касса взаимопомощи литераторов и ученых“, и „Литературно-артистический кружок“, впоследствии ставший „Суворинским“ и превратившийся в театральную антрепризу.

„Касса взаимопомощи литераторов“ в просторечии долгое время именовалась „Кассой Градовского“. И точно, основателем и душой этой кассы был Григ. Константи́н. Градовский. Собственно говоря, глупее конструкции нельзя было придумать, и нужна была, с одной стороны, непреоборимая потребность хотя какого-либо профессионального объединения, а с другой — упрямая настойчивость Градовского для того, чтобы эту кассу осуществить. Весь секрет был в том, что как раз к этому времени был опубликован „нормальный устав“ „похоронных касс“, и Градовский ухватился за этот „нормальный устав“ — дескать, коли по нормальному уставу, то неблагоприятному цеху литераторов разрешат соединиться. О похоронах, вообще, никто не думал. Литературной среде, ее полу-цыганскому быту, вообще, ни с какой стороны эти заботы о похоронах не пристали. Семьями далеко не все обзавелись, а кто и имел семью, так и тот часто по „не сходству характеров“ с женой не жил, как сам инициатор кассы, Градовский. Ну, умрешь, похоронят, как не жил на свете... Только и всего. Этот тип кассы, весьма пригодный для конторщиков и бухгалтеров, но не для литераторов. Я не говорю уже о том, что и со страховой точки зрения, он представлял собой курьез. Выходило, что молодые и полные еще сил члены кассы страховали аккуратно похороны стариков. Всё это отлично чувствовалось и понималось, и тем не менее призыв Градовского нашел горячий отклик. Образовался кружок инициаторов, и в их числе состоял также и я. Началось обсуждение устава. Разумеется совершенно конспиративно. В качестве конспиративной квартиры, С. М. Проппер, тогда еще сравнительно молодой человек и совершенно, так сказать, холостой, предложил свою „гарсоньерку“ на Морской улице, в низке, в том, самом доме, где помещался аристократический фешенебельный Яхт-Клуб. Не знаю, по соображениям ли конспирации, или по врожденному гостеприимству, Проппер сопровождал „обсуждение устава“ приличным ужином и соответствующей закуской. Он был в то время, вообще, крайне обязательный человек и хороший гурман и доставал какие-то особые анчоусы и необыкновенную капусту от Штурма, в которой готовил исключительной остроты и пикантности соус. Капусту от Штурма так понравилась учредителям кассы, что обсуждение устава крайне затянулось. Сколько помню, мы обсуждали устав целое лето, и многие параграфы были так обильно смочены, что навсегда отзывались сыроватостью. Расходились уже на заре, добрым ясным утром. В сущности проект оставался без изменения, так как Г. К. Градовский не принадлежал к числу людей, которые меняют свои убеждения, и твердо стоял на своем. Комиссия уступала, а Проппер готовил капусту к следующему заседанию.

Где и когда я познакомился с Проппером — не могу сказать. Помню, что чуть ли не в первый вечер знакомства Проппер поведал мне многие секреты своей сердечной жизни и рассказал о том, как одну прекрасную маску из Немецкого клуба он в шутку убедил в том, что он сапожник, так как, де, на большом пальце у него толстая, мозолистая кожа, что бывает — о, ирония судьбы! — только у литераторов и сапожников. Проппер выпускал „Бирж. Ведомости“ два или три раза в неделю, в „Витте“ не ходил, любил повеселиться, „sich amüsiren“, и никому не приходило в голову, что этот живой и, повидимому, обязательный „венгерец“ (Проппер считал себя соотечественником Марка Йокала) станет левинафаном издательского дела. Его перерождение совершилось как-то очень быстро, вслед за его женитьбой, о которой он мне также сообщил заблаговременно. Не прошло 4—5 лет после обсуждения устава похоронной кассы в гарсоньерке Проппера, как я уже брал аванс у издателя „Бирж. Ведомостей“, писал у него воскресные фельетоны и вел что-то вроде летучего отдела фельетонной хроники. С. М. Проппер, хотя и был ко мне всегда расположен, но о молодых признаниях не было больше речи. Он стал курить толстые сигары, ездить в Наугейм и приобретать приятнейшую округлость форм. Я работал в „Бирж. Ведомостях“ весьма непродолжительное время и чувствовал себя как-то не на месте. Странно! Как будто газета имела всю видимость солидности и вескости, и писать в ней можно было с большими удобствами и уже во всяком случае с лучшей корректурой, чем в „Петер. Газете“, но что-то давило и угнетало дух. Я не понимал читателя и не совсем ясно постигал физиономию газеты. Благосостояние „Бирж. Ведомостей“ создало второе „провинциальное“ издание газеты, и, собственно, истинно ценным почиталось то, что годилось для второго издания и в него включалось. Столпом второго издания был Д. А. Линева. В литературе он был несколько известен своими очерками из тюремной жизни, которую, как сплетничали, он имел возможность и случай наблюдать самым близким и непосредственным образом. Я не знаю подробностей его биографии, но он уверял меня, что его звание — „явный прелюбодей“, и что так, де, он прописан на основании паспорта, в участке. Мужчина он был огромного роста, с необычайною, как у Авессалома, шевелюрой и крупными африканскими губами. Если, точно, существовала такая уголовная квалификация — „явный прелюбодей“, — то она могла быть дана Линева судом, пожалуй, на основании одного лишь акта наружного осмотра. Он работал раньше в московском „Русском Курьере“ Ланина, проживавшего на скромной либеральной газете барыши, которые он получал с знаменитой шипучей Ланинской смородиновой и грушевой воды. Репутация у Линева была не так, чтобы уже первостатейная, в смысле либеральной чистоты, но тем пуще он старался. Он вел в газете провинциальный отдел, вступил в переписку с представителями „третьего элемента“ в захолустных углах, и каждый день писал очерки провинциальной жизни, в которых „изобличал неправду“ суконным, но жарко подогретым языком. Он, можно сказать, не писал, а выкликивал, и всё время колотил себя кулаком в грудь, напоминая

в этом отношении адвоката П. Г. Миронова, который, когда говорил речь присяжным заседателям, то прибегал при каждом слове к такой же пламенной жестикуляции: „Февраля (хлоп!) 22 (хлоп!) крестьянин Сидоров (хлоп! хлоп!) украл (хлоп!) старое голенище (хлоп! хлоп!).“ Линева пользовался, можно сказать, „бешеным“ успехом, и когда он разошелся с Проппером, то И. И. Ясинский („Независимый“), заступивший его место, имел перед собою совершенный образец и вполне расчищенную дорогу к сердцам читателей. Вся газета, собственно говоря, строилась по камертону линеваской литературы. Проппер был рачительный и ловкий хозяин и отличный „делатель денег“. Разбогатев, он стал держать дом на широкую ногу. Я уже как-то упоминал об его „суаре“, на которых иногда бывал. Хозяин принимал у себя в кабинете, где по стенам у него была развешана замечательная коллекция курительных трубок — воистину, у каждого венгерского барона своя фантазия! „Суаре“ оживляла супруга издателя, бойкая, — может быть, даже чересчур, — варшавянка. На этих вечерах неизменно блистал В. П. Далматов. Большой любитель хорошего вина и поклонник прессы, он произносил ядовитые тосты, которые принимались, обычно, за милую шутку всеобщего баловня и шалуна. Я помню как-то в один вечер, особенно людный и оживленный, по окончании обильного ужина, С. М. Проппер пригласил гостей в залу „на маленький сюрприз“, как он выразился. В зале оказался поставленным небольшой стол, с зажженными свечами, и когда гости расселись по стульям, любезный амфитрион молвил:

— Сейчас, как бы вам сказать (это была обычная присказка С. М. Проппера) Дмитрий Александрович (Линев) прочитает по свежей гранке из типографии свое заглавнейшее произведение.

С некоторым оттенком очаровательной скромности, Д. А. Линев, откашлявшись в кулак, гласом протодиаконаского тембра прочел свое „произведение“. Дело шло о том, что некий полицейский урядник неправо присвоил десяток аниц у бедной вдовы, и в то же время, лавочник Сидор Карпов угодил в тюрьму за гнилую кожу, проданную им почтенному труженнику, сельскому учителю села Спасского. „Долго-ли еще терпеть подобные несправедливости?“ — спрашивал в заключение автор и добавлял: „Верим, глубоко верим, что истина восторжествует не только в селе Спасском, но и во всем уезде, и, может быть, даже во всей губернии. Со светлым праздником, читатели!“. Когда Линев воскликнул „со светлым праздником, читатели!“ — Проппер подал знак к аплодисментам. Несколько младших репортеров и конторщиков зааплодировали. Кажется, кто-то крикнул „ура“. Литературные гости сидели с напряженно глупым выражением лица, но тут шаловливая хозяйка организовала котильон, и можно было воспользоваться оживленным замешательством, чтобы покинуть незаметно литературный салон С. М. Проппера.

Была морозная звездная полбрьская ночь. Я шел, вдыхая полной грудью воздух, и думал. В первый раз у меня смутно зародилось сомнение в значительности и литературном достоинстве газетного призвания. Художественный импрессионизм, который я считал необходимою формою журнального творчества,

ибо такова, казалось, природа самого дела, сталкивался с силой противоборствующей, диалектически ему враждебной — с косностью, инерцией, мешанством мысли. Ведь, тут в этой гранке каждый вершок — мешанин, как в Лире каждый вершок — король... Банальность — величайшая сила газеты. И вообще, что такое газета? Почему, собственно, газета есть отрасль художественной литературы, как я думал? Газета прежде всего осведомительница, затем орудие политической мысли, и в третьих орган гласности, как фактора общественного и государственно-административного процесса. Литература, художественное слово есть премия газеты, ее приманка, в тесном смысле — „Supplément litteraire“, как называются еженедельные прибавления некоторых парижских газет. Русская печать, отчасти под влиянием административных притеснений, находилась еще в романтическом фазисе своего бытия, но уже ширился и расплзался лишаи газетного мешанства, и кто знает, может быть, маленькая „биржевка“ и есть провозвестница новых форм условленной жизни.

Увы, я верил в талант и поклонялся таланту. А талант — это оригинальность; а талант — это своеобразный, свой собственный подход к вопросам и явлениям жизни. Именно в это время в газетах, за неимением лучшего, возникла полемика о „честности“ и „таланте“. В полемике принял участие и я. Самая тема, в сущности, была нелепа. Между „честностью“ и „талантом“, собственно, нет никакой логической связи, совершенно так же как между музыкальным слухом и отбыванием воинской повинности. Конечно, обладающий „абсолютным музыкальным слухом“ должен служить в армии, как и не обладающий. „Честность“ есть общегражданская обязанность, а отнюдь не привилегия и не специальное бремя таланта. Но так как между строк под „честностью“ разумелось нечто специфическое, помните, на балу у губернатора в „Бесах“ фигурирует „честная русская мысль?“ то — говорили одно, а думали другое. Весьма забавно, что „Новое Время“, притворившись, что не понимает, в чей огород камешки бросают, решительно заявило, что оно предпочитает „честность“. Полемику пришлось прекратить, потому что выходило совершенно глупо.

В моей душе, конечно, по молодости лет, стоял вопль из чеховского „Иванова“ — „Будь ты проклята, бездарная честность!“ Только с течением времени я начал примириться с мыслью, что „бездарная честность“ есть предпочтенная вещь, как, например, солома, которой кроют крыши и топят печи, или кирпич, из которого кладут стены. Бездарная честность — это скопление материала, организованность, сила притяжения, центристскость. Наоборот, индивидуализм, — а он неизменный спутник, более того, неизменная форма дарования — сила отталкивающая, центробежная, во многих случаях дезорганизующая. Тон в одном из своих ранних опытов, являясь, как всегда, убежденным противником демократии, пишет, что не может себе представить правильно и организованно действующего общества, все члены и классы которого знали бы греческий и латинский язык. Еще труднее и вообще, невозможно представить себе классовое общество, — а иное тогда и не мыслилось, — состоящее из одних одаренных, из ряду выходящих, индивидуальностей. Антиномичность личности и коллективного усилия очевидны.

Линев со своими обличениями урядников-куропачов и деревенских кулаков был необходим—объективно. Его серость—эта „прождежда“ банальщины—и была его сила. Заслуга Проппера,—если можно считать заслугой инстинктивное влечение издателя к увеличению тиража и неуклонное следование по пути успеха,—заключалась в том, что он учул массового потребителя газеты. В этом и состоит, собственно, газетный коммерческий талант. Торговля опашалами на Шпицбергене, увы, нелепость, так же, как производство муфт и теплых рукавиц у тропиков.

Рядом с Линевым—Градовский. Конечно, Градовский был даровитее, образованнее, литературным калибром крупнее Линева. Но в сущности, сила Градовского была в том же,—в непрестанном, настойчивом повторении общественно-политических трюизмов. „Направление“ есть вульгаризированное, в интересах текущего момента, философское и политическое мировоззрение. Это—прикладное ремесло мысли, совершенно так, как врачевание есть прикладное ремесло медицинской науки. Ежедневное писание одинаковых рецептов, гуртовое лечение больных... Градовский был воплощением либеральной укоризны. „Подобно тому“, как добросовестный студент, зная X том, считал себя обеспеченным совершенно от случайностей экзамена по гражданскому праву, так либеральный публицист, прикидывая „эпоху либеральных реформ“ к явлениям реакционной современности, знал твердо и неукоснительно, что честно служит либеральному направлению. Земля держится на трех китах; судопроизводство—на гласности, устности и состязательности. Волга впадает в Каспийское море. Земское самоуправление содействует процветанию местной жизни. Букет для дам—презент отличный, борьба с Катковым—долг публичный и т. д. Я несколько не умаляю значения стойкости и публицистической определенности Градовского. Наоборот, большая заслуга его была в том, что денно и нощно, при всяком удобном и неудобном случае, он повторял, что Волга впадает в Каспийское море, что земство следует сохранять, развивать и совершенствовать.

Когда Градовский умер, кажется, в 1916 году, я писал, что он напоминает мне, в тумане и хаосе реакционных дней, „хранителя огня“ из романа Рони о первобытном человеке. Факел, горящая лучина были величайшим достоянием первобытной общины, и когда племя, гонимое неприятелем или дикими зверями, пробираясь через девственные леса и пустыни, меняло свое местопребывание, самым важным и ответственным делом было хранить горящий факел или какой-нибудь иной светильник, чтобы не очутиться без огня, значит, без костра, и не погибнуть от холода и мрака. И кто-то высоко держал над головами бегущих этот источник живительного огня, и пока был цел язычок пламени, надежда на спасение не покидала бегущих. Всё это совершенно верно, но сама по себе, в своей человеческой полноценности, что представляла собою личность хранителя огня?

Я часто встречался с Градовским, и хотя он был почтенный человек, беседа с ним оставляла во мне такое впечатление, как будто я пожевал соломы. Приблизительно такое же действие производило чтение его статей в „Новостях“.

Его рассуждения были не только правильны, но можно сказать, до ужаса верны, и я разделял их всецело. Но именно потому они были совершенно ненужны. Таблица умножения истина неоспоримая, но что ее делает совершенно безвкусной—эта ее общезвестность. Я смотрел на Градовского на его крупную, коренастую фигуру, круглые, ясные и чистые серо-зеленые глаза, на его мощную челюсть—и думал: какой секрет хранит этот человек, неустанно всю жизнь повторяя то в „Голосе“, то в „Новостях“, то в „Луче“, то в „Бирж. Ведомостях“, что земля имеет форму шара, и Волга впадает в Каспийское море? Он был работоспособен, вынослив, настойчив и упрям. Просидев ночь за бутылкой вина или пива, он оканивал себя холодной водой, и как ни в чем не бывало, принимался за очередную статью о необходимости предоставить земству полную свободу в устройстве санитарной части на местах. Он жил в небольшой, холодной квартирке, где-то на Саперном, в районе Бассейной улицы, я, помнится, я был поражен, при виде того, что стены его кабинета до самого потолка были уставлены книгами. Судя по репертуару его либеральных статей, я полагал, что найду у Градовского книгу Джаншиева „Эпоха великих реформ“ и карту России, указывающую, что Волга впадает в Каспийское море, и больше ничего. Ибо подлинно, осматривая свои литературные доспехи, Градовский мог сказать: *omnia mea secum porto*. Когда издателю нужен был стальной стержень для либерального механизма новой газеты—взор его невольно искал Градовского. Это была не только аккуратная, производственная мастерская умеренно-либеральных, допускаемых в известных пределах, Главн. Управлением по делам печати, статей; это был—паспорт, аттестат от последнего места. И все читатели (немногочисленный круг либеральной интеллигенции), и цензоры Главного Управления знали, что либерализмом „эпохи великих реформ“ будет насыщена каждая строчка. И одни предвкушали, повидимому, удовольствие, и другие спешно протирали глаза, чтобы глядеть в оба.

Я уверен, что жизнь Градовского так и протекала бы без всяких случайностей и серьезных потрясений, если бы его не спутал театр. Я знал многих, весьма почтенных людей, отличных работников своего специального пехового дела, которые срывались и оказывались, можно сказать, над бездной, столкнувшись с театром—этим великим дезорганизатором всякой умеренности и аккуратности. Случилось так, что Градовский написал пьесу. Впрочем, до этого еще случилось то, что его единственная, кажется, дочь, прослушав драматические курсы у Коровикова, стала актрисой. Потом Градовский чуть ли не сразу написал несколько пьес—„Либерал“, „Гражданский брак“, что-то в этом роде. Они нигде не были поставлены, хотя издание их вы можете и сейчас найти. Написав пьесы и горя нетерпением, только одним неудачным драматургам понятным, желанием поставить их, он стал бывать за кулисами и знакомиться с актрисами и их поклонниками. Забыв, можно сказать, свое имя и звание и то, что столько лет стоял „пред отчизной воплощенной угоризной“, как паладин либерализма, он дошел до того, что стал ухаживать за Сувориним, основавшим тогда свой театр. Он пренебрегал самыми лучшими поводами для полемических статей, и когда в „Нов. Времени“ по-

являлось что нибудь о необходимости, согласно Шопенгауэру, сечь учащееся юношество — подумайте, какая шикарная и вполне цензурная тема, и совершенно в духе „эпохи великих реформ“! — Градовский молчал, потому что надеялся. Он надеялся, а время шло. Время шло, а пьесы не ставились уверенными Суворинными, и бремя не высказанных либеральных слов угнетало душу Градовского. Если не ошибаюсь, в 1897 г. одна из его пьес — не то „Либерал“, не то „Гражданский брак“, не то „Дочь генерала“ — была, наконец, поставлена, сыграна и канула в Лету вместе с сотнями таких же, никому не нужных и для театра совершенно мертвых, пьес. Но это событие имело роковое влияние на судьбу Градовского. Постановка пьесы так резко выбила его из обычного уклада жизни — такой ясной, прямой и негнувшейся — что он впал в состояние некоторой моральной депрессии. Потом стал заговариваться. Его душевная болезнь тянулась довольно долго. У него были светлые промежутки, потом он значительно поправился, почти совсем, и даже стал писать. Но за десять лет жизнь убежала так далеко вперед, что он не находил настоящего тона. Он безнадежно отстал, как отстал и пересахарился малиновый либерализм „эпохи великих реформ“. Я помню, как печалился и грустил П. И. Вейнберг, когда в 1906 г., читал наши левые, даже не социалистические, газеты. „Дума есть, конституция есть — чего-же еще?“ — говорил он, наивно и печально устремляя на меня свои большие глаза. Все трафареты старых либеральных чаяний были превзойдены, и поза „воплощенной укоризны“ потеряла всю свою картинность. А найти новую позитуру человеку не гнувшейся мысли, когда в неспянии, ни на пядь больше, ни на пядь меньше, и заключалось всё ее значение — было, увы, невозможно!..

В сущности, зарождалась трагедия русского либерализма, которой мы тогда не замечали и которой действительные формы открылись только много позже и слишком поздно...

Касса, основанная Градовским, пережила его и сослужила, во всяком случае, большую службу в скучные дни нашей общественной распыленности. Она выдавала и пособия и даже какие-то пенсии. Многие самым серьезным образом волновались вопросами о размерах выдач на похороны. Общие собрания членов сопровождалось шумом, криками, бурей. Всегда была оппозиция, и неизменно существовала правительственная партия. Неистовствовали иногда до позднего вечера. Из-за чего — понять совершенно невозможно, как нельзя с рациональной точки зрения уяснить, почему визжит, грызет и воет, как оглашенный, молодой щенок. Вероятно, то кровь кипит, то сил избыток. Басил Линец, долго и неубедительно „ниспровергал“ министерства вечный оппозиционер А. Н. Кремлев, адвокат, журналист, актер, безумный друг Шекспира и бывший мировой судья, отставленный от должности потому, что в своей камере в г. Казани повесил портрет Чернышевского. Репортеры, писавшие отчеты, бросали карандаши и выступали в качестве ораторов. И когда, охрипшие, уставшие, голодные, расходились, то чувствовали какое-то облегчение. Во главе правления, не смотря на оппозиционные бури, стояли одни и те же лица — настолько-то здравого смысла хватало, чтобы удержать самоотвержен-

ных людей, высчитывавших, сколько приходится на похороны и где раздобыть деньги на них,—но зато ревизионная комиссия... о, ревизионная комиссия менялась каждое собрание! Касса просуществовала до самой революции, хотя союз писателей успел значительно разрядить энергию литературной братии. С революцией, поднявшей настоящие бури, исчезла психологическая, а может быть, и физиологическая потребность устраивать бури в стакане воды, и я думаю, по этой причине похоронная касса литераторов перестала тревожить воображение.

А. Р. Кугель.

Письма марксистов к Н. К. Михайловскому (1894 г.).

Полемика Н. К. Михайловского с марксистами до сих пор представляет один из наименее освещенных эпизодов его литературной деятельности. Открыли эту полемику не марксисты, а—Михайловский. Сначала в статье „О народничестве г. В. В.“ (окт. 1893 г.), он обронил несколько слов о марксистах, в которых выставил, рискованный по тому времени, тезис о своей солидарности с В. В., в отношении к марксизму. „Марксисты,—заявил там Михайловский,—прямо настаивают на необходимости разрушить нашу „экономическую организацию“, обеспечивающую трудящемуся самостоятельное положение в производстве и г. В. В.,—совершенно справедливо по мнению Михайловского,—протестует против „подвигов“ такого прямого воздействия на существующий экономический строй“¹⁾. Эти слова оказались сказанными в плохую минуту и именно они послужили предлогом к полемическому турниру между Н. К. Михайловским и тогдашними молодыми русскими марксистами. Разрушеная такого взгляда на задачи русских марксистов были посвящены в частности и печатаемые ниже „Два письма к Н. К. Михайловскому“. История их вкратце,—поскольку она теперь может быть восстановлена,—такова.

Приведенная выше цитата из статьи Михайловского о В. В. относится, как указано, к октябрю 1893 г. Легальных выступлений к этому времени русский марксизм еще не знал: они пришли год спустя, когда появились книги Бельтова и Струве. Но социал-демократическое движение к этому времени успело уже не только зародиться (сначала за-границей, а потом в России), но и пройти первую фазу своего созревания. Марксистские кружки встречались к этому времени уже повсюду. Крушение „Народной Воли“ подготовило для них почву, а образование за-границей группы „Освобождение Труда“ дало первый толчок к идейной переработке прежних воззрений русских революционеров. К началу 1890 г. русский марксизм вступал уже в пору гражданской зрелости. Кадры борцов за новое учение, не за-границей, а уже в самой Рос-

¹⁾ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VII, стр. 683.—Ср. ниже примеч. 1.

сии, были готовы и ждали только случая, чтобы проявить себя на обще-литературной арене. Сделать это помог им Михайловский, бросивший мимоходом вышеприведенную фразу. Она сыграла роль искры, из которой разгорелось жаркое пламя полемики.

Первыми застрельщиками ее были люди никому неизвестные. Это была молодежь, еще не испытывавшая житейских бурь и не искушенная в тайнах полемического искусства. Но она была полна полемической отваги, исполнена идейного энтузиазма и рвалась к бою во имя торжества вновь открытой истины. Правда, у нее не было ни органов для печатного выражения своих мыслей, ни даже просто достаточных связей в литературном мире, заполненном представителями старых течений. С другой стороны, против нее выступал человек, окруженный большим уважением даже своих противников, опытный полемист, ветеран передовой публицистики. Марксистская молодежь несколько колебалась, вступать ли с ним в открытую полемику, разрывать ли окончательно всякие связи с старыми идеологами. Ей еще казалось, что момент такого разрыва не настал и целесообразнее полу-публично выяснить возникавшие разногласия и недоразумения. Отирывался и удобный путь для этого: можно было вступить с Н. К. Михайловским, обронившим вышеприведенную фразу, в переписку и выяснить, таким образом, свои разногласия с ним, не доводя дело до преждевременного разрыва.

Так возникла особая отрасль тогдашней марксистской литературы — письма марксистов к Н. К. Михайловскому. Их было гораздо больше, чем теперь принято думать. И они гораздо интереснее, чем то может показаться с первого взгляда.

Что их было довольно много, это видно из статей самого Михайловского, ныне собранных в VII томе его сочинений.

Уже в январе 1894 года, через два-три месяца после того, как Михайловским было заявлено о своей солидарности с В. В., по отношению к марксизму в его очередной статье (под столь известной потом рубрикой „Литература и жизнь“) появляется абзац — „Из писем марксистов“. За этот краткий срок, по поводу одной только фразы, полу-случайно брошенной им, он успел получить не одно, а несколько писем от разного рода марксистов, в том числе и два нижеприведенные письма, по всей вероятности, и не подозревавших друг о друге и о предпринятой каждым из них полемической самообороне от нападений этого опытного русского полемиста. „Я получил несколько писем, — говорит сам Михайловский об этой литературе. — Некоторые места из этих писем представляют, мне кажется, общий интерес, и я их приведу“ (т. VII, 728).

„Одно письмо, — продолжает дальше Михайловский, — подписано во множественном числе: „Марксисты“¹⁾. Авторы письма находят, что я обнаруживаю или неспособность понять их точку зрения или желание путем искажений скомпрометировать ее в глазах читающей публики“... „Другое письмо подписано инициалами, но в тексте автор говорит о себе: „я — рус-

¹⁾ См. его ниже, так же как и второе письмо тех-же авторов.

ский марксист и притом оскорбленный вами!" „Буквально так, и с восклицательным знаком“.

Оба эти письма Михайловский, вслед за тем, частью цитирует, частью довольно подробно излагает, а, изложив, с авторами их полемизирует. Но это, были не единственные письма, полученные им в этот момент от марксистов, так как несколькими страницами ниже он снова пишет:

„На основании уже имеющихся у меня писем, а также статей в марксистском духе, присылаемых в редакцию, я“... и пр.

Затем еще через страницу, отстаивая свой взгляд на русских марксистов, он снова повторяет:

„Смею уверить моего сурового корреспондента, что такие марксисты есть“.. „Смею уверить, как его, так и тех „марксистов“, которые подписались под другим письмом во множественном числе, что я не наобум писал о прямом „наставлении на дальнейшем разорении деревни“: собственными ушами соответственные слова слышал и собственными глазами их видел черными буквами на белой бумаге“ (VII, 731, 732).

Характерна еще такая деталь: на той же странице, где помещены только что приведенные слова, Михайловский говорит, что слово идеолог теперь чуть ли не бранное, „ибо, дескать, в основании всякого исторического момента лежат известные материальные условия производства; история есть борьба классов и (далее цитата) победителями в этой борьбе выходят те из них, которых выдвигает в данное время экономическое развитие без всякого соображения с теми бы то ни было идеалами“.

Приведя последние слова, Михайловский прибавляет: — „Цитирую подлинный, тоже рукописный документ“ (VII, 732).

Наконец, на стр. 758 того же VII тома, но уже в другой статье, а не той, которой мы здесь пользуемся, снова встречается аналогичное же указание: „До какой степени, если не широко распространен, то горяч интерес к вопросам, затронутым в прошлой беседе, — говорит Михайловский, — об этом я могу судить по письмам, которые продолжаю получать“¹⁾.

Все эти письма, а также „статьи в марксистском духе“, получались Михайловским, начиная с ноября 1893 г. (очередные книжки „Русского Богатства“ выходили каждая в самом конце месяца) и по февраль включительно. Это была самая первая и, быть может, самая интересная стадия его полемики с марксистами или вернее — полемики с ним марксистов. Самая интересная потому, что в этот момент еще не появилась ни книга П. Б. Струве „Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России“ (СПб., 1894), с которой принято у нас считать начало эры легального марксизма, ни создавшая целую эпоху работа Плеханова-Бельтова „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю“ (СПб., 1895). Не выходила даже ее предшественница, нелегальная брошюра Н. Ленина: „Что такое друзья народа и как они воюют с соц-дем.“, столько лет скрывавшаяся под

¹⁾ Ср. также т. VII, стр. 755: „Еще один марксист писал мне“, и т. д.

енудом истории и только теперь опубликованная (изд. „Моск. Рабочий“ и „Новая Москва“).

Письма марксистов к Михайловскому, в том числе и публикуемые ныне, предшествовали всей этой литературе; это были настоящие голоса из-подполья, безымянные, не имевшие полномочий, хотя иной раз выступавшие коллективно („марксисты“), но за то, еще до прихода вождей, отражавшие, как смотрит широкая масса адептов нового учения на разрешение наиболее острых вопросов русской жизни. В этом их несомненное и крупное историческое значение.

Было бы, разумеется, чрезвычайно интересно определить в точности, кто именно писал эти письма, при каких условиях они создавались, насколько они являлись в каждом случае продуктами личной или кружковой инициативы, и пр. Еще интереснее представлялось бы собрать во-едино все эти письма и так в целом подвергнуть их историческому анализу. Проще всего казалось бы воспользоваться для этой цели личным архивом Н. К. Михайловского, чтобы извлечь оттуда все полученные им письма марксистов, а равно и „статьи в марксистском духе“, хотя и самые письма порой, как это видно из второго из двух печатаемых ниже писем, представляли собою целые статьи. К сожалению, этот самый простой, казалось бы, путь, наименее осуществим; архив Н. К. Михайловского не сохранился, сохранилась только часть его ¹⁾, но в этой части тех писем от марксистов, которые Михайловский несомненно получал, и столь же несомненно хранил, — не имеется. Так что с этой стороны пролить свет на марксистскую эпистолярную литературу 1890-х г.г., к сожалению, нет возможности.

Но еще более странным представляется другой факт. Хотя переписка марксистов с Н. К. Михайловским происходила вся на глазах современных поколений; хотя самыми активными деятелями нашего времени являются люди, которые на ней либо воспитывались, либо, во всяком случае, с нею знакомы, — тем не менее оказывается трудным и с этой стороны, путем непосредственного опроса наиболее компетентных в данном случае общественных деятелей, установить, кто же именно и при каких условиях оттачивал в своем революционном подполье эти первые полемические стрелы против ветеранов старой публицистики. Чрезвычайно любопытным представляется в этом отношении следующий факт, происшедший как раз с ниже помещенными письмами марксистов к Н. К. Михайловскому.

Как сказано выше, эти письма были получены Михайловским в ноябре 1893 и марте 1894 г.г. Первое из этих писем Михайловский в больших выдержках привел в январьской книжке „Русского Богатства“ (см. ниже, примеч. 3). Второе письмо заканчивалось авторами его, когда вышла февральская книжка журнала ²⁾, а выходили очередные книжки „Русского Богатства“,

¹⁾ См. Е. Е. Колосов, Н. К. Михайловский. Петр., 1917. (О судьбе архива Н. К. Михайловского).

²⁾ Это видно из Post-Scriptum'a ко второму письму. См. ниже, примеч. 24.

как уже упомянуто, в самом конце месяца. Стало быть, второе письмо писалось в феврале, а заканчивалось, по всей вероятности, в начале марта 1894 года. Но на это письмо у Михайловского нигде нет никаких ссылок и к цитированию его он никогда не обращался. Однако, счастливая случайность сохранила для потомства оба эти интересные документа и притом в полной неприкосновенности, не в цитатах только, а в том виде, как они были написаны. Эта счастливая случайность заключается в том, что письма к Михайловскому о которых идет речь, были тогда же выпущены отдельной брошюрой, озаглавленной: „Два письма к Н. К. Михайловскому“. На брошюре есть пометка: 1894 г., но нет никакого указания на типографию, в которой она печаталась. Не может быть, однако, сомнений, что она выпущена вольным печатным станком, из нелегальной типографии.

Всего в этой книжке 51 стр. в восьмую долю листа. В 1895—1896 г.г. эта книжка циркулировала в среде революционной молодежи Петербурга, и тогда говорили, что она будто бы напечатана в так называемой „Лахтинской типографии“ группы Народовольцев. Лахтинская типография, действительно, выпускала в то время книжки не меньшего, а даже еще большего размера, чем „Два письма к Н. К. Михайловскому“. Затем, судя по шрифту, можно было бы сказать, что и эта брошюра могла быть ее изданием, но никаких других более объективных доказательств этому все-же не имеется, так что вопрос остается открытым. Для того, чтобы так или иначе разрешить его, редакция „Былого“ решила испытать самый, казалось бы, верный способ. От имени редакции данная книжка была послана Вл. Ил. Ульянову-Ленину с просьбой сообщить, не известно ли ему, кто именно был автором этих писем и где они были напечатаны. В ответ на эту просьбу редакция получила в свое время от Вл. Ил. Ульянова-Ленина ответ, который, казалось бы, решал вопрос, если не о месте издания, то, по крайней мере, об авторах этих писем. Письмо это мы приведем здесь полностью:

По поводу брошюры „Два письма к Н. К. Михайловскому“. 1894 (Без места изд.).

Возможно, что это писано покойным Федосеевым. Я припоминаю, что в те годы слышал о его (и его небольшой группы) переписке с Михайловским. Чтобы эта переписка появлялась в печати, не слышал. Но ничего определенного утверждать не могу.

23-XI-1921 г.

Ленин.

Нужно сказать, что имя Н. Е. Федосеева, как автора печатаемых писем называлось и раньше. Но на деле то, что представлялось возможным даже М. Ленину, оказалось не оправдывающимся при более детальном исследовании. Эти письма, во всяком случае, не принадлежат Н. Е. Федосееву.

Читатель благоволит припомнить всё вышесказанное о письмах от марксистов, получавшихся Михайловским зимой 1893—1894 г.г. Как сообщает сам Михайловский в приведенных выше цитатах, он получил тогда несколько

писем, два из которых он и цитирует в январской книжке „Русского Богатства“. Из этих двух одно подписано во множественном числе: „Марксисты“. Авторы этого письма неизвестны, но самое письмо, как и второе, посланное ими Михайловскому, по всей вероятности, в начале марта 1894 г., теперь имеется у нас и оба письма нами воспроизводятся ниже.

Затем, другое из процитированных Михайловским писем, было, по его словам, подписано инициалами. Это письмо до нас не дошло, до сих пор оно не разыскано, но автор его вполне точно установлен. Автором этого письма и является Н. Е. Федосеев.

Довольно подробные сведения об этом письме читатель может получить из книги, посвященной Н. Е. Федосееву и составленной из статей и материалов о нем, собранных Н. Л. Сергеевским. Сергеевский сообщает, что покойный Федосеев также писал еще раз Михайловскому, обстоятельно с ним полемизируя. Быть может, это второе письмо его по своим размерам было не меньшим ниже печатаемого. Но остается не установленным даже самый факт, — посылалось ли это письмо по предназначенному адресу или нет. Текста его во всяком случае не имеется.

Таковы наши сведения о письмах марксистов к Н. К. Михайловскому. Мы сознаем всю их недостаточность и тем не менее решаемся опубликовать два ниже приведенные документа в том виде, как они появились когда-то в печати, из под свободного типографского станка. Мы оставляем открытым вопрос об их авторах и об их издателях, а также о типографии, в которой они печатались. Эти письма вышли в свое время *безымянными*, они были написаны в борьбе за возрождение не отдельных имен, а идеи *массового* движения, и там, в этой массе, потонула память об их авторах.

Узнаем-ли мы когданибудь их имена? Мы полагаем, что самый верный путь к этому, — опубликование тех писем, принадлежащих им, которые до их пор были *безымянными*.

На этот путь мы и вступаем.

Редакция.

Два письма к Н. К. Михайловскому.

„Принцип борьбы классов освещает историю“.

(Из речи в память Софии Ковалевской).

П. Лавров.

1894.

(Стр. 3). ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Не смотря на разногласие наше с Вами, мы относились до сих пор к Вам с уважением, как к писателю, систематически защищающему в печати тот идеал, во имя которого считаем себя нравственно-обязанными бороться и мы. В силу уважения нашего к Вам мы склонны были думать, что Вы отнесетесь к защищаемой нами точке зрения более добросовестно, чем отнесся к ней г. В. В. в своей последней книге ¹⁾. Мы обманулись в своих ожиданиях. В октябрьской книжке „Русск. Бог.“ Вы пишете, что согласны с воззрениями В. В. на наш счет ²⁾. Нам было бы понятно Ваше согласие со взглядом г. В. В. на неприложимость нашей точки зрения к России, на неосновательность нашего убеждения в неизбежности развития у нас капитализма, но мы не могли ожидать, что Вы попытаетесь своим популярным именем санкционировать то грубое извращение наших воззрений, которое проделывает г. В. В. Вслед за г. В. В. Вы утверждаете, что марксисты будто бы „прямо настаивают на необходимости разрушить ту общественную организацию, которая обеспечивает трудящемуся самостоятельное положение в производстве“ (стр. 138). Мы не можем назвать иначе эту формулировку (с. 4), как возмутительной клеветой, возмутительной тем более, что она касается направления, которое, в силу политических условий, не может себя открыто защищать в печати. Вас не может тут оправдывать незнание нашего направления: оно получило в последнее время слишком широкое распространение; да и затем, раз Вы выступили в печати против направления своих противников, Вы предварительно нравственно обязаны с ним тщательно ознакомиться. Между тем в приведенной выше формулировке Вы подсовываете нам ту точку зрения, которая именно и является главным предметом спора,

разделяющим нас, марксистов, от Вас и других представителей народничества, понимая это слово в более широком смысле³⁾. Своей формулировкой Вы вместе с г. В. В. приписываете нам какую то активную деятельность в сторону разрушения существующей экономической организации, между тем как основной нашей точкой исхода, на которой мы строим свою практическую программу, является напротив убеждение, что характер нашей экономической эволюции, как не зависел до сих пор, так и не может зависеть и в более или менее близком будущем от той или другой деятельности интеллигенции. С начала 70-х годов Вы доказываете существование в России особых условий, благодаря которым она может миновать капиталистическую стадию развития. Мы отрицаем наличие этих условий (с. 5). Мы находим, что ход экономической эволюции как до сих пор состоял в разрушении экономической организации, унаследованной от крепостного права, так и впредь будет неизбежно отличаться тем же характером. Этот взгляд наш неразрывно связан с убеждением, что экономическая эволюция при настоящих условиях может совершаться только инстинктивным путем так, как она совершалась до сих пор повсюду в Западной Европе, и что сознательная деятельность интеллигенции не может изменить характера этой эволюции. Жизнь до сих пор оправдывала наши воззрения, а относительно того характера, который носило до сих пор наше экономическое развитие, у нас нет с Вами разногласий. Что же разделяет нас с Вами? Единственно, что может нас разделить, это убеждение, что и впредь от той или другой деятельности интеллигенции не будет зависеть характер нашего экономического развития. Вот тот пункт разногласия, в защиту которого Вы должны выступить, раз Вы желаете с нами полемизировать. Вы же вместо этого предпочли вместе с В. В. подsunуть нам ту точку зрения, против которой мы боремся, с тем, чтобы из противников капиталистического строя превратить нас в его защитников и пропагандистов. Так как, по мнению Вашему и г. В. В., деятельность наша состоит в том, что мы „настаиваем на необходимости разрушить“ симпатичную Вам экономическую (с. 6) организацию, то, очевидно, наше разногласие с Вами заключается совсем не в отрицании возможности сознательной деятельности интеллигенции остановить капиталистический процесс развития и поставить на его место другой, а просто в том, что мы являемся апологетами капитализма, тогда как Вы с г. В. В. являетесь его противниками. Что это? Неспособность понять нашу точку зрения или желание путем искажений скомпрометировать ее в глазах читающей публики. Если первое, то это не делает чести Вашим умственным способностям, если второе, то это бросает тень на Вашу нравственную личность. Первое предположение для нас невозможно, так как мы ставим Вас слишком высоко для этого в умственном отношении; со вторым нам трудно помириться, так как мы привыкли относиться к Вам с глубоким уважением. Мы ждем поэтому с нетерпением Вашей следующей статьи, чтобы окончательно разрешить наше недоумение⁴⁾.

Марксисты.

(Стр. 7.) ПИСЬМО ВТОРОЕ.

Ответ на статью г. Михайловского в № 1 „Р. Б.“ за 1894 г.

„...Напр., вот статья „Типы пародного хозяйства“. Очень хорошая статья. В ней доказывается, во-первых, что в основе каждого крупного общественного явления лежит экономическая причина... Г. П. Ч. распространяет эту заграничную формулу и на Россию и, конечно, очень хорошо делает...“¹⁾

И. Михайловский.

Недоумение, выраженное нами в прошлом письме, только усилилось после Вашей новой статьи. Ответ Ваш на наше письмо делает честь Вашему остроумию, но основываясь, в силу которых Вы могли сказать о марксистах, что они „прямо настаивают на необходимости разрушить существующую общественную организацию“ остаются так же неясными, как и прежде. Вы отличаете теперь от „активных“ марксистов, к которым, по Вашему мнению, применима Ваша формула, марксистов „пассивных“, к которым эта формула (с. 8) не применима²⁾. Было ли известно Вам существование этих последних и прежде, или оно стало Вам известно только после нашего письма? Надо полагать, что Вы узнали о существовании их только из нашего письма, потому что в противном случае формулу Вашей прежней статьи, как характеристику марксистов вообще, пришлось бы признать сознательной клеветой. Но и в таком случае всё таки остается факт несерьезного отношения к делу. Выступая против своих противников, Вы, очевидно, не считали нужным предварительно тщательно ознакомиться с их положениями, а удовлетворялись какими то случайными, плохо проверенными сведениями. Но этого мало. Нам вообще непонятна Ваша формула, нам непонятно, каким образом настаивание „на необходимости разрушить существующую организацию“ может совершаться под знаменем марксизма. „Настаивание“, очевидно, предполагает лиц, перед которыми происходит это настаивание и от которых зависит то, на чем настаивают. Кто же эти лица? Перед кем марксисты могут настаивать на раз-

¹⁾ Сочинения, т. III, вып. 2-й стр. 218-5).

рушении существующей организации, кого они могут считать властными над ходом экономического развития? Интеллигенцию? Но разве не резкой отличительной чертой марксистов с самого их появления было убеждение их в том, что интеллигенция у нас слишком преувеличивала свое значение, что роль ее гораздо более скромна, чем она до сих пор думала, что ей (с. 9) приходится поклониться перед неизбежным ходом экономического развития? Вот на чем настаивали и настаивают марксисты, и каким образом это наставление на неизбежности разрушения существующей организации, неизбежности, перед которой интеллигенции предлагается поклониться, может превратиться в наставление перед той же интеллигенцией на необходимости разрушить эту организацию, мы решительно не понимаем. Нам настолько мало понятно это, что до тех пор, пока Вы нас не познакомите более подробно с посланиями к Вам „активных“ марксистов, о которых Вы упоминаете, мы склонны будем думать, что это превращение совершилось пока только в Вашей голове и что легкость, с которой у Вас „пассивные“, по Вашей терминологии, марксисты подменивались „активными“, располагает Вас думать, что и в действительности переход от первых к последним не представляет особенных затруднений. Мы можем, конечно, представить себе людей, не умеющих логически мыслить и поэтому способных соединять в своей голове совершенно противоположные мнения, но непоследовательность может прищипливаться ко всякому направлению, и никакое направление за нее отвечать не может. Вас может быть, сбил с толку в данном случае тот факт, что социал-демократы в Германии могут одновременно настаивать на неизбежности разрушения капитализма и в то же (с. 10) время призывать рабочих к этому разрушению. Но в таком случае Вы упустили из виду одно маленькое различие, заключающееся в том, что для немецких марксистов неизбежность разрушения капитализма означает ни что иное, как неизбежность появления определенных форм сознания у рабочих, тогда как для русских марксистов в данном случае, когда они имеют в виду интеллигенцию, неизбежность развития капитализма означает напротив того независимость предстоящего нам процесса экономического развития от тех или других форм мышления у интеллигенции. Вам остается после этого только один выход, чтобы отстоять свое „наставление“, это смешать марксистов с „рыцарями накопления“ ⁷⁾. Только этой ценой Вы можете отстоять свою формулу. Но цена Вам показалась, повидимому, слишком дорогой. Вы отказываетесь смешивать нас с „рыцарями накопления“, хотя и оговариваетесь, что, по Вашему мнению, последние „очень удобно могут устроиться под знаменем марксизма“. Ваш сотоварищ по журналу, г. Кривенко, в этом отношении смелее ⁸⁾. Он не только полагает, что последовательно, логически отправляясь от марксизма, можно прийти к необходимости сделаться рыцарем накопления, но утверждает, что такие марксисты уже существуют. Чувство брезгливости, естественно возникающее у нас при таких возражениях, мешает нам отвечать на них. Мы можем сказать (с. 11) только, что Вы с г. Кривенко вступаете тут на очень скользкую дорогу.

Грязные инсинуации, которые Вы считаете возможным в данном случае отпустить на наш счет ¹⁾), Вы можете с таким же логическим правом противопоставить всякому направлению, подкапывающемуся под существующие отношения. Всякое такое направление рассчитывает на рост недовольства в населении, а следовательно и на рост страданий или угнетения при существующей системе. Не естественно ли этим людям стать самим в ряды угнетателей, чтобы увеличением страданий ускорить приближение желанного момента? Ведь это находится в полной гармонии с их убеждениями, не правда ли? Чем хуже, тем лучше? Итак мы к сожалению должны признать, что Ваше остроумие потрачено совершенно даром. Как ни остроумна была Ваша игра словами „настоящие“ и „ненастоящие“ марксисты, но мы думаем, что она едва ли будет в состоянии кого бы то ни было убедить в том, что люди, не имеющие ничего общего с марксизмом, могут сохранить за собой хоть те же права считаться марксистами. Мы думаем, что глухие люди очень удобно могут устроиться под всяким знаменем, и для того, чтобы протестовать, напр., против помощи голодающим, можно было бы гораздо удобнее воспользоваться каким-либо (с. 12) другим принципом. Известно, напр., что многие жаждущие политической свободы с большими упованиями смотрели на голод. Представьте себе теперь, что кто нибудь, исходя из этих упований, пришел логически, как ему кажется, к отрицанию желательности помощи голодающим. Мы решительно не понимаем, почему такой психологический процесс был бы менее естествен, чем отрицание помощи голодающим с точки зрения марксизма. Что нибудь в этом роде, наверное, и имело место в действительности, и нам кажется, что „Моск. Вед.“! обладая только Вашим остроумием, могли бы очень удобно воспользоваться каким либо из таких фактов, чтобы оклеветать перед читающей публикой жаждущих политической свободы вообще. Но ведь это „Моск. Вед.“! В качестве образчика „активного“ марксизма Вы приводите утверждение одного марксиста, что нищета есть не только бедствие, но „вместе с тем и орудие движения“. Если этого, по Вашему мнению, достаточно, чтобы стать в Ваших глазах „активным“ марксистом, то мы просим Вас зачислить и нас в разряд марксистов „активных“. Да, мы осмеливаемся утверждать, что знание истории неизбежно приводит к тому печальному выводу, что довольно значительное накопление нищеты и страданий часто оказывается совершенно необходимыми для того, чтобы могло произойти какое либо существенное улучшение в положении самих находящихся в нищете (с. 13). Вплоть до прочтения Вашей статьи мы были убеждены, что под этим положением подпишется всякий, — будь он марксист, или не марксист, — не чувствующий полного презрения к историческим фактам, и каким образом можно, не расставаясь с логикой, смеять это положение с проповедью нищеты и насаждением пролетариата, как это делаете Вы, мы совершенно не понимаем ²⁾). Нет, мы начинаем решительно склоняться к тому

¹⁾ Мы говорим тут, конечно, о Вашем отношении к направлению, а не к отдельным лицам.

мнению, что просто ряд логических ошибок привел к созданию у Вас в голове призрака, не соответствующего ничему реальному в действительности, и этот призрак Вы назвали „активными марксистами“. По крайней мере, формула, которой Вы характеризуете их, при более тщательном анализе оказывается не имеющей ни малейшего смысла. Но тут Вам кажется, что Вам спешит на выручку сам Маркс.

„В принципе, возражаете Вы нам, он допускал напротив полную возможность сознательного воздействия на ход нашей экономической эволюции“. Недоразумение, г. Михайловский! Мы не согласны с письмом Маркса ¹⁰⁾, мы находим, что он сделал там очень крупную ошибку, но во всяком случае из его письма никаким образом нельзя сделать вывода, что он считал те или другие формы сознания у интеллигенции вполне достаточным условием для того, чтобы Россия пошла по тому или другому пути экономического развития. Маркс просто только предвидел возможность, что (с. 14) инстинкты и формы сознания крестьянской массы, составляющей у нас большинство населения, могут затормозить, сделать невозможным скольконибудь значительное развитие капитализма вплоть до того момента, когда в Европе пробьет час социальной революции. При таких условиях — но только при таких — рост рабочего движения в Зап. Европе мог бы действовать через посредство нашей интеллигенции отраженным светом на крестьянскую массу, в силу чего в момент взрыва мог бы произойти синтез революции западно-европейского пролетариата с мужицкой революцией в России. Интеллигенции в данном случае Маркс, как нам кажется, отводил не большую роль, чем какую он отводил ей в Западной Европе. И там, и здесь она должна была, по его мнению, исходить из данных определенных экономических условий, вызывающих данные определенные формулы мышления у большинства. Влияние рабочего движения в Европе на крестьянскую массу у нас, раз бы сознание и инстинкты последней представляли бы для этого достаточно благоприятные условия, во всяком случае, нашло бы среди интеллигенции подходящие элементы для роли передаточного механизма, и деятельность той или другой отдельной выдающейся личности могла бы в данном случае только ускорить процесс или облегчить его мучительность, но не больше. К чему же мы таким образом приходим? Мы приходим к очень любопытному выводу. Мы (с. 15) приходим к тому, что допущение сознательного воздействия на ход экономического развития в тех пределах, в каких оно возможно с точки зрения Маркса, могло бы только в таком случае сделать возможным у марксистов прямое наставление на необходимости разрушения существующей общественной организации, если бы они с этим наставлением могли бы обратиться к большинству населения, т. е. — к крестьянской массе. Обращаясь к последней, они должны были бы для того, чтобы оправдать Вашу формулу, призывать ее, во имя идеала марксизма, к добровольному экспроприированию в пользу капиталистов. Это были бы очень курьезные марксисты. Вы счастливы, если Вам приходилось встречаться с такими марксистами. Мы до сих пор были лишены этого счастья и, может быть, что поэтому мы совершенно не в силах представить себе марксистов, к которым

была бы применима Ваша формула. Познакомьте же нас ближе с такими марксистами, объясните нам, каким образом и перед кем марксисты могут настаивать на необходимости разрушить существующую организацию.

Мы видим, напр., что народники систематически настаивают перед правительством на установлении неотчуждаемости наделов, на сохранении общины и т. п. Не предположить ли нам с Вами по аналогии и существование марксистов, настаивающих перед правительством на необходимости развития капитализма? Но каким образом марксисты могут (с. 16) обосновать это наставление? Очевидно, исключительно только указанием на те благотворительные результаты, к каким приводит процесс развития капитализма. Что является этими благотворительными результатами с точки зрения марксизма? Социалистический идеал в более отдаленном будущем и необходимое предварительное условие, падение абсолютизма в ближайшем. И так падение абсолютизма, как аргумент перед абсолютизмом! Нет никакими стараниями, повидимому, не удастся нам найти марксистов, соответствующих Вашей формуле. Оставим же эту странную формулу, в которой никакие усилия ума не способны открыть ни малейшего смысла. Мы думаем, что если слепая ненависть к марксизму не сделала Вас окончательно глухим к голосу критики, Вы сами должны признать Вашу формулу совершенно неосновательной. Сама по себе она совсем бы не заслуживала того тщательного разбора, которому мы ее подвергли, и мы бы не взяли на себя этой неблагоприятной задачи, если бы не были вынуждены к этому систематическими попытками людей Вашего лагеря оклеветать наше направление, между прочим, и с нравственной стороны. — Перейдем к замечаниям Вашим относительно нашего письма. Вы так оригинально поняли наше прошлое письмо, что при чтении настоящего письма Вы давно уже, вероятно, успели уличить нас в противоречии. Теперь мы, очевидно, допускаем сознательное воздействие на (с. 17) окружающую жизнь, между тем как в прошлом письме мы находили, что „всё идет инстинктивным путем“ ¹¹⁾. Нет, никогда мы этого не находили. Вы просто сделали тут жертвой недоразумения, одного из тех бесчисленных недоразумений, в которые Вы так легко впадаете, когда Вам приходится иметь дело с малопонятным для Вас марксизмом. Прибавивши к словам „инстинктивным путем“, выхваченным Вами из нашего письма, два незначительные слова „всё идет“, и получая таким образом, фразу, „всё идет инстинктивным путем“, Вы естественно приходите к выводу, что при таких условиях никакая практическая программа невозможна. „Не смею утверждать, замечаете Вы при этом, что не ясна мысль авторов письма, но выражения этой мысли, во всяком случае, не ясны“. Ваша ирония напрасна: и мысль наша ясна, и выражения этой мысли ясны, всё дело только в том, что мы считали кое-что понятным для Вас, что на самом деле оказалось непонятным. Мы не думаем, конечно, что социалистический строй возникнет инстинктивным путем, не можем думать, следовательно, что и предшествовать возникновению этого строя будет только инстинктивный процесс. Возникновение социалистического строя означает появление социалистических форм мышления у большинства насе-

ления. Но никакие господствующие формы мышления не делаются господствующими внезапно, они всегда предполагают (с. 18) предшествующий процесс развития их, как качественный, так и количественный; качественный в смысле всё более ясной и точной формулировки их в сознании, количественный в смысле распространения их от одной личности к другой на всё большую массу населения. И так процесс усвоения и распространения социалистического идеала является необходимым предварительным процессом, без которого невозможно возникновение социалистического строя, и процесс этот — несомненно, процесс сознательный. Но следует ли из этого, что этому процессу соответствует также сознательная экономическая эволюция, следует ли, что социалистический строй явится только последним заключительным звеном ряда сознательных шагов человечества? Очевидно, нет. Не сознательно до сих пор человечество обезлюживало деревни и развивало городскую жизнь; не плодом сознательных актов его являлась смена форм кооперации, замена простой кооперации мануфактурой, мануфактуры фабрикой; не сознательно оно развивало разделение труда и концентрировало производство; не сознательно самостоятельных ремесленников превращало в наемных рабочих и в жертву эксплуатации отдавало женщин и детей; не сознательно создавало избыточное население и резервную армию, этот необходимый фундамент и в то же время постоянную угрозу для современного капиталистического производства. Все эти крупные изменения в общественной жизни (с. 19) явились результатом экономической борьбы отдельных личностей между собою.

Борьба эта, конечно, велась более или менее сознательно, но те общественные изменения, которые явились ее необходимым результатом, не могут быть в глазах общества его сознательными изменениями, изменениями, сознательно им произведенными. Таким образом, мы видим два параллельные процесса, предшествующие возникновению социалистического строя: один сознательный, — рост социалистических идей, другой инстинктивный, — ряд непрерывных общественных изменений, порождаемых экономической борьбой. Оба эти процесса, очевидно, одинаково необходимы для возникновения социалистического строя. С одной стороны, он явится результатом сознательного акта человечества, завершающего собой сознательный процесс развития социалистических идей, с другой, он представит собой заключительное звено долгой бессознательной экономической эволюции. Два эти процесса, необходимо предшествующие социалистическому строю, не представляют собой два самостоятельные и независимые процесса; они, напротив, неизбежно предполагают друг друга. При этом очевидно, что не сознательный процесс развития социалистических идей вызывает бессознательную экономическую эволюцию, а напротив бессознательная эволюция вызывает этот сознательный процесс. Каким образом она вызывает его? Ряд тех общественных изменений, (с. 20) о которых мы говорили выше, ставит друг против друга два резко противоположные по своим интересам класса, буржуазию и пролетариат, и вызывает между ними классовую борьбу. Борьба эта сначала возникает чисто стихийно и только с тече-

нием времени, становится всё более и более сознательной. В начале она совершенно не затрагивает основ капиталистического строя, и только долгий процесс борьбы приводит рабочий класс к сознанию невозможности существенно улучшить свое положение при сохранении капиталистического строя. Рядом с этим развитие неразрешимых противоречий капитализма, отражаясь всё губительнее на благосостоянии рабочих и опираясь, с одной стороны, на чувство солидарности и общественные инстинкты, развившиеся в долгой классовой борьбе, и с другой, на широкое умственное развитие, также необходимо порождает перед сознанием рабочего пролетариата социалистический идеал, как единственный выход и как естественный результат того обобществления труда, которое уже совершилось. Таким образом, как видите, по нашему мнению, далеко не „всё идет инстинктивным путем“; убеждение же в неизбежности того сознательного процесса, который сопровождает бессознательную экономическую эволюцию, также не может помешать нам иметь практическую программу, как (с. 21) убеждение мыслителя, что идея, явившаяся в данную минуту в его голове, рано или поздно сделается общим достоянием, не может помешать ему распространять эту идею. Итак убеждения марксистов открывают для них возможность богатой и вполне плодотворной деятельности. Им незачем для этого ждать того времени, когда капитализму удастся обобществить большинство рабочих, как это, повидимому, полагаете Вы с г. В. В. Они могут сейчас же непосредственно принять участие в капиталистическом процессе развития, потому что это процесс двухсторонний, и рост социалистического движения среди рабочего класса является такой же необходимой стороной его и таким же необходимым предварительным условием для осуществления социализма, как рост и развитие буржуазии. И если Вам могло показаться, что признание инстинктивного хода экономической эволюции должно вести к отказу от практической программы, то это объясняется только крайне странным Вашим пониманием воззрений Маркса, при котором Вы можете, напр., приписывать марксистам такую бессмыслицу, как утверждение, что „если бы не только враги рабочих, а даже сами они не пожелали собственного благополучия, оно придет к ним помимо их воли, в силу имманентных законов исторической эволюции, и на развалинах саморазлагающегося капиталистического строя водворится объединенный пролетариат“ (стр. 118) ¹²⁾ (с. 22). Самая конструкция этой фразы, предполагающая объединенный пролетариат рядом с нежеланием собственного благополучия, настолько нелепа, что всякий беспристрастный человек легко поймет, что это утверждение является просто Вашим измышлением, в силу только каких то непонятных логических процессов приписанным Вами марксизму. Если бы Вы дали себе труда поглубже вдуматься в идеи Маркса и выделить в них существенный более или менее обоснованный элемент от других, не необходимо связанных с ним элементов, из которых некоторые даже прямо можно приписать полемическому увлечению, Вам бы не только не пришлось приписывать марксистам подобных нелепостей, но не пришлось бы и писать тех красноречивых страниц об историче-

ской необходимости, которые мы впрочем прочли с большим удовольствием. Нам кажется, что марксисты в силу уже факта своего существования ни в каком случае не могут топить себя в исторической необходимости, и марксизм от них этого ни в каком случае потребовать не может. Когда марксисты выдвигают перед тем или другим представителем критической мысли свою практическую программу, они предполагают в нем симпатию к социалистическому идеалу, и вопрос о том, почему являлась у него эта симпатия, может быть совсем устранен. Что касается нас, то мы находим даже, что соединение критической мысли и сочувствия (с. 23) к людям может всегда поставить перед сознанием личности идеал, резко расходящийся с окружающей действительностью, и думаем, что это положение может быть вполне примирено с существующими сторонами марксизма. Это мнение далеко не является общепринятым среди марксистов, но как бы ни смотрели на этот вопрос другие марксисты, во всяком случае, обращаясь к представителям интеллигенции с определенными симпатиями и определившимися нравственными убеждениями и ставя вопрос о средствах осуществления этих убеждений, они тем самым выделяют их из исторической необходимости. Вопрос тогда ставится уже не о том, почему у них возникли те, а не другие убеждения, а исключительно о том, найдут ли они отклик в той среде, к которой они думают обращаться. Вы очень горячо и талантливо восстаете против права исторической необходимости вмешиваться в наши практические дела и, поскольку дело идет о неограниченном праве ее, Вы совершенно правы¹³). Но мы думаем, что Вы сами назвали бы безумцем того, кто, имея, напр., в виду влияние на окружающую природу, отказался бы принимать во внимание неизбежность и необходимость в ней тех или других процессов. Такой же внешней природой является при настоящих условиях для критически мыслящего человека, пришедшего к социалистическим убеждениям, окружающая его среда. Она живет особой жизнью, (с. 24) управляющейся особыми законами, и между ним и ею оказывается непроходимая пропасть, если ход экономической эволюции не делает ее расположенной к принятию его идеалов. Это одна из отличительных особенностей современной нам жизни, резко отличающая ее от жизни будущего социалистического общества, вступая в которую человечество, по красивому выражению Энгельса, перейдет из „царства необходимости в царство свободы“. Когда наступит это „царство свободы“, каждой отдельной личности откроется возможность смело вдвигать свое „я“ в более широкую формулу „мы“ и появление в своей голове тех или других взглядов считать достаточным основанием для проповеди их кому бы то ни было из членов окружающего его общества. Но пока мы очень далеки от этого „царства свободы“, нам приходится постоянно чувствовать на себе гнетущее давление „необходимости“. Мы чувствуем это гнетущее давление, когда нам приходится проводить лучшие годы в тюрьме, мы чувствуем его и на свободе, когда, следуя своим идеалам, каждую минуту рискуем ее лишиться, и в особенности чувствуем мы его в те глубоко трагические моменты, когда полные сочувствия к страждущим и угнетенным, мы в ответ на горячую проповедь своих идеалов встречаем с их

стороны или неспособность отличать нас от своих врагов, или озлобление на нас за то, что мы осмеливаемся посягать на принцип, освященный (с. 25) для них привычкой и преданием. Хотя род Вашей деятельности совершенно предохраняет Вас от подобных трагических моментов, но мы полагаем, что по временам не мешало бы и Вам чувствовать на себе давление этой гнетущей необходимости, когда Вы видите, напр., как жизнь беспрерывно стремится в направлении, резко противоположном Вашим идеалам.

Сравните затем ваше положение с положением Бебеля или Либнехта, когда они в первых рядах борцов настойчиво и беспрерывно приближаются к желанной цели, и Вы будете иметь перед собой людей, которые не могут чувствовать на себе гнетущего давления необходимости, потому что в развивающемся рабочем движении они не могут не чувствовать уже дыхания наступающего „царства свободы“. И мы думаем, что только полное прикиривание с оторванностью от окружающей жизни может бросать нам укор, когда мы вместо того, чтобы скрываться за флагом свободы, не чувствуя этой свободы, предпочитаем произвести тщательный анализ окружающей нас необходимости, чтобы найти в ней ту ахиллесову пату, за которую мы могли бы ухватиться в борьбе за свои идеалы. Нами руководит в данном случае понимание окружающей жизни, которого, повидимому, недостает Вам, когда Вы не видите самой резкой ее особенности, особенности, в силу которой критически мыслящая личность не может чувствовать себя органически связанной с окружающей его средой, а (с. 26), напротив, систематически вынуждается к противопоставлению себя этой среде, так же, как всякий человек и всякое животное, пока они мыслят, не могут не противопоставить себя окружающей природе и не признавать в ней систематически давящую на них необходимость. Мы ответили тут Вам на самое существенное возражение Ваше против экономического материализма, которое кое у кого из других марксистов, более догматически следующих за Марксом, может быть, и не найдет ответа. Другие Ваши возражения отличаются гораздо менее серьезным характером. Приводя, напр., формулу Энгельса „производство и воспроизведение непосредственной жизни“, которой он объединяет эпоху цивилизации с эпохой дикости и варварства, Вы совершенно напрасно думаете, что за термин „производство самого человека“ Энгельс „хватается для сохранения хотя бы словесной связи с основной формулой экономического материализма“ ¹⁴). „Производство и воспроизведение непосредственной жизни“ Энгельс считает „определяющим моментом“ с точки зрения „материалистического воззрения“, а не с точки зрения „экономического материализма“. Это далеко не одно и то же. В „Herrn Dühring's Umwälzung der Wissenschaft“ он характеризует материалистическое понимание истории тем, что оно объясняет „сознание людей из их бытия, вместо того, чтобы объяснять, как это делали до сих пор, их бытие из их сознания“ (стр. II; 2 изд.). Как видите, Энгельс (с. 27) далеко не словесным только образом объединяет настоящее и прошлое человечества в одно целое. Дело тут совсем не в термине „производство“, а в действительном факте, бессознательности эволюции, покоящейся как в прошлом, так и в настоящем на изменении условий удовлетворения основ-

ных потребностей человека. Что касается специально-экономического элемента, то мы думаем, что Маркс и Энгельс никогда не могли думать, что экономический элемент определял, напр., жизнь животных предков человека, и поэтому более чем естественно им было ожидать убавляющегося значения экономического элемента и усиливающегося значения естественного подбора по мере погружения в глубь прошлого. Не думаем также, что Маркс и Энгельс, могли когда нибудь распространять действие экономического элемента и на отдаленное будущее человечества. Нам кажется, напротив, что именно, исходя из теории экономического материализма, мы неизбежно должны прийти к выводу, что если переживаемый нами исторический период характеризуется господством экономического элемента, то он также характеризуется и назреванием интеллектуального, критического элемента, который в будущем, когда он проникнет жизнь каждого человека, ляжет в основу исторического процесса. И в „Капитале“ Маркса мы находим одно очень яркое место, блестяще подтверждающее именно такое толкование его теории. „Длинная и мучительная (с. 28) история развития“, говорит он, приведет человечество к тому, что процесс производства „как продукт свободно ассоциированных людей, станет под их сознательный, целесообразный контроль“. Очертания процесса общественной жизни освободятся тогда от таинственного туманного покрыва и вместе с тем исчезнет „религиозное отражение действительного мира“, потому что „отношения практической будничной жизни будут представлять людям ежедневно и ясно разумные отношения друг к другу и к природе“. Как видите, исследования Моргана совсем не приходилось „вынуждать“ Энгельса к ограничениям теории экономического материализма, так как эти ограничения неизбежно вытекали из самой теории. Следующее Ваше возражение сводится, в сущности, к тому, что „производство детей“ совершается не по экономическим мотивам и потому с точки зрения экономического материализма объяснено быть не может. Что Вам ответить на это? О, в мире совершается очень много явлений, не объяснимых с точки зрения экономического материализма. Все основные физиологические потребности существуют помимо экономических причин. Не в силу экономических мотивов люди утоляют голод и жажду, не в силу этих мотивов они совершают и все другие физиологические отправления. Остается удивляться только, как Ваше остроумное возражение давно не предвосхитил у Вас кто-нибудь из противников экономического (с. 29) материализма. Какая нелепая теория! Как легко опровергнуть ее всякому школьнику, знающему, что у человека существуют различные физиологические потребности! Но что же такое экономический материализм? Из чего исходит он? На что опирается? Что такое экономические мотивы? Каким образом они возникают в сознании? Физиологические потребности вызывают их в жизни? В числе этих физиологических потребностей занимает очень почетное место та, которая ведет к появлению на свет божий детей. Эту физиологическую потребность можно, пожалуй, признать самой основной, так как, если бы ее не существовало, не существовал бы и человеческий род на земле, и мы бы с Вами, следовательно, не рассуждали об экономическом материализме.

Но каким образом указанием на наличие этой потребности можно опровергнуть экономический материализм, мы решительно не понимаем. Как будто бы не до последней степени ясно, что всякий выдвигающий какую либо теорию исторического процесса, тем самым предполагает человечество беспрерывно существующим, а, следовательно, и стремящимся удовлетворять все те необходимые физиологические потребности, которые обеспечивают это беспрерывное существование. Вы заикаетесь тут о „той сложной и напряженной психике“, которая примыкает к „детопроизводству“¹⁵⁾. Но если она обеспечивает только беспрерывность существования человечества, то (с. 30) с ней нечего делать экономическому материализму. Вы полагаете, что „при известной диалектической ловкости можно было бы доказывать, что не только юридические, а и сами экономические отношения составляют надстройку над отношениями половыми и семейными“. Мы же думаем, что для этого потребовалось бы не диалектическая ловкость, а полная неспособность к логическому мышлению. Почему Вы останавливаетесь на отношениях половых и семейных, почему Вам не идти дальше, почему не приводит Вас в недоумение тот факт, что марксисты сводят всё к экономическому фундаменту, вместо того, чтобы считать этим фундаментом физиологические потребности вообще, и в том числе, конечно, и ту, которая связана с „детопроизводством“? О, удивительное глубокомыслие! Мы предлагаем теорию исторического процесса. Как на постоянный и неизменный факт в этом историческом процессе, мы указываем на стремление, человечества возможно полнее удовлетворять свои основные потребности, обеспечивающие его беспрерывное существование. На почве этого стремления, по нашему мнению, возникает бессознательная историческая эволюция. На изменение затем условий, посредством которых удовлетворяются эти потребности, условий, сначала, главным образом, семейных, а потом исключительно экономических, мы указываем как на основной элемент этой эволюции, который обуславливает собой все другие (с. 31) изменения — изменение форм мышления, изменение форм отношения друг к другу отдельных членов общества, изменение политического устройства и правовых норм, изменение, наконец, самых потребностей, нарастание всё новых и новых потребностей, которые рядом с прежними ложатся в основу последующей эволюции. И что же нам возражают на это? Нам возражают, что с такой же диалектической ловкостью можно было бы положить в основу исторического процесса производство детей, не изменение условий этого производства — об нем не говорится ни слова, да об нем и не может быть речи в данном случае, — а просто голый неизменный факт „детопроизводства“ на том основании, что он обуславливает „сложную и напряженную психику“ и что без него невозможны были бы и экономические факты. Нет, но прибавит Вам лавров Ваша статья против марксизма...

Другие Ваши возражения не отличаются таким странным характером, как только что рассмотренное, но они, по нашему мнению, совершенно неосновательны. Вам часто, вероятно, приходилось сталкиваться у марксистов со словами „диалектический метод“, но Вы, очевидно, не дали себе труда ду-

маться, что это такое. Мы имеем в виду тут не гегелевскую триаду, с которой мы не согласны, а ту сторону диалектического метода, которая ниспровергает понятие „вещи“ и ставит на его место понятие „процесса“, в силу чего природа (с. 32) оказывается не „комплексом вещей“, а „комплексом процессов“. Диалектический метод ведет к пониманию истории, не как ряда событий, а как непрерывного процесса развития, имеющего в каждый момент определенную тенденцию. Это понимание применимо к истории так же, как и ко всей природе, взятой в ее целом. И если затем марксисты, опираясь на это диалектическое понимание, указывают на изменяющийся экономический элемент, как на основной движущий элемент исторического процесса, то им ни в каком случае нельзя возражать ссылками на постоянные черты этого процесса или на отдельные, произвольно выхваченные явления, входящие в его состав. Таким постоянным элементом в историческом процессе является, напр., общественная связь между людьми. Эта общественная связь существовала раньше, чем начал действовать экономический элемент, и этот последний ни в каком случае не может посягать на нее, так как омыслим только при ее существовании. Признание общественной связи делается поэтому основным нравственным убеждением всякого нормального человека. От каждого человека требует общественная связь своего признания под угрозой вычеркнуть его из списка живущих. Но если факт общественной связи сам по себе является постоянным элементом исторического процесса, то формы этой общественной связи непрерывно меняются под влиянием экономических (с. 33) причин.

Всякая новая форма отношений между людьми должна получить санкцию в их сознании; без этого она существовать не может. Те или другие формы общественной связи делаются поэтому источником тех или других нравственных убеждений. В силу наличия этих убеждений всякое посягание на факты, ими освящаемые, вызывает протест, и появление этого последнего со всеми сопровождающими его явлениями так же не может противоречить теории экономического материализма, как не может противоречить ей факт общественной связи. Поэтому на национальное чувство, этот постоянный и сам по себе чисто пассивный элемент исторического процесса, мы ни в каком случае не можем смотреть, как на самостоятельный фактор исторических изменений, действующий рядом с экономическим фактором¹⁴⁾. Если же мы обратимся к международным столкновениям как к возбудителям национального чувства, то для того, чтобы отдать себе отчет в причине так же, как и в последствиях этих столкновений, нам придется в большинстве случаев спуститься во внутреннюю жизнь сталкивающихся наций, причем всё дело сведется к влиянию внутренней жизни одной нации на внутреннюю жизнь другой. По сколько же мы допустим как элемент случайности в международных столкновениях, так и в некоторых случаях и неизбежность известных политических изменений, вызываемых исключительно (с. 34) чувством самосохранения той или другой нации, мы придем только к некоторому ограничению теории экономического материализма, ограничению, приобретающему некоторое значение по мере

углубления в прошлое, но несомненно теряющему это значение по мере приближения к настоящему.

Поэтому, указанием на международные столкновения смешно пытаться опровергнуть экономический материализм и тем более смешно пытаться этим возражением отнять почву у русского марксизма. Говоря о международных столкновениях, Вы приписываете марксистам отрицание случайности в исторических событиях¹⁷⁾. Нет, мы не отрицаем наличия этой случайности, мы настаиваем только на том, что исторический процесс всегда имеет определенное направление, пробивающееся сквозь различные случайности, и что для переживаемого нами периода это направление определяется бес-сознательно изменяющимся экономическим элементом. И ни какие указания на те или другие более или менее случайно происшедшие события не могут опровергнуть наличия этого направления. Разве различные научные теории не обязаны были своим появлением более или менее случайным причинам и разве процесс развития человеческой мысли не отличался тем не менее известной правильностью и последовательностью? Кто затем, мало-мальски знакомый с историей, может отрицать, что по мере того, как влияние природы на людей бледнело перед влиянием на них (с. 35) ими самим инстинктивно создаваемых общественных условий, и процесс истории приобретал всё большую правильность и последовательность? И если мы сравним самое грандиозное, повидимому, историческое явление, возникшее, до известной степени, в силу случайности, не с отдельными явлениями исторического процесса, а с его общим направлением, то оно нам покажется так же ничтожным, как ничтожна, напр., какаянибудь кратковременная острая болезнь, переживаемая данным организмом, в сравнении с общим процессом его развития и увядания. В этом смысле значение Наполеона в истории совершенно ничтожно в сравнении напр., с значением развития капитализма.

Вы выдвигаете далее, как возражение экономическому материализму, вопрос о „героях и толпе“¹⁸⁾. Вопрос это несомненно очень почтенный, и теория экономического материализма совсем не необходимо должна вести к его игнорированию. Всякая классовая борьба предполагает наличие героев и толпы, и систематическое появление героев, ведущих за собой толпу нельзя поэтому не признать постоянным фактом исторического процесса; но именно потому, что это постоянный факт, признание его ни в каком случае не может пошатнуть теорию экономического материализма. Оно могло бы пошатнуть ее только ценою разрушения понимания истории, как процесса, при котором история была бы разбита на ряд случайных (с. 36), не вытекающих одно из другого событий. Случайно появляющиеся герои со случайно возникающими у них намерениями могли бы явиться тогда движущим элементом истории. Но не думаем, что Вы были настолько смелы, чтобы утверждать чтонибудь подобное. Согласно Вашему собственному анализу, действующих в истории героев можно разделить на две резко отличные категории. Одни ведут за собой толпу не только в силу индивидуальных своих особенностей, но и потому, что их убеждения находят

отклики в сознании этой толпы; другие увлекают толпу только потому, что обладают способностью ее гипнотизировать, т.-е. подавлять ее волю и сознание. Роль первых в истории предполагает предрасположенность увлекаемой ими толпы к определенным идеалам, предполагает предшествующую внутреннюю жизнь этой толпы, для которой они являются только талантливыми выразителями, и поэтому роль эта ни в каком случае не может противоречить теории экономического материализма. Роль вторых опирается на ненормальные предварительные условия жизни увлекаемой ими толпы, благодаря которым она не может оказать достаточного противодействия подавлению своей воли и сознания. Но так как ненормальность этих условий, также между прочим сводящихся к экономическим условиям, к счастью, обыкновенно не настолько велика, чтобы лишать представителей „толпы“ всякой способности (с. 37) к противодействию влиянию „героев“, то героям этого типа приходится падать в „непосильной борьбе“ с логикой экономических фактов. Имея их могут „записывать в истории“ и тем не менее движения ими вызываемые так же не могут видоизменить скольконибудь существенного направления исторического процесса, как не могут видоизменять его широко свирепствующие эпидемические болезни, периодически возникающие на почве тех же ненормальных экономических условий. Нам приходится рассмотреть еще одно только, повидимому, самое сильное Ваше возражение против экономического материализма, именно упрек в необоснованности. Отсутствие достаточной как исторической, так и философской обоснованности делает в Ваших глазах прямо возмутительным успех экономического материализма в настоящее время в России, когда он, по Вашему с г. В. В. мнению, равносителен обречению крестьянства на голодную смерть. Поэтому, прежде, чем ответить Вам на упрек в необоснованности, мы считаем не лишним успокоить Вас на счет обречения кого бы то ни было на голодную смерть. Не говоря уже о том, что, как это достаточно выяснено выше, мы в силу самого характера своей программы никого ни на что не можем „обрекать“, мы, насколько это от нас может зависеть, готовы оказать всякое содействие поднятию крестьянского благосостояния. И марксизм в этом случае не только не может связывать нас, но напротив (с. 38) является лишним побудительным мотивом к этому. Высказывая это, мы говорим не только от лица нашего, но от лица большинства действующих марксистов. Если бы Вы были знакомы с русской социал-демократической литературой, — мы не предполагаем этого знакомства, потому что иначе Ваша статья была бы для нас непонятна, — Вы бы могли найти в брошюре Г. В. Плеханова „Наши разногласия“, явившейся первой талантливой формулировкой зарождающегося марксизма, утверждение, что капитализм у нас по неизбежному ходу исторического развития „отцветет, не успевши окончательно расцвести“¹⁹⁾. Благодаря выступлению всё большего и большего числа стран на почву международной экономической борьбы, каждая новая страна, развивающая капитализм, может в меньшей степени рассчитывать для своего развития на внешние рынки. Поэтому, хотя мы отрицаем невозможность для русского капитализма занять очень крупную роль на международном

рынке, но занятие этой роли, по нашему мнению, неизбежно приведет к падению капитализма как у нас, так и в Зап. Европе, если только там он не успеет пасть уже раньше. Размеры внешнего рынка, таким образом, ставят развитию нашего капитализма известные пределы, в силу которых он ни в каком случае неспособен будет охватить всех отраслей народного труда в такой степени, в какой он сделал это, напр., в Англии. С другой стороны (с. 39) самая возможность успешной борьбы на международном рынке предполагает уже, как необходимое предварительное условие, довольно значительное развитие капитализма, развитие, которое могло совершиться, следовательно, только на почве внутреннего рынка. Поэтому, если процесс „отлучения производителя от орудий „производства“ будет у нас идти с такой быстротой, какая необходима была бы для немедленного занятия капитализмом всех отраслей труда, то подобная быстрота сделала бы невозможным в конце концов дальнейшее развитие капитализма. И так как с одной стороны капитализм по самой своей природе может или развиваться или погибнуть, а с другой погибнуть он может, только подготовивши себе предварительно преемника, то сам ход экономического развития будет настойчиво вызывать у нас необходимость всеми силами тормозить процесс разорения крестьянства в таких чудовищных размерах, совершающийся в настоящее время. И если абсолютизм не сумеет во-время понять это, что весьма вероятно, именно на этой почве тогда, по нашему мнению, произойдет его падение. Поэтому именно в качестве марксистов мы не можем не высказываться за самые широкие меры к поднятию народного благосостояния.

Различие затем наше от народников, как тех, которые, как Вы, отрываются от титула „народничества“, так и тех, которые с гордостью носят этот титул, заключается (с. 40) исключительно только в отношении к этим мерам. Вы думаете, что эти меры затормозят развитие капитализма и приведут к осуществлению народнических идеалов; мы же думаем, что они явятся необходимым условием для дальнейшего развития капитализма. И г. Николай — он в своем замечательном труде „Очерки пореформенного хозяйства“ против своей воли блестяще доказал это²⁰⁾. Его веская аргументация, основанная при том на бесспорных фактических данных, совершенно разбила всякую возможность уверенности в том, что какие бы то ни было меры могут разрешить у нас социальный вопрос или радикально улучшить положение крестьянства. Что могут, напр., сказать народники против того бесспорного факта, что весь доход землевладельцев представляет только 13 проц. дохода вообще от хлебов (Николай — он, стр. 267)? Если мы примем это во внимание, то для всякого сделается очевидным, что если бы даже вся земля землевладельцев перешла в руки крестьян, то их положение хотя бы и улучшилось в сравнении с теперешним — им бы не угрожала бы постоянно голодная смерть и у них был бы кое какой чистый доход, которого теперь совсем нет — но затормозить развитие капитализма эта мера несомненно бы не могла. Каким образом в самом деле эти жалкие 13 проц. могут послужить препятствием для развития капитализма? Каким образом несколько лишних рублей на крестьянский

двор (с. 41) могут устранить вредное влияние отделения обрабатывающей промышленности от земледелия или дать возможность крестьянскому хозяйству бороться на международном рынке с крупными американскими фермами? А между тем г. Николай — он своей аргументацией неизбежно заставляет принять и тот вывод, что чем позднее у нас будут иметь место меры к поднятию благосостояния крестьянства, тем в большей степени они обманут ожидания народников. Чем больше у нас будет истощаться земля, тем ниже будут падать цены на международном рынке и чем дольше у нас в то же время будут запутываться государственные финансы, тем труднее будет сколько-нибудь существенно улучшить положение крестьянства. Но от промедления с мерами к улучшению этого положения проиграет не только крестьянство, но проиграет и капитализм. По мере разорения крестьянства капитализм всё настойчивее должен будет чувствовать потребность в факторе, ослабляющем вредные для него самого результаты отделения обрабатывающей промышленности от земледелия и расширяющем для него внутренний рынок. Ход экономического развития сделает, таким образом, неизбежным улучшение положения крестьянства, и когда затем всевозможные меры, направленные к этому улучшению, исчерпают свое действие, возникнет союз между развившимся рабочим пролетариатом и разоряющимся крестьянством, под ударами которого и падет капитализм (с. 42). Вот то воззрение, которое имеет за себя большинство марксистов и которое получало уже сходное выражение в социал-демократической литературе. Тут было бы очень интересно остановиться нам с Вами и разобрать, что вы можете, исходя из своих убеждений, противопоставить в данном случае нашему анализу, но Вы предпочли совершенно не затрагивать анализа русской жизни, а направить свои удары исключительно на нашу основную точку исхода. Вернемся же и мы к ней, вернемся к Вашему упреку в необоснованности. Мы не можем, конечно, не признать, что обоснованность экономического материализма далека от идеала, но мы не можем согласиться с Вами, когда Вы утверждаете, что то „соединение логической силы с эрудицией“, образчик которого, по Вашим словам, Маркс дал в „Капитале“, не имеет почти никакого отношения к теории экономического материализма. Мы думаем напротив, что по отношению к тому историческому периоду, который охватывает „Капитал“, его нельзя рассматривать просто, как труд по политической экономии; нет, это до значительной степени история человечества. Обращаясь к зарождению товарного производства, с которого он начинает свой анализ, мы видим, что развитие его совершенно расшатывает те патриархальные связи между людьми, которые существовали до его возникновения. Формы отношений между людьми, т.-е. самое (с. 43) существенное в их жизни, радикально изменяются от изменения экономических условий. Определенные формы отношений между людьми оказываются в данном случае возможными только при определенных экономических условиях и изменяются при их изменении. Товарное производство затем развивается, оно переходит в капиталистическое. Анализируя этот переход, Маркс доказывает логическую его неизбежность. Что служит для него тут точкой исхода?

Представление о среднем человеке, как существе, руководящемся в своей жизни главным образом эгонистическими мотивами, в силу чего стремление к личной выгоде является самым сильным его побуждением, перед которым бледнеют все остальные. Вы можете тут сказать, что по условиям научного исследования здесь приходится иметь дело с абстрактным человеком. Мы же думаем, что если абстрактный человек в „Капитале“ не очень близок к конкретному, то всё здание, воздвигнутое Марксом, построено на песке. Но оно не построено на песке; подавляющая масса фактического материала служит этому ярким подтверждением. Когда представители так называемого этического направления восстанут против абстрактного человека политической экономии, нам понятно это: они не могут согласиться и с выводами Маркса. Но когда Вы, соглашаясь с этими выводами, попытаетесь стать на их точку зрения, это изобличит только Вашу логическую (с. 44) непоследовательность и ничего больше. И когда затем Маркс разпергивает перед ними длинный ряд экономических изменений, последовательно идущих одно за другим, логически одно из другого вытекающих, то нужно разбить представление об истории, как о цельном процессе, в котором все роды явлений неразрывно связаны между собой, чтобы не считать в данном случае изменяющийся экономический элемент главным, основным элементом исторического процесса. Таким образом, исследования, которые нам Маркс дает в „Капитале“ далеко не посторонние для теории экономического материализма исследования; они напротив блестяще подтверждают ее. Необоснованность теории экономического материализма является, по Вашему мнению, главной причиной неуспеха ее среди представителей официальной науки, которому Вы противопоставляете в данном случае успех „Капитала“²¹⁾. Не знаем, о каком успехе последнего Вы говорите. Представителям официальной науки пришлось считаться с выводами „Капитала“, так как они опираются на богатый фактический материал; но если под успехом понимать сочувствие к выводам Маркса, то этого успеха „Капитал“ никогда не имел среди жрецов официальной науки. — Допустим, затем, что теория экономического материализма недостаточно обоснована. Но она отличается известной цельностью и законченностью. Никто не станет отрицать также (с. 45), что масса исторических фактов блестяще может быть объяснена экономическими причинами, не естественно ли было бы в силу этой теории увлечь многих из самостоятельных исследователей истории, стремящихся понять исторический процесс? Нет, не естественно было бы это, как не естественен был бы вообще успех „Капитала“. Экономические интересы должны были действовать тут искажающим образом на критику. Экономический материализм в руках Маркса явился орудием, посредством которого он разоблачил истинную природу капиталистического производства и из анализа последнего логически вывел неизбежность социалистического строя. Вот почему экономический материализм не мог иметь успех среди официальных представителей науки и вот почему он пользуется блестящим успехом среди социалистической интеллигенции, стоящей во главе рабочего движения, интеллигенции, о которой Вы, повидимому, совершенно забыли в своей статье. Не

думаете ли Вы, что в рабочем движении участвует только невежественная масса, бок о бок с жрецами науки, не имеющими к этому движению никакого отношения? — Вам кажется странным далее сравнение теории экономического материализма с теорией Дарвина, так как последняя „венчает собой целый Монблан фактического материала“ ²²). Но мы думаем, что если бы теория Дарвина была не более обоснована фактами, чем теория экономического (с. 46) материализма, она вполне заслуживала бы успеха среди ученых, так как основные факты, на которые она опирается — изменчивость, наследственность и безграничная способность к размножению вместе с вытекающей из нее борьбой за существование — царят повсюду в окружающей нас природе. В силу таких же оснований заслуживает и успеха теория Маркса. Преобладание экономических интересов и борьба этих интересов, как источник эволюции, факты эти не менее властно царят в настоящую минуту в жизни человеческого общества, чем дарвинские факты в жизни природы. Опираясь на эти факты, Маркс развернул перед нами последовательный процесс развития капитализма. Анализ этого процесса у него органически связан с теорией экономического материализма, и искусственно разрывать эту связь — значит не понимать „Капитала“. Исходя из тех же фактов, он пришел к неизбежности падения капитализма и возникновения социалистического строя, и то направление, которое систематически на наших глазах принимает западно-европейская жизнь, блестяще подтверждает это предсказание. И если затем мы в этой, блестяще оправдавшейся на фактах западно-европейской жизни, теории ищем ключа к пониманию русской жизни, то мы за это отнюдь не заслуживаем упрека в чисто догматическом следовании за Марксом.

Если мы только не чисто механически прикладываем ее к нашей жизни, а систематически проверим (с. 47) ее анализом этой жизни, то из этого можно вывести только то, что мы наличием более или менее обоснованной теории предпочитаем отсутствию всякой теории. Вы, положим, отказываетесь признать за ней какую бы то ни было обоснованность, но ведь мы видели, как мало было в Ваших возражениях понимания этой теории. Найдя, что эта теория не только не обоснована, но прямо нелепа, так как неспособна объяснить даже такого простого и обычного факта, как производство детей, Вы естественно пришли к заключению, что только понижение уровня умственной и духовной жизни может объяснить наш успех за последнее время в России. Да, если вторжение критики в общепринятые убеждения в каком бы то ни было смысле можно сближать с понижением уровня духовной жизни, то Вы правы.

Как ни нелепа затем в Ваших глазах наша теория, но тот факт, что с нею можно познакомиться в четверть часа, служит для Вас достаточным объяснением ее успеха.

Но в каком смысле с нею можно познакомиться в четверть часа! Если иметь в виду чисто внешнее знакомство, то в таком случае четверть часа достаточно для знакомства с какой бы то ни было теорией, но для того, чтобы понять неизбежность падения капитализма и замены его социалисти-

ческим строем, нужно тщательное углубление в анализ капиталистического производства. Мы не видим, положим, этого углубления в Ваших возражениях, (с. 48) но за то чего же и стоят такие возражения, как ссылка на производство детей.

В Ваших замечаниях на наш счет Вы правы только в одном: наше направление, действительно, заняло до значительной степени „пустое место“²³⁾. Но почему образовалось это пустое место, почему оно получилось в результате долгого существования Вашего направления? Процесс образования этого „пустого места“, — это в высшей степени мучительная и в то же время в высшей степени поучительная история русской интеллигенции.

В то время, как Вы, сидя в своем кабинете, систематически отстаивали „субъективный метод“ и отрицали право „необходимости“ вмешиваться в практические дела, тысячи борцов за социалистический идеал пали в непосильной борьбе с этой „необходимостью“. Она заставила признать себя ценою неисчислимых страданий, ценою бесконечного ряда напрасно потраченных усилий. И когда затем интеллигенция эту выстраданную ею „необходимость“ подвергает тщательному анализу и ищет в теории подтвердившейся и беспрерывно вновь, и вновь подтверждающейся на фактах западно-европейской жизни, объяснения и окружающей ее жизни, Вы бросаете ей укор в невежестве и неспособности к критической мысли, стремитесь набросить на ее направление нравственную тень. Нет, не удастся Вам это. За нас логика фактов, за нас и наша деятельность (с. 49), которую мы освятили уже своими страданиями.

Марсисты.

P. S. Наше письмо было кончено, когда мы прочли Вашу новую статью, направленную против марксизма²⁴⁾. Начало этой Вашей статьи еще более поколебало ту нравственную связь между нами, которую Вы достаточно уже распатали своей прежней статьей. В высшей степени характерно в данном случае для Вас и для Вашего отношения к самым животрепещущим теперь для лучшей части интеллигенции вопросам то, что Вы начинаете свою статью с цитирования презрительного отзыва на наш счет Буренина, человека, к которому Вы обыкновенно относитесь с безграничным презрением. Что касается Ваших возражений, то, по сколькоу они касаются марксизма, они так же, как и возражения прошлой статьи, не отличаются особенной глубиной. Говоря о гегелевской триаде, Вы приписываете, напр., экономическому материализму в высшей степени странное утверждение, по которому он будто бы все изменения духовной жизни стремится свести к экономическим изменениям²⁵⁾. Мы не знаем такого места ни у Маркса, ни у Энгельса, из которого можно было бы вывести, что они весь процесс развития критической мысли во всех его последовательных фазах считают возможным поставить в зависимость от изменяющегося экономического элемента (с. 50.) Никогда Маркс и Энгельс не могли утверждать, напр., что теории Галилея, Кеплера или Ньютона возникли в головах этих мыслителей только потому, что к этому

толкали их изменяющиеся экономические факты. Процесс развития критической мысли не может для экономического материализма не быть до значительной степени самостоятельным процессом, процессом только, который до сих пор в силу экономических условий был чисто внешним для жизни большинства человечества и поэтому не мог непосредственно влиять на ход исторического процесса. Возражая затем против гегелевской триады, Вы очень наивно думаете, что Вы тем самым колеблете неизбежность социалистического строя, которая по Вашему мнению опирается только на конец „гегелевской трехчленной цепи“. Нет, заблуждаетесь Вы, не на гегелевскую триаду опирается у нас признание неизбежности социализма, а на два несомненные факта, не имеющие к этой триаде никакого отношения, именно на факт развития капитализма, приводящего к всё большему противоречию экономического фундамента с его правовой надстройкой, и на наличие сознания у рабочих. Неизбежность нарастания этих противоречий также, как неизбежность развития в определенном направлении классового сознания рабочих, Маркс предсказал на основании анализа законов капиталистического производства, и процесс развития западно-европейской жизни, (с. 50) развертывающийся перед нами, беспрерывно подтверждает для нас это предсказание. Причем же тут гегелевская триада и какое значение она может иметь для наших воззрений?

ПРИМЕЧАНИЯ.

¹⁾ — Речь идет о книге В. В. „Наши направления“ СПб., 1894 г. В. В. — псевдоним В. П. Воронцова. В начале 1870-х гг. В. Воронцов имел прикосновение к кружкам чайковцев (см. ст. Аптекмана в № 19 „Былое“). По образованию он — медик, был одно время земским врачом, потом оставил службу и занялся публицистикой, подписывая свои статьи инициалами: „В. В.“. Писал, главным образом, в „Отеч. Записках“; В. В. — главный экономист тогдашнего народничества. В начале 1880 гг. он переработал часть своих статей в книгу: „Судьбы капитализма в России“, снабдив ее особым предисловием. Об этой книге см. статью Михайловского в „Отеч. Записках“, 1883 г., № 7, под рубрикой „Письма постороннего в редакцию Отеч. Записок“. (Михайловский находился тогда в ссылке в Выборге и оттуда писал свои письма „постороннего“). Теперь эта статья перепечатана в его сочинениях том V, стр. 772 — 789. В своей статье Михайловский указывает, что редакции „Отеч. Записок“ никогда не брала на себя ответственности за все мысли г. В. В. в их полном объеме, тем более, что мысли эти излагались не в одних „Отеч. Записках“, а и в других периодических изданиях и, наконец, в небольшом, но характерном предисловии к книге „Судьбы капитализма в России“ (т. V, стр. 777). Свои разногласия с В. В. Михайловский формулирует в таких словах: „Устанавливаемая г. В. В. качественная разница между русским и европейским экономическим строем не так велика, как может показаться. Во первых и у нас, как в Европе, происходит отлучение производителей от сил природы и орудий производства. Во вторых, и у нас, как в Европе, возможны, в некоторых, по крайней мере, отраслях производства, законченные формы капитализма. В третьих, и в Европе, как у нас, не всё производство построено на капиталистическом принципе. В четвертых, и в Европе, как у нас, расчет на капиталистическое воспитание рабочих для общественной формы труда является, по малой мере, проблематичным“ (т. V, стр. 788). О таких же разногласиях с В. В. Михайловский говорит в статье о нем в октябрьской кн. „Русск. Богатства“ за 1893 г. Указав здесь, что марксисты настаивают на необходимости разрушить нашу экономическую организацию (см. цитату приведенную выше в нашем предисловии), Михайловский продолжает: „Наша экономическая организация, — говорит г. В. В., — обеспечивает трудящемуся самостоятельное положение в производстве. В принципе это так. Оно так и в действительности, если иметь в виду только „прогрессивные течения в крестьянском хозяйстве. Но — чтобы сослаться на человека, которого г. В. В. считает своим единомышленником, исследование Николая-она, подтверждаемое в этом отношении всеми добросовестными исследователями, без различия каких бы то ни было партий, показало, что крестьянское хозяйство уже в течение многих лет падает; что деревня раскалывается на два слоя, выделяя богатых кулаков, держащих под своей грубой лентой остальное население деревни; что это последнее утрачивает „самостоятельное положение в производстве“. Все это подтверждается и частными исследованиями и официальными статистическими данными. Таким образом,

процесс, которого г. В. В. ждет в более или менее отдаленном будущем, в зависимости от каких то „прогрессивных подвигов интеллигенции“, происходит сейчас, перед его глазами“. На это место в статье Михайловского обратил тогда же свое внимание в письме к нему Н. В. Федосеев (см. т. VII сочинений Михайловского, стр. 730, где цитируются эти указания Федосеева). См. также в сочинениях Михайловского, том X-ый (Предметный указатель, отд. 17-ый, под-отд. III.—„Критика правых течений в народничестве“, где сгруппированы все места в сочинениях Михайловского о его отношении к народу и к расслоению деревни на противоположные классы). Процесс этот Михайловский неоднократно отмечал и в 1870-х гг.— Что касается Николая-она, упоминаемого в приведенной выше цитате, то о нем см. ниже особое примечание; „прогрессивные течения в крестьянском хозяйстве“ — слова вытисн Михайловским в выписке в той же цитате — заглавие одной из работ В. В. о русской деревне.

*) — См. выше слова Михайловского, приведенные в нашем предисловии.

*) — Далее, всё место, от слов: — „своей формулировкой Вы вместе с г. В. В. приписываете нам“ и пр. вплоть до слов: — „жизнь до сих пор оправдывала наши воззрения“, — приведено в статье Михайловского. См. том VII, стр. 729, — „Это — самая существенная часть письма, — говорит там Михайловский, — как указывают и сами авторы его“.

*) — Это письмо харьковцев говорит о статье Михайловского в октябрьской кн. „Русск. Богатства“ за 1893 г., перепечатанной теперь в собрании его сочинений под заглавием: „О народничестве г. В. В.“ (том VII, стр. 647 — 633), — О В. В. см. также заметку в X-ом томе сочинений Михайловского, не входившую до того в его сочинения (стр. 213 — 214). К полемике собственно с марксизмом относятся следующие места в статьях Михайловского в начале 1890-х гг.: гл. IX „Литературных воспоминаний“, о Зибере и Марксе (том VII, стр. 318 — 330); гл. XX тех же воспоминаний (том VII, стр. 719 — 725); о книге Сенинова (там же, стр. 728 — 733); о письмах марксистов (там же, стр. 733 — 748); о классовом объяснении истории (там же, стр. 748 — 758); об общей позиции марксистов в России. Гл. XXI „Литерат. воспоминаний“ (стр. 757 — 780) о диалектическом методе и о триаде Гегеля. Статьи эти написаны в январе-марте 1894 г. В апреле того же 1894 г. им была посвящена брошюра Н. Ленина: „Что такое дружба народа и как они воюют против социал-демократов?“ переизданная ныне издательством „Моск. Рабочий“ и „Новая Москва“. Вслед за Лениным, брошюра которого распространялась на тектографе, не получила широкой огласки, теми же статьями Михайловского занялся Плеханов-Бельтов в книге: „К вопросу о развитии монастического взгляда на историю“ (написана осенью 1894 г.), определивший на долго отношение марксистов к Михайловскому. — Полный список статей Михайловского о марксистах и. в предметном указателе при X томе его сочинений, отд. 17-ый, под-отд. II — „Пolemика с марксизмом 90-х годов“.

*) — Цитату, приведенную в эпиграфе см. в III томе сочинений Михайловского (изд. 1897 г., стр. 782 — 783, гл. XX „Записок профана“). Г-н П. Ч., о котором в ней говорится — П. Черевинский, сотрудник „Недели“, полемизировавший в то время 1876 — 1877 гг.) с Михайловским. Впоследствии Черевинский был земским статистиком и создателем так наз. „черниговского метода“ земско-статистических исследований. Как сотрудник „Недели“, П. Черевинский отстаивал романтически-националистические идеи в народничестве, с которыми резко полемизировал Михайловский. Poleмикой с П. Ч. занят ряд глав „Записок профана“. Места сюда относящиеся см. в предметном указателе при X томе, отд. 17. „Критика правого народничества в 70-х гг.“.

*) — О марксистах зрячих, марксистах пассивных и марксистах активных см. стр. 752 — 758 VII тома сочинений Михайловского. Об активных марксистах Михайловский говорит так: „Если читатель припомнит тех марксистов, которые, по словам „оскорбленного“ мною марксиста же, протестовали против помощи голодающим крестьянам, потому что, дескать, это задерживает процесс развития капиталистического производства и пролетариата, — то получим образчик, и еще сравнительно умеренный“.

активного марксиста". Такого рода „активными“ марксистам противопоставляются Михайловским марксисты „пассивные“. — „Они желают только „облегчить муки родов“, по выражению Маркса, хотят только идти следом за неизбежным процессом (обезземлевывания народа) и, не интересуясь народом, на земле сидящим и вообще владеющим средствами производства, сосредоточивают свое внимание и надежды на тех, которые историческим процессом уже отлучены от средств производства“. — „Оскорбленный“ марксист — это Н. Е. Федосеев, писавший в своем письме (см. в предисловии) Михайловскому: — „я марксист, и притом оскорбленный Вами“. „Но дыма без огня не бывает, — говорит между прочим Федосеев в своем письме. — Мне самому известен следующий факт. Такие-то (названа одна из губерний) марксисты, как я слышал, разразились гневом против молодежи, отправившейся в деревню „кормить крестьян“: они убеждены, что кормить крестьян значат „препятствовать процессу создания капитализма“. Этот факт (см. т. VII, стр. 730 — 731), приведенный в письме Федосеева, и дал повод Михайловскому к вышеприведенной характеристике „активных“ марксистов. Следует, однако, сказать, что покойный Н. Е. Федосеев нашел произвольной манеру Михайловского цитировать его письмо и был не очень оскорблен. См. об этом в сборнике „Нива. Евгр. Федосеев“. (Петр., 1923).

7) — Место о „рыцарях накопления“ см. на стр. 731 тома VII. — Оно тоже относится к письму Н. Е. Федосеева. Сделав свою ссылку на марксистов одной губернии (в подлиннике: Оренбургской), протестовавших против помощи голодающим, Федосеев писал Михайловскому: — „Я склонен думать, что подобный же абсурд дал Вам повод отождествлять русских марксистов с рыцарями накопления“. На эти слова Михайловский отвечал: — „Извините, мой суровый корреспондент, я не отождествлял русских марксистов с рыцарями накопления, хотя допускаю, что последние могут, если в том надобность окажется, довольно удобно устроиться под знаменем русского марксизма. Но вы правы, предполагал, что „абсурд“, в роде приведенного Вами, имеют для меня значение, и думаю, что я в свою очередь прав, придавая им таковое. Мой суровый корреспондент знает один „абсурд“, а я знаю их довольно много“.

8) — Кривенко С. Н. (1847 — 1906), писал в начале 1870-х гг. в „Отеч. Записках“ и о медном кредите (См. его сочинения, 2 тома СПб., 1911), главным образом, по вопросам кооперативной практики и теории. Он отстаивал производительную кооперацию в противовес потребительной. Позже вел внутреннее оборонение в тех же „Отеч. Записках“ после того, как отдел этот должен был оставить Елисеев, выехавший по болезни за границу. Одновременно Кривенко сотрудничал в „Народной Воле“ и в „Листках Народной Воли“. В № 1 „Нар. Воли“ ему принадлежит статья по поводу циркуляра мин. вн. дел Макова, а в № 1 „Листка Нар. Воли“ статьи о коронации Александра III „Новая эра“. За этот период Михайловский был очень близок с Кривенко, но позже, в начале 1890-х гг., они совершенно разошлись после того, как Кривенко, вместе с В. В., встал в ряды правого народничества. Этот период борьбы Михайловского с правым народничеством 1880 — 90 гг. предшествовал у него периоду polemики с марксизмом.

9) — То место оппозите, как орудия движения, о котором идет речь, находится на стр. 766 тома VII сочинений Михайловского. — „Еще один марксист писал мне, — говорит Михайловский, — что я вижу в нищете бедствие, тогда как оно есть вместе с тем и орудие движения. Это замечание по обыкновению взято у Маркса целиком. Но если читатель обратится к самому Марксу, и именно в стр. 121 немецкого издания его poleмики с Прудонем („Das Elend der Philosophie“), то убедится, что слова эти никак не могут быть приложены к нашим делам, и что наша нищета есть действительно только бедствие. Но и помимо этого, Маркс, конечно, очень удивился бы и даже, вероятно, с свойственной ему резкой бесперемонностью обозвал бы очень нехорошим словом тех своих русских почитателей, которые желают плодить нищету. Да еще под знаменем науки!“

10) — Слова Михайловского см. на стр. 729 VII тома его сочинений. Письмо Маркса к редактору „Отеч. Записок“, о котором говорится дальше в тексте, было
Быков № 23

написано Марксом по поводу статьи Михайловского: „Карл Маркс перед судом Ю. Жуковского“ (окт. 1877 г. см. сочинения т. IV) и напечатано первоначально в „Вестнике Нар. Воли“ и в „Юридич. Вестнике“ за 1885 г. В автографе письмо воспроизведено теперь в „Вестнике Социал. Академии“ (1923). „Мы не согласны с письмом Маркса“, — говорят ниже авторы „Двух писем“. Несколько иные комментарии к письму Маркса дал Плеханов-Бельтов в книге: „К вопросу о развитии монистического взгляда“ (стр. 205 и след., по изд. М. 1919 г.). Ср. также с письмом Маркса предисловие его к русскому изд. „Коммунистического манифеста“, воспроизведенное в „Былом“ кн. 22.

¹¹⁾ — „Я не совсем понимаю, — говорит Михайловский, — как может идти речь о какой бы то ни было „практической программе“ там, где невозможно сознательное воздействие и где все идет „инстинктивным путем“ и не может идти иначе“. (Том VII, стр. 729). — Об этом месте и идет речь в тексте.

¹²⁾ — В VII томе это место на стр. 750.

¹³⁾ — Об исторической необходимости у Михайловского в VII томе стр. 744 — 746. К этим местам относятся слова авторов письма: „Вы очень горячо и талантливо восстаете против права исторической необходимости вмешиваться в наши практические дела“ и пр. На ту же тему у Михайловского см. еще в статье „Что такое прогресс?“ (том I, стр. 120 — 124); „Теория Дарвина“ (том I, стр. 231, 339 — 348), „Аналогич. метод в общ. науке“ (том I, стр. 382 — 387, 403 — 404), „Преступление и наказание“ (том II, стр. 12 — 13) и др. места. Ср. также то, что говорится в тексте, с критикой тех же мест об исторической необходимости в книгах Плеханова-Бельтова (стр. 185 и сл.) и Ленина. „Что такое друзья народа...“ (стр. 30 соч.).

¹⁴⁾ — Стр. 737 — 740 VII тома сочинений Михайловского посвящены критике взглядов Энгельса на первобытную культуру и на вопрос о „детопроизводстве“. На стр. 739 слова: „Несколько забавное впечатление вызывает термин „производство самого человека“, то есть детопроизводство, за который Энгельс хватается для сохранения хотя бы словесной связи с основною формулою экономического материализма. Он вынужден, однако, признать, что жизнь человечества многие века складывалась не по этой формуле, а предвидеть в будущем прекращение как классовой борьбы, так и всеопределяющего значения форм производства“. Об этом месте и говорится дальше в тексте. Ср. также у Плеханова-Бельтова (стр. 113 и сл.).

¹⁵⁾ — На стр. 741 тома VII: „Если институт наследства немислим без продуктов производства, передаваемых по наследству, то он точно так же немислим без продуктов „детопроизводства“, получающих наследство, — без них и без той сложной и напряженной психики, которая к ним непосредственно примыкает“. — Следующая цитата в тексте находится у Михайловского на этой же странице.

¹⁶⁾ — У Михайловского о национальном чувстве, как общественном факторе на стр. 742 тома VII.

¹⁷⁾ — „Истории знает много случаев, когда тот или другой процесс внутренней работы общества обрывался и получал совсем иное направление, благодаря случайным осложнениям международного или междуплеменного характера, осложнениям, не только не вызванным руководителями политики, но и застающими их врасплох“. (Михайловский, том VII, стр. 742). И дальше: „Но, говорят марксисты, случайности в истории никакой не бывает потому, что всё совершается по известным законам“, и пр.

¹⁸⁾ — Стр. 746—748 тома VII о героях и толпе. Места в сочинениях Михайловского о героях и толпе, о роли личности в истории, о личности и формах кооперации сгруппированы в предметном указателе при X томе его сочинений, стр. 1102. Ср. также у Плеханова-Бельтова (стр. 232 и др.).

¹⁹⁾ — Авторы имеют в виду стр. 276 „Наших разногласий“, (Сочинения Плеханова, т. I, М. 1920), хотя тех слов, которые в тексте поставлены в кавычки здесь нет. Дальнейшее изложение представляет переработку этого места из „Наших разногласий“.

²⁰⁾ — О Николае — оне (Даниельсоне), авторе книги „Очерки нашего пореформенного хозяйства“, СПб., 1893 г., см. в „Письмах Маркса и Энгельса к Николаю — ону“,

изд. в 1909 г. ред. „Мин. Годы“. Ср. также у Плеханова в „Наших разногласиях“. (Собр. сочинений, изд. 1920, т. I, с. 279 прил.).

²¹⁾ — На стр. 735 и сл. тома VII Михайловский говорит: „Что касается самого Маркса, то, хотя он как в „Манифесте“, так и в разных местах других своих сочинений высказывает основания теории экономического материализма, но нигде не обосновывает их, ни подробным анализом других философски-исторических теорий, ни скольконибудь значительным фактическим материалом“. С тем, что есть по этому поводу в тексте, ср. у Плеханова-Бельтова, стр. 172 и сл.

²²⁾ — Эти слова на стр. 736 тома VII.

²³⁾ — На стр. 756, тома VII, слова: „Ни для кого не тайна, что за последнее время уровень нашей умственной и вообще духовной жизни сильно понизился. Образовалась некоторая пустота, в которой иные превосходно устроились... И вот в эту пустоту вторгается немецкая марксистская литература: ясно, просто, логично, в четверть часа можно целую философию истории усвоить с гарантированной научностью“, и пр.

²⁴⁾ — Статья Михайловского в № 2 „Русск. Богатства“ за 1891 г., перепечатанная теперь в VII томе его сочинений в виде XXI гл. („Гегелизм и гальванизм. — О диалектическом развитии и тройственных формулах прогресса“), начинается словами: „Г. Буренин в „Новом Времени“ заметил, что я в прошлый раз удели слишком много места нашим псевдо или нео-марксистам. № 2 „Русск. Богатства“ вышел в конце февраля; в руки читателей он должен был попасть или в самых последних числах этого месяца или в начале марта. К началу марта относится, по всей вероятности, и этот Пост-Скрипtum.“

²⁵⁾ — „По воззрению экономического материализма, — по словам Михайловского, — вся наша умственная жизнь составляет „надстройку“ на экономическом фундаменте“ и пр. (Сочинения, том VII, стр. 760). Об этом месте и говорится в тексте.

В девяностые годы.

(Посвящаю эти воспоминания о днях давно минувшей юности памяти матери моей
М. Н. Могиланской).

Грозные события великой русской революции могут быть исторически поняты и освещены, конечно, только в связи с историей почти вековой революционной борьбы. В истории же этой борьбы чрезвычайно важным моментом является последнее десятилетие XIX столетия, девяностые годы, когда был подготовлен и начался тот последний штурм твердынь самодержавия, который в мартовские дни 1917 г. закончился их падением. Плеханов верно отметил, что после катастрофы 14-го декабря 1825 г. „вся дальнейшая история русской революционной мысли—за самыми малыми исключениями—может быть формулирована, как ряд попыток найти такую программу действия, которая обеспечила бы революционерам сочувствие и поддержку со стороны народной массы“¹⁾. Если такая „программа действия“ была найдена и формулирована в эпоху, предшествовавшую 1890-м годам, то только в 1890-ые годы революционная мысль оплодотворила революционную практику широким применением нового метода революционной борьбы. Это наложило свою печать на всю эпоху, даже на те проявления общественной жизни, которые на первый взгляд были совершенно изолированы от основного потока революционной борьбы своего времени, например, на так называемое студенческое движение, проявлениями которого отмечен почти каждый год 1890-х годов.

В предлагаемом очерке я несколько не претендую дать историю эпохи девяностых годов, сознательно ограничивая свою задачу изложением воспоминаний о лично пережитом и виденном, рассказом о событиях, которые „ipse vidi et quorum pars fui“... Субъективизм личного опыта предлагается читателю этих воспоминаний без всякой попытки объективировать его, с единственным стремлением показать, какие факты живой действительности и какие идейные влияния были факторами его сформирования. В таком виде, кажется мне, самый субъективизм может служить историческим материалом, помогающим, за очисткой его от черт случайного и несущественного, разглядеть и понять подлинные черты исторической эпохи...

¹⁾ Плеханов, 14 декабря 1825 г., Петроград, 1921, стр. 30.

I.

Последние гимназические годы.

Черниговская гимназия конца 1880-х нач. 1890-х г.г. — Влияние Драгоманова. — Земское движение. — Крестьянство. — Зарождение марксистских настроений. — Впечатление от 1 марта 1881 г. — Неожиданное применение Ильясовского. — Незаконная библиотека. — Газета „Народ“. — Гимназические кружки.

Я поступил на юридический факультет Петербургского университета, окончив черниговскую гимназию, в 1892 г. Из „глубины России“ я вез с собою в столицу убеждение, что революционная борьба с самодержавием является главной задачей нашего времени, и восторженную юношескую уверенность, что мое поколение увидит падение шереховских стен самодержавия, уверенность, как мне казалось, не являвшаяся только проявлением юношеского оптимизма, но и обоснованную на „неотразимых законах истории“. Это было внушено произведшею на меня сильное впечатление брошюрой Драгоманова „Либерализм и земство в России“, в которой автор сопоставлением хронологических данных политической истории Франции с таковыми Московского государства доказывал, что так как расстояние между этапами политической жизни Франции и России с каждым из них сокращалось, то французскому собранию новых Генеральных Штатов в 1789 г. должно было бы уже давно соответствовать созывание в России нового земского собора. Запоздание произошло вследствие некоторых осложнений в положении России с XVIII в.; но идейные препятствия к политическому освобождению России уже устранены и, таким образом, оно неизбежно в силу „неотразимых законов истории“. Но вопрос о том, как оно произойдет, иначе говоря вопрос о методах, о способах революционной борьбы, оставался открытым.

Ответ на него Драгоманова — усвоение всеми образованными людьми начал, лежащих в основе земского движения, — не удовлетворял, потому что не было веры в возможность мирного освобождения. Было ясно, что самодержавие, каким оно было в окружающей нас действительности, не уступит силе общественного мнения, если не будет к тому вынуждено силой материальной, каковой даже самое полное единомыслие всех „образованных людей“ никогда не будет обладать. К тому же и самая возможность объединения „всех образованных людей“ на началах, лежащих в основе земского движения, да и само „земское движение“ возбуждали серьезные сомнения. Под влиянием Драгоманова я с товарищами, начиная с 7-го класса гимназии, рискуя серьезными карами со стороны гимназического начальства, забирался на хоры залы дворянского собрания во время земских собраний, но в толькo что „обновленном“ новым земским положением 1890 г. земстве вовсе не звучали голоса, которые подавали бы хотя отдаленную надежду на политическое освобождение России.

Героический облик партии „Народной Воли“, знакомый, главным образом, по „Подпольной России“ Степняка, снискал ей пьезет и романтическое восхитение, но ее ответ на вопрос о методе революционной борьбы также мало

удовлетворял. Критика Драгоманова совершенно убедила и в политической нецелесообразности, и в моральной непримлемости террора. Собственные наблюдения и размышления не оставляли места для веры не только в мужицкий социализм, но и в возможность сколько нибудь широкого сочувствия и поддержки революционерам со стороны крестьянской массы. С детства я проводил в деревне каждое лето, и мое знание крестьянской жизни обращало для меня и ту и другую в беспочвенную утопию. Судить о крестьянском вопросе во всем его объеме я, конечно, не мог по недостатку знаний, но, по склонности юности обобщать виденное собственными глазами, я считал, что крестьянство страдает не от малоземелья, а от культурной темноты и беспомощности, от способов хозяйствования, неизменных, вероятно, со времен Рюрика, от бесправия, узаконенного и организованного в институте земских начальников, т.-е. в конечном счете от самодержавия. Свержение самодержавия было, таким образом, в моих глазах, *conditio sine qua non* культурного и экономического подъема крестьянства, но я не представлял себе совершенно, чтобы это убеждение могло стать достоянием широких масс крестьянства и толкнуть их на путь революционной борьбы. Русский крестьянин, каким он представлялся мне по произведениям русских беллетристов (Решетников, Гл. Успенский), укреплял это настроение, создавшееся на почве личных впечатлений. К тому же последний год моей гимназической жизни — был „голодным годом“ (1891.—1892 г.г.); я читал народолюбческие прокламации к голодающим крестьянам за подписью „мужицкие доброты“ и знал, что голодающее крестьянство осталось глухо к революционным призывам и вовсе не обнаружило „силы нетерпения“, освобождающей народы... Словом, ожидать политического освобождения России от крестьянства, как и от „земского движения“ и объединения около его начал „всех образованных людей“, для меня значило потерять веру в „неотразимые законы истории“. И это ставило передо мной тот вопрос о методе революции, искание которого, по замечанию Плеханова, характеризует всю историю русской революционной мысли после декабристов. Решения его я ожидал от университетской науки, чем определился и мой выбор юридического факультета. В сущности, уже тогда я близко подходил к позже усвоенному ответу на вопрос: еще в 8 классе гимназии я прочел „Коммунистический манифест“, еще в 7 кл. гимназии я выписывал в свою записную книжку строки Лассалля о „бесконечно величественном зрелище всемирно исторического восхода солнца“. Еще более чем „неотразимые законы истории“ у Драгоманова юношескую мысль пленяла трактовка законов социального развития, как законов естественно-исторических, у научных социалистов. Она питала бодрую уверенность в исходе борьбы, открывала ее и, вопреки позднейшим утверждениям русских народников, что своим „фатализмом“ она воспитывает пассивность, будила восторженную жажду активности. Однако, тогда же усвоить мировоззрение научного социализма и в нем найти ответ на вопрос о методе революции препятствовали и недостаточность общего образования и недостаточное случайное знакомство с ним, и еще больше сложившееся под влиянием разнообразного чтения убеждение,

что России это „не касается“, что Россия страна крестьянская, что процентное отношение промышленного пролетариата к общему количеству населения в ней совершенно ничтожно, что „рабочего вопроса“ у нас поэтому нет и исторические схемы, обоснованные на материале жизни западно-европейского мира — к России не приложимы... Тем, что раннее увлечение „революцией“ не толкнуло меня к односторонности революционного сектантства и кружковщины, я обязан довольно широкому, хотя и беспорядочному чтению, страсть к которому с детских лет во мне разбудило влияние матери. Любимым моим писателем в последние годы гимназической жизни был Генрих Гейне. Революция, благодаря этому, никогда не получала для меня характера интереса самодовлеющего, всегда вставала передо мной в аспекте широкой задачи окончательной европеизации России, всестороннего приобщения ее к богатствам мировой духовной культуры. Мысль о возможности для России „самобытных“ путей развития всегда оставалась для меня чужой, даже мало понятной психологически; славянофильство, народничество казались непостижимым чудачеством: решение русской политической проблемы было в правовом, конституционном государстве. Моими учителями здесь были К. К. Арсеньев, Иоллос — („Вестник Европы“, „Русские Ведомости“ я постоянно читал, начиная с шестого класса гимназии) — и Драгоманов. Последний идею правового государства дополнил идеей федеративного устройства его и явился учителем в области национального вопроса вообще и украинского в частности. Песни и сказки нани, окружающая народная стихия, позже украинский театр — были факторами моего органического украинства, ослаблявшегося, однако, обрусевшей семьей и школой, в которой всё украинское было строго запретным. Мой отец, говоривший всегда по русски, прекрасно читал по украински. У него был том пражского издания Шевченковского „Кобзаря“, заключающий в себе запрещенные в России произведения поэта, и иногда он читал его в кругу людей близких семье. На присутствие при чтении детей, обыкновенно, не обращали внимания (дети „не интересуются“ и „не понимают“). А в 10-11 лет я уже тайком вытаскивал пражского „Кобзаря“ из отцовского шкапа и от первой до последней страницы прочел его... От увлечения распространенным тогда этнографическим национализмом меня предохранил Драгоманов, являвшийся надежным проводником между Спиллой доктринерского, отвлеченного космополитизма, закрывающего глаза на реальную действительность, и Харибдой узкого национализма, преклонения перед „национальными святынями“ в ущерб общечеловеческому содержанию. Еще в последних классах гимназии я прочел его книгу „Историческая Польша и великорусская демократия“, в которой дан чрезвычайно обстоятельный и содержательный обзор течений русского революционного движения с точки зрения критики централистических стремлений, вытекающих из неправильного взгляда на самое существо необходимого для разнонациональной России государственного строя. А статьи Драгоманова специально по украинскому вопросу, печатавшиеся в газете „Народ“ (позже вышли отдельным изданием) под заглавием „Чудацькі думки“, — я прочел и перечел их несколько раз, —

долго и страстно обсуждались в гимназическом кружке, о котором расскажу ниже.

На вопрос о том, что, когда и как выдвинуло и поставило перед юношеским сознанием задачу борьбы с самодержавием, как неотложную историческую задачу, отдать свои силы служению которой составляет гражданский долг каждого сознательного человека, могу ответить лишь в общих чертах. Мне шел восьмой год, когда 1-го марта 1881 г. революция одержала грозную победу над самодержцем и была затем надолго побеждена самодержавием... Событие 1-го марта чрезвычайно поразило мое детское воображение, вызвало целый ряд вопросов детского ума, на которые взрослые не умели дать удовлетворяющего ответа. Среди этих вопросов особенно настойчивыми были: что будет убийцам? — Повесят...

А они ведь знали, что их повесят? — Знали... Почему-же они пошли убивать? Мать, к которой я приставал с этими вопросами, отвечала, обыкновенно, Некрасовским стихом, вставляя в него мое имя: — „вырастешь, Миша, узнаешь“... С течением времени постепенно именно этот ряд вопросов дал мне сперва смутно почувствовать, а потом и понять героическую жертвенность революционеров, а затем шаг за шагом постепенно ввел в круг революционных интересов. Впечатление от события 1-го марта никогда не стиралось, и, странное дело, даже официальная деяновская школа постоянно напоминала о нем, хотя бы и только внешним образом; так напр., добродушнейший в мире человек, инспектор гимназии Тапа, доходя до высших степеней раздражения детскими шалостями, кричал на нас — учеников приговорительного-первого класса: „ах, вы — Желябо-Перовские будущие, цареубийцы будущие!“... И позднее школа много содействовала определенному направлению мысли и интересов своих воспитанников, хотя и совершенно, конечно, неожиданным для себя образом. Я, например, хорошо помню, что интерес к Чернышевскому, Герцену, нигилистам и социалистам во мне разбудил историк Иловайский. Скучая еще над первыми страницами его учебника русской истории, я обращался к последним страницам, говорившим о временах более близких — о царствовании Александра II-го. И здесь мое любопытство возбуждали строки о „легкомысленных писателях“, которые из подражания „западным мечтателям“ принялись развивать „так называемые социальные идеи“, направленные против основ человеческой гражданственности — семейных уз и собственности, под видом эмансипации женщин проповедовали „поклонение грубой чувственности“ и развивали черты „нравственной распущенности“, которые были порождены долгим господством крепостного права. „Представителем такого грубого поклонения чувственности явился в особенности Чернышевский в своем романе „Что делать?“ „Современник“, в котором был напечатан этот роман, вообще стал органом „легкомысленного, отрицательного направления“, за что и был закрыт правительством, но нашлись другие органы, продолжавшие его направление, а „некоторые иростные социалисты и нигилисты“ удалились за границу, чтобы оттуда распространять свои „лжеучения“. „Образцом для этих отвер-

женцев отечества послужил русский эмигрант Герцен, посвятивший свое богатство и свое дарование бессмысленному социализму". В какой мере эти строки возбудили мое любопытство, может свидетельствовать то, что сейчас, более чем через тридцать лет, я цитирую их на память, местами дословно. Вероятно, благонамеренному историку никогда не приходило в голову, что он в ком-нибудь разбудит интерес к „представителю грубого поклонения чувственности“ Чернышевскому и его знаменитому роману, к „простым социалистам и нигилистам“, к „образцу“ для отверженцев отечества Герцену... Но что касается меня, я за этот интерес обязан благодарностью именно благонамеренному историку Иловайскому. А этот интерес, помимо своего непосредственного результата — знакомства с столь важными течениями русской общественной мысли, привел меня к первым шагам на поприще общественной деятельности и при том, по условиям времени, деятельности нелегальной, послужив, таким образом, началом моего общественного воспитания...

Разыскивая книги заинтересовавших меня авторов, я узнал о существовании принадлежавшей совместной организации гимназистов и семинаристов нелегальной библиотеки и скоро стал не только подписчиком ее, но и членом коллегии, ею заведывавшей... За чтение книг с подписчиков библиотеки взымалось 20 к. в месяц; общее собрание подписчиков избирало для заведывания ею на год пятичленную „коллегию“, в состав которой, по неписанному уставу библиотеки, могло входить не более двух семинаристов. Как раз во время моего вступления в коллегию, заведующую библиотекой, общее собрание подписчиков постановило не тратить средств на пополнение украинского отдела библиотеки. Это повело к выделению украинского отдела в самостоятельную организацию украинской библиотеки. Поместить выделившуюся украинскую библиотеку оказалось негде, и мне пришлось взять ее, с согласия матери, всегда сочувственно относившейся к моим общественным интересам, к себе, т.е. решиться на шаг, значительно более рискованный, чем простое пользование нелегальной библиотекой. Тогда же, и опять таки с согласия матери, я сделал и еще более рискованный шаг. Для украинской библиотеки на мое имя выписана была издававшаяся в Галиции при ближайшем участии Драгоманова газета „Народ“. Для России она печаталась на тонкой, почти папиросной бумаге и высылалась в закрытых конвертах. Но времена тогда еще были в политическом отношении достаточно патриархальные, и почти два года, регулярно два раза в месяц, почта доставляла мне революционное издание: за два года не дошло не более 2 — 3-х номеров ¹⁾... Патриархаль-

¹⁾ Когда я поступил в университет, „Народ“ выписали на адрес архисрейского (также Ч. — (позже сложившего духовный сан и подвизавшегося на сцене провинциальной оперы). Во время моего первого приезда в Чернигов на рождественские каникулы я как то встретил Ч., очень встревоженного. Он получил почтовую повестку: извещением о получении на его имя заграничного почтового отправления, которое (оножно было быть вскрытым при выдаче. Не было никакого сомнения, что это „почтовое отправление“ было очередным №-ом „Народа“. Мы вместе пошли на почту. Чиновник вынул из ящика знакомый нам обоим конверт, на котором красным карандашом было

ность сказывалось и в том, что в небольшом городке, где все о всех, обыкновенно, всё знают, неизбежно функционировали две нелегальные библиотеки с достаточно широким кругом подписчиков. А до гимназического начальства кое-что, несомненно, доходило. По крайней мере, учитель греческого языка Сахаров, однажды, „при переводе Апологии Сократа-Платона слов Сократа о том, что он не злоумышлял против государства, никогда не участвовал в тайных заговорах и кружках, ядовито улынувшись, комментировал: — „т.-е. не устраивал, напр., украинофильских библиотек“. На подписчиков злосчастной украинской библиотеки это произвело впечатление разорвавшейся бомбы, и многие из них в тот же день прибежали ко мне и, возвращая взятые книги, заявили: „начальству всё известно, библиотеку надо временно закрыть“.

Я решительно воспротивился закрытию библиотеки, и она продолжала функционировать только с уменьшившимся числом подписчиков. Не знаю, что было известно „начальству“, но, по крайней мере, даже гимназическое начальство во главе со знаменитым инспектором Антонюком, — присланным в Чернигов после известного циркуляра о „кухаркиных детях“ „для сокращения“ Черниговской гимназии и в два года закрывшим в ней параллельные отделения во всех классах, — на производство у меня обыска не решилось. Отец мой, — кстати сказать, ничего не знавший о библиотеке, — занимал пост товарища председателя окружного суда и пользовался широким уважением в городе: это, по тем патриархальным временам, было достаточно громозвучным...

А между тем, когда история с Сократом, отрешивающимся от украинофильства, начинала уже забываться, тот же Сахаров, приятель грозы гимназии Антонюка, опять показал когти. Весной была устроена гимназическая „военная“ прогулка за город, на которой большинство гимназического начальства отдало неумеренную дань Бахусу. Я подошел к группе товарищей, окружавшей Сахарова, находившегося в явно приподнятом настроении, а он, обращаясь ко мне, вызывающе сказал: „и вообще я всё знаю, знаю, напр., что вы либерал и украинофил“. Это уже было хуже: в то время при поступлении в университет гимназия посылала туда „характеристики“ своих воспитанников. Предшественник Антонюка инспектор Лапа (ругавший приготовишек „будущими Желябо-Перовскими“), обличая „либерализм“ (что на его языке называлось — „мухи в носу завелись“), обыкновенно, угрожал: „ось постой, мы тебе такую характеристику напишем, что побачишь ты не университет, а отщо“... и подносил к носу обличаемого „либерала“ символическую комбинацию из трех пальцев... „Вы либерал и украинофил“ в устах Сахарова угрожало мне серьезной опасностью не попасть

написано: „при выдаче вскрыть“, медленно достал ножницы и разрезал его. Затем он вынул из конверта № „Народа“, потряс его перед собой, как будто ища незаконно вложенных денег, и флегматически произнес: „нема грошей, я так и казав що листки з Афону... Забирайте!“ — и отдал... Мы так и не узнали, была-ли это *sancta simplicitas*, или тимошник сознательно спасал адресата от неприятности. Но перепуганный таким просыл освободить его от получения опасного „Народа“. А новый адресат продолжал получать его также исправно.

в университет, или, по крайней мере, в Петербургский университет, прием в который после 1-го марта 1887 г. был вообще значительно затруднен, особенно для окончивших гимназию в южных учебных округах... И опять ряд перепуганных подписчиков украинской библиотеки явились ко мне с заявлением, что больше они подписчиками не будут состоять и с советом закрыть временно библиотеку. И опять я закрытию библиотеки воспротивился... А когда через год я кончил гимназию, „характеристика“, посланная гимназией в университет, не составила мне препятствия к принятию в студенты Петербургского университета: думаю, что и этим я был обязан положению, которое занимал в городе отец... Сближение с товарищами на почве умственных и общественных интересов около библиотеки вызвало и образование кружка для совместного чтения. Читали сперва Добролюбова и Писарева, а потом я вытащил из отцовского шкапа сочинения Лассалы, и кружок наш старательно штудировал „об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия“. Для участия в кружке приходилось совершать еще одно, хотя и специально-гимназическое, но по гимназическим правам весьма тяжкое преступление. Гимназистам строгойше воспрещалось появляться на улице после захода солнца. Надо было, значит, переодеваться в штатское платье, для неузнаваемости надевать темные очки и вооружаться толстой дубиной. Кружок собирался, обыкновенно, по субботам, у моего товарища по гимназии, сына (такова уж прения русской жизни) либерального товарища прокурора, по должности, как нам было известно, участвовавшего в производстве, правда, довольно редких тогда жандармских дознаний ¹⁾...

Кружок этот, впрочем, скоро распался вследствие подозрений, что о существовании его узнало гимназическое начальство. Однако, вместо него образовался сейчас же новый кружок с иным составом участников, собиравшийся в другом месте. В этом новом кружке уже не было совместного чтения, его заменили рефераты участников на различные темы, а также обсуждение различных „вопросов“, главным образом, морально-общественного характера. Воспоминания о днях „туманной юности“ всегда неизбежно окрашиваются в розовый цвет. Сознаю это и всё же утверждаю, что никогда после я не встречал такого страстного интереса, такой беззаветной искренности, такой смелости мысли и такой взволнованности напряженного чувства, с какими юные члены этого гимназического кружка до хрипоты, до изнеможения, часто до глубокой ночи

¹⁾ Помню его почти анекдотический рассказ об одном из таких дознаний: жандармские власти в сопровождении товарища прокурора выезжали в глухой уголок Сосницкого уезда для производства дознания по доносу на одного крестьянина, будто бы ругавшего царя. Жандармский полковник был человек добродушный и стремился какнибудь замать подобные дела, но к ужасу его и товарища прокурора допрашиваемый в присутствии понятых крестьян на вопрос, правда-ли, что он ругал царя? — ответил „ега, лаяв, та я ще вылаю“... — и из уст его полились потоки брани... Приходилось составлять протокол. Но ругатель обратился к жандармскому полковнику: — „та Ви Ваше Вилгородие, звелить його поклонити сюди, то и сами побачите, яка він свиня!“... Оказалось, что его соседа, с которым он был не в ладах, почему-то по уличному прозывали „дарек“...

дебатировали вопросы о компромиссе, о приспособлении к окружающей среде, о смысле жизни и т. п. Отражением деятельности кружка была издававшаяся им рукописная газета, имевшая широкий успех и за пределами кружка. Из небольших своих средств, составлявшихся из грошевых ежемесячных взносов и от сбора за чтение газеты, кружок делал отчисления на помощь голодающим— (деньги, обыкновенно, направлялись через редакцию „Русских Ведомостей“ в распоряжение Л. Н. Толстого)—и на „Красный Крест“, оказывавший помощь политическим ссыльным и заключенным...

Таким образом, последние годы моей гимназической жизни протекали в условиях достаточно интенсивного умственного брожения и были хорошей школой общественного воспитания, а в условиях того времени вместе с тем и школой конспирации.

II.

Первый университетский год. Студенческие волнения весной и осенью 1893 года.

Петербургский университет нач. 1890-х г.г. — Студенческие требования и Д. И. Менделеев. — „Студенческий Вестник“. — Студенческие настроения. — „Касса взаимопомощи Петерб. ун-та“, ее организация и деятельность. — Землячества. — Малороссийское землячество. — Академическая работа. — Студенческие беспорядки в феврале 1893 г. — „Вольнослушатель“ Статковский. — Высылка студентов. — Похороны Плещеева. — Телеграмма французских студентов по поводу посещения русской эскадры Тулона, ответ на нее и новые беспорядки. — Марксистские настроения и студенчество.

В начале 1890-х годов Петербургский университет начал оправляться от того разгрома, которому он подвергся после 1-го марта 1887 г., и студенческих волнений конца 1880-х годов: число студентов опять постепенно увеличивалось и ко времени моего поступления в университет уже перевалило за 2000, что, по тому времени, считалось цифрой очень большой. В среде студенчества опять начиналось смутное брожение, весной 1890 г. уже вылившееся в „беспорядки“. Состоялось несколько сходок — сходка тогда, да и во всё время моего пребывания в университете, считалась недопустимым „беспорядком“, вызывавшим вмешательство в университетские дела полиции; — на сходках были выработаны „требования“ (кажется, они сводились к требованию изменения университетского устава и к отмене класснизма в средней школе), которые были вручены проф. Д. И. Менделееву для передачи министру народн. просвещения. Министр (Делянов) от Менделеева требований студентов не только не принял, но и сделал ему грубый выговор. Менделеев на ближайшей очередной лекции сообщил студентам об исходе своей миссии, а затем вышел из состава профессуры университета...

В это же время несколько сот студентов за участие в сходках было арестовано и развезено по петербургским тюрьмам, чем „беспорядки“ на этот раз и закончились... Арестованные отбывали трехдневным заключением.

История этих „беспорядков“ в связи с историей студенческих волнений прошлых лет была подробно изложена в №-е „Студенческого Вестника“, вышедшего весной 1891 г. и тогда же привезенного мне старшим братом, отсидевшим в 1890 г. три дня в Петропавловской крепости за участие в „беспорядках“. „Студенческий Вестник“, составленный талантливо и проникнутый юношеским энтузиазмом (в редактировании его, по слухам, ближайшее участие принимал известный впоследствии экономист—рано скончавшийся Н. В. Водовозов), дал некоторый временный исход моему революционному настроению. С ближайшими товарищами я усвоил себе тогда взгляд на студенчество, как на силу, способную слать революционным бродилом и открытым выступлением, всё равно по какому поводу — существующий режим всякому, самому незначительному поводу придаст революционный характер, — теорить „пропаганду действием“... Усвоение этого взгляда, впрочем, было не столько результатом работы мысли, сколько проявлением бунтующего чувства, находившего в нем для себя исход по линии наименьшего сопротивления: он открывал арену для манифестирования отрицательного отношения к существующему режиму, для приобщения к революционной борьбе с ним. Он и толкнул нас, молодых студентов, на первых же шагах университетской жизни к вступлению в студенческие организации, где мы нашли то же настроение. Наиболее авторитетной и многочисленной по составу участников студенческой организацией была в то время „Касса взаимопомощи студентов Петербургского университета“, возникшая, повидимому, непосредственно после закрытия популярного в передовом студенчестве легально-существовавшего „Научно-Литературного общества“¹⁾ и объединявшая приблизительно около четверти всего университетского студенчества. Организация „Кассы“ сводилась к следующему: желавшие вступить в нее образовывали кружки, выбиравшие по одному делегату в „представительное собрание“, которое было законодательным органом. Минимальным количеством членов, имевших право на образование кружка, т.е. на выбор делегата в „представительное собрание“, было шесть членов, уплачивавших ежемесячно по 20 к. (наиболее многочисленные кружки числили в своем составе до 15 — 20 человек).

Жизнедеятельность организации сосредоточивалась, главным образом, в „представительном собрании“, отчет о работе которого каждый делегат должен был сообщать своему кружку. Каждый кружок через своего делегата мог поставить любой интересующий его вопрос на обсуждение „представительного собрания“. В особенно важных случаях вопросы, возникавшие в „представительном собрании“, передавались на обсуждение кружков²⁾. „Предста-

¹⁾ От либеральных профессоров мы слышали постоянные сожаления о закрытии этого общества и рассказывали о том громадном значении, какое оно имело для морально-общественного объединения студентов на почве совместной научно-литературной работы. Но мы ясно сознавали, что рамки легальной организации явились бы чересчур ложными для нашего революционного настроения, и меланхолические вздыхания либеральных профессоров о литературно-научном обществе не находили у нас особенно сочувственного отклика.

²⁾ Серьезным препятствием для деятельности представительного собрания „Кассы“ являлись полицейские условия, затруднявшие всякие студенческие собрания. За студен-

вительное собрание избирало председателя и казначея (несколько позднее — пятичленное правление). Большинство кружков существовало почти номинально, ограничиваясь избранием делегата и уплатой членских взносов, в общем поступавших довольно исправно, и только меньшинство их собиралось регулярно, причем некоторые из них одновременно являлись и кружками для самообразования. Понятно, что на те 80 — 100 р., которые составлялись ежемесячно из членских взносов, организовать сколько нибудь серьезную „взаимопомощь“ было невозможно, но материальную помощь товарищам „Касса“ стремилась оказывать иным путем. Она входила в контакт с правлением „Общества вспомоществования студентам Петербургского университета“ и добивалась предоставления ей поверки нужды студентов, обращающихся к „Обществу“ за вспомоществованием, и, напр., списки студентов, за которых „Общество“ уплачивало плату за право учение, всегда тщательно проверялись „Кассой“. Будучи организацией „незаконной“, „Касса“ вступала, однако, в сношения не только с „Обществом вспомоществования“, но и с ректором; председатель ее ректору всегда был известен, ибо обращался к нему по различным студенческим делам от имени организации, как ее представитель. Позднее, когда с развитием революционной борьбы политические тюрьмы всегда имели достаточное количество заключенных из среды университетской молодежи, „Касса“ значительную часть своих средств (50% и больше) отчисляла Обществу помощи политическим ссыльным и заключенным („Красный Крест“), а в некоторых случаях и политическим партийным организациям, а так как ее обычные доходы были слишком мизерны, то она изыскивала способы их увеличения. Вскоре одним из таких способов стало „отчисление“ из доходов от балов-концертов, устраиваемых в зале дворянского собрания „Обществом вспомоществования“. Так как отчетность этих вечеров проверялась полицией, то для возможности этих „отчислений“ необходимо было, чтобы распорядителями вечера были исключительно члены „Кассы“. Помню, в бытность мою председателем кассы, я

чекими квартирами устанавливалось бдительное наблюдение дворников и швейцаров, обязанных сообщать в участок, как только где-нибудь собиралось более 5 студентов. И заседания „представительного собрания“ нередко прерывались появлением полиции, перепысывавшей участников, их адреса и затем распускавшей собрания. На случай появления полиции, обыкновенно, инсценировалась „благонадежная“ обстановка: на стол ставились стаканы и две — три раскупоренные бутылки пива, что должно было замаскировать истинную цель собрания, устранить всякую мысль об его „политическом“ характере. Иногда удавалось найти покладистого дворника или швейцара, который за умеренную плату соглашался сообщить в полицию о собрании через час—два после его начала, благодаря чему оно успевало закончить к моменту появления полиции свои занятия, а лица, избежавшие компрометирующей „политической благонадежности“ полицейской переписки, могли заблаговременно уйти... Всё собрание, однако, не должно было расходиться до истечения часа-полтора после сообщения о нем в полицию, чтобы дворнику не влетело за опоздание с сообщением. Помню случай, когда швейцар, вернувшись из участка, пришел сказать хозяйину квартиры, в которой происходило собрание: „можете расходиться, если захотите“; помощник пристава, получив сообщение о студенческом собрании, спросил: „много собралось?“ и, получив ответ: „человек больше 20-и“, почему-то сказал: „а чорт с ними, пускай собираются!“

обратился с заявлением о такой необходимости, дав ей откровенное объяснение, к проф. И. И. Боргману, состоявшему председателем „Общества вспомоществования“. Сперва И. И. Боргман был очень шокирован моей откровенностью, но я объяснил ему, что такой способ является для нас одним из главнейших источников для оказания помощи товарищам, пострадавшим в политической борьбе, и он, признав нашу моральную правоту, согласился удовлетворить желание „Кассы“, чтобы распорядители были по ее выбору, лишь сказав: „но ведь официально я не могу всего этого знать, а потому пусть будет так, как будто этого разговора между нами не было...“

„Касса“ объединяла исключительно студентов университета; объединениями, в которых встречались учащиеся всех высших учебных заведений Петербурга, были так называемые землячества. Цели этих объединений, обыкновенно, были туманны и неопределенны; некоторые из них ставили себе задачами — взаимопомощь и самообразование, другие говорили о воспитании „гражданина“, а в сущности все они являлись выражением потребности в товарищеском общении. Неизбежностью землячества особой не проявляли, многие из них истерпевали ее обсуждением устава: как только устав был обсужден и одобрен, они или распадались или существовали только номинально... Обыкновенно, в них входили учащиеся, окончившие средние учебные заведения в какомнибудь одном городе, почему были землячества Киевское, Орловское, а на ряду с ними Кременчугское, Новозыбковское. Но возникали и областные землячества, напр., Сибирское, и такие, в основу которых был положен принцип национальный, напр., землячества Грузинское, Малороссийское. Некоторые землячества фактически ограничивали свою деятельность распределением сумм, получавшихся от устройства студенческих вечеров во время рождественских или летних каникул в их родных городах. Во второй половине 1890-х годов под влиянием той роли, какую играл в Москве руководящий орган московских студенческих организаций „Союзный совет объединенных землячеств“, сделана была попытка соответствующего объединения петербургских землячеств, но из этой попытки, в конце концов, ничего не вышло. В основу этой попытки положено было тогда уже изжитое стремление широко использовать оппозиционное настроение студенчества для политических выступлений на почве чисто-студенческих интересов, еще находившее себе некоторое число адептов в земляческих организациях, — и попытка окончилась неудачей.

Малороссийское землячество возникло как раз в первый семестр моего студенчества. Для многих участников этой организации оно сыграло некоторую роль принципиальными дебатами по украинскому вопросу; но затем, после некоторого оживления при выработке устава землячества, оно вскоре распалось из-за мелких дразг непринципиального характера ¹⁾. Небольшая группа участ-

¹⁾ Позже — приблизительно с половины девяностых годов — образовалось украинское землячество, существовавшее более длительно и с большими успехом. На собраниях его нередко читались рефераты, отражавшие новые веяния времени. Припоминаю свой реферат, в котором я давал постановку национального вопроса вообще, и украинского в частности, с точки зрения марксизма. Землячество принимало деятельное участие

ников развалившегося малороссийского землячества, в которую входило, между прочим, несколько студентов Технологического и Горного институты, тогда же попыталась организовать украинскую политическую группу, и несколько заседаний было посвящено выработке программы группы. Программа была выработана, но опубликована не была. Технологи ¹⁾ участники группы в то время уже начинали работу с кружками рабочих; эта работа отлекала их интерес от тех задач, какие ставила себе украинская группа, — а на других членов группы они смотрели, как на людей, неподготовленных к работе, увлекавшей их. Украинская группа распалась.

Первый год студенчества был для меня, конечно, временем усиленного посещения лекций. На своем курсе я регулярно слушал энциклопедию и философию права (проф. Бершадский), историю русского права (проф. Сергеевич), политическую экономию (проф. Исаев). Кроме того, также регулярно я слушал курс истории средних веков проф. Кареева и его же энциклопедию истории, а также некоторые эпизодические лекции по истории литературы. Кажется, со второго полугодия я стал постоянным посетителем семинария по государственному праву прив.-доц. М. И. Свешникова. В пре-виях, происходивших по поводу прочитанных в семинарии рефератов, мало по малу начали выступать первые марксисты и среди них чаще других И. А. Красиков. Лекции проф. Исаева и семинарий Свешникова давали некоторые элементы для будущего ответа на вопрос о методе революции, с каким я поступил в университет. Другие из названных курсов расширяли умственный кругозор, но были сухо-академичны, были как-то совершенно вне плоскости волновавших юношескую душу моральных и общественных вопросов. Вообще же, уже к концу первого университетского года у меня сложилось убеждение, что лекции большинства профессоров дают только разбавленный словесной водой материал, имеющийся в их печатных курсах, и что слушание лекций является поэтому занятием не особенно продуктивным...

Как я уже выше сказал, вступив в „Кассу взаимопомощи“, я встретил в ней созвучное настроение. Председатель „Кассы“ — студент-филолог Ф. В. Бартольд был фанатиком студенческих „выступлений“, в чем ему, впрочем, вполне сочувствовало значительное количество делегатов „предста-

в устройстве ежегодных публичных вечеров в память Шевченка, а также устраивало вечеринки для своих членов, посвященные памяти Шевченка, Костомарова, Драгоманова, характеристике значения которых посвящались иногда очень обстоятельные рефераты. Землячество ставило себе задачей сильное содействие культурному подъему украинского народа, которую старалось осуществить изучением народной литературы на украинском языке и распространением ее на родине. Припоминаю выступление в землячестве известного деятеля украинской кооперации Н. В. Левинского с горячей проповедью образования сельскохозяйственных артелей, вызвавшее страстную и резкую критику марксистов, к которой почтенный кооператор отнесся с отеческой снисходительностью, хотя отрицательное отношение юных земляков к одушевлявшей его идее, видимо, очень огорчало его...

¹⁾ Некоторые из них сыграли потом заметную роль в возникшем социал-демократическом движении.

вительного собрания". Большинство, однако, находило, что для сколько-нибудь серьезного выступления не назрел еще момент, не накопилось еще достаточных сил и энергии. И, однако, вопреки мнению большинства „представительного собрания“, настроение объединенного в „Кассе“ студенчества нашло себе исход в тех волнениях, которые возникли в Петербургском университете в первый же год моего студенчества—в феврале 1893 года.

Незадолго до годового акта (8 февраля) в кружках „Кассы“ обсуждался вопрос о том, как следует реагировать на будто бы имеющее быть объявленным на акте высочайшее пожалование студентам „за хорошее поведение“ каких-то погонов. Откуда возник слух о готовящемся пожаловании студентам погонов, никто не знал, но его считали достоверным, и кружки „Кассы“ постановили, буде, действительно, на акте последует соответствующее объявление, встретить это объявление свистами. Никакого объявления о пожаловании студентам погонов на акте не последовало, а некоторые „заговорщики“ пришли на акт с полицейскими свистками... Акт заканчивался исполнением кантаты Главача в честь Александра III-го. Не успел хор исполнить еще и половины кантаты, как раздался неистовый свистки. На акте присутствовали: министр народного просвещения Делянов, петербургский митрополит и другие сановники, и скандал получился громадный, хотя число демонстрантов было невелико, а значительное число студентов отнеслось к неожиданной демонстрации явно враждебно: некоторые демонстранты были окружены группами раздраженных товарищей, кричавших им—„вон!“... Тогда это не погасило настроения демонстрантов, удовлетворенных тем, что им удалось демонстрировать свои революционные чувства в присутствии высших сановников, посетивших акт. Сейчас же после 8 февраля в „Кассе“ началось обсуждение вопроса о необходимости так или иначе отметить день 19 февраля. Решение было вынесено самое умеренное—рекомендовать студентам 19 февраля не посещать лекций. За два-три дня до 19-го появились в аудиториях воззвания с соответствующими призывами. Но для инициаторов празднования 19-го февраля было совершенно очевидно, что призыву подчинится лишь самая незначительная часть студентов, а потому было решено, что 19-го надо явиться в университет и обратиться к профессорам с просьбой лекций в этот день не читать. 18-го февраля в аудиториях появилась краткая прокламация, трактовавшая событие 19-го февраля 1861 года, как этап грядущего полного освобождения трудящихся в России. Прокламация не заключала в себе никаких конкретных призывов, но имела подпись—„Социалисты-революционеры“... (Тогда еще не существовало партии „социалистов-революционеров“, и прокламация исходила от небольшого случайного кружка, стремившегося повысить революционную температуру готовящихся событий...). На массу студенчества эта прокламация произвела впечатление терроризирующее. На коридорах слышались разговоры, что 19-го в университет лучше не приходить...—Мало-ли что может случиться? Чего доброго—еще бросят бомбу!.. По наивному представлению студенческой массы бомба являлась необходимым атрибутом социализма и революции...

Утром 19-го февраля в витрине объявлений появилось извещение от ректора университета о назначении в виду годовщины великого акта освобождения крестьян в университетской церкви в 12 ч. дня панихиды по императоре Александре II. После краткого совещания на главном коридоре решено было на панихиду не ходить, а к профессорам обратиться с просьбой — лекций не читать. Несколько лекций в небольших аудиториях не состоялось. В 11 ч. должна была состояться лекция по химии Д. Коновалова. В аудиторию вошла значительная группа студентов из числа обычных слушателей профессора, встреченная его обычной аудиторией довольно враждебно. Профессор вошел в аудиторию уже во время бурных пререканий двух групп, заполнявших аудиторию студентов. Узнав, в чем дело, он начал убеждать демонстрантов, что прекращение научного труда едва-ли достойный способ ознаменовать великое событие. Демонстранты настаивали, обычные слушатели профессора кричали им: — „вон!“... В пререканиях прошло около 1/2 часа, после чего демонстранты с шумом покинули аудиторию и направились по коридору в актовому залу, где начали совещаться... В 12 ч. профессора и значительная часть „лояльного“ студенчества пришли в церковь, совещание-сходка на коридоре у запертого актового зала продолжалось. Вдруг общее внимание находившихся здесь было привлечено фигурой человека лет 30-ти в штатском костюме с георгием в петлице, внимательно прислушивавшегося к разговорам.

— „Шпик, шпик!“... — слышалось со всех сторон.

Штагский обиделся и, назвавшись Статковским, заявил, что он вольнослушатель университета. У него потребовали удостоверения. Оказалось, что Статковский имел билет вольнослушателя и был записан на лекции проф. Лесгафта по анатомии. Подозрение, однако, не было этим ликвидировано, так как на сходке нашлись случайно лица, уличившие Статковского в том, что он служит в охранке, а на лекции по анатомии записывается не из интереса к науке, а лишь для входа в университет „по обязанностям службы“. Статковский ссылался на знакомство с проф. Фан-дер-Флитом и его сыновьями — студентами. Однако, улики были настолько неопровержимы, что никакие знакомства не могли уменьшить их убедительности.

Поднялся страшный шум, крики, по адресу разоблаченного агента, раздались угрозы и можно было думать, что ему не избежать потасовки...

В это время сходка перешла из коридора на площадку неподалеку от церкви. На шум и крики из церкви вышел и спустился к площадке суб-инспектор Алландский.

— Чего вы тут такой шум подняли? — обратился он к студентам — в церкви ровно ничего не слышно из-за вашего крика...

— Шпика поймали! — слышался ответ, и сходка как-то сразу стихла...

— Ну, так чего же кричать? — с цинически добродушной улыбкой удивился суб-инспектор — разве тут только один?..

Сходка шумно и весело расхохоталась, а находчивый чиновник инспекции взял оробевшего агента под руку и увел его в церковь...

Ясно, что после этого П. Статковский в университете больше показаться не мог: так „окончил“ он Петербургский университет, вольнослушателем которого состоял не из любви и интереса к науке, а для несения „охранной“ службы, что обнаруживается между прочим и в записке его о деятельности Петербургского охранного отделения, помещенной в 16 книжке „Былого“. В самом деле, совершенно невозможно, чтобы культурный человек, сколько-нибудь знакомый с жизнью Петербургского университета, мог смешать проф. Сергеевича с проф. уголовного права Сергеевским, как это в рассказе об университетских событиях 1899 года делает в своей записке П. Статковский ¹⁾.

„Волнения“ 19-го февраля 1893 г. закончились в Петербургском университете благополучно. Когда по окончании панихиды из церкви вышли ректор и профессора, сходя еще не расходилась, но явственно была в затруднении, что делать дальше? Ректор (академик П. Никитин) обратился к студентам с предложением разойтись. Никто не двинулся. Тогда он обратился к ближе всех к нему стоявшему студенту — черниговцу П. Малюге (в 1894 году повесился в доме предварительного заключения) и потребовал у него входной билет. После этого все участники сходили сдавать ректору свои билеты, которые он и унес с собой; уже через 1/4 часа ректор пригласил студентов к себе в кабинет, куда они входили по одному и получали свои билеты обратно...

Но день не обошелся без „жертв“: недели через три неожиданно четыре студента: А. В. и Е. В. Винберги, Бокевич-Щуковский и Иванов распоряжением градоначальника были высланы из Петербурга на родину. Высылка товарищей опять возбудила брожение в университете. Но часть студенчества, только что завязавшая связи с народолюбцами, решительно высказалась против всяких выступлений в ответ на высылку товарищей, призывая волнующихся к борьбе более серьезной и обдуманной.

Волнующиеся ограничились проводами высланных на Николаевском вокзале, где собралось 200 — 300 студентов, после отхода поезда прошедших мирно весь Невский проспект в сопровождении целой тучи филеров...

Этим исчерпались „волнения“ в Петербургском университете весной 1893 года, но уже осенью того же года они возникли снова и продолжались

¹⁾ Таким образом, сведения о П. Статковском, содержащиеся в сопроводительных строках редакции „Былого“ и его „записки“, будто бы он был студентом Петербургского ун-та и окончил его в 1893 году, существенно не точны: студентом Петерб. ун-та Статковский никогда не был, а лишь, как „охранник“ проник в него под видом вольнослушателя, что было разоблачено на сходке 19 февраля 1893 г.; чем и закончилась его „университетская деятельность“... Кстати, — по поводу неточностей „записки“ П. Статковского несколько слов pro domo sua: характеризуя революционность „Кассы взаимопомощи“ кратким перечнем фамилий ее наиболее революционных участников членов, Статковский называет между прочим и мою фамилию, приписывая мне участие в организации покушения на убийство генерала Трепова в 1905 г. Последнее является странным измышлением Статковского. Весь 1905 г. я прожил в Киеве, в 1906 г. переехал в Петербург, никакого участия в террористических организациях, а значит и в этом деле, никогда не принимал и обвинение в нем мне не предъявлялось.

возникать почти каждый семестр, пока в 1899 г. не приняли размеров и формы, справедливо названных Статковским „прелюдией“ русской революции...

В общем, вышеописанные события произвели на „классовое“ студенчество тяжелое, почти угнетающее впечатление. Они поколебали в нас представление о студенчестве, как о силе, способной к пропаганде действенным борьбой с самодержавным режимом, поколебали наше представление об университете, как об естественном аванпосте этой борьбы. Если бы большинство студенчества осталось равнодушным к выступлениям организованного меньшинства, — это было бы только оправданием выше приведенного мнения большинства делегатов представительного собрания „Кассы“, что момент еще не нагрозил. Но враждебное отношение к нашим выступлениям красноречиво говорило о другом: в университете нет единства оппозиционного настроения, существующий режим имеет среди студенчества достаточное количество сторонников.

Вывод этот подтвердился и отношением к судьбе четырех высланных в начале марта из Петербурга студентов. Энергии и решимости ответить на эту высылку новой демонстрацией у организованного студенчества не хватило, а студенческое большинство отнеслось к ней не только равнодушно, но и почти сочувственно. „Так им и надо!“... приходилось не раз слышать от представителей этого большинства.

Я чувствовал, что почва колеблется у меня под ногами и нервничал. В квартире, где я жил с братом, жило еще пять студентов, из числа вполне индифферентных к обществено-политическим вопросам. Они подшучивали над моим настроением, правда незлобно, просто для смеха; так напр., один раз я нашел свою подушку покрытой платком с вышитыми по краям словами: „боже, царя храни!“ Но мне было не до шуток и смеха, я переживал впечатления событий, как серьезный болезненный кризис... В конце марта, не сдавая экзаменов, в самом мрачном настроении, я уехал на родину...

Незначительные двух-трехдневные волнения, возникшие в Петербургском университете в самом начале осеннего семестра 1893 года, еще более резко подчеркнули расслоение тогдашнего студенчества, еще более резко указали на наличие в его среде групп, не только стоящих на стороне существующего политического режима, но и готовых к активному демонстративному оказательству своего ему сочувствия.

2-го октября происходили похороны поэта Плещеева (встреча на Варшавском вокзале гроба с его останками, прибывавшего из Парижа, и перевезение его на Николаевский вокзал). Всё прогрессивное студенчество, возложившее на гроб любимого поэта большой серебряный венок, было, конечно, на похоронах. А в витрине объявлений в университете в это утро была выставлена патристическая приветственная телеграмма от французских студентов студентам Петербургского университета по поводу посещения русской эскадры под командованием адмирала Авелана Тулона. Часов около 12-ти перед витриной собралась незначительная группа студентов. Приветственная телеграмма была громко прочтена, а затем кто-то предложил послать депутацию к ректору с просьбой от имени студентов Петербургского университета отве-

тить соответствующей телеграммой французским студентам. Предложение не вызвало никаких возражений, и ректор обращенную к нему просьбу исполнил. На другой день в витрине объявлений рядом с телеграммой французских студентов красовался уже и текст ответной телеграммы от имени петербургских студентов... Это вызвало настоящую бурю. Собралась шумная сходка, на которой высказаны были резкие протесты против навязанного всем у петербургскому студенчеству участия в казенно-патриотической манифестации. Предложено было заявить ректору протест от имени сходки. Тогда на сходке выступили сторонники патриотической манифестации, упрекавшие протестантов в недостатке патриотизма и возражавшие против всякого протеста ректору. Страсти разгорались, полемика доходила временами до острой перебранки. Кто-то предложил собрать подписи высказывающихся за протест ректору, и пущенный для сбора подписей лист бумаги быстро начал покрываться ими. Но лист этот попал в руки одному из „патриотов“, и он, держа его в руках, с торжествующим видом попросил слова. Когда слово было ему предоставлено, он развязно заявил, что как он это и предполагал, протестуют только нерусские: жиды, немцы, поляки... и в доказательство начал читать фамилии подписавшихся: — во главе списка, действительно, случайно, стояло несколько нерусских фамилий; Бартольд, Келлер, Беренштам, Винберг и т. п. Врыв негодования сходки не дал возможности продолжать „патриотическому“ оратору: был момент, когда, казалось, произойдет всеобщая свалка... Кому-то, однако, удалось успокоить сходку, и, наконец, она выбрала депутацию для выражения протеста ректору и для вручения ему подписей протестующих. Конечно, ректор не мог дать протестантам никакого другого удовлетворения, кроме заявления, что сделанный ему протест он принимает к сведению... Взабалоученного моря страстей это, понятно, сразу не успокоило, и сходка с резвой полемикой между двумя группами студенчества продолжалась, собралась и на следующий, и, насколько помню, на третий день... Со второго дня „патриоты“ на сходке больше не появлялись, и за прекращением полемики с ними сходка протекала с внешней стороны вполне мирно. Но самый факт сходки в университете признавался в то время нетерпимым „беспорядком“: университетское начальство должно было прекратить его собственными средствами, а в случае своего бессилия — обратиться за содействием к полиции. (Попечитель учебного округа, во всяком случае, о возникших в университете беспорядках уведомлялся немедленно...). В виду этого на сходке на второй день несколько раз появлялся инспектор студентов с увещанием прекратить сходку. Его появление превращало мирную сходку в бурную и беспорядочную, раздавались крики: „не мешайте нам заниматься своим делом!“, и порой и более несдержанные: „вон инспектора!“ „Вон полицию!“ Какой-то остряк сыронизировал: „г. инспектор устраивает беспорядки!“, и десятки голосов подхватили: „не устраивайте беспорядков, г. инспектор, уходите!“ С тех пор каждое новое появление на сходке инспектора вызывало обострение шума и крики: „инспектор, не устраивайте беспорядков!“ С удалением инспектора сходка успокаивалась и продолжала обсуждение вопроса

о том, как следует реагировать на происшедшее и как выйти из создавшегося положения? В конце концов пришли к решению обратиться с письмом от имени социалистического студенчества в редакцию французских социалистических газет и в письме изложить свое отношение к альянсу свободной французской республики с русским азиатским деспотизмом. Для редактирования письма, насколько помню, была выбрана комиссия. Посылали-ли, в конце концов, какое-нибудь письмо в редакцию французских социалистических газет, не помню. Кажется, посылали...

В это время передовое студенчество уже испытывало влияние марксистских идей, подвергнувших переоценке все ценности и истины прошлого, а в том числе и отношение к значению и роли студенчества в освободительной борьбе. Только что описанные, по существу незначительные, университетские события давали по вопросу о роли студенчества убедительную иллюстрацию к новым теоретическим построениям.

Общество складывается из разнородных антагонистических классов, в основе политического и социального прогресса лежит классовая борьба. Университет является зеркалом общества, студенчество тоже распадается на различные группы, и идейного единства, а значит, и борьбы единым фронтом в нем быть не может. Помимо того, даже революционное студенчество не обладает самостоятельной силой; оно обретет ее только в контакте с передовым демократическим, революционным по своему социальному положению классом — пролетариатом... Эти идеи вели на новый путь революционной борьбы и давали новый ответ на вопрос о ее методе. Интерес к студенческому движению, к студенческим организациям отмирал и сменялся интересом к рабочему движению. Недавние деятели „Кассы“ завязывали сношения с рабочими, входили в тогда еще безымянные рабочие кружки и организации. Но с „Кассой“ они, обыкновенно, не порывали окончательно: в среде товарищей по студенческой организации они искали новых пропагандистов и агитаторов, а также в разных формах технического содействия рабочему движению...

III.

Второй год университетской жизни.

Лето 1893 г.—Гентографирование марксистских изданий.—Марксизм.—Издания „Группы передовельцов“.—Связь с рабочими кружками.—Пolemika народников и марксистов.—Повышение интереса к чисто студенческим организациям.—Весенние аресты 1894 г.—Появление легальной марксистской литературы.—Гентографирование брошюры Ленина „Кто такие друзья...“.—Книга Струве „Критические заметки“.—Смерть Александра III и студенческое движение 1894 г.—Выработка петиции.—Аресты.—Поворот к работе в соц.-демократических кружках.

В моем очерке я меньше всего хотел бы дать отрывок из своей автобиографии: о себе говорю лишь, как о „моем современнике, человеке, известном мне ближе всех остальных людей моего времени“ и лишь постольку, поскольку на моей судьбе отражались типичные, как мне кажется, черты времени...

Впечатления первого университетского года побуждали мою мысль напряженно искать ответа на вопрос о методе революции. И скоро я пришел к убеждению, что единственно удовлетворительный ответ на него дается марксизмом. Такому решению вопроса способствовали отчасти увлекательные корреспонденции Иоллоса о немецкой социал-демократии, отчасти влияние старших товарищей и, наконец, литература, изданная группой „Освобождение Труда“.

Летом 1893 г. я жил в трех верстах от Чернигова в деревне. Почти ежедневно меня навещали товарищи, и вот среди летних развлечений—бесконечного катанья на лодке, рыбной ловли, купанья—мы задались вопросом,— для какого служения „делу революции“ мы могли бы использовать свой вакационный досуг? Студент-медик Киевского университета, просвещавший нас по части марксизма, рекомендовал нам переиздание революционной литературы. Он же снабдил нас соответствующими рекомендательными письмами, и через несколько дней один из товарищей привез из Киева две брошюры Энгельса с предисловиями и примечаниями Плеханова— „Развитие научного социализма“ и „Л. Фейербах“. Около месяца провозились мы с гектографом, который у нас не удался, и в результате получилось экземпляров 10—15 „Развития научного социализма“, которые с грехом пополам можно было прочесть... Для меня результатом этой работы было крещение в марксистскую веру, признание себя марксистом... Опять, как в свое время утверждение Лассалля, что „нет той силы на земле, которая могла бы остановить всемирно-исторический восход солнца“, впечатление, главным образом, произвела и завоевала трактовка исторического процесса, как процесса, совершающегося по законам естественно-исторической необходимости... Энгельс дал убеждающее обоснование утверждению Лассалля. И это обоснование было разрушить позднейшие бесконечные lamentации популярных тогда народников-субъективистов с Михайловским во главе на тему о том, что „ученики“ (Маркса) обречены будто бы лишь на пассивное созерцание исторического процесса. Марксизм был ответом на искания практической программы действия, он научал разум находить опору в законах исторической необходимости, подчинять их себе. В этом было его обаяние... Неофиты нового мирозерцания не всегда еще умели дать точные формулы в ответ его критикам, но их мысль и настроение двигались именно в русле указанного направления, и когда года через полтора эти формулы со всем блеском литературного и политического таланта дал Велътов, они нашли в них лишь систематизированную формулировку своих убеждений и взглядов... Положительная сторона марксизма для революционно настроенной молодежи заключалась между прочим и в том, что им постулировалась серьезная научная работа, и раз навсегда окончательно убивалось в то время еще не изжитое настроение, ставившее альтернативу,— наука или революция? и приводившее к проповеди, будто для революции не нужна особенная ученость, будто углубление в научные занятия чуть-ли не развращает, „убивая революционную энергию“, и, во всяком случае, „отвлекает“ от практического революционного дела. Марксизм

учил—*Tantum possumus, quantum scimus*, и, являясь концепцией, обоснованной на данных социологии, экономики, философии, истории, обращал научную работу в необходимую предпосылку революции... Самый объем революционной работы расширялся, предъявляя громадные запросы в области науки, литературы, публицистики.. Марксизм всюду вызывал „весенний шум“ брожения, переоценку всех ценностей, вскрывал бурные ключи новых мыслей, чувств и настроений...

Для меня лично для окончательного усвоения марксизма, как действительной революционной теории, на первых же шагах необходимо было преодоление не критически, пассивно усвоенного раньше взгляда о неприменимости к крестьянской России марксовских схем экономического развития. И этому преодолению помогла литература группы „Освобождение Трудя“ и, главным образом, статьи и брошюры Плеханова.

Как раз летом 1893 г. мой приятель М., с которым я сблизился во время весенних университетских событий (М. был автором прокламаций от имени „социалистов—революционеров“) ездил, для работы на зоологической станции в Белом море, а перед этой поездкой побывал в Берлине. Из Берлина он привез, записав за подкладкой пальто, десять томов сочинений Герцена, четыре книги сборника „Социал-демократ“, „Наши разногласия“ Плеханова, его же „Русский рабочий в революционном движении“ и другую марксистскую литературу... В тщательном штудировании этой литературы прошел весь мой второй университетский год (1893—1894 г.), а ее влиянием, кстати сказать, определилось начало моей литературной деятельности...

Именно с этого времени всё явственнее начинают славиться успехи марксизма в среде передовой молодежи: на студенческих вечерах всё чаще с пропагандой своих идей выступают марксистские ораторы; неизменно выступают и в университетских семинариях; основываются марксистские кружки для самообразования. И зреет уже тяга к работе среди фабрично-заводских рабочих с целью создания широкого рабочего движения. Именно постановкой последней задачи, как наиболее важной, основной задачи революционного движения окрашивается новый период, период разрыва с отживавшим „народовольчеством“. Осенью 1893 г. типография „Группы народovolьцев“ выпустила несколько изданий, между прочим № 2 „Летучего Листка“ и „Александр III; Радикально-революционный народнический характер народovolьческих изданий явственно терял свое влияние над умами, не давая удовлетворяющего ответа на вопросы по-новому понимаемых задач революционного движения. Эпигоны народovolьчества утрачивали свой революционный фрейдит. Они отрицали целесообразность стремлений к организации широкого рабочего движения при существующем полицейском деспотизме; предпосылкой его возможности считали политическую свободу, недостижимую без свержения самодержавия, и работали над созданием организации рабочих кружков для широкой пропаганды в них противоправительственных, революционных идей. В противовес им марксисты или социал-демократы центр тяжести находили в сознательном классовом рабочем движении, в нем видели предпосылку и

залог успеха революции. Недавнее прошлое петербургского рабочего движения, запечатленное в адресе рабочих больному Н. В. Шейгунову и затем в их присутствии на похоронах писателя, и особенно ярко в „четырёх речах“, произнесенных на праздновании 1-го мая 1891 года, окрыляло уверенностью, что новая постановка революционных задач является выражением революционного реализма, возвращенного и воспитанного при свете объективной науки. Создание широкого классового рабочего движения требовало подготовки соответствующих кадров сознательных деятелей, и революционная работа того времени сводилась к образованию кружков рабочих, руководимых, обыкновенно, интеллигентами-социал-демократами, — с целью широкого саморазвития.

С 1893 года в более широком масштабе и более интенсивно продолжалась работа социалистически-культурного характера, в начале 1890-х годов начатая марксистским кружком Бруснева и после его разгрома (в апреле 1892 г.) продолжавшаяся товарищами Бруснева студентами-технологами. Пионеры социал-демократизма часто завязывали случайные связи с рабочими и стремились использовать их для создания новых рабочих кружков, иногда получали связь с готовыми уже кружками от народолюбцев, но мало по малу вносили в свои занятия в кружках, уже имевших другие традиции, новые методы работы.

Именно потому, что социал-демократизм был новым ответом на вопрос о методе революции, первые социал-демократы часто афишированно и демонстративно порывали с „политикой“: в противовес заговорщической организации революционеров для ниспровержения самодержавия поставлена была цель широкого классового движения рабочих, и в осуществлению ее шли методично шаг за шагом. Поэтому на описываемой стадии движения враждебно относились ко всяким попыткам вовлечения рабочих в политическую борьбу и организации их для нее, видя в них отрывку изжитого народолюбчества, неклассовую „интеллигентщину“. В этом отношении интеллигенты-марксисты и сознательные рабочие, считавшие себя социал-демократами, в то время вполне единомыслили, и даже, может быть, настроение рабочих в значительной мере укрепляло соответствующее настроение интеллигентов, имевших связи с кружками рабочих. О времени несколько более позднем М. Ольминский рассказывает в своих воспоминаниях ¹⁾: „В Иркутске, по дороге в ссылку, мне пришлось отражать первые натиски старых народолюбцев, оставшихся при старом и упрекавших меня за переход к социал-демократии в поправлении“. „Первые натиски“, упреки в принижении революционности, в приспущении революционного знамени — начались и раздались именно в описываемую мною пору. Все студенческие вечеринки того времени были ареной страстной полемики между народолюбцами и социал-демократами, между народниками и марксистами. С одной стороны неслись упреки в измене делу революции,

¹⁾ М. Ольминский. „Давние связи“ в сборнике „От группы Благова к „Союзу Борьбы“. Госуд. Издательство, Донское отделение. 1921 г.

в культуричестве и проч. смертных грехах; с другой--отвечали обвинениями в якобинстве, беспочвенной интеллигентщине, бессильном донкихотстве. Полемика затянулась на несколько лет...

Социал-демократы не меньше своих противников жаждали политической свободы, столь необходимой для торжества их дела; вся их „измена“ сводилась к новому методу революционной борьбы, который на известной стадии развития должен был противопоставить самодержавию органически выросшую, победоносную силу сплоченного сознательного пролетариата. Если еще недавно сознание революционного долга требовало у революционера жертвы всем,— даже жизнью, то теперь оно же предъявило требование жертвы совсем в иной форме: вместо трудной, но всё же эффективной борьбы, надо было отдать свои силы на труд упорный, муравьиный, непоказной и невидный, при некоторой видимости забвения дорогих идеалов. Но это было лишь иным путем борьбы за те же идеалы, напряжение жертвенности осталось тоже, а в какой форме жертва была психологически более трудной,— кто разрешит этот вопрос?..

Новые веяния неизбежно отразились на судьбе чисто студенческих организаций падением интереса к ним, понижением их жизнедеятельности. Университетская „Касса взаимопомощи“, видимо, хирела. Виднейшие делегаты ее „представительного собрания“ уходили в рабочее движение, что вызывало к ним особенно почтительное отношение в товарищеской среде. Правда, они пока не порывали связи с организацией, которой так недавно отдавали столько сил. Помимо пиетета воспоминаний, связь с „Кассой“ их заставляли поддерживать расчет в ее среде постоянно находить новых адептов рабочего движения, а также — использовать сочувственную товарищескую среду, предъявляя к ней запросы о техническом содействии своему делу в самых разнообразных формах. Но к делам организации, как таковой, интерес у них совершенно погас, а они были наиболее деятельными членами ее. Новички вступали в „Кассу“ с требованиями к ней, как к профессиональной организации студенчества и скоро разочаровывались в своих ожиданиях. Организация распозналась, и только ее неутомимый председатель Ф. В. Бартольд с самым незначительным числом единомышленников носился с планами студенческого „выступления“. В результате слишком открытой афишировки себя, как представителя нелегальной студенческой организации, Бартольд был выслан (кажется в феврале 1894 г.) в административном порядке из Петербурга. С его отъездом из Петербурга в „Кассе“ не осталось почти элементов, активно относящихся к задачам организации. Наличный состав представительного собрания почувствовал, что фермент, объединявший его в недавнем прошлом, потерял свою силу, что-то безвозвратно изжито и не повторится, что как целое организация в таком составе уже отжила и что если единомышленники еще встретятся, то уже на иной почве... Под влиянием такого настроения решено было сказать друг другу товарищеское „прости“, снявшись на общей группе.

Снимались в фотографии Мрозовской в начале апреля и еще не был готов фотографический снимок группы, как 19—20 апреля произошли массо-

ые аресты, разгромившие две революционные организации: народovolьцев и народоправцев¹⁾ — и ряд участников группы, главным образом, те, кто работал в рабочих кружках, — оказался арестованным. Ряд других участников ее в ближайшие годы энергично работал в „Союзе борьбы за освобождение рабочего класса“ (из них по памяти — группа, к сожалению, в связи с событиями последних лет не сохранилась у меня — могу назвать Лемана, А. В. Неустроева, Н. Ф. Богданова)... Осенью 1894 года в „представительное собрание“ „Кассы“ из стариков — ее прежних деятелей вернулись лишь очень немногие: сменившая их молодежь, мало развитая в политическом отношении, явно тяготела к студенческому профессионализму. Некоторые из деятелей „Кассы“ последую него времени, начавшие в ней свое политическое воспитание, вспоминали потом, что в университет они поступили „политическими младенцами“²⁾...

Воспоминание о весенних арестах 1894 года соединено в моей памяти с воспоминанием о двух трагедиях, погубивших двух моих земляков; вскоре после ареста сошел с ума в доме предварительного заключения мой гимназический товарищ Павелко, юноша, всегда бывший несколько неуравновешанным (сын того товарища прокурора, в доме которого собирался наш первый гимназический кружок), а несколько позднее летом там-же повесился студент — черниговец П. Малюга, окончивший гимназию двумя годами раньше меня. Обстоятельства и причины самоубийства Малюги остались невыясненными; был он юношей замкнутым в себе и сосредоточенным, с гимназической скамьи серьезно поглощенным научной работой... Позже с обострением политической борьбы подобные трагедии повторялись довольно часто, и всякий раз молодежь реагировала на них хотя-бы демонстративной панихидой. Самоубийство Малюги случилось летом и осенью было только отмечено в изданиях „Кассы взаимопомощи“ и „Красного Креста“...

„Весенний шум“, внесенный в общественную жизнь нарождавшимся марксизмом, своеобразно отразился в тогдашней легальной, главным образом, журнальной литературе. Легальной марксистской литературы тогда еще не существовало, а нелегальная была достаточно редка. И вдруг в легальной журналистике началась систематическая полемика с марксистами, выступавшими на студенческих вечеринках, в заседаниях научных обществ, в университетских семинариях в петербургских интеллигентских „салонах“, на журфиксах и т. д. Известные публицисты Михайловский, Кривенко, Южаков и др. громили неведомого громадному большинству своих читателей „врага“, обли-

¹⁾ Партия „Народного Права“ во главе со старым революционером М. А. Натансоном выдвигала задачу, столь несоответствовавшую веяниям той эпохи, объединения всех революционеров без различия направлений ради „насущного вопроса“ времени — низвержения самодержавия, для чего все спорные вопросы русской революционной мысли должны были быть отодвинуты на второй план. „Партия“, имевшая типографию (арестованную в апреле 1894 г., кажется, в Смоленске) в сущности была литературной группой, не пользовавшейся сколько-нибудь широким влиянием...

²⁾ См. напр. „Миссия Ванновского“ Н. И. Норданского. „Былое“, Сентябрь 1907 г., стр. 84.

чали новое направление за „отказ от наследства“, полемизировали с ораторами нелегальных вечеринок, со статьями Струве, помещенными в немецких экономических журналах, доказывали, что марсисты не революционеры, упрекали их в стремлении к обезземелению крестьян и развитию кулачества...

Резкую полемическую отповедь этим „критикам“ дал В. И. Ульянов (Н. Ленин) в статье „Кто такие друзья и как они полемизируют с социал-демократами?“ Мой приятель М., арестованный в апреле, но освобожденный летом, достал экземпляр рукописи этой статьи, купил пишущую машину „Cosmopolis“ и уехал к родным своей жены в Борзенский уезд Черниговской губернии. Необыкновенно способный влиять на окружающих и привлекать их к выполнению своих планов, здесь он расшевелил старика отца своей жены, сельского священника с темпераментом легко воспламеняющегося энтузиаста. И вот 60 летний сельский священник с дочерью и зятем целыми днями просиживают в сарае, ват гектограф и размножают марксистскую полемическую брошюру! Увы, значительную часть этого издания, сделанного в мирной сельской глуши, постигла печальная участь. Когда оно было готово (в количестве что-то около 100 экземпляров), М. повез его ко мне в Чернигов. К несчастью, он приехал в Чернигов накануне моего возвращения с кумыса из Уфимской губернии и всполошил мою семью тюком нелегалщины; незадолго перед этим в Чернигове был совершен ряд обысков и арестов среди учащейся молодежи, и мои младшие брат и сестра, еще учившиеся в гимназии, привлекались к допросу в жандармском управлении не то в качестве свидетелей, не то в качестве в чем-то подозреваемых. Вернувшись в Чернигов на другой день, я М. уже не застал, и что хуже того с огорчением узнал, что большая часть тучка, привезенного им, уничтожена. Матери моей, однако, удалось сохранить экземпляров 20-25 брошюры и, распространив часть их в Чернигове, а, часть направив в Киев, я еще привез экземпляров 10 осенью в Петербург... Марксистская пропаганда велась еще кустарным способом.

Крупнейшим событием осени 1894 года было первое легальное выступление марксистов—выход известной книги П. Струве—„Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России“. Она дала уничтожающую критику социологических идей народников-субъективистов, противопоставила им научную теорию „экономического материализма“ и ответила на всё еще смущавший многих вопрос, возможно-ли для России избежать путей капиталистического развития. Около заключительной фразы книги: „нет, признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму“ поднялся страшный шум; ее истолковывали, как готовность отдать производителя в жертву эксплуататору. Позже Н. Бельтов признавал, что „Струве все-таки неосторожно выразился, чем, вероятно, ввел в соблазн многих простаков и обрадовал нескольких акробатов,“ а историк российской социал-демократии даже находил, что, „дикующий тон автора при констатировании торжества капитализма, отсутствие указаний или хотя-бы намеков на неизбежность борьбы с капитализмом, борьбы иной, чем та, которую якобы вели народники, всё это скорее еще более запутало, чем выяснило сложившееся у интеллигенции представление

о марксизме¹⁾. С этой же точки зрения критиковал книгу Струве уже вскоре после ее выхода и Н. Ленин, писавший под псевдонимом К. Тулина в статье „Экономическое содержание народничества и критика его в книге Струве“: „Основная черта рассуждений автора, отмеченная с самого начала, это—его узкий объективизм, ограничивающийся доказательством неизбежности и необходимости процесса, а не стремящийся вскрывать в каждой конкретной стадии этого процесса присущую ему форму классового антагонизма,—объективизм, характеризующий процесс вообще, а не антагонистические классы в отдельности, из борьбы которых складывается процесс“.

Но в широких марксистских кругах подобные замечания, раздававшиеся и в бесконечных дискуссиях на вечеринках, тогда не считались основательными: в инкриминируемой фразе, в ликующем тоне при констатировании торжества капитализма видели не „неосторожность“ выражения, не „узкий объективизм“, а боевое полемическое заострение вопроса о неизбежности процесса, „идти на выучку“ к которому означало — „сделать необходимость послушной работой разума“. Отсутствие указаний или хотя бы намеков на неизбежность борьбы с капитализмом — могло „запутать представление о марксизме“ только у „простяков“ и было-бы необходимо разве для учеников приготовительного класса. „Процесса вообще“ и не существует, раз он „складывается из борьбы классов“. Помимо соображений цензурных, убедительная наличность каковых демонстрировалась, между прочим, судьбой сборника, в котором была помещена статья К. Тулина-Ленина,²⁾ „объективизм“ соответствовал тогдашнему настроению, обращавшему его опять таки в полемическую заостренность. Даже фраза Струве: „симпатии к трудящейся на одной массе не монополия народников, и мы также чувствуем глубокое сожаление к разоренному страдальцу — народу“ — признавалась излишней: „жаление“ и „сожаление“ марксисты гордо выбрасывали из своего лексикона, оправдываться им было не в чем. Признавали неизбежность капитализма, шли к нему „на выучку“, но, мысля диалектически, видели в нем не окаменелую форму эксплуатации, а стадию процесса, рождающую новую силу, силу, имеющую положить конец всем историческим формам эксплуатации. Нашедшие в марксизме ответ на вопрос о методе революции и путь для борьбы за социализм не боялись подозрений и обвинений в содействии эксплуататорам: последние могли исходить только от „простяков“ и „акробатов“...³⁾ Во всех смертных грехах, в которых их

¹⁾ М. Лядов. История Росс. Социал-Дем. рабочей партии. СПб. 1906, стр. 149.

²⁾ Статья К. Тулина была помещена в сожженном цензурой сборнике „Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития“. СПб. 1895. Несколько экземпляров сборника уцелело от ауто-дафе, но он остался чрезвычайной библиографической редкостью, ознакомление с которым было доступно только тесному кругу близких к марксистским кругам.

³⁾ Так полемическое заостренное настроение отразилось и на моих первых литературных работах. И за мое объяснение в брошюре о поэзии Надсона перелома общественных настроений тем, что „вырос, окреп и властно заявил о своем существовании капитализм“ Гриневич (Якубович) разносил в „Русском Богатстве“ мой „ликующий оптимизм“, Михайловский упрекал в жестокости и обличал в „отказе от наследства“..

обвиняли „простаки“ и „акробаты“, марксисты себя виновными не чувствовали и действительно виноваты не были...

20-го октября 1894 г. скончался в Ливадии Александр III, и его смерть вызвала необыкновенное общественное возбуждение, выражавшееся, главным образом, в чрезвычайном обилии неизвестно откуда исходящих слухов и чашаний, в такой мере ни на чем неоснованных, что, пожалуй, нельзя отказать в известной меткости квалификации их „бессмысленными мечтаниями“, вскоре сделанной вступившим на престол Николаем II-м...

Университет отражал общественное возбуждение, и это настроение студенческой молодежи решило использовать оставшееся в „Кассе взаимопомощи“ марксистское ядро организации. Возникшее в университете по инициативе марксистов и ими руководимое движение из всех студенческих движений моего времени было наиболее обдуманное, проведенное по строго выработанному плану. Особенности его заключались в том, что задачей движения не ставилась политическая демонстрация; форму ему сознательно придали самую умеренную, так как сознательно преследовали цель — дать широким массам малосознательного студенчества „предметный урок“ политического воспитания и только в результате его привести их к политическому выступлению. В основу движения был положен новый метод марксистской тактики, тот самый метод, который вскоре в рабочем движении положил начало так называемому „экономизму“ — метод широкой агитации на почве непосредственных интересов среды. Так как непосредственные интересы университетской среды заключались в университетских порядках, установленных университетским уставом, то агитация сосредоточилась на вопросе о необходимости пересмотра университетского устава. А для того, чтобы привлечь к движению, по возможности, всё студенчество его облекли в лояльную одежду, бросив лозунг петиции новому государю об университетских нуждах. Инициаторы движения и их единомышленники, прекрасно понимая, чем закончится оно в случае

Должен, однако, сознаться, что в приведенной фразе я пытался присоединить самый робкий „намека“ на рождающиеся в недрах капитализма силы, делающие неизбежной победоносную борьбу с ним. но цензор пресек эту попытку, зачеркнув „намека“ красными чернилами. Едва-едва удалось даже отстоять намека на подобный намека, заключавшийся в присоединении к утверждению, что в наши дни уже „робко, едва заметно загорается восток утренней зарею“ цитаты из Лассалля с фразой: „но нет той силы на земле, которая могла бы остановить медленное и величественное восхождение солнца“. Цензура того времени была бдительна и подозрительна к самым скромным „намекам“... Одна из первых моих литературных работ — полемическая брошюрка-ответ на брошюру И. Гофштеттера „Доктрины капитализма“ (1895 г.), озаглавленная „Прихвостни паролничества“, несмотря на ее полемически заостренный „объективизм“, не только не была пропущена цензурой, но цензор категорически отказал мне в возвращении рукописи. Жестокый разнос, которому Гриневич подверг мою брошюру о поэзии Надсона и мои „стихотворения“ за „экономический материализм“, совершенно не касаясь художественных недостатков последних, доставил мне большое удовлетворение. Художественные недостатки своей поэзии я сам сознал в такой мере, что больше никогда не писал стихов, но титул „певца экономического материализма“, преподнесенный мне Гриневичем, льстил юновесному самолюбию...

успеха широкой агитации, и в „представительном собрании“ „Кассы“ и потом на сходках в университете принимали вид полной уверенности в том, что движение вполне легально и ничего незаконного в себе не заключает. После выпуска нескольких соответствующих прокламаций от „Кассы“ собралась сходка в университете, одобрявшая основную мысль о подаче петиции. Начались бесконечные прения об основных положениях желательной реформы университетского устава. „Основные положения“ обсуждались в кружках „Кассы“, суммировались, издавались и затем уже обсуждались на сходках. Помню, один вопрос о допущении в университеты женщин дебатировался на сходках несколько дней подряд. Смущенное небывалой формой движения, университетское начальство не предпринимало сколько-нибудь энергичных шагов к прекращению „беспорядков“, какими тогда признавался сам факт сходок. Но инспекция и ее агенты внимательно наблюдали за происходящим...

Одним из самых ревностных деятелей движения был М., работавший день и ночь. Он не пропускал ни одной сходки, выступал с речами почти по каждому принципиальному вопросу, записывал все выносившиеся решения, а потом делал им сводку и формулировал в виде „основных положений“. По вопросам, еще не обсужденным, он составлял докладные записки, библиографические указатели литературы. И, переписав всё это на своей машинке „Cosmopolis“, размножал на гектографе. Часто я помогал ему в этой работе, происходившей в самой курьезной обстановке. М. жил с женой и грудной дочерью в большой квартире (на Невском), переполненной различными жильцами, всё время сновавшими взад и вперед по узкому длинному коридору, мимо двух занимаемых им комнат. Машина стучала, при оковывании каждой строки звонил колокольчик. Чтобы избежать звонка, я должен был всё время держать на колокольчике подушку, стука-же машины избежать было нельзя. И мы всё время напряженно ждали, что нашу работу прервет появление полиции. Отдых напряженным нервам давал порой только плач ребенка, покрывавший стук пишущей машины... Работа затягивалась иногда до 2-3 часов, и всю готовую „литературу“ я уносил к себе, чтобы на завтра доставить в университет. М. часто в спешке работы вымазывал себе гектографскими чернилами не только руки, но и лоб и в таком виде появлялся на сходках с явными следами „преступного“ занятия. И, конечно, он пал первой жертвой движения, когда с ним решено было покончить. Случилось это уже во время рождественских каникул, которые я проводил на родине. „Предметный урок“ удался вполне: петиция не была доведена даже до сбора подписей (кажется, не была выработана и ее окончательная редакция), когда по распоряжению градоначальника в административном порядке из Петербурга на год, на два и на три было выслано несколько десятков студентов, при чем некоторые из высланных не только не принимали в движении участия, но относились к нему отрицательно. Высылали, как всегда в подобных случаях, всех бывших на замечании у университетской инспекции и в охранке... „Жертвы“ были предвидены инициаторами движения, но той реакции студенческой массы на них,

которая входила в „план“, не последовало: к политическому выступлению „предметный урок“ не привел, к высылке товарищей масса студенчества отнеслась, если не вполне равнодушно, то пассивно. Разочарование, получившееся в результате движения, привело к окончательному падению отжившего старого взгляда на студенчество, как на аванпост в политической борьбе. Складывается взгляд, что студенческое движение только дает политической полиции легкую возможность вырывать из университета наиболее ценные элементы, не приобретая вместе с тем сколько-нибудь серьезного политического значения. В среде студентов-марксистов, приобретавших в это время руководящую роль в студенческих организациях, отныне укрепляется убеждение, что целесообразной формой политической борьбы является только рабочее социал-демократическое движение, а потому непосредственному участию в нем, или многообразным формам содействия ему должно отдавать свои силы революционное студенчество.

Под влиянием этого убеждения во времена студенческих волнений последующих лет „Касса взаимопомощи“, обыкновенно, употребляла весь свой авторитет и всё свое влияние, чтобы сдерживать прорывавшееся недовольство, обосновывая свою новую позицию даже в листовках-прокламациях, издаваемых в моменты назревавших и вспыхивающих волнений. Но обоснование это в виду полулегального характера „Кассы“ приходилось делать не вполне внятным голосом, достаточно запоздалым языком, и это вызывало недоразумения. Юное студенчество, вступившее в университет с революционным настроением и часто не только еще не постигавшее марксизма, но и почти ничего о нем не слышавшее, не могло понять небывалого до того явления — прокламации, призывающей не к политической демонстрации, а к сохранению университетского порядка и спокойствия. Недоразумение еще более обострилось выступлением противников марксистов — народолюбцев, громивших марксистов за угашение революционного духа. Но тогда на сходках с речами выступали марксистские ораторы и ставили все точки на всех, принимая сохранять революционное настроение и силы от бесплодной растраты в шумихе эфемерных политических демонстраций и отдать их действительной планомерной и целесообразной социал-демократической борьбе... Сходки, возникшие по какому-либо злободневному вопросу текущей жизни, обращались в ожесточенную словесную схватку двух революционных идеологий — народолюбческой и социал-демократической, в ее раскаленной атмосфере, заставлявшей нередко забывать о настоящем поводе сходки, не раз совершалось революционное крещение вдумчивой молодежи. Здесь она получала идейный толчок для политического самоопределения и сознательного выбора пути... Живю помню двух юных студентов, не только возмущенно отказавшихся во время осенних волнений в 1896 г. распространять „успокоительные“ сдерживающие листки „Кассы“, но и заявивших, что они будут уничтожать их. „Ваши листки на руку охранке, они может быть и исходят не от студенческой организации, а от охранки!“ — взволнованно протестовали они и не хотели слушать возражений, что „охранка“, наоборот, всегда рада волнениям, и что если бы листки исходили от нее, то

наверное, призывали бы к самой резкой демонстрации ¹⁾). А не более как через месяц-полтора оба совершенно охладели в „студенческих делах“ и с головой ушли в рабочее движение, где и сыграли свою скромную роль безымянных деятелей.

Мих. Могиланский.

(Окончание следует).

¹⁾ Во время крупных волнений 1899 года случилось подобное: охранка, как это было точно установлено, выпустила от имени „Кассы“ прокламацию, приглашавшую студентов на Казанскую площадь. На прокламации имелась и печать „Кассы“, но печать, формой отличавшаяся от употреблявшейся тогда печати организации. Припомнили, что за год—за два был арестован кассир организации, и у него была взята печать: это и было витью, помогшей установить происхождение прокламации.

Дело Плеве.

(Из воспоминаний).

Предисловие.

Автор предлагаемых вниманию читателя воспоминаний, Прасковья Семеновна Ивановская-Волощенко, принадлежит к тем, уже немногочисленным ныне, семидесятиникам-ветеранам революции, которые и до сих пор еще не утратили душевной бодрости, столь характерной для людей этого поколения, и продолжают свою общественную деятельность в пределах, конечно, оставшихся сил и политических ситуаций. Проживая последние годы — войны и революции — в г. Полтаве, несколько раз переходившей в течение гражданской войны и к белым, и к красным, Прасковья Семеновна (совместно с Вл. Гал. Короленко) отдавала все свои силы Красному Кресту, и ее энергии и усилиям не одна жизнь политических заключенных обеих борющихся сторон обязана была своим сохранением. Сохранено было, конечно, и здоровье весьма многих заключенных.

Прасковья Семеновна родилась в 1853 г., в семье священника, в Тульской губ.; по окончании духовного училища, получив звание домашней учительницы, еще в юном возрасте окунулась она в среду революционной молодежи первой четверти 1870-х годов. Попад сначала в Петербург — вместе с сестрами: Авдотей Семеновной (будущей Короленко) и Александрой Семеновной (будущей Малышевой), — Прасковья Семеновна сразу сделалась близким человеком в кружке молодежи, во главе которого стоял ее брат, тогда весьма популярный и пользовавшийся большим влиянием среди медиков и вообще студенчества Василий Семенович Ивановский (кличка „Васплий Великий“). Он был библиотекарем студенческой библиотеки при Медико-Хирургической академии, являвшейся в те годы одним из центров революционной пропаганды среди молодежи и рабочих. На Б. Монетной ул., в „коммуне“, где жил Вас. Сем. Ивановский, по вечерам собирались рабочие, и здесь им читались лекции обитателями коммуны. Приходил часто и рабочий Петр Алексеев, приведший, однажды, с собою двух подростков — будущего знаменосца на Казанской площ. Потапова и будущего известного предателя-provokatora И. Окладского. Затем, переехав вместе с братом в Москву, Прасковья Семеновна познакомилась там с двумя рабочими, пионерами социализма в России, только что вернувшимися из поездки в Зап. Европу, с Викт. Обнорским и Петровым. Из этого беглого перечня даже только юношеского периода жизни автора читатель видит, насколько богата была деятельность Прасковьи Семеновны встречами и впечатлениями. Жизнь ее в Москве, главным образом, в кружках Петровско-

Разумовской академии, знакомство ее и сестер с Вл. Г. Короленко и другими лицами, сыгравшими впоследствии видную роль в общественном или революционном движении, завершилось в 1878 г. арестом и ссылкой в Архангельскую губ., откуда она вскоре бежала за границу, и с этого момента до ареста в Витебске, в 1882 г., Прасковья Семеновна была уже нелегальной, отдавшись целиком борьбе „Народной Воли“ с самодержавием. Исполнительный Комитет поручал ей, как своему агенту, устройство различных конспиративных квартир (типографий, динамитных мастерских и пр.) и давал другие ответственные поручения. По приговору Ос. Прис. Сената, по „процессу 17-ти“ в 1883 г. Прасковья Семеновна осуждена была на бессрочную каторгу, которую и отбывала на Каре и в Акатуе. Срок ее, благодаря нескольким манифестам, был сокращен до 19 лет, и в 1899 г. Прасковья Семеновна вышла на поселение в г. Баргузин, Забайкальской области, а затем переехала в г. Читу, откуда в конце 1903 г. бежала с целью вновь принять активное участие в явно оживлявшемся тогда революционном движении, явившемся естественным продолжением деятельности „Народной Воли“.

Настоящий отрывок записок Прасковьи Семеновны охватывает время с начала 1904 г. до конца октября 1905 г. и дает колоритную картину ее деятельности, как члена Боевой организации партии социалистов-революционеров, ее встреч с видными ее представителями (Е. Сазоновым, И. Каляевым, Д. Бриллиант, Швейцером, с Е. Ф. Азефом — революционером и одновременно охранником и др.). Что особенно ценно в записках и что отличает их от большинства им аналогичных, это их не протокольный характер. Автор сумел оживить описываемые события, и читатель находит в деятелях их живых людей; в описаниях жизни на конспиративной квартире, в ночлежках, на улице (когда Прасковья Семеновна была папиросницей и торговкой фруктами) он видит бытовые картины, штрихи и детали, придающие его впечатлениям одухотворенность. Вследствие такого характера записок у автора почти не встречается дат, почему в некоторых местах редакция сочла необходимым (ради хронологической последовательности) снабдить их примечаниями.

Примечаниями же снабжены и некоторые другие места записок, с целью пояснения или исправления неточностей.

Еще одно пояснение.

Записки написаны были в 1912 г., когда по конспиративным соображениям о многом приходилось умалчивать. Поэтому автор совершенно не говорит о своих переломках в Саратове с представителями партии соц.-рев., о согласии участвовать в покушении на министра вн. д. В. К. Плеве и о вступлении в Боевую организацию. По намеченному плану автору надлежало играть роль кухарки на конспиративной барской квартире в Петербурге, почему Прасковьи Семеновне надлежало явиться в Петербург и поселиться там в качестве кухарки, ищущей места. Для этого она и поселилась в квартире с „углами“. С этого и начинается эпопея автора в „деле Плеве“.

Глава I.

Снова на родине.

В 1903 г. я решила бежать из Читы, где кончала свой срок поселения после каторги.

Слишком двадцать лет, таких тяжело-длительных, не могли вытравить в душе жгучей, неумолимо сверлящей боли и вечно тревожащего вопроса: когда же и как мы вернемся туда? Немного было желаний, осуществление которых было бы так дорого, как вновь увидеть родину и всё то, от чего мы были насильственно оторваны. Текли годы, сменялось начальство, сторожившее нас, а мы всё оставались, как проклятые, за крепкими замками тюрьмы. Разумеется, многие отлично понимали тщету ожидания вернуться на родину, но смотрели на это, как на спасительный самообман людей, отрезанных от жизни.

Отделенные десятками тысяч верст от изгнавшей нас отчизны, от общего дела, от всего там покинутого дорогого, мы были далеки от мира, и Россия, с каждым медленно протекавшим годом, всё более уходила от нас, являясь всё более в смутном очертании и неясной в своих быстро менявшихся исканиях. Между нашим, старым поколением, с народническим направлением, и новым молодым, более, как казалось нам, узким, залегла широкая раздельная полоса, мешавшая слиться этим двум течениям в одно русло.

Волнуемая и настороженная неизвестным будущим, я всматривалась туда, откуда с каждым пробегом версты, с каждой убегающей назад станцией, приближалась желанная родина, пугающая своей неясностью, своей, казалось, духовной отдаленностью. Было и радостно и жутко! Сознавалось, что целая большая полоса жизни, большое звено выпало, ушло безвозвратно много молодых, здоровых жизней, и нельзя этого никогда забыть! Тут, в стране сурового холода, оставлено полжизни, потеряны дорогие люди, ушедшие давно в мир другой, где, будто бы, нет „ни печали, ни слез“, и всё это нельзя ни вернуть, ни исправить, да и сам уже не тот, каким переступал когда-то пограничную черту на Урале, с раздельным столбом.

Одно поколение сменялось другим со своими новыми исканиями иных путей, иной линии поведения, и в этих поисках иногда слышалось прошлое, но чаще всего иные формы жизни выявлялись искавшими. Порой поиски обращались вспять, к старому, давно забытому. Непротивленство в 1880-х г.г., проповедь малых дел, пропаганда чистого экономизма в 1890-х г.г., хулиганство и черносотенство в последнее время. Некоторые желали выбросить за борт всё то, что было, хотя и давно, но, по моему мнению, не могло быть забыто.

Многое казалось мрачным и безнадежным. Доходили порой вести одна другой печальнее. Один покончил с собой, другой сошел с ума. Но, наконец, после чистого экономизма пришла воинствующая теория или теории, вызвавшие долгий, жестокий спор, который сам по себе вызывал только радость, как всё, что возбуждает общественную мысль, и обещал внести — положительно или отрицательно — хотя какое нибудь прояснение в тогдашнюю путаницу. Стороной, конечно, кое что и до нас доходило, хотя и с большим опозданием, как от лиц нового направления, так и из литературных новинок. Понятно, это „кое что“ повергало большинство карийских изгнанников в полнейшее изумление. В таких выражения, как: „от старых теорий камня на камне не осталось“, или: „Михайловский разбит вдребезги... Не хочется ему уступить нарождающимся великим силам марксизма, как Туган-Барановский, Струве и Бельтов, первенствующее место“. Отрицание политической борьбы, значения личности в истории, интеллигенции в революции. Низведение деятельности предшественников к нулю! Если во всем этом значительную долю можно было отнести на счет сравнительно юного возраста и соответственной ему восторженности передатчиков и посредников, а также и случайностям, — то за всем этим всё же оставалось очень многое непонятное... В этой боевой полемике была и другая сторона — дух, в котором она велась, тон и направление. Фактическая сторона дела казалась многим гораздо важнее, чем теоретическая отчужденность проповедников „нового слова“ от деятелей прошлого времени. Кажется, говорили у нас карийцы, немного нужно иметь исторического и личного опыта, чтобы убедиться, что в большинстве общественные теории это только вывески, фирмы, дающие указание только крайне общего и неопределенного вида о том, что за ними предполагается. Массы людей, общества, — не теоретики, они очень мало заботятся о том, чтобы то, что всеми делается, соответствовало тому, что говорится (ибо это только говорится, а не думается!).

Присмотреться и понять этот быстро менявшийся тогда людской поток, эту бегущую жизнь, довольно резко и, казалось нам вдали, поспешно уже отошедшую от старых своих отцов, — ближе подойти к самой жизни и уловить, быть может, связь нового со старым, пройденным — в этом была в то время моя задача.

Ведь это:

Лес шумел, молодой
И зеленый лес.

Попытки многих из нас осуществить безумное желание видеть опять то, от чего нас силой оторвали и скованных по рукам и ногам разбросали по всей холодной, безлюдной пустыне, попытки эти никогда никому не удавались, и расплата за них черезчур дорого стоила каждому из безваших.

Чтобы понять все эти неудачи, понять наше бездейственное существование или, вернее, прозябание, необходимо соблюсти историческую перспективу, и самому понять давно ушедшую историческую полосу жизни. С проведением великого сибирского пути, соединившего гиблые далекие места с Россией, Сибирь пошла быстрыми шагами во всех сферах своей жизни и общественности.

Блуждать и прятаться по разным „хоронушкам“, как вынуждены были делать раньше наши беглецы, не было теперь уже никакой необходимости. Поезда ходили по всей Сибири, хотя и довольно медленно, беспересадочно; было нетрудно пересечь всю огромную страну, затерявшись в массе проезжающих, без риска ареста в дороге.

Я ехала из Читы одна, будучи очень немолодой, с разбитым в значительной степени здоровьем и сильно пораженным сердцем. Было грустно и больно; ведь, в этой жестокой стране оставалась добрая половина жизни. Всё довелось испытать, пережить. Годами ждали вестей с родины, перебрасывались ими из тюрьмы в тюрьму, знали и голод и особенно холод, сидели под замками без воздуха, прогулок, переживали порою кое-что страшнее смерти. Но у нас было еще и другое, значительное и большое, что поддерживало и давало силу и упорство жить, почти без надежды на будущее. Это сознание справедливости своего дела, его общей важности для всей великой нашей родины; оно скрепляло нас в одну спаянную семью с одним исходным путем, с одним неизбежным концом.

Среди общего, по временам наступавшего мрака, индифферентизма и дикости наше поколение одно обречено было вынести на своих плечах святое и важное дело; оно почти одно дерзало смело и открыто на весь мир кричать и грудью защищать действительную свободу своей родины, своего народа, необходимую для нее в такой же мере, как хлеб и солнце для жизни. Сорок лет назад с объявлением войны правительству выступили одни революционеры, от которых позорно отреклась тогда страна, отдавая их на съедение бешеным волкам, и довольно равнодушно смотревшая на казни Перовской и других... Поезд переносил меня издалека на родину. На родину! Порою кажется, что поезд стоит на одном месте, не двигается дальше. Среди узкой таежной просеки, между могучими стенами темного леса, движение — осторожное и тихое — походило на то, как будто мы скользим в темном туннеле. А кругом, куда только мог глаз видеть, всё сопки да вековая тайга. Это целый неизмеримый океан, конец которого терялся в неведомой дали. Из века в век стоят могучие сосны, красавицы лиственницы и богатыри кедры. Осенью, в самую позднюю пору мы приходили в эту тайгу рубить и валить огромные деревья, заготавливая дрова. А лес был такой прекрасно-тихий, — тихий, без мелочей мира, целые века никем не ворошимый. Птицы и звери жили в своих любимых густых зарослях, и не было слышно их гомона. В редких случаях проходил тунгус-охотник или осторожно, чуть слышно пробирался бродяга, и он норовил держаться ближе опушки, пересекая тайгу по едва заметной, ему только известной, тропке спиртоносов. Для нас тайга не была с отмеченными границами, с указанием определенного района, переступить пределы которого вменялось в преступление. Мы чувствовали в ней себя вольными птицами и могли уходить далеко в глубь, в самую непролазную чащу. Сколько раз случалось теряться среди колоссального царства, кружась, переваливая одну сопку за другой, не видя никаких признаков человеческого существования...

Теперь мы едем в самую студеную пору; лютый мороз всё заковал, и тайга кажется пораженной на смерть вместе с населяющими ее застывшими великанами, с нахлобученными белыми папахами на головах. Это опущенные снегом высокие пни. И над этой величавой красавицей куполом опускается суровое черно-синее небо. Там, в Сибири, и люди решительные, суровые, как голые серые сопки, и... простые. — „Кабы не простота-то наша... совсем бы в нашей стране жить народу не можно“, — говорят сибиряки. К этим жестким людям в душе поднималась нежность и глубокая благодарность, и к этой угрюмой тайге. Они приняли нас, изгнанников с родины, и часто поддерживали в борьбе за свои права, за свое существование. Мы, рассеянные во вся языцы, были для них только постояльцами, временными жильцами, пригванными незнано откуда и неведомо за что, не сами избравшие для себя новое отечество; но среди них нам удалось сохранить свою идейную независимость и право открыто жить по вере своей. А среди тайги, перед лицом природы, такой спокойной и величавой, власть людей теряла свою силу, чувства и мысли теряли свой болезненный характер. Всё до последнего атома переполнялось жизнью лесной, тихой, таинственной; вся мирская суетность вытеснялась могучими и целительными дарами природы.

И теперь я прощалась со всем этим! Медленно подвигается наш поезд, долго задерживаясь на станциях, по горло увязших в снежных сугробах. И кажется порой, что мы никогда не достигнем желанной цели. А из заволанивающего тумана вдруг жгуче всплывает тревога: что если там, за такой долгий срок ничего не изменилось и всё старое вновь повторится? Но, ведь, жизнь никогда не стоит на одном месте; она вечно и непрерывно движется вперед, прокладывая новые и неожиданные пути, — успокаивает меня сознание. Да, жизнь, действительно, несколько изменилась, — это заметно даже здесь, в Забайкалье и обнаруживается всё резче, по мере нашего движения на запад. Уже за Байкалом, на станциях, пассажиры таежники, более осторожные и менее сведущие в политике, не удерживались больше от непосредственного вступления в разговоры на рискованные темы со встречными западниками. Толковали и судили о томских студенческих беспорядках, некоторые тут же громко декламировали появившееся тогда в честь „бунтовавших“ стихотворение.

Разговоры переходили в страстные споры, при которых обе стороны не слушали больше друг друга. Однако, всё это еще не была Россия, а, ведь, Сибирь с большим основанием могла считаться „вольнодумной“. Подлинная Россия была еще очень далеко, и только много дней спустя, в Челябинске, на станции, впервые за всё время путешествия почувствовалось, что начинается подлинное русское, то именно, чего так страшился, от чего отбивался всё время пути.

На перроне жел. дор. тесно жались группа крестьян в рваных заплатанных шпунгах, с большими грязными сумами на спине, и казались все они такими корявыми... Они волновались, гомонили, размахивая безнадежно руками, а локти их рукавов трепыхались, как птичьи крылья. Все тискались друг

на друга, лезли без толку, а их отбрасывали слишком грубо. Там в Сибири не встречалось такого убожества, такой унижительной бедности, таких грязных людей. Разве когда прибывала длинная цепь вагонов с переселенцами, подолгу стоявших близ станций, жители городка или ближайших сел сбегались смотреть на невиданное и удивительное зрелище, — на людей-лапотников, сборище нищих, с тучей полуодетых, босых и истощенных детей. Сибиряки рассматривали приезжавших с сострадательным любопытством, смешанным со значительной дозой неприязни, сравнивая вытесненных с родины из родных гнезд переселенцев с мошкой и комарами, которые, отогревшись солнцем и большими просторами, станут больно кусать их, сибиряков.

От Челябинска сразу началось великое наводнение вагонов нищенствующими детьми, калеками, вымаливавшими подаяние.

Это унижительное явление никому не портило настроения; оно было, видимо, для пассажиров таким бытовым явлением, к которому глаз привык и чувство притупилось давно.

К концу 15-ти дневной дороги мы добрались, наконец, до Саратова. Ощущение такое, как будто из темной полосы попал в ярко освещенную местность.

Память сохранила из этой продолжительной поездки два эпизода, тесно связанные с дорожными знакомствами. Припоминается один ссыльный „павловец“, по фамилии Фарафонов, возвращавшийся с какой то работы домой, в Енисейскую губернию. В 1902 году он судился с двумя своими взрослыми сыновьями за разбитие церкви и отказ брать оружие в руки. Дело „павловцев“ в свое время наделало много шума. В судьбе всех осужденных тогда принимал самое близкое участие Л. Н. Толстой. Фарафонов — отец был осужден в Енисейскую губ. на поселение, старший его сын — в каторжные работы на Сахалин, а младший в Мерв, в арестантские роты или батальон. Выйдя в вольную команду, павловец-сахалинец нанялся в батраки к ссыльно-поселенцу ¹⁾. Второй сын Фарафонтова, и тоже за отказ от воинской службы высланный в Мерв, был там, буквально, забит. К нему отнеслось начальство со всей беспощадностью, наказания были жестоки и непрерывны, и он вскоре по взятии на службу скончался на гауптвахте при истязании, всё время повторяя своим палачам слова: „любовь“ и „я брат твой“. Фарафонов, отец этих двух мучеников, теперь возвращался с какой то работы домой. Он рассказал всю историю своей загубленной семьи с поразительным спокойствием, как будто это не были факты современности;

¹⁾ Судьба этого сына, как я узнала потом, была такова. Когда Сахалин был взят японцами, жителям острова всем без исключения приказали сдать имеющееся у них оружие. Несдавших, невыполнивших этого приказа, если будет оно у кого найдено, будут подвергать высшей мере наказания. Фарафонов — павловец, будучи без того противником оружия смерти, несколько раз уговаривал своего хозяина отнести в управление имевшееся у него ружье и револьвер, но, очевидно, расстаться с такой ценной вещью, да еще на Сахалине, было нелегко. Хозяин зарыл его во дворе, поближе к своему соседу. У кого-то из однодворцев случилась кража, и японцы, делая обыск, обнаружили спрятанное оружие. Все в том доме жившие, не исключая женщин и детей, были обезглавлены, и с ними казнен и Павел Семенович Фарафонов, осужденный в каторгу за проповедь и отказ держать в руках ружье, за признание заповеди „не убей“.

казалось, он нам передавал давно-давно кем то пережитое, его ничуть не касавшееся. Евангелическое лицо его, задумчивые глаза, без гнева и суровости, выражали такое удивительное спокойствие, какое встречается только у людей, сверх меры перестрадавших. Это была красивая тоска, не нуждавшаяся в поддержке или чужом участии. Весь вагон в глубоком молчании слушал напряженно эту истинно скорбную повесть.

Под самый конец нашего долгого пути, как то незаметно к нам подсел новый путник, средних лет, баптист. Очень крепкий, живой, интересный собеседник, пока, впрочем, не касалось веры. Он был немного суров и аскетичен, но из-под густо нависших бровей глядели такно загадочно-задумчивые глаза, загоравшиеся часто чудесным гневным огнем, что это невольно привлекало к нему внимание. В нем было много своего, самодельного и самостоятельного. Искосивши всю Россию со своими неотступными порывами отыскать праведную веру, он побывал у субботников, проникал в другие секты, но всюду ему казалось у них мало святости, нет настоящей правды. Опять и опять стучался он к паликам, отшельникам, пока не утомилась его мятущаяся душа в тщетных исканиях чего то другого, более широкого, что успокоило бы его ум и сердце. Тщетно потратив много энергии и средств на эти поиски, баптист решил еще поехать к Л. Н. Толстому, который принял его очень ласково.

— „Он, Л. Н., слишком много думает,—сказал с печалью баптист,—другим мало о чем остается размышлять. Притом же среднему человеку не справиться с тяжестью, возлагаемой его вероучением на наши слабые плечи“.

Они долго спорили о вере, день и ночь и другой день и ночь, вели упорные схватки, и, наконец, Л. Н. стал сердиться, говоря с раздражением:— „вот я старый, смотрите на меня, и глаза уже ослабли, а читаю много; читайте и вы, учитесь, почерпайте мудрость из хороших книг“. И ушел от баптиста в свой кабинет, гневно хлопнув дверью. Однако, скоро вновь вышел оттуда со смягченным взглядом и, без заметных неприязненных ноток в голосе, возобновил беседу, стараясь приблизить баптиста к своей вере.

— У меня есть свое,—сказал я ему,—с этим я своим едва справляюсь, как же я могу брать еще такое большое твое? Представь, у меня есть боченок, вмещающий пять ведер воды, можно ли в него еще сверх этого налить воды?—говорил баптист.

— Нельзя,—согласился Л. Н. с заметной печалью в голосе и жестким выражением в глазах.

— Вы сорокаведерная бочка, в вас вмещаться может много, а я наполняюсь пятаю, только пятаю ведрами.

Рассказы баптиста о своих мытарствах привлекли внимание пассажиров всего нашего вагона. Сидевший через лавочку от нас священник всё время настороженно прислушивался к свободной речи сектанта, то одобрительно, то негодуя выражал свои чувства. Внимание его значительно возросло, когда речь коснулась Л. Н. Толстого. Глаза его заискрились злорадством, и он громко заметил: „Тоже проповедует, а свое то богатство, небось, не отдал.

Оно, видите ли, неудобно — говорить одно, а жить иначе, и при этом множество людей обращаются к нему за братской помощью.

Вот он и снял ношу свою, тяжелую ношу с плеч своих, передав детям всё свое богатство, яко неимущий теперь. Такова очевидная непоследовательность“.

— „А вы то, отец, — схибно заметил баптист, — разве уж очень последовательны?“

„Мы не пророки, не проповедуем людям новые царства на земле, — резко сказал поп, — мы не зовем людей в новый храм, сооруженный человеческими руками. Мы обещаем царство божие на небе“.

Опасение, что мой побег каждый день может быть обнаружен и с розысками обратятся прежде всего к родным, адрес которых начальству был хорошо известен, побудило меня не задерживаться у родных, а ехать на север, вступить в организацию и в меру небольших оставшихся сил отдаться работе, завещенной нашими погибшими братьями.

Мне дали адреса, совет немного отдохнуть и осмотреться, выждать.

Глава II.

В Петербурге.

Из путевых впечатлений запало одно событие, немного меня смутившее. На московском вокзале, совершенно пустом, одиноко маячила незаметной точкой в уголке моя фигура.

Было довольно-таки тоскливо ждать поезда, но вдруг в зал выплыла внушительная жандармская фигура, мерно и властно начавшая шагать из конца в конец. Потом жандарм свернул в мою сторону, внимательно всматриваясь в меня, как будто узнавая во мне свою знакомую. У меня уже созревало намерение переменить место, когда жандарм круто повернул прямо ко мне.

— Есть билет? — спросил он, меря меня бычьими глазами.

Не понимая хорошенько, о каком билете идет речь, я пожала в недоумении плечами. Тогда он пояснил:

— Взяла, говорю, проездной билет до Питера?

На отрицательный ответ жандарм скороговоркой сказал:

— Не берите, поедете с моим знакомым служащим железн. дороги. У него семейный билет, жену и сестру он нашел, а мамашю будете вы.

Мой отрицательный жест к такому лестному предложению очень его удивил, оскорбил даже, и он старался соблазнить меня теми выгодами, которые произтекут от этой сделки.

— „Тебе кроме пользы ничего не будет, вместо 6 рублей заплатишь 5 р., понимаешь? Жди тут, сам приду за тобой“.

Конечно, пришлось убраться подальше, и потом видно было, как жандарм тщетно разыскивал „мамашу“.

Протекшее время с последнего пребывания в Петербурге было так значительно, внесло столько перемен, что невольно смущала мысль, как наилучше

устроиться. Впрочем, на петербургском вокзале быстро нашлось разрешение этого немудрого житейского вопроса. Извозчик отнесся участливо и предложил отвести в самые дешевые номера, ему хорошо знакомые. Я вручила свою судьбу в его руки.

Номера, действительно, были недорогие, немного странноватые, около самого Николаевского вокзала. Весь огромный дом заполнен был одинаковыми, до мелочей во всем похожими друг на друга, номерами.

Типичнейшая хозяйка меблированных комнат меня встретила и отвела мне самую маленькую комнатку. Это была женщина уже пожилая, с бугряшками на лбу, со сбитыми волосами, подбеленная, неряшливо, грязно одетая, и все-таки во всей ее фигуре, в манере держать голову, видно было, что она когда то знавала и другую обстановку и иную среду. Номера имели сходство со своей хозяйкой; жильцы, как потом выяснилось, состояли из самой сборной публики и вполне загадочных личностей. На все номера была одна довольно жалкая прислуга, мыкавшаяся по всем комнатам и часто вступавшая с хозяйкой в настоящие бои с весьма трагическими последствиями для обеих. Но почему то она стоически выносила все невзгоды и свое тяжелое, бесправное положение.

Быть может, частые вечерние пиршества служили смягчающим обстоятельством в ее неприглядной жизни. Бог весть, откуда являлись на кухню запоздалые гости, в пузырятых лаковых сапогах, с гармониками под мышкой, с пивом и водкой. У хозяйки тогда головная боль проходила, прислуга торопилась ставить самовар, начинался пир под руководством самой барыни. Почему-то, между игрой на гармонике и битьем посуды, хозяйка читала по немецки или говорила фразы на том же языке, а когда это не убеждало гостей в ее превосходстве, она приносила из своей комнаты старые истлевшие документы, бесповоротно доказывавшие ее родовитость. Так гомонили они в кухне целую ночь.

Ближайшими соседями двух номеров были батюшки. Один, совсем молодой, с Афона, днем стоял с тарелкой на углу Знаменской и Невского, собирая посылную лепту. Вечером у него собиралась своя веселая компания пропивать собранные гроши жертвователей, приношение которых часто доходило до ста рублей в день.

Другой поп, занимавшийся тоже сбором, имел угрюмый характер и пил вдвоем с приходившей к нему каждый вечер с гитарой довольно мрачной личностью. Играл он большею частью грустные, заунывные мотивы, и под конец вечера оба горько плакали, кого-то проклиная. Оба эти батюшки никогда не соединялись вместе. Мой сосед говорил, что будто другой завидует ему за большой сбор подаяния.

Жить среди такой компании долго одной было тяжело и опасно. Усугублялось это рискованное положение тем, что каждый вечер хозяйка предупреждала всех своих жильцов о возможности прихода ночью полиции и что в таком случае надо говорить „этим подлецам“, как она выражалась. На мою настойчивую просьбу прописать мой паспорт она неизменно отвечала: „зачем деньги

тратить, живи, сколько нужно, так, придет ночью полиция — скажи: сейчас с поезда". Повидимому, у нее были свои, какого-то тайного характера, причины на такое отношение к полиции и к прописке. Впрочем, весь этот многоэтажный дом, как мне стало потом известно, был занят личностями „не вполне чтоб“, и порядки в меблированных квартирах были аналогичные с нашими.

Затянувшаяся неопределенность положения, неясность, когда потребуется войти в работу, подсказывали как-нибудь изменить тягостную жизнь. По конспиративным условиям нельзя было никого видеть, тем более посещать знакомых, обстановка же не позволяла даже читать ни книг, ни газет. И вот я решаюсь поехать в Кронштадт, посмотреть и хоть немного понять широкую популярность, движущую причину толпы, осаждавшей тогда известного Ивана Кронштадтского. Правда, к тому времени слава его уже начала в народе значительно угасать, часто уже приходилось слышать непочтительные о нем отзывы среди простолюдинов. Так, между прочим, одна ехавшая с нами простая совершенно баба, везшая к нему слепую девочку, наставлялась другою вернуться домой, не тратиться зря.

— Говорят он помощь оказывает, — возражала ей другая, — авось, даст на обратную дорогу.

— Говорят, — заметила скептически и резко женщина, — говорят, курдят, да сисек нету, мы дураки всему верим, поезжай, поезжай с богом, он тебе скажет тоже, что нашему безглазому Семену: „ступай, говорит, к доктору, я не бог, другие глаза не вставлю“.

Ехала нас целая группа простых женщин, некоторые из них там бывали уже помногу раз, все знали, и они направили нас с парохода в общежитие.

В громадных зданиях о. Ивана было все расценено до последней ниточки. По одной и той же лестнице, одинаково для всех вонючей и загаженной, направо — рублевые номера, рядом — пяти, по мере подъема вверх, цена понижалась и наконец, на самом верху, в общей комнате, плата за ночевку взималась от 10 до 30 копеек. По дороге в Кронштадт ко мне присоединилось несколько девушек, потерявших места прислуг и направлявшихся туда просто отдохнуть, поразнообразить свою скучную маяту. Мы все поместились в общежитии, с оплатой 10 к. с койки посуточно. Это была большая квадратная комната, сплошь занятая примыкающими друг к другу кроватями, без прохода между ними, так что в средние ряды приходилось перепрыгивать через лежащих людей. Кровати с соломенными тюфяками, в труху перетертыми боками усердных богомольцев, походили на омерзительное гнище. Ни подушек, ни одеял вовсе не полагалось. Рано, очень рано утром, когда пароход привозил новых усердствующих, все ночующие женщины полусонные, плохо одетые, выгонялись надзирательницей на улицу, для „порядка“. Происходили баталии с надзирательницей за такую бесцельную жестокость, благодаря чему богомолки вынуждались два-три часа стоять на холоде в ожидании открытия церкви. Более смелые продолжали лежать на кроватях, отказываясь подчиниться безрассудному требованию.

В том же этаже на одной площадке, в смежной с нашей комнатой, помещалась сапожная и швейная мастерская. В первой работали все мальчишки

от восьмилетнего возраста до 16—17 л., во второй — девочки приблизительно в тех же годах. Мастерскими заведывал немец с женой.

Дело было во время японской войны. В мастерских шла спешная работа для армии. Жена немца ездила сама во дворец за получением материала от самой царицы и, если и не считалась там своим человеком, то всё же выражалась: „мы с императрицей решили так-то и так-то“. Она громко рассказывала о воровствах, как при вскрытии ящиков находили в них камни вместо полотна, передавала множество дворцовых сплетен.

Часов в 10 вечера мы заходили в мастерские. Дети сидели за сапожными столиками, продолжая своими маленькими детскими ручками выполнять большую и трудную задачу. Значительное большинство между ними казались истощенными и хилыми. Из старших некоторые бегали, под предлогом „за туалетом“, на кухню, туда же шмыгали девочки подростки, спешно вместе с мальчиками курили; другие тут же при всех обнимались и целовались.

На вторые сутки, среди ночи, мы были разбужены громким детским плачем, доносившимся из чулана, три стены которого врезались в нашу комнату. Рывание всё усиливалось. — „Чей это ребенок плачет?“ — спрашивали пробудившиеся богомолки. — „Чай, опять немец измывает над детьми“ — отвечала надзирательница. Мастер-немец и он же начальник мастерской очень строго расправлялся со своими учениками, неисполнившими свой урок. Он сажал виновника в пустой и темный чулан на целую ночь, а когда ребенок чересчур громко выражал свой страх и горечь, немец врывался сам туда и жестоко хлестал ремнем плачущего. Это были дети богомольцев, оставленные на попечение батюшки. О. Иван, проходя мимо мужика или бабы с ребенком 7—8 лет, трогательно простирая свою руку над головой деревенского мальчика или девочки со словами: „отдай мне его в дети“. Отец или мать, пораженные такой неожиданностью, не верили своему счастью, свалившемуся на долю их ребенка, стать сыном святого отца. Нимало не сомневаясь в истинности слов о. Ивана, что он их Гришутку берет себе в дети, они радостно оставляли ребенка. И что им этот бедный Гришутка, как не лишний рот в голодной семье? Из ребенка, в их нищенской жизни, ничего путного не выйдет. Одет он в лохмотья, обут в лапти, косматый, грязный, лицо зеленое. „Батюшка, не оставь парнишку, доведи до толку“, — просят родители, уходя домой, не подозревая, что сынишка их попадает в мастерскую к немцу, ничем нелучшую всякой явной сапожной мастерской. И вся жизнь малыша сведется к сидению около столика, с шилом в руках, весь день до поздней ночи. А для сокращения жажды детских удовольствий его запрут в темный чулан. В этом для него страшном месте он облегчает свое большое горе рыданиями и призывает мать защитить его, взять его домой отсюда.

— Одни безобразия тут и больше ничего не вижу хорошего, — заметила одна из посетительниц при нашем возвращении в Петербург.

По возвращении из Кронштадта необходимо было занять оседлое положение, определенное место, с пропиской и подготовкой к званию прислуги. Необходимо было стать в самую простую обстановку, изолироваться от всего,

не иметь ни с кем связей, а, главное, жить в положении, где бы не падало и тени сомнения, — Паспорт у меня был неграмотной прислуги с отметками служебных качеств. С одной девушкой, мы пустились на поиски углов или недорогой комнаты. Весь день мы проходили без видимой пользы по грязным и вонючим лестницам; только под вечер, в громадном проходном дворе, поднявшись на 6-ой этаж очень населенного дома, нанала я маленькую комнатку без мебели. Хозяйка посулила оставить кровать с голыми досками, на которой при нашем посещении лежала какая-то могучая, мертвецки пьяная фигура. Мы рассчитали так: лучше взять за 8 р. хотя и конуру собачью, но отдельную комнату и поселиться вдвоем, чем жить в густо набитом жильцами помещении, тем более, что светлый угол стоил 4—4 1/2 р. Я оставила рублевый задаток вертлявой хозяйке с предупреждением, что переселюсь на утро.

Ранним мглистым утром я поднималась на самый верх, предвкушая удовольствие остаться одной без посторонних глаз и ушей. Но меня ждало тут худшее из худшего. Хозяйка с порога сразу ввела меня в необычную обстановку — в общую комнату. Весело, очень развязно, она заявила о совершенной ненужности, даже вреде для одинокой отдельного помещения.

— „Вот тут у окна, — трещала эта сорока, — сейчас освободился светлый угол, чего лучше?“ — „Да я же нанала у вас комнату, задаток дала, не так ли?“ — „Чего же ради вдруг предлагаете угол?“ — „Светлый угол самое подходящее для вас место, — настойчиво повторяла она, — как вы есть одинокая, скучливость одолевает, на людях то-ли дело! Вот тут у окна столик поставлю, матрасик дам, прилядишься, устроишься, так-то хорошо. Хотя бы поговорить или спросить о чем... Дело твоё бессемейное — тут всякого народу найдется: и бабы и девки, тоже почтенные торговцы есть. У меня вежливо, благородно, не бойся. Я прямо скажу, тут вот тебе самое подходящее место, лучше не найти, а комната занята“.

Было до очевидности ясно, что никакие резоны, угрозы, ни требование возврата задатка не в состоянии ни чуточки поколебать эту бабу-выжигу. Резониться с этим верченым существом было напрасной и бесполезной тратой сил, а мысль опять с вещами возвращаться в омерзительные номера, снова искать комнату... Бррр.. Я взяла угол, светлый угол в общей комнате...

Помещение с углами было небольшое, с очень низким потолком, значительно обвислым, грозившим как-нибудь ночью придавить всех своих жильцов. По всем четырем стенам стояли кровати, т.-е. просто на просто по два ящика, на которые клались две-три доски, сообразуясь с тем, на сколько душ готовилось логовище. Многие вместо кровати пользовались своими сундуками, а случайные ночевщики просто ложились на свободное место на полу. В нашей комнате стояло 8 помостов. От двери на первой кровати муж с женой и крошечным ребенком; рядом с ними по той же стене горничная, молодая девушка, спала на сундуке; дальше судомойка, лет 20 полька; за нею я. По противоположной стене против нас — кухарка с пятнадцатилетним сыном, ночивавшим вместе с матерью; за ними — горничная и затем прыщавый 45 лет

с взрослым сыном. Часто в нашу комнату приходил законный муж хозяйки с тремя подростками детьми. Отец с своими цыплятами всё время ютился коз-как и где попало, не имея даже постоянного угла. Все углы и закоулки квартиры имели не менее густенное население. В кухне, лишенной совершенно света, жила дряхлая старуха, сапожник, работавший при мерцающем свете копейной лампочки; иной раз, бросая работу, проклиная собачью конуру, он уходил в кабак. Пропойца-техник являлся по ночам, уходя на рассвете. В нанятой было мною комнатке, третьей, помещалась сама хозяйка с двумя спившимися типами; один был ее любовник, другой ближайший сотрудник и друг любовника. Не было того дня, когда бы число постоянных обитателей спускалось ниже 25 душ, обоего пола. Каждый, не будучи даже знаком с угловыми помещениями, может легко себе представить всю обстановку и условия, в каких ютился весь там собранный муравейник.

Так как питание большинства состояло из селедки и черного хлеба, то ночная атмосфера доходила до предельного своего насыщения, вызывая у спящих удушье и головные боли. Приходилось почти каждую ночь нарушать признанное всеми правило общежития не открывать окна; тихонько на один сантиметр отворишь раму, и под свежей только струйкой воздуха приходил крепкий предутренний сон.

Для цельности представления постараюсь правдиво описать этих случайно собранных, бесхозяйственных, бессемейных и, в большинстве случаев, безвольных людей. Начну с главы угла.

Муж хозяйки, николаевский солдат, уже старик, служил всё еще на железной дороге; он вполне и безраздельно находился во власти жены. Трое анемичных детей знали только отцовскую заботу, когда он, вернувшись со службы, собирал, как наследка, своих ребятишек, кормил их и вместе ложился в одной куче на полу спать. Это было единственное проявление его личности в семье. Да еще ежемесячная отдача жене своего жалованья. К жене он относился безучастно, как к предмету чуждому и чужому, детей нежно любил. Очень редко, утаив из жалованья несколько пятаков, он являлся домой в развязновеселом настроении, созывал своих ребят и одевал их пряниками. Тогда же происходила великая „трамбола“ между супругами, с весьма, впрочем, маленькими последствиями. — „Я твой муж, — дребезжал старческий голос, наступая с выпяченной грудью николаевского солдата на нее, — никакой нибудь, живу в законе, зарабатываю, а у нас ни синь пороха, дети без присмотра. Убью! Путаешься, в таких грязных свинствах“. — „Ну, завелись, — грубо и зло говорил кто-нибудь из угловиков, — кричите, нам одно только причиняете беспокойство“. Хозяин, почитая себя как бы пассажиром в этой квартире, умолял, весь виновато съезжаясь. Хозяйка жила в отдельной комнате с „Рыжим“ и его другом. Всегда косматая, очумелая, она бегала, суетилась, забывая про детей, пила с любовником водку, как воду в себя лила, потом они дрались, кричали и всё без какой нибудь надобности, по какой то душевной раздрганности. „У нее до нитки всё было пропито, проедено, — судачили жильцы, — даже последнюю икону, ежели никто не помешает, несла в кабак за бутылку

водки". — „Сегодня, — оповещал кто-нибудь, — отнесла тюфяк из-под себя, чтобы опохмелить своего „Рыжего“. А „Рыжий“, еще молодой, крепкий мужчина, весь отекий, не выходил ни одного дня из чада, не оправлялся от пьяного угара. Или в забыты, вытянувшись во весь рост, он лежал на голых досках кровати, а на полу около него не менее пьяный покоился его друг и соучастник. Или у них всю ночь шла гульба, крики, „нехорошим занимались“, как выражался наш чистоплотный пряничник.

Ночная компания причиняла нам не малые тревоги. Часто слышались истерические взвизгивания, порой хозяйка вылетала в коридор, следом за нею врывался ее „Рыжий“, и начиналась в этом узком и темном тунеле потеха молодецкая, да такая, что расцепиться не могли, как разъяренные собаки. — „Заволоводились“, — брезгливо и громко замечал, кто раньше всех просыпался. Из нашей комнаты выбегали почти все бабы и скучивались у настень открытой двери. Насладившись даровым зрелищем, давали окрик: — „Да будет вам, кажется бы можно покончить покуда?“ — „Шельма баба, — замечал сапожник, — кошачья порода, точило!“ Зрелище скоро наскучивало, а, главное, всё это было видно и перевилено, и только однообразие однотонного существования поддерживало интерес к дракам. Одни уходили по своим углам, более активные растаскивали любовников или разливали их попросту водой. Спектакль вызывал между угловиками обмен мнений между собой: „Ну, баба, я бы ее!“... — „А чего старик то смотрит? тоже законный муж“. — „Поди-ка, нашелся храбрый, он, „Рыжий“-то, тебе покажет закон!“

Иногда, на похмелье, этот „Рыжий“ являлся к нам в нашу комнату, одетый в одно б-лье с распахнутым воротом. Японская война тогда только что началась. Интерес и любопытство волной проникали всюду. Он приносил с собой чурбан для сидения, замусленную, затрепанную газетку. Друг его становился у дверной притолки. Начиналось чтение хриплым пропитым голосом, сопровождавшееся либеральными мудрствованиями. Всё это проделывал он, пожалуй, для отвлечения своей пьяной тоски. Его замечания о войне были и метки, и оригинальны. Однако, видя свои слова падающими на каменистую почву, он снимался и уходил со своим другом... пить. Кто они были? Оба пропойцы, не имевшие ничего, даже пары сапог, для четырех ног; по рубаше и штаны — вот всё их достояние, но водка находилась каждый день, да и то сказать, они так просочились ею, что незначительная доза этой влаги валила их с ног.

В нашей комнате, как раньше было сказано, жильцов самостоятельных, т.-е. имевших свою кровать, свой образ на стене, было 11 человек. Первый по порядку от входной двери налево угол занимала, как я уже упомянула, женщина с маленьким ребенком. Любовник ее, хотя не жил у нас, проводил много времени здесь: ел, спал, длинно рассуждал.

Анна, мать ребенка, была незаурядная женщина, с очень серьезным, почти мужским, некрасивым лицом, высокая, как жердь, прямая, с плоской грудью. Она выделялась из всех угловиков. Большие серые глаза искрились добротой и юмором. Всегда сдержанная, спокойная, она любила захватывающее

веселье и даже бешеный разгул. К 30 годам она уже перебивала в различных положениях, перепробовала все прелести многообразной жизни. Особенно увлекал ее непосредственный разгул. Острый, хорошо подвешенный язык, красивая речь, пересыпанная меткими пословицами, стихами, особенно из любимого ею Некрасова, создавали ей выгодное положение в компании гуляк. Она была совсем неграмотна, но собрала и вобрала в себя изрядное богатство. Откуда она все знала?— „А где и в каких переделках мне не довелось побывать“,— ответила однажды она. Ее умное молчание и такт поражали, когда пьяный любовник,— что повторялось почти каждый вечер— в тысячный раз „облаживал“ ее будущую жизнь. Он служил раньше хорошо, но, катаясь вниз, теперь получал всего 25 р., пропиваемые им ранее получки жалования. По срывавшимся словечкам можно было догадаться, что он служил в охране.

Еще молодой, с интеллигентной красивой наружностью, с большими пытливыми глазами, белым с заплатами лбом, он, среди нашей кудлатой публики, выделялся резким пятном. Сам он рассказывал свою биографию с горькой жалобой на судьбу. Четырнадцатилетним мальчиком он бежал из деревни в Питер, шатался и мыкался по всем углам и баржам, как бездомная собака. Сам учился грамоте, сам доходил до всего с присущей ему любознательностью. Ставши на ноги, служил у больших коммерсантов. Знал весь Петербург, как свои пять пальцев, бывал в палатах, в кабинетах сановников. Им дорожили, как ловким дельцом. — „Сейчас я в последней степени деградации“— заканчивал он. Возвращаясь к Анне семь раз в неделю пьяным, он, сидя на кровати жены, заводил пьяную канитель, долгую, тягучую, как зарядивший осенний дождик. — „Чего ты, Анна, бездельничает целыми днями? Поступай учиться заготовки для сапог делать. С мастером я уже сговорился, три рубля в месяц, ручается, в этот срок обучит. Куплю машинку в ломбарде, стану по три рубля на ребенка выдавать ежемесячно, чего же больше? Не хочу больше жить с тобой, надоело, конечно!“

Хотя он очень убедительно старался внедрить в голову Анны красоту трудовой ее будущей жизни, но эти перспективы нисколько не соблазняли ее. Не возражая, оставаясь всё время молчаливой, она только раз или два ему замечала: „а маленький ребенок как?“

Однажды, среди потока этих надоевших речей, я не выдержала роли простой слушательницы и возразила: „Однако, ловко! сам получает 25 руб., а жене с ребенком сулит всего три, по какой же это такой правде?“ — „А это не ваше дело, почтенная Федосья Егоровна, в наши семейные порядки не путайтесь!“— отвечал он.

„Не выносите на торжище своих семейных дел, тогда никто не станет и соваться в них“.

— „Правильно. Только вы напрасно, уважаемая! У Анны таких, как я, было 25, будет и того больше. Что такое женщина? Воздушный поцелуй, роскошный цветок, через мгновение увядающий. Свободный дух выше всяких привязанностей. Любовь не осуществляется никогда так, как она живет в нашем сердце, а без этого семейная жизнь—хомут, ненавистный мне в высокой степени.

„Любовь к жене, детям—бессознательное самообожание“. И долго еще лился поток его и дельных, и беспутных слов на разные темы.

Ребенок у них рос в забросе, хотя Анна очень любила его. Всегда больной, хилый, с головой вылупившегося индюшонка, он вечно скулил писком брошенного котенка. Под конец он заболел воспалением легких, и, праведное небо! кто только не лечил это бедное крошечное существо! Конечно, средства употреблялись самые героические: обливали с головы мочей и невытертого оставляли голым до полного высыхания, поили смесью перца с водкой.

Казалось, тут ему и аминь, ан выжил, остался докучливо скрипеть.

В этих темных щелях дети рождаются неведомо для чего, и, как блуждающие в степи огоньки, быстро исчезают... Голова в голову с Анной? спала очень молодая, высокая девушка — полька. Довольно миловидная блондинка, необыкновенно наивная во всем, как дитя, и как дитя привязчивая, еще не страшившая с себя деревенщины. Мать ее, вдова, нищетой вынужденная отправить свою единственную дочь с братом на заработки, теперь с великой тревогой звала ее обратно домой. Адель—так звали эту девушку — служила в Питере судомойкой у каких то богатых господ, державших повара. Этот повар, имевший уже взрослых внуков, сделал эту наивно-простую девушку беременной.

— „Любила ты его, что ли?“ — „Какой там любила. Ты посмотри, вот он придет сюда, ведь ему 83 года и зову-то я его дедкой“.

Сидя на постели, и сжав обеими руками голову, она порой так жалобно выла, как ночью собака, долго, безумно, вспоминая мать, которую любила больше всего на свете.

— „И кого же, как не ее мне больше любить? Она живет на Литве, далеко, далеко отсюда. У нас свой домик, свой огород, мать много работает. Если узнает мой грех, она проклянет меня и умрет с горя“.

Брат уже знал трагическое положение сестры, и грозил резать Адель. Она сбежала с той квартиры, куда ее поместил, по обнаружении положения, повар, куда уже в отсутствии Адели приходил брат покончить с ней. Поэтому она тщательно скрывала свой адрес, живя без прописки, угождая во всем пьяной хозяйке, трепеща и волнуясь при всяком намеке об отказе ей от угла.

И смотришь на эти скорби¹ людей, на эту юдоль печали и во всей наготе там в этих темных щелях, во всем объеме, видишь болезненные явления нашей искривленной жизни. Только два раза, говорят, паук хватается своих жертвы — в начале и в конце, а эти несчастные в ожидании его, живут и мечутся в тенетах.

Старик повар приходил изредка, урывками, к Адели, принося, ей то съезномленный кусочек масла, то щей крошечный горшочек, оставляя еще 5—10 коп. на хлеб. Жильцы угловые встречали его удивленными взглядами, полными недоверия и нескрываемой гадливости. Старый-престарый, дряхлый, с пожелтевшими, как мох на дереве, кочьями волос, с нависшими жесткими бровями. Он был груб и резко держался с Аделью.

— „Как же ты, Адель, сошла с таким?“ — „Да так, однажды, ночью пришел, ну...“ Прожив все свои заработки, весь скарб, Адель осталась полу-

прикрытой. Впрочем, она не составляла большого исключения среди нашего населения, разве было на ней немного больше грязи и вшей, да от этого царства паразитов никому нельзя было уберечься, как трубочисту от сажки. По ночам, жуткие тени, как лунатики, вскидывались, вставали, трясли свои лохмотья. Особенно была страшна Адель. Высокая, с большим животом, длинными руками, в одной рубашке, она шагала между спящими, и через них выходила в коридор, на лестницу, садилась на подоконник, охая, проклиная и стена. В этой же комнате, на глазах у всех, среди неопишуемой грязи, гомона, она разрешилась живым младенцем мужского пола, который вскоре поступил на попечение воспитательного дома. В период лежания Адель, больше всех внимания проявлял к ней, живший в темном углу кухни, сапожник. Раньше он заходил к нам во время подвыпития. Тогда у него речь становилась тихой нежной, какой то ласкающей, как ветерок в теплую ночь. У него недавно умерла жена в больнице, сильно им любимая, а вслед за ней, через месяц, умерли двое деток. Глубокая пустота и пропасть образовались около него пропало то, что выше и дороже было для него его жизни. — „Бог, создавший меня мужчиной; по ошибке вложил женскую душу, приважившую и однолюбскую. Я держался, как ребенок за грудь матери, за жену и детей, а теперь колом в поле одиноким остался. Если бы не боялся бога, то отверг бы теперешнюю жизнь мою,“ — говаривал он. Глубокое горе светилось в его еще молодых глазах, в его голосе, в тихом плаче и во всей его скорбной фигуре.

Среди остальных сереньких жильцов заметной индивидуальностью был ночевщик, которого почти никто не видал, но каждый, хоть раз, ночью слышал. Это был техник с высшим образованием, средних лет, красивый брюнет. Приходил он всегда за полночь, сейчас же валялся на сложенную поленицу дров в темной кухне. Одет он был в черный сюртук и брюки еще изрядного вида, но обувь на одной ноге — обренок сапога, на другой — дырявая калоша, сильно портившая его вид. Уходил он всегда с зарей, почему мы сначала совсем и не знали о его присутствии. Долго спустя, притом довольно своеобразно, он обнаружился. Возвращаясь из своих экскурсий ночами, он с некоторых пор стал находить дверь запертой накрепко. Им давался робкий звонок, на который никто не отзывался, звонок постепенно учащался, переходя в отчаянный непрекращающийся трезвон. Хозяйка или старик, впадучись, подвизывали язык звонка. Наступала непродолжительная тишина. Проснувшись жильцы с затаенной тревогой и любопытством ждали конца. Видимая неизбежность остаться на лестнице подбодряла техника. Он начинал дубасить кулаками в дверь, присоединя потом в помощь и ноги. Грохот шел во всей квартире неослабимый. Ктонибудь, более милосердный или сильнее спать хотевший, советовал хозяйке выпустить. — „Да отвори ему, места не проспит“. — „Не пушу, взвизгивала она, — не платит третий месяц, думает, подлец, улестить обещаниями. Не-пу-шу!“ — раздается издалека ее крик. Тогда уже начинался настоящий набат: дверь громыкала, грозя сорваться с петель. Оглушающий шум, наконец, действовал на старика, срывавшегося с своего логовища и быстро открывавшего дверь. Впущенный техник моментально бесшумно валялся

на дрова, и всё затихало. Тянулась эта музыка довольно долго, пока, однажды, техник не вручил хозяйке полтинника, отдалив на более или менее продолжительное время свои ночные штурмы дверей.

День наш начинался очень рано. Пряничники ссыном всех раньше поднимались. Они становились рядом против чужой иконы и долго усердно молились, шепча тихо молитвы, склоняясь иногда на колени. Сын делал всё так, как поступал отец, и чудно было смотреть на эти две здоровые, крепкие фигуры, особенно вечером, при мерцающей лампаде, точно один только двигался, сгибался, а рядом с ним тень его моталась тут же. Бабы поднимались позже, кто шел в трактир, а кто тоже сгибался униженно перед своим богом. По одиночке и компаниями шли за кипятком, купить что чего. По утрам большинство пило чай с черным хлебом, в обед питались, исключая имевших работу с хозяйскими харчами, все приблизительно одинаково. В 12 часов заходили в лавку приобрести там на 3 к. кофе, на 3—5 к. сливов, в ближайшем трактире получали за 1 к. крупнейший чайник кипятку и еще за одну коп. к нашим услугам была плита. Скипятить кофе требовалось не больше пяти минут. Иногда там же обжаривали картофель и даже в масле: это деликатным кушаньем называлось. Дома кофе пили без конца, вновь и вновь кипятя его, а после приходила просить для себя хозяйка оставшуюся гущу.

Кое кто питался исключительно подавными сострадательных жильцов; другие черным хлебом и 3-х копеечной сеledкой, делимой на две равные части: с хвостом в первый день, с головой на завтра. На воскресный день Анна варила для своего избалованного ресторанами любовника обед; тогда можно было у нее получить за 10 к. тарелку супа.

Спать укладывались рано, в надежде, авось, уснешь до событий и нападения врагов. Впрочем, эта общая мечта редко, увы, как редко! осуществлялась. То пьяные, то муж Анны, а то слетались тяжкие мысли у каждого свои...

Под праздники, наши, довольно таки циничные и атеистичные, жильцы, старались соблюсти внешний декорум религиозности, задобрить богов. Каждая женщина зажигала лампаду перед ей только принадлежащей иконой. Масло, по естественной причине его экзотичности, воняло, фитили трещали, комната наполнялась густым тяжелым сирадом. Особенно ночью, когда в скупно отпущенной богу порции масла, немилосердно чадил сгорающий фитиль.

Угловая жизнь во многом напоминает тюремную, с прибавкой того минуса, что эти вольные обитатели отвратительных гнезд не имеют и того минимума обеспечения, который имеют арестанты в виде арестантского пайка.

Упомяну еще об одной квартире, в которой мне пришлось позже жить, в тот период, когда я торговала семечками и фруктами.

Это помещение на Лиговке, в три комнаты, занимали муж с женой. Хозяйка—совершенно трезвая, пожалуй и домовитая, недурная жена—едва занималась заря, едва брезжил свет, срывалась с постели и бегом неслась на толкучку, скупая там всякую рвань, грязные старые юбки и пр. Из этих лохмотьев муж стряпал узорчатые одеяла, продававшиеся женой на базаре холостым рабочим по довольно дешевым ценам. Она всё утро, без куска хлеба

мыкалась по Лиговке, нагруженная до головы изготовленным товаром. Неудача в купле-продаже настраивала ее очень свирепо. Весь ее гнев выливался тогда на нас довольно грубо: „У меня не дростать, не пачкаты! Я люблю чистоту, не какая нибудь, не во рву валяюсь, чтобы тут заводить всякую нечисть!“

Понять эту придирчивость было не трудно: хлеб ей доставался весьма нелегко!

Муж — броткий, тихий, даже нежный, забитый мужик, с детским выражением глаз, сгорбленный, кривоногий, целый день ерзал по полу, разбирая куски вонючей дряни, разрывая пыльные ячюля хлопка. Его развлекал и сокращал серые, докучливые дни спившийся купец, жилец угла, когда то, по словам хозяйки, очень богатый, но обобранный до ниточки своим приказчиком. Будучи пьяным, на похмельи и трезвым, купец этот всегда, без перерыва, читал работавшему хозяину, читал все, читал без усталости: евангелие, старую газету, все печатное, что попадалось ему под руки. Если его постоянный слушатель отсутствовал, то он предлагал почитать древней старухе, торговке семечками, часто занемогавшей, кучеру какого-то князя, интересовавшегося одними лошадьми. Мое вселение подвинуло купца дальше и лишило его самых примитивных удобств — спать на кровати. В узком и темном коридоре мы помещались втроем: я и торговка с маленькой девочкой. Через эту темную дыру проходили, населявшие квартиру, гости и пр. Днем с пол-беды, так как мы с товаром бродили весь день по городу; ночью же часто проходящие спугивали нередко наш сон.

Густота населения в этой квартире была не менее плотная, но пьяного элемента было несравнимо меньше. А вообще, все угловые общежития мало чем отличаются друг от друга, и по рассказам лиц, работавших тогда на одном и том же революционном деле, живших по углам, исключение составляли только жилища извозчиков, сравнить которые безошибочно и без преувеличения можно было только с клоакой.

Глава III.

На конспиративной квартире.

Однажды, отлучившись из первой еще квартиры на целый день на дачу П. Ф. Якубовича, я возвратилась под вечер, сразу заметив в своем муравейнике несколько приподнятое настроение. Перебивая друг друга, женщины передавали: „Приходили, Григорьевна, к тебе господа, в услужение нанимать. Барыня такая красивая, роскошная. А барин чудной, не русский, по всему видать, говорит как то неладно, морда некрасивая. Обещались завтра придти“. Я тоже почувствовала большую радость, что кончается тягостная и уродливая жизнь, мучительная по условиям, жизнь напряженная, с оглядкой, с боязнью обнаружиться, не попасть в тон окружающих обитателей. Главное — не было для нее и принудительной необходимости.

Решаю завтра никуда не отлучаться с квартиры, но устроить, однако, так, чтобы моя встреча с „господами“ произошла вне общей комнаты. Муж

Анны оставался дома, и его острый глаз мог уловить какие-либо обмолвки в наших разговорах, не соответствующие моему званию и положению. Уже странным могло казаться и то, что богатые господа поднимаются на шестой этаж за прислужой сами, и бабы мне не преминули заметить: „Знать ты, Григорьевна, искусная стряпца, сами ишь пришли“.

Утром, в приближении назначенного часа, с большим чайником в руках, как бы идя за кипятком, я вышла на лестницу и стала тихо спускаться вниз. Расчет оказался верен. На третьем спуске подымался на встречу очень изысканно одетый молодой господин, каких, вероятно, эта лестница никогда и не видывала на своих ступенях. Приблизившись, он приподнял красивым жестом свою шляпу, спрашивая у меня обо мне. Переговорив быстро о времени явки к ним на квартиру и взяв у „барина“ их адрес, я возвратилась радостная в комнату, спеша поделиться со своими сожительницами приятной неожиданностью: „получила-де хорошее доходное место в одиноком господам. Кроме меня у господ будет лакей, жалованье дают достаточное, работа необременительная“. Многие жилицы слушали с затаенной горечью, завидуя счастью, без труда свалившемуся мне. Анна даже предлагала уступить ей, давно и тщетно искавшей именно такое место. Адель обещалась приходить раз в неделю, не чаще, дабы не раздражать барыню более частым посещением.

Положение именинницы обязывало угостить вместе живших женщин кофе в накладеку и дать обещание не шибко зазнаваться в положении прислуги богатых господ.

На утро, не беря с собой всех вещей, как это принято у поступающих на место, и поручив присмотреть за ними Адели, я налегке отправилась по врученному адресу.

„Господа“, которых я раньше не знала, только что переехали из гостиницы в нанятую ими (на Жуковской ул., № 30) хорошую большую квартиру с полной мебелировкой и всем готовым хозяйством. Дама-хозяйка хвастливо уверяла, что она в городе имеет еще несколько квартир, обитаемых по преимуществу графами да баронами. В нашей квартире тоже жили раньше генералы, неожиданно уехавшие на войну. При вечернем освещении, правда, наша квартира казалась нарядной, эффектной, но дневной свет обнаруживал всё ее убожество и „поддельную краску ланит“. Тут были электрические люстры, зеркала и картины, рядом с бумажными цветами и замызганными коврами, поцарапанными стенами, просвечивались пятна на полинявших обоях.

Равнодушие и холодность „барыни“ к болтливой профессионалке по сводничеству прервали поток ее безудержного вранья о своем благородстве. Она перенесла свое благосклонное внимание на меня, давая множество советов по части угождения „гостям“ и рисуя заманчивую перспективу возможности, после некоторого искуса, перейти к ней в качестве экономки. Познакомив с своим прошлым, настоящим, со связями и обширным кругом знакомств, она в конце концов примостилась завтракать со мной. Отвращение и страх, что эта дама-нахапка станет пытаться проникнуть в нашу жизнь, заставила

меня просто грубо оставить ее одну в кухне, уйти будто-бы помогать моей „барыне“.

„Господа“, как уже упоминалось выше, были мне совсем незнакомые люди, и тут, на нелегальной квартире, мы встретились лицом к лицу впервые, с самой определенной целью, с твердым, непреклонным желанием осуществить эту цель, а это сразу сделало между нами отношения хорошими.

В апреле (1904 г.)—не помню числа—квартиру на Жуковской № 30, занял под видом богатого англичана Мак Куллох ¹⁾ с содержанкой, бывшей певицей „Буффа“. „Барин“, действительно, выглядел иностранцем, совсем не русским, и характеристика моих угловых людей была правильной. Это был новый человек нового поколения, яркий, с внешностью изящного джентльмена, с не русским акцентом речи, в безукоризненном костюме, благожелательный в обращении—все эти качества резко его выделяли и делали заметной величиной во всякой среде. Наружность его не была красива: маленькие карие глаза, голова слабо покрытая волосами, небольшие усики, выражение аристократической надменности в лице, с немного остро выступавшими вперед плечами над впалой грудью, делали его похожим на ватного дворянчика. И, однако, все эти внешние черты в значительной степени ступевывались. В нем, в глубине, было какое-то тонкое „нечто“, вызывавшее большой интерес, глубокую привязанность, любовь к даровитой его природе. Он красиво рассказывал, спорил без претенциозности, умно, с какой то особенной правдивостью высказывал свои мысли и отношения к людям, что это часто рисовало его не совсем выгодно для него самого. Да, это был новый представитель молодого поколения, уже сильно и резко отошедшего от своих предшественников, восьмидесятников, всё разложившего, переоценившего ценности, выпукло и резко выдвинувшего свою индивидуальность.

Жена „Жоржа“—так звали Мак Куллоха—или, вернее, будто-бы „содержанка“, с первого взгляда приковывала внимание своими огромными, миндалевидными, черными, как крыло ворона, глазами ²⁾. От этих глаз нелегко было оторваться. Какая-то невыразимо глубокая грусть, будто веками пережитая, отразалась в них, и всё лицо тонуло в этих, дымкой подернутых, больших, печальных глазах, а между бровями залегла думная морщинка...

Глава IV.

Е. С. Сазонов („Афанасий“).

На второй день нашего вселения на квартиру было сделано объявление о найме лакея. На самом же деле по объявлению должно было, конечно, явиться к нанявшим квартиру господам знакомое лицо. Эта публикация указывала только адрес явки. Барин дал мне пароль, точные приметы наружности того, кто придет с черного хода, чтобы занять должность лакея. По-

¹⁾ Б. В. Савинов („Жорж“). *Ред.*

²⁾ Дора Влад. Бриллиант. *Ред.*

чему-то явкой он запоздал на несколько дней, а между тем, по объявлению в газете, каждый день валом валил народ с предложением готовности поступить на службу. Один из них так настойчиво просил обмануть господ, сказать барину, что будто бы нанятый лакей отказался, дать возможность стать ему на место, что едва удалось от него избавиться. Прошло несколько дней омиданья, когда, рано утром, кто-то постучался с черного хода. За эту неделю у меня уже установились весьма добрые отношения со старшим дворником и соседками кухарками. Думая, не дворник ли стучится, я осторожно приоткрыла кухонную дверь. В небольшой просвет скважины глянули брызжащие каким-то особенным лучистым светом глаза. Живое, радостное лицо, немного искривленный нос убедительно подтверждали, что за дверью стоял наш лакей „Афанасий“; без всякого пароля было легко его узнать.

Сдерживая смех, он начал было что-то говорить и тут же, вероятно, заметив встречную дружескую улыбку, прыснул от душившего его смеха и перепрыгнул порог кухни.—„Наконец-то я у пристани, на своем посту, какая радость!“—говорил Афанасий.

Афанасий был выше среднего роста, гибкий, подвижной, с быстро менявшимся выражением лица, с выразительными линиями в очертаниях рта, весь трепетавший молодой радостной жизнью. Непосредственная жизнерадостная натура резко выделяла его среди нового типа молодежи с шаткой, порой издерганной, опустошенной душой „голеньких“. Цельность Афанасия сказывалась во всем, и в малом и в значительном, и он входил в дело без сдерживающего раздумья, без разьедающих душевных бовырний.—„Вот этот человек—настоящий, хороший“,—говорила о нем прстая девушка Аделя, которой он оказывал совсем просто маленькие услуги, а, главное, был с ней ласков и внимателен.

— „Хороший парень ваш лакей,—замечали не раз швейцар и дворник,—к каждому норовит подойти он с открытым сердцем, всем поможет“.

От его смеющихся глаз, от веселых слов и готовности оказать помощь делалось окружающим легче, радостнее; как-бы весенний луч обогреет и волеет бодрость.

Благожелательность, помощь слабому были у него не столько долгом, сколько безотчетным движением его природы. Несколько раз, завидев дворников или рабочих, поднимавшихся с тяжестью вверх, Афанасий срывался от обеда или чтения помогать несущим. Непосредственность выливалась в каждом его жесте, в каждом движении. Афанасий верил и поступал без раздумья, по вере своей. Он не любил обиденщины, легко выходил из себя от житейских мелочей, но в крупном всегда был тверд, решителен.—„Что решу, то доведу до конца“,—говорил он, и даже в самом голосе его слышалась эта непоколебимость. С упорством и самоотвержением он весь уходил в нужное большое дело, внимательно обслуживая его, обнаруживая при этом красивую отвагу борца и нежное сердце.—„Ходит храбро, ступит—под ногами свистит“,—заметил однажды дворник. При спорах, довольно часто происходивших у нас на квартире, когда высказывался крайне разьедающий скептицизм,

подрывавший упование и веру в общество, в интеллигенцию и многомиллионную массу, в черный народный мир, Афанасий весь загорался негодованием. Как ужаленный, вскакивал он со стула, осыпая говорившего упреками: „Вы говорите, может, и правду, да не всю, а значит и неправду. Видите низость, легкомыслие, предательство, но забываете, не хотите видеть благородства и самоотвержения. В тех же „низах“ были и есть гравидозные порывы беззаветного энтузиазма, героизма, самоотвержения. Мало ли у нас анонимных героев, великих безвестных могил? Наша история полна мучениками, полгавшими душу за други свои“. Негодование и горькая обида слышались за огульное осуждение всего без разбора, без внимательного, вдумчивого отношения к огромнейшей стране, к великому народу, не раз выводившему свою родину на путь человеческого существования, на путь настоящей правды и добра. Указывая на своих предшественников, оставивших в нем глубокий и неизгладимый след, на партию „Народной Воли“, он говорил:

— „Мы воскресим героический период этих борцов, мы будем достойными сынами своих славных отцов“.

Эту любовь к народовольческому направлению, к их мощной борьбе с вооруженным во всех пунктах правительством, высказывал он с особенной чарующей нежностью, любовью искренней, горячей. Афанасий был фанатичен во всем, во что верил, что любил. У него было много своего, им самим приобретенного, самодельного, самостоятельного. Это свое было заложено у него с самого раннего детства. Родившись в крепостной семье староверов, он с юности пережил период глубокого до фанатизма религиозного настроения, исполняя все служебные церковные требы, читал псалтыри, углублялся в духовное писание, молитвы, жития.

Повидимому религиозность им была воспринята от матери, женщины нежной, вдумчивой, бесконечно доброй, с разлитым оттенком на ее лице чего-то скорбного, страдальческого. Егор Сергеевич Сазонов („Афанасий“) очень любил ее и в самые для него трагические моменты вспоминал мать: — „Какая она у меня добрая, хорошая, сколько в ней чуткости!“—говаривал он.

Жили мы на своей аристократической квартире дружно, занятые каждый своими неотложными обязанностями. Быстро вспыхивавший Афанасий, также скоро начинал терзаться, искренне сожалел и порицал свою несдержанность, открыто исправляя „в сердцах“ сделанный им поступок. Раз только за всё наше общее сожительство у него произошла маленькая ссора с „барыней“, о чем он потом глубоко сожалел и рассказывался перед ней.

Пыхнул гневно раз и на меня Афанасий, но эта его вспышка еще ярче осветила его красивую душу.

Случилось это вскоре по основании нашей квартиры, до той поры, когда наше близкое знакомство друг с другом еще не вполне совершилось. Шел разговор о неудаче, затяжке дела, по каким то случайным и непредвиденным обстоятельствам. В самых отдаленных уголках громадной России напряженное ожидание конца вызвало недоуменные вопросы. Афанасий при разговоре волновался, огорчался замедлением, казалось бы, хорошо обдуманного плана действия.

Делу, поставленному уже на рельсы, казалось, оставалось бы только катиться по намеченному пути, но всё уже подготовленное внезапно, как кривая лошадь, сбивалось в сторону, останавливалось... Снова принимались облаживать почти оконченное. Одни работники в неудаче черпали новые силы, лишний опыт; другие слабели, падали духом, терали терпение, считая дело вообще трудным, едва ли достижимым. При обсуждении происходивших неудач, непредвиденных трагических случаев, у меня вырвалось небольшо замечание, что, видно, этому делу конца не будет; повидимому, нет соответствующего настроения, нет надлежащего желания у работников, или же самое это дело не столь важно, несущественно. Афанасий, как подброшенный шар, вскочил на ноги, сразу лицо его побагровело, а через миг сменилось странной пугающей, мертвенной бледностью... — „Вы жестоки! Мы не хотим! Да как же это могут думать! Если общество не чувствует или рабски переносит оплеухи, унижается, то мы, партия, не можем молчать, оставаясь равнодушными зрителями этого позора страны. Это наше кровное дело, мы доведем его до конца, даже если все до одного погибнем!“...

Наша жизнь как-то вошла сама собой в определенные рамки.

Кухарка вставала раньше всех и шла за провизией. Квартира наша считалась весьма богатой, барин на свою содержанку не жалел денег, сообразно с этим и продукты приходилось закупать не какие-нибудь залежавшиеся, а высокой марки. В первые дни встречались затруднения во многих отделах хозяйственного обихода; незнание разных частей мяса и иных предметов вынуждало меня осторожно выжидать в лавке, прислушиваясь к заказам солидных поварих и поваров, покупавших деликатесы, и к их толкам — у кого лучше найти, дешевле, дороже и т. д. Через неделю весь курс кухарских плутен был пройден мною с успехом. Оказалось, если ежемесячный забор достигал ста рублей, лавочник платил не меньше пяти рублей ежемесячно же забирававшему провизию. Наш суточный забор часто превышал 5 — 10 р. Вся прислуга нашей лестницы, всегда всё знавшая по части обьегоривания своих господ, с завистью и с некоторой дозой уважения относилась не ко мне, конечно, а к моему доходному месту. Груня (дверь против двери нашей кухни) — горничная и кухарка двух холостых присяжных поверенных, настойчиво просила передать ей, когда надумаю уйти, такое доходное местечко.

— „Мои господа что! шантрапа! мяса берут всего по 1½ ф., которым норовят кормиться два дня. Смотрят, как бы не украли у них, да чего тут украдешь то?“ — жаловалась Груня. После утренних закупок из магазинов мы расходились по домам, обогащенные точнейшими сведениями про господ не одной лестницы нашего дома, но и соседних жильцов. Раз как-то в холодный день в мясной лавке, обратил общее внимание раньше невиданный там субъект, наружности не весьма порядочной. С этого времени его визиты участились, но к нашему дому его интереса совсем не было заметно. Одна прислуга, жившая по линии улицы Жуковского, выразилась, указывая на незнакомца, совсем просто: — „Это сыщик. На панели, вишь, в неногоду

стоять-то неудобно, ну, он и норовит переждать в лавке. Он тут за Грузинскими господами следит". Это случайное обнаружение цели сыщиковских наблюдений успокоили нас ¹⁾). Довольно часто при возвращении с покупками домой, я встречала на черной лестнице Афанасия, чистящего юбки и камзолы спящих еще господ, а в кухне кипел уже им поставленный самовар. В этот ранний час охотно к нам на кухню заглядывал старший дворник со свежими новостями, а, главным образом, попить чаю или кофе, в чем, конечно, он почти никогда не ошибался. Афанасий охотно, весело подставлял ему стул и чашку кофе. Шла Японская война. Афанасий закупил множество лубочных патристических картин, оклеив ими все кухонные стены. Старший дворник, указывая, как то, на одну картину, где японца избивал казак нагайкой, заметил: „Бого они обманывают этим?“ — „Но мы побьем, поколотим, беспременно одолеем!“ — вдруг свирепо выпалил Афанасий. — „Оставь фигурировать, кому одолевать то?“ — возразил мрачно дворник.

С двенадцати до обеда квартира пустела, расходились по делам. Кто шел на свидание с другими работниками, кто для показной видимости уходил куда-нибудь. Часто, не дожидаясь опаздавших хозяев наших, вдвоем с Афанасием мы обедали на кухне, и в эти часы он много рассказывал о своей прошлой жизни, о студенческих годах и погибших друзьях. Не помнится, чтобы он дурно отзывался о ком-нибудь из своих товарищей. Особенно радостно вспоминал он о каком-то старом уфимском друге-наставнике ²⁾ и о „бабушке“. Из-за последней у него вышла серьезная неприятность с отцом, едва не окончившаяся полным разрывом. Когда уводили арестованного Егора в тюрьму, отец, указывая на висевший портрет „бабушки“, сказал: „вот кто виноват, а вы его арестуете“. Воспоминание об этом причиняло Афанасию большие страдания. Он любил пылко и страстно своих родителей; когда он начинал рассказывать о них, то весь изменялся: голос становился таким нежным, приглушенным, без резких нот, музыкальным; глаза подергивались задумчивою грустью; всё лицо трепетало и чуть-чуть мягко улыбалось. — „А мама моя добрая, добрая и кроткая“. И снова, уже перейдя на другой предмет разговора, он вновь возвращался к матери. Всё, казалось, в нем было полно большой и горячей привязанностью к ней. Для него тогда порвалась уже почти окончательно нить, связывавшая его с ними, и вновь обнять их никакой надежды не было больше. Раньше, будучи в Питере, исполняя роль извозчика, он иногда становал у Знаменской гостиницы. — „Раз у подъезда жду седока, — рассказывал Афанасий, — вдруг вижу из парадной выходит... мой отец... Удар кнута, и я мчался в другую сторону, сам не зная куда. Не думаю, чтобы отец узнал меня“.

¹⁾ Прим. По доносу (ложному) Азефа на жившего в этой квартире пом. прис. пов. Трандафилова за домох № 35 по Куковской ул. было поставлено секретное наблюдение. Это один из трюков Азефа, о цели которого можно лишь догадываться. Он или хотел слугнуть конспиративную квартиру или, в случае ее провала, иметь в руках козырь, что он уже указал на этот дом. *Ред.*

²⁾ Прим. Дело идет, по всей вероятности, о В. В. Леоповиче. *Ред.*

Проводив в театр господ, вечером, Афанасий шел к швейцару на разведки с бутылкой пива и уворованными якобы барскими папиросами. Швейцар был до фанатичности набожен. Все стены конуры его под лестницей сплошь украшались образами, образочками, крестами, святыми картинами, перед ликами которых лился разноцветный лампадный свет. И говорил швейцар много на религиозные темы, что, однако, нисколько не мешало ему иметь двух жен: одну для города, другую для деревни, с изрядным количеством детворы от каждой; а деревенская, как это полагалось в большинстве случаев, предоставлялась им, притом, своей собственной участи. Из этих экскурсий Афанасий возвращался переполненный „всякие скверны“. Он отплевывался и с отвращением мотал головой, отказываясь передавать отзывы и суждения швейцара купно с дворником о жильцах дома. „Собственно, порядочные господа во всем доме, можно сказать, одни твои господа, остальное всё сволочь, шущера и шантрапа“, — говорили они, не обнаруживая при этом ни малейшего намека на какую-либо подозрительность. После обеда в праздничные дни мы, прислуга, вместе выходили за ворота постоять зеваками. Даже мой возраст не удерживал швейцара или дворника от похабного разговора, что заставляло подальше отходить от их компании, ссылаясь на свои годы и греховность слушать такие скверные речи.

— „Никогда, — говорил Афанасий, — я не слышивал столько похабства, как за время общения с набожным швейцаром“ ¹⁾.

¹⁾ Для полноты духовного прекрасного образа, пещной любви к товарищам нашего „Афанасия“ я привожу письмо его, написанное им мне в 1906 г., когда его, после суда и Шлессельбурга, пересылали в далекий Акатуй.

„Дорогая, незабвенная наша тетуська!

Я так счастлив, что могу приветствовать Вас. Мне всё время, еще в нашей могиле, хотелось обнять Вас крепко и выразить Вам, хотя задним числом, чувства любви и глубокого уважения к Вам, волновавшие меня.

Мне было всегда тяжело вспомнить, что Вы, на основании некоторых эксцессов с моей стороны или, лучше, со стороны моего дурного нрава, быть может, остались при неверном представлении относительно моих чувств к Вам. Мне хотелось целовать Ваши руки, поклониться Вам, что я теперь и делаю... Но будет об этом. Я так рад, что могу писать Вам с уверенностью, что мое письмо дойдет по назначению.

Дорогая! Когда я оглядываюсь назад, на это бранное поле, усеянное головами тех, кто был дорог бесконечно, за кого тысячу раз готов был умереть, с кем неразрывно и тесно связывали самые святые чувства, ах, я не могу назвать этого подходящим именем! — Тоска гнетет меня: мне кажется тогда, что я жил какою-то особенною, прекрасною жизнью, среди людей, которые странно непохожи на других людей: озабоченные сипнем, они в моих глазах вырастают в гигантов. Хочется преклоняться перед ними. Странно, что я жил с ними, видел и осязал их и, хотя любил их, но в моих чувствах и отношениях к ним, этим людям, было слишком много человеческого, низкого. И когда я вспоминаю об этих прекрасных образах — увы! уже образах — меня охватывает смертная тоска; сам себе я начинаю казаться выходцем с того света, чуждым действительности, и завидую мертвецам.

Дорогая, простите за эти строки; я уверен, что Ваше сердце поймет, какими чувствами они продиктованы. Я хорошо помню: „умереть за убеждения — значит звать на борьбу“, и моя тоска по погибшим претворяется в жгучее чувство мести их палачам и в жажду борьбы, — борьбы против ужасных условий, которые обрекают на гибель

Глава V.

И. Пл. Каляев („Поэт“).

В первые же дни по организации квартиры, „барыня“ предложила сходить познакомиться с одним из нашей группы, с Иваном Платоновичем Каляевым, известным среди всех работников под кличкой „поэт“. Решительно все относились к нему с самым дружеским расположением и неподдельной искренней любовью.

Мы шли по Владимирской улице в направлении Технологического института. — „Вот поэт, — указывая глазами вперед, сказала барыня, — посмотрите на него всего“.

К нам навстречу двигалась фигура торговца-папиросника, с лотком на ремне через плечо. Заметно было, что тяжесть товара сильно давила ему плечи. Он несколько горбился, медленно подаваясь к нам. Большой белый фартук закрывал его грудь и опоясывал пиджак, прикрывая таким образом его рваную одежду. Вытертый картузишко и стоптанные сапоги дополняли его костюм, как у всех мелких уличных разносных торговцев. Даже набившие руку филеры не могли бы его признать за переодетого интеллигента. И, однако, его молодое задумчивое, как бы дымкой подернутое, лицо немного разнили „поэта“ от заурядного папиросника. Заметив наше приближение и видимое намерение с ним остановиться, он весь выпрямился и засветился такой детски чистой лаской, лучистые серые большие глаза загорелись радостным и приветливым огнем. Но кругом сновали люди. Иван Платонович быстро овладел своим настроением, приняв повадку профессионала-торговца. Послышались приглашения купить самые лучшие папиросы, кошельки и проч., с этими возгласами он приблизился к нам, развернув весь свой красиво уложенный товар. Торгуясь и рекомендуя купить один предмет за другим, он тут же в промежутках, сообщал нужные для других работников результаты наблюдений, тщательно им проверенных, или точно замеченных отклонений от раньше виденных.

С этих пор наши встречи с И. П. происходили в большинстве случаев в обстановке сейчас описанной, где-нибудь на улице; но в праздники он решался на свидание в каком-нибудь плоховском, третьеклассном трактире. Там мы садились в самый укромный, в самый отдаленный уголок, пили чай

прекрасное, доброе, борьбы за идеалы, во имя которых они сложили головы, озабоченные снятием этих идеалов.

Дорогая, глубокоуважаемая! Я теперь узнал, кто Вы, знаю Ваше прошлое и с тем большим чувством уважения преклоняюсь перед Вашим прекрасным образом. Буду верить, что, когда настанет желанное время свободы, я скажусь достойным Вашего объятия и достойно назовусь Вашим сыном. Желаю Вам сил и здоровья с тем, чтоб Вы дожили до победы тех идеалов, на служение которым отдана была вся Ваша жизнь.

Победа близка! До свиданья же, дорогая, незабвенная тетюшка—глубоко уважающий и любящий Вас Афанасий“.

з прикуску, медленно, с отдыхом. Когда же приходили другие работники, место в трактире занимали более фешенебельное, как настоящие мещане-торговцы. Шумно и весело велись рассказы самого фантастического характера. Народ был всё молодой, жизнерадостный, красивый отвагой и беззаветными жертвенными порывами. Иван Платонович тогда в своей компании больше всех острил и смеялся раскатисто, заразительно. У всех у них была одинаковая приблизительно жизнь в углах, одна работа и одинаковый конец. Иван Платонович всегда вносил в общее настроение значительную дозу бодрости, увлекающей красоты подвига.

Однажды, опять мы „поэта“ встретили около Исаакиевского собора, на людной и чистой от „шантрапы“ улице. Лоток его на этот раз был уже заполнен фруктами. Красивыми ромбами были разложены персики, горевшие издали ярко красным цветом. Приблизившись близко, он громко выразил радость встречи непредвиденной, такой для него радостной, и как бы желая подкрепить им сказанное, он пригоршнями начал сыпать нам фрукты, сообщая свою полную победу в изысканиях, свою уверенность близкого конца напряженной и трудной для всех жизни. Между тем городской уже заметил остановившегося торговца не в указанном месте и быстро направлялся с окриком: „пошел, пошел“. — „Поэт, — предупредила Дора, — на вас устремился блюститель закона, берегитесь“.

— „Э, чорт дер!“ — ругнулся поэт, быстро исчезая за поворотом улицы со своими прекрасными товарами.

Глава VI.

Е. Ф. Азеф.

Так жили мы до приезда Азефа. В конце мая, но может и позже, помнится, „барин“, возвратясь однажды со свидания с наблюдателями, предупредил, чтобы мы укараулили завтра момент прихода к нам Азефа, дабы он проскользнул никем незамеченный. Роли поделились естественно. Афанасий на „стрему“ спустился к швейцару — отвлекать его внимание, а черный ход само собою стерегся кухаркой.

Наружность Азефа была так необычайна, до такой степени индивидуальна, что раз, всего один только раз, встретившись с ним, лицо его, как бы оно потом не изменялось, не могло уже забыться во всю жизнь, запечатлеваясь властно, навсегда, и нельзя было смешать его с кем-нибудь другим, ошибиться.

Высокого роста, толстая широкая фигура его опиралась, не соразмерно с туловищем, на тонкие ноги. Длинные руки женской формы, вялые, мягкие, вызывали при прикосновении неприятное ощущение чего то слизкого, холодного, точно прикоснулся к холодной лягушке или слизняку. Глаза у него были карие, всегда бегающие, всегда как бы что то высматривающие, но в них искрилось много ума и какой то лукавой сметки. В особенности характерен был рот с эфиопскими толстыми губами, которые часто складывались грубочкой и вытягивались вперед, выражая презрительное недовольство и не-

приязнь; какое то странное и не поддающееся объяснению сочетание было в этом типе: соединение добра и зла, нежной ласки, внимания и поразительной жестокости, соединение заботливой дружбы и предательства. В Вильне и Варшаве, вспоминается, как он не пропускал мимо себя ни одного маленького еврейского малыша, продававших три коробочки спичек, несколько штук иголок и мешечек крошечный сахарного песку. Это трогало и подкупало, это как бы говорило, что при самых серьезных делах, разговорах, Азеф помнил свои обязанности к человеку, обязанности к нуждающемуся.

В виду заметности наружности никто не должен был видеть его приход в нашу квартиру, а визит Азефа носил чересчур деловой характер.

Наше положение обязывало с возможно большей заботливостью предохранить от провала квартиру, хотя первоначальная цель устройства барской квартиры значительно изменилась. Кроме безопасности для всей группы В. О., являвшейся скрепой и рулевым для всех работников в деле — так мы понимали в частности ее роль — еще предполагались две существенные функции квартиры: покупка и держание при квартире автомобиля, с которого, быть может, в конечном счете придется с большей вероятностью делать нападение на министра Плеве, и, в ней же, при полной ее чистоте, нашему технику „Павлу“ (М. Швейцеру) было бы лучше всего накануне покушения зарядить бомбы. Предполагавшаяся покупка автомобиля не состоялась, пожалуй, по причине начавшихся выясняться обстоятельств, что покончить дело удастся при помощи одних метательных ручных бомб. Все, возникшие во время хода работ, вопросы должны были решиться совместно с Азефом теперь, для чего он и должен был остаться на некоторое время у нас.

Азеф нашел нашу квартиру недурной, удобной в конспиративном отношении, строй нашей жизни им был одобрен, но за невыполнение первоначальных предначертаний касательно автомобиля, он жестоко разнес „барина“. Несмотря на твердую позицию, занятую жильцами квартиры, он упорно отстаивал необходимость автомобиля. Споры велись по этому предмету с одинаковым упорством и горячностью — с обеих сторон. Азеф горячился, негодовал, был груб, выражался чересчур категорично и авторитетно, упрекая „барина“ в самовольстве. — „Вы не имели права отступать от выработанного плана!.. Как вы смели это сделать!“...

Такие выражения весьма коробили присутствующих, но возражать было нелегко: ведь, каждый отлично понимал, что крупное, большой важности дело, требовало при тогдашних условиях строгой дисциплины, подчинения раз выработанному сообщая плану действия. После долгих прений и обсуждений Азеф уступил, положась на мнение работавших всё это время. По окончании деловых объяснений Азеф становился простым, сердечным, обнимал „барина“, боролся с Афанасием, дурил с ним. К последнему, казалось, у Азефа было какое-то особое трогательно-нежное отношение. Он больше чем любил Афанасия — он ежился, заискивал перед ним, становясь до некоторой степени в положение побитой собаченки. Велико, говорят, влияние честности в большом характере. Жил Азеф у нас больше недели, ни разу не выходя

из дому. Спал он в одной комнате с Афанасием на полу. Еще один раз за то время, пока он у нас оставался, у него произошла жестокая баталия с Жоржем.

В один из дней поездки Плеве в Царское Село, барин тоже решил туда отправиться для наблюдения за ним. В тот же день там происходили скачки, облегчавшие эту поездку. Вернувшись из Царского Села, он рассказал о любопытной встрече на вокзале в ожидании поезда с какой-то барыней, ехавшей тоже в Царское Село, якобы на скачки. Болтая о том и о сем, она свела разговор на министра Плеве. Весь город, по ее словам, занят событием в Центральной гостинице, его связывают с готовившимся покушением на Плеве. — „Разве он не слышал?“ — Ее это удивляет, тем более для иностранца — „каков вы есть, думаю я, это невероятно“, — говорила она. Она живет на Морской — там то... „Иностранец“ в свою очередь рекомендует ей и сообщает свой адрес.

Выслушав этот рассказ, Азеф взбесился. Со стороны „барина“ это непростительная легкомысленность и неосторожность. До очевидности ясно — дама, эта шпионка, квартиру нашу надо считать проваленной. — „Немедленно приступить к ее ликвидации, — сердито повторил Азеф, — иначе всё дело погибнет, а данный ею свой адрес наверное фиктивный“. Всех жителей квартиры эта оказия очень смутила, хотя и чувствовалось какое-то тут преувеличение со стороны Азефа.

На другой день наш „барин“-иностранец отправился на Морскую проверить, действительно ли там живет его случайная знакомка и по обстановке квартиры определить ее профессию. Вернулся он из своей экскурсии радостный и спокойный. Со смехом передавал подробности своего визита к барыне, жившей на Морской, обстановку жилища, наружность кавалеров, ожидавших в передней своей очереди приема. Все сомнения рассеялись. Она была „одна из многих“. Тем не менее Азеф остался непоколебим относительно упразднения нашей квартиры. Ему стали казаться не достаточными наши наблюдения, разрозненными собранные факты о Плеве. Необходимо стать всем в простое положение, усилить слежку, не найдется ли более лучший случай, более простой, с меньшими жертвами. В подтверждение нашей неполной осведомленности, он сообщил о Плеве такой факт: — „Я слышал, что Плеве ходит каждый день по Морской, пешком, один, к своей любовнице. Конечно, эти визиты обставлены весьма таинственно. Раньше он посещал другую даму, уверенный в незнании ею его osoby. Но вот после назначения его министром внутренних дел, когда он уходил после одного из визитов от первой содержанки, она ему заметила: „теперь Вы могли бы быть немножко щедрее“.

— Почему? — вспыхнув весь, спросил ее Плеве.

— Вы уже сейчас большая особа, министр...

Плеве прекратил свои посещения к ней. Как стал известен Азефу такой случай? Он бывает у значительных содержанок, когда приходится туго, когда необходимо следы замести, он ловкий.

Глава VII.

Ликвидация конспиративной квартиры. — На улице.

Азеф уехал, посоветовав нам скорее ликвидировать квартиру. Началось ее упразднение. Афанасий поехал искать себе новый паспорт, решившись опять стать извозчиком. „Барин“, яко бы по делам коммерческо-агентурным, отмечился в Ростов. Кухарка тоже ушла за город и провела там несколько дней. Осталась на квартире одна Дора, взяв себе прислугу с рынка. Возвратившись в город, я нашла себе угол на Лыговке, в квартире, о которой упоминала раньше, и занялась торговлей семечками — положение, дававшее возможность проникать всюду, без боязни обратить внимание филёров. Со мной в углу жила еще торговка, от которой много пришлось позаимствовать приемов, по части искусства торговать. Желая оформить свое положение, я обратилась к старшему дворнику за указанием, где взять разрешение на право уличной торговли и сколько это право будет стоить. — „А на какого лешего тебе тратиться?“ — резонировал толстый, красный, как бурак, старший дворник, — „Торгуй себе без бляхи, никто не тронет, для тебя три рубля капитал. Тут все безбашные на нашем дворе“.

На другой день, приобрести корзину и семечки, мы с жилицей рано утром отправились промышлять. Моему вниманию сугубо рекомендовалось наблюдение: во-первых, — пути по Каменноостровскому пр. вплоть до Карповки и дальше, — местности расположения летней резиденции Плеве, во-вторых, Балтийский вокзал и путь к нему в те часы, когда эта часть не обслуживалась другими. День наш начинался рано и кончался с заходом солнца. К вечеру, брели без ощущения ног, с одним желанием бухнуться и уснуть. Обедали на скамеечке, в парке или дешевой чайной. В ней за пять коп. была возможность получать чашку щей или супу, конечно, самого прискорбного вкуса. Кое-кто примешивал туда на 1 к. сметаны, но все без исключения в свою миску выливали из судка уксус, горчицу и перец. Были трактиры, в которых кулинария разнообразилась молочными супами и котлетами, но, праведное небо! что это были за блюда, какой прихотливый вкус они имели! Впоследствии, предмет торговли пришлось переменить, сезон требовал этого. Корзина наполнялась фруктами, торговля пошла ходче, за то тяжесть значительно прибавилась. За фруктами чуть свет, когда их привозили со станции жел. дор., ходили на Щукин двор. Туда же, значительно раньше, приходил „поэт“ тоже за фруктами. Он покупал целыми ящиками, долго и упорно торгуясь с пафосом и пылкой жестикуляцией, выжимая копейки у оптовщика. Казалось, сознание хорошо разыгранной роли мелкого торговца доставляло ему большое удовольствие. Он оглаживал мне фрукты, передавал в то же время свои новые наблюдения проездов Плеве, увлекался, забывая о всем окружающем, радуясь удаче, бравя неуспех, волнуясь без резких слов. Потом мы расходились в разные стороны. За эти дни — недели, до возвращения еще Афанасия, два раза пришлось иметь возможность встретить фон-Плеве. Трудно было не узнать этого бюро-

крата, только слепой не заметил бы той помпы, которая сопровождала его проезд. Весь его путь, как по волшебству, принимал какой-то театральный вид. От низшего полицейского чина, до полицейского высшего ранга, умнеженных во много раз, все в блестящих новеньких мундирах, все вытягивались в струнку, одергивая мундиры, поправляя пашки, точно готовясь к осмотру. Охорашиваясь, а главное и самое приметное, все они поворачивали, как по команде, головы в ту сторону, откуда должен был ехать Плеве. Между этими вертящимися чинами полиции, в недалеком расстоянии друг от друга, ходили изысканные джентльмены с тросточками и с небрежным, независимым видом, — филеры. Живая изгородь выросла по обеим сторонам тротуаров, внезапно, живой стеной, обеспечивая путь. В первый раз встреча случилась у Балтийского вокзала. Торговка семечками могла идти тихо, по временам останавливаться, поддаваясь невольно общему настроению, поворачивать голову туда, назад, куда все смотрели. Через пять-десять минут ясно послышался грохот шумно мчавшейся кареты. Позади нее, шагах в пяти, на чудном рысаче сидел сыщик еврейской наружности. Сейчас же за мостом, при повороте к Варшавскому вокзалу, карета пролетела так близко мимо меня, что чуть не задела колесами. В окне, подавшись немного вперед, выднелось характерное лицо Плеве. Ошибиться было трудно. Подойдя несколько ближе к каналу, я села, наблюдая копошащихся и шмыгающих филеров, принимавших теперь позы солдат после маневров. Эта встреча и возможность уделить среди деловой рати шпионов, укрепляли и обнадёживали наше решение уличного нападения. Одно войско, революционное, менее многочисленное, станет выбивать более превосходщее по количеству — царское. Возвратившийся Афанасий, одновременно наблюдавший за проездом Плеве в другом пункте и встретивший ту же карету, в свою очередь, без колебания поддерживал уличное выступление. Воистину попятно, что другие встречи и пути изыскивались теперь неохотно. Наблюдение считалось как бы оконченными. Один „пост“ продолжал бродить с лотком в разных направлениях, всё думая, авось подвернется случай, более подходящий. Намерения его были ясны: с меньшими жертвами окончить начатое дело. Для его нежной души слишком болезненно было сознание неизбежности гибели не одного его, а и других товарищей.

Глава VIII.

Дора Владимировна Бриллиант.

В свободные, праздничные дни мы навещали „барыню“, оставшуюся одинокой на Жуковской квартире. Ей требовалось разыгрывать роль покиннутой „другом“ и носить на лице следы глубокой печали при посещениях хозяйки. Эта сводница утешала „барыню“ тем, что „барин“, хотя она его и не знает, не так уж обворожителен и красив, чтобы стоило о нем убиваться и долго думать. Если „барыня“ пожелает, то она, хозяйка стольких богатых квартир, бескорыстно сейчас же найдет ей друга позачительнее и поважнее. „Барыня“ в самом деле сильно страдала, конечно, не от потери друга, а от вырешенной

ненужности квартиры, где она бесцельно продолжала жить. Ее пугала перспектива остаться надолго без всякой работы. Она стремилась отдать свою жизнь в серьезном и значительном деле, с сознанием, что она не напрасно прожита. К повседневному тихому существованию она не чувствовала себя способной; для другой работы, например, пропаганды, у нее не было склонности; заниматься техникой — казалось, не хватит сил. Начать учиться теперь, когда сердце переполнено ужасами жизни, а душа полна страданий за загубленных братьев, друзей... Глаза у „барыни“ большие, огромные, как бы отражали всю переживаемую ею скорбь; они как бы смотрели на то, что позади жизни. В них светилась грусть глубокая, приковывающая к себе даже посторонних. Однажды, мы с ней шли по Забалканскому проспекту. Два студента несколько раз обгоняли и останавливались впереди, рассматривая Дору. На замечание о неприличии их поведения, один ответил: „Ничего ни позорного, ни бесчестного нет в том, что мы останавливаемся перед красивой“. Она не была солидно образованной, но природный большой ум, способность ориентироваться в различных положениях делали ее очень ценным работником, приятным другом и верным товарищем, неспособным оплошать или малодушно уклониться. — „Почему, — с горечью спрашивала она часто, — не хотят пустить меня на выход? У меня хватит мужества не скомпрометировать партию. У меня достаточно гордости, чтобы вот так сложить руки, не дрогнуть, не показать врагу самую крошечную слабость, ничтожную робость“. И она крепко сжимала ладонь в ладонь руки на коленях и казалась олицетворением спокойной гордости. Физически она была слабая, хрупкая, как растение без солнца, которому одно дыхание утренника несет смерть. Тюрьма для Доры была удушливым газом, который не щадит ничьей жизни; в ней она покончила свою полную горечи и печали жизнь. Сидела она сначала в Петропавловской крепости — этой темной глубокой могиле, мрачной дыре, поглотившей столько молодых сил. В то время там многие в одну ночь лишались рассудка. Одна девушка, после двухмесячного заключения в этой проклятой волчьей яме, с трепетом души рассказывала мне про свою безумную соседку (Дору). Ночью у нее внезапно потухло электричество — оно должно гореть целую ночь; неслышно, в одно мгновение что то звякнуло, дверь с шумом распахнулась. С зажженной свечой ворвались к одинокой заключенной какие-то неясные, дикие фигуры. — В первый момент появления света частности ускользали из поля зрения, лишь надвигалась какая-то темная чудовищная масса. Неопикуемый ужас охватил всё существо, и нечеловеческий крик пронесся в угрюмых стенах Петропавловки. С этой ночи соседка не переставала оглашать отчаянными криками крепостные своды, пока не увезли ее в больницу (в 1906 г.).

Дора Владимировна Бриллиант родилась весной 1880 г., в городе Херсоне, в зажиточной купеческой еврейской очень ортодоксальной семье. В Херсонской гимназии окончила 4 класса. Сильное стремление к образованию, не могшее найти удовлетворение, сказывалось с ранней юности. Мешала этой склонности ортодоксальность семьи; по этой же причине курс наук ее продол-

жался всего 4 года. В 1898 году, после тяжело перенесенной смерти матери, она с большой настойчивостью и усилием воли добилась права продолжать образование. В 1898—1900 г.г. она училась акушерству при Юрьевском унив. Часть 1900 года провела в провинции, где готовилась к аттестату семи классов гимназии.

В конце 1900 г. переехала в Киев, продолжая заниматься, в период студенческих волнений, особенно сильных в Киеве. Первые встречи, первые соприкосновения с нереволюционными в собственном смысле, а с прогрессивными студенческими кружками. Участвовала в большой студенческой демонстрации в Киеве, была арестована, просидела недолго в Лукьяновской тюрьме, была выслана в провинцию под надзор.

Она местом ссылки избрала Кишинев, но через несколько дней изменила его на Екатеринодар, в котором оставалась недолго, полтора-два месяца, затем переехала в Полтаву. В Полтаве сильное и исключительное влияние П. Ф. Николаева (б. каракововца) и наезжавших в Полтаву „Бабушки“, Гр. Андр. Гершуни. Эти знакомства окончательно укрепляют ее в эс-эровских убеждениях, создают несокрушимую до смерти преданность им и определяют характер всей последующей ее революционной деятельности. В Полтаве Дора принимает очень деятельное участие в местном комитете партии, где архивы и вся техника лежат на ней. Ею же отпечатана была оригинальная прокламация Боевой Организации по поводу убийства Богдановича. Ею же выполнялась и вся техническая часть издания „Крестьянской Газеты“.

Осенью 1903 года оканчивается срок надзора, и Дора Вл. перебирается в Киев, продолжая там в местном комитете работу до весны 1904 г., когда она вступает в ряды членов Боевой Организации, и, таким образом, исполняется ее, во всё время мирной работы, заветная мечта.

Весною 1902 г., после Толстовской демонстрации в Полтаве, в городском театре, Дора Вл. была арестована вместе с другими поднадзорными, проживавшими в то время в г. Полтаве и просидела в арестантских ротах несколько дней.

Дальнейшая ее судьба следующая:

После дела Плене—поездка за границу (август 1904 г. по январь 1905 г.). Затем она в Москве работает техником в деле убийства вел. кн. Сергея. Вторая поездка за границу (сентябрь—октябрь 1905 г.). К первому декабрю 1905 г. она возвращается в Петербург, и через несколько дней по приезде ее арестовывают. Крепость, голодовка, болезнь и полное истощение. Ее переводят в Литовский замок, в котором она окончательно заболевает до такой степени, что не имеет сил не только встать с койки, но даже и повернуться собственными силами. В это время ей разрешается свидание в камере с приехавшей сестрой. Затем Д. В. переводят в больницу Николая чудотворца, где она умирает 27 октября 1906 г. Тело было вскрыто. Похоронена она на Преображенском кладбище. Обвинялась она по 101, 102, и 2 ч. 126 ст.

Дора Владимировна, как стало потом известно, в Петропавловской крепости сошла с ума. Эта гордая девушка умоляла в безумии своих врагов дать ей яду для прекращения жгучих страданий.

Впрочем, всё это произошло впоследствии. Раньше было сказано, что по расформировании квартиры на Жуковской, там оставалась одна Дора, маячившая одиноко в больших комнатах. Навещать ее без риска была возможность для одной только старой кухарки, приходы которой к тоскующей, брошенной „барыне“ не казались ничуть подозрительными. Однажды, в на редкость прекрасную погоду, я заглянула к Доре и, найдя ее грустно-молчаливой, предложила поехать куда-нибудь так, без цели, просто проветриться. Был какой-то праздник. Извозчику было предоставлено самому избрать маршрут. На углу Б. Морской и Невского образовался невероятный водоворот от скопления пешеходов, карет, извозчиков. Над всем этим гомонащим, ругающимся извозничьим криком слышались бешеные ругательства городских и приставов. Затертые этой живой лавиной в центре, мы и не пытались и не могли двигаться вперед. В этом ошеломительном положении наше внимание привлекла к себе одна карета, медленно хотя, но всё же пробивавшая себе дорогу. Наши головы как-то сразу повернулись в сторону кареты. Совсем близко, мимо нас бок о бок, двигалась та, хорошо знакомая карета, с тем же кучером с крестами на груди, ослепительной бородой. У обоих нас в тот же миг вырвалось одно восклицание: „Плеве“. Из окна кареты, точь в точь, как раньше, в виденной нашими наблюдателями позе, подавшись вперед всем корпусом, впередались в толпу колотые суровые глаза, с напряженным выражением ожидания чего-то внезапного, непредвиденного. Этот тяжелый свинцовый взгляд быстро скользнул по толпе сидящих в экипажах. Непродолжительное время наш извозчик держался за ним, а мы, в простоте сердечной, рассчитывали проводить Плеве до его конечного пути, быть может узнать место, им посещаемое. Разумеется, расчеты эти оказались ничтожными. Карета катила с быстротой экспресса и через несколько минут утонула адали. Такую случайную встречу можно было принять за aberrацию, за обман зрения, так необычайна, проста, близка она была. — „Вот удивительный редкосный случай, — досадливо заметила Дора, — мы одни могли бы с ним кончить“. В эту прогулку Дора много вспоминала и рассказывала про Покотилова ¹⁾, с которым ее связывала давнишняя дружба, полная взаимности, искренней доверчивости, не носившей случайного характера. В этой дружбе, в их отношениях было много трогательного и высоко привлекательного. Они много работали вместе, жили и обменивались своими настроениями, своими едва родившимися мыслями, составляли как бы одну душу. Когда он болел и лежал в лазарете, страдая мучительно от упорной экземы, Дора всегда была около него, не оставляя одного, заботливо ухаживая, поддерживая бодрость, разгоняя мрачное настроение, удерживая от рокового шага.

И Покотиков платил ей трогательной братской привязанностью, бескорыстной заботой.

Простота Покотилова в отношениях к людям, сердечность были присущи ему так же, как прядение шелковичному червь. Рабочие, безработные, выпу-

¹⁾ Алексей Покотиков, чл. Б. О., погиб при снаряжении, для покушения на Плеве, снарядов в Северной Гостилице, в Петербурге, в ночь на 31 марта 1904 г. Ред.

ценные на волю из тюрьмы, просто нуждающиеся, обращались к нему не то что за помощью или с просьбой, а просто брали у него, как в кассе, и, когда уже не было в Полтаве Покотилова, они справедливо говорили: „эх, нашей кассы не стало“.

Лично мне не довелось встретить этого скромного, в высокой степени привлекательного работника нашей организации, но горячая и трогательная привязанность, обвеянная чистой нежной любовью Афанасия и Доры, печаль других товарищей, долго спустя после его трагического конца, создают прекрасный образ человека-друга в самом неприкрашенном, истинном смысле этого слова. Происходя из богатой семьи, он сам жил более, чем скромно, порой и вовсе бедно, голодно, держа всегда кассу открытой для нуждающихся.

Глава IX.

15 июля и после него.

В начале июля окончательно решили кончить работу слежки и выступить с нападением. „Барин“ привез нам, после состоявшегося совещания в Москве, распоряжение: нам с Дорой уезжать вон из города, непосредственным же участникам выбыть на день-два — кому куда, но чтобы утром 8-го вернуться обратно. Пятого или шестого июля утром я зашла на Жуковскую квартиру попрощаться с Дорой. Глаза ее сугубо заволковились печальной дымкой и ушли глубоко в себя. Она казалась подавленной большим, несходным горем.

Улаживая свои вещи, она упавшим голосом промолвила: — „Жестокое решили там, устранив меня от участия и высылая в самый опасный момент отсюда“. Она делала догадки и предположения, что против ее участия был, наверное, один „барин“ (Жорж). Это была правда, но не вся, что и побудило меня передать ей мнение Афанасия, касавшееся участия женщин, дабы смягчить тем ее неприязнь к „барину“.

Задолго еще до окончания обследования путей выезда Шлеве, за обедом перебирая различные способы борьбы с наименьшими жертвами, я высказала уверенность о возможности женского участия и даже неизбежности его. Афанасий очень решительно, весь пламенея, проговорил: — „Мы, участники, почли бы за позор пускать женщин, когда в работе есть мужчины“.

„Поэт“, оставшийся на своем посту торговца в разнос, 6-го должен был ликвидировать свое дело и вечером ехать в Псков, а 8-го утром вернуться обратно и занять назначенную ему позицию.

Помнится, Афанасий передал мне просьбу, не помню чью, — „барина“ или самого „поэта“, поехать с ним вместе и, пробыв в Пскове до вечера, проводить „поэта“ обратно. Предстояла необходимость торопиться на свою квартиру на Лиговке и развести турусы на колесах со своей хозяйкой, дабы не бросился в глаза мой поспешный, беспричинный отъезд. Притом же оставался кое-какой товар: немного земляники, семечки, абрикосы. В глазах угловиков, дорожащих каждым грошем, это составляло целое богатство и бросить его — зна-

чило породить толки не только среди квартирантов, но и целого двора. Перепродав свое имущество такой же уличной торговке, я предупредила хозяйку с радостным видом: „Сегодня на улице неожиданно встретила лакея своих бывших господ, вернулись из-за границы. Наказывали отыскать меня и привезти в имение к ним. Вот лакей и заедет вечером за мной“. Мои сожители по углам и соседи все радовались моему благополучию, нежданно свалившемуся, поздравляли, точно я выиграла по меньшей мере сто тысяч.

Среди огромной толпы народа, в вокзале III-го класса, виднелась задумчиво ходившая фигура „поэта“. По внешности он ничем не отличался от мелкого торговца или приказчика неважного магазина. Одежда не отличалась ни новизной, ни опрятностью: сильно потертый „спинджак“, рваный сплюснутый картуз и высокие сапоги. Немного впалые щеки, большие серые глаза, с тихим задумчивым выражением, и какое то разлитое во всех чертах поэтическое самоуглубление, по которому нетрудно было угадать с первого же взгляда человека тонкой и хрупкой организации, существо „не от мира сего“, пожалуй, немного странное.

Он радостно встретил меня, засуетился со своим узелком, не зная, как и куда его приспособить. В небольшом свертке находился весь оставшийся от торговли товар в виде папирос, спичек и проч. Устроившись по местам, „поэт“ со смехом рассказал о своих мытарствах по части ликвидации товара. Он едва не угодил в охранку, заподозренный на толкучке в сбыте воровских вещей. По счастью привез его свой извозчик, речительство которого рассеяло подозрение толпы. Ночью „поэт“ несколько раз подходил ко мне озобоченный, спрашиваясь, удобно ли, принес свое замызанное одеяло, составлявшее всё его богатство.

Рано утром мы приехали в Псков, которого никто из нас ни разу не видал раньше. Город походил на большой грязный сарай, наполненный рухлядью, навозом и всякой живностью. Редкие встречные вяло, нехотя плелись, как будто бесцельно и бездельно. Избегая возбудить провинциальное любопытство, мы, купив хлеба и земляники на базаре, ушли далеко за город и там на лугу отдыхали довольно долго. „Поэт“ тщательно обдумывал, в каком виде наилучше нести бомбу завтра, чтобы ловчее бросить ее и чтобы внешняя обертка какнибудь не помешала разрыву. Купленная стеклянная банка не казалась ему вполне подходящей формой. Теперь уже не помнится, на чем остановился „поэт“, кажется он решил просто завернуть ее в виде узелка в белевые тряпки.

Завтра, 8-го, „поэту“ приходилось первому идти на приступ и как ни стремился он бежать от мыслей об этом „завтра“, но настроение удержать было нелегко, оно сказывалось в словах, жестах. Глаза, эти милые большие кроткие глаза „поэта“, особенно вдумчиво сосредоточенно задерживались подолгу на предметах, не замечая их, будто скользя по ним. Он заглядывал назад на пройденную жизнь, восторженно и с трогательной нежностью говорил о близких ему лицах, с которыми судьба крепко и навсегда связала его недолгую жизнь. Чувства глубочайшего восторга и благодарности, восхищения

„поэт“ питал к Савинкову, пробудившему в нем мысль и красоту подвига жизни.

Завтра он пойдет на верную смерть, но она не пугает, не страшит того, кто сознательно, без колебаний, радостно отдает душу за страждущих и униженных.

— „Наше место недолго останется пустым, наша смерть—почки грядущих цветов“.

И не слышалось в его голосе ни малейшей натяжки, никакой надуманности. — „В последние минуты мои мысли будут принадлежать „бабушке“, беспредельно мною любимой, уважаемой“. Часа за три перед тем, как идти на вокзал, мы зашли в чайню, близ станции. В ней не было ни одного посетителя. Попросив письменные принадлежности и заказав порцию чая, „поэт“ долго и много писал матери в этом последнем своем прощальном письме. Через его душу, казалось, стремительно неслись самые разнообразные настроения, порой вызывавшие детскую улыбку ребенка при виде матери, то вдруг задумчивая грусть разливалась по его бледному лицу. Он весь ушел в эти воскресавшие в памяти образы дорогих, самых близких.

„Поэт“ сам рисовал образ своей матери, как вечной труженицы, всю свою долгую жизнь работавшей (отец рано умер), чтобы вырастить детей, поставить их на ноги. Ей обязан он был своей любовью к прекрасному и той мечтательностью, о которой он говорит:

Мечтательный ум мне природа дала,
Отвагу и пыл к порыванью.
А ненависть в сердце так жизнь разожгла.
И чуткость внушила к страданью...

В терроре он остался тем же нежным, задумчивым, с теми же грезами романтика и символиста, с чуткой детской без соринки душой.

Близился вечер, „поэт“ прервал письмо, чтобы идти на вокзал, и там всё время, посреди толкучки, он был задумчив, молчалив, бесслынный оторваться от охвативших его воспоминаний далеких детских лет, носившихся перед его глазами. Иногда, ничего не замечая около себя, он останавливался перед кемнибудь, глухой ко всему окружающему.

В самый последний момент отхода поезда, увозившего „поэта“ в Питер, он подал мне письмо с просьбой задержать пока или бросить в огонь, смотря по последствиям; потом снял с шеи крест, вынул евангелие и передал со словами: „возьмите, это спутники моих тяжелых холуйских дней“. Еще минута, и через окно вагона показалось вдохновленное лицо как бы отрешенного человека от всего житейского, переходящего ¹⁾.

¹⁾ Дальнейшая судьба Ив. Плат. такова: В 1905 г., в Москве, выследив вместе с Куликовским выезды Сергея, 2-го февраля И. П. Каляев один вышел на тот путь, по которому ездил генерал-губернатор Москвы. Был сильный мороз, поднималась вьюга; в 9 часов показалась карета, и Каляев узнал знакомую ему карету, кучера и бросился наперерез экипажу. Он поднял уже руку, чтобы бросить сварад, но внутри кареты заме-

Глава X.

В Вильно и Варшаве.

Час спустя я ехала в Вильно, где на другой день предстояла условленная встреча с Азефом. В Вильно должна была получиться телеграмма при удаче оконченного дела или приезд самого Жоржа с неблагоприятными вестями. На утро, выйдя пораньше из гостиницы, я пошла прежде всего отыскать сад, назначенный для встречи с Азефом, и побродить по незнакомому городу. Старый город, с кривыми, узкими улицами, до такой степени узкими, что идущие по разным сторонам улицы, могли бы позать руки друг другу. В такой узкой, темной щели дома походили на осиные гнезда, с такими же маленькими, как в улье, ячейками, открытыми прямо на улицу, и давали возможность видеть густоту населения каждого гнезда и всё, что там совершалось.

Трудно передать впечатление от этого кшащего, копошащегося муравейника. Такой ужасающей нищеты, убожества, гризи в таком объеме редко можно было видеть. Отец, еврей, был молотком по дребезжащему листу жести, среди косматой кучи детей. Здесь же, распатланная мать на таганце поджаривала детям „фриштек“. Трезвон и запах из каждой конуры наполняли всю узкую улицу. Впрочем, как говорил один остроумный еврей, в каждой семье были свои ценности: перина, салыный запсердак и талес. Чтобы хорошо согреться, обитатели этих ул-ц как бы жались ближе друг к другу спинами и таким образом защищали себя от холода.

тот вдруг кроме князя его жену Елизавету Федоровну и двух детей Павла—Марию и Дмитрия. Иван Платонович опустил уже поднятую бомбу и отошел. Карета остановилась у подъезда Большого Театра. Калев сказал товарищу: „разве можно убивать детей“. Он предложил на общее решение В. О. вопрос, вправе ли организация, убивая кн. Сергея, убить также жену и детей? Организация высказалась, что она не считает себя вправе поступить иначе, как поступил Калев.

4-го февраля И. П. Калев один вышел на тот путь, по которому ездил Сергей. Определенный час проезда прошел, и И. П. направился было уже домой, когда слышал топот мчащихся лошадей—то была карета Сергея.

У здания Суда, на расстоянии четырех шагов, с разбегу, Калев бросил бомбу в карету. Раненый сам, он без сопротивления отдался в руки полиции. Когда его вели, он кричал: „Долой, проклятого царя, долой правительство, да здравствует партия с. р.“. Его посадили в Якиманскую часть, но вскоре перевезли в Пугачевскую башню, куда через несколько дней явилась к И. П. жена убитого Сергея.

Об этой встрече Калев писал: „Мы смотрели друг на друга с некоторым мистическим чувством, как двое смертных, которые остались в живых. Я—случайно, она по воле организации, по моей воле, так как организация и я обдуманно стремились избежать излишнего кровопролития. И я глядел на вел. княгиню, но не мог не видеть на ее лице благодарности, если не ко мне, то во всяком случае, в судьбе за то, что она не погибла“.

Это убийство было обвинительным актом против царствующего дома. „Я исполнил только свой долг перед родной,—говорил Калев на суде,—и вижу пробуждение и возрождение к новой жизни трудовой России“.

10 мая Иван Платонович был казнен в Шлиссельбургской крепости.

Возвратившись от этой кошмарной действительности в сад, я скоро заметила идущего мне навстречу Азефа. Он казался сильно взволнованным, его глаза бегали еще больше...

— „Условленной телеграммы нет, — сказал он хмуро, опасливо поглядывая кругом, — значит полная неудача или провал. Два раза был на станции, зайду еще раз, — выло процедил он. — Завтра с приездом „барина“ всё разъяснится“.

Ночью не спалось; мрачные думы, как черные вороны, отгоняли сон. Утром поскорее хотелось узнать, тянуло в сад, навстречу едущему из Пинтера.

В широкой аллее ботанического сада, густо набитой публикой к двенадцати часам дня, долго пришлось толкаться, всматриваясь в толпу, и я уже сомневалась возможности увидеть в этом народном сборище знакомое лицо, когда кто-то вдруг сзади тяжело положил мне руку на плечо. Не „барина“, а лицо, залитое горькой улыбкой и смущением, Афанасия увидела я.

— „Вы сердитесь?“ — было его первое слово. — „Что вижу вас живого?... За что же?“ — „Опять неудача, — глухо выговорил он, — еще отяжка по моей вине“. — И он, облегчая свою тяжесть, камнем лежавшую у него на сердце, рассказывал подробно, пока мы шли в другой сад, каким образом они перепутали место свидания и упустили Плеве. — „Все-таки они нас не проглотили еще, в следующий раз не упустим“, — уверенно и твердо вслух думал Афанасий.

Азеф, слушая доклад Афанасия, серьезничал, крутил головой, нервно передергивал плечами, вытягивая сжатые губы, и выражал особое неудовольствие, что „барин“ сам не явился, и опять снова и снова спрашивал: „вы надеетесь на 15?“... входил с распросами о самых незначительных подробностях.

На другой день в Вильно приехали остальные участники, которые оставались здесь до 14-го. Жили они в разных местах, не зная, кто где живет. Каждый день сходились в очень красивом густом Гедиминовском саду, расположенном по склонам горы. На самой вершине сохранились массивные развалины замка того же названия. Хорошая погода позволяла всем оставаться в этом саду почти целый день, и туда же неизменно являлся и Афанасий, перегруженный покупками на обед, живой, бодрый, для всех желанный. Эта временная балаганная жизнь, накануне уже витавшей над головою каждого гибели, дружила всех в одну семью, в крестных братьев.

Обсуждались сообща и порознь все могущие встретиться случайности; желательно было предугадать, предусмотреть прискорбные ошибки; самая точная инструкция вырабатывалась для каждого участника в деле; исправлялось и договаривалось упущенное другим, и не было ни обиды, ни раздражения. Там впервые появился, между работавшими уже ранее, юный, худенький, без признаков растительности на лице, тщательно одетый Сикорский. Присутствие столь юного хлопца в серьезном деле не вполне было натурально. Говорил он очень плохо по русски, прибавляя почти к каждому

слову „этта,“ видимо, вследствие малого запаса слов в его распоряжении. Это был симпатичный юнец и только. Азеф тщательно осматривал его со всех концов, как обнюхивает торговец доброкачественность товара. Почти половина присутствующих была против участия Сикорского, у которого вряд ли имелось надлежащее представление о всех грядущих последствиях. Азеф, как будто, был сам того же мнения, но, однако, в конце концов заметил: „его роль второстепенная, наверняка останется цел“.

Там же, на Гедиминовской горе, сообщая, в присутствии всех работников, был изменен план выступления. Назначенный первым металлщиком „пост“ передвинулся на место Сазонова („Афанасия“). Последний, как более ловкий, сильный и находчивый, становился первым металлщиком и самым серьезным, ответственным лицом этой группы; от удачно брошенного им сарая спасенными оставались все остальные участники. „Афанасий“, по окончательном решении порядка выступления, тогда же уехал к оставшимся в Петербурге „Павлу“ (Швейцеру) и „барину“. Там втроем они окончательно должны были, обсудивши все полностью, утвердить виленскую комбинацию.

За день до отъезда участников в Питер, Азеф, знавший отлично все рестораны, сады и окрестности городов, предложил на утро собраться подальше от города. В прекрасном большом сосновом лесу сошлись после обеда прибывшие, пришел и Азеф. Обычно неразговорчивый, на этот раз он проявлял преувеличенную речистость, внимание, непритворную сердечность. Подолгу, уклоняясь от компании, в отдельности с каждым, он вел беседу, давал указания, спрашивая, нет ли желания кому чего передать, рекомендуя защитника и т. д.

Утомленные к вечеру большой прогулкой и напряженными думами о завтрашнем дне, мы медленно возвращались в город. Азеф посоветовал всем зайти в какой-нибудь ресторан напиться чаю. Но рестораны не встречались, сильно вечерело, и мы вошли в первый встретившийся невзрачный не то трактир, не то кабак, с довольно пакостным видом. Заспанная, вялая прислуга с трудом появляла, чего хотят поздние посетители. В маленькой, тускло освещенной комнатке сидели задумчивые обреченные, перекидываясь ничего незначащими словами. Один Азеф казался спокойным, внимательным, преувеличенно ласковым.

Я ушла раньше всех одна, но через пять минут меня нагнал Азеф, говоря, что я иду неправильно, и предложил проводить до квартиры. По дороге разговор возобновился о Сикорском, и снова он ответил как и раньше: „Бояться за него нечего, роль его второстепенная, маленькая“.

Недалеко от моей квартиры он указал гостиницу, в которой жил. Мы прошли мимо парадного подъезда, не освещенного, с плотно запертой дверью, без заметного какого либо следа жизни, какой либо человеческой души. Потом Азеф говорил, будто при нашем проходе мимо гостиницы у двери стояла филерская фигура, следившая за ним.

При прощании Азеф сказал, что он возвращается к оставшимся еще посидеть вместе, сократить им эту ночь, а завтра утром он едет в Варшаву,

куда и мне было предложено передвинуться. Условившись, в каком месте встретиться в Варшаве, он пошел назад.

Еще из дней ранней юности, по какой-то непонятной причине, моя память сохранила самый восторженный отзыв нашей начальницы и яркие рассказы ее детям о Варшаве, о ее прекрасных садах.

Поэтому, прибыв через день туда, очень хотелось осмотреть весь город. Путь к действительно красивым садам и паркам легко было отыскать, зато самый город представлялся сильно спутанным, измельченным улицами, улочками и мелюзгой-переулками. Поражала уличная, отельная чистота, выдержка обывателя, деликатность прислуги. Салы с раннего утра до позднего вечера переполнялись самой разноклассной публикой, почти сплошь занятой или чтением или ручной работой. Масса детворы играла сама, не мешая матери или бонне отдаваться чтению или вышиванию, изредка подвиганием глаз убеждавшейся, что ребенок цел и невредим.

14 июля, не припомню сейчас где, произошла встреча с Азефом, в роскошном ресторане, в саду. Занявши столик, я с любопытством осматривалась кругом, как самая настоящая деревенщина. Обстановка, люди, большой оркестр, наполовину состоявший из барышень, давно невиданное разнообразие лиц, пестрота костюмов отвлекали всё внимание. Незаметно бежало время, и замедление Азефа нисколько не тревожило меня. Внезапно он откуда-то вырос и занял место около меня, у стола, начав объяснять свое запоздание. В этом ресторане шпикеры свили свои гнезда; они, кажется, так заметили его при входе, и потому он вынужден был прибегнуть к маленькой хитрости: пригласивши трех барышень из оркестра, он с ними немного кутнул, вон там, будучи скрытым, но всё видя. Барышни-немки, прекрасные девушки, сильно жаловались на своего хозяина, жестоко их эксплуатировавшего, скверно содержавшего и т. д. Азеф советовал им поднять бунт, бороться с хозяином, а на вопрос, какими средствами, порекомендовал на первый раз, хотя-бы путем гласности, путем печати.

— „Кажется,— рассказывал он загадочно и хитро улыбаясь,— они приняли меня за литератора, просили помочь им своим знанием, своей умелостью“.

Простота его передачи, самообладание, ловкость подкупали до-нельзя, хотя чуть-чуть зерно сомнения закрадывалось, и невольно глаза разыскивали тех многочисленных шпиков, про которых так правдиво говорил Азеф. Куда же они сейчас скрылись? не есть ли эти агенты плод его чрезмерной боязни, опасливости? ¹⁾ Мы недолго оставались в ресторане. Перед уходом Азеф спросил, верю ли я в завтрашний успех? Прощаясь, он с тревогой в голосе сказал:— „Что-то ждет нас завтра?“

Весь этот день погода стояла зачаровывающая, не хотелось идти в гостиницу, таянуло в сад, на люди, беспокойная тревога сверлила голову.

¹⁾ По сообщению М. Бакая за Азефом „Виноградовым“ — в это время, действительно, следили филеры Варшавского окр. отд.

Да, „что день грядущий нам готовит?“... Мысль уперлась на одном пункте, чувствовалось ощущение какой то жуткости и невыяснимой печали... спя не было. На другой день, 15-го утром, на Маршалковской ул. Азеф встретил меня тем же вопросом. Мы пошли с ним всё прямо, пока не вышли за город. Идем медленно, тихо, перекидываясь редкими, малозначительными словами. Дорогой Азеф опять, со всех сторон, детально разбирает правильно ли организовано нападение, все ли выдержат свою роль до конца, не оплошает ли кто?— „Вот Сикорский беспокоит меня, справится ли он?“— За городом, на краю широкой шоссеиной дороги, затененной огромными, с пышной зеленью, деревьями, мы делаем привал для отдыха, и тут Азеф поинтересовался моим мнением о „барине“ (Савинкове), и о новых, иных чем мы—прежние, не похожих на нас работниках. Потом он долго и распространенно стал передавать про съезд в Москве, на котором были он, Савинков, Егор Сазонов и „Павло“ (Швейдер). На этом съезде решался вопрос—кому выходить на Плеве, в каком порядке, и проч. Савинков внес там предложение Доры, просьбу ее допустить совместно с другими, а, пожалуй, буде найдут ее способной, предоставить ей первое место при выступлении. Большинство присутствующих на съезде ничего против участия Доры, по существу, не имело,—„если хочет, почему бы нет“,—заметил Павел. Очень настойчиво и упорно против высказывался Савинков, и это горячее противодействие, видимо, не было приятно ни Азефу, ни Павлу.— „Почему же,—в свою очередь спросила я,—Савинков отклонил предложение Доры: он опасается за ее слабость, недовольство, боится, наконец, неудачливости?

— „Кто его знает,—с едва заметной презрительной насмешкой в глазах, ответил он,—на Дору можно положиться вполне: она девушка умная, находчивая, быстро соображает. Савинков убедительного для нас ничего не говорил, только под конец, как наисильнейший аргумент против допущения Доры, было высказано им то, что его мать ему никогда бы не простила, если бы мужчины переуступили женщинам те обязанности, какие лежат на них. — Вы понимаете, конечно, разве это убедительный довод? ведь Дора же сама просится“. Среди этого разговора, Азеф, подавляемый как будто неотвратимой мыслью, несколько раз восклицал: как то там теперь?

К часу кончился проезд Плеве, телеграф ра несет повсюду весть, если удачно, если — нет участники дадут знать о постигшей их неудаче. Мы направляемся в город. На Маршалковской, недалеко от Венского вокзала, навстречу к нам, выкрикивая что то по-польски звонко, четко, бежали мальчишки с телеграммами. Азеф стремительно выхватил у малыша один экземпляр, прочитал вслух: „брошена бомба в карету министра“. И только! — „Брошена бомба,—как то растерянно, смущенно, повторяя Азеф.— Неужели неудача?“ Торопливо двигаемся дальше. Еще несколько домов — опять неслись газетчики с какими то непонятными новыми словами. Азеф рванул дрожащими руками новую телеграмму „Zamordowano Plewego“, громко читал он, и вдруг он осунулся, опустив свои белые руки вдоль тела.— „У меня поясница отяжалась“ — объяснил он. Zamordowano, Zamordowano Plewego!!!

Громче и чаще выкрикивались эти слова, разносимые, подобно пущенным пушинкам по ветру, по всем улицам, закоулкам, поднимались в высь и звучали, как пасхальные колокола в воздухе. Всё наполнилось одним этим звуком, вытеснявшим всякие другие. Люди торопились куда-то, другие спешили в рестораны, в кафе с телеграммами в руках, или с этими черными словами на языке, с выражением неудержимой радости на лицах. Во всех витринах магазинов через пять минут, вместо товара, разостлались большие белые листы бумаги с одной черной, крупной, режущей глаза строчкой из двух слов: „zamordowano Plewego“.

Азеф внезапно остановился и, обращаясь ко мне, спросил: — „Что же значат zamordowano? убит или только ранен?“

Какое то затмение притупило способность понять смысл этого слова. На предложение зайти в любой магазин, спросить точный перевод этого слова, он запротестовал, настоятельно требуя не обращаться ни к кому. — „Сейчас я поеду в какое-нибудь правительственное учреждение, хоть в „Варшавский Дневник“ и там узнаю все подробности. Подождите меня вот здесь“. Он уехал. Со стороны Азефа такая излишняя осторожность казалась уже ничем необъяснимым пересолом, это граничило с простой трусостью.

Я зашла в магазин обуви, хозяин, которого к счастью, говорил, хотя и мало и дурно, по русски. На мой вопрос, что значат выкрикиваемые на улице слова и по какому случаю такое торопливое движение? — он, приняв меня за самую простую провинциалку, совсем просто ответил: — „Это убили министра Плева, zamordowano — значит убит. А убили его социалисты... такие люди есть. Вы верно не знаете, что значит министр?“ — и он начал сложно, беспорядочно определять это звание, сам не находя подходящих слов. Я делаю утвердительные кивки головой, что, мол, всё поняла. Простой вид, мещанский костюм действует располагающе, не возбуждая ни малейшего подозрения.

Часа полтора спустя вернулся Азеф... Он ходил в банк, потом в одну редакцию. — „Дело сделано чисто, завтра придет сюда Савинков, — быстро на ходу, передавал он, — явка назначена до 12 часов в ресторане, а в 2 часа на Уяздовской аллее. Запомните, пожалуйста. К 12 часам я буду в ресторане, необходимо купить вам подходящий костюм, ресторан первоклассный“. Передавая разные поручения, просьбы, повидать Павла, сказать тому то-то и то-то, он — странно торопился, точно собравшись в дорогу.

На другой день к 12 часам мои ожидания были напрасны: Азеф не пришел. Необходимо было торопиться в Уяздовскую аллею встретить Савинкова. Проблуждавши без толку по аллее изрядное время, я уже решила вернуться домой, когда неожиданно заметила издали знакомую фигуру. Совсем уже близко глянула на меня человек странный, почти незнакомый. Охваченная сомнением, не ошибаюсь ли, я запнулась, боясь сделать непоправимую ошибку.

Лицо это было и то и не то, как местность после наводнения; оно отражало непережитый еще ужас, наполнявший душу Савинкова. Нужно было внимательно и напряженно всмотреться в мертвенно бледные черты, чтобы всякое сомнение исчезло.

Мы стояли с Савинковым, как бы на краю засыпавшейся могилы, и он прерывающимся голосом рассказывал конец нашего дела, последние, как мы думали тогда, минуты жизни нашего брата „Афанасия“...

Тут же Савинков сообщил, что Азеф спешно уехал за границу, заметив за собою явную слежку.

П. Ивановская.

А. Д. Протопопов.

В личности Николая II, во всем антураже царскосельского дворца изживало себя вполне и окончательно, изживало до последней черточки правящее русское дворянство. Дегенерация, не только политическая и социальная, но и физиологическая, доведена была до крайнего предела. За Царскосельским двором начинался уже прямо сумасшедший дом, клиника для больных или тюрьма для преступников. Объединенное дворянство незадолго до революции отшатнулось от царя: оно испугалось своего смертного часа, ужаснулось собственного облика в последнюю роковую минуту.

Общество Николая II накануне краха составляли барон Фредерикс, генерал Воейков, адмирал Нилон; общество Александры Федоровны—Вырубова; правительство возглавлял князь Голицын. Всё это классические образцы русского дворянства, давно пережившего свое время, истерпевшего все свои силы. Все они до последней минуты, до рокового конца остаются верны русскому средневековью, все они холопы русского царя и на народ смотрят поэтому как на своих холопов. Они ничего, ровно ничего не понимают в том, что происходит вокруг них, детски-беспечны и детски-пугливы и, как 80-летний ребенок барон Фредерикс, узнают о революции только тогда, когда их привозят в тюремный каземат. Для классового анализа революции это элемент химически чистый. Только Воейкова частично коснулась буржуазная порча: благородный дворянин не чужд был коммерческой наживы. Остальные по своему бескорыстны. Они любят власть ради власти. В своем замкнутом кругу они были последними верными слугами царя. Они сохранили верность даже тогда, когда в страхе за свою жизнь отшатнулись от Царского Села великие князья и виднейшие монархисты.

Глядя на галерею лиц, окружавших царя накануне революции, легко прийти к выводу: в феврале революция покончила с дворянской помещицкой диктатурой. Дворяне бесславно доиграли историческую свою роль и провалились в небытие. По сценарию режиссер должен выпустить на сцену буржуазию — в новых костюмах и в новых лицах. Этого требует историческая схема. Но наперекор схеме в историческое действо 1916—1917 г.г., вмешалось одно лицо, которое портит теоретический чертёж и нарушает цельность и выдержан-

ность стиля. Это лицо—Протопопов. Богатейший суконщик России, доверенный человек русского торгового капитала, признанный вождь аристократии денежной и банковской, — он разделял судьбу аристократии родовой и землевладельческой. Протопопова нельзя уложить в одну линию с Фредериксом, Голицыным, Воейковым, хотя и многое объединяло их между собой, и не последнее место занимал Протопопов в распутинской свистопляске вокруг трона. Роднит Протопопова с прочими героями Царского Села и общая печать вырождения; он столько же министр, сколько пациент клиники нервных больных. Но всё же пришел он в Царское Село из другого лагеря и с этим лагерем связей не порывал до последней минуты.

Это не только портит историческую схему и единство выдержанного дворянски-аристократического стиля; это в свое время в сильнейшей степени портит чертежи и схемы претендовавшего на власть „прогрессивного блока“ Государственной Думы. Штурмеры и Голицыны компрометировали, так называемую, царскую бюрократию, Протопопов — компрометировал, так называемую, „общественность“. Поэтому его так страстно ненавидели лидеры кадетско-октябристского блока. Чтобы спасти свое положение и свою репутацию, Протопопова объявили сумасшедшим, невменяемым. Это упрощало и объясняло загадку. Это снимало ответственность, хотя бы и косвенную, с вождей руководящего думского большинства. Впоследствии М. В. Родзянко заявлял, что Протопопов — человек больной. „Я считаю, — говорил он, — Протопопова душевно-больным человеком. В последнее время у него были пункты, на которых он прямо выходил из себя. Когда затрагивали промышленность, он начинал говорить несусальные вещи. Как-то, будучи у меня, он схватил меня за пуговицу, потащил в кабинет и начал: „Я спасу Россию. Я чувствую, что я призван вытащить Россию из беды, спасти“. Он проповедывал, что промышленность должна руководить всею жизнью страны и быть рулем государственной жизни... О том, что министр внутренних дел — сумасшедший, я докладывал и императору“... ¹⁾

Из этих слов Родзянко видно, что предмет помешательства Протопопова не лишен был особого интереса. Если верить Родзянко, то Протопопов помешался на вопросе о роли торгово-промышленной буржуазии в управлении страной. Бывший французский посол при русском дворе, пресловутый Морис Палеолог, не задается целью социального анализа помешательства Протопопова, но и для Палеолога ясно: Протопопов сумасшедший, и причина сумасшествия — прогрессивный паралич.

Молва этому охотно поверила. И в историю, созданную молвой, Протопопов вошел, как психически-больной, невменяемый человек, — жалкая, полукриминальная фигура, внушающая не столько ненависть, сколько отвращение.

Когда же Протопопов сошел с ума? Когда началось его помешательство? В середине июля 1916 г. вернулась в Россию „парламентская делегация“, —

¹⁾ Из воспоминаний М. В. Родзянко „Былое“, кн. 21 (1923), с. 238.
Былое № 23

члены Государственной Думы и Государственного совета, объезжавшие с патристическими задачами дружественную Россию Европу. Во главе этой делегации стоял Протопопов. Он приехал несколько позже, задержавшись в Лондоне на совещании Барка с английскими банкирами. Члены делегации не только не наблюдали признаков помешательства в Протопопове, но, напротив, единодушно и в самых лестных выражениях свидетельствовали об его уме, такте, находчивости, красноречии. Родзянко говорит в своих „Воспоминаниях“:

„Ловкий человек, Протопопов в эту поездку очаровал государственных деятелей за границей, дипломатов, членов Думы“¹⁾.

А перед самой поездкой за границу Родзянко усиленно рекомендовал бывшему царю Протопопова на пост министра торговли и промышленности, и при том не в „обновленном кабинете“, не в правительстве думского прогрессивного блока, а в реакционнейшем правительстве Горемыкина — Хвостова. И никакого сомнения нет в том, что в проектах состава ответственного министерства, гулявших по рукам в среде „прогрессивного блока“, Протопопову отводилось видное и почетное место.

Но не только члены Государственной Думы, дипломаты и государственные деятели вкупе с Родзянко были очарованы Протопоповым. Вот что писал Амфитеатров о причинах успеха русской делегации в Италии.

„На первом плане надо поставить аристократический такт, неисчерпаемую любезность и ясную манеру выражаться Протопопова, который буквально очаровал римское общество всех его классов, и редко видел я человека, которого бы Рим полюбил так быстро и так сердечно“²⁾.

Амфитеатров тоже очень быстро и сердечно „полюбил“ Протопопова. В это время зарождалась „Русская Воля“, в которой Амфитеатрову предназначалось место одного из руководителей. Амфитеатров, несомненно, увлекался, говоря о восторгах „римского общества всех его классов“, но как же он, — умный, наблюдательный, издавший виды журналист, — не разглядел в Протопопове больного, сумасшедшего человека?

И добро-бы Протопопов был просто светским любезником, просто болтуном — *charmeur*’ом, актером, умеющим произносить трескучие монологи на модные во время войны и банальные темы. Нет, в составе парламентской делегации Протопопов играл роль наиболее почтенного и тяжелого орудия. На общие политические темы общие политические фразы говорил Милюков, а Протопопов выступал преимущественно по вопросам экономическим. В Париже, на свидании с представителями французской промышленности, Протопопов говорил о валютных вопросах, о морских фрахтах и т. п. В Эдинбурге — о морской торговле с Россией и о выходе к свободному морю; в Лондоне — на совещании с английскими банкирами — о финансовых вопросах и специально о займах.

¹⁾ Ibid., стр. 236.

²⁾ „Русское Слово“. № от 23 июня 1916 г.

И никто не замечал, чтобы Протопопов заговаривался, или нес чепуху, или выкидывал необычные коленца. Напротив, у всех за границей должно было сложиться убеждение, что Протопопов это наиболее выдающийся государственный деятель России, человек с блестящим будущим, превосходно знающий промышленность и торговлю своей страны, человек не слова, а дела, с богатой, житейской практикой.

В конце июня Протопопов, окруженный успехом, вернулся в Россию, недолго пробыл в Петрограде и Москве, был вызван к царю в ставку и уехал к себе в деревню. А в начале сентября приехал в Петроград и сразу попал в министры и в сумасшедшие. За этот промежуток времени произошло только одно событие, которое бросило некоторую тень на ослепительно блестящую карьеру Протопопова и породило недоумение в думских кругах к нему близким. Это—знаменитое свидание в Стокгольме с Варбургом, советником германского посольства. Таинственность и неожиданность этого свидания смущала даже друзей Протопопова. Но с какой энергией Родзянко и все вожди прогрессивного блока встали на защиту Протопопова, которого неумеренные националисты пытались заподозрить в скрытом германофильстве. Частное совещание членов Государственной Думы, выслушав объяснения Протопопова, недостоверные, наивные, сбивчивые, несколько не разъяснявшие загадки, вполне ими, однако, удовлетворилось и реабилитировало Протопопова. Доверие к нему было так велико, что члены Государственной Думы и не подумали о необходимости проверить показания Протопопова и запросить других участников свидания с Варбургом. Только впоследствии выяснилось, что Протопопов беззастенчиво лгал и дурачил почтенных мужей Государственной Думы, как малых детей.

Впоследствии многое выяснилось и прежде всего выяснилось политическое ничтожество Протопопова. Но тогда, в августе-сентябре 1916 года, он был, пожалуй, самым популярным человеком в правящих и руководящих кругах петербургского „большого света“. Поездка за-границу во главе парламентской делегации выдвинула его на первое место в Государственной Думе. Он стал возможным премьером будущего чаемого ответственного министерства. В то же время его вызывал к себе и любезно с ним разговаривал Николай II. Он был доверенным лицом торговой и промышленной буржуазии, королем суконщиков, банковским воротилкой; и вокруг него же стали группироваться некоторые круги либеральной буржуазной интеллигенции, с профессорами Э. Гриммом и Н. Гредескулом во главе, с публицистами Амфитеатовым и Таном, с писателем Леонидом Андреевым. Он затевал большую патриотическую газету, и в то же время не случайно с тайной надеждой смотрели на него дипломаты Германии.

Сумасшедший?—кто решил бы так назвать его... Авантюрист?—пожалуй. Но тогда видели в этом не авантюризм, а широту размаха, смелость инициативы, предприимчивость, активность, волю. Надо вспомнить, какое время переживала Россия перед революцией, и понятна будет, помимо всякого суждения, тайна успеха Протопопова.

II.

В самых широких кругах русского общества, от дворянства до втянутой в „оборончество“ части рабочего класса, 1915-ый год был годом тревоги, 1916-ый—годом отчаяния. Патристические иллюзии давно были развеяны; только печать еще надсаживалась, да в официальных выступлениях правительства и либеральной интеллигенции соблюдалась надлежащая бравада. Стало совершенно ясно, что Россия войны не выиграет, что катится она в пропасть, на дно которой ни у кого не было мужества взглянуть. Все устали. Народ начал поменьку разбредаться с фронта. Это называли тогда дезертирством, но какое же это дезертирство—массовый уход? Оглядываясь теперь спустя пять лет на прошлое, видишь отчетливо, что стихийная демобилизация русской армии началась еще в 1916 году и шла непрерывно в течение почти двух лет: сначала десятками тысяч, потом сотнями, а потом и миллионами.

Чем ближе были общественные круги к правящему центру, тем больше было в них сознания безнадежности и полного провала. Николай II был живым воплощением обреченности. Близкие к нему люди, наблюдавшие его в последние месяцы перед катастрофой, единодушно говорят об его фатализме, апатии, потере веры. Лучше других он знал или чувствовал, что идет навстречу концу. Лицо его было маской равнодушной и мертвой любезности. Другие вокруг него еще барахтались; цеплялись, старались вынырнуть. Он прямо и ровно шел ко дну. Чувствуя, что династия и монархия гибнут, реакционное дворянство пыталось ухватиться за либеральную буржуазию. Пуришкевич, Шульгин, Родзянко лезли не по дням, а по часам, цеплялись за прогрессивный блок, за кадетов, за дворцовый переворот. Они верили в других, потому что не верили в свои силы и знали собственное свое ничтожество.

Кадеты находились дальше от правящего центра. Положение представлялось им катастрофическим, однако, не безнадежным. Они переоценивали значение Государственной Думы, как радикально-демократические элементы переоценивали значение политической революции. Наиболее беспечно и наиболее оптимистически настроена была радикальная интеллигенция. Алексинскому легко было призывать к „войне до конца“; Николай II знал, что конец уже наступил.

Войска еще стояли на фронте, была видимость грозной силы, и никто не решился бы вслух сказать, что дело проиграно. Поэтому так уверены и тверды были военные специалисты. Но неудержимо шел вперед хозяйственный развал. Ему дали имя продовольственного кризиса и, успокаивая себя этим именем, пробовали его лечить. Но это был не кризис, а конец. Это была голодная смерть, которая прорвалась в тыл армии и— всё равно, разогнала бы ее, если бы даже не вспыхнула в феврале революция в Петрограде. Германии удалось на целый год отсрочить для себя этот конец,—удалось сверхестественным напряжением сил и применением удивительной системы „военного социализма“. Но даже в Германии, с ее категорическим императивом

„гражданского мира“, классовые противоречия разорвали систему, и рабочие, прежде чем помереть в организованном порядке, подняли восстание и прекратили войну.

Что уж говорить о России... Попытка организовать хозяйство применительно к нуждам войны была сделана и у нас. Было введено некоторое государственное регулирование, установлена система твердых цен, ограничена частная инициатива. Всё это напоминало западные образцы, но в той же мере, в какой министр Хвостов напоминал Люйд-Джорджа, Гельфериха или Альбера Тома. Всё перепуталось и пришло в величайшее расстройство. Промышленность превратилась в хищнический разгул; вся торговая Россия загноилась бешеной спекуляцией; крестьяне перестали возить хлеб; рабочие бастовали. Патристические газеты, либеральная оппозиция, просвещенные коммерсанты и социалисты-оборонцы вызвали к чувству долга и к объединению всех классов. Но все классы занимались каждый своим делом, и на одного просвещенного коммерсанта приходилось по тысяче остервенелых хищников. Правительство металось из стороны в сторону. Оно боролось как умело со спекуляцией. Лихие жандармские генералы брались за решение экономических проблем и швыряли в тюрьму десяток другой видных заправил финансового мира. „Митьку Рубинштейна“ прятали за решетку и выжидательно смотрели, не поднимется ли от этого курс русского рубля. И в то же самое время другие финансовые проходивцы, Мавусы и Ярошские, водили при посредстве Распутина за нос царя и его министров. Крестьяне не давали хлеба; его отбирали насильно, и твердые цены стали синонимом повальной реквизиции. Все средства, какие были в распоряжении царского правительства, были перепробованы, и все государственные мужи, которым можно было довериться, были испытаны. После А. Н. Хвостова, очередного спасителя-бюрократа, можно было искать только среди профессиональных шулеров и уголовных преступников. Либерально-буржуазная оппозиция делала вид, что она знает секрет спасения и была даже, пожалуй, убеждена, что есть у нее такой секрет. Земский и городской союзы, успевшие с грехом пополам организовать уголок российской жизни, были главным козырем в оппозиционной игре. Но дальнейшие события показали, что и у либеральной оппозиции и у радикальной, демократии ни программы определенной, ни хозяйственных талантов, ни организационных сил в том масштабе в каком требовали этого грозные события, не оказалось.

Правительство было бессильно; в сущности, оно отсутствовало уже задолго до революции. Во всех воюющих странах образовались во время войны две власти: военная и гражданская, и первая вытеснила вторую почти во всех областях хозяйственной жизни. Промышленность стала военной промышленностью; верноподанные превратились в военно-обязанных. Бравые генералы управляли целыми отраслями хозяйства, сдавали многомиллионные подряды, проводили в спешном порядке железные дороги. Законам полагается молчать во время войны; да они и в мирное время не отличались особым красноречием. Ловкие люди здорово наживались вокруг подрядов и заказов, и в то же

время промышленность и торговля приходили в окончательное расстройство. Капиталисты шалили от фантастических „сверх-прибылей“, но не были уверены, не попадут ли они завтра в тюрьму. Поэтому недовольны были даже те, кто жирел и наживался.

Перед всеми, и больше всех перед правительством вставал грозный призрак завтрашнего дня. В 1916-ом году думали уже не столько о войне, сколько о том, что будет после войны. Даже патристически-либеральная оппозиция, сложившая с началом войны оружие критики, в 1916-ом году втянулась в ожесточенную, сначала подпольную, — вернее, закулисную, а потом и открытую борьбу за власть и за реформы. Постепенно умами овладело сознание, что революция неизбежна. Крайне левые элементы готовились к ней в подполье. Умеренные — гнали мысль о ней и старались правительственными сменами и куцыми реформами предупредить ее приход.

С отчетливостью сознания приговоренных к смерти правящие круги понимали, что продолжение войны — это революция. И они видели ее предрасположение задолго до того, как она показалась, еще в смутных очертаниях, всему обществу. У страха — глаза велики. Страх преувеличивает опасность, но он же и подсказывает о ней. Оппозиционная печать издевалась над трусостью правительства, над его манерой преследования, над несчастной склонностью всюду видеть революционеров и заговорщиков. Конечно, у страха глаза были велики, когда в Царском Селе приписывали Гучкову тайное руководство революцией, а баранам октябристского-думского стада революционные доблести тигров. Обезумевшие от страха царственные кликуши готовы были в Родзянке видеть будущего Дантона, а в Милюкове — Робеспьера. Это было глупо. Но не так уж умно было и требовать от Николая II министерства доверия. Верный инстинкт подсказывал бывшему царю, что в 1916-ом году никому доверять нельзя; что оппозиция либо ненадежна, либо слаба; что она не стена, за которой можно спрятаться от революции, а только мостик, по которому легко и без задержки перешагнет революция. Правительство боялось общественных организаций, преследовало земский и городской союзы, видело в их руководящих ячееках будущий состав революционной власти. Это казалось только реакционной мнительностью, только ослеплением упрямо держащейся за власть бюрократии. Но права-то была она, эта упрямая, но и опытная, а главное руководимая инстинктом самосохранения, царская бюрократия.

Нельзя было доверять князю Е. Львову, — и не только потому, что он, действительно, потихоньку примеривал на себя мундир председателя совета министров и в тесном кругу составлял список будущего кабинета, а и потому, что никудашным он оказался председателем, и революционная стихия смела его с такой же легкостью, как и его предшественников.

В Царском Селе относились к войне, пожалуй, серьезнее, чем в Петрограде. Там если и не понимали, то чувствовали, что спасти существующий порядок можно только единственным путем — прекратив войну. Мысль об этом созрела вполне. Черносотенная печать, — „Земщина“, „Русское Знамя“, — уже давно подсказывали полунамеками, намеками и даже открыто, что воевать

России не за чем, что проливают кровь русские солдаты за английские интересы, и что для прекращения войны хороши все средства, вплоть до сепаратного мира. В мемуарах бывшего французского посла Мориса Палеолога очень хорошо отражены эти колебания русского реакционного общества в сторону сепаратного мира. Палеолог не доверял двору, и двор явно сторонился Палеолога. Александра Федоровна вела настойчиво свою негласную кампанию и обрабатывала царя с помощью Распутина и его клики. Всё это происходило в правительственном подполье, по секрету от России и от всего мира, но симптомы готовящегося поворота были слишком очевидны, и патриотические круги забили тревогу. Болтливый германский кронпринц пишет в своих мемуарах: „Благоприятная минута для заключения мира с Россией представлялась в конце лета 1915 г., когда военное положение России было очень плохо. Царь как раз назначил тогда Штурмера главой министерства, а этот человек был, несомненно, расположен к нам. Я даже видел в этом назначении неоспоримый признак желания начать переговоры с нами о мире. Убеденный, что это клонится к нашему благополучию, я всячески доказывал нашим правителям, что необходимо как можно скорее схватиться за протянутую руку. Летом и в начале осени наши дипломаты вели об этом частые переговоры между собой и с главной квартирой, но к практическому осуществлению так и не пришли. Вместо того, чтобы попробовать вступить в переговоры со Штурмером, дело ограничивалось тем, что стали разливаться в бесполезных жалобах на невозможность сношения с иностранными дипломатами по условиям военного времени“...¹⁾

Сепаратный мир — дело щекотливое. Недостаточно пожелать заключить мир, — надо иметь возможность это сделать. Реакционные круги в России прекрасно сознавали, что открытый поворот в сторону Германии вызовет в России бурю страстей. Ни общество, ни армия в ее верхних слоях не примирились бы с тем, что на языке того времени называлось позорной изменой союзникам. Революция угрожала и с этого конца. К сепаратному миру можно было прийти только через разгон Государственной Думы, через разгром всех общественных организаций, через полосу жестоких и кровавых репрессий. Для этого нужна была новая и решительная политика и новые решительные люди. В бюрократическом лагере, в кругах, близких к царю, таких людей не было. Можно было, конечно, найти сколько угодно генералов и штатских героев, готовых в любой момент залить Россию кровью и устроить во славу самодержавия всеобщий погром. Но наряду с реакцией и репрессиями нужны были и какие то меры и реформы, которые уничтожили бы продовольственный кризис, восстановили хозяйство и отвлекли народ от будоражащей мысли о нелепо проигранной войне, преступно пролитой крови. И с того момента, как стало ясно, что война проиграна, власть мечется в поисках нужных решительных и преданных людей. Опубликованные письма Александры Федоровны полны тоски по таким людям. Царской России снова нужен Столыпин, —

¹⁾ Мемуары германского кронпринца. Госуд. Изд. 1923 г., стр. 131.

человек большой воли и большого размаха. Он должен раздавить революцию и оппозицию и в то же время путем умеренных социальных реформ привлечь на свою сторону и сплотить вокруг престола буржуазию и крестьян. Он должен быть популярен и силен, внушать всем веру в себя и свою программу. Он должен знать какое-то свое „рыбье слово“, — какое, неизвестно, — которым очарована будет вся верноподданная, но теперь запатавшаяся Россия. В суеверной среде Царского Села крепка была вера, что есть такой, судьбой избранный для спасения царской семьи человек, и в назначение Григория Распутина входило разыскание этого человека. И такой человек непременно должен был найтись в минуту наивысшей паники и растерянности. С той же легкостью, с какой городничий и уездные чиновники поверили, что Хлестаков — это и есть грозный ревизор, — царь, и царпца, и вся клика царскосельского дворца поверили, что Протопопов это и есть долгожданный новый человек, спаситель самодержавия, герой будущего мира, внешнего и внутреннего.

III.

Представительный, выхваленный барин, — хорошо упитанный, но уже несколько подержанный и измятый жизнью, Протопопов одинаково мог сойти по внешнему виду и за крупного капиталиста, директора коммерческого банка, и за важного сановника на линии министра. Карьеру он проделал буржуазную, имя и положение завоевал на службе российской промышленности и торговли и к власти пришел в звании доверенного лица отечественного капитала. Но от Гучкова и Рябушинского отличало его аристократическое, дворянское происхождение и воспитание. Протопопов — симбирский дворянин, учился в кадетском корпусе, служил в гвардии, друзей и знакомых имел в высших (но не самых высших) кругах аристократического мира, и в полном титуле его, рядом с званием председателя союза суконных фабрикантов и директора банка значилось звание предводителя симбирского дворянства и богатейшего помещика. Протопопов мог сделать недурную бюрократическую или военную карьеру, но только недурную. Честолюбие его шло дальше. Его смолоду манила широкая государственная и общественная деятельность. В семье были и земские деятели и литераторы, поддерживались некоторые чуть-чуть либеральные традиции. В 1890 г. Протопопов, двадцати пяти лет, вышел в отставку и оказался владельцем 7.000 десятин и одной из крупнейших в России Руманцево-Селиверстовской суконной фабрики. 1905-ый год и Государственная Дума открыли перед ним путь к политической деятельности. В своем уезде он организовал помещичью боевую дружину и активно выступал против крестьянского движения. Буржуазия и помещики с усердием вели его на ораторскую трибуну первого русского парламента, — слава провинциального трибуна дворянских и фабрикантских салонов уже прочно установилась за ним. Но в 1906 году эти социальные группы были недостаточно сильны. Протопопов на выборах провалился; он оказался черезчур правым для либеральных настроений того времени. Звезда его впервые засияла вместе с третьей думой, вместе со Сто-

лынным, в эпоху разгрома всех революционных завоеваний и конституционных иллюзий.

Новые господа положения, октябристы, дебютировали в третьей Госуд. Думе адресом царю, представляющим классический образец политического сервилизма. Протопопову фракции октябристов вверила защиту этого адреса предполагалось, повидимому, что Протопопов лучше других сумеет выразить двуличие октябризма, его рабью преданность монарху, как охранителю существующего строя, и робкие надежды на ограничение самодержавного произвола в пользу имущих классов. Протопопов заявил в своей речи, сказанной 13 ноября 1907 года:

„Долг верных сынов своей родины, как верноподданных своего государя, принять в полном объеме с глубокой верой в благодетельную его силу, преобразование, дарованное державной волей царя своему народу, и, не изменяя ни единой черты, благодарить своего государя. Фракция 17 октября — фракция центра; мысленно направляясь к престолу монарха между двух лагерей, она в адресе своем несет вместе с народной благодарностью лишь заветы мира, правды и созидательной работы. Прибавлю, обращаюсь направо, действительности, обращаясь налево, возможности“.

И закончил свою первую речь Протопопов патетическими словами о „беззаветном служении великому образу России и нерадельному с ним образу русского царя“. Эта манифестация монархического чувства должна была впервые обратить благосклонное внимание царя на Протопопова.

Это первое политическое выступление Протопопова в Государственной Думе было и единственным его чисто политическим выступлением. Оно свидетельствовало не столько о государственном уме его, сколько о монархической восторженности и не знающем пределов сервилизме. Но этой ли или по другим причинам, но, выполнив свою роль, Протопопов удалился за кулисы и на авансцене октябризма, среди его теноров и среди первых любовников власти, не выступал. Это помогло ему великолепно сохраниться до самых последних дней. Он был одним из наиболее уважаемых и почтенных членов своей фракции, авторитетом в вопросах торговли и промышленности. Неизменно, почти из года в год, он произносил краткую, но внушительную речь по вопросу о бюджете министерства торговли и промышленности. И эти речи не блещут ни умом, ни эрудицией. Они содержат в себе общие места и положения; то, что отличает их, это чистота и выдержанность классовой капиталистической позиции. В лице Протопопова российский капитал неторопливо подымался на трибуну и без полемики, без пышных фраз, внушительно заявлял о требованиях крупной промышленной и финансовой буржуазии. Из них главные, на которые особенно упирал Протопопов, это освобождение частной инициативы и предприимчивости от архаических законов и от административного произвола, широкая терпимость к синдикатам, устранение ограничений для акционерных обществ, покровительство внешней торговле.

В качестве либерального хвостика его речи украшались благожелательными фразами о социальном страховании и о профессиональных рабочих

организациях. Протопопов выступал не как Кит Китыч, а как просвещенный капиталист, с общими ссылками на Англию и Соединенные Штаты. Однако, ни разу и тени упрека не скользнуло в речах Протопопова по адресу правительства за преследование рабочих организаций. За то он довольно резко выступил против проекта полного воскресного отдыха для торгово-промышленных служащих, и только один раз сорвалось у него осуждение сената. „Толкование сената, — говорил Протопопов 3 мая 1914 года, — о праве бастующих получать деньги за забастовки от предпринимателей является начинанием несправедливым и вредным, нарушающим самую азбучную справедливость договаривающихся сторон взаимного договора“. Так окрысился на сенат признанный король российского капитала, когда ему почудилась в правительственной политике серьезная уступка рабочему движению. В других случаях он только ласково журил власть за недостаточное ее доверие к капиталу, за недостаточную подвижность, за косность.

Протопопов был таким-же представителем торгово-промышленной буржуазии, как Гучков, Коновалов, Рябушинский. Но эти пытались все же отвоевать для своего класса некоторые, хотя бы и урезанные, права, впадали в оппозиционный тон, недовольно брюзжали, заигрывали по временам с радикальной интеллигенцией и готовы были на игру с рабочим классом, если бы он не вышел уже из младенческого возраста, и если бы игра с ним не была так опасна. Коноваловы и Рябушинские угрожали из подтишка, но угроза их не воспринималась в серьез, и сами они, несмотря на почтенные свои капиталы не были серьезными людьми в своем классе. Протопопов не брюзжал оппозиционно и вообще устранился от будничной политической работы. Он представлял ту часть капитала, промышленного и финансового, который уже задолго до войны наладил прочное и дружное сожительство с правительством, соблюдал полнейшую лояльность и ни на какую формальную власть не претендовал, вполне удовлетворяясь фактическим влиянием на важнейшие государственные дела.

Протопопов как нельзя лучше олицетворял этот симбиоз дворянски — помещичьей власти с крупным капиталом. Он сам был дворянин, помещик аристократ, свой человек в светских салонах и в то же время он был влиятельнейшим лицом в мире банков, биржи, грюндерских операций. Он умел быть лично обаятельным и там и здесь. В аристократических кругах на него смотрели, как на промышленного гения; в промышленных — как на человека, близкого к высшим правящим кругам. Он умел соблюдать равновесие, ловко лавировать и, так как он держался в стороне от политических дряг, то приобрел репутацию человека солидного, справедливого, умного. Октябристы избрали его товарищем председателя Государственной Думы, и никто не возражал, ни справа ни слева, хотя, собственно, только одну добродетель и знали за Протопоповым: его представительную внешность и подкупающую любезность. Он со всеми ладил в думе, не считая, конечно, крайних левых, ко всем умел подойти, быть любезным. Его причисляли к прогрессивному крылу октябристов, у него были хорошие знакомые среди демократической интел-

лигенции, он даже позволял себе называть Короленко своим другом; в кругу еврейских банкиров он весьма гуманно и весьма деловито высказывался против ограничений евреев в правах — и в то же время в гостинной реакционнейшего генерала Богдановича заслуженные зубры бывали очарованы его речами. Он был умеренно либерален, но в правых кругах были известны монархические его чувства. Он был убежденным монархистом, двор притягивал его к себе с непреодолимой силой. С парадного хода он не мог туда пройти, и он старательно и настойчиво разыскивал окольные пути. Не случайно оказался он в кружке пресловутого „тибетского доктора“ Бадмаева. Это был хотя и черный, но кратчайший ход в Царское Село, в покои бывшей царицы. Замечательно, что и здесь Протопопов оказался своим человеком. Деловая расчетливость, биржевая трезвость и практичность уживались в этом человеке с грубейшим и первобытным мистицизмом, с верой в знахарей, хиромантов, графологов. Он боялся роковых примет, мог часами разбираться в шарлатанских гороскопах, состоял в переписке с известными французскими специалистами по части ясновидения.

Этот блестящий капиталист, с цитатами из английских экономистов на устах, кандидат в министры, товарищ председателя Государственной Думы и председатель парламентской делегации был суеверен, как охтенская мешанка или как фрейлина царскосельского дворца. Он был мнителен и истеричен и своими чертами вырождения мог потягаться с любым отпрыском старинных дворянских родов. Нравы русского двора не могли его пугать или внушать ему отвращение; он сам был к ним близок. Распутин притягивал его к себе не только своим положением при царе, но и своим таинственным влиянием. И когда еще в 1913 г., при первом знакомстве, Распутин сказал Протопопову, что он будет министром, Протопопов отнесся к этому, как к вещему слову. Это совпадало и с пророчествами других гадателей, пророчивших Протопопову блестящую будущность, это совпадало и с общественным мнением тех разнообразных кругов, в которых вращался Протопопов. Он был „министериабелен“. Так смотрели на него и октябристы и кадеты. Повидимому, так смотрели и в бюрократическом мире, для которого Протопопов всё же был „общественником“, либералом, коммерсантом.

Война сразу динула вперед и высоко вверх карьеру Протопопова. Несмотря на власть, должна была потесниться и в особом совещании по обороне дать место и фактическое влияние, — вскоре сведенное к нулю — представителям Государственной Думы, конечно, только отмеченным печатью полной благонадежности. Протопопов занял в совещании видное место. К нему относились с одинаковым уважением обе стороны. Он был в этой среде наиболее авторитетным представителем промышленности. Родзянко хорошо зарекомендовал себя в истории подкупающим отсутствием проницательности. Поэтому только впоследствии он раскусил, что Протопопов в особом совещании очень ловко и осторожно поддерживал Сухомлинова, держался в стороне от оппозиционной игры и представлял в совещании не Государственную Думу, а военную промышленность. Протопопов и во время войны умел искусно балансировать

между различными группами и течениями. Он был, конечно, патриотом, но патриотизм его не был криклив. Он не говорил ни о Константинополе, ни о победе до конца. Он был осторожен и благоразумен. Он не отделил себя от прогрессивного блока, формально участвовал в нем вместе со своей партией, но предусмотрительно держался в стороне, не связал себя ни одной фразой и потом имел внешнее основание утверждать, что он никогда не был солидарен с прогрессивным думским блоком. Он принимал деятельное участие в мобилизации промышленности, был близок к военным заказам и поставкам, но к военно-промышленным комитетам, к общественным организациям не примкнул. В этих военно-промышленных комитетах собралась наиболее шумливая, но не наиболее солидная часть промышленной буржуазии. В них орудовала капиталистическая интеллигенция, промышленная и финансовая молодежь. Терещенко был не королем русского капитала, а разве лишь дофином, молодым человеком, к которому снисходительно, но и насмешливо относились подлинные и матерые короли русской крупной буржуазии. Военно-промышленные комитеты были для нее несерьезной затеей; через них проходила едва одна сотая часть, не больше одного процента всех военных заказов. Короли биржи и капитала оставляли политическую игру своим интеллигентам, а сами молча и без лишних слов заключили тесный и верный союз с властью. Правительство сыпало без счета золотом, своим и иностранным, и еще не написана, даже вчерне еще не зарисована та такханалия наживы, которая происходила вокруг военного министерства, вокруг ставки и царского дворца. В то время, как Рябушинские и Федоровы на очередном съезде громили министров и намекали на закулисную власть Распутина, Рубинштейны и Манусы, Ярошинские и Путиловы втихомолку обдeldывали свои дела, и если бы власть оказалась на высоте своего призвания, промышленная и финансовая буржуазия ей не изменила бы. Развал власти пугал, однако, и тех, кто к этой власти присосался и ее облепил.

Протопопов был доверенным лицом той могущественной части русской буржуазии, которая отдала всякие притязания на политическую власть за широкую возможность наживаться; которая страдала только от того, что эти возможности были всё же ограничены государственным регулированием и мечтала о возвращении к полной свободе частной инициативы; которая в деловитости своей была далека от всяких патристических иллюзий, боялась революции в результате затянувшейся войны и поэтому настроена была мирно. Протопопов был причастен к различным финансовым комбинациям, в том числе и к сомнительным предприятиям Лянозова, которыми впоследствии, уже во время революции, интересовалась следственная власть. Сам он, может быть, и не опускался до скандальных афер, до спекуляции, граничащей с уголовщиной, но за его спиной, укрываясь его авторитетом, орудовали другие, малые и большие хищники. Он пользовался доверием, почти неограниченным, в этой среде, и с легкостью необычайной банки отпустили в его распоряжение миллионные суммы на дело, явно убыточное — на издание большой политической газеты. Летом 1916 года сложилось в этой среде

твердое убеждение, что Протопопову суждена высокая миссия в ближайший период ликвидации войны. Поездка Протопопова за границу во главе парламентской делегации, его встречи с виднейшими государственными людьми союзных держав, аудиенции у английского и итальянского королей — всё это подняло Протопопова на высоту чрезвычайную. Немудрено, что и у него закружилась голова. Он видел, как относились к нему кадеты — Милюков, Шингарев, во время общей поездки за границей. Он видел, как стали сбегаться к нему, в его газету, популярные журналисты, либеральные профессора, известные писатели. Он мог объединить вокруг своей особы темных дельцов из бадмаевского кружка, и банковских воротил, и либеральных интеллигентов. Ему казалось, что он может всех покорить, всех подчинить своему обаянию. Как же было не поверить ему, что он, именно он, призван сплотить русское общество, указать путь к спасению, восстановить хозяйственный строй, укротить революцию.

Развал власти, паника, хаос, неумению наладить продовольственное дело, транспорт, промышленность укрепляли общую мысль, что на первом плане должна быть поставлена экономика, что управление народным хозяйством должно быть передано людям близким к промышленности и торговле, — „хозяйственникам“ по нынешней терминологии, не бюрократам и не генералам, а деловым людям. Протопопов по общему представлению был именно таким человеком. В судорожных поисках спасителя, нового Витте или нового Столыпина, власть не могла не заметить Протопопова. Пророчество французского гадателя-шарлатана Перрэнэ и русского пророка Распутина должно было исполниться.

IV.

В 1916-ом году одним из наиболее влиятельных придворных кружков был кружок „тибетского доктора“ Бадмаева. Роль и значение этой странной личности, полужокической и вполне ничтожной, еще не определилась с точностью. Скорее всего он был квартиросодержателем или притонсодержателем для темного сброда, эксплуатировавшего суеверие Царского Села. Он лечил представителей наиболее изысканной знати какими то тибетскими травами, имел санаторию под Петроградом, прекрасно обставленную. Но ездили к нему не только затем, чтобы лечиться. Распутин был постоянным гостем на даче Бадмаева и там, в укромном уголке, далеко от любопытных глаз, обдывались всякие делишки. Там сановники получали информацию о том, что делается во дворце; с другой стороны Распутин там получал политические директивы. Бадмаев в политике не разбирался. Родзянко, навещавший не раз этот уголок фантастического Тибета, отзывался презрительно о государственных способностях Бадмаева и Распутина. Но этими знахарями и шарлатанами всегда вертела ловкая и опытная рука.

Перед революцией негласным вдохновителем и руководителем бадмаевского кружка был известный генерал Курлов. Умный, способный и често-

любимый человек, он никак не мог оправиться после катастрофы, сразу подкосившей его карьеру. Он был начальником охраны в Киеве, когда в театре в присутствии царя Дмитрий Богров стрелял в Столыпина. Официально Курлову вменяли в вину небрежность, бездействие власти. Следствие было прекращено по распоряжению царя, какая-то темная тень легла на всё дело. Боялись раскрыть его во всех подробностях.

Курлов не мог примириться с погребением заживо в отставке с пенсией. Перед ним открывалась блестящая карьера, он был уже товарищем министра, в ближайшем будущем — министром, вероятным заместителем Столыпина. Человек твердый, жестокий, не стесняющийся в выборе средств, он шел прямо и быстро к намеченной цели, бесцеремонно сталкивая с пути соперников и конкурентов. Имя его было ненавистно всей прогрессивной России, в бюрократических кругах относились к нему ревниво и холодно, царь к нему благоволил. Зато и топили его беспощадно, когда он поскользнулся и упал. Заступничество царя спасло его от суда и тюрьмы, но карьера его была кончена. Ни один министр не решился бы связать свою судьбу с именем Курлова, которому припомнили теперь всё: и жестокие экзекуции над рабочими, и свирепые подвиги карательной эпохи 1905—6 года, и вольное обращение с казенными суммами, и чересчур легкомысленный образ жизни. Три года Курлов переживал в одиночестве вынужденной отставки все муки обиды, унижения, бессильной злобы, мечтал о мести и искал путей к возврату. Война было помогла ему. Царь милостиво отнесся к его просьбе о назначении на службу. Курлов снова выдвинулся, ему нехотя дали дорогу, назначили генерал-губернатором Прибалтийского края и при первом же удобном случае сбросили. В 1916 году он оказался в Петрограде не у дел, явно затираемый, — и к дурной его славе присоединились новые темные слухи о денежных растратах в Прибалтийском крае.

Официальная политическая карьера ему не давалась. Тем успешнее пошла неофициальная. Через Бадмаева и Распутина он стал негласным советником Александры Федоровны. В доме „тибетского врача“ обсуждались все важнейшие государственные вопросы — о войне и о мире, о военных заказах, о Государственной Думе и борьбе с революцией, о назначениях министров и о необходимости поставить во главе правительства властного и сильного человека. Для членов кружка не было сомнений в том, что Курлов — такой человек, и что только он мог бы спасти монархию. Но Курлов был в опале, руки его были связаны, в бюрократической среде его чуждались. Надо было найти или создать человека, который помог бы Курлову снова взобраться на верх, прикрыл бы Курлова своим именем и дал ему возможность развернуться. Такой человек был найден или создан в лице Протопопова.

Протопопов познакомился с Распутиным еще в 1913 году. Они встречались и позже. Французский гадатель Перрен (подозреваемый впоследствии в том, что он немецкий шпион) говорил Протопопову, что планета его Юпитер, и что проходит Юпитер под Сатурном, откуда следует неукоснительно, что быть Протопопову министром. И то же самое заявил Протопопову при

первом же знакомстве Распутина. Неудивительно, что Протопопов открыл, со своей стороны в Распутине удивительную проницательность, а также сердечность, мягкость, простоту. Но по настоящему сошлись Распутин с Протопоповым в 1915 году, когда Протопопов, лечась от невыносимой нервной болезни, пролежал свыше полугода в санатории Бадмаева. Тут навещали его друзья и знакомые, в том числе и Родзянко, и тут шли долгие разговоры о современном политическом положении, то-есть о том, кого бы и каким министром назначить. Курлов был товарищем Протопопова еще по службе в полку, хорошие отношения между ними не порывались, они были на „ты“. Курлов знал о честолюбивых планах Протопопова. В 1915-ом году они, впрочем, не шли дальше поста товарища министра по ведомству торговли и промышленности. Знал, конечно, и Протопопов о неукротимом честолюбии и жажде власти Курлова. Была сделана тогда же попытка провести через Вырубову и Александру Федоровну назначение Протопопова, но она не удалась. По словам Распутина, царь сказал, что имя Протопопова ему неизвестно.

В кружке Бадмаева Курлов считался авторитетом по вопросам государственной политики и специально по борьбе с революцией. Протопопов — авторитетом по вопросам о продовольственном кризисе, дороговизне. Протопопов неоднократно высказывал мнение, что к борьбе с дороговизной должны быть привлечены торговые люди и банки, осуждал систему реквизиций и вообще ограничение частной инициативы. Беседы в этом кружке не протоколировались, но имели по тому времени значение более важное, чем прения в Государственном совете. Через Распутина и Вырубову беседы эти становились известными в Царском Селе; Протопопову там дана была конспиративная кличка „Калинин“, и у невежественных дам, державших в своих руках царя, создавалось твердое убеждение, что Протопопову-Калинину, при его связях с миром торговым, ничего не стоит развеять химеру дороговизны и продовольственной неурядицы, беспокоившей власть. Правда, Протопопов был „суконщик“, чуть-ли не купец; что еще хуже, — был товарищем председателя „революционной“ думы, был октябристом, т.-е. на языке Царского Села почти анархистом. Но в кружке Бадмаева знали, что Протопопов убежденный монархист, что он с искренним презрением относится к Государственной Думе и прогрессивному блоку, зная внутреннее их бессилие. Курлов даже придавал особое значение депутатскому званию Протопопова.

Курлов знал, повидимому, цену Протопопову. В своих мемуарах он говорит о Протопопове со снисходительным пренебрежением. Старый и опытный воле бюрократии видел и легкомыслие Протопопова, и пустоту, и склонность к хлестаковщине, и совершенное невежество в общих государственных вопросах. Но и у Курлова, при всем уме его, кругозор хватал не дальше столыпинского. В причинах хозяйственной катастрофы не разбирался и он, готов был приписать все неурядицы козням хитрых коммерсантов, спекуляций евреям, и готов был идти на широкие уступки торговому капиталу, готов был даже пообещать равноправие евреям, лишь бы устранить недовольство в народе и расправиться с интеллигентской оппозицией и с революционным ра-

бочим классом. Он сходился с Протопоповым в том, что революционное движение само по себе бесцельно и питается только общим раздражением на почве дороговизны. И если бы удалось дать народу дешевый хлеб, — а это дело торговцев, промышленников, банков, — то, со всеми недовольными справиться было бы нетрудно. В Протопопове Курлов, сам далекий от таинств коммерчески-банковского оборота, видел человека, который может при надлежащем руководстве управлять экономикой страны.

Почва для назначения Курлова и Протопопова подготавливалась в Царском Селе исподволь и тщательно. Распутин неоднократно внушал бывшей царице мысль о „Каликине“, однако, был осторожен и считался с тем предубеждением, которое вызывали в придворных и бюрократических сферах эти имена. О Курлове и вообще речь не заходила; расследование его действий в Прибалтийском крае окончилось для него благополучно, но даже царю неудобно было афишировать свое расположение к Курлову. Протопопов считался возможным кандидатом в министры торговли и промышленности, о нем говорил с царем Родзянко. Но кандидатуры его не выставлял ни один из быстро сменявшихся председателей совета министров. К Протопопову относились благожелательно в бюрократической среде; он всё же был там не свой, а чужой человек.

Поездка за границу русских „парламентариев“ во главе с Протопоповым сразу ускорила дело. Даже не столько поездка, сколько один эпизод в ней — знаменитое свидание Протопопова в Стокгольме с агентом германского посольства. Это свидание решило судьбу Протопопова.

Стокгольмское свидание до сих пор окружено тайной. Последние разоблачения ее не рассказали. После ареста своего в 1917 году Протопопов многое болтал, но о беседе с Варбургом ничего не рассказывал, да и любопытство общества сосредоточилось больше на полицейских пулеметах, заготовленных против народа, чем на таинственных встречах и беседах в одной из стокгольмских гостиниц. А тогда, когда оно произошло, все стороны заинтересованы были в том, чтобы поменьше о нем говорить. Скрытность немецкого правительства понятна. Но и русское правительство, и Государственная Дума, и патристическая печать, боясь публичного и международного скандала, старались по возможности умалить значение стокгольмского эпизода и представляли его случайной и совершенно неважной встречей. Союзники по таинческим соображениям предпочли точно также не придавать широкой огласки эпизоду.

Конечно, по своей собственной инициативе Протопопов не решился бы на свидание с немецким дипломатом. С другой стороны, было у этого дипломата и у немецкого посольства какое-то основание обращаться именно к Протопопову. Впоследствии В. В. Шульгин писал несколько загадочно в „Киевлянин“: „у Протопопова было достаточно причин согласиться на беседу в Стокгольме, в особенности потому, что лица, с которыми Протопопову нельзя было не считаться, советовали ему осведомления ради выслушать таинственного дипломата“ („Киевлянин“, 19 сент. 1916 г.). Предполагалось, что одним

не лиц, с которыми „нельзя было не считаться“, был гр. Олсуфьев, русский посол в Стокгольме. Но когда, уже в конце 1916 года, в полосу ожесточенной кампании против Протопопова, стали раскрывать завесу и над стокгольмским эпизодом, Олсуфьев заявил почти публично, что Протопопов солгал, солгался на него, посла; что свидание происходило не с его разрешения, и он ему не сочувствовал, а принимал в нем участие тоже только потому, что „нельзя было не считаться“ с некоторыми лицами. Таков был смысл заявления Олсуфьева, который чего-то не договаривал, на что-то намекал. Так и осталось неизъясненным по сие время, кто внушил Варбургу уверенность в том, что его выслушают, и кто авторитетно посоветовал Протопопову тайно явиться в переговоры.

Общество удовлетворилось официальным заявлением частного совещания Государственной Думы, что беседа имела характер простой болтовни, и что даже беседы не было, потому что Протопопов молчал, а говорил один Варбург. Шум поднят был значительно позже, когда Протопопов был назначен министром и выяснилось, что он обманул всех своих недавних друзей.

В кружке Бадмаева Протопопов был вероятно откровеннее. Там свидание в Стокгольме не казалось столь сенсационным и о нем знали больше, чем в Государственной Думе и в министерстве иностранных дел. Протопопов узнал, что им довольны в Царском Селе, что он оправдал доверие и надежды. Бадмаев заговорил о необходимости назначить Протопопова председателем совета министров, а Курлова — министром внутренних дел. Дело сразу было двинуто вперед. Немедленно после возвращения из-за границы Протопопов был вызван в ставку и имел двухчасовой доклад у царя. Николай II особенно заинтересовался стокгольмским свиданием и не только не был возмущен дипломатическим партизанством Протопопова, но, напротив, отнесся к нему в высокой степени благосклонно. А еще не так давно суровая кара постигла графиню Васильчикову за попытку передать царице письмо от ее немецких родственников.

После аудиенции Протопопов уехал в деревню, условившись с Курловым, что при первой необходимости он будет вызван в Петроград. Распутин стал говорить, что его „осенило“ и Протопопов должен быть председателем совета министров. Последние сомнения о Протопопове рассеялись в придворных кругах. Члены парламентской делегации, и в частности Миллюков, впоследствии вспоминали, что в своих заграничных выступлениях Протопопов как бы мимоходом, однако, весьма заметно подчеркивал свой монархизм. Намынные парламентарии русские на это не обратили в свое время внимания и принимали это за словесное украшение речи.

Протопопов рассказывал потом, что при свидании с царем они очаровали друг друга. Царь будто бы сразу полюбил Протопопова и вполне доверился ему; а Протопопов так тронут был ласковым обращением и доверием царя, что тут же решил отдать ему всю жизнь и пожертвовать для него чем угодно, — партией, Государственной Думой, всеми своими октабристскими идеалами. Эта идея была весьма трогательна. Но сентиментальная буколка плохо выдержит

с обликом упрямого, недоверчивого и хитрого деспота и немолодого уже, прошедшего через банковскую и биржевую школу карьериста. Можно допустить, что у склонного к истерике Протопопова окончательно закружилась голова, и он, действительно, поверил после беседы с царем в свою историческую миссию. А у изверившегося, близкого к полной апатии царя могло сложиться представление, что судьба послала ему нового человека, не из бюрократии, а из „общественной“ среды, знакомого с тайнами непокорной экономики и в то же время преданного безгранично самодержавной монархии.

Бадмаев сообщил Курлову, что Протопопов произвел прекрасное впечатление на царя и Распутина, за него „благодарили“. После этого нажаты были все пружины, и 1 сентября Протопопов получил от Курлова телеграмму: „Приезжай скорее“. Через несколько дней в петербургских кружках заговорили о том, что Протопопов назначается министром. Ни Родзянке, ни другим членам Государственной Думы Протопопов ничего не сообщал. У Бадмаева происходили совещания с Распутиным, министром юстиции Добровольским, Курловым. Условлено было, что Курлов будет назначен шефом корпуса жандармов, если Протопопов будет министром внутренних дел.

Почти в то же самое время, как сложилась эта компания на вере: Курлов — Распутин — Протопопов, утвержден был устав акционерного общества „Печать“ с капиталом в 5 миллионов рублей и с учредителями: коммерции советник А. Д. Протопопов, статский советник Э. Д. Гримм, статский советник Н. А. Гредескул. Письмом в газеты накануне своего назначения Протопопов так объяснял происхождение нового предприятия:

„В виду громадности стоящих перед Россией в будущем задач... я решил приступить к изданию ежедневной газеты... Имея старую связь с промышленностью, я обратился к представителям таковой... Действительно, я встретил живой отклик со стороны многочисленных промышленников, которые и поручились финансирующими их банками дать основной капитал для предприятия“.

В газете согласились участвовать Амфитеатров, Леонид Андреев, Тан. Сделаны были попытки привлечь Максима Горького, Короленко, Шеханова. Короленко ответил публично отказом, за Шеханова отказалась редакция „Современного Мира“, Горький участия в газете не принял. Конечно, либеральные литераторы не знали о тайных совещаниях с Распутиным в бадмаевском кружке, но бадмаевский кружок превосходно знал о переговорах Протопопова с промышленниками, финансистами и либеральными писателями. Курлов не возражал, — напротив, поощрял. Мечта о такой газете, которая имела бы совершенно независимый вид, была слегка прогрессивна и в то же время поддерживала правительство, — такая мечта всегда соблазняла матерых деятелей министерства внутренних дел. Предшественник Протопопова, Хвостов пытался ее осуществить, но вышел у него только скандал и еще растрата казенных денег.

Конкубинат распутинской монархии с финансовой буржуазией и либеральной интеллигенцией казался осуществленным. Как было не поверить в счастливую звезду Распутина...

V.

16 сентября Протопопов был назначен исправляющим должность министра внутренних дел. На всеподданнейшем докладе Протопопова о вступлении в должность Николай II „начертах“ с присущим ему глубокым смыслом: „Дай бог в час добрый!“ Можно допустить, что на этот раз надпись не была обычным росчерком пера. Николай II верил, что Протопопов ниспослан ему божественным провидением. Появление этого человека было последним проблемом надежды; после этого ей уже ни разу не суждено было порадовать бывшего царя. Как серьезно и неизлечимо больной хватается за всякое средство, хотя бы и заведомо сомнительное, и готов верить всякому уверенному слову, так Николай II верил, что Протопопов, опытный делец, может накормить армию и народ. Поэтому Николай готов был идти на эксперименты с его точки зрения явно сомнительные: свобода частного почина, амнистия спекулянтам и банкирам, заигрывание с либеральным обществом и что всего труднее — частичное равноправие евреев. Протопопов и Распутин говорили, что так нужно, — и царь соглашался. Зато гарантировано было ему уничтожение общественных организаций, усмирение Государственной Думы, успокоение страны, возможность почетного мира.

Из царской ставки, куда выехал Протопопов после назначения, он вышел обласканным. Царь говорил только о продовольственном вопросе, — Протопопов успокоил его: частная торговля со всеми затруднениями справится. Под конец беседы царь спросил, давно ли Протопопов знаком с Распутиным. Горячность ответа должна была тронуть царя. Вообще порывистость, экспансивность Протопопова, его искреннее увлечение своей миссией понравились царю. Протопопов отличался от вымуштрованных шаблонно-лестливых и казенных бюрократов.

После свидания с царем Протопопов увидел всю Россию у своих ног. Он сразу стал любимцем царя, временщиком. Ему казалось, что все им очарованы, все его любят, все готовы идти с ним и работать с ним. Где-то незначительным досадным пятном была Государственная Дума, прогрессивный блок, оппозиция. Протопопов знал слишком хорошо всю свою октябристскую публику, чтобы питать к ней избыток уважения. Пойдут на соглашение — великолепно; нет — фьюнт! Протопопов верил в талант своего слова и в свое личное обаяние. Кроме того, верил в таланты Гурлова.

Первые отклики страны были благоприятны. С крайними левыми не приходилось считаться, они к тому же были безгласны. А умеренно-либеральная часть общества так растерялась, будто ее обухом по голове хватили. Правые политические круги тоже растерялись. Люди здравого смысла понимали, что дело пахнет скандалом; однако, выжидали, что из этого выйдет. Лидеры прогрессивного блока почувствовали, что — по классическому выражению позднейшей эпохи, — Протопопов „вонзил нож в спину“ думской оппозиции. Но Протопопов был октябрист, товарищ председателя Госуд. Думы, а теперь еще и лицо,

облеченное особым доверием монарха. Родякин, которому Протопопов буквально перебежал дорогу и посту председателя совета министров, сначала не пожелал и разговаривать с Протопоповым, однако, потом разговаривал, и не так уж враждебно. Некоторые депутаты-октябристы, не говоря уже о правых, поспешили принести ему свои поздравления. Непримиримую позицию в думских кругах могли занять только кадеты. Схема Милюкова была испорчена. Но все прочие участники прогрессивного блока никогда в принципиальности и прогрессивном доктринерстве повинны не были. Выхода Протопопова была неожиданна и непонятна. Ясно было, что пришел он к власти путями нечистыми. Но велика была вера в него и никто не считал его ни проходным, ни сумасшедшим. Кто знает, не удалось ли ему сделать то, чего не мог сделать „прогрессивный блок“: и Штюрмера свалить, и Распутина убрать, и убедить царя изменить всю внутреннюю политику. Вера в чудеса сильна была не только в ставке и в Александровском дворце. А политическое бессилие было уже почти одинаково и в Александровском и в Таврическом дворце, хотя ни там, ни здесь этого не сознавали. Поэтому там, где Протопопов мог ожидать сразу резкого и враждебного отпора, он встретил на первых порах только недоумение, растерянность, неуверенность.

Зато с другой стороны шла определенная и дружелюбная сигнализация. Уже один только слух о назначении Протопопова „произвел в финансовых кругах Петрограда благоприятное впечатление“, — так свидетельствовала осведомленная газета. А после назначения Протопопова „Русское Слово“ писало:

„Московская биржа узнала назначение Протопопова в сторону повышения бумаг, особенно металлургических и нефтяных. Осведомленные биржевики говорили, что они могут теперь свободно вздохнуть, так как при новом „хозяине“ внутренней политики, имеющем такое тесное соприкосновение с финансовыми и промышленными сферами, должны пойти в архив некоторые стеснительные для торговли и промышленности проекты“.

И, конечно, московские суворовские фабриканты послали своему председателю восторженный привет; и поздравила англо-русская торговая палата; и посыпались телеграммы от губернских биржевых комитетов. Люди деловые немногоречивы, но сразу же у Протопопова создалась уверенность, что тут, в торгово-промышленной среде, у него есть опора. За несколько месяцев до революции, после года ожесточенной оппозиции Государственной Думе, крупная финансовая и промышленная буржуазия готова была идти на сделку с осужденным режимом и обанкротившимся по всем пунктам дворянством. И Протопопов был не просто выскочкой, авантюристом, сумасшедшим, а был законным представителем этой буржуазии, потерявшей всякую силу политического сопротивления, не желающей и не умеющей бороться за власть и уже насковью внутренне прогнившей.

Но готовность идти на компромисс с распутинским режимом была не только в биржевых комитетах. Политические руководители буржуазии колебались и не решались занять сразу враждебную позицию. Когда журналисты спросили у Гучкова его мнение о Протопопове, он сказал сдержанно:

„У Протопопова — хорошее общественное и политическое прошлое. Оно — некая программа, которая обливает. Вот всё, что я могу сказать“.

А буржуазная печать шла и дальше. В „Русском Слове“ напечатана была статья И. Жиликина, бывшего депутата первой Государственной Думы, некогда видного трудовика и радикального демократа. Статья начиналась с рассуждений о застарелых привычках русского общества, которое не имеет призвания к власти, не любит власти и морщится, когда прогрессивных людей призывают к власти. Протопопов не похож в этом отношении на других русских интеллигентов. У него всегда было „призвание к власти“. Протопопов с молодости „стремительно шел к министерской или другой высокой власти, потому что в нем горел прирожденный вкус к ней“. Но дело не только в личности Протопопова, а и в том, что наступил момент, когда надо было призвать Протопопова к власти.

„Протопопов по духу и по его жизни — промышленник и помещик. И правильный инстинкт вел его к тому стыку, где политические интересы промышленников, помещиков и властвующей бюрократии сходились до ближайшего соприкосновения... Назначение Протопопова открыло окошечко, конечно, не в русской общественности, а в русской промышленности, и при том с самого правого угла. Если от бюрократии власть должна влиться к буржуазии, то в лице Протопопова первый вынужденный влив в ней... И может быть для русской буржуазии не правдивым замечанием будет готовить дальнейших кандидатов для власти. А русская общественность? Неужели будет только брезгливо морщиться, подмечая у отдельных лиц вкус и стремление к власти“¹⁾?

В этих словах содержится довольно точная характеристика социального смысла, заключенного между самодержавной монархией и промышленным капиталом альянса. Либеральная публицистика давно к этому стремилась и только лишь скандальные формы союза мешали ей открыто выразить свое удовлетворение. Открыто было окошечко не в общественности, а в промышленности, но в окошечко выглянул и Распутин. А Протопопов шел не просто к власти, а в кабинет Штюрмера, репутация которого была столь убедительна, что уж ни в каком пересмотре не нуждалась.

Жиликин не был одинок в печати. Не так решительно, — полунамеками, недомолвками, — выступил в защиту Протопопова радикальный публицист И. Вигерман в „Дне“. Он не мог открыто приветствовать назначение Протопопова, — элементы авантюризма смущали и его. Однако, он достаточно резко выступил против традиционного недоверия русской интеллигенции к бюрократии, против шаблонных формул, против демократического доктринерства. Вигерман страстно ненавидел всякое вмешательство, — со стороны ли государства, со стороны ли демократии, — в свободную деятельность торгово-промы-

¹⁾ „Русское Слово“, от 21 сентября 1916 г.

шленной буржуазии. Слухи об открывающейся теперь эре частной инициативы, свободного размаха капитала смутили, очевидно, и этого, обычно умного и недоверчивого журналиста. Соблазнили и посулы расширения прав евреев ¹⁾.

Надо признать, что статьи Жилкина и Бикермана выделились в печати своим дружелюбным и примирительным тоном. Но враждебное отношение печати умерялось бдительностью цензуры. Такие газеты, как „Новое Время“ и „Биржевые Ведомости“ соблюдали осторожную выдержанность. Недавний редактор „Биржевых Ведомостей“, он же редактор зарождающейся „Русской Воли“, Гаккебуш-Горелов, одним из первых приветствовал Протопопова и преподнес ему икону. Вслед за ним икону Протопопову преподнес князь Андронников, известный деятель монархического лагеря, руководитель закулисного придворного кружка, соперник и конкурент Бадмаева по влиянию на Распутина. Сношения между Протопоповым и Гаккебушем продолжались и после того, как Протопопов был назначен министром и даже после того, как физикономия его вполне определилась, и в „Русской Воле“ стали появляться враждебные ему статьи. О соблюдении декорума Протопопов позаботился задолго до выхода своей газеты. В устав общества „Печать“ была внесена особая оговорка о правах Протопопова в случае его назначения министром. Планы издателя не были тайной для его ближайших сотрудников.

Таким образом, Протопопов вступил в должность, сопровождаемый не только напутствием царя, благословением Распутина и Андронникова; образом осенил его и либеральный редактор и благожелательно напутствовали его радикальные публицисты, жаждущие прихода к власти крупной буржуазии. Биржа выразила ему доверие, фабриканты—любовь. Правда, для печати, для либеральной оппозиции, для так называемой общественности, не Протопопов, а Коновалов, Рябушинский, Гучков, Терещенко были представителями промышленной буржуазии. Но позднейшие события показали, что Коновалов и Терещенко представляли буржуазию в такой же мере, в какой Чхеидзе, Церетели, Либер и Дан представляли рабочий класс. Меньшевики пролетариата вели борьбу, заключали союзы, вступали в коалицию с меньшевиками капитала. В то же время подлинный рабочий класс и подлинная буржуазия вели между собой непримиримую, не знающую уступок и пощады войну.

Политическое выступление крупной финансовой и промышленной буржуазии произошло за полгода до февральской революции. Протопопов формально закрепил союз между короной и капиталом. И если ничего из этого не вышло, то лишь потому, что уж давно пробил, грохотом пушек заглушаемый, двенадцатый час дворянско-помещичьего режима. Проваливаясь в пропасть, он увлек за собой и монархов русского капитала, издавна связавших свою судьбу с царизмом.

¹⁾ Статья И. Бикермана вызвала прежде всего резкий отпор в самой редакции „Дня“. Конфликт закончился вынужденным уходом Бикермана из газеты, в которой он работал со дня ее основания.

VI.

Иллюзии быстро прошли; остались факты. У Протопопова, как и у многих была иллюзия сильной правительственной власти. Казалось, что министр, избранный царем, облеченный особым доверием, всемогущ. Стоит ему сказать: хочу,—и воля его исполнится. Упоенный могуществом своим, Протопопов пожелал немедленно выполнить первый пункт намеченной программы. Он распорядился отменить реквизиции. Циркуляр был немедленно написан,—и не был отправлен. Оказалось, что его надо согласовать с министерством земледелия. После согласования циркуляр выглядел уж не столь решительно; но и в таком виде никто его на местах не применял. Он нисколько не был обязателен для военных властей, а только им и подчинялись на местах.

Вторым размахистым жестом Протопопов хотел освободить арестованных банкиров и сахарозаводчиков. В Государственной Думе Протопопов не появлялся, и тщетно ожидала его бюджетная комиссия. Но созваны были совещания директоров банков, и в обществе Путилова, Каминки, Утина Протопопов пытался положить начало широкой продовольственной реформы. Банковские короли готовы были служить не за страх, а за совесть,—но прежде всего надо было освободиться именно от страха. Директора очень сдержанно, но и очень резонно потребовали амнистии Рубинштейну, Доброму, Гепнеру и другим уважаемым деятелям отечественного капитала, засаженым ныне за решетку. Протопопов распорядился—и ничего не вышло. Капиталисты находились во власти генерала Батюшина. Тщетно ездил Курлов с ним объясняться,—у Батюшина были свои соображения, а он был всемогущ. Контрразведка поглотила значительную часть жандармского корпуса, и Курлову очень скоро пришлось в этом убедиться.

Печать иронизировала над отсутствием у Протопопова программы. Это неверно. Программа была,—быть может, не столько у Протопопова, сколько у Курлова. Она была списана со старой столыпинской программы, и первым ее положением был роспуск Государственной Думы. „Думу надо распустить,—говорил Курлов Протопопову,—одновременно с опубликованием закона о надевании крестьян землей, хотя бы для этого пришлось пожертвовать некоторыми интересами нищих классов населения. Затем было бы справедливо уравнять все население в гражданских правах, так как оно несло и несет одинаковые жертвы на поле брани. Поэтому необходимо по возможности скорее издать закон о равноправии всех национальностей, в том числе, конечно, и евреев. При таких условиях нечего бояться роспуска представительных палат, так как большинство народа будет стоять на стороне правительства“.

Словом, политика лисьего хвоста и волчьего зуба. Столыпину удалось начать,—но только начать ее осуществление. Это было на ущербе революционного движения, после войны, только затронувшей, но не подорвавшей народное хозяйство. А теперь хозяйственный организм был потрясен до самого

основания, на близких границах горела война, — не чета японской, а в самой глубине народной нарастал еще невидимый, но уже до жути осязаемый грозный шквал общей обиды, мести и злобы. И прежде всего надо было утолить эту злобу; сунуть ломоть хлеба раздраженному народу, надо было уничтожить на улицах хвосты. Крестьяне подождут с землей, евреи подождут с равноправием, — всё это успеется. Но вот сейчас, в первую очередь, надо убрать с улиц хвосты, — эти ужасные хлебные, сахарные, мясные хвосты, которые не давали покоя в Царском Селе, кошмаром стояли и перед ставкой и перед кабинетом Александры Федоровны. Она говорит о них в своих письмах к царю, негодует на министров; она обсуждает вопрос о „хвостах“ с Распутным, с Вырубовой. И принимая у себя в ставке Протопопова, царь больше всего обеспокоен уличными хвостами и просит главное внимание обратить на упорядочение продовольственного вопроса. Инстинкт безошибочно указывал власти на источник революционной опасности.

У Протопопова была программа. Она даже имела некоторый успех. Он чрезвычайно словоточил первые дни, — это был зловещий прием, но среди министерской болтовни соскочила и удачная фраза: лозунг „всё — для войны“ превратился в лозунг „ничего для тыла“. Даже „Речь“ одобрительно поддержала эти слова. Была задумана целая система мер, построена не лишённая величия схема. Наверу продовольственный диктатор — Протопопов, под ним диктаторы губернские — губернаторы, и затем купцы, купцы, купцы, и банки, и биржа, — мобилизация всех деловых, хозяйственных людей, которые немедленно откроют шлюзы хлебного оборота и оживят иссохшее хозяйственное русло. Подробности и детали не были ясны, главное — пленяла идея. Устраняются все помехи, внесенные войной: все эти продовольственные комитеты, в которых воюющая объединялась с общественностью, а капиталистов оттесняли на второй план; все эти городские и земские союзы, влезавшие кляпом в установленную бюрократическую систему и иерархию.

И тут снова потерпела крушение иллюзия сильной привилегированной власти. Царь наделил Протопопова полномочиями чрезвычайными, и эти полномочия оказывались нулем. Еще сохранялась власть полицейская, и можно было разгонять собрания, запрещать съезды общественных организаций и бросать людей в тюрьму; можно было, и это было особенно легко, — вымываться над жалкой, задержанной, запуганной и всё же непокорной печатью. Протопопов тут поддерживал внешнюю картину сильной власти. Но государственной власти, единства управления, сочетания центральной правительственной машины с передаточными и исполнительными органами, — этого уже не было. Власть находилась в глубоком предреволюционном параличе. Протопопову казалось, что он обладает волшебным словом, и стоит ему сказать: „Сезам, отворись“, — как откроются все двери к хлебу и к порядку. Но он сто раз твердил, повторял волшебную формулу, — и ничего не открывалось. Ему не повиновался никто и прежде всего не повиновался совет министров. Здесь, в совете, Протопопов потерпел первое и самое жестокое, роковое поражение.

Общество, думские оппозиционные круги, прогрессивная печать отнеслись к Протопопову враждебно, — в особенности после того, как выяснилось, что никаких чудес от него нельзя ожидать, и что является он ставленником Распутина и политическим единомышленником Штурмера. Даже легковесный «Жизнь» скептически замолчал, а в первом номере протопоповской «Русской Воли» Амфитеатров весьма дружески, но и весьма настойчиво убеждал своего патрона уйти в отставку. А вскоре до того дошло, что и дружеские разговоры прекратились, и за школьническую проделку (известная криптограмма в фельетоне) Протопопов властно распорядился выслать Амфитеатрова из Петрограда.

Государственная Дума еще до созыва своего, начала ожесточенную кампанию, которая выражалась, впрочем, больше в ядовитом шипении, в угрозах выступить на заседаниях, когда открыта будет сессия, и в личных выпадах. Родзянко, который еще недавно распределял полюбовно с Протопоповым портфель в будущем министерстве (себе намечал пост председателя совета министров), прерывал личные отношения с ним и, если верить позднейшим рассказам, грубо и резко отзывался о Протопопове на докладе у царя. Протопопов знал, что здесь, с этой стороны, его ждет жестокое сопротивление, но он его нисколько не боялся и, подстрекаемый Курловым, легко шел на полный разрыв с думской оппозицией. Он ее знал, знал и печать, — и нисколько их не уважал. Рядом с кадетами в прогрессивном блоке, лидерами его, состояли Шульгин, Демченко, граф Капист, Родзянко, — мысль о стойкости их политических убеждений могла вызвать только улыбку. Это были лучшие среди депутатов право-октябристского большинства; а дальше шли рядовые члены фракций, на которых — так казалось — достаточно властно прикрикнуть, или же которым достаточно любезно улыбнуться, чтобы вернуть их в традиционной лояльности. На крайней правой уже шумел оппозиционно Пуршквич, — это было больше комично, чем страшно.

Ни для кого не составляло секрета, — и всего меньше для Протопопова, что прогрессивный блок уже распадается по всем швам. Левая его часть, прогрессисты, сбегала, а правая просто разлагалась. Шульгин представлял в блоке уж не фракцию, а маленький кружок, пришедших в отчаяние депутатов. Изверившись во власти и смертельно боясь революции, они цеплялись теперь за кадетов. Протопопов знал всех этих людей и был убежден в их бессилии еще раньше, чем в этом убедилась вся Россия. Он не сомневался, с обычной своей уверенностью, что путь к соглашению с ними никогда не закрыт, и был отчасти прав. Но он не видел нужды в компромиссе и третьи-Ровах Думу презрительно и грубо, пока не потерпел поражения в совете министров. Когда, через месяц после своего назначения, он выразил желание встретиться с лидерами прогрессивного блока, те сразу отклинулись, и состоялось известное частное совещание 19 октября на квартире Родзянко.

Мы знаем об этом совещании только по кадетской, несомненно тенденциозной записи. Протопопов изображен в ней в карикатурном виде. Он жалок и смешок, и чуть ли не умоляет депутатов о прощении, и говорит зачем

то о супруге Милюкова. Протопопов, несомненно, к этому времени уже потерял равновесие, предчувствовал катастрофу и находился в крайне нервном состоянии. Но даже из односторонней записи этой беседы выносишь впечатление, что — „оба лучше“: стороны стояли друг друга. Милюков начинает с очень высокой ноты, но после слов Протопопова о невозможности продолжать беседу в таком тоне, спешит заявить, что он был плохо понят. Депутаты шли на переговоры и готовы были обсудить условия компромисса. Шульгин прямо говорил о соглашении и указывал на то, что оно было вполне возможно до вступления Протопопова в министерство. Прогрессивный блок ожидал, что предложит ему Протопопов, — но беда Протопопова была в том, что он уже нечего не мог предложить Думе и рассчитывал только на личные свои средства обаяния слова, любезной улыбки. Естественно, из свидания ничего не вышло. Оно послужило лишним агитационным средством против Протопопова. Запись беседы с ним пошла гулять по всей России.

Впоследствии, Протопопову поставили в особую вину его пренебрежительное отношение к Государственной Думе. — „Вы всего могли достичь с Думой, без Думы — ничего“, — говорили Протопопову на допросе. И Протопопов возразил на это с живостью, что если уж ставить вопрос о народном представительстве, то ставить его надо гораздо шире. „Вы не знаете Государственной Думы, она ничего не могла сделать“.

Протопопов был прав. Государственная Дума ничего не могла сделать и ничего не могла спасти. Через полгода после исторической беседы на квартире Родзянко, внутреннее бессилие Государственной Думы обнаружилось с зловещей убедительностью. Революция перешагнула через нее с той же легкостью, с какой она отшвырнула Протопопова. Предоставленная своим собственным силам, без поддержки полиции и правительственного войска, Государственная Дума сразу превратилась в небытие.

Протопопов не доценил, однако, значения Государственной Думы, как центра, в котором сосредоточивалось недовольство широких кругов населения, в том числе и армии. Он видел, что Государственная Дума становится средоточием легальной и полуделегальной противоправительственной агитации. Как и другие члены правительства, он приписывал Государственной Думе руководящую роль в поднимающемся революционном движении. Но он не боялся Государственной Думы, как боялось ее большинство сановников, и не видел в ней силы. Курлов убеждал его, что народ, — если только накормить его — и пальцем не двинет в защиту Думы. В этом была известная доля правды. Но, вот, накормить народ никак не удавалось. Все планы и схемы разбивались на жестоких фактах действительности, и самым неприятным фактом было сопротивление самого правительства.

Протопопов испугал и возмущал бюрократию не меньше, чем общественность. Изъеденная насквозь скептицизмом, неверием, отчаянием, дезорганизованная войной, оттолкнутая двором, где ее ненавидели и презирали, — бюрократия не чувствовала в себе ни охоты, ни сил для решительной борьбы с революцией. Только такие цельные люди, как Щегловитов, Маклаков (Н. А.),

ограниченные и обозленные, готовы были идти до конца. Но их оставалось уже мало. Подавляющее большинство искало спасения,—не только государственного, но и личного, в компромиссах и полумерах. Такие столпы реакции, как граф А. А. Бобринский, еще недавно председатель объединенного дворянства, как Кривошеин, Сазонов,—искали теперь сближения с умеренными кругами оппозиции. Протопопов был для них прежде всего выскочка, человек без бюрократического происхождения и со случайными, хотя и придворными связями. Главное же, он внес с собою элементы авантюризма, беспокойства, какого-то государственного неприличия. Он был шумлив, бестактен. Легкомыслие его сразу обнаружилось. Его вступление в кабинет было прямой угрозой Штюрмеру, а первым его шагом было покушение на права графа А. А. Бобринского, министра земледелия и верного стража помещичьи-дворянских интересов. Он должен был отдать продовольственное дело Протопопову. Накопец, уже совершенно скандальным было появление у власти Курлова. Истинная роль его ни для кого не была тайной, и он был гораздо опаснее Протопопова. Протопопов—явление случайное и экзотическое; никто не спешил принять его в серьез,—он был капризом Царского Села. Но укрепление Курлова означало бы разгром целого ряда бюрократических гнезд.

Развал власти выразился в том открытом сопротивлении, какое встретил Протопопов со стороны самого правительства. В ставке царь вручал ему полномочия продовольственного диктатора; в Петрограде министры отказывались повиноваться. С Протопоповым был только распутинец Добровольский и еще наполовину Штюрмер. Все прочие министры открыто проваливали его проекты, относились к нему с явной враждой и вели подкопную войну по всем правилам бюрократически-интригантского искусства. Слабым местом была неопытность нового министра и нечистое прошлое генерала Курлова. В борьбе против них заклятые враги народного представительства прибегали к поддержке Государственной Думы и, в свою очередь, поддерживали Государственную Думу. Не прошло и двух недель, как Протопопов оказался совершенно одинок,—и в обществе, и в правительстве, и в печати. Его поддерживал только распутинский кружок и состоявшие при правительстве по вольному найму монархисты. Протопопов платил Маркову второму, платил сенатору Римскому-Корсакову, платил Распутину, платил союзнику Орлеву, который преглумо, с разящим на тысячу верст запахом провокации, вылез публично с защитой еврейского равноправия и с нелепым проектом каких-то верных правительству рабочих союзов. Этот плагиат зубатовщины, рожденный, очевидно, не без участия Курлова, вызвал только смех. За то стоило лишь Курлову приложить руку к Департаменту полиции, и сжила мгновенно провокация. Расцвет ее в рабочих кругах явно ощущался в конце 1916 года.

В обращении с обществом, с печатью, с Государственной Думой Протопопов не стеснялся. Он был решителен до наглости. Русский барин-самодур, русский чиновник-держиморда сказался очень скоро в европеизированном коммерсанте. С той же легкостью, с какой надел он на себя мундир жандармского ведомства и появился в нем на заседании комиссии Госуд. Думы, он

грубо третировал представителей земской интеллигенции и отдавал приказания об арестах. Этого требовал хороший тон твердой власти. Чем больше чувствовал он политическое свое бессилие, тем более властным и грубым становился его тон. Протопопов как бы старался убедить царя и царицу, что министр не буржуазия, министр-суконщик может быть так же надежен, так же беспощаден в борьбе с революцией, как и любой титулованный сановник.

Но Протопопов был все-таки выскочка, все-таки чужой среди министров, и которым привык надвигать рабье уважение и тайный трепет. Решительность его кончалась на пороге кабинета министров. На заседаниях он то выступал претенциозно, как человек, которому царь „лично“ доверил продовольственное дело, то робел, жмился, шел на уступки. С самого начала он совершил ряд безтактностей, — с точки зрения бюрократической. Царь на свидании в ставке предложил ему по важнейшим делам обращаться к нему через царицу. Протопопов немедленно сделал Вырубову конфиденцкой всех своих планов, и в Царском Селе закипела оживленная работа. Это производилось слишком явно, без соблюдения необходимых приличий, и министры были шокированы. Им приходилось обсуждать записки Протопопова после того, как они уже были „обсуждены“ Вырубовой и Александрой Федоровной и одобрены царем. Открыто возражать они не смели, но великолепно пользовались тем методом борьбы, который впоследствии стал популярен под именем „саботажа“. А затем выяснилось с полной очевидностью, что претендент на диктатуру, новый Столыпин — в душе совершенный ялец и воспитан в рабьем страхе перед тайными и действительными тайными советниками.

Первое, и самое сильное нападение было сделано на Курлова, и этого нападения Протопопов не выдержал. То, что Курлов рассказывает в своих мемуарах о Протопопове и о своей отставке, не заслуживает ни малейшего доверия. Царь не без колебания согласился на назначение Курлова; на него повлияла самоуверенность и настойчивость Протопопова. Курлов в звании товарища министра энергично взялся за дело и начал очищать Департамент полиции от негодных ему людей. Спешно разработан был проект об увеличении штатов полиции, о значительном повышении жалованья высшим и низшим ее чинам и о перевооружении. Вероятно, Курлову принадлежит и авторство знаменитой идеи полицейских пулеметов. Курлов неустанно торопил Протопопова с принятием решительных мер, куда входили ликвидация общественных организаций, передача продовольственного дела губернаторам, роспуск Государственной Думы. Однако, в самом министерстве внутренних дел товарищи министра отказывались служить и работать вместе с Курловым, а в совете министров даже покорные и лояльные сановники, во всему притерпевшиеся, вплоть до Манасевича-Мануйлова, приходили в раж при упоминании имени Курлова. Протопопов не решался идти напролом, пытался найти соглашение, действовал в обход, завуалированными путями. Создалось нелепое двусмысленное, скандальное положение. Курлов распоряжался в министерстве, как у себя дома, фактически был министром, и в то же время указ о назначении его не был опубликован сенатом, и Протопопов всё откладывал это опублико-

зование. Тем временем подошла сессия Государственной Думы. Попытаться с ней до созыва у правительства не было решимости, а показаться в Думу с Курловым не было никакой возможности. Надо было или Думой или Курловым пожертвовать. Курлов боролся с отчаянной энергией и не стеснялся в выборе средств. На Протопопова он кричал, как на мальчишку. Александра Федоровна и Вырубова послушно строчили царю письма под его диктовку. И все-таки он потерпел поражение. Царь должен был подписать его отставку. Это было последнее падение Курлова, и оно, пожалуй, спасло ему жизнь.

Протопопов остался без помощника и советника. Собственное его министерство начало разваливаться. Полицию перевооружали, шла деятельная подготовка к борьбе с революцией, в тайниках Департамента полиции разрабатывались грандиозные проекты усмирения всей России, но у всей этой армии усмирителей не было ни малейшей веры в свое дело и было общее презрение к министру-амшотке, бестолковому, легкомысленному и слабому человеку.

Другое, и не менее сильное поражение, потерпел Протопопов на продовольственном вопросе. Граф А. А. Бобринский оказал сопротивление, какого от него нельзя было ожидать. Старый сановник цепко держался за свой портфель. Открытую и даже демонстративную поддержку оказали ему министры военный и морской. Протопопов и тут не решился на прямую борьбу. Проект его о передаче продовольственного дела в министерство внутренних дел был одобрен царем. Николай II верил в таланты Протопопова, готов был поддерживать его, не остановился бы перед отставкой Бобринского. Но отступил в последнюю минуту Протопопов. Александра Федоровна и Вырубова недовольны были его колебаниями, указывали на то, что они произведут неблагоприятное впечатление в ставке. У Протопопова не было необходимой дерзости. Он был одинок. Из союза старой бюрократии с буржуазией ничего не вышло. Совещания с представителями финансового мира прекратились сами собой,—не потому, чтобы не было готовности у Ярошинских и Путиловых слушать монархию, а по совершенной бесцельности этих совещаний. Бессильна была монархия, бессильна была и крупная буржуазия. И там и здесь распад дошел до той стадии, когда нет уже и классовой общей спайки, а каждый думает только о себе, о личной наживе или о личном спасении.

Протопопов ничего не мог сделать. Между тем на нем теперь сосредоточилась вся ненависть, все раздражение оппозиции. Его неудачи, его бестактность, юридическое несоответствие между широкими планами и действительными способностями,— всё это было превосходной мишенью для насмешек, алардаства, для убийственной политической агитации. Никакая цензура не могла спасти Протопопова от ядовитого и злого обстрела печати. Его отставку требует уже не только Государственная Дума, общественные организации, верхи армии,—на ней настаивает и правительство. После ухода Штюрмера Трепов условием своего вступления в правительство ставит удаление Протопопова. Царь соглашается, но откладывает окончательное решение. На докладе в ставке Протопопов говорит: „Государь, я чувствую, что не

могу быть полезен, потому что я заплыван". Государственная Дума в первом же заседании подвергает Протопопова публичной экзекуции, и совет министров отдаст его на расправу и не разрешает ему выступить.

Протопопов не преувеличивал, когда говорил впоследствии о жестокой травле, которой он был подвергнут со всех сторон. Даже ближайшие друзья отошли от него; отвернулась и банковская олигархия. Он не оправдал надежд, на него возложенных. Блестящий коммерсант, государственный деятель, оратор, превратился в пустого претенциозного болтуна. Обнаружилось с зловещей ясностью, что Протопопов всегда был ничтожеством и пустышкой, и только не представлялся счастливым случай проявить эти свои качества. И стали теперь выступать с большей отчетливостью те черты в личном складе Протопопова, на которые раньше не обращали внимания: его мнительность и суеверие, самовлюбленность и мелкое честолюбие. Всё это теперь усиливалось нервной раздражительностью. Травля доводила Протопопова до иступления; он то угрожал, то оправдывался, падал духом и снова зажигался жаждой мести и всеобщего усмирения.

Это давало пищу бесчисленным анекдотам; правдоподобны были слухи о нервном расстройстве, даже душевной ненормальности министра внутренних дел.

Казалось, карьера Протопопова окончена. Простое благоразумие подсказало бы ему необходимость уйти. Но слепое честолюбие, жажда власти заслаивают его с отчаянием хвататься за последние и крайние средства. Ему удается снова выплыть, с тем, чтобы потом уж окончательно исчезнуть в водовороте.

VII.

Дальше начинается агония... Выгописатель русской монархии окончательно уступает место историку русской революции. В историческом освещении февральские дни 1917 г. окажутся, быть может, не головной, а только важнейшей узловой станцией революционного пути. В монархическом подвиге Щурпшкевича, стрелявшего в Распутина, сказывается уже грозная воля революции.

Убийство Распутина продлило карьеру Протопопова. Убийцами были великие князья, заговор гнезвился в царском доме. Планы насильственного отречения Николая не были абсолютным секретом. О них догадывались в Царском Селе, и мнительное воображение царицы их преувеличивало. Коммарный заговор и царевубийство угрожали династии, в которой жива была и не могла умереть память о Павле I. Нужна была немедленная расправа с опасными великими князьями, нужен был новый Малюта Скуратов, — человек, преданный только царю и готовый для него на войну со всей династией. Правда, времена всё же изменились за пятьсот лет. На нового Малюту не возлагалась задача собственноручно придушить мятежного княжича. Но и высылка Дмитрия Павловича в Персию, а князя Ф. Ф. Юсупова — к себе в имение рассматривались в придворных сферах, как жестокость неслыханная.

Протопопов был исполнителем расправы, задуманной в Царском Селе и оттуда вдохновляемой. Александра Федоровна была жестока и мстительна; будь только ее воля, она не остановилась бы и перед смертной казнью. Нерешительность царя умеряла ее жажду мести.

Протопопов проявил здесь ту силу и властность, которой не хватало ему в делах государственных. Положение его было восстановлено. Трепов не смел говорить об его отставке и должен был сам уйти. Протопопов вызывал к себе великих князей и говорил с ними в тоне полицейского приказа. Он был груб и заносчив, воображал себя новейшим Аракчеевым, афишировал свою преданность царской семье. Доверие царя льстило ему, кружило голову, заставляло снова и с удвоенной силой поверить в свою историческую миссию.

После убийства Распутина обитатели Александровского царскосельского дворца окончательно замкнулись в кружок, отрезанный от всего внешнего мира. Здесь плакали, молились, мечтали о мести и расправе и предчувствовали катастрофу. Внутренней силы для сопротивления и активности уже не было. Воображение рисовало в близком будущем разгон Государственной Думы, пулеметную расправу на улицах, и затем, возможно, мир и покой. Протопопов стал постоянным членом кружка; в него уверовали почти с таким же фетишизмом, как и в Распутина. Он поддерживал веру в божественность Распутина и молился вместе с царницей.

Сопротивление в совете министров было сломлено. Знали, какую роль играет Протопопов в Царском Селе, боялись его и уже не возражали. Трепов, настаивавший на уходе Протопопова, сам должен был уйти. Его сменил на все согласный князь Голицын. Участь Государственной Думы была предрешена. Старались лишь выбрать удобный момент и, конечно, опоздали. Революция предупредила царя и сделала то, о чем мечтали при дворе: Государственная Дума была убита прочнее, чем это мог бы сделать указ царя.

Родзянко говорил о Протопопове: „У него была мания величия; он был каким-то ясновидящим: он видел, что к нему приближается власть, что он может спасти царя и Россию. Он как закатит глаза,—делается, как глухарь, ничего не видит, не слышит“.

Так ничего не видел и ничего не слышал Протопопов до последних дней своей власти. Не видели и не слышали и все другие, кто был с ним... В 1905-ом году, после войны, погромов и карательных экспедиций появился в немецком сатирическом журнале „Simplicissimus“ карикатура „Der blinde Zar“ (слепой царь). По трупам расстрелянных, повешенных, замученных людей одиноко идет вперед слепой Николай II. На белой мантии пятна крови. Голова поднята вверх, и на лице не то тихий экстаз юродивого, не то спокойствие идиота. Так спокойно шел он навстречу своему концу и в 1917 году. И впереди, с выражением монархического экстаза шел Протопопов. Торговец-суконщик хотел спасти дворянина-царя—и оба рухнули в пропасть.

О последних минутах пребывания своего у власти Протопопов рассказывал так:

„Утром 27 февраля А. П. Балк мне телефонировал, что много войсковых частей перешло на сторону революционеров; они уже овладели Финляндским вокзалом; защищаемый отрядом жандармов Николаевский вокзал еще держался.

От дежурных секретарей, офицеров для поручений и курьеров я всё время узнавал тревожные известия. Революционеры взяли арсенал, разобрали его оружие и патроны, овладели Петропавловской крепостью... Революция брала верх над защитниками старого строя, правительство становилось бессильным. Я допускал возможность разгрома дома министра внутренних дел, хотел сохранить себе на память некоторые письма и бумаги, торопился идти к князю Н. Д. Голицыну; разбираться времени не имел, почти наугад положил в папку свои доклады царю по Департаменту полиции, свои письма и депешки ему и царице, письма Вырусовой и Воейкова, фотографические снимки с полиции, разыскивающей труп Распутина... Я думал вернуться и разобрать их.

К кн. Голицыну я доехал с трудом, улицы были полны народу.

Князь Голицын сказал мне, что разослал министрам приглашение приехать к нему совещаться, так как Государственная Дума отказалась подчиниться указу. Вскоре приехали Барк, Покровский, Беллев, Добровольский, Кригер-Войновский и кн. Шаховской. Совещания не было. Князь Голицын предложил переехать в Марининский дворец, где безопаснее... Подъехав к Марининскому дворцу, я увидел перед ним два полевых орудия.

Я был вызван к телефону. А. П. Балк сказал мне, что полиция и конная стража сильно пострадали и спрашивал моего разрешения стать во главе уцелевшего отряда конных стражников и пробиваться в Царское Село, чтобы охранять царицу и наследника. Я спросил Балка, отчего он не обратился за указаниями к генералу С. С. Хабалову; он мне ответил, что не мог его нигде разыскать, время же не терпит и надо принять решение. Я предложил А. П. Балку остаться в городе.

В зале совета министров собрались все министры, отсутствовали только Н. П. Раев и И. К. Григорович. Князь Голицын предложил поставить царя в известность о создавшемся исключительно тяжелом положении. Произошел обмен мнений. Решено было послать царю телеграмму: о переходе в Петрограде почти всех войск на сторону революционеров и необходимости прислать популярного генерала, дав ему диктаторские полномочия, для переговоров с войсками, с предоставлением председателю совета министров права производить по его усмотрению перемены в составе правительства и вести переговоры с Госуд. Думой. П. Л. Барк заявил, что ждать ответа от царя времени не имеется, и предложил предоставить по решению совета министров все нужные права кн. Голицыну.

Предложение было принято. Во время его обсуждения мне подали письмо от полковника Балашева, который меня извещал о разгроме дома

министра внутренних дел. Жена моя спаслась у смотрителя здания Симановского, вернуться домой я не мог. Содержание письма я сообщил совету министров, мне выразили соболезнование.

В это время ген. Беляев сказал что-то полупропотом кн. Голицыну, который обернулся и посмотрел на меня. Я расслышал, что великий князь Кирилл Владимирович привез из ставки какую-то новость и догадался, что царь выразил согласие на мою отставку.

Через несколько минут кн. Голицын обратился ко мне с просьбой „принести себя в жертву“, как он выразился, и подать в отставку ¹⁾. Я напомнил ему мои неоднократные об этом просьбы у царя и ответил полным согласием. На вопрос, кого я мог бы рекомендовать на мое место, указал на главного военного прокурора генерала Макаренко. Князь Голицын распорядился вызвать ген. Макаренко в совет министров. Затем я простился и вышел из залы. Выходя увидел вел. кн. Михаила Александровича и вел. кн. Кирилла Владимировича, которые прошли торопливо, кажется, в кабинет председателя государственного совета.

Я ушел к С. Е. Крыжановскому, где пробыл часа два, хотел успокоиться, не знал, куда мне ехать. С. Е. Крыжановский старался меня ободрить, переговорил по телефону с Маликовым, который пригласил меня ночевать в здании государственного контроля, заняв его кабинет. Я охотно согласился.

С. Е. Крыжановский сказал мне, что я отчасти сам виноват в своем тяжелом положении; следовало, по его мнению, быть председателем совета министров и министром внутренних дел, — тогда бы я мог провести какуюнибудь программу, теперь же я бессилен. Он мне намекнул, что мое присутствие в Марининском дворце может привлечь революционеров, которые меня ищут, и министры этого опасаются. Поблагодарив Крыжановского за внимание, я направился в здание контроля.

В швейцарской Марининского дворца я встретил ген. Макаренко, он только что вышел из зала совета министров. Я поздравил его с назначением и пожаловался на свою неудачу. Он ответил, что от назначения отказался; про меня он сказал: „теперь вы виноваты, кому не удалось, тот всегда виноват“. Я невольно вспомнил, что он сказал мне эти же слова про В. А. Сухомлинова, когда он получил отставку.

Ночь я провел в здании контроля. 28 утром я хотел пройти к своему брату на Калашниковскую набережную. Улицы были полны народа, была слышна стрельба из ружей и пулеметов, изредка пушечные выстрелы... Я не

¹⁾ Протопопов ошибался. Отставка его была вынуждена решением совета министров вопреки воле царя. На телеграмму, посланную царю, последовал на имя кн. Голицына следующий ответ: „О главном начальнике для Петрограда мною дано повеление начальнику моего штаба с указанием немедленно прибыть в столицу. То же и относительно войск. Лично вам представляю все необходимые права по гражданскому управлению. Относительно перемен в личном составе, при данных обстоятельствах считаю их недопустимыми. Николай“.

хотел быть узнанным. Встретил кн. В. Н. Шаховского, который шел, подняв воротник шубы, он должно быть тоже опасался. Идти было трудно. Дойдя до Ямской ул., я зашел к знакомому портному, где оставался до вечера. Узнал, что полиция, переодетая в солдатскую форму, занимает крыши и верхние этажи домов, стреляя в толпу из ружей и пулеметов... Прочел в газете, что члены правительства сложили свои полномочия, что революционеры их разыскивают и отвозят в Государственную Думу. Я решил добровольно отправиться туда. Около 11 ч. вечера я пришел в Таврический дворец, где и был арестован“.

Репутация не совсем нормального человека прочно установилась за Протопоповым, и он сам охотно ее поддерживал первое время в тюрьме. Им как будто овладела религиозная мания, он простанывал целые дни на коленях, отвечал бессвязно на вопросы. Потом это прошло. На следствии Протопопов очень искусно лавировал, путал, давал неопределенные ответы. Ничего существенного узнать от него не могли. Он хорошо разыгрывал искренность и наивность.

Он и не был ненормальным. Он был, по меткому выражению Родзянко, „глухарем“, который в одержимости властью ничего не видел и не слышал. Но это не его личная черта. Это общая черта всех неудачников власти, которых свергает революция. „Глухарями“—в большей или меньшей степени,—оказались почти все министры февральского периода революции. Так, ничего не слыша и не видя, твердил Милюков о Дарданелах, пока не сбросила его набежавшая, еще не сильная волна. Так „глухарем“ закончил свою правительственную карьеру Керенский. Коалиционные министры так же упорно и настойчиво защищали безнадежную идею союза буржуазии с пролетариатом, как за полгода до них защищал Протопопов союз дворянской монархии с крупной буржуазией.

Д. Заславский.

Переписка Николая и Александры Романовых.

Вышедший недавно в свет третий том „Переписки“, изданный Центральным архивом, содержит письма Николая и Александры Романовых от 28 апреля 1914 г. до 31 декабря 1915 года. Александра Федоровна писала своему мужу ежедневно, иногда два раза в день; писала даже не только после его отъезда, но и накануне, так что, однажды, уезжая в Ставку и простившись в Царском Селе с женой, б. царь нашел у себя в вагоне ее письмо, написанное накануне и переданное через камердинера. Писание писем занимало видное место в жизни Александры Федоровны, — она начинала этим свой рабочий день. Но часто, уже отправив письмо, она поздно вечером садилась за новое. Кроме писем, ежедневно, иногда два раза в день, отправлялись в Ставку телеграммы. В телеграммах Александра Федоровна была сдержанна, — по крайней мере на первых порах. Она боится чужих глаз, конспирирует, говорит условным языком. Письма шли через специальных фельдъегерей, и в письмах Александра Федоровна давала простор своей страстной натуре. Она писала много, откровенно, с увлечением. Лирика ее однообразна, но государственное и общественное содержание писем полно исторического интереса.

Царь писал мало, кратко и сухо. Он принуждал себя быть нежным, но из-под пера его выходили только казенные слова. Ни малейшего проблеска даровитости не обнаруживают ни письма его, ни телеграммы, и читать их подряд так же невозможно, как нельзя читать счета от прачки или метеорологические сводки. На них всего больше похожи телеграммы Николая. Впрочем, в аккуратных сведениях о погоде, которыми обменивались Николай и Александра, нет простой случайности. В одном из писем Александра говорит, что Распутин придавал особое значение погоде: „За 5 минут до твоего отъезда, — пишет она 31 дек. 1915 г., — выглянуло солнышко. Шахбагов (Распутин) всегда отмечал это явление, когда ты уезжал в армию, а сегодня оно ярко светит, при 18° мороза! И так как наш Друг всегда советовал обращать внимание на погоду, то мне кажется, что это, действительно, доброе предзнаменование“.

Переписка Николая и Александры может показаться неинтересной, утомительной и однообразной, если просто читать подряд все письма и телеграммы. Но если сопоставить их с политическими событиями своего времени, отделить второстепенное и случайное от главного и основного, если слышать письма царицы с ответами царя, то переписка приобретает глубокий исторический интерес. Даже пустота и бессодержательность этих телеграмм Николая принимает несколько другой вид. Бывший царь умел молчать иногда, когда ему не хотелось говорить.

Переписка неоднородна по своему характеру и содержанию. Она изменялась в зависимости от политических событий. Все письма можно было бы разбить на пять отделов или глав.

I.

В первую главу вошли бы письма от начала войны до конца 1914 года. Царь уехал в Ставку 19 сентября и пробыл там около недели; затем выезжал снова 20 октября — до конца месяца; первую половину ноября провел дома, вторую — в Ставке. В декабре — выезжал 12-го на неделю.

Эти первые месяцы можно было бы назвать медовыми месяцами войны, если бы такой эпитет был приложен к войне. Но трудно иным словом характеризовать настроение писем и телеграмм царской четы. Николай и Александра довольны и покойны. Всё идет благополучно на первых порах. Для тревоги нет пока места. Письма Александры заполнены интересами семьи, двора. Она работает в лазарете и много пишет о своих раненых. Много места в письмах этого периода занимает Вырубова. Текущая политика почти не отражается в письмах. Не видно, чтобы Александра вмешивалась в управление или даже особенно интересовалась им. Повидимому, всё идет налаженным порядком, и нет поводов для вмешательства в события. В письме Александры 24 сентября есть и объяснение для этого спокойного и удовлетворенного настроения.

„С божьей помощью здесь всё пойдет хорошо и приведет к победному концу. Эта война подняла настроение, пробудила многие застоявшиеся мысли, внесла единство в чувства, это в моральном отношении — „здоровая война“.

Спокоен и Распутин. В середине октября он прислал телеграмму, которую Александра заботливо переписала и послала мужу:

„С принятием св. тайн у святой чаши умоляя Христа вкушая тело и кровь духовное созерцание небесную красоту радости, пусть небесная сила в пути с вами ангелы в ряды воинов наших спасение непоколебимых героев с отрадой и победой“.

Это не совсем понятно для непосвященных. В таком духе Распутин посылал и другие телеграммы, и не только царица, а и царь толковали их в успокоительном смысле.

Известно, что царица боялась и не любила Николая Николаевича и вела против него страстную кампанию. Но в письмах первого периода этого не видно. Она называет б. великого князя „Николашей“ и 24 ноября пишет: „Вести с фронта причиняют такую тревогу, — я не придаю значения городским слухам, которые расстраивают нервы, но верю исключительно тому, что сообщает Николаша“.

Правда, уже в эти первые месяцы царицу несколько раздражает то, что ее самодержавный муж взят под опеку Ставки и не может без разрешения верховного главнокомандующего посещать войска и крепости по своему усмотрению. Николай Николаевич не пускает царя в Осовец. Александра настаи-

завает на том, чтобы он туда поехал, и 25 сентября он телеграфирует с удовлетворением, как школьник, не подчинившийся приказу: „Все-таки остановился в Белостоке и посетил Осовец“. — „Ужасно рада, что ты был в Осовце“, — отвечала ему Александра.

Политическая жизнь никак не отражается в письмах этого времени. Ее, впрочем, и не было. Легальная оппозиция умоляла, нелегальная еще не успела заявить о себе. Единственный эпизод говорит о том, что за стенами царского дворца есть государственная машина, министерства, губернаторы, — наконец, страна. Некая госпожа Муфтизаде, татарско-крымского происхождения, нажаловалась Распутину на таврического губернатора Лавриновского и выдвинула кандидатуру Княжевича.

„Наш Друг, — пишет Александра Федоровна 26 окт., — выразил желание, чтобы я немедленно поговорила с Маклаковым, так как, по его мнению, не следует терять времени до твоего возвращения. А потому я пошла за ним. Прости, что берусь не за свое дело, но это необходимо для блага Крыма, а затем Маклаков, я полагаю, составит доклад и даст его тебе подписать“.

Удивительное совпадение: в тот же день, когда должна была решаться судьба Лавриновского и Княжевича, Александрой была принята м-ше Княжевич“.

„Я приняла м-ше Княжевич, она поднесла мне деньги на содержание 10 кроватей от жен своих улан; через ее мужа я получила деньги от всех эскадронов и буду впредь ежемесячно получать на содержание шести кроватей. Это так трогательно“.

Через два дня Николай телеграфировал: „Совершенно согласен по вопросу о смене губернатора на юге“.

Княжевич вскоре был назначен таврическим губернатором. Посылали ли и после этого уланские эскадроны деньги на шести кроватей, неизвестно. Эпизод красноречив, но в письмах первого периода он стоит одиноко. Других случаев вмешательства Распутина и царицы в дела управления не видно.

II.

Второй период охватывает начало 1915 года вплоть до июня. Год начался при хороших предзнаменованиях для власти. На фронте наступление на Галицию завершилось взятием Львова и Перемышля. Внутри страны „национальное единение“ еще не было открыто нарушено, хотя на левом фланге оппозиции уже заметно было недовольство явно обозначившимся реакционным поворотом власти. Горемыкин, Маклаков, Саблер и др. были ее достойными представителями.

Апогей военных успехов был началом и катастрофического падения. Недостаток снарядов сказался при отступлении-бегстве из Галиции. Проглашались первые признаки продовольственного кризиса. Слышнее стал общественный ропот. Неблагополучие в стране было замечено раньше, чем в Царском Селе.

Царь впервые уехал в Ставку 21 января. Что произошло за время от декабря, трудно сказать; но явно изменилось отношение Александры к Николаю Николаевичу. Настроение царя и царицы в общем покойное. Политика попрежнему отсутствует в письмах, — они полны семейных забот, придворных сплетен, жалоб на Вырубову. Имена министров почти не встречаются в письмах царицы; можно подумать, что она попрежнему не вмешивается, или мало вмешивается в дела. Не раз говорит она о покойном своем настроении, а Николай, не любивший и не умевший писать о чувствах своих, 28 февраля сообщает:

„Хотя мне, разумеется, очень грустно покидать тебя и дорогих детей, но на этот раз я уезжаю с таким спокойствием в душе, что даже сам удивляюсь. От того ли это происходит, что я беседовал с нашим Другом вчера вечером, или же от газеты, которую Бьюкенен дал мне, от смерти Витте, а может быть от чувства, что на войне случится что-то хорошее, — я не могу сказать, но в сердце моем царит истинно пасхальный мир“.

Беспокоиться нечего было. В стране царил молчание; открывшаяся на краткий срок сессия Государственной Думы его не нарушила. Александра, как и Николай, не питали симпатий к Родзянке; однако 28 января она написала:

„Говорят, что Родзянко произнес блестящую речь; особенно хвалят конец ее; у меня еще не было времени прочитать ее“.

Единственное, что беспокоило Александру в эти месяцы и отравляло ей спокойствие — это растущая популярность и успех Николая Николаевича. Сама ли она заметила, что Николай Николаевич заслоняет ее мужа, или внушил ей это Распутин, встревожила ли ее болтовня о тайных замыслах великого князя и его клеветов, особенно пресловутых „галок“ — черноголов, — во всяком случае в письмах ее появляется сначала слабая, потом всё более усиливающаяся нота вражды к Николаю Николаевичу. В первом письме (21 янв.) она только вскользь упоминает о необходимости упомянуть в Ставке о манифесте, который собирался издать Николай. На следующий день она пишет:

„Аня просит меня сказать тебе то, что она забыла тебе вчера передать по поручению нашего Друга, а именно, что ты не должен ни разу упомянуть о главном. в твоём манифесте, — это должно исходить исключительно от тебя к народу“.

Повидимому, этим кратким указанием предшествовала длительная и основательная обработка царя, когда он был в Царском Селе. Казалось преподанные ему инструкции им восприняты. Но приехав в Ставку, царь заговорил по иному, и с величайшим огорчением Александра прочла в письме своего мужа 26 января:

„Я сделал визит Николаше и осмотрел его новый железнодорожный вагон, очень удобный и практичный, но жара там такая, что больше получасу не выдержать. Мы вплотную поговорили о некоторых серьезных вопросах и к моему удовольствию пришли к полному согласию по тем, которые затронули. Должен сказать, что, когда он один и находится в хорошем расположении

духа, то он здоров, — я хочу сказать, что он судит правильно. Все замечают, что с ним произошла большая перемена с начала войны. Жизнь в этом уединенном месте, которое он называет своим „скитом“, и сознание лежащей на его плечах сокрушительной ответственности — должны были произвести глубокое впечатление на его душу; если хочешь, это тоже подвиг“.

Потребовалось снова произвести нажим на Николая и уже более энергичный. 29 января Александра пишет:

„Я так рада, что ты обстоятельно побеседовал с Николаем. Фредерикс прям в отчаянии (и справедливо) от многих его неразумных приказов, только ухудшающих дело, и по поводу еще многого, о чем сейчас лучше не говорить. — Он находится под влиянием других и старается взять на себя твою роль, что он не в праве делать — за исключением разве вопросов, касающихся войны. Этому следовало бы положить конец. Никто не имеет права перед богом и людьми узурпировать твои права, как он это делает, — он может заварить кашу, а позже тебе не мало труда будет стоять ее расхлебать. Меня это ужасно оскорбляет. Никто не имеет права так злоупотреблять своими необычайными полномочиями“.

На это письмо царь ответил телеграммой: „Сердечно благодарю за милое письмо...“, а через два дня вернулся в Царское Село, где пробыл до 25 февраля. За это время Александра Федоровна как бы несколько успокоилась, и письма ее с 25 февраля по 10 марта, когда царь снова посетил фронт и Ставку, настроены не так враждебно к Николаю Николаевичу. Политики в письмах этих нет, они посвящены по преимуществу делам лазарета, в котором работала Александра и ее дочери. Накануне отъезда Николай повидался с Распутиным и получил соответствующие указания. Значительных событий не было, в стране всё еще было спокойно, но уже обозначились и тревожили военную власть недостатки снарядов, продовольствия и запасов. Об этом происходило совещание в Ставке.

Недоверие к Николаю Николаевичу, однако, не прошло и прорывалось в письмах Александры Федоровны. В первом же письме 27 февраля она говорит:

„Не в Ставке дело, ты должен показаться войскам везде, где только возможно, а благословение и молитвы нашего Друга принесут свою помощь. Для меня такое утешение, что ты в тот вечер видел Его и получил Его благословение!“

Александра Федоровна не скрывает недовольства своего Ставкой. Она предпочитала бы, чтобы царь и совсем не ездил в Ставку, а объезжал войска по своему усмотрению. 4 марта она пишет:

„Интересно, что ты сейчас думаешь предпринять. Не говори Николаю, куда ты намереваешься ехать, тогда ты можешь проехать неожиданно — я уверена, что он гораздо меньше знает, куда можно проехать, чем ты сам“.

На другой день она повторяет:

„Не говори Николаю и поезжай, куда тебе нужно и где никто не ожидает. Конечно, он станет удерживать тебя, потому что ему не дают двигаться

с места, но когда ты поедешь куда-нибудь без предупреждения, бог сохранит тебя здоровым и невредимым, и как ты, так и войска почерпнете в этом отраду“.

Царь однако, оставался в Ставке и не торопился выезжать. Отношения с Николаем Николаевичем у него были хороши, и он как бы чувствовал себя в этом виноватым. В письме 7 марта он не то оправдывается, не то дает понять Александре Федоровне, что ее настойчивость не вполне уместна:

„Мне кажется, ты думаешь, что Николай удерживает меня из удовольствия не давать мне двигаться и видеть войска. В действительности это не совсем так.

„Недели две тому назад, когда он писал мне, советуя приехать, он говорил, что в ту пору я легко мог навестить три армейских корпуса, потому что они были сгруппированы вместе в тылу. С той поры многое изменилось, и все они были отправлены на линию фронта; это верно, я получаю тому доказательства каждое утро во время доклада“.

Александра Федоровна не настаивала больше.

„Я теперь понимаю,— писала она 8 марта,— почему ты не поехал больше вперед, но ты, наверное, сможешь еще поехать в какое-нибудь другое место до своего возвращения,— это было бы тебе полезно и порадовало бы других, во всяком случае“.

Царь никуда не поехал. В это время успешно развивалось русское наступление в Галиции, и 9 марта Николай телеграфировал:

„Перемышль взят. Благодарение богу. Ники“.

В тот же день он писал:

„Сейчас, в эту самую минуту, в 11 ч. 30 м., Николаша вбежал в мой вагон, запыхавшись и со слезами на глазах, и сообщил о падении Перемышля. Благодарение богу!“

10 марта Николай выехал в Царское Село и оставался дома до 4 апреля.

Успехи в Галиции вскружили голову не только царю. О прямом марше через Карпаты на Венгрию, на Турцию, о близком падении Константинополя затрубила в неумеренном восторге и либеральная патриотическая печать. Александра Федоровна тоже мечтала о Константинополе и перечитывала вышедшую перед войной книжечку Распутина с безграмотным описанием путешествия своего „друга“ по „святым местам“. Она давала уже предусмотрительно указания Николаю, как надлежит держать себя русским войскам в завоеванном Царьграде:

„Я перечитывала то, что наш Друг писал, когда был в Константинополе, теперь это вдвое интересней, хотя это только краткие заметки. О, что за великий день, когда будет отслужена опять обедня в св. Софии. Только ты дай приказание, чтобы не разрушалось и не портилось ничего принадлежащего магометанам, {они могут всё употреблять для своих мечетей, и мы должны уважать их религию, так как мы христиане, слава богу, а не варвары! Как хотелось бы быть там в такую минуту!“

Одновременно с прежней силой пробудилась подозрительность и ревность. Львов и Перемышль были триумфом Николая Николаевича; его популярность росла, войска знали только его. Надо думать, не мало было на этой почве придворных пересудов, интриг и сплетен. Александра Федоровна волновалась и тревожилась. Распутин, ненавидевший Николая Николаевича, боялся всё растущего его влияния.

Царь выехал 4 апреля с намерением посетить города юга, Николаев, Одессу, Севастополь, — быть может подготовить там торжественный въезд свой в Константинополь, — затем посетить Ставку. Александра Федоровна в день отъезда писала ему:

„Надеюсь, что ты кое-что еще повидаешь до возвращения в Ставку, и если Николаша вздумает жаловаться на это Воейкову, положи сразу конец этому и докажи, что ты повелитель. Извини меня, мой дорогой, но ты сам знаешь, что ты слишком добр и мягок — громкий голос и строгий взгляд могут иногда творить чудеса. Будь более решительным и уверенным в себе, ты отлично знаешь, что правильно, и когда ты прав и несогласен с остальными, настой на своем мнении и заставь остальных его принять. — Они должны лучше помнить, кто — ты, и прежде всего обращаться к тебе.

„Ты всех очаровываешь, только мне хочется, чтобы ты их всех держал в руках своим умом и опытом. Хотя Николай поставлен очень высоко, ты выше его. Нашего Друга так же, как и меня возмутило то, что Николай пишет своим телеграммы, ответы губернаторам и т. д. твоим стилем, — он должен бы писать более просто и скромно.

„Ты меня, наверное, считаешь назойливой, но женщина порою яснее видит и чувствует, чем мой слишком кроткий друг. Смирение — высочайший божий дар, но монарх должен чаще проявлять свою волю. — Будь уверен в себе и действуй — никогда не бойся — ты лишнего никогда не скажешь“.

Письмо было отправлено, когда из Луги пришла вечером телеграмма, поразившая своею неожиданностью:

„Сердечное спасибо за милое письмо. Изменил начало программы, сперва еду в Ставку, а затем в оба других места, которые я записал в твоей записной книжке. Чувствую себя прекрасно. Всех нежно целую. Ники“.

Почему на протяжении от Петербурга до Луги у Николая изменились планы, и не обманывал ли он попросту свою супругу, вписывая для отвода глаз в ее записную книжку названия городов, — судить по письмам нельзя. Воспоминания Витте и других лиц, знавших близко царя, говорят о том, что такие „изменения“ были в натуре Николая.

Александра Федоровна была озадачена, но ограничилась вопросом в очередном своем письме: „Интересно, почему ты переменял свой план?“

Ответ на свой вопрос, и при том весьма неприятный, Александра Федоровна получила в тот же день. Царь писал:

„Уже по дороге сюда Воейков сообщил мне, что лучше было бы свернуть от Вильны, так как германские аэропланы бросают бомбы на полотно и поезда, проходящие через Белосток, и что генерала Алексеева

нет в Седлеце! Поэтому мы прибыли сюда нынче утром в 9 часов. Я имел длинную беседу с Николаем, потом обычный доклад и в церковь. Он предложил мне поскорее съездить во Львов и Перемышль, так как в Галиции потом придется принять некоторые меры. Тоже самое говорил мне и Бобринский несколько дней тому назад. Меня будет сопровождать Николай, так как это мое первое посещение завоеванного края. Разумеется, оно на этот раз будет очень кратковременно, обе тамошние железные дороги забиты поездами. После того я увидаю Иванова и Алексеева и буду продолжать свою поездку на юг“.

Приняв такое решение, Николай чувствовал себя не совсем уверенно и на другой же день (не в его обычае было писать ежедневно) в письме не то оправдывался, не то извинялся:

„Все эти перемены прибавят только один лишний день ко всей моей поездке, так что, надеюсь, моя женашка не будет на меня очень в претензии“.

Александра Федоровна была достаточно умна и умела себя сдерживать. В изменении плана, выработанного вместе с ней, она видела интригу ненавистной ей Ставки. Кроме того, здравый смысл, которого не было, повидимому, у Николая Николаевича, подсказывал ей, что ехать в Львов и Перемышль, пока не закреплена победа, преждевременно. Но главным образом возмущала ее мысль, что Николай Николаевич делает царя участником своего собственного триумфа. Она пишет 6 апреля, немедленно по получении письма от царя:

„Так вот почему ты не поехал так, как собирался. Но меня беспокоит твоя мысль о поездке в Львов и Перемышль, не рано ли еще? Ведь настроение там враждебно России, особенно в Львове. Я попрошу нашего Друга особенно за тебя помолиться, когда ты там будешь. Прости мне, что я это говорю, но Николай не должен тебя туда сопровождать—ты должен быть главным лицом в этой первой поездке. Ты, без сомнения, сочтешь меня старой дурой, но если другие об этом не думают, то приходится мне. Он должен оставаться и работать, как всегда. Право, не бери его, ведь ненависть против него там должна быть очень сильна, а твое присутствие обрадует всех любящих тебя“.

Уже после того, как она это написала, Вырубова увидалась с Распутиным, который, как приписала Александра Федоровна в своему письму, „предпочел бы, чтобы ты поехал в завоеванные области после войны“. На следующий день, 7 апреля, Александра Федоровна снова писала:

„Как интересно всё то, что ты намерен сделать! Когда Аня сказала Ему по секрету (так как я просила Его особых молитв за тебя), о твоём плане, Он странным образом, сказал то же, что и я, — что в общем Он не одобряет твоей поездки и „господь пронесет, но безвременно (слишком, рано) теперь ехать, никого не заметит, народа своего не увидит, конечно, интересно, но лучше после войны“. Он не советует брать с собою Николая, — находит, что всюду тебе лучше быть одному, и с этим я вполне согласна.“

Эта настойчивость повидимому не понравилась Николаю. Он написал довольно сухо:

„Душка моя, я не согласен с тобою, что Николай должен остаться здесь, когда я поеду в Галицию. Напротив, именно потому, что я еду во время войны в завоеванную провинцию, главнокомандующий должен сопровождать меня. Я думаю, что все окружающие меня находят это правильным. Он сопровождает меня, а не я нахожусь в его свите“.

Александра Федоровна не возражала. Вплоть до конца поездки Николай, имя Николая Николаевича не встречается больше в ее письмах. Она ничем не обнаружила своего недовольства и раздражения, и так же сентиментально-нежна, так же до приторности влюблена в мужа, как и в прежних письмах. Это бросает свет на ее искренность.

Ненависть к Ставке и Николаю Николаевичу получила новую пищу, не надо было затаить ее и ждать терпеливо удобного случая. А пока пришлося читать газеты с описанием торжественного въезда двух Николаев в Львов, видеть их вместе снятых на картинках в газетах и журналах... 12 апреля царь и сам попытался описать жене свое пребывание в Львове, но что за казенная реляция у него вышла! — ни одного живого слова. И с ограниченным самодовольством он написал: „Если хочешь знать, так я спал в кровати старого Франца-Иосифа“. Александра Федоровна впоследствии с хорошо скрытым злорадством напомнила ему эти слова, написавши после отступления русских из Галиции, что теперь на кровати Франца-Иосифа спит, вероятно, Вильгельм.

После Львова Николай выехал на юг, побывал в Николаеве, Севастополе, Одессе. „Наш Друг, — писала ему 13 апреля жена, — радуется, что ты поехал на юг. — Он все эти ночи горячо за тебя молился, — почти не спал, так беспокоился за тебя — ведь какой-нибудь паршивый еврей мог бы причинить несчастье“.

Письма за это время пусты и бессодержательны. Встречается высокопатриотический пафос по поводу присоединения Галиции, но рядом с этим весьма тонко забрасывается удочка к сепаратным переговорам с Германией. 17 апреля Александра Федоровна сообщает, что она получила письмо из Германии от своего брата Эрни.

„Он пишет: „если кто-нибудь может понять его (тебя) и знает, что он переживает — то это я“, и крепко тебя целует. Он стремится найти выход из этой дилеммы, и полагает, что кто-нибудь должен был бы начать строить мост для переговоров. У него возник план послать частным образом доверенное лицо в Стокгольм, которое встретилось бы там с человеком, посланным от тебя (частным образом), и они могли бы помочь уладить многие временные затруднения. План его основан на том, что в Германии нет настоящей ненависти к России. — Эрни послал уже туда к 28-му (2 дня тому назад, а я узнала об этом только сегодня) одно лицо, которое может пробыть там только неделю. — Я немедленно написала ответ и послала этому господину, сказав ему, что ты еще не возвращался и чтобы он не ждал, и что, хотя все жаждут мира, но время еще не настало. — Я хотела кончить с этим делом до

твоего возвращения, так как знала, что тебе это было бы неприятно. — Вильгельм, конечно, ничего абсолютно об этом не знает. Эрнп пишет, что они стоят твердой стеной во Франции и, по словам его друзей, так же на юге и в Карпатах. — Они думают, что у них 500.000 наших пленных. — Всё письмо очень милое и любящее. Оно меня очень обрадовало, хотя, конечно, вопрос о господине, который там ждет, а тебя здесь нет, был очень сложным. Эрнп будет разочарован“.

Александра Федоровна очень осторожно поставила себя так, чтобы оградить от возможных упреков. Но если бы оказалось, что Николай склонен к переговорам, то „частное лицо“ могло бы всегда явиться к услугам. Лазейка осталась открытой.

21 или 22 апреля Николай вернулся в Царское Село и пробыл здесь до 4 мая. В это время произошел крутой поворот в военных делах. Немцы заняли 25 апреля Либаву и обозначилась серьезная угроза Риге; в Галиции отступление наше приняло катастрофический характер. Всё это после недавнего триумфа произвело потрясающее впечатление на страну.

В Ставке Николай пробыл с 4 по 12 мая. Наступление австрийцев удалось задержать, но положение оставалось серьезным. В письмах царицы проглядывает тревога; царь кратко телеграфирует: „известия неудовлетворительны“. Александра Федоровна не сознает, однако, серьезности положения; возбуждение в обществе еще не успело дойти до Царского Села. Политика попрежнему почти отсутствует в письмах, и главный предмет ее недовольства — Ставка и Николай Николаевич. Она всеми силами старалась удержать Николая от поездки, вооружала его против Николая Николаевича и продолжала интриговать в письмах. Зная своего мужа, она старалась подействовать на личное его самолюбие, раздувая всячески историю с удалением ген.-майора свиты Г. И. Ностица, бывшего в начале войны начальником штаба гвардейского корпуса, а затем состоявшего в распоряжении военного министра. В первом письме, 4 мая, Александра Федоровна пишет:

„Будь тверд, мой друг, настой на своем, дай всем почувствовать, что ты знаешь, чего хочешь. — Помни, что ты император и что никто не смеет брать столько на себя. — Возьмем хотя бы историю с Ностицем. Он в твоей свите, и поэтому Николай абсолютно никакого права не имеет отдавать приказания, не испросив предварительно твоего разрешения. Если бы ты вздумал поступить так с одним из его адъютантов, он бы поднял крик, разыгрывал бы роль оскорбленного и т. д.“

Она снова пишет о Ностице 11 мая, негодует, требует расследования какой то темной истории, в которой, будто без вины, оказался замешан Ностиц. „...вся эта история, — пишет она, — вопиющий позор, и Николай не имел никакого права поступить так с членом твоей свиты, не спросив твоего позволения“.

Николай, не отвечая Александре о Ностице, написал из Ставки 11 мая письмо, в котором с непривычной для него откровенностью рассказал о положении дел в высших командующих кругах армии. Это одно из немногих из сборнике писем Николая, имеющих исторический интерес. Но написал его

Николай только для того, чтобы оправдать необходимость пребывания в Ставке и свое снисходительное отношение к Николаю Николаевичу.

„Когда я приехал сюда, здесь царил угнетенное, пришибленное настроение. В получасовой беседе Николай очень ясно изложил всё положение дел. Иванов — начальник штаба. Бедный ген. Драгомиров спятил и начал рассказывать направо и налево, что необходимо отступать до Киева. Такие разговоры, когда идут сверху, подействовали, разумеется, на дух командующих генералов, и в соединении с отчаянными германскими атаками и нашими страшными потерями привели их к выводу, что им ничего не остается, как отступить. С января Николай отдал им всем строгий приказ укреплять позиции в тылу. Это не было сделано. Поэтому Радко Дмитриеву пришлось оставить свою армию, причем его приемником назначен был Леш. Драгомиров был заменен ген. Савичем, превосходным человеком, который прибыл из Владивостока со своим сибирским корпусом. Я всё это чувствовал еще до того, как Николай сказал мне о том. Но теперь, после назначения Савича, благодаря бога, а также и его (Савича) сильной и спокойной воле и ясной голове, настроение генералов изменилось. Данилов, вернувшийся вчера, совершенно успокоен тем, что он видел и слышал. Нравственное состояние войск великолепно как всегда; тревогу, как и в прошлом, внушает только одно: недостаток снарядов.

„Вообрази, то же самое случилось и с немцами, — согласно тому, что их пленные рассказывают нашим офицерам, — именно, что им пришлось приостановить атаки в виду израсходования снарядов, а также огромных потерь. Николай очень доволен ген. Алексеевым, моим косоглазым другом, и находит, что этот человек на своем месте.

„Теперь ты можешь рассудить, мог ли я уехать отсюда при таких тяжелых обстоятельствах. Это было бы понято так, что я избегаю оставаться с армией в серьезные моменты. Бедный Николай, рассказывая мне всё это, плакал в моем кабинете и даже спросил меня, не думаю ли я заменить его более способным человеком. Он несколько не был возбужден, я чувствовал, что он говорит именно то, что думает. Он всё принимался меня благодарить за то, что я остался здесь, потому что мое присутствие успокаивало его лично.

„Так-то. Я объяснил тебе всё это, сокровище мое. Теперь моя совесть чиста. Надеюсь вернуться к утру 14-го числа — опять таки, если всё пойдет гладко“.

Из Ставки Николай уезжал совершенно успокоенным. Наступление немцев, казалось, приостановилось, а в Галиции, на Сане русские войска одержали несколько частных побед. В последнем письме царь писал: „Лес так восхитительно пахнет, и пташки так громко поют“, а в последней телеграмме, 12 мая: „божественная погода, распустилась сирень“.

В этот день немцы бомбардировали Осовец и возобновилось их наступление. Меньше чем через неделю началась бомбардировка Перемышля, а 20-го мая он был занят австрийцами. События быстро развивались, и 9 июня Львов был оставлен русскими войсками.

III.

Катастрофа всех ошеломила — и правительство и общество. Непосредственным последствием была волна негодования и тревоги. В народных низах она вызвала московский анти-немецкий погром; в либеральных кругах — оппозиционно-патриотическое движение. Власть растерялась, сразу же пожертвовала Сухомлиновым и дала возможность сформироваться общественным организациям. Ставка стала центром приложения либеральных сил: через Николая Николаевича старались воздействовать на царя. Чтобы успокоить народ и поправить дела, надо было принять какие то новые меры, устранить непопулярных министров, обещать реформы.

Царь растерялся не меньше, чем его правительство. Он готов был сделать то, что ему подскажут и прикажут. Его вызвали 10 июня в Ставку, где должно было состояться совещание министров. Александра Федоровна чувствовала, что царем легко овладеть, хотела закрепить свое влияние и боялась Ставки. На ее стороне было то преимущество, что исполнилось зловещее пророчество Распутина, и царь не мог не раскиснуть в легкомысленной поездке в Львов и Перемышль. Александра Федоровна из всех сил эксплуатировала суеверный страх мужа перед ясновидением Распутина.

В первом письме, от 10 июня Александра Федоровна старается оформить свою роль ближайшего советника мужа:

„Мой родной, бесценный!

„С особенным тяжелым сердцем отпускаю я тебя в этот раз — положение так серьезно и так скверно, и я жажду быть с тобою, разделять твои заботы и огорчения. — Ты всё переносишь один, с таким мужеством!... Позволь мне помочь тебе, мое сокровище. — Наверное, есть дела, в которых женщина может быть полезной. — Мне так хочется облегчить тебя во всем, а министры всё ссорятся между собою в такое время, когда все должны бы работать дружно, забыв личные счеты, и работать лишь на благо царя и отечества. — Это приводит меня в бешенство. — Другими словами, это измена, потому что народ об том знает, видит несогласие в правительстве, а левые партии этим пользуются. Если б ты только мог быть строгим, мой родной, это так необходимо, они должны слышать твой голос и видеть неудовольствие в твоих глазах... Поэтому наш Друг боится твоего пребывания в Ставке, так как там тебе навязывают свои объяснения, и ты невольно уступаешь, хотя бы твое собственное чувство подсказывало тебе правду, для них не приемлемую. — Помни, что ты долго царствовал и имеешь гораздо больше опыта, чем они. На Николае лежит только забота об армии и победе — ты же несешь внутреннюю ответственность и за будущее, и если он наделает ошибок, тебе придется всё исправлять (после войны он будет никто). — Нет, слушайся нашего Друга, верь Ему, Его сердцу дороги интересы России и твои. Бог не даром Его нам послал, только мы должны обращать больше внимания на Его слова — они не говорятя на ветер. Как важно для нас иметь не только Его молитвы, но

и советы! Министры не догадались тебя предупредить, что эта мера может быть гибельной, а Он сделал...”

Она это повторяет и во втором письме, 11 июня:

„...Надеюсь, что мое письмо тебя не огорчило, но меня преследует желание нашего Друга, и я знаю, что неисполнение его может стать роковым для нас и всей страны.—Он знает, что говорит, когда говорит так серьезно.—Он был против твоей поездки в Львов и Перемышль, и теперь мы видим, что она была преждевременна. Он был сильно против войны, был против созыва Думы (некрасивый поступок Родзянко) и против печатания речей (с этим я согласна)...“

Александра Федоровна хочет быть деятельным и необходимым Николаю советником, но в критическую минуту она ничего путного не может ему посоветовать. Повидимому, те правые кружки, которые наигрывали на Распутине и на царице, как на граммофонах, политические мелодии, и сами ничего не могли придумать. Поэтому, в первых письмах Александра Федоровна настаивает со слов Распутина только на том, чтобы устроен был по всей России крестный ход, и чтобы не были призваны ратники 2-го разряда. Сын Распутина был ратником 2-го разряда. Кроме того, 14 июня царица послала Николаю палку Распутина при письме такого рода:

„...Посылаю тебе Его палку (рыба, держащая птицу), которую Ему прислали с Нов. Афона, чтобы передать тебе. Он употреблял ее, а теперь посылает тебе, как благословение,—если можешь, то употребляй ее иногда, мне так приятно, что она будет в твоём купе рядом с палкой, которой касался м-г Philip. Он много и прекрасно говорил,—что такое русский император: хотя и другие государи помазаны и коронованы, только русский император уже 300 лет является настоящим помазанным божием. Он говорил, что ты спасешь свое царствование тем, что не призовешь сейчас 2-го разряда...”

Вот, собственно, и всё, что давала Александра Федоровна своему мужу, в качестве его советницы в июньские дни 1915 года, когда Россия переживала исключительное по своей важности время. Знала ли царица, что в Ставке будет поднят вопрос о переменах во внутренней политике, о либеральном курсе, об удалении некоторых министров? Повидимому, нет. Николай не считал нужным делиться с нею планами, которые тогда уже существовали. Возможно, что он скрывал от Александры Федоровны свои планы. По крайней мере, 15-июня, когда в Ставке уже решен был вопрос о коренном обновлении состава правительства, царица писала мужу:

„...В городе ходят сплетни, будто все министры сменяются — Кривошеин — премьером, Манухин на место Щегловитова, Гучков — помощником Поливанова и т. д. Наш Друг, к которому Аня ходила проститься, с нетерпением ожидает узнать правду об этом (будто Самарин назначается на место Саблера, которого лучше не сменять, пока не найдется ему хороший заместитель: Самарин, без сомнения, пойдет против нашего Друга и будет на стороне тех епископов, которых мы не любим,—он такой ярый и узкий москвич). Аня ему ответила, что я ничего не знаю.—Он просит тебе пере-

дать, чтобы ты обращал меньше внимания на слова окружающих тебя, не поддавался бы их влиянию, а руководствовался бы собственным инстинктом. Будь более уверенным в себе и не слушайся других, и не уступай тем, которые знают меньше твоего. Время такое серьезное и трудное, что нужна вся твоя мудрость и душевная сила.—Он очень жалеет, что ты не поговорил с Ним обо всем, что ты думаешь, о чем совещался с министрами и какие намерен произвести перемены.—Он так горячо молится за тебя и за Россию, и может больше помочь, если ты с Ним будешь говорить открыто. Я ужасно страдаю от разлуки с тобой.—20 лет мы прожили вместе, и теперь происходят такие важные события, а я не знаю ни твоих мыслей, ни решений, это так больно! Да хранит и наставит тебя господь, мой дорогой друг!

Николай по обыкновению отделялся бессодержательными телеграммами. А между тем, из Ставки посыпались одно за другим неприятные для Александры Федоровны известия. Николай явно вышел из повиновения и подчинился во всем указаниям Ставки, то-есть Николая Николаевича.

Из Ставки Николай писал 12 июня:

„...По прибытии нашел Николая серьезным, но вполне спокойным. Он сказал мне, что понимает серьезность момента и что получил на этот счет письмо от Горемыкина. Я спросил его, кого бы он рекомендовал на место Сухомлинова. Он ответил—Поливанова... За ним послали, и он явился нынче после полудня. Я совершенно откровенно поговорил с ним и сказал ему, почему я был недоволен им раньше—А. Гучков и т. д. Он сказал, что знает это, и уже 3 года носит это бремя моего недовольства“.

Александра Федоровна не могла скрыть своей досады, огорчения, страха. Ей изменил даже ее обычный, приторно-нежный, в обращении с дарем тон. Она выговаривает ему строго, как гувернантка:

„...Извини меня, но я не одобряю твоего выбора военного министра—ты помнишь, как ты сам был против него, и наверное правильно, и, кажется, Николай тоже.—Он работает с Ксенией. Но разве он такой человек, в которому можно иметь доверие? Можно на него положиться? Как бы я хотела быть с тобой и узнать причины, побудившие тебя его назначить!—Я боюсь назначений Н.—он далеко не умен, упрям, и им руководят другие.—Дай бог, чтобы я ошибалась и чтобы твой выбор оказался удачным, но я всё же каркаю, как ворона.—Мог ли этот человек так измениться? Разошелся ли он с Гучковым? Не враг ли он нашего Друга, что всегда приносит несчастье?—Заставь милостивого старого Горемыкина хорошенько поговорить с ним, нравственно на него повлиять.—О, дай бог, чтобы эти два министра оказались действительно подходящими к своим местам! Сердце полно беспокойства и так жаждет единения среди министров, успеха.—Дорогой мой, предложи им по возвращении из Ставки представиться мне,—я буду горячо молиться и употреблю все усилия быть тебе действительно полезной.—Это ужасно—не помогать и допускать, чтобы ты один справлялся со всей работой“.

Но за этой неприятностью следовала другая, еще более сильная. Немедленно после совещания с министрами, 15 июня, Николай написал Александре

Федоровне о кандидатуре Самарина на пост обер-прокурора синода. Николай знал, что это назначение Распутин примет, как направленное лично против него: знал, как отнесется к Самарину Александра Федоровна. Николай боялся — и писал, стараясь нежностями смягчить удар:

„Я говорил с Шавельским об устройстве в какой-нибудь день крестных ходов по всей России. Он нашел это правильным и предложил сделать это 8-го июля, в день казанской божией матери, который празднуется повсеместно. Он шлет тебе свое глубокое почтение. В разговоре он упомянул о Саблере и сказал, что было бы необходимо сменить его. Замечательно, как все это понимают, и хотя бы видеть на его месте чистого, благочестивого и благонамеренного человека. Старый Горемыкин и Кривошеин, и Щербатов, все они говорили мне здесь тоже самое и находят, что лучше всего для этого — Самарин. Я теперь припоминаю, что лет шесть тому назад Столыпин хотел его в министерстве и говорил с ним с моего разрешения, но он отказался. Я разрешил Горемыкину послать за ним и предложить ему это место. Я уверен, что тебе это не понравится, потому что он москвич; но эти перемены должны состояться, и нужно выбирать человека, имя которого известно всей стране и единодушно уважается. С такими людьми в правительстве можно работать, и все они будут держаться сплоченно — это совершенно несомненно“.

Ответ Александры Федоровны (16 июня) полон отчаяния и бессильной злобы:

„... Да, любимый, относительно Самарина я более чем огорчена, я прямо в отчаянии — он из недоброй, ханжеской клики Эллы, лучший друг Соф. Ив. Тютчевой и епископа Трифона.

„Я имею основательные причины его не любить, так как он всегда говорил и теперь продолжает говорить в войсках против нашего Друга. — Теперь опять начнутся сплетни насчет нашего Друга, и всё пойдет плохо. — Я горячо надеюсь, что он не примет предложения — ведь это означает влияние Эллы и приставания с утра до вечера. Он будет работать против нас, раз он против Григория. — Кроме того, он такой ужасно узкий, настоящий москвич — ум без души“.

Уже после того, как Александра Федоровна отправила это письмо, она провела ужасный день: плакала, молилась; вечером снова писала; ночь провела без сна, принимала лекарство против боли в сердце, а рано утром, лежа на балконе, доканчивала начатое с вечера большое письмо. Страх перед назначением Самарина соединялся с ненавистью к Николаю Николаевичу. Она видела во всем поход Ставки лично против нее, а накануне полушутя, полусерьезно она писала, что в городе ходят слухи, будто предполагается ее императрицу, заточить в монастырь. Она понимала, что пока Николай далеко от нее, ее мольбы будут напрасны, и она старается убедить царя бросить Ставку и вернуться в Царское Село. — „Плюнь на Ставку!“ — пишет она в беспорядочном, отражающем ее истерику письме. Она угрожает божеской карой за непослушание Распутину. 16 июня она пишет:

„На сердце такая тяжесть и тоска. — Я всегда вспоминаю, что говорит наш Друг; как часто мы не обращаем достаточного внимания на Его слова! —

Он так был против твоей поездки в Ставку, потому что там тебя заставляют делать вещи, которые было бы лучше не делать. Здесь дома атмосфера гораздо здоровее, и ты более верно смотрел бы на вещи, — возвращайся скорее. — Я это говорю не из эгоистического чувства, а потому, что здесь я спокойнее за тебя, а когда ты там, я постоянно боюсь, не замыслиют ли чего. Как видишь, я совершенно не доверяю Николаю. Я знаю, что он далеко не умен и, раз он враг божьего человека, то его дела не могут быть успешны и мнения правильны. — Григорий вчера вечером в городе перед отъездом слышал о назначении Самарина (это уже было известно) и был в полном отчаянии, так как неделю тому назад он просил тебя не торопиться с увольнением Саблера, так как скоро найдется подходящий человек. А теперь московская клика опутает нас, как паутиной. Враги нашего Друга — наши враги, и я убеждена, что Щербатов к ним примкнет. Прости меня, что пишу тебе всё это, но я так несчастна с тех пор, как узнала об этом, и не могу успокоиться. — Теперь я понимаю, почему Григорий был против твоей поездки туда. — Здесь я могла бы помочь тебе. — Боятся моего влияния, Григорий сказал это (не мне), и влияния Воейкова, потому что знают, что у меня сильная воля, я лучше других вижу их насквозь и помогаю тебе быть твердым. — Если бы ты был здесь, я бы употребила все силы, чтобы разубедить тебя, потому что думаю, что бог бы мне помог и ты бы вспомнил слова нашего Друга. — Когда Он советует не делать чего-либо, и Его не слушают, позднее всегда убеждаешься в своей неправоте. Но если он примет назначение, Николай будет стараться восстановить его против нашего Друга, — это его тактика...

„Не смейся надо мною. — Если бы ты видел мои слезы, ты бы понял важность всего этого. — Это не женские глупости, но прямая, голая правда. — Я люблю тебя слишком глубоко, чтобы утомлять тебя такими письмами в такое время, но душа и сердце меня к тому побуждают. У нас, женщин, есть иногда инстинкт правды, а ты знаешь, мой друг, мою любовь к твоей стране, которая стала моей. Ты знаешь, что для меня эта война во всех отношениях — и господь нам никогда не простит нашей слабости, если мы дадим преследовать божьего человека и не защитим его...“

На другой день она снова пишет о том же. Николай Николаевич начинает превращаться под ее пером в революционера, узурпатора царской власти.

... Теперь в августе собирается Дума, а наш Друг тебя несколько раз просил сделать это как можно позднее. Все они должны бы работать на своих местах, а теперь они будут вмешиваться и обсуждать дела, которые их не касаются. Не забудь, что ты есть и должен оставаться самодержавным императором! — Мы еще не подготовлены для конституционного правительства. Николай и Витте виноваты в том, что Дума существует, а тебе она принесла больше забот, чем радостей. — Ох, не нравится мне присутствие Николая на этих больших заседаниях по внутренним вопросам! — Он мало понимает нашу страну и импонирует министрам своим громким голосом и жестикულიцией. Меня его фальшивое положение временами бесит.

„Почему министры не просили изменить это? — Это было их первым долгом.

„Он не имеет права вмешиваться в чужие дела, надо этому положить конец и дать ему только военные дела — как Френч и Жоффе. — Никто теперь не знает, кто император, — ты должен мчаться в Ставку и вызывать туда министров, как будто бы не мог их видеть здесь, как в прошлую среду. Кажется со стороны, будто Николай всё решает, производит перемены, выбирает людей, — это приводит меня в отчаяние... Извини, что я тебе всё это пишу, но я чувствую себя крайне несчастной. — Все даст тебе неправильные советы и пользуются твоей добротой. — Плюнь на Ставку! Там ничего хорошего не высидишь... Ты так долго опять отсутствуешь, а Григорий просил этого не делать. Всё делается наперекор Его желаниям, и мое сердце обливается кровью от страха и тревоги. Ах, если бы я могла защитить тебя от забот и несчастий, их довольно — больше, чем сердце может вынести! Хотелось бы заснуть надолго...“

Но Николай не выражал никакого желания вернуться в Царское Село. Он пробыл в Ставке свыше двух недель. Письма Александры Федоровны были ему неприятны, и в ответ на страстные излияния, жалобы, упреки он телеграфировал 17 июня: „Пожалуйста, не огорчайся и повидай Горемыкина, который успокоит тебя“. А через два дня он писал письмо, и уже тут, казалось бы, никак нельзя было уклониться от ответа на письма Александры Федоровны. Но Николай уклонился — под предлогом жары: „Слишком жарко, чтобы писать на подобные темы“. И написал подробно, как у него ночью болело и стреляло под крестцом, и как он со своими адъютантами катаются на автомобиле и пугают крестьянских лошадей. Для утешения прибавил несколько банальных супружеских любезностей в конце письма. Александра Федоровна получила это письмо в ответ на свои письма, продиктованные тоской, отчаянием и слезами, и телеграфировала:

„Нежно благодарю за дорогое письмо, полученное вчера вечером. Идеальная погода, мягкий ветерок, поет соловей. Сегодня утром сердце лучше, но чувствую себя не очень хорошо — боли. Благославляю и целую“.

Не следует думать, что письма Александры Федоровны проходили бесследно. Николай подчинялся тому, что ему предлагали в Ставке и шел на разрыв с Распутиным и Александрой Федоровной. Он соглашался на смену министров, на ускорение созыва Государственной Думы, на потворство общественным организациям. Уступки общественному мнению, взбудораженному неудачами, были необходимы. На это шла и такая старая хитрая лисица, как Горемыкин. Но уступал и соглашался Николай против своей воли, с явным сознанием вынужденности уступок, с генавистью к тем, кто заставлял его идти на эти уступки. Он, наверно, в душе соглашался с Александрой Федоровной, — если не во всем, то во многом и, наверно, боялся наказания свыше за пренебрежение к „божьему человеку“. Уступки обществу были только маневром, и об этом знал Горемыкин. Поэтому, он должен был поговорить с Александрой Федоровной и успокоить ее. Действительно, 18 июня Горемыкин был в Царском Селе и целый час беседовал с царицей. После этого она телеграфировала: „Видела милого старика. Интересная беседа. Он сказал всё то, что я сама думаю“.

Письмо ее в тот же день гораздо более спокойно. Появилась даже надежда, что удастся избежать назначения Самарина. 20 июня она пишет:

„Так хотелось бы знать, что ты решил относительно Самарина — отказался ли ты от него? Если да, то не торопись с назначением другого, а обсудим это спокойно вместе“.

Увы, этой надежде суждено было погаснуть в тот же день. В 3 ч. пришла телеграмма из Ставки: „Видел Самарина, который согласился, но просил отложить назначение на две недели“. А в 5 ч. Александра Федоровна телеграфировала: „Грустно, что он согласился, очень беспокоюсь“. В тот же вечер она писала: „Мой дорогой, женушка одинока и на сердце у нее тяжело — назначение Самарина меня расстраивает, так как он враг нашего Друга, а это худшее, что может случиться, особенно теперь“.

Опасения оправдались. Сразу со всех сторон появились враги, — и в придворных кругах, и в Государственной Думе, и на фронте. Всё общественное движение Александра Федоровна воспринимала, как открытую войну против Распутина и против нее, и отчасти она была права. Как ни успокаивал ее Горемыкин, а она боялась, что теперь и в печати, и в Государственной Думе начнется травля Распутина, и ей чудились заговор, в котором принимают участие и Джунковский, и Щербатов, и Самарин, и Родзянко, — а главное, Николай Николаевич. Письма ее вплоть до 28 июня, когда Николай вернулся, наконец, в Царское Село, носят положительно иступленный характер. Она забыла о семье, о своем лазарете, Вырубовой и всех придворных сплетнях. С отчаянием раненой тигрицы она борется против Ставки и долбит в каждом письме, что Николай Николаевич уже фактически узурпировал власть, что он „второй император“, что Николая обманывают, как мальчика. Она пишет 22 июня:

„Не можешь ли ты опять уехать, как будто в Беловеж, а на самом деле куда-нибудь в другом направлении, не сказав о том никому? Николаю нечего об этом знать, а также моему врагу Джунковскому. Ах, дружок, он нечестный человек, он показал Дмитрию эту гадкую, грязную бумагу (против нашего Друга), Дмитрию, который рассказал про это Павлу и Але. — Это такой грех, и будто бы ты сказал, что тебе надоели эти грязные истории, и желаешь, чтобы Он был строго наказан.“

„Видишь, как он перевирает твои слова и приказания — клеветники должны быть наказаны, а не Он. В Ставке хотят отделаться от Него (этому я верю), — ах, это всё так омерзительно! — Всюду враги, ложь. Я давно знала, что Джунковский ненавидит Григория, и что Преображенская клика потому меня ненавидит, что через меня и Аню Он проникает к нам в дом.“

„Зимой Джунковский показал эту бумагу Воейк-ву, прося передать ее тебе, но тот отказался поступить так подло, за это он ненавидит Воейкова и спелся с Дрентельном. — Мне тяжело писать всё это, но это горькая истина. — А теперь Самарин к ним присоединился — ничего доброго из этого выйти не может.“

„Если мы дадим преследовать нашего Друга, то мы и наша страна пострадают за это. — Год тому назад уже было покушение на Него, и Его

уже достаточно оклеветали... Не знаю, как Щербатов будет действовать — очевидно, тоже против нашего Друга, следовательно, и против нас. Дума не смеет касаться этого вопроса, когда она соберется; Ломан говорит, что они намерены это сделать, чтобы отделаться от Григория и Ани. — Я так разбита, такие боли в сердце от всего этого! — Я больна от мысли, что опять закидают грязью человека, которого мы все уважаем, — это более чем ужасно.

„Ах, мой дружок, когда же наконец ты ударишь кулаком по столу и прикрикнешь на Джунковского и других, которые поступают неправильно? Никто тебя не боится, а они должны — они должны дрожать перед тобой, иначе все будут на нас наседать, — и теперь этому надо положить конец. Довольно, мой дорогой, не заставляй меня попусту тратить слова. Если Джунковский с тобою, призови его к себе, скажи ему, что ты знаешь (не называя имен), что он показывал по городу эту бумагу и что ты ему приказываешь разорвать ее и не смеет говорить о Григории так, как он это делает; он поступает, как изменник, а не верноподданный, который должен защищать друга своего государя, как это делается во всякой другой стране. О, мой мальчик, заставь всех дрожать перед тобой — любить тебя недостаточно, надо бояться тебя рассердить или не угодить тебе! Ты всегда слишком добр, и все этим пользуются. Это не может так продолжаться, дружок, поверь мне хоть раз, я говорю правду. Все, кто к тебе искренно привязан, жаждут того, чтобы ты стал более решительным и сильнее бы показывал свое недовольство; будь более строг — так продолжаться больше не может. Если бы твои министры тебя боялись, всё шло бы лучше. — Старик Горемыкин тоже находит, что ты должен быть более уверенным в себе, говорить более энергично и строго, когда ты недоволен“.

И в тот же день пишет снова: „...Щербатов дает печати слишком большую свободу — Макалов был гораздо строже; результат теперь таков, что все слишком волнуются и говорят про Думу, что совсем не хорошо.

„Я иногда мечтаю заснуть и проснуться только, когда всё кончится и водворится повсюду мир — внешний и внутренний.

„Имя Самарина у всех на устах — это так неприятно, ведь его назначение еще не опубликовано. Это меня сильно тревожит. Я боюсь, что раздражаю тебя всем, что пишу, но у меня ведь честные и благие намерения, дружок. Другие никогда ничего тебе не скажут, так что старой женушке приходится писать тебе откровенно свое мнение, когда долг ее к этому побуждает. — Я так стараюсь предотвратить по возможности всякое несчастье, но часто мои слова — увы! опаздывают, когда ничего уже не может быть сделано“.

Царь отвечал на эти письма бессодержательными телеграммами о хорошей погоде и пространными описаниями своих прогулок на автомобиле. Ни одного слова о политике нет в его письмах. Как ни сдержанна была Александра Федоровна в упреках своему мужу, у нее прорывались воты раздражения и досады. Она добивается непрестанно, чтобы он уехал из Ставки, — если не в Царское Село, то хотя бы на фронт, в Белосток, Холм, лишь бы подальше от Николая Николаевича.

„...Поедешь ли ты, не предупреждая, в Белосток или Холм повидать войска? Покажись там до возвращения сюда — доставь им и себе эту радость.— Действ. Армия, слава богу, не Ставка — ты наверняка сможешь повидать войска. Воейков это устроит (не Джунковский). Никто не должен знать, только тогда это удастся. Скажи, что ты просто хочешь немного проехаться.— Если бы я была там, я бы помогла тебе уехать.— Моего любимца всегда надо подталкивать и напоминать ему, что он император и может делать всё, что ему вздумается. Ты никогда этим не пользуешься. Ты должен показать, что у тебя есть собственная воля и что ты вовсе не в руках Николая и его штаба, которые управляют твоими действиями и разрешения которых ты должен спрашивать, прежде чем ехать куда-нибудь.— Нет, поезжай один, без Николая, совсем один, принеси им отраду своим появлением. Не говори, что ты приносишь несчастье. С Любовом и Черемышлем это так случилось потому, что наш Друг знал и предупреждал тебя, что это было преждевременно, ты вместо того послушался Ставки.

„Извини, что я говорю с тобой так откровенно, но я слишком страдаю — я знаю тебя и Николая. Поезжай к войскам, не говори Николаю ни слова. У тебя ложная, извилистая щепетильность, когда ты говоришь, что нечестно не говорить ему об этом,— с каких пор он твой наставник, и чем ты ему этим помечаешь? Пусть скажи, наконец, увидят, что ты действуешь, руководясь собственным желанием и умом, который стоит их всех взятых, вместе... Верь мне, я желаю твоего блага — тебя всегда надо ободрять, и помни ... ни слова об этом Николаю, пусть он думает, что ты уехал куда-нибудь в Белосток или куда тебе захотелось. Эта предательская Ставка, которая удерживает тебя вдали от войска, вместо того, чтобы ободрить тебя в твоём намерении ехать... Но солдаты должны тебя видеть, они нуждаются в тебе, а не в Ставке, ты им нужен, как и они тебе“.

25 июня Александра Федоровна писала: „...Дорогой мой, я слыхала, что этот мерзкий Родзянко с другими ходил к Горемыкину просить, что бы немедленно созвали Думу. О, прошу тебя, не позволяй, это не их дело!— Они хотят обсуждать дела, которые их не касаются, и вызвать еще больше недовольства.— Надо их отстранить.— Уверю тебя, один вред выйдет из всего этого, — они слишком много болтают.

„Россия, слава богу, не конституционная страна, хотя эти твари пытаются играть роль и вмешиваться в дела, которых не смеют касаться.— Не позволяй им наседать на тебя. — Это ужасно,— если им сделать уступку, то они подымут голову...

„Я ненавижу твоё пребывание в Ставке — и многие разделяют моё мнение, так как ты там не видишь солдат, а слушаешь советы Николая, которые не хороши и не могут быть хорошими. Он не имеет права себя так вести и вмешиваться в твои дела.— Все возмущены, что министры ездят к нему с докладом, как будто бы он теперь государь.

„Ах, мой Ники, дела идут не так, как следовало бы! Поэтому Николай и удерживает тебя там, чтобы влиять на тебя своими мыслями и дурными советами.— Неужели ты мне еще не хочешь поверить, мой мальчик?

„Разве ты не можешь понять, что человек, который стал просто предателем божьего человека, не может быть благословен и дела его не могут быть хорошими? — Впрочем, что ж, если надо, чтобы он оставался во главе войск, ничего не подслашь. Все неудачи падут на его голову, но во внутренних ошибках будут обвинять тебя, потому что никто внутри страны и не думает, что он царствует вместе с тобой.

„Это всё так невыразимо фальшиво и скверно!“

Николай продолжал отмачиваться. Он ничего не ответил и тогда, когда Александра Федоровна написала: „... в обществе не понимают положения (Николая Николаевича), — нечто вроде второго императора, который во всё вмешивается. — Как много людей говорят это (наш Друг тоже)!“

Это было последнее письмо. 28 июня царь вернулся в Царское Село.

IV.

Николай пробыл в Царском Селе на этот раз почти два месяца и уехал в Ставку только 22 августа. На два месяца царская чета скрывается от всякого постороннего глаза, и можно только догадываться о тех разговорах, которые велись на домашней половине Александровского дворца. Александре Федоровне удалось удержать при себе царя, и это одно было уже победой над Ставкой.

Июль и август 1915 года имеют особое значение в предреволюционной истории России, и прежде, чем перейти к концу августа и сентябрю, когда снова подымается занавес над внутренней жизнью дворца и Ставки, полезно восстановить в памяти основные события этого периода.

После краткого перерыва в конце июня продолжалось великое отступление русской армии по всему фронту. В течение июля были оставлены польские крепости, и 23 июля германские войска вошли в Варшаву. 26-го германский флот вошел в Рижский залив. 5-го августа была оставлена Ковна, 10-го — Осовец, 19-го — Гродна и Луцк, 5-го сентября — Вильна. Отступление продолжалось до половины сентября, когда обозначилось наступление французов на западном фронте. Германия оставила Россию в покое и бросила все силы на Шампань, где во второй половине сентября разыгрались грандиозные, но безрезультатные бои.

Под впечатлением военной катастрофы складывались и события внутри страны. По приезде в Царское Село Николай продолжал ту же линию, которая намечена была в Ставке. 24 июня состоялось совещание совета старейшин Госуд. Думы с Горемыкиным. Правительство соглашалось на созыв Госуд. Думы, но непременно условием Горемыкин ставил, чтобы в Думе, в открытом ее заседании, не было речей о Распутине. Повидимому, в этом и заключался секрет успокоения Александры Федоровны и примирения ее с совершившимся. Думские партии пошли на сделку, и в открытых заседаниях Государственной Думы, возобновившей свою работу 19 июля, имя Распутина не было ни разу названо, и вообще думское большинство старалось соблюдать умеренность в своих выступлениях. Однако, Государственная Дума жестоко

ошиблась в своих предположениях, будто власть действительно готова на уступки. Правда, произведена была частичная смена министров. 4 июля был назначен вместо Саблера Самарин, 6 июля — уволен Щегловитов. Наиболее ненавистные фигуры были удалены, и хотя попрежнему совет министров возглавлялся Горемыкиным, в либеральных кругах шли разговоры о реформах, и популярностью пользовалась формула „министерство общественного доверия“. Но 19 июля Горемыкин вылил на увлекшихся депутатов ушат холодной воды. Ни о реформах, ни о более коренном изменении состава правительства не приходилось и говорить.

Государственная Дума сразу увяла. Недовольство выразилось в оппозиционных речах, произнесенных, однако, с опаской и оглядкой. Более решительно отделились общественные организации в Москве. 19 августа московская городская дума приняла резолюцию с требованием поставить у власти лицо, которому верит страна. В резолюции был пункт, в котором сказано было, между прочим: „Москва неуклонно и твердо верит в русскую армию и ее вождя — великого князя“. Легко себе представить, после приведенных выше писем Александры Федоровны, как были приняты и истолкованы ею эти слова. За московской городской думой последовали провинциальные. Начиналось оппозиционное движение, к которому сочувственно прислушивались широкие круги в народе и в армии. В то же время с первых чисел августа начал формироваться думский прогрессивный блок. На первых порах правительство относилось к нему нейтрально, а часть кабинета даже благожелательно. Печать при Щербатове несколько подняла голову. Имя Распутина, правда, было под запретом, и военная цензура охраняла его, как величайший государственный секрет. Но о нем и о царце говорили уже почти открыто, а в печати заменили его имя описательным выражением „темная сила“.

В правых кругах и в Царском Селе всё это патристически-оппозиционное движение рассматривалось, как начало революции. Александра Федоровна не сомневалась, конечно, что нити революции сходятся в Ставке, и что Николай Николаевич — послушное орудие в руках Гучкова-Поливанова. Но она сама была бы, пожалуй, бессильна. Ожили, однако, крайние правые круги, преодолевшие свою растерянность. В первых числах августа члены Госуд. Совета и Госуд. Думы П. Н. Дурново, И. Г. Щегловитов, Н. Е. Марков 2-ой и П. Н. Балашов организовали правый блок в противовес прогрессивному. А совет объединенного дворянства в лице своего председателя А. П. Струкова послал Горемыкину письмо, в котором говорилось, что „произносимые и передаваемые прессой во все концы страны левые речи, некоторые заключения столичных совещаний и злоупотребления печатным словом являются предвестником новых смут, с целью изменения государственного строя России“.

Правительство колебалось; повидимому, колебания были и в Царском Селе. Горемыкин 15 августа совещался с представителями прогрессивного блока. В кулуарах Государственной Думы и в печати говорили о предстоящем назначении Кривошеина премьером и о приглашении в состав правительства общественных деятелей. Но в то же время энергичную кампанию вели пра-

вые, и выделился в особой какой-то роли, еще не вполне ясной, член Госуд. Думы А. Н. Хвостов. Он выступал, как крайний националист и монархист, но с призывами к объединению власти с Госуд. Думой.

22 августа Николай уехал в Ставку; стало известно, что он берет на себя верховное командование, что Родзянко уговаривал его не делать этого, что часть министров возражала против этого. Первое же письмо Александры Федоровны ярко рисует ту психологическую обстановку, в которой царем принято было роковое решение. Переписка этого периода отмечена совсем новыми чертами, чем предыдущие. Александра Федоровна победила, — победила в трудной и упорной борьбе. Она счастлива, горда, покойна. Вернее, покойна только на первых порах; вскоре тревога снова начинает мучить ее. Изменился и Николай. Он не только благодарен Александре Федоровне за помощь, он просит теперь ее помощи. Он пишет 25 августа:

„Подумай, женушка моя, не прийти ли тебе на помощь к муженьку, когда он отсутствует? Какая жалость, что ты не исполняла этой обязанности давно уже, или хотя бы во время войны! Я не знаю более приятного чувства, как гордиться тобой, как я гордился все эти последние месяцы, когда ты неустанно докучала мне, заклиная быть твердым и держаться своего мнения“.

Нечего и говорить, что Александра Федоровна была до крайности тронута этим знаком внимания со стороны сдержанного и скупого на лирические чувства мужа. „О мой друг, — пишет она, — я так тронута, что ты просишь моей помощи; я всегда готова всё сделать для тебя, но не люблю вмешиваться непрошено, только я здесь чувствовала, что слишком много было поставлено на карту“.

С этого момента Александра Федоровна становится как бы ближайшим политическим секретарем Николая, его непосредственным вдохновителем. Внутренняя политика почти окончательно вытесняет семейные и придворные заботы. Она принимает министров, выбирает кандидатов, дает советы, весьма приближающиеся к приказам. В ее политике чувствуется уверенность; угадывается невидимая рука, направляющая в это время все шаги Александры Федоровны. Постепенно обрисовывается облик Хвостова, будущего министра, успевшего проникнуть в кружок Вырубовой. Для придворных кругов, а там и для думских и для всего общества, уже не секрет, что государственной властью овладела Александра Федоровна, Распутин, Вырубова.

Приехав в Ставку, Николай немедленно взялся за выполнение разработанной в Царском Селе программы. В первую очередь был удален Николай Николаевич. Отпуская Николая, Александра Федоровна всё же побаивалась, как бы он не поколебался в последнюю минуту, и в первом письме напоминала и подчеркивала:

„...Будь твердым до конца, дай мне быть в этом уверенной, иначе я совсем заболею от беспокойства. — Тяжко и больно не быть с тобой, зная что ты переживаешь! Встреча с Николаем не будет приятной — ты ему верил, а теперь убеждаешься в правоте того, что наш Друг говорил столько месяцев тому назад, что он неправильно поступает по отношению к тебе, твоей стране

и твоей жене. Не из среды народа выходят люди, могущие повредить твоим близким, а Николай с кликой, Гучков, Родзянко, Самарин и т. д.“

Это письмо Николай получил еще в дороге. Из Витебска он телеграфировал 23 августа днем: „...Спал хорошо, чувствую себя сильным и решительным“. А вечером прислал вторую телеграмму: „Свидание сошло удивительно хорошо и просто. Он уезжает послезавтра, но смена состоялась уже сегодня. Теперь всё сделано“. Александра Федоровна ответила немедленно: „Да благословит бог, возлюбленный мой, тебя и твое мужественное решение. Благодарю господя, что всё сошло хорошо“. А в письме, которое было отправлено вслед за телеграммой, она писала: „Как меня взволновала и обрадовала телеграмма № 01 из Царской Ставки! Я сохранила конверт, как воспоминание об этом памятном дне“.

Николай 25 августа так описывал этот „памятный день“.

„Благодарение богу, всё прошло, и вот я опять с этой новой ответственностью на моих плечах. Но да исполнится воля божия! Я испытываю такое спокойствие, как после св. причастия.“

„Всё утро этого памятного дня 23 августа, прибывши сюда, я много молился и без конца перечитывал твое первое письмо. Чем больше приближался момент нашей встречи, тем больше мира водарялось в моей душе.“

„Николай вошел с доброй бодрой улыбкой и просто спросил, когда я прикажу ему уехать. Я таким же мавером ответил, что он может остаться на два дня; потом мы поговорили о вопросах, касающихся военных операций, о некоторых генералах и пр., и это было всё.“

„В следующие дни за завтраком и обедом он был очень словоохотлив и в хорошем расположении духа, в каком мы его редко видели в течение многих месяцев. Пет. тоже, но выражение лица его адъютантов было самое мрачное— это было даже забавно.“

„Я должен отдать справедливость моим господам, начиная со старого Фредерикса, они держали себя хорошо, и я не слышал ни одной диссонирующей нотки, ни одного слова, к которому можно было бы придраться...“

„Начинается новая чистая страница, и что на ней будет написано, один бог всемогущий ведлет!“

„Я подписал мой первый приказ и прибавил несколько слов довольно таки дрожащей рукой!“

Николай смотрел на смену верховного командования, как на величайшее историческое событие, имеющее не только государственный, но и религиозный смысл. Это внушено было ему Распутиным, которому он теперь подчинялся с полным доверием, видя в галицийской неудаче подтверждение пророчеств „божьего человека“. Первое письмо Александры Федоровны даст представление о тех настроениях, которыми жили в Царском Селе и с которыми уехал в Ставку царь:

„...Так тяжело отпускать тебя совершенно одного, но бог очень близок к тебе, больше чем когда либо!—Ты вынесодин, с решимостью и стойкостью, тяжкую борьбу ради родины и престола. Никогда не видели они раньше в тебе такой решимости, и это не может остаться бесплодным.“

„Не беспокойся о том, что остается позади. Необходимо быть строгим и прекратить всё сразу. — Дружок, я здесь, не смейся над своей глупой, старой женушкой, но на мне надеты невидимые „брюки“, и я смогу заставить старика быть энергичным. Говори мне, что делать, пользуясь мной, если я могу быть полезной. В такие времена господь мне подает силу, потому что наши души борются за правое дело против зла. — Это гораздо глубже, чем кажется на глаз. Мы, которым дано видеть всё с другой стороны, видим, в чем состоит и что означает эта борьба. — Ты, наконец, показываешь себя государем, настоящим самодержцем, без которого Россия не может существовать! — Если бы ты пошел на уступки в этих разнообразных вопросах, они бы еще больше вытянули из тебя. — Единственное спасение в твоей твердости. — Я знаю, чего тебе это стоит, и ужасно за тебя страдаю. Прости меня, — умоляю, мой ангел, — что не оставляла тебя в покое и приставала к тебе так много! Но я слишком хорошо знала твой исключительно мягкий характер, и тебе пришлось преодолеть его на этот раз и победить, одному против всех. — Это будет славная страница твоего царствования и истории России — вся история этих недель и дней. Бог, который справился и около тебя, спасет твою страну и престол через твою твердость. — Редко кто выдерживал более тяжкую борьбу, чем ты — она будет увенчана успехом, только верь этому. Твоя вера была испытана, и ты остался твердым, как скала, за это ты будешь благословен. Бог помазал тебя на коронации, поставил тебя на твое место и ты исполнил свой долг. Будь в этом твердо уверен: он не забывает своего помазанника. Молитвы нашего Друга денно и нощно возносятся за тебя в небесам, и господь их услышит.

„Те, которые боятся и не могут понять твоих поступков, убедятся позднее в твоей мудрости. — Это начало славы твоего царствования. Он это сказал — и я глубоко этому верю. — Твое солнце восходит, и сегодня оно так ярко светит. И этим утром ты очаруешь всех этих взбалмошных людей, трусов, шумливых, слепых и узких (нечестных, фальшивых). И твой Солнечный Луч появится около тебя, чтобы тебе помочь — твой родной сын. Это тронет все сердца, и они поймут, что ты делаешь, и чего они смели желать — поколебать твой престол, запугивая тебя мрачными внутренними предзнаменованиями! — Надо лишь немного успеха там — и они все переменятся. — Они вернутся домой, на чистый воздух, умы их очистятся, и они унесут в своем сердце образ твой и твоего сына“.

Эта экстатическая вера в самодержавие, поддерживаемая Распутиным, создавала ту поразительную ослепленность, которая уже не покидала Александру Федоровну до конца. „Всё в лучшем, как говорит наш Друг, худшее позади“. И она так верит этому, что сразу, после решения, принятого царем, успокаивается: „У меня такой мир на душе после этих тревожных дней“. Николай, как мы видели, тоже спокоен. 25 августа пришло известие о частичном успехе армии Щербачева в Галиции, и царь пишет:

„...Это случилось сейчас же после того, как наши войска узнали о том, что я взял на себя верховное командование. Это воистину божья милость, и какая скорая!“

А затем австро-германское наступление стало приостанавливаться. Немцы поспешно перебрасывали войска на запад. Как было не усмотреть в этом чудесную помощь протезируемого богом Распутина!

В течение конца августа и первой половины сентября переписка носит мирный и спокойный характер. Главный пункт программы выполнен — Николай Николаевич удален! Правда, Александра Федоровна не спускает с него глаз; ей подозрительна переписка Суворина с Милицей; она недовольна тем, что Николай Николаевич задержался в своей деревне и что к нему съезжаются сторонники, — но „всё теперь кажется пустяком, такая радость парит в душе“. И не только радость, а и злорадство. Самарина уже не внушает ей, как прежде, отчаяния и страха. 25 августа она пишет: „Самарин, кажется, продолжает говорить против меня, — ну, что ж, тем лучше, он сам провалится в яму, которую мне роет. Эти вещи меня не трогают ни капельки и оставляют меня лично холодной“...

Распутин поддерживал бодрость в Романовых; это было необходимо, потому что всё же до середины сентября войска отступали, несли большие потери, нависала угроза над Петроградом, и нельзя было скрыть, что в стране недовольство не прекращается, и оппозиционное движение растет. 3 сентября Распутин телеграфировал:

„Помните обетование встречи, это господь показал знамя победы, хотя бы и дети против или близкие друзья сердцу, должны сказать пойдёмте по лестнице знамени, нечего смущаться духу нашему“.

К этой телеграмме Александра Федоровна, пересылая ее в Ставку, приписала: „А твой дух бодр, также бодра и я, полна предприимчивости и готова разговаривать во всю. Все должно хорошо пойти, и так оно и будет, — только нужно иметь терпенье и уповать на господа бога!“.

Но сама то Александра Федоровна избытка терпения не обнаруживала. Властная натура ее не выносила отсрочек, медлительности. Всё большую настойчивость обнаруживал и Распутин. „Наш Друг желает, чтобы Ордовский был назначен губернатором“, — лаконически сообщает Александра Федоровна, и действительно вскоре Ордовский, председатель казенной палаты в Перми, был назначен тобольским губернатором.

Намеченная в Царском Селе программа содержала, помимо удаления Николая Николаевича, немедленный роспуск Государственной Думы, смену „либеральных“ министров — Самарина и Щербатова в первую очередь и усмирение печати и общественной оппозиции. Чтобы сделать это, надо было найти новых решительных людей. Их не было; надо было искать. Дряхлый Горемыкин вообще не способен был к энергичным и крутым поворотам. Снынешним составом правительства трудно было разогнать Госуд. Думу; неизвестно было к тому же, когда ее созывать снова. Горемыкин не хотел, повидимому, без особой нужды раздражать думское большинство, с которым еще вчера он вел переговоры о соглашении.

Александру Федоровну раздражала медлительность Горемыкина, — тем более, что, уехав из Царского Села, Николай стал обнаруживать свою обычную нерешительность, — несмотря на телеграммы о том, что он попрежнему

твёрд и неуклонен.— Дураки! Идиоты!— пишет о министрах Александра Федоровна, не стесняя себя в выборе выражений.

27 августа она пишет: „Когда же, наконец, закроют Думу? Почему твое присутствие для этого необходимо? То, что эти дураки нападают на военную цензуру, только доказывает, насколько она необходима“.

29 августа: „Надеюсь что ты разгонишь Думу, только кто сможет ее закрыть, раз старик (Горемыкин) боится оскорблений? Мне хочется отклонить почти всех министров и поскорее выгнать Щербатова и Самарина“.

30 августа: „В четверг в Думе будут внесены запросы, к счастью— с опозданием на неделю,—нельзя ли было бы заранее прикрыть Думу?“ И еще раз: „Только поскорее прикрой Думу—раньше, чем они успеют сделать свои вопросы. Будь и впредь так же энергичен!“

Николай 30 августа откликнулся неопределенной телеграммой: „Видел старика, о многом поговорили, но отложил окончательное решение до своего возвращения“.

Александра Федоровна этой телеграммой была неудовлетворена. Она отнесла отсрочку к немедленной смене министров. „Но Дума,—пишет она,—надеюсь будет немедленно распущена“. И на следующий день она беспокоится: „Закрывается ли Дума?—Каждый день появляются статьи, что невозможно распускать ее теперь, когда она так нужна и т. д... Надо было еще две недели тому назад закрыть ее“. Ее смущают слухи, будто перерыв только до 15 октября. „Жаль, что срок назначен опять так рано“...

Наконец, 2 октября пришло из Славки письмо, успокоившее ее.

„Будь совершенно спокойна и уверена во мне, моя душеха-солнышко,—писал 31 августа Николай—Моя воля теперь тверда и ум более здрав, чем перед отъездом. Вчера мы хорошо—и до конца—договорились со старым Горемыкиным; ты, вероятно, увидишь его в четверг, когда Думу закроют“...

О радости Александры Федоровны свидетельствует ее телеграмма:

„Только что получила дорогое письмо, за которое крепко благодарю. Невыразимо счастлива известиями. Ясно“.

Государственная Дума была распущена 3 сентября, при чем срок новой сессии в указе был намечен неопределенно: „не позже ноября“. Депутаты разъехались мирно и тихо, не позволив себе никакого протеста. Александра Федоровна, у которой уже работала своя агентура, проводила их подозрительным взглядом. Еще накануне, 2 сентября, она писала:

„Думцы намерены по окончании своей работы здесь собраться в Москве для совещания,—необходимо решительно запретить,—это вызовет только большие смуты.—Надо их предупредить, что если они только это сделают, созыв Думы будет отложен на очень долгий срок. Пригрози им, как они это делают министрам и правительству.—В Москве будет еще хуже, чем здесь—надо быть строгим. Ах, если б только можно было повесить Гучкова!“

После удаления Николая Николаевича и после роспуска Госуд. Думы мечта о расправе с общественной оппозицией, с ее лидерами и организациями, больше всего занимает Александру Федоровну.

28 августа она пишет: „Петроградскую гор. думу следует проучить — как она смеет подражать московской! Гучков опять инициатор всего этого... Им следовало бы резко ответить, что они должны думать о собственном деле и о пострадавших от войны. Никому не нужно их мнение — пусть они лучше всего займутся вопросом о канализации. Я это всё скажу старику, так как у меня не хватает терпения иметь дело с этими назойливыми болтунами“.

30 августа: „Следовало бы отделаться от Гучкова, но только как, — вот в чем вопрос. Военное время — нельзя ли выудить что-нибудь, на основании чего его можно было бы засадить?“

1 сентября: „Печать надо хорошенько прибрать к рукам. Они намерены опять скоро выступить против Ани [Вырубовой], значит против меня и нашего Друга. Аня послала Воейкову письмо... и просила его настоять на том, чтобы Фролов запретил печатать всякие статьи против нашего Друга или Ани“.

7 сентября должны были собраться в Москве земский и городской съезды. Известно было, что на этих съездах подняты будут вопросы внутренней политики. И уже 3 сентября Александра Федоровна писала:

„Милый, запрети этот московский съезд, — это совершенно недопустимо: он будет хуже Думы, и опять пойдут бесконечные скандалы“.

Нельзя отказать Александру Федоровне в некоторой проницательности. Ее не обнаружил министр внутр. дел Щербатов, со слов которого Николай 7 сентября писал:

„...нег оснований тревожиться съездом, ибо если они вынесут глупые резолюции, то их не разрешат к напечатанию, и таким образом никакой беды не выйдет. Правильно!“

Съезды собрались 7 сентября и не только вынесли „глупую резолюцию“ о необходимости министерства общественного доверия, но и послали ее телеграфно в Ставку, а также избрали делегацию в составе шести человек (в том числе кн. Г. Д. Львов, М. В. Челноков, П. П. Рябушинский) для личных объяснений с царем.

Александра Федоровна пришла в бешенство. Если оно не приняло еще больших размеров, то только потому, что одновременно взволновало ее, и даже еще сильнее, другое обстоятельство: под влиянием Самарина Синод осмелился выступить против распутинского ставленника Варнавы (он же на условном языке Царского Села — Суслик). В письмах Александры Федоровны в эти дни Суслик и московские земцы смешиваются воедино. 9 сентября Александра Федоровна телеграфировала: „Неужели они действительно имели наглость послать тебе эту телеграмму из Москвы? Щербатов обязан был предупредить всё это по время. Будь тверд и покажи железную волю. Довольно уже их вмешательства. У них достаточно своего дела, и они не смеют подымать этот шум. Пужна твердая рука выше, чтобы поставить их на место“.

В тот же день она писала, явно раздосадованная похвальным отзывом Николая о Щербатове:

„...Щербатов произвел на тебя лучшее впечатление, но, по моему, он нигде не годится, слишком слаб и не хочет работать дружно со старш-

ком. Вот видишь, до чего они ¹⁾ договорились в Москве — опять о тех же пунктах, которые они решили сначала исключить, и об ответственном министерстве. Ведь это совершенно невозможно, даже Куломзин это ясно видит. Неужели они действительно имели нахальство послать тебе телеграмму, которую собирались отправить? — Как бы хорошо дать им почувствовать железную волю и руку! До сих пор твое царствование было исполнено мягкости, теперь должно быть полно силы и твердости. Ты властелин и повелитель России, всемогущий бог поставил тебя, и они должны все преклониться перед твоей мудростью и твердостью. Довольно доброты, которой они не были достойны. Они думали, что смогут обернуть тебя вокруг пальца. Всё, о чем они говорили в Москве, было вчера напечатано в газетах*.

11 сентября Александра Федоровна писала:

„Правда ли, что собираются послать к тебе Гучкова и еще других с делегацией из Москвы? Тяжелое железнодорожное несчастье, от которого он один бы только пострадал, было бы заслуженным наказанием от бога. Они заходят слишком далеко, и этот дурак Шербаков ничего не достиг зачеркиванием некоторых мест в их речах. Действительно, это — негодное правительство, раз оно не желает работать со своим государем, но идет против него!“

Николай делегации не принял, — о чем всей России немедленно стало известно. Точно также не принял он Родзянко, которому предложено было представить письменный доклад.

Правительство, в состав которого входили Шербаков, Самарин, Кривошеин, действительно, не годилось для проведения программы, намеченной Александрой Федоровной; часть министров оказывала скрытое сопротивление Горемыкину, интриговала против Распутина или же, во всяком случае, не подчинялась ему. 23 августа у царицы была продолжительная беседа с Горемыкиным. „Он находит, — писала после этого Александра Федоровна, — что совершенно невозможно работать с министрами, не желающими с ним сговориться, но он так же, как и мы, находит, что сейчас его [Горемыкина] не следовало бы удалять, ибо это то им и желательно, и если им сделать эту уступку, то они станут еще хуже“.

Поиски подходящих кандидатов начались немедленно после отъезда царя в Ставку, но затянулись почти на целый месяц. Их и нелегко было найти. Вокруг династии образовалась уже пустая полоса. Александра Федоровна готова была тянуть на министерские посты первого попавшегося авантюриста, лишь бы он поклялся в абсолютной верности Распутину, но она совершенно не знала людей и не знала, кому довериться. Горемыкин был осторожнее и действовал по старым бюрократическим традициям. О Хвостове велись разговоры еще до отъезда царя, но, повидимому, Николай держал себя уклончиво и не давал определенного ответа. В первом письме (22 авг.) Александра Федоровна пишет: „Я надеюсь, что Горемыкин одобрит назначение Хвостова — тебе нужен энергичный министр внутренних дел; если он окажется непод-

¹⁾ Участники общегородского и общеземского съезда в Москве.

ходящим, можно будет его позднее сменить, беды в этом нет. Но если он энергичен, он может очень помочь, и тогда со стариком нечего считаться. — Если ты его берешь, то телеграфируй мне: „хвост годится“, и я пойму“.

Такой телеграммы Александра Федоровна не получила. Николай „считался“ с Горемыкиным, а Горемыкин был решительно против Хвостова. Царица писала (23 авг.) после беседы с Горемыкиным: „Относительно Хвостова он думает, что лучше не надо его. Он в Думе выступал против правительства и германцев, ... находит его слишком легкомысленным и не совсем верным в некоторых отношениях. Он обдумает имена и пришлет или принесет мне для тебя список лиц, могущих, по его мнению, подойти“.

Александра Федоровна не настаивала и некоторое время выжидала. Горемыкин выдвинул кандидатуру Нейдгарта, и Александра Федоровна против нее не возражала. 28 августа она пишет:

„Я только что видела старика. Ему необходимо с тобой видаться, а потому он завтра выедет. Он много думал о том, кого бы можно было назначить министром внутренних дел, но, по его мнению, нет подходящего кандидата, за исключением разве Нейдгардта. И я тоже полагаю, что он был бы не плох (папа Танеев тоже упоминал о нем) — из Татьянинского комитета. Он прекрасный работник и доказал это на деле, чрезвычайно распределителен и энергичен. Правда, скучный человек, но тут ничего не поделаешь, его „величественность“ может воздействовать на Думу. К тому же ты его хорошо знаешь и можешь говорить с ним, как тебе заблагорассудится, не стесняясь. Надеюсь только, что он не принадлежит к шайке Джунковского и Дрентельна. Мне думается, что он мог бы держать в руках остальных министров и этим помочь старику“.

Из признаний С. Белецкого мы знаем, как обрабатывал в это время Хвостов Распутин и Вырубову. На Александру Федоровну был сделан соответствующий нажим, и 29 августа она пишет Николаю и о Нейдгарте, и о Хвостове:

„...В с л у ч а е (я совсем не знаю, одобряешь ли ты Нейдгардта), если ты его назначишь, и он тебе представится, поговори с ним решительно и откровенно. Смотри, чтобы он не пошел по стопам Джунковского. Ты с самого начала объясни ему положение нашего Друга, чтобы он не смел поступать, как Щербатов, Самарин. Дай ему понять, что преследуя нашего Друга или, позволяя клеветать на Него, он этим действует прямо против нас. Ты можешь подействовать на его самолюбие. И запрети это немилосердное преследование баронов...“

Любимый мой, Аня только что видела Андронникова и Хвостова, — последний произвел на нее прекрасное впечатление (старик против него, а же его не знаю, и потому не знаю, что сказать). Он очень тебе предан, говорил с ней спокойно и хорошо о нашем Друге, рассказал, что на завтра готовился запрос в Думе о Григрии: просили подписи Хвостова, но он отказал и заметил, что если этот вопрос будет поднят, то амнистия не будет дарована. Они подумали и — опять отказались от запроса. Он рассказал такие ужасы про Гучкова! Был сегодня у Горемыкина, — говорил про тебя, что ты спас себя.

приняв на себя командование. — Хвостов, поднял вопросы о германском засильи и дороговизне мяса, чтобы левые их не поднимали. Теперь, когда это обсуждается правыми, это безопасно. — Вообще, она им очарована. — Горемыкин хотел предложить Крыжановского, но я ответила, что ты никогда не согласишься. — Поговори с ним насчет Нейдгарда. — Я его (Хвостова) статьи, т.-е. речи в Думе не читала, так что мне трудно давать советы. — Все ли другие против него, или один только старик, который ненавидит всех думских? Очень трудно тебе опять решить, бедное мое сокровище, а я не могу высказаться, раз не знаю этого человека. — На нее он произвел очень хорошее впечатление. — Поговори с Горемыкиным о нем“.

Горемыкин 30 августа выехал в Ставку и докладывал Николаю о смене министров. После этого Николай послал телеграмму, которую мы уже приводили: „Видел старика, о многом поговорили, но отложил окончательное решение до своего возвращения“. На другой день Николай писал, что он придет не раньше 10 или 12 сентября, когда закончится сосредоточение войск на сев.-западном фронте. В письме были слова, которые должны были крайне огорчить Александру Федоровну. Царь писал: „...Вчера мы хорошо — и до конца — договорились со старым Горемыкиным..., но я, совершенно забыв упомянуть о Хвостове. Лучше оставить эти вопросы до моего возвращения“.

И ни слова о Самарине. Александра Федоровна принуждена была скрыть свое недовольство. Надо было вооружиться терпением и ждать. Действительно, целую неделю с 1-го по 7 сентября, Александра Федоровна только мимоходом упоминает о министрах в своих письмах. Но затем ее начинают беспокоить слухи о готовящейся демонстрации на московском съезде. Щербатов не проявляет надлежащей твердости. Правда, Николай ее успокаивает и 5 сентября телеграфирует: „Будь совершенно уверена в моей твердости с Щербатовым“. Всё же и на следующий день Александра Федоровна пишет крайне взволнованно, о „забастовке министров“, о необходимости немедленной смены их, в особенности Щербатова, который не запретил речей на московских съездах.

7 сентября произошло событие, которое окончательно вывело Александру Федоровну из состояния душевного равновесия. Она телеграфирует:

„Приехал Суслик [епископ Варнава], его начальник [Самарин] продолжает распространять ужасные слухи о нашем Духе и приказывает Суслику сознаться, что он сказал тебе ложь. Телеграфировала старику и просила принять епископа“.

Письмо о Щербатове и телеграмму о Самарине Николай получил в один и тот же день. Вечером он телеграфировал: „Спасибо за твое и Ольгино письмо. За сообщения тоже. Поведение этого человека начинает бесить меня“.

„Этот человек“ — Самарин. Александре Федоровне удалось, наконец, вырвать у Николая прямое осуждение министра, которого она особенно боялась и ненавидела. На телеграмму она отвечает пространной телеграммой, в которой забывает обычную свою осторожность в телеграфной переписке:

„Сердечно благодарю за телеграмму. Следовало бы немедленно прогнать того, кто возмущает тебя. Дай приказание старику сегодня же. Он знает всё

об отвратительном поведении, и какие ужасы принужден был выслушивать Суслик от своего начальника в течение трех часов. Но он отвечал им очень твердо и потом рассказал всё старику, который возмущен ими до глубины души. Они почти смеялись над твоей телеграммой, игнорировали ее и запретили продолжать величание [митр. Максимовича, канонизированного Варнавой]. Митрополит Макарий всецело за Суслика. Только строгие меры могут прекратить эту анархию. Премудрость [Горемыкин] говорит, что никогда ничего подобного не говорилось на таких собраниях. Прости, что беспокою тебя, но необходимо поспешить“.

На необычный характер этой телеграммы указывала сама Александра Федоровна в письме, которое она писала в тот же день: „Дорогой, так трудно, когда есть чтонибудь, что необходимо тебе сообщить, и я не знаю, не читает ли ктонибудь наших телеграмм. Я опять принуждена была телеграфировать тебе неприятную вещь, но нельзя было терять времени“.

И дальше длиннейший ворох обвинений против Самарина, где всё свалено в кучу: и „забастовка синода“, и продолжающиеся интриги Николая Николаевича („под влиянием женщин“), и речи на московском съезде, внушенные будто бы Самариным. Наряду с угрозами и просто бранью иступленной женщины — лицемерные выходки христианского смирения. Она цитирует по газетам речь В. И. Гурко на московском съезде со своими комментариями:

„...Львов разрешил В. И. Гурко говорить в Москве, и тот между прочим сказал: „Мы желаем сильной власти — мы понимаем власть, вооруженную исключительным положением, власть с хлыстом (докажи им теперь всюду, где можешь, что ты самодержавный повелитель), но не такую власть, которая сама находится под хлыстом“.

Этот ядовитый намек на хлыста — Распутина хлестнул Александру Федоровну так, что она даже обесилела от злобы и могла только припечатать: „Что — клеветническая двусмыслица, направленная против тебя и нашего Друга. Бог их за это накажет. Конечно, это не по христиански так писать — пусть господь их лучше простит и даст им покаяться!“

Александра Федоровна не останавливается перед базарными сплетнями. Она пишет о Самарине: „Про меня он сказал Суслику, что я глупая баба, а про Аню, такие отвратительные вещи, которые он даже не может повторить. Горемыкин настаивает на его немедленном увольнении... Скорей смени министров. Он не может больше с ними работать“.

Александра Федоровна ждала после телеграммы Николая, что он, действительно, „сегодня же“ прогонит Самарина, как прогоняют капризные барыни дерзкую прислугу. Но Николай отвечал телеграммой: „Трудно уволить его, не выбрав кого-нибудь на его место. Не может ли старик дать тебе список для выбора, а ты перешлешь его мне?“

Пришлось отложить на несколько дней расправу с Самариным, пока Горемыкин не составит списка кандидатов. Тем временем Александра Федоровна продолжала писать возбужденные письма, доказывая, что через Самарина диавол сеет возни и что растет вследствие этого смута. Какой то губер-

натор (повидимому, тобольский) сказал будто бы Варнаве, что Александра Федоровна „сумасшедшая баба“, а Вырубова „мерзавка“ и т. д. 9 сентября она пишет:

„...Извини меня, что опять тебе надоедаю, но я хочу убедить тебя, что ты должен скорее сменить Самарина. Я буду страдать, если он останется, и эта мысль не будет покидать меня. Ты слышал, как губернатор обо мне отзывался, здесь — в некоторых кругах — плохо против меня настроены, а теперь совсем не время порочить имя своего государя или его жены. — Только будь тверд (ты помнишь, что Он просил тебя долго не отсутствовать?) и ни за что не назначай его в Государственный Совет, как бы в виде награды за то, что он себя так вел и открыто говорил о тех, кого мы принимаем, и в таком тоне отзывался о тебе и твоих желаниях. Этого нельзя больше терпеть, и ты не имеешь права допускать этого! — Это последняя борьба за твою внутреннюю победу, покажи им свою власть“.

В тот же день Николай написал пространное письмо, в котором выражал недовольство министрами, но с таким отсутствием темперамента, которое должно было вывести из себя Александру Федоровну. Царь писал:

„Спасибо, спасибо за твои милые длинные письма, которые теперь получаются все уярьнее — около 9 ч. 30 м. вечера. Ты пишешь совершенно так, как говоришь. Поведение некоторых министров продолжает изумлять меня! После всего, что я им говорил на знаменитом вечернем заседании, я полагал, что они поняли и меня, и то, что я серьезно сказал именно то, что думал. Что-ж, тем хуже для них! Они боялись закрыть Думу — это было сделано! Я уехал сюда и сменил Николая вопреки их советам; люди приняли этот шаг, как нечто естественное, и поняли его, как мы. Доказательство — куча телеграмм, которые я получаю со всех сторон — в самых трогательных выражениях. Всё это ясно показывает мне одно, что министры, постоянно живя в городе, ужасно мало знают о том, что происходит во всей стране. Здесь я могу судить правильно об истинном настроении среди разных классов народа: всё должно быть сделано, чтобы повести войну до победного конца, и никаких сомнений на этот счет не высказывается. Это мне официально говорили все депутации, которые я принимал на днях, и так это повсюду в России. Единственное исключение составляют Петроград и Москва — две крошечных точки на карте нашего отечества!“

Это рассуждение о злонаправлении министров совсем не походило на то, чего ждала от Николая его супруга. Она писала 11 сентября о Самарине: „Я прихожу в ярость и умоляю тебя поторопиться. Он не смеет относиться к твоим словам, как к сору“. Види, что перепиской она не добьется толку, и что Николая трудно вызвать в Петроград, Александра Федоровна посылает в Ставку Горемыкина. Но она не доверяет ни сообразительности, ни решительности своего супруга и его первого министра, и пишет настоящую шпаргалку к предстоящей их встрече:

„Возьми клочок бумаги и запиши себе, о чем тебе нужно переговорить, и затем дай эту бумажку старику, чтобы ему легче было запомнить все

вопросы: 1) Самарин, 2) Щербатов — Синод, 3) Сазонов, 4) Кривошеин, тайный враг и всё время неверен старику, 5) как дать знать баронам, что Николай передал им великую ложь, будто он получил приказание из Царского преследовать баронов, — это нужно выяснить тонко и умело. Старик всегда просит, чтобы ты действовал быстро и решительно. Когда ты дашь категорические ответы или приказания, то ему гораздо легче, потому что они принуждены слушаться".

Однако, проходит еще один день и другой, а Горемыкин не выезжает в Ставку. Списка у него всё еще нет, дело затягивается, — к тому же он и сам не знает, останется ли он. В совете министров происходит скрытая борьба, которая имеет связь и с борьбой закулисных влияний в Ставке. Щербатов и Самарин еще не считают своего дела окончательно проигранным. Александра Федоровна теряет, наконец, терпение, и ее письмо 12 сентября имеет характер выговора:

„Может ли Алексеев в ближайшее время обойтись без тебя дня три? Ответь на это, если можешь. Ты не можешь себе представить, как мучительно, что нельзя телеграфировать всего, что и хочется и следовало бы сказать, и не получать ответа! У тебя нет времени отвечать на мои вопросы, которых 1000, но которые всегда одни и те же, так как они несложны, и я уже устала думать и видеть, как все дела плохи, и как это начинает распространяться по стране. Эти типы всюду говорят против правительства и т. д. и сеют семена недовольства. До созыва Думы (через месяц) должен быть сформирован сильный кабинет, и при этом поскорее, чтобы дать им время заранее начать работу и подготовиться совместно. Он [Горемыкин] предложил мне повидать Самарина но что толку? Этот человек никогда меня не послушается и будет делать из противоречия и злобы всё наоборот. Я его теперь слишком хорошо знаю по его поведению, которое, впрочем, меня не удивило, так как я знала, что он будет такой. Горемыкин хотел бы, чтобы ты вернулся и всё это сделал, — только не теряй времени. Ты сам спокоен и это хорошо, но все-таки, мой дорогой, вспомни, что ты немного медлителен, а тянуть время никогда не хорошо“.

Наконец, Горемыкин выехал в Ставку, и 14 сентября Александра Федоровна получила от царя телеграмму: „Только что видел старика. Решил выписать сюда всех министров“. Это было опять совсем не то, чего добивалась Александра Федоровна. Николай не выгонял Самарина и Щербатова, а собирался предварительно с ними разговаривать.

Но делать было нечего. В ответной телеграмме царица написала: „Всё может успокоиться и пойти хорошо после того, как ты их увидишь“, но в письме, отосланном на следующий день, 15 сентября, меланхолически заметила: „Я так беспокоюсь, как обойдется с министрами. Теперь, когда они уже приехали, поздно сменять их, а это ведь существенно важно“.

Заседание должно было состояться 16 сентября. Александра Федоровна была полна беспокойства. В письме она успевает сообщить новые компрометирующие слухи о Самарине, просит не забыть о Хвостове... Но вот

главное, о чем она напоминает Николаю: „Не забудь перед заседанием министров поддержать в руке образок и несколько раз расчесать волосы Его гребнем. О, как я буду думать и молиться за тебя, мой любимый,—больше, чем когда-либо!“

И в тот же день вечером телеграфирует: „Все мои мысли с тобой. Благословляю и целую, мой дорогой, не забудь причесаться маленькой гребенкой“.

И на другой день, накануне заседания: „Иду поставить свечу. Бог да поможет тебе. Не забудь про гребенку“.

Николай, со своей стороны, готовился к заседанию совета министров, словно к грозному сражению. 15 сентября он телеграфировал: „Не тревожься за мое завтрашнее заседание. Я им покажу“.

Поразительно, до чего эта царственная чета боялась заседаний и публичных выступлений. Александра Федоровна, которая готова была прогнать в один день весь совет министров, Госуд. Думу, арестовать виднейших общественных деятелей, волновалась и робела на заседаниях своего комитета попечения о раненых и, словно желая ободрить своего робкого супруга, 15 сентября телеграфировала ему с торжеством: „Комитет сошел хорошо, даже решилась говорить“.

Естественно, что весь день 16 сентября Александра Федоровна провела в крайней агитации, молилась в церкви, молилась у себя дома. От Распутина пришла телеграмма, что „Хвостов подойдет“. В 10 ч. вечера получена была телеграмма от Николая. Он сообщал, словно гимназист, выдержавший экзамен: „Заседание прошло хорошо. Строго высказал им в лицо свое мнение“.

На другой день после заседания Николай написал: „Вчерашнее заседание ясно показало мне, что некоторые министры не желают работать со старым Горемыкиным, несмотря на мое строгое слово, обращенное к ним; поэтому, по моем возвращении, должны произойти перемены“. Никаких подробностей о заседании Николай не сообщил. Александра Федоровна узнала о них со слов светского генерала. „Граббе написал своей жене,—сообщает она Николаю 19 сентября,—что заседание министров было очень бурным, и они не хотели тебя слушаться, но что ты был очень энергичен—настоящий царь. Я была так горда, когда Аня мне это сказала. Ах, дорогой, чувствуешь ли ты свою силу и мудрость теперь, когда ты во главе всего, и будешь ли ты продолжать быть энергичным, решительным и не поддаваться влияниям других?“

Александра Федоровна искусно льстила своему мужу; но всё же положение оставалось неопределенным: министры уволены не были, а о Хвостове Николай упорно молчал. Александра Федоровна начинает снова энергичную кампанию. Она пишет длиннейшие письма,—вернее докладные записки, в которых без особого труда можно отгадать руку самого Хвостова. Хвостов и Белецкий делают в это время постоянными посетителями Вырубовой.

17 сентября Александра Федоровна писала:

„Милый, Хвостов был опять у Ани и умолял, чтоб я приняла его, по этому приему его сегодня. Из всего, что он сказал ей, видно, что он отлично

понимает положение и думает, что с умением и умом можно будет всё наладить. Он знает, что его дядя [министр юстиции] и Горемыкин против него, так как боятся его, потому что он очень энергичен. Но он больше всего предан тебе и поэтому предлагает тебе свои услуги“.

Но молчание смущает ее, и она пишет:

„...Меня с ума сводит быть в неизвестности относительно того, что ты думаешь и решаешь,—это такой крест — переживать всё издали! А, может быть, ты не предпримешь никаких перемен до своего возвращения, и я только напрасно мучаюсь? Телеграфируй хоть одно слово, чтобы успокоить меня. Если министры не сменены, телеграфируй: „перемен пока нет“, и если решил на счет Хвостова, напиши: „я помню про Хвост“, а если нет, то: „не надо Хвоста“. Но дай бог, чтобы ты был хорошего мнения о нем! Я его принимаю, потому что он просит этого поскорее,—не знаю, почему он верит в мою мудрость и помощь. Это только доказывает, что он хочет служить тебе и твоей династии против этих разбойников и крикунов.

О, дружок, как ты мне дорог, как я жажду тебе помочь и быть серьезно полезной,—я так молюсь богу сделать меня твоим ангелом-хранителем во всем! Некоторые на меня смотрят уже, как на такового, а другие говорят про меня самые злые вещи. Некоторые боятся моего вмешательства в государственные дела (все министры), а другие видят во мне помощника во время твоего отсутствия (Андронников, Хвостов, Варнава и другие). Это доказывает, кто тебе предан в настоящем значении этого слова,—одни меня ищут, другие избегают,—разве не так, дорогой мой?“

В тот же день Александра Федоровна приняла Хвостова и беседовала с ним больше часу. Вслед затем телеграфировала в Ставку на своем жаргоне: „Солнышко видела Хвост“, а поздно вечером приписала к своему письму:

„Ну, вот, я больше часу говорила с „Хвостом“ и полна наилучших впечатлений. Я, по правде сказать, была немного взволнована, потому что Аня иногда увлекается людьми. Мы говорили о всевозможных вопросах, и я пришла к заключению, что работа с таким человеком будет удовольствием. Такая ясная голова, так отлично понимает всю тяжесть положения и как можно справиться с этим!“ И дальше почти на двух страницах идет пространная декларация Хвостова, списанная явно с подсунутой цариче бумажки, где всё есть: и продовольственный вопрос, и грядущая демобилизация, и выборы в Госуд. Думу. Александра Федоровна закончила свое письмо словами: „Хвостов меня освежил, я не падала духом, но жаждала, наконец, увидеть „человека“, а тут я его видела и слышала. Вы оба вместе поддержали бы друг-друга“.

В этот день Александра Федоровна послала вторично телеграмму: „Хвост произвел прекрасное впечатление на Солнышко. Вполне подходящий человек“.

Весь день она ждала ответа,—его не было. Наконец около 12 ч. ночи пришла телеграмма из Ставки: ни слова о „Хвосте“. Царь сообщал, что „погода славная“, а „вести попрежнему хороши“.

И прежде, чем лечь спать, Александра Федоровна написала с раздражением:

„Я 4 раза тебе телеграфировала о Хвостове и надеялась, что ты ответишь хоть словечко на это. Я в письме несколько дней тому назад просила тебя принять его, так как он этого добивался, но ты не ответил“.

Это сердитое внушение подействовало. 18 сентября Николай писал:

„...Только что получил твое последнее милое письмо от 17-го, в котором ты говоришь о хорошем впечатлении, произведенном на тебя молодым Хвостовым. Я уверен был в этом, зная его по прошлому, когда он был губернатором в Вологде, а позднее в Нижнем. И чтобы не терять времени, я немедленно повидать его в тот день, как приеду, в 6 часов. Может быть, старший Хвостов пригодится на место Самарина.“

„На другой день после нашего заседания он попросил позволения увидеть меня, и вошел весь дрожащий от негодования на остальных. Он хотел знать, желаю ли я удерживать его. И, разумеется, сказал, что желаю,—но теперь он будет на другом посту,—этого я ему не сказал, так как тогда еще не знал сам“.

А на следующий день телеграфировал:

„Благодарю за милое письмо. Я помню Хвост. Хотел бы повидать его в среду в 6 часов; не можешь ли ты известить его? Идеально теплая погода“.

Александра Федоровна отвечала:

„Сердечно благодарю за телеграмму. Извещу“.

Карьера Хвостова была устроена. На совещании с Белецким он обсуждал уже, сколько давать ежемесячно Распутину, сколько—Андронникову. В доме Вырубовой происходили регулярные заседания, о которых Александра Федоровна так сообщила 20 сент. мужу: „Андронников дал Ане честное слово, что никто не будет знать, что Хвостов и Белецкий бывают у нее (она выдается с ними в своем доме, но не во дворце), так что ее имя и мое не будут в этом замешаны“.

Окончилась полная тревог и нервного напряжения полоса в жизни Александры Федоровны. Она нашла своего верного человека и могла ему поручить все заботы по охране личного благополучия Распутина, то-есть благополучия династии и монархии. Судьба Самарина была предreshена. Оставались еще другие минн три,—они не внушали такой тревоги. Накануне присзда Николая, 20 сентября, она писала ему о Сазонове:

„Но что ты думаешь относительно Сазонова? Я думаю, что так как он очнь хороший и честный (и упрямый) человек, то, когда увидит новый, энергичный состав министерства, он подтянется и опять сделается мужчиной. Атмосфера вокруг него заела его и сделала кретином.—Есть люди, которые становятся выдающимися в тяжелые времена и при больших трудностях, а другие, напротив, обваруживают тогда свое ничтожество.—Сазонову необходимо сильное возбуждающее средство, и как только он увидит, что работа налаживается, а не распадается, он почувствует себя окрепшим.—Я не думаю, чтобы он был так вреден, как Щербатов и Самарин, или даже мой приятель Кривошеин—что с ним случилось? Я горько в нем разочаровалась“.

17 сентября штаб главнокомандующего „признал своевременным оповестить, что под влиянием целого ряда благополучно завершенных и проте-

жающих боевых предприятий в общем положении фронта наших армий отмечается новый, благоприятный для нас оборот”.

23 сентября Николай вернулся в Царское Село. Через три дня уволены были в отставку Щербатов и Самарин, а Хвостов назначен министром внутренних дел. Хотя при вступлении своем в должность, Хвостов наговорил газетным репортерам кучу либеральных слов, стало ясно, что краткий период колебаний власти окончился, и начинается полоса беспросветной реакции. Общественное мнение единодушно приписывало этот поворот Александре Федоровне и Распутину. Революционное брожение в широких общественных кругах можно считать начинающимся с этого момента. Внешне, однако, оппозиция на время смолкла. Печать и общественные организации были снова придавлены. Александре Федоровне казалось, что всё успокоилось, и она тоже успокоилась. Тревожил теперь только продовольственный вопрос, который нельзя было так просто решить ведомственными мерами.

Письмо Александры Федоровны 19 сентября, торжествующее победу над оппозицией, заканчивается, такой припиской:

„Такой позор — ни здесь, ни в городе нельзя достать муки! Перед магазинами на улицах стоят длинные очереди. — Отвратительно всё организовано. Надо предвидеть вещи, а не ждать, пока они случатся. — Оболенский — идиот”.

Александра Федоровна умела очень энергично выражаться. Нельзя сказать, чтобы она обладала также и умением „предвидеть вещи”.

V.

Пятый и последний период в опубликованной переписке — это октябрь — декабрь 1915 года. Это и наименее интересный период. Авантюра Хвостова, его тайные замыслы против Распутина, конфликт с Белецким — всё это начинает разоблачаться только в следующем году. Во внутренней политике продолжается ликвидация краткой Щербатовской „весны”; Александра Федоровна сводит при этом счеты сличными своими противниками. Созыв Государственной Думы, предполагавшийся „не позднее ноября”, откладывается на неопределенное время. Съезды общественных организаций воспрещены.

Ничто не нарушало до конца года покоя Романовых. На фронте установилось длительное затишье. Попытка германского наступления на Ригу была отбита. Распутин, который накануне весьма беспокоился по поводу Риги и даже имел соответствующее ночное видение, утвердил лишний раз свою репутацию пророка.

Царь уезжал в Ставку с сыном Алексеем. Письма за это время носят по преимуществу семейный характер. Александра Федоровна продолжает принимать деятельное участие во внутренней политике, принимает часто Хвостова, но исчезает необходимость в ежедневном энергичном давлении на Николая. И без этого всё делается по желанию Александры Федоровны. Она становится в это время послушным рупором, передающим в Ставку все

проекты и предложения Хвостова. Николай редко отвечает на эти письма. Но, однажды, когда Хвостов попытался через Александру Федоровну натравить царя на одного из близких ему генералов, Дрентельна, враждебного Хвостову, — Николай (2 ноября) сухо оборвал жену: „Я хотел бы, чтобы ты обращала поменьше внимания на такие мелочи. Несколько дней тому назад я говорил тебе, что предложи Дрентельну, командовать Преображ., и не могу этого отменить“.

В ноябре Хвостов начинает вести сначала сдержанную, а потом всё более настойчивую кампанию против Горемыкина и некоторых других министров. Горемыкин высказывался против созыва Государственной Думы. У Хвостова были фантастические планы примирения с Думой и с обществом путем подкупа и разращения отдельных депутатов и печати. Ухаживая усиленно за Распутиным и задаривая его деньгами, Хвостов в тоже время измышлял способы его отравления. Об этом последнем Александра Федоровна, конечно, не догадывалась. Напротив, она чрезвычайно рада была тому, что борьба в правительственных кругах против Распутина прекратилась. 16 декабря Александра Федоровна писала: „Аня была вчера у митрополита. Наш Друг тоже, — они очень хорошо поговорили; затем он угостил их завтраком. Григорий был на почетном месте. Он относился к Григорию с замечательным уважением и был под глубоким впечатлением от всех Его слов“.

Взгляды свои на отношение к Государственной Думе и к Горемыкину Хвостов проводил через Распутина, и Александра Федоровна послушно повторяла его слова. 8 ноября она писала:

„Затем о Ротзянко из Думы. Хвостов находит, что ему надо бы дать теперь орден. Это ему польстило бы, а вместе с тем, он упал бы в глазах левых т. е., что принял от тебя награду. Наш Друг говорит, что это было бы правильным образом действий. Конечно, это очень несимпатично, но — увы! теперь времена такие, что нужно из благоразумия делать такие вещи, которых бы не хотелось для с.“.

Но Хвостов обучал Александру Федоровну еще более „несимпатичным“ вещам. 19 декабря она писала:

„Хвостов и многие другие благонамеренные люди находят Барка не на высоте положения. Во всяком случае, он Хвостову не помогает — давно уже у него просили денег для частичного подкупа „Нового Времени“ (к сожалению, министры сказали об этом Барку, а не Хвостову, которому бы это, наверное удалось, — тогда как Барк медлит по собственным соображениям), и в результате газету подкупают Гучков с евреями, Рубинштейнами и т. п., и помещают свои тенденциозные статьи“.

Горемыкин при всей своей реакционности, был всё же бюрократом старой классической школы и сравнительно с Хвостовым — образцом честности. От хвостовских авантур за версту несло шудерством и скандалом. Это было ясно всем, и это видел и Горемыкин. Он пробовал сопротивляться Хвостову, как пробовал удержаться на какой то едва уловимой грани порядочности Волжин, сменявший Самарина. Но Хвостов, Белецкий и Распутин не стеснялись и ни перед чем не останавливались. Должны были уйти Горемыкин,

Полжин, Барк, Рухлов, — все, кто пытался спасти остатки министерской самостоятельности от нахара распутинского клуба червонных валетов. Ни в Ставке, ни в Царском Селе ничего этого не замечали, и замороженная лесью Александра Федоровна вместе с мужем своим шли навстречу позорному провалу хвостовской авантюры.

Но это должно составить содержание четвертого тома переписки. Третий том заканчивается письмами, которыми Николай и Александра обменялись 31 декабря, накануне нового года.

Она писала после общих приветствий и пожеланий:

„...За пять минут до твоего отъезда выглянуло солнышко. Шахбагов [Распутин] всегда отмечал это явление, когда ты уезжал в армию, а сегодня оно ярко светит при 18° мороза! И так как наш Друг всегда советовал обращать внимание на погоду, то мне верится, что это действительно доброе предзнаменование.

„А для внутреннего спокойствия необходимо подавить те мятежные элементы, что стараются разорить страну и втянуть тебя в бесконечную борьбу“.

Николай писал:

„...Самое горячее спасибо за всю твою любовь и ласки за эти шесть дней, что мы провели вместе. Если бы только ты знала, как это поддерживает меня и как вознаграждает меня за мою работу, ответственность, тревоги и пр.!.. Право, не знаю, как бы я выдержал всё это, если бы богу не было угодно дать мне тебя в жены и друзья!

„Я всерьез говорю это. Иногда трудно бывает выговорить такую правду, и мне легче изложить это на бумаге — по глупой застенчивости. Вчера, после того, как мы расстались, я принимал толстого Хвостова — в течение полутора часов. Мы хорошо и основательно потолковали“...

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

В. Г. КОРОЛЕНКО. *История моего современника. Томы I, II, III* в издании „Задруга“ (Москва, 1920—22 г.), т. IV в „Голосе Минувшего“ (№ за 1920—21 г. и № 1—1922 г. Посмертное изд.).

В. Г. Короленко задумал написать свою автобиографию—„Историю моего современника“, в широком масштабе. Она должна была захватывать не только личные и общественные переживания автора, с самого его детства, но и те события, в которых ему приходилось принимать активное или пассивное участие.

Жизнь так рано ушедшего от нас писателя-гражданина была многогранна, как и многих его сверстников-семидесятников, счастливо прошедших только через тюрьмы и ссылки, а затем переживших две революции. Драма мыслящего русского человека этого периода нашей общественности—идеальная и духовная оторванность от народа. (крестьянства)—пережита была В. Г. Короленко, как и другими, со всеми ее надеждами, разочарованиями и... скорбью. И драма эта не изжита была им до самого конца жизни...

По призванию, таланту, складу характера и мировоззрению Короленко был призванным писателем-художником, и при нормальных условиях общественной жизни (как, например, в Западной Европе) его литературное наследие России было бы и обширнее и певнее. Но присущая В. Г. аналитическая мысль и чуткая совесть цельной натуры, требующей согласия между словом и делом, властно толкали его в публицистику, на борьбу с текущими неправдами и, конечно, в ущерб его литературно-художественным трудам. Гражданин В. Г. Короленко сам губил художника-писателя Короленко.

И в этом случае также вполне оправдались горькие стихи печальника народного горя Некрасова, сказанные им о себе:

„Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть бойцом...“

Несомненно, велика роль гражданина Короленко и значительны его заслуги перед родиной в течение всего периода его жизни, начиная с возвращения его из Иркутской ссылки (середина 1880-х годов) и до самой смерти. Он был, особенно за последние 25 лет, живой совестью нашего дремавшего, швертного общества; он будил и стыдил его, вселяя веру в лучшее будущее; он лично кидался в борьбу при всяком вопиющем событии общественного значения. Достаточно указать на его публицистическую борьбу с канцелярско-бюрократическим строем, на его агитацию словом и делом в голодный 1892 г., на дела Мультианское и Бейлиса, на агитацию в период 1905—06 г.г. и в последующие годы — до самой смерти...

Россия, конечно, никогда не забудет этой заслуги гражданина Короленко, но русская и всемирная литературы, несомненно, многое и безвозвратно потеряли именно благодаря его гражданству. Вл. Г. Короленко не успел написать многого из задуманного им: мешала цензура, мешала чуткая совесть гражданина.

„История моего современника“ испытала ту же участь: сначала дело шло гладко, когда речь шла о детстве и гимназических годах.

Период студенчества и ссылки натолкнулся уже на цензурные условия, а В. Г. Короленко, не наделенный, как корифей русской литературы 40—60 годов, „наследием отцев“, чтобы существовать—вынужден был писать лишь печатаемое. После же 1906 г. мешали злостные дил, „бытовые явления“...

Писать „Современника“ В. Г. мог только урывками и вплотную принялся за него лишь в самые последние годы жизни, когда писать на злостные дил он вновь потерял возможность... Но было уже поздно: он успел довести своего „Современника“ только до середины 1880-х годов, так что весь наиболее интересный и ценный для русской общественности период его жизни остался ненаписанным. Правда, Вл. Г. вел всю жизнь периодические записки и отрывочные дневники, но этот материал, даже при умелой его обработке, не даст, понятно, того художественно-аналитического освещения, пережитого автором, какой он дал бы сам.

С фактом—приходится мириться!

Настоящая заметка не имеет в виду разбора взглядов Вл. Г. на характер и значение революционного движения 1870-х и начала 1880-х годов. Как не революционер по всему складу натуры и взглядов, В. Г. относился, например, к событию 1 марта 1881 г. отрицательно и не видел его конечных благих результатов, даже смотря на борьбу „Народной Воли“ в исторической перспективе; с этим, конечно, нельзя согласиться, как и с другими его взглядами, как сторонника мирного эволюционизма.

При чтении произведений В. Г. Короленко следует всегда иметь в виду, что он принадлежал к тлу Парней, а не Желябых.

Цель заметки указать некоторые из хронологических и фактических неточностей, которых, как и всякие мемуары, не избежала и „История моего современника“, несмотря на шепетильную точность, которую неизменно проявлял Вл. Г. во всем, что он опубликовывал. Особенно много неточностей в самых последних главах „Истории“, которые написаны были в последние два года жизни писателя, когда он уже был неизлечимо болен, а память, видимо, изменяла ему.

„История моего современника“, как мемуары одного из выдающихся русских писателей, будут читаться, конечно, и нашими потомками; поэтому необходимо, чтобы с фактической стороны они были точны. Вот соображения, послужившие мотивом предлагаемой заметки.

Для удобства пользования замечания сделаны не в предметном, а в хронологическом порядке.

Т. II, ч. 3, стр. 13.—Вл. Гал., рассказав об убийстве студ. Иванова Нечаевым, говорит далее, что „в Сибири ему довелось встретиться с людьми, которыми этот человек (Нечаев) успел овладеть теми же приемами, т.-е. обманом и кровью“. Об этом Вл. Гал. рассчитывал говорить „в другом месте“, т.-е., повидимому, в описании сибирского периода своей жизни, но там об этом ничего не упомянуто. Из „нечаевцев“ в Сибири Вл. Гал. виделся только с солдатами, сосланными в 1882 г. в Сибирь из состава команды Алексеевского ржевца, распропагандированной С. Г. Нечаевым. (См. Т. IV, „Голос Мин.“, № 1 за 1922 г., стр. 85). О том, что Нечаев спаял и их „кровью“ ни на следствии, ни на судебном разбирательстве не было никаких намеков... Повидимому, до Вл. Гал. дошли темные слухи о довольно таинственной смерти в ржевине одного из заключенных (Ст. Ширяева). Но утверждать, что и в этом темном инциденте замешан был Нечаев, нет в данное время оснований.

Стр. 93. Оратором на Чернышевской демонстрации, на Волковом кладбище, выступил популярный в те годы студент-медик Петр Петр. Викторов.

Стр. 94. Вл. Г. характеризует И. Мышкина, как „не вполне уравновешенного“ человека, вопреки многочисленным отзывам о нем его товарищей, близко знавших эту светлую, глубоко преданную делу революции личность.

Стр. 118. Студ. Ник. Ник. Лопатин, не родственник Герш. и Вс. Ал. Лопатиных. Н. Н. Лопатин был сослан административным порядком в г. Верхотурск, откуда бежал (в 1881 г.) за границу и вернулся в Россию в 1890 г.

Стр. 120. Неизвестно о какой брошюре С. Кравчинского говорит Вл. Г.? Как известно, убийство Мезенцева, совпавшее с казнью И. Ковальского в Одессе (3 августа), вызвано было, главным образом, неутвержденным царем ходатайства Особ. Прис. Сената о смягчении приговора по „процессу 193-х“, .. чем обвиняли шефа жанд. Мезенцева.

Стр. 121. Инв. Пьянков был арестован во время демонстрации при оправдании В. И. Засулич и после этого был сослан в Архангельскую губ. После он был сослан на поселение по делу типографии „Черного Передела“. Умер в Хабаровске крупным коммерсантом.

Стр. 134. А. А. Астафьев не был близок к редакции „Земли и Воли“, не был даже и членом ее организации, но, действительно, знаком был с членами редакции. (См. у Н. А. Морозова. „Повести моей жизни“).

Стр. 136. В извещении об убийстве Рейнштейна не могло быть сказано: Исп. Ком. „Народной Воли“, так как оно произошло еще до разделения „Земли и Воли“ на „Народную Волю“ и „Черный Передел“. Извещение от 1 марта 1879 подписано: „Исп. Кох.“

Стр. 141. Коррект. ошибка: следует не семь, а пять (букв в рядах слуховой азбуки).

Стр. 149. Вл. Гал. описывает избивание приставом Денисюком рыб. К. Иванайнена. Вполне аналогичный случай был с А. К. Пресняковым и другими рабочими, попадавшими в Спасскую часть в Денисюку.

Стр. 157. Очевидная описка: карета „пересекла Фонтанку“. Следует: Екатеринбургский канал.

Стр. 163. Проф. Симановский—по горловым болезням.

Стр. 175. Слесарь Стольберг сослан был в администр. порядке за принадлежность к „Обществу Друзей“ (пропаганда земледольцев в Петрограде в 1876—1878 г.г.).

Стр. 195. Паллаевский сослан в администр. порядке из Варшавы за принадлежность к „Гимне“, а не к „Пролетариату“, который возник в 1881 г.

Том III. Стр. 84.—Г. Буй, Костромской губ., находится в 1000 в. от Починков. Повидимому, Вл. Гал. изменила память, и починковцы ездили в какой-либо иной, более близкий пункт.

Стр. 98. Врыв поезда 19 октября 1879 г. произошел под Москвой, на Московско-Курской ж. д.

Стр. 145. П. З. Попов застрелился в г. Минусинске осенью 1884 г., а Д. Кеннан был так много позже. Потылицина которую, повидимому, имеет в виду Вл. Гал., вышла замуж за д-ра Даниловича ранее смерти Попова.

Стр. 151. Бежал из Минусинска с Абр. Шиханович Мих. Ант. Ромаш.

Стр. 166. Строгий доброволец-цензор это — Князевский.

Стр. 179. „Пролетариат“, как уже ранее сказано, возник лишь в 1881 г.

Стр. 186. Вл. Г., очевидно, ошибся, указав вторую половину июля 1879 г., как время отправки полит. партии в В. П. Т. Это было в 1880 г.

Стр. 211. — П. М. Волохов служил в 1878 г. табельщиком на Патронном заводе в Петрограде. Во время одного из нередких обысков в мастерской у него в столе найдена была нелегальщина (пзд. Вольной типографии). За это он и был арестован. Его младший брат, известный как „Ванчик Волгин“, был тогда нелегальным, разыскиваемым по „процессу 193-х“.

Во время „хождения в народ“ „Ванчик“ женился на крестьянке, под фальшивым паспортом. Затем, вскоре, он вынужден был бежать. Легализировался при Лорис-

Меликове уже под видом Дмитрия Мих. Рыбакова, будучи уже вторично женат на дочери казанского проф. Бекетова. В 1917 г. проживал благополучно в Петрограде.

При ссылке его старшего брата администрации неизвестно еще было, кто скрывается под фамилией „Волгина“.

Стр. 243. Про „трагедию“ 1 марта 1881 г. Вл. Г. пишет: „огромный, чреватый последствиями удар, брошенный с какою-то неизбежною роковою слепотою“. Читатель не забудет, что этот „слепой“ удар более двух лет подготовлялся и продумывался деятелями „Народной Воли“. На стр. 245—46. Вл. Г. ошибочно рисует задачи „Нар. Воли“. Выставив целью созыв „Учредительного Собрания“, „Нар. Воля“ была вполне последовательна, опубликовав свое известное письмо к Александру III (о конституции).

Стр. 255. Перечисляя фамилии централистов, Вл. Г. упоминает Гамова и двух сестер Фигнер.—Гамов умер еще в Харьковском Центризале, а из сестер Фигнер в партии этой шла лишь одна — Евгения Николаевна (впоследствии Сажина).

Стр. 257 и след. Вл. Гал. зная драму „супругов“ Рогачевых, по недомыслию, со слов лишь одной стороны, неверно представляет роль Дм. М. Рогачева.

Дело в том, что брак их был действительно фиктивный и лишь по время суда Рогачеву стало ясно, что фиктивная жена его к нему стала равнодушна; тогда они и решили, что она последует за ним в ссылку. Неутверждение царем ходатайства Сената отравило Рогачева в централ, т.е. в тюрьму, до 1885 г., когда по закону он должен был выйти на поселение (ему было бы тогда всего около 30 л.). При таких условиях Вера Павл., явившись в тюрьму на руках с ребенком, не списавшись или иным путем (что было всегда возможно) не предупредив Дм. Мих-ча, поступила весьма легкомысленно... Очень естественно, что после этого ее фиктивный брак с Рогачевым до конца оставался фиктивным, а Рогачев считал себя не связанным с В. Павл.—

Стр. 266. А-в — это Арциб шев, к которому впоследствии в г. Верхоянск приехала его невеста Е. Александрова. В числе других оба они участвовали в неудавшемся побеге из Верхоянска в С. Америку — морскими путями. Александрова вскоре после этого возвратилась в Россию.

Стр. 277. Рабиновича (известного своими откровенными показаниями по „делу 193-х“) препроводили в Казань не с Карты, а из Верхоянска, куда он был сослан на житье; через несколько лет он умер в Казанской лечебнице, будучи неизлечимо психически больным.

Стр. 280 и сл. Вл. Гал. упоминает фамилию Пекарского, другого Пекарского он выводит в IV т., при описании Амурской слободы. Не следует смешивать этих лиц с Юдардом Карловичем Пекарским (о котором Короленко говорит на стр. 322), бывшим тоже в ссылке в Якутской обл., а впоследствии известным составителем обширного словаря якутского языка и этнографом.

Стр. 283. Финал мастерской фальшивых кредиток в Нижнеудинской тюрьме окончился тем, что исправник попал под суд, а „мастера“ — получили каторгу.

Стр. 294. Ник. Ник. Емельянов, о котором говорит Вл. Г., впоследствии, действительно, совсем спился. Его фельетоны в „Моск. Вед.“, под псевдонимом Николаевского, вышли потом отдельной книжкой. (По тюрьмам и ссылкам. М., 1890). —

Стр. 298. Малавский с Карты не пытался бежать, но, действительно, был оттуда увезен в Шлиссельбург, где и умер, в марте 1885 г.

Стр. 301. Фамилию „Соляико“ следует читать Сыдянко (Ал. Ос.); он был сослан в Верхоянский округ, Прх. губ. Вернувшись в 1890-х годах в Европ. Россию, вскоре был вновь арестован и покончил с собою в тюрьме.

Стр. 304. Аграрный террор („бытовой террор“ по Короленко), насколько нам известно, на практике ни одной революционной группой не применялся.

Стр. 306. Спускался на веревке из 3 этажа, при прыжке на Захарьевскую улицу, Войнаровский свихнул ногу и не мог идти; Ковалик вернулся к нему, и оба были арестованы. Тревогу поднял офицер; говорят он был очень удручен, когда узнал, что выдал „политических“, приняв бегущих за уголовных.

Стр. 311. Трудно понять, на основании чего Вл. Гал. предполагал в Мышкине, „гамлетовщину“. Менее всего Мышкин походил на Гамлета. Стрелял он в конвойных, чтобы бежать, и достиг этой цели. Его захватили лишь на следующий день, после того, как он заблудился в тайге.

Стр. 313. Дмоховский умер от оспы. Мышкин, произнося речь над гробом Дмоховского, был только последователен в поставленной себе задаче: бороться всюду и всегда с самодержавием, и эта его речь оказала большое моральное влияние на сибирскую ссылку, а, по слухам, и в России.

Стр. 314. Говоря о раздорах на Каре и мрачной атмосфере, царившей среди карийцев в это время, Вл. Г. пишет: „говорили даже об убийстве в своей собственной среде“. Этот тяжелый инцидент, хранить о котором тайну обязались все карийцы, теперь, по прошествии 42 лет, стал известен довольно широкому кругу лиц. Был убит, действительно, нечаевец Петр Гавр. Успенский, невинно заоднозренный в предательстве, как и несчастный студент Иванов, за 12 лет до этого, убитый Нечаевым при содействии самого Успенского. Эта тяжелая драма уже известна в общих чертах; скрывать ее лицам, знающим ее подробности, уже нет причин. Поэтому лучше им самим описать ее, как очевидцам, чем предоставлять это истории, которая не располагает в данном случае написанным материалом...

Здесь же остается прибавить только то, что как — среди судей Успенского, так и среди его залпников находились лица, заслуживающие полного уважения...

Стр. 315. Мышкин и Хрущев арестованы были во Владивостоке и поводом ареста послужил паспорт Хрущева. Еще в пути Мышкин и Хрущев, для удостоверения своих личностей, должны были предъявить свои паспорта в одной из Казацких станций на р. Амуре, но в то время побег политических с Кары еще не был обнаружен и их пропустили. Когда они добрались до Владивостока, побег с Кары восьмью каторжан был уже обнаружен, и телеграммы с фамилиями двух подозрительных лиц, предъявлявших в станции свои паспорта, всюду по Амuru были уже разосланы.

Минаков не только не соглашался „ждать ни одного дня сверх срока“, но вынужден был товарищами в последней паре (перед ним вышли еще две пары, кроме Мышкина и Хрущева). Правда лишь в том, что, действительно, последняя пара вела себя так пеконспиративно, что часовой заметил бежавших и выстрелил. Этим и открыт был побег через три недели после выхода из тюрьмы Мышкина и Хрущева.

Е. И. Минаков был расстрелян в Шинссельбурге 21 сентября 1884 г. Мышкин, конечно, не „казнил себя“ за невольное поведение при неожиданном возгласе Минакова, а желал протестовать своей казнью против режима Шинссельбургского застенка.

Стр. 316. „Процесс 50-ти“ разбирался в Петербурге. Он назывался „Московский“, так как главная деятельность организации сосредоточивалась в Москве, как в центре.

Стр. 320. При упоминании о „вооруженных сопротивлениях при арестах“ Вл. Г. говорит, что выстрел кв. Цицианова давал впечатление не столько непосредственного импульса, сколько рефлексии и раздумья, что Ив. Ковальский „сильно жалел о своем поступке“. — Воспоминания участников этих событий не подтверждают эти предположения автора. — Л. Цукерман не был рабочим, а слушателем равнинского училища и еврейским писателем; наборщиком он стал не в силу своей социальной профессии, а для участия в тайных типографиях.

Стр. 321. Харьковский губери. Кропоткин убит был в 1879 г. — Гольденберг в своих откровенных показаниях делал и прямые доносы. Он не бежал, а мучимый совестью повесился, в июне 1880 г., в одной из камер Екатерининской куртины Петропавл. крепости.

Стр. 322. Об Э. К. Пекарском см. пр. к стр. 280.

Всеголов Мих. Ионов был сослан в Якутскую обл. Составил там учебник и хрестоматию для якутов, написал несколько трудов по этнографии якутов. Умер около Клева в 1922 г.

Стр. 323. Вл. Г. пишет: „И затем рядом с террористическим исполнительным комитетом, возникла партия „Народной Воли“, направления народнического“, — трудно понять, что хотел сказать этим автор, ибо „Исполнительный Комитет“ до народнического периода и „Исполн. Комитет Нар. Воли“ — оба были, конечно, народнического направления.

Стр. 326. Из воспоминаний всех (без исключения!) участников 1 марта 1881 г. видно, что акт этот как раз не был „актом отчаяния“, а, наоборот, у участников была преувеличенная вера в активные силы тогдашней России.

Стр. 332. Игн. Вачин — был слесарек.

Стр. 315 — 36. Татаров и Азеф лично никогда не встречались. Татаров, действительно, уже по возвращении из за-границы заявил, что Азеф — шпион и что его выдачи приписывают ошибочно ему, Татарову. — В признании Татарова шпионом Азеф роли не играл. — Убийство Татарова совершенно было одним Фед. Назаровым, который, действительно, печально легко поранил кинжалом мать Татарова, защищавшую сына. Родители Татаровы, признав в карточке Б. В. Савинкова (ошибочно!) убийцу сына, побоялись подтверждать это письменно, опасаясь, очевидно, мести революционеров.

Т. IV („Гол. Мин.“ 1920 — 21 г.)

Стр. 6. Телеграф в те годы уже существовал, но лишь до ст. Жигаловой (а вскоре и до ст. Омской), на Лене, но с маленькой почтовой станцией, конечно, дать телеграмму нельзя было.

Стр. 8. Вместо кн. Оболенская следует, очевидно, читать кн. Волконская.

Стр. 11. Полк. Черняев служил не в конвое, а был инженером, заведующим техническими работами при постройке Кругобайкальского тракта. Рассказ о возке воды на Черняеве — конечно басня. Поляки со всею русской администрацией, захваченной ими в плен, обходились в высшей степени корректно.

„Унтовым войском“ называли забайкальских казаков, носивших унты (кожаная обувь), а якутские казаки носили торбаса, а не унты.

Стр. 12. Тракты из Якутска в Верхоянск и в Амгу идут почти в противоположном направлении, а потому встреченный Вл. Г. казак не мог ехать из Верхоянска. Вероятнее всего он привез весть об американцах еще ранее, а теперь, возвращаясь из какой либо иной командировки, передавал приятелю-казаку эту выдающуюся новость. — Версия о том, что верхоянский исправник мог, будто бы, засадить в каталажку лейтенанта америк. службы Мельвила и его спутников, не будь в Верхоянске политических ссыльных, — является басней. Это тем более невероятно, что о розыске команд погибшего в Ледовитом океане американского парохода было дано знать по всему побережью Якутской области.

Стр. 14 и 15. Н. В. Васильев был приговорен в 1862 г. за составление и распространение „возмутительного воззвания к гражданам“ — с призывом к царевыбивству, к каторжным работам на 10 лет.

Осип Яковлевич Вайнштейн, в то время еще студ. Медико-Хирургического Академии, был выслан из Петрограда с большою таинственностью. По его словам, от Тюмени его взяли под № 1 в запечатанном возке, а в возке № 2 взяли Тархова, осужденного по делу Л. Мирского. Самого Мирского заключили в это время в Алексеевский рвазели и, очевидно, Вайнштейном воспользовались, чтобы по Сибирскому тракту распространилось известие, что в этих таинственных возках привезены Мирский и Тархов. По тракту стало известно, что под № 2 провезен именно Тархов. Ныне Ос. Як. Вайнштейн благополучно проживает в Петрограде, занимаясь врачебной практикой.

Стр. 15. В первый вечер по приезде В. Г. Короленко в сл. Амгу, т. е. 31 ноября (см. стр. 5 и 11. От г. Якутска до сл. Амги всего 170 верст, хотя и „екатерининских“), он не мог встречать Новый год. Очевидно, память изменила в этом случае автору.

Стр. 18. Муньяк (а не мунак) — общественное собрание, мирской сход.

Стр. 29. П. Д. Баллод указал для побега не на Аянский тракт (бывший путь Русско-Американской К^о), а на путь к югу, от сл. Амги — на Амурские зологие про-

мысли, по которому иногда раньше прогонялся скот, и который впоследствии прошла экспедиция инж. Попова.

Стр. 32. „Великоросе“ менее всех иных прокламаций был „свиреп“. Вл. Гал., вероятно, смешал его с прокламацией „Молодая Россия“. Невозможно, конечно, также оправдывать Баллода, когда он „уличал на очных ставках“ Д. И. Писарева... Неверно также утверждение, что шестидесятники (стр. 33) вообще давали на допросах откровенные показания: достаточно вспомнить Н. Г. Чернышевского, М. И. Михайлова, Зайчневского и многих других. Равным образом, история не подтвердила участия революционных элементов 60-х годов в поджогах, а поступок пьяного Викторова, привоинный Вл. Г., ничего, конечно, не доказывает.

Стр. 34. Е. К. Брешковская в Иркутске не была: ее из Верхнеудинска привезли прямо на Кару. Проводником при побеге был старый бродяга. Кизер и Доллер были киевскими рабочими-слесарями (по делу Южно-русского союза — киевского); сосланы они были по суду на поселение в Вост. Сибирь. Кизер, действительно, женился на Чурапче, на девице из духовного звания, а А. И. Доллер женился на С. Н. Шехтер (ум. в Петрограде, 6 января 1920 г.), б. каторжанке по киевскому делу М. Р. Попова и др.; Доллер утонул в Лене, в г. Якутске, в начале 1890-х годов.

„Гол. Мин.“, № 1, 1922 г., стр. 69. По поводу замечания Вл. Г., что он порою „прозевывал то, что нужно помнить“ — мне вспоминается рассказ его товарищей, как однажды, подымая новь, он в рассеянности безвозвратно запашал книгу, которую сам читал во время отдыха, и затем долго отыскивал ее, но безнадежно.

Стр. 71. По якутски шайка — бергесе (баргаса).

Стр. 72. „Татар манна мох“ — следует читать: сүөх или хуох (нег).

Стр. 73. Слова песни следует читать:

„Буурдук тит мас турда,
„Буурдук мин атна барда...“

Стр. 74. Ангел по якутски ан, множ. число — аңлар.

Стр. 75. Балгантайский улус (а не Балганский). М. А. Натансон вторым браком женился на осужденной по „процессу 50-ти“ Варваре Ивановне Александровой, бывшей в ссылке в г. Верхотуренске.

Стр. 77. Полицеймейстер — Ив. Тим. Валь, прокурор — Дм. Ив. Мелников.

Стр. 80. О Пинамском, после 1905 г., в газете „Якутский Край“ (№ 14—1907 г.) появилось открытое „письмо в редакцию“ В. Приборовского (автора ст. „Чернышевский в Вилуйск“ — „Мин. Годы“ за 1908 г.), где приведены сведения о его переписке с В. К. Плехе.

Стр. 81. Кергенях (а не Киргиняк).

Стр. 85. Икенкунский наслег (а не Канкунский). По поводу выдачи Швейцариев* Нечаева русскому правительству эмиграция и швейцарские рабочие организации энергично протестовали и в печати и митингами. Была даже сделана попытка отбить Нечаева на вокзале, в Цюрихе. — Переговоры Нечаева с Исполн. Комитетом велись непосредственно. Г. А. Лопатина тогда не было даже в Петербурге.

„Нечаевец“, о котором говорит Вл. Г., это солдат, сосланный за сношения с Нечаевым — Кузнецов.

Стр. 88. Якутскую фразу следует читать: „Бу тылга почта калыбет“.

Доллер, не умеющий плавать, утонул в Лене, около самого берега, отправившись, стоя в ветке, поплавать в только что вскрывшейся реке. Управляя веткой шестом, он потерял равновесие и тотчас пошел ко дну. Тело его не было найдено. М. А. Рожась жил в Бологурском наслеге (а не улусе).

Стр. 94. Фамилия рабочего типа Раскольников была Обручников (сослан по земельно-лесному делу „О-во Друзей“), а не Обручев; — Панкратьев — Вас. Абрамович. — О какой Поповой упоминает Вл. Гал. — неизвестно. Может быть он смешал фамилию Иванова (С. Андр.) с Поповой?

Стр. 95. Следует читать: М. П. Сажин (а не Садин).

Стр. 98. Г. Марининск, Томской губ., лежит по тракту после Красноарска, где раньше проживали мать и сестра Вл. Гал.

Поручение В. П. Рогачевой—взять от Елиз. Мих. Розинг (угрози. Крутовской) ее сына и привести его к ней—вызывает недоумение. В. П. Рогачева проживала в это время или еще в вольной команде на Каре (Д. М. Рогачев умер в январе 1834 г.), или уже была на пути в Якутскую обл., куда высылался ее второй муж—В. С. Сантыч. Не мог же Вл. Гал. взять на себя поручение отвести ребенка в такую даль—на восток, притом в такие неподходящие условия для воспитания ребенка? Это тем более странно, что ребенок был усыновлен семьей Розинг, носил уже ее фамилию и воспитывался в любящей его вполне культурной интеллигентной семье.

Стр. 99. Смотрителем Красноярской тюрьмы был Островский, а не Ржевский.

Прис. повер. Е. В. Корш издавал газету „Северный Вестник“, где и напечатал письмо В. И. Засулич. Насколько известно, у Вернадского он не работал. —Тадиский—следует читать Гациский, А. С.—известный общественный деятель в Н. Новгороде и этнограф.

Стр. 100. С вокзала ж. д., в Н. Новгороде, приходится переезжать р. Оку, а не Волгу.

Стр. 101. Вл. Г. сообщает, что впоследствии он узнал, что автором письма, за которое его привлекли, был Вл. Л. Бурцев, а ранее он говорит, что почерк письма был довольно похож на его почерк. Дело в том, что почерк Бурцева (неразборчивый и неровный) никакого сходства с четким и характерным почерком Вл. Г. не имеет. Нет-ли тут недоразумения?

В заключение еще раз следует показать, что „История моего современника“ оборвалась как раз на том периоде жизни автора, когда он вступал на арену широкой общественной деятельности. Наиболее интересные годы русской общественности—движение 1905—1906 годов, период до революции 1917 г. и годы самой революции остались незаписанными.

Сентябрь, 1923 г.

Н. Тютчев.

„ПИСЬМА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ“ (из архива Достоевского). Изд. Центрархива. 1923.

В литературе о Достоевском эти „письма“, изданные под редакцией известного специалиста по Грибоедову, И. К. Пиксанова, с его и Н. Ф. Бельчикова комментариями, должны занять место довольно скромное. Значение их исчерпывается малым количеством более или менее ценных фактов, касающихся больше окружения Достоевского, чем его самого. В известной степени, это сознает и сама редакция, в своем предисловии, выделяя лишь несколько имен—Гончарова, Тургенева и Полонского и то поскольку в них сообщаются о творческих работах над „Призраками“ Тургенева „автобиографические признания Полонского“ или „критические рассуждения“ Гончарова.

Но, само собою разумеется, мы, читатели и исследователи Достоевского, испытываем благодарность к Центрархиву и членам комиссии и за малое; —испытываем ее в меру и в уровень с этим малым, приберегая всю силу ее на тот желанный момент, когда Центрархив перестанет, наконец, забавляться мелочами и приступит к публикации действительно дорогих сокровищ, так тщательно в его недрах. Быть может, тогда и редакторы проникнутся несколько большим чувством ответственности за свою работу и не будут столь небрежны. Ибо только небрежностью можно объяснить те погрешности в комментариях и в установлении дат, какие мы находим здесь, в этих „письмах русских писателей“.

Укажем на эти погрешности не в порядке их важности, а так, как они бросались нам в глаза во время чтения.

Письмо пятое Гончарова от 8 марта 1874 г. (стр. 23) есть ответ на письмо к нему Достоевского от 7 марта, опубликованное в нашем сборнике („Достоевский“ ... под ред.

А. С. Долинина, стр. 473). Если редакция почему то не сочла нужным воспроизвести это письмо, вопреки своему же принципу („ради связности переписки“ — см. предисловие, стр. 4), то указать на него, хотя бы в примечании, следовало бы.

Во вступительной заметке к письмам Григоровича (стр. 25) комментатор, в поисках объяснения „скудности его переписки“ с Достоевским, останавливается на „склонности Дмитрия Васильевича к живому общению, предпочтении им лично беседы и встреч письменным сообщениям“. При этом дважды говорит об их долголетней дружбе („долголетний друг Д.“, „дружба их многолетняя“). Но, на каком основании сие утверждается. Насколько нам известно, Достоевский и в письмах, и в „Дневнике“ говорит о Григоровиче чрезвычайно редко, особенной дружбы к нему не проявляет ни в ранние, ни, тем более, в годы поздние. Они оба подолгу отлучались из Петербурга. Переписывались тогда с людьми более или менее близкими и Григорович и Достоевский. Вопрос о взаимоотношениях Достоевского с друзьями или приятелями молодости должен быть вновь поставлен, как вопрос сложный и глубокий; решать его так, походя, — вернее даже не решать и даже не ставить и даже не подумать о нем, а просто утверждать: была „дружба их многолетняя“ — значит, по меньшей мере, — вводить людей доверчивых в заблуждение.

В приложении под цифрой 9 к тем же письмам Григоровича к брату Достоевского комментатор приводит следующий факт по поводу повести Григоровича. „Два генерала“: „Повесть была напечатана в „Русском Вестнике“ 1864 г., а не в „Современнике“, куда она, было, предназначалась“. И делается отсюда такой вывод: „видимо отношения Григоровича с Краевским и в это время не стали более дружественными“ (стр. 34). Мы недоумеем, при чем тут Краевский — разве он имел какое нибудь касательство к „Современнику“?

Ценность письма П. И. Мельникова к Достоевскому, где Достоевский приглашается принять участие в юбилее Ломоносова и „быть в числе распорядителей“, комментатор усматривает в том, что письмо это „еще раз устанавливает значение и вес Достоевского в общественно-литературных кругах в половине 60-х годов: Достоевский приглашается в число почетных (у Мельникова не сказано: почетных) распорядителей наряду с Гончаровым, Костомаровым, Ламанским, Серовым“ (стр. 36).

В приглательном письме Мельникова названы 35 фамилий распорядителей в порядке алфавитном. Среди них такие, как Дубовицкий, Духишкин, Иващенко (в перечне они ближайшие соседи Достоевского) и другие, им подобные, полужабитые и забытые имена — таких громадное большинство. Может быть Достоевский назван „на ряду“ с этими, а не с Гончаровым, Ламанским и прочими „знатными людьми“?

Комментатор, вообще, всюду видит одни розы: дружбу, почет и уважение. Во вступительной заметке к письмам Некрасова он так квалифицирует его отношения с Достоевским: „дружественные отношения их, порвавшись с сылкой Достоевского, возобновились в начале 60-х годов на недолгое время и после... вновь наладились и порвались со смертью Некрасова“ (стр. 44). Еще до ссылки в связи с расхождением Достоевского с кружком Белинского, как известно, отношения их очень сильно попортились. Также и в начале 60-х г.г. вражда возобновилась между ними прежняя дружба; ср. историю с „Селом Степаничиковым“, которое Некрасовым не было принято; ср. слова Некрасова: „Достоевский весь кончился“ (см. Воспоминания Ковалевского). А затем враждебность политических позиций, полемика между „Современником“ и „Временем“. Здесь вопрос об их взаимоотношениях еще более острый и сложный, и опять же решать его напистем не следует.

Встает, об этой полемике. На той же 44 стр. „Писем русских писателей“ приводится выдержка из воспоминаний А. Г. Достоевской, где, между прочим, сказано, что „в 60-х годах между редакциями „Время“ и „Отечественные Записки“ шла ожесточенная полемическая борьба“. Эта фактическая несообразность дважды, повторенная (см. еще стр. 42), несколько понижает степень достоверности воспоминаний А. Г. Достоевской; редакция, во всяком случае, не должна была оставить такую неточность без примечания и тем самым как бы взять на себя ответственность за что-то игнорирование самих измен-

тарных фактов из истории журналистики 60-х годов. Борьба „Времени“, как известно, шла отнюдь не с „Отечественными Записками“, а с „Современником“. За всё время существования „Времени“ в „Отечественных Записках“ была только одна маленькая статья и то не политического характера о „Записках из Мертвого Дома“ (февраль, 1863 г., стр. 191—195). „Современник“ же, преимущественно в статьях Антоновича, вступил с журналом Достоевского в полемику уже с 1861 г. и продолжал ее до самого последнего момента, до его прекращения (см. „Современник“, декабрь 1861 г., апрель, 1862 г., книги 1, 2, 3 и 4—1863 г.). Со стороны редакции, — повторим, — это, конечно, не более, как оплошность, простая небрежность, но очень досадная.

Той же небрежностью приходится объяснить и неправильное установление даты второго письма Некрасова (см. стр. 48). Комментатор датирует его 1864-м годом, когда „издание журнала „Эпоха“ шло у Достоевских неудачно“. Оно шло, конечно, еще более неудачно в 1865 году, но так как журнал прекратил свое существование в марте 1865 г., а письмо Некрасова помечено 7-м апреля, то комментатору ничего другого не остается, как датировать его 1864-м годом, раз он убежден, что письмо это Некрасов писал, когда „Эпоха“ еще существовала. И вот начинается такая путаница в изложении фактов; сообщается о том, что „была задержка в выходе книг и даже временная остановка за смертью М. М. Достоевского“. В этот момент, — говорит комментатор, — видимо, перед Ф. М. стояла дилемма: продолжать журнал или приостановить. За советом в эту минуту Ф. М. и обращается к Н. А. (стр. 46). И вот письмо Некрасова и есть ответ на это обращение. В какой же это момент и в какую минуту? Очевидно, в момент самый критический, т. е. уже после смерти брата. Но брат умер 10-го июня; письмо же Некрасова помечено 7 апреля. Но, может быть, это только красоты стиля, все эти горестные факты: смерть брата и т. п. На самом деле Достоевский обратился к Некрасову, политическому противнику и ловкому издателю, в самом начале „Эпохи“ (первая книга „Эпохи“ вышла 24 марта 1864 г.) — так уж велика была их дружба или так наивен был Достоевский? Тогда выходит такое затруднение: Некрасов пишет: „Не знаю, успею ли сегодня, но завтра непременно у вас буду“. Очевидно, переписка городская. Между тем 7—8 апреля 1864 г. Достоевский был в Москве, находился неотлучно у постели умирающей жены (см. его письма к брату от 5, 9 и 14 апреля. *Отправы; Материалы...*, стр. 146—160). Остается допустить, что и Некрасов в то время находился в Москве? Может быть... Но почему редактор не захотел вчитаться как следует в самое письмо, не вдумался в его содержание? Если допустить такую датировку, как 7 апреля 1864 г., т. е. почти в самом начале выхода „Эпохи“, то совершенно бессмысленными кажутся следующие слова Некрасова: „я должен отказаться от вашего предложения. Главное у меня нет денег“... И дальше: „у вас непременно с каждым из журналов половина подписчиков одних и тех же. Стало быть... они другого потребуют вознаграждения...“ (см. стр. 48). Тут, очевидно, совет уже не дружеский, а вопрос денежный. Это раз. А затем ясно, что речь идет о таком моменте в бытии журнала, когда подписчики требуют какого то вознаграждения. Какой же это может быть момент? Момент смерти журнала. „Эпоха“ прекратила свое существование в марте 1865 г. Вот тогда то Достоевский и обратился к Некрасову, и не за дружеским советом, а по делу. Надо было вознаградить подписчиков. Достоевский хотел войти в соглашение с „Современником“ (как он вскоре вошел в такое же соглашение с „Библиотекой для Чтения“, очевидно после отказа Некрасова), чтобы подписчики получали до конца года вместо „Эпохи“ „Современник“. И Некрасов отвечает вполне резонно: раз подписчики в каждом из журналов одни и те же, т. е. не случайные люди, а люди определенных политических убеждений, то понятно, что они не согласятся на такую замену органа славянофильского органом узко-радикальным, и для них нужно придумать „другое вознаграждение“. Мы утверждаем, в силу всех этих соображений, что письмо нужно датировать не 1864, а 1865 годом.

Исходя той же небрежности со стороны редактора считаем мы такую в высшей степени произвольную датировку письма Достоевского к Тургеневу, — письма действитель-

но очень важного, касающегося одного из значительнейших моментов в его жизни (Письмо за № 14, стр. 128—129). Достоевский благодарит в нем Тургенева за присылку 50 талеров и выражает надежду на скорое с ним свидание. Письмо помечено 20/8 августа, год не указан: год датируется редакцией 1863-м годом. Приводится — в обоснование должно быть верности этой даты — выдержка из письма Достоевского к Майкову от 16/28 авг. 1867 г., где он пишет о Тургеневе следующее: „Откровенно вам скажу: я и прежде не любил этого человека лично. Сквернее всего то, что еще в 1867 г. с Висбадена должен ему 50 талеров (я не отдал до сих пор)“. Что 1867 год описка — это само собой разумеется. Исправить ее позволяет место действия, точно указанное Висбаден. Достоевский проводил там осень 1865 года. Казалось бы ясно, что письмо 1865 годом и следует датировать. Между тем комментатор, послушный, повидимому, Ветринскому (см. Достоевский..., стр. 241), никак не хочет считаться с очевидным указанием Достоевского и снова творит некую легенду. Почему то ему кажется, что они Тургенев и Достоевский, должны были непременно лично встретиться для этого, хотя из письма ясно видно, что деньги были кем то присланы. И вот: Висбаден — это вовсе не Wisbaden, а Baden. Достоевский ошибся ad majorem gloriam комментатора. В Бадене Достоевский встречался с Тургеневым в 1863 г., следовательно, там то он и заявил у него эти 50 талеров. Как известно, в начале августа 1863 г. Достоевский только что начал свое второе заграничное путешествие, забрав с собою, по свидетельству Страхова, достаточно денег на дорогу (см. Страхов, Материалы..., стр. 259). В это время он спешил в Париж, к А. П. Сусловой, чтобы вместе с ней поехать в Италию, и 20 июля он еще был в Париже (см. Достоевский, Сборник № 2, под моей редакцией „Дневник Сусловой“) ¹⁾. К людям, которых лично не любят, обращаются за денежной помощью в случаях самых крайних. Зачем же нужно было Достоевскому обратиться тогда к Тургеневу, раз денег у него было достаточно? Между тем, такая крайняя нужда была именно в 1865 году, после прекращения Эпохи²⁾, когда он бегством спасался, и именно в Wisbaden, от преследовавших его кредиторов, и там буквально голодал. Комментатор пишет: „деньги были переданы не лично, а через какое то посредство“ — просто по почте присланы.

То же и о переписке Полонского. Третье письмо Полонского к Достоевскому (стр. 73) никак нельзя датировать август — сентябрь 1862 г., хотя бы уже потому, что Достоевский вернулся из заграничьи лишь в сентябре. Если бы даже и были убедительны доводы комментатора, почему надо предпочесть год 1862 — 1861-му (для нас, сознаемся, они недостаточны), то во всяком случае не август.

Можно бы привести еще целый ряд погрешностей, свидетельствующих все о том же: пока Достоевскому в изд. Центрархива — мы разумею „Исповедь Ставрогина“ и рецензируемые здесь „Письма русских писателей“, — пока ему не очень постыжливось. Мы еще раз выражаем наше горячее пожелание о большей осторожности и осмотрительности со стороны тех специалистов историков литературы, которые окажутся причастными к публикации главных материалов из архива Достоевского, столь тщательно охраняемого Центрархивом.

А. С. Долинин.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ АНТИЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМОВ В РОССИИ, том II. Восемьдесятые годы. Под редакцией и со вступительной статьей Г. Я. Красного-Адмони. Госуд. Издательство. Петроград—Москва. 1923, стр. XXXII+542.

Первый том „Материалов“ был издан в 1919 г. при содействии специальной комиссии по исследованию антиеврейских погромов при еврейском историко-этнографическом обществе и под редакцией С. М. Дубнова и Г. Я. Красного-Адмони. Вошли в этот

¹⁾ Само собой разумеется, что незнание этого последнего факта в вину комментатору не ставится.

тох различные материалы из архивов б. министерства юстиции, министерства внутренних дел и департамента полиции, относящиеся к дубоссарскому и кишиневскому делам 1903 года. Редакции первого тома пришлось проделать большую работу по выборке среди тысяч документов тех, которые представляли наибольший интерес.

Единоличным редактором второго тома является Г. Я. Красный-Адмони, и после просмотра второго тома встает невольный пред читателем вопрос: что есть редактор, и чем редактор отличается от переписчика? Ибо второй том не потребовал никакой предварительной критической работы над документами. Редактор взял два толстенных дела из архива департамента полиции и напечатал их целиком в том же порядке, в каком подшивал бумаги к делу канцелярист, то-есть в величайшем беспорядке. Редактора соблазнила мысль привести материалы в некоторую систему, но он от этой мысли, как „опасной“, уклонился. У него не хватило даже мужества исправить недостатки материала систематическим указателем, казалось бы обязательным в книге, в которой 542 страницы текста, 350 различных документов и несколько тысяч имен и названий. Ко всему этому ведомственному хаосу нет ни одного редакционного примечания. Таким образом, редактор до крайности упростил свою задачу, свел ее, повидимому, только к наблюдению за правильной перепиской оригинала. Надо думать, что, по крайней мере, эта работа выполнена им с надлежащей добросовестностью; к сожалению, и в этом нет у читателя полной уверенности. Много документов напечатано без указания дат, без подписи; неизвестно, к кому они обращены, от кого исходят. Редакционные примечания, в таких случаях необходимые, отсутствуют. Читателю предоставляется гадать, кто виноват в досадных пробелах: канцелярист, переписчик или редактор.

Самоупражнение редактора объясняется благовоением его к печатаемым материалам. Представляют они переписку разных чинов, больших и малых, по поводу погромов 1881 г., и редактору вся эта переписка казалась столь важной, что самое большее, на что он решился—это на запятая в двух-трех наиболее безграмотных бумагах. Также благовоение было бы вполне понятно, если бы г. Адмони-Красному удалось открыть древние, доселе ученому миру неизвестные рукописи или особо важные и секретные материалы. Но департаментское дело, подобно всем таким делам, на две трети состоит из окончательно устаревшего полицейского хлама, из повторения в различных вариациях и по различным адресам одних и тех же донесений. Если бы на месте робкого переписчика был самостоятельный редактор, он не затруднился бы среди груды бумаг выбрать только то, что действительно важно, интересно, значительно. Книга уменьшилась бы по крайней мере втрое, но ее можно было бы читать. Слова нет,—хорошо бы полностью перепечатать все бесчисленные дела б. департамента полиции, да и не только департамента полиции. Но это невозможно. Сам же г. Адмони-Красный выражает опасение, что следующего тома не удастся напечатать. При таких условиях на редакторе лежала сугубая обязанность критического отношения к печатаемым материалам и выборки только тех документов, которых стоит печатать.

Наибольшую ценность в книге представляют докладные записки графа П. И. Кутайсова, командированного на юг в губернии, охваченные погромами, для исследования их характера, и доведения генерал-губернаторов и губернаторов. В общих чертах содержание их было известно. Ю. И. Гессен ссылается на них в своей „Истории евреев в России“. Теперь они становятся доступны для более детального исследования. Несомненно, они послужили первоначальным источником для законодательного творчества графа Игнатьева, автора знаменитых „Временных правил“. Опубликованные материалы не дают, однако, никаких новых данных для решения спорного вопроса о роли правительства в организации погромов 1881 года. Есть глухие указания на то, что они устраивались если не при прямом содействии, то при тайном сочувствии властей, и что наряду с официальными агентами правительства, соблюдавшими благожелательный к погромщикам нейтралитет, действовали и неофициальные агенты, лица

из „общества“. Но даже в этих секретных материалах, в интимной переписке департамента полиции только намеками проскальзывают такие указания, заставляя предполагать, что была, наряду с интимной перепиской, еще и интимнейшая. А быть может, это интимнейшее и не доверилось бумаге.

Мало нового содержат „Материалы“ и по другому, чрезвычайно интересному и недостаточно освещенному вопросу — об участии в погромном движении и об отношении к нему революционеров, членов „Народной Воли“ и других революционных кружков. Можно лишь думать, что весь вопрос этот был непомерно раздут, и притом со стороны правительства умышленно раздут. На участие революционеров в подготовке погромов ни в руководстве ими решительно никаких указаний нет. Погромы захватили революционную интеллигенцию так же враслох, как и всё общество. Уже после того, как они вспыхнули, возник вопрос, как их использовать. История напечатанной в типографии „Народной Воли“, но нераспространенной прокламации „К украинскому народу“, известна; известен и ее текст. В ночь с 27 на 28 апреля была взята в Киеве тайная типография и арестованы во время работы в ней Павел Иванов и Кизер. Они только что успели отпечатать прокламацию с призывом бить не жидов, а всех кулаков-грабителей и начальство. В Одессе на гектографе отпечатана была небольшая прокламация, заканчивавшаяся словами: „Эх-ма, народ русский, расходи, покажи силу богатырскую! Почал бить жидов, бей и других злодеев. Ухни на жидов да на богачей! Нутко“. В Николаеве и Херсоне были найдены листки с призывом к восстанию, а не к погромам. В Харькове была распространена прокламация, объяснявшая погромное движение нуждой городской и крестьянской бедноты и указывавшая на истинных виновников этой нужды: помещики, купцы, царь и начальство. В Переяславе 15 июля на площади найден был „подметный листок“, в котором крестьянам советуют оставить евреев в покое и обратиться против панов. Почти все эти листки не подписаны, и нельзя судить о том, от кого они исходят, от официальных революционных кружков, или от отдельных и случайных групп и лиц.

В первые же дни погромного движения, как только обнаружена была в Киеве подпольная типография, печатавшая листок о погромах, и стало известно из донесений местных властей, что замечается в погромной толпе стремление от „жидов“ перейти и к „панам“, — в правительственной среде возникла мысль свалить погромы на революционеров. Еврейской депутации Александр III прямо заявил, что погромы — дело рук анархистов. И эту же мысль проводил в своих циркулярах министр внутренних дел гр. Игнатьев. Граф Кутайсов был командирован для расследования вопроса о социально-революционных тенденциях в погромном движении. Слухи о таких тенденциях чрезвычайно взволновали дворян-помещиков, и в министерство стали поступать заявления и доклады о необходимости энергичной борьбы с опасным народным движением.

Местные власти на первых порах, угадывая желание правящих кругов, охотно докладывали о социально-революционных элементах в погромной волне. В целом ряде мест толпа верила слухам, что „жиды“ это только начало, а дальше пойдет расправа со всеми помещиками, и что выйдет царский указ о переделе земель. Кутайсов, однако, решительно встал на другую точку зрения. „Материалы“ не дают данных для суждения о том, выполняли ли Кутайсов предначертания Игнатьева, или же, напротив, ему после объезда губерний, где происходили погромы, удалось убедить министра. Во всяком случае, Кутайсов и губернаторы начинают категорически отвергать участие революционеров и наличие сильных социально-революционных тенденций в погромах. Революционеры старались, конечно, использовать движение и направить его по другому руслу, но ни малейшего успеха они не имели. Слухи о переделе земель, о восстании против помещиков бродили в народе, но в такой слабой форме, что не могли оказать на крестьян существенного влияния.

В значительной мере Кутайсов и местные власти были правы. Участие и влияние революционеров, действительно, были незначительны. Подавляющее большинство революционной интеллигенции погромной стихией было испугано; эта стихия скорее

оттолкнула, чем привлекла революционеров, хотя и был в ней несомненный соблазн. Однако, в донесениях Кутайсова замечается стремление не только правильно и объективно оценить роль социально-революционных элементов в погромах, но и преуменьшить их, свести к нулю. При чтении докладных записок гр. Кутайсова кажется иногда, что этот глубоко реакционный чиновник словно старался выгородить революционеров, защитить их от несправедливых обвинений. Между тем, даже из чтения официальных явно подтасованных отчетов видно, что погромы глубоко всколыхнули, взбудоражили крестьянскую массу, и, помимо всякой агитации со стороны революционеров, оживили мысль о народном движении против помещиков. Ведь, только поэтому благожелательный на первых порах нейтралитет правительства очень скоро сменился энергичным усмирением беспорядков.

У Игнатьева и Кутайсова была, однако, своя предвзятая мысль, своя схема, которую социально-революционная примесь к погромам неуместно портила. Погромы должны были иллюстрировать экономическую эксплуатацию крестьянства евреями и только это, — для аграрного и рабочего вопроса решительно не было места. По мысли Игнатьева рабочие и крестьяне настроены совершенно мирно и лояльно, не затронуты ни в малейшей мере ни революционной, ни социалистической пропагандой, не пытаются вражды ни к капиталистам, ни к помещикам и страдают, единственно, от еврейского засилья. Недовольство в народе и глухое брожение, отрицать которое никак нельзя было, объясняется исключительно накопившейся ненавистью к эксплуататору-еврею. „Материалы“ в значительной своей части представляют собой умелую и тонкую фальсификацию погромных фактов, тенденциозную их обработку для определенной цели: подвести прочный фундамент под антисемитскую политику гр. Игнатьева. Между тем погромы 1881 г. были явлением сложным. Контр-революционные настроения городской буржуазии, а отчасти и мещанства, сплелись с неопределенными аграрными и социально-революционными настроениями крестьян и рабочих. Правительство играло на погромных инстинктах части населения и первое же этих инстинктов испугалось.

Погромы 1881 г. взлили огромную волну национализма, разнуздали стихию насилия и грабежа. Во многих местах рабочие принимали к громилам. Для революционного движения, и без того подорванного, погромы были сильным, пожалуй — роковым ударом. Правительство умело использовало контр-революционный их эффект. С 1881 г. аксиомой правящих и реакционных кругов стало, что лучшим средством в борьбе с революцией является антиеврейский погром.

Д. Заславский.

М. РАФЕС. *Очерки из истории „Бунда“*. Изд. „Московский Рабочий“ 1923 г., стр. 440. Ц. 1 р. 50 к.

М. Рафес написал книгу важную, нужную и интересную. О Бунде в русской литературе можно найти только разрозненные и случайные материалы. История организации, сыгравшей такую видную роль в российском революционном и социалистическом движении, известна лишь немногим, да и эти немногие знают не очень много. М. Рафес первый собрал отдельные материалы, очерки, документы и на скорую руку сколотил постройку, в которой нет ни изящества, ни стройности, ни гармонической пропорции частей, но в которой можно узнать Бунд в разные периоды его развития. Автор указывает в предисловии, что писал он книгу, не имея в своем распоряжении всех необходимых материалов и всего необходимого для работы времени.

Хотя „очерки“ начинаются главой „до Бунда“, но ограничивается этот период несколькими белыми замечаниями. История еврейского рабочего движения, которое и по времени и по содержанию шире и богаче истории Бунда, М. Рафес почти не касается. Его книга это, действительно, партийная история; поэтому она перенасыщена резолюциями съездов и конференций, всякими партийными документами и вообще „ведомственными“ материалом, — для литературной обработки которого у Рафеса, в сожа-

лению, не было времени. Гораздо беднее фактические данные о положении еврейского пролетариата, его социальном составе, его роли в промышленности. Это и не входило задачу „очерков“ Рафеса. Между тем, только полна, — хотя бы и относительно — зная, картина жизни и судеб еврейских рабочих в России могла бы осветить, сделать понятной и картину развития еврейской социалистической организации.

„Очерки“ охватывают всю историю Бунда, от его возникновения в девяностых годах прошлого столетия до распада и ликвидации его в России после октябрьской революции. Две стороны подчеркивает Рафес в этой тридцатилетней истории: национализм Бунда и оппортунизм его политики. Обе стороны эти между собой тесно связаны, и объясняет их Рафес неуклонным, начиная с 1895 года, поворотом Бунда в сторону мелко-буржуазных влияний и течений. На ряде примеров Рафесу, действительно, удается показать, как последовательно от съезда к съезду расширялась национальная программа Бунда, и как всё дальше уходил он от революционного космополитизма русских социалистов. Оппортунизм Бунда выражался в его постепенном сближении с меньшевистским крылом русского социализма вплоть до полного растворения в меньшевизме. В этой части иллюстрации Рафеса не всегда убедительны. Бывали времена, когда Бунд шел с большевиками, так было в 1906 и отчасти в 1906 году, и тем не менее в это же время в Бунде замечалось обострение национальных чувств. Всё же, в общем, наблюдения и замечания Рафеса верны: сравнительно с российской соц.-дем. партией и, в особенности, сравнительно с большевиками, Бунд отличался всегда колебаниями, путаницей, неустойчивостью в своих взглядах. Репутация теоретической беспомощности не без основания укрепилась за Бундом.

Наиболее полно разработана в книге Рафеса глава о террористических настроениях в Бунде. Эти настроения не были длительны, были вызваны сечением рабочих в Вильне в 1902 г. и выстрелом Гирша Лекарта. Они породили теорию „организованной местности“, но после жестокой критики терроризма в „Искре“ погасли так же быстро, как и вспыхнули. Перед исследователем истории еврейского рабочего движения в России встанет вопрос, почему так слабы были в этом движении элементы терроризма, бунтарства, революционной непосредственности. Книга Рафеса на этот вопрос ответа не дает. А между тем, вопрос этот чрезвычайно интересен. Еврейское рабочее движение отличалось от русского тем, что в нем организационный процесс предшествовал стихийной, неоформленной борьбе рабочего класса и предупредил ее. Рафес называет „почти чудом“ тот известный факт, что первыми в России возникли еврейские соц.-дем. организации, — возникли в среде ремесленного пролетариата, в захолустной провинции, в обстановке отсталой и убогой промышленности. Политический и национальный гнет мог бы породить, — как в польском пролетариате, — острое революционное чувство или повышенный национализм. Однако, на заре рабочего движения в Вильне, Минске, Гродне, замечается другое: сильное стремление к организационному единству на почве экономической борьбы и социалистического просвещения. Ранний период в истории Бунда характеризуется слабым развитием политической сознательности и национальной чувствительности. Зато уже в девяностые годы еврейский пролетариат поражает социалистов России и Запада высокой степенью своей организованности и своего „классового сознания“. Не случайно у Бунда учатся первые русские социал-демократы, и в организации рос. соц.-дем. партии Бунд играет такую видную роль. В этой особенности еврейского рабочего движения нет ничего чудесного, если обратиться к особенностям истории евреев в России, как населения исключительно городского, сравнительно культурного и прошедшего богатую школу внутренней организации и дисциплины. Революционная непосредственность, бунтарство, стихийные увлечения с трудом могли рождаться в этой среде, воспитанной столетиями в началах осторожности, обдуманности и расчета, но также и настойчивости, общественности и дисциплины. Отсюда и то характерное для Бунда недоверие к общероссийскому социалистическому движению, на которое справедливо указывает Рафес. Нет сомнения в том, что еврейский пролетариат испытывал на себе сильнейшее давление окружающей еврейской буржуазной

среды. Изучение характерных особенностей этой среды является необходимой предпосылкой и для изучения истории евр. рабочего движения и его партийных организаций.

Только этого нет в книге Рафеса, но этого нельзя ставить ему в вину. „Очерки“ его — первый опыт систематизации материалов, — задача и сама по себе нелегкая, требующая большого труда. Упрекнуть Рафеса можно в том, что пмечются в его книге досадные пробелы, заполнить которые было не так трудно. От первого съезда Бунда Рафес переходит непосредственно к четвертому, оставляя читателя в недоумении, были ли второй и третий съезды, и что на этих съездах происходило. Глава о выходе Бунда из рос. соц.-дем. партии очень интересна, но в ней совершенно отсутствует изложение полемики, которая шла между Бундом и „Искрой“ перед вторым общепартийным съездом, а о самом съезде, сыгравшем такую огромную роль в истории партии и Бунда, сказано буквально два слова. Вообще, резолюции, протоколы и параграфы уставов совершенно незаслуженно вытеснили живую ткань истории. „Очерки“ чрезмерно сухи, в них нет имен, живых лиц, характеристик и биографий главных деятелей и боравшихся между собой группировок. Мы и после книги Рафеса не знаем состава центрального комитета Бунда в ранние периоды его истории. Между тем, как ни скудны опубликованные в России и за-границей материалы, они уже дают возможность многое восстановить в вонимной и безличной истории старейшей соц.-дем. рабочей организации России.

Д. Заславский.

„КАТОРГА И ССЫЛКА“, № 6 за 1923 г. Журнал, издав. О-вом б. политич. каторжан и ссыльно-поселенцев, под ред. В. Д. Сибирякова-Виленского. Москва.

С каждым новым номером журнал становится более богатым содержанием и даже объемом (№ 6—20½, печ. л., в № 5—их было 17). Для молодого историко-революционного органа это успех большой.

Отдел „Из истории революционного движения“ тоже увеличивается и количественно и качественно, и среди мемуаров, помещенных в нем, следует отметить (к сожалению, все черезчур кратко!): записки недавно умершего чайковца Н. И. Драго, воспоминания о револ. движении в Одессе в 1877—78 годах Анаст. Шехтер, воспоминания Н. А. Юргенсон-Головиной (эпоха хождения в народ). Для характеристики взглядов землевладельцев на крестьян и рабочих цепня краткая заметка умершего шлисельбуржца М. Р. Попова. — В отделе „Каторга и Ссылка“ весьма интересны детальною изложения воспоминания д-ра Я. Белого о конце 70-х и 80-х годах. — Обращают на себя внимание в том же отделе и воспоминания Ю. Стеклова о Якутской ссылке, главным образом о личном ее составе. Они дают много характерных черт для характеристики отдельных ссыльных, а поэтому тем более становится досадно, что статья эта, очевидно, написана была слишком спешно, так как иначе трудно понять, как профессионал-писатель мог допустить многие неточности в своей статье. Например, совершенно, невероятно предположение автора, чтобы в царский период рождение лица православного происхождения, к тому же еще духовного звания, не было зарегистрировано в метрических книгах (речь идет о П. Лозанове, стр. 78). — Никита Левченко судился в Киеве (дело М. Р. Попова и др. разбиралось в 80 г.), а не с Лизогубом и Чубаровым, в 79 г., в Одессе (стр. 79). — Приводя слова землевладельца В. Трошанского, недовольного, очевидно, направлением сына-реалиста: „будешь околоточным надзирателем!“, автор говорит: „И ошибся“. В доказательство этого он приводит историю с. р.—максималиста Н. Петр. Пумпянского (сына шлисельбуржца П. Подиванова), понятно, ничего общего с сыном Трошанского не имеющего... А отец то — В. Ф. Трошанский — оказался, был прав, так как сын его, впоследствии, проживая в Москве, действительно, опустился до уровня, даже ниже околоточного. К революции он, конечно, никакого касательства не имел. (Стр. 83) — Автор говорит, что знаменосец Казанской демонстрации 1876 г. 16-летний рабочий Потапов под суд не попал, и его административно, будто-бы, сослали в Соловецкий монастырь

на показания.. Из судебного отчета видно, что таков именно был приговор Судебной Палаты: „ходатайствовать“ (перед царем) „об отдаче (крестьян) Потапова, Тимофеева и Григорьева на 5 лет в один из отдаленных монастырей“...

Такие места в статье Ю. Стеклова заставляют с сомнением отнестись и к некоторым другим его утверждениям: например, о „глубокой хандре“ и чуть-ли не опотере „веры в возможность успеха революции“ у И. Н. Мышкина. Ведь это противоречит всем другим воспоминаниям об И. Н. Мышкине, в том числе и его ближайших друзей (стр. 77).—Неверен, с нашей точки зрения, также и отзыв о шиллсельбуржце В. С. Панкратове (стр. 1).

В статье Я. Белого не мешает вскрыть полные фамилии лиц, отмеченные автором лишь инициалами. На стр. 99.—Это Ник. Зенников (или Зеньков), будущий „доноситель“, которого из-за его доносов привозили даже в 1882 г. из Ср. Колымска в Петербург, в Департамент полиции. При Департаменте его держали более двух месяцев и в январе 1883 г. отправили обратно в Москву. Куда он оттуда был послан—неизвестно.—Стр. 105. С—ко—врач Савенко, добровольно последовавший за женою, ссылавшеюся на поселение по харьк. делу.—Стр. 113. Ч—ский—б. капитан Людв. Александр. Черневский; выслан был админ. в г. Баргузин.—На стр. 97 автор говорит о Кушнаренко. Не следует-ли читать Кудриченко? (Такой рабочий революционер существовал тогда в Одессе).

По поводу предисловия Р. М. Кантора к весьма ценной статье Е. Н. Ошаниной „Смертники в тюрьме“ следует выразить недоумение, как могло произойти, чтобы писатель, специализировавшийся на истории русской революции, мог не знать Антонию Васильеву Никонову (он выражается: „какая то Никонова“) и что Елена Ник. Ошанина—дочь Марии Ник. Ошаниной-Баранниковой, известного члена Ист. Ком. Народной Воли? Странно также, что Р. М. Кантор не знает, что в редакции газет и журналов в годы реакции рукописи часто направлялись не с безнадёжной целью их напечатания, а для информации. Ведь и „Бытовое явление“ В. Г. Короленко, о котором упоминает автор, явилось в печати именно в результате подобных непензурных рукописей... В этой статье следует отметить место, где один из смертников, б. матрос броненосца „Орег“ Ник. Ром. Козырев, даёт, между прочим, в своем письме к Е. Н. Ошаниной интересные подробности о еще неизвестном в литературе бунте матросов во время стоянки эскадры адм. Рождественского у берегов Мадагаскара, в результате которого адмирал должен был уступить.

Н. Тютчев.

ПАМЯТНИКИ АГИТАЦИОННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РОС. СОЦ.-ДЕМОНР. РАБ. ПАРТИИ. Том VI (1914—1917). Период войны. Вып. I. Прокламации 1914 г. Изд. Комиссии по истории октябрьской революции и Росс. Комм. Партии. Гос. Изд. 1923. Стр. XXIV+346.

Историко-революционная археография находится в самом зачаточном состоянии. И не потому, чтобы ее цели были уже столь отличны от целей общей археографии: при издании всякого рода документов есть столько общего, не взирая на особенности каждой разновидности документа, что на первых порах достаточно было бы воспользоваться хотя бы общими принципами издания документально-исторических материалов и применить их к изданию документов со специфическим историко-революционным значением. Однако, сколько ни издано было до сих пор разнообразного историко-революционного материала разнообразными учреждениями, органами и лицами, мы не смогли бы указать на такое издание, в основе которого лежали бы определенные научно-археографические положения, а не домыслы примитивно-кустарного типа, либо отсутствие даже последних. С точки зрения таких научных требований новое издание Истпарта приобретает крупнейшее значение, ибо эти требования сознательно и продуманно положены в его основу. Тем самым именно они вызывают нас на обсуждение этой важнейшей стороны всякой документальной публикации.

Изданный Истпартом том состоит из четырех частей. Вводною частью являются две вступительные статьи, за которыми следует основная часть — тексты прокламаций. Две добавочные части включают: „комментарии“ к прокламациям и указатели. Едва ли можно было по заранее выработанному плану обставить еще полное подобное издание.

Каждая из двух вступительных статей имеет, в свою очередь, свою особую задачу. В. И. Невский характеризует публикуемые документы с точки зрения их значения, как исторического источника (не методологически, а феноменологически), А. А. Шилов излагает приемы их издания. В своей характеристике (с. V—XVIII) В. И. Невский следит за тем, что могут дать печатаемые материалы для характеристики основных показателей состояния общественного движения, какими являются обычно дни 9 января, 4 апреля и 1 мая, и подробнее останавливается на том, как вспыхнувшая война „расколола окончательно социал-демократию не только русскую, но и социалистов всего мира, на два лагеря: социал-шовинистов — предателей и „пораженцев“ — революционных социал-демократов, оставшихся верными учению Маркса и рабочему классу“, в заключение своих суждений В. И. Невский утверждает, что „материал, который мы предлагаем в этом выпуске памятных агитационной литературы, как нельзя лучше подтверждает то мнение, что наши социал-шовинисты дали воду на мельницу буржуазии и самодержавия“.

Для А. А. Шилова было два пути в изложении своей темы: вместо систематического изложения тех положений, на которых основано издание собранных прокламаций, он предпочел повествование о том ходе действительной работы, в результате которой первоначальный замысел получил свое осуществление в виде книги. Нельзя отрицать того, что такой способ изложения имеет некоторые свои преимущества при современном положении дела, и именно, преимущество методико-педагогическое. С чрезвычайною ясностью и точностью А. А. Шилов передает последовательные этапы работы, их содержание и их технику, начиная с предварительных операций по просмотру дел и способов занесения сделанных наблюдений на специальные карточки по заранее выработанной и здесь же указываемой схеме, и кончая завершающим моментом размещения собранного материала в виде книги. Такой способ изложения будет для всякого вновь приступающего к работе надежным практическим руководителем. Однако, в таком способе изложения, при всем утилитарном его значении, есть своя невыгода для более требовательного археографа, и именно та, что проблемы издания документов лишь отражены в предисловии А. А. Шилова, но не изложены систематически, тем более — не обоснованы. Возвращаясь к той педагогической схеме, которую дал А. А. Шилов, мы можем указать на глубокую ее поучительность. Давая представление о подготовке тома, она вскрывает ряд тщательных приемов работы — просмотрено было до 7.000 дел, сверка переписанных листов с подлинниками производилась вплоть до соблюдения всех ошибок подлинника, состав рабочей карточки обнимал 16 вопросов пунктов (первые 11 несколько неудачно объединены термином „внешнее“ описание — неудачно, т.-к. „шифр дела“, очевидно, не есть элемент внешнего описания прокламации, равно как и пункты 2—5, 10—11; в действительности они составляют в своей совокупности не только „внешнее“ но и полное „библиографическое“ описание прокламации). Возвращаясь, в свою очередь, к тому отсутствию археографической схемы, которой наш автор не дал, мы вынуждены наши дальнейшие суждения строить не столько на анализе предисловия, сколько на изучении всей книги в ее целом.

Первым и основным вопросом продуманного научного издания является, конечно, вопрос об его составе. В данном случае, должный состав сборника можно было бы вывести без труда, исходя из текста заглавного листа книги, где общий заголовок гласит — „Памятники агитационной литературы Р. С.-Д. Р. П.“, подзаголовок же — „Прокламации 1914 года“. На первой же странице своего предисловия (с. V) В. И. Невский поясняет, что всё „издание рассчитано на много томов и должно обнять опубликование как отдельных брошюр и книг, так и комплектов периодической прессы и прокламаций“. В этом безгом перечислении отмечен целый ряд предположительных разновидностей агитационной

литературы, из которых пиенно прокламацли предназначены к изданию в данном томе. Точно так же и А. А. Шолов говорит в своем предисловии о приемах библиографирования и подготовки к печати именно прокламаций. Однако, ни первый, ни второй автор не определили ближе, что они разумеют под прокламацией, и в чем состоит тот критерий, который делает ощутимой разницу между прокламацией и непрокламацией. Не будем и мы тем третьим автором, который дал бы требуемое определение. Однако, для оправдания (ибо нельзя же это назвать обоснованием) последующих суждений мы лишь укажем на некоторую исходную точку зрения. Именно, для нас несомненно, что отнюдь не всякое политико-литературное произведение своим внешним видом напоминающее, либо даже тождественное с тем внешним видом, который прочно усвоила себе прокламация, может претендовать на название прокламации. Если бы именно внешний вид служил критерием того, что является прокламацией, то, напир., и „Пауки и муш“ Либкнехта, и известный когда-то „Разрушенный мол“, а также ряд революционных стихотворений и песен надлежало бы считать прокламациями, когда их гектографировали на 1—2—3—4 страницах. Однако, они же могли быть изданы и в виде брошюры, и тогда переставали быть прокламациями? Внимательный читатель уже вправе изловить нас на одной логической ошибке и привести нас вместе с тем к другой постановке темы. Говоря о брошюре, мы имеем в виду одни внешние признаки и отнюдь не вкладываем сюда каких либо признаков содержания (брошюра может трактовать о свержении самодержавия и о разведении свекловичны; рассуждая же о прокламации, мы имеем в виду прежде всего определенные признаки ее содержания. Стоя на точке зрения внешних признаков, мы брошюре должны противоположить понятие с совокупностью одних же внешних признаков, и таким понятием будет листовка (она может быть агитационной и неагитационной, политической и сельскохозяйственной), одной из разновидностей которой по содержанию может быть и прокламация. Те несколько педантические замечания, значение которых будет указано ниже, еще не могут быть заключены суждением, что прокламация есть листовка с политико-агитационным содержанием. В виде листовки с политико-агитационным содержанием может быть перепечатано письмо видного политического деятеля, речь депутата, передовая из нелегальной газеты и т. п. При тождестве внешнего вида (листовка) и внутреннего содержания (агитационно-политического) письмо все же не станет прокламацией, как не станет прокламацией и передовая статья и депутатская речь. Очевидно, есть еще третий признак, нами до сих пор не отмеченный. Без труда можно теперь его назвать — он будет литературная форма. Действительно, и письмо, как таковое, и речь, и передовая статья, и прокламация — все они имеют традиционно установившуюся литературную форму, и потому-то одна и та же тема получит совершенно отличный вид, будучи развитая в каждой из этих форм. Установить ту совокупность элементов литературной формы (стилистических и композиционных), которая создает прокламацию, необходимо не только с точки зрения научного педантизма, но и с точки зрения элементарно-критического отношения к прокламации, как к историческому источнику. Так, напир., даже малоопытный исследователь уловил, вероятно, ту композиционную особенность прокламации, что конечная часть ее текста всегда оторвана от остального повествовательного текста и представляет собою группу лозунгов („Да здравствует...“, „Долой...“ и т. п.). Стилистическое облачение последней в виде непрерывного ряда отдельных восклицаний очевиднейшим образом рассчитано психологически на то, чтобы вызвать сильный, хотя бы и недолговременный, эмоциональный подъем у учителя. Если это так, то отсюда должен последовать немаловажный вывод для целей использования прокламации в качестве исторического источника. Действительно, тот отмеченный выше композиционно-стилистический прием, благодаря которому данное содержание каждого отдельного восклицательно выраженного лозунга искусственно приобретает повышение своей психологической значимости чрез соединение с рядом непосредственно следующих других восклицательных лозунгов, должен нас заставить соответственно интерпретировать подобные части и иначе оценивать их, чем когда они были бы включены в инсе-

композиционно-стилистическое целое (напр., думскую декларацию либо передовую статью), где этого искусственного повышения значимости налицо нет. Все эти беглые замечания о прокламациях имели одну лишь цель — утверждение прокламации, как особой формы агитационно-политической литературы, и, тем самым ее отделение от произведений, сходных либо по внешним признакам, либо тематически.

Вышеприведенные рассуждения дадут нам возможность оценить тот состав сборника, каким он появился в печати. Задачей А. А. Шилова было, во первых, дать том „прокламаций“, во вторых — прокламаций именно социал-демократических. Однако, мы замечаем, что А. А. Шиллов включил в свой том и то, что не является „прокламацией“, как равно и то, что не может быть названо прокламациями „Р. С.-Д. Р. П.“.

Наблюдая за расширением состава сборника в первом отношении мы, напр., находим, что А. А. Шиллов печатает под № 15 документ (письмо депутатов по поводу раскола во фракции), который он сам называет „брошюрой“ (265) и который внешним своим видом так сильно расходится с общим типом печатаемого материала, что ему не дано внешнего описания, а если еще добавить к тому, что брошюра эта — легальная, то станет совсем непонятным ее зачисление в „прокламации 1914 г.“; под №№ 11, 12 и 16 помещены письма (Плеханова, Мартова, чл. I Думы Бурьянова), при чем побуждением к помещению их послужило то, что они получили распространение, хотя, конечно, вследствие этого они не превратились из „писем“ в „прокламации“, а от мысли о помещении вообще писем А. А. Шиллов, понятно, был настолько далек, что единственной частью архива, им не просмотренною, был именно перлюстрационное отделение особого отдела б. Департамента полиции; под № 23 помещено письмо „Северной Рабочей Газеты“ по поводу „дня рабочей печати“, которое сам А. А. Шиллов квалифицирует, как „циркулярное письмо“ (268); под №№ 25—26 и 39 помещены две декларации думской социал-демократической фракции, причем первая напечатана даже не по листовой, а по стенограмме заседаний Государственной Думы, а вторая по неуказываемому (не тому ли же?) оригиналу не являются также ни „прокламациями“, ни вообще „агитационными произведениями“; №№ 50 (резолуция), 60 (проект декларации), 70 (записка), и особенно трудно согласиться с тем, чтобы в подобном сборнике фигурировала в качестве прокламации надпись на флаге (№ 135), либо телеграмма бельгийского министра Вандервельде (№ 45); под № 3 вместо прокламации даны известнейшие тезисы В. И. Ленина, а под № 4 — передовая из „Социал-Демократа“, развивавшая эти тезисы. При всей первостепеннейшей важности перечисленных материалов мы не думаем, чтобы их можно было включать в состав тома прокламаций.

Допущенное А. А. Шилловым расширение идет и в другом направлении. В том должны были войти прокламации „Российской Социал-Демократической Рабочей Партии“. На самом же деле мы находим здесь довольно значительное количество прокламаций, не исходящих от именно партийных организаций. Если даже предположить, что, по крайней мере, некоторые из них составлялись не без влияния социал-демократической организации, то, во первых, в каждом отдельном случае требовалась бы наличность доказательства такого влияния данной местной социал-демократической организации, а во вторых, все-таки одно — прокламация самой с. — д. организации, и другое — прокламация, изданная под ее влиянием: обычное место последних не в основном тексте, а в лучшем случае — в приложении (худшее для них, но не для издания, впрочем, если их опускают). Опять таки, и здесь педантизм не без значения. Если бы кто-нибудь, доверившись А. А. Шиллову, что мы напечатаны именно прокламации социал-демократических организаций, стал бы, уже не подвергая дальнейшей критике эту сторону напечатанных им текстов, делать из них выводы, то такой „исследователь“ мог бы оказаться в весьма странном положении, и когда он захотел бы изучить форму партийной прокламации (особенно протокольные ее части), и когда он захотел бы характеризовать, основываясь на них, мировоззрение провинциального социал-демократа (напр., № 113, которой можно считать скорее пародическим, чем социал-демократическим). С такой точки зрения мы находим излишними: № 24 — прокламация „Стачечного комитета Пороховых заводов“; №№ 74, 77 — 83 — „уполномоченных от нефтепромышленных рабочих и рабочих под-

собных предприятий; № 75 — „забастовочного комитета бакинских рабочих“; № 85 — продукт индивидуального творчества Моисея Абрамовича Шуффа; № 86 — забастовочной группы; №№ 89—90 — с подписями: „Все рабочие Петровского завода“ и „Товарищ“; № 93 — Вахутской группы „Сознание“ (наверно ли партийная группа подписалась бы так; в тому же текст воззвания явно указывает, что оно исходит от приказчиков и конторщиков, как таковых); № 113 нельзя считать именно социал-демократическим, когда он подписан „группою востромских социалистов“; №№ 119 — 120 выпущены „организацией рабочих в Бежиде“; № 137 — „группою служащих тифлиссского трамвая“; №№ 95, 111, 112, 127, 133, 140 — равным образом никак нельзя признать за именно социал-демократические прокламации. Наши списки изданных прокламаций приобретают тем большее значение, чем они длиннее: легко подсчитать, что около четверти документов тома его отягощают, заставляя вместе с тем того, кто будет им пользоваться, разрешать одни из тех предварительных вопросов издания текстов, которые в научном издании дойдутся на издателя, дабы экономить время у историка.

Вслед за определением состава сборника прокламаций, должен стать перед издателем вопрос о воспроизведении текста собранных прокламаций. Из двух возможных выходов: либо некритического воспроизведения текста прокламаций в том самом виде, в каком они налицо в руках издателя (конечным идеалом такого воспроизведения является фотография; степень же совершенства последней лежит в области технических знаний, а не исторической науки), либо научно-критического издания текста — А. А. Шилов выбрал, конечно, второе. Став на такой путь, ему пришлось бы иметь дело с двумя вопросами, в специальной литературе носящими названия: рецензии текста и его эмендации. Дело в том, во-первых, что в руках издателя, в частности и у А. А. Шилова, могли оказаться для одного текста прокламации не одно, а несколько изданий, либо не только окончательный ее текст, а также ее черновики и проекты. В таком случае, А. А. Шиллову предстояло остановиться на том, что он считает основным текстом прокламации, дабы именно этот основной текст лег в основу его издания. Во вторых, именно этот основной текст прокламации подлежал, как мы уже заметили выше, не воспроизведению фотографического типа, а некоторой научно-критической обработке. На том, какое разрешение получили у А. А. Шилова эти общие проблемы, нам и надлежит остановиться.

Включая в круг своих наблюдений все напечатанные А. А. Шилловым документы (а не одни только социал-демократические прокламации), мы можем наметить два разнообразных типа случаев, когда А. А. Шиллову пришлось работать не только над исправлением (либо упрощением) чтения текста, но и над выбором самого текста. Первый случай, самый распространенный и довольно часто встречающийся, это тот, когда один и тот же текст прокламации отпечатан в нескольких изданиях. Естественно, что не было (и вообще нет) никакого смысла в целостном текстуальном воспроизведении всех изданий, что тем яснее, чем менее отличий между отдельными изданиями. Задача А. А. Шилова состояла, при таком условии: во-первых, в установлении того, какой из наличных текстов надо принять за перво-текст, а затем, в установлении той системы, при посредстве которой будут отличаться варианты второ-текстов. Надо признать, что решение первой задачи (установление перво-текста) не представляло значительных затруднений; весьма типичен и едва-ли не вполне даже господствующий тот случай, который мы наблюдаем при изучении прокламации, выпущенной в 9 января (№ 1). Перед А. А. Шилловым было семь изданий ее, и так как одно из них исходило от Центрального Комитета, то совершенно очевидно было, что именно этот текст является перво-текстом данной прокламации. Конечно, этот то текст и напечатан А. А. Шилловым. Гораздо сложнее обстоит дело с техникою подведения вариантов к основному тексту, и А. А. Шиллов в одном случае (напр. тот же № 1) приводит варианты в так называемом им „комментарии“, в другом, здесь же, в подстрочных примечаниях (№ 6). Второй случай характеризуется тем, что мы обладаем не только окончательной редакцией, но и черновиком печатаемого документа. Несомненно, во первых, что это один, а не

два документа, и если это так, то, во-вторых, в тексте издания за одним порядковым номером может фигурировать лишь одна из редакций, конечно, окончательная; черновая же может быть отнесена либо в примечание, либо в приложение („комментарий“). Именно подобный случай наличия уже не нескольких изданий, как выше, а нескольких редакций текста оказался у А. А. Шилова при печатании не прокламации, а декларации думской фракции социал-демократов и трудовиков по поводу исключения депутатов, и мы считаем ошибочным тот археографический прием А. А. Шилова, благодаря которому они фигурируют, как два документа (№№ 25 и 26), и отождествляются лишь своими заголовками, а отнюдь не соответствующими приемам издания. Аналогичный случай наличия редакций текста имелся у А. А. Шилова при печатании № 12, озаглавленного „Русский марксизм и война“ (письмо Л. Мартова, отправленное редакторам и сотрудникам „Нашей Зари“). У А. А. Шилова были: 1) копия письма Мартова, распространенная в 1915 г. в России; 2) извлечения, напечатанные в парижском „Нашем Слове“ в 1915 г., в 3) перепечатка тех же извлечений в сборнике статей Мартова, вышедшем в 1917 г. А. А. Шиллов, не принимая ни одного из текстов за основной, дает, по его определению, „сводный текст“ документа: „в основу“ им положен текст „Нашего Слова“ („как просмотренный автором и напечатанный вне условий русской цензуры“), и дополнен по копии (пункт 1). При первом же взгляде на напечатанный текст легко определить, получилось ли именно то, что должно было получиться. № 12 напечатан в виде статьи: „Русский марксизм и война“, а на самом деле в 1914 г. было написано письмо; места, которые, несомненно, были в редакции 1914 г. и являются поэтому основными, напечатаны в виде дополнений в прямых скобках (как, напр., первая же фраза) либо в виде вариантов под строками (напр., несомненные для 1914 г. выражения заменены в тексте позднейшими — с. 30, прим. 1—3, с. 32 пр. 2 и др.). В итоге — вместо восстановления документа 1914 года получилось нечто другое. К тому „сводность“ текста фиктивна: если раскрыть прямые скобки, то (придав во внимание примечания) мы получим именно текст 1914 г.: тем менее оснований было и вводить новый термин и отступать от задач публикации документов 1914 года.

Вопросы „эмендации“ текста осложнялись тем, что само печатание прокламаций происходило обычно в обстановке, которая не могла не сказаться на самом тексте: недостаток букв, невозможность тщательной корректуры, а иной раз и добавок ко всему — и наличие автора с его своеобразным стилем, не слившимся еще с общерусским литературным языком. Эмендация текста, произведенная А. А. Шилловым, коснулась, понятно, главным образом, двух первых явлений. То, что, как ему казалось, есть следствие недостатка шрифта в нелегальной типографии, — подвергнуто исправлению, и, именно, как на объекты такого исправления А. А. Шиллов указывает на замену одних гласных другими, замену заглавных букв прописными. Если первое, несомненно, вполне допустимо, то для нас все-таки совершенно неуловимо, почему требовалось печатать прописью то, что в тексте прокламации было заглавным шрифтом; сохранение в данном случае особенности оригинала не могло составить никакой трудности для последующего изучения текста, а между тем оно менее отодвинуло бы издание от подлинника. Исправляя только что указанные недостатки текста без особых оговорок, А. А. Шиллов все то, что им исправлено, как явление плохой корректуры, оговаривает в подстрочных примечаниях к тексту. Стиль им исправлен только в отношении знаков препинания. Даже строгий критик может быть удовлетворен такими приемами издания. Строго продуманные, изложенные в предисловии, они дают возможность обращаться с текстом, заранее учитывая, какие особенности его утеряны. Вместе с тем, надо согласиться, что такой строгий подбор необходимых исправлений лишь облегчит изучение текста, хотя для некоторых специальных вопросов он и представит трудности, которые могут быть разрешены только изучением самих подлинников (напр., для того, кто изучал бы особенности нелегального печатания). Наша задача, как рецензента, при полном согласии с принципами печатания А. А. Шилова, должна свестись к вопросу, насколько эти принципы выдержаны и насколько текст I вып. VI тома вообще напечатан исправно. Нами были на выбор

проверены тексты нескольких прокламаций и, действительно, то, что оказалось видоизменением, вполне отвечало условиям предисловия (напр., с. 86—„идеалы“ вм. Идѣалы“; с. 80—„Европа“ вм. „Эвропа“ и т. п.); если есть на-лицо мелкие неисправности, то они не в области самого текста, а лишь его интонации: так, напр., появляется иногда курсив, где его в подлиннике нет (№ 64). Лишь против одного в тексте у нас довольно решительно напрашивается критическое замечание—в целом ряде прокламаций в конце их текста мы находим пометку в роде: Печать „Комитет Киевской Организации Р. С. Д. Р. Ц.“ Всё начиная с нашего двоеточия, А. А. Шиловым напечатано одним и тем же жирным шрифтом: если всё это набрано одним и тем же шрифтом, то, значит, всё это должно иметь и одно и то же значение; однако же никто не сомневается в том, что слова „печатать“ в подлиннике нет, что оно является добавлением А. А. Шилова, остальные же слова „к-т“ и т. д. действительно воспроизводят текст печати. Однако, мы желаем отметить не один этот редакторский промах, результатом которого является неразличимость редакторской пометки от подлинного текста. Печать, вообще, не есть элемент текста прокламации—она есть не что иное, как одна из тех многих пометок, которые могут быть на прокламацию, из которых одни накладываются организацией, выпустившей прокламацию (напр., киевская печать на киевской прокламации) другие—организацией, распространявшей прокламацию (напр., киевская печать на прокламации центрального к-та и т. п. Таким образом, эта посторонняя для текста прокламаций печать отнюдь не имеет права на то, чтобы занять место в основном тексте книги; указание на нее необходимо, но именно в том отделе, который А. А. Шилов называет „комментариями“.

Именно, к последнему отделу мы переходим, т. е. наше рассмотрение текста издания можно считать законченным. Однако, прежде рассмотрения того, что дано А. А. Шиловым, мы в праве предъявить изданию в расчлененном виде те требования, которые должны сопровождать всякое научное издание текста. Именно, двумя элементами, сопутствующими обычному тексту документа, являются с одной стороны заголовки, с другой—так называемые легенды, куда включаются сведения о внешнем виде подлинника, местонахождении того оригинала, с которого печатается документ, и, наконец, библиографические справки в том случае, если текст уже был напечатан. Сверх этих чисто археографических моментов можно давать относительно документа и разные сведения другого рода: об авторе, организации, поводах к его изданию—распространении и т. д.; однако, совершенно ясно, что только что отмеченные данные отнюдь не „археографичны“, а сплошь „историчны“. Если согласиться, что мы действительно имеем здесь две группы сведений—археографическую и историческую, то, несомненно, издание должно их отличать друг от друга. И, надо сказать, что в общепринятом типе научных изданий они и приводятся раздельно. То, что археографично—непосредственно сопровождает печатаемый текст, то, что исторично—дается в особом приложении. В самом деле, разве не странно то, что заголовки к печатаемым текстам у А. А. Шилова даны в „комментариях“, а текст сопровождается лишь порядковым номером? В то же время А. А. Шилов сам не в состоянии выдержать этого мучительного положения, в которое попадает читатель (а может быть и редактор?) (ср. возможности ориентироваться, и не раз он сам все-таки дает эти заголовки (напр., №№ 3, 5, 11, 68—70 др). Правда, внимательно проследив этот случай, находишь, что заголовки даются А. А. Шиловым именно в тех случаях, когда печатаемый им документ—не прокламация: тем хуже, если примененное им к балласту издания правило осталось в пренебрежении применительно к его основному ядру. Однако, и там, где А. А. Шилов дает заголовки, и здесь наша придирчивая критика найдет все-же очень уязвимое место. Дело в том, что иногда те заголовки, которые находятся в начале текста, принадлежат самому подлиннику (таков, напр., № 12); иногда же они принадлежат, как мы выше видели, А. А. Шилову. В то же время шрифт, которым воспроизведены те и другие,—один и тот же; исследователь, которому недоступен подлинник (прибегать к подлиннику после научного издания вообще возниппия роскошь), должен биться над тем, кто дал заглавие—автор (и тогда оно вне критики) или редактор (и как часто оно может оказаться неудачным?). Необходимо было, конечно, для

всех редакторских ремарок употребить особый шрифт. Более формально наше замечание относительно легенд, которые следовало бы печатать вслед за текстом, хотя бы пегитом или курсивом, дабы отличать от основного текста.

После сделанных замечаний яснее наше отношение к тому, что давано А. А. Шиловым „комментарием“. Конечно, всё „археологическое“ не есть „комментарий“, и если А. А. Шилов включил эти данные в „комментарий“, то лишь благодаря неясности такого растяжимого термина. Однако, что такое комментарий к тексту, и что под ним разумеет А. А. Шилов? В обычном словоупотреблении комментарий равнозначен объяснительным примечаниям, и таков он у А. А. Шилова, но со значительным самоограничением. Если комментировать прокламацию значило бы прежде всего выяснить обстановку ее происхождения, а затем объяснить из первой данное ее содержание, то А. А. Шилов от второй задачи сознательно отказывается (совершенно правильно считая, что для такого комментария он должен был бы „давать отдельные эскизы по истории социал-демократического и рабочего движения“), а первую понимает, согласно его же термину — „формально“. Таким образом, „комментарий“ сводится к „биографии“ прокламации. Как ни желательно было бы реальное истолкование прокламации в „комментарии“, мы вполне, однако, понимаем определенную в этом деле позицию А. А. Шилова, и даже готовы ее оправдать и защитить. Ибо даже для той ограниченной задачи, которую поставил себе А. А. Шилов, ему пришлось проделать значительнейшую и сложную работу, и если бы поставить задачу во всем ее объеме, то, конечно, работа А. А. Шилова должна была бы изменить всю свою физиономию и все свое значение, и из собрания документов с добавлением комментария превратиться в исследование с приложением документов. Правда, не раз А. А. Шилов расширяет свои „формальные“ рамки (напр., в № 10 сведения о подготовке конференции, № 12. № 25 и др.), но только что указанные обстоятельства заставляют нас быть сдержанным в оценке сужения задачи и невольного подчас ее расширения.

Остаются еще указатели, которых три: алфавитный, личных имен и географический.

Наш отзыв затянулся. Как всякий отзыв, он в идее своей противопоставляет свои точки зрения точкам зрения книги. Однако, не всякую книгу можно критиковать подобным образом. Читатель нашей рецензии должен оценить это значение работы А. А. Шилова. Мы думаем, что по этой книге можно не только изучать ее содержание. По ней нужно учиться технике издания историко-революционного документа, в строгим научно-критическим духом ее надо проникаться новым людям при новой работе. Еще раз повторим брошенную выше мысль, что значение работы А. А. Шилова в равной мере и научно и педагогично.

С. Вали.

Некролог.

29 октября т. г. скончался в Петрограде литератор, общественный деятель, постоянный сотрудник „Былого“ и других современных изданий, Владимир Абрамович Канторович.

Владимир Абрамович умер молодым, после продолжительной и мучительной болезни, всего 37 лет. Он не успел много дать из того, что задумал, но то, что он дал, изобличало в нем незаурядную литературную силу. Русская публицистика потеряла в нем чуткого, пытливого человека, обладавшего в высокой степени тем, что можно назвать чувством справедливости и общественной совестью. Это сказывалось в его злободневных статьях и соответствовало его внутреннему облику. Таким знали его близкие друзья, и знакомые, и все, кому приходилось сталкиваться с Вл. А. в общественной деятельности.

Участие Вл. Абр. в общественной жизни началось рано, значительно раньше, чем он выступил в литературе. Кто знал Петроградский университет в бурную осень 1905 г., тот помнит члена совета старост, тов. Владимира. В недели перед манифестом 17 октября университет был центром революционного движения в Петрограде, а совет старост был центром университета. Тов. Владимир редко бывал докладчиком по декларативным и программным пунктам, но он всегда выдвигался в критические минуты, когда порывом души и мысли надо было увлечь колеблющуюся аудиторию. Революционная борьба не была для него студенческим увлечением; он связан был с ней социальным своим, марксистским мировоззрением. В бундовских организациях он получил политическое воспитание и в 1907 г. был делегатом на Лондонском с.-д. съезде. Связь с движением не прерывалась и в годы реакции, когда житейские заботы заставили Вл. А. заняться адвокатской практикой. Он участвовал в группе „политических защитников“, во всех общественных адвокатских выступлениях, интересовался вопросами теории права, но будничная адвокатская практика тяготила его. Общественный темперамент искал удовлетворения в другом, более родном деле. Осенью 1911 г. Вл. А. был арестован в связи с демонстрациями по случаю смерти Толстого и затем выслан на два года из Петрограда.

По возвращении Вл. А. отдался общественной деятельности и литературе. Он сотрудничал в левой петроградской печати, и статьи его скоро обратили на себя внимание. Февральская революция выдвинула его в первые ряды публицистики. Его статьи были всегда содержательны, изящны по форме, проникнуты живым, страстным чувством и остроумием. Он быстро развивался, и видно было, что газетная злободневная публицистика только этап в его развитии, и что есть у него данные для более глубокой литературной работы. Политика текущего дня с ее дризмами не была его подлинным призванием. Его интересовали общие политические идеи, — в их культурно-философском преломлении. В газетной работе он не вмещался, как тесны были для него и рамки непосредственной практической деятельности. В 1917 г. он был деятельным работником Совета рабочих депутатов первого созыва и ведал в нем иногородним отделом. Он работал также в комиссии по созыву Учредительного собрания, был участником различных съездов и совещаний.

С удалением В. А. от активной политики и от непосредственного участия в общественной деятельности в нем оформился и окреп интерес к истории русского общественного движения, преимущественно недавнего его прошлого. Это не был, однако, интерес ученого архивиста или объективного исследователя-историка. Это было стремление, скорее, в сторону исторической публицистики. За короткое время при самых неблагоприятных условиях Вл. А. были написаны и напечатаны в „Былом“ статьи „Александра Федоровна Романова“ и „Французы в Одессе“; в „Еврейской Летописи“ напечатана статья: „Бунд накануне февральской революции“. Подготовлены к печати литературные портреты-характеристики Хрусталева-Носаря и Ф. Ф. Липде. Эти работы являются не только историческими очерками различных моментов революционного движения, но и небольшими этюдами по истории русской революционной интеллигенции. В статьях своих Вл. А. обнаружил мастерство литературного портрета и искусство психологического анализа.

В. А. был задуман и, в сотрудничестве с Д. О. Заславским, начат большой труд по истории русской февральской революции, для чего покойным была проделана предварительно большая работа в Музее Революции по собиранию и систематизации материала. Первый том этой истории, охватывающий период 27 февр. — 3 мая (ст. ст.) 1917 г., вышел в издании „Былого“. Болезнь прервала работу В. А. по подготовке второго тома. Незаконченной осталась и другая начатая В. А. работа — об евреях в революции.

Дарование В. А. только развертывалось. Он не мог, как хотел, отдаться вполне литературе и науке. Он готовил себя и к ученой деятельности в области права, и в университете на него смотрели, как на будущую теоретическую силу. Но служба поглощала значительную часть сил, потому что и в служебные занятия В. А. вкладывал присущее ему увлечение. Он по натуре своей не мог быть чиновником, отбывающим казенную повинность. Последние годы он заведывал экономическим отделом в петроградском отделении комис. внешней торговли и часто над экономическими вопросами работал больше, чем этого требовала служба. Он не умел беречь себя и экономить

свои силы. Жизнь захватывала его разными сторонами, а он любил жизнь, умел находить в ней новые и интересные явления и следил с громадным и живым интересом за социальным и культурным творчеством наших дней. Он любил искусство, философию, поэзию, — любил это, как свой внутренний, интимный мир, куда можно уйти от политики и экономики. Лишь ближайшие друзья знали, что В. А. пишет стихи и в 1915 г. издал книжку стихов под псевдонимом „В. Канев“. Скромность и строгость к самому себе были его отличительной чертой.

Редакция.

П О П Р А В Н А.

На стр. 43 по недосмотру пропущена фамилия автора статьи „Юность Достоевского“ — Вл. Комаровича.

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ

Проф. К. А. Пажитнов

Развитие социалистических идей в России

Т. I. От Пестеля до группы „Освобождение Труда“

2-ое дополненное издание

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловия к первому и второму изданию.

Введение. Определение социализма и классификация социалистических систем.

Глава I. П. И. Пестель.

Глава II. Кружок Герцена и Огарева. Эволюция социально-политических взглядов Белинского. Вал. Майков и Вл. Милютин.

Глава III. М. В. Петрашевский и его кружок.

Глава IV. А. Гакстгаузен и значение его книги о путешествии по России.

Глава V. А. И. Герцен.

Глава VI. Н. Г. Чернышевский.

Глава VII. Умственное движение шестидесятых годов. Позиция „Колокола“. Прокламации: „К молодому поколению“, „Молодая Россия“, Листки „Великорусса“. Общество „Земля и Воля“. Д. Каракозов и кружок „Ад“. С. Г. Нечаев и его общество „Народной Расправы“.

Глава VIII. Разработка идеи о рабочих ассоциациях в произведениях Чернышевского. Книга А. Корсака „О формах промышленности и о значении домашнего производства в Западной Европе и России“. В. В. Берви (Н. Флеровский).

Глава IX. М. А. Бакунин.

Глава X. П. Л. Лавров. „Вперед“. Русская секция Интернационала „Народное Дело“.

Глава XI. Движение в народ. П. Н. Ткачев и его „Набат“. Общество „Земля и Воля“. „Черный Передел“. „Народная Воля“. „Северный союз русских рабочих“.

Глава XII. Н. К. Михайловский. В. В. (В. Воронцов). Николай—он. Прогноз о судьбах капитализма в России. Письмо К. Маркса к Михайловскому. Дальнейшая эволюция взглядов Маркса и Энгельса по вопросу о ходе экономического развития в России.

Глава XIII. Зарождение марксизма. Группа „Освобождение Труда“. Г. В. Плеханов. Его „Социализм и политическая борьба“ и „Наши разногласия“. Проект программы русских социал-демократов.

БЫЛОЕ

№ 24

1924

Ленинградский Гублит № 469.

Напечатано 5000 экз.

Гос. уч.-практ. школа-типография имени тов. Алексева. Ленинград. Красная, 1.

В. И. Ленин и социал-демократическое движение.

(По личным воспоминаниям).

Я встретился с т. Лениным впервые на одном рабочем собрании. Это было около тридцати лет тому назад. Это было время, когда рабочее движение в России шло еще чисто стихийно и когда только еще начали складываться первые рабочие организации, объединявшие очень незначительное число преимущественно молодых рабочих, стремившихся к сознательной жизни и деятельности.

Это было время, когда среди рабочей молодежи только что еще начиналось то общественное движение, которое во многих отношениях напоминало собой движение интеллигенции шестидесятых годов. Это было время, когда злейшие годы реакции восьмидесятых годов уже прошли. Народные бедствия начала девяностых годов, разорение разлагающейся старой русской деревни, страшный голод 1891—1892 года, сопровождавшийся взрывом холерной эпидемии, вновь оживили общественное движение, происходившее в образованных классах русского общества. Одновременно ожило и прекратившееся как будто на время революционное движение. Ожили старые надежды народников-революционеров на общественное преобразование России с помощью сохранившейся от окончательного своего разложения крестьянской общины. Среди интеллигенции вновь начала проявляться тяга в народ, чему не мало продолжали способствовать широко распространившиеся идеи Толстого, его призыв к опрощению жизни.

Но все это было лишь той обстановкой, среди которой принуждено было развиваться движение, начавшееся среди русских рабочих в больших промышленных центрах, из которых главнейшим был, разумеется, Петербург.

Как это было и раньше, еще в семидесятые годы, в момент проявления сознательного движения среди петербургских рабочих движение это стремилось идти самостоятельно, а не по указке народнической революционной интеллигенции.

В семидесятые годы это движение проявилось в Петербурге в виде организации Халтуриним „Северно-Русского рабочего союза“ и попытки сновать первую рабочую газету. В девьностых годах это движение проявилось сперва в основании различных рабочих организаций, а потом и в осуществлении заветной мысли Халтуряина, в основании первой, настоящей рабочей газеты, какою была „Рабочая Мысль“.

В то время, о котором я буду сейчас говорить, сознательное рабочее движение еще ограничивалось узкими рамками сравнительно немногочисленных рабочих кружков, которые возникали в различных рабочих районах и стремились к объединению своей деятельности. Петербургские кружковые рабочие впервые заявили о себе открыто и самостоятельно сперва подачей адреса больному писателю Н. В. Шелгунову, а потом демонстрацией на его похоронах. Н. В. Шелгунов был близок рабочим, как писатель особенно живо интересовавшийся рабочим вопросом и защищавший интересы рабочего класса. В то время таких писателей в России было не много, хотя Н. Г. Чернышевский еще в шестидесятых годах выступил как первый русский обоснователь общественной теории трудящихся и указывал, что освобождение рабочего класса обуславливается необходимостью „самого развития производительных процессов“. Первые рабочие кружки, как это известно, были основаны учениками и последователями Чернышевского. Но в описываемое время от этих кружков не осталось даже и воспоминаний. Была позабыта и „теория трудящихся“, обоснованная Чернышевским, и слова Н. В. Шелгунова казались его читателям новыми словами.

Крупным событием было выступление кружковых рабочих с речами 1-го мая 1891 года. Эти речи были призывом к сознательной жизни и к борьбе за освобождение рабочего класса. Они облетели в свое время всю Россию и не мало способствовали пробуждению в рабочих классового самосознания. В описываемый момент рабочая молодежь в таких крупных и передовых промышленных центрах, как Петербург, переживала в своей жизни нечто подобное тому, что переживала интеллигентная молодежь образованных классов в шестидесятых годах. Это действительно был момент ее пробуждения к сознательной общественной жизни. Это было начало подъема рабочих масс. Прежде всего это было мощное умственное движение и раскрепощение личности молодого рабочего, искавшего поддержки своим лучшим стремлениям в других.

И эту поддержку молодые рабочие находили в той части революционно настроенной учащейся молодежи, которая искала выхода в культурной деятельности и революционной борьбе. Это была та часть учащейся молодежи, которая искала новых путей и чутко прислушивалась к новым словам, с которыми к ней обращались те, кто, разуверившись в правильности прежних направлений русской общественной мысли, звали молодых русских общественных деятелей под революционное знамя научного социализма, марксизма и социал-демократии.

Во главе этого нового общественного движения шла, как известно, группа „Освобождение Труда“, руководимая Г. В. Плехановым, который в начале

девяностых годов приобретал постепенно все большее и большее влияние среди некоторой части русской учащейся молодежи. Его первые крупные произведения, „Социализм и политическая борьба“ и „Наши разногласия“, проливали совершенно новый свет на русскую действительность и порождали новую веру в то, что возобновившееся революционное движение, захватывавшее собой рабочую молодежь, не останется на этот раз без надежд на окончательную победу.

Правда, новое течение русской общественной мысли прокладывало себе путь с громадным трудом через те препятствия, которые стояли на его дороге, поскольку дело шло о распространении новых освободительных идей в более широком кругу учащейся молодежи и передовых слоях русского общества. Молодые рабочие гораздо легче воспринимали эти идеи, чем интеллигенция, долго не бывшая в состоянии освободиться от господства прежних народнических идей и надежд, оказавшихся несостоятельными, но продолжавшими все же господствовать над умами признанных руководителей революционной русской интеллигенции.

И сам впервые услышал о марксизме, лишь кончил гимназию. Это было в 1889 году. Но в это время имя Маркса не имело среди русской учащейся молодежи ничего притягательного. Не помню я, чтобы оно пользовалось популярностью и среди студенчества Петербургского университета, куда я поступил в 1890 году. В военно-медицинской академии, в которую я перешел в 1892 году из университета, среди революционно настроенной части студенчества тоже господствовали прежние народнические идеи, и наш студенческий кружок был первым воспринявшим марксистские идеи, и наш курс был первым курсом, передовая часть студентов которого уже шла под марксистским знаменем, ведя за собою последующие курсы студенческой молодежи академии.

В это время Владимир Ильич Ульянов жил в Самаре и был деятельным членом первой самарской группы марксистов. Осенью 1893 года он переехал в Петербург, где он скоро вступил в кружок пропаганды среди рабочих социал-демократических, марксистских идей. Я мало знаю об этом кружке, равно как и о жизни Владимира Ильича в это время. Социал-демократическое движение среди молодежи описываемого времени развивалось очень разрозненно. Пропаганда среди рабочих носила кустарный характер. Правда, образовывались целые группы для пропаганды среди рабочих. Но нередко шли в рабочую среду и одиночки, выходившие из социал-демократических кружков учащейся молодежи.

Подобной одиночкой был долгое время и пишущий эти строки. Я был усердным членом социал-демократического студенческого кружка, пока не завязал связей с рабочими, пока я, как и другие члены нашего кружка, лишь мечтали о работе среди рабочих. Но как только я получил возможность начать ее, я стал появляться в своем студенческом кружке реже и реже, по мере того как учащались мои посещения кружка рабочих, который я получил зимой 1893 — 1894 года. В это время я с Владимиром Ильичем еще не

был знаком и даже ничего не знал про его существование. Владимир Ильич, повидимому, вошел в рабочую среду несколько позже и с несколько иными целями, чем я. Я шел к рабочим с целью лишь помогать им в их стремлениях к самоосвобождению. Владимир Ильич, как некоторые факты позволяют это думать, сразу же поставил перед собой цель: руководить рабочим движением. Недаром социал-демократический пропагандистский кружок, в который вступил Владимир Ильич по своем приезде в Петербург, носил название „Центральная группа для руководства рабочим движением“.

И не знаю в точности, когда он вошел в среду петербургских рабочих. На общих собраниях представителей рабочих кружков различных районов Петербурга, на которых я бывал в 1894 году, я его не видал. Повидимому „Центральная группа для руководства рабочим движением“, в которую вступил Владимир Ильич в 1894 году, создавалась несколько позже, чем происходили те объединенные собрания представителей рабочих кружков и действовавших в различных районах революционных групп, на общих собраниях которых я бывал. Собрания, о которых я говорю, происходили в начале 1894 года, еще до марта месяца этого года, когда были арестованы многие из их участников. На этих собраниях, на которых я видел большинство из наиболее видных участников петербургского рабочего движения того времени, Владимира Ильича я еще не видал.

Владимир Ильич сразу же выступил как руководитель социал-демократического движения и среди учащейся молодежи и среди кружковых рабочих. В первой среде он выступил как писатель Плехановской школы, выступая, подобно Плеханову, на борьбу с наиболее крупными представителями прежних направлений русской общественной мысли. Его первый литературный труд „Кто такие друзья народа и как они воюют с социал-демократами“, представляющий собой самую решительную критику основных положений народников и защиту социал-демократических марксистских идей, является литературным произведением, аналогичным „Нашим разногласиям“ Г. В. Плеханова. Владимир Ильич, очевидно, поставил себе ту же цель, что и Плеханов. Но условия его деятельности были более благоприятны, благодаря тому, что он находился в России, был непосредственно и самым тесным образом связан с рабочими и скоро действительно стал руководителем рабочего движения в Петербурге. Заграничная деятельность Г. В. Плеханова и распространение социал-демократической литературы группы „Освобождение Труда“ в России тоже в очень сильной степени облегчали деятельность Владимира Ильича. К тому он имел многих друзей и союзников, шедших с ним заодно или попутно. Из числа первых можно назвать целый ряд лиц из среды учащейся молодежи, которые потом стали видными деятелями рабочего движения и представителями марксистских идей в русской литературе, каким, напр., был А. Н. Потресов; из вторых можно назвать близкого Потресову П. Б. Струве. Книга последнего „Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России“ сослужила в свое время большую службу распространению марксизма в легальной русской литературе. Она имела особый литературный успех и

большое распространение, возбуждая по поводу себя много толков. По поводу этой книги, обратившей на себя всеобщее внимание среди учащейся молодежи, читались рефераты, один из которых принадлежал Владимиру Ильичу. Здесь в высшей степени интересно отметить то название, которое дал он своему реферату по поводу этой книги Струве. Владимир Ильич назвал свой реферат словами „Отражение марксизма в буржуазной литературе“. Он как бы предвидел, что увлечение П. Б. Струве марксизмом и рабочим движением было временным увлечением одного из будущих крупных представителей либерального лагеря.

Про рабочий кружок Владимира Ильича в „Гавани“ я не могу ничего рассказать, равно как и про „Центральный рабочий кружок“, организованный Владимиром Ильичем сообща со Старковым и Запорожцем. Повидимому, и эти кружки возникли уже после весенних арестов 1894 года, когда была разгромлена действовавшая до этого времени среди рабочих группа народovolьцев, организовавшаяся вокруг Александрова (Ольминского), и были арестованы многие из видных рабочих, принимавших деятельное участие на вышеупомянутых общих собраниях представителей кружковых рабочих различных районов.

В это время я вел занятия среди кружковых рабочих Невской заставы. Рабочий кружок, с которым я занимался, был организован пожилым рабочим Фунтиковым (Афанасьевым), который, впрочем, скоро был арестован, во время только-что упомянутых весенних арестов 1894 года. В этот рабочий кружок первоначально входили рабочие Иван Васильевич Бабушкин, Никита Меркулов, Илья Костин и еще двое молодых рабочих, имена которых я не помню. В этот кружок иногда заходил П. Морозов, рабочий близкий Фунтикову, а также и Василий Андреевич Шелгунов, с которыми я был близко знаком, в особенности с последним, который иногда заходил ко мне. В. А. Шелгунов работал на нескольких механических петербургских заводах в различных рабочих районах, переходил с завода на завод, с Путиловского на Балтийский, с Балтийского на механический завод за Невской заставой. Он имел много связей с рабочими и с интеллигенцией. Он давно уже участвовал в рабочем движении, в кружковой работе. Он был деятельным членом объединенных собраний представителей кружковых рабочих различных рабочих районов. Поселясь за Невской заставой, он стал во главе местного движения. Он служил и связующим звеном кружковых рабочих этого района с рабочими других районов. И. В. Бабушкин нередко называл Шелгунова „нашим главарем“.

Летом 1894 года я уезжал за границу и вернувшись в Петербург осенью, нашел не мало перемен. Народovolьцы, можно сказать, уже почти совсем исчезли из рабочей среды. Группы, действовавшие среди рабочих, были почти исключительно социал-демократические. Из них наиболее крупной была группа, организовавшаяся вокруг Владимира Ильича. Она получила впоследствии название группы „литераторов“, так как Владимир Ильич был известен как литератор; литератором был и А. Н. Потресов, вошедший современем

в состав этой группы. В эту группу вошли А. А. Ванеев, Запорожец, С. И. Родченко, П. М. Кржижановский, В. В. Старков, Красин, М. А. Сильвин, Ю. О. Цедербаум и некоторые другие лица. Она получила название и группы „старых социал-демократов“ в отличие от группы „молодых“ или „технологов“, организовавшихся вокруг В. И. Чернышева. Через В. А. Шелгунова и Степана Ивановича Родченко, с которым был знаком Шелгунов, группа Владимира Ильича завязала связи с рабочими Невской заставы. И сам Владимир Ильич принял участие в кружковых занятиях с рабочими этого района, пользуясь особым успехом, благодаря своим знаниям и своему умению вести дело. Об этом мне рассказывал И. В. Бабушкин, не называя ни имени, ни фамилии Владимира Ильича. Быть может, он и сам их не знал, так как Владимир Ильич, конечно, ходил к рабочим под вымышленным именем, под особую кличкой, как это делали все интеллигенты, занимавшиеся в рабочих кружках.

Среди кружковых рабочих Невской заставы он был известен под названием „лысого“, к которому они чувствовали большое почтение за его мастерское выяснение различных вопросов, связанных с положением рабочего класса и с отношениями труда и капитала. В это время я еще не знал, что этот „лысый“ интеллигент был не кто иной, как Владимир Ильич. Я стоял в стороне и от его группы и от группы Чернышева, работал долгое время как интеллигент-одиночка в рабочей среде, ограничивался исключительно связями с рабочими, отойдя от своего студенческого кружка. Только в 1895 году ко мне присоединились еще два товарища по академии, которых я ввел в рабочую среду. Через И. В. Бабушкина они получили кружки для занятий.

С Владимиром Ильичем, как уже я упомянул в самом начале настоящей статьи, я познакомился лишь зимой 1895 года, на рабочем собрании представителей различных рабочих районов и групп. Это было, насколько помню, в самых первых числах ноября 1895 года.

Это собрание имело в высшей степени важное значение. Оно было создано в момент окончательного перехода социал-демократических групп от кропотливой кружковой работы к тактике массовой агитации на почве борьбы рабочих за улучшение своего положения, за лучшие условия труда. Целый ряд стачек, удачно проведенных в предшествующем году при содействии рабочих, примыкавших к социал-демократическим организациям, показал, что тактика агитации среди рабочих масс на почве борьбы рабочих со своими хозяевами и администрацией может быть весьма плодотворной, если она будет вестись более организованным образом, и что социал-демократы, вмешавшись в эту борьбу, смогут приобрести в массах большое влияние и даже руководить их движением посредством распространения воззваний, формулирующих требования рабочих. На переходе к этой тактике массовой агитации особенно настаивала группа старых социал-демократов, во главе которой стоял Владимир Ильич, предложивший вскоре основание „Петербургскому Союзу Борьбы за Освобождение Рабочего Класа“. Были и другие вопросы, которые



В. И. Ульянов (Н. Ленин).
С портрета работ И. Бродского.

были непосредственно связаны с этой тактикой массовой агитации. Необходимо было выяснить положение дел на различных заводах и фабриках в различных рабочих районах Петербурга. Необходимо было выяснить условия агитации, учесть пригодные для этого силы, подумать о воссоздании объединенной кассы рабочих различных районов, подобной той объединенной кассе кружковых рабочих, которая существовала до весенних арестов 1894 года. И со всем этим необходимо было спешить, потому что на многих заводах и фабриках происходило глухое брожение, происходившее на почве в высшей степени неудовлетворительных условий труда и отношений администрации. Как раз в этот момент происходило большое волнение среди рабочих и работниц фабрики Торнтон за Невской заставой, где условия труда и злоупотребления фабричной администрацией особенно губительно отражались на рабочих, вызывая в них сильное недовольство и возмущение.

Упомянутое собрание происходило за Невской заставой. На нем присутствовали наиболее видные организованные рабочие этого района. Был В. А. Шелгунов, И. В. Бабушкин, И. Меркулов. Были и два ткача в качестве представителей рабочих фабрики Торнтон. Были представители и от других рабочих районов. Из числа их я помню молодого и в высшей степени деятельного рабочего Зиновьева с Путиловского завода. Зиновьев вместе с другим рабочим того же завода, Карамышевым, был представителем Нарвского района. Были представители и различных социал-демократических групп, действовавших в то время среди рабочих. Из их среды особенно выдвигался Владимир Ильич. Он сразу же занял на этом собрании руководящую роль, очутившись как бы в положении действительного председателя, которого на этом собрании избрано не было. Он предложил раньше всего выяснить положение дел в различных районах путем опроса их присутствующих представителей. Владимир Ильич мастерски ставил вопросы и очень умело получал нужные ему ответы от вопрошаемых. Увидя его, я сразу понял, что это и был тот самый, о котором с таким восхищением говорил мне еще задолго до этого времени И. В. Бабушкин. .

Выяснение дела показало возможность повсеместного перехода к тактике массовой агитации. По предложению Владимира Ильича этот вопрос был решен положительно. После решения этого вопроса, по предложению Владимира Ильича, было приступлено к выяснению положения дел на фабрике Торнтон. И в данном случае Владимир Ильич показал свое умение делать дело. Он видел перед собой торнтоновских ткачей, конечно, впервые, но допрашивал их так, как будто был прекрасно знаком с их положением. Он в высшей степени умело ставил вопросы, выясняя условия, при которых им приходится работать, и обнаруживая все хитрости фабричной администрации, очень ловко обходящей рабочих. Получаемые ответы, те, которые ему были особенно нужны, он немедленно же заносил карандашом на лежащий перед ним на столе листочек бумаги. Он, очевидно, собирал материал для составления воззвания рабочим и работницам фабрики Торнтон.

По вопросу об организации объединенной рабочей кассы голоса разделились. Владимир Ильич предложил не устраивать самостоятельной рабочей кассы, а передавать собираемые рабочими деньги в центральную социал-демократическую кассу, которую можно было устроить при его социал-демократической группе. Другие из присутствовавших на собрании отстаивали идею самостоятельной рабочей кассы. Вопрос об организации кассы не был решен окончательно на этом собрании.

Листки с изложением положения рабочих на фабрике Торнтона, заключавшие в себе и определенные требования рабочих, были изданы группой Владимира Ильича. Разбросанные по различным фабричным корпусам, мастерским и казармам при посредстве знакомых рабочих, эти листки произвели на массу торнтоновских рабочих необыкновенное, в высшей степени сильное впечатление и привели к забастовке. Пятого ноября на фабрике Торнтона забастовало пятьсот ткачей. Фабричный инспектор, прибывший на фабрику в тот же день, пытался „образумить“ рабочих и убедить их немедленно же снова стать на работу. Но влияние воззваний, изданных группой Владимира Ильича, действовало гораздо сильнее речей фабричного инспектора. И это было совершенно понятно, потому что эти воззвания заключали в себе требования самих рабочих, возмущенных хозяйскою эксплуатацией. Рабочие стояли на своем. Три дня бастовали рабочие фабрики Торнтон, не поддаваясь на уговаривания фабричного инспектора и фабричной администрации. Три дня продолжались переговоры, и только после того как рабочим была сделана фабричною администрацией некоторая уступка, они 8-го ноября снова стали на работу. Эта забастовка и распространение среди рабочих листков не обошлись, конечно, без жертв. Среди рабочих было арестовано несколько человек, которых, впрочем, скоро выпустили за отсутствием улик для их обвинения в качестве „подстрекателей“.

В это время группой старых социал-демократов было издано новое воззвание к рабочим и работницам фабрики Торнтон. Если не ошибаюсь, оно было написано самим Владимиром Ильичем. Оно приведено мною на страницах моего „черка петербургского рабочего движения девяностых годов“ и содержит в себе те данные, которые были добыты Владимиром Ильичем путем опроса торнтоновских рабочих. Это воззвание было выпущено группой Владимира Ильича около 10-го ноября 1895 года, и в это же самое время, 10-го ноября, произошел так называемый „бунт“ папиросниц фабрики Лаферма, возмущенных хищническою браковкой выработанного товара, непосильными штрафами, низкою заработной платой и грубым обращением фабричной администрации. Через три дня после этого события началась забастовка на фабрике „Товарищества механического производства обуви“. Во время всех этих событий шла массовая агитация среди рабочих, главным руководителем которой была группа старых социал-демократов, руководимая Владимиром Ильичем. Выпускаемые ею воззвания производили на рабочих магическое действие. Окончательный переход к агитации в массах был таким образом совершен. Впереди виднелись самые блестящие перспективы

для дальнейшего развития массового рабочего движения. Под руководством Владимира Ильича его группа предполагала скоро начать выпускать и рабочую газету, которой было дано уже и соответствующее название „Рабочее Дело“. Первый номер ее был уже совершенно подготовлен к печати. Но петербургское жандармское управление и департамент тайной полиции не дремали и работали в свою очередь, пользуясь провокаторами, действовавшими не только среди рабочих масс, но и среди революционных организаций. В ночь на девятое декабря 1895 года в Петербурге были произведены массовые обыски и аресты как среди рабочих, так и среди интеллигентов. Эти аресты распространились почти на все действовавшие в это время социал-демократические группы. Только одна из них успела временно уцелеть, да и та была разгромлена во время скоро последовавших дополнительных арестов. Группа Владимира Ильича была разгромлена 9-го декабря, когда был арестован он сам и наиболее видные из его товарищей. Тогда же были арестованы и наиболее видные из рабочих социал-демократов: В. А. Шелгунов, И. В. Бабушкин, Н. Меркулов, Зиновьев и другие.

Однако, состав организации, руководимой Владимиром Ильичем, был таков, что ее было трудно уничтожить одним ударом. К тому же не все деятельные участники группы были арестованы в ночь на 9-ое декабря. Некоторые, как например М. А. Сильвин, остались на свободе и не только продолжали действовать, но решились показать, что страшный удар, нанесенный жандармами социал-демократическому движению, не попал в настоящую цель и что социал-демократическая организация, которую жандармы пытались „ликвидировать“, несмотря на аресты, не только жива и продолжает действовать, но даже выросла в целый рабочий союз. После арестов 9-го декабря оставшиеся на свободе члены группы Владимира Ильича и примыкавшие к ней лица собрались с целью обсуждения создавшегося положения дел и решили самым энергичным образом продолжать деятельность группы. Аполлинария Александровна Якубова, бывшая на этом собрании, рассказывала мне о нем довольно подробно. Собравшиеся на совещание поставили перед собой двойную задачу: во-первых, показать, что действовавшая группа Владимира Ильича уцелела от арестов, как будто они ее совсем не коснулись, и во-вторых — что арестованные лица, а в их числе и Владимир Ильич, не причастны к той массовой агитации, которая происходила за последнее время посредством распространения безымянных воззваний. Было решено немедленно же выпустить и распространить в рабочих массах и в обществе новое воззвание, обращенное к товарищам и рабочим, и выпустить его на этот раз не безымянно, как это делалось раньше группой Владимира Ильича, а от имени особой революционной рабочей организации. Аполлинария Александровна Якубова рассказывала мне, что участники сказанного совещания долго не могли придумать соответствующее название. Ни одно из названий, предлагавшихся тем или другим из участников собрания, не удовлетворяло почему-либо других. Одно из этих названий, предложенное по словам Аполлинарии Александровны М. А. Сильвинным, вполне соответствовало своему назначению,

но казалось другим слишком длинным. Это название было „Союз Борьбы за Освобождение Рабочего Класа“. В конце концов за наименее более подходящего участника совещания согласились назвать так свою группу и выпустить свое воззвание от имени Союза Борьбы за Освобождение Рабочего Класа. Это воззвание, выпущенное 15 декабря 1895 года, т.-е. через шесть дней после ареста Владимира Ильича и других видных членов группы, объявляло о том, что и все ранее изданные воззвания принадлежали Союзу Борьбы, который извещал настоящим воззванием о своем существовании. Так из группы Владимира Ильича, после его ареста, возник Союз Борьбы за Освобождение Рабочего Класа—организация, которая с полным правом может считать Владимира Ильича своим действительным основателем, так как Союз Борьбы был связан с ним, если не своим именем, то во всяком случае направлением своей деятельности.

Эта связь не порвалась даже и после заключения Владимира Ильича в тюрьму. Через лиц, приходивших к нему на свидание, Владимир Ильич получал сведения о положении дел в Союзе, о его деятельности и планах, равно как и о дальнейшем ходе рабочего движения в Петербурге. И через тех же близких ему лиц Владимир Ильич передавал в Союз свои пожелания, пересылал написанные им в тюрьме воззвания и даже целые брошюры, какова например брошюра „О стачках“ и „Проект программы русских социал-демократов“—рукопись, представлявшая собой довольно объемистую тетрадь. Эту рукопись во время ее переписки я видел в архиве Союза. Она переписывалась сестрой Любови Николаевны Радченко и ее подругой, которых я перед своим отъездом за границу в 1896 году попросил снять для меня копию. Сама рукопись погибла во время одного из обысков, во время которого был захвачен архив Союза Борьбы. Копия ее долго хранилась у меня за границей. Впоследствии, при возвращении в Россию я отдал эту копию рукописи Владимира Ильича вместе с некоторыми сохранившимися у меня остатками архивов Союза Борьбы и „Рабочей Мысли“ на хранение моим лондонским друзьям, которые долгое время бережно хранили эти вещи вплоть до взрыва дома, в котором жили мои друзья, бомбой, брошенной с немецкого цепелина во время мировой войны. Полуразрушенный дом был спешно покинут моими друзьями, и я до сих пор не знаю, возможно ли как-нибудь отыскать остатки сказанных архивов, среди материалов которых был и проект Владимира Ильича программы русских социал-демократов.

Владимир Ильич стремился помогать своим товарищам, чем мог, и из тюрьмы, продолжая жить общим с ними делом. Все знают, какую напряженную умственную жизнь вел он в тюрьме и как деятельно работал он, находясь в ней, над разъяснением самых различных вопросов, тесно связанных с переживаемой русской действительностью, в особенности с развивавшимся движением.

После ареста Владимира Ильича я долгое время его не видел. Он был выпущен вместе с другими участниками его группы на несколько дней на свободу перед отправкой его в ссылку в Сибирь. Само собой разумеется,

что выход Владимира Ильича и его товарищей из тюрьмы был настоящим праздником для его друзей, остававшихся на свободе. Радость их свидания была чрезвычайна. Когда они собрались вместе, то сейчас же начался самый оживленный обмен мыслей и впечатлений, касавшихся переживаемой действительности и главным образом вопросов, связанных с дальнейшим развитием движения. Я сам не присутствовал на этом собрании, так как незадолго до него, во время окончания второй январской массовой стачки петербургских ткачей и прядильщиков 1897 года, принужден был уехать за границу, так как узнал, что подписан приказ о моем вторичном аресте, а мне не хотелось отдавать свои лучшие годы тюрьме и ссылке. Я предпочел провести их за границей с целью изучения общественной жизни. К тому же надо сказать, что я не принадлежал к группе Владимира Ильича, хотя мне и пришлось принять самое деятельное участие в восстановлении Союза Борьбы и даже в руководстве им, после летних арестов 1896 года. Но Аполлинария Александровна, бывшая самым деятельным членом Союза с самого его основания вплоть до ее ареста в марте 1897 года, с которой Владимир Ильич был очень близок, как и Надежда Константиновна Крупская, бывшая подругой Аполлинарии Александровны, участвовала в этом свидании Владимира Ильича со своими друзьями. Она рассказывала мне, что на собрании устроенном по поводу освобождения Владимира Ильича и других членов его группы, происходило обсуждение и тех организационных вопросов, которые в это время особенно волновали членов Союза. По этому поводу еще задолго до моего отъезда за границу между руководителями Союза начали возникать разногласия, которые касались главным образом вопроса о допущении рабочих к непосредственному участию в центральной, руководящей группе Союза. Часть руководителей Союза этого времени (пишущий эти строки, Аполлинария Александровна Якубова и В. Н. Катин-Ярцев) самым решительным образом отстаивали необходимость немедленного же введения подходящих для этого рабочих в центральную группу. Другие, как напр. Б. Гольдман, решительно противились этому, приводя довольно странные, по нашему мнению, против этого доводы. Они говорили, что введение рабочих в руководящую центральную группу Союза может лишить „нас“, т.-е. интеллигентов, руководящей роли в движении. Третьи, как Степан Иванович Радченко, наиболее старый член Союза Борьбы и группы Владимира Ильича, начавший участвовать в рабочем движении почти одновременно со мной, знавший лично очень хорошо В. А. Шелгунова и других наиболее старых участников движения, принципиально ничего не возражали против введения подходящих рабочих в центральную группу, но настаивали на том, что с этим надо почему-то повременить: повидимому, и они были против. Повидимому, они боялись того, что введение рабочих в центральную группу Союза приведет к изменению ее состава в нежелательном для них направлении, усилит противоположную сторону и, быть может, приведет даже к реорганизации Союза. Мысль о том, что рабочие, войдя в центральную группу Союза, лишат нас интеллигентов руководящей роли в движении, казалась нам совершенно несостоятельной, и

Аполлинария Александровна весьма убедительно, как казалось и мне, по этому поводу говорила, что, если „мы“ таковы, что введение рабочих в центр Союза лишит нас руководящей роли и Союзом начнут заправлять сами рабочие, то вряд ли это будет плохо для рабочего дела, которое должно быть делом самих рабочих.

Этот спорный вопрос, волновавший, как я сказал, очень сильно в это время наиболее деятельных членов Союза, был поднят и на собрании, происходившем по поводу освобождения Владимира Ильича и его друзей из тюрьмы. На этом собрании тоже мнения разделились, и Аполлинария Александровна осталась в меньшинстве. Она, подобно мне и некоторым другим товарищам, держалась мнения, что Союз Борьбы должен обслуживать рабочее движение, помогая ему всеми силами, но не стремясь непременно им руководить. Владимир Ильич, наоборот, именно в руководстве рабочим движением и видел главную цель Союза Борьбы. В этом отношении он, как всегда, был, конечно, вполне последователен и держался того раз навсегда принятого направления, с которым он вошел в первый социал-демократический кружок, основанный „для руководства рабочим движением“. Большинство собравшихся, конечно, самым решительным образом стало на сторону Владимира Ильича. Однако, все же Аполлинарии Александровне с помощью В. И. Катина-Ярцева удалось добиться решения ввести в центральную группу Союза двух рабочих, Соловьева и Зава. К сожалению, это случилось как раз перед новым разгромом Союза Борьбы в марте 1897 года, когда были арестованы все сторонники введения рабочих в центр Союза, а также и введенные в него рабочие.

Владимир Ильич считал необходимым скорейшее объединение действовавших в России социал-демократических организаций, и одна из первых попыток в этом отношении была сделана в марте 1897 года, когда в Киев съехались делегаты от Петербургского Союза Борьбы и Московского социал-демократического Союза. Летом того же года в Швейцарии происходило подобное же совещание Группы Освобождения Труда с представителями некоторых социал-демократических организаций, действовавших в России. Это было проявлением первых стремлений к объединению их в единую социал-демократическую партию, о чем так мечтал Владимир Ильич. Но многие обстоятельства мешали действительному осуществлению этой мысли. Среди русских социал-демократов уже начинали происходить разногласия по различным организационным, тактическим и даже программным вопросам. В данном случае разногласия, проявившиеся среди членов Петербургского Союза Борьбы по вопросу о вхождении рабочих в его центральную группу, были далеко не единственным и исключительным явлением этого рода. Рабочие далеко не во всех отношениях были удовлетворены отношением к ним интеллигентов, игравших руководящую роль в социал-демократических организациях. В Петербурге на этой почве в том же 1897 году возникла особая группа, провозглашавшая рабочее дело делом самих рабочих и призывавшая рабочих к самостоятельности и к самостоятельной организации. Это была группа рабочих и интеллигентов, осуществивших, наконец, заветную мысль Степана Халтурина

и основавших настоящую рабочую газету, руководителями и главнейшими сотрудниками которой были сами рабочие. Эта рабочая газета была „Рабочая Мысль“, первый номер которой появился в октябре 1897 года.

Я принял участие в „Рабочей Мысли“ лишь после того, как ее печатание было перенесено за границу. Ее направление не соответствовало господствовавшему направлению русского социал-демократического движения того времени. Оно было классовым, но в значительной степени ограничивалось сильным уклоном в сторону рабочего профессионализма и борьбы рабочих за улучшение своего экономического положения, почему и получило название „экономизма“ или „экономического направления“.

Широкое распространение „Рабочей Мысли“ и то сочувствие, которое она встретила по отношению к себе среди рабочих, не только в Петербурге, но и во всех других рабочих центрах, куда только проникали ее номера, несомненно очень сильно повлияло на направление действовавших в это время в России социал-демократических организаций, которые, по примеру петербургской, повсюду принимали название Союзов Борьбы, а с основанием Российской Социал-демократической Партии, — название местных ее комитетов. В это время, несмотря на основание партии, которое было скорее декларативным, чем фактическим, социал-демократические организации возникали в разных местах совершенно самостоятельно и долгое время шли вразброд. Самое образование партии было делом нескольких интеллигентов, игравших руководящую роль в петербургской, киевской и московской организациях, а также в так называемом „Бунде“ (Всеобщем еврейском рабочем союзе). Образование ее произошло без ведома не только рабочих, но даже и многих деятельных членов тех организаций, делегаты которых явились в 1898 году, на тот съезд в Минске, на котором было провозглашено основание партии, манифест которой был, как известно, написан П. Б. Струве, увлекавшимся в то время социал-демократическим движением.

Подобный способ образования партии возмутил в свое время многих рабочих и не способствовал осуществлению той цели, которую стремились достичь ее основатели. Провозглашение партии, образованной таким несоответствующим образом и существовавшей скорее на бумаге, чем в действительности, не способствовало объединению деятельности действовавших в это время в России социал-демократических организаций, но даже до некоторой степени дискредитировало самую идею. К тому, надо отметить еще, почти все участники Минского „партийного съезда“ были немедленно арестованы. Несмотря на всю их конспиративность, которая побудила их утаить задуманное ими дело от большинства своих товарищей, оно не утаилось от зорких глаз и тонких ушей жандармов и департамента полиции. Правительство, повидимому, было своевременно и хорошо осведомлено об образовании той Социал-демократической рабочей партии, об образовании которой рабочие узнали лишь из распространенного между ними по этому поводу только что упомянутого манифеста, написанного Струве. Одновременно была захвачена и типография Бунда, в которой печатался манифест партии и „Рабочая Газета“, объявля-

вшааяся в манифесте центральным органом партии, редактором которой был избран Владимир Ильич. Я думаю, что я нисколько не ошибусь, если назову его главным инициатором образования партии. Она была таким образом образована вскоре после выпуска его из тюрьмы. Его заветной идеей было объединение и руководство рабочим движением. С этой идеей, как я уже упоминал, он вступил в 1894 году в пропагандистский социал-демократический кружок, носивший громкое название „Центральной группы для руководства рабочим движением“. Владимир Ильич был весьма прямолинеен и всегда любил форсировать события. Для скорейшего объединения самостоятельно возникавших и обособленно действовавших социал-демократических организаций, по его мнению, необходимо было скорейшее образование партии. Создание партии было необходимо для руководства рабочим движением.

И это была как раз та идея, которую стремились осуществить „делегаты“ Петербурга, Киева, Москвы, Екатеринослава и „Бунда“, съехавшиеся на Минский съезд для образования партии. Но эта попытка форсированного образования партии, как известно, не достигла той цели, ради которой она была сделана, так как средства не соответствовали цели. Подобное образование партии не объединило деятельности даже тех организаций, от имени которых явились делегаты на съезд. Во всяком случае их деятельность не стала более объединенною, благодаря такому образованию партии. А то направление, которое проявилось в рабочем движении и получило название „экономизма“, само собою разумеется, тоже не способствовало дальнейшему развитию созданной таким способом партии. К тому же надо сказать, что среди русских социал-демократов и лиц, сочувствовавших развитию рабочего движения и социал-демократии в России, в это время существовало очень сильное различие во взглядах и происходила большая разногласица. Рядом с самоотверженными революционерами и революционно настроенными марксистами шли элементы и неревolutionные, склонные скорее к „легальной“ деятельности, допускаемой политическими условиями того времени. Наряду с POSSIBILITY существовали, конечно, и оппортунисты. В это время еще Владимир Ильич, А. Н. Потресов и П. Б. Струве, казалось, шли заодно. Но так называемое „Credo“ Е. Д. Кусковой и С. Н. Прокоповича, поддерживавших одно время Плеханова, показало глубокие различия во взглядах, которые разделяли участников социал-демократического движения и сочувствовавших рабочему движению лиц.

„Рабочую Мысль“ были неудовлетворены и Кускова, и Прокопович, и Струве, и Туган-Барановский, с которыми мне пришлось по этому поводу говорить. Еще более был недоволен ею Владимир Ильич, который, однако, мне думается, все же лучше к ней относился, чем большинство других менее сильных ее противников.

Во всяком случае, „Credo“ Кусковой казалось Владимиру Ильичу более опасным по своему направлению, чем „последовательный экономизм“ „Рабочей Мысли“, не даром, находясь в Сибири, Владимир Ильич написал свой „протест русских социал-демократов“ против этого „Credo“. Это знаменитое „Credo“

на самом деле, как говорила мне Е. Д. Кускова, было не что иное, как набросок спешно сформулированных ею мыслей в момент спора ее с другими лицами по поводу хода движения того времени, и не подлежало огласке. Но этот набросок попал в чужие руки и был использован как образчик особого направления, весьма опасного для русской социал-демократии. Ему было придано особенно важное значение, как настоящему „Credo“ или символу веры особого направления. Вот против этого-то „Credo“ и ополчился Владимир Ильич, протест которого, подписанный его товарищами в ссылке, и был переслан за границу группе „Освобождения Труда“ для напечатания.

„Протест“ вместе с „Credo“ попал в руки Плеханова, который воспользовался им как материалом для составления своего „Vademecum“ или „Спутника“, точнее — саркастически-едкого напутствия редакции „Рабочего Дела“ заграничного „Союза русских социалистов“, заблудившихся среди господствовавших разногласий между „экономистами“ и „сторонниками революционной социалдемократии“, вождем которой за границей выступил Г. В. Плеханов, а в России — Владимир Ильич. В данном случае они были естественными союзниками, которые действовали заодно и должны были идти вместе. Они оба были признанными вождями социал-демократического движения и одинаково стремились дать ему надлежащее направление и руководить рабочим движением.

Для этой цели Владимир Ильич, по окончании ссылки и после особого совещания со своими друзьями, состоявшегося во Пскове, на котором участвовали Ю. О. Цедербаум, (Л. Мартов), А. Н. Потресов, П. В. Струве и М. И. Туган-Барановский, уехал за границу с целью возобновления центрального органа партии, общерусской социал-демократической газеты. Ее было предположено издавать за границей при содействии Плехановской группы „Освобождение Труда“. Эта идея была скоро осуществлена. Новый партийный орган был, как известно, назван „Искрой“, которая начала издаваться в Мюнхене под совместной редакцией заграничных групп Владимира Ильича и Г. В. Плеханова, при деятельном участии в редакции кроме них А. Н. Потресова, Ю. О. Цедербаума, П. Б. Аксельрода и В. И. Засулич. В руках Владимира Ильича „Искра“ стала орудием идейного объединения русских социал-демократических организаций посредством борьбы и уничтожения противных „Искре“ направлений, расходящихся с революционным марксизмом. За границей и в самой России товарищами и друзьями Владимира Ильича были созданы организации „Искры“, и начата беспощадная борьба с „экономистами“ повелась с ожесточением. „Искра“ действовала сообща с группой „Освобождения Труда“, но сохраняя свою самостоятельность.

Как раз в это время, вскоре после приезда Владимира Ильича за границу, мне пришлось снова увидеться с ним по делу, касавшемуся редактирования „Рабочей Мысли“. Мы стояли на противоположных полюсах нашего движения и представляли собой совершенно различные его направления. Я в это время был представителем „Рабочей Мысли“ и самостоятельной рабочей организации. В качестве представителя Петербургской Рабочей Организации я участвовал на Международном Социалистическом Конгрессе,

созванном в Париже осенью 1900 года, где виделся с Плехановым и предлагал ему взять в свои руки редактирование „Рабочей Мысли“. В противоположность мнениям других я считал самой важной особенностью „Рабочей Мысли“ не ее экономизм, а стремление обеспечить самостоятельное развитие организованного рабочего движения, которое, по моему мнению, не могло уклониться от правильного пути в ходе своего неизбежного дальнейшего развития как классового движения. К тому же я видел, что Россия вступает в тот период борьбы с царским самодержавием, когда политическая борьба должна будет охватить все общественные слои, сознающие свое общественное положение. Мне казалось необходимым изменение прежнего направления „Рабочей Мысли“ в соответствующую сторону. И я хотел сделать попытку превратить ее в политический рабочий орган, для редактирования которого наиболее подходящим лицом мне казался Г. В. Плеханов. К моему предложению Плеханов отнесся сочувственно и, по видимому, был очень склонен его принять. Вера Ивановна Засулич, с которой я тоже говорил по этому поводу, встретила мое предложение не менее сочувственно, чем встретила она в свое время появление первых номеров „Рабочей Мысли“, как самостоятельного рабочего органа. Но Георгий Валентинович, связанный, как и вся Группа Освобождения Труда, соглашением с группой „Искры“, руководимой Владимиром Ильичем, не решился принять моего предложения, не переговорив предварительно с Владимиром Ильичем. Поняв, что все дело зависит от Владимира Ильича, я решил ехать к нему в Мюнхен, чтобы лично переговорить с ним по этому поводу. Я, конечно, не знал, как встретит он меня, которого он не без основания мог считать как одного из наиболее решительных своих противников.

Но он встретил меня очень хорошо, по-товарищески, и я имел возможность вполне выяснить его отношение к моему плану. Как я и предполагал, в противность Плеханову, он сразу же самым решительным образом отверг мой план. Он, очевидно, очень боялся, чтобы Плеханов в самом деле не выступил в качестве редактора „Рабочей Мысли“. Это несомненно очень осложнило бы борьбу, которую вел Владимир Ильич, и поставило бы „Искру“ в весьма затруднительное положение в России, так как „Рабочая Мысль“ пользовалась очень широким распространением среди рабочих и их сочувствием. Я понял вполне, что Владимир Ильич на своем месте и не мог иначе поступить, как помешать Плеханову принять мое предложение. Это он и сделал. Меня поразила та прямота и откровенность, с которой Владимир Ильич так решительно отверг мое предложение Плеханову, который, склонный принять мое предложение, не ответил мне ни „да“ ни „нет“. Прямодушный ответ Владимира Ильича был для меня, конечно, ударом. Но я был ему в высшей степени благодарен за его прямоту. Решительный отрицательный ответ Владимира Ильича сразу же сделал ясным полную неосуществимость моего плана и вместе с тем дал мне понять, что он в данный момент является вершителем судьбы российской социал-демократии. Прямота Владимира Ильича мне очень понравилась, и мы простились с ним по-товарищески, конечно,

совершенно не думая, что через некоторое время близко сойдемся друг с другом в Лондоне, куда я уехал. Приехав в Лондон, я обсудил положение дел сообща с Аполлинарией Александровной Якубовой и Н. А. Алексеевым, который был одним из деятелей первоначальной группы „Рабочей Мысли“ и в данный момент принимал вместе с нами участие в заграничной редакции „Рабочей Мысли“. Принимая во внимание появление в Петербурге рабочей организации, действовавшей сообща с Союзом Борьбы, мы решили окончательно передать все дело ведения „Рабочей Мысли“ и ее редактирование Петербургскому Союзу Борьбы, с которым в то время объединилась Петербургская рабочая организация. Сам я был поглощен в это время своей научной работой в библиотеке Британского Музея, в которой проводил все свои дни жизни в Лондоне, работая в области социологии, с чем давно уже очень плохо мирилось мое участие в редактировании „Рабочей Мысли“. Я был погружен в свою научную работу, когда Владимир Ильич в конце зимы 1903 года приехал в Лондон, с намерением перенести в Лондон и издание „Искры“.

Владимир Ильич приехал вместе с Надеждой Константиновной Крупской, которая была очень близка с Аполлинарией Александровной Якубовой. Они были подругами, обе примыкали к первоначальной группе Владимира Ильича, обе были ему близки. Поэтому было вполне естественно, что, приехав вместе с Надеждой Константиновной в Лондон, они остановились у нас, прося нас помочь им устроиться.

Мы жили около Британского Музея, в библиотеке которого намеревался заниматься и Владимир Ильич, прося меня помочь ему получить туда доступ. Я подыскал им недалеко от дома, в котором мы жили, небольшую комнату для первого времени, в которой первоначально и поселился Владимир Ильич вместе с Надеждой Константиновной под присвоенной им фамилией Рихтера, которую англичане немедленно перековеркали в „Ричтера“, читая sh не как русское х, а как ч.

Скоро я нашел для Владимира Ильича и Надежды Константиновны более удобное помещение в близком расстоянии от себя, в доме, расположенном в одном очень уютном и тихом месте, на Holford Square, где сдавались две комнаты, составлявшие этаж (flat) небольшого домика. Комнаты были меблированные, и так как Владимир Ильич не владел в это время английским языком в достаточной для практических надобностей мере, то я помог ему в переговорах с хозяином дома, а Аполлинария Александровна в обустройстве, необходимом для устройства квартиры. Достал я Владимиру Ильичу и необходимую рекомендацию для доступа в библиотеку Британского Музея, куда он начал ходить заниматься.

В это время мы виделись очень часто, живя близко и постоянно приходя друг к другу. Владимир Ильич обращался не раз по разным делам к моей помощи. Все это привело к нашему сближению и помогло мне лучше узнать его. Меня поражала сила и ясность его ума и его деловитость, не лишенная некоторого практицизма. Жил он по своему обыкновению, как всегда,

очень скромно, всегда занятый делом, всегда погруженный в свою революционную работу. Но когда он приходил к нам, обыкновенно вместе с Надеждой Константиновной, у нас всегда начиналась самая оживленная беседа, переходившая очень часто в горячие споры, во время которых мы естественно разделялись на два противных лагеря, один из которых олицетворялся Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной, а другой — мною и Аполлинарией Александровной. Споры касались как направления русского рабочего движения, так и иностранного, в особенности английского. Это был как раз момент, когда возникшая за два года перед описываемым моментом английская рабочая партия начинала развивать свою самостоятельную политическую деятельность. Владимир Ильич относился к ней с большим недоверием, считал английский трейд-юнионизм движением, стремящимся идти по буржуазному руслу. Я был совсем другого мнения на этот счет, и по этому поводу у нас тоже происходили горячие споры.

Стремясь поскорее устроить в Лондоне издание „Искры“, Владимир Ильич советовался со мной относительно практического осуществления этого дела, которое трудно было устроить без помощи английских социалистических организаций, из которых наиболее сильной была, конечно, „Независимая Рабочая Партия“. Эта организация была не только значительной по числу своих членов, но и пользовалась наибольшим влиянием среди рабочих масс. Она же играла наиболее крупную роль среди организаций, вошедших в состав английской рабочей партии, образовавшейся на почве объединения трейд-юнионов, местных рабочих советов (Trade-Councils), социалистических организаций рабочих и кооперативных обществ. Но Владимир Ильич не хотел обращаться за помощью к деятелям „Независимой Рабочей Партии“, которых он не считал настоящими социал-демократами и которые были далеки от марксизма. Он предпочел обратиться к руководителям английской „Социал-демократической Федерации“, во главе которой стояли марксисты Гайндман и Квелч. Нуждаясь при переговорах с Квелчем в переводчике, Владимир Ильич обратился к моей помощи и мы вместе отправились с ним в типографию „Justice“, органа английской „Социал-демократической Федерации“ для переговоров с Квелчем относительно печатания „Искры“ в типографии этой организации.

Из моих многочисленных лондонских разговоров с Владимиром Ильичем мне особенно памятен разговор, касавшийся некоторых мест его руководящей брошюры „Что делать“. Одно место ее особенно меня поразило. Именно в нем то и говорилось, что рабочее движение, предоставленное самому себе, естественно стремится идти по буржуазному руслу. С этим положением Владимира Ильича я никак не мог согласиться, и у нас по этому поводу произошел горячий спор. В доказательство правильности своего положения Владимир Ильич ссылался на направление английского трейд-юнионистского движения. Я же смотрел на английское профессиональное движение с иной точки зрения и вовсе не считал, что оно идет и стремится идти по буржуазному руслу, хотя окружающие условия буржуазного общества и влияли на

ход его развития. Я считал английское профессиональное движение все же известною формою организованного классового движения, совершающегося по частям. А в развитии английской политической рабочей партии видел развитие этого классового движения в целом. Но Владимир Ильич никак не мог согласиться с моей точкой зрения, так как английскому рабочему движению была чужда марксистская идеология, которую Владимир Ильич считал необходимым элементом каждого сознательного и должным образом организованного рабочего движения, как будто общественное сознание и социалистические идеи не могут развиваться в нем самостоятельно, а должны быть внесены в него извне.

Памятен мне также и разговор об оппортунизме и POSSИБИЛИЗМЕ, касавшийся главных различных течений во французском рабочем движении. Я делал различие между оппортунизмом и POSSИБИЛИЗМОМ, понимая под POSSИБИЛИЗМОМ стремление к временному ограничению движения теми его целями, которые достижимы при данных условиях, не забывая о его конечных целях, а оппортунизмом — приспособлению движения к существующему порядку без стремления к осуществлению конечных целей движения. Владимир Ильич не допускал возможности делать такое различие и с удивлением спрашивал меня, восклицая: „Как, неужели вы считаете возможным делать различие между POSSИБИЛИЗМОМ и оппортунизмом?“. Он был поражен, услышав от меня утвердительный ответ на свой вопрос. Это показало мне степень его прямолинейности.

В другой раз у меня произошел с ним разговор по поводу Струве, которого он называл изменником, ренегатом и новым Тихомировым. Я не считал это название подходящим для определения Струве, хотя он, действительно, сильно изменился с тех пор, как он увлекался рабочим движением и социал-демократией. Я считал Струве всегда человеком идейным и искренним, но для которого рабочее дело было ни в каком случае не его делом. Владимир Ильич, с которым Струве, правда, одно время шел заодно, имел, конечно, некоторое основание считать Струве изменником их общего дела. Но все же мне казалось несправедливым назвать его ренегатом и новым Тихомировым. Я обратил внимание Владимира Ильича на возможные последствия подобного клеймения Струве. Я сказал ему: а что если кто-либо из рабочих, фактически преданных делу, под влиянием травли Струве из страниц „Искры“, вдруг решится расправиться с ним или даже убьет его как „изменника и ренегата?“ „Его и надо убить“, ответил мне Владимир Ильич. Я не думаю, чтобы он сказал это обдуманно. Я склонен думать, что это было скорее образное выражение, невольно вырвавшееся под влиянием гнева и болезненного чувства досады. Я все же стоял на своем, пытаясь убедить Владимира Ильича в том, что некоторые из тех выражений, которые он пускал по адресу Струве, неподходящи, и некоторые его полемические приемы недопустимы. „А что же?—возражал он мне горячась:—по вашему мне надо надевать для расправы с ним замшевые рукавицы?“. Видя, что наш разговор о Струве слишком задевает Владимира Ильича за живое и сильно его горячит,

я не решался продолжать и умолял, думая, что замшевые рукавицы все же лучше ежовых.

Впрочем, я редко видел Владимира Ильича в состоянии того раздражения, которое он проявил при нашем разговоре о Струве. Обычно он говорил без всякого раздражения, но всегда оживленно, обнаруживая крайнюю настойчивость своей мысли и хорошее знание людей и их слабых сторон.

Скоро по приезде Владимира Ильича в Лондон стали приезжать и другие главные сотрудники „Искры“. Приехал А. Н. Потресов со своею женою Е. Н. Тулиновой. Приехала Вера Ивановна Засулич, а потом и Ю. О. Цедербаум (Мартов) и другие товарищи, со многими из которых я был уже хорошо знаком раньше.

Весной 1903 года, по приглашению М. М. Ковалевского, я поехал в Париж для чтения курса лекций по генетической социологии в „Высшей Русской Школе общественных Наук“, бывшей русской секцией французской „Высшей Школы общественных Наук“ при Парижском университете. Почти одновременно поехал в Париж и Владимир Ильич с Надеждой Константиновной. Аполлинария Александровна тоже поехала со мной. Конечно, в Париже мы все встретились. Помню это было как раз во время французской масленицы (Mardi gras) тех веселых процессий, которые обыкновенно происходят в это время в Париже. Парижане дурачились и веселились, справляя свою масленицу. Улицы Парижа были залиты праздничными толпами. В этом уличном весельи весьма оживленное участие принял и Владимир Ильич вместе со своими друзьями, в числе которых была и Аполлинария Александровна. Владимир Ильич, очевидно, не был прочь повеселиться и подурчиться вместе с другими, как мог, когда для этого было время. У меня, к сожалению, в этот момент свободного времени не было. Я был слишком занят своими лекциями при Сорбонне. Но Аполлинария Александровна, приехавшая в Париж вместе со мной для того, чтобы несколько отдохнуть от нашей монотонной и не легкой лондонской жизни, находилась в компании Владимира Ильича и рассказывала мне, что „они дурачились не хуже французов“. Владимир Ильич обладал, несомненно, очень живою натурой, и ничто человеческое не было ему чуждо.

Живя в Лондоне, Владимир Ильич все время напряженно работал, и веселиться ему не приходилось. Вместе с Надеждой Константиновной жили они очень „скромно“. И когда в Надежде Константиновне приехала из России ее мать, им пришлось стесниться еще более. Мать Надежды Константиновны была очень славная женщина, но старых понятий и нравов. И это было причиной ее нередких „идейных“ столкновений с Владимиром Ильичем, иногда очень курьезных.

Под влиянием „Искры“, приобретшей большую популярность среди русско-еврейских рабочих, живших и работавших в Восточном Лондоне в так называемом Ист-Энде, в Уайтчепеле, среди них образовался „Искровский кружок“. По просьбе этого кружка Владимир Ильич как-то прочел публичную лекцию для говорящих по-русски уайтчепельских рабочих. Его лекция

была посвящена разбору и критике противных ему русских революционных направлений, главным образом полемики с социалистами-революционерами, которые и в Лондоне имели многих сторонников и даже весьма видных своих представителей, вроде Н. В. Чайковского и других, считавшихся в Лондоне анархистами, но примыкавших к социалистам-революционерам. Владимир Ильич читал свою лекцию два часа без перерыва в переполненной аудитории, в удручающей атмосфере. Это была настоящая баня, в которой он всячески бичевал своих противников своей едкой критикой, не смущаясь по временам раздававшимися протестами. Под конец лекции, которая была не менее жарка, чем атмосфера, в которой она происходила, Владимир Ильич был мокр от пота. По окончании лекции он бросился к буфету, чтобы удовлетворить свою жажду. После лекции начались споры, в которых пришлось принять участие, конечно, и Владимиру Ильичу. Во время этой лекции я внимательно смотрел на Владимира Ильича, и меня несколько поразила его манера читать. Он говорил, совершенно не смотря на своих слушателей. Его взгляд был устремлен в какую-то точку, находившуюся где-то вверх, в конце зала. Я не заметил, чтобы в течение всей лекции он хоть бы раз взглянул на своих слушателей. Меня это удивило, и после лекции, идя с ним вместе домой и делясь с ним впечатлением, вынесенным с лекции, я указал ему на его необычную для меня манеру читать. Я спросил его, почему во время лекции он не смотрел на свою аудиторию. „А для того,—ответил мне Владимир Ильич, чтобы не видеть выражения их лиц, чтобы они не сбили меня“. „Я нарочно стараюсь не глядеть на лица моих слушателей“—добавил Владимир Ильич, — „чтобы их настроение не било моего настроения“. Эти слова мне показались весьма характерными, как и отношение Владимира Ильича к своей аудитории. Он очевидно привык, чтобы его слушали, привыкался его идеями. Он привык подчинять себе своих слушателей, не особенно считаясь с ними и с их настроением. Он привык проводить „свое“ и в достижении своих целей был обыкновенно весьма прямолинеен.

Впрочем, в более близкой ему среде, в кругу своих товарищей, он держал себя несколько иначе, избегая не только насиловать их решения, но даже стараясь не обнаруживать своего подавляющего влияния на них. Я помню Владимира Ильича на занятиях с рабочими в Лондонском кружке „искровцев“, в котором он читал, незадолго перед съездом партии, свой проект партийной программы, обсуждая его пункт за пунктом с членами рабочего кружка. Он нарочно стремился вызвать возможные возражения, чтобы лучше узнать мнения присутствующих. Он относился к возражениям очень внимательно и даже делал в своем проекте некоторые, правда несущественные, добавления и поправки.

Несмотря на свое превосходство, он держал себя очень просто, как равный с другими. Влияя на других часто почти неотразимо, он нередко нарочно стремился это замаскировать. Я помню, как, делая на одном товарищеском собрании свои предложения, Владимир Ильич, подвергая свои предложения общему обсуждению, предлагал высказываться против них. Его пред-

ложения не встречали возражений. Тогда он сам приводил некоторые доводы против них. И когда он ставил свои предложения на голосование, выходило, что присутствующие принимали их, несмотря на его собственные оговорки и некоторые доводы против. Таким образом решение было их решением, за которое они и должны были брать ответственность на себя. Никто из участвующих в нем не чувствовал, что он действовал согласно желанию Владимира Ильича и вполне находился под его влиянием.

Я уже упоминал, что, благодаря переносу издания „Искры“ в Лондон, в Лондон переехали многие из ее главнейших сотрудников. Все они поселились недалеко от Владимира Ильича. В одном доме по соседству со мной образовалась даже целая коммуна „искровцев“, в которой первоначально жила и Вера Ивановна Засулич. Здесь же останавливались и товарищи, приезжавшие из России, как из числа интеллигентов, так и рабочих. Из последних нельзя не отметить И. В. Бабушкина, который был близок как Владимиру Ильичу, так и мне. Он бежал из Екатеринославской тюрьмы и стал одним из самоотверженнейших сторонников „Искры“. Он приехал в Лондон к Владимиру Ильичу за поручениями, с которыми он предполагал возвратиться в Россию. Владимир Ильич попросил его написать свои воспоминания о своей революционной деятельности и о своем участии в рабочем движении. Он немедленно же принялся за это дело и передал Владимиру Ильичу в высшей степени интересную рукопись.

Коммуна „искровцев“ была местом очень шумным. С утра до глубокой ночи в ней происходило оживленное общение ее обитателей. Это общежитие „искровцев“ было своего рода клубом, на шум которого очень жаловались соседи жильцы того дома, где оно помещалось, с хозяином которого мне не раз приходилось вступать в переговоры по поводу неправильного для англичан образа жизни и поведения русских товарищей.

Вера Ивановна Засулич скоро не выдержала условий жизни в этом общежитии и, вместе с Ю. О. Цедербаумом, переехала в другое помещение, где скоро образовалось новое общежитие „искровцев“, менее шумное.

Владимир Ильич не любил тратить время даром. В коммуны он приходил сравнительно редко, в случае особой надобности. Не любил также он, когда приходили и к нему для разговоров, не имевших особой важности. Когда ему мешали работать дома, он уходил для работы в Британский Музей, где писал и некоторые статьи для „Искры“, издание которой через некоторое время было перенесено в Женеву, куда предстояло переехать и ее сотрудникам, жившим в Лондоне.

Второй съезд Российской Социал-демократической Рабочей Партии был создан за границей, в Брюсселе, куда направилось и большинство партийных товарищей во главе с Владимиром Ильичем. Но бельгийская полиция помешала продолжению работ русского социал-демократического партийного съезда, открывшегося в Брюсселе в июле 1903 года. Было решено перебраться в Лондон, куда и стали немедленно же съезжаться представители различных социал-демократических организаций, действовавших в это время в России и за границей.

Неудачный опыт собрания партийного Съезда в Брюсселе показал, что для успешной его организации за границей требуются некоторые предосторожности. Владимир Ильич опять обратился ко мне, прося меня помочь в практическом осуществлении цели, в технике организации съезда. Я сделал, что мог, для того, чтобы съезд по возможности не привлекал к себе внимания английской полиции и проходил незаметно для лиц, которым не надлежало о нем знать.

Этот съезд оставил во мне очень тяжелые впечатления, благодаря той ожесточенной борьбе между различными революционными группами, которая началась с самого момента открытия его заседаний и кончилась полным расколом в рядах самих „искровцев“, представлявших до этого времени очень сплоченную группу крепко связанных единством партийных стремлений, общностью понятий и чувств, тождеством их партийной идеологии.

Этот съезд был завершением той борьбы направлений, которые разделяли различные русские социал-демократические организации, объединявшиеся в единую партию скорее формально, чем в действительности. На съезде это положение дела с самого начала проявилось очень ярко. Еврейский Бунд, одна из наиболее сильных социал-демократических организаций, действовавших в России, не желал подчиняться руководству группы „Искры“ и не соглашался на ту „автономию“, которую соглашались предоставить Бунду „искровцы“ во главе с Владимиром Ильичем. Представители „Бунда“ требовали для своей организации равных прав с организацией „Искры“. Центральный комитет Бунда соглашался лишь на вхождение „Бунда“ в партию, построенную на началах федерации, которая обеспечивала полную самостоятельность еврейской организации. Организация „Южного Рабочего“ тоже пыталась обеспечить дальнейшее свое существование. К тому же стремились и другие, в особенности заграничные русские социал-демократические группы: „Союз русских социал-демократов“ и „Борьба“. „Искровцы“, наоборот, стремились к уничтожению всех организаций, кроме своей собственной и связанной с ними группы „Освобождение Труда“, а также состоящей при ней „Лиги русской революционной социал-демократии“. Во главе „искровцев“ стоял Владимир Ильич, к которому присоединился Плеханов. Они стремились достичь партийного единства, сперва посредством идейной борьбы, а потом организационной ареной, которой оказался и съезд. Все русские организации, действовавшие под знаменем партии, но несогласные с направлением „Искры“, на съезде было решено „распустить“. Представители „Бунда“ объявили о выходе „Бунда“ из партии и покинули съезд. На нем остались главным образом сторонники „Искры“. Представители примыкавших к ней организаций, действовавших в России, были на съезде в подавляющем большинстве. Представители социал-демократических организаций, примыкавших к противоположному направлению, составляли весьма слабое меньшинство. Однако оно все же оказало некоторое сопротивление в достижении целей, поставленных „искровцами“, и внесло в их ряды некоторое смущение. По такому важному вопросу, как вопрос об организации партии, которую, собственно говоря, надо было еще создавать,

даже и среди „искровцев“ и группы „Освобождение Труда“ не оказалось достаточного единства. По этому вопросу Плеханов разошелся с П. Б. Аксельродом и другими членами своей группы и примкнул к Владимиру Ильичу, который в свою очередь разошелся с Ю. О. Цедербаумом (Мартовым) и Троцким. Среди сторонников русской революционной социал-демократии началась ожесточенная борьба, которая расколола съезд на две враждебные секции. Эти секции начали собираться отдельно на свои секционные совещания и приходили на заседания съезда для борьбы друг с другом. Борьба с представителями противных „искровцам“ направлений потеряла свою остроту и как-то затушеввалась. На первый план выступила борьба среди самих „искровцев“.

Владимир Ильич переносил эту борьбу с наружным спокойствием, но с крайним напряжением нервов. Он был глубоко потрясен этой борьбой, которой он, повидимому, никак не ожидал. В конце концов и его железные нервы не выдержали, и он заболел нервным расстройством, которое все же не отразилось на его сильном и стойком уме. Я был свидетелем того, как болезненно он переживал этот раскол. Но этот раскол не закончился Лондонским съездом. Это было только началом той ожесточенной борьбы, которая расколола представителей русской революционной социал-демократии на два враждебных лагеря: большевиков и меньшевиков.

После Лондонского съезда Владимир Ильич скоро уехал в Женеву, куда должно было быть перенесено издание „Искры“. В Женеве же был через некоторое время созван новый съезд, съезд Лиги русской революционной социал-демократии. Начавшийся на Лондонском съезде раскол был на Женевском съезде окончательно завершен. Мне пришлось быть непосредственным свидетелем и этого съезда, на который я получил приглашение от Владимира Ильича. Он произвел на меня еще более тягостное впечатление, чем Лондонский съезд. Я был свидетелем стараний Мартова разъединить Плеханова с Лениным, для чего Мартов пустил в ход все имевшиеся в его руках средства, огласив неподлежащие оглашению слова и намерения Владимира Ильича, направленные против Плеханова, как одного из главных руководителей центрального органа партии. На этом съезде, на котором борьба двух фракций расколовшейся русской революционной социал-демократии дошла до своих крайних пределов и даже вышла из них, Плеханов держался с изумительной выдержкой, все время идя сообща с Владимиром Ильичем. Даже после того, как на предпоследнем заседании съезда было оглашено убийственное заявление Мартова, которое должно было разъединить Плеханова с Лениным, Плеханов ни одним мускулом лица не показал, какое впечатление произвело на него это заявление Мартова, и продолжал голосовать заодно с Владимиром Ильичем и его сторонниками.

Заявление Мартова касалось вопроса о том, кому быть действительным идейным руководителем партии, Ленину или Плеханову. Мартов раскрыл намерение Владимира Ильича поставить Плеханова в положение бессильного меньшинства. Плеханов ответил разрывом своих дружеских отношений с Вла-

Владимир Ильичем и перешел на сторону меньшевиков, среди которых он естественно должен был занять главное место, как их идейный руководитель. Расхождение Плеханова с Лениным при подобных обстоятельствах показало очень ярко, что идейная борьба бывает одновременно и личной борьбой за идейное руководство, за идейную власть над умами людей. К этой власти несомненно стремились оба выдающихся руководителя русской революционной социал-демократии, и борьба между ними рано или поздно должна была произойти, если только они не могли согласиться по-товарищески поделить между собой власть идейно господствовать над всеми другими и сообщать ими руководить. Плеханов, как мне казалось, с виду был готов поделиться этой властью с Владимиром Ильичем. Может быть, на самом деле и он рассчитывал на идейное преобладание, но этого я не знаю. Владимир Ильич, как это так „коварно“ раскрыл Мартов, не соглашался делить эту власть над умами товарищей. Для русской революционной социал-демократии все это было настоящей трагедией, которая началась Лондонским съездом и закончилась образованием Российской Коммунистической Партии и смертью Г. В. Плеханова. Единоличное, высшее руководство революционным движением, хотя и с невознаграждаемыми жертвами, было наконец осуществлено.

К. Тахтарев.

Неизданный автограф Н. Ленина.

В настоящем номере мы даем воспроизведение наброска статьи В. И. Ульянова (Н. Ленина). Ни в собрании сочинений Н. Ленина (т. XIV, ч. I), ни в „Правде“ этой статьи мы не находим. Время написания определяется содержанием. Написана она после опубликованного 10 июня 1917 года Съездом Советов запрещения манифестации на три дня и до состоявшегося 11 июня оглашения в печати предложения Дана о резолюции против большевиков.

Ред.

Мы считаем, что своеобразное учреждение, называемое Совѣтами Рабочих, Солдатских, Крестьянских Депутатов ближе всего подходит к все-народному органу воли большинства народа, к революціонному парламенту.

За переход всей власти в руки такого органа мы стояли и стоим принципиально, несмотря на то, что сейчас он находится в руках оборонческих и враждебно относящихся к партіи пролетаріата партій меньшевиков и соц.-рев — ов.

Внутренне-противорѣчивое, шаткое, неустойчивое, бессильное по отношеію къ контр-революціи положеніе Совѣтов зависит от того, что они терпят гнѣздо контр-революціи: 10 буржуазных министров и не рвут с англо-французским империалистским капиталом. Эта шаткость является источником нервности теперешняго большинства Совѣтов и их бранчивости против тѣх, кто на эту шаткость указываетъ.

Координировать, согласовать, свою борьбу против контръ-революціи с „борьбой“ оборонческих и министеріалистских партій мы отказываемся.

Рѣшенія Совѣтов не могут быть признаны нами за правильныя рѣшенія правильной власти, пока остаются 10 буржуазных, контр-революціонных министров вполне Милюковского духа и Милюковского класса. Но еслибы даже Совѣты взяли всю власть (чего мы желаем и всегда поддерживали бы), еслибы Совѣты стали всевластным революціонным парламентом, мы не подчинились бы таким его решеніям, которыя стѣснили бы свободу нашей агитаціи, напр., запретили бы прокламаціи в тылу или на фронтѣ, запретили бы мирныя манифестаціи и т. п. Мы предпочли бы в таком случаѣ перейти на

положеніе нелегальной, официально преслѣдуемой партіи, но не отказались бы от своих марксистских, интернаціоналистских принципов.

Таково же будет наше поведеніе, если с'езду Совѣтов благоутодно будет официально, перед всѣм населеніем Россіи, признать нас „врагами народа“ или „врагами революціи“.

Из мотивов запрещенія манифестаціи на три дня мы признаем условно правильным лишь один, именно: что притаившіеся контр-революціонеры, притаившись, хотѣли воспользоваться этой манифестаціей. Будь факты, лежащіе в основѣ этого мотива правильны, будь имена контр-революціонеров извѣстны всему Совѣту (как извѣстны они приватно нам из устнаго сообщенія Либера и др. в Исп. К-тѣ), необходимо было бы неотложное объявленіе этихъ контр-революціонеров врагами народа и арест их с слѣдствіем над их сторонниками и пособниками.

Отсутствіе такихъ мѣр со стороны совѣта дѣлает и его правильный мотив лишь условно правильным или вовсе не правильным.

Мы считаем, что своеобразное учреждение,
называемое Советами Рабочих, Солдатских,
Крестьянских Депутатов ближе всего подходит
к всенародному органу воли большинства
народа, к революционному парламенту.

За переход всей власти в руки
такого органа мы стоим и стоим принципиально
несмотря на то, что сейчас он находится в руках оборонческих и
враждебно относящихся к партии пролетариата партий
меньшевиков и соц. рев.-ов.

Внутренне-противоречивое, шаткое,
неустойчивое, безсильное по отношению
к контр-революции положение Советов
зависит от того, что они терпят гнѣздо контр-
революции: 10 буржуазных ми-
нистров и не рвут с англо-французским
империалистским капиталом. Эта шаткость

Мы считаем, что своеобразное учреждение, называемое Советами Рабочих, Солдатских, Крестьянских Депутатов ближе всего подходит к всенародному органу воли большинства народа, к революционному парламенту.

За переход всей власти в руки такого органа мы стоим и стоим принципиально несмотря на то, что сейчас он находится в руках оборонческих и враждебно относящихся к партии пролетариата партий меньшевиков и соц. рев.-ов.

Внутренне-противоречивое, шаткое, неустойчивое, безсильное по отношению к контр-революции положение Советов зависит от того, что они терпят гнѣздо контр-революции: 10 буржуазных министров и не рвут с англо-французским империалистским капиталом. Эта шаткость

является источником нервозности и
беспокойства ^{теперешнего} большинства Советов и
их бранчивости против тех, кто на
эту шаткость указывает.

Координировать, согласовать,
свою борьбу ^(координировать) против контр-революции с
"борьбой" оборонческих и ^{министерских} партий мы отказываемся.

Решения Советов не могут
быть признаны нами за правильные
решения ^{правильной} власти, пока
остаются 10 буржуазных, контр-ре-
волюционных министров воплоти
Миллюковская дря и Миллюковская гни-
са. Но если бы даже Советы взяли
всю власть (чего мы желаем и всегда
поддержали бы), если бы Советы стали
всевластными революционными парла-

ментом является источником нервозности и беспокойства ^{теперешнего} большинства Советов и их бранчивости против тех, кто на эту шаткость указывает.

Координировать, согласовать, свою борьбу против контр-революции с "борьбой" оборонческих и министерских партий мы отказываемся.

Решения Советов не могут быть признаны нами за правильные решения ^{правильной} власти, пока остаются 10 буржуазных, контр-революционных министров воплоти Миллюковская дря и Миллюковская гни-са. Но если бы даже Советы взяли всю власть (чего мы желаем и всегда поддерживали бы), если бы Советы стали всевластными революционными парла-

перенос, мы не подчинились
объявлению о ртижении, кото-
рое сформировало свободу нашей
агитации, наир., запретило бы прокламации в тылу или на фронте, запрети-
ло бы мирные манифестации и т. п. Мы предпочли бы в таком случае перейти на
положение нелегальной, официально преследуемой партии, но не отказались бы от своих
марксистских, интернационалистских принципов

Таково же будет
наше поведение, если съезд
Советов благоугодно будет

ментом, мы не подчинились бы таким его решениям, которые стеснили бы сво-
боду нашей агитации, наир., запретили бы прокламации в тылу или на фронте, запрети-
ли бы мирные манифестации и т. п. Мы предпочли бы в таком случае перейти на
положение нелегальной, официально преследуемой партии, но не отказались бы от своих
марксистских, интернационалистских принципов.

Таково же будет наше поведение, если съезду Советов благоугодно будет
Вып. № 24.

офіційно, перед всім
населенієм Росії, признать
нас „врагами народа“ или
„врагами революції“.

Из мотивов запрещенія
маніфестацій на три дня мы
признаем условно правиль-
ным один, именно: что при-
таившіяся контр-революціонеры,
притаявшись, хотѣли восполь-
зоваться этою маніфестаціею;
Будь фактъ, лежащій в основѣ
этого мотива правильно, будь
имена контр-революціонеров

офіційно, перед всім населеніемъ Россіи, признать нас „врагами народа“ или „вра-
гами революціи“.

Изъ мотивовъ запрещенія манифестацій на три дня мы признаемъ условно правиль-
нымъ лишь одинъ, именно: что притаявшіеся контр-революціонеры, притаявшись, хотѣли
воспользоваться этою манифестаціею. Будь фактъ, лежащій въ основѣ этого мотива
правильнымъ, будь имена контр-революціонеровъ

известно всему Совету
(как известно они приватно
нам из устного сообщения
Либера и др. в Исп. К-тѣ), не-
обходимо было бы неостаточ-
ное объявление этих контр-
революціонеров врагами
народа и арест их с слѣд-
ствием над их сторонниками
и пособниками.

Отсутствіе таких мѣр
со стороны Совета делает и его
правильный мотив лишь
условно правильным и вовсе не-
правильнымъ.

Извѣстно всему Совету (как извѣстно они приватно нам из устного сообщения Ли-
бера и др. в Исп. К-тѣ), необходимо было бы неостаточное объявление этих контр-
революціонеров врагами народа и арест их с слѣдствием над их сторонниками и посо-
бниками.

Отсутствіе таких мѣр со стороны Совета дѣлает и его правильный мотив лишь
условно правильным или вовсе неправильнымъ.

Призрак социализма пред Николаем I.

I.

Волнения и восстания заводских и фабричных рабочих начались в России давно, — тогда же, когда появилась крупная фабрично-заводская промышленность, но рабочего движения в европейском смысле у нас не возникало долго.

Ибо долго страна была крепостная, и долго в ней не нарождался рабочий класс как особая, граждански свободная, общественная группа, предлагающая свой труд в качестве товара на промышленном рынке.

Рабский труд делал долго ненужным существование рабочего класса в европейском смысле этих слов, и рабочий вопрос, по крайней мере до первой четверти XIX в. сливался с крестьянским вопросом.

Лишь с развитием крупной промышленности, отчасти искусственным — усилиями государства, отчасти естественным — под влиянием толчка, постоянно дававшегося быстрым ростом внешней торговли, начинает и в России обрисовываться особый, самостоятельный рабочий вопрос. Прежде всего он ставится самими рабочими, выводимыми из терпения беззастенчивой в затянувшуюся крепостную эпоху эксплуатацией их труда и попрежнему¹⁾ стихийно волновавшимися. С конца XVIII и в течение первой половины XIX в. таких волнений на фабриках и заводах насчитывается не мало. Особенно часто происходили рабочие волнения на горных уральских заводах и на фабриках центрального фабричного района, т.-е. в губерниях Калужской, Владимирской, Московской, Ярославской, в самом Ярославле, а также и в Казани — на суконной фабрике, но были волнения и в других губерниях — Петербургской, Тульской, Тамбовской и Воронежской²⁾.

¹⁾ См. мою статью: „Крестьянские волнения до XIX в.“ (в сборн. „Великая реформа“, т. II, и в моих „Исторических характеристиках“, т. I); см. также мое исследов. „Русские торгово-промышленные компании в перв. половине XVIII в. (глава—Предприниматели и рабочие)“. Б. А. Пажитнов: „Положение рабочего класса в России“, Петроград, 1923 г.“

²⁾ Мартов: Пролетарская борьба в России, стр. 31. Святловский: Профсоюзное движение в России, стр. 4.

Вполне понятно, что в наиболее радикальной части (группа Спешнева) первого в России социалистического кружка, связанного с именем М. В. Буташевича-Петрашевского, мысль о поднятии заводских рабочих возникла среди его членов и сделалась, после расследования, известна высшему правительству; она-то, вероятно, и укрепила Николая Павловича в убеждении, что следует бояться не только крестьянского восстания, не только новой пугачевщины, но и рабочего движения и притом не только на восточной окраине, в Приуралье, но и в центре, в Москве,—движения, не менее опасного для государственного порядка, чем пугачевщина.

Николай I в этом отношении проявил известного рода проницательность. Удивительного тут, впрочем, ничего нет. В настоящее время трудами М. Н. Покровского ¹⁾ достаточно выяснено, что Николай Павлович близко стоял к промышленному миру России и знал, что в нем происходит, что он был заинтересован успехами российской индустрии и радел об ее пользах. Архивные материалы, собранные и пишущим эти строки ²⁾, как нельзя лучше подтверждают полную справедливость этого положения: действительно, Николай I, как когда-то Петр I, постоянно находился в курсе нашей промышленности и торговли, знал, что общее экономическое развитие России идет от торгового к промышленному капитализму, и старался помогать этому развитию, полагая, что в нем—сила и крепость империи. Словом, Николай I был не только бравый военный и бдительный жандарм, чем он, конечно, был, как высший, казовый представитель дворянско-полицейской монархии, но он стал как бы и главным директором всего торгово-промышленного дела в империи. Отсюда понятно, почему он прилагал большие заботы к развитию крупной промышленности в стране, не подозревая, что тем самым приготавливает могильщика своему самодержавию.

Но если Николай I не видел опасности для самодержавно-дворянского государственного и общественного строя от торгово-промышленного капитала и буржуазии, то он, в качестве правителя, знающего промышленный мир своей страны, довольно хорошо предусматривал другую опасность—снизу, со стороны рабочего класса, развивавшегося и крепнувшего вместе с развитием фабричной индустрии.

Дело в том, что уже в 30-х годах скопление рабочих в таком промышленном центре, как Москва, начало внушать опасения Николаю Павловичу.

В результате этих опасений и был возбужден в правительственных сферах вопрос, не следует ли склониться к запрещению вновь учреждать в Москве фабрики? Тогдашний московский генерал-губернатор, кн. Дмитрий Владимирович Голицын, высказался против этого запрещения. „Некоторые“,—писал он в 1839 году в записке, представленной Николаю, — „предвидят опасность

¹⁾ Русская история с древн. времен. и иск. др. работы.

²⁾ Эти материалы обрабатываются для печати в особом сочинении по экономической истории России в первой половине XIX в. (до так называемого освобождения крестьян).

от умножения в Москве фабричных заведений; я не разделяю эту мысль, ибо наши русские фабричные не могут быть сравнены с фабричными других „государств“. „В чужих краях“,—говорил кн. Голицын дальше,—„сей класс людей существует единственно от фабричной работы: там, если на фабриках работа останавливается, то недостаток способов пропитания („голод“, пояснял князь в скобках) производит бунт. Полагаю, что сосредоточенье фабричных в столице менее опасно, чем где-либо в других местах, ибо здесь есть всегда достаточная сила, чтобы утушить, чего боже сохрани, подобное предприятие и удержат спокойствие. С другой стороны, я полагаю, что фабричная промышленность нигде не в состоянии так процветать, как в столицах и больших городах, ибо эта промышленность требует содействия просвещенных людей, художников, взаимного совещания с людьми опытными“¹⁾ и проч. Это было веско, и поставленный вопрос пока был снят. Так в 1839 году из желания „некоторых“ кастрировать московскую крупную промышленность ничего не вышло. Буржуазная точка зрения победила полицейскую, опираясь в значительной мере на полицейский мотив.

II.

Но вот грянул 1848 год. И снятый с очереди вопрос о „фабричных заведениях“ в Москве всплыл снова, и Николаем был поставлен вопрос: „не должно ли, в политическом отношении, остановить вышшее скопление фабричного народа в Москве?“ В ответ на этот вопрос, без труда угадывая мнение самого царя, московский военный генерал-губернатор, граф Закревский устно доложил ему (в 1848 году), что „во избежание чрезвычайного нахлещения в столице людей рабочего и фабричного класса, не должно дозволить в Москве учреждать вновь заведения, предполагающие в действии своем великое число рук, и усиливать ныне существующие, как посредством ручных, так и механических работ, с тем, что, буде кто пожелает усилить или открыть новые фабрики или заводы, то дозволить сие не ближе, как на расстоянии ста верст от Москвы“. Николай Павлович, выслушав, признал всё это „в основании весьма справедливым“ и сказал: „в применении сообразить с министром финансов!“

Высказанный проект гр. Закревский затем изложил в особой записке, в которую вошло то, что, во исполнение словесного высочайшего повеления, он сообщил министру финансов, лишь с уменьшением расстояния от Москвы для новых фабрик и заводов—до 60 и 40 верст. Прочитав записку московского военного генерал-губернатора, Николай Павлович написал: „Весьма важно: сообразить в комитете министров“.

В записке гр. Закревский указывал на разные мотивы предлагаемой „меры“, как-то: на пожарную опасность от фабрик, на ухудшение ими санитарного состояния города, на возникающее от них повышение цен на съестные

¹⁾ Архив бывш. министерства торговли и промышл., № 3861
41: дело 1-го отделения
первого стола.

припасы и, особенно, на дрова, „в кони“, писал он, „Москва сильно нуждается“; цены же возвышаются от слишком большого количества рабочих, достигавшего, по справке Закревского, 45.000 челов.; но главное, что смущало московского генерал-губернатора, это — опасность не от физического, а от социального пожара, который могли произвести, по мнению Закревского, фабричные рабочие. Этот последний мотив просвечивает в следующем пункте проекта: „Недостаточный надзор за рабочими“, — пишет граф Закревский, — „и скорая возможность удовлетворять порочным страстям способствуют к порче нравственности в этом классе людей, которые посему большей частью впадают в дурное поведение и весьма склонны к буйствам и преступлениям“. В последнем указании как бы на особую классовую психологию и заключался намек на возможность политической опасности от фабричных рабочих.

Высшей буржуазии Москвы до возникших в правительственных сферах опасений пока не было никакого дела, — и фабриканты заволановались, узнав, что проектируется ограждение дальнейшему росту фабрично-заводской промышленности в Москве.

Один из высших промышленных чиновников — Леонтий Маркович Самойлов сразу встал на сторону московских фабрикантов и решительно высказался против антипромышленной полицейской компании. В письме на имя министра финансов Вронченко, он изложил правительственные опасения касательно фабрично-заводских рабочих весьма откровенно. „В настоящее время“, — писал он, — „смуты и безначалие на Западе Европы, происходящие от волнения злоумышленниками многих из бедствующего там фабричного народа, конечно, способны возобновить и у нас вышепомянутый вопрос об уменьшении скопления фабричных в городах“.

С постановкой „вопроса“ Самойлов, таким образом, соглашается; но далее он старается выяснить, что эта постановка сделана у нас преждевременно. „Но тут“, — продолжает он, — „я позволю себе объяснить, что наш фабричный народ не может быть причислен к сословию пролетариев, на подобие заграничных. У нас нет особенного класса фабричных. Наши крестьяне уделяют полевые работы тем из семейных сочленов своих, которые неспособны к трудам рукодельным, т.-е. мануфактурным, и посылают на фабрики тех, которым в деревнях делать нечего. Но и эти последние“, удостоверяет Самойлов, „оставляют фабрики в июле и августе месяцах и возвращаются во свои для сенокоса и уборки хлеба“. И заключает эти сообщения общим выводом: „Наш фабричный не коренной житель городов, как за границею, и потому скорее может быть причислен к классу зажиточному, чем к классу пролетарскому“ ¹⁾.

В том же смысле высказался по рассматриваемому вопросу и председатель московского отделения мануфактурного совета барон Мейендорф. Был

¹⁾ Арх. бывш. министерства торговли и промышленности, № ³⁸⁴¹₄₄, дело 1-го отделения, первого стола.

спрошен и министр внутренних дел, граф Перовский, который тоже нашел достаточными те узаконения, которые уже существовали относительно московских „фабричных заведений“. Тогда стало возможным высказаться вполне определенно и министру финансов Вронченко, который в сущности повторил все полученные им указания от защитников московской промышленной буржуазии. В бумаге от 5-го апреля 1849 года, обращаясь к гр. Закревскому, Вронченко прежде всего заявляет, что он „вполне согласен“ с причиной, которая вызвала проект московского генерал-губернатора и которая заключается в стремлении поддержать и укрепить наличный образцовый порядок в древней столице.

„Между тем как“, — пишет министр финансов, „в некоторых государствах Западной Европы смуты и безначалие усиливаются вовлечением в заблуждение бездомных там фабричных людей, — у нас господствуют во всех отношениях тишина и благоденствие“, и это „обстоятельство“, догадывается министр, „не могло не возбудить желания вашего, как бдительного и предусмотрительного начальника первопрестольной столицы, сохранить общественное и частное спокойствие устранив и на будущее время всякого покушения к нарушению оного, и эта забота должна была обратить внимание вашего сиятельства на скопление народа в Москве посредством фабрик“. Так полстив московскому военному генерал-губернатору, Вронченко далее категорично опровергает самую возможность каких-либо потрясений от московских фабричных, именно вследствие разницы между русским фабричным рабочим и „заграничным пролетарием“. „В России“, продолжает министр финансов, „а в особенности в Москве и ее губернии, фабричный не есть коренной житель городов, как за границею, где мануфактурный мастеровой и работник, в случае остановки действия фабрик, лишаясь всякого способа пропитания, становится опасным бременем для общества. Доказательством этой истины могут служить разные временные события в Москве, как-то двукратное втечение 18-ти лет продолжительное свирепствование холеры, торговые кризисы и проч., имевшие последствием внезапные остановки работ на фабриках и безропотное каждый раз оставление рабочим фабрик и заводов для поспешения в свои деревни, где они обеспечены в первых потребностях жизни, и если возвращаются на фабрики, по мере возобновления действия оных, то имеют в виду не насущный хлеб, как за границею, но приобретение некоторой по состоянию крестьян зажиточности, доставляющей им возможность исполнять помещичьи и казенные повинности, даже во времена неурожаев и других случайностей, тяготеющих так часто над земледелием северной России“. Российскую капиталистическую промышленность министр финансов хотел вывести на „безропотном“ русском рабочем-крестьянине. Но, чувствуя, что это аргумент не слишком сильный, и Николай Павлович, стоявший за спиной Закревского, в „безропотность“ фабричного уже потому не поверит, что этот фабричный — крестьянин, множество раз роптавший и продолжающий роптать, — Вронченко для вящей убедительности сослался на известное нам мнение по данному вопросу прежнего московского генерал-губернатора, кн. Голицына,

мнение, противоположное мнению нового генерал-губернатора: той же „первопрестольной“...¹⁾

Словом, высшая буржуазия и ее слуги всполошились: они увидели, что проектируемая „мера“ пресечения грозит, в конце концов, если не уничтожить, то сильно стеснить, затормозить всю фабрично-заводскую промышленность в Москве, да и в других промышленных городах, где будет найдено слишком большое скопление рабочих. И было от чего всполошиться! Гр. Закревский начал нешуточное наступление на промышленные центры. Он настаивал (1849 г.) на освобождении вообще всех больших городов от „праздного“ пролетариата. По мнению этого ретивого и „бдительного“ (как назвал его Вронченко) администратора, — от всякого, желающего поселиться в Москве, следовало требовать удостоверение, что у него есть средства к жизни: только тогда Закревский соглашался принимать в московское общество — он стоял на его страже — новых членов. Эту „меру“ Закревский предлагал обнародовать сначала для Москвы, а потом для всех городов. Николаю Павловичу и эта „мера“ очень понравилась, и он написал на генерал-губернаторской бумаге: „Считаю весьма дельным; рассмотреть в комитете министров и, в случае ежели мера сия будет принята, распространить ее справедливо и на Петербургскую губернию“.

Эта „мера“ уже была непосредственно в рабочую массу, в массу пролетаризованных крестьян, и имела свою, конечно, утопическую целью оставить всю Россию крестьянской, земледельческой страной, с рассеянной по ней, разумеется, дворянской промышленностью. Министр финансов, понятно, не одобрил такой „меры“, не смотря на одобрение ее Николаем. Вронченко указал, что усилившаяся приписка к городам к мещане есть следствие принятых правительством мер к освобождению людей, особенно дворовых, из крепостного состояния: если запретить, то их придется выселять из городов, и они станут вредными для общества. И министр просил сделать изъятия из предлагавшейся Закревским „меры“: 1) для записанных уже за Московской губернией и проживающих в Москве не менее 5 лет и 2) для фабричных рабочих. Крепостническая Россия столкнулась с нарождавшейся буржуазией. Против предлагавшейся гр. Закревским и одобренной Николаем „меры“ высказались также главноуправляющий второго отделения „собственной его имп. в-ва канцелярии“ гр. Влудов и министр внутренних дел гр. Перовский, хотя последний и отметил, что „мера“ „в духе нашего законодательства“¹⁾. Выступление этих лиц оппонентами Закревскому и показывает, что часть высшего дворянства, интересы которой уже связались с интересами крупной городской индустрии, успела достаточно обуржуазиться и встала в известный антагонизм с большинством дворянства, очевидно державшимся за крепостную децентрализованную фабричную промышленность. Уход рабочих из сел в города и, в особенности, в главнейший промышленный центр страны, в Москву,

¹⁾ С. М. Середонин. — Исторический обзор деятельности Комитета министров, г. II, стр. 312 — 315.

существенно задевал интересы крепостной дворянской фабрики. С ними и солидаризировался полицейский интерес ответственных за тишину и спокойствие правительственных лиц и их руководители Николая I.

Вдумываясь в изложенные выше документальные данные, мы видим, что перед нами отчетливо вырисовываются два факта: 1) первое проявление в высших правительственных сферах болезни скопления рабочих в таком центре заводской промышленности, как Москва, и стремление крупной буржуазии устами своих ходатаев доказать, что это болезнь напрасна, ибо, у нас же еще нет пролетариата и наши же фабричные рабочие большею частью — еще непотерявшие связи с родной деревней земледельцы, стало быть, сами в значительной степени представители буржуазии, хотя и мелкой. Для того, чтобы успокоить правительственные сферы и отстоять дальнейшее беспрепятственное, свободное развитие фабрично-заводской промышленности в Москве и в других больших городах, известный нам Л. М. Самойлов пустил в ход свою прежнюю статью под заглавием: „Мануфактурная промышленность и народное убожество“, — статью в которой доказывал, что фабрики неповинны в происхождении бедности и пороков, что бедность и богатство „происходят от неизбежного, полезного и даже необходимого неравенства человеческих сил, способности и добродетели“. Весь вопрос о бедности и богатстве, по его мнению, сводится к трудолюбию и его отсутствию: „взгляд на какой угодно период истории человечества“, — говорит этот автор, — „убеждает во всегдашнем существовании народной бедности преимущественно там, где народ был отвлекаем чем-либо от домашнего трудолюбия“. Таким образом, рассуждает он, не препятствовать какой бы то ни было форме труда надо, а только бдительно надзирать за трудящимися на фабриках и заводах, „в особенности за юношеством и малолетними“, ибо в противном случае, действительно, среди фабричных рабочих „обыкновенно возникают разврат и пороки, вредные обществу“¹⁾.

Так начавшая подниматься на ноги промышленная буржуазия защищала себя от занесенного над нею по „политическим“ соображениям полицейского кулака.

Указания оппонентов Закревского на социальный облик русских фабричных рабочих в общем были правильны: московский фабрично-заводский рабочий, если не всецело, то наполовину еще продолжал оставаться крестьянином и не был пролетарием в точном смысле этого слова. Но что промышленный пролетариат уже начал создаваться и в те времена, это тоже не подлежит сомнению.

Уже в первой четверти XIX века сами коммерсанты отмечали, что в Москве, а равно и в Одессе много скапливается всякого бездомного рабочего люда, доставлявшего своим поведением немало забот полиции. А в рассматриваемое время, т. е. в 1848—18 г. г., по сведениям, собранным гр.

¹⁾ Статья Л. М. Самойлова впервые была напечатана в „Московских Ведомостях“ 1843 года; потом была перепечатана отдельно.

Закревским в связи с поднятым им вопросом, из 36.889 рабочих на московских фабриках и заводах более 20.000 чел. были жителями Москвы и Московской губернии ¹⁾, — каковое обстоятельство, по крайней мере в отношении рабочих-москвичей (жителей самого города), не говорит нам об исключительно деревенском облике фабричного рабочего в Москве той, уже подготовившей торжество промышленного капитала эпохи. Николай Павлович сам, сколько было сил и умения, содействовал этой подготовке.

Но когда возникло представление об опасности от рабочих, как он выразился, „в политическом отношении“, то он задумался. Правда, на полное ограждение хода немущим в Москву, которое сначала так понравилось, Николай Павлович, узнав мнение оппонентов Закревского, не согласился — эта полицейская „мера“ не прошла. Но на главном вопросе, поднятом московским генерал-губернатором — о запрещении создавать новые фабрики в Москве, Николай, тоже сочувствовавший этому, затем спотыкнулся и, вероятно, сначала не знал, что делать. Призрак рабочей революции бросил его в дрожь, а русская буржуазия устами своих чиновных агентов успокаивала, говоря, что рабочей революции у нас быть не может.

Комитет министров по вопросу о фабриках в Москве постановил: „Скопление в одном месте большого числа бездомных людей действительно может быть вредно и опасно, но наших фабричных нельзя сравнивать с заграничными рабочими; с другой стороны, запрещение устройства новых фабрик может сильно повредить нашей фабричной промышленности; поэтому следует воспретить дальнейшее устройство в Москве лишь таких фабрик, производство которых будет признано опасным в пожарном отношении; накоманд, от вмешательства во внутренние распоряжения по фабрикам следует воздержаться, дабы не дать повода к притеснениям фабрикантов“. По истине Соломоново постановление: решено так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

Из затруднения, в которое были поставлены проектом Закревского министры, очутившиеся между двух огней, — интересами крупной буржуазии с одной стороны и интересами дворянского большинства и полицейской государственности, с другой, — они придумали выход при помощи спасительного компромиса. И Николай, утвердив комитетское постановление, склонился на сторону этого компромиса, но, как показывает указ 28-го июня 1849 г., — со значительным наклоном в сторону полицейзма. Этим указом запрещалось вновь устраивать в Москве и ее уезде только те „фабричные заведения“, которые, „при постоянном употреблении сильного огня или легко воспламеняющихся материалов, угрожают большою опасностью в случае пожара“, а также те, которые, „будучи расположены при истоках и реках, спусками нечистот и смрадных веществ портят воду“. Но в этих-то „заведениях“, по мнению, выраженному министром финансов в докладе сенату, как раз и

¹⁾ Арх. б. министерства промышл. и торговли, то же дело, которое цитировано выше.

„употребляется“ в делу „значительное число рабочих“ и расходуется „большое количество топлива“, что „способствует к возвышению цен на съестные припасы и дрова“. Так в указе о запрещении в пожарном и санитарном отношениях вкраплена мысль о запрещении в политическом и экономическом отношениях, но последняя должна быть реализована лишь касательно фабрик и заводов определенной категории, а не всех „фабричных заведений“, нуждающихся в большом количестве топлива или в большом же количестве рабочих, как предлагал гр. Закревский ¹⁾.

Запрещенные „фабричные заведения“ частью перечисляются в указе (28 июня), это — бумагопрядильни, шерстопрядильни, чугунно-литейные, стеариновые, сальные, лаковые и вообще такие заводы, которые производят химические продукты.

Учреждение фабрик ткацких, набивных, аппретурных, красильных и тому подобных фабричных заведений не запрещалось, но оно было поставлено в зависимость от разрешения московского военного генерал-губернатора по соглашению с министром финансов.

„Увеличение числа рабочих, станков и машин, по мере надобности“, не говоря уже об уменьшении всего этого живого и мертвого инвентаря фабрики, на существовавших тогда фабриках „в Москве и уезде ее“ определялось по „собственному усмотрению владельцев“; фабрик по эти последние были поставлены под строгий контроль московского военного генерал-губернатора, будучи обязаны представлять ему „через каждые полгода“ ведомости о числе рабочих, станков и машин.

Для наблюдения за устраниением пожарной и санитарной опасности от фабрик — был учрежден „особый комитет“, но и он был поставлен „под главное начальство“ всё того же московского военного генерал-губернатора; Хотя и по соглашению с министром финансов, именно военный генерал-губернатор должен был наставить комитет во всех „подробностях“ возложенного на него „полицейского надзора за фабриками и заводами в Москве и уезде ее“ ²⁾. И так ясно, что проект Закревского был осуществлен далеко не вполне — промышленная буржуазия не допустила разрушения фабрично-заводской индустрии в Москве ради иных, полицейских и дворянских тенденций внутренней политики. Но надо признать, что этот проект был осуществлен все-таки в значительной мере, как свидетельствует все тот же указ 28 июня (1849 г.), объявивший в сущности военно-полицейскую диктатуру над московской промышленностью. И таким образом самый полицейский „дух“ проекта, согласный и даже сливающийся с „духом нашего законодательства“, сам собой вошел в жизнь, точнее, он был и остался ее внутренней сущностью. Понятно,

¹⁾ К. А. Пажитнов неправильно ссылается на указ 23 июня (1849 г.), как якобы на „закон о запрещении устранивать в Москве новые фабрики, требующие большого количества топлива или рабочих рук“ (Положение раб. класса, 217), т. е. как на закон, вполне согласный с проектом гр. Закревского; запрещение было проведено согласно с компромиссным постановлением комитета министров.

²⁾ Второе Полн. Собр. Законов, т. XXIV, отд. I, № 23358.

военно-полицейская диктатура не могла в России остаться только на бумаге, — „мертвой буквой“. Количество рабочих в Москве значительно уменьшилось и затем долго не возрастало, оставаясь почти на одном и том же уровне, как о том свидетельствуют цифры, приводимые современным нам исследователем ¹⁾).

Половинчатое осуществление проекта Закревского соответствовало характеру власти Николая I, начавшей нуждаться в крупной буржуазии, власти, ожидавшей получить от нее поддержку и силу, но опиравшейся все-таки главным образом на дворянство. Промышленная буржуазия не была еще достаточно сильна, она только зарождалась; дворянство же было привычной „опорой престола“ и только начало вырождаться: оно (его большинство) было еще достаточно сильно, дабы устами гр. Закревского настаивать на своих желаниях.

Сверх того, и личное чувство влекло Николая Павловича в эту же сторону. Революции на Западе, показавшееся там в ярком освещении злое-щим красным заревом лицо французского пролетария и обозначившийся и у нас голяк фабричный, уже проявивший засвидетельствованную высшим полицейским агентом склонность к „буйству и преступлениям“, — больно укулоли полицейское сердце Николая. Этот царь вообще не доверял русскому народу, не без основания полагая, что в нем таится семя протеста и бунта, стремление к разрушению всех государственных цепей — социальных и политических, стремление к „воле“ и анархии. А тут еще обнаружилось аналогичное стремление и в образованной столичной молодежи. Было от чего забить тревогу человеку, испуганному с самого начала царствования, и прислушаться к голосу, призывавшему к полицейской бдительности хотя бы даже и во вред поступательному ходу российской промышленности.

Правда, опасения Николая I и его полицейских слуг оказались прежде временными; но все-таки надо признать, что самая линия опасений была намечена правильно.

Николай Павлович видел развитие русской индустрии, сопровождавшееся обогащением фабрикантов и заводчиков, и, разумеется, радовался этому процессу, ибо тут перепадало и государственному казначейству, и всё это лежало в кругу его правительственных забот; но он уже давно начал предугадывать последствия для наличного государственного и общественного порядка от скопления фабричных рабочих в Москве, а февральская революция несомненно заставила его вполне понять природу индустриального прогресса, что именно этот прогресс, столь нужный для материальной мощи „его государства“, становившегося буржуазным, стягивает в городские центры, особенно в Москву, большие массы рабочего народа, среди которого немало уже было обнищавших и бездомных людей — горячий материал для революционного пожара, — и перед Николаем I мелькнул страшный призрак революционно-социалистического движения в России, „на подобие заграничного“, движения, естественно долженствовавшего прежде всего направиться на феодально-дворянское самодер-

¹⁾ К. А. Пажитнов: Положение рабочего класса в России, стр. 16.

жавие царя. Отсюда понятно, почему Николай I, одной рукой поддерживая промышленное развитие в Москве, другой — старался всячески задержать или обезвредить прилив сюда рабочих. В конце концов выходило так, что, пожалуй, скорее должны были стать сытыми воли, т. е. полиция с генерал-губернатором во главе, чем остаться целыми, овцы, т. е. московская промышленность. И она, действительно, на время несколько пострадала.

Это было невольной данью жившему в Николае I чувству самосохранения. Тут российский самодержец думал о себе, а не об интересах промышленного капитала, на службу которого он вступил, но с которым еще не имел той прочной связи, какая у него была с землевладельческим и рабовладельческим дворянством. В этот исключительный исторический момент 1848 — 1849 г.г., при всех уступках со стороны Николая крупной буржуазии, жандарм в нем победил промышленника и купца.

Н. Н. Фирсов.

Странички воспоминаний.

Вместо предисловия.

Внучка декабриста и дочь одной из главных деятельниц женского освободительного движения, я, как участница нашего революционного движения, являюсь таким образом третьим поколением революционно-настроенной семьи.

Биография деда моего В. П. Ивашева была помещена в № 19 „Былого“, биография матери моей, М. В. Трубниковой, старшей дочери декабриста, будет помещена в одной из ближайших книг „Былого“. Моя жизнь, в особенности детство и юность протекали в такое интересное время, что я беру смелость в этих биографиях прибавить свои воспоминания.

Мне думается, что эти странички дадут много характерного для данной эпохи и могут быть интересны как бытовые подробности известной исторической обстановки.

О. Буланова-Трубникова.

Сестрорецкий курорт.
1/IX 1921 г.

I.

Мать моя и по складу ума, и по интересам своим и деятельности была выдающейся женщиной и одной из наиболее замечательных представительниц 60-х годов. Ее неудачный брак с моим отцом, человеком очень предприимчивым и энергичным, но с ограниченным кругозором, а главное — в высокой степени деспотичным и далеко не разделявшим передовых взглядов своей жены, исковеркал всю ее жизнь и послужил причиной нервного и психического заболевания, очень рано заставившего ее покинуть общественное поприще и сведшего ее в могилу.

Борьба двух течений яркой нитью проходит через все мое детство. С одной стороны, гуманные идеи и демократические, отчасти даже нигилистические воззрения матери, приучавшей нас к простоте в одежде, старавшейся воспитать в нас уважение к труду, к меньшому брату, требовавшей, чтобы мы, по возможности, все делали себе сами, строго следившей, чтобы в нас не развивались барские замашки и привычки на каждом шагу требовать от прислуги личных услуг. Вежливое и даже дружеское обращение с при-

службой, большинство которой жило у нас десятками лет, подразумевалось само собой в нашем доме. С другой стороны — постоянное вмешательство отца, то желавшего, чтобы мы были наряжены, как жуковки, то требовавшего, чтобы мы не выходили гулять без перчаток и лакея, не позволявшего нам даже заглядывать на кухню или разговаривать с прислугой. Я еще с детства помню крупные столкновения между отцом и матерью на почве задерживания первым жалования его сотрудникам и служащим по издаваемым им в разное время газетам „Финансовое Обозрение“, „Биржевые Ведомости“ и др. Мать считала это вопросом чести, а отец хохотал и твердил, что мать ничего не понимает в делах.

Летом мы обыкновенно жили в „Поповке“, пригородном имении дяди моего Юрия Борисовича Тургенева ¹⁾, позже перешедшем к родной тетке моей Черкесовой, и там, пользуясь отсутствием отца, мать и та, и другая тетки заводили свои порядки. И сами они, и все мы, девочки, ходили в мужских костюмах, на нас возлагались разные поручения и несложные работы в огороде и в саду, нам разрешалось лазать по деревьям, бродить по лесам и лугам. Но чуть только вдали, по дороге из Царского Села, показывалась черная точка, почти всегда предвещавшая прибытие папаши, как мы стремглав мчались домой, чтобы облачиться в несносные крахмальные юбки и платья, которых мы терпеть не могли, так как они стесняли свободу движений, да и того, гляди, испачкаешь их или изорвешь, — и встречали отца чинными девочками. Думаю, что подобные уловки претили прямому и честному характеру мамы, но с отцом договориться не было никакой возможности: он не признавал никаких доводов и категорически требовал исполнения своих желаний.

Великие времена, борьба за эмансипацию и доступ женщины к образованию очень живо отражались на нашем воспитании и, в особенности, на моем, как старшей дочери. Благодаря тому, что я была очень способным ребенком, с большой памятью и смекалкой, меня начали учить страшно рано, — шесть лет я читала на двух языках и, припоминая теперь, чему только меня не обучали и в какие годы, я искренно удивляюсь, как не боялась мать набивать мою детскую голову всякими науками. Меня, например, аккуратно водили на лекции проф. А. Н. Энгельгардта в Сельско-Хозяйственный музей, тогда помещавшийся на Дворцовой площади, слева от Зимнего дворца, а мне всего было тогда 8 лет. Затем известный впоследствии физиолог Тарханов, тогда студент-медик, живший летом у нас в „Поповке“, нещадно потрошивший лягушек, а по вечерам распевавший романсы своим красивым баритоном, зимой стал читать физику двум жившим у нас девочкам: сестре моей гувернантки Наде Храповицкой и маминной воспитаннице Маше Коссицковской. Обе они были старше меня на три года, и все же меня прикомандировали тоже учиться

¹⁾ Жена его Мария Аполлосовна впоследствии разошлась с мужем, приняла участие в революционном движении 70-х годов и была близка с Дейчем, Стефановичем, Засудич, Мокривичем и Чубаровым, после казни которого эмигрировала за границу, где и умерла.

физике, которую я тогда возненавидела, не понимая ничего из объяснений Ивана Романовича. Молодой же лектор так увлекался, что однажды гувернантка наша Екатерина Яковлевна Храповицкая или, как мы ее звали, тетя Катя, тщетно ожидавшая за самоваром и лектора, и аудиторию, пошла наконец взглянуть, скоро ли кончится урок, и к великому своему смеху увидела, как Иван Романович, горячо жестикуюя, что-то объясняет, а мы все три сладко спим, положив головы на стол.

Сестра моей матери Вера Васильевна, позднее вышедшая замуж за мирового судью А. А. Черкесова, до замужества жила у нас в доме и училась петь в только что возникшей тогда консерватории, где по классу фортепиано занималась наша гувернантка Храповицкая. Благодаря тете Вере, очень дружившей с Антоном Григорьевичем Рубинштейном, который часто бывал у нас, в нашем доме было много музыки, пения, и я как сейчас помню, шли вечные разговоры и споры о преимуществах русской и итальянской музыки. Наши старшие, конечно, были пылкими сторонниками русской школы, ездили исключительно в русскую оперу — Мариинский театр и презирали „итальянщину“.

Меня также очень рано стали брать в театр, и я уже с детства знала все тогдашние оперы: Руслана и Людмилу, Жизнь за Царя, Русалку и Рогнеду, при чем часто эти поездки кончались для меня мигренью. Дома я и мои две старшие подружки увлекались повестями Купера, Майн-Рида, Густава Эмара, Вальтер-Скотта и разыгрывали эпосы из жизни краснокожих и средневековых рыцарей, для чего у нас были наготовлены целые сотни бумажных индейцев и рыцарей.

Танцы были строго изгнаны из обихода, и мы ходили на гимнастику в зал Адмиралтейства.

К числу друзей мамы принадлежали самые интеллигентные представители тогдашнего петербургского общества, — братья Серно-Соловьевичи, Анна Павловна Философова, Надежда Александровна Белозерская, Надежда Васильевна Стасова со своими братьями Владимиром и Дмитрием и женой последнего Поликсеной Степановной, Марья Александровна Менжинская, брат ее Евгений Шакеев, Андрей Александрович Сабуров, которого товарищи по лицу звали Дрюли-золотое сердце, Ив. Ив. Шамшин, впоследствии видные сановники государственной службы. Все они горячо работали, отвоюывая для женщин право на труд и образование, а для меня — девочки — это преломлялось в частные собрания: одни у нас дома, которые я очень любила, так как к нам приезжали знакомые мне и ласкавшие меня мамини друзья, да в том же приготовляли какие-то удивительно вкусные тартинки к чаю, — и другие собрания, вне дома, куда мама уезжала по вечерам и которые я ненавидела всем своим детским сердцем, так как моя обожаемая мама уезжала от меня. Я в отчаянии цеплялась за ее платье, молила остаться дома, ложилась поперек дверей, и когда мама все же уезжала, плакала в своей кровати до ее возвращения, воображая, что с ней непременно что-нибудь случится и она больше не вернется домой.

Вскоре после рождения моей младшей сестры отношения родителей обострились, здоровье мамы сильно пошатнулось, и она, взяв с собою мою вторую сестру—слабенькую Маню, уехала с сестрой своей Черкесовой за границу, где и прожила целых три года.

В период ее отсутствия дела отца, повидимому, шли блестяще, потому что жили мы великолепно: в чудной квартире на углу М. Морской и Гороховой, держали массу прислуги, лошадей, а на лето отец арендовал дачу—имение какого-то богача Есиповича, на Петергофском шоссе, с громадным парком, доходившим почти до Лигова с одной стороны и прилегавшим к морю с другой. В отдельном домике, в парке, жили дядя и тетка Черкесовы, вернувшиеся из-за границы и перестраивавшие свой дом в „Поповке“. Еще до отъезда мамы за границу разыгралось известное Нечаевское дело, при чем дядя Черкесов был арестован, как владелец популярной библиотеки и книжных магазинов, из которых московским управлял Успенский, а Петербургским В. Я. Евдокимова. Я хорошо помню разговоры об обысках, дядином аресте и долгом сидении в Петропавловской крепости, после которого он уже не мог оставаться мировым судьей и перешел в адвокатуру. Хотя улики против дяди и не о. азалось, но третье отделение держало его всю жизнь в подозрении, за ним сперва усиленно следили, и лишь под старость, когда дела его сильно пошатнулись и от бывшего богатства, когда он так легко и просто давал направо и налево всякому, кто к нему обращался, не осталось и следа, ему с большим трудом удалось получить место мирового судьи в заочульном городе Шаалях.

Дядя Черкесов дружил с нами—детворой, всегда держал нашу сторону в столкновениях со „старшими“ и, проведая, что мы основали какое-то тайное общество „друзей свободы“, вступил в него членом и старался в пустую детскую игру вложить содержание. Ранним утром должны мы были встать потихоньку и по холоду прибегать к нему на балкон его дачки, где он ждал нас с вкусным какао и каким-то необыкновенным печеньем. Затем открывалось собрание, которое он вел по всем правилам, предоставляя по очереди слово каждой, приучая нас связно говорить и возбуждая разные вопросы и споры. Мы очень любили эти собрания, но педантичная и строгая тетка Черкесова, узнав про наши утренние эскапады, нашла, что это „не порядок“, а со стороны дяди потворство и лишнее баловство, и положила конец всей затее.

В конце лета приехала из-за границы с преданной горничной Феней, служившей раньше у Михаэлис и знавшей многих друзей Михайлова и Чернышевского, моя сестра Маня, с которой мы с детства были исключительно дружны, а осенью мать телеграммой потребовала прислать к ней нас обеих, заявив, что опять остается за границей. Мы застали маму в Женеве в обществе польского эмигранта, доктора-психиатра и Павла Ивановича Якоби и его жены, сестры известного Варфоломея Зайцева. К маме чуть не ежедневно ходили рабочие—члены интернационала, из которых я помню Реггон и Longchamps и которых, повидимому, связывали с матерью, кроме личной дружбы, деловые отношения. Иногда для свидания с ними мама уезжала

с нами в предместье Savouge, где в придорожной auberge у нее были знакомые хозяева. Там в саду, под виноградной беседкой, велись какие-то длинные разговоры, пока мы весело играли с m-lle Marie, сестрой трактирщицы, толстой, добродушной швейцаркой, которая потом уехала с нами в Россию и долго жила у нас в доме, как бонна моих двух младших сестер. Интересно, что эта типичная гражданка свободной демократической страны необыкновенно быстро утратила весь свой демократизм и стала требовать отдельную горничную и обижаться, если ее на прогулке с моими сестренками не сопровождает лакей, чего мама никогда не допускала даже для себя лично.

С наступлением осени мама решила перебраться в Северную Италию, куда мы отправились вместе с доктором Якоби, который лечил мою мать и вместе с женой взялся учить меня и сестру Маню. Ехать нам пришлось через Mont Cenis, так как на Симплоне, считавшемся самым безопасным перевалом, произошел обвал, и временно сообщение было прервано. Через Mont Cenis шла тогда зубчатая железная дорога с узкими вагончиками вроде трамвайных, а на самой вершине путь прерывался, и пассажиры пересаживались в сани, в которых и доезжали до итальянских вагонов на другом склоне горы. Ехали мы в многочисленном обществе католических патеров, отправлявшихся в Рим на собор, кажется — по поводу догмата непогрешимости папы, и ехали не без приключений. Еще у подножья горы нам пришлось остановиться и переночевать в маленькой горной деревушке, так как в горах упала лавина и путь был загроможден. Затем, когда мы на завтра уже поползли в гору в своих узеньких вагончиках, на одной маленькой станции машинист с передними вагонами отцепился и ушел вперед, бросив наши два задние вагона, куда и хлынула целая волна патеров, вышедших было на станции погреться стаканчиком vin chaud. Все очень волновались, опасаясь, чтобы машинист, вернувшись, не столкнул наши вагоны вниз, но всё окончилось благополучно, и мы, обогнув в санях вершину горы, спустились в Италию. Поселились мы в Турине вместе с семьей Якоби. Павел Иванович очень усердно взялся за мое ученье, и хотя был требователен выше меры и вспыльчив до того, что не раз за неудавшийся чертеж на память какой-нибудь географической карты преобильно хлопал по пальцам своим длинным карандашом, но преподавал он так интересно, а вне класса превращался сам в ребенка и так много шутил с нами, что мы с сестрой очень любили его.

Турин в то время мало посещался иностранцами, и нас с сестрой, единственных „ragazzi russi“, знал весь город; торговцы фруктами и кондитеры на перебой зазывали нас к себе и угощали своими изделиями. Павел Иванович так баловал нас, что стоило нам остановиться перед витриной какого-нибудь игрушечного магазина или кондитерской, чтобы он со свойственной ему порывистостью сейчас же влетел в лавку и купил привлекавший наше внимание предмет, так что обыкновенно с таких прогулок мы возвращались с полными руками свертков. Как-то мы засмотрелись на выставленных в окне канареек и Павел Иванович тут же подарил нам парочку птичек, которых мы, под впечатлением географии Америки, окрестили Попocateпетлем и Пичинчой.

Птички были ручные, и мы были в восторге от подарка, но маму очень стесняли такие постоянные траты на нас, и она стала посылать нас гулять преимущественно с нашей горничной, веселой савояркой Rosalie. После уроков, набрав в муфточки, а Rosalie в передник по горсти горячих каштанов у ближайшего разносчика, мы бежали, грея руки, в чудный турийский парк, где и проводили весь остаток дня.

Весной мать неожиданно получила телеграмму от отца, призывавшую нас к немедленному возвращению, и мы быстро собрались и уехали: начиналась франко-прусская война, и отец требовал нас домой, ввиду могущих произойти политических осложнений и падения курса.

Осенью меня отдали в гимназию. В это время только что возникла в Петербурге первая частная женская гимназия, о которой, мне кажется, стоит рассказать. Она была основана двумя интеллигентными богатыми женщинами — Марией Петровной Черепановой-Спешневой и ее кузиной, Марией Дмитриевной Дурново, которые, создавая ее, преследовали определенную цель, весьма далекую от каких бы то ни было коммерческих расчетов. Они желали основать образцовое среднее учебное заведение с обширным курсом, которое давало бы оканчивающим ученицам достаточный запас сведений и умение самостоятельно работать, — ту подготовку к переходу в высшие учебные заведения, за доступ в которые боролись тогда лучшие женщины. Во главе гимназии стоял педагогический совет, куда были приглашены самые известные педагоги того времени, как Страннолюбский, Водовозов, Таганцева, Бекетов, совместно с ними и был разработан учебный план. Естествознание было поставлено прекрасно; помимо того, что преподавателями зоологии, ботаники, физики являлись профессора университета, в гимназии имелись богато оборудованные кабинеты и коллекции. В старших классах была введена химия, подробный курс которой читал профессор Лесного Института Лачинов, имея в своем распоряжении лабораторию и лаборанта, и под его руководством мы проделывали весь цикл опытов. Неорганическая химия читалась настолько подробно, что я впоследствии, поступив на женские врачебные курсы, первый год не слушала химию, так как знала все в курсе.

Математика проходила по программе мужских гимназий. В старших классах А. Н. Страннолюбский своим мастерским преподаванием сделал математику любимым предметом большинства девочек, непрерывно стремившихся решать труднейшие задачи и объяснять их на доске в той логичной и точной форме, к которой он нас приучил. По географии мы чертили на память подробные карты. С учителем истории читали по его указанию исторические книги и давали затем ему отчет в прочитанном, для чего задавались исторические сочинения. В старших классах учебники истории были изъяты из обращения, и нам предложено было записывать за учителем, составлять записки и потом готовиться по ним. Так приучали нас в будущем слушать и записывать лекции. Много внимания было обращено на языки. В старших классах читалась иностранная литература лекторами университета и лицей, при чем это уже были настоящие лекции. Каждый

лектор читал литературу на соответствующем языке, без учебников. Ученицам приходилось записывать за лектором то по-французски, то по-английски и затем в следующий раз отвечать тоже на иностранном языке. Благодаря такой системе, получались прекрасные результаты, и мы все легко говорили на трех или, по крайней мере, на двух языках, так как в старших классах, где была введена еще латынь в объеме четырех классов мужских гимназий, разрешалось отказаться от одного из новых языков. Так поставленная и обслуживаемая такими силами гимназия была, конечно, очень дорога, и лишь очень состоятельные и интеллигентные родители могли отдавать туда своих, притом хорошо подготовленных дочерей. Число учениц в классах было очень невелико, в особенности в старших, куда доходили сравнительно немногие, отставая по дороге. Первые выпуски были в 6—8 человек. Благодаря ограниченному числу учениц, учителя хорошо нас знали, каждую ежедневно спрашивали, иногда по нескольку раз, и ни о каких неприготовленных уроках, в расчете, что „меня сегодня не спросят“, не могло быть и речи. У нас царил своеобразный дух благородства и добросовестности, никто не позволял себе подсказывать, списывать у товарики, каждая работала сама и если чего не понимала или не знала, то прямо обращалась к преподавателю со своими затруднениями. Со мною в классе учились дочери профессоров: Бекетова, Вышнеградская, Шипова (сестра жены Иванчина-Писарева), Арцимович (дочь известного деятеля эпохи реформ В. Арцимовича), Мейнгардт (сестра А. П. Корба) и Троянова (сестра известного хирурга).

Отношения с преподавателями были самые лучшие и не носили казенного характера. Они все говорили нам „вы“ даже в младших классах, держались, как старшие товарищи, и поддерживали и воспитывали в нас добросовестное и серьезное отношение к занятиям. В особенности благотворно было влияние Страннолюбского. Помню, как раз он, введенный чем-то в заблуждение, сделал замечание одной из учениц — Лили Веймар (сестра известного доктора Веймара, осужденного по процессу об убийстве Мезенцова), и когда класс выяснил ему его ошибку, он своими быстрыми шагами подошел к покрасневшей Лили и, протягивая ей руку, сказал: „Я был неправ, Веймар, прошу у вас извинения“. А мы были всего еще малыши 3-го класса. Никогда никто не подозревал нас, всякому нашему слову верили, так как считалось, что ни одна не скажет неправды. Раз, уже в 6-м классе, нам был задан классный перевод с английского *à livre ouvert*, причем пользование словарем разрешалось. Я быстро кончила работу и, к своему удивлению, увидела, что моя соседка и друг, Соня Вышнеградская, с которой мы шли первыми ученицами, почему-то отстала, а времени уже оставалось немного. Думая, что подыскивание слов в лексиконе есть чисто механическая работа и этим несколько не нарушается принцип самостоятельного выполнения задачи, я стала подыскивать ей отмеченные у нее в тексте непонятные слова, молча подавая ей затем диксионер, чтобы она могла выписать его. М-г Turner, наш англичанин, решил, что я помогаю подруге, и заявил протест. Но я, считая, что никакой недобросовестности допущено не было,

потребовала, чтобы наше столкновение было перенесено на суд Марии Петровны, которая решительно взяла нашу сторону и заставила Тугнева еще извиниться перед нами за обидное подозрение. Вот как оберегали в нас чувство собственного достоинства.

Но что зато неумолимо преследовалось, это — всякая искра кокетства или тщеславия, стремление принарядиться и „нацепить“ на себя какое-нибудь золотое украшение, которого могло и не быть у другой, менее богатой товарки.

Утром еще в передней нас неизменно встречала педантичная и аккуратная Мария Дмитриевна, от зоркого глаза которой не ускользал ни один локончик, ни одна кудряшка на лбу, ни одно золотое колечко или белое кружево на шее, всё это тут же конфисковывалось до вечера, а виновница отсылалась в дортуар разделить пышную прическу и переплести волосы в тугие гладкие косы. В старших классах разрешалось носить часы, но и то лишь серебряные и на черном шнурке, чтобы не возбуждать зависти в товарках.

Танцы, конечно, были подвергнуты ostracismu, и мы делали гимнастику на аппаратах в мужских костюмах.

Мы все страшно любили свою гимназию, были привязаны к нашим преподавателям и после окончания курса, сдав экзамены при университете, так как гимназия прав не имела, не хотели расставаться с любимой школой и охотно оставались в ней еще на год в педагогическом классе.

Я была уже в старших классах, когда в Петербург приехали жить наши родственники — брат отца, чопорный, важный сановник, хотя либерального направления, с многочисленными, хорошенькими и невежественными дочками-куколками, и кузина матери М. Ю. Шишкова, выросшая вместе с ней, но не имевшая ее общественной жилки. Молодежь Шишковых — два брата и сестра воспитывались в Англии, были начитаны и говорили по-английски лучше, чем по-русски. Мы все кузины и кузены быстро сдружились, при чем нашим разговорным языком стал английский. Тетя Шишкова устроила у себя по пятницам танцевальные уроки, пригласив известного тогда танцовщика Стуколкина, и сумела убедить маму, что ничего худого не выйдет, если мы выучимся танцевать, за что мы принялись с большим рвением, вероятно потому, что раньше это было для нас запретным плодом. Пятница стала нашим любимым днем, тем более, что мы все к этому времени повлюбились друг в друга, и хотя влюбились все как-то наперекрест и никто не пользовался взаимностью, но последнее обстоятельство почему-то мало нас огорчало, и все чувствовали себя довольными и веселыми.

Но, сделав уступку в вопросе танцев, наши старшие, т.-е. мама и гувернантка Екатерина Яковлевна, во всем прочем неуклонно проводили принципы пуританского воспитания по заветам Писарева. Всё лишнее, несерьезное беспощадно изгонялось. Наряжаться не позволялось, мы ходили всегда в просто спитых коричневых платьях с черными передниками, без малейшего украшения, кроме черного бантика у воротника, с гладко заплетенными в две

косы волосами. Учиться музыке полагалось только тем, у кого выдающиеся способности, каковые оказались у моей сестры Мани; меня же освободили от ученья, так как-де не стоит учиться, чтобы в конце концов уметь лишь „брянчать для себя“. У всех у нас был хороший слух и порядочные голоса, и мы очень любили пение, но, конечно, никому и в голову не приходило учить нас петь, и репертуар наш подвергался строгой критике. Романсы, особенно модные, считались пошлыми и глупыми, и нам разрешалось петь лишь русские и малороссийские песни. Тем не менее, мы превесело проводили время, собираясь вместе по праздникам, болтали, рассказывали друг другу прочитанные романы или повести, танцевали, пели хором и т. д. Очень любили мы зимой отправиться всей компанией в нашу любимую „Поповку“: кататься там на санках с гор, гадать по вечерам в пустых комнатах наверху.

Тетя Шишкова упростила маму отпустить меня в ней на лето погостить в ее приволжское имение. Это было то самое „Архангельское“ Хованских (тетя Шишкова была урожденная княжна Хованская), где выросла и воспитывалась моя мать, и мне хотелось повидать те родные ей места, о которых я так много от нее слышалась.

Мы уехали раннею весною; Волга была в полном разливе, когда мы плыли на одном из первых появившихся тогда двух-этажных пароходах американского типа с колесом позади.

И невиданный пароход и новая, незнакомая мне, столичной жительнице, природа Поволжья произвели на меня неизгладимое впечатление. Целые дни проводили мы на палубе, любясь раздвигавшейся панорамой берегов с живописными городами, старинными монастырями, богатыми садами и шумными пристанями, где мы подолгу стояли, пока бабы с шутками и песнями таскали на пароход дрова, а с наступлением ночи я заслушивалась, как в прибрежных кустах заливались голосистые волжские соловьи, и тете с трудом удавалось отправить меня спать в каюту.

В Симбирске, расставшись с нашим удобным, но медленно поспешавшим „Миссури“, мы уселись в большую лодку с лихими гребцами и переправились на луговой берег, где ожидали лошади, быстро умчавшие нас за 20 верст, в „Архангельское“.

Здесь я сразу окунулась в невиданную по роскоши обстановку: точно в заколдованном замке Спящей красавицы встала и ожила передо мною старопомещичья жизнь давно ушедших времен.

Громадный, красивый дом с бесконечным числом комнат, с разными „половинами“, как во дворцах, билиардной, библиотекой, разными гардеробными и „кафешенскими“, с обширным залом в два света, занимавшим большую часть дома, где высокие до полу окна выходили в тенистый сад с цветниками и богатыми оранжереями; старинная мебель, чудный фамильный фарфор, огромный штат прислуги, начиная с экономки и поваров и кончая кружевницами, которые в особом флигеле, сидя над своими коклюшками и тонким вышиванием, готовили приданое для кузины Веры; конюшня, полная упряжных и верховых лошадей — все принадлежности широкой барской

жизни мне совершенно незнакомой. Меня окружали таким баловством и предупредительностью, которые меня нередко смущали.

Для нас с Верой была приготовлена чудная комната с двумя альбовами — лиловым и розовым. К нам были приставлены горничная и швея, а тароватый дядюшка Шишков прислал нам целый ворох кисей и разных летних материй.

Мы катались на лошадях и лодках по залитым разливом лугам и по насаженному правильными аллеями дубовому лесу, ездили на рыбную ловлю, а когда вдоволь насладились всеми прелестями „Архангельского“, то начали ездить по гостям.

Чуть не весь уезд оказался населенным дядюшками и тетюшками, желавшими видеть дочь своей далекой кузины, и вот мы в великолепном дормезе на шестерке лошадей едем то за 20, то за 30, 60 и 80 верст в другое гостеприимное дворянское гнездо, где гостим неделями, знакомимся с роум-кузнями и кузенов и проводим время в разных увеселениях: устраиваются балы, домашние спектакли, живые картины и т. п., а когда, обезивши всех, мы вернулись в „Архангельское“, то к нам стали приезжать с ответными визитами все соседние помещики, и опять пошло шумное веселье.

Для меня, выросшей в строгой, пуританской обстановке, весь этот мир казался сказочным, и долго, по возвращении домой, я не могла прийти в себя от массы новых впечатлений, и все снилась мне Волга с ее красой и веселое лето.

Но вот, в разгар нашей безблачной юности, произошел окончательный разрыв между родителями, и жизнь наша вдруг перевернулась.

У моего отца не было собственного состояния; состояние принадлежало моей матери. На ее деньги отец начал последовательно издавать целый ряд газет, открыл банкирскую контору и убедил сестру и брата мамы вложить свои деньги в это предприятия. Предприятия его шли в общем удачно, но игра на бирже и большие траты разорили его: незадолго до разрыва его с женой, многочисленные кредиторы потребовали уплаты, и ему грозил крах. Положение его, впрочем, совсем не было отчаянным. Друг нашей семьи, присяжный поверенный Д. В. Стасов, призванный на совет, ознакомившись с финансовым положением, находил, что всё можно поправить, а главное спасти состояние матери и ее сестры и брата. Он предлагал отцу передать основанную им газету „Новое Время“ — в его руки на несколько лет, отстранившись от всякого вмешательства в дело на это время, и брался произвести полную расплату по всем обязательствам. Предполагалось пригласить талантливого фельетониста А. С. Суворина, тогда восходящую звезду журналистики, и других любимых публикой писателей и, конечно, дать либеральное направление газете. Но отец отказался наотрез и продал свое „Новое Время“, уплатив по векселям всем кредиторам, кроме близких, которые потеряли всё до копейки.

Из великолепной барской квартиры на Литейной, где мы занимали чуть не весь дом, с целым штатом прислуги, начиная с вучеров и лакеев и кон-

чая тремя горничными, собственными лошадьми и т. п., мы вдруг очутились с мамой в скромной квартирке в 5 комнат на Вас. Острове. Помню, что переворот этот очень огорчил и смутил нас. Мы чувствовали, что с нами произошло что-то необычное для других семей, и долго не могли освоиться с новым положением, хотя собственно исчезновение с нашего горизонта отца нас не очень печалило, так как мы не особенно его любили, да к тому же он достаточно часто навещал нас.

Мама отважно принялась за литературную работу и трудилась, не покладая рук, в стремлении, как можно меньше брать у нашего отца. В последнем классе и в особенности по окончании гимназии, когда я еще на два года осталась в гимназии преподавательницей, что давало мне право иметь одну бесплатную ученицу и таким образом предоставляло возможность окончить курс моей третьей сестре, за которую мама уже не могла так дорого платить,— я стала понемножку помогать матери, переводя отдельные главы заказанных ей переводов. Так, помню, я переводила вместе с ней „Маленькие женщины“ Луизы Олькот.

II.

В нашей семье жила на правах ее полноправного члена старушка-няня Прасковья Дмитриевна Рибаконова. Крепостная стариков Ивашевых, она вместе с мужем, еще молодой женщиной, вызвалась ехать в Сибирь с невестой их сына Камиллой Петровной Ледантю и там стала служить молодой чете, за что старик Ивашев дал ей вольную. Муж няни стал пьянствовать, и его скоро отправили обратно в Сибирскую губернию, но Параша привязалась к своим молодым господам, верно служила им всё время каторги и поселения и вынянчила их троих детей, пользуясь любовью и полным доверием всей Ивашевской семьи. Ей давались разные секретные поручения, и она неоднократно ездила из Туринска в Симбирск и обратно, перевоза деньги в потайном ящичке резного образа, который хранился потом у нас в семье, и передавая на словах то, чего нельзя было писать в письмах. После смерти моего деда-декабриста и его жены, няня вернулась в Россию со своими питомцами, из которых старшей — моей матери — было 6 лет. Впоследствии няня жила у моих родителей и вынянчила всех нас, дожив до моего замужества и до рождения моего старшего сына в 1882 году. Мать мою она так горячо любила, что при всяком ее нездоровьи заболела сама от волнения, но никогда не могла забыть, что когда-то растила свою теперешнюю барыню, и неизменно смотрела на нее сверху вниз, не признавая за ней достаточного житейского опыта, читала ей нравоучения насчет нашего воспитания, приговаривая: „где же вам это знать?“ Нас четырех она баловала и ревниво отстаивала свои исключительные на нас права, восставая против приглашения в дом гувернанток и бонн, что сопровождалось целыми драмами, так как няня считала, что они чудовища, которые будут мучить ее ненаглядных барышень. Даже мой деспот-отец побаивался старой няни и старался жить с ней в мире. Няня была ходячая летопись, и мы страшно любили слушать ее рас-

сказы о красавице-бабушке с косами до пят, о других женах декабристов, которых она всех знала и помнила. Рассказы свои она пересыпала прибаутками, поговорками, которых у нее был целый запас на все случаи жизни, вроде: „Лень надо на ремень“, „На сердитых воду возят“, и разными чувствительными стишками про пастухов и пастушек и райской жизни в шалаше с милым сердцу. Будучи крепостной гуманной семьи Ивашевых, она лично на себе не испытала тяжести крепостного права, но достаточно насмотрелась на все его ужасы, чтобы всей душой ненавидеть рабство и произвол и вполне сознательно ценить благородную попытку декабристов, за которую они заплатили всей жизнью. Она всегда говорила о них со слезами на глазах и проклинала царя Николая, которого и мы привыкли ненавидеть чуть ли не с пеленок. У нас в семье вообще существовал культ декабристов: о них, о их борьбе за свободу родного народа говорили с благоговением; мы с детства знали их всех в лицо в мамином альбоме и десятки раз слышали рассказы о 14 декабря. Первые годы моего детства совпали с эпохой освобождения крестьян и реформами 60-х годов, когда кругом только и говорили о свободе: первые книги, которые я прочла, были Тургеневские „Записки Охотника“, повести Марка Воячка, „Переселенцы“ Григоровича,—все это рано положило известный отпечаток на детском уме.

Сама мама была всегда очень мягка и снисходительна к нам — детям, все строгости исходили от нашей гувернантки и от тети Черкесовой. Я не помню, чтобы мама когда-нибудь нас наказывала. Влияние ее на наше воспитание было огромно, но центр его тяжести лежал в том личном примере, который всегда был у нас перед глазами, в полном соответствии слов и поступков и в обаянии, окружавшем ее личность.

Детьми, а потом и подростками, любили мы сидеть около нее, на скамеечках, слушать ее рассказы и верить ей всякие свои невзгоды и затруднения.

Помню, уже большими девочками сидели мы как-то в сумерках кружком около нашей любимой мамы. „Мамочка, а как ты думаешь, выйдем ли мы замуж?“ спросил кто-то из нас.

— Думаю я, мои милые, что нет, разве одна Маня, у вас нет приданого, и вы не красавицы, чтобы выйти без него. — И затем мама стала говорить о том, что суть жизни не в личном счастье.

В альбоме младшей сестры, мама, в день ее рождения, написала приветствие в стихотворной форме, оно кончалось словами:

Затем всю жизнь отдай труду:
В нем счастье, наслажденье,
В нем утешенье от беды
И в нем людей спасенье!..

Когда мы летом приезжали в „Поповку“, на нас, между прочим, возлагалась обязанность учить грамоте крестьянских девочек; у каждой из нас были свои ученицы, которые сдружились с нами так крепко, что, выйдя даже замуж, всегда зазывали к себе в гости нас, своих бывших подружек-учитель-

ниц, и оставались с нами на „ты“. Если мы обращались к матери с просьбой помочь деньгами какой-нибудь бедствующей крестьянской семье, она отвечала обыкновенно, что у нее нет свободных денег, но что на наши удовольствия — еду, игрушки и т. п. — их тратится так много, что мы сами можем оказать требуемую помощь, отказавшись от очередного подарка или удовольствия. Так, помню, мы все отказались от рождественской елки, но зато купили корову двум крестьянским сиротам, при наличии которой их брал на воспитание их дядя. Позднее мать рассказывала нам о Герцене, с которым была лично знакома за границей, о Гарибальди, имя которого было тогда у всех на устах. В кабинете мамы стояла его гипсовая статуэтка во весь рост, и мы сочиняли в честь его стихи и потихоньку декламировали их перед ним.

Вообще, атмосфера нашего дома была пропитана идеями свободы, равенства и братства, и имена тогдашних передовых борцов, как Чернышевский и Михайлов, были мне знакомы с детства, а братьев Серно-Соловьевичей, в особенности Александра Серно (как его у нас звали), мы знали, как своих. После нашего возвращения из-за границы к маме иногда забежали жены эмигрантов — Чуйко, Щенснович и др., и я даже помню один случай, когда экстренно кому-то из них понадобилась довольно крупная сумма. У мамы наличных не оказалось, и она дала им заложить свою черную кружевную мантилью большой ценности и привлекла нас с сестрой к складчине, на что мы горячо откликнулись, притащив свои маленькие драгоценности: золотые медальоны и колечки.

Поступление в гимназию направило мои мысли в другую сторону. Я жадно училась, много читала, но почти исключительно беллетристику, русскую и иностранную, да еще исторические книги. Затем мы увлекались танцами в обществе своих кузин и кузенов, где политические вопросы совершенно отсутствовали. Я и сейчас не знаю, не сознательно ли мать отвлекала наше внимание от нараставшего тогда революционного движения, но факт тот, что до 1877 года до нас не долетало ни единого о нем слова. Газет мы никогда не читали, и потому для нас было настоящим откровением знакомство с Е. Д. Дубенской. Мы поехали, как обычно, в „Поповку“ и там застали нового члена семьи, воспитательницу маленьких Черкесовых, Екатерину Дмитриевну Дубенскую, привлекавшуюся по процессу 193-х. Она перед тем повредила себе ногу, очень страдала, и мы с сестрой Маней добровольно прикомандировались к ней в качестве телохранителей, так как многочисленная детвора, набравшаяся на лето в гостеприимную „Поповку“, постоянно забывала о больной ноге Екатерины Дмитриевны и тревожила ее. Екатерина Дмитриевна или тетя Катя, как ее все звали у Черкесовых, сперва отнеслась к нам очень недружелюбно, считая нас пустыми, светскими девицами, но наши попечения о ее ноге смягчили ее сердце, она стала присматриваться к кисейным барышням и затем страстно нас полюбила. От нее узнали мы о начавшейся героической борьбе русской интеллигенции с царизмом. Мы впервые услышали, что тут, рядом с нами, боролись за счастье народа и гибли беззаветно преданные своим идеалам самоотверженные люди, бросившие привычную жизнь,

близких, отказываясь от личных выгод. Узнали имена, биографии выдающихся революционеров, с которыми у тети Кати были крепкие связи.

Тетя Катя дала нам целый ряд книг, и, с горящими глазами и затановленное дыхание, мы просиживали ночи на пролет, слушая ее потрясающие наши юные души рассказы.

Скоро она нас познакомила со своими друзьями, ее навещавшими. Часто всех бывал Орест Эдуардович Веймар, лечивший ее ногу. Красавец-доктор, с тактом светского человека и рыцарскими манерами, быстро завоевал себе симпатии всего дома, сошелся с моим дядюшкой А. А. Черкесовым, а мы, молодежь, ходили за ним по пятам, и его приезды были настоящим для нас праздником. Он много рассказывал о войне, во время которой заведывал санитарным поездом цесаревны. Мария Федоровна так благоволила к нему, что, когда ему приходилось работать в Аничковом дворце, где в нижних помещениях были устроены склады белья и пр., она всякий раз спускалась туда и просиживала целые часы, запросто беседуя с Орестом Эдуардовичем, чрезвычайно живым и увлекательным собеседником. Когда он был осужден на каторгу, то, как говорили в Петербурге, благодаря ее неотступным просьбам, был послан на Кару флигель-адъютант Норд, который предложил, между прочим, Веймару подать просьбу о помиловании, обещая ему свободу. Веймар отказался, и умер на каторге от чахотки.

Смерть его ускорил один эпизод: как знающий и искусный врач, он пользовался большой популярностью и лечил не только заключенных, но и вообще население Кары и ее окрестностей. Однажды, в исходе лета, за ним прислали спешно к жене священника, у которой были трудные роды. Ехать надо было верст за 15, а Орест Эдуардович отправился в одной рубашке, не взяв верхнего платья. У больной ему пришлось пробыть долго, а между тем погода изменилась, и на обратном пути он попал под сильнейший ливень и промок до костей. Товарищи-женщины, навестившие его (он был в вольной команде), заметили усилившийся у него кашель и журили его за недостаточную внимательность к его собственному, уже плохому здоровью. „Зато моя больная останется жива“, спокойно отвечал Веймар. И в этих простых словах сказался весь он, с его благородством настоящего рыцаря без страха и упрека.

Через два месяца его не стало.

Благодаря завязавшимся дружеским отношениям с дядей Черкесовым, который, как старый друг Серно-Соловьевичей и поклонник Герцена, всегда готов был оказать посильную помощь революционерам, хотя сам и не принимал активного участия в движении, — в „Поповку“ скоро привели знаменитого вороного рысака „Варвара“. Кучер Адриан Михайлов приходил выезжать его и, очевидно специально тренируя его для подготовлявшегося убийства Мезенцева, учил его брать с места в карьер. Для этого „Варвар“, запряженный в пролетку, медленно подъезжал к крыльцу, где его на миг останавливали, а мы уже ждали момента, чтобы с двух сторон вскочить в дрожки, и тотчас „Варвар“ пускался во весь мах. За несколько времени до

убийства Мезенцева „Варвара“, в целях конспирации, перевели в татарсаль, в Петербурге, откуда и выехал на нем А. Михайлов в памятный день 4 августа.

Часто бывали у тети Кати друзья ее Клеменц и Бравчинский; последний после убийства приезжал с ней проститься.

Осенью, когда мы переехали в город, тетя Катя познакомила нас со своими друзьями чайковцами — сестрами Корниловыми и мы с Любовью Ивановной Корниловой-Сердюковой начали работать, обслуживая ссыльных и заключенных. Одним из первых наших клиентов стал Н. С. Тютчев. С теткой его, важной старушкой, жившей в доме Управления Уделов, нас познакомила Любовь Ивановна, и в дальнейшем мы сносились через нее с обожаемым ею племянником, которому пересылали деньги для других ссыльных. Около этого времени из Баргузина, где жил Н. С., приезжала в СПб. одна его знакомая местная обывательница, через которую повидимому и предупредили его о намерении здешнего кружка помощи ссыльным и заключенным пользоваться его адресом.

Этот кружок был тою ячейкой, из которой образовался политический Красный Крест. Любовь Ивановна познакомила нас с Марией Клавдиевной Решко, обаятельной молодой девушкой, с которой мы очень подружились. Мария Клавдиевна была живая, как огонь, и при этом мягкая и нежная с людьми, что не мешало ей быть большой ригористкой и очень требовательной к себе и другим. Хорошенькая, гибкая блондинка с лучистыми глазами очень моложавая, она казалась девочкой лет 17—18, хотя ей было верных 27-28 лет. Необыкновенно привлекательная, она пользовалась любовью всех окружающих, сама оказывала большое влияние и очень успешно действовала, как пропагандистка, среди учащейся молодежи и рабочих. Мы с сестрой с головой бросились в работу, усердно собирали деньги и организовали сношения с женской половиной Дома Предварительного Заключения через одну надзирательницу, молоденькую брюнетку, которая аккуратно приходила ко мне на свидания, доставляя письма от заключенных женщин. Мало-по-малу мы перезнакомились со многими жившими в Петербурге революционерами. Чаще других по разным конспиративным делам мы выдались тогда, обыкновенно в библиотеке на углу Невского и Литейного, с Иванчиным-Писаревым, производившим впечатление довольно хлыщеватого *bon vivant*, при всяких обстоятельствах готового ухаживать за всеми и точно с насмешкой, не в серьез, относившегося к революционным делам. Конечно, у него это была лишь такая манера, но надо сказать, что на нас, энтузиастов и пуританок, он действовал расхолаживающе, да и весь он как-то не вязался с тем представлением, какое мы себе составили о революционерах, которые в наших глазах должны были быть рыцарями без страха и упрека.

Дмитрий Александрович Клеменц, хотя был большой балагур, но совсем в другом роде; увлекательный и неистощимый рассказчик, побывавший в разных переделках, смелый и решительный; замечательный лингвист, он говорил чуть не на всех европейских языках, а когда позднее мы с ним встре-

тился в ссылке, он уже усвоил себе язык сойотов и татар, кочующих в Минусинской степи. Он знал массу революционных песен и научил нас петь итальянский гимн „Avanti“ и так же Карманьолу, „Drapeau rouge“ и „France, à bientôt“ — прощальную песнь отторгнутых от родины эльзасцев. Со своим резко выраженным монгольским типом он очень бросался в глаза, и можно только изумляться, каким образом ему так долго удалось жить в Петербурге на свободе. Он был очень находчив и не терялся ни в каких обстоятельствах; так, раз, придя к одним знакомым, он наткнулся там на обыск; мгновенно выбежав на лестницу, он успел выхватить ключ от входной двери и запереть ее снаружи, а затем благополучно скрылся от жандармов.

Мы с сестрой пользовались большим доверием тогдашних революционеров за свою осторожность и острую память, благодаря которой знали наизусть все адреса и явки, не прибегая к записным книжкам. Александр Михайлов, которого в партии окрестили кличкой „дворник“ за его педантичную требовательность и осторожность, говорил, что он всегда спокойно идет на свидание с нами, так как уверен, что *Доморукис* (как нас прозвали) не приведут ни одного шпика.

За несколько времени до Соловьевского покушения в Петербург приехала бежавшая, переодевшись крестьянкой, из административной ссылки в Кеми, Софья Андреевна Иванова. В Петербурге она явилась по адресу нашей приятельницы Маша Решко, за которой довольно сильно следили и которая поэтому предложила нам укрыть беглянку у себя. Мама ничего против этого не имела, но поставила непременным условием, чтобы Софью Андреевну раньше переодели в обычное платье, так как иначе ее появление может породить подозрение у прислуги. Софья Андреевна водворилась у нас и прожила довольно долго в качестве приезжей кузины.

Но вот происходит покушение Соловьева. Город в смятении. Товарищи решили, что Софье Андреевне надо немедленно уехать из Питера, если только это окажется возможным. Мы сбегали на Николаевский вокзал, где у нас было много знакомств, так как мамина воспитанница была замужем за начальником движения, а дядя Черкесов состоял юрисконсультom дороги.

„Что, Николай Сергеевич, — спросили мы начальника станции, — у вас наверно проходу нет от жандармов и полиции сегодня?“ — „Представьте, ничего подобного, точно забыли про Николаевский вокзал, я и сам удивляюсь, что бы это значило“. Сбежать домой, снарядить в путь Шушку, как звали Софью Андреевну, и при посредстве того же любезного Николая Сергеевича устроить нашу уезжающую кузину сколь возможно комфортабельнее с первым отходящим поездом — было делом одного часа. Дня за два перед тем приехала из „Поповки“ друг наш тетя Катя Дубенская и накануне вечером принесла откуда-то большой револьвер и шприфт в мешечке и положила его на этажерку за книгами. Благополучно славив Шушку, мы мирно провели вечер и только собирались укладываться спать, как раздался звонок, и мы услышали, что прислуга говорит маме: „Барыня, там полиция, и спрашивают

вас". Мы переглянулись. „Софью Андреевну проследили и арестовали“, мелькнула одна мысль у всех. А тут еще этот револьвер, чуть ли не парный к Соловьевскому, как уверяла тетя Катя, и шрифт, о котором мама не подозревает! Но на этот раз гроза прошла мимо. Жандармский офицер спросил маму, не живет ли у нее какой-нибудь Соколов. Оказывается, Соловьев при аресте назвал эту фамилию, и у всех Соколовых были произведены обыски в ту же ночь. Мама ответила, что одну комнату в квартире нанимает у нее ее beau frère, присяжный поверенный, помощник которого В. В. Соколов ежедневно ходит к нему работать, но здесь не живет. Жандармы попросили отпереть дядин кабинет, осмотрели бумаги и, не найдя ничего подозрительного, удалились, извинившись за причиненное беспокойство и не заглянув в другие комнаты.

Наша квартира постоянно служила местом свидания революционеров. К нам часто ходила Вера Николаевна Фигнер. Со своей обаятельной внешностью и пламенной речью, вся огонь и энергия, В. Н.—этот апостол революции, этот, по евангельскому выражению, прирожденный ловец человеков,—у нас, как и везде, где ни появлялась, немедленно всех и вся покорила и стала обожаемой владычицей наших юных сердец. Ее мать Екатерина Христофоровна, твердая и мужественная женщина, приходила со своими дочерьми Евгенией и Ольгой выдаться со старшей дочерью. Я подружилась с Евгенией, и эта дружба сохранилась у нас на всю жизнь. У Евгении был очень хороший голос, низкий контральто, и она у нас всегда пела. В особенности хорошо пела она Шубертовский „Бурный поток“ и какой-то нигде мною раньше не слышанный романс, начинавшийся словами: „Никого никогда не любя“.

Не долго, впрочем, оставалась Евгения на свободе. По обстоятельствам времени ей пришлось перейти на нелегальное положение, а затем скоро последовал и арест ее на квартире Квятковского в Лештуковом переулке, где был, между прочим, найден план Зимнего дворца. На квартире Квятковского и Фигнер была устроена засада, в которую попала жена Морозова, Ольга Любатович. Вот как она рассказывала нам о своем аресте. Полиция тогда еще была наивна и неопытна и иной раз шла на удочку. Задержанная Ольга Любатович объяснила, что зашла случайно, спутав адрес своей портнихи, назвала себя первым попавшимся именем и указала вымышленный адрес. Когда обман обнаружился, она назвала другую фамилию и адрес, опять вымышленные. Когда ее выводили из дома, где жил Квятковский, ей встретилась шедшая было туда же Мария Николаевна Оловенникова, и Ольга Любатович уверилась, что Морозова предупредят об ее аресте. Выиграв таким образом время, она на грозный вопрос, как смеет она водить за нос полицию, обнаружила раскаяние и заявила, что теперь скажет всю истинную правду и что не говорила раньше адреса, потому что очень боится своего мужа, строгого и ревнивого, которому не знает как и объяснить, что попала под арест, и назвала на этот раз действительно адрес, где они с Морозовым жили по подложному паспорту—инженер Хитрово с женой. Осторожная Мария Николаевна, впрочем, не пошла сама к Морозову, а послала туда Перовскую, ко-

торая, известив Николая Александровича об аресте Ольги, помогла ему убрать из квартиры всё компрометирующее и советовала ему скрыться. Но Николай Александрович решил поступить иначе и сделать попытку помочь жене, положению которой с его исчезновением становилось бы сразу серьезным, а потому, проводив Перовскую, он остался ждать привода Любатович. Ольга, увидев его дома и думая, что он не предупрежден, чуть не упала в обморок от испуга, что очень соответствовало взятой ею на себя роли перепуганной обывательницы, случайно попавшей в переделку. Морозов же в совершенстве разыграл изумленного и весьма благонамеренного супруга. Полиция далась в обман и временно оставила их под домашним арестом, из которого они благополучно убежали при помощи преданной прислуги и проделали это так ловко, что приставленные сторожить их городовики заметили их отсутствие лишь на другое утро, когда явилось начальство с приказом отправить арестованных в тюрьму. Прожив несколько времени на другой конспиративной квартире, они так же благополучно уехали из Петербурга за границу.

Часто бывали у нас на квартире Перовская, Геси Гельфман, очень привязавшаяся к нам с сестрой, Богданович, Колоткевич, Тихомиров, Бараников, Якимов и М. Н. Оловенникова, с сестрой которой Лизочкой я была на одном курсе.

Все они, особенно Перовская, с величайшим уважением относились к маме и всегда старались урвать минутку, чтобы побеседовать с нею и поспорить. Мама сочувствовала их целям, но решительно отрицала террор, и это был вечный предмет споров. Всегда серьезная, редко улыбающаяся своей очаровательной улыбкой, от которой ее личико вдруг приобретало детски-веселое выражение, сердечная к людям, с глубоким, сосредоточенным взглядом, миниатюрной фигуркой и мягкими манерами, Софья Львовна Перовская своей наружностью не обращала на себя внимания и легко терялась в толпе. Находчивость и самообладание ее были поразительны. С ней мы часто встречались еще в доме знакомых курсисток—сестер Личкусов.

Раз днем сидели у Личкусов Перовская и наша приятельница тетя Катя Дубенская. Внезапно явилась полиция.

При первом звонке Софья Львовна бросилась в кухню, откуда прислуга куда-то отлучилась, оставив дверь незапертой. Тетя Катя стала в коридоре, заслоня собой дверь в кухню. Увидя входящих в переднюю городовых, Софья Львовна схватила с гвоздя кухаркина передник и, как была, без шляпки, в одном платье и этом переднике, стремглав сбегала с лестницы прямо в лавочку напротив, где купила семечек и платочек на голову и, пощелкивая семечки, благополучно прошла мимо шпионов с беззаботным видом горничной из ближайшего дома.

Геси Гельфман была кротким, привязчивым существом: из бедной еврейской семьи, мало образованная, натерпевшаяся горя и обид, она была глубоко предана своим товарищам по партии и готова была идти в огонь и воду за каждого из них. Мы тоже в то время переживали период беззаветного предклонения перед революционерами, и, может быть, такое настроение особенно

сближало нас с Гесей, которая редко пропускала день, не повидав нас. Обыкновенно она приносила нелегальную литературу, которую мы заделывали в конверты и частью рассылали по почте, а я распространяла у себя на прачебных курсах, приводя в отчаяние свою подружку Черкавскую, боявшуюся за меня и принимавшую в таких случаях на себя роль моего телохранителя. Помню, как-то раз Геса говорила о том, что затевается ограбление Петербургского Казначейства, и даже предлагала мне участвовать в предпринятии.

Всю выходявшую подпольную литературу и позже все новые номера „Черного Передела“, „Зерно“ и т. п. я всегда по два экземпляра доставляла другу нашей матери, перенесшему эту дружбу и на меня, — Владимиру Васильевичу Стасову, к нему в Публичную библиотеку, где приносимое он хранил в укромном месте.

Часто случалось, что, по дороге на службу, Владимир Васильевич еще утром забегал к нам на квартиру и кричал своим зычным голосом в дверь нашей комнаты: „Вставайте, испанка, надевайте скорей пудермантель и идите сюда!“ Это означало, что у него было какое-нибудь важное сообщение. Испанкой он меня всегда звал после одного костюмированного вечера у Стасовых, где я была в понравившемся ему костюме испанки.

Баранников — красивый, статный юноша с фигурой юного Аполлона, Голоткович с большими черными усами, мрачным видом и доброй любящей душой, симпатичный Богданович с большой бородой и типом настоящего русского барина-помещика, веселый и мягкий. Как-то раз мама сказала Вере Николаевне, что за нашей квартирой, кажется, начинают следить и, может быть, лучше на некоторое время не ходить к нам опасным людям. Вера Николаевна отвечала, что придет сюда других, и прислала... Богдановича, который и зачастил к нам. Впоследствии, встретив меня в Москве, уже замужем, он смеясь говорил, что немного увлекался мною: — „А вы этого и не замечали“... — прибавлял он, притворяясь обиженным.

М. Н. Оловенникова бывала реже других. Властная, жесткая, очень умная, она, идя к намеченной цели, к отдельным людям относилась как к пешкам, которыми можно было швырять, как попало. Отдельные личности для нее не существовали. Ей ничего не стоило послать кого-нибудь на конспиративную квартиру проверить, не устроена ли там засада, хотя всё это можно было узнать и без ненужных жертв.

Среди всей этой молодежи Тихомиров казался каким-то *pater familias* по своей солидности. Не знаю, действительно ли так велика была разница в годах или просто он на вид был старше своих лет, но например Морозов его ближайший товарищ по редакционной работе, казался перед ним совсем юнцом. Вообще, к Тигрычу, как его звали в товарищеском кругу, все относились с большим почтением, и его мнение считалось чуть ли не непреложным. Помню, как этот солидный господин категорически заявлял, „что у нас социальная революция произойдет самое позднее через два года“, и это повторяли многие, указывая, что сам Тигрыч так говорил, значит — это правда.

Раз как-то Вера Николаевна, уезжая, предупредила нас, что, если в ее отсутствие явятся к нам нелегальные люди с ее запиской, то мы таких должны свести с теми из революционеров, с которыми поддерживали сношения. В одно прекрасное утро к нам явился некрасивый, смуглый господин, довольно мрачного вида, чем-то расстроенный и взволнованный, от имени Веры Николаевны, но без ее условной записки. Хотя многое говорило в пользу пришедшего, но отсутствие записки заставило нас насторожиться, и мы наотрез отказались оказать ему просимое содействие. Незнакомец был очень обескуражен нашим отказом и нашим заявлением, что, повидимому, произошло какое-то недоразумение и он принимает нас за кого-то другого, так как мы-де даже не понимаем, с кем это должны его знакомить. Несмотря на его уверения, что мы ставим его в чрезвычайно затруднительное положение, так как других адресов у него нет и он рискует быть арестованным, мы, как ни волновались сами, оставались непреклонны и, скрепя сердце, проводили его в переднюю. Вдруг раздался звонок, и в отворенную дверь быстро вбежал молодой блондин с открытым и веселым лицом и, увидя первого незнакомца, с радостным восклицанием бросился к нему на шею, а нам протянул долгожданную записку. Мы тоже пришли в восторг от счастливо разрешившегося недоразумения и на радостях чуть не расцеловались с обоими друзьями. Это были Стефанович и Дейч — Орест и Пилад революции, и с этого дня мы подружились с ними обоими, а в особенности с Дейчем, чему способствовало то обстоятельство, что он довольно долго оставался в Петербурге, между тем как Стефанович скоро уехал, а главное милый характер Евгения (партийная кличка Дейча), его доброта, сердечность и полное отсутствие генеральства. При всей своей молодости он был уже крупным деятелем со сложившимися вполне убеждениями, а мы были неопытные и невежественные в революционных программах юнцы, хотя и большие энтузиасты, и за всё время нашего знакомства он всегда держался с нами на равной ноге, никогда не подавлял нас своей авторитетностью, а молодость ведь всегда очень ценит такое к себе отношение — не свысока.

У нас с ним установились теплые, чисто братские отношения. Он интересовался всеми подробностями нашей жизни, сблизился с мамой, которая тоже охотно беседовала с ним. Часто для деловых свиданий мы избирали кондитерскую и кофейную Исакова, где Евгений, пользуясь случаем, спешил угостить нас шоколадом и сладкими пирожками, которые мы, большие лакомки, очень любили, да, кажется, наш любезный амфитрион не менее охотно их поедал.

Несмотря на его выдающуюся революционную роль и на значение в партии, он ведь не бог знает сколько еще насчитывал себе лет, молодость была в нем ключем, и не мудрено, что иногда мы хохотали и дурачились забыв про серьезные дела.

Когда и Дейч, в свою очередь, уехал за границу, мы долго вели с ним очень деятельную переписку, сообщая ему деловые сведения, для чего прибегали к шифру и химическим чернилам. Через нас шли главные сношения с ними и их единомышленниками.

Но и из-за границы Дейч не забывал при случае прислать нам какую-нибудь безделушку, какой-нибудь маленький подарок, чтобы порадовать своих петербургских друзей.

В 1879 г., когда произошло разделение партий после Липецкого съезда, мы примкнули к партии Черного Передела, а с народовольцами у нас оставались только личные отношения, что не мешало нам оказывать им разные услуги по старой памяти. К этому же времени относится наше знакомство с флотской молодежью чернопередельческого направления, между которыми были гардемарины: Анатолий Буланов, Сергей Вырубов, Налимов, Владимир Дружинин, Николай Лавров, штурман Иван Иванович Петров, Муравьев, Владимир Философов и его родственник-студент Дмитрий Философов, будущий министр торговли и промышленности. Все это были славные юноши, большею частью однокурсники по Морскому корпусу, дружные между собою. Между этими молодыми моряками выдавался своей начитанностью, умом и солидными знаниями Анатолий Петрович Буланов.

Морской корпус тогда носил определенно кастовый характер, — непеременимым условием поступления туда было дворянство, и при приеме первой категорией шли сыновья морских офицеров и чиновников флота, и лишь незначительный процент принимался, так сказать, с воли, во внимание к полученным на конкурсных экзаменах высоким баллам. К таким, к слову сказать, относился Буланов. Несмотря на строго кастовый характер, среди воспитанников корпуса было тогда довольно много юношей, читавших и интересовавшихся освободительным движением. А. П. Буланов, через брата своего студента-медика Леонида Буланова, рано примкнувшего к движению, ходившего „в народ“ и тогда очень рано, уже в октябре 1878 г. арестованного и судившегося по процессу Оболенева, Каленкиной, Малиновской, Веймара и Михайлова, стоял близко к революционному миру и снабжал своих сотоварищей нелегальной литературой. Начальство косилось на него, преподаватели звали его в насмешку „гражданин Буланов“, но он шел первым по выпуску, благодаря своим блестящим способностям, и его терпели в корпусе. Интересно, что, несмотря на то, что большинство воспитанников не только не сочувствовало революционерам, но было настроено монархически, дух товарищества и благородства настолько сильно сказывался, что, когда начальство предпринимало неожиданные обыски с целью обнаружения нелегальщины, эти монархисты сейчас же предупреждали неблагонадежных своих однокашников, вместе с ними усердно прятали контрабанду, задерживали и запугивали начальство и дружно действовали против него.

Прочие молодые офицеры мало читали — одну-две книги, но были настроены очень революционно и, кроме пропаганды среди своих матросов, доставали через минеров динамит и готовы были на всякое опасное предприятие, если оно было нужно для высших революционных целей. Владимир Владимирович Философов тоже выделялся среди товарищей по своему воспитанию: сын известной деятельницы женского движения и большого, друга моей матери, он знал нас с детства, был очень привязан ко всей нашей

семье, а во время невольного пребывания его матери за границей, когда мама особенно пригрела его, совсем, что называется, дневал и ночевал у нас в доме. Впоследствии он и его кузен Дмитрий Философов отошли от движения. Вырубов был тоже воспитанный и довольно светский молодой человек, хотя и не принадлежал к тому большому свету, где вращались его приятели Философов и Муравьев. Красавец собой, с недурным голосом, остроумный и веселый, с мягкими прекрасными манерами, смелый и решительный, но не глубокий по взглядам, он скоро стал нашим любимцем. Особенно заслужил он нашу любовь отношением своим к нам, когда зимой 1880—81 года нас постигло ужасное несчастье. Наша дорогая мать заболела острым психозом, и Сергей все время, пока больную не перевезли в больницу, ходил за ней наравне с нами, как родной сын. Весной 1881 г. за него вышла вторая сестра моя, кроткая и слабенькая красавица Маруся, с которой нас с детства связывала исключительная дружба.

После провала типографии с № 1 „Черного Передела“ дальнейшая редакционная работа перешла к кружку нашего закадычного друга Марии Клавдиевны Решко. В один из таких дней, когда происходила работа для очередного номера „Черного Передела“, там, кроме брата Маши, Константина Решко, и живших у нее студента Уварова и фельдшерицы Варвары Бычковой, которую почему-то особенно любила наша третья сестра, гимназистка Катя, были еще моряки Петров и Буланов, один из главных членов центрального и редакционного кружка, писавший статью. Вдруг явилась полиция. Самое компрометирующее успели выкинуть за окно в сад, а Буланов положил свою статью за пластрон крахмальной рубашки. Присутствие посторонних лиц было объяснено полиции как посещение гостей в день рождения молодой хозяйки. Полиция производила тщательный обыск, но Буланову удалось уличить минуту и, войдя в комнату самой старухи Решко, он сунул свои листы под белье в ящик уже обысканного комода, который через минуту был торжественно опечатан.

Хозяева и жильцы все были арестованы, офицерам же, как тогда еще было принято, предложили отправиться в сопровождении полиции домой для установления личности, после чего они считались свободными. Тогда вообще полиция держалась вежливо с людьми из общества, а с офицерами очень церемонилась, и если при обыске они оказывались случайными гостями, то их обычно не арестовывали.

Иван Иванович Петров, штурманский офицер, беззаветно преданный делу революции, особенно славился своей удачей вечно попадать на обыски в знакомых домах.

К тому времени относится следующий эпизод в нашей семье: семейство Решко все сидело. В один прекрасный день пронесся слух, что кто-то из них выпущен, и в этот же день моя сестренка Катя не явилась во время из гимназии. Встревоженная мама спросила нас, старших сестер, не знаем ли мы, куда могла пойти после уроков Катя. Она ничего нам не говорила, но у нас мелькнула мысль, что Катя тоже слышала про освобождение Решко

и умчалась в своей пассивной Бычовой. Так оно и было. Думая, что ее приятельница на свободе, она после уроков отправилась на Петроградскую Страну, где на Белозерской жили Решко, во втором этаже одного из небольших деревянных домиков провинциального типа, без водопроводов и канализации.

Взбежав на лестницу, она долго безуспешно звонила и вдруг заметила, что за ней из щели чуланчика наблюдает чей-то глаз. Смутясь, она стала быстро спускаться с лестницы. „Постойте, барышня!“ — закричал выскочивший из чулана дворник. Катя прибавила шагу и выбежала за ворота. Дворник свистнул и устремился за ней вместе с подоспевшими городскими и соседними дворниками. Быстроногая гимназистка летела по малолюдной улице во всю прыть своих четырнадцати лет, а за нею со свистом и криком гналась тяжеловесная погоня. В конце концов ее настигли и увезли сперва в участок, а потом в Дом Предварительного Заключения, где надзирательницы были поражены видом узницы в коротком платье и черном переднике, которая при этом ни за что не соглашалась, чтобы ее заперли в темной камере одну! Ввиду необычайной юности преступницы, надзирательницы пошли на уступки и оставили ее дверь незапертой, чтобы перепуганная девочка могла успокоиться и заснуть. Утром ее отпустили домой.

Скоро после этого мы как-то получили объемистое письмо от Дейча и с вечера долго сидели, раскрашивая полторахлористым железом промежутки между строчками и расшифровывая появлявшиеся там знаки. Наконец, нас одолел сон, и, бросив работу неоконченной, мы улеглись. Под утро нас разбудил необычный звонок, и когда заспанная горничная выпустила неожиданных гостей, то оказалось, что явилась полиция с обыском. Пока шли переговоры между горничной и полицией, пока разбудили и подняли маму и на ее вопросы пристав отвечал, что имеет предписание произвести обыск у ее старших дочерей-курсисток, мы уже давно были на ногах и бесшумно уничтожали расшифрованную часть письма, а также другие компрометирующие бумаги; изорвав их на мелкие кусочки и частью сжегши их, мы смешали полученную массу с зубным порошком и мыльной пеной и все вылили в ведро умывальника. Когда мама постучала к нам в дверь, мы сделали вид, что только что проснулись; принялись одеваться, наконец открыли дверь, но когда предводитель средиземной эскадры заглянул было в комнату, то я жалобным тоном сказала матери: „Мамочка, нельзя ли хотя немного прибрать здесь“. — „Вы разрешите горничной прибрать в комнате барышень?“ — спросила мать. Разрешение было дано, и горничная Катя унесла грязную воду, а вместе с ней и остатки переписки. Осталось еще несколько листов бумаги, которые мы не решились уничтожить, их мы положили себе за корсажи. Наконец, офицер приступил к обыску, найдено ничего не было, но, тем не менее, он заявил, что ему приказано, независимо от результатов обыска, обеих курсисток арестовать. Делать нечего, надо было собираться, но мы обратились к приставу с просьбой позволить нам проститься с младшими сестрами. Позволение было любезно дано, и, нежно обнимая сестренку в их кроватках, мы благополучно сунули им бумаги под подушки. Полиция была так предупредительна, что

не желая нас компрометировать, посадила нас вдвоем одних в карету, а пристав ехал сзади на извознике, так что мы имели возможность отлично сговориться. В доме предварительного заключения мы встретили знакомую мне надзирательницу, которая попозже вечером, когда вступила в дежурство, передала нам записки друг от друга и от других, сидевших тогда, и, между прочим, рассказала, как у них недавно провела ночь наша младшая сестра.

Утром нас вызвали на допрос в 3-е отделение. Допрашивал жандармский генерал и прокурор Желиховский. Мы уже раньше сговорились изобразить светских барышень и довольно успешно сыграли свою роль, чему, конечно, способствовал наш внешний облик, отнюдь не типичный для тогдашних курсисток и революционерок. Увидя перед собою двух изящных девушек с хорошими манерами, называвших его „mon général“ и сбивавшихся на французскую речь, удивленно отвечавших на вопросы о знакомстве с каким-то революционером „Волком“, что они не помнят, чтобы такой господин был им где-либо представлен, мы так провели полицейских лисиц, что генерал окончил допрос и, взяв нас с сестрой за руки, вывел в соседнюю комнату, где оказался ожидавший нас отец, и со словами: „Вот вам ваши дочки, они невинны, как овечки“, передал нас растроганному и обрадованному фатеру (как мы его называли), которого встали мы гораздо больше боялись, чем генерала с прокурором. Как только мы очутились с ним с глазу на глаз в карете, он принялся сам чинить строгий допрос, но мы живо обезоружили его, указав, что уже если сам генерал считает нас невинными агницами, то о чем же еще говорить.

Надо сказать, что отец очень неодобрительно относился к моему поступлению на врачебные курсы; о том, что мы одновременно были вольнослушательницами на высших Бестужевских курсах, он и совсем не знал. Когда я в 1878 году сказала ему, что буду держать вступительный экзамен на врачебные курсы при Николаевском военном госпитале и прошу его подписать необходимое разрешение, он ответил: „Никогда этого не позволю!“ а на мои возражения схватил со стола толстый лексикон Макарова и вые себя бросил мне в голову, и только сестра Катя, успевшая ударить по словарю, спасла меня от такого вразумительного ответа.

Вот каков был отец в минуту гнева. Не мудрено, что мы боялись подобных вспышек и старались избегать спорных вопросов.

С курсами он потом примирился, но, конечно, и не подозревал, какими делами занимаются его дочки, как не подозревал и того, что за людей он иногда встречал у нас на квартире.

Другим пунктивом отца были „молодые люди“. На всякого подобного, появлявшегося у нас в доме, он смотрел как на злодея, вторгнувшегося в его владения, сейчас же брал его на подозрение и грозно спрашивал нас: „Это что за молодой человек?“ Особенно недружелюбно относился он к брату Марии Решко — Константину Клавдиевичу, часто бывавшему у нас и за которого позже вышла третья сестра моя Екатерина. „Если я еще раз встречу у вас этого молодого человека, — категорически объявил он нам, — я его спущу

с лестницы". Мы передали Косте о готовившейся ему участи, и с тех пор, когда являлся папаша, бедный Костя, если случайно находился у нас, стремглав бежал в кухню и спасался через черный ход.

Единственное исключение отец делал для морских офицеров, к ним он относился благосклонно, особенно к Вырубову, который, со свойственной ему утонченной светскостью, вел с ним салонные разговоры.

Буланова он тоже терпел, но мы не хотели называть его настоящего имени, так как Анатолий Петрович, занимаясь пропагандой среди рабочих, старательно скрывал свою фамилию, а у нас бывало слишком много разного народу. Отцу было сказано, что высокого красивого офицера, с целой шапкой темных кудрей на голове, зовут Петр Сергеевич Иванов, и когда через некоторое время мне пришлось сообщить отцу, что я выхожу замуж за этого мнимого Петра Сергеевича, я была в довольно затруднительном положении. Надо было видеть изумление отца, когда, выслушав мою новость и радостно изъявив свое согласие, он услышал от меня такое продолжение: "Только вот что я должна тебе сказать, что жених мой не Петр, не Сергеевич и не Иванов, а Анатолий Петрович Буланов". — "Это еще что за маскарад и за глупые шутки!" — вскричал он. Но я вывернулась, объяснив свой поступок нежеланием преждевременной болтовни бесчисленных наших тетюшек и дядюшек о моем предполагаемом браке.

III.

В состав петербургской группы Черного Передела, после провала № 1, входили, насколько помню, следующие лица: Мария Клавдиевна Решко с братом Константином, упомянутые мной морские офицеры с Анатолием Булановым во главе, я с сестрой Марией (в замужестве Вырубовой), Евгений Козлов с женой Евгенией (рожденной Рубанчик), учитель Ульянов Алексей Николаевич с женой Настасьей Петровной, студенты университета Шефтель Михаил Исаакович, Загорский Константин Яковлевич, Блэк Александр Львович, Семенов Н. И., студенты медицины: Дубровин Евгений Александрович, Ченылаев Виктор Владимирович, Лаврентьев Николай Николаевич, Симзен Михаил Михайлович, Уваров Михаил Иванович, братья Марковские Святослав и Виктор (ст. ветеринар), Адамович, Переляев, Анатолий Бонч-Осмоловский с женой Варварой (помещики Западного края), студентки-медики Кланг Мария Александровна, Золотарева Надежда Леонтьевна (в замужестве Шефтель), фельдшерица Бычкова.

Мария Клавдиевна Решко была одна из самых ценных работниц партии, член центрального кружка; к большому горю всех близко знавших эту замечательную девушку, она, будучи арестована, схватила в тюрьме туберкулез и, хотя матери удалось взять ее по болезни на поруки и увезти за границу, она прожила очень недолго и скончалась в Кларане в Швейцарии.

Одаренная ясным умом, увлекательною речью, много и жадно читавшая, по своей способности быстро завоевывать симпатии людей, разбираться в них

и группировать их вокруг себя, она являлась пропагандисткой и организатором по призванию. Работала она среди учащейся молодежи. При своей мягкости, отзывчивости и сердечности, которыми всегда были отмечены ее отношения к людям, она отличалась неутомимой, какой-то железной энергией и большим ригоризмом, даже аскетизмом в жизни, чего требовала и от других.

Из моряков, кроме Анатолия Буланова, который, как я уже говорила, по своим способностям, умственному развитию и образованию далеко превосходил своих товарищей, самыми серьезными и преданными делу были Петров и Лавров. Иван Иванович Петров, умерший в 90-х годах, до конца своей жизни сохранил свои юношеские стремления и взгляды. Щепетильно честный и педантично-аккуратный, тоже ригорист в частной жизни, он обладал нежной и доброй душой и всегда был первым помощником и другом в тяжелые минуты жизни своих товарищей. Работал он среди матросов и был членом центрального кружка ¹⁾).

Николай Николаевич Лавров, несколько мешковатый, горячий юноша, демократ по привычкам и обиходу, занимался с рабочими и матросами, ездил в типографию, работал в центральном кружке. Был в ссылке одновременно с нами, но в западной Сибири, где женился на ссыльной Орловой; впоследствии служил вместе с моим мужем техником по постройке Рязанско-Уральской ж. д. Умер.

Петров и Лавров много читали, чего нельзя сказать о других моряках, как Дружинин, Налимов и Вырубов, над которым даже смеялись, что он прочел одного Карлейля. Первые два очень быстро отстали от революционной работы, наравне с Муравьевым и Филосовым. Вырубов, очень сильный и ловкий, играл тогда в группе довольно значительную роль, вел пропаганду среди рабочих и матросов, доставал шрифт, исполнял разные технические дела. Он происходил из помещичьей семьи, отличался светским лоском и большой практичностью, еще в училище любил выпить и покурить, что продолжал делать и выйдя в офицеры и бросил лишь после женитьбы. В 1882 году он уехал в свое имение во Владимирской губернии, где стал видным земским деятелем, каковым оставался и в качестве члена губернской управы, но по смерти жены, сестры моей Марии, и с переходом на службу в Варшаву резко порвал с либеральными тенденциями, стал настоящим бюрократом и даже не позволял детям своим поддерживать связи с прежними знакомыми, из опасения повредить своей карьере.

М. И. Шефтель и в особенности Загорский, выдающиеся по уму, образованию даровитые юноши, представляли литературную силу группы, наравне с А. П. Булановым. Их очень оберегали и не пускали заниматься с рабочими. Первый впоследствии приобрел громкую известность, как адвокат-цивилист, жил богатым барином, вступил в кадетскую партию и был депутатом первой государственной Думы. Загорский, из украинских помещиков, отдался

¹⁾ Портрет его и некоторых других черно-переделовцев переданы мною в Музей Революции, равно как портрет Леонида Буланова (Земледелец). О. Б.

науке и профессорствовал в Петербургском университете и Политехническом институте. Это был тип кабинетного ученого: несколько не от мира сего, рассеянный, он не годился для конспирации по своей непрактичности. Он был особенно близок с моим мужем, с которым его связывала редакционная работа и запросы умственной жизни. Департаменту полиции Загорский и Шефтель остались неизвестными.

Козловы и Ульянов были высланы из Петербурга, Дубровин судился за сношения с крепостью и ушел на 3 года в каторжные работы. Блэк перешел в Народную Волю и попал в ссылку. Семенов, талантливый молодой пропагандист, окончил юридический факультет, был популярным адвокатом в Саратове, депутатом 1-й государственной Думы в Трудовой группе и комиссаром временного правительства в Саратове. Умер в 1920 году от сыпного тифа. Ченныкаев, Лаврентьев и Симзен — все были земскими врачами, последние два рано отошли от партии и от революции. Братья Марковские подвизались на провинциальных сценах.

Студент Перелев был выслан из Петербурга вместе с Константином Решко и продолжал свое образование в Дерптском ветеринарном институте. Смутно припоминаю, что в Дерпте собирались устроить типографию у Перелева на квартире, куда исподволь свозили шрифт и типографские принадлежности. Но прежде чем задуманная типография стала функционировать, бедный Перелев, вообще очень болезненный юноша, скончался от разрыва сердца. Скоростная смерть одинокого студента вызвала приход полиции, которая при описи имущества натолкнулась на недозволенные предметы. Конечно, слухи о находке быстро разнеслись по городу, и посвященные в дело, в том числе К. К. Решко, благоразумно не показывались на квартиру покойного товарища и избегли ареста. Дело с типографией не получило дальнейшего раскрытия.

После разгрома типографии „Черного Передела“ и ареста № 1, чернопередельцы устроили новую типографию в Минске, откуда готовую газету и прокламации перевозили в Петербург. Анатолий Петрович, поехав за очередным номером, с ужасом рассказывал, что в Минске царят совершенно патриархальные нравы. В квартире, где печатается газета, живет жилец-офицер с денщиком, которому квартирохозяева, они же типографчики — два еврея, одного, я помню, звали Матвей — без дальних околочностей запретили входить в свои комнаты, и это никому не казалось подозрительным. Далее, к ужасу своему, Анатолий Петрович увидал, что мальчишки на улице запускали бумажного змея из испорченных листов того же „Черного Передела“. Минская типография тоже недолго просуществовала ¹⁾. Втечение зимы 1881 года масса чернопередельцев была арестована, кажется, по указаниям шпионов Жаркова и Прейма, убитого потом на Смоленском кладбище. Организация была до такой степени разгромлена, что налицо в Петербурге оказалось два-три человека. Анатолий Петрович, на котором держалось чуть

¹⁾ До декабря 1881 года.

ли не все дело, продолжал одновременно вести пропаганду среди рабочих, в организации которых он видел центр тяжести всей революционной работы, писал в „Черном Переделе“, вместе с двумя своими коллегами, тогда студентами-юристами — Шефтелем и Загорским и выбивался из сил, чтобы поспеть всюду. Одно время надеялись, что в Москве уцелело что-нибудь из организации, но надежда не оправдалась: там тоже наиболее деятельные были выхвачены, оставшиеся же по тем или иным причинам не могли всецело отдаться революционной работе, как того требовало катастрофическое положение дела. Приходилось признать, что партия Черного Передела погибла, и на ее возрождение нет надежд.

Как мало было людей и средств, показывает такой случай: весной или летом 1881 года все разбежались кто куда, и когда Анатолий Петрович привез из Минска очередной номер газеты, не было, где ее сложить в городе, и я отвезла чемодан, наполненный свежотпечатанными листами, в подгородное имение моей тетки Черкесовой „Поповку“. Работник, везший вещи, оборонил несчастный чемодан на Царскосельском шоссе, и мы провели много тревожных минут, не зная, на что решиться: искать ли чемодан или ждать молча, что будет. К счастью, кто-то из соседних крестьян поднял его и, не раскрывая, доставил в Поповку моей популярной в уезде тетушке.

Анатолий Петрович тогда издавал еще специальную рабочую газету „Зерно“ и успел выпустить несколько номеров, но, затем, видя, что нет ни денег, ни людей, он с приехавшим тогда в Петербург Стефановичем стали склоняться к мысли войти в партию народovolьцев на известных условиях и таким образом получить возможность продолжать революционную деятельность.

Надо сказать, что в то время не было совершенно таких враждебных отношений между социалистическими партиями, как впоследствии между с.-р. и с.-д. Обе партии — чернопеределцы и народovolьцы так недавно еще составляли единую организацию, еще вчера работали плечо к плечу друг с другом, наконец, личные дружеские, братские отношения связывали большинство действующих членов, нередко вышедших из того же известного кружка чайковцев. Это замечалось особенно в занятиях с рабочими, при пропаганде среди которых тщательно избегали проявления фракционных разногласий интеллигенции, так что, как мне рассказывал Панкратов, рабочие чаще всего не знали партийной принадлежности пропагандиста. Нередко также, при отъезде, аресте или иных причинах чернопередельцы передавали рабочих народovolьцам и обратно. Все это облегчало переход в другую организацию. Желабов еще в 1880 г. уговаривал нас сделать это, но тогда еще можно было работать в своей партии, а чернопередельцы надеялись сохранить свою организацию. Теперь же не приходилось мечтать об этом. Часть чернопередельцев, как Аксельрод, Дейч, были за границей, другие сидели или были сосланы, и часть уцелевших членов партии вступила в Народную Волю с некоторыми оговорками с обеих сторон¹⁾.

¹⁾ Я недостаточно ясно помню эти условия, чтобы приводить их здесь. Может быть, кто-нибудь из современников дополнит мои сведения. О. Б.

Анатолий Петрович продолжал свою деятельность среди рабочих, у которых он пользовался неизменным успехом. У него было что-то простое в манерах и речи, что заставляло их видеть в нем своего человека. И ученики его сильно привязывались к нему. Среди рабочих, которых он особенно выделял из толпы, возлагая на них надежды, был один очень способный и одаренный юноша — некто Степан Белов. Анатолий Петрович готовил в нем себе помощника. Но вдруг Белова арестовали. Просидел он, впрочем, недолго, — его выпустили, и он тотчас же явился на свидание к своему любимому Петровичу. На свидании он волнуясь рассказал, что Судейкин предложил ему поступить агентом в департамент полиции, и выпустил его для этой цели. Белов говорил, что обещал ему подумать, и прибавлял, что, служа в полиции, он может быть полезен партии, передавая разные сведения, в своих же донесениях можно надуть департамент. Анатолий Петрович выяснил ему, что ничего, кроме предательства, не получится, что ничего существенного он знать не будет. Судейкин же будет требовать от него доставления сведений и не выпустит из своих лап, и в заключение, как единственный выход, предложил ему немедленно взять расчет на заводе, уехать в деревню и, таким образом, скрыться с глаз Судейкина. Белов колебался. Через день-два он должен был снова увидаться с Анатолием Петровичем, который обещал принести ему денег на дорогу.

В это свидание Анатолий Петрович, к сожалению своему, встретил Степана в нетрезвом виде. Он говорил бессвязные речи о том, что Петровича скоро арестуют, плакал о его судьбе. В это время Анатолий Петрович заметил шедшие за ними две фигуры. Он свернул на безлюдный тогда Преображенский плац на Песках, — фигуры не отставали. Тогда Анатолий Петрович, пользуясь своей гигантской силой, одним толчком свалил Степана в сугроб, куда отправил и подбегавшую к нему фигуру, и, сбив с ног второго филера, бросился бежать по направлению к Пескам со всей скоростью своих длинных ног. Там, сворачивая из переулка в переулочек, он нашел свободного извозчика и благополучно удрал от погони.

Там не менее, ввиду обнаружившегося предательства Белова, к счастью, не знавшего ни настоящей фамилии, ни адреса моего мужа, ему нельзя было дольше оставаться в Петербурге среди рабочих.

В это время муж был уже в отставке, которую получил вскоре после производства в офицеры. Несмотря на то, что он по своим выдающимся успехам окончил первым, с премией адмирала Нахимова, имел право на кругосветное плавание, от которого сам отказался, морское начальство, взявшее его на подозрение, в особенности после осуждения на поселение брата его Лсонида, назначило его в ревельский полу-экипаж, что считалось чуть не наказанием. Командующий таможенной флотилией, где служил Анатолий Петрович, однажды призвал его к себе и, указывая на полученную бумагу, сказал, что ему предлагается следить за молодым мичманом и сообщать о его поведении. В то время военные считали для себя оскорбительной роль шпиона. Адмирал сказал, что „он еще, слава богу, не жандарм.

следить за своим подчиненным не станет", а полуофициально посоветовал Анатолию Петровичу подать в отставку по семейным обстоятельствам, ибо все равно ему не дадут служить спокойно.

Так как это вполне соответствовало желанию самого Анатолия Петровича уйти из флота (он не мог сделать этого раньше, обязанный по закону отслужить не менее пяти лет за полученное в корпусе образование) и отдался всецело революционной работе, то он немедленно подал рапорт адмиралу, получил увольнение и приехал в Петербург.

Я в это время продолжала учиться на врачебных курсах, но весной 1881 года наш курс бунтовал, требуя удаления приват-доцента Бакста, в чем нас энергично поддерживали старшие слушательницы, тоже крайне недовольные его курсом физиологии. Баксту к тому времени пришлось уже уйти из других учебных заведений, благодаря тому же недовольству студентов, и для получения профессорского звания ему оставалась чуть не единственная дорога через наши курсы. Он цепко держался за свое место при поддержке ученого секретаря, профессора анатомии Ландцверта и ботаника Баталина, людей с подозрительной репутацией; другие члены коллегии, во главе с благородным Бродным, другом учащейся молодежи, настаивали на его удалении и праве слушательниц требовать знаний, а не суррогата их.

За протест Ландцерт придумал наказать предполагаемых зачинщиц или, иначе сказать, неблагонадежных, по мнению начальства, студенток и на своем экзамене по анатомии, без сдачи которого нельзя было приступить к дальнейшим испытаниям, стал проваливать, беззастенчиво придираясь к заранее намеченным по списку курсисткам и пропуская остальных. Во время перерыва он забыл списки на столе, и взволнованные медички увидели, что в нем были отмечены крестиками срезавшиеся и также еще не ответившие, но считавшиеся зачинщицами. Произошел скандал, перешедший в забастовку всех курсов, включая и выпускных, которые приостановили сдачу экзаменов впредь до удовлетворения наших требований о переэкзаменовке для всех срезавшихся и обязательном ассистенте на экзаменах анатомии и физиологии. На переэкзаменовку начальство не согласилось, но всему курсу было разрешено остаться на второй год, якобы по собственному желанию, и были удовлетворены требования о введении учебника физиологии вместо лекций Бакста, о назначении ассистента и обещано никого не исключать, как зачинщиц.

Благодаря этому инциденту, я, уже сдавшая оба главных предмета — анатомию и гистологию, осталась на целый год почти свободной от занятий и могла усиленно взяться за переводную работу в двух газетах: „Новое Время“ и „Живописное Обозрение“, где я переводила беллетристику и фелетоны, чем содержала себя и младшую сестру Лену, еще учившуюся в гимназии. Когда перед Анатолием Петровичем встал вопрос о переходе на нелегальное положение, чтобы спастись от неминуемого ареста, мы с ним решили оба уехать в Москву с подложным паспортом, бросив квартиру. Жившая с нами

моя младшая сестра Леночка¹⁾ поступала на попечение отца, так как мама была в больнице, сестра Маруся уехала с мужем во Владимирскую губ., а Катя училась в Москве на фельдшерских курсах.

Нам удалось скрыться, не обратив ничьего внимания, и в Москве, прожив из предосторожности некоторое время в меблированных комнатах в разных частях города и убедясь, что за нами нет никакой слежки, мы сняли квартиру в отдельном квартале, куда и приходили Стефанович и другие наши товарищи. Анатолий Петрович опять взялся за свою любимую пропаганду среди рабочих, заводил знакомства, связи и всё шире развивал свою деятельность. Яков Васильевич Стефанович увлекался возможностью работы среди староверов, представлявшихся ему слоем населения оппозиционно-настроенным, а потому и симпатизирующим революционным планам. Надежды Стефановича не оправдались, так как интересы староверов ограничивались очень узкими религиозно-обрядовыми рамками.

Раз, идя с кипой свеж напечатанных прокламаций к этим самым староверам, он на Лубянской площади, запахивая шубу от сильного ветра, уронил свою пошу. Порыв ветра подхватил прокламации, и они полетели во все стороны. Стефанович пытался было ловить их, но тут на беду на площади показался взвод солдат, тоже начавших было подбирать летавшие листочки. Яков Васильевич бросился на утек и благополучно добежал до нас, где с хохотом изображал всю сцену погони за носившимися на площади белыми листочками.

Я плохо себя чувствовала и больше сидела дома и занималась подбором материалов для бесед А. П. с рабочими и переписыванием объемистой тетради в писчий лист,—это были сведения, в разное время доставленные Клеточниковым Исполнительному Комитету Народной Воли. Кончив первую половину, которую мы послали за границу (она, к сожалению, не дошла), и спешно принялась за вторую, когда в первых числах февраля Анатолий Петрович встретил на улице Степана Белова, сразу узнавшего его, хотя и сделавшего вид, будто он его не заметил.

На другой день Анатолий Петрович убедился в установленной за собой слежке и, не зайдя на условленные свидания, к вечеру, заметя, как он думал, следы от гнавшихся за ним шпионов, пришел домой. Мы решили бежать. Сожгли всё, что нужно, сняли все условные знаки, но рука не поднималась на драгоценную тетрадь Клеточникова, которую муж положил себе за рубашку. В сумерках мы вышли из квартиры и стали переулками пробираться к Брестскому вокзалу, когда на одном повороте на нас из-за угла бросилась целая свора сыщиков и городских. Навалившись на Анатолия Петровича, они быстро скрутили ему руки, повалили в подоспевшие савки и укатили; меня буквально схватили за горло и таким же порядком препроводили в Бутырскую часть.

Как потом мы узнали, на другой день, несмотря на отсутствие услов-

¹⁾ Позже замужем за Ал. Андр. Никоновым — присяжным поверенным.

ного знака и на то, что накануне Анатолий Петрович не явился ни на одно свидание, на нашу квартиру зашел Стефанович, а через несколько дней М. Э. Новицкий.

Кроме того, в Москве был произведен целый ряд арестов среди народовольцев, были задержаны Лебедев, Мартынов, Эрнст, Макаренко, Лапицкий, Михалевиц и др.

Об аресте Стефановича я узнала тотчас же: он, как опытный человек, немедленно завязал сношения со стражей и прислал мне записку такого содержания: „Вы были больны, — никого и ничего не знали“. Так как подобную же записку в таких же словах городской привнес мне и от мужа, я поняла, что они уже успели снестись между собой и будут показывать, выгораживая меня.

Когда меня вызвали на допрос, я отвечала соответственно полученным директивам. Главной уликой против меня была упомянутая Клеточниковская тетрадь с переписанной моей рукой копией. Поэтому меня очень изумило, что она не фигурировала в числе вещественных доказательств и что генерал спросил меня: „А вы ничего не писали?“ — „Ничего“, — отвечала я, глядя на него во все глаза и ожидая, что сейчас буду уличена во лжи. Но, к удивлению, возражений не последовало. Тетрадь как в воду канула. „Неужели Анатолий Петрович успел ее уничтожить или бросить?“ — ломала я себе голову. Впоследствии он рассказывал, что тетрадь, конечно, нашли при аресте, но, когда он хотел обратить внимание прокурора на отобранные у него записки, — их нигде не оказалось. Жандармы спрятали ее из-под носа у представителя законности.

В Москве мы просидели месяца два, и затем нас перевезли в Петербург: мужа в Петропавловскую крепость, а меня в Предварилку, откуда, после энергичных хлопот отца, меня в начале мая выпустили ему на поруки. Очутившись на воле, я узнала, что власти намерены создать процесс московской группы народовольцев. Вероятно, оно так бы и было, но Судейкину удалось выследить так называемую динамитную квартиру Прибылевых, за провалом которой последовали аресты Корба, Грачевского, Теллалова, Сав. Златопольского и др. Московская группа этим фактом отодвигалась на второй план, и было решено расправиться с нею административным порядком. Я помню, как удивила кузена моего Юрия Трубникова, впоследствии члена Гос. Совета по выборам, заехавшего как-то летом ко мне спросить, не может ли он быть нам полезен своими связями в бюрократических верхах, сказав, что для нас лично выгоднее, если дело пойдет в пресловутом административном порядке.

Летом же родился мой первенец Леонид, слабенький ребенок, и я поступила на службу в О-во Конно-железных дорог, где управляющим тогда был В. И. Евдокимов, впоследствии председатель Шлиссельбургского комитета, близкий знакомый нашей семьи.

Так как муж мой был назначен в ссылку в „отдаленные места Сибири“, а определялся тот или другой город начальством на месте, то я решила оста-

вить ребенка у сестры Вырубовой, жившей у себя в имении, и ехать с мужем одна. Дядя мой Евгений Карлович Леданто как-то спросил меня: „Знаете ли вы, Оля, что у вас в Енисейске есть родственники? Губернатор и его жена — ваши дядя и тетка, и я хочу им написать, чтобы вам назначили получше место ссылки, но какое именно назвать, не знаю“. Не знала этого и я, и вот мы с дядюшкой вооружились картой Восточной Сибири и стали гадать, где лучше. По географическому положению решили, что хорошо должно быть в Минусинске (мы не ошиблись), и в таком смысле Евгений Карлович написал своей двоюродной сестре М. Е. Педашенко.

Чтобы ехать с мужем, мне тоже пришлось проделать ряд формальностей, так как сама я ссылалась в северные губернии, а в Восточную Сибирь отправлялась уже по собственному желанию и потому могла ехать не по этапу, а свободно. Чтобы меня отправили вместе с мужем, требовалось согласие помощника начальника Главного Тюремного Управления, которым был тогда Коковцев. Он по лицу был товарищем дяди моего А. А. Черкесова, который и дал мне к нему письмо. Благодаря этому, Коковцев принял меня отнюдь не любезно, очень отговаривал ехать вместе с мужем, так как я буду следовать уже как арестантка, а в дороге всё зависит от личного усмотрения данного конвоя, и они здесь бессильны оградить меня от могущих случиться неприятных столкновений. Я стояла на своем, и тогда Коковцев написал бумагу о включении меня в одну партию с Анатолием Петровичем, но на прощанье прибавил: „Я могу сделать для вас лишь одно: если где-либо вам придется плохо, пришлите телеграмму на мое имя с просьбой выпустить вас на свободу, и я сейчас же дам соответствующее распоряжение“. Я поблагодарила, не предполагая, как скоро мне придется воспользоваться его любезностью, и не думая, чтобы он помнил свое обещание.

В конце года Анатолия Петровича перевели в дом предварительного заключения; я очень обрадовалась, потому что там давали свидания еженедельно по полчаса, то через решетку, то лично, т.-е. мы сидели рядом в особой комнате, а поодаль сидел надзиратель, между тем как в крепости видаться приходилось через две решетки, на расстоянии сажен и под неуспынным надзором трех пар глаз: смотрителя, сидевшего с часами в руках в промежутке между нашими окошечками, и двух жандармов, стоявших за мужем и за мною, и притом всего по четверть часа два раза в месяц.

К моему удивлению, муж был недоволен переводом. Он говорил, что предпочитает крепость, где у него был просторный каземат, по которому можно было прохаживаться, а не здешняя тесная клетка; затем, там тишина и, главное, хорошая библиотека, и он мог спокойно и много заниматься, а предварилке же условия хуже.

Действительно, в крепость можно было приносить сидящему лишь новые книги, они не возвращались, а поступали в его личное пользование, затем переходили к другим и оставались в крепостной библиотеке, состав которой таким образом постоянно пополнялся хорошими изданиями. В доме предварительного заключения арестованные уносили свои книги с собой при выходе

на свободу, и библиотека составлялась и пополнялась по выбору администрации,—отсюда чувствительная разница.

В то время смотрителем Трубецкого бастиона, где содержались подследственные политические, был некто Лесник. Этот ражий, грубоватый мужчина, бравший, к слову, взятки вареньем, почему-то интересовался крепостной библиотекой, радовался ее пополнению, как своему личному делу, и поощрял нас оригинальным способом. Когда, бывало, принесешь побольше книг, да поценнее, он давал десять минут лишних для свидания.

В доме предварительного заключения на одно из личных свиданий я привезла мужу показать нашего шестимесячного сынишку.

В феврале партия наша была отправлена, и мы с мужем наконец свиделись после годовой разлуки и проговорили всю дорогу до Москвы. В Бутырьках нас опять рассадили — его в мужское отделение, а меня в Пугачевскую башню, где помещалось еще человек пять-шесть женщин, между которыми я помню лишь Орлову. Порядки в Бутырьках тогда царили патриархальные. Сам смотритель почти не показывался, а его помощник, добродушный старичок, делал для политических всякие льготы, возможные и невозможные. Сидели в одиночках, но они не запирались и стражи внутри не было, так что мы свободно ходили по всей башне и могли сообщаться, сколько угодно. Помощник смотрителя доставлял нам все газеты и журналы, мы имели даже нелегальные издания; утром, заходя к нам, он забирал письма на мужскую половину и приносил записки оттуда.

Идиллия эта продолжалась до появления в женском отделении Ольги Любатович. На мой взгляд, она сильно переменилась за это время, и не мудрено, если вспомнить постигшие ее тяжелые личные переживания: арест Морозова на границе, неудавшиеся попытки организовать его бегство из провинциальной тюрьмы, где он сперва содержался, вечная разлука с ним после его осуждения и заточения в Шлиссельбург, смерть ребенка, оставленного ею в Швейцарии, наконец, собственный арест. На меня она произвела впечатление не только раздраженного и нервного человека, как все перенесшие продолжительное одиночное заключение и каковы были почти все в нашей партии, но подчас прямо ненормального человека. С первого же дня приезда она повела войну с помощником смотрителя, и так как все ее более юные соотавари по заключению, относившиеся к ней с величайшим почтением, как к члену Исполнительного Комитета Народной Воли и видной революционерке, быстро подпали под ее влияние, то на старика помощника сыпалась такая брань и упреки, что он со страхом появлялся у нас в башне и жаловался мужчинам, что ему от барынь житья не стало. Те, досмеиваясь, спрашивали: „Цел ли его борода или уже барыни всю ее повыщипали?“

Ольга Спиридоновна заявила, что считает позорным пользоваться журналами и газетами благодаря попустительству какого-то тюремщика, что мы должны требовать получения их по праву, а иначе предложила объявить голодовку. Тщетно я спорила с ней и убеждала, что смешно пускать в ход такое оружие из-за пустых слов, что фактически мы имеем уже все, чего

желаем. От имени женской тюрьмы была послана в мужское отделение „нота“, приглашавшая их присоединиться к нашему протесту. В ответ помощник смотрителя вызвал меня на свидание с мужем.

„Что это вы там с ума сошли, что ли?“ — был вопрос Анатолия Петровича, уполномоченного товарищами отговорить женщин от их никчемной затеи. Я ему рассказала, что все время старалась разубедить Ольгу Спиридоновну, но что она упорно стоит на своем проекте, а для того, чтобы уменьшить опасность, предлагает насушить сухарей и потихоньку подкреплять свои силы во время объявленной голодовки. Мужчины объявили, что ни в каком случае не применят к этой нелепой затее. Ольга Спиридоновна выругала их изменниками и решила, что мы будем проводить голодовку одни. Когда я сказала, что не согласна на ее план, нахожу его ненужным и неуместным, она отвечала, что я должна подчиняться большинству, что я не имею права брать пищу, ибо тогда начальство не испугается голодовки остальных, так как я могу делиться с ними. Припертая к стене, я написала телеграмму Ковковцеву, мало рассчитывая на ее результаты, и на другой день меня, по его распоряжению, выпустили из тюрьмы.

Всё остальное время я провела в Москве на свободе у сестры Кати, учившейся на фельдшерских курсах и жившей по-студенчески с тремя подругами и новорожденным сыном Анатолием. Приближался праздник Пасхи, и Лев Толстой, которому кто-то сообщил о плохом положении политических в Бутырьках, прислал в тюрьму огромное количество разных съестных припасов, благодаря чему встреча Пасхи вышла очень торжественной, а помощник смотрителя позволил женщинам разговляться вместе с мужским отделением, и тут окончательно был ликвидирован план Ольги Спиридоновны.

Весна 1883 года была поздняя, и партию долго держали в Москве, и только в конце апреля нас отправили в дальнейший путь. За время пребывания в Бутырьках к нам присоединили несколько москвичей, но партия состояла лишь из административно-ссылных, кроме одной Любатович. Тут были врачи Лебедев и Мартынов, студенты Эрнст, Лапицкий, курсистка Макаренко, всегда бодрый, энергичный, славный товарищ Ян Михалевич, впоследствии бежавший из ссылки, игравший очень видную роль в военной организации партии социалистов-революционеров, долго сидевший в крепости и умерший в больнице Выборгской тюрьмы в 1911 г.; будущий член Гос. Думы фракции трудовиков Владимир Иванович Дзюбинский, гусарский майор Тихоцкий, сестры Каминер и др.

Но на одной из маленьких ближайших станций нас ожидала группа каторжан, осужденных по одесскому процессу. Помню, какое жуткое впечатление произвела на меня эта кучка серых, закованных в кандалы людей, окруженная цепью жандармов с саблями на-голо, сверкающими на солнце, — нас сопровождали конвойные солдаты с ружьями и не в таком большом числе. Поезд остановился, и закованных людей ввели в наш арестантский вагон. Началось знакомство с вновь прибывшими, разговоры, расспросы, рассказы с обеих сторон. Тут был молодой, популярный доктор Майер, хорошенькая, румяная

Фанни Морейнис, красавец и силач Валуев, с густой гривой волос, рабочий Петров с женою и маленьким пятилетним сынишкой Колей, ставшим общим любимцем партии и оживлявшим наше общество своими милыми детскими выходками; полусумасшедший студент Матфиевич, про которого товарищи сложили песню:

„Матфиевич, сидя в башне,
Курит трубку и поет
И, доволен своей долей,
Прокурора на зуб ждет“;

финляндец Иванайен и другие.

В Нижнем нас перевели на арестантскую баржу с громадной клеткой на палубе, где арестанты могли находиться почти целый день. Часть клетки была отведена для политических. Разместившись в трюме, где находилось наше помещение, я поднялась наверх и, подойдя к решетке, залюбовалась Волгою, которой не видала со своей поездки в Симбирск в 1876 году.

Повернувшись затем спиной к решетке, я стала смотреть в другую сторону на панораму Нижнего Новгорода, как вдруг получила такой сильный толчок в спину от часового, ходившего с ружьем по борту вдоль нашей клетки и которому почему-то не понравилось мое увлечение видами, что перелетела почти всю ширину палубы и попала прямо в объятия поднимающихся в эту минуту наверх по трапу моего мужа и б. гусарского майора Тихоцкого, сославшегося по делу военной организации Народной Воли. „Да это он вас толкнул!“ — вскричал в негодовании Тихоцкий. Я поспешила успокоить обоих мужчин, что сама споткнулась о неровность палубы и что никто меня не трогал. Это было первое столкновение с коноводом, в общем скорее добродушно и более или менее вежливо к нам относившегося, за что при смене мы их обычно отдаривали в складчину.

Курбатовский пароход потащил нас вниз по красавице Волге, а затем вверх по величественной Каме, вплоть до Перми, откуда мы в больших тарантасах, запряженных тройками сытых, бешеных сибирских коней, прискакали в Екатеринбург, там опять железная дорога с живописными видами, и мы в Тюмени, в знаменитой пересыльной тюрьме с громадным текущим населением. В Тюмени к нам присоединился Мигро Новицкий, которого ни муж, ни я не узнали, так его отделали во время саратовского избиения после неудавшегося побега. Его сопровождала белокурая жена с длинными косами до пят, милая и интеллигентная женщина. Там же, в Тюмени, догнали нас солдаты петропавловского гарнизона, так называемые нечаевцы, осужденные на поселение за сношения, которые через них вел Нечаев с народовольцами. Помню двоих из них: средних лет, добродушные, они с удивительной любовью говорили о Нечаеве. Он точно околдовал их, так беззаветно преданы были они ему. Ни один из них не горевал о своей участи, напротив, они говорили, что и сейчас готовы за него идти в огонь и воду.

В Тюмени мы опять сидели очень долго, ожидая открытия навигации по Иртышу и Оби, в тот год очень поздно освободившихся от смыывавшего их льда.

Здесь начали в партии толковать о недавно изданном приказе: всем политическим каторжанам, независимо от принадлежности к тому или другому сословию, что в других случаях принималось во внимание, перед отправкой в путь брить половину головы. Мера эта, направленная к затруднению побегов с дороги, должна была, согласно приказа, выполняться еще на месте отправки, в данном случае в Одессе. Но так как раньше это не практиковалось, то одесские власти, опасаясь протестов, свалили эту неприятную обязанность на дальнейшие инстанции.

Поговаривали, что в Тюмени получено строжайшее предписание не отправлять далее политических каторжан, не проделав над ними эту операцию. Наши одесситы очень болезненно реагировали на эти слухи. Говорили, что они ни за что не согласятся пройти через подобное унижение. Другие находили, что это не большее унижение, чем кандалы и бубновые тузы на спине, против которых, однако, не протестуют, как и против самого факта отправки на каторжные работы, и прибавляли, что в партии, которая к этому времени разрослась до сотни человек, кроме одесситов есть много поселенцев и административно-сильных, каковые невольно и неизбежно будут втянуты в кровавую историю, которая притом же неизбежно должна кончиться не в нашу пользу. Большинство последней категории заявило, что, не считая себя вправе решать по существу вопрос, лично их не затрагивающий, что решение должно исходить от самих непосредственно заинтересованных лиц, но что, во всяком случае, если те будут оказывать сопротивление, то все примут участие в столкновении.

Все жестоко волновались, тем более, что народ был изнервничавшийся от долгого сидения, издерганный, а ведь известно, что ожидание всегда мучительнее самой действительности.

Наконец наступил день отправки, о чем нас предупредили накануне, подтвердив, что перед отправкой обязательно обреют каторжан.

На утро нас вывели на обширный двор, выстроили в несколько рядов, окружив кольцом коновойных, и затем начальник тюрьмы приказал каторжанам отойти в сторону, так как их сейчас обреют, — таков приказ свыше. Каторжане отвечали, что не позволят надругаться над собой. „Административные налево, каторжане — направо“, — еще раз скомандовал начальник.

Партия, как один человек, заявила, что не покинет товарищей.

„Женщины в сторону!“ — закричал начальник. Но и женщины отказались отделиться от товарищей, бросились к ним, и теснее сомкнулась кучка безоружных людей.

„Веревки сюда!“ — раздалась команда.

Наступила жуткая минута.

Не знаю, что побудило начальника тюрьмы вдруг изменить свое намерение: желал ли он избежать неминуемого побоища, был ли он в душе гуманным человеком? — бог его знает, но поступил он совершенно неожиданно.

Когда принесли веревки и ружейные дула были направлены на нашу собиравшуюся толпу, он вдруг приказал всем, выразившим протест, идти в контору переписаться. Контора помещалась в отдельном домике за главными воротами. Прodelав предписанное, никто не шел обратно на тюремный двор, чего конвой почему-то не особенно энергично требовал, а поджидали остальных. Таким образом вся партия очутилась уже на улице, где в тому времени собралось много народу поглазеть, как отправляют арестантскую партию.

Устраивать бойню перед многочисленными зрителями было неудобно, загнать насильно во двор и там расправиться—значило тоже начать побоище на улице, и, конечно, начальник тюрьмы не мог всего этого не предвидеть. Как бы то ни было, но на этот раз мы дешево отделались. Нас отвели на пристань, разместили на барже, и мы пустились в дальнейшее плавание.

В первую же ночь, однако, чуть не произошло несчастье: конвойный офицер очень любезно распорядился отвести для женщин, которых было около тридцати, каюту на палубе (мужчины помещались в трюме). Ни он, ни мы сами не обратили внимания на то, что в узкой, похожей на коридор каюте с одним, теперь наглухо забитым окном, не хватит воздуха на тридцать человек. Пока дверь была открыта и сквозь решетку лился свежий воздух, мы улеглись рядом и, утомленные событиями дня, крепко заснули. Но среди ночи мы стали просыпаться одна за другой от недостатка воздуха и поняли, что задыхаемся. Принялись стучать в дверь. К этому часовой отнесся сначала равнодушно.

Многие липились сознанию, остальные неистово колотили в дверь, кричали, что умирают, чтобы позвали офицера. Наконец, крики и шум доняли часового, офицера разбудили, и когда он отворил дверь, то сам ужаснулся нашему виду и немедленно приказал всех нас вывести и вынести на палубу, где мы быстро пришли в себя, после чего и были на все дальнейшее путешествие водворены в один общий трюм с мужчинами, что было очень тяжело. Плыли мы без конца, и это время показалось мне настоящим адом. Быть день и ночь в обществе сотни мужчин, не иметь возможности уединиться хоть на минутку, кругом вечный шум, говор, лягз и звон кандалов, — даже и мои молодые нервы не выдерживали.

Вдобавок, и кругом развертывалась сезотрадная картина. Река была в разливе, — мы плыли точно по морю, всюду лишь серые, мутные волны и по временам плоские, безлюдные берега, где, кроме корявых низкорослых берез и иногда удивленного остяцкого чума, не видно ничего.

Кормовые деньги нам выдавали на руки, и наш староста покупал у встречающих остяков рыбу и птиц и варил на всю артель похлебку и пшеничную кашу. Тогда это казалось голоданием, но, право, мы питались во много раз лучше, чем теперешние свободные граждане ¹⁾. Развлечением служило хоровое пение, в котором принимали участие все, и особенно отличались голосистые южане. Цели революционные и малороссийские песни.

¹⁾ Писано в 1919 году.

В Томске уже знали о тюменской истории, и начальство приняло свои меры. На палубе, как всегда — при сдаче партии, сидело несколько человек, проверявших так называемые статейные списки, мы подходили по очереди и затем шли по живому коридору из конвойных на берег, где постепенно и выстраивались. Никому и в голову не приходило, что коридор был не один, а два, и каторжан выводили по второму. Когда нас повели длинной процессией, впереди мужичины, затем повозки с женщинами, больными и нашими пожитками, мы хватились, что некоторых товарищей нет, но конвойные говорили, что они идут позади повозок. Под городом нас встретили местные ссыльные, между которыми оказалась моя знакомая, одна из сестер Корниловых — Александра Ивановна, впоследствии Мороз. Она все время шла около партии, переговариваясь со знакомыми, и, наконец поровнялась с хвостом шествия. Тут конвойный, найдя, что она слишком близко подошла к нам, без дальнейших околичностей хватил ее прикладом, грубо прикрикнув: „Пошла прочь“. К счастью, голова партии была уже далеко впереди, и никто не заметил происшедшего, женщины закричали на солдата, бранили его, но пуститься в рукопашную не могли.

В Томске нас посетил вице-губернатор, очень любезный господин, предложивший тем, кто назначен в его губернию, самим выбрать себе будущее местопребывание, предупредив, что никто не будет сослан ни в Сургут, ни в Нарым, — гиблые места на крайнем севере.

К концу нашего пребывания в Томске привели к нам наших каторжан. Их прямо с баржи рассадил по одиночкам и обрили, согласно предписанию, применяя при сопротивлении силу.

Из Томска мы уже не шли одной партией. Нас разбивали на группы по 8 человек и присоединяли каждую к партии уголовных человек в 200, женатых к женатым, холостых к холостым. Мы добились, чтобы одиноких политических женщин посылали не с холостыми партиями, а присоединяли к женатым политическим. Партия выходила одна за другой, кажется, через день. Наконец, дошла очередь и до нас. В нашей группе оказался московский доктор Лебедев с женой, рабочий Петров с женой и ребенком, Новицкий с женой и мы с мужем. Простившись с оставшимися товарищами, мы рано утром пустились в путь.

Партия выступала вообще очень рано, часов в 5—6. Впереди шли уголовные, на всех 200 человек которых полагался такой же конвой, как на нашу восьмерку. Для лиц привилегированного сословия, для больных и под вещи давались телеги. Часов в десять был привал где-нибудь в лесу, где, чтобы съесть кусочек хлеба, приходилось осторожно приоткрывать надетую на лицо сетку, и все же, вместе с куском, в рот проникала добрая горсть мошвары или, по сибирскому характерному выражению, „гнуса“. После полудня приходили на полэтап или этап, где останавливались на ночлег или на дневку в невообразимо грязных, покрытых мириадами насекомых помещениях, располагаясь большей частью прямо на полу за недостатком нар для всех.

В общем конвой и офицеры держали себя вежливо и корректно, солдаты оказывали нам всякие услуги, за что, конечно, получали известную мзду. С Тюмени конвоиры были грубее, неотесаннее, чем российские, но все же я помню лишь одно столкновение, которое могло бы кончиться печально без вмешательства офицера. Солдаты как-то нашли, что политики идут слишком медленно, и один из них замахнулся на кого-то из одесситов. Силач Валуев бросился на помощь товарищу, но мой муж и Чикадзе, шедшие рядом с ним, повисли у него на обеих руках, и Валуев, хотя протащил их несколько шагов, но сбросить не мог, а тем временем подоспел офицер, накричал на солдата и прогнал его назад.

Вообще все зависело от личности конвойного начальнига. Встречались между ними не только корректные, но прямо добрые люди. Один раз, придя на этап после утомительного перехода под палящим зноем, томясь жаждою, мы обратились к конвою с просьбой раздобыть самоварчик. „А вот офицеру понесли самовар, напьется, тогда поставим и вам, другого нет“. Каково же было наше удивление, когда через несколько минут солдат, несший самовар, вернулся с ним к нам и объявил, что его благородие приказали подать самовар раньше политическим,—„они больше устали, пусть попьют чаю, а я успею и потом“.

Другой офицер отпустил нас на одном этапе выкупаться в соседней речке на честное слово. Надо пробыть несколько месяцев в ужасающей тюремной и этапной грязи, чтобы оценить все значение возможности окунуться в чистую воду.

Зато попадались и иные. Один конвойный начальник хотел спекулировать на подводах для арестантской партии и фактически урезать их число. Наше энергичное вмешательство и заявление, что он поступает незаконно, заставило его взять свое распоряжение обратно.

Другой натравил на нас уголовных. Последних поднимали, неизвестно зачем, часа в 3 ночи, а то и раньше, мы же всегда просили своих конвоиров разбудить нас за час до проверки перед выступлением. Невыспавшиеся, продрогшие на утреннем холоде, уставшие от бесконечного стояния во дворе в ожидании появления почивавшего начальства, уголовные стали роптать, и офицер, желая снять с себя вину, сказал, что партия не выступает потому, что господа политические еще не удосужились встать со сна. Уголовные рассвирепели, и моему мужу с трудом удалось успокоить гневную толпу, рассказав, как в действительности было дело и как всецело вина падала на начальствующего офицера.

IV.

Лишь в конце июля добрались мы своим черепашьим шагом до Красноярска, где должна была решиться наша участь. Там уже ожидало нас назначение в Минусинск. Но так как с обратной партией приходилось бы мучиться по этапам еще не меньше месяца, а на пароходе можно было доехать в пять дней, то я подала просьбу губернатору о разрешении нам

следовать далее на свой счет и везти конвойных. Разрешение было дано, приставлены, больше для вида, два конвоира, которые все время сидели внизу, где-то на нижней палубе, и охотно услуживали нам, таская вещи и т. п.

Переход от подневольной арестантской жизни со всеми ее прелестями, грязью, вонью, насекомыми, произволом начальства, — к положению quasi свободных людей и почти культурной обстановке был поистине сказочным. Точно вместе с арестантским халатом мы сразу сбросили весь Дантов ад этапов, тюрем, брани уголовных и очутились на палубе весьма приличного парохода с комфортабельной рубкой наверху, чистенькими каютами, откуда, как и с палубы, мы все время любовались развевавшейся перед нами панорамой живописных и диких берегов Енисея, с их причудливыми скалами, то похожими на ряды гигантских колонн, то на развалины средневековых замков. На какой-то пристани на пароход сел один из минусинских ссыльных, который пришел познакомиться с нами и весьма удивил нас, сказав, что приезжал сюда верст за 100 от своего местопребывания в гости и без спросу. Мы никак не ожидали, что мы будем пользоваться такой свободой.

Приехав в Минусинск, мы живо нашли себе квартиру, из которой, впрочем, поспешили при первой возможности перебраться, так как это был настоящий воровской притон, — начиная с того, что в каждой комнате была какая-то дверь или лазейка, выходившая то на улицу, то в сени, то в какие-то темные проходы, и которую замкнуть было нельзя; хозяйка глядела прямо разбойницей, двор же выходил на реку. Я еще вернусь к этому приятному домику.

С помощью милой семьи Лошкаревых, в особенности самой Марьи Галлактионовны, сестры известного писателя Короленко, мы более или менее устроились и приобрели себе необходимую утварь.

Первое время я старалась нигде не показываться и не хотела ни с кем знакомиться. После 4-месячного пребывания в толпе людей — люди стали мне невыносимы, вид их и разговоры раздражали мои истрепанные нервы, я, по природе общительная, жаждала уединения и тишины и целые дни проводила лежа одна в комнате, часто не разговаривая даже с мужем, который тоже испытывал нечто подобное, хотя и в меньшей степени.

Помню один комичный эпизод из первых дней пребывания в Минусинске: купив всякую необходимую утварь, между прочим, самовар, в местном универсальном „Мюр и Мерилиз“, где рядом с дегтем и хомутами стояли бисквиты Альберт и конфеты, и забрав часть купленного с собой, мы отправились домой, ожидая присылки остальных вещей.

„Где тут живут сицилисты?“ — раздался громкий возглас с улицы, и, выглянув в окно, я увидела наши покупки и блестящий самовар, которые мальчик привез на тележке. Публичное признание принадлежности к партии, так строго караемое законом, в первую минуту несколько смутило меня, но так как тележка с самоваром уже проезжала мимо, я решилась на открытое „profession de foi“ и со смехом закричала вслед удалявшемуся мальчику: „здесь, здесь“.

Отдохнув и успокоившись, мы перезнакомились с товарищами, между которыми оказались и старые мои знакомые Д. Клеменц и Александр Иванович Иванчин-Писарев с женой, Марьей Павловной. Минусинская ссыльная колония была весьма многолюдна. Тут был и красавец Бурриот со своей геркулесовской фигурой и волной белокурых кудрей, походивший на скандинавского бога, и кроткая, безответная жена его с целым выводком ребятшек, довольно известный впоследствии писатель Иван Петрович Белоконовский, который никогда не выходил по вечерам и над трусостью которого не мало потешалась молодежь, постукивая ему в ставни запертых окон, простодушный и недалекий капитан Мицкевич, истый тип армейского офицера; милейший и добрейший, всегда готовый отдать товарищу последнюю рубашку, хотя несколько прямолинейный Синягин, сотник астраханского казачьего войска, окончивший университет и состоявший в центральном кружке военной организации Н. В. — особенно подружился с нами. Он любил поучать меня житейской мудрости и часто отчитывал меня за дружбу с еврейкой Присежкой; горячо во мне привязавшейся, особенно после того, как я вытащила ее из Енисея, где она купалась, едва не утонула. „Напрасно вы к ней так доверчиво относитесь, — с евреями этого нельзя. Как бы искренна и хороша ни казалась еврейка, это всё, пока вы ей нужны; у нее всегда есть камень за пазухой, и с ними надо быть на-стороже“, — говаривал он. Бедняга грустно кончил: он заболел психическим расстройством, столь частою болезнью одиноких ссыльных, был помещен в Красноярскую больницу и там в припадке сумасшествия перерезал себе горло осколком стекла. Молодые студенты Даманский, Влад. Из. Перов, Компанец (впоследствии бежал неудачно и был отправлен в Якутскую область), весельчак и хороший товарищ Урусов, Аркадий Владимирович Тырков, тоже старый петербургский знакомый, привлекавшийся вместе со своей невестой, младшей Оловенниковой, Елизаветой, по процессу 1 марта, но по болезни не судившийся, а впоследствии отправленный в бессрочную административную ссылку, откуда его вызволила лишь революция 1905 года. Доктор Данилович с женой, служивший на подгородном заводе местного богача. Поляк Венцковский, Новаковский с женой, старуха Субботина, общая бабушка, с дочерью, Евгенией, типичный образец революционеров, так сказать, первого призыва, миловидный и тихенький Осташкин с женой Верой Любатович, прямолинейный и педантичный немец Зейдлиц с женой, полуобразованной, но неглупой и доброй жевщиной, с которым нас впоследствии всю жизнь сводила судьба. Поляк Андржейкович, человек очень образованный и воспитанный, владевший чуть не полдюжиной языков, но допившийся до белой горячки. Часовщица Ольга Рубанчик, впоследствии выпешшая за него замуж, сестра Евгении Козловой, которая, вместе со своим мужем, работала в нашей петербургской чернопеределческой организации. Ветеринарный врач Снегирев, совершенно не походивший на прочую компанию, с психологией обывателя, и его прелестная подруга Марья Ивановна Ш...¹⁾, милая, хорошенькая и молоденькая девушка, смотревшая на все

¹⁾ Впоследствии она вышла замуж за Милашевского.

его глазами, хотя он не стоял ее мизинца. У Снегирева был отличный белый рысак, и Маруся ходила поить его на реку, не подозревая, какую живописную картину представляла, вода коня на водопой. Я с ней очень подружилась, и мы очень любили распевать на два голоса малороссийские песни, при чем я приводила ее в ужас своим кацапским произношением. Мнительный и обидчивый, но в сущности добрый Леонид Жебунев, умеренный и аккуратный Миролюбов, деликатный и воспитанный Панов, с такою же интеллигентной и мягкой женой, жившие как два голубка. Впоследствии приехали еще бывшие офицеры: А. В. Игельстром, несколько суховатый, но очень хороший человек и настоящий джентльмен, с женой, образованной и интересной женщиной; Сокольские и Бубновы, Присецкий с женой, Софьей Львовной, знакомой мне по врачебным курсам. Сам Иван Николаевич происходил из богатой помещичьей семьи, где вся молодежь оказалась в рядах революции; его сестры — известная Софья Николаевна Богомолец и Марья Николаевна Горбачевская были в это время уже в Сибири, первая на Каре, вторая в ссылке в Тюмени. Впоследствии Присецкий стал кадетом и был членом Государственной Думы.

Семейные ссылки проживали в городе, а холостые в селах Минусинского округа. Жизнь была скучная, однообразная, без внешних впечатлений, все варилось в собственном соку. Отсюда дразги и столкновения, доходившие до того, что люди, вчера дружески беседовавшие, на завтра не кланялись друг другу из-за какого-нибудь выеденного яйца.

Скрашивало жизнь наличие в Минусинске неожиданного сокровища — чудесной библиотеки. Надо сказать, что в Минусинске давно жил незаметный и скромный человек, аптекарь Мартянов, страстный коллекционер. Начал он с книг. Следя за приездом и отъездом ссыльных, с которыми, как человек прогрессивных взглядов, всегда был в хороших отношениях, он, видя, что такой-то собирается уезжать, немедленно являлся к нему и просил оставить ему книги, — предмет, который в разном количестве имелся у каждого. Тот обыкновенно соглашался, так как Мартянов был очень настойчив. Набрав порядочное число томов, он обратился к сибирскому мепенату Иннокентию Сибирякову, заинтересовал его планом основания библиотеки и заручился обещанием его помощи. Сибиряков ежегодно высылал ему деньги для подписки на все журналы и, кроме того, высылал ему вновь выходявшие издания, по мере возможности, под одним условием, чтобы пользование библиотекой было бесплатное.

Ко времени нашего приезда библиотека насчитывала огромное число томов, можно было заниматься почти по любому предмету.

Тогда Мартянов устремил свой коллекционерский глаз в другую сторону.

Минусинск лежит близ Абаканской степи — предполагаемых ворот, через которые азиатские племена вторгались в Европу, — которая изобилует курганами, каменными бабами и т. п. Местные жители испокон веку находили там разные старинные предметы — украшения, утварь, оружие. Мартянов стал скупать такие вещи и скоро набрал изрядную коллекцию.

Когда мы приехали в Минусинск, собрание этнографической коллекции — создание этнографического музея — было уже поставлено на правильный путь. Делом заинтересовалось Императорское Географическое Общество и взяло его под свою высокую руку. Мартынов же привлек к нему Дмитрия Александровича Клеменца, в котором нашел идеального помощника. Дмитрий Александрович очень увлекся такой работой, вполне подходившей к его вкусам к путешествиям и исследованиям, почти всё время проводил в разъездах по тайге и степи, производил раскопки, со свойственными ему лингвистическими способностями быстро освоился с языком татар и сойотов, кочующих в Абаканской степи, и стал настоящим таежным жителем. Наезжая в Минусинск, он поражал нас своим загорелым видом и рассказами о своих странствиях и приключениях. Географическое О-во быстро оценило Дмитрия Александровича, как незаменимого сотрудника, и после окончания срока ссылки выбрало его своим членом и поручило ему целый ряд дальнейших научных исследований в Восточной Сибири, а затем, по возвращении в Европейскую Россию, исходатайствовало для него место хранителя Этнографического музея имени императора Александра III в Петербурге. На этом месте Клеменц пробыл до революции, сменившей первую революцию 1905 г., когда по приговорам черной сотни был отстранен от должности незадолго до своей кончины.

Слухи о возникновении нового этнографического музея в Минусинске распространились и за пределами России; при нас приезжали двое молодых скандинавских ученых для осмотра музея и для установления взаимоотношений с ним на предмет обменивания дубликатами.

В конце нашего невольного пребывания в Минусинске был окончен постройкой собственный каменный дом для музея и библиотеки, ранее ютившихся в здании женской прогимназии.

Оказалось, что в Минусинске нет и нельзя найти заработков. Было всего два платных места, которые предоставлялись наиболее нуждающимся. Остальные должны были существовать на казенное пособие в размере 8 руб. в месяц, на присылки из дому и помощь товарищеской кассы, куда всякий вносил 10% с получки.

Одно время Анатолий Петрович в компании с двумя-тремя товарищами затеял производить сухие дрожжи. Выписали грибок, приобрели огромные чаны для затора и принялись мастерить. Но почему-то дело не пошло и было скоро оставлено, вероятнее всего, по непрактичности самих предпринимателей. Однако, при сказочной дешевизне богатейшего края удавалось жить и на скудные средства.

Благодаря прекрасному климату, Минусинск является житницей Восточной Сибири, производя громадное количество пшеницы, которую местное население исключительно потребляло, так как ржаной хлеб пекли лишь на скотину и пуд муки стоил 15 коп. Белая мука была от 70 до 1 р. 10 к., смотря по качеству. Скотоводство тоже процветало и у местных жителей, и, главное, у татар кочевников, которые гоняли свои стада и летом, и зимой по степи, не заготавливая сена, но предоставляя скоту самому вырывать из-под снега

засохшую траву. Битый скот мстали на хлеб, которого ни сеять, ни приготавливать не умели, и на улице Минусинска было не редкость встретить дикую фигуру сойота верхом, с перьями на голове, — ни дать, ни взять какой-нибудь Чингахгов из американских романов Купера. Вообще в Минусинске бьют осенью скот и птицу на всю зиму, сохраняя их в замороженном виде, так что туши распиливают на базаре пилой.

Мясо стоило при мне 2 руб. пуд, курица — 30 коп., тетерка 35 коп. пара, рябчики 15 — 20 к. пара, молоко 5 коп. большая кринка, стаканов на 7, масло — 30 коп. безмен — особая мера, равная 2½ фунтам. В Минусинске благодаря жаркому лету выращивали арбузы и дыни, которые в урожайные годы были очень дешевы. Кроме арбузов много росло дикой черной смородины, брусники и своеобразного сибирского фрукта — черемухи, терпкие ягоды которой сушили, мололи вместе с косточками и зимой пекли пирожки.

Насчет овощей было хуже: кроме моркови, капусты, луку и картофеля ничего не садили.

Сахар и крупчатка являлись привозными предметами и стоили сравнительно дорого: сахар копеек 50 за фунт, крупчатка 3 — 4 руб. пуд.

Сибирячки вообще большие мастерицы на всякие печенья или, как они называют, „прикуски“. Всякая умеет отлично печь заварные крендельки, сдобные булки и разное сухое рассыпчатое печенье, которое заготавливается чуть ли не на целый год и хранится для приема гостей в торжественные дни. Но и в обычные дни ни один исправный крестьянин не сидит утром пить чай без свежеспеченной прикуски: горячих, жирных пирожков с мясом, блинов, шанег со сметаной или калачиков. Все это подается в огромном количестве и обильно поливается растопленным маслом. Чай обычно пьют без сахара, но с топленым молоком или сливками.

Сибиряки не похожи на население коренных русских областей. У них сильно развито чувство собственного достоинства, они культурнее, опрятнее, но в то же время не так радушны и доброжелательны, как первые. Недоверчивые и суровые, они почти презрительно относятся к русским пришельцам: „рассейский“ — говорят они, квалифицируя людей низшей породы. Политических они, впрочем, выделяли из нежелательной оценки и, неохотно пуская жильцов из России, для государственных преступников делали исключение, откровенно объясняя, что это им даже приятно, так как люди эти не боятся выскочить на всякий крик о помощи, что в Сибири вообще не водится. Недалеко от нашего дома зарезали на улице человека, он кричал, отбивался, многие слышали его вопли о помощи, и ни одна душа не двинулась.

Вообще же близость каторги и наличие беглых преступных элементов сказывались беспрестанно. С наступлением сумерек ворота и двери запирались на засовы, а окна ставнями с болтами, проходившими сквозь проделанные в стенах дыры внутрь дома, где они и закреплялись особыми чеками, — так что получалась прочная защита окон. По улицам никто не ходил, кроме тех же бесстрашных сыльных, которые путешествовали друг к другу в гости, конечно, с револьвером в кармане или хорошей палкой.

Возвращаясь как-то в непроглядной зимней тьме, мы с мужем встретились носом к носу с молодцом весьма подозрительного вида и намерений, но мощная фигура Анатолия Петровича и револьвер в руке заставили его быстро ретироваться. В нашем отсутствии как-то пытались вломиться в двери, очевидно, подкараулив наш уход. Тогда у меня был маленький ребенок, и его няня натерпелась такого страха, что когда вернулись мы, то насилу убедили перепуганную женщину, что это свои. Тот же самый человек повторил свою попытку через несколько дней, но, очевидно, не досмотрел, что муж только проводил до ворот бывших у нас Бубновых и вернулся. У нас сидело несколько товарищей. Когда в дверь вдруг посыпались свирепые удары, мужчины выскочили, кто с топором, кто с ружьем, а им светила с крыльца, что-то черное метнулось по двору и исчезло, сколько мы ни искали везде. На другое утро мы заметили, что следы громадных ног в валенках ведут прямо к забору, где видно, как перелезал человек. Взгромоздясь на подставленную бочку, муж увидал, что следы вели прямо к дверям соседнего домика. О своих наблюдениях мы рассказали своему домохозяину, тот несколько не удивился и отвечал, что к соседу часто тайком приезжает высланный из города татарин, известный грабитель, но что нельзя поднимать разговор о его проделке или, чего избави бог, обращаться к полиции, так как его все равно не поймут, он скроется, а потом, озлившись, вернется и убьет нас.

Еще раньше, вскоре после нашего приезда, муж пошел в полицейское управление отметить, что все сыльные должны были еженедельно проделывать. Был яркий солнечный день, и когда в дверь постучали, то я побежала отворить, удивляясь лишь такому скорому его возвращению. Я уже взялась за засов, когда мне смутно почудилось, что за дверью шепчутся. „Кто там?“ — окликнула я. В ответ стук усилился. „Я не отворю, пока не скажете, кто там.“ — „Ладно, отворяй, а то сами выломаем“, — был грубый отклик, и припелецы действительно стали ломать дверь. В доме жили мы одни. Я бросилась в соседнюю комнату за револьвером и в эту минуту услышала, как заскрипел снег на дворе под быстрыми шагами, кто-то еще взбежал на ступени, и дверь сильно дернули. На этот раз еле державшийся засов отскочил, и в квартиру вбежал мой муж, думавший, что я уже отворила дверь, и крайне изумившийся при виде моего бледного перепуганного лица. Когда он входил в ворота, ему навстречу вышли двое людей, но он не обратил на них внимания, считая, что они идут из флигеля.

Еще раз, когда мы ушли к Бурриотам, к нам пришел некто, очевидно хорошо осведомленный, где собрались сыльные, и сказал няне, что „твой господа прислали меня за вилками и ножами, у Бурриота гостей много и не хватает на всех.“ Няня, ничто же не сумняшеся, отдала ему все, что нашла, и, конечно, только мы их и видели.

Когда в Минусинск приехали Бубновы, они устроились на той же самой воровской, как я ее охарактеризовала, квартире, где мы жили сначала. Мы были у них, помогая им устроиваться, и так как у них не оказалось ни одной кастрюли, то я предложила Бубнову пойти с нами до нашей теперешней

квартиры, где я могу ему одолжить нужную посуду, а Елизавета Ивановна пока затопит печь. Быстро одевшись, я вышла, между тем как муж и Бубнов всё еще разговаривали в кухне. На дворе темнело, но светила луна. Не успела я сделать нескольких шагов, как, подняв глаза, увидела, что за выступом крыльца что-то блеснуло, и, всмотревшись, разглядела огромного роста мужчину с топором в руках, старавшегося укрыться в этом темном углу. Какой-то инстинкт подсказал мне, что не надо его замечать, и я повернулась спиной и пошла опять к воротам, потом снова назад, будто не вижу его. Затем, быстро избежав на крыльцо, бросилась к мужчинам и сказала им про притаившегося незнакомца. Оба выбежали с револьверами, но темная фигура улетывала, что есть духа, через огороды к реке. Не заметить я его во-время, он, очевидно, подкарауливал наш уход и убил бы Бубнову. Такие случаи бывали и с другими.

Бурриот, идя раз через базарную площадь, услышал крик из кабачка, заглянул туда и увидел, что старика кабатчика, считавшегося богатым, собираются резать двое бродяг. У Бурриота в руках была железная палка, которой он взмахнул и приложился как бы ружьем. Бродяги убежали, но в ту же ночь, несмотря на все затворы и замки, вломились-таки к несчастному кабатчику и на этот раз зарезали его.

Расскажу еще одно происшествие, чтобы закончить серию.

Муж мой болел тифом, одно время свирепствовавшим в Минусинске, а после того долго страдал бессонницей. Наш врач Мартынов посоветовал ему гулять перед сном. В один из вечеров, зайдя за городскую черту, он у владимища встретил двоих бродяг, которые без всяких околичностей отобрали у него часы и довольно тощий кошелек, а затем, что хуже, предложили раздеться и отдать им пальто, сапоги и одежду. Анатолий Петрович так ослаб после болезни, что о сопротивлении не могло быть и речи. Он покорно стал снимать с себя всё.

— А кто ты будешь? — вдруг последовал вопрос.

— Политический ссыльный, — отвечал муж.

— Ну, тогда бери всё назад, — сказали хулиганы и ушли, отдав ему всё отобранное, к немалому удовольствию мужа, не готовившегося к такому счастливому окончанию неожиданной встречи.

Жизнь текла монотонно. Время проходило в домашних занятиях: колке дров, топке печей, приготовлении пищи, уборке и стирке, а затем, главным образом, в чтении. Муж пробовал писать, собрал материалы и написал две статьи: „О положении рабочих на сибирских золотых приисках“ и „Государственная защита рабочих“. Обе были помещены в „Юридическом Вестнике“ в Москве.

Для развлечения ходили в гости, играли в винт. Летом часто ездили и вдвоем, и компанией на лодках по Енисею. Минусинск лежит не на главном русле, а на протоке, отходящем от него на много верст в сторону пыльной и однообразной степи. Берега же самого Енисея очень живописны, гористы и покрыты лесом, кустарником с массой цветов, между которыми

особенно хороши полевые левкои и лилии. Кроме того, по течению реки расположено много островов, окаймленных белой акацией и представляющих издали как бы гигантские букеты. Течение Енисея так быстро, что уже издали слышен шум перекатывающейся по дну гальки, напоминающий морской прибой.

Товарищ наш Мартинов, поселившись на лето в одном из прибрежных сел, взял лодку и поехал на ближайший островок. Там он решил выкупаться, но не успел оглянуться, как быстриной его унесло от первого островка, и он едва выбрался на лежавший ниже по течению. Положение создалось печальное: платье осталось на первом островке, только к вечеру хозяева хватились своего жильца, заметили лодку, привязанную у острова, поехали туда, нашли снятую одежду и догадались спуститься ко второму острову, где и выручили нового Робинзона.

Как ни медленно и однообразно тянулись годы ссылки, все же пришел им конец. Срок наш истекал зимой, а мальчик мой был еще слишком мал, чтобы его везти по санному пути, поэтому было решено уехать мне с маленьким сыном летом, а мужу оставаться одному выжидать срока до февраля.

За несколько дней до отъезда мы с некоторыми товарищами устроили прощальную прогулку по Енисею, но, вернувшись, были неожиданно поражены рассказом нашей преданной служанки, что приезжал помощник исправника и допытывался у нее, где мы, выражая уверенность, что мы сбежали.

„Куда же это они побегут от ребенка, да и домашность всю бросят, что ли?“ — был негодующий вопрос нашей Минодоры. Но ей предложили не совать своего носа, куда ее не спрашивают. Не успели мы выслушать ее повествование, как прискакал гонец с приказанием явиться немедленно пред светлые очи начальства. К счастью, мы все же успели сговориться, и было решено ответить, что мы ездили ловить рыбу в затон, находившийся в городской черте, и, следовательно, не могли быть обвинены в самовольной отлучке.

Тем не менее, дело было возбуждено именно о таковой. Исправник и жандармский офицер были на этот раз в ссоре между собой, а ведь известно, что когда „паны дерутся, то у хлопов чубы трещат“.

Меня, впрочем, не задержали, так как я пригрозила послать телеграмму губернатору, который, как им было известно, никогда не позволял незаконно притеснять ссылных, а право было на моей стороне, так как в пределах Сибири я считалась добровольно следующей за мужем, да и срок моей ссылки уже истек.

29 июня 1887 г. я уехала с тяжелым сердцем: неожиданный поворот, который был придан нашей невинной прогулке, репрессии, смякшиеся последнее время на политических, слухи о продлении сроков административным, — всё это оставляло мало надежд, что в феврале мужу тоже удастся уехать.

Плывя по Оби с маленьким сыном, я оказалась единственной пассажиркой 2-го класса, в то время как таким единственным пассажиром 1-го класса был какой-то жандармский генерал, очень любезничавший с моим сынком,

бегавшим кругом рубки, где тот случал в одиночестве. Как-то раз, когда внезапно пошел дождь, он открыл дверь и пригласил нас с Толей укрыться в рубке. Мы разговорились, и я узнала, что он ревизует места ссылки. Тогда я решилась воспользоваться случаем и рассказала ему, что тоже возвращаюсь из подобных мест, и обратила его внимание на отсутствие точных правил, регулирующих отношения ссылных к властям и на их взаимные права. Рассказала, что жизнь ссылных больше всего зависит от того, ладят ли между собою представители наружной полиции и департамента. Когда ладят, — ссылным дозволяется многое, поссорятся, — всё ставится в вину, и, как иллюстрацию, привела последний случай, как, благодаря подобной ссоре, из невинной прогулки, какие мы невозбранно совершали чуть ли не ежедневно в течение каждого лета, сделали криминал, грозивший разными осложнениями.

— Конечно, у вас нет никаких оснований верить мне на слово, — прибавила я, — но вы можете допросить других и узнать правду.

Мой собеседник, однако, заинтересовался рассказом, уверяя, что, напротив, у него есть основания верить именно моему освещению факта, и обещал мне расследовать и, если возможно, ликвидировать инцидент.

В Тюмени я разыскала Горбачевских, к жене которого, рожденной Присецкой, у меня было письмо от ее брата — нашего товарища по ссылке. Оказалось, что они тоже накануне отъезда на родину; решили ускорить сборы и для удобства ехать вместе, так как у них было двое малюток, из которых младшую, дочку, мать кормила грудью.

О. Буланова-Трубинкова.

В девяностые годы ¹⁾.

IV.

Волнения в Петербургском университете в 1895—1896 г. — Самоубийство М. Ф. Ветровой. — Студенческие сходки и „ветровская демонстрация“ 4 марта 1897 г. — Самоубийство С. С. Костромини и волнения в университете в 1898 г. — Неудавшаяся демонстрация. — К биографии С. С. Костромини.

Об университетских волнениях 1895—1898 г.г. расскажу, по возможности, кратко.

Не прошло еще двух месяцев со времени ликвидации „петиционного“ движения 1894 года, как возникли незначительные по размерам волнения, вызванные происшествием, почти аналогичным с тем, которое было поводом больших волнений 1899 года. Только на этот раз жертвою полицейского произвола и насилия, в форме значительно более тяжелой, сделалась, главным образом, „золотая молодежь“. В ее среде издавна укрепилось убеждение, что 8-го февраля, в день университетской годовщины, студентам „все позволено“. Это „все“ сводилось, конечно, к развязному поведению в цирке, „Альказарах“ и тому подобных учреждениях, к пьяным дебошам и т. п. На этот раз часов около 2 ночи полиция с дворниками напала на довольно значительную группу студентов, дебоширившую у ресторана Палкина, и жестоко ее избила. В числе пострадавших оказался (может быть, и случайно) даже один профессор (Ч. — националист и правый по убеждениям), вышедший из „боя под Палкиным“, как окрещено было это происшествие, с серьезными синяками на лице. Но уже заведомо случайно избиению подверглось несколько студентов, возвращавшихся во время „боя“ с традиционного „чаепития“, происходившего в кухмистерской на Боровой ул. Избиение было жестокое, некоторым пострадавшим причинены были повреждения, близкие к увечьям. На другой-же день в университете собралась сходка, повторявшаяся затем и в ближайшие три-четыре дня. Радикальная часть студенчества воспользовалась случаем произнести две-три речи резкого политического характера, а затем направила дело в сторону вопроса о необходимости расследования действий полиции. Заявляны были сношения с известными адвокатами, кажется, от имени двух-трех

¹⁾ См. Былое, № 22.

из пострадавших были предъявлены иски к каким-то полицейским чинам. Иски, понятно, окончились ничем...

Более серьезны были волнения 1896 года. Инициативы их исходили от московского студенчества. Из Москвы в Петербург приезжал делегат, обратившийся к „кассе“ с вопросом об ее отношении к предполагаемому „выступлению“. Цель и форма его отличались неясностью, мотивировка истощивалась туманными фразами о борьбе с политическим режимом на почве режима университетского. Представительное собрание устроило по этому поводу референдум, результатом которого был ответ отрицательный с мотивировкой его марксистскими соображениями о нецелесообразности студенческих беспорядков. Однако, несмотря на этот ответ, в Москве беспорядки все-таки вспыхнули, вылившись в форму демонстрации в память жертв ходынской катастрофы. А в результате — многие десятки студентов были выброшены из университета, высланы на родину... Петербургский университет начал волноваться по чувству товарищеской солидарности. „Сдерживающие“ листки „кассы“ не имели успеха, и сходки, вопреки им, все-таки состоялись... После ожесточенной полемики марксистов с их противниками как-то совершенно неожиданно выплыл вопрос... — об университетском уставе. На сходку пригласили ректора и ему предъявили „требования“. Ректор вполне резонно ответил, что изменение устава от него не зависит и принимать от студентов какие-либо требования он не имеет права. День на третий или на четвертый на сходку явился попечитель учебного округа Капустин и, выслушав несколько речей на тему о необходимости университетской реформы, заявил, что его удивляет, как студенты, в среде которых ведь много юристов, не понимают того, что изменение устава может быть произведено только в законодательном порядке. Затем он подробно рассказывал о том, в чем заключается законодательный порядок, проинизировал, что студенты сами хорошо не знают, чего хотят, что, напр., устав 1863 года, восстановления которого, обыкновенно, „требуют“, далеко не идеал, и закончил указанием, что требования об изменении устава предъявляются чуть ли не каждый год, и правительство не может считаться со случайным мнением незаконных сборищ. Студенты в ответ на это предложили попечителю все же передать их „требования“ министру народного просвещения для возбуждения вопроса об университетской реформе в законодательном порядке. Собирались немедленно же формулировать их. Но попечитель только замахал руками, как и ректор, заявляя, что никаких требований он не имеет права принимать, но что, докладывав министру обо всем происходящем в университете, он доложит и об этих требованиях, а их он прекрасно знает... А в заключение предупредил, что больше сходки уже не могут быть терпимы в университете и что если они не прекратятся, то университет будет передан в руки „другой силы“... Обыкновенно, подобные угрозы со стороны начальства только повышали настроение, но на этот раз, подействовала ли угроза или просто иссякла энергия студенческой массы, но сходки прекратились. Содействовал этому, конечно, и нейтралитет „кассы“, члены которой после политических речей, произнесен-

ных в первой стадии сходов, в дальнейшем ограничили только наблюдением за происходящим и никакого участия в переговорах с ректором и попечителем не принимали. Прекращая сходки, утешали себя наивным утверждением, что, в сущности, студенты „победили“: их „требования“ будут доложены министру попечителем и дадут толчок для возбуждения вопроса об университетской реформе в законодательном порядке. Кажется, в этом смысле была произнесена последняя речь на сходке. О товарищеской солидарности с жертвами московских волнений, давшей повод к сходкам, как-то незаметно для самих себя, но основательно забыли...

Никакой связи с „университетским режимом“ не имели значительно более серьезные беспорядки, всколыхнувшие все высшие учебные заведения Петербурга и отразившиеся в провинции (Москва, Киев) весной 1897 г. Повод их был так исключителен, так бил по нервам, что на этот раз никаких „принципиальных“ разногласий не возникало.

Как только разнеслась весть о самосожжении в Петропавловской крепости курсистки-бестужевки М. Ф. Ветровой, без всяких референдумов, даже без речей и голосований единодушно было принято решение реагировать на ужасный факт демонстрацией.

Правда, демонстрация облекалась в форму панихиды по несчастной жертве Петропавловских казематов, являвшихся символом политического режима. Но политического, демонстративного характера панихиды не понимать могли только уж очень наивные „простяки“, да и тем глаза раскрывали многочисленные прокламации и листки, выпущенные как от студенческих организаций, так и анонимно: все они были проникнуты совершенно определенным политическим настроением. „Касса“ и работавший с ней солидарно только что созданный совет объединенных землячеств не ограничились на этот раз воззванием к товарищам, а выпустили и воззвание „К обществу“. Не только ввиду полулегального характера „касс“, но и по соображениям тактическим — из боязни напугать и тем заставить воздержаться от участия в демонстрации умеренное студенчество, воззвание это было отредактировано в сравнительно умеренных выражениях и тоне. Что такого рода тактические соображения не были лишены основания, убеждали, между прочим, неоднократные обращения ко мне, как председателю „касс“, отдельных студентов с указанием на необходимость принять меры к тому, чтобы в демонстрации не приняли участия рабочие, что, по их мнению, придало бы ей „нежелательный“ характер. На все такие обращения я неизменно отвечал, что „касса“ ни с каким призывом к рабочим не обращается, но принятие каких-нибудь мер к воздержанию рабочих от участия в предположенной демонстрации не может лежать на ее обязанности. Ответ вызывал неудовольствие и нескрываемое подозрение, что „касса“ имеет тайные замыслы привлечь рабочих.

Опровергать такое подозрение было досадно и скучно... Но понятно, что это заставило более ярко и революционно отредактированное воззвание „К народу“ выпустить анонимно. Оно разъяснило смысл и причины демонстрации и было разослано по всем мелочным лавчонкам и магазинам, находящимся

в районе предполагаемого пути следования демонстративного шествия. В ночь накануне демонстрации (т.-е. с 3-го на 4 марта) десятки студентов разбрасывали конверты с воззванием по почтовым ящикам в разных районах города.

4-го марта в Казанский собор и около него собралось тысяч 5—6 учащейся молодежи, и демонстрация получила чисто студенческий характер: количество рабочих, явившихся без приглашения, и представителей радикальной интеллигенции едва ли превышало несколько десятков. Рабочие организации, уже объединившиеся в „Союз борьбы за освобождение рабочего класса“, сознательно воздержались от соответствующих воззваний к рабочим, находя, что движение находится еще в такой стадии, когда политическое выступление может лишь ослабить и неблагоприятно отразиться на его планомерном развитии. „Выступление“ противоречило тогдашней тактике социал-демократов, позже получившей наименование „экономизма“, и признавалось преждевременным...

Знал ли священник, по какой „рабе божьей“ Марии отслужить панихиду к нему обратились с просьбой депутаты молодежи, или вид необычной публики, переполнившей собор, заставил его насторожиться, но от служения панихиды он категорически отказался. Многоголосый хор запел тогда — „вечную память“ в руках у многих зажглись свечи... С пением „вечной памяти“ и „святой боже“ затем начали выходить из церкви, причем оказался открытым только один выход, ведущий на Казанскую улицу. Толпа демонстрантов направилась к Невскому, но отряды конной полиции, заготовленные в близ расположенных дворах, перерезали ей дорогу и оттеснили назад к Казанской улице, только несколько десятков молодежи проникло на Невский, где были тотчас рассеяны. Полиция действовала корректно, без вошедшего потом в подобных случаях применения нагаек, но вид больших отрядов, с двух сторон быстро перерезывающих путь толпе и затем окружающих ее со всех сторон, породил было панику; толпа в беспорядке отхлынула к Казанской улице, находящиеся на высоком портике начали спрыгивать с него, падали, теряли шапки, калоши... Помню студента с растерянным лицом, без шапки, бежавшего вдоль портика и кричавшего, очевидно, для успокоения самого себя:

„Товарищи, не бойтесь, стрелять не будут!“

Кто-то крикнул ему: „Стыдно, товарищ!“, прикрикнул на растерявшихся, и как-то сразу все признаки начинавшейся паники исчезли, толпа успокоилась.

Со всех сторон окруженная отрядами конной полиции внушительная толпа демонстрантов могла двинуться только по Казанской улице, куда и направилась с пением „вечной памяти“ и „святой боже“, продолжавшимся во все время довольно длинного пути к Казанской части. Все балконы и окна по пути были переполнены изумленными обывателями, с любопытством глядевшими на невиданное зрелище мирной демонстрации, eskortируемой конной полицией. Демонстранты находили, что демонстрация удалась вполне, и вопрос о предстоявшей ответственности — всем было ясно, что эскорт полиции преследует цель отнюдь не усиления импозантности шествия, — мало смущал и не портит настроения: все были уверены, что количество демонстрантов гаранти-

рует от репрессий сколько-нибудь серьезных. Правда, по пути количество демонстрантов значительно растаяло: несмотря на отданный лозунг — не расколоться, все, „благоразумно“ желавшие избежать ответственности, выбрались за цепь и ретировались. Полиция не только не препятствовала уходить всем желающим уйти, но и искусными маневрами на каждом перекрестке отрезывала хвост демонстративного шествия и затем отрезанных рассеивала. Во дворе Казанской части, где после нескольких часов томительного ожидания полиция переписала демонстрантов, попало всего около 1200 человек. При переписке требовали предъявления удостоверений о личности, и, помнится, некоторому числу немевших таковых при себе пришлось переночевать в участке. На другой день на сходках, возникших в университете, на Высших женских курсах и, кажется, в Технологическом институте, поставлен был вопрос о необходимости всем участникам демонстрации, непереписанным в Казанской части, заявить о своем участии, чтобы разделить ответственность с переписанными. Пришли к решению собрать собственноручные подписи непереписанных в части участников демонстрации. Но возникли продолжительные досадные и нудные прения по вопросу, как озаглавить листы с подписями, продолжавшиеся чуть ли не два дня. Предложение дать списку заглавие — список лиц, участвовавших в демонстрации в память замученной в тюрьме Ветровой, вызвала резкие протесты. Раздались речи, в которых ораторы заявляли, что они участвовали не в демонстрации, а в попытке отслужить панихиду, что они и не предполагали, чтобы правительство могло воспрепятствовать выполнению христианского обряда. Другие возражали против слишком резкого политического характера предложенной формулы и находили ее неподходящим как-нибудь подчеркнуть чисто студенческий характер демонстрации. Один оратор даже заявил, что он на демонстрации не был, но готов помочь товарищам, боящимся ответственности, своей подписью, но только при условии, что дело не будет носить демонстративного характера. Правда, это „великодушное“ заявление вызвало бурю негодования, свистки и ответ, что никто ответственности не боится, и дело идет только о том, что участвовавшие в демонстрации не должны прятаться, должны из чувства товарищеской солидарности разделить ответственность с переписанными. Но весь характер прений всё же вносил неприятный диссонанс в так удачно, по общему мнению, проведенную манифестацию. Сторонники резкой формулы произнесли несколько ярких политических речей, но когда прения приняли такой неприятный оборот, согласились на единодушно одобренную формулу — список лиц, бывших 4 марта на панихиде в Казанском соборе. Число подписей, однако, повидимому, не достигло числа действительных участников манифестации: страх ответственности всё же оказывал свое действие. Листы с подписями нескольких сот (помнится, около тысячи) студентов, если не ошибаюсь, вместе с листами подписей, собранных на Высших женских курсах, по почте были отправлены градоначальнику. Посылали листы с подписями и другие высшие учебные заведения.

Но на листы не обратили никакого внимания, ответственности были подвергнуты только демонстранты, переписанные в Казанской части. Не

помню уж, по постановлению комитета министров или по высочайшему повелению, все они (кроме курсисток, которым объявили выговор) отсидели по три дня в „Крестах“... Тем дело и закончилось.

А через год произошел в Доме предварительного заключения столь же ужасный случай, жертвою которого пал редко симпатичный и обаятельный человек, статистик С. С. Костромин, служивший в Таможенном департаменте, — случай, который лично меня еще болезненнее ударил по нервам. Но реакция учащейся молодежи на этот раз была иная, точнее сказать, ее вовсе не было — дело ограничилось несколькими резкими прокламациями, призывавшими ответить на новую жертву деспотизма планомерной и целесообразной революционной борьбой, для которой и сохранить силы, не растрачивая их в бесплодной демонстрации, угрожавшей в новой обстановке момента принять иной характер чем демонстрация в память Ветровой...

Такому обороту дела способствовали многие и сложные причины, но не последнюю роль в нем сыграли незадолго перед тем происходившие в университете так называемые „муравьевские беспорядки“. Последние были откликом на беспорядки, возникшие в Варшавском университете по поводу участия, которое приняли варшавские профессора в открытии памятника Муравьеву-вешателю в Вильне. На этот раз повторилось имевшее уже место в 1893 году во время беспорядков „франко-русских“, но в формах более резких и сильных, выступление на сходках националистической, реакционной части студенчества. В их ура-патриотических речах польский вопрос трактовался в тоне и с точки зрения „Нового Времени“. Это, правда, давало повод для политической полемики, и она продолжалась несколько дней подряд, при чем произнесено было много ярких революционных речей. Но раздор в стенах университета причинял передовому студенчеству много огорчений и признавался им крайне нежелательным. В конце-концов сходки были ликвидированы поручением „кассе“ послать от имени петербургского студенчества адрес варшавским студентам с выражением сочувствия. Поручение было принято громадным большинством, но этот вотум был вырван в значительной мере весьма сомнительными аргументами. Говорилось, что варшавские профессора заслуживают осуждения уже за то, что своим поведением они внесли политические раздоры в стены университета, где, как в храме науки, должно царить национальное беспристрастие и т. п. Конечно, адрес „кассы“ не употреблял подобных аргументов, но его редакция не была оглашена на сходке...

С. С. Костромина я знал довольно близко и всегда чувствовал какой-то надрыв, душевный надлом в его прошлом. В 1894 г. умер мой отец, и в 1895 г. вся семья переехала в Петербург. Мать моя, всегда искавшая какого-нибудь общественного дела, кажется, в 1896 г. приняла деятельное участие в разработке данных анкеты о положении начального образования в России, произведенной Вольно-Экономическим Обществом по инициативе и под руководством Г. А. Фальборка и В. И. Чарюльского. Для этого образован был кружок молодежи (работавший бесплатно), собиравшийся для обсуждения общих вопросов и техники работы в нашей квартире. Руководителем работ был С. С. Костро-

мин. Я принимал в этой работе самое небольшое участие, да и то лишь в первой стадии ее. Но с С. С. Костроминим познакомился довольно близко, бывал у него, доставлял ему билеты на вечеринки, текущую нелегальную литературу; он привез мне из Берлина, куда ездил в служебную командировку (кажется, в связи с заключением торгового договора) „Эрфуртскую программу“ Каутского, бывшую тогда величайшею редкостью. Необыкновенно живой, всем интересующийся, С. С. не пропускал ни одной интересной вечеринки, особенно интересовался марксизмом, рабочим движением, через меня он систематически передавал небольшие суммы на „Красный Крест“, „Союзу Борьбы“. Но в разговорах с ним на политические темы я всегда чувствовал какое-то больное место, что объяснял себе неудовлетворенностью человека с революционным настроением, оторванного житейскими условиями от участия в революционном движении (С. С. был женат, имел дочь 2—3 лет). Драма оказалась глубже и сложнее...

Если не ошибаюсь, 21-го марта 1898 года я был с С. С. в Вольно-Экономическом Обществе на докладе марксиста Ионова.

После доклада и вызванных им прений мы вместе возвращались домой, мирно беседуя, и расстались уже около часу ночи. Прийдя домой, я едва успел лечь в постель, как раздался звонок, и затем квартира наполнилась жандармами и полицией... Обыск продолжался 12 часов, но арестован я не был. В ту же ночь С. С. Костромин был арестован. На другой же день к матери пришла очень расстроенная жена С. С., умоляя помочь ей в хлопотах по его освобождению и уверяя, что одиночного заключения он не перенесет. Имея некоторые связи в мире прокуратуры и, конечно, благодаря тому, что арест не имел серьезных оснований, матери вскоре удалось добиться того, что постановление об освобождении С. С. состоялось. Но, к несчастью, это было уже в последний присутственный день перед Пасхой, и всех формальностей по освобождению не успели выполнить... А между тем на свидании с женой, выхлопотанном тоже при содействии матери, С. С. повторял несколько раз: „хлопочи, хлопочи, я не выдержу“...

Несчастливая женщина, окончательно потеряв голову, бросалась во все стороны, но наступившие праздники закрыли все двери...

Не помню уже, на какой день Пасхи, в начале апреля, я проснулся часов около 4-х ночи от сильного звонка. Впечатления недавнего обыска были еще свежи, меня уже таскали раза два на допрос в жандармское управление, и, конечно, я подумал, бросаясь отворять дверь, — „теперь арест“... Дверь уже отворяла мать, а за дверью стоял В. И. Чарнолуцкий. На нем лица не было, — ясно, он принес весть недобрую...

Весть заключалась в том, что вечером предыдущего дня С. С. Костромин в предварилке разломал чайное блюдечко и осколком его вскрыл на левой руке артерии... Поздно вечером о смерти его известили жену, сообщив при этом, что в 7 ч. утра следующего дня из Дома предварительного заключения тело умершего будет перевезено на Николаевский вокзал для похорон на Преображенском кладбище... Все это произвело на меня столь потрясающее впечатление, что я не нашел в себе физических сил — присутствовать на похоронах...

Они состоялись в присутствии не более двух десятков знакомых и близких, которых успели за ночь оповестить.

Насколько помню, на похоронах присутствовали: Н. Ф. Анненский, В. И. Покровский, Г. А. Фальборк, В. И. Чарнолуский с женой, жена покойного, моя мать и несколько студентов... Но я оставаться дома не мог: целый день до полного изнеможения я сообщал о случившемся организациям и знакомым...

За год до того известие об ужасной смерти Ветровой вызвало моментальное и единодушное решение — демонстрация. Теперь положение вещей было сложнее, и по вопросу о том, как реагировать на случившееся, сразу возникли серьезные разногласия. Часть марксистов, в том числе и я (должен признаться, что тогда я реагировал не столько рассудком, сколько нервами), стояли за политическую демонстрацию с призывом ко всему обществу, а в том числе и к рабочим — принять в ней участие. Руководители рабочего движения высказались категорически отрицательно против участия рабочих в демонстрации, продолжая находить такое политическое выступление преждевременным и опасным для движения. Но они не скрывали от себя и от друзей убеждения, что, если демонстрация состоится, хотя бы по инициативе студенческих организаций, несколько сот сознательных рабочих примут в ней участие. И они обращались к влиятельным членам студенческих организаций с настойчивым указанием о необходимости воздержаться от устройства демонстрации. Я настаивал на демонстрации 19-го апреля (1-го мая), которое приходилось, насколько помню, на воскресный день... В „кассе“ большинство представительного собрания явно склонялось к отрицательному решению. Ответственность за принятое решение была слишком велика, все сознавали, что на этот раз демонстрация имела бы весьма серьезные последствия... В значительность размеров демонстрации, в участие в ней широких масс студенчества не верили.

В этом, между прочим, убеждало и настроение широких студенческих масс, вскрывшееся во время недавних „муравьевских беспорядков“. Указывали и на то, что Костромин не был „товарищем-студентом“, что сразу придавало демонстрации резкий политический характер, а не характер чисто студенческого товарищеского желания отдать последний долг памяти умершего товарища, сыгравшего большую роль в количестве пришедших в Казанский собор на панихиду по курсистке Ветровой. Тогда многие шли на панихиду, а не на демонстрацию. Теперь таких мало-сознательных не будет, все отдадут себе отчет в том, что произойдет на Казанской площади, и пойдут на демонстрацию не очень многие, демонстрировать же бессилие — политически не только нецелесообразно, но и преступно...

Я признавал справедливость многих доводов contra, но нервы заставляли меня энергично отстаивать pro... Представительное собрание не решилось взять ответственность на себя и прибегло к референдуму.

Пока производился референдум, появилась небольшая прокламация с призывом на демонстрацию 19-го апреля, изданная анонимно. Было ясно, что

вопрос о том, быть или не быть демонстрации, разрешится только той позицией, какую займет „касса“. На анонимный призыв, который мог исходить и от охраны, никто, конечно, не откликнется. Но все нервничали. Начались разговоры о подсырательном источнике вышедшей прокламации.

Я не принимал никакого участия в ее появлении, но знал источник, из какого спа исходила, и принял участие в ее распространении, разбрасывая ее в почтовые ящики по Васильевскому Острову. Один экземпляр, помню, бросил в почтовый ящик В. И. Покровскому. И через час его жена, встревоженная, пришла к моей матери, как оказалось, по просьбе В. И., с мольбой повлиять на меня, чтобы демонстрации не было...

Референдум дал, как и следовало ожидать, решение отрицательное, и прокламации „кассы“ призывали к революционной борьбе, а не к демонстрации. Демонстрация не состоялась.

А мне продолжало казаться, что она возникнет самопроизвольно, вопреки всем решениям организаций и призывам их прокламаций, и 19 апреля я все-таки ходил на Казанскую площадь „посмотреть“... Заходил в собор... В церкви даже обычных молящихся было мало (может быть, испугались возможной демонстрации?). Около собора попадались отдельные небольшие группы по 2—3—4 человека, в которых я признавал „товарищей“ по настроению... и значительное количество „гороховых пальто“, а в ближайших дворах были заготовлены отряды конной полиции и казаков...

Я собирал материалы и сведения, которые могли осветить психологическую драму Костромина и обстановку, в какой произошла катастрофа.

И вот как я себе представляю происшедшее.

Еще студентом (кажется, Московского Технического училища) С. С. был арестован по политическому делу и после долгого предварительного заключения присужден к тюрьме на продолжительный срок. Отбывать наказание его перевезли в петербургскую одиночную тюрьму („Кресты“). Здесь в конце года С. С. заболел психически. В момент, когда он терял здравый рассудок и снова обретал его, находился на грани безумия, тюремные сирены начали навещать его камеру и подавать „благоразумные“ советы — обратиться к „монаршему милосердию“ с просьбой о помиловании. Юноша крепился, отвергал соблазны; его убеждали — „пожалеть себя“, услужливо приносили бумагу, перо, чернила и говорили, что он будет не первым, что так поступали и большие революционеры... А ужас безумия надвигался. Ему подсовывали готовое прошение, — только подпишите!... И юноша не выдержал, подписал...

Помилование последовало, но уже тогда, когда последний луч сознания погас, больной лишился языка... Его увезли в деревню, где он прожил около года. Поправился, но некоторое расстройство речи осталось навсегда. А вместе с тем остался душевный надрыв, гадливое ощущение... Совесть оправдывает сделанное невменяемостью, а на душе все-таки гадко. Вернувшись к жизни и ко всем ее интересам, С. С. чувствует, что в революционном движении больше не имеет права принимать участия. Своя совесть оправдывает,

а оправдают ли другие? Поймут ли? Свершившееся непоправимо, неизбежно... А весь душевный строй, все настроение — влекут в сторону революционных интересов... И вдруг новый арест, арест без достаточных оснований, держать в тюрьме долго не могут... Но неустойчивая психика опрокидывается, больной человек не может вынести ужаса одиночества, пред ним опять встает призрак безумия... Можно себе представить, что переживал он в одиночке предварилки, и отчего на свидании с женой повторял одно: „хлопочи, хлопочи... я не выдержу“. Жена хлопочет, добивается успеха, но наступают праздники, постановления об освобождении не успели исполнить. Но о состоявшемся постановлении С. С. даже не уведомили: все идет установленным заведенным порядком... Безумие, между тем, уже охватывает несчастного: в день катастрофы он звонит и просит прислать ему фельдшера. Становится у двери и ждет. Когда открываются двери и входит фельдшер, С. С. отталкивает его и быстро выскакивает на коридор, пытается броситься в пролет лестницы с 4-го этажа: он ищет спасения от ужаса охватывающего безумия в смерти! Но его успевают задержать и затем переводят... не в больницу, а в камеру пижного этажа. И здесь в тот же вечер осколком сломанного чайного блюдечка он разрезывает себе артерии...

V.

Рабочее движение начала 1890-х г.г. — Экономизм. — Его заслуга. — Полемика с „народовольцами“. — Петербургские стачки 1895 — 1896 г.г. Группа „народовольцев“ и ее издания. — „Группа четвертого листа“. — Ник. Фед. Богданов, его участие в социал-демократической работе, арест и смерть. — Студенческая „масса“. — „Красный крест“. — Обыск. — Поездка за границу. — Знакомство с Г. В. Плехановым.

Рабочее движение в России было, конечно, продуктом общего экономического развития страны, но я могу не говорить об его корнях и предпосылках, так как очерк мой не исследование, а лишь рассказ о тех течениях и фактах общественной жизни и мысли, которые я наблюдал, в которых принимал некоторое участие...

Это позволяет мне быть в известной мере „поверхностным“, захватывая в своем изложении часто лишь внешние проявления общественных „событий“. Выше я уже обрисовал, как в рабочем движении „народовольческие“ методы постепенно сменялись „социал-демократическими“, как настроение сознательных рабочих постепенно окрашивалось в новые цвета, усваивало новый взгляд на очередные задачи и методы борьбы. После апрельского провала (1894 г.) народовольцев, преобладание среди петербургских рабочих социал-демократического направления становится несомненным фактом. Наблюдается некоторое стремление рабочих самим вести дело, некоторое недоверие, подозрительное отношение к интеллигенции. А на ряду с этим, под прямым влиянием как социал-демократических идей, так и фактов жизни, на адумчивом учете каковых эти идеи базируются, начинает сказываться неудовлетворенность „кружков-

щиной", искание арены более широкой. Искания приводят к лозунгу — широкой агитации на почве непосредственных интересов рабочей массы, т.-е. на почве борьбы экономической. Сюда, к этому лозунгу приводят с разных сторон и социал-демократическая доктрина, в которой революционная интеллигенция находит новый метод борьбы, „программу действия“, обеспечивающую ей „сочувствие и поддержку со стороны народной массы“, и реальным сознательным рабочим, которым верный путь подсказывает стихийно, именно на экономической почве возникающее то здесь, то там брожение рабочей массы.

Опять-таки, я не пишу истории социал-демократического движения, а потому могу не касаться длительной и ожесточенной борьбы различных групп и фракций российской социал-демократии на почве вопросов организационных и тактических, останавливаясь лишь на общих линиях движения. Указанными моментами, явившимися основными факторами возникновения социал-демократического движения, ставящего себе целью ведение экономической борьбы рабочего класса, определилась та формулировка организационных и тактических принципов, которая для своего времени явилась „новым словом“ революционной борьбы. Начало „экономизму“ положила деятельность социал-демократических групп, работавших в 1894 году, когда совершался переход от кружковщины к широкой агитации на почве экономической борьбы, и особенно деятельность „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“, возникшего в конце 1895 года. В „экономизме“ была сущность нового движения, стремившегося к созданию широкого классового движения вместо заговорщической организации революционеров для свержения самодержавия, к которой стремились „народовольцы“.

Я говорю обо всем этом с целями отнюдь не политическими, а лишь для констатирования направления общей линии рабочего движения в момент перехода его от кружковщины к агитации, т.-е. в 1894—1895 г.г. Линия „экономизма“ вытекала уже из того факта, что социал-демократизм прокладывал себе дорогу, как противовес „политике“ народовольцев, в непрестанной полемике с которыми выковывалось новое оружие. Впрочем, в 1895 году полемика велась больше не в партийных организациях и литературе, а в широких кругах, тяготеющих симпатиями к тому или другому направлению революционной тактики. Здесь много говорилось о революционности и угашении ее духа социал-демократами. „Народовольцы“ платонически вздыхали о старых героических методах борьбы, грезили террором (практически террор был снят с очереди). „Социал-демократы“ отвечали, что обыкновенная экономическая стачка революционно эффективнее бомбы террориста. И происшедшие в ноябре 1895 г. стачка ткачей на суконной фабрике Тортона и, особенно, беспорядки на находящейся в центре Васильевского Острова табачной фабрике Лаферм преисполняли сердца „социал-демократов“ великими надеждами: гильзы, выброшенные из разбитых окон и разносимые по ветру, подобные порхающим мотылькам, представлялись символическими обрывками расплывающегося „старого режима“, против которого подымалась

наконец, „мускулистая рука рабочего“. Еще сильнее было впечатление петербургских стачек лета 1896 г. Энтузиасты уже слышали грохот падающего здания подгнившего самодержавия...

А их противники упрямо отказывались видеть в этих событиях даже отдаленный намек на революцию, утверждали, что марксисты „развращают“ рабочих... Полемика доходила до аргументов, подчас довольно курьезных. Помню, на одной вечеринке „народоволец“ пламенно доказывал большую революционность своей партии сравнением тяжести правительственных репрессий против нее и против социал-демократов. „Разве социал-демократа когда-нибудь повесят?“ — восклицал он, размахивая руками...

Между тем в это время там, где не только полемизировали и говорили, но и что-то делали для революции, „дух времени“ оказывал свое могущественное влияние и на наиболее активных из народовольцев. Уцелевшая от апрельского разгрома 1894 г. типография была передана новобразовавшейся народвольтческой группе, которая вскоре и выпустила листок, помеченный № 3, очень смутившей всех верных старым народвольтческим знаменам своим новым направлением, приближающимся к социал-демократическому. Затем типография (в 1895 г.) выпустила „Ткачи“ Гауптмана и ряд брошюр социал-демократического характера, при тогдашней бедности на агитационную литературу давших рабочему движению очень ценный материал. „Рабочий день“, „О штрафах“, и „Царь-голод“ были из практических соображений изданы без пометки „типография группы народовольцев“, а на одной из них даже было обозначено: „Доволнено цензурой. Херсон, 14 ноября 1894 (или 1895) г.“ Помню это хорошо потому, что тогда же обратил внимание на две ошибки в этом обозначении: в Херсоне не было отдельного цензора и день 14 ноября был днем непростительным. Но жандармы, обыкновенно, этих ошибок не замечали, и брошюры сходили за легальные. Помню, у одной из моих знакомых во время обыска было обнаружено 50 экземпляров брошюры с этой пометкой о цензурном разрешении. Экземпляр брошюры повертел в руках полицейский пристав, повертел жандармский ротмистр, даже спросил — „зачем у вас так много?“ Но пометка подействовала успокоительно: обыскиваемая не была арестована, и брошюры пошли туда, куда были предназначены...

Весной 1896 г. вышел № 4 „Листка группы народовольцев“, явственно тяготевший к социал-демократическим принципам и тем вызвавший в народвольтческих сферах бурю возмущения: некоторые из провинциальных групп прекратили с еретической петербургской группой, получившей наименование „группы 4-го листка“, всякие сношения. Петербургские народвольтцы выступили против „4-го листка“ протест, очень плохо технически изданный на гектографе. Это было последнее „народвольтческое“ издание: революционное народничество вскоре объединилось под знаменем новой партии „социалистов революционеров“. А „группа 4-го листка“ еще выпустила во время знаменитой петербургской стачки ткачей летом 1896 г. печатную прокламацию, особенно понравившуюся рабочим. Но она была издана не от имени „группы народовольцев“, а от имени несуществовавшей организации „Рабочий союз“.

Менее чем через месяц после окончания петербургских стачек — 13-го июня „группа народолюбцев“ была разгромлена, и типография ее на Лакте арестована. Виновником разгрома был приобретенный позже известность в петербургских литературных кругах провокатор М. И. Гурович...

Несмотря на громадные аресты, вызванные летними петербургскими стачками (к половине июля число арестов превысило тысячу, много стачечников было выслано из Петербурга) „впечатление от стачки, — как справедливо констатировал „Доклад русских социал-демократов Международному социалистическому конгрессу в Лондоне в 1896 г.“, — получилось потрясающее“. О стачке последовало „правительственное сообщение“; нарощение в России „рабочего вопроса“ было констатировано официально. Особенное впечатление произвели спокойная выдержка и дисциплина, с которыми стачка была проведена. В настоящее время трудно даже представить себе то настроение розового тумана, какое кружило тогда головы марксистской интеллигенции. Новые методы борьбы получили свое оправдание и увлечение стачками, „стачкизм“ стал лозунгом момента. Я уже не был тогда „зеленым юношей“, но когда осенью в Петербург пришло известие о забастовке на бумагопрядильне бр. Зотовых в Костроме, меня не удовлетворили обычные в таких случаях способы сборов на помощь стачечникам, и я прибег к рискованному способу сбора на улицах. Определяя на взгляд „благонадежность“ прохожих, я обращался с предложением „пожертвовать“. Ни разу не ошибся и, хотя спокойному рассуждению было ясно, что 20 — 30 руб., собранных таким способом, уже ничтожеством суммы были аргументом contra моего „мальчишества“, как сурово квалифицировали мое поведение „солидные“ товарищи, но для меня субъективно дело было, конечно, не в 20 — 30 собранных рублях, — просто накопившаяся энергия стремилась к разряжению...

Осенью 1896 г. я сблизился с Николаем Федоровичем Богдановым, знаком с которым был еще со времен „кассы“ первых лет моего студенчества. Российское социал-демократическое движение, как вследствие самого характера своего, так и вследствие тех внешних условий, в которых оно родилось и развивалось, сохранило немного имен деятелей, коим оно в той или иной мере обязано своими успехами. Но мне кажется справедливым сохранить от забвения имена тех людей, которые вложили в начинавшееся движение все свои умственные и моральные силы, часто далеко недюжинные, которые были его незаметными подвижниками, нередко в нем сгорали и гибли, сохраняя гордую уверенность, что „не пропадет их скорбный труд и дум высокое стремление“... Одним из таких несправедливо забытых деятелей был Н. Ф. Богданов, восстановить хоть бледный образ которого я и хочу в последующих строках.

Осенью 1896 г. Н. Ф. уже не состоял студентом университета, получив „зачетное свидетельство“ о прохождении восьми семестров юридического факуль-

тата еще весной. Захваченный революционной работой, он отложил государственные экзамены, а для заработка средств к жизни поступил на службу в Государственный банк, где и получал что-то около 50—60 р. в месяц. Жил в знаменитых „Львовских домах“ на 10 линий Вас. Острова, сверху до низу населенных учащейся молодежью, занимая „студенческую“ комнату у простой старухи-эстонки, прямо обожавшей своего странного квартиранта, внешняя безалаберность, богемность жизни которого переходила все границы. У Ник. Фед. был физический недостаток — одна нога короче другой, благодаря чему он носил на короткой ноге особенный высокий сапог и прихрамывал. Это лишало его возможности стать агитатором в рабочих районах и входить в непосредственные сношения с рабочими массами (во-первых, передвижение пешком было для него утомительно, а во-вторых, походка делала его фигуру слишком приметной для филерского глаза), и тем самым дало особое направление его революционной деятельности. Трудно перечислить всё, что он делал, еще труднее сказать, чего он не делал, ибо, кроме непосредственных сношений с рабочими, он ведал буквально всё: стратегию и тактику, дипломатию и технику, финансы и всё прочее. Главнейшей его задачей, — хотя сам Ник. Фед. решительно всё признавал „главным“, во всяком случае существенно необходимым, — была забота об обеспечении движению непрерывности, своего рода страхование от сравнительно частых тогда массовых провалов. Для этого, прежде всего, наличному кадру агитаторов у него всегда была готова „смена“, от которой он ригористически требовал сохранения до приступа к работе „благонадежности“, т.-е. воздержания от всего, что могло повести за собою отметку в охранке. Для восстановления провалившейся группы он всегда был в курсе связей агитаторов с рабочей средой. Но провал агитационной группы обыкновенно сопровождается арестами и тех рабочих, которые были с ними в непосредственной связи. Поэтому Ник. Фед. задачу обеспечения связи ставил шире, требуя от агитаторов самого внимательного и обдуманного отношения к вопросу. Они не должны были ограничиваться деловой связью с наиболее активными рабочими (последние обыкновенно „пролетали“ одновременно с агитатором-интеллигентом), они должны были наметить в рабочей среде лиц, более или менее сознательных, не выдвигающихся в текущей работе, а потому более или менее от ареста обеспеченных, наконец, в крайнем случае уговорить нескольких человек временно воздерживаться от политической работы с тем, чтобы в соответствующий момент помочь восстановлению связи. Конечно, самые строго обдуманные, меры обеспечения связи при постоянном проникновении в организации провокаторов, при арестах, единовременно захватывающих массу людей, не всегда были вполне верными.

Но как-то всегда после провалов в руках у Ник. Фед. оставались хоть самые небольшие обрывки ниточек, по которым ему, в конце концов, в сравнительно короткое время удавалось связывать разорванное, восстанавливать разрушенное.

Но „провалы“ случались так часто, проникали нередко и в самую глубь организаций и одновременно поражали и самые отдаленные точки периферии...

Себя Ник. Фед. считал достаточно обеспеченным от провала, так как находил свою деятельность вне сферы наблюдения охраны. Для обеспечения движению постоянной смены кадров агитаторов, всемерного и многообразного технического содействия, финансирования и т. д. Ник. Фед. поддерживал самые тесные связи с широкими кругами учащейся молодежи, с студенческими организациями. Его общительная, живая натура, активный интерес к людям впрочем, устанавливали для него эти широчайшие связи и вне всяких политических, тактических и других „задач“. Просто его влекло к людям, как и людей к нему. В его не очень обширной комнате, как бы поздно он ни возвращался после дневных работ, непременно собиралось несколько человек молодежи, просиживавшей за самоваром и веселой беседой далеко за полночь. Я был непременно „завсегдатаем“ вечеринок, при чем всегда уходил в числе последних, что при его добросовестности и аккуратности в отношении к взятым на себя обязанностям не влекло за собой пропуска службы. Я всегда не понимал, когда он спит и отдыхает. При массе времени, которое отнимали у него служба, конспиративная работа, просто общение с людьми, он еще массу читал, время для чего, конечно, мог урвать только в часы глубокой ночи. Кажется, только с января 1897 г. он приступил к подготовке к государственным экзаменам, сдачей которых обуславливалось его повышение по службе, и сдал их той же весной. При его способностях экзамены были для него делом совсем нетрудным, но всё же для подготовки к ним ему приходилось часто просиживать напролет ночи, так как ни у „дел“, ни у обычного общения с людьми он времени отнимать не соглашался. Впрочем, весной по настоянию друзей на дверях Ник. Фед. появилось какое-то объявление о распределении его времени. И однако же, мне не раз приходилось, придя по какому-нибудь нетерпящему отлагательства делу в „забронированный“ для его занятий час, заставать в его комнате самовар и веселую компанию вокруг стола...

Жадный ко всем „впечатлениям бытия“, с умом, несколько скептической и иронической складки, Ник. Фед. соединял широкое сердце и явный уклон к романтике и поэтической мечтательности, над чем сам же подтрунивал. Его отношения к людям были запечатлены самой широкой терпимостью и искренним доброжелательством. Всегда занятый разыскиванием „нужных“ для дела людей, он никогда не расценивал их с ригористической точки зрения „полезности“, столь обычной в революционной среде. В числе его друзей бывали и люди явно и безнадежно „бесполезные“, становившиеся ему нередко душевно более близкими иных товарищей по революционной работе. В последних он тоже как-то в сущности ценил не столько их „полезность“, сколько моральный и духовный облик. В „деловых“ отношениях не допускал и не прощал неаккуратности, легкомыслия, даже неосторожности: здесь он был требователен и строг. Вообще же отличался широкой терпимостью к людям и их слабостям, органически не вынося разве только чопорности и того сорта людей, в каждом движении которых проскальзывает уверенность, что они — „солъ земли“... Ник. Фед. весьма мало походил на обычный тип революционера, хотя был

революционером с головы до пят. Революция была его стихией; он отдал ей сознательно все свои силы и не мыслил себя вне революционной работы, но не был ни святым, ни сектантом, а просто человеком страстного устремления вмешаться в самую гущу жизни. Ни к кому он не предъявлял требования стать непременно революционером, но от тех, кто пошел по революционному пути, требовал беспощадно выдержки, аккуратности, продуманности каждого шага, но больше и прежде всего — нестиглемой принципиальности и моральности благородства и рыцарства. Ничто его так не расстраивало, как мелкие дрязги в революционной среде, конфликты на почве оскорбленного самолюбия; ничто не вызывало такого негодования, как стремление к „генеральству“. Много сил и энергии затрачивал он всегда на устранение всяких трений, улаживание конфликтов, что ему впрочем всегда как-то особенно легко удавалось. Революционеры не были в его глазах особой, высшей породой людей, но должны были подавать пример рыцарского благородства, верности долгу, товарищеского, братского отношения друг к другу. Малейший „скандал“ в революционной среде заставлял его глубоко страдать и волноваться... Тяжелые материальные условия жизни не положили ни малейшего следа на его настроение, на кристальную ясность души. Типичный представитель богемы, он сохранял в душе неиссякаемый источник нежности, бодрой жизнерадостности, страстную любовь к природе.

Весной 1897 г. я тоже сдавал какие-то экзамены. И вот часто в самую горячую пору занятий, когда казалось, что времени для подготовки не хватит, раздавался звонок и затем характерный стук тяжелого сапога Ник. Фед. Входил с характерной доброй улыбкой, немного иронической, немного мечтательной, так красившей его в общем некрасивое лицо, — эту необыкновенную улыбку мне позже напоминала улыбка И. П. Калыева...

— Пойдем куда-нибудь!

— Куда? Николай Федорович, у меня завтра экзамен... — пробуеть бывало отбиться, наперед зная, что не устоишь...

— А у меня послезавтра...

— Да ведь я не умею...

— И я не умею! Да вы посмотрите, погода какая! Разве можно сидеть за книгой? Ну что, уговорил? Сдаетесь?

И надо было сдаваться, ибо, в конце концов, все равно „уговорил“ бы. Шли и, забравшись куда-нибудь вглубь Петровского острова, лежали на траве, или часами катились на лодке, пока голос „благоразумия“ не заговаривал, наконец, в нем:

— М. М., а ведь этак мы, пожалуй, действительно не успеем, погуляли — и довольно!..

Неохотно плелись домой, а, расставаясь, он непременно говорил: — ведь вечером зайдете? Чайку поьем...

— Не знаю уж, если успею...

— Да бросьте, ведь накануне-то экзамена усердствовать не следует, всё перепутается! Приходите хоть поздно, часов в 12...

И я, конечно, знал, что приду.

Ник. Фед. был убежден, что только несчастная случайность может повлечь за собой его арест, и непоколебимо верил в свое революционное долголетие. В одной с ним квартире жили приятели, которые такой уверенности отнюдь иметь не могли. И от „компрометирующего“ знакомства с ними Ник. Фед. заставлял дверь, ведущую в их комнаты, большим швапом, так что на чай и на товарищескую беседу они должны были путешествовать кругом по длинному, темному коридору... Соответствующие указания давались и хозяйке:

— Елизавета Федоровна! Помните,— я с А. В. и В. В. незнаком...

— Снаю, снаю... улыбалась эстонка.

Не знаю уж, „случай“ или что другое, но только революционный век, а вместе с тем, увы, и жизненный путь Ник. Фед. не оказались долгими.

В начале июня мы отпраздновали окончание экзаменов, Ник. Фед. получил служебное повышение, выразившееся в прибавке к жалованию рублей 15—20, и я уехал на родину. Недели за две до моего возвращения в августе, всё население квартиры добродушной эстонки, а в том числе и Н. Ф. Богданов,— было арестовано.

Эстонка во время обыска ругалась с полицией и жандармами, уверяла, что „Ник. Фед.— очень хороший господин“, а затем, подробно рассказывая мне об аресте Ник. Фед., неудержимо плакала...

Первые письма Ник. Фед. из „предварилки“ дышали бодростью и уверенностями, что тюрьма для него — давно необходимый отдых и возможность пополнить пробелы в образовании; действительно, он поглощал невероятное количество книг. Но „отдых“ затянулся слишком долго: его продержали 14 или 15 месяцев, а затем, в порядке „административного приговора“ на пять лет отправили в Восточную Сибирь.

Еще в последние месяцы тюрьмы у Ник. Фед. обнаружились опасные симптомы болезни, а в Киренск он прибыл уже с явными признаками чахотки. Весной 1900 г. после продолжительных хлопот удалось добиться его перевода на юг (в Минусинский округ), и он двинулся даже в путь, но прибыл в Олекминск в таком состоянии, что дальше продолжать путешествие уже не мог. Здесь он и скончался 8-го мая 1900 г. ¹⁾.

¹⁾ Известие о его смерти я получил, сидя в Черниговской тюрьме, и написал стихотворение „Памяти друга“, помещенное затем в киевской социал-демократической газете „Вперед“. Помню только начало и конец стихотворения:

О смерти твоей услышал я в тюрьме,
Товарищ и друг мой несчастный,
Да будет же вечная память тебе
И мир после жизни несчастной!...

И пусть нас по тюрьмах сажают,
Ломают, калечат и гнут.
Мощь наша растет, вырастает
Окрепнет и скоро сломает
Оковы неправедных пуг!..

В начале 1897 г. по настоянию Н. Ф., находившего, что все студенческие организации должны быть в „наших руках“, я согласился баллотироваться в председатели „кассы“, но выдержал председательство что-то не больше трех месяцев. В это время в „представительном собрании“ ясно обозначились стремления превратить „кассу“ в профессиональную организацию. „Политика“ явно не пользовалась сочувствием и трактовалась как нежелательное вовлечение студенчества в чуждые для него партийные дела. При таком настроении значительного количества членов „представительного собрания“, и как раз членов из наиболее деятельной молодежи, только начавшей свое политическое воспитание, для меня, совершенно иначе смотревшего на задачи студенческой организации, председательство создавало в значительной мере фальшивое положение. Учитывая значительное оппозиционное настроение студенческого профессионализма — „политике“, вскоре после Ветровской демонстрации я сложил свои полномочия... С тех пор я и не принимал в „кассе“ почти никакого участия — до событий 1899 года, даже не посещал заседаний „представительного собрания“, хотя по уставу „кассы“ лица, состоявшие председателем ее, сохраняли на всё время своего студенчества право участия в нем, даже если они перестали состоять представителями кружков.

По настоянию же Н. Ф. Богданова, состоявшего представителем „Союза борьбы“ в „Красном кресте“, я принял на себя обязанности сборщика „Креста“ от университета. После ареста Ник. Фед. мне пришлось взять на себя его обязанности и объединить всех сборщиков от высших учебных заведений. Дело помощи политическим заключенным и ссыльным с развитием революционной борьбы, особенно с вовлечением в нее широких рабочих масс, потребовавшим серьезной помощи семьям, явно стояло не на высоте требований, предъявляемых жизнью. Между тем, интересы революционного дела, революционная честь требовали его надлежащей постановки. И я решил приложить все усилия к упорядочению помощи жертвам политической борьбы, к поднятию ее уровня. Трудности на этом пути были большие, так как количество заключенных в петербургских тюрьмах в это время редко не достигало 150 — 200 человек, а ежемесячные поступления в кассу „Креста“ были сравнительно ничтожны. Для поднятия количества поступлений организована была постоянная коллегия сборщиков от всех учебных заведений. Для той же цели существенно необходимым, с моей точки зрения, был регулярный выход отчетов „Креста“. Центр „Креста“ состоял в это время из людей, в сущности далеких от активной революционной борьбы, лишен был техники и лишь временами (не очень часто) доставлял некоторое количество нелегальной литературы, продававшейся в пользу „Креста“. Но и успешная распродажа этой литературы началась лишь с организацией постоянной коллегии сборщиков. Я стал во главе коллегии сборщиков и добился совершенно новой постановки всего дела. Из центра мне была передана медная печать организации, и на мою обязанность легла забота и о выпуске отчетов. При содействии „Союза борьбы“ мне удалось выпускать отчеты ежемесячно (кроме

летних месяцев), внося в них помимо сведений о поступлении и расходовании сумм — списки заключенных в тюрьмах. Все собираемые по учебным заведениям суммы поступали ко мне немедленно и, при участии двух девиц, постоянно посещавших тюрьмы, распределялись более или менее планомерно. Они же через тюрьмы неутомимо разыскивали связи с семьями заключенных. Работали они напряженно и самоотверженно, постоянно рискуя арестом. Организация коллегий сборщиков, собиравшейся у меня не реже одного раза в месяц, регулярный выход отчетов, преданность делу девиц, взявших на себя заботы о заключенных, оживили работу „Креста“ и подняли значительно поступления в его кассу. От центра, — за время моей двухлетней с небольшим работы было лишь одно или два заседания центра, — мне ежемесячно передавались лишь сведения о поступлениях и расходах (весьма минимальных) для помещения в отчетах, да изредка небольшие суммы. В сущности вся работа производилась помимо центра. Конечно, никогда уровень необходимой жертвам политической борьбы помощи не удовлетворял запросам жизни, так как всё же главную часть бюджета „Креста“ оставались сборы среди учащейся молодежи, а ее собственный бюджет всегда был очень скромнен. Общественная же помощь „Кресту“ всегда оставалась минимальной... В среднем, ежемесячный бюджет „Креста“ удавалось довести до 2—2½ тысяч рублей что по сравнению с недавним прошлым было уже значительным успехом. Но при 100—120—150 заключенных в тюрьмах (из которых значительное большинство в помощи нуждалось), при необходимости помогать семьям заключенных (особенно, рабочих), высылаемым, оказываемая „Крестом“ помощь оставалась позорно недостаточною... Это было для меня в течение более чем двух лет источником постоянных тревог и нервных волнений, хотя субъективно я всегда мог сказать своей совести — feci, quod potui, что, однако не давало морального успокоения. Неудовлетворенная нужда всегда была вопиющей, и это в моих глазах наносило серьезный ущерб делу революции... Совершенно случайно именно работа в „Кресте“ едва не закончилась для меня весьма серьезными последствиями. Во время мартовского разгрома социалистов-революционеров 1898 году у меня был произведен обыск, окончившийся благополучно только благодаря самообладанию и находчивости матери.

Текущие компрометирующие записи по „Кресту“ мне удалось сохранить, несмотря на самый тщательный обыск; у меня взяты были из библиотечного шкапа только три-четыре социал-демократические брошюры, и арестован я не был. В эту же ночь производилась бездна обысков, и к нам на квартиру не была привезена женщина из охранки, для обыска у матери пригласили жену старшего дворника. Со старшим дворником у нее были отношения хорошие, к ним мать успела, несмотря на то, что у полуоткрытых дверей стоял пристав, присоединить обещание „благодарности“ в 300 рублей и... всё обошлось. А между тем обычно хранившаяся мною у матери наволочка в эту ночь была набита особенно туго. В ней помещались: значительное количество материала для архива „Союза борьбы“, медная печать „Красного креста“ и подушечка с красными чернилами, отчеты „Красного креста“ и довольно

много различной нелегальной „литературы“. Когда везет, — везет... С приближением утра я начал волноваться, ибо часам к 11 я ждал „деловых“ визитов, а визитеры могли иметь при себе компрометирующий материал. Я попросил младшего, ныне уже покойного брата Петра, бывшего в то время еще учеником 7-го класса Ларинской гимназии, по дороге в гимназию предупредить, кого следует... Но я был уверен, что пристав, производивший обыск, не отпустит его в гимназию, к чему было уже то основание, что он не ложился спать... Но пристав... отпустил, за что в нашем присутствии через $\frac{1}{2}$ часа получил увесистый выговор от приехавшего „инспектировать“ жандармского подполковника... Почему обыск был произведен у меня в связи с разгромом социалистов-революционеров, к которым я никакого касательства не имел, и почему я выше поставил его в связь со своей „крестовской“ работой, объясняется просто...

Незадолго перед тем была арестована социалистка-революционерка С. К., курсистка-бестужевка. Месяца за $1\frac{1}{2}$ до ареста она была в моей квартире на собрании коллегии сборщиков „Креста“, заменив на этот раз постоянную сборщицу бестужевских курсов Н. И. Бокий, по просьбе последней. На первом же допросе С. К. показала, чтобы выпутаться из каких-то предъявленных ей обвинений, что какие-то документы были ей переданы Н. И. Бокий у меня на квартире... В ту же ночь, когда у меня производился обыск, Н. И. Бокий была арестована... Не знаю, были ли и еще обыски и аресты в связи с показаниями С. К. (кажется, нет). Н. И. Бокий отделалась сравнительно недолгим заключением без серьезных последствий; мне же самых серьезных последствий удалось избежать только случайно.

Арестован я был ровно через год, 20 марта 1899 г., но уже совершенно по иному поводу.

Месяца за полтора-два до обыска, еще зимой 1898 г., я как-то отправился „по делам“ с карманами, битком набитыми всяческой „нелегальщиной“, и вдруг мне сделалось так дурно, что я чуть не упал в обморок на улице... С трудом добрался я домой и слег от сердечного припадка. Пользовавшийся меня милейший П. В. Мокриевский не нашел „ничего серьезного“, но настоятельно рекомендовал на лето поездку в Наугейм. Поездка уже была решена, как произошел обыск, а после него привлечение к жандармскому дознанию, подписка о невыезде и пр. Получить в таких условиях заграничный паспорт было не так-то легко, но для энергии и настойчивости моей матери не было препятствий непреодолимых. После более чем месячных хлопот и ее ежедневного бегания по различным учреждениям, наконец, паспорт был получен и в начале июня мы (я с матерью и сестрой) были уже в Берлине...

В Берлин мы приехали в момент, когда заканчивались общие выборы в рейхстаг: дня через три после нашего приезда должны были состояться перебаллотировки (Stichwahlen). Каждый вечер мы посещали предвыборные собрания, организуемые социал-демократической партией. Из более или менее известных ораторов мне удалось тогда слышать Штадтгагена, старика Зингера...

Помню, меня особенно поразили совсем не революционный, а прекраснотонный тон речи Зингера. В весьма оптимистических, розовых красках рисовал он картины грядущего благополучия осуществляющегося социализма. Вдруг кто-то прервал его речь скептическим замечанием: — „никогда!“ (niemals!). Зингер остановился, обернулся в сторону, возгласил, добродушно улыбаясь, удивленно спросил: „кто говорит „никогда“? Почему „никогда“? Нет, это будет, это скоро будет!“ — И довольно тусклой речью о неизбежности в самом ближайшем будущем мирной победы социализма вызвал бурные аплодисменты аудитории, радостно-приподнятое настроение которой разделял и я, случайный слушатель Зингера... Настроение аудитории не только в этот вечер, но и во все другие вечера, проведенные мною тогда на народных собраниях, казалось мне чрезвычайно мирным и добродушным. Мои соседи (рабочие-избиратели, партийные социал-демократы), с которыми мне приходилось заговаривать, обыкновенно высказывали свою глубокую уверенность в близости осуществления социализма, при чем говорили: „до сих пор мы работали на буржуазию, теперь буржуазия послужит народу, — у нее громадный опыт и большие знания, и мы используем их, буржуазия поступит к нам на службу!“.. Выборы заканчивались значительным усилением социал-демократической партии в рейхстаге, и это было одной из причин победоносного настроения... Однажды, полицейский чиновник, сидевший на эстраде, остановил оратора и сделал первое предостережение председателю собрания. „Знаете, это ничего не значит, — начал шептать мне на ухо сосед, — очень, очень может быть, что и сам этот полицейский — социал-демократ“... В другой раз во время собрания разразилась гроза с градом. Град пробил стеклянный потолок, и потоки воды влились в громадный зал, в котором происходило собрание. Оратор долго старался заглушать свою речь ударами грома и шумом дождя, но пол начал покрываться водой, публика поднималась с мест, становилась на табуреты... А гроза и ливень продолжали бушевать. Председателю пришлось объявить собрание закрытым... Лишь только он сделал это, как кто-то выскочил на эстраду, взобрался на стол и закричал: „Товарищи! Сам бог возглашает — hoch, Socialdemocratie! прокричим же и мы наше — hoch, Socialdemocratie!“ И буря энтузиазма на миг как будто заглушила бурю в природе...

В Берлине все казалось мне насыщенным социализмом, который уже стоит у порога и не сегодня-завтра перешагнет за порог... И таким неожиданным репримандом был для меня высокомерный ответ хозяина пансиона в Наугейме (франкфуртского провизора) на мой вопрос, за кого он подал голос на выборах: — „ich treibe keine Politik!“ — ответ, преисполненный великолепного презрения ко всем интересующимся политикой и столь же великолепного самодовольства человека, чувствующего себя стоящим так высоко, что его подобные „пустяки“ не интересуют...

После пятинедельного лечения в Наугейме мне удалось в то же первое пребывание за границей совершить круговое путешествие по Швейцарии... В Женеве наибольшей достопримечательностью (для моего тогдашнего настроения) была типография, печатавшая русскую социал-демократическую

литературу... Плеханова я не застал в Женеве, с двумя дочерьми он проводил лето на Тунском озере. Но мог ли я уехать из Швейцарии, не познакомившись с Г. В. Плехановым? И я провел четыре дня в деревушке Зигрисвилль в том же пансионе, где тогда жили Г. В. Плеханов с дочерьми и В. И. Засулич. Г. В. произвел на меня сильное, незабываемое впечатление, как человек блестяще и всесторонне одаренный, как индивидуальность яркая и оригинальная, резко выделяющаяся из рядов тех, „кого слишком много“. Мне приходилось потом встречаться и даже близко знать знаменитостей большого размера, но редко в моем уме так поражали богатство одаренности и своеобразие всего духовного облика, как в Г. В. Плеханове. Кстати сказать, он был блестящий собеседник и неотразимый полемист, хотя, напр., за табльд'отом (в пансионе преобладали русские и притом, главным образом, петербуржцы), когда начинал говорить Плеханов всегда глубоко и содержательно, уснащая свою речь обильными цитатами из Щедрина, Глеба Успенского (положительно, он знал их на память!), расцветивая ее блестящими сверкающего остроумия и подчас согрешая проникновенным, искренним лиризмом, — его речь обращалась в монолог, все умолкали и слушали, затаив дыхание... — Так слушали, вероятно, Рудина — не раз думалось мне...

Каждый день после завтрака Г. В. часа два занимался с дочерьми (девочками-подростками) русской литературой (обе хорошо говорили по-русски, но с заметным акцентом). Затем мы совершали обыкновенно небольшие прогулки. Г. В. с такой жадностью расспрашивал меня о России, интересуясь малейшими деталями самых заурядных жизненных явлений, что я глубоко почувствовал, как сильно гложет душу этого большого человека жгучая тоска по родине, хотя прямо он никогда не высказывал этого...

Беседы с Г. В. были необыкновенно сильным возбудителем мысли. Из четырехдневных бесед с ним я, по крайней мере, вынес целый ряд новых интересов, при чем он же дал мне и ариаднину нить для ориентации в их запутанном лабиринте...

VI.

До 8 февраля 1899 г. — Демонстрация 8 февраля. — На другой день. — „Организационный комитет“ и „класс взаимопомощи“. — Сходки в университете. — Распространение волнений на другие учеб. заведения и провинцию. — „Манифест нассы взаимопомощи“. — Мартовские сходки. — М. Пл. Калев. — Арест. — Допросы. — Ликвидация студенческого движения 1899 г. — Значение девятилетних годов и „манифеста нассы взаимопомощи“.

Внешняя история студенческих волнений 1899 года и причины возникшего движения более или менее общеизвестны ¹⁾, и я коснусь их лишь постольку,

¹⁾ Сведения о них, между прочим, можно найти у Н. Иорданского, „Миссия П. С. Вапновского“, Былое, сентябрь 1907; в брошюре Энгеля и Горохова, „Из истории студенческого движения 1899 — 1906 г.г., Спб., год издания не обозначен, а также в записке охранника П. Статковского, „С.-Петербургское охранное отделение в 1895 — 1901 г.г.“, „Былое“, № 16 (1921). Последний „труд“, любезный по источнику своего

поскольку мое „показание“ может дать новый материал для более полного освещения тогдашних событий и общего характера их.

Как видно из всего предыдущего, и степень политической сознательности, и настроение широких масс студенчества делали совершенно невозможным возникновение среди него сознательного движения с политическими лозунгами, не допускали воскрешения старого взгляда, что студенчество может и должно быть аванпостом интеллигенции в ее оппозиционной и даже революционной борьбе. В массе среднего студенчества жило не только нерасположение к „политике“, но и убеждение, что на путь политики его толкают из партийных расчетов и соображений, интересам студенчества чуждых, а пожалуй что и враждебных... В Ветровской демонстрации оно участвовало потому, что видело в ней не демонстрацию, а панихиду по товарищу... От демонстрации по поводу трагической гибели Костромина организованное студенчество сознательно отказалось, понимая, что, в виду ясного политического характера ее, широкие массы студенчества участия в ней не примут... И однако же, через год после этого, именно в среде политически малосознательного, почти враждебного „политике“ студенчества происходит взрыв революционной эвергии, поражающий своей неожиданностью, возникает движение, которое стихийностью своего проявления и массовым характером заставляет и марксиста Энгеля и охранника Статковского говорить о „прелюдии русской революции“. Приоритет этой характеристики движения, — не ретроспективной, как у названных авторов а пророческой, ибо сделана она была в разгаре событий, — принадлежит „Манифесту кассы взаимопомощи“, констатировавшему рождение „стихийных сил, коим предстоит отправить в историческую гробницу русский абсолютизм“

происхождения, весьма дефективен в качестве исторического источника. Так, напр. ректора университета В. И. Сергеевича (проф. истории русского права) Статковский явно смешивает с проф. уголовного права Н. Д. Сергеевским и объясняет осуждение его на акте 8-го февраля 1899 г. недовольством студентов за то, „что он в своих сочинениях является сторонником смертной казни“. (Кстати сказать, как профессор, Сергеевич всегда был широко популярен и имел обширную аудиторию.)

В дальнейшем изложении Статковский соединяет в одну две важнейшие прокламации, изданные во время движения различными организациями и в различное время „Манифесту кассы взаимопомощи“ (вышедшему около 16-го — 18-го марта, а не 4-го марта, как сказано у Статковского), кроме подлинной цитаты из него, он приписывает и цитату, извлеченную из прокламации „Организационного комитета“, вышедшей действительно 4-го марта. Если первал „ошибка“ свидетельствует просто о низкой культурности автора, то вторая лишь доказывает, что для „охранной“ истории историческая точность не была важной. Обе прокламации, конечно, попали в охранное отделение и были в руках его „историка“. „Манифест“, между прочим, был одной из причин того, что „охранному отделению разрешено было перейти из выжидательного положения в наступление или, проще говоря, — произвести аресты“. „Записка“ охранника, конечно, не преследовала задач исторического исследования, ей нужно было только установить „революционность“ студенческого движения и организаций, руководивших им, а какой организацией именно, в какое время точно эта „революционность“ была выявлена, не все ли равно для охранника? Ведь он же не историк. Это надо иметь в виду при пользовании „запиской“ Статковского, как историческим материалом.

Но здесь я забегаю вперед...

Возбужденное настроение студенческой массы, бурление, ищущее исхода в протесте ради протеста, без осознанных политических целей его, сказалось в Петербургском университете еще до 8-го февраля. Кажется, 4-го февраля и в университетской витрине для объявлений, и в „Новом Времени“ появилось объявление от ректора, конечно, сделанное им не по собственной инициативе, — с предупреждением не нарушать в день университетской годовщины 8-го февраля общественной тишины и спокойствия, сопровождавшимся перечислением кар, угрожающих нарушителям порядка. Бестактный тон объявления и самый способ его опубликования вызвали раздражение значительной части студенчества. В продолжение нескольких дней на площадке, где вывешено было объявление, всё время собирались группы студентов, громко и резко выражавших свое недовольство. Организованное студенчество к происходящему относилось пассивно. 6-го февраля на площадке собралась сходка возникшая, повидимому, по инициативе „патриотов“. На обсуждение ее был поставлен вопрос об отношении к смерти французского президента Феликса Фора. Кто-то предложил отправить в Париж от имени студенчества сочувственную телеграмму. После двух-трех увесистых реплик на это предложение оно блестяще провалилось. Но сходка не разошлась.

Возник вопрос о ректорском объявлении. И при первых же негодующих словах раздался звон разбитого стекла, к объявлению протянулась чья-то рука — и оно исчезло... Никаких решений, помнится, принято не было, но всё свидетельствовало о чрезвычайно повышенном настроении. Через день на торжественном университетском акте 8-го февраля настроение это прорвалось бешеными свистами, топаньем ног, криками: „вон!“ и „долой!“, раздавшимися при появлении на кафедре ректора Сергеевича. Тщетно в продолжение около 15—20 минут он пытался успокоить протестантов, беспомощно жестикулируя и раскрывая рот, — ни одного его слова нельзя было расслышать. Наконец, он сошел с кафедры и быстро удалился... Акт был сорван. В возбужденном настроении, с пением песен начали расходиться студенты, направляясь главным образом на Невский...

Демонстрацию на акте без предварительного сговора, а тем более предварительного „решения“ какой-либо организации¹⁾, вынесли на улицу. „На

¹⁾ Единственной организацией, которая могла вынести такое решение, была „касса“, но „касса“ вообще вопроса о поведении 8-го февраля не обсуждала, так что утверждение Статковского, что „охранке“ было известно заранее намерение студентов „после акта устроить демонстративное шествие, с пением Марсельезы, через Дворцовый мост и, затем по Невскому проспекту“, является измышлением. Высылка же „значительного отряда пеших и конных городских“ для воспрепятствования студентам пройти из университета через Дворцовый мост на Невский объясняется тем, что обыкновенно студенты, расходясь после акта значительными группами, пели „Марсельезу“ и другие революционные песни и не подчинялись требованию полиции разойтись. В студенческой массе вообще издавна сложилось убеждение, что 8-го февраля „позволено“ больше обыкновенного и что серьезной репрессии в этот день не вызовут такие сравнительно, невинные демонстрации, как возвращение с акта с пением революционных песен

Невский, на Невский!" раздавалось в группах выходивших из университета студентов. Пели то „Gaudeamus“, то „Марсельезу“... Никакой „политической демонстрации“ при этом не имелось в виду, просто возбужденное настроение искало выхода в формах, уже ставших традиционными, только в связи с тем, что происшедшим на акте „обычное“ окрашивалось в более яркие цвета, приобретало не совсем обычный характер. В градоначальство и „охранку“, конечно, уже поступили телефонные сообщения о срыве акта. Но „бдительное начальство“ уже заранее „готовилось“ к дню 8-го февраля: Дворцовый мост был закрыт для прохода, а переходы через Неву испорчены... Студентам, не пропущенным через Дворцовый мост, пришлось направиться к Николаевскому мосту, но возле Румянцевского сквера путь им перерезал отряд конных городовых под командой, помнится, поручика Галле... Толпа студентов была довольно значительна (только живущие на Петербургской стороне направились туда по Биржевому мосту), но меры полиции, сводившиеся к закрытию путей на левый берег Невы, искусственно препятствовали ее уменьшению. Требование „разойтись“ толпа не могла выполнить, ибо всюду ей преграждали путь, „расходиться“ могли разве живущие на Васильевском острове, но и они, конечно, сделать этого не спешили, заинтересованные происходящим. Происходящее же закончилось атакой у Румянцевского сквера конных городовых на толпу студентов, при чем в ход были пущены нагайки. Поводом для атаки послужило будто бы то, что студенты, не подчиняясь требованию „разойтись“, „начали издеваться и острить над городовыми“, а некоторые даже начали бросать в них комки снега, при чем поручику Владимирову причинен был ушиб куском льда... Сейчас уже не важно (да и вряд ли в точности возможно) установить, насколько студенческие „остроты“ были обидны для городовых, а „комки снега“ являлись ли „достаточным основанием“ для кавалерийской атаки с применением нагаек. Важнее осветить те последствия, какие атака вызвала, и установить, как они развивались...

Статковский меланхолично констатирует: „стегали студентов нагайками и раньше... и студенты молчали“ ¹⁾... Бурные волнения, возникшие на этот раз „после полученных нагаек“, Статковский объясняет „подстрекательством либеральной части прессы“ (?), а „революционный характер“, который вскоре приняло движение, влиянием „радикальной части студентов, состоявших членами нелегального сообщества, называвшегося „касса взаимопомощи“, будто бы руководившего движением с первых его шагов. „Подстрекательство либе-

вперешку с „Gaudeamus“ и другими студенческими песнями. Пение на Дворцовом мосту и на Невском имело место и в предыдущем 1898 году, и полиция, не заготовив тогда заблаговременно соответствующих „сил“, ничего не могла поделать со студентами, чувствовавшими себя 8-го февраля „именинниками“. Потому-то в 1899 году и были заготовлены „силы“ в виде „значительного наряда пеших и конных городовых“. Все, что „охранка“ знала предварительно, сводилось к знанию того, что стало обычным явлением в день 8-го февраля и что только сказалось в этом году резче, благодаря создавшемуся возбужденному настроению студенчества.

¹⁾ „Былое“, № 16, стр. 126.

ральной прессы" — слишком явный вздор (это при тогдашней-то цензуре!), роль же „касс" и общий ход движения я постараюсь осветить в последующих строках...

Вечером 8-го февраля происходили обычные „чаепития", т.-е. вечеринки, устраиваемые в большом зале какой-нибудь кухмистерской, на которые приглашались профессора, литераторы, общественные деятели, произносившие речи. Раньше устраивалась одна вечеринка, с развитием же марксизма, приблизительно с 1896—1897 г.—две, одна „кассовая", другая „марксистская". Устройство двух вечеринок объяснялось не только стремлением марксистов придать определенный идейный характер беседе на вечеринке, но и желанием доход от вечеринки направить в кассу „Союза борьбы". Вечеринка „касс взаимопомощи" в противовес марксистской получала „народнический" характер, а доход от нее, поступаая в „кассу", тем самым в значительной своей части стчислялся в пользу „Красного креста"... В 1896 г. большинство в „кассе" уже принадлежало марксистам, но последние, занятые устройством своей вечеринки, считали справедливым дать „народникам" возможность придать „кассовой" вечеринке желательный им идейный характер.

Занятый хлопотами по устройству марксистской вечеринки, я не был на акте, но, зайдя довольно поздно в студенческую столовую, узнал о происшествиях дня. В столовой не было заметно особенного возбуждения, хотя поговаривали уже о сходке, которая должна была состояться в университете на другой день, был даже, кажется, кем-то наспех составленный призыв — собрать сходку.

В кругах „касс" происшедшему не придавали особого значения и совсем не учитывали возможности того, что затем произошло: думали, что все исчерпается двумя-тремя вялыми сходками „протеста", разговорами об университетском уставе, возникавшими на каждой сходке... Кое-кто заговаривал о необходимости на предстоявших вечеринках осветить вопрос о происшедшем. Это заставило устроителей марксистской вечеринки собраться на краткое совещание, на котором решено было не допустить срыва намеченного плана беседы, каковым были бы разговоры на тему о событиях дня.

Принятыми в этом направлении мерами было достигнуто то, что план беседы был проведен без помех и о событиях дня кто-то лишь мимоходом и вскользь упомянул в своей речи. На „кассовой" вечеринке о них говорили больше, но в меру, не нарушая обычного характера речей...

Вернувшись с вечеринки около 6 ч. утра и мало придавая значения тому, что могло происходить на сходке, 9-го я в университет не пошел.

Прийдя затем в позднее обеденное время в студенческую столовую, я сразу почувствовал какую-то „новую" атмосферу, атмосферу неожиданно для меня налетевшего шквала...

В столовой, больше обыкновенного переполненной студентами, всё бурлило. Бывшие на сходке с восторгом передавали о необычайно высоком подъеме настроения студенческой массы, о стихийно прорвавшейся в ней жажде протеста, которой теперь только надлежало дать организованность и

целесообразное направление... Уже образовалась и руководящая ячейка, принявшая наименование „организационного комитета“. Члены ее, в большинстве состоявшие делегатами „касс“, находили очень ценным для движения участие в нем последней, ее санкцию. Для выяснения позиции „касс“ на тот же вечер было назначено заседание „представительного собрания“. В приватном порядке отдельные члены „организационного комитета“ и их единомышленники обращались к марксистам, которым в то время в „представительном собрании“ принадлежало значительное большинство, чуть ли не с мольбой „не угашать духа“, не тушить вспыхнувших искр стихийного протеста. Марксисты, многие из которых принимали уже ближайшее участие в рабочем движении, к движению студенческому и его возможностям относились определенно скептически, но ни „угашать“, ни „тушить“ ничего не собирались. Скепсис марксистов вытекал как из общего, уже ставшего традиционным, марксистского взгляда на студенческое движение, так и из оценки конкретных данных, характеризовавших первые шаги вспыхнувших волнений, а равно и самого состава организационного комитета. „Первые шаги“ не обещали политической сознательности движения. Какой-то студент на первой сходке ораторствовал о необходимости протеста, ибо „поругана честь мундира“¹⁾. Академисты — и в числе их Г. С. Носарь — выдвинули вопрос о пересмотре университетского устава, заговорили о соответствующей петиции. Носарь (позже получивший громкую известность под псевдонимом Хрусталева в качестве председателя Совета рабочих депутатов в 1905 г.), правда, оказался академистом²⁾ из тактических соображений и затем вошел в состав „организационного комитета“. В состав „организационного комитета“ входила милая и талантливая, темпераментная молодежь, имевшая некоторый опыт в студенческих делах и хорошо знавшая настроение студенчества, но сама еще далеко не определившаяся политически. Значительная же часть „комитета“ пребывала еще в „политическом младенчестве“ и получила свое политическое воспитание в дальнейших событиях. В момент своего образования „Организационный Комитет“ не имел ни плана действий, ни определенного отношения к целям и средствам движения, руководствуясь смутным желанием помочь возможно более полному выражению стихийно вспыхнувшего в студенческой среде протеста, без навязывания движению каких-либо политических лозунгов. Может быть, в этом и был залог его успеха. Справедливость требует признать, что идейно не руководя движением, а приспосабливаясь к нему, „организационный комитет“ оказался все же „шапкой“ выше многоголового студенческого „Сеньки“. По существу вся разница между „кассовыми марксистами“ и „организационным комитетом“ и его единомышленниками в общем исчерпывалась степенью политического развития: ту школу политического воспитания, которую марксисты уже прошли раньше, они про-

¹⁾ Видный член „Организационного Комитета“ Н. И. Иорданский („Былое“, 1907, № 9) рассказывает об этом иронически и вместе с тем называет „крылатым“ слово, пущенное после 8 февраля — „наша alma mater стала mater corrupta“. А между тем велика ли дистанция от этого „крылатого“ слова до слова о „поруганной чести мундира“?

или, и прошли успешно, в событиях 1899 года ¹⁾). А вместе с тем им, несомненно, принадлежит заслуга того, что стихийный протест студенчества приобрел характер высоко поднявшейся революционной войны, чему много способствовало влияние, а подчас и давление на „организационный комитет“ „кассы взаимопомощи“, склонившиеся к повышению политической температуры движения и к внесению в него более определенных политических лозунгов. На этой почве между „кассой“, или точнее сказать — ее марксистским большинством, и „организационным комитетом“ всё время шла борьба, временами приобретающая характер острого конфликта... Конечно, сопротивление „организационного комитета“ тенденциям „кассы“ объяснялось не его нерасположением к политике, а лишь боязнью оказаться „шапкой“ не „по Сеньке“...

На заседании „представительного собрания“, состоявшемся вечером 9-го февраля, санкция „кассы“ „организационному комитету“ была дана единодушно ²⁾: решено было, что к прокламациям и листкам его будет прикладываться

¹⁾ Иорданский в своих воспоминаниях говорит, что „в первый организационный комитет“ вошли студенты, принимавшие уже „в той или иной степени и наметившиеся в то время социально-политические программы. Одни склонялись к социал-демократии, другие к социал-народничеству“. Неопределенное „склонялись“ здесь надо признать более точным, чем „примыкали“, хотя и с оговоркой „в той или иной степени“, ибо многие из тех, о ком идет речь, затем „склонились“ совсем не туда, куда они тогда „склонялись“. Но что гораздо важнее — многие из них, пройдя школу событий 1899 года, не только решительно „склонились“ к тем или иным „социально-политическим программам“, но и примкнули к активным политическим группам, т.-е. приняли участие в революционной работе.

²⁾ Воспоминания Иорданского в этой части рисуют дело не совсем точно, даже в значительной мере неправильно: это была эпоха „Рабочей Мысли“, эпоха экономизма, который всего менее был способен занять правильную позицию по отношению к политической борьбе других классов. Реакция против этого направления уже назревала в виде элементов будущей „Искры“, и грядущие споры социал-демократии впервые разыгрались в миниатюре на собрании кассы взаимопомощи. Часть социал-демократов горячо стала за поддержку начавшегося движения... В действительности, никаких разногласий между социал-демократами в „кассе“ тогда не обнаружилось, и никакие „споры“ не „разыгрались“. Большинство их несмыленно было принимать непосредственное участие в „студенческом“ движении, находя, что это может иметь печальные последствия для той работы, которой они придавали неизмеримо большее значение, посвятив ей свои силы. Но, учитывая создавшееся настроение и находя, что образовавшийся „организационный комитет“ является прекрасным его выразителем, они считали полезным „свалить“ руководство движением „на плечи комитета“ (выражение Иорданского), лишь наблюдая за ним и оказывая на комитет соответствующее давление. На „Рабочую Мысль“ и „экономизм“ принято, — особенно там, где мало знакомы с фактами, а именно малое знакомство с фактами не раз обнаруживает в своих воспоминаниях Иорданский, — впасть в широкое обвинение в аполитизме, „неспособности занять правильную позицию по отношению к политической борьбе“ и т. п. Но как раз данный „эпизод“ свидетельствует о полной несостоятельности подобных обвинений. Кассовые социал-демократы того времени были в ближайшем контакте с группой „Рабочей Мысли“ и именно они все время настойчиво стремились к повышению политической температуры студенческого движения, что закончилось изданием „манифеста кассы“, документа наиболее резкого и политически определенного за все время движения. Но об этом речь впереди. Кстати

печать „кассы взаимопомощи“. Представители „организационного комитета“, не ожидавшие столь легкой „победы“, были вполне удовлетворены принятым решением и просили членов „кассы“ принять непосредственное участие в сходках, помогая выступлениями на них придать движению по возможности планомерный характер. Это был момент полного согласия между „кассой“ и „комитетом“...

На сходку в первый раз (и в последний) я пришел 10-го или 11 февраля, точно не помню... В это время уже определился характер движения, как протеста „человеческой личности, поруганной в самых элементарных правах“, выработан был и новый способ протеста — университетская забастовка, или „обструкция“, как он был тогда же окрещен. Кажется, этот термин получил свою популярность и был окончательно закреплён после речи ректора Сергеевича, произнесенной именно в этот день на сходке. Речь эта, произнесенная Сергеевичем с его обычным ораторским мастерством в саркастическом тоне, оживляемом живописными жестами и выразительной мимикой подвижного лица, подлила масла в огонь. Сергеевич говорил много и долго и о поводе движения, и о его целях, и о средствах... „Студенты, — говорил он (цитирую, конечно, по памяти и не претендую на точность передачи его выражений), — студенты обижены и оскорблены поведением отряда конной полиции, добиваются расследования его и наказания виновных. А я не удивлюсь, если вместо наказания командовавший отрядом поручик получит служебное повышение... Студенты требуют гарантии неприкосновенности личности, законности. Но законность такая птица, которая не выживает в нашем климате... Студенты грозят закрытием университета до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены, и применяют к прекращению лекций „обструкцию“ (следовала обстоятельная экскурсия в область филологии и истории для выяснения того, что такое „обструкция“). На-днях меня подробно расспрашивал об университетских событиях знаменитый юрист, популярный и в вашей среде А. Ф. Кони. И когда я ему все рассказал, он мне сказал: „Я понимаю, что студенты

уж для характеристики внутренних отношений в „кассе“ отмечу, что, хотя большинство в ней принадлежало тогда социал-демократам, но, занятые своей работой и мало интересующиеся чисто студенческими делами, они не входили в правление „кассы“, предоставив все должности в нем тем, кто еще только „склонился“ к тем или иным социально-политическим программам и не расстался еще со студенческим профессионализмом. Почти все правление „кассы“ вошло в „организационный комитет“, члены которого были поглощены своей текущей работой, почему на заседаниях „представительного собрания“ во время движения бывали лишь уполномоченные от комитета, что еще более увеличивало преобладание на „представительном собрании“ социал-демократов. „Организационный комитет“ пытался бороться с этим преобладанием, особенно в эпоху обострения отношений на почве обсуждения „манифеста“, введением в состав „представительного собрания“ новых делегатов (для чего нужно было лишь образовать кружок из пяти человек), но социал-демократы отвечали тем же, и в результате „представительное собрание“ становилось лишь более многолюдным, а соотношение сил борющихся групп от того несколько не изменялось...

оскорблены действиями полиции, но я не понимаю, почему они хотят закрытия университета, а более понял бы их, если бы они добивались закрытия полиции". Но разве студенты могут добиться закрытия полиции?.. В дальнейшем вся речь ректора сводилась к высмеиванию студенческой позиции, определившейся в „требованиях“, сформулированных „организационным комитетом“, кажется, по совещании с „авторитетными юристами“. Издевательский тон речи Сергеевича был меня по нервам (и вызвал бурю негодования всей сходим), но я сознавал, что дверь для этих издевательств широко раскрыта самим „организационным комитетом“. „Организационный комитет“ выставил требования: обеспечение неприкосновенности личности, мадание точных правил о полномочиях полиции при столкновениях с толпой, судебная ответственность администрации за их нарушение и судебное расследование избиения 8-го февраля. Один из видных членов „организационного комитета“ Иорданский признал впоследствии, что „принятие „организ. комитетом“ неполной и неудачной формулировки в значительной степени объясняется изрядною политическою невинностью его членов“¹⁾, что „либеральная идеология“ тогда еще овладела студенческим движением и что „организационный комитет“ искренно думал, что „борется за закон, а не против закона, и был озабочен тем, чтобы „с одной стороны, его существование не могло быть подведено под статьи закона о тайных революционных сообществах, а с другой стороны—чтобы и самые цели движения не могли послужить поводом к обычному обвинению по 250 ст. старого уголовн. уложения, т.-е. в намерении в более или менее отдаленном будущем ниспровергнуть существующий строй. Выше я уже отметил, что вся разница между „организационным комитетом“ и марксистами сводилась к разнице в „политическом возрасте“: с „политическою невинностью“ марксисты давно уже расстались...

Не какие-либо революционные соображения, а нервы, тон речи Сергеевича толкнули меня на трибуну для нападения на „либеральную идеологию“ „организационного комитета“. С страстной горячностью и в форме, может быть обидной для „организационного комитета“, я доказывал, что издеательства Сергеевича вполне заслужены студенчеством, ибо нужно быть политическим младенцем, чтобы не понимать, что выставленные требования не достижимы без ниспровержения существующего строя... Ответ на поругание человеческой личности полицейским насилием предъявлением подобных требований (к кому обращаемых?—к тому, кто является источником всяческого произвола?), если и свидетельствует о возмущенном чувстве, то не свидетельствует о политической сознательности. Если этим ограничится протест, то лучше разойтись и прекратить обструкцию, так как такой протест не серьезен. Бороться за закон в режиме беззакония — нелепо. Только ниспровержение режима беззакония может быть целью борьбы, а для такого ниспровержения существует только один путь — путь революционный... Моя речь вызвала, кажется, еще более бурное возмущение, чем издевательская речь Сергеевича. Моиими лаврами

¹⁾ Вынос, 1907, № 9, стр. 102 — 103.

были оглушительные свистки и шумные протесты. На кафедру один за одним выходили члены „организационного комитета“, не утратившие еще „изрядной политической невинности“, чтобы парализовать впечатление моей речи и предложить возмущенному „Сеньке“ более подходящую ему „шапку“ либеральной идеологии. „Организационный комитет“ был страшно возмущен моим выступлением и вел переговоры с марксистами, убеждая их от подобных выступлений воздержаться. С просьбой об этом обращались ко мне лично. Но с меня было довольно и одного дебюта, больше выступать я не собирался... Постановление о наклеивании печати „касс“ на прокламации „организ. комитета“ сохранилось в силе, и марксистское большинство „касс“ лишь посмеивалось, читая таким образом в апробированных листках: „мы закрываем университет до тех пор, пока не будут даны прочные гарантии личной неприкосновенности и судебной ответственности ее нарушителей. Требования наши так скромны, что мы не можем уступить ни в одном слове“. (Листок от 16 февраля). Отдельные марксисты, впрочем, выступали на сходках и после, не идя, однако, вразрез с линией поведения „организационного комитета“. Мне не пришлось больше ни разу попасть на сходку. Несколько раз я подходил к университету в то время, когда он уже был оцеплен отрядами полиции, и опоздавшим оставалось „толпиться“ на улице. Однажды в университет приехал градоначальник Клейгельс и вошел в него с набережной через профессорский вход. В университете оставался недолго, а выйдя вступил в разговор с толпившимися по эту сторону оцепления студентами. Студенты убеждали его отдать под суд виновных в применении нагаек. — „Да что вы, господа студенты! У конных городских вовсе и нет нагаек“, — нагло отвечал Клейгельс.

— „А отверните-ка полу, — сострил кто-то из толпы, — покажите, нет ли и у вас, генерал, нагайки?“

— „Стыдно, стыдно, господа студенты!“ — залепетал покрасневший генерал, сел в сани и уехал под хохот и легкие свистки...

Движение охватило все высшие учебные заведения Петербурга и перебросилось в провинцию (куда „организационный комитет“ отправил делегатов).

Начались многочисленные высылки студентов — „по домам“ в административном порядке...

20-го февраля последовал высочайший указ Ванновскому об „исследовании причин и обстоятельств“ студенческих волнений.

„Организационный комитет“ признал самый факт назначения расследования недостаточным для прекращения забастовки и призывал ее продолжать до „удовлетворения заявленных требований“. Но эта „шапка“ уже оказывалась не по „Сеньке“. Все более поднимало голову настроение более примирительное, особенно усилившееся под влиянием благоприятных сведений о комиссии Ванновского и широких обещаний последнего. В сношениях с Ванновским и членами комиссии вошли и отдельные члены „организационного комитета“, что

вполне гармонизировало с их либеральной идеологией¹⁾. Правда, несмотря на то, что и их впечатления были благоприятны, доза их либерализма не была столь большой, чтобы они поверили в возможность каких-либо практических результатов. Но один практический результат, для всё усиливавшегося примирительного настроения особенно убедительный, всё же получился: несмотря на противодействие министерства внутренних дел, Ванновский добился возвращения высланных из Петербурга студентов. (Интересно, что распоряжение о возвращении не было объявлено, и высланные вернулись по сообщениям о возможности возвращения, полученным от „организационного комитета!“) Одно учебное заведение за другим прекращало забастовку, и 1-го марта сходка в университете, несмотря на то, что „организационного комитет“ стоял за продолжение протеста, большинством одного голоса высказалась за „возобновление мирного течения занятий в университете“. Произошло это еще до возвращения высланных в Петербург...

Забастовка кончилась, и вместе с тем наступил самый серьезный момент движения. На сцену выступила „касса“, пожелавшая подвести итоги и в ретроспективном обзоре событий ликвидировать жонглирование формулами — „наше движение не политическое, но общественное“, „наше движение не революционное, но оппозиционное“, раздражавшее тех, кто не страдал ни малейшей дозой „политической невинности“. Инициатором выступления „кассы“ довелось быть мне. В основе побудительных мотивов, руководивших мною, лежало стремление отчетливо зафиксировать марксистскую „позицию по отношению к политической борьбе других классов“. Кроме того, опыт пережитых событий рождал во мне уверенность в том, что наступает момент для открытых конституционных выступлений не proletарских элементов и что на этом пути студенчество может сыграть роль аванпоста (что раньше немного доктринерски было отвергнуто). Открытые же конституционные выступления не proletарских элементов, в моих глазах, должны были оказать свое влияние и на рабочее движение, стадией экономизма уже достаточно подготовленное и на переходу на путь политической борьбы (в рабочей среде Петербурга живо интересовались всеми перипетиями студенческого движения). А под соединенными ударами всех политически прогрессивных элементов должна была в близком будущем осуществиться давняя мечта — падение самодержавия.

1-го или 2-го марта я сделал на „представительном собрании“ предложение выпустить соответствующую прокламацию от „кассы“, при чем, оглашая заготовленную заранее редакцию ее, просил отнестись к ней лишь как к про-

¹⁾ Увы, эти сношения все же стояли решившимся на них того, что на вопрос Ванновского: „а, может быть, вы добиваетесь какой-нибудь конституции?“, они должны были ответить: — „наше движение не может ставить такой цели“, а на дальнейшие размышления престарелого генерала „о конституциях“ вынуждены были промолчать, „не желая пускаться в рискованную область государственно-правовых споров“. (Иорданский, „Былое“, 1907 г., № 9, стр. 117).

екту; для окончательной же редакции документа предложили избрать редакционную комиссию.

Ни с кем из товарищей-марксистов я предварительно не сговаривался (кое-кого только попросил непременно быть на заседании), но они единодушно поддерживали меня. Против были только народники, для которых неприемлема была вся марксистская концепция документа, и особенно представители „организационного комитета“, находившие, что движение еще не закончено, и, с одной стороны, еще не порвавшие окончательно с „либеральной идеологией“, а с другой — боявшиеся, что подобный документ от имени „кассы“ вырвет у него почву, обеспечивающую возможность массовых действий. Завязалась долгая и упорная борьба, закончившаяся победой марксистов. Первым последствием возникшей борьбы был существенно новый тон „прощальной“ прокламации „организационного комитета“¹⁾, рассчитывавшего, что ее появление сделает излишним и в глазах кассового большинства выпуск прокламации еще от „кассы“. Но „манифест Организационного Комитета“ (от 4-го марта) всё же не удовлетворил кассового большинства, продолжавшего настаивать на необходимости издания „манифеста кассы“. И в конце концов, после многодневных дебатов, редакционная комиссия была избрана (в состав ее вошли кроме меня, М. И. Утеин, А. И. Сви́дeрский, Поста́ловский и еще кто-то, кажется, двое). Редакционная комиссия несколько переработала мой проект, и он был одобрен значительным большинством „представительного собрания“. Затем „манифест кассы“ при содействии группы „Рабочей Мысли“ был издан более совершенно технически, чем издания „организационного комитета“. Печать „кассы“ была в руках „организационного комитета“, но он не довел своего сопротивления „манифесту“ до неподчинения большинству „представительного собрания“, и „манифест“ вышел (около 16 — 18 марта) с печатью. У меня не сохранилось полного текста этого документа, который приглашал „все действительно оппозиционные элементы и классы русского общества организовать для предстоящей борьбы, которая окончится только тогда, когда главная ее цель — свержение самодержавия — будет достигнута“²⁾.

¹⁾ Иорданскому кажется, что основные вопросы в этой прокламации уже разрешались „с достаточно откровенною революционностью“; марксисты тогда этого не находили, и среди них имело успех ходившее по рукам мое шуточное стихотворение, в котором по поводу высокопарных lamentаций „организ. комитета“ против „либеральной трухи“, составившей помеху движению, говорилось:

Либеральная труха
Засорила нам глаза.
Ах, труха бы не беда,
Горе,—много чепухи,
Хуже всяческой трухи,
В безднах нашей головы...

²⁾ Не знаю, почему Иорданский называет его — „малозначительной прокламацией“. В противность ему Статковский утверждает, что „этот манифест сделал до наглядности ясным характер студенческих волнений, что это не студенческие волнения, а прелюдия

„Манифест“ был принят „кассой“ в антракте движения, а появился уже тогда, когда „обструкция“ возобновилась с новой силой...

Трудно сказать, что было причиной возобновления движения. Уже одно то, что прекращение „забастовки“ было вотировано на сходке 1-го марта большинством одного голоса, не свидетельствовало о прочности восстановленного порядка, тем более, что влиятельный „организационный комитет“ стоял за продолжение протеста. А затем причин и поводов для нового взрыва оказалось более, чем достаточно...

Исключенные и высланные из провинциальных университетов не были возвращены, да и в Петербург вернулись не все, так как охранное отделение некоторых из высланных пристегнуло к политическим дознаниям. Вернувшись, по настоянию Боголепова, правление университета постановило подвергнуть нелепому, почти никогда не практиковавшемуся наказанию—трехдневному аресту в карцере. Всё сгущало атмосферу. Вернувшийся из ссылки Носарь пришел в университет в штатском пальто и повесил его на своей вешалке (каждый студент имел тогда свою вешалку с прибитой над нею фамилией; особые педеля по вешалкам отмечали посещение университета студентами). Штатская одежда была воспрещена, и педель отвес пальто к инспектору. В кармане пальто оказалась прокламация. Когда Носарь явился к инспектору взять пальто, инспектор указал ему на его неосторожность. Носарь на сходке объявил, что его пальто в шинельной подверглось обыску. Чаша была переполнена последней маленькой каплей и пролилась: сходка вотировала (16-го марта) возобновление обструкции, хотя председательствовавший на ней популярный член первого „организационного комитета“ в осторожных, но определенных выражениях подчеркнул, что теперь движение уже приобретает политический характер протеста против существующего режима, и потому, решившись на него, надо быть готовыми к суровым репрессиям. „Сенька“ теперь начал прикрываться „шапкой“ — „наше движение политическое, но не революционное“... Уже можно было говорить о политическом „протесте“, но, как показало отношение к появившемуся „манифесту кассы“, всё же нельзя было говорить о революционной борьбе, о свержении самодержавия¹⁾...

Выход „манифеста“ вызвал такое раздражение, что в столовой его рвали и топтали ногами. „Организационный комитет“, спасая положение, выпустил официальное заявление о своей полной непричастности к его появлению.

русской революции“. Сам Иорданский рассказывает о впечатлении, какое „манифест“ произвел на Ванновского, но и независимо от тех последствий, которыми он отозвался на движение, думаю, что не из авторского самолюбия, а совершенно объективно могу оспаривать такую квалификацию „манифеста“. Я не склонен ему придавать особой значительности, но не знаю, почему наиболее яркая и политически определенная прокламация всего движения 1899 года может быть квалифицирована как „малозначительная“. Все оценивается по сравнению. Сопоставление же „манифеста“ со всей „литературой“ движения, несомненно, такой квалификации не оправдывает...

¹⁾ И думаю, нельзя было говорить не только по наивному расчету, что это не может быть „выгодным“ (в смысле уязвимости со стороны „разных статей Уложения“, очевидно?), как объясняет отрицательное отношение к „манифесту“ Иорданский.

Увы, это заявление даже генералом Ванновским было признано „недостаточным“, он находил его „слишком мягким“: — „надо было прямо сказать, что прокламация выпущена разными прохвостами, революционерами“. Невольные слушатели вспышек генеральского гнева находили, что „это было уже наивно“¹⁾, но, конечно, не могли высказать этого генералу и должны были промолчать... Впрочем, виновников „манифеста“ не мягче Ванновского честили и в среде не только массового студенчества, но и ближайших единомышленников и друзей „организационного комитета“. Помню из них только одного, которого вся атмосфера, создававшаяся вокруг манифеста, шокировала и возмущала, чего он по свойственной ему прямоте и не скрывал. Но этим одним был — И. П. Калаяев.

С Калаяевым я познакомился в то время, когда он в эпоху борьбы за манифест и против него вошел в „представительное собрание“ „кассы“ новым делегатом, как представитель точки зрения „организационного комитета“. Однако, высоко развитый революционный инстинкт не дал ему возможности оправдать возлагавшиеся на него надежды. Я не припомню, как он голосовал (были и такие, которые, войдя в „кассу“ для противодействия манифесту, голосовали за него), но в схватке словопрений, доходившей подчас до невероятной остроты, не только участия не принимал, но и протестовал против политических увлечений, характера недопустимого в товарищеской среде, противников манифеста... Мне же неоднократно говорил, что признает моральную и революционную правоту его сторонников... С Калаяевым я затем очень сблизился в „Крестах“, встречаясь ежедневно на прогулках. Его облик не раз пыталась воссоздать дружеская рука²⁾, тем не менее и я скажу о нем несколько слов, ибо встреча с ним на жизненном пути, несмотря на всю ее мимолетность, — одна из самых памятных, а воспоминание о ней — одно из самых ярких и дорогих... Во всем он был совершенно особенный, непохожий на других, в мелочах и в крупном. Душевная мягкость и тонкая деликатность сочетались с сильной волей и негибкой принципиальностью.

Прямота и искренность не оставляли места не только для политиканства, но и для столь обычного недоговаривания: всё, что он думал и чувствовал, он сейчас же и высказывал, отчего часто многие от него сторонились. С какой-то детской простодушностью говорил о себе такие вещи, делал „на людях“ такие признания, какие не часто высказываются и с глазу на глаз в дружеской беседе, словно у него жила в душе неистребимая потребность быть со всеми своими мыслями, чувствами, самыми сокровенными переживаниями у всех на виду, всем „дать ответ“ за всё... При кристальной чистоте и высоком строе души, в большой и равношерстной компании он часто производил впечатление рассыпающего бисер перед теми, перед кем его, по евангельскому завету, метать не рекомендуется...

¹⁾ Цорданский, стр. 129.

²⁾ Удачнее всего это сделано в воспоминаниях Сазонова, помещенных в „Революционной России“.

Дружеские беседы с ним для меня незабываемы. У нас были некоторые общие литературные вкусы, мы оба любили, напр., Метерлинка. Подолгу он читал мне целые страницы из Мицкевича, которого он, кажется, всего знал на память. До сих пор, закрыв глаза и сосредоточившись, мне кажется, я слышу его голос, декламирующий песнь польского узника из „Дзядюв“¹⁾... В революцию его влекли не те или иные убеждения и программные выкладки, а экзальтированная мистическая восторженность и глубокая, сердце мечом насквозь прошедшая, боль о поруганном народе. Революция была для него стихией, в которой напряженно ярким светом горела его душа, жаждавшая стираться. Он часто говорил мне, что не знает завидней доли, как смерть на эшафоте. И мне кажется, что он погиб в этом самогипнозе, как всегда восторженный и просветленный. Террор был для него высшей точкой революционного экстаза. Но террор-убийство стало для него возможным только потому, что оно было и жертвой, самозакланием. И я не знаю, было ли бы для него возможно террористическое покушение, если бы оно не влекло за собой казни? Но я наверное знаю, что для него не придумали бы „казни мучительней“, если бы не казнили... Мы расстались 7-го мая, когда меня из „Крестов“ перевели в „предварилку“... Потом я попал в Чернигов, он в Екатеринослав, мы обменялись несколькими письмами, я посылал ему рекомендательное письмо к Е. В. Святловскому, тогда редактировавшему „Приднепровский Край“... Затем он исчез из Екатеринослава. В 1902 году, уже состоя под гласным надзором полиции, я получил разрешение выехать на три месяца для лечения за границу. Я имел сведения, что Калаяев за границей, и рассчитывал с ним встретиться, но когда я приехал в Мюнхен, все газеты были полны обсуждением вопроса о выдаче Калаяева прусскою полицией русским жандармам... А затем в марте 1905 г. меня, как громом, поразило известие о том, что бомбу в Сергея Александровича бросил Калаяев... Возвращаясь к прерванному рассказу.

Одним из самых сильных возражений против издания „манифеста“ и мои единомышленники считали указание на суровую репрессию, которую он, неизбежно, вызовет. „Касса“ — организация хотя и нелегальная, но почти что полуоткрытая, списки ее членов, конечно, десятки раз попадали в охранку (списки членов „представительного собрания“). Мы взвесили это возражение серьезно и мучительно... и все же решились на этот ответственный шаг, предлагая нежелающим на себя этой ответственности взять (мы не

¹⁾ В 1903 г., когда я был редактором издательства М. В. Пирожкова, Бальмонт прислал из Парижа рукопись „Белых зарниц“. Статья „Флейты из человеческих костей“ всколыхнула во мне воспоминания о Калаяеве, и мне неизбежно захотелось чтобы „песнь польского узника“ дошла до русского читателя в полном переводе. Я не мог, конечно, скрыть от М. В. Пирожкова тех последствий, которыми это угрожало. Но М. В. их не убоился... и отсидел за это по приговору Петербургской судебной палаты год в „Крестах“. Книга была конфискована, но при конфискации взято было что-то около 150 экземпляров, а печаталась она в 15.000 экземплярах. И мое желание дать русскому читателю полный перевод любимого стихотворения Калаяева осуществилось,

говорили — „боящимся ее“) заблаговременно из „Кассы“ выйти. Не вышед никто (наоборот, всё время вступали новые члены), а между тем для некоторых такой выход, несомненно, был бы шагом более достойным, чем их последующее поведение... Но таких „некоторых“ всё же было немного; большинство противников „манифеста“, и в том числе весь „организационный комитет“, ни малейшего упрека в этом отношении не заслуживают...

„Манифест“ был поводом к тому, что охранному отделению, по образному выражению Статковского, „разрешено было перейти из выжидательного положения в наступление“. „Наступление“ выразилось в аресте (20 марта) „организационного комитета“ в его полном составе и еще целого ряда лиц в том числе и меня... Для меня арест не был неожиданностью: я никогда не страдал шпиономанией, но не замечать слежки за собой в последние дни перед арестом не мог уже и я... Но и помимо того, около манифеста поднято было столько шума, столько болтовни и сплетен, моя фамилия склонялась и спрягалась чуть ли не на каждом перекрестке... Я это предвидел, но я на это шел, а потому никаких претензий к праздноболтающим не имел. Арест „организационного комитета“ еще более усилил „взрыв негодования“ и болтовню.

Мои единомышленников обвиняли и поносили, как виновников его гибели... Было тяжело, но мы это предвидели, мы на это шли...

Не знаю, было ли бы всё же этого достаточно для моего уличения и обвинения в преступлении, предусмотренном соответствующей статьей, но случилось так, что я был пойман, что называется, с поличным. Оказалось, что в ту же ночь, когда манифест был окончательно вотирирован „представительным собранием“ и текст его передан — в печать, черновик его уже был... — в охранке. Произошло это вот как. Работа редакционной комиссии, имевшей, насколько помню, три заседания, шла по тексту моего проекта.

Первые строки проекта были приняты без изменений. Я поставил в начале своей рукописи цифру 1) и подчеркнул принятые строки. Затем, на отдельных листках следовал дальнейший одобренный текст, или написанный рукой кого-либо из членов комиссии (с знаками 2, 3), или записанный мною под диктовку, если почерк показывался неразборчивым. Иногда следовали опять строки из моего первоначального проекта, я опять подчеркивал их и в начале их ставил соответствующий знак (скажем — 5, 6 и т. д.). Заключительные строки манифеста прошли опять-таки по моей первоначальной рукописи. Таков был вид черновика.

На последнем заседании редакционной комиссии, на котором предстояло еще раз прочесть выработанный ею текст и переписать его начисто, я не был и пришел прямо на заседание „представительного собрания“ (в столовую). На заседании редакционной комиссии не успели закончить переписки и заканчивали ее уже в столовой. Когда переписка была окончена, текст ее и черновик взял член редакционной комиссии, мой приятель А. И. Свидерский. Едва он вышел из комнаты, где производилась переписка, к нему обратился наш общий товарищ Петров с просьбой дать ему прочесть текст,

одобренный комиссией. Свицерский как раз шел к топившейся печке, намереваясь сжечь черновик. Желая еще раз перед заседанием прочесть внимательно текст, он дал Петрову черновик и взял с него слово, что по прочтении он его сожжет, а сам пошел в зал, где должно было открыться заседание.

Едва Петров приступил к чтению, как раздался звонок, возвещавший открытие заседания. Петров сунул черновик за обшлаг рукава студенческого куртка и пошел на заседание. После заседания небольшая компания отправилась в ресторан отпраздновать победу (я не пошел, чувствуя себя смертельно усталым). В ту же ночь произведен был ряд очередных арестов участников рабочего движения (арестованы были, между прочим, члены представительного собрания М. И. Батырев, Барабанщиков, Петров). Петров, придя домой из ресторана, уже застал у себя гостей из охранного отделения: черновик только что одобренного и переданного в печать манифеста был у него отобран и таким образом попал в охранку в ту же ночь. На другой день я обнаружил „осторожность“ и спросил у Свицерского, где мой черновик? Он мне ответил — сожжен. Я переспросил: — наверное? — Он ответил: наверное. Позже он говорил мне, что совершенно был убежден в этом, так как тоже после заседания спрашивал о черновике у Петрова, а Петров, рассчитывая сжечь его по возвращении домой, тоже отвечал: сожжен, и на повторный вопрос: наверное? — наверное! Уже когда я сидел в „Крестах“, ко мне в камеру несколько раз заходил прокурор Петербургской судебной палаты Ф. Ф. Арнольд и рассказывал, что всё студенческое дело окончится пустяками, что оно затягивается только массой арестов и необходимостью установить виновников манифеста, которые, конечно, будут наказаны серьезно ¹⁾, виновники же эти будут установлены, так как в руках следственной власти находится черновик. Несколько обеспокоенный его словами, я опять обращался к Свицерскому, объясняя ему причину своего беспокойства. Он опять успокоил меня, будучи вполне убежден в сожжении черновика. А затем несколько строк последнего уличили, кажется, и его... Конечно раз в руках следственной власти был черновик, рано или поздно я был бы уличен (ибо почерк его сличали с почерками всех арестованных).

Но в руках следственной власти оказался и материал, ускоривший мое уличение. Когда некоторые члены „организационного комитета“ были в ссылке, знакомые (особенно курсистки) подробно осведомляли их (письмами по почте!) о положении дел в Петербурге. В одном из таких писем было подробное сообщение в негодуящем тоне — о том, что „марксисты во главе с Могилыцким“ (кажется, были упомянуты еще фамилии) заставляют „кассу“ принять революционный манифест (точных выражений не помню, письмо мне представлялось). Письмо не было перлюстрировано и благополучно дошло. Но адресат не уничтожил его, а возвращаясь в Петербург, захватил с собою. Затем, возоб-

¹⁾ Когда я был уже „уличен“, Арнольд, очевидно, обеспокоился тем, что „напугал“ меня серьезною ответственностью, заходил ко мне в камеру и старался смягчить эти слова.

новились волнения, он председательствовал на сходке, а письмо, вероятно, как „вещественный знак невещественных отношений“, хранил у себя на квартире. Оно и было у него отобрано при аресте. Воистину, некоторые вожаки студенческого движения тогда еще обладали „изрядною политическою невинностью“... Думаю, что и этого письма, если бы даже черновик манифеста не попал в руки следственной власти, было достаточно для того, чтобы я не ушел от ответственности за манифест...

Так или иначе, кажется, в страстной четверг я был вызван на второй допрос и сразу заметил, что жандармский полковник Шмаков и товарищ прокурора Трусевич (потом, при Столыпине, известный директор департамента полиции)—как-то особенно торжественны... После двух-трех незначительных вопросов Шмаков вынул из конверта столь мне знакомую рукопись и, вписавшись в меня глазами, спросил:

— „Знакома ли вам эта рукопись?“

О, рукопись была мне весьма знакома!

Трусевич предлагал мне папиросы, Шмаков рассказывал, что он всегда одинаково любезен даже с большими преступниками.

— „А ведь вы знаете, Пардовского ¹⁾ я повесил“...

— „А ведь я допрашивал и Веру Фигнер—я теперь она каждый месяц передает мне из Шлиссельбурга поклонны... Может быть вы не верите? Хотите, я позову ротмистра, он вам подтвердит,—он каждый месяц бывает в Шлиссельбурге и привозит мне поклонны от Веры Николаевны“...

Я не хотел, а словоохотливый жандарм рассыпался: „А, помните, М. М., в прошлом году—Симочка К. дала на всех показание? И я в сущности обязан был вас арестовать и не арестовал, а почему? По своей опытности понял—врет Симочка, врет, милая!“...

Тошило...

После допроса начальнику „Крестов“ дан был приказ о моей „изоляции“, т.-е. прежде всего о недопущении на групповые прогулки. А в тот же вечер ко мне с разрешения властей заехал милейший О. А. Чечотт (старший врач больницы Николая-чудотворца), у которого я лечился два года от нейрастении. После осмотра (в присутствии старшего тюремного врача) он как-то успел шепнуть мне, чтобы я не пугался, если случайно прочту его „заключение“. Прочитать это „заключение“ мне не пришлось, но в тот же вечер, поздно, раскрылось окошечко в дверях моей камеры, и начальник тюрьмы Чунихин ²⁾ встревоженным голосом заявил мне, что с завтрашнего дня я могу гулять во все часы прогулок, т.-е. с 10 ч. утра до 6 ч. дня. И вместо

¹⁾ По делу „Пролетариата“.

²⁾ Предыдущим летом я познакомился с ним в Наугейме, где оба мы лечились, и когда меня доставили в его „заведение“, он через $\frac{1}{2}$ часа подошел к моей камере и, растворив окошечко, как-то особенно радостно спросил — „Вы узнаете меня, М. М. ?“ Я, конечно, узнал его. С тех пор он часто заходил ко мне побеседовать. Все сидевшие в то время в „Крестах“, наверное, помнят его безобидную словоохотливость.

„изоляции“ я получил возможность общаться со всеми группами гуляющих и стал живую связью между ними...

Но во время одного из свиданий я передал письмо для М. В. Неустроевой, и оно было принесено ей в то время, как сам начальник охраны Пирамидов только что вскрыл двойное дно и двойные стенки чемодана, накануне привезенного ею из Финляндии, и „накрыл“ транспорт очередного № „Рабочей Мысли“. Растерявшаяся девица, принесшая письмо, бросила его под кровать. Письмо, конечно, изыскли, девицу арестовали, и Пирамидов долго мучил ее, надеваясь: — „Вот спасибо за письмецо! То-есть уж и не знаю, как вас благодарить, такое важное письмецо!“ А „письмецо“, по странной случайности (просто стих нашел — дурака свалить) было написано в таком тоне, в каком его можно было написать, наверное зная, что оно попадет в руки охраны!.. Но жандармы усомнились в достаточности моей „изоляции“, и 7-го мая я был переведен в „предварилку“. Так не хотелось расставаться с милыми „Крестами“, где было проведено столько веселых часов! А через месяц, опираясь на „заключение“ Чечотта, мать добилась моего перевода в арестантское отделение больницы Николая-чудотворца.

Там условия заключения были совсем льготные, но зато, когда следствие по делу о манифесте было уже закончено и мать хлопотала о моем освобождении, директор департамента полиции Зволянский издевался над ней: — „Ну, вот, как вы хотите, сударыня, чтобы я освободил сумасшедшего?“ И заставил-таки привезти ему свидетельство врачей больницы о моей психической нормальности...

В памяти моей сохранилась масса воспоминаний, серьезных и курьезных, о девятидневном заключении в участке, о „Крестах“, о предварилке, о больнице Николая-чудотворца, о жандармских допросах, но я их должен опустить, боясь загромождать ими и без того разросшийся очерк воспоминаний...

Поводом для перехода охраны „в наступление“, проще сказать, поводом для арестов 20 марта был „манифест“; его же хотели сделать центром процесса (конечно, только жандармского, тогда еще не было судебных политических процессов, они заканчивались в административном порядке „по высочайшему повелению“). Но это не вытанцовалось, даже жандармское следствие не могло не выяснить истинной (ну, хоть приблизительно) истории „манифеста“¹⁾. Выяснив же ее, власть нашла не в своих интересах ставить дело

¹⁾ В том, что охранка на первых порах склонна была приписать „манифест“ „Организ. комитету“, ничего удивительного не было, и Иорданский неправильно аттестует эту склонность „подлогом“. В студенческих организациях агентов охраны тогда не было, и уж тот факт, что в прокламации „организ. комитета“, и „манифест“ выходили с печатью „класс“, что печать эта была найдена у одного из членов комитета, не давал возможности сразу легко ориентироваться в деле. Я не знаю, какие средства пускались в ход заинтересованными лицами для разрушения „истинных планов политических сыщ.ов“. Члены „организационного комитета“ (да и большинство при-

в широких размерах, на что закон давал полные основания. Преследование всего состава „представительного собрания“ (человек 30—40) в стремлении к ниспровержению самодержавия было бы слишком сенсационным и отчасти содействовало бы выполнению той задачи, которую себе ставили инициаторы и сторонники „манифеста“. Следствие и не стремилось к точному установлению того, кто голосовал за и против „манифеста“ (для последних ответственность могла быть уменьшена и только, раз они из организации всё же не вышли, раз они приложили к революционному документу печать организации, бывшую в их руках, и т. д.). За „манифест“ понесли наказание только главные виновники, да и те не весьма серьезное (высылка на три года под гласный надзор полиции в Вятскую губернию, на родину и т. п.)...

С арестом „организационного комитета“ движение не прекратилось. На него студенты ответили выбором „второго“ „организационного комитета“: в ночь на 25 марта из состава его было арестованно восемь человек, образовался „третий“ (в него, между прочим, вошел Калев), 26 марта был арестован „организационный комитет студентов Горного института“. 30-го марта перед университетом собралась толпа студентов, намеревавшаяся сорвать происходившие под охраной полиции экзамены. Толпу оцепили отрядами полиции и препроводили в манеж кадетского корпуса. Ночью из манежа развезли по участкам, а затем в продолжение ближайших дней группами высылали из Петербурга.

2-го апреля появилось правительственное сообщение о студенческих волнениях, а 3-го апреля „организационный комитет“ отвечал на него кратким листком, в котором, между прочим, писалось:... „цель Горемыкина — показать, что „бунтует“ кучка политиканов, что после ее удаления огромное стадо агнцев, жаждущих только попасться под предводительством околоточного надзирателя на экзаменационных пажах, утучненных для них телами товарищей. Единственное средство борьбы, имеющееся у нас в руках,

влеченных к делу) во всяком случае не прибегали к средствам, переходящим за границу политической корректности. И, однако, все же нашлись отдельные лица, которые „живот спасая“ (если и не в буквальном смысле „живот“, то свое „благополучие“), давали показания более или менее откровенные, в достаточной мере „осветившие истинный ход дела. Были и такие, которые наивно считали себя „в полном праве“ давать такие показания, раз они в „представительном собрании“ боролись против „манифеста“ и голосовали против него. Один из таких „наивных“, вернувшись с жандармского допроса, на прогулке откровенно рассказал о своих показаниях. Всем слушателям стало „незловко“, а находившийся в числе их Калев в упор рассказчику брякнул: „послушайте, В., вы или дурак, который не отдает себе отчета в своих поступках, или подлец!“ В. расизакался, что очень смутило мягкого Калева (сцена, действительно, была тяжелая), но все же он остался при мнении, что сказанное им он не мог не сказать. Должен, однако, заметить, что никакие откровенные показания не могли особенно ухудшить положение „главных виновников“, ибо, по стечению различных обстоятельств, их вина устанавливалась и без этих показаний. А то, что кто-нибудь „вышутывается“ лично, могло быть материалом для его личной характеристики, широкого же общественного значения не имело.

это — отказаться от экзаменов и снова доказать, что большинство именно там, где Горемыкин и его присные не хотят его видеть“.

В ночь на 4-е апреля произведен был грандиозный обыск в Лесном институте, закончившийся только к 8 ч. вечера 4-го апреля. Арестовано было около 60 студентов лесников, а трофеями были: mimeографы, гектографы и другие приборы для размножения копий и даже типографский станок.

Обыски и аресты, начавшись 20-го марта, продолжались почти до половины апреля. Обессиленные арестами и высылками протестанты начали понемногу разъезжаться на лето. „Законопослушные“ могли держать экзамены без помех...

15-го мая вышел листок „соединенного организационного комитета“, объявлявший, что „с наступлением каникул движение приостанавливается“, и выражавший надежду, что те, „которые помнят главную причину нашего движения..., не удовлетворятся устранением одного из следствий, но не самой причины“...

Миссия генерала Ванновского „по расследованию причин и обстоятельств“ закончилась... составлением „доклада“, не имевшего никаких практических последствий ¹⁾).

Ванновского еще раз вынули из архива и в качестве министра народного просвещения заставили осуществлять систему „сердечного попечения“, давшую так же мало практических результатов. Но было это уже в следующее десятилетие — в первые годы нового XX столетия...

Я вошел в „Кресты“ с обостренной нейрастенией, страдающий упорными бессонницами... Спервой же ночи в тюрьме ко мне возвратился здоровый сон...

Точно распределив свое время, я начал серьезно заниматься: с утра до 12-ти — „Капитал“ Маркса; после обеда — что-нибудь полегче, главным образом, история; с 6-ти беллетристика (в камере у меня понемногу накопилась целая библиотека). За три с небольшим месяца заключения я основательно пополнил „пробелы“ и всегда шутил потом, что меня немного поторопились освободить — не дали дочитать III том „Капитала“, оставшихся 200 — 250 страниц я так никогда и не дочитал... И тюрьма оказалась для меня санаторией, нейрастенией с тех пор я больше не страдал... Думаю, что главной причиной этого было душевное равновесие и чувство морального удовлетворения. Смешно сказать, я чувствовал себя самым „свободным“ человеком, я сказал свое слово, — слово, выражавшее очередную задачу новой России. Ни на одну минуту я не раскаивался в совершенном. Оно казалось мне исторически необходимым, открывающим новые пути. Генерал Ванновский (и не один генерал Ванновский) называл нас — „прохвостами, революционе-

¹⁾ Интересующиеся этой „кисней“ найдут о ней интересные сведения в интересных не раз мною цитировавшихся воспоминаниях Иорданского, „Былое“ 1907, № 9.

рами". Для него (и не для него одного) это были аттестации равнозначущие: прохвосты революционеры. Мы чувствовали всю злобу против нас представителей старой России; мы знали, что многие товарищи, еще отгораживавшиеся от нас по остатку „политической невинности", уже теряют последние остатки ее и пойдут за нами. Мы не роптали уже на смешные потуги уцепиться за „общественное, но не политическое", потом за „политическое, но не революционное", мы учитывали значение стихийности массового протеста, пусть и недостаточно освещенного политической сознательностью. Чували близость „побеждающей волны"... Старое драгомановское утверждение — „единодушное отрицание старого порядка и отчетливое требование новых учреждений, вполне ясно сознаваемых обществом, всегда обезоруживало самые реакционные правительства" — облекалось для меня новою плотью, согревалось новою кровью... И под влиянием всего этого крепла та уверенность, с которой я вступал в сознательную жизнь, уверенность, что нашему поколению суждено видеть падение самодержавия...

Десятилетние годы дали убедительный ответ на долгие искания революционной мысли — метода революции, ответ не теоретический только, но и аргументированный красноречивыми фактами новой действительности. Ответом этим было широкое классовое рабочее движение, пустившее глубокие корни в эпоху „экономизма". Нельзя в сущности установить момента, когда бы рабочее движение было исключительно экономическим, классовая борьба в широком масштабе всегда заключала в себе политические моменты, постепенно лишь усиливавшиеся и выявлявшиеся все с большей и большей определенностью... И в конце концов, революционизировав настроение и сознание широких кругов пролетариата, подняв их революционную активность, движение вплотную подошло к постановке политической проблемы во всем ее объеме.

Не столько по ограниченности кругозора, не столько в силу консерватизма тактических навыков (в известной мере, может быть, было и то, и другое), сколько в силу, может быть, и не всегда ясно сознаваемых сомнений в возможности для одного, хотя бы и органически революционного класса, разрешения проблемы, движение как будто обнаруживало некоторую нерешительность...

Историческая необходимость диктовала постановку политической проблемы, как национальной задачи. „Отрицание старого порядка" должно было стать „единодушным", „требование новых учреждений" — „отчетливым". И вот в конце 1890-х годов на гребне высоко подымавшихся волн стихийного массового протеста студенчества — марксистская молодежь формулирует ясно и определенно, с постановкой всех точек над всеми i — национальную задачу — свержение самодержавия. Студенчество в тот момент оказалось „на аванпосте", и охранник Статковский не ошибся, характеризуя этот момент, как „прелюдию русской революции"...

Я знаю, что не от „манифеста кассы взаимопомощи" идут позднейшие ручьи, движущиеся в том же русле. Но за „манифестом", значение которого чрезвычайно увеличивается его появлением в момент перелома рабочего движения от „экономизма" к „политике", — не случайно он был в значительной

мере делом активных социал-демократов, — остается всё же известный приоритет. Новизна его заключалась не столько в идеях, — борьба с самодержавием велась уже много десятилетий, — сколько в открытом заявлении этих идей почти открытой организацией, — „касса“ хотя и была организацией формально нелегальной, но состав ее мог быть установлен достаточно легко. И в этом отношении важна не столько революционная фразеология „манифеста“, сколько суть его содержания — „отрицание старого порядка и отчетливое требование новых учреждений“. Когда в последующие годы земства, города, ученые и общественные организации, многообразные „союзы“ и т. д. предъявили свое „отрицание“ и свои „требования“, облеченные в соответствии с самым характером их структуры и положения в иную форму, они шли по тому же пути, на какой в марте 1899 г. выступила „касса взаимопомощи“ со своим „манифестом“...

Но опять-таки — это произошло уже в первое десятилетие XX века.

4 июня 1922 г.
Петербург.

Мих. Могиланский.

К биографии Ст. В. Балмашева.

Мария Николаевна Балмашева, проживающая в г. Саратове, в одно из моих посещений ее выразила желание рассказать о своем сыне то, что связано с последними днями его жизни, т.-е. со временем пребывания его в тюрьме после убийства Сипягина.

— „Слаба становлюсь, хотелось бы перед смертью рассказать близкому человеку всё, что пережила тогда. Все откладывала, тяжело это, ведь раны приходится беречь. Но нужно, знаю, что нужно, ради него нужно“...

Нечего и говорить, с какой готовностью пошла я навстречу этому желанию, хотя и жаль было мучить старыми воспоминаниями бедную мать, у которой ничего не оставалось в жизни от прошлого, кроме прекрасного огромного портрета ее сына, присланного ей почитателями Степана, на котором Степан—как живой, с его юношеской свежестью, с его открытостью и ясностью взгляда.

Приводимое ниже составлено мною на основании сообщенного Марией Николаевной, но, по моей просьбе, рассказу о времени ареста Степана она предпослала краткие сведения о его детстве и юношеских годах.

Отец Степана, Валериан Александрович Балмашев, старый революционер-народник, еще студентом за „хождение в народ“ был выслан в Архангельск в бессрочную ссылку. Мать его, Мария Николаевна, в русско-турецкую войну была сестрой милосердия в Архангельске, где поселилась в качестве акушерки, познакомилась с Валерианом Александровичем и вышла за него замуж.

2-го апреля 1882 г. у них родился сын, названный Степаном в честь Разина. Через два года им разрешили покинуть Архангельск и переселиться в Саратов, где Валериан Александрович занял место библиотекаря при коммерческом клубе. Как человек общительный, он свел знакомства с молодежью и стал собирать ее у себя на квартире для чтения и бесед. Это не прошло незамеченным охранниками. Начались дознания, обыски среди молодежи. В это время вообще в Саратове шли аресты. Степану было семь лет, когда отец его был выслан на два года в Пермь. По возвращении в Саратов он снова занялся библиотекой, уроками, пропагандой среди молодежи.

Маленький Степан рос любознательным, наблюдательным мальчиком, главной чертой его была большая отзывчивость на чужую беду и готовность встать на защиту слабых. Так, будучи четырехлетним мальчиком, он храбро

бросился на злую собаку, чтобы отнять от нее обезьянку, которую привели на двор. В другой раз, когда был постарше, бросился защищать девочку, которую обижали мальчашки. За это он получил сильный удар камнем в лоб.

Девяти лет Степан поступил в Саратовскую гимназию. Здесь он учился хорошо, легко, свободно. Сходился легко с товарищами, отдавался охотно всяким начинаниям. Когда он был уже в восьмом классе, Валерия Александровича снова за пропаганду среди молодежи отправили в ссылку на три года в г. Котельнич (Вятской губ.). Мария Николаевна осталась с сыном, чтобы дать ему возможность кончить гимназию.

В гимназии Степан проявляет большую общественность, заводит обширный круг знакомых, участвует в гимназических кружках. Наиболее близок он был с Арк. Ив. Альтовским, Ал. Ив. Рыковым, Котельниковым.

По окончании гимназии поехали к отцу; затем 18-летний Степан поступил сначала в Харьковский университет, затем перевелся в Киевский (на юридический факультет). Учился он на дворянскую стипендию Ковачева, которую ему выхлопотал либеральный земский деятель Нессельроде. Летом приезжал на отдых в Котельнич, где любил подолгу бродить по лесам.

На второй год его пребывания в университете начались студенческие волнения, в которых юный Степан принял горячее участие¹⁾. В результате — тюрьма и, как и многим другим, ссылка в солдаты. Он попадает в Смоленск, где живо находит себе дело — обучает солдат и ведет среди них революционную пропаганду.

Вскоре, однако, студентов освобождают от солдатчины. Степан лето провел сначала в Саратове, который к тому времени стал центром с.-р. работы.

В это лето он, так увлекшийся северной природой, приезжает домой на очень короткий срок.

— „Некогда, связан статистической работой“... Но, уезжая внезапно, все же аккуратно пишет, что едет якобы в Киев. Всегда до сих пор аккуратный в переписке с родными, вдруг умолкает надолго. После долгого молчания — письмо: „Мама, не беспокойся, еду в Питер на урок к Карабчевскому“...

Родные поражены, — почему в Петербург, почему на урок?

Снова нет и нет писем.

И как гром — известие об убийстве Сипягина!

Семья доживала последние полгода ссылки уже не в Котельниче, а в Вятке. Тамашнее общество встретило весть об убийстве Сипягина с радостью. По городу ходили всевозможные слухи; говорили что убил Сипягина приехавший из-за границы эмигрант. Радуются и родные Степана, им и в голову не приходила мысль об участии в этом деле их Степана, который, по общему признанию, и цыпленка не зарежет.

На второй уже день известия об убийстве на квартиру Балмашевых приходили жандармы, делали обыск, спрашивали, когда были последние письма от сына, забрали все его письма.

¹⁾ Ст. В. Балмашев в Киевском ун-те, ст. воспоминания Д. О. Заславского „Русск. прошлое“, кн. 4, стр. 63. Ред.

Мать волнуется, но еще не знает истины. Но вот в страстную субботу от родственницы Балмашевых — Хмельницкой приходит из Саратова телеграмма: „Выезжайте немедленно, встречу в Самаре“.

Мать сразу поняла в чем дело, отец еще ранее угадывал истину, но скрывал ее от матери.

Тотчас же едет она в Самару; здесь встретила ее Хмельницкая, рассказала все и взялась сопровождать Марию Николаевну в Петербург. Выехали вечером в тот же день.

По приезде в Петербург остановились в меблированных комнатах на углу Невского и Караванной, заперли вещи в номере и тотчас же отправились в Департамент полиции. Доложили — кто.

Приняли моментально, несмотря на ранний час (9 ч. утра), и сказали — идите к прокурору Максимовичу.

У Максимовича опять приняли моментально, тотчас же разрешили свидание.

И вот, в 11 ч. утра, в Доме Предварительного заключения, в кабинете Максимовича, состоялось первое свидание матери с сыном. Степана привели в арестантском халате, свидание продолжалось $\frac{1}{2}$ часа в присутствии Максимовича и родственницы Балмашевых — Хмельницкой, не оставлявшей Марию Николаевну в виду ее слабости.

Бедная мать была в отчаянии, сыну пришлось ее утешать.

— „Мамочка, не беспокойся, я чувствую себя прекрасно“, — говорил он.

Говорил еще что-то, но мать не в состоянии была понимать его слов. Эта первая встреча была так тяжела, что даже присутствовавшим трудно было переносить ее: даже солдат, подававший воду, трясся как в лихорадке.

Максимович молчал. Перед концом свидания сказал: „Приходите завтра снова на свидание в 12 часов“.

Со свидания пошли к себе в меблированные комнаты. Здесь явился к ним знакомый Хмельницкой.

— „Они хотят, — сказал он, — чтобы вы повлияли на сына; они ждут от вас этого шага“.

Мать сказала, что она не может в этом смысле влиять на сына. Знакомый посоветовал тогда ради спасения жизни Степана составить прошение „на высочайшее имя“, что, мол, мать, в виду несовершеннолетия сына (Степану не было еще 21 года), просит о снисхождении. Прощение было составлено и отправлено. Посоветовал съездить к кому-то из приближенных царя, кажется, к барону Фредериксу.

К нему поехали в тот же день. Объяснили, что прием кончен.

— „Доложите, что просит Балмашева“.

Моментально приняли, ввели в кабинет, подвинули кресло. Мать стала просить.

— „Облегчите участь сына“.

— Этого обещать не могу, — был ответ. — Но наш монарх так добр, что, может быть, сделает снисхождение. А вы бы повлияли на сына, ведь от матери всё зависит“...

Мать снова заявила, что не может в этом смысле влиять на сына.

Разговор кончился ничем. На другой день заметили у своей квартиры соглядата.

В 12 час. следующего дня снова свидание. Мать смогла уже разглядеть сына; он показался ей худым, бледным. Это свидание было покойнее первого. Сын расспрашивал об отце, рассказал, когда его арестовали и привели на допрос, то от боли в ногах он не мог стоять; а они думали, что отравился, бросились его обыскивать и с торжеством отняли у него порошок... от головной боли. Сказал, что назначили ему защитника, некоего Люстига.

Максимович предупреждал, чтоб не говорили о политике, и велел приходить завтра, — тоже всё ждал, что мать повлияет на сына.

Со свидания Мария Николаевна, вместе с неоставлявшей ее Хмельницкой, поехала к Дурново. Принял любезно. И опять та же песня:

— „Как мать, вы должны повлиять на сына. Ведь от него многого не требуют... Пусть не выдает сообщников, нам это не нужно (!), но пусть скажет, что он сделал это по молодости и по неопытности“.

Мать молчала, и у нее гвоздем сидела мысль: „Кто отнял жизнь, свою должен отдать“.

От Дурново поехали во дворец, какой — мать не помнила. Ее приняли, вышел какой-то приближенный царицы (позже, как говорят, высланный за амурные похождения с ней — за границу). Любезно спрашивал:

— „Кто мы?“

— „Прошу за сына. Повлияйте, чтобы смягчили участь“.

Надавал обещаний — „я сам отец, понимаю, сделаю всё“.

Поверили и уехали успокоенные. Виделись с Люстигом, тот сообщил, что приезжала „тетка“ Балмашева (оказалась просто знакомой, которую никто не просил) и заявила прокурору, что Степан — сын алкоголика, что он нервный, невменяемый и пр., — словом, постаралась...

На третьем свидании Степан сказал матери: — „Мама, зачем ты ездила к священнику Петрову и просила, чтобы он на меня повлиял?“

Мать была поражена. Она не имела никакого представления о Петрове и была возмущена, что действовали ее именем без ее ведома.

Тут же сын сообщил, что на 26-е назначен суд.

— „Ты, мама, имеешь право присутствовать на суде. Но прошу тебя, — не приходи, ради себя и ради меня“.

Всё время успокаивал.

— „Ты не верь рассказам про дурное обращение, сидеть хорошо, кормят прекрасно, обращение хорошее“.

Просил дать денег, чтобы купить себе штатское платье для суда.

Деньги взял, но на суд в штатском так и не позволили явиться. Со свидания поехали прямо к Петрову.

— „Вы были у моего сына?“ — „Был“. — „Но я вас не просила об этом?“ — „Нет, но ко мне приезжал Дурново и просил меня, как обладающего“

ораторским талантом, повлиять на вашего сына, чтобы он заявил, что он молод, неопытен“...

— „Зачем вы это делали?“

— „Повторяю, исключительно по просьбе Дурново. Ведь от вашего сына так мало требуют, — лишь признания своей молодости и неопытности. И потом, ведь жизнь нам дается один раз, ее не вернешь“...

— „Я всё это знаю, и сын мой знает. Вам не следовало являться к нему без нашего согласия“.

В „Предварилке“ были еще свидания. До суда мать виделась с сыном каждый день.

Настал день суда.

Трепещущая мать едет к адвокату Люстигу.

— „Ваш сын держался прекрасно, — сказал он, — с большим достоинством. Он очень хорошо, убедительно говорил. Я, по вашей просьбе, поздравил его с днем ангела. Приговор смертной казни выслушал спокойно“.

Люстиг прибавил, что приговор был составлен заранее, еще на первый день пасхи. А матери на свидании сын всё время твердил: — „Не думай, что мне будет конец. Меня наверное упрячут в Шлиссельбург, там хорошо, огороды, товарищи, да и временно всё это“...

Люстиг сказал, что после суда его сейчас же перевезли в Петропавловскую крепость и что нужно теперь хлопотать о разрешении свидания.

Сейчас же поехали за разрешением. В приемной была масса народа. Когда узнали, что приехала мать Балмашева, окружили, целовали, чуть не на колени становились перед матерью того, чье имя было у всех на устах. Демонстрацию прекратили тем, что обеих женщин увели в отдельную комнату.

Получили разрешение на свидание от коменданта крепости Веревкина. Свидание произошло в комнате без решетки. Степан утешал мать.

— „Собери все силы, доживи до того времени, когда настанут другие дни, когда люди вздохнут свободно и счастливо. Прошу тебя об этом. Мне легче будет с этой уверенностью переносить всё, что меня ждет“.

И просил до тех пор, пока мать не дала слово.

На следующем свидании в крепости Степан смеялся:

— „Знаешь, мама, у меня был сам Дурново, всё уговаривал, просил меня об одном, — чтобы я заявил, что совершил акт по молодости, а я сказал ему: я не по молодости, а по убеждению“.

Свидания давали каждый день. И всё приставали к матери и в один голос твердили: — „Пусть скажет, что по молодости“. Мать отвечала одно: „Это его дело. Я не могу вмешиваться“.

Последнее свидание было через решетку. Сердце матери упало, хотя она и не знала, что сына увезут в тот же вечер. Свидание было грустное. Степан молчал, мать предчувствовала недоброе. Это было 2-го мая.

3-го мая мать явилась на свидание. Вышел комендант Веревкин. Что-то было в нем такое, от чего сжалось сердце матери. Комендант взял за руки Марию Николаевну и сказал: — „А ведь, знаете, сына вашего нельзя видеть“...

Мать спрашивает: — „А когда же можно?“ — „Не знаю, это уж не от меня зависит.“

Кто-то посоветовал: „Поезжайте в Дурново, может быть, застанете у него Плеве“.

Поехали в Дурново; он вышел.

— „Прошу видеть Плеве.“ — Дурново пожал плечами: — „Ведь он сам виноват, о чем же просить?“

Просить, действительно, было уже не о чем. Накануне, вечером, Степан был перевезен в Шлиссельбург и утром в 4 часа был казнен. Но они молчали. Мать узнала правду только от Люстига.

— „Это была потрясающая картина, — говорил Люстиг. — Ваш сын держался прекрасно, героически. Все присутствовавшие, офицеры, солдаты, все были потрясены. Когда священник подошел к нему, он сказал:

— „Вы держите крест, а сами человека распинаете“...“

На другой день утром мать уехала, сначала в Саратов, потом в Вятку. Администрация, несмотря на паломничество к семье, не притесняла особенно. Отец после этого жил недолго. В октябре 1904 г. он умер, уже в Саратове. На похоронах Валерьяна Александровича была настоящая демонстрация, гроб утопал в венках, за ним следовала масса народа.

У матери хранилось письмо Степана к родителям, которое она получила уже по возвращении в Вятку. Его забрали жандармы. Позже, когда вдова собиралась за границу, у нее сделали обыск забрали и решительно всё, имевшее отношение к сыну, даже полотенце с его метками.

Из сообщенного видно, какие усилия употребляло правительство, чтобы добиться от Степана Балмашева лишь одного: признания, что акт убийства Сипягина — лишь результат молодости, недомыслия. Это был первый организованный террористический акт, начало целого ряда ударов, наносимых правительству. Ясны, поэтому, и эти старания царских чиновников умалить его значение. Вот почему так широко растворялись перед Марией Николаевной двери всяких кабинетов, вот почему давались ежедневные свидания, подсылались красноречивые священники, вот почему, наконец, медлили с казнью.

Но всё разбилось о несокрушимую стойкость Степана и его матери.

Для родных, участие Степана в террористическом акте было полной неожиданностью. Любя их, он щадил их чувства и тщательно срывал от них свои планы. Поэтому естественно, что Мария Николаевна не могла сообщить о том, как и почему Степан пришел к мысли о необходимости встать на избранную им дорогу.

Чтобы получить от очевидцев хотя какие-нибудь сведения о подготовительном к акту периоде жизни Степана, я обратилась к проживавшему тоже в Саратове старому народовольцу и потом члену партии с.-р., Леониду Петро-

вичу Буланову. К сожалению, я застала его всего за месяц до его смерти: больным, совсем обессиленным; ему трудно было, как он говорил, „сбираться с мыслями“, трудно было вести связный рассказ, да и память сильно изменяла ему.

Вот то немного, что он рассказал мне.

Леонид Петрович знал Степана еще гимназистом. В нем рано пробудился интерес к революционной борьбе. В каком направлении вырабатывались в нем революционные идеалы, видно из того, что в последнем классе гимназии он с товарищами составил кружок „желобовцев“.

Формально существовавших с.-р. кружков в Саратове тогда еще не было, но Степан был в близких отношениях с Л. П. Булановым, Пав. Пав. Крафтом (покойным), — и с большой готовностью выполнял отдельные поручения. Например, в 1901 г. бежал из Сибири какой-то бундовец, и местные с.-д. не могли его приютить. Они обратились к Буланову, тот — к молодому Балмашеву, который и устроил его и скрывал всё время до его отъезда.

Киевский период жизни Степана неизвестен Буланову, но, со слов Гершуни, он знал, что последний через киевских студентов познакомился с Степаном, сошелся с ним и сговорился еще в 1901 г. Степан приехал в Саратов уже с твердым решением стрелять в Сипягина.

Гершуни интересовался мнением Буланова о Балмашеве. Буланов дал очень хороший отзыв о нем, только сказал, что боится одного, — слишком он молод. Степан произвел на Буланова впечатление человека спокойного, выдержанного, убежденного.

О планах Степана знали в Саратове лишь те, кто стоял близко к делу, — Буланов, Крафт, Серафима Клитчоглу. Они же снабдили его средствами на выполнение террористического акта.

Этим исчерпывается всё, что мог мне сообщить Буланов.

— „Знал хорошо, но редко встречался, — говорил он, — потому мало осталось в памяти личных впечатлений. Да и память слаба стала“...

Но и то немного, что он сообщил, должно быть ценно нам, как каждый штрих к дорогому, любимому портрету.

И. Ракитникова.

За кулисами „суда“.

(Из воспоминаний политического защитника военно-полевых „судов“).

Таясь, как вор от своей совести, дореволюционные военно-полевые суды по делам политическим о нападениях на должностных лиц, об оскорблении их действием, вооруженном сопротивлении, экспроприациях на дело революции, т.-е. вообще по всем делам с применением в обвинительном акте „знаменитой“ 279-й статьи, могли объявлять подсудным только смертные либо оправдательные приговоры. Никаких других! Никаких смягчающих „вину“ обстоятельств, никакого снисхождения. Никакой „лестницы наказаний“...

Смерть, смерть и смерть! И суды, — точно во всем черном, в предшествии мерцающего, овитого вепом траурного паникадила, — „торжественно“ входили в зал заседания. Чтобы, как анатом, покопиться и терзать ножом сердце живого подсудимого...

Приговор вынесен. Подсудимому объявлена казнь через повешение.

Жди! Мучайся и терзайся. Каждую ночь напряженно прислушиваясь к каждому шороху, к каждому неуловимому, неслышному звуку. Не идут ли уже за тобой, не идет ли особенно противный, специально подобранный в пару к палачу тюремный священник с крестом в руках и с елебно-напутственным на тот свет словом... Жди и выматывай душу...

А в это время за твоей спиной, тот же самый „суд“ втихомолку стряпает другой приговор — он ходатайствует за тебя!

Эту пытку томлением ожидания смерти придумал жестокий и тупой Александр третий.

Военный министр Ванновский, ссылаясь на словесное „высочайшее“ повеление Александра третьего от 11 августа 1887 года, разослал секретный циркуляр председателям военно-окружных судов о том, что если суды, вынесшие смертный приговор, находят такой свой приговор несправедливым, они могут представлять о том секретное ходатайство командующему войсками, обязательно объявляя подсудимому только смертную казнь и не проговариваясь перед ним об этом ходатайстве.

И, чтоб усилить эту муку осужденных, командующие войсками, — присваивая права главнокомандующих на поле сражения, — не давали хода кассационным жалобам осужденных.

Все смертные приговоры обязательно представлялись на утверждение командующему войсками. Точно так же на конфирмацию представлялись и те приговоры, на которые поданы кассационные жалобы. Не давая хода кассационной жалобе, командующий войсками мог „изменить“ приговор по своему усмотрению. И тогда докладчиком по делу являлся судья, постановивший приговор. Он давал командующему войсками указания, следует ли утвердить или отменить его же приговор.

И можно себе представить, в чему это приводило.

Один военный судья как-то сказал мне, что он, постановив приговор, не „успокаивается“: он зорко следит за поведением осужденных при чтении приговора: изумление, горе, страдание, равнодушие в такой момент иногда больше говорят ему, чем весь процесс.

Именно в это время генерал часто решает, как доложить командующему войсками дело... Сохранить жизнь — или повесить...

И если в судах всего мира, после торжественного объявления в зале заседания резолюции, здесь ничего нельзя было уже изменить, суд был бессильен отказаться от самого себя, от своего окончательного в окончательной форме объявленного приговора, то в военных „судах“ лишь после объявления приговора начиналось фактическое решение участи подсудимого!

Доклады, частные письма, хлопоты мгновенно изменяли приговор — иногда результат многих дней „работы“ distinguished царского „правосудия“, теперь так восхваляемого за границей „забывчивыми“ эмигрантами...

Неопытность защитника, его легкомыслие в такой момент, незнание именно этого — могли погубить всю предшествующую защиту.

Как-то в провинции мне пришлось защищать с местным адвокатом.

Это был „дельный“ человек, опытный, специально уголовный провинциальный защитник. Но в том глухом губернском городе, где заседал временный военный „суд“, бывали очень редки предания полемому суду, и потому местные адвокаты „не привыкли“ к нему. В течение всего процесса товарищ вел следствие, доказывал, что его подсудимый Николаев²⁾ не участвовал и вообще не мог участвовать в нападении на присутственное место. Он привел в ряд серьезных аргументов. И, казалось, судьи, внимательно слушавшие его, начали колебаться. Становилось ясным, что если подсудимый и был при нападении, то во всяком случае оставался во дворе здания, непосредственного участия в нападении не принимал.

И хотя подсудимых было только трое, из которых двое обвинялись как укрыватели, судьи долго совещались.

Вышли и вынесли Николаеву смертный приговор...

После приговора я предупредил товарища о секретном циркуляре Ванновского, и мы отправились в совещательную комнату замолвить слово об осужденном на смерть.

²⁾ Действительную фамилию не хочется называть.

Все судьи были взволнованы, точно после горячего спора... Временные члены суда, взятые прямо из полков и еще, вероятно, не зачерствевшие в этих приговорах, как-то разом повернулись к нам... Председатель-генерал это заметил. Он любезно обратился к товарищу.

— Вам надо было основательнее остановиться на поведении вашего подзащитного внутри здания, доказать, что он вовсе не действовал там, а стоял спокойно, подробнее осветить его поведение, — необыкновенно изысканно, точно из сочувствия сказал генерал товарищу:

И тот сразу же размяк.

— Но ведь если он и был в доме, — тая от вежливости, ответил товарищ, — то во всяком случае у него там не было „поведения“. Его никто даже не заметил.

— Жаль, что вы этого не развили раньше! Вы значительно сократили бы нашу работу, — бросил председатель, и точно скрытая ирония прозвучала в его словах. — Во всяком случае могу вам сообщить, что судом постановлено ходатайствовать о замене подсудимому смертной казни каторгой...

Товарищ и я вышли.

— Великолепно! — торжествуя и сияя промолвил товарищ.

Я знал „практику“ судов, знал, что, несмотря на ходатайство „суда“ об отмене его явно несправедливого приговора, несмотря на отказ прокурора от обвинения, несмотря на подачу самой основательной кассационной жалобы, на шею подсудимому всегда может быть наброшена „правосудная“ петля веревки... Кто не помнит тогда таких приговоров, как по делу черноморского учебного суда „Прута“, по Либавскому делу матросов, по Одесскому делу о „беспорядках“ на броненосце „Георгий Победоносец“, когда начальник черноморского флота Чухнин, не дав хода вопиющим кассационным жалобам защитников, приказал сразу же расстрелять всех „осужденных“...

И потому в ответ на самодовольную болтовню товарища я молчал...

В тот же вечер я выехал домой.

В одном вагоне со мной оказался судья-полковник.

Повдоровались.

— Вы куда? — спросил я его.

— А вот тоже в Питер захотелось. Сессия кончилась раньше, чем предполагалось. Остались солдатские дела, и я с согласия генерала махнул фуфусом на денек в столицу...

Полковник был настроен жизнерадостно и болтливо, как после веселого обеда.

Мы разговорились о деле.

— Как именно ходатайствует суд за Николаева? — спросил я. — Каторга?

— Да, на двадцать лет... Мы — временные — сделали все, чтобы спасти его от виселицы. Генерал упорно стоял за смертную казнь. Он был убежден, что Николаев участвовал и внутри дома. Мы не были уверены и не соглашались подписать. Наконец сговорились на том, что, подписав смертный приговор, составим от имени суда особое постановление с ходатайством заменить каторгой. Так и поступили. Ведь, признав виновным по 279, мы можем

назначить только казнь... И конечно, председатель доложил бы наше ходатайство командующему, как следует, но все испортил защитник Николаев...

— Что-о?!

Разве вы не заметили, как ловко генерал поймал его! Все время адвокат горячился, что Николаев никак не мог быть в доме, а потом после приговора и сам высказал сомнение...

Как?

„Если Николаев и был, то его не видели, — никакого поведения не было“...

— Что ж из этого?!

— А тон адвоката! Когда он вышел, генерал Дон рассмеялся и сказал: „Идти бы послать за Николаевым спросить, где он нашел такого откровенного болвана“... Ясно, что, докладывая командующему войсками ходатайство суда генерал расскажет об этом...

— Но ведь товарищ болтнул в тон генералу!..

— В такой момент не шутят...

Через несколько дней в газете появилась телеграмма, что Николаев повешен...

Конечно, такое положение вещей, такое жонглирование приговором не всегда бывало во вред подсудимому. Благодаря скоропалительности военно-полевых судов такое явление было неизбежным, а возможность изменить и даже отменить приговор самому же судье, только что постановившему его, несколько раз спасала осужденного от страшной ошибки суда... Но в этом был широчайший простор произвола и случайности, только родящих у суда легкомысленное отношение к своему же собственному приговору.

Однажды в Петрограде судили толпу юношей-революционеров. Все они были знакомы друг с другом, почти у всех были найдены вороха нелегальной литературы, „протоколы“ собраний, письма, дневники — одним словом всё, что обыкновенно находили при обысках и на чем обыкновенно бывали построены обвинительные акты по политическим делам... Суровый приговор был неизбежен. Правда, некоторые подсудимые доказывали, что к революции не имели никакого отношения, а „главный подсудимый“, сидевший первым, старался даже установить свое безнадежное alibi — отсутствие на месте совершения „преступления“.

Судьи явно не верили подсудимым.

И приговором суда все осуждались на каторгу.

Едва председатель генерал Шебеко прочитал резолюцию, как „главный обвиняемый“ взволнованно крикнул:

— Да, я виновен, но Иванов ¹⁾ не при чем. Он ничего не знал. Ужасно, ужасно! Осудили невинного!

Молодой, честный голос точно ударил по сердцам.

И один за другим все подсудимые, словно зараженные волнением товарища, выкрикивали, что осужден невинный.

¹⁾ Действительную фамилию забыл.

Суд был смущен.

— Выведите подсудимых, — распорядился председатель.

Суд удалился в совещательную комнату, но через минуту Шебеко появился в коридоре.

Он подошел к идущему навстречу защитнику Иванова — В. О. Петропавловскому. Защитник в свою очередь высказал генералу, что осужден несомненно невинный...

— Можете ли вы дать честное слово, что вся эта история не подстроена, что крик подсудимых вырвался вполне естественно? — спросил Шебеко.

— Да. Даю честное слово. Во время перерывов я постоянно бывал в клетке подсудимых, слышал их разговоры... Это вырвался крик души...

— Я вам верю. Относительно Иванова у суда было большое колебание... Мой голос решил... И потому я это исправлю: доложу помощнику командующего войсками Газенкампу. В Петербурге он подтвердит приговоры. Я сделаю всё, что в моих силах.

Генерал сдержал слово.

По докладу самого же судьи Газенкамп отменил его приговор, заменив шесть лет каторги шестью месяцами крепости, при чем в счет этих шести месяцев зачел шесть месяцев предварительного заключения.

„Оправдать“ Газенкамп не имел права. Он мог только „конфирмовать“ приговор — утверждать или изменять.

Иванов был освобожден на вольную волю через три дня после того, как выслушал „окончательный“ приговор в окончательной форме, осуждающий его на шестилетнюю каторгу и связанное с нею вечное поселение...

Теория креста — одно, а практика защитника — другое. И когда я знал, что человек, живой, говорящий, еще сегодня улыбающийся мне, завтра будет удушен рукою палача, я забывал всякие теории, забывал, что приговор, основанный на хлопотах, приговор, написанный в тиши кабинета вдали от подсудимого, — является полным произволом, полным отрицанием всей „высокой“ юриспруденции. Я шел, просил, хлопотал, писал и добивался именно такого закулисного приговора! „Только“ трое казнено из моих подзащитных — Каляев (убивший б. великого князя Сергея Александровича), Зубириков и Тасуев — один уже перед тем осужденный на смертную казнь по аналогичному делу, другой — ожидавший такой приговор по двум новым делам. Лишь благодаря моим настойчивым хлопотам не казнили моих подзащитных, ибо не мало из них было „осуждено“ на смерть...

Газенкампу (умер до войны), тогда помощнику б. вел. кн. Николая Николаевича, было предоставлено право конфирмации приговоров временных полевых судов всего военного округа, охватывавшего много губерний. Газенкамп утверждал вынесенные приговоры, или же единолично „постановлял“ новые — собственной властью, совершенно не считаясь с судом.

Вот как произошла наша первая встреча.

В Петербурге слушалось дело об убийстве директора Путиловского завода. Обвинялся рабочий Котлов в убийстве по наущению неизвестного интел-

лигента с революционной кличкой Богданов ¹⁾). Кроме них на скамье подсудимых сидели еще трое: рабочий Яковлев ¹⁾), давший для убийства Котлову револьвер, студент Костин ¹⁾ и курсистка Лебедева. Убив директора, Котлов убежал и бросился на квартиру Богданова. Его не было дома. Но Котлов застал в комнате сожителя Богданова — Костина и пришедшую в гости Лебедеву. Когда Котлов вскочил, Костин сидел у окна, Лебедева стояла в конце длинной, узкой комнаты, у печки. Они о чем-то спорили.

Взволнованно, испуганно Котлов шепнул Костину:

— Я только что убил. Помогите скрыться, дайте денег.

Костин молча полез в карман. В кошельке было двадцать копеек.

— Есть у вас деньги? — спросил он Лебедеву.

— Три рубля...

— Дайте.

Костин подошел к ней, взял и передал деньги Котлову.

Костин ушел.

Ни одного вопроса не задал ему Костин. Ничего больше не было сказано. Котлов никогда раньше не видел ни Костина, ни Лебедеву. Он доверился Костину, как сожителю Богданова.

Когда Котлова арестовали, он дал подробные показания. Указал на встречу в комнате Богданова.

И таким образом на скамью подсудимых попали в качестве укрывателей Костин и Лебедева.

Им грозила бессрочная каторга...

На суде Богданов категорически отказался дать какие-либо объяснения. Его защитник сказал прекрасную речь.

Объявляя смертный приговор Богданову, Котлову и Яковлеву, председатель неожиданно проговорился:

— О Котлове и Яковлеве судом постановлено ходатайствовать: — заметить казнь Котлову — двадцатью, а Яковлеву — пятнадцатью годами каторги.

Костину был объявлен минимальный приговор — десять лет каторги. Лебедеву оправдали.

Было ясно, что отсутствием ходатайства за Богданова суд выделил его и уже этим заранее набросил ему петлю на шею.

Как только суд ушел, Богданов грубо набросился на своего защитника.

— „Как вы смели не предупредить, что мне грозит смертная казнь?!“ — Последовала ругань. — „Я держался бы иначе на суде, не отказался бы от объяснений!“

Его защитник, много и бескорыстно трудившийся, стоял буквально раздавленный.

Я защищал Яковлева и был за него спокоен. Даже о пятнадцати годах каторги не только Яковлев мечтал, как о спасении. Об этом „мечтал“ и я, как его непосредственный защитник! Было другое, что сильно беспокоило

¹⁾ Настоящую фамилию забыл.

в первую очередь: смертный приговор Богданова. Я чувствовал, что обиженный товарищ не станет хлопотать за Богданова... И решил сделать всё, чтоб спасти именно его.

Начал расспрашивать в канцелярии Военно-Окружного суда, где и как хлопотать. Это происходило в 1906 или 1907 году. В то время виселицы еще не были бытовым явлением, смертный приговор волновал служащих канцелярии. Помощник секретаря Военно-Окружного суда Соколовский посоветовал мне поехать в Царское Село на квартиру к Газенкамфу.

— Победа неизвестно, как относится Газенкамф к казни,— говорил Соколовский (потом скоро ушедший из военного суда в литературную работу),— но Газенкамф человек образованный, он — профессор Академии генерального штаба, напечатал в либеральном „Вестнике Европы“ воспоминания о Николае Николаевиче старшем. Благодаря тому, что Газенкамф был начальником штаба отца Николая Николаевича, он выдвинул Газенкамфа на место своего помощника. Этот ученый и литератор-генерал не похож на других командующих войсками. Попробуйте поехать к нему. Он держится просто.

— А примет ли?

— Вероятно... Только торопитесь! — Генерал поедет с докладом послезавтра, тогда уже ничего не сделаете!

— А где живет Газенкамф?

— В Царском Селе — Стесселевская улица, дом Баранова... Мы посылаем пакеты.

Ничего больше Соколовский не мог сообщить.

С утренним поездом я отправился в Царское. У вокзала нанял лучшего извозчика. Подъехал к небольшому двухэтажному дому. Позвонил. На лестничную площадку выскочил солдатик.

Подав визитную карточку.

Прошло несколько томительных минут...

— Примет ли? Что я ему?!

Выглянул солдатик:

— Пожалуйте.

И я очутился в кабинете.

Комната была большая, но просто обставленная.

Навстречу вышел небольшого роста бодрый старик в простой куртке без погон и пуговиц. Только желтые генеральские высокопревосходительные лампасы давали понять, кто предо мной.

— Что угодно? — сурово спросил Газенкамф, указывая на кресло.

— Простите великодушно, что беспокою.

— В чем дело?

— Я только что защищал по делу об убийстве начальника Путиловского завода...

— Так что же? — все так же непроницаемо сурово переспросил Газенкамф.

Но я решил не сдаваться и глянул ему в глаза. Они были умные. Лицо напоминало известный портрет Салтыкова-Щедрина в накинутах плече.

Только на лице не было страдания великого сатирика, постигшего всю тяжесть русской жизни. Одна суровость...

— Не может быть, чтобы человек с такими глазами, что-то писавший в „Вестнике Европы“, не мог сдаться, когда ему расскажут правду, — подумал я и спокойно ответил.

— Я пришел просить вас сохранить жизнь осужденному Богданову, которого лично не защищал, но дело которого выслушал, будучи защитником другого...

— Почему?

— Так как думаю, что своей великой властью сохранить или отнять жизнь у человека вы пользуетесь осторожно, взвешивая всё...

— При разборе дела присутствовал мой адъютант, который уже сделал доклад. Кроме того, мне сделает подробный доклад генерал, разбиравший это дело... Я верю ему...

— Знаю, что пришел к вам прямо с улицы, но полагаю, что могу дать вам то, чего не могут дать ни адъютант, ни судья...

— А что же?!

— Адъютант не знает всего того, что было выяснено на предварительном следствии, не может сопоставить его с судебным... Я же читал все дело... Для генерала было закрыто сердце подсудимого...

— А это важно?

— Да.

И я описал последнюю сцену в суде...

— В таком случае расскажите всё, что вы хотели...

Я стал подробно излагать соображения о роли Богданова не только свои, но и его защитника, произнес вторую защитительную речь.

Генерал вдумчиво слушал. Вдруг, прерывая меня, он просто и уже без всякой деланной суровости сказал:

— Хотите чаю?

Пораженный неожиданным вопросом я замолчал.

— Хотите чаю? — переспросил генерал.

— Нет, благодарствуйте!.. Мне сейчас не до чаю! Я буквально ни о чем не способен думать. Возможность казни Богданова не дает мне покоя...

— Он не будет казнен.

— Уверены ли вы?

— Еще бы! Я никогда не допущу этой казни!

— Но ведь возможны разные влияния... От вас могут потребовать...

— Я сказал, что он не будет казнен.

— И вы можете дать слово?

— Конечно. Даю.

Я глянул на Газенкамфа и понял, что это так, что он действительно „не допустит“.

— Я, вообще, против смертных казней, — промолвил он, — а в особенности там, где человек сам не убивал... Надеюсь только, эти мои слова не попадут в газеты, — пугливо остерег он меня. — Пойдемте пить чай.

Мы вошли в столовую. За столом уже сидели две старухи, очевидно родственницы Газенкампа.

Я шел к Газенкампу просить лишь за одного Богданова. Но теперь вспомнил о студенте Костине и решил привлечь к атаке на старика его двух старух.

И я подробно рассказал о Костине.

— Он прежде всего добрый юноша,—закончил я и специально для старух прибавил: это корректный, очень воспитанный молодой человек из хорошей семьи...

Я не лгал: семья Костина была старая революционная, и юноша родился даже в Сибири от политических ссыльных... Семья была хорошая.

— И несмотря на это помог скрыться убийце?!—промолил Газенкампф.

— Нет, нет! не то, не то... возразил я. Подойдите чутко к душе Костина. Когда я думаю о нем, то вспоминаю Виктора Гюго. В его романе „Отверженные“ есть одна удивительная сцена. Знаменитый разбойник, убийца и поджигатель, беглый каторжник Жан Вальжан встречается на улице с известным сыщиком Гавером. Они узнают друг друга. И Жан Вальжан кидается бежать. Сыщик не отстает. Спасения нет. Еще момент—и Гавер настигнет. Жан Вальжан сворачивает за угол и скрывается в первый попавшийся подъезд. Он попадает в квартиру только что умершего мэра города. Мэр уже лежит на столе. У его изголовья монахиня читает заупокойные молитвы. Жан Вальжан вбегает в комнату и на виду монахини становится за дверь. Следом за ним вбегает Гавер. Он не решается сделать обыск у гроба только что усопшего уважаемого всем городом мэра.

— Здесь ли известный разбойник Жан Вальжан?—спрашивает Гавер.

Только одно мгновение колеблется монахиня. Никогда в жизни не солгала эта честнейшая женщина. К гробу мэра она пришла с чистым сердцем. Ее молитвы должны быть услышаны. И как солгать у гроба? Но за этим несчастным гонятся по пятам!

И уже через мгновение твердым и непоколебимым голосом монахиня отвечает:

— Его здесь нет!

Гавер уходит.

А Виктор Гюго,—этот величайший знаток человеческого сердца,—заканчивает главу только одним словом:

— „Святая“.

Есть чувства воистину святые. Это то, что превыше велений закона, то, правду чего ощущать дано всем людям. Ведь если мы видим, что несколько человек напали на одного, мы бросаемся защитить его, не спрашивая о том, прав он или виноват и не следует ли его в самом деле покарать. Такова уж натура человека... Ничего другого не сделал Костин. Облегчите же его участь!

— В самом деле, Миталь,—поддержала меня одна из старух.—Ты ведь слышал, что этот молодой, воспитанный человек только по доброте...

— Я знаю, что имею право так или иначе подтвердить смертные приговоры, но совершенно не знаю, могу ли что-нибудь сделать в отношении осужденного на каторгу... Я сегодня буду у великого князя Николая Николаевича и спрошу его... Постараюсь сделать всё возможное для облегчения участи и Костина.

Газенкамф исполнил обещание. Богданов получил бессрочную каторгу, с которой через год бежал и пришел ко мне в Петербурге, как проживающий уже под своей настоящей фамилией, а Костину наказание было уменьшено до пяти лет.

Я встретился с Газенкамфом еще только один раз в жизни. Брез по панели Мойки по ту сторону от Военно-Окружного суда. Навстречу шел Газенкамф в легком светло-сиреновом плаще. Мы поздоровались и прошлись взад-вперед.

О своем посещении Газенкамфа я тогда же рассказал товарищам — политическим защитникам. Один из них М. С. М. очень скоро по моему примеру побывал у Газенкамфа и сообщил мне, что он одобрительно отзывался о нашей встрече... И, когда подошло новое дело, я решил, что и письменная моя просьба будет услышана генералом. И не ошибся.

Я много раз письменно обращался к Газенкамфу по моим и товарищей запискам с просьбами о сохранении жизни политических осужденных, и он так или иначе отлыкивался. К другим командующим военными округами я даже не пытался обращаться. На эти места были назначены палачи-звери, которые всё делали, чтобы душить русский народ, чтобы не дать ему возможности сбросить ярмо рабства. Потом мы, защитники, начали писать Газенкамфу официальные мотивированные ходатайства за осужденных. Он читал.

В ноябре 1907 года в окрестностях города Пскова было произведено нападение на Крыпецкий монастырь. В нападении приняли участие политические ссыльные, главным образом колония латышей. Женщины были переодеты мужчинами. Произошли убийства, чем нападение и ограничилось. В это общее дело входил совершенно отдельный самостоятельный эпизод о вооруженном сопротивлении полиции, пришедшей арестовать собравшихся политических латышей, частью затем разбежавшихся под прикрытием выстрелов, частью заживо сгоревших в спаленном полицией доме. Выстрелами был убит городской, ранен пристав Мюттель, руководивший пришедшей полицией. Полиция отстреливалась. Недалеко от места происшествия задержали раненого Эрнеста-Августа Аболя. Так как в Псковской губернии до того не было введено положения об усиленной охране, то из всех подсудимых только Аболлю грозила смертная казнь, как схваченному по обвинению в вооруженном сопротивлении.

Я приехал во Псков защищать по этому делу в выездной сессии Петербургского военно-окружного суда одного из обвиняемых сапожника Писарева — бедняка рабочего, жившего в хибарке на окраине города, давшего политическим приют, сохранявшего их бомбы и револьверы и предоставившего возможность женщинам переодеться в мужские костюмы. „Из сочувствия рево-

люди". Аболя по назначению защищал молоденький неопытный строевой офицер...

Читая обвинительный акт, я обратил внимание на то, что Аболя изобличается, как стрелявший в полицию городовым „солов" пристава Мюттель. Заинтересовался, почему вызван свидетель городской, а не сам Мюттель — очевидец и первоисточник показания, тем более, что городской стоял у ворот здания и ничего лично, по его словам, не мог видеть. Перелистывая дело, я нашел показание Мюттеля. Допрошенный тотчас же после происшествия пристав писал: показание городского, ссылающегося на меня, данное им следователю вчера, совершенно неправильно. Все детали вооруженного сопротивления, имевшего место лишь пять дней назад, я, конечно, хорошо помню. Когда мы вошли арестовать подозрительных приезжих латышей, собравшихся в одной комнате, я крикнул: „руки вверх". Их поднял только Аболя. Остальные бросились к подоконнику, где лежали револьверы, и открыли пальбу. Аболя я хорошо знаю в лицо. Он живет уже целый год в Пскове, и так как я считал Аболя опасным революционером, то во все время пребывания его в Пскове следил за ним и узнал бы в любой одежде. Ошибиться я не мог, так как он высокого роста, а остальные были среднего. Я утверждаю, что Аболя не только не стрелял, но все время неподвижно стоял с поднятыми руками. Это я видел в щель закрытой половины двери, напротив которой он стоял. Другие же стреляли в открытую дверь. Несомненно, городской перепутал.

Было ясно, что Мюттель не вызван на суд прокурором Баясным только потому, что опроверг бы городского. Городовой должен был повторить свой лживый рассказ. Вызвать на суд Мюттеля не было уже возможности: суточный срок был пропущен защитником Аболя... Я решил сделать все, чтобы обратить внимание судей на показание Мюттеля, решил идти напролом.

Вечером накануне слушания дела я сидел у себя в комнате гостиницы „Лондон" и напряженно готовился к защите. Каждая минута была дорога. Вдруг вошел служащий гостиницы и сказал, что генерал Никифоров, приехавший председательствовать в суде, узнав, что я здесь, попросил пригласить меня к нему на бутылку вина. Я не пью. Но решил замолвить слово за Аболя и потому отправился. Никифоров, о котором говорили, что он вероятно незаконный сын Александра второго, так похож на Александра третьего, был одним из самых жестоких, нагло-грубых судей петербургского округа. В заседаниях он иногда бесчинствовал. Но незадолго перед тем я защищал нескольких рабочих, и—не знаю почему—Никифоров остался необыкновенно доволен моей речью. Генерал ходил по канцелярии и громко орал: „молодец Беренштам, так хорошо сказал речь, что даже меня тронул—даже я оправдал политических".—Это сообщил мне тогда же секретарь суда Меньчуков, и потому я не удивился, что Никифоров позвал меня. Генерал уже сидел за столом. Перед ним стояли бутылка белого вина и два чайных стакана. Он сообщил, что является хозяином вина гвардейского экономического общества и получил там несколько бутылок чудесного вина, „на пробу". Никифоров, несмотря на мой отказ, налил и себе и мне по стакану и начал

убеждать выпить. Сам он не медлил, и едва я прикоснулся губами к стакану, генерал налил себе уже второй, снял шютук. Я решил, что пора действовать, и рассказал о показании пристава.

— Ну чтож, — отвечал равнодушно Никифоров. — Сам пристав говорит, что Аболь — революционер. О чем же разговаривать?! Его надо просто и поскорее вздернуть на виселицу.

— Что вы говорите? Ведь дело не в том, что он — революционер. За это он сюда выслан! Важно то, что пристав Мюттель хорошо знает его в лицо, как революционера, за которым давно следил, и потому показанию пристава, что Аболь не участвовал в сопротивлении, нельзя не верить.

Никифоров раздраженно воскликнул: — но ведь он был в одной компании с такой публикой!

— Потому что они — земляки — латыши. Это ровно ничего еще не доказывает!.. Аболь это объясняет...

— Но по этому делу никого кроме Аболя нельзя повесить. В Псковской губернии не было даже усиленной охраны! А для примера необходимо кого-нибудь и здесь повесить. Обязательно повесить, чтобы знали, каков военный суд. Мы и повесим Аболя... Лучше просите за своего подсудимого. Вы кого защищаете? Писарева?..

Я кипел от негодования, не мог сдержать моей вспышки.

— Как вы смеете так говорить?! Вы хотите повесить ни в чем неповинного человека. Стыдно! Стыдно! Это кошмар!..

Что еще я кричал — не помню.

Никифоров тоже что-то кричал.

Я выбежал от него.

На другой день Никифоров начал „мне“ мстить. „Суд“ под его председательством превратился в гнусное издевательство надо мною и подсудимыми — в сплошное обрывание меня, в непрерывные наглые окрики: — „молчите“, „я вас выведу“, „защищайте своего, нечего вам говорить о чужих подсудимых“. И снова — „молчите, молчите“...

Во время перерыва, когда я был окружен товарищами, ко мне подошел присутствовавший в публичке прокурор Псковского окружного суда Меллер с вопросом: „неужели военно-окружный суд всегда разбирает дела в такой невероятной обстановке, с таким „шумом“?

И он выразил мне „сочувствие“ по поводу того, что приходится переносить защитнику.

Все мои попытки занести в протокол судебного заседания то безобразие, которое творилось при разборе дела, ни к чему не привели. Но я каждый раз упорно делал свои заявления. Никифоров не только отказывался занести что-либо в протокол, но даже то, что он отказывает мне в этом. Тогда я сообщал, нарушая все судопроизводственные правила¹⁾ и несмотря на

¹⁾ Потом был издан закон, разрешающий читать в военных судах показания и невызванных свидетелей.

обрывы, что в деле имеется показание Мюттеля, сообщил какое и что Мюттель не вызван лично мною потому, что еще до принятия защиты по делу уже прошел суточный срок. На просьбу занести в протокол и этот мой дисциплинарный поступок Никифоров категорически снова отказал...

Аболу был вынесен смертный приговор. Конечно, без ходатайства.

Мы все защитники, в том числе и молоденький офицер, за общими подписями подали заявление о дополнении протокола судебного заседания с указаниями на ряд безобразиячаний Никифорова.

„Суд“ бесстыдно отверг наши замечания на протокол: „ничего подобного не было!“

Тогда я написал Газенкамффу громадное письмо, исписал кругом писчий лист, где рассказывал о творившейся на „суде“ мерзости и просил затребовать к себе все подлинное дело, чтобы убедиться, что на смерть осужден заведомо для суда ни в чем неповинный человек. Указывал страницы и места показаний Мюттеля.

Сразу же получил ответ Газенкампфа. Вот он дословно:

„21 декабря 1908 г. Ц. Село. Милостивый государь, Владимир Вильямович. Письмо ваше от 20-го сегодня получил и внимательно прочел. Дело мне еще не докладывалось. Доводы ваши, конечно, прямо в соображение при рассмотрении дела. С истинным уважением, всегда готовый к вашим услугам М. Газенкампф“.

Прошло два дня. Прихожу в Военно-окружный суд. Меня встречает секретарь суда Меньчуков и рассказывает:

— Поехал генерал Никифоров к командующему войсками округа Газенкамффу с докладом по Псковскому делу. Вернулся вне себя от ярости. Кричит:— „Никогда ничего подобного не было! Командующий войсками потребовал привести к нему все дело; ведь это пятнадцать больших томов. Приходится посылать в Царское отдельной подводой“.

При конфирмации приговора Газенкампф отменил смертную казнь Аболу, и он получил самое меньшее „наказание“ (за что?!) из всех подсудимых. Кроме того, Газенкампф смягчил на половину наказание и моему Писареву: я не выдержал и просил также за него...

В те дореволюционные времена, в Петроградском военном округе для смертников имела „значение“ женитьба перед самым рассмотрением их дела военным судом! Разговаривая с генералами — постоянными судьями я убедился, что многие из них наивно видят в женитьбе политического связанный с „божьим благословением“ уход его из революции. По пословице: „женился — переменялся“, усматривают отсутствие дальнейшей „опасности“ оставить в живых!..

После женитьбы одного из молодых подсудимых Сиверова, осужденного на каторгу, я написал Газенкамффу письмо о том, что прошу не разлучать Сиверова и его молодую жену, ибо они только что вступили в брак. Писал еще что-то об их взаимной, нежной любви.

Вот сохранившийся ответ Газенкампфа на почтовой проколке: „31 мая. Почтовый штемпель 1908 года). Милостивый государь, Владимир Вильямович.

Сообразив все обстоятельства дела, я сегодня признал возможным заменить Сиверову и Кроликову, как несовершеннолетним, ссылку на каторгу — ссылкой на поселение. Следовательно, Сиверов со своей столь же несовершеннолетней женою, ссылаемой на поселение, — разлучен не будет. Примите уверение в совершенном уважении готового к вашим услугам М. Газенкамф¹⁾

Это письмо сразу же сделало меня, как защитника, большим „сторонником“ браков политических! Я охотно их венчаю! По некоторым свадьбам даже выступал в роли шафера рядом с тюремным надзирателем...

Бывший в то время начальником Главного тюремного управления Курлов запретил разрешать свадьбы политических в тюрьмах, сделав оговорку, что, если политический, ожидающий смертный приговор, жил фактически со своей гражданской женой, имеет или ожидает ребенка, то лишь в интересах ребенка можно, как исключение, допускать такие свадьбы. И посыпались отказы в браках.

Читая обвинительный акт о Висленеве ¹⁾ и других я думал, что это „страшный“ революционер. В акте прокурор приводил выдержки из писем Висленева к Назарьевой. „Мой лозунг, — писал ей Висленев, — победа или смерть. Я по натуре — боевик, настоящий боевик и всегда готов погибнуть ради успеха“... В другом письме Висленев приписывал: „После Фонарного переулка мой лучший друг Федор бежал. Он просил меня заменить его“. Затем у Висленева были найдены рецепты всевозможных взрывчатых веществ, рисунки бомб... Он был верный кандидат на смертную казнь.

Когда я вошел в камеру свиданий, Висленев радостно встретил меня.

— Боже мой, как я вас ждал! — восторженно воскликнул он.

— Я и сам торопился к вам. Пора обсудить материал... Дело серьезное...

— Нет, не то, не то! — снова воскликнул он.

— А что же?

— Устройте мне свадьбу с Назарьевой!

Я буквально остолебенел от полной неожиданности.

— Какую свадьбу, с какой Назарьевой?

— А обвиняемой по нашему делу. Она на свободе под поручительством. Помните — за недонесение.

— Это, что же, входит в планы защиты?

— Нет, нет. Но устройте, чтобы нас обвенчали в тюрьме. Если меня не повесят, она пойдет за мною на каторгу, и мы будем вместе. Устройте! Я так мечтал о вашем приходе... — пылко заговорил он.

— Ну, хорошо, я пойду в Главное тюремное управление. А она предупреждена, согласна идти за вас?

— Да, конечно. Теперь согласна. Я получил от нее письмо. Шло целый месяц.

— Ладно... Но мне все-таки хочется выяснить, какие объяснения вы дадите по поводу ваших писем?

¹⁾ В этом эпизоде настоящие фамилии заменены.

Он легкомысленно засмеялся: — Это все пустяки!

— Письма более серьезные, чем вы думаете, и смеяться не приходится, — заметил я.

— Письма к Назарьевой?! Ну, нет! Ведь это все — объяснения в любви...

— Хорошие объяснения!.. Вы пишете, что по натуре боевик и всегда готовы погибнуть... А насчет Фонарного переулка?! Это не пустяковая экспроприация!..

— Посмотрите по подлинникам...

— Их вскроют только в судебном заседании.

— Ну так увидите, что значит выбросить из фразы слова. „Я люблю тебя. Мой лозунг — или смерть или победа. Я боевик по натуре. Две точки. — Ты будешь со мною, будешь моею. Иначе я умру“... Какая же здесь революция? Это прокурор так постарался...

— Да, здесь больше революционной любви. Ну, а насчет Фонарного переулка?

Он снова легкомысленно засмеялся.

— Ну, это было просто „пущено“, чтобы поволновалась за меня. Фонарный переулок — только дата. Собственно и лжи не было, и понять можно... Совестно об этом говорить... Я одурел: она на меня не обращала внимания...

— Ну, а нелегальная литература, рецензы?..

— Этим я действительно интересовался... Правда, больше теоретически...

Я пошел в Главное тюремное управление просить разрешить свадьбу Висленева с Назарьевой. Курлов категорически отказал.

Назарьева пришла ко мне. Молоденькая, худенькая девушка. Она была вне себя, плакала.

— Что делать, что делать?! Ведь это он из-за меня!.. Этаким глупый мальчик...

Мне было жаль бедную девушку. Но что я мог сделать?! Рассказал об оговорке Курлова.

Девушка была „сообразительна“. Она подложила на живот под платье большую подушку и пошла лично к Курлову. А тот только взглянул на нее и сразу же разрешил...

И так как „бог только что благословил союз“ Висленевых, Газенкамф не разлучил молодоженов... „Подушка“ Назарьевой спасла Висленева...

Писем Газенкамфа ко мне сохранилось немного.

Я послал ему мою книжку „За право“ — записки рабочего адвоката, описывающую мою борьбу с фабрикантами и заводчиками, их издевательства над рабочими — „аттестаты“, „штемпельки“ на безработицу и подлые обманы в расчетах за увечья“... Газенкамф опять „внимательно прочел“ и не изменил своего ко мне отношения. Скорее наоборот. Он начал точно оправдываться, что не очень смягчил наказание...

Вот такое письмо Газенкамфа:

— „27 мая 1909. Многоуважаемый Владимир Вильямович. Дело Баршевского и К° было мне доложено вчера. Ввесив все обстоятельства
Былое № 24.

я признал возможным сделать лишь следующие смягчения: Манстенину 5 лет каторги вместо 8-ми, Яну Бокмелдери и Августу Саркану—4 года каторги вместо 6-ти. Роберту Бокмелдери заменил 4-летнюю каторгу ссылкой на поселение. С совершенным уважением всегда готовый к вашим услугам М. Газенкамф“.

Это был ответ на мою просьбу не только за моего подзащитного Роберта Бокмелдера, но и за остальных по тому же делу...

Все это так. Среди народных палачей-командующих военными округами, среди ужасов бессудия военных судов—Газенкамф, ученый, случайно попавший „не на свое место“, являлся редчайшим исключением—и для целого ряда губерний исключением полезным и справедливости и делу революции. Но кошмар закулисных приговоров во всем его всероссийском масштабе оставался кошмаром, безобразничанья военных судей—безобразием.

Помню как-то студентом шел я мимо Апраксина рынка. Двери магазинов платья были открыты. Около них стояли продавцы и зазывали покупателей.

Из лавки вышел рабочий. За ним бросился приказчик.

— Вернитесь, господин. Пять рублей—пиджак. Честное слово, меньше нельзя.

Рабочий шел.

— Честное слово—четыре рубл. Никак, абсолютно никак нельзя скинуть.

Покупатель неуклонно продолжал путь...

— Стойте! Окончательное честное слово!—Три рубля...—крикнул приказчик, и сразу же круто и равнодушно повернулся спиной к уходящему...

— „Окончательное честное слово“, подумал тогда я. — И нашли же люди даже для честного слова выходы в разные стороны, точно лисаца для своей норы...

Но мне не приходило тогда в голову, что такое „окончательное честное слово“ может существовать в самом важном и „непоколебимом“ из судебных моментов — в приговоре суда, что в течение многих лет практики я непрерывно буду наблюдать это...

Объявлена резолюция, сказано подсудимому, какое наказание определено, вынесен „окончательный приговор в окончательной форме“. Таково было его официальное название. И все, казалось бы, кончено!

Ведь этот приговор составлял „глубочайшее убеждение“ суда, его „честное слово“. Казалось бы, так должно быть...

Но не то творилось в наших военных судах.

Дела „слушались“ в зале судебного заседания, а приговоры выносились втихомолку в кабинетах командующих войсками.

„Суд“ был только кулисами неправосудия!

И столько нарушений „окончательного честного слова“ судей совершалось за эти кулисы...

Владимир Беренштам.

Встречи.

Леонид Андреев.

Мое единое отечество —
Моя пустынная душа.

Бальмонт.

I.

Говорят, смерть каждого человека на него похожа. Не знаю, всегда ли это так. Но когда я вспоминаю смерть Леонида Андреева, то невольно думаю: судьба загадочна, слова недостоверны.

Умер он рано, как и его отец, по воле того случая, который так грустно опозитивирован в „жизни человека“. Много мог бы он написать еще... Но смерть удалась Леониду Андрееву. У Сергея Петровича, героя одного из первых рассказов писателя, на столе лежал „Заратустра“ Ницше. И хотя книга была закрыта и запылена, но изнутри ее Сергею Петровичу твердо пророчил голос: „если жизнь не удастся тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть“. И Леониду Николаевичу, надо полагать, не удалась жизнь. Ядовитый червь пожирал его сердце. Но зато удалась смерть. „Хорошо умереть молодым“... В наше время не одному поэту придет в голову это сказать... Да еще скоростижно, от кровоизлияния в мозг...

Связь моя с Леонидом Николаевичем носила характер случайный: встречались мы что-то в течение года, если не считать встречи еще в 1917 году. Но как запомнились мне эти встречи с этим оригинальным человеком, оригинальным во всем — и в складе мысли, и в строе психики! Чувство чего-то живого овладевает мною и сейчас, — когда я берусь за перо, — в такой степени, что думаешь о человеке, только о человеке, не о таланте.

Образ личности, столь необычной, не может не искажаться, когда подходишь к ней со стороны, да еще с понятиями, годными для натуры, спящих, как платье, по одной мерке, а это только и делали охотники до фактов, низводящих Леонида Андреева к толпе, при жизни покойного. Изобразить характер такого рода во всей истине нельзя, не имея доверия к его природе.

•

Он должен быть поэтически угадан, т.-е. отвергнут или принят целиком. Что лежит в основании его, какова сущность созерцания той воли, которая идет к своим целям, — в этом и только в этом отгадка той смеси противоречий, которую представляет артистическая натура. Характер должен осветиться сам собой, внутренним светом своим, ибо он носит объяснение в естественном движении своем. Конечно, при жизни писателя не время этим заниматься. Но теперь, когда его между нами нет, пора помирить образ его с теми частностями, которые так ставили в тупик на первый взгляд, показать, что там, где видели пятно, была лишь игра тени и света...

Автор этих строк далек от такого задания: для этого надо ближе знать человека, о котором пишешь. Но все же на основании тех встреч с Леонидом Николаевичем, которые так врезались мне в память, хочется поговорить о нем.

II.

Значительность основного тона личности Леонида Андреева сообщилась мне еще до встречи с ним лично, по первой же книге его, вышедшей в 1901 году, которую тогда доставила мне в тюрьму покойная жена вместе со статьей Михайловского о ней. Впечатление от нее так и связалось у меня с обстановкой тех дней.

Десятый месяц я, тогда совсем еще юноша, студент, томился в камере одиночного заключения, вымеривая шагами ее асфальтовый натертый воском пол. Была осень, и полумрак лился в камеру, и капли дождя, — в какое время дня и ночи ни взглянешь, — стекали с моей решетки. Они заполняли мою мысль, мои чувства, эти капли, и казалось, желание радости и света погаснет раньше, чем будет им конец. Вот в один из таких вечеров, когда от жгучей тоски по жизни хотелось бежать, куда глаза глядят, а бежать было некуда, первые рассказы Андреева запечатлелись в моей душе, связав меня как-то сразу — через страницы книги — с тем Андреевским, что было личностью художника. В каждом рассказе я слышал вздох этой Андреевской личности.

Михайловский, которому дневной свет был ближе лунных лучей фантазии, в этих уже рассказах Леонида Андреева заметил то маленькое облачко, которому предстояло разростись¹⁾. Опасное для дарования писателя, оно его лично могло завести в не совсем здоровые, по словам критика, места. Для меня — человека тоже „земного“, с жизнеощущением юноши-позитивиста — предсказание это было полно значения по отношению к дарованию, как таковому; что же до личности Андреева, то я чувствовал, что то, чего боялся Михайловский, составляет основной душевный тон ее. Можно было разделять или не разделять его, но такова была сущность созерцания начинающего автора. И чем больше уходил он из простора жизни в свой темный замок, и вместе

¹⁾ Перепеч. в „Последних сочинениях“, т. II. Издание редакции „Русское Богатство“.

с тем в его произведениях сплетались утонченность и банальность, символика и натурализм, тем я больше убеждался в том, что здесь именно основа философской личности художника.

Говорю о личности Леонида Андреева, так как лишь она меня занимает здесь. Как раз перед тем, как я получил сборник рассказов, я перечитывал книгу, раскрывающую мистико-анархическую идею неприятия мира, — „Братья Карамазовы“ Достоевского. И — странно — хотя рассказы, вошедшие в этот сборник, не имели еще метафизического запаха, Иван Карамазов не только не уходил из моего умственного зора, но — по мере того, как я перелистывал их страницу за страницей — преисполнялся современным каким-то светом, современным содержанием. Помните? „Я не бога не принимаю, — говорил Иван, — я мира созданного, мира-то божьего не принимаю“. И далее: „не бога я не принимаю, а только билет ему почтительнейше возвращаю“. „Это бунт“, тихо и потупившись отвечал Алеша. Вот этот „бунт“ и сидел в Леониде Андрееве. В чем же корень этого „бунта“? В трагедии.

Леонид Андреев поэт глубин души человеческой, и этим объясняется все, что было светлого, и все, что было темного в его натуре, в его уме. Он — трагик по строю своего ума, по складу своей души, которая так во власти тайн, предчувствий, болезненной остроты ощущений, безотчетного страха, перед неизвестным. Трагизм смерти, трагизм любви, трагизм знания — вот темы, к которым он влекся так же непреодолимо, всем существом своим, как тянет алкоголика к вину. Это — темы для немногих, потому что им чуждо утверждение обыденности. На жизненном пути Андреев ищет свое там, где обыкновенно никто не ищет. В своих воспоминаниях о покойном Г. И. Чулков цитирует письмо, из которого видно, как преломлялась действительность в его созерцании¹⁾. Его действительность не та, что на поверхности, а та, которая под нею. О том, что происходит в глубине, под нею, о самом далеком и в то же время близком, о самом интимном встревожен его буйный ум.

Трагедия в судьбе личности, которая гибнет, умирает; в то время как она гибнет, умирает, ее утешают тем, что есть прогресс, который уготовляет жизнь лучшую для поколений будущего, что есть наука, т. е. учение о том, что так бессмысленно ее уничтожает. Да провались все ценности, все это царство разума и добра, если оно не в силах одолеть основной трагизм личности, — смерть, — изменить индивидуальную судьбу ее, — вот „бунт“ Леонида Андреева, бунт против истории, против природы, против разума...

Конечно, дорога истории переносит вопрос о судьбе личности на вопрос о судьбах человечества. На ней есть все то, что связывает с общим, универсальным, создавая устойчивость индивидуальных переживаний и стремлений. Все прикрепились к чему-нибудь признанному здесь, и вот, связав себя так с целым, прилепившись к его ценностям, недоумевают, зачем Леонид Андреев поднимает какую-то тревогу, мешая человеку устроиться и успокоиться. Но

¹⁾ „Книга о Леониде Андрееве“. Статьи Горького, Чуковского, Блока, Чулкова и др. Изд. Гржебина. 1922 г.

отворачиваться от провала не значит еще выйти из горизонтов трагедии, — вот оружие Леонида Андреева. Ведь у самых обыденных людей личная судьба отрывается от судьбы мира. Внутренне, во всей остроте, трагизм живого существа стоит перед теми, кто не вместили себя в пределы обыденного; но и внешне всякая жизнь трагична, так как неизбежность смерти во всем кругом. Вот человек устроил себе дом на жизненном пути, прилепился к его ценностям, но в силах ли спасти его хоть одна из них? Умирают люди, надежды, чувства, все, что нас любит, все, что мы сами любим, вся жизнь полна умиранием...

Говорят, Толстой сказал кому-то о Леониде Андрееве: „пугает, а не страшно“, и это слово о нем пришлось по душе всем. „Слишком легким промыслом сделалось неприятие мира“, — писал даже Мережковский в своей статье о покойном, — „можно сказать, всякая блоха, у которой подвернулась нога, мира не приемлет, бога проклинает“. Едва ли эти слова не образец „литературного“ подхода к человеку; доподлинно тот же Мережковский знал, что есть прямая связь между трагедией ума и трагедией сердца Леонида Андреева. Только люди, глухие сердцем, не выносят из произведений Андреева, что к метафизическому он прикасался сердцем. Даже тогда, когда вместо живого человека он берет человека вообще, не нужно быть психологом, чтобы вскрыть эту умственную впечатлительность его.

И в одной руке у тебя правда, и в другой руке у тебя правда, и все ты делаешь фокусы, — смеется Хаггарт над аббатом ¹⁾ и вместе с тем Леонид Андреев над самим собой... Такой „бунт“ и такие фокусы, театральность, поза, такая жажда земной славы всеми силами души... Но он вскрывает лишь трагедию своей раздвоенности: чего *требовать* от художника? Ведь все, что вызывает столько насмешек над ним, сущий вздор по сравнению с тем, что совершалось — за всеми этими шумами — в глубине его души! К. И. Чуковский, автор воспоминаний о писателе, Андреевых видел много, по числу ролей, которые он играл. Я же думаю, что Андреевых было два: один — тот самый, которого знал Чуковский и мы все, артист, знаменитый писатель, другой — иррациональный, честный с самим собой и никакой роли не игравший; ему было не *до ролей*, ибо он был одинок, не признав, тот самый, кому не удалась жизнь.

Этот-то Леонид Андреев и был мне близок, несмотря на мой позитивизм. Я тоже чувствовал себя неловко перед лицом смерти. Хотя я вражду с историей, к историческим ценностям не питал, но чувствовал, что это о моей судьбе поднимает тревогу Леонид Андреев, что, когда будет умирать существо, которое я люблю, то я не найду помощи ни в добре, ни в истине, ни в прогрессе.

III.

Знакомство мое с Леонидом Николаевичем относится к концу 1913 года.

Не первая встреча это была у меня с ним. В первый раз я видел его в 1904 году в общем зале на банкете: он приезжал, кажется, из Москвы,

¹⁾ „Собрание сочинений“, издание т-ва А. Ф. Маркс. Петроград. 1913 г. Том II. — „Оксан“, трагедия в семи картинах.

где жил в то время. Он был в поддевке, в высоких сапогах, но что-то типично-интеллигентское было и в его лице, и в его манерах, и во всей наружности. Познакомились мы с ним, не перемолвившись даже несколькими словами. Теперь, в один из дней едва устоявшейся зимы, когда так ослепительно блистает снег, встретились мы в редакции „Современного Мира“, помещавшейся тогда в Басковом переулке. Когда я вошел в кабинет Н. И. Иорданского, Леонид Николаевич сидел — против последнего — у окна; в него смотрел ослепительный белый снег, бросая ответ свой на все, что было в комнате, и прежде всего на самого Леонида Николаевича — на загорелое умное лицо, на бархатную куртку, на всю несколько тучную, но здоровую фигуру его.

Иорданский пододвинул мне кресло.

— Говорим вот о твоей статье, — сказал он. — Леонид Николаевич заинтересовался ею.

Но сам встал и вышел в комнату, занимаемую конторой. Речь шла о только что вышедшей книжке „Вестника Европы“, где была помещена моя статья о Максиме Горьком. В то время, как совсем незадолго перед тем Д. В. Философов возвещал в „Русской Мысли“ „конец Горького“, я доказывал „второе пришествие“ его, иллюстрируя это приходом нового читателя, — интеллигенции из народа, которая возносит на новую высоту певца демократии в то время, как читатель нашего круга покончил с ним.

— Я с интересом прочел статью, — сказал Леонид Николаевич.

Я ждал, что он скажет что-нибудь по существу статьи. Но, помолчав, он неожиданно для меня сказал:

— Вот обо мне „читатель низов“ не напишет так... Я знаю, меня не любят.

Но тут же вспомнил, что статья собственно о Горьком, а не о нем, вернее о читателе, который возражается к певцу демократии.

— Да, да, это верно, — заговорил он. — Читатель, о котором вы пишете, должен так чувствовать. Горький ему по сердцу, так и должно быть. Но так ли уж утешительно второе пришествие Максима Горького?

Я молчал, давая ему договорить.

— Читателя, о котором вы пишете, я знавал, встречал. Встречал в Орле, потом в Москве, когда работал я в „Курьере“... Особенно в среде тех, что обслуживают дела печати. Но кто их не встречал?

Отдавая должное свежести этого читателя, Леонид Николаевич находил, что в каждом из них сидит, так или иначе, Епиходов, не тот разумеется, что в „Вишневом саду“ Чехова, но все же Епиходов. Конечно, это не следует понимать в смысле, сколько-нибудь обидном для „читателя низов“, но ведь никто иной, как сам Горький показал это в своих „Писателях-самоучках“. Горький ударил по больной струне этих самоучек потому, что сам пришел от них в литературу и по строю чувств и мыслей сам же самоучка. Но, если так, что может это изменить в оценке Горького — дарования, значения его?

— Согласитесь, — прищурил он глаза, в которых было так много света.

Я соглашался, что оценку таланта данные изменить не могут, но в то же время ставил Леониду Николаевичу на вид, что взгляд его на интеллигенцию из народа несколько устарелый. В своей статье я говорил о читателе из народа, сложившемся после 1905 года, коренным образом отличавшемся от того, которого он знал в Орле, да и в Москве, в пору сотрудничества в „Курьере“. Он слушал, улыбаясь.

— Какой народ пошел теперь! Прет себе, как сам исправник...

Однако, он стоял на своем, что человеку из народа тоже надо „слово употребить с разбором“, хотя бы он был человеком из народа... Но в это время вернулся Иорданский, пришел еще кто-то, и разговор перешел на другую тему.

Вскоре после того, встретившись другой раз, я рассказывал Леониду Николаевичу, как меня удивил когда-то его Василий Фивейский. Не самая повесть (в которой он проблему религиозной истины разрешал так же отрицательно, как и проблемы мысли и прогресса в рассказе „Мысль“ и пьесе „Царь Голод“) поразила меня; поразило меня то, что герой повести был точно, изумительно списан с одного священника из тех мест, откуда я родом, которого Леонид Николаевич знать не мог. Такой же непохожий на других, замкнутый в себе, он так же загадочно молчал, как о. Василий, и странные мысли шевелились в его мозгу, и над всей его жизнью висел суровый рок. Даже внешние черты и события его жизни повторяли судьбу Василия Фивейского, начиная с семейной жизни. Ряд лет прожил он благополучно, прежде чем любимый сын его погиб, правда, не купаясь в реке, как у о. Василия, а от болезни. Как и в повести, жена после того свихнулась. После того счастье как будто начинает улыбаться семье опять, но ненадолго. Уходит, погибая жена, и вслед за нею все дети—за исключением младшей дочери его—умирают во цвете лет. Но и дочь сохнет чахоткой. Под гнетом бедствий священник стал меняться, хотя переносил их сурово и спокойно. Какая-то покорность какой-то цели овладевает им, когда он остается один в своем подвразрушенном церковном доме. Он ждет, точно ждет какого-то чуда, ибо не может же быть столько несчастий на одну голову. Но проходят годы, и чуда нет, и он впадает в бунт, отчаянный бунт против бога...

Когда вышел альманах „Знания“ с повестью Андреева, я привез эту повесть моему отцу, близко, в течение многих лет знавшему двойника о. Василия. Отец мой, в свою очередь, поражался сходству,—почти до деталей,—и несколько раз перечитал рассказ.

Я рассказывал все это, а Леонид Николаевич слушал. Когда же я кончил, он сказал:

— А говорят: и поп такой, какой не бывает, и обстановка такая, какая не бывает. Исключительный же случай ничего не объясняет.

Потом, помолчав, добавил:

— Да, я догадался. Натуру я не обожаю,—это правда; и люблю выдумку. Но как часто письма, факты, многое другое убеждают меня, что я был прав в своей догадке. То, что вы рассказываете, очень мне интересно.

Говорил Леонид Николаевич, видимо, убежденно, но твердого не было за этим. Вообще, две черты бросились мне в глаза с первых встреч: грусть, не та, которая сдержанна, которая сияна с человеком. Удивлялась она как будто через веселость, но все же была органически неотразима. И вместе с тем, — как это ни странно, — психическая сытость.

IV.

В ту пору по средам собирался кружок писателей в небольшой квартире редакции.

Помню эти вечера, когда „Современный Мир“ был еще „Миром Божиим“. Теперь — на этих средах — не было уже ни А. И. Богдановича, имя которого так неотделимо от журнала, ни даже Ф. Д. Батюшкова, в квартире которого одно время и происходили эти вечера. Невеселые дни переживал журнал, и вся обстановка была не та. Однако, на гостеприимный огонек М. К. Иорданской собирались все, кто был так или иначе близок к журналу — теперь или прежде. Бывали и „провинциалы“, попадая в Петроград — И. А. Бунин, А. М. Федоров, А. С. Серафимович и пр. Был раз два Горький по приезде с Капри. Леонид Николаевич жил на своей даче на Черной Речке, но, когда он находился в городе, тоже приходил на эти среды. Придя же, оставался весь вечер.

Это были вечера людей, связанных журнальным делом. Разговоры держались около литературы. Но Леонид Николаевич в общей беседе участия не принимал. Он сидел обычно около хозяйки — издательницы, время от времени развлекавшей его остротами, на которые она была такая мастерица, — курил, слушал, думал о чем-то своем. Если же говорил, то о незначущем и то шуткой. В те дни только что начал выходить журнал И. П. Миролюбова; в каждую книгу его последний задавался целью втиснуть целую энциклопедию знаний и откликов на жизнь. И вот, помню, держа в руке книгу и изображая из себя читателя „Ежемесячного Журнала“, Леонид Николаевич говорил:

— Если бы я хотел... чему только не мог бы я выучиться здесь. Ничего, что не пойму всего. Потом и корни пустим. Не так уж меня бог обидел.

Когда шел спор, без которого обходился редкий вечер, нельзя было сказать, на чьей он стороне. Это, конечно, не мешало Леониду Николаевичу выявлять свой облик, а мне присматриваться к нему.

Был уже 1914-ый год, когда он с одной стороны с головой ушел в театр, где шли его пьесы, с другой вернулся к живописи, которой был увлечен еще в юности. Как раз в этом году выставлены были его картины на выставке „Независимых“. Но, несмотря на то, что писательству Андреева стукнуло уже пятнадцать лет, литературного круга у него не только не было, но он был еще более случайным гостем в литературе, чем когда бы то ни было. Выступал он долго в кругу „знатковцев“, реалистов, волнующих вопросами быта, а не бытия. Но объяснить это можно лишь близостью его с Горьким

в то время; бытовники были внутренние чужды ему: он, единственный среди них, думал о вечном, о трагедии. Теперь писал он в духе символизма. Теперь он близко сходится с Федором Сологубом, которого ценит чрезвычайно высоко. Но строю своего мышления, своих чувствований, он, разумеется, был ближе к символистам. Но и сближения с ними у него не было.

Из альманахов он печатался в „Шиповнике“, из журналов в „Современном Мире“, в котором хотел попробовать себя рядом статей. Но внутренне он не был связан ни с тем, ни с другим. И модернизированный „Шиповник“, и марксистский „Современный Мир“ служили для него местом, где — по условиям тех лет — он помещал свои рассказы и статьи.

На средах бывали те беллетристы, с которыми Леонид Николаевич был связан Москвой, московским кружком писателей, сборниками „Знания“ (Чириков, Скиталец, Гусев-Оренбургский, Айзман и др.), но близости уже не было. В Петрограде (этом городе Достоевского, который Достоевский называл „самым отлеченным и умышленным“, самым фантастическим из городов) он близких связей не нашел, а от старых отошел. В отношениях к нему в среде писателей установился холодок. Помню, один беллетрист, который был связан с Андреевым по Москве, поехал гостить к нему в Финляндию, но вернулся в тот же день.

— Что-то резко изменилось в этом человеке, — говорил он мне, — до того, что общий язык найти трудно.

Еще холоднее отзывался о нем другой, который еще недавно был связан с ним близким приятельством.

— Леонид Николаевич любит лишь те отношения, в которых от него ничего не требуют, — говорил он. — Только в этом случае он и умеет давать что-либо от себя. Давать же он может — при сердце, способном на сочувствие — только свои мысли.

Конечно, нельзя требовать от человека того, чего в его натуре нет. Но суета слав, в которой он едва ли был на месте, раздражительная деятельность ума, только об упадке дарования — все это портило артистическую натуру и вызывало охлаждение к нему. И вот в то время как дом его был полон людей, — гостей, родных, всякого рода посетителей, не оставлявших его в покое и в Финляндии, — кругом него было холодно, мало близкого. Он был чужой между посторонними. Оно, конечно, и прежде было так, — таков был душевный тон Леонида Николаевича; но все же совсем, совсем по иному, и прежде он этого не замечал.

Те, кто бывал у него в Финляндии, передавали, что приступы тоски у него участились, а вместе с тем тянулся он к запоям. И другая странность прихвлась ему по душе на Черной Речке. И в прежнее время писания утреннего он не выносил. Писал он по ночам, и все герои его, около которых было столько шума, выедены ночью и в этом смысле были ночные души. Теперь художник, для которого такое значение имели свечи, чай и папиросы, задался целью превратить день в ночь и ночь в день, и — когда у него шел такой порядок в доме — те, кто хотели видеть его, приезжали к ночи.

Как-то раз в одну из сред, когда я горячился в споре, Леонид Николаевич ласковым кивком головы выражал сочувствие моим суждениям, и это как-то без слов сближало меня с ним. Потом, подойдя, он звал меня к себе.

— Отчего вы не навестите меня? — спрашивал он.

Я сказал, что собирался без его приглашения, но не знал, как это сделать.

— Приезжайте, буду вам рад. Погостите у меня в Финляндии.

Подожел В. В. Брусянин, часто бывавший у Леонида Николаевича по делам. Он исполнял нередко всякие поручения его.

— Вот с ним. Сговоритесь, Василий Васильич...

Нравился мне тон, какой он брал ко мне, человеку, которого мало знал. Такие натуры, конечно, редко бывают просты. Но подходил он просто, хотя в этой простоте было и нечто, чего словом не определить, с своей улыбкой, в которой было так много ласки. Уже по тому, как он это делал, можно было сказать, что по существу это был очень мягкий, очень хороший человек.

V.

Обстоятельства сложились так, что собраться в Финляндию я не мог. Я написал об этом Леониду Николаевичу, предлагая увидеться в Петрограде, если это для него удобно. Как-то покойный Брусянин принес мне записку, в которой Леонид Николаевич звал меня к себе на следующий день утром, на Аптекарский остров, где он останавливался в квартире своей сестры.

В указанный им час я поднимался по нарядной лестнице большого стильного дома, по которой помещалась эта квартира. Встретил он меня не в костюме какого-то табачного цвета, в каком неизменно бывал на средах, а в той куртке, в какой я его видел первый раз, расцеловался и, познакомив с кем-то из домашних, увел в комнату, угловую, с фонарем, которую он, вероятно, занимал во время приездов в город. Усадив меня, он сел сам и закурил папиросу.

В окна лился утренний свет, и теперь — после полутемной передней — я обратил внимание, что он был бледен, даже внешне как-то измат. Я спросил, здоров ли он. Он ответил, что здоров. Ночью болело сердце. Когда-то в молодые годы, покушаясь на самоубийство, он нажил эту болезнь. Она была не опасна, но жутка, особенно в ночной час. Не раз открывал он глаза с мыслью, что умирает, что не успеет никому и сказать об этом.

— Не отсюда ли тот страх, который вы передаете с такой силой? — сказал я.

— Нет, — возразил он. — Михайловский, — помните его статью о моих рассказах? — был бы рад такому объяснению. Но это не так, не так. Беспричинный страх знаком мне с ранних лет. Все, что сокровенно, с юных лет легко сообщалось моему воображению, а затем и уму.

Я дотронулся до корректуры, которая лежала между нами на диване.

— Старое? — полюбопытствовал я.

Это были корректуры книг его, которые Маркс давал в виде приложения в 1913 году к „Ниве“.

— С любопытством перечитал я эти корректуры, — сказал он. — Всего Леонида Андреева перечитал, начиная с „Жили-были“.

— На первом месте поместили вы его?

— Не я... это вкус редакторов „Нивы“. Для меня, если говорите вы об удовлетворении своим детищем, на первом месте была и будет „Тьма“.

„Тьма“, появившаяся за несколько лет до того, вызывала самые яростные нападки, особенно со стороны социалистических изданий. Ни одного защитника этой повести я не помню. Именно после нее хвалить Андреева стало дурным тоном. Андреев был того мнения, что вина в критике, а не в нем, но статью выше охлаждения не мог.

— „Тьма“ никому не угодила, я это знаю, — говорил он. — Но многие ли доросли до этих тем? Давно уже не вижу я понимающего взгляда.

Он встал и зашагал по комнате.

— Скажу вам откровенно, — сказал я. — Вот и я не понимаю этой повести, а темы ваши мне близки.

— Не понимаете? — повторил он, и почему-то в глазах его засветилась грусть.

— Вы оборвали что-то на полуслове, Леонид Николаевич! Вы не показали, как хороший стал плохим... Еще слабее то, что происходит с проституткой. Не правда это, Леонид Николаевич, — на этот раз „так не бывает“.

Видя, что он не отвечает, я добавил.

— Может быть, я ошибаюсь. Но тогда объясните мне, что это значит: „стыдно быть хорошим“.

Вокна заглянуло вдруг солнце, и вид из них — на улицу, на деревья, опущенные снегом, и дальше на реку, на дымящиеся трубы фабрик — странно повеселел...

— А я понимаю, — сказал Леонид Николаевич. Но в глазах его светилась та же грусть, и вместе с тем в чертах его лица обозначалось что-то недоконченное, что, без сомнения, было в нем: он признавал, что не может сделать это без натяжки.

Чувствуя, что это больное место, я переменял тему, повернув на литературу вообще.

Читать Леонид Николаевич едва ли любил, как видно. Даже литературу едва ли знал он в том смысле, какой обычно вкладывают в это слово. Но говорить о писателях, особенно о современных ему, он любил и говорил оригинально, очень содержательно. Можно было соглашаться или не соглашаться с ним, но — верный себе, органически нерасположенный к тому, что, так или иначе, освящено молчанием, — он умел и в любой идее, и в простом факте схватить именно ту черту, которая дает физиономию, живое выражение, сообщить неожиданную ценность даже тому, что казалось незаметным. И, слушая его, не столько думалось о тех, кого он брал как-то сразу, сколько о нем самом, о той глубине души, в которой приходилось ему нырять.

Писатель, с которого он начал разговор, разумеется, был Горький. „Максим“, — как он именовал последнего, — был тот литературный характер, в котором он „воплотил своего невидимого врага“. Это засвидетельствовал и сам Горький в своих воспоминаниях о нем¹⁾. Глаза его тотчас потеряли тот оттенок грусти, который вызвало в нем напоминание о „Тьме“, как только он заговорил о Горьком.

— „Человек“ это звучит гордо, — говорил он, ходя по комнате. — Светло у него. Свет любит. Но как много у него этого свету — удивительно даже...

Горький в воспоминаниях своих рассказывает, что в „Мысли“ Леонид Андреев выводил его. „Слушай, — говорил ему Андреев, — ведь когда я писал „Мысль“, я думал о тебе. Алексей Савелов это ты! Там есть одна фраза: „Алексей не был талантлив“, — это может быть не хорошо с моей стороны, но ты своим упрямством так раздражаешь меня, что кажешься мне не талантливым“. Теперь, отдалившись от Горького на большое расстояние, Леонид Николаевич уверял даже, что автор „Буревестника“ бездарен.

— Слушайте, перечитайте эту прокламацию. Есть в ней атмосфера, буду справедлив. Весь успех Максима в том; есть у него эта атмосфера... Но до чего это все плоско! Вот... — дотронулся он до непокрытой доски мраморного столика у дивана.

Тот, однако, не поймет Леонида Андреева, который и сам горел отраженным Горьковским светом, когда писал еще свои фельетоны, кто вложит мелкий — имеющий так часто место в среде литераторов — смысл в это суждение о певце „народушка“. Не о мастерстве, а о жизнеощущении говорил Леонид Николаевич. Горький бездарен в его глазах, потому что бездарны его темы, бедно его созерцание, потому что в плену у факта он — не бытие, а быт атмосфера его.

— Добра, всякого добра¹⁾ у него... — самому места нету. А о самом важном все-таки не скажет... Не душно ли среди всего этого? Хоть бы окошечко открыть... Нет, дверь-то в дом, где добро-то, запечатана. Что такое? Почему? — спрашиваете вы. — Ну, хозяин!.. Вы мне подайте ключ...

— Что же хозяин на это? — смеюсь я.

— Сердится. Это от дворянской крови у вас, никак иначе.

Вообще, реализм (Леонид Николаевич сливал его с натурализмом) имел в его глазах „несогласную комплекцию“. Смелся он над ним:

— Кому медка, кому яичек, кому маслица... Это не опасно, правда? Какая опасность?

Только недаровитые натуры могут так закрывать глаза на далекое. У Достоевского, у Толстого есть же это далекое. Да, да, и у Толстого.

— Представьте себе: пройдет сто лет. Достоевского могут перестать читать? А Толстого? Понимаете, Льва Толстого, со всем тем, что написано о нем — может это перестать волновать умы? А Горького уже после „второго

¹⁾ „Книга о Леониде Андрееве“. — Воспоминания М. Горького, К. Чуковского, А. Блока, Георгия Чулкова и др. Издательство З. И. Гржебина. Берлин. 1922 г.

пришествия" читать не будут. Да и в эту пору, как пишете вы в своей статье, читает его уже по преимуществу Епиходов.

Повидимому, и крупного мастера в Горьком он не видел. Выше ставил он в этом отношении Куприна, хотя „атмосферы“ последний не принес с собой. Даже Санин стал в один ряд с Печоринным, Рудинным, Базаровым и т. д. Горький же и такого произведения не дал. Но, повторяю, говоря о даровитости, Леонид Николаевич имел в виду не это. Оттого он теперь так высоко ставил Федора Сологуба. Это замечательный талант, — говорил он, — нигде с такой меткостью не показана обратная сторона человека, как в его „Мелком бесе“.

— Это не Короленко. Ведь вот светло как все понимает... на известное пространство, на известную глубину, конечно. Хорошо пишет, еще лучше поступает. Все, что он делает и пишет, прекрасно даже. Но чего-то мне не хватает в Короленке, ну, пустяка, может быть, но без этого и весь Короленко мне не нужен.

На-ряду с Сологубом ценил он теперь Сергеева-Ценского, даже Ауслендера. Странная правда „Тьмы“ для них не может быть странна. „Гнусная это выдумка“, скажет бодрейшей из бодрых. Для тех же не выдумка, нет...

— Леонид Николаевич, — сказал я. — Но ведь „бодрейший из бодрых“ это ваше же выражение. В одном из ваших фельетонов вы так величали Горького не иронически, а всерьез. Фельетон так и озаглавлен был: „Безумство храбрых“.

— Да, было это, — подбадривал я себя. Но это так... чего не напишешь в фельетоне! Когда же, однако, говорил как художник, а не как фельетонист, я сразу показал свое лицо. В первых рассказах моих уже нет того, чем подстегивал меня друг. Конечно, общество в те годы представляло меня по-своему. Мои рассказы тоже звучали для него „безумством храбрых“, и нас с Горьким соединили вместе. Но в натуре и тогда мы были так же мало похожи, как и теперь.

Уже собираясь уходить, я сказал:

— Потому ли вы честите друга, что так не любите? Или уж очень любите?

— Люблю, уверяю вас. Легкий он. Не то что Леонид Андреев. Вон сколько веселого на свете. А он плач завел.

Потом уже серьезно:

— Если говорить о людях, повлиявших на мою судьбу, то таких не было. Он один. Поддержки, какую оказал он мне, не забудешь никогда... Люблю, конечно, независимо от этого. Несмотря на то даже, что он обо мне враждебно говорит теперь...

И он стал рассказывать что-то о своих отношениях с Горьким.

— Слышали вы про эпизод, с которым связывают мою „Тьму“?

Он изложил мне ту версию, которую передает и Горький. Горький упрекает его в том, что он исказил характер революционера, хорошего знакомого его. Но чего Горький от него хочет? Чтобы он был верен характеру?

Но ведь характер для него, как для художника, не существовал. Он не знал революционера. Он художественно обобщил то, что случайно дало толчок его творческому воображению. Разве художник чем-либо связан? Разве он искажал подлинный характер?

VI

— Соберитесь ко мне в Финляндию, — говорил Леонид Николаевич, прощаясь со мной. — Не думайте то, что так уж я избалован посещением приятелей. Бывают у меня интервьюеры, актеры, издатели, поклонники и поклонницы...

Однако, связанный работой, я бы и тут не скоро выбрался из своего Лесного, если бы в ближайший же воскресный день после того не явился ко мне В. В. Брусянин, уговорив отправиться вместе с ним на Черную Речку.

Приехали мы засветло. Не знаю, кто строил дом Леонида Андреева: несимметричный, то с узкими, то широкими окнами, разбросанными кругом, на громадном его фундаменте. Это было бы что-то в норвежском стиле, с башней, с северной крутой крышей, если бы в плане его не чувствовался чей-то оригинальный вкус, вернее мысль. Но если стиль дома определить было трудно, то даже во внешности его было то, что говорило о его владельце.

Внизу, в столовой, куда пригласила нас Анна Ильинишна, жена Леонида Николаевича, была тишина и холод. Вся круглая, с возвышениями у стен, с мягкими сидениями кругом, она напоминала плохо протолченное фойе театра.

— Я рад вас видеть, — Леонид Николаевич спускался своей развалистой походкой по лестнице, ведущей из столовой в его кабинет.

Он был несколько мной, чем в последний раз. В тот раз, на Аптеварском, тень грусти пряталась в его глазах, — может быть, потому, что у него болело сердце. Теперь он был на вид не свежее, но психической сытостью веяло от декоративного лица его.

— Вот обо мне газеты протрубили, как пышно, как богато я живу. Можете убедиться, сколько в этом правды.

Он говорил так, как будто кроме нас тут был еще интервьюер, приехавший посмотреть, как живет и работает Леонид Андреев. Как-то резнуло меня это.

— Меня это не интересует, Леонид Николаевич, — сказал я.

Он тотчас перешел на шутку.

— Помилуйте! Тихо и мирно, малым довольны. Домик да дворик, да полисадничек. И живем.

Но все же был не похож на того, каким я его видел неделю тому назад.

Поднялись вверх. В кабинете было уютнее, чем в столовой. Огромный стол и камин такой же. На полу сукно, которое заглушало шаг. Драпировка,

которая темнила свет. Много портретов и картин. При входе в кабинет во весь рост „Некто в сером“, затем идут сцены из „Жизни Человека“, черные маски, шествующие толпой в замок герцога Лоренцо. Все это одноцветные работы самого Андреева, как и автопортрет, умирающий Толстой, портрет И. А. Белоусова. А рядом с этим глядят со стен многочисленные „рожи“ Ф. Гойа.

Чем-то невеселым веет и от картин, и от шкафов с книгами, которых, может быть, и не читают. К тому же в кабинете хотя и не так холодно, как в столовой, но прохладно. Кирпичи камина так надавили на балки, что потолок треснул. Камин же, требующий огромных порций дров, не столько греет, сколько светит.

Отходишь от рож и масок к окнам, из которых видна снежная равнина, спускающаяся к заливу. Тут и дверь на балкон, тоже громоздкий.

Леонид Николаевич говорит о том, как чудесно — в звездную ночь ранней осени — смотреть с этого балкона в морскую даль; наблюдая звезды, слушать космический ритм воды. Все лицо его проясняется, когда он говорит о море, о природе, о том, что если бы не природа, которой он лечится от своих недугов, то он давно бы утерял вовсе равновесие духа и плоти, необходимое, чтобы продолжать жить. И, слушая это, — о том, какую радость дает Андрееву природа, — я невольно вспоминаю, как Достоевский говорил о Пушкине. За мудрым, гармоничным, здоровым Пушкиным Достоевский отдыхал от самого себя, от своей отрывающейся от земли сущности. Тем же, чем Достоевскому был Пушкин, для Андреева, очевидно, была природа, отвлекая его от муки мысли, за которой пустота, от тоски по утраченному реализму.

Зимний день клонился к вечеру, когда приехали Чуковские из Куокалла, издатель „Шиповника“, позднее г-жа Фальковская. Дамы ушли вниз, а у нас завязался разговор о литературе, о критике, вернее о критиках Леонида Андреева. В то время появился тот том „Силуэтов“ Айхенвальда, в котором он отводит место художнику, и вот говорили об Айхенвальде. Говорили о Луначарском, Философове, даже Арабажине, в связи с какими-то лекциями о Леониде Андрееве. Разговор носил характер разговора литераторов о литературе, вернее о литераторах. Тем не менее увлечены были мы в такой степени, что Анне Ильиничне не раз пришлось напоминать, что на столе стынет обед.

Обедали в столовой, теперь ярко освещенной; и, хотя в ней было не теплее, чем в момент нашего приезда, благодаря обеденной обстановке, она имела более домашний вид. И здесь речь шла о критиках Леонида Андреева. Даже после обеда, зажигая парные свечи, которым освещался кабинет, и затем расхаживая со мной по кабинету в то время, как гости о чем-то спорили, он говорил со мной о том же.

VII.

Это была тема, стать выше которой он не мог. Много горечи влило в душу его: много волнений пережил он, читал то, что говорили о нем, особенно в последнее время. Тяжело было ему мириться с охлаждением этих

людей, писавших об упадке его дарования, которых он ставил в то же время низко.

В его вражде к ним было много личного, конечно: ведь и критики не щадили человека, столь резко очерченного я. Однако, он не был бы Андреевым, если бы свел все только на личность. Нет, и здесь у него была прежде всего мысль.

Вот нить его нападков, которую он мне не однажды развивал. По его мнению, критики, чувствуя свой авторитет и силу, нет у нас в наше время. Какую критическую статью можно было назвать событием в литературе? К мнению Белинского прислушивался даже Гоголь. А Леониду Андрееву кого слушать?

Произведение критика—божией милостью—это то же, что произведение художника. Это углубление произведения, которое, пройдя через эстетическую душу критика, в соприкосновении с ней получило новую жизнь. Вы присутствуете как бы в лаборатории, где разлагаются самые приемы и замыслы художника, но не хвалят одно, чтобы отвергать другое, а входят в самое созерцание его. Каждое движение сердца, каждый намек на тип выслежены с вдохновением, согласно характеру дарования, жизнеощущению художника. Имел ли Леонид Андреев,—а что ни говорите, он художник,—хотя бы одного такого критика?

Нет, пятнадцать лет читает он литературу о себе, но право же, как прежде, когда его возносили выше облака ходячего, так и теперь, когда его ругают, как не ругают базарного жулика, ни одного ценного указания он не слышал. Вот Чехов „огорчился“, когда Скабичевский пророчил ему смерть где-нибудь под забором. Что же, если собрать все, что написано этими людьми о нем? Говорят, чувствителен он к тому, что говорят о нем. Конечно, в нем говорит и чувствительность. Но столько скудоумия наговорить, сколько... ну, марксисты или народники! Вот один из них рассуждает о его „неприятном быте“. Это-мол растерянность перед революцией, разрушающей старый быт... Дурак!.. Бездорожье... безвременье... восьмидесятые годы... возвращение к Максиму Горькому... Это называется у них приканчивать на разные лады полосу безысходности. Художник ждет понимания, но имеет это хоть малейшее отношение к искусству?

Понять Леонида Андреева может лишь свой в потемках его души, уютах его мыслей. Художник сам по себе, один, никто не похож на него, не нужно быть созвучным с ним хотя бы в той или иной степени, чтобы сказать о нем то, что нужно...

Прохаживаясь со мной теперь, он говорил:

— Эх, если б у меня была путевая критика!

И, сказав это, вдруг стал такой, каким был в прошлую нашу встречу. Видно, всего лучше он чувствовал себя в ночи.

— А что скажете о Мережковском, Шестове, Вячеславе Иванове?

Я спрашивал о них потому, что они должны были отвечать потребностям его духа хотя бы с тех или иных сторон. Мережковского он призывал, но

не любил, о Шестове отзывался с уважением, о Вячеславе Иванове с насмешкой. Помню — среди каких-то рассуждений — он вдруг вспомнил о Ясинском.

— Упрекают меня, что я послал Ясинскому поздравление по случаю его юбилея. А знаете: заметка обо мне Ясинского, — первая, какую я читал в печати, — сказала мне столько, сколько впоследствии не сказала вся литература обо мне. Ясинский, конечно, не критик, и заметка его состояла из нескольких строк. Но могу ли я не быть признательным ему? Такие вещи запоминаются невольно¹⁾.

Мне захотелось сказать ему что-нибудь такое, что бы ответило его раненому сердцу. Я вспомнил Герцена:

— Жесток юноша, гордый своей чистотой, жесток поп, гордый своей святостью, жесток доктринер, гордый своей наукой, — все мы беспощадны и всего беспощаднее, когда мы правы²⁾.

— Хорошо, — живо откликнулся он. — Откуда вы это?

И отошел к гостям.

И в том, что он говорил о критиках, сказывался он, т.-е. то, что неотвязно всегда влечли с собой. Видно, корней у него не было, — может быть, и критиков он знал, главным образом, по тем статьям, которые они писали о нем. Но у него удивительно было развито то, чем наделила его природа, — чутье, которое сказывалось во всем, чутье, развитое до размеров большого ума. Это сказывалось и в понимании природы мастерства, хотя сам он уже редко следовал ему.

VIII.

Уезжая от Леонида Николаевича, я уносил с собой атмосферу, которой был пропитан его кабинет, его дом.

Что-то безытное было в этой обстановке: с одной стороны семья, гости, много хлопот и суеты, с другой — тревога, „метафизическая тоска“, которой была насыщена жизнь с виду психически-сытого человека. Говорят, в доме Льва Толстого, — по крайней мере, когда он жил в Москве, — ничто не напоминало о том, что вы в доме великого писателя земли русской: просто дворянский дом. Здесь все напоминало, что вы в доме Леонида Андреева. Душа вещей — незримая душа, которая у каждой вещи, — была душою их владельца. Казалось ли мне это так или было на самом деле?

К 1914 году приехал Горький из своего далека. Хотя прежних отношений между ними уже не было, но приезд Горького взволновал Леонида Николаевича.

— Видаете вы Максимича? — спрашивал он меня.

Так как Горький первое время не находил подходящей дачи в Финляндии, Леонид Николаевич просил меня передать ему при встрече, что он предлагает

¹⁾ Ясинский, сколько мне помнится, увидал в его рассказах „психологическое открытие“.

²⁾ „Былое и Думы“.

ему временно свой дом, ибо на весну и лето уезжает в глубь Финляндии (или за-границу) с своей семьей. Я видел Горького в „Современном Мире“. Затем, гостя у Иорданских в Мустамяках, где жил и Горький, зашел к нему. Не знаю, преодолел ли он к тому времени то нерасположение к интеллигенции со всем складом ее психики и ума, которое сидело в нем так глубоко, но, сидя у него, я чувствовал себя „интеллигентом“, столь чуждым строем его чувствований, и не выносил из того, что он говорил, ничего, что так молодило мой мозг и сердце в его сочных, почвенных рассказах.

Так и описывал я Леониду Николаевичу эту встречу.

— Жаль, жаль, — сказал он. — Столько у вас созвучного.

Говорил он, что с удовольствием покинет на полгода Петроград, Россию; и было жаль, что говорит он так о России, от которой так отошел, как наблюдатель, которую, видимо, и прежде знал мало.

— На вашем месте проехался бы я по России, — сказал я.

— Зачем?

— Посмотреть, что с ней стало за то время, что сидите в своих снегах.

Глаза его засветились той улыбкой, от которой не делается весело.

— Можно ли ехать по России, имея такую известность, как Леонид Андреев? Если бы хоть газеты оставили меня в покое. А то напишут ведь.

Мешая серьезное с шуткой, он продолжал:

— Что же будет, если проедусь по России, которая — как говорите вы — шагнула так вперед? Я не такая, чтобы с мужиком каким-нибудь...

Он ценил теперь, главным образом, внутренний опыт. Путь жизни, судьба человека, феномены человеческого мышления — зачем для этого Россия? Он говорил, что у него нет интереса к живой конкретной жизни, и его не тянет к изучению ее; что своих реалистических вещей, как „Жили-были“, он не любит, что больше всего он чувствовал себя сам собой, когда писал „Жизнь человека“, „Черные маски“ и т. д.

— Даже в реалистических вещах я беру больше догадкой, чем натурой, — говорил он.

— Неужели „Сын человеческий“ можно написать одной догадкой?

— Уверю вас: духовенство видел я два раза в жизни; раз на свадьбе, другой на похоронах.

Грусть и сожаление возбуждали его слова: глаз его схватывал чудесно, созерцание было более, чем богато, а он хотел отвыкать от природы, тянулся к ответчению, которое для художника бесплодно.

— Леонид Николаевич, — говорил я, — вы отрекаетесь от созерцания. Конечно, о многом вы догадались. Конечно, дар интуиции у вас несравненный. Но, согласитесь, если бы вы писали „Красный смех“ или „Семь повешенных“, имея перед собой прямое наблюдение, вы написали бы иначе?

— Не ропщите: человек вы еще молодой!!.

— Да, когда вы подходите к быту, вы еще сильнее. По тем наблюдениям, по-толстовски схваченным, которые рассеяны в ваших реалистических

вещах, можно судить о том, что бы вы теперь дали, если бы вышли на простор жизни. Прочтя „Жили-были“, поистине снова переживаете радость бытия... Но без этого, согласитесь, как вещь ни хороша, она не может запахнуть материалом из вторых рук...

— Чего вы хотите? — возражал он. — Вам важно „что“, а мне „зачем“. Мало ли вещей, которые так хороши, как говорите вы. Но не для меня они. Для моих опытов не нужно это. Вот еще требуют: ходи весело. Могу ли я отказаться от самого себя?

Я не унимался, даже переходя чувство меры. Повторял ему, что в образе, который не прочувствован до конца, не облечен в плоть и кровь, не может быть той пластичности, завершенности, которых мы от него, Леонида Андреева, ждем; напоминал ему Флобера, так страдавшего от отсутствия эмоций, неподвижности воображения, непреодолимой жажды жить переживаниями своих героев. Но Леонид Николаевич слушал холодно.

— Чтож делать? Я бы еще мог проникнуться вашими словами, если бы я чувствовал, что фальшивлю, погрешаю против себя. Но я это не чувствую.

До сих пор помню, как он произносил эти слова — отрывисто, не без самодовольства, в которое как-то не верилось. Если он и сознавал, что логика не на его стороне, то еще более чувствовал он, что логика и не на стороне „быта“, против которого так настроен он.

— И что вам за охота хлопотать о быте? — спрашивал он меня.

Можно подумать, что без него и позаботиться некому о „просторе жизни“... Позаботиться есть кому, — даже более, чем нужно.

Но тут он был бы не Леонид Андреев, если бы на этом поставил точку.

— И любопытнее всего мне вот что. Все эти бытовики, — те, что верят в человека, „утверждают“ жизнь — менее всех знают и жизнь, и человека. Знают школьно, литературно. Это-то знание и наделает когда-либо бед. Самое важное ведь скрыто в глубинах человеческих, неожиданно для нас самих.

В неожиданный день вырвется зверь из клетки, в которой благополучно отбывает жизненную повинность, и покажет свою морду. Это он говорил еще по поводу „Бездны“. Горький не верит: гнусная это выдумка на человека... Но в этой фантазии больше правды, чем в том, что мы каждый день видим и ощущаем. Еще Достоевский говорил: что может быть фантастичнее и неожиданнее, что может быть невероятнее действительности!

IX.

Леонид Николаевич собирался уезжать, но не уезжал: то сыну его нездоровилось, то что-нибудь непредвиденное задерживало его отъезд.

Вот в это время как-то — глубокой ночью — я встретился с ним у подъезда одного дома. Он с кем-то выходил. Дело шло уже к марту. Днем уже весенние предчувствия носились в воздухе, вноси ощущение какой-то сладкой полноты. Но к вечеру зима живо оправлялась. И теперь, когда заметно морозило, о близости весны ничто даже не напоминало.

Леонид Николаевич попрощался со своим спутником, и тогда я его облизнул. Он взглянул на меня, точно не узнавая. В лице его было что-то шаткое, усталое, как тогда, когда болело сердце.

— Куда направляетесь? — спросил он.

Мне было не по пути с ним, — я жил в Тесном. Но я решил проехаться вместе на Каменноостровский, а затем по Ланскому шоссе к себе. Но ехать он не захотел.

— Пойдемте-ка лучше, — предложил он. — Я хочу освежить голову.

Мы свернули с Литейного на Симеоновскую улицу. Было совсем тихо, — даже проезжающих не видно было, и тишина дышала на нас свежим и мирным дыханием своим, и неясно звенящие какие-то струны где-то в глубине души будила холодная равнина неба, усеянная мерцающей мириадой звезд.

— Нездоровится? — спросил я Леонида Николаевича.

— Нет, так... Устал.

Но, помолчав недолго, несколько оживился:

— Где черта, отделяющая здорового от больного? Ведь и здесь бродим мы в потемках.

— Да, — поддержал я „тему“. — Ницше считал, что он большим обязан своей болезни, чем своему здоровью.

— Высшим здоровьем был обязан он ей, по его словам.

— А Достоевский в „Идиоте“ писал о неслыханном и негаданном догоде чувстве полноты.

— Да, да, бывают болезни от избытка, от чрезмерного здоровья.

Как всегда, о чем бы он ни говорил, он думал о себе, о том, что у него болело.

— Вот и обо мне пишут: болезни мысли... болезненная острота ощущений... Все герои мои дегенераты, подточенные червями, ибо я сам физически подточен, дегенерат. Что касается меня, это сущий вздор. Физическому здоровью моему можно только позавидовать. И отец, и мать были людьми здоровыми, очень крепкими.

В это время где-то впереди молодой голос гулко произнес: „невольню к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила“. И вслед за тем каким-то светлым смехом смеялась женщина, смехом, каким смеются только чистые, поэтические девушки. От него становилось хорошо на сердце.

— Это смеется проститутка, — сказал Леонид Николаевич. — И потаскушка.

— Как это неожиданно вы...

— Что?

— Неожиданно, — говорю я.

Поровнялись с девушкой. Это в самом деле была проститутка, — еще подросток, — самого низшего разбора. Рядом с ней стоял молодой человек, который смешил ее.

Но Леонид Николаевич даже не взглянул на них. Его занимала уже другая мысль.

— Получил письмо я от одного юноши, — заговорил он, — предсмертное — наложил на себя руки. Когда читал я письмо, у меня, знаете, из головы не выходил студент, о котором рассказывали мне в театре, где идет моя пьеса. Пьеса идет уже тридцатый раз, и тридцатый раз он приходит на нее. Я даже позвонил, чтобы узнать. Но он был после того в театре. Не первый раз получаю я такие письма. Хотите, покажу когда-нибудь.

Красивый, задумчивый, он шел, опустив глаза. Налета сытости не было ни в его движениях, ни в речи. Напротив, грустной усталостью веяло от него, той, которая не случайна в его натуре.

— Читаешь такое письмо и думаешь не о том, кого уже нет... Ведь было у него какое-нибудь близкое существо. Не часто бывает эта близость, — в известном, пожалуй, возрасте. Но бывает. И вот согласитесь, когда это бывает, и погибает близкое существо у человека, этого человека должна глубоко поразить пошлая бессмыслица мира. Он должен почувствовать, что в самые счастливые минуты жизни человека подстерегает ужас, и от этого ужаса нет спасения ни в чем, что нас, дон-кихотов, примиряет с ней.

Потому ли, что я знал, что означала для Леонида Николаевича смерть жены Александры Михайловны, унесшей в могилу такую большую любовь к нему, или это в самом деле было так, но мне казалось, что близкий образ стоит перед его глазами, когда он говорил эти слова.

Недаром он так охотно откликнулся на мои слова:

— Ах, эти мысли приходят нам в голову, когда все лучшее уже в прошлом.

Нет, они всегда были у него, эти мысли... Нету на земле хозяина — это он знал всегда. Но, конечно, все-таки и у него были годы самые полные в его жизни. Потом прошла молодость, и что-то очень нужное оборвалось навсегда. Стало острее, беспокойнее на душе.

Леонид Николаевич не договаривал, но ясно было без слов. Светлая любовь чувствовалась над ним, потом Александра Михайловна умерла...

Я шел и думал о „Жизни человека“ — не пророчил ли автор о собственной судьбе своей?

У Аквариума Леонид Николаевич остановился. Некоторое время казалось мне, что он раздумывает, не провести ли нам остаток ночи в этом увеселительном заведении. Но он неожиданно сказал:

— Слушайте, возьмем извозчика. И вам ведь нуть не близкий.

Подозвав извозчика, стоявшего у Аквариума в ожидании запоедавших седоков, уехали мы. Всю дорогу он уже не проронил ни слова. Только слезая с извозчика и прощаясь со мной у подъезда дома, он, поцеловав меня, сказал:

— Осенью увидимся. Приезжайте. Я вам письма покажу.

Л. Клейнберг.

Похождения Илиодора.

Иеромонах Илиодор, к которому относится печатаемая ниже записка, составленная посланным для расследования чиновником, в свое время прославился шумными выступлениями с целым рядом общественных скандалов, характерных для последних лет царского режима.

В мирском звании Илиодор носил фамилию Труфанова и в начале 1900-х г. г. учился в спб. дух. академии. Здесь он подпал под влияние тогдашних ректора академии Сергия (Старогородского) и инспектора Феофана, ревностных насаждателей ученого монашества, и набрался нового духа, соответствующего его увлекающейся натуре. Студенческие годы Илиодора как раз совпали с подъемом революционного брожения в стране и в обществе, а его руководители толкали его, конечно, на путь реакционного патриотизма. Уже будучи студентом, Илиодор отличался боевыми проповедническими выступлениями на так называемых религиозно-нравственных собеседованиях, организуемых тогдашним обществом рел.-нр. просвещения в рабочих районах. Приняв монашество на студенческой скамье, Илиодор превратился в фанатичного церковника-миссионера, с резким политическим задором. Реакционные церковные круги охотно поощряли деятельность молодого монаха, обладавшего демагогическим талантом, надеясь, что из него вырабатается полезный им боец за „патриотические устои“.

В 1905 году Илиодор окончил академический курс и был назначен преподавателем арославской семинарии. Конечно, это скромное назначение было только первым шагом к обычной карьере ученого монаха; а карьеру Илиодору прочили большую. Приезд Илиодора в Ярославль как раз совпал с революционным движением осени 1905 г. и не замедлил ознаменоваться острыми инцидентами. В Ярославле Илиодор тотчас начал политическую черносотенную агитацию и в дни известного октября явился организатором черносотенных банд „союза русского народа“. На этой почве у него немедленно начались острые конфликты с учащейся семинарской молодежью, настроенной революционно, сопровождавшиеся даже физическими столкновениями между „союзниками“ и семинаристами. В самой семинарии возмущение против Илиодора, как „союзника“, вылилось в забастовку учащихся, отказавшихся

посещать уроки Илиодора. Семинарская корпорация открыто заявила, что присутствие Илиодора делает невозможным спокойное продолжение занятий, и поставила дилемму: или Илиодор, или семинария. Но высшее духовное начальство, конечно, стало на сторону Илиодора, и семинарию пришлось временно закрыть. Тем не менее пришлось удалиться из Ярославля и Илиодору. Сам местный архиперей Иаков отказался поддерживать необузданного монаха и ради умиротворения семинарии ходатайствовал о его перемещении. Илиодора убрали.

Потерпев фиаско на учебной службе, Илиодор избрал ареной своей деятельности исключительно церковно-политическую демагогию. Сначала его взял под свое крыло ближайший друг и единомышленник духовных отцов Илиодора — Сергия и Феофана — волынский архиепископ Антоний Храповицкий. Илиодор поселился в Почаевской лавре и немедленно превратил ее в черносотенную цитадель. Появились пламенные „патриотические речи“, началось разжигание политических страстей с церковной кафедры, и в воздухе запахло погромами. В конце концов сам Антоний волынский стал побаиваться скандала, а местная светская администрация решительно нашла пребывание Илиодора на Волыни опасным для общественного спокойствия.

Тогда выпровоженного с Волыни Илиодора взял под свое покровительство епископ саратовский Гермоген, такой же яркий „патриот“ и „союзник“, как буйный инок. Гермоген при этом отличался удивительной неуживчивостью с местной гражданской властью, с которой у него постоянно выходили столкновения из-за недостаточного якобы уважения иерархического престижа. У Гермогена были чисто папские замашки, и он не терпел никакого ограничения своей деятельности со стороны светской власти; а между тем его нетактичное политиканство часто ставило в затруднение местную администрацию. В Илиодоре Гермоген видел вполне подходящего себе помощника, а Илиодор в свою очередь нашел в Гермогене незаменимого покровителя. В епархии Гермогена Илиодор развернулся во всю ширь... Демагогия давно вскружила голову монаху, и он все больше чувствовал в себе призвание „спасителя отечества“ от крामолы при помощи боевых патриотических организаций. Местом своей деятельности Илиодор избрал Царицын, где им был на пожертвования его поклонников построен монастырь, названный подворьем саратовского архиперейского дома; а калр своих приверженцев Илиодор создавал из темных низов, легко поддававшихся его агитации.

В Царицыне Илиодор обосновался твердо и скоро прогремел своими черносотенными выступлениями, как еще никогда прежде. Из подонков царицынского населения, а больше всего из пришлого элемента грузчиков и подобных им невежественных людей Илиодор создал многочисленный кадр „илиодоровцев“, подчинявшихся ему, как вождю, и готовых по его слову сделать что угодно. Так как вся агитация Илиодора была построена на возбуждении ненависти против „революционеров“, к которым он относил всю интеллигенцию, евреев и собственно всех „не союзников“, то в Царицыне, естественно, создавалась возбужденная атмосфера, беспокоившая местную администрацию. Попытки

же последней умерить пыл Илиодора и ввести его в должные границы кончились тем, что Илиодор, как и Гермоген, стал во враждебные отношения к светским властям, видя в них покровителей „крамольников“ и „жидов“ за то, что они осмеливались его обуздывать. Буйный монах не признавал никакой законности: он требовал еще для себя и своих сторонников „патриотов“ исключительных привилегий, а за инакомыслящими не признавал никаких прав. Пример еп. Гермогена, без сомнения, воодушевлял Илиодора, необузданность которого достигла высшей степени, когда из-за столкновений с Гермогеном должен был оставить свой пост саратовский губернатор Татищев. И Гермоген и Илиодор после этого почувствовали себя хозяевами положения, а свою демагогию безнаказанной и находящей поддержку в высших сферах. Отставка Татищева в свое время была сенсационным происшествием. Татищев должен был уйти, несмотря на поддержку мин. вн. дел. П. А. Столыпина: у Гермогена нашлась более сильная поддержка.

В этой закулисной поддержке, на которую опирались саратовские церковники-демагоги, и заключался весь секрет Илиодоро-Гермогеновской истории. То был Распутин. Распутин был хорошим знакомцем Илиодора по связи с Феофаном, сначала инспектором, а потом в 1910—1911 г.г. и ректором спб. дух. академии. Илиодор в бытность на Волыни и в Саратове часто наезживал в Петербург, где у него имелись свои почитатели или, вернее, почитательницы среди великосветского общества и кругов, прикосновенных к приворной камарилье. В Петербурге Илиодор пребывал у Феофана, а у Феофана бывал Распутин, которого Феофан и вывел „в люди“. Впоследствии вся эта компания с Распутинским разошлась, и тот же Илиодор окрестил Распутина „чортом“, но в 1909—1911 г.г. Распутин был приятелем Феофановой группы, а сделавшись силой — ее покровителем. Конфликт саратовского архиерея с саратовским губернатором Татищевым разрешился за кулисами придворной жизни, и, благодаря Распутину, Гермоген с Илиодором вышли победителями.

Преемник Татищева Стремоухов оказался в очень щекотливом положении лицом к лицу с боевыми саратовскими церковниками, не хотевшими ни с чем считаться. Однако, так как П. А. Столыпин хотел пред Гос. Думой соблюдать известные приличия, то и Стремоухов принужден был протестовать против разнузданности Илиодора и илиодоровцев, на которых сыпались жалобы со стороны царичинской администрации. В конце концов Стремоухов представил в Петербург, что дальнейшее пребывание Илиодора в Царицыне нетерпимо, и синод получил указание о необходимости или обуздать иеремонаха, или убрать его. Синод пробовал через еп. Гермогена умерить пыл Илиодора, но безуспешно. Тогда в начале 1911 года состоялось синодальное постановление о переводе Илиодора из Царицына в Тульскую епархию: он был назначен настоятелем Новосильского монастыря. На этом переводе настоял Столыпин через обер-прокурора Лукьянова. Илиодор сначала было подчинился синодскому решению и приехал в назначенный ему монастырь. Но через месяц он самовольно вернулся в Царицын.

В этому моменту так называемого „дела Илюдора“ и относится печатная записка полицейского чиновника. Отвергнутое неповиновение Илюдора распоряжением высшей власти поставило на карту правительственный престиж, и правительство старалось как-нибудь привести непокорного монаха к послушанию, не слишком в то же время раздувая создавшийся скандал. Из записки, однако, видно, что усилия заставить Илюдора покориться не привели к цели... Саратовские церковники и на этот раз были победителями, благодаря тому же Распутину. „Усмирить“ Илюдора стремились главным образом министерство вн. дел; что же касается синода, то он действовал тут лишь под давлением обер-прокуратуры, не очень обижаясь за свой авторитет: реакционной иерархии „патриотическая“ деятельность Илюдора была по вкусу, а в препирательствах церковных властей с гражданскими синодалы, конечно, тянули в сторону своих. Обузданный Илюдора требовал Столыпин, но закулисная придворная интрига аннулировала его усилия. Как видно из записки, Илюдор, по царской резолюции, был оставлен в Царицыне во внимание якобы к просьбе „царицынского народа“. На самом деле виновником Илюдорова торжества был Распутин, под влиянием которого находилась императрица.

Торжество Илюдора в этом столкновении еще больше вскружило ему голову. „Записка“ наглядно рисует, до чего дошла после этого разнузданность монаха, и подтверждает все те сведения, какие передавались в свое время на этот счет в газетах. О паломничестве Илюдора в Саров тогда также много писали, и в Госуд. Думе подготовлялся даже запрос по этому поводу. В августе 1911 года саратовский губернатор Стремоухов вновь делал представления о необходимости удалить Илюдора из Царицына; но Столыпин отказался от личного доклада об Илюдоре, наученный прежним опытом, и предоставил Стремоухову, если хочет, самому докладывать царю. Так Илюдор и оставался „неприкосновенным“ в течение всего 1911 года, осенью которого кончается период времени, обнимаемый „запиской“.

Дальнейшая судьба Илюдора известна. В начале 1912 года возник новый скандал, устроенный саратовскими „патриотами“. Епископ Гермоген, вызванный для присутствования в синоде, поссорился с своими коллегами, отчасти из-за того же Илюдора, отчасти на почве принципиальных столкновений. Между прочим Гермоген отказался запретить Илюдору издание погромной газеты „Гром и Молния“. Разойдясь же с другими синодскими членами по некоторым вопросам, Гермоген демонстративно выступил против них с телеграммой на высоч. ния, прося царя „защитить церковь“ от „неканонических“ действий синода. За это Гермоген был уволен в свою епархию, но отказался выехать из Петербурга, а вместо того стал открыто осуждать синод. На помощь Гермогену экстренно приехал и Илюдор, еще более несдержанный на язык. Создался большой инцидент. Илюдор и Гермоген, однако, сделали ошибку: они как раз около этого времени поссорились с Распутиным. Без поддержки же за кулисами им было не под силу тягаться с синодом. В результате, за неповиновение и демонстративные выходы, Гермоген был отрешен от управления епархией и сослан в Жировицкий монастырь, а Илюдор—во

Флорищеву пустынь. Хотя и не без сопротивления, но на этот раз буйного инок водворили на назначенное ему место.

В ссылке Илюдод сначала будировал, а потом, видя безрезультатность будирования (за ним не было Распутина), озлобился окончательно на синод и публично отрекся не только от монашества, а и от синодальной церкви, снял сам и превратился в светского человека. Это было осенью 1912 г. Должно быть, чтобы найти себе где-либо сочувствие, недавний погромщик при этом начал каяться в своей прежней черносотенной деятельности и прикинулся „либералом“. Искренность политического покаяния Илюдодора, впрочем, была сомнительна.

После октябрьской революции, в 1919—1920 г., Илюдод объявился снова. Он опять появился в Царицыне и стал называть себя „русским павой“. Но теперь подобная узурпация была только сменная, и на нее мало кто обратил внимание. Илюдоду суждено было играть роль только тогда, когда играли роли люди, подобные „старцу Григорию“.

Несмотря на свой объективно-полицейский и протокольный тон, „записка“ дает поразительно яркую и красочную картину до-революционной „свотой Руси“ Илюдодора и Гермюгена. Положение города, отданного в полную власть черносотенного монаха, типично для всей страны. Трудно изобразить забитость и беспомощность населения более рельефно, чем это сделал литературно-фотографический снимок полицейского доклада. Его убедительность только пострадала бы, если бы смягчить и затуманить на этом снимке неприличие и хулиганство Илюдодора, его поклонников и покровителей. Мы оставляем поэтому „записку“ в полной неприкосновенности.

Надо отметить одну любопытную черту. Среди всеобщей обывательской пассивности, забитости, приниженности, только рабочие, по своей собственной инициативе, выступили с активным протестом. Они его выразили, как могли; настолько, однако, отчетливо, что полицейская „записка“ сочла необходимым особо его отметить. Все молчали в страхе, или угодливо потворствовали выходкам Илюдодора. А рабочие, по словам „записки“, „высказывали недовольство тем, что правительство позволяет приверженцам Илюдодора делать все, что вздумается, а их, рабочих, не защищает от произвола хозяев“.

Ред.

Назначенный настоятелем Новосильского монастыря тульской епархии и прибывший туда 14 февраля текущего года (1911 г.) Илюдод 9 марта тайно оставил этот монастырь, переодетым сел в поезд и, вопреки воспрещению св. синода, отправился обратно в Царицын. На ст. „Гумрак“ он был встречен местным жандармским офицером, но, благодаря нераспорядительности последнего, имел возможность оставить поезд и пройти пешком за 16 верст на французский завод к своим единомышленникам, а оттуда тайно прибыть в Царицын, где и водворился в своем подворье. Принятые меры со стороны администрации и прессы Гермюгена к возвращению инок обратно в Новосиль-

ский монастырь остались безрезультатными вследствие крайнего упорства Илиодора, заявившего о своем бесповоротном решении остаться в Царицыне, куда он прибыл „для защиты своей паствы от притеснений, чинимых, будто бы, ей чинами полиции“, и на основании указа Тульской духовной консистории об оставлении его, попрежнему, заведывающим Царицынским подворьем.

В своей депеше в св. синод, спрашивая благословение на пребывание в Царицыне, Илиодор заявил, что не поддастся никаким увещаниям даже своего возлюбленного архиепископа—еп. Гермогена и не покинет паствы, хотя бы пришлось пожертвовать жизнью, ибо, почитая святейший синод, не желает подчиниться чиновническому засилью, особенно проявившемуся в его деле, а еп. Гермогену кроме того заявил, что в случае наложения на него, Илиодора, наказания, будет жаловаться константинопольскому патриарху на незаконные действия синода, подчинившегося светской власти, и приглашал епископа присоединиться к нему для защиты церкви божьей от язычников.

12 марта Илиодор произнес в монастыре, в присутствии многочисленной толпы, весьма резкую, направленную против св. синода и высшей светской власти проповедь, в которой объявил им „жестокую войну“, заявив, что не подчинится распоряжению о возвращении в Новосильский монастырь, не откажется от проповеди божественной правды и не нарушит заповедей Христа; при запрещении же ему служения или лишении сана и высылке—он вынесет всё, хотя бы пришлось принять тысячу смертей. К такой же борьбе он приглашал и своих слушателей, указывая им, что члены св. синода продали истину за бриллиантовые кресты, и объявил во всеуслышание о намерении своем жаловаться на св. синод вселенскому патриарху. Подобные проповеди приносил Илиодор несколько раз. Начиная с 13 марта, Илиодор распорядился, чтобы на ночь ворота монастыря запирались, причем приверженцами его была поставлена у выходов особая стража, наблюдавшая, чтобы в монастырь не проходили чины полиции и подозрительные лица. Число приверженцев постепенно возросло до 8000 человек, и на ночь оставалось в монастыре до 1500, преимущественно женщин.

14 марта Илиодор, обращаясь к нервно настроенной толпе и предлагая слушателям быть спокойными при приезде начальства и не предпринимать ничего, пока его самого не свяжут и не арестуют, просил, однако, не допускать властям входить в алтарь с оружием в руках. „Когда же,—добавил он,—меня свяжут и арестуют, делайте, что хотите,—ни приказывать, ни останавливать не буду“.

Сам иеромонах, подчинившись распоряжению св. синода о воспрещении ему служения в саратовской епархии, не участвовал в служении, но почти безвыходно оставался в алтаре или в своей келье, появляясь к народу лишь для поучений. На телеграфное увещание Гермогена—подчиниться распоряжению, не оставаться в Царицыне и прибыть к нему, епископу, в Саратов, Илиодор ответил отказом, а когда Гермоген прибыл 16 марта в Царицын, то иеромонах не встретил его не только на вокзале вместе с другими

духовными лицами, но и в самом монастыре, о чем еще заранее предупредил с амвона своих приверженцев, заявив, что с епископом ему беседовать не о чем и в монастыре он его не примет. Первая беседа Гермогена с Иллитором имела место 18 марта в келье иеромонаха и продолжалась около полутора часа, при чем приверженцы Иллитора оберегали келью из боязни его ареста. Заметное волнение внес при этом в среду богомольцев священник Егоров, который, объявив о предстоящем аресте Иллитора, приглашал мужчин остаться в возможно большем числе в монастыре на ночь для охраны. Вечером того же дня епископ имел с Иллитором вторую беседу.

Прибывший лично 15 марта в Царицын саратовский губернатор уже ранее имел обещание Гермогена вывезти иеромонаха из монастыря при условии, что последний не будет арестован. Но уже 16 марта, пробыв несколько часов в монастыре, преосвященный заявил губернатору, что успех своей миссии он обуславливает, во-первых, более или менее продолжительным увещанием, а во-вторых, — полным невмешательством гражданских властей, добавив, что в противном случае, он уедет. Доводя об этом до сведения министерства внутренних дел, губернатор присовокупил, что такая двойственность Гермогена и солидарность его с Иллитором являются для последнего поддержкою, дают ему надежду на оставление его в Царицыне и возбуждают его поклонников. Несмотря на отрицание Гермогена, Иллитор продолжал выступать перед толпою, ложно обвиняя полицию, а неприязненное отношение к ней епископа еще более усиливало враждебное настроение. Посему губернатор полагал, что выдворение Иллитора без употребления насилия возможно лишь при воздействии со стороны св. синода на самого епископа, которому должен быть назначен определенный срок, по истечении коего преосвященный, в виду его противодействия гражданской власти, сам должен быть отозван из Царицына, тем более, что он категорически заявил губернатору, что полиции иеромонаха не выдаст.

По удостоверению в зв. камергера Стремоухова, епископ, получив депешу св. синода, объявил Иллитора больным. Со дня прибытия в Царицын преосвященный уклонился от переговоров с ним, хотя встречался неоднократно, и только после двух телеграмм св. синода вступил с ним в беседу. Самая болезнь иеромонаха, видимо, была измышлена, чтобы оттянуть время. Обязательность совместных с епископом действий в этом деле, по мнению губернатора, могла привести к открытому переходу епископа на сторону Иллитора, которого он еще 10 февраля назначил заведывающим Царицынским подворьем, и поставить правительство в еще большее затруднение.

В виду сего статс-секретарем Столыпиным было сделано сношение с обер-прокурором св. синода о необходимости обсуждения св. синодом образа действий Гермогена, и 18 марта св. синодом по телеграфу было вновь предложено преосвященному принять все необходимые меры архипастырского воздействия на Иллитора к немедленному возвращению его в Новосильский монастырь; в случае же безуспешности этого воздействия, без промедления, на другой же день, при помощи избранных епископом духовных лиц и по

принятия надлежащих мер в охране мира и порядка, удалить ослушника из храма, буде он останется в нем, и из подворья, с передачей затем гражданской власти для доставления в Новосиль, а по исполнении сего самому епископу вернуться в Саратов и о последующем донести.

На основании этого распоряжения св. синода статс-секретарем Столыпиным было предложено губернатору, в случае передачи иером. Иллудора духовными властями, отправить его в отдельном вагоне в тульскую епархию, с принятием мер предосторожности против возможных с его стороны попыток к побегу и самоубийству. При этом было разъяснено, что если действия епископа будут безуспешны, то по отбытии его самого из Царицына и по некотором усвоении населения, должны быть приняты меры к постепенному уменьшению богомольцев в подворье, недопущению скопления их у монастыря, арестованию Иллудора, при первом удобном случае, по возможности ночью, и отправлению его по назначению.

Из депеши губернатора от 19 марта усматривается, что на обращенную к Гермогену просьбу уведомить, когда он полагает вывести Иллудора из Царицына или передать его гражданским властям, преосвященный, не удостоив начальника губернии ответом, лишь вечером прислал ему копию своей депеши на имя статс-секретаря Столыпина, от того же 19 марта. В этой депеше епископ, указывая на тысячи страждущего и молящегося в Царицыне народа, на готовность полиции напасть на мирный монастырь и арестовать Иллудора и на свои личные страдания, заявлял: „Если всё это зависит и преходит от вас, то да запретит вам всемогущий господь, а же не могу выносить скорби и удрученного душевного состояния, навязанных искусственно со стороны внешней администрации и ею поддерживаемой тяжелой атмосферы духовно-нравственного гнета и раздражения, и поэтому оставляю Царицын“. Преосвященный заявил также о намерении своем лично объяснить вой образ действий его императорскому величеству и св. синоду.

По этому поводу губернатор заявлял, что полиция ничем не нарушила своей корректности и не подавала ни малейших поводов к нареканиям, а равно не было на нее жалоб и со стороны преосвященного.

20 марта св. синодом по телеграфу предложено Гермогену, за истечением данного ему срока для удаления Иллудора и за неполучением от него донесений, незамедлительно отбыть в Саратов.

Из полученной того же числа депеши губернатора усматривалось, что 21 марта, вечером, состоялось под председательством Гермогена заседание собравших им представителей духовенства и мирян — приверженцев Иллудора, — в числе до 60 человек. На этом заседании Гермоген произнес неуместную речь, в которой восхвалял деятельность Иллудора, обвинял духовную и светскую власть в несправедливости и травле последнего, заявил, что будет его отстаивать, и доказывал основательность упорного неподчинения иеромонаха св. синоду тем, что несправедливое постановление св. синода состоялось под давлением светской власти. После сего терроризированные епископом священники и миряне обсуждали четыре пред-

ложенных председателем вопроса: 1) можно ли вывести Илиодора из алтаря и передать светской власти, и кто из священников возьмет на себя выполнение сего; 2) сколько потребуются времени для выполнения постановления св. синода; 3) действительно ли Илиодор является бунтовщиком и политическим преступником, и 4) вносит ли он раскол в православную веру и не является ли сектантом. Под непрерывным давлением епископа собрание высказало, что никто из местных священников Илиодора вывести из храма не решится, так как они не желают быть слугами светской власти и рисковать быть растерзанными толпою; что исполнение постановления св. синода о выдворении затравленного властями неромонаха в 24 часа, как этого требуют власти, невозможно, ибо исполнить это затруднительно и в две недели; что вся деятельность Илиодора носила мирный характер, окружавшая его толпа, благодаря его влиянию, также всегда была настроена мирно и кротко, а всё, что ставится названному неромонаху в вину, есть провокация и, наконец, что в сектантстве он обвинен быть не может. Попытки некоторых священников возражать вызвали раздражение епископа, и это заставляло возмущавших смолчать. Гермоген имел намерение устроить еще несколько подобных собраний, но губернатор, отказавшийся от участия и на первом, предполагал на дальнейшие собрания не давать своего разрешения. В результате губернатор полагал, что Гермоген сам из Царицына не уедет, а в его присутствии принятие каких-либо мер в отношении Илиодора невозможно, и что весь настоящий случай, разрастаясь до крупных размеров, принял характер открытого неподчинения самого епископа высшей светской власти, в виду чего необходимо принятие решительных мер против самого Гермогена.

Сообщив эти сведения обер-прокурору св. синода, статс-секретарь Столыпин предложил губернатору воздержаться от всяких действий впредь до решения св. синода.

Св. синод в заседании 27 марта, заслушав сообщенные министерством внутренних дел сведения о положении дел в Царицыне, телеграммы Гермогена и ходатайства православных жителей г. Царицына об оставлении нером. Илиодора в названном городе, и усматривая из обстоятельств дела, что Илиодор выразил готовность возвратиться в Новосиль и что осуществление сей готовности задерживается отчасти болезненным состоянием Илиодора, отчасти же дошедшими до него известиями об исключительных мероприятиях, якобы направляемых светскою властью против Царицынского подворья, определением своим за № 35 постановил: 1) поручить преосв. Гермогену — а) в соответствии с преподанными ему раньше указаниями, направить своим архипастырским влиянием Илиодора к действительному выполнению выраженной им готовности подчиниться состоявшемуся о нем определению св. синода, причем, буде состояние здоровья Илиодора не улучшилось, войти в совещание с врачами, а равно разъяснить неромонаху Илиодору, что дошедшие до него известия о мероприятиях светской власти неосновательны, и б) о последующем в возможной скорости довести св. синоду

с присоединением к доведению сведения об упоминаемом в настоящем определении священнике Егорове и 2) переданное митрополитом московским 24 марта прошение православных жителей Царицына об оставлении иеромонаха Илиодора в Царицыне принять к сведению, о чем преосвященному саратовскому для исполнения послать указ, поручив митрополиту с.-петербургскому ныне же обратиться к еп. Гермогену с телеграммой нижеследующего содержания: „Царицын. Преосвященному Гермогену. Обсудив поступившие за последнее время сведения по делу об иеромонахе Илиодоре и усматривая из оных, что Илиодор выразил готовность возвратиться в Новосиль и что осуществлению сей готовности задерживается отчасти болезненным состоянием Илиодора, отчасти же дошедшими до него известиями об исключительных мероприятиях, якобы направляемых светскою властью против Царицынского подворья, св. синод поручает вашему преосвященству, в соответствии с преподанными раньше указаниями, направить своим архипастырским влиянием Илиодора к действительному выполнению выраженной им готовности подчиниться состоявшемуся о нем определению св. синода, при чем, буде состояние здоровья Илиодора не улучшится, надлежало бы войти в совещание с врачами, а равно представляется необходимым разъяснить Илиодору, что дошедшие до него известия о мероприятиях светской власти неосновательны. Поставляя ваше преосвященство по поручению св. синода в известность о настоящем его определении, присокупляю, что указ св. синода с подробным изложением обстоятельств дела посылается вслед за сим“.

Определением от 30—31 марта св. синод постановил: 1) согласно ходатайству преосвященного тульского, уволить иеромонаха Илиодора от должности настоятеля Новосильского Свято-Духова монастыря; 2) за допущенное иеромонахом Илиодором самовольное оставление назначенной ему должности и явное неподчинение распоряжениям св. синода о возвращении к месту службы подвергнуть его, Илиодора, двухмесячной монастырской эпитимии, в пределах таврической епархии, для чего и перечислить Илиодора временно в распоряжение таврического епархиального начальства, предоставив преосв. Феофану назначить место выполнения Илиодором эпитимии по своему усмотрению и предписав Илиодору выбыть к выполнению эпитимии немедленно по окончании пасхальной седмицы, и 3) вместе с сим, в дополнение к предписанию св. синода о недопущении иеромонаха к совершению богослужения в пределах Саратовской епархии, наложить на него, Илиодора, запрещение в священнослужении на все время до выполнения им эпитимии.

На всеподданнейшем докладе обер-прокурора св. синода с означенным определением св. синода, 1 апреля 1911 г., последовала всеимператорская резолюция: „Иеромонаха Илиодора, во внимание к мольбам народа, оставить в Царицыне, относительно же наложения эпитимии предоставляю иметь суждение св. синоду“.

В виду приведенной высочайшей резолюции 2 апреля состоялось определение св. синода о переводе Илиодора в распоряжение преосвящен-

ного саратовского с освобождением его от должности настоятеля Новосильского монастыря и об освобождении его, ради предстоящих великих дней страстной седмицы и св. пасхи, от запрещения в священнослужении с вменением ему этого запрещения в эпитимию.

По прочтении 4 апреля в церкви Царицынского подворья еп. Гермогеном полученной депеши митрополита с. петербургского, нером. Иллитор за всенощной произнес три поучения, в которых отметил давно предсказанную им победу, одержанную над „безбожниками“ и „хулиателями“, а 4-го, во время литургии, Гермоген произнес слово, в котором, сравнив положение православных царицынцев с положением воскресшего Лазаря, заявил, что избавлением от страшных и, быть может, кровавых событий они обязаны заступничеству ее императорского величества государыни императрицы—всегдашней покровительницы и ревнительницы святой православной церкви: она уговорила державного супруга поддержать дело Иллитора в ту минуту, когда оно было совершенно проиграно и потеряно. После этого была отправлена от имени Гермогена, Иллитора и царицынцев благодарственная телеграмма его величеству.

5 апреля утром была устроена с пением и поднесением цветов торжественная встреча депутатам, едвигим в С.-Петербург хлопотать за Иллитора. Последний произнес угрозы за живые статьи по адресу „Царицынской Мысли“ и 3 — 4-х поддерживающих ее богачей, заявив, что будет добиваться высылки их из Царицына. В своих речах Иллитор приглашал и своих слушателей соединиться для этой цели: составлять прошения за тысячами подписей об удалении всякого чиновника полиции, судейского, учителя, адвоката, доктора, богача и т. п., которые окажутся живущими не по закону церкви. „Начальство должно будет послушать нас и удалить его, и таким образом мы заставим всех прислушиваться к нам“... К этому времени число почитателей о. Иллитора сильно увеличилось грузчиками, извозчиками и рабочими, которые говорили, что он победил власть, стоит за рабочий народ и, быть может, выхлопочет им землю.

Воскресенье св. пасхи в подворьи, эффектно иллюминированном, при бесчисленном стечении народа, прошло чрезвычайно торжественно, и сиявший радостью Иллитор много говорил на тему воскресения, победы над адом, кознями врагов, при чем речи его носили более мягкий, умиротворяющий характер; с громадным числом богомольцев он лично похристосовался и получил до 7000 приглашений на дом, но уже 13 апреля, заявив о получении массы поздравительных (с победой) писем и многих ругательных и с предупреждениями, он заявил, что враги скорбят о своем поражении и строят новые планы, и он предчувствует что-то недоброе.

5 мая Иллитор вместе с Гермогеном ездил в Дивеевский скит Ардатовского уезда.

По поводу оставления Иллитора в Царицыне, саратовский губернатор в докладе на имя министра внутренних дел 8 мая сообщал, что лично для него совершенно несомненно, что „исторгнутое обманным путем из любвеобильного сердца обожаемого монарха помилование Иллитора отнюдь не будет

способствовать его исправлению, а наоборот, еще более искружит его голову, и что, чувствуя под собою твердую почву и недостижимый для власти, он в дальнейшем создаст крупные осложнения". Обманный характер ходатайства за Илюдора усматривается из того, что для „просьбы многотысячного народа“ прибегали к помещению подписей лиц, не выражавших на то своего желания, а равно отсутствующих и даже детей. Настроение толпы в Царицыне, с возвращением неромонаха, снова стало помешанное, а местная администрация, потерявшая почву под ногами, лишенная авторитета, незаслуженно оскорбляемая и третируемая представителями церкви и темною толпою, попала в крайне тяжелое положение; полицию на подворье не пускают, а между тем там было три несчастных случая (падение статуи с поранением двух лиц, задавленный толпою подросток и скорострельная смерть одного из почитателей Илюдора — некоего Ковалева) и ни один из них не был обследован ни полицией, ни следственными властями. Наконец, самое здание монастыря, построенное без соблюдения требований строительного устава, является опасным, деревянные хоры могут рухнуть, а полиция и строительный надзор туда также не допускаются. А наряду с этим Илюдор предполагает рыть в монастыре катакомбы, создать типографию и т. п. Первый удобный „политический момент“ немедленно вновь выведет неромонаха на путь возмутительных выступлений, ничего общего не имеющих с папирской деятельностью. Настроение епископа, по словам губернатора, стало сдержанно-боевое, что доказывается проповедями двух священников 8 и 17 апреля, произнесенными несомненно с благословения Гермогена и носившими характер возбуждающий против представителей высшего правительства и „слуг сатаны“, прибывших в Царицын из С.-Петербурга и других мест, а также „современных Пилатов, Иуд, Камаф, синодариона“ и т. п. На Гермогена и Илюдора, под впечатлением их успехов, установился в царицынской толпе взгляд, как на посредников между народом и государем, и это обстоятельство дало им повод добиваться чего угодно, ни с чем не считаясь. Так Гермоген настаивал: 1) чтобы губернатор перевел из Царицына полицеймейстера, будто бы сообщившего в газеты ложные сведения о царицынских событиях, причем угрожал, в случае отказа, выступить против него с церковной кафедры, и 2) чтобы было отменено утвержденное решением суда постановление городской думы о сносе некоторых построек царицынских обывателей, которые просили епископа довести об их ходатайстве до сведения государя императора. Наконец, частое обращение Илюдора к государю императору и получение высочайших благодарностей служит для неромонаха, по мнению губернатора, лишь средством укрепить завоеванное положение и устранить „врагов“, которые, по его мнению, хотят от него избавиться. Отъезжая 26 апреля в Саратов, он на пристани иронически по адресу властей заметил, что „прибыл из Крыма (намек на предположенный синодом перевод его в Таврическую епархию), а едет в Новосиль“.

В духов день, 30 мая, нером. Илюдор со ссылкой на личное соизволение на это государя императора, сообщив своим слушателям о своей поездке в Петер-

бург, об оказанном ему приеме в Царском Селе, о беседе с великим князем Иоанном Константиновичем, об аудиенции у его величества и наследника цесаревича, о тех просьбах, которые были заявлены Илюдородом государю императору, и о своем служении и проповеди в церкви Сводного полка, передал слушателям поклон и привет наследника цесаревича и роздал до 20 тысяч „царского подарка“ (небольшие образки, присланные ему в количестве 30 тысяч), причем проявила сильная давка, и несколько десятков мужчин, женщин и детей дошли до обморочного состояния.

14 июля Илюдород с крестным ходом, в сопровождении священников и до 350 своих поклонников, отправился на пароходе в г. Вольск для участия в проводах иконы Семидюзерской божией матери в Казань. Когда процессия вступила на пароход „Святослав“, Илюдороду показалось, что один из пассажиров, глядя на него, засмеялся, и это дало повод иеромонаху громко упрекнуть стоявших на верхнем балконе в дурном поведении, неуважении к церкви и духовному сану. На это помощник капитана общества „Кавказ и Меркурий“ г-н Лакстигаль сказал окружающим: „Да он, по всей вероятности, сумасшедший“. Узнав об этом, Илюдород потребовал розыска виновного, составления протокола и высадки виновного с парохода, заявляя, что иначе участники процессии могут дорогой избить его или бросить в Волгу. Богомольцы пришли в большое возбуждение за оскорбление „батюшки“, причем раздавались голоса, что всех „безбожников“ надо побросать в реку. Когда Лакстигаль был найден и извинился пред Илюдородом, последний сказал, что так как он оскорбил всю православную веру, то он простить ему не может. Протокол был составлен, а Лакстигаль удален с парохода. После этого Илюдород сказал по адресу классных пассажиров резкую речь, приглашая их вести себя прилично, не глумиться над православной верой и священниками, на руках которых весь народ, при чем сказал, что все те, которые не молятся, — дьяволы, имеющие не человеческие лица, а „морды“.

17 июля при возвращении из Вольска, на пароходе „Строганов“ с Саратова произошло столкновение Илюдорода с женой члена училищного совета при святейшем синоде д. ст. сов. Георгиевского. Последняя ехала с дочерью, внимательные взгляды которой Илюдород объяснил по своему, резко заявив ей, что она „не должна заглядывать мужчине в глаза“. За дочь вступилась мать, и во взаимных объяснениях с Илюдородом оба наговорили друг другу дерзостей, при чем за Георгиевских вступились некоторые интеллигентные пассажиры. По этому делу был составлен протокол, иеромонах Илюдород настаивал, чтобы шесть пассажиров были удалены с парохода. Агенту общества Илюдород также заявил просьбу об удалении оскорбивших его пассажиров, причем добавил, что и сам он беспокоится, что обозленные пассажиры могут выбросить его за борт. Депешей на имя камышинского исправника Гермоген усердно просил высадить с парохода д. ст. сов. Георгиевского с семьей и их спутников, как нетерпимых среди богомольцев. По этому поводу саратовский губернатор писал д. т. сов. Саблеру с просьбою повлиять на г-жу Георгиевскую и иеромонаха Илюдорода, чтобы они покон-

чили это дело миром и не возбуждали жалобы в суде, дабы избежать огласки и нежелательных толков.

По возвращении в Царицын Илюдор некоторое время вовсе не выступал ни в служении, ни в проповедях, будто бы по нездоровью, а по другим сведениям, вследствие крайней своей расстроенности поездкой и столкновениями с интеллигенцией и боязни быть в своих речах слишком резким. С 19 по 26 июня он был занят организацией паломнической поездки в Саров, которой он придавал значение великого святого подвига перед св. церковью, православной верой, царем, родиной и православным русским народом. В это же время его посетил известный старец Распутин.

9 июля мером. Илюдор с 1700 паломников, главным образом женщин и мальчиков, отправился на пароходе чрез Нижний-Новгород в Саров, причем советовал паломникам вести себя смирно.

В Хвалынске, при встрече с Гермогеном, Илюдор сказал большую речь патристического содержания, разъясняя значение предстоящей поездки для прославления св. веры и на страх противникам самодержавия. Еп. Гермоген в ответной речи советовал паломникам ополчиться на врагов веры, царя и родины и, не щадя своей жизни, уничтожать врагов православия.

В Камышине было небольшое столкновение с молодым человеком, не снявшим шапку, и с пассажирами попутного парохода, которым Илюдор сделал грубое замечание.

В Самаре паломники, при участии местного отдела союза русского народа, прошли через город с крестным ходом, пели около дома губернатора гимн, при звуках которого к ним вышел начальник губернии, вообще оказавший им возможное содействие, кричали ура, пели губернатору многолетие, а Илюдор благодарил его за мудрые распоряжения. При отбытии парохода далее, губернатор прибыл на пристань пожелать отъезжающим счастливого пути и также был приветствован толпой. В противоположность Саратовской епархии, духовенство г. Самары Илюдору никаких встреч не делало, даже прием в женском монастыре был суровый и холодный, и это дало ему повод выступить с резкими упреками по адресу местного духовенства.

В Казани паломники с флагами, посохами и особыми знаками на груди также прошли по городу с пением молитв, патристических песен и гимна и криками „ура“. При встрече с трамвайными вагонами, Илюдор останавливал последние и кричал пассажирам: „проклятые жиды! снимайте шапки! Русь идет!“, и пассажиры ему повиновались. При встрече в монастыре он произнес патристическую речь, выразил неудовольствие на то, что местный преосвященный не встретил паломников, а затем заявил, что ему известно, где находится похищенная икона богородицы, и что она, быть может, чрез несколько дней вернется и появится там же, откуда скрылась (о предпринятых им розысках этой иконы и предстоящем ее появлении Илюдор намекал еще в минувшем году). Эту уверенность он высказал и встретившемуся на пути казанскому губернатору. На обратном пути к пристани

кто-то крикнул из ресторана: „О. Илиодор! Иди сюда: здесь веселей“. На это иеромонах ответил криком: „Проклятые жиды!“ и заставил паломников трижды пропеть „анафема“, а при отходе парохода крикнул оставшимся на пристани: „кто не кричал „ура“ и не снимал шапок, те проклятые жиды!“

По отъезде из Казани Илиодор продолжал высказывать неудовольствие на духовенство, которое его не поддерживает, говорил про предпринятое им великое дело „обновления России“, заявляя, что ему нужно сочувствие не духовенства, а народа, который тогда сам предаст такое духовенство анафеме. Около села Лыскова паломников встретила группа членов нижегородского союза русского народа, поднесла ему хлеб-соль и икону. Илиодор произнес патристическую речь на тему объединения для того, чтобы сбросить ненавистное иго жидовское и иго русских крамольников и изменников и очистить от них Россию, и приглашал всех на великую беспощадную борьбу со всеми врагами веры, царя и русского народа.

В Нижнем-Новгороде торжественной встречи не было, и паломники сами проследовали в процессии со знаменем к памятнику императора Александра II. Здесь среди своей речи Илиодор приказал полиции немедленно убрать нескольких неизвестных, по его словам, — „жидов“, и последние удалились. После того Илиодор посетил местного епископа, обменялся с ним речами и проследовал в дом губернатора, произнес ему приветствие, а паломники пропели „многая лета“. Начальник губернии благодарил их за внимание и пожелал счастливого пути. После молебствия в соборе сделалось известно, что в Нижнем-Новгороде паломникам никто не приготовил не только обеда, но даже и чая. Это вызвало сильный ропот паломников против нижегородцев и самого Илиодора, который, однако, успокоил их обещанием хорошего обеда в Арзамасе, куда они и выехали 15 июля.

Пребывание паломников в Сарове не было отмечено ничем особенным. На обратном пути в Нижнем-Новгороде они были встречены чиновником губернатора, большим нарядом полиции и местными союзниками. От губернатора им был предложен обед, а сам Илиодор и 12 избранных им лиц были приглашены к обеду в Ярмарочный дом. Во время речи Илиодора на станции паломниками был схвачен, слегка избит и приведен к иеромонаху помощник начальника станции Львов, засмеявшийся во время речи. После внушения Илиодор его отпустил, но обиженный заявил жалобу полицеймейстеру и жандармскому полковнику. Во время шествия в архиерейскому дому Илиодор кричал на публику: „Шапки долой! Святая Русь идет! Идет сам бог во многих лицах“. Около десятка подростков из паломников особенно безобразничали. Преосвященному Иоанну иеромонах жаловался на арзамасское духовенство, которое будто бы умышленно попряталось при его приходе, и владыка отнесся к этому несочувственно. Когда паломники со знаменами прошли, по приказанию Илиодора, по ярмарке, многие из жителей были возбуждены и ругали их за шум, беспокойство и демонстрацию, задевали и оскорбляли паломников, которые тоже не оставались в долгу, но усиленный

наряд полиции предупредил возможность открытого столкновения. На балконе Ярмарочного дома Илюдор высказал губернатору приветствие и произнес горячую патристическую речь. На пристани паломники были сопровождаемы криками „ура“, в которых принял участие и начальник губернии, приветственно махавший фуражкой.

В Казани Илюдор совершил литию на могиле убитых при взятии Казани и произнес анафему всем богоотступникам, клятвопреступникам и „жидам“, а в произнесенных речах, несмотря на более торжественную встречу его, нежели в первый раз, отметил безразличное отношение местного духовенства к своим обязанностям; оно не видит постепенного завоевания православия еврейством и просит святые мощи, как просило чудотворную икону. Эти же суждения он высказал и самарскому губернатору на возвратном пути через Самару, и здесь же, убедившись, что собор заперт, сказал: „Дверь заперта! Архиерей спит! Попы наши спят в то время, когда мы возвращаемся от мощей преподобного Серафима. Спят на шелковых подушках и мягких перинах в то время, когда враги наши не спят. И они проспят! Храм этот будет разрушен язычниками-китайцами, и если не будет разрушен, то в нем, вместо святыни, будут поставлены идолы, и храм делается идольским капищем, и здесь водворится дракон“.

Во время шествия по г. Самаре произошло несколько столкновений с прохожими, у которых паломники и один раз сам иеромонах Илюдор сбивали шапки; не желавшим снимать шапки Илюдор грозил арестом, каковая мера и была принята в отношении нескольких лиц. Во время речи у собора Илюдор увидел стоявшего вдали на тротуаре человека в шапке и крикнул ему на всю площадь: „Негодяй! Сними шапку, или она слетит у тебя вместе с головой“. Повернувшись затем в другую сторону, он крикнул: „Перестань зубоскалить, дурак, или я тебя арестую“. В третий раз он крикнул, обращаясь к полиции: „Полиция! Чего вы смотрите? Видите, там за нарисадником стоит кто-то в шапке. Пошлите конного стражника и заставьте снять шапку“.

Пройдя по улицам города с пением и криками „ура“ к тому месту, где был убит губернатор Блок, Илюдор начал рассказывать историю убийства. Неподалеку, шагах в 60, находился большой 3-этажный дом, и Илюдор заметил, что сидевшие на балконе 3-го этажа какие-то три господина смеялись во время произносимой им речи. Илюдор сейчас же крикнул: „Полиция! Приведите сейчас же ко мне вон тех трех человек с балкона 3-го этажа, иначе я не сойду с этого места. Я хочу знать, что это за люди. Ишь ты, забрались высоко и думают, что мы их не достанем“. Минут через 20 через огромную толпу народа и богомольцев к Илюдору полицейские подвели трех сидевших на балконе человек, которые низко кланялись Илюдору и просили прощения. „Кто вы такие? православные или нет“, спросил Илюдор. Один ответил: „Я католик, простите, батюшка“. „Врет!— вскричал Илюдор,— католик никогда не позволит себе смеяться над русским священником. Ты, верно, русский, православный, безбожник и коммунист!“

Все трое сознались, что они действительно смеялись над речью Илюдора и над флагами, но смеялись по глупости своей и молодости, и просили простить их, что Илюдор не исполнил с согласия богомольцев; но не успели эти провинившиеся отойти, как Илюдор заметил какого-то толстого, огромного роста мужчину, который стоял на тротуаре и не снимал шапки. „Взять его“, — закричал Илюдор. К торговцу бросилось несколько человек городских, богомольцев и священник Михаил Егоров, но скоро взять его не удалось: он оказался сильным человеком и долго защищался от нападавших. Все-таки его одолели и повели в участок. Во время борьбы на нем изорвали в клочья пиджак и рубаху.

В г. Вольске, 26 июля, на пути с паломниками на пристань, Илюдор, заметив сидевшую на крыльце своей квартиры, с ребенком на руках, жену земского начальника г-жу Коломенцеву, крикнул ей: „Святая Русь идет!“ и приказал ей встать, а когда она этого не исполнила, трижды назвал ее „дурой“ и приказал стражнику узнать ее фамилию. При дальнейшем движении процессии один из паломников-мальчиков сбил фуражку с прапорщика запаса Волкова, а когда последний вновь ее надел, веромах Илюдор крикнул: „Бей его, мерзавца“, и два паломника тотчас нанесли Волкову удары палками. На площади паломники сбили шапку с присяжного поверенного Виноградова, за которого вступился жандармский полковник Тюфяев и уговорил паломников не трогать его. Далее встретился профессиональный борец Корень, которому паломники предъявили требование снять шапку и даже толкнули его. Корень не обратил на это внимания, и тогда Илюдор сам подошел к нему с этим требованием, и хотя Корень таковое исполнил веромах потребовал, чтобы его отправили в участок. Видя вполне корректное поведение Кореня, Тюфяев посоветовал околоточному оставить его в покое и позаботиться, чтобы паломники не оскорбляли горожан. Тогда из толпы раздались возгласы: „Взять его (подл. Тюфяева) для выяснения личности!“ Затем одна старуха паломница сбila флагом шапку с ученика технического училища Орлова, другая — с портного Дубинина, а когда последний снова ее надел, то получил от паломника удар по затылку. Три паломницы палками сбили фуражку с поселенца Громет, а встречный татарин Акчурин вынужден был обнажить голову по настоянию Илюдора и под угрозами паломников. С крестьянина Жибунова одна монахиня сняла шапку. Инженер-механик Волков не был принят на парход, на котором ехали паломники, и когда, идя с пристани, стал громко выражать на это свое неудовольствие, паломники погнались за ним, но Волкову удалось скрыться на соседней пристани. Перед отъездом Илюдором была провозглашена, а хором трижды пропета анафема „всем жидам, богохульникам и клятвопреступникам“.

В Саратове, следуя с пристани в торжественной процессии, Илюдор крикнул: „Расчистите дорогу! Долой дураков! Русь идет! Дорогу ей, дорогу!“ и возгласил анафему „изменникам, крамольникам, богохульникам и повзломникам асвономанского страшного во всем мире — Льва“. На пути он приказал арестовать „мерзавца“ — рабочего, сидевшего в шапке, но тот успел

скрыться. Когда в окне одного дома показалась дама с лаявшей собачкой паломники закричали: „долой с окна“, а Илиодор:— „Жиды пархатые! Русь идет! Всем жидам анафема“.

По адресу пассажиров трамвая он закричал: „Снять шапки! Стекла разобьем“, после чего все обнажили головы. Свои возгласы он особенно усиливал против редакции газет, проклиная жидов и поклонников Л. Толстого, а у ресторана „Северный Полюс“ он закричал: „Сейчас я видел, как один ударил нашу женщину: она велела снять шапку мерзавцу. За мной, дружина № 1“. Затем он с дружинниками вбежал в ресторан, вытащил оттуда молодого человека и передал полиции, но никаких улик против задержанного не оказалось, и он немедленно был освобожден. Известный церковный благотворитель купец Никитин смотрел из окна на процессию в бинокль и, несмотря на протесты Илиодора, не отнимал бинокля от глаз. Жена его знаками объясняла, что муж плохо видит. Тогда о. Илиодор крикнул: „Если не отнимешь бинокля, в твои окна полетят камни“, а когда ему разъяснили, кто такой Никитин, он более мягко сказал: „Все равно, в бинокль смотреть нельзя“. Курившему папироску содержателю ресторана Потемкину он крикнул: „Брось папироску, не видишь, что ли, Русь идет, православный дурак“. Здесь же в Саратове 10—12 человек типографских рабочих сговорились устроить враждебную Илиодору демонстрацию и собрались, около 6 часов вечера, к архиерейскому дому, где в это время находился иеромонах. Вскоре из толпы его поклонников выскочил человек и вымазал дегтем или нефтью лицо сотруднику „Саратовского Вестника“ Мирославу (бывший диакон). Часть вышеупомянутых рабочих хотела помочь Мирославу, но была избита поклонниками Илиодора. Тогда рабочие собрались на пути иеромонаха к пристани и стали свистеть. Иеромонах назвал их хулиганами и мерзавцами, а паломники безуспешно пытались переловить этих рабочих. Впоследствии рабочие высказывали недовольство тем, что правительство позволяет приверженцам Илиодора делать всё, что вздумается, а их, рабочих, не защищает от произвола хозяев. По негласным сведениям, инициатива этого поступка принадлежала Илиодору, а исполнителями были послушники Савва, Лапин, Соколенко и еще двое. Машинка была сделана из флажков. Виновных установить не удалось, но на пароходе Савва и Лапин поспорили, каждый приписывая себе этот поступок, и закончили дракой. Около Приволжского вокзала (место для гулянья и ресторан) о. Илиодор произнес анафему „сему месту разврата, всем живущим там блудницам, соблазнительям и попустителям“, а когда публика, смотревшая из вокзала, смеялась, он угрожал ей карой божией.

В Царицыне при торжественной встрече, после патристической речи, Илиодор закричал по адресу трех смеявшихся молодых людей: „Не смеяться! Вон отсюда, жиды проклятые! В участок отправлю“.

29 июля Илиодор выехал в Москву и при проводах заявил почитателям, что едет доканчивать важное предпринятое им дело, от успеха которого вся Русь зазвонит в колокола от радости (попытка обнаружения похищенной чудотворной иконы), что затем он едет на всероссийский конгресс для реше-

ния вопроса, как скорее разделаться с русскими нехристями, безбожниками и жидами; место конгресса он не указал, но заявил, что, возвратясь из Сарова, уже получил 27 угрожающих писем. Затем он представил слушателям свою „охрану“ — полуграмотного послушника Савву, который, потрясая браунингом, кричал, что умрет, но не выдаст „батюшку“. Здесь же произошло несколько столкновений с лицами, не снимавшими шапок, и по просьбам Илиодора жандармы записывали их фамилии.

В Москве иеромонах пробыл до 2 августа и между прочим, с разрешения властей, посетил в пересыльной тюрьме каторжника Кораблева, осужденного по делу о похищении иконы казанской божией матери, а 4-го вернулся в Царицын, где к его приезду на вокзал была доставлена особая секира на длинном шесте. Послушник Савва бессвязно рассказывал собравшимся о каких-то фантастических покушениях на Илиодора в пути, а сам он еще раз заявил о предстоящем — высокого значения — событии и о том, что был в течение двух часов за границей на „конгрессе“ представителей православных людей всего мира, вынесшем постановление об обуздании крамольников, безбожников и жидов. Против этих же врагов, как оказалось, была изготовлена и помянутая секира. С вокзала Илиодор торжественно проследовал в подворье, при чем во главе шествия несли эту секиру. На подворьи Илиодор вновь произнес речь, а Савва, по его приказанию, бессвязно описал посещение Илиодором „конгресса“ при самой фантастической и невероятной обстановке и о бывших опасностях для батюшки.

7 августа, явившись с торжественной процессии на собеседование протоиерея Смелова с баптистами, Илиодор произнес речь, в которой, отметив осмеяние либеральной прессой поездки его в Саров, рекомендовал хулителей бога и веры, согласно указанию апостола, бить, ибо от такого поступка рука освятится.

8 августа иеромонах с 150 певчими ездил, по приглашению, в Сарептский затон к подрядчику Синицыну, который, между прочим, жаловался, что его обижают начальники дистанции и станции, передавшие все подряды жидам и полякам, и что его рабочих бьют, а жандарм, которому об этом делались заявления, бездействует. Илиодор обещал это дело разобрать. После молебна он произнес речь на ту тему, что революционеры сбивают с пути рабочих и губят их и что не надо слушать жидов и поляков. По соседству в лесу был изготовлен трехсаженный стяг, сноп осоки, ветка и хворостина, и Илиодор заявил, что на втором „конгрессе“ решили жидов и безбожников не убивать и не вешать, а бить их стягом, вязать осокой, выметать веником, а хворостинкой — бить по морде. На станции Елшанке в присутствии рабочих Илиодор высказался, что жидов и русских дураков он посадил бы в вагон и повез бы в Черное море топить. 6 августа в речи на подворьи иеромонах говорил о необходимости решительной борьбы с врагами и хулителями веры, не понявшими значения саровского подвига, заявив, что на помощь синода рассчитывать нечего, а духовенство бездействует, и что надо безбожников брать за головы и стучать ими о землю. В толпе раздались крики: „вешать их надо“.

11 августа при посещении Илиодором в сопровождении 56 человек главным образом женщин, одного своего поклонника—содержателя бахчи, для молебствия, его телохранитель Савва выпустил в одном из садов в цель 40 пуль из браунинга, но ни одной не попал. Иеромонах Илиодор остался этим недоволен и высказался, что Савве необходимо напрактиковаться. На обратном пути он разделил своих спутников на две партии и устроил им „сражение“ арбузными корками и частями подсолнуха. По приходе в монастырь Илиодор с балкона сообщил собравшимся, что из Петербурга получена телеграмма о том, что по поводу паломничества в Саров для них всё кончилось хорошо, а по его уходе послушник Савва с своей стороны обратился к ходившим на бахчу и благодарил их за подвиг. Это вызвало смех, и в него начали бросать арбузными корками и подсолнухом. 12 августа после вечерни послушник Савва стал говорить о неприличном поведении слушателей, но речь его была слишком бессвязна и в ней постоянно слышались слова: развратницы, стервы, дураки, дуры и т. п. Присутствовавшие подняли крик, а бывший тут же Илиодор заметил им, что Савва сказал очень резко, но верно, и его, как будущее духовное лицо, обижать нельзя. Тогда начали кричать на самого иеромонаха и требовали, чтобы это не было напечатано в газетах. Илиодор начал было кричать на подступавших к нему, но видя, что его не слушают, потребовал от бывшего там сотрудника, чтобы он в газету сведений не давал. По уходе Илиодора в келью, ссора продолжалась, а затем кончилась дракой Саввы с одним из мужчин, во время которой брат Илиодора вступился было за Савву, но по его адресу посыпались угрозы и сам он едва не был избит. Описанный случай возмутил поклонников Илиодора, и многие из них тогда же заявили, что в монастырь они ходить не будут.

15 августа после литургии, в присутствии Илиодора было установлено символическое изображение революции в виде дракона очень больших размеров; он произнес речь, в которой объяснил, что это сделано по примеру древних христиан, которые жгли идолов, чтобы доказать их бессилие и беспомощность. Теперь так же хорошо поступают со всеми безбожниками, революционерами и жидами, но когда они прячутся, то пусть жгут их изображения: этим будет доказана их беспомощность, и это будет равносильно их уничтожению. После этих слов иеромонах уехал, а приверженцы его, брат Аполлон (Труфанов) и телохранитель Савва, надрываясь, говорили над драконом речи. Труфанов объяснил символическое значение дракона как олицетворение революции, в утробе которой находятся „все жида, газетчики, вроде Булгакова и его сотрудников, толстовцы, октябристы, все безбожники, вся революционная дрянь и все враги православного русского народа“. Савва, в звании палача, прочел особый смертный приговор дракону, написанный на красном картоне, и после этого тучело было обито керосином и сожжено. Пока тучело разгоралось, Аполлон Труфанов кричал: „Смотрите, как я плюю на него!“ и бил тучело ногами. Бил его ногами и Савва и кричал „анафема“. Этот крик был подхвачен детьми и множеством народа. Послышалась разная

ругань, свист, хохот, гоготанье, исступленные крики, мальчишки и взрослые сталкивали друг друга в овраг и при невообразимом шуме и гаме соломенно-картонное чучело сгорело до основания ¹⁾).

23 августа неромонах Илиодор вернулся в Царицын, и в тот же день брат его Аполлон Труфанов, в присутствии самого неромоната, объяснял народу цель этой поездки. По его словам, эта поездка не имела ничего таинственного, и описания жидовских газет были ложны, но цель ее была важная, о чем своевременно узнают все. С батюшкой ехали 56 человек своих людей; газетные известия о том, что будто бы в Ростове-на-Дону Илиодор предполагал летать на аэроплане с авиатором Занкиным — ложь; но действительно, избранные от народа из разных местностей союзники прибыли туда и привезли два аэроплана и предлагали Илиодору улететь из Ростова-на-Дону ночью, чтобы ни газетчики, ни администрация не могли узнать, куда он направится. Илиодор будто бы отказался лететь в виду опасности этого спорта и отсутствия у него права рисковать своею жизнью, но он — Аполлон Труфанов — рискнул полететь, хотя и не с Занкиным, а с другим авиатором с юга, и, когда поднялся на страшную высоту, то ему открылась такая картина: все губернаторы, вице-губернаторы и разные большие чиновники были маленькие-маленькие — чуть видать, а полицеймейстеров, исправников, приставов и других чинов полиции вовсе не было видно; истинно-русские православные люди казались огромными, великими, и на их лицах было написано выражение: „бей жидов“, и от них жида и русские безбожники разбегались по сторонам, как собаки. „И дай бог, чтобы так было в самом деле“, сказал Труфанов. Далее рассказчик описал поездку Илиодора из Ростова-на-Дону в один из южных городов на второй „конгресс“. Ехал он туда в отдельном вагоне с 50 лучшими русскими людьми, которые затем разъедутся по России и будут готовить русский народ к тому, что им приказано будет делать на конгрессе. (Очевидно — третьем и последнем, на который, по словам Труфанова, предполагал ехать нером. Илиодор и лично рассказать о нем народу). В большом городе в огромном красном здании, в „зале секретных совещаний“ батюшка участвовал с 12-ю замаскированными и одной женщиной в заседании за черным столом с золотыми вистами. На столе было 13 пирамид, и в каждую из них были воткнуты по 4 ножа, один из которых был красный, и по предложению председателя все дали друг другу страшную клятву „бить жидов и русских дураков“. В это время спустившееся с потолка черное покрывало накрыло всех, но и под ним долго еще шло совещание, исключая Илиодора, который стоял в стороне. Решили жидов и русских дураков мазать, в виде наказания, смолой, но Илиодор сказал, что смолы на них не хватит, и лучше жидов прогнать из России, и тогда русские дураки сами присоединятся к православным. После этого все разошлись. Весь этот нелепый рассказ Труфанова слушал сам Илиодор.

¹⁾ В этот же день на подворьях Труфанов и Савва публично читали стихотворение-легенду „Сотворение жидов“.

17 августа саратовский губернатор, препроводив директору департамента полиции сообщение местной железнодорожной жандармской полиции о беспорядках, учиняемых поклонниками Илиодора на Царицынском вокзале во время проводов Илиодора, и стеснениях от них обычным пассажирам, просил мнения директора департамента относительно образа действий местной администрации, ибо, с одной стороны, поведение окружающей неромонаха разнузданной и никому не повинующейся толпы нетерпимо, а с другой—всякие активные действия по отношению к ней неизбежно вызовут крупные осложнения, которых и добивается Илиодор. Губернатору сообщено, что ему следует обратиться к еп. Гермогену, чтобы он повлиял на Илиодора в смысле недопущения таких проводов и скопления народа на вокзалах.

К концу августа под влиянием речей и деятельности Илиодора среди населения возникли слухи о возможности насилий над евреями и некоторыми интеллигентами, а явившаяся к губернатору депутация (член Государственной Думы Розанов, лесоторговец Максимов и присяжный поверенный Федоров) выразила опасения за возможность погрома. Появился слух о предполагаемом сожжении 29 августа на площади пред монастырем чучела еврея, а 28-го там был выставлен с особой надписью ¹⁾ тот помазок (квач), которым было испачкано лицо репортеру Мирославу, а когда этот помазок был, по распоряжению губернатора, снят, на его месте была помещена ироническая надпись, что помазок взят „приставом 3 части, конными и пешими городовыми после решительного боя“, чего в действительности вовсе не было. Принять губернатора и чинов полиции Илиодор решительно отказался. Приняв свои меры и телеграфируя об этом в министерство, губернатор добавил, что предотвратить опасные выступления Илиодора он лишен возможности.

Предложив по телеграфу губернатору принять, под личною его ответственностью, все меры к недопущению беспорядков в Царицыне, с указанием на возможность обращения к содействию войск, т. сов. Лыкошин передал об изложенном по телеграфу в Киев статс-секретарю Столыпину, который письмом от 30 августа сообщил об этом обер-прокурору св. синода. В виду сего д. т. сов. Саблер послал преосвященному Гермогену следующую телеграмму: „Официальные сведения о сожжении иером. Илиодором в Царицыне близ монастыря некоторых аллегорических эмблем и о произнесении им по сему поводу соответствующих речей весьма смущают меня. Эти поступки могут

¹⁾ Надпись эта следующая: „Не трогать! Внемлите и дивитесь народы! Сей знаменитый квач найден в Саратове в саду архиерейского подворья, которым в лето сие был вымазан один из сотрудников саратовских газет, отставной, выгнанный дьякон Мирослав; сей квач выставлен на прославление истинно-русских православных людей и на посрамление газетных стервятников, жидов и русских дураков-безбожников, так как они печатали в газетах клевету на нас, православных людей, что квач был сделан из национального флага, в действительности же он сделан из простой тряпки; квач этот будет показан во многих городах России. Трепещите и целуйте квач, жиды, русские дураки-безбожники и вся сволючь присная им“.

О волнении среди царицынских жителей в связи с деятельностью Илиодора сообщал 2 сентября и начальник Саратовского губ. жанд. управления.

вызвать толпу на насильственные действия, нарушающие столь необходимый для нашего многострадального отечества мир и роняющие авторитет церкви, непрестанно молящейся о мире всего мира. Не отрицая пользы, принесенной в свое время Илюдородом недостаточно просвещенному населению города Царицына, тем не менее признаю необходимым просить вас принять решительные меры к разъяснению ему безусловной нетерпимости всяких выступлений и речей, направленных к возбуждению страстей. Бороться с идеями, враждебными церкви, царю, родине, нужно только средствами законными и дозволенными св. церковью. Уличных демонстраций, роняющих авторитет церкви, нужно всемерно избегать. Нарушение порядка, ими причиняемое, повлечет за собою тяжелую ответственность для всех совершающих их, а равно и для попустителей оных. Орудия, употребляемые церковью с сего целью, давно известны. Молитвою, поучением и примером собственной подвижнической жизни можно, подражая праведникам, богу угодившим, утверждать православных в знании истин св. веры и вразумлять заблудших, утративших спасительный путь к вечному блаженству. Убедительно прошу вас вразумить Илюдора не нарушать церковного и общественного мира выходками, возмущающими благодатную тишину церковной жизни и вносящими смуту в годину, когда все силы земли Русской призываются державною волею возлюбленного монарха к мирному строительству во славу Божию и на пользу нашего дорогого отечества". Копия этой депеши сообщена департаментом 15 сентября саратовскому губернатору.

По поводу уборки полицией выставленного квача, Илюдор 28 августа сказал народу, что сам он сидит в келье и ничего не знает, что делается за стенами монастыря, но от многих посторонних слышал, что „сегодня наш пристава со стражниками и городовыми напал на этот квач; они рубили шест топорами, хотя можно было легко рукой выдернуть, повалили на землю и, как какую-нибудь драгоценность, унесли погавый квач на своих плечах в участок. Вот до какого позора и срама дошла наша полиция!" Далее Илюдор рассказал, что он не принял пристава и полицеймейстера, которые хотели с ним видаться. „Чувствовало мое сердце, что они хотят говорить со мной о какой-нибудь глупости. Так оно и вышло. Оказалось, что жида и разные безбожники распустили по городу слух, будто бы в монастыре сделали жида. Так вот об этом вздоре хотели они со мной толковать и здесь этого жида разыскивали".

30 августа во дворе монастыря был подвешен деревянный револьвер на красном шнуре, а над ним картон с такою приблизительно надписью: „Револьвер. С этим револьвером послушник Савва ездил в Москву, гонялся за жидами, газетчиками и тыкал жидовке в морду; отъезжая из Царицына он показывал его по всему городу и из окна вагона, истинно"... Выйдя из храма, Илюдор похвалил искусное изображение револьвера, заставил брата громко прочесть эту надпись и добавил: „Пусть проклятая полиция и жандармы удостоверятся, а то они думают, что у Саввы был настоящий браунинг". Взойдя затем на эстраду, он сказал, что в газетах пишут, будто бы „квач" сделан в монастыре. В виду этого он посылал к полицеймейстеру за квачем,

но тот его не выдал, как вещественное доказательство. „А я, грешный, думаю, — продолжал иеромонах, — что это не так: квачу этому будет почет: полицеймейстер и Булгаков поставят его в почетный угол и будут ему кланяться и даже целовать. Я просил депутатов узнать, кто нашел этот квач в архиерейском саду, кому он был передан и для чего доставлен в Царицын. От тех, кто нашел квач, будет взято удостоверение, которое я засвидетельствую у нотариуса, потом выберу ученого человека, и тут они узнают, кто сделал квач“.

По получении в Царицыне известия о покушении на статс-секретаря Столыпина, начальник Царицынского отделения жанд. полиц. управления послал унтер-офицера в монастырь к Илиодору с просьбой прислать иером. Гермогена отслужить благодарственный молебен. Посланному Илиодор ответил буквально следующее: „Передай своему начальнику, что за врагов божиих и за врагов церкви христовой сам молиться не пойду и никого не пошлю“.

Обо всех приведенных событиях, образе жизни Илиодора и возникшем вследствие сего возбуждении населения г. Царицына саратовский губернатор письмом от 10 сентября сообщил обер-прокурору св. синода, причем отметил крайнюю нежелательность тенденциозных выступлений духовной власти против светской. В виде примера он привел случай, когда еп. Гермоген, отправив на имя д. т. с. Саблера депешу, совершенно неправильно освещающую положение дел в Царицыне, полностью поместил ее в газете „Волга“, откуда она была перепечатана другими газетами, а 4 сентября тысячами раздавалась в местных храмах. В качестве доказательного материала губернатор препроводил обер-прокурору свят. синода сообщение местного прокурорского и жандармского надзора о возникшем в Царицыне сильном брожении, панике среди евреев и ожидании погрома и беспорядков в связи с действиями Илиодора и повышением цен на хлеб, и приложил рапорт царицынского полицеймейстера от 2 сентября по поводу беседы Илиодора 29 августа, в которой он разъяснял своим слушателям следующее:

1) никаких поездок на конгрессы вовсе не было, а всё это было придумано Саввой и братом Аполлоном (равно как и полет последнего на аэроплане), несколько прикрашено самим Илиодором и с его разрешения рассказано толпе только для того, чтобы выяснить, много ли на Руси дураков: их оказался непочатый угол, ибо неленные рассказы подхватила жидовствующая печать, и все газеты поверили им, не поверили же только истинно православные люди. „Вот, видите (заключил Илиодор), как все образованные оказались дураками. О, несчастный русский народ, какие дураки тобою руководят!“

2) Ему помешали сделать великое дело — обнаружение св. иконы Казанской божией матери — с одной стороны жида и безбожники, а с другой — высшие духовные и светские власти. Последние виноваты в том, что не запретили газетам клеветать на него и на истинно-русский народ: его самого газеты называли „сумасшедшим“ и „хулиганом“, а окружающий его русский

народ — „разбойничьей бандой“. „Разве это не обида, разве это не оскорбление? Все это дело рук Вулгаковых, Федоровых, Филимоновых, Максимовых и др. Разве вы хуже их? Они ругают вас хулиганами, оскорбляют ваших жен и дочерей скверными словами и всячески поносят вас. Говорят, что Илюдор подстрекает вас на погромы. Нет! Илюдор никогда вас этому не учил, он никогда не прольет и не позволит пролить кровь, ибо приносит богу бескровные жертвы. А если погромы будут, то в них будет виноват не Илюдор, а сами жида и русские безбожники“. При этом Илюдор сравнил русский народ с проснувшимся Ильей-Муромцем. „Так смотрите же, безбожники, когда русский народ пойдет на вас, — говорю это открыто, при полиции и жандармах, — вам будет плохо, но виноват в этом будет не Илюдор, — он предупреждал вас, — а будете виноваты вы сами. К вам, Вулгаковы, Федоровы, Максимовы, обращаюсь: не издевайтесь над простым русским народом, не пейте из него кровь, а то будет вам плохо, будет беда вам“.

3) Гидра революции сделана и сожжена не для потехи, а для более серьезной цели. „Глядя на гидру, мне вспомнился 1905 год. Страшное это было время. Сколько погибло тогда невинных людей. А все из-за кого? Да все из-за проклятых жидов“. Обращаясь засим к стоявшим чинам полиции, потрясая и стуча по эстраде посохом, Илюдор начал громко кричать, „Мало ли вас били тогда, мало ли поубивали и порасстреляли, а вы все еще стоите за жидов!“. Далее он объяснил, что поля Манчжурии залиты русской кровью, а дно Цусимы усеяно телами русских — тоже из-за жидов, которые, вместо провианта и снарядов, поставили на войну камни и песок и проповедывали в войсках и народе революцию. Тюрьмы переполнены русской молодежью, которая в большинстве кончает чахоткой и виселицей, тоже из-за жидов и русских изменников. „Об этих несчастных мне рассказывал один жандармский полковник, — не думайте, что все полковники — Семигановские, — есть и лучше. По словам этого полковника, из семидесяти восьми казенных только один умер спокойно. Он перед казнью перекрестился и сказал: „я не виноват, что меня обманули жида“. Иные же при этом кричали, что жить хотят, а не умирать, и хватались за землю. После всего этого вы видите, что гидра не шутка. Сжигая гидру, русские люди как бы сожгли революцию. Сожжение гидры революции было неприятно „жидам“, и они о нем не обмолвились ни словом, сделав вид, что не замечают этого случая, но в действительности лгут, и на будущий год Илюдор обещает устроить столь торжественное сожжение такой же гидры, что на него съедутся из других городов и даже государств.“

4) Выставление квача также не шутка: как развратным женщинам в деревнях мажут ворота дегтем, так и литературным развратникам мажут дегтем морды, но полиция не дала русским людям оправдаться перед жидовскими газетами в том, что квач был сделан не из национальных флагов, а из тряпок, и торжественно унесла его в участок. „Скажите, православные, разве это не позор для полиции? (Все закричали: „позор!“). Ведь этим поступком чины полиции, как представители власти, унизили себя, а власть,

как данная от бога, должна стоять на высоте своего призвания. В виду этого я смело могу назвать полицию „изменниками“ и „клятвопреступниками“, и за это их следует наказать“. (Все закричали „верно!“). „Значит, следует наказать?“ (Толпа кричала: „следует“, „следует“ и раздавались голоса: „полиция — мошенники“). Отдав затем должное правомерности действий полиции по составлению протокола на брата Савву за ношение оружия без разрешения, Илиодор высказал, однако, укоризны по ее адресу за отсутствие ее при возвращении его с паломниками в Царицын, пожалел, что священникам не дано права составлять протоколы на непосещающих (губернатор, полицеймейстер) храма и привлекать их к ответственности отлучением и покаянием и, сообщив о получении им со дня возвращения из Сарова 1002 угрожающих писем, об отказе (без объяснения причин) полицеймейстера в разрешении приобрести револьвер для защиты монастыря, о напечатанном в „Царицынской Мысли“ ложном известии о том, что иеромонах Илиодор привез с собою из Саратова 500 тысяч рублей, и о полученном угрожающем письме, в котором было сказано, что полиция знает каждый его шаг и стоит на стороне лиц, имеющих покуситься на его жизнь, — сделал заключение, что записка эта напечатана для того, чтобы привлечь в монастырь разбойников, а полицеймейстер — поляк и покровитель жидов и безбожников, — намеренно не дал разрешения на хранение револьвера, чтобы избавиться от него, Илиодора. „Теперь, — заключил он, — я полиции боюсь и ей не доверяю, ибо она на стороне злоумышленников, но если она даст мне доказательство в опровержение письма, я этому буду рад и разрешу ей ходить в монастырь, а пока это не выяснится, я с нынешнего дня воспрещаю ей ходить в монастырь. Слышите? (обращаясь к околоточному) передайте полицеймейстеру всё, что я сказал“. После этого и ссылаясь (вопреки действительности) на расположение монастыря в глухом месте и на удобство для революционеров проникнуть туда и убить иеромонаха, якобы в целях грабежа, Илиодор поручил себя немедленной охране своей паствы. „Камня на камне не оставим и расправимся с полицией, расправимся с находящейся здесь полицией“, — послышались крики из толпы; произошло смятение, некоторые бросились к воротам, но Илиодор всех остановил и успокоил их словами: „Ни слова, стойте на местах и ничего не делайте!“

5) По поводу вооружения своего телохранителя иером. Илиодор снова заявил, что револьвер был у него деревянный, хотя полиция и составила на него протокол, и сделан был для острастки врагов. (При этом Савва демонстрировал перед слушателями два деревянных браунинга, а Илиодор приказал тут же передать один из них околоточному надзирателю). Для той же цели брат Илиодора — Аполлон на Волге купил, по его приказанию, несколько „пугачей“ и около Камышина несколько раз выстрелил ими из окна каюты в воздух. Илиодор полагает, что эти выстрелы спасли ему жизнь, так как перед тем его предупреждала одна старуха, что его хотят убить. После этих слов Илиодора брат его тут же с эстрады произвел, для примера, шесть выстрелов из „пугача“. В этой же речи Илиодор оправдывал себя в вышеописанном

столкновении его с купцом Никитиным, при чем рассказ слушателям, что эти якобы „высокообразованные“ и „интеллигентные“ супруги были когда-то ярмарочными и уличными паяцами, а затем рассказал о разбившемся у городского судьи деле по обвинению двух паломниц в оскорблении двух „безбожников“, из которых один служит в городской управе. По словам иеромонаха, безбожники сами оскорбили паломниц, но выставили подкупленного свидетеля, не говорившего по-русски, а судья, увидев на одной из обвиняемых значок союза русского народа, пришел в ужас, закричал на них и, не разобрав дела, осудил под арест одну на месяц, а другую на два. Илиодор просил слушателей защитить этих женщин и обещал, если взяться за это дело и разобрать его, доказать судье-безбожнику, кто на Руси есть царь и праведный судья для бедных людей. „Вообще,— сказал он,— судьи мне известны, ибо каково иметь дело с судьями неправедными и безбожниками, я испытал на собственном горбу“. В заключение иеромонах убедительно просил слушателей не покупать резиновых калош с изображением императорской короны и св. креста, чтобы не попираť ногами этих святынь, и здесь же, по его предложению, была выбрана депутация к преосв. Гермогену с ходатайством о выяснении истины и о защите Илиодора от угрожающей его жизни опасности.

Довода об этом одновременно до сведения министерства внутренних дел, саратовский губернатор добавил: 1) что в последнее время Илиодор усиленно агитирует против местной полиции, приписывая ей намерения избавиться от него путем убийства, и на этой почве тремя последователями его послана телеграмма прокурорскому надзору, и хотя несомненно это клевета, строго рассчитанная и имеющая известную цель, тем не менее прокурорским надзором производится расследование; 2) что 4 сентября иером. Илиодор в присутствии еп. Досифея и массы народа оскорбил полицеймейстера, назвав его кощунником, а городского голову — безмозглым, о чем губернатором сообщено прокурору окружного суда, и 3) что явившийся 7 сентября ко всенощной, на основании ст. 10 Уст. о пред. и прес. прест., полицейский наряд (околооточный и два городских) был по приказанию Илиодора насильно удален из храма при чем чинам полиции нанесено оскорбление действием. Губернатор распорядился главного руководителя толпы — бывшего пристава Попова подвергнуть аресту на 3 месяца, с задержанием его вне подворья и при отсутствии опасности столкновения с толпой, а кроме того, о данном случае сообщил прокурору на предмет возбуждения предварительного следствия.

Эти сведения сообщены обер-прокурору св. синода в письме генерал-лейтенанта Курлова от 22 сентября.

По донесению полковника Семигановского, после вышеприведенной речи Илиодора 29 августа, толпа с шумом стала расходиться, при чем большинстве разбилось на отдельные кучки, на ходу обсуждая только что слышанное. То в одном, то в другом месте слышались отдельные возгласы: „Почутить бы их следовало! Я бы первый дал в зубы!“ — „А я бы глаза выцарапала за батюшку! В полиции все воры служат! Даже квач с площади украли!“

Жаль, батюшка не позволяет"... За воротами монастыря, шагах в 50 от стены, стоял пристав 3 части Бронницкий с каким-то надзирателем. Его окружила толпа богомольцев, исключительно женщин. Среди них к приставу многие стали придирались, с разными упреками по адресу полиции и полицеймейстера. „Зачем он батюшке не хочет дать револьвера?.. Если батюшку убьют, — вы все будете виноваты! Вот полицеймейстер заодно с газетчиками. Вы все нас обижаете, теперь стали обижать и батюшку". Пристав что-то им отвечал, а затем стал уговаривать расходиться, и толпа понемногу разошлась.

4 сентября во время крестного хода по городу иеромонах Илиодор произнес в разных местах несколько проповедей, в которых не скупился на резкие выражения и бранные слова: „Я вижу прачущиеся за занавесками от моего и вашего взора жирные, раскормленные лица богачей, безбожников и ложнообразованных людей. Они в своем духовном убожестве похожи на собак, поедающих собственную блевотину, и на свиней, роющих грязь в вонючей грязи". Указывая на отсутствие в крестном ходе богачей и интеллигенции и отмечая присутствие на нем только „бедных русских людей" и „простого русского рабочего народа", он назвал первых „идолопоклонниками", ибо они признают только материю, всё земное и тленное и стрицают все божественное, вечное. Далее он назвал интеллигенцию и богачей достойными, вместе с сатаной, проклятия за то, что они вечером в тот день соберутся на полеты авиатора, а проводя параллель между славой „святых" и „великих" людей, отметил, что „зверь" Лев Толстой уже совсем забыт, а безбожники и стервятники лишь изредка вспоминают о нем, когда жена и дочь проклятого страшного зверя Льва начнут таскать одна другую за волосы из-за дележа наследства, состоящего из проклятых и богохульных сочинений. Выразив, в заключение, благодарность полицеймейстеру и представителям городского управления за то участие, которое они приняли „в настоящем великом торжестве православной церкви" и за порядок во время крестного хода, Илиодор поинтересовался узнать, находятся ли тут полицеймейстер и голова, и когда оказалось, что их на крестном ходе нет, то он заявил, что в таком случае выскажет им другую благодарность, и назвал первого „кошунником", а второго — „головую без мозгов". „О позор, позор! Но кому позор? Нам всем, царцынским обывателям! Нам великий позор, что голова у нас без мозгов, а полицеймейстер кошунник. О, господи! Спаси, помилуй и избавь нас от таких голов и полицеймейстеров!

На беседе в подворье Илиодор прежде всего распорядился удалить полицию: „Прошу всех полицейских немедленно отсюда выйти. Я вам приказывал уже сюда не появляться, так уходите. Я не гоню вас пока в шею, а прошу уйти чеством". Жандармов он разрешил оставить, говоря, что „они нам не мешают", но просил удостовериться, нет ли переодетых сыщиков. За ушедшими чинами полиции ворота были закрыты на засов. Затем Илиодор прочел слушателям очень длинное прошение депутации „от 15000 прихожан" на имя преосв. Гермогена, в котором говорилось о смертельной опас-

ности иеромонаху от безбожников и полициѣмѣстера Василевскаго, и заявил, что депутация была принята владыкой очень милостиво, прошение привело его в великую печаль и уныние, но он в тот же день послал, куда следует, телеграмму о том, что царьцынская полиция вместе с стервятниками из „Царьцынской Мысли“ и др. безбожниками вошла в соглашение так или иначе удалить Илиодора из Царицына, не останавливаясь даже перед покушением на его жизнь; в заключение владыка просил, в лице депутатов, всех, не покладая рук, бороться с врагами-безбожниками. После этого Илиодор заявил, что полиция сочинила наглую ложь о „жиде“, будто бы сделанном в подворьи, которого она и разыскивала. (Об изготовлении чучела жида с красным носом и длинными пейсами распускали слух исключительно монастырские девушки-певчие). Спросив слушателей, видели ли они этого жида и слышали ли о нем, и получив отрицательный ответ, Илиодор продолжал: „Так вот, о жиде все выдумала жидовская газета и полиция. О подлые, подлые безбожники, стервецы! Эй послушайте, вы там...“ закричал Илиодор, махая палкой с крестом и голубем по направлению к запертым монастырским воротам, — передайте, что мы здесь еще сделали самого полициѣмѣстера и его помощника. А в каждой келье сделано по приставу и по околоточному надзирателю, и тоже скоро будем жечь их и вешать... О лгуны и безбожники! Позор вам, позор!.. Вам только и нравится всё живое и поганое. Вот, вам понравился квач. Вы его взяли и храните, как драгоценность. В Саратове этот поганый квач лежал в мусорной яме полтора месяца, и никто не обращал на него никакого внимания. А когда поганый квач этот попал в Царицын, — его полиция на своей спине отнесла в покои к самому полициѣмѣстеру, а когда наша депутация попросила квача обратно, то полициѣмѣстер ухватился за этот квач и кричит: „не дам, не дам!..“ (При этом Илиодор смеялся, держась за живот, смеялась и толпа). Как будто, у него хотят отнять какую-нибудь драгоценность!.. В газетах всё пишут, что в монастыре по ночам происходит непрерывная стрельба из револьверов и что от этого пугается, будто бы, всё окраинное население. Ах стервецы, безбожники! Да у нас всего только один револьвер, да и тот деревянный. Вот он висит на стене! Смотрите на него. У нас если и стреляли, действительно, то только для примера — из пугачей. Это пишут проклятые газетные безбожники по наущению нанявших их богачей, разных Максимовых и Филимоновых, чтобы распустить как можно больше слуха о том, что мы в монастыре храним оружие; они пишут, что все вы, илиодоровцы, хотите вооруженные револьверами и кинжалами и что я подготавливаю вас и сами все вы подготавливаетесь к погрому, — для того, чтобы была им причина вызвать в город побольше казаков и потом произвести избиение вас, какое было при Бочарове. Ну-ка скажите вы сами, — думали ли вы когда о погроме? Толпа отвечает: „никогда не думали, батюшка“. „Вот, вы даже не думали о погроме, а Филимоновы, Федоровы и Максимовы попрытались в разные погреба и ямы, как будто им угрожает погром, и выписали себе для охраны войска и казаков. О безбожники, клеветники, стервецы и мерзавцы! Как они, ради своей

мести, для достижения своей цели, искажают истину и показывают вид, что они нас боятся! Ну, да пусть боятся, мерзавцы, поменьше будут нас задевать и тревожить. Они послали на нас жалобы в Петербург к министрам и даже обер-прокурору Саблеру, но мы тоже пошлем опровержение и будем просить над ними суда за провокацию и за распространение ложных слухов. Вот какую телеграмму послали ваши депутаты обер-прокурору св. синода — Саблеру: „Ваше высокопревосходительство! Умоляем вас, ради божественной истины, не верить тому, что пишут левые газеты про нашего дорогого батюшку о. Илюдора. У них правды на копейку, а клеветы на миллионы. Мы все объяснили еп. Гермогену. Не верьте также официальным донесениям. Они ложны и наполнены клеветой. Полиция, вместе с русскими изменниками, хотели убить батюшку.

Но замысел раскрыт. Народ опечален, плачет, но ни о каком погроме не думал и не думает. А полиция призвала в город целые полки стражи. Если нужно, — мы приедем в Петербург и все лично вам расскажем. Соблаговолите ответить нам по следующему адресу: Монастырь, депутации. Народные депутаты: Попов, Синицын, Бураков ¹⁾. Перейдя к вопросу о помещенной в „Царицынской Мысли“ беседе корреспондента с каким-то полковником, назвавшим Илюдора „тайной силой“, ибо по его телеграмме государь помиловал приговоренного к смерти преступника, иеромонах назвал это сообщение ложью и объяснил, что дело происходило так: посетив в тюрьме приговоренного к смерти некоего Костенко, он советовал ему покаяться и молиться в надежде на спасение от смерти и послал депешу государю с просьбою о помиловании этого преступника, „но губернатор Татищев, который теперь коров доит и кур считает, телеграмму эту задержал и послал в Петербург донесение, что, если этого преступника по просьбе Илюдора помиловать, то Илюдор возьмет большую силу, разбои и преступления будут увеличиваться, так как все грабители и разбойники надеются на заступничество Илюдора. Тогда только последовала вторая телеграмма „повесить“, и Костенко повесили. Так вот, кто виноват в смерти Костенко. Вот кто виноват, что священнический сан оскорбляется и унижается. Священников и священный сан шельмуют в глазах народа, чтобы подорвать к ним веру простого народа, а между тем священники, архиереи и вообще духовенство являются истинными друзьями и заступниками за простой народ, и только их вы должны слушать, а все эти лжеобразованные люди — ваши злейшие враги. Поэтому довольно вам, православные русские люди, ходить во тьме, верить им и слушать их. Они вас и весь русский народ ведут к гибели. Все они твои злейшие враги и дадут тебе вместо хлеба камень. Они шельмуют священников и все духовенство в глазах народа только для того, чтобы всех вас, весь народ предать в руки жидов и вместе с ними сесть на

¹⁾ Этим же лицом была послана депеша прокурору саратовской судебной палаты с просьбою защитить Илюдора от преступных замыслов со стороны газетных клеветников, некоторых именитых граждан и полиции.

вашей шее. Вот чего добиваются эти Милюковы, Филимоновы, Булгаковы и Федоровы. Вот чего добивается вся эта сволочь и стервецы. Кроме названия „сволочь“ и „стервецы“ им не может быть никакого другого имени. Как по вашему, правду я говорю?“ Толпа кричит: „правда, правда, батюшка! Все они сволочь!“

После этого Илиодор объяснил слушателям, почему безбожникам нужно выдумывать, что илиодоровцы собираются делать погромы. По словам иеромонаха, его посетил полицеймейстер Василевский и рассказывал, что предшественник его — Бочкарев, после устроенного им избиения беззащитных Богомольцев, быстро пошел по службе и получил генеральскую должность. „Это он по вашей, батюшка, спине, — продолжал будто бы Василевский, — полез так высоко“, а глаза у самого так и сверкали от зависти. „Теперь он действует, — продолжал Илиодор, — против меня и всех вас, чтобы было к чему придраться и устроить второе ваше избиение, подобно бочкаревскому. Поэтому, смотрите, осторожно держите себя с полицией и никого не задевайте; лучше сами перенесите на себе. А вы, там, слушайте!“ — кричал иеромонах по направлению к воротам, где предполагалась полиция. — „Передайте, что больше по спине Илиодора никто не полезет. Это прежде на ней были зарубки и по ней можно было взобраться повыше, а теперь она стала скользкая и с нее уже много сорвалось, валяются теперь и дрыгают ногами... Смотрите, и вы все поскользнетесь и полетите вверх ногами“.

7 сентября во время всенощной Илиодор снова приказал удалить из храма полицию (надзирателя и городского) и для этого даже прервал помазание молящихся елеем. Человек 20 из числа молящихся немедленно окружили полицейских и стали уговаривать их уйти поскорее из монастыря, предупреждая, что иначе они будут выведены силою.

8 сентября иером. Илиодор вновь выехал в Москву, а 10-го в Царицыне произошел следующий случай. Живописец Петров продавал две старые иконы спасителя и божией матери и, продав их, обратился к соседнему сапожнику за молотком, чтобы прибить венчик к иконе божией матери, и, прибыв последний, крикнул соседям-лавочникам, что когда вбивал в икону гвоздь, то из нее брызнула кровь. Подошедший торговец Гаврилов заметил на прилавке несколько красных пятен, но — по его словам — не крови, а какой-то жидкости после чего ударил молотком несколько раз по тому же гвоздю, но результата никакого не последовало. Живописец Петров заявил покупателю, что теперь икона стоит дороже, и понес ее в монастырь, где ему, за отсутствием Илиодора, сказали, чтобы он до приезда иеромонаха положил икону на то место, где она явилась. Когда Петров вернулся на базар, там уже собралась толпа, илиодоровцы кричали, что это та самая икона казанской божией матери, которую ищет Илиодор. Из монастыря явился вышеупомянутый приверженец иеромонаха — Попов, и живописцу было заявлено требование снести икону снова в монастырь, но тут явились другие священники, из которых каждому хотелось, чтобы икона была отнесена в его церковь, и после споров ее перенесли с крестным ходом в церковь Преображения. Один из близких

к Илиодору священников — Благовидов заявил, что на иконе есть надпись „Федоровская божия мать“ и что на ней есть следы крови. По осмотре же рук самого Петрова на них оказались очень свежие ссадины. Возвратившийся 13 сентября Илиодор посетил названную церковь. 16 сентября в газете „Волга“ (по сообщению начальника губ. жанд. управления, эта газета инспирируется Гермогеном) появилась по поводу упомянутой иконы заметка о том, что Гермоген посоветовал ожидать, когда означенная икона проявит себя чудодейственными знаменами, а пока не ставить ее наряду с другими иконами, и что допрошенный духовными властями живописец Петров клятвенно в церкви заявил, что кровь текла из иконы и что, по его мнению, она чудодейственная.

В газете „Утро России“ в начале сентября появилась заметка о том, что будто бы еп. Гермоген отказался от дальнейшей защиты иером. Илиодора. На конфиденциальный запрос департамента по этому поводу саратовский губернатор 21 сентября ответил, что у него сведений об этом не имеется, но, зная вообще солидарность епископа с иеромонахом и отношение его к деятельности последнего, он склонен упомянутому сообщению газеты не доверять.

Выше было отмечено, что принимавший 7 сентября участие в насильственном удалении полиции с монастырского подворья один из более близких приверженцев Илиодора, бывший пристав Попов (он же и делегат-ходатай за иеромонаха), был подвергнут по распоряжению губернатора трехмесячному аресту. Вслед за тем в газете „Речь“ появилась заметка о том, что этот Попов, вследствие доносительств Илиодора, из-под стражи освобожден. На запрос департамента саратовский губернатор уведомил, что, будучи доставлен для отбывания ареста в Саратов, названный Попов обратился к начальнику губернии с ходатайством об освобождении от взыскания, при чем, выразив раскаяние, заявил, что действовал исключительно по приказанию иеромонаха и, удаляя полицейский наряд, имел в виду сгладить его этим от худших последствий и даже избиения, если бы чины полиции не исполнили требования Илиодора. Подвергая Попова взысканию, губернатор имел в виду лишь показать окружающей иером. Илиодора толпе, что, бессильная в отношении самого иеромонаха, власть достаточно сильна, чтобы обуздать его разнузданных поклонников. С другой стороны, было совершенно ясно, что главным виновником удаления из монастыря наряда полиции является не Попов, слепо исполняющий всякое распоряжение Илиодора, а, конечно, сам последний, остающийся безнаказанным.

Наконец, по делу об удалении полиции с подворья возбуждено против виновных уголовное преследование. Считаясь с этими обстоятельствами, веря искренности раскаяния Попова и полагая, что арест его, хотя и кратковременный, послужит для него и для других окружающих Илиодора достаточным уроком на будущее время, губернатор, после соответствующего внушения, освободил Попова. Между тем, Илиодор не преминул объявить народу в своей проповеди, что освободить Попова губернатору было

приказано свыше („губернатор освободил Попова не сам, не по доброй воле, а просто ему написали из Петербурга, чтобы он бросил „дурить“), при чем, добавил:... „возвратившийся из-под ареста наш лучший брат Николай Павлович Попов передал мне, что губернатор саратовский сказал ему, что мы все клеветаем на полицию, что выдумываем на полицию разные небылицы, и даже то письмо, которое я получил, о том, что полиция заодно с безбожниками покушается на мою жизнь, сфабриковано в стенах монастыря. Конечно, полиция вместе с врагами нашими может подговорить, подкупить недобросовестных экспертов, и последние могут признать, что письмо это писано кем-нибудь из нас“... Ничего подобного Попову губернатор не говорил. При разговоре с ним начальника губернии присутствовали начальник губ. жанд. управления и приводивший Попова околоточный надзиратель. В той же проповеди Илиодор заявил: „Теперь я ясно вижу, что и губернатор этот вместе с полицией участвует в заговоре на мою жизнь“... Но... „все эти губернаторы, прокуроры и полициймейстеры, которые роют мне яму, сами в нее упадут и будут сидеть в ней, так как Столыпина уже нет“... К изложенному губернатор добавил, что доклад о деятельности иером. Илиодора за последнее время представлен г. министру внутренних дел при письме от 1 сего октября за № 2760, и что с 27 минувшего сентября иером. Илиодор приступил к рытью „катакомб“ под монастырем. Сам он объясняет необходимость их скорым пришествием антихриста, общественное же мнение полагает, что подземные ходы устраиваются на случай „новой осады“ монастыря.

Попытка департамента полиции выяснить обстоятельства стрельбы по каяты Илиодора во время пребывания его на пароходе не дала результатов. Своевременно этот факт обследован не был, а произведенное по прибытии иеромонаха в Царицын полицейское дознание было представлено губернатору, который сообщает, что этому делу он не дал хода, так как случай сам по себе является ничтожным и вмешательство губернатора послужило бы только поводом к новым обвинениям власти в травле Илиодора. (Из бесед иеромонаха видно, что эта стрельба была произведена из „пугача“).

13 сентября, вернувшись из путешествия, Илиодор в речи к народу сказал, что на этот раз ездил один, без всяких провожатых и так секретно, что даже никто не заметил, как он сел в вагон. Сделал он так потому, что торжественные проводы и встречи создают беспорядки на вокзале и на него были жалобы, но и поездка в одиночку принесла ему несчастье, так как жандарм — человек семейный, — не заметивший его отъезда, уволен от службы. В этой же речи он просил слушателей собраться на следующий день, 14 сентября, в возможно большем количестве, чтобы выслушать от него известие о великой милости господней, явленной им русскому народу. На следующий день действительно собралось много народу, и Илиодор в подробной речи об обстоятельствах киевского злодеяния провел ту мысль, что в этом событии господь явил свою милость России спасением государя императора от предназначавшегося ему предательского выстрела и что следовало, прежде чем служить панихиды

по убитом министре, возрадоваться и возблагодарить бога за чудесное спасение помазанника. „Сначала стали плакать по Столыпину и служить панихиды его родственники и близкие к нему люди, а вслед за ними, как стадо скотов, потянулись и все остальные русские люди. По всей России пронесся панихидный звон, стон и плач о Столыпине. Все проникнулось горем. А о той великой милости, которую господь даровал всему русскому народу, никому не пришло и в голову. В этом проявилась наша полная слепота духовная, которую я хочу выяснить теперь, снять, по крайней мере, пелену с ваших глаз, меня слушающих. Вы, конечно, можете подумать, что я говорю так из личной мести к Столыпину, что у меня была с ним вражда. Это неправда. Совсем другое чувство руководит мною в этом случае. Столыпин умер—и бог с ним. Нам прежде всего нужно думать и заботиться о живых, а о мертвых пусть заботятся мертвые, как сказано в св. евангелии. Многие, пожалуй, подумают, что и молебен о здравии и панихиды я не хотел служить из мести Нет. Когда Столыпин был ранен, ко мне пришли и стали просить отслужить молебен о здравии, я ответил, что — не могу. Когда Столыпин умер, — меня тоже стали просить отслужить панихиду. Я опять ответил, что — не могу, потому что это сделать не позволяет моя совесть. Если бы ко мне назначили следствие и стали выпытывать мою совесть, то я, оставшись наедине с выпытывающим меня следователем, взял бы его за руку и повел бы вот туда, на монастырский двор, и указал бы на могилу раба божия Андрея и сказал бы: „вот за кого я молюсь и буду молиться. Здесь погребена жертва Столыпина“. Нет! Мою совесть я не позволю насиловать.

Пусть меня возят всю жизнь в вагоне по всей России, пусть сошлют среди льдов на Белое море, пусть изрубят мое тело на мелкие кусочки или запрут в подземельный каземат. Всё они могут сделать с моим телом,— с совестью моей они ничего не сделают... А за тех людей, которые насилуют совесть людскую, которые забывают о боге, о божьем помазаннике, я никогда ни молиться, ни служить панихиду не только не буду, но я проклинаю их!.. Так вот теперь я и спрашиваю вас, была ли особая причина служить сначала панихиды о Столыпине, а не отслужить благодарственный молебен за спасение государя императора? Ведь, Столыпиных у нас можно пайти тысячи. Много у нас найдется еще Мининих, Пожарских, Гермогенов, но помазанник божий, государь император у нас один, и какое было бы, несчастье и кровопролитие по всей России, если бы господь не спас его драгоценную жизнь! И вот что нужно было бы сделать русскому народу: прежде чем служить печальные панихиды, горевать и плакать, нужно было возрадоваться и отслужить благодарственный молебен о спасении драгоценной жизни государя от руки злодея. Я сначала ожидал, что почин в этом отношении делает св. синод. Но он ничего не сделал. Я ждал, что на это событие обратят внимание наши митрополиты и епископы, но и они не заметили и молчат. И вот мне, маленькому человеку, пришлось открыть глаза русскому народу, снять с него слепоту и указать на то, что не заметили и прозевали и св. синод, и архиереи, и священники. Вот зачем я и призвал вас сюда...

Господь оказал России и всему русскому народу великую милость: он спас государя императора от смерти, а Россию от кровопролития, междоусобиц и гибели. И вот поэтому, за эту великую милость господню, от всего сердца и от всего помышления нашего отслужим господа богу благодарственный молебен". После этой речи было отслужено благодарственное молебствие и послана соответствующая депеша в Яту их императорским величествам.

В тот же день вечером в церкви Иллиодор в беседе своей похвалил киевских православных людей за то, что они воздержались от погрома, „ибо пролитие крови и месть — не христианское дело, и в особенности в отношении несчастных проклятых богом евреев. Христиане должны сожалеть их, а не мстить, с влиянием же еврейства в гражданской и духовной жизни надо бороться лишь образцовым христианским образом жизни". Вся эта проповедь вообще дышала миролюбием, и иеромонах ни разу в ней не называл евреев жидками. В следующей затем беседе на монастырском дворе Иллиодор, коснувшись вопроса об аресте приверженца его — Попова за насилие над полицией, заявил, что арестован он напрасно и безвинно, вследствие ложного доноса со стороны полиции губернатору. „Полиция пошла против церкви православной, против царя самодержавного! Полиция донесла, что он употребил насилие над полицейским чиновником. Это неправда! Ничего этого не было! Я приказал, чтобы никто из полиции не смел появляться на монастырский двор. Эй, вы там, полиция (Иллиодор крикнул по направлению к воротам и указал рукою), что за воротами и там, повыше, что находится в городе, слушайте, что я говорю вам: я приказывал и приказываю вам не появляться сюда, потому что я имею все основания подозревать вас в заговоре вместе с безбожниками и в покушении на мою жизнь.

Пока я не разуверюсь в этом, я вас пускать сюда не буду. Попов никого из вас не оскорблял и не насиловал. А полиция сама насильно втерлась в монастырский храм. Я двадцать раз просил ее удалиться, но она упорно не слушала. Я боюсь за свою жизнь в ее присутствии. Вы это хорошо знаете. Тогда я попросил весь народ, всех молящихся удалить полицию из храма. И все молящиеся стали потихоньку напирать на полицейских, стали наступать на них грудью, а те стали отступать, и так потихоньку вытеснили их из храма — и они ушли сами. И хорошо сделали, что сами ушли! И вот теперь полиция из всех богомольцев, из всего бывшего в храме многочисленного народа, арестовала одного Попова. Зачем, почему она арестовала только, именно, одного Попова? А потому, что у нас он самый лучший, самый деятельный человек. Полиция испытывает наше долготерпение и хочет вовлечь нас в бунт, в погром, чтобы всех нас объявить бунтовщиками и напасть на нас вооруженной силой. Чтобы вывести нас из терпения, она теперь арестовала ни в чем невинного человека, завтра арестуют еще кого-нибудь, послезавтра еще и т. д., пока не выведет нас из терпения. Но нет! но нет, православные русские люди! Мы не попадемся на ее удочку! Мы не будем, по ее желанию, погромщиками, а будем все терпеливо сносить, надеясь на помощь Божию. Господь сам за нас заступится и сам накажет —

и крепко накажет наших врагов. Ведь, вы сейчас знаете и сами видели и видите, как господь наказывал и сейчас наказывает наших врагов? Знаете? Наказывает? („Знаем, батюшка, наказывает“, — кричит толпа). Так вот, слушайте, вы там, полиция и все в городе! Илиодор указывает рукою по направлению к городу и громко кричит. И за городом! И в других городах! И по всей России! И за Волгой, слушайте: за нас заступится господь и всех вас крепко накажет! Крепко!..“ После этого Илиодор предложил уполномоченным послать телеграмму на имя губернатора с заявлением о невинности Попова и с ходатайством об освобождении его, при чем заявил, что для подписавших эту депешу никаких неприятных последствий не будет, а затем, громогласно признав Попова „мучеником, пострадавшим за правду, за веру и самодержавного царя“, он возбудил вопрос о помощи семье арестованного и, имея в виду, что такому же насилию могут подвергнуться и другие православные, заявил, что поставит у себя в приемной кружку для пожертвований „для мучеников, страдающих за веру и правду“, и таким образом образуется специальный фонд на это дело.

В этой же беседе иеромонах высказал свое глубокое возмущение отношением Московской городской думы к посланной им по уполномочию царичинских православных людей телеграмме с просьбой не покупать дома графа Л. Толстого. Илиодор, не скупясь на резкие выражения по адресу московских думцев, заявил, что его телеграмма признана „оскорбительною, безнравственною и похабною“, тогда как в действительности она самая „обыкновенная“, „приличная“ и даже „унизительная“ для просивших, ибо пришлось умолять „недостойных и негодных дураков“. В доказательство оратор прочел следующий текст этой депеши: „Господа московские гласные! До нашего сведения дошло, что вы хотите купить в собственность города дом еретика и богоотступника, океанного писателя Льва Толстого и ассигновали на покупку его 125/т. городских, т.-е. народных денег. Умоляем вас... умоляем вас, г.г. гласные, не делайте этого, не позорьте Россию и не унижайте веру православную, но если, паче чаяния, у вас появилось непреодолимое желание, то купивши этот дом, обратите его в острог, чтобы в него можно было собрать всех соvrащенных с истинного пути Львом Толстым несчастных молодых людей, которые сделались теперь арестантами, каторжниками и ходят с бубновыми тузами на спине. Если же нельзя будет сделать из него острога, то, обратите его в дом терпимости, так как сам Толстой во всех своих сочинениях и все его последователи занимались и занимаются „блядословием“¹⁾.

В беседе 18 сентября Илиодор вновь обвинял полицию в недоброжелательном отношении к самому иеромонаху и его приверженцам, а также и в заговоре на его жизнь, обвиняя в последнем и губернатора, а поведение прокурора, производившего расследование по вышеупомянутому заявлению илиодоровцев, назвал „подлым“. Перейдя затем к вопросу о новоявленной

¹⁾ Относительно этого слова Илиодор удостоверил, что оно часто встречается в св. писании.

иконе, он заявил слушателям, что эта икона имеет большое отношение к царствующему дому Романовых, что ею был благословлен на царство Михаил Федорович и что сам он вполне убежден, что в данном случае действительно произошло чудо и из иконы текла кровь, если же от нее нет других чудес, то это объясняется очень просто:

„Когда появилось это первое чудо, все кошунники и богохульники стали над чудом и над самой иконой смеяться и хохотать. Наше же светское и духовное начальство, вместо того, чтобы взять под покровительство это чудо, чтобы покровительствовать вере православной, приняло сторону неверующих безбожников. И вместо того, чтобы их за этот смех и хохот взять за волосы, да о землю, оно им стало покровительствовать. Да разве будет божия мать показывать чудеса, когда над ней смеются? Вот она и показала только одну кровь. Об этом чуде я узнал еще тогда, когда был в Москве. В Москве уже я прочел из газет. И стал я тогда крепко думать, почему это божия мать показала в своем чуде кровь?.. И пришел я к тому заключению, что это божия мать предупреждает о великом кровопролитии. А так как эта икона домашняя дома Романовых, то она предупреждает, что и в царской фамилии, в царском доме Романовых может пролиться кровь. Великая кровь может пролиться по всему миру между всеми народами. Мы уже видим, что это указание божией матери начало уже сбываться... Италия объявила войну Турции, и там льется уже кровь. За ними пойдут Франция, Германия Россия, и может быть кровопролитие необычайное... Вот всё это и предвещает чудо божией матери“.

25 сентября после вечерни Илиодор заявил слушателям, что из факта оштрафования местных газет за извращение его проповедей он усматривает, что губернатор на его стороне, и потому разрешает чинам полиции находиться в монастыре, а слушателей просит не оказывать им никакого противодействия ни словом, ни делом. В беседе на дворе он вновь обрушился в крайне резких выражениях на московских гласных по поводу покупки за 125.000 рублей „народных денег“ дома еретика графа Л. Толстого и предположений об устройстве Толстовского музея. По его предложению было решено послать следующую телеграмму: „Москва. Исторический музей. Отделение выставки Льва Толстого. По требованию тысяч царицынского православного русского народа я выражаю вам свой протест и негодование за то, что вы в белокаменной Москве, в столице русского царства, в сердце России, в доме пресвятой богородицы, вздумали наравне со священными реликвиями всей России, всего русского народа, вздумали выставить еретические рукописи, рубахи, лапти и грязные вонючие портянки кошунника, безбожника и еретика Толстого. Может быть, вы вздумаете поместить туда же и львиный навоз этого блудослова. Так знайте и помните, что мы такого оскорбления нашей русской святости не потерпим. Уполномоченный от тысяч царицынского русского народа иером. Илиодор“.

„Вот эту телеграмму, — говорил Илиодор, — мы пошлем, и пусть московские дураки чешут свои затылки. Проклятый зверь, этот Лев Толстой,

столько сделал вреда для церкви православной и для всего русского государства сколько не сделал сам сатана, князь тьмы и ада; эти глупые русские люди, которым он заволок глаза туманом, вздумали прославлять и почитать как святыню его портянки, и никто из московских русских людей и московских пастырей церкви на такое кощунство не протестует". В той же беседе он порицал Царицынское городское управление за отказ в уступке ему участка земли для больниц и школ, о вреде, приносимом ему газетами, о скором пришествии антихриста и о предпринятых работах по устройству под монастырем катакомб. По обыкновению, обличительные речи его изобиловали крайне резкими и неприличными выражениями.

27 сентября, по указанию Илиодора, действительно было приступлено к рытью катакомб, при чем к работам неромонах допускал только доверенных людей, облачая таковые таинственностью. Тех, которые намерены выведать планы работ, он обещал сам гнать „лопатою по шее“. По предположению полковника Семигановского, неромонах в данном случае желает обставить себя возможно бдльшими способами сопротивления открытой силе, которую, очевидно, собирается вызвать против себя. Из беседы же Илиодора видно, что он готовит место для погребения своих поклонников, при чем указывает и на возможность укрывательства в катакомбах от антихриста. По поводу этих же катакомб саратовский губернатор в письме на имя министра внутренних дел указывал на крайнюю опасность этого предприятия, осуществляемого без всякого участия специального строительного надзора.

Федор Линде.

I.

Книгу о Федоре Федоровиче Линде напишет современем философ, математик. Как странно, что прежде всего его имя отмечает история русской революции. Политический интерес занимает самое скромное место в жизнеописании этого человека. Общественные вопросы волнуют реже других. Федор Линде стоял вне классовой или национальной борьбы. Коллектив стеснял его своей „серединностью“ и однообразием оценок. Государство, народ, гражданство, всё это — условные формы человеческого общения. В финляндской усадьбе, на улицах Петербурга, на склоне швейцарских Альп и под лучами итальянского солнца — всюду, куда судьба заносила Линде, его личность раскрывалась, следуя каким-то своим, особенным, совершенно автономным законам развития.

И всё же Линде — революционер... Не по велению партии и не по указке комитета. Революция его усыновила, учуяв в нем природную близость, стихийное родство. Основная черта характера Линде — стихийность, непреодолимая цельность человеческого порыва. И поэтому, в те минуты, когда революция разрушала наружные покровы и выбрасывала море кипящей лавы, Линде проникался величием этой победы и становился ее героем. И как стихия слепо, необузданно расточает свои силы, так и Линде знал только один предел своей свободы — смерть. Впрочем, внутренне он презрел и это последнее ограничение...

Революция знает разные периоды. Годами, десятилетиями накапливается народное недовольство, отмирают постепенно старые общественные ткани, колеблются и слабеют устои государственной власти. Воздух тогда становится тяжелым, неподвижным. Все сознают неминуемость грозы... Одни с радостью, другие с тревогой. И только одно мгновение продолжается историческая буря, когда падают вековые традиции, рушатся ветхие истины и молния озаряет груды предрассудков „старого режима“. Еще слышны отдаленные раскаты грома, уже складывается новый порядок, сначала революционный, потом реакционный, потом самый обыкновенный, со всеми типичными навыками власти, немного неуловимый, малоопытный, но жестокий и слепой. Испытанные революционеры готовят революцию словом, пером, динамитом и бомбой. Умные прозорливицы, политические деятели, властолюбцы

всех видов закрепляют ее на удобном для спуска месте, подстерегают каждый оползень революции и наследуют ее влияние. Но кто может предвидеть, как пролетит это историческое „мгновение“ переворота? Оно всегда капризно, как стихия. Нужно быть не то фантастом, не то искателем приключений, чтобы в этот именно момент чувствовать себя на месте. Без участия таких людей революция не сотворится, ибо они подлинныя творцы ее. Они врываются в казармы, останавливают автомобили, увлекают толпу, вооружают одних, разоружают других, чудесно перевоплощают серых, спокойных людей, создают стиль, выдумывают слова и сливают порывистость своей натуры с волной революционной стихии. Сегодня, когда сверкает это „историческое мгновение“, нет власти, предусмотренной законом или постановлением какого-нибудь комитета. Сегодня темперамент, вдохновение, отвага, импровизация. Сегодня властвует утопист, человек, который верит в чудеса, в ослепительную роль личности, и действительно чудеса совершает.

Завтра наступит органическая пора. Придут расчет и опыт. Импровизация гаснет. Исчезает неведомый, вчерашний чародей.

Федор Линде и был героем такого „исторического мгновения“. И в 1905 году, когда, увешанный с ног до головы оружием, в костюме фантастического „кабаллерио“, он с увлечением вызывал на вооруженный поединок петербургского царя со всем его войском и полицией. И в феврале 1917 года, когда с решетки Таврического дворца он первый властно приказал толпе солдат и обывателей строиться в ряды и стать армией революции. Но стоило лишь порыву испытать первые ограничения, как только революция выдвигала органы управления, Федор Линде чувствовал свою отчужденность и тосковал в обстановке повседневной, будничной деятельности. Тогда на первый план всегда выступали математика, логика и философия. Уединенная комната ученого-мудреца, полуразрушенная финляндская усадьба манили его своим спокойствием и тишиной. Торжище революции вызывало отвращение, и Линде надолго скрывался в Мустамяках.

Маленькое поместье в 12 километрах от станции Финляндской жел. дороги было подлинным убежищем для всей семьи Линде. Здесь 9-го февраля 1881 года родился Федор Федорович. Сюда в 1917 году привезли его изуродованные останки после трагической смерти на фронте...

В семье сталкивались разные национальные и индивидуальные влияния: отец—немец, полупапаярь, полухимик, человек с несомненно-выраженным умственным складом, изобретатель каких-то многообещающих составов, рецепты которых он унес с собой в могилу. Мальчик унаследовал от отца привычку к систематической работе, огромную любознательность и настойчивость в изысканиях. Мать—полька, отпрыск легендарного Косцюшко, живой, темпераментный человек, занесла струю музыкального увлечения и художественной одаренности. Немецкая основательность и глубокая серьезность сочетались в семье с польско-славянской беззаботностью и эмоциональной рачительностью. Какое счастливое сочетание! Два крепких корня европейской культуры пустили ростки в душе мальчика. Природа с своей стороны не поскупилась

и отметила его такими свойствами характера, которые делают людей исключительными.

Мальчик рос среди мшистых лесов Финляндии и рано привык наслаждаться стальным холодом озер и тихими снегами удивительной северной зимы. Внешнее спокойствие и неподвижность природы располагали к созерцательности. С ранних лет он предпочитает уединение играм с детьми. Рисует цветы, неожиданно для всех играет на игрушечной скрипке и на шестом году жадно глотает первые попавшиеся книжки. Восторженная любовь к финляндской природе, какая-то интимная привязанность к лесным дорогам, золотым листьям осени, ночному северному небу не покидали всю жизнь Линде. Он умел отдаваться восторженно многообразию природы всюду, где бы ни бывал. Но эта неувидаемая привязанность к Финляндии заняла постоянное место в его душе.

На заре жизни мальчика уже сказывается редкий синтез способностей, удивительная гармоничность натуры, которая приковывала к нему внимание и интерес окружающих. Вдумчивость, пылкость ума, стремление дойти до первооснов и связанная со всем этим методичность мысли и строгость выражений сочетались с экспансивностью, ребяческой беззаботностью, не знающей пределов непосредственностью, совершенно детской, совершенно наивной и потому заразной для всех, кто с ним сталкивался. Уже с 7 лет он увлекается Шиллером, Гёте, внимательно следит за химическими опытами своего отца и сам производит какие-то фантастические испытания, ночью выбегает в сад, называет звезды и созвездия по именам и ведет с ними оживленную беседу, интересуется географией, стремится объяснить вопросы миропорядка, ставит в тупик родных и знакомых, которые по невежеству не в состоянии удовлетворить ненасытную любознательность мальчика, уединяется для самостоятельных размышлений и в то же время любит страстно танцевать, не в состоянии совершенно сдерживать напора чувств, увлекается мелодией, стихом, ритмом, привязывается к игрушкам, с пафосом декламирует, представляет разных действующих лиц, влюблен в трехколесный велосипед и готов проделывать любую головоломную шалость.

Многообразие и красочность натуры, счастливый синтез способностей с каждым годом усложнялись, но уже не изменяли ему. Его философско-математическая работа, которой он был предан 17 лет своей зрелой жизни и к которой сам шел самостоятельными путями по крутым вершинам человеческой мысли, — лучшее тому доказательство. Она представляет собой законченную систему логики, освобожденной от гносеологии, утверждающую „логическое начало мира“ и порывающую круто и решительно со всеми традициями старой науки. Система его монументальна, сложена из гранитных идей, насыщена до крайних пределов мыслью и порывает с обычной формой словесных выражений. Наивное отношение к речи старой науки приводит, по его мнению, к отрицательным влияниям в логику неосознанных элементов психологического характера. В этом смысле все здание традиционной логики было обречено им на слом, и долгим, настойчивым трудом было создано

новое, грациозное сооружение, чертежи которого еще пока скрыты, но пред которым многие европейские ученые (в частности итальянские математики школы Пьяно) останавливались с восхищением и удивлением. Нас интересует психологическая сторона этой работы, черты характеристики, которые мы можем извлечь из борьбы его с наивным психологизмом в логике. Достаточно взглянуть на исписанные рукой Линде страницы, где сотни математических формул тянутся длинной колонной и нигде не прерываются словесной остановкой или выражением. Знаки, символы, черточки — в эти строгие, бесплотные формы укладывалось течение мысли. Такой переход к новому оружию мышления, по признанию самого автора, „невозможен без достаточного волевого импульса“. Не изменяя себе до конца жизни, необычная воля и высокий ум чеканили основы новой логики.

Казалось бы, куда как просто восстановить психический образ человека по этой типичной, плавной работе. Тут и методичность, и сухость, и немецкая аккуратность, и строгий формализм, и холод ума, и бесстрашие натуры... Такая характеристика, однако, была бы ложной. Ибо под этой чеканной работой мысли скрывалась озаренность, какой-то восторг умственный. Система тогда превращалась в стихию, а нанизывание формул, подчиненных одна другой, наполняло душу творчеством. И чем оталеченнее работала мысль, чем бесплотнее казалась идея, тем ярче горела страстность ума и сказывался напряженный темперамент. Только музыка могла с этим сравниться. Чередование музыкальных идей, музыкальная символика ближе всего подходила к творчеству Линде. Знание в обычном смысле он подчинял интуиции. Искусство ставил выше науки. Подлинное творчество его воодушевляло. К Бетховену относился восторженно. Его он чувствовал и „понимал“. Никогда не плакал — и только музыка вызывала слезы. Но музыка идей, космическая музыка, которую можно слушать, находясь на вершине, а не спускаясь в долину человеческой радости и скорби.

В нем поэтому счастливо сочеталось научное и художественное начало. Он был серьезен, как мудрец, и наивен, как ребенок. Из глубоких тайников знания он подымался на поверхность и был жизнерадостен, игрив и прямоумен. Ни одна утеха его не миновала. Ни один солнечный луч не ускользал. Он шел каждый день росу жизни, но при этом не покидал путей к истокам бытия. Он был легковверен, но проникал в основы знания. Он был рыцарски предан истине, не изменял своей прекрасной даме, но мог увлечься любым миражем. Он видел и верил в свое назначение, но готов был устремиться по следам призрака. Он был аскетом и чувственным сластолюбцем. Никого не любил и влюблялся каждодневно. В нем горела вечность и сверкало мгновение. И в этом сложном синтезе и многообразном единстве натуры лежит ключ ко всей его биографии и, в частности, разгадка революционной деятельности и трагической смерти.

Осенью 1891 года маленького Федю отдали в школу. Экзамен в училище Петра и Павла был выдержан блестяще. Сверстники и товарищи по школе его не взлюбили за то, что он понимал свое превосходство и критиче-

ски ко всему относился. Часто нападали в классе и на улице, били и преследовали. Но очень скоро ему удалось страстными контр-атаками остановить преследование школьников. Выдающиеся способности сразу поставили его над классом.

Для школьных занятий почти не приходилось заниматься. С 12 лет он начинает зачитываться Кантом и проникается глубиной философских проблем. По воскресным дням посещает церковь, слушает проповеди и потом пишет на затронутые в них темы сочинения. Уже к тому времени, очевидно, относится преодоление духа религиозного догматизма и революционизирование в этой области. Вся семья остается жить в Мустамяках. Мальчик один проводит школьные годы в столице, отлучаясь на праздники в Финляндию.

Петербург не оставил глубокого следа на вкусах и психике Линде. Он его знал, но специального интереса к нему не обнаруживал. Архитектура, „пространственное“ искусство, не привлекала его своей конкретностью, своей „феноменальной“ ограниченностью. Стиль императорского Петербурга был ему чужд. Аромат истории его не пленял, особенно русской истории.

Школа осталась в стороне, не будучи в состоянии с ранних лет удовлетворять жгучие запросы выдающегося ума. Учителя, наставники добросовестно из года в год передавали круг заученных истин и правил поведения. Острые критики юности очень скоро вскрыло скудость всей школьной премудрости. На горизонте училищной жизни не промелькнуло ни одного крупного характера среди учителей или учеников. Линде не завязал в училище прочных товарищеских связей. Жил и развивался один, без руководителей, вне кружков и распространенных программ. Обычная для того времени полоса эмансипации от школы Линде не коснулась. Конечно, не случайно; это соответствовало его характеру, который сложился с ранних лет. Развитие сразу пошло не по линии наименьшего сопротивления — общественных и политических проблем, а подчинилось запросам духа и проникало в дебри метафизики, теории познания и космогонии. Искания в этих областях обычно идут путями одиночества. И школьные годы Линде открыли его творческому уму огромные пласты человеческой мысли, которые он со страстным нетерпением ворошил в поисках первоосновы.

Пребывание в Петербурге часто прерывалось поездками в Мустамяки. Семья имела большое влияние на склад характера Линде. Это была, пожалуй, единственная коллективность, которая в слабой степени, но все же ограничивала его неукротимое свободомыслие. В семье он рано стал центром умственного и духовного совершенства. Его щадили, легко сносили вспышечность и раздражительность, примирялись с властным характером и всё расценивали с точки зрения его интеллектуального превосходства. Развитие индивидуальности юноши способствовали высокий уровень членов семьи, отсутствие мещанских предрассудков и культурные традиции, унаследованные, видимо, от отца и незаметно поддерживаемые матерью. Семья жила дружно, никто себя не обезличивал, у каждого почти было призвание и все берегли взаимную свободу. Музыка, благодаря старшей сестре, стала могущественным средством

сближения. Но музыка не для развлечения, а как серьезное служение искусству. Чайковский смеял Бетховена. Все человеческое родило их обоих. Шум, оживление большой семьи, острая шутка и веселый смех нарушали часы уединенного размышления, когда складывалось решение юноши посвящать себя теоретической работе.

Но семья налагала обязанности. Нужно было, если не самому заботиться о всех, то по крайней мере участвовать в общей заботе о каждом. Отец перед смертью долго держал своего первенца, посвящал его в свои неосуществленные открытия и заставлял понять значение каждого испытанного рецепта, рассчитывая, очевидно, что сын продолжит его деятельность. Химия скоро, однако, перестала пленять юношу. Не мог он никак проникнуться семейными нуждами и растрачивать себя в суете повседневной. С ранних лет он начал обнаруживать неподготовленность к житейской практике, которую, благодаря активности своей натуры, пытался побороть, но всегда неудачно. В семье поняли это свойство Федора Федоровича и не связывали с ним никаких практических надежд. Наоборот, его материальная необеспеченность и впоследствии казалась всем совершенно естественной. Только обыватель с высоты своего житейского благоразумия обвинял его в „тунеядстве“ и непозволительной беспечности, которая тяжелым бременем ложилась на мать, скоро потерявшую средства к существованию. Юноша Линде горачился, когда семью постигала неудача, выступал всегда с полуфантастическими планами и быстро отступал в сознании своей беспомощности. Огромный творческий ум не мог справиться с любой житейской невагодой, которая всегда ведь боится „средних“ способностей, ловкости, находчивости и специальной сноровки „средних“ людей нашего времени — этих искателей удачи и пловцов в человеческом море. Такой, вот, „средний“ человек, даже если он занимал какую-нибудь кафедру или был пастором, купцом, чиновником, а такие люди попадали в круг знакомых Линде, не понимал и осуждал впоследствии Федора Линде за то, что он сбросил с себя бремя борьбы за существование и предпочел богатство немущего мудреца нищете богатого обывателя.

Школьные годы кончились. Училище св. Петра Федор Линде оставил человеком, достигшим высокой интеллектуальной зрелости. Уже обозначилось направление его творческих идей, уже закладывались основы теоретической работы по математической логике. План работ не менялся в течение всей жизни, и только смерть прервала его в самом интересном месте. Его ум озаряла система, в которой первоначально отводилось место для логики, а потом, при помощи нового, испытанного оружия логики должен был произойти пересмотр всего здания науки. Венчало эту систему новое определение и содержание философии, как науки о реальном. Грандиозность сооружения наполняла юного мыслителя энтузиазмом. Он не испытывал колебания и не сомневался в своих силах. Университет его мало привлекал с самого начала, как научный центр. Инстинкт подсказывал ему, что революционизирующее начало его идей не встретит отклика в среде апологетов математической рутины факультета. Однако, не придавая своему решению особенного значения, он

поступил в Петербургский университет на математический факультет. Одновременно с этим началась систематическая работа его вне университета, в финляндской глуши.

Университетские годы занимают в биографии Линде особенное место. Они сблизили его с революционными идеями и студенческими кружками. Университет, да еще Петербургский был лабораторией революционного действия. Среди общественного безмолвия и вынужденной пассивности того времени университетская молодежь бесстрашно бросала протест за протестом, отправляя сотни людей на демонстрацию, в солдатскую казарму, Сибирь и тюрьму. Темперамент, отвага, энтузиазм борьбы зажигали каждого вновь поступающего студента, который за редким исключением должен был пройти этот политический искуc.

Не мог остаться равнодушным ко всему и вновь поступивший студент — Линде. Его страстную натуру привлекал протест, да еще сопряженный с опасностью, протест, который созрел в кругу непосредственной молодежи, порывистой, идеалистически настроенной. Особенно увлекали его конспиративная обстановка, риск всякого выступления и после студенческого движения. Он не был вожаком, заправским оратором, или героем сходов. Студенчество в массе его не знало. В политических кружках он вращался мало. Однако, связь с нелегальной жизнью была установлена и не порывалась.

Из двух идеологий, которыми питалось студенчество, — марксизм и народничество, — его располагала к себе первая. И это удивительно! Казалось бы, запросы личности, апология террора, индивидуальный акт революционера, словом — красочная романтика партии социалистов-революционеров должны были сделать его адептом последней. Но в марксизме прельщала строгость метода, стройность системы, большая научность мышления и углубленность социально-политического прогноза. Он был марксистом, однако, в условном значении. Вся его космогония, философское мирозерцание не укладывались в очень тесные рамки наивного материализма, которым по нужде, за неимением другой философской основы, питались марксисты. Не мудрено, что, когда на почве философской скудости возникало течение марксистской мысли, окрестившее круг своих идей именем „эмпириомонизм“, Линде обнаружил тяготение к этой именно критически-настроенной группе, просто потому, что в ней он почувствовал идейное беспокойство. Но и солидарность с „эмпириомонизмом“ была весьма ограниченная. В марксизме Линде оценил методологическую крепость монизма, который по существу привлекал его больше, чем народнический плюрализм. Его собственные искания в области математической логики и философии складывались в стройную монистическую систему. Этим только можно объяснить априорно-выраженное им доверие идеологии марксизма. Так называемый исторический материализм не был для него предметом специального изучения. Споры с народниками скользили по поверхности его сознания. Еще более вызывали недоумения и оставляли совершенно равнодушными и фракционные разногласия русских социалдемократов. Линде, однако, чувствовал близость к большевикам. Быть может, его привлекала большая решитель-

ность их в выводах и в выборе средств политической борьбы. Серьезное значение имела постановка большевиками вопроса о вооруженном восстании, как необходимом этапе грядущей революции, этапе, к которому можно и должно готовиться. У большевиков он находил трепет революционного заговора, признаки массовой стихийности, которую не так сильно заглушали партийное доктринерство и рационализм руководящих деятелей. Шлифовка партийных догматов, популяризация программ, элементарно-просветительная работа не давали пищи ни его уму, ни действенной его фантазии. Если он и примыкал к революционной организации, то потому только, что она обещала ему „революцию“, что-то необычайное, бурное потрясение общества, огромный сдвиг, напряжение воли, чувств, энергии, т.-е. такое состояние, при котором человеческая личность может воспламениться и озарить своим светом окружающее. Он оставался индивидуалистом, увлекаясь перспективой революции. Поэтому партия или организация не могли рассчитывать на него, как на профессионального работника, рядового члена, который выполняет с одинаковым энтузиазмом или, вернее, с одинаковым послушанием любое поручение центрального органа. И социализм-то его был особенный, не установленный, не канонизированный. К нему больше всего подходит определение „утопического социалиста“. Идеал свободного общества казался ему пленительным, но он должен быть расщеплен чудесным перевоплощением личности, всего уклада жизни; идеал должен быть ослепительным верхом совершенства без одного изъяна и явиться не результатом закономерного исторического процесса, а радостным воплощением индивидуального творчества. В этом смысле Линде увлекался социалистической идеей, зовущей к торжеству свободной личности. Он ставил такие широкие пределы для будущего совершенства, так многогранно представлял себе запросы духовного расцвета, такие высокие требования предъявлял культуре человеческой, что черепашные шаги размеренной эволюции были, действительно, жалким средством и отдаляли до бесконечности эту ослепительную фантазмагорию. Его страстная нетерпеливость не уживалась с рационализмом историческим, она сказывалась каждый раз, когда со свойственной только ему последовательностью одновременно с увлечением он рисовал картины своего собственного социализма. Конечно, это был удивительный строй и во всяком случае, не государственный. Соединение анархического начала общества с принципом абсолютной власти гения. Организация производства, вопросы распределения, многочисленные заботы, которые тревожили трезвых социалистов, его не беспокоили. Раз революция венчает гения, то разрешение всех этих проблем не замедлит наступить. Можно, конечно, представить себе так, но можно и иначе. Свободу обретет гений, но во имя торжества своего прозрения и социального творчества он сможет прибегнуть к ограничению свободы других, например, к мерам регулирования вплоть до скрещивания полов и искусственного выращивания человеческих здоровых особей. Народ, который не может быть свободным, можно заставить таким быть. Якобинство, большевизм, утопизм нашли бы в Линде, вероятно, истинного ревнителя, если бы... он склонен был и способен был, вообще, заняться органическим реформированием общества.

Таким образом, принадлежность Линде к какой-либо иной организации, в частности—социал-демократической, следует принимать с большими оговорками. Был ли он действительно членом партии, теперь трудно установить. Но революция 1905 года застала его в рядах активно-действующих в Петербурге большевиков.

II.

Время было тревожное. Ждали революции... Миновала весна Святопольк-Мирского; либеральное общество пребывало в угаре конституционных фраз и ожиданий; эпоха банкетов вскружила голову даже самым умеренным людям. Правительство колебалось между военной диктатурой и гражданской реформой. Нелегальные партии проверяли свои пороховницы, овладевали печатью, собраниями и подстегивали малодушных своим радикализмом. Рабочие заражены были недоверием к власти и не забывали памятных уроков 9-го января. Молодежь, особенно студенческая, варилась дено и ночно в политическом котле. Занятий не было. Длинный коридор Петербургского университета превратился в революционную артерию. Политические собрания, импровизированные сходки, прокламации всех партий, призывы к уличному выступлению, крайние лозунги — все это насыщало и без того раскаленную атмосферу. Университет был в центре общественного внимания. Социалистические партии всегда видели в нем прочную опору своего влияния; либеральные группы рассчитывали на академическую молодежь, которая, по примеру революции 1848 года, должна выступить против абсолютизма, чтобы затем укрепить основы конституционно-демократического государства. В воздухе носились идеи вооруженного восстания. Некоторые горячие головы планировали баррикады на улицах Петербурга. Революционная стратегия становилась излюбленной темой. В университете организован был „академический легион“ по образцу боевой единицы, которая должна была увеличить кадры восставших. Во главе легиона стоял полустудент, полуофицер, неожиданно всплывший на поверхность студенческой жизни и сгинувший столь же неожиданно, типичный „конквистадор“, человек жеста, позы, с печатью фаталиста на лице. Впоследствии он был при режиме столыпинской военно-полевой юстиции казнен за экспроприацию где-то в одном из приволжских городов.

Легион и его начальник удивительно соответствовали эпохе „бури и натиска“, когда революция рядится в плащ романтизма. Приближались октябрьские дни. На студенческих сходках нетерпеливо говорили, что пора выступать. Надо было подсчитать свои боевые силы, сделать смотр тем, кто собрался вооруженной рукой сбросить самодержавие Николая II. Где-то на Галерной улице, в полуподвальном помещении, назначено было собрание всех боевых групп Петербурга. На это совещание явился Федор Линде.

Он воплощал колорит этих дней. Кто бы мог при взгляде на него сказать, что пред ним философ, человек отвлеченных идей, привыкший в уединении проверять свои математические формулы. Он был вооружен с ног до

головы разнообразным оружием и производил впечатление человека, для которого бивуак — привычная жизнь. Линде представлял на собрании какую-то заводскую боевую группу; он собирался повести в огонь, на самое головокружительное „дело“. Препятствий не существовало в его воображении. Чтобы выиграть игру, он готов был остановиться на любом предложении вплоть до взрыва мостов, о чем с предупредительностью говорили присутствовавшие анархисты, располагавшие будто бы огромными запасами динамита. Линде уже тогда не был просто солдатом на посту, который выполняет команду боевого начальника. Он действовал по собственной инициативе, подчиняясь только указаниям стихийной своей натуры и не ведая „разумных“ пределов своей неукротимой воли. События пошли таким образом, что ему не суждено было сыграть своей фантастической роли в революционной прелюдии 1905 года. Как только революционное напряжение получило естественный выход в манифесте 17 октября и ушел в связи с этим повстанческий романтизм, Линде, конечно, решил разрядить свой пистолет и вернуться в Финляндию. По какой-то глупой случайности, кажется, действительно из-за неосторожного выстрела он был вскоре арестован и препровожден в „Кресты“. Заключение продолжалось около полугода. Предложение быть переведенным в „Дом предварительного заключения“, в условия более удобные, Линде отверг, главным образом потому, что из окна его камеры виден был кусочек неба. Созерцание ночных звезд и размышления о составе человеческого знания убивали однообразие тюремной жизни. Кусочек неба рассеивал тоску по свободе. Внешние препятствия бледнели при свете внутренней озаренности. Линде вышел из тюрьмы неувыдаемо-молодым и жизнерадостным. Политические увлечения кончились. По стране ползла отвратительная реакция. Все располагало к продолжению теоретической работы. Один за другим развернулись годы умственного роста и кристаллизации интеллектуального облика.

III.

Связь с революционной средой, однако, не порывалась. Она поддерживалась совершенно неожиданным образом, благодаря Мустамякам. Мать Линде к тому времени вынуждена была из-за материальных стеснений открыть у себя в усадьбе пансионат. Гостеприимством пользовались не все желающие, а по искусственному подбору, благодаря взаимной рекомендации. В результате такой системы состав пансионеров принял очень скоро совершенно определенный характер. В „пансионе Линде“ находили приют все скомпрометированные в глазах петербургской жандармерии лица. Это был ближайший центр политической эмиграции. В истории русского общественного движения „пансиону Линде“ должно быть отведено место. Меньшевики, большевики, бундовцы, социалисты-революционеры, анархисты — все перебивали на правах пансионеров в скромном, населенном, как улей, мустамякском доме. Семья сливалась с гостями, гости очень скоро становились друзьями семьи. Если кто-нибудь оказывался не ко двору и нарушал своим появлением единство мустамякского

общества, того под тем или иным предлогом просили переменить место жительства. Пансион стал популярен среди всей демократической интеллигенции Петербурга. Сотни, тысячи человек за время его существования „спасались“, укрывались или просто отдыхали у Линде. Материальная сторона всегда была на заднем плане. Многие жили, не имея средств для платы. Редко, кто злоупотреблял. Зато не мало было случаев, когда пансионер принимал близкое участие в судьбе того или иного члена семьи.

Живым, притягательным центром этого разнообразного, всегда молодого общества был Федор Федорович. Он подчинял всех своею одаренностью, был источником жизнерадостного общения и служил образцом индивидуального совершенства. В летние месяцы, когда наплыв пансионеров был особенно велик, Линде забирал свои рукописи, остро-отточенные карандаши, излюбленную лампу с самодельным абажуром и уединялся в ближайшую финскую деревушку, на самый край ее, куда не долетает ни один звук; в пустынной крестьянской хате он продолжал дописывать незаконченные главы своего труда. Оттуда к закату солнца, со следами умственного напряжения на лице, он возвращался в обычную домашнюю среду, которую сразу оживлял неожиданной затеей, какой-нибудь детской шалостью или просто кипучей своей активностью. Не все пансионеры в состоянии были разглядеть под внешне-причудливыми чертами тонкую организацию и сложную натуру Федора Линде. Но каждый смутно догадывался, что рядом с ним живет и растет большой человек, ни с кем несоизмеримый, какой-то особенный, небывалый. Иногда у некоторых вырывалось выражение: „странный“. Сила его умственного превосходства особенно сказывалась, когда внезапно возникал какой-нибудь спор из области гносеологии или логики. Тогда пред умственным взором каждого вырастала гора, на вершину которой даже при его помощи не многие могли взобраться. Еще можно было видеть, как он вдохновенно преображался, когда все располагалось слушать музыку.

Пансион был, в сущности, единственным местом, где Линде общался с внешним миром. Встреча с людьми давала ему впечатления; впрочем, он часто их рассеивал, если они не оставляли сколько-нибудь заметного следа. Долгие годы мог он жить в одиночестве без этих малозначущих встреч. Но одно чувство господствовало в душе его, это—любовь к женщине...

Необычное было это чувство, как все необычно кажется нам в характере Федора Линде. Он всю жизнь стремился к любви, но никогда не мог воплотить ее в конкретном образе. Любовь, претворенная в виде связи, долголетней или вообще продолжительной привязанности, теряла для него красоту и прелесть. Его волновала всегда свежесть, девственность чувства, нераскрытость любви, ее зарождение. Образ женщины, которую он рисовал себе и о которой, несомненно, мечтал в лучшие минуты своего одиночества, был прозрачным, гармоничным, почти нереальным. Это можно назвать скорей женственным началом, идеей женщины, нежели запечатленной в жизни образ женской красоты. Он страстно искал встречи с несуществующей женщиной, ревниво относился к каждому взгляду, улыбке, готов был совершить любой

подвиг и броситься за перчаткой в льняную пасть, лишь бы эта перчатка принадлежала даме, прекрасной даме его сердца, которая одна способна вознаградить своего рыцаря пламенной любовью. Поиски любви заводили его часто на избитые тропинки Дон-Жуана, где подстерегали горькое разочарование и досада. С наивной непосредственностью он рвал мимолетные знакомства, меняя восторженность на равнодушие, забывал весь свой поэтический вымысел и скучал, если встреча затягивалась дольше обычного. Но зато какой стихийности достигало его чувство, когда ему казалось, что искания привели к цели! Это был подлинный экстаз влюбленности. Пафос своей натуры, страстность своих желаний, силу воображения и пламень темперамента— все сосредоточивал он вокруг образа той, которая вдохновляла его любовь. Он умел целиком отдаваться набегавшему чувству. Революция—так революция! Любовь—так любовь! Его природа была недробима. Сколь мимолетны ни были бы мгновения, но в них отражался характер во всей его многогранности. И если Федор Линде любил, то в этой любви участвовали все его качества и недостатки.

И в любви, и в революции сказывалась, главным образом, творческая его личность. Как только она испытывала ограничения, экстаз угасал. Властно заявляла тогда свое исключное право индивидуальность, право на неукротимую свободу, на полную автономию духа. Вырвавшаяся стихия возвращалась в первоначальное состояние внутренней замкнутости; образ возлюбленной растворялся в призрачной дали, и душа погружалась в источник отвлеченной мысли, на дне которой личность находила основу самоутверждения.

Но жизнь Линде знала эти мгновенные озарения любви и пансион в Мустамяках служил одним из главных мест для „роковых“ встреч. Впрочем, самая трогательная, самая благоуханная пора любовного экстаза протекала летом 1909 года в глуши Псковской губ., где Линде встретился с 16-летней поэтической девушкой, задумчивым, серьезным ребенком, еще нетронутым любовной мечтой, которого он вспугнул и оттолкнул своим неистовым порывом.

Брак, семья—несовместимы с его характером; подобно тому как нельзя представить себе Бетховена склонившимся над детской люлькой, трудно нарисовать Федора Линде примиренного у домашнего очага. Есть люди, судьба которых предопределена—танть огромное богатство радости и любви и быть одиночками. Одиночество есть для одних—источник страданий, если они слабы, и для других—условие независимости, если они обитатели вершин. Линде принадлежал к последним.

IV.

Годы 1908—1911 г. были затрачены наиболее плодотворно. Словно предчувствуя близость неожиданного перерыва, Линде лихорадочно спешил с окончанием работы. С университетом он порвал и за невязос платы был исключен. Были с его стороны попытки посвятить в свои изыскания некоторых университетских профессоров, в том числе академика Маркова, но без-

успешно. Он всюду встречал недоверчивое к себе отношение, а главное—нежелание затратить предварительный труд для ознакомления со всей системой математической логики. Исключение представил проф. Васильев, с которым у Линде завязались сношения и переписка. Между тем, для опубликования работы нужны были большие средства, так как для напечатания введенной в употребление Линде символизации обычный типографский набор был негоден. Ни одно издательство общее не соблазнилось бы затратой капитала на издание книги, рассчитанной на ничтожный круг читателей. Предприятие казалось явно убыточным. Специально-математических издательств он не знал, да их и не существовало. С одесским „Матэвисом“ связей не было. И Линде, как всякий утопист, ждал появления на пороге своей финляндской избы какого-то просвещенного мецената, который с обычной для таких людей щедростью отсыплет нужное количество золота для отпечатания работы. Он мечтал о встрече с американским миллиардером, писал Рокфеллеру и на худой конец готов был удовлетвориться русским Шаховым. А пока созревшие идеи, законченные выводы, решенные проблемы искали признания, публичного суда над собой. Линде тяготила мысль, что он не закрепил в общественном сознании времени окончания работы и приоритета за собой. Это побудило его выступить пред философским обществом в Петрограде с обширным двухдневным докладом, в котором сжато и по возможности общепонятно изложены были основные принципы системы. Грандиозность сооружения вызвала удивление со стороны членов общества; участие оппонентов выразилось лишь в ворохе вопросов, на которые Линде, вооруженный мелом, давал объяснения на доске, специально для доклада водруженной. К серьезной критике никто, видимо, не считал себя подготовленным. Доклад был спустя некоторое время повторен, имя Линде стало впервые в Петербурге известным в кругу философов и людей философствующих.

Но не наэтот слабый успех он рассчитывал. Надо было заставить говорить о себе философскую критику. В виду отсутствия в России специальных журналов это оказалось невозможным. Выходом из положения было опубликование этюда „Строение понятия“, в котором Линде намечает основные принципы всей своей системы.

К этим принципам относился совершенно новый взгляд на предмет логики, освобожденной от гносеологии; исключалось из системы логики традиционное учение о суждении и умозаключении: наоборот, логика обогащалась учением о логических отношениях и учением о логических функциональных связях. Впервые давалась характеристика математической символизации логических форм мысли, при помощи которой развивалось новое учение о понятии. „Философы до сих пор,—пишет Линде,—сознательно или бессознательно принимают догмат, что речь является вполне пригодным орудием для адекватного выражения всякой научной мысли. Это положение приходится считать догматом, так как никем не дано его обоснование. Наоборот, пример математики показывает, что наука может нуждаться в способе выражения мысли, существенно отличном от выражения ее речью. Глубоким заблуждением

является мнение, будто математические символы только более удобно и кратко выражают то, что вполне адекватно может быть передано и речью"... Линде впервые „точно формулирует то свойство математической символизации, которым она отличается по логическому своему существу от символизации речью". Традиционную логику он обвиняет в том, что, „несмотря на богатство форм, выражаемых речью, она неспособна передать систему отношений логического мира". Линде открыл новые логические категории, которые назвал „оппозицией" и „оппозиционной формой", и развил стройную систему логических связей, вводящих в круг сложных понятий. Само собой разумеется, что сжатый этюд и едва намеченная теория „оппозиции" оставляли без ответа ряд вопросов. Но автор сам признавал, что теория может быть существенно обобщена и доказана в полной системе логики, которая по сей день еще не опубликована. В частности, в этюде „строение понятия" совершенно не уделено внимания логическому учению о функции, которое в основном, законченном труде занимает центральное место и является оригинальным достижением Линде.

С чувством неудовлетворения и даже опасения выпустил Линде свой этюд, зная, что он дает лишь слабое представление о результатах многолетней работы. „Легко, конечно,—говорит он в предисловии,—а priori счесть мою теорию за схоластическую формалистику или, по крайней мере, за весьма условное, узко-специальное математическое построение, лишенное общелогического значения. Значение моей теории может выясниться вполне только в законченной системе логики"... Ближайшей целью он поставил опубликование работы целиком и применение своей логической методологии к математике и философии.

V.

Спокойная жизнь в Финляндии неожиданно прервалась. Пансион Линде был популярен не только в кругах политических эмигрантов и нелегальных деятелей, но и в среде охранной полиции. За ним установили особое наблюдение, и на станции Мустамяки поселился специальный филер, в обязанности которого входило следить за всеми посетителями пансиона. Были случаи, когда под видом пансионеров приезжали подозрительные лица „горохового" происхождения и пытались собрать сведения об этом недостижимом уголке. Само собой разумеется, их выпроваживали довольно быстро. Должно было так случиться, что в 1911 году гостеприимством воспользовался один из максималистов-боевиков, скомпрометированный в напумевшей до того экспроприации. За ним давно охотилась Петербургская охранка и следила за каждым шагом его. Охотники преследовали зверя по пятам, и последние, свежие следы привели к Мустамякам. Станционный охранник занес в свой журнал посещения нового незнакомца, направившего свои шаги к пансиону Линде. Все данные были налицо, чтобы считать зверя пойманным. Ночью уснувшая станция была встревожена появлением отряда вооруженных людей под во-

мандой жандармского офицера. Спусти несколько часов пансион Линде был оцеплен со всех сторон. Охота приближалась к концу, но зверь оказал упорное сопротивление. Открытому для отступления осталась „Черная Речка“, протекавшая около дома. Отстреливаясь и пробираясь внутренними ходами, анархисту удалось обмануть бдительность жандармов, добежать к речке, броситься в воду и скрыться в прилегающем лесу, где следы его быстро затерялись. Само собой разумеется, что Федор Линде и его младший брат Иван (своеобразно-интересный человек, пропавший без вести во время нынешней гражданской войны) принимали активное участие во всей этой эпопее и немало содействовали провалу полицейской облавы. Когда стихли выстрелы и смолкли крики в финляндском лесу, вернувшиеся с неудачной охоты жандармы захватили в качестве трофеев обоих братьев Линде и посадили их в „Кресты“. Спустя шесть лет двери тюрьмы снова пропустили Федора Линде, менее всего сейчас расположенного коротать свое время таким образом. Но эпизод с жандармами, разыгранный в стиле сенсационных романов с приключениями, соответствовал его натуре. Ему вообще не было свойственно чувство сожаления о прошедшем. Тем менее это относилось к причине его ареста. Тюрма уже была знакома. Он знал, что внутренней свободе она не угрожает...

Попытки петербургской охранки „пришить“ Федора Линде к делу об экспроприации были слишком искусственны. Процесса создать нельзя было. Пришлось ограничиться административной высылкой. Благодаря энергии одной из сестер Линде Белоцкий, бывший тогда директором департамента полиции, согласился заменить высылку в „места отдаленные“ выездом за границу. Федор Линде уехал в Швейцарию, потом в Италию.

Жизнь в Швейцарии наполнила его душу впечатлениями величественной природы. Он умел восторгаться красотой без восклицаний и словесной аффектации, и весь проникался глубоким спокойствием; бессмертие природы убеждало его в вечной гармонии. В потоке творчества отыскивал он струю своей личности, и чувство непередаваемого наслаждения овладевало тогда всем его существом. Увлечение не тут не знало обычных пределов. Доступные альпийские прогулки очень скоро уступили желанию достичь горных высот, где редко ступает человеческая нога. Линде предпринимает одно из таких путешествий и поражает смелостью даже опытных альпинистов. Жизнь ведет чуждающуюся; смущает эксцентричностью уравновешенных швейцарцев; расширяет своей фантазией какую-то встречную иностранку, добивается знакомства с ней и быстро остывает. Покидает Швейцарию и поселяется в маленьком итальянском местечке Монтероссо, около Специи, на берегу моря, среди виноградников и масличных рощ.

Жизнь в Италии протекала в обстановке безмятежной свободы: тело купалось в морских волнах и в лучах южного солнца; дух наслаждался тишиной полуразрушенной виллы и чудесным южным небом. Чья-то заботливая рука должно быть, какой-нибудь итальянской девушки, которую Федор Линде одарил пламенным приветствием и последней серебряной монетой украшала его стол букетами сирени и роз. По вечерам, в обществе местного аббата пил старое

вино и вел беседы на религиозно-философские темы, волну священнослужителя своим адогматическим свободомыслием. Но мысль о законченной работе не покидала его. В письмах к матери Федор Линде делится с своей заботой. „Меня здесь посетили два итальянских математика“, пишет он, „слышавшие обо мне. Прив.-доцент Римского университета D-г Васса, известный своими работами по математической логике. Я в течение нескольких часов излагал свою систему. Посетители были очень удивлены, так как из строения моей системы ясно, что я дошел самостоятельным путем до главнейших результатов, которые имеются у школы Пизано. Но независимо от этого они признали, что моя система значительно точнее и содержит чрезвычайно основные мысли, им до тех пор бывшие неизвестными... Впрочем, они интересуются только одной стороной моей работы — математической. Самой главной же — философской — более платонически“. В другом письме: „Узнал, что опубликование работы будет стоить уйму денег из-за типографских трудностей. Итальянцы советуют мне приспособить мою символику более к удобству печатания. Но я на это решусь только в крайнем случае, так как потеряется ее красота и наглядность. По этому случаю прошу узнать скорей адрес известного московского мецената Шахова. Он раздает деньги направо и налево, и мне кажется правдоподобным, что он помог бы мне деньгами на опубликование моей работы... Без мецената обойтись в такой непопулярной области, как моя, почти невозможно. Об этом проекте прошу хранить молчание“... Жажда известности, власти над умами, глубокая уверенность в своем превосходстве над людьми были господствующими чертами его характера. „Посетитель передавал знакомым свое удивление перед моим умом“, пишет он самодовольно своей матери. Без уразумения этих свойств его натуры нельзя понять роли Линде в февральской революции и всей обстановки трагической его смерти. Амнистия по случаю 300-летия дома Романовых вернула Линде в Россию. Оставив остатки своего скарба владельцам полуразрушенной виллы и забрав котомку с рукописями, странствующий философ переправился пешком через Аппенинский хребет и вскоре очутился в привычной, домашней среде. В Россию привело его отсутствие материальных средств. Мать не имела возможности снабжать сына деньгами и таким образом удлинить пребывание его за границей. Забота о деньгах, если только вообще „забота“ была присуща его сознанию, омрачала неизменную жизнерадостность Линде. Европа подходила ближе к интересам и потребностям такой натуры, как Федор Федорович. Здесь напряжение интеллектуальной жизни было резче. Здесь иногда бродила философская мысль, создавались школы, боролись мнения. Россия плелась в хвосте европейской культуры, распутничала при дворе, угождала в думе, бесцветно прозябала в городах и голодала в деревнях. Реакция политическая не оставила в стране живого места. Неподвижность мысли, скудость духа грозили общественным вырождением. Все предвещало катастрофу, неминуемость потрясения. И казалось, что любой взрыв будет благотворным, ибо выведет страну из состояния оцепенения. Война встрепнула всех и вызвала такой отклик в общественном сознании.

VI.

Федор Линде не поддался общему увлечению. Милитаризм и военщина, кастовая замкнутость военной аристократии претили его духу. Слепое подчинение дисциплине, казарменная нивелировка возмущали в нем свободолюбие и независимость. Война XX столетия с ее машинным истреблением людей, война, в которой исчезли индивидуальный героизм и следы былой романтики, вызывала в нем чувство глубокого отвращения. Он не разделял искусственно раздуваемой идеологии милитаристов, не разбирался в вопросах международной политики и воспринимал войну непосредственно, как грубый, варварский способ разрешения государственных проблем. С таким настроением бездушный приказ мобилизации привел его в казарму Финляндского полка. Пришлось снова прервать свою работу и заняться бессмысленной маршировкой по улицам Петрограда.

Солдатская муштровка в годы войны достигла неопишуемых размеров. Ускоренным темпом готовили бесконечные пополнения, которые должны были затыкать бреши на фронте. С утра до позднего вечера солдат изводили „учением“. Унтер-офицер, отделенный командир с охрипшим голосом выкрикивал команду и вымещал свою усталость на оторопевших новобранцах. Мордобой, матерщина сопровождали этот краткий курс военного искусства. Солдату нельзя было предоставить самому себе ни одной минуты, ибо это повлекло бы за собой, несомненно, нежелательный результат недовольства. Усталые, забитые, зачумленные возвращались они после 15-часовой муштровки в казарму и там забывались кратковременным сном, чтобы на заре начать все заново. За несколько месяцев надо было приучить их к выносливости фронтовой жизни; поэтому чем тяжелее было испытание, тем успешнее казалось обучение. Малейшая провинность влекла за собой мучительные дисциплинарные взыскания, вроде бега на месте в течение нескольких часов или продолжительного стояния на часах с ранцем, наполненным песком и камнями. Маршевая рота и отправка на фронт многим казалась облегчением, хотя огромные потери русской армии не могли заронить в них надежду на спасение. Только неисчерпаемый источник жизнерадостности и того глубокого оптимизма, которым проникнуто было мирозерцание Линде, могли предохранить его от мрачного отчаяния. Он проделывал всю эту солдатскую „учебу“ и в минуты отдыха находил юмор и присутствие духа, чтобы передать другим колорит и бытовые особенности непривычной для него обстановки. О сопоставлении воинскому режиму не могло быть и речи. Казарма безмолвно выносила все тяготы, и мертвая хватка дисциплины душила всякий протест.

Так незаметно подкрадывалась февральская революция, вскормленная и вспоенная солдатским недовольством, вспыхнувшая от первой искры продовольственных затруднений. Уже несколько дней по городу ползла тревога уличных выступлений. 26 февраля войска и полиция стреляли залпами на Знаменской пл. и Невском пр. Толпа убила пристава Крылова. Часть па-

яловцев, посланная в наряд на Литейную ул., дошла до Екатерининского канала и отказалась идти дальше. Против них были высланы части преображенского, кегскольмского полков, полиция и какие-то кавалеристы. Павловцы залегли, открыли ружейную стрельбу, потом, не видя поддержки, быстро пали духом, решили сдаться и без сопротивления позволили себя разоружить. 19 зачинщиков были арестованы и отведены в Петропавловскую крепость для предания военно-полевого суду. Волнения и уличные беспорядки на языке официальных властей „были в корне уничтожены“. Телеграфное распоряжение царя „повелеваю прекратить в столице беспорядки“ высшие власти выполнили в срок.

В ночь на понедельник 27 февраля Петроград притаился в томительном ожидании. В центре города царил „порядок“, и правительство считало себя победителем. Но за 2—3 дня пламя восстания охватило окранны, населенные городским пролетариатом. Там авторитет власти был низвергнут, полиция бежала, рабочие бастовали и готовились к борьбе. Предстояло завоёвывать отпавшие части города. Войска должны были на утро выслать отряды с боевыми патронами. Офицеры не отлучались ночью из казарм. Солдаты не спали, и тревожный шопот раздавался во всех углах. События вчерашнего дня действовали угнетающе. Всех раздражало поведение властей, заставивших солдат стрелять в народ. Отдельные рядовые и офицеры говорили в кружках, что больше стрелять не будут. В учебной команде Волынского полка, которая накануне стреляла на Знаменской площади, унтер-офицер Кирпичников со взводными сговорился утром не отвечать на приветствие ротного командира и отказаться стрелять. В семь часов утра начальники учебной команды Лашкевич и младший офицер при криках „ура!“ были убиты ружейными выстрелами. Восставшие волынцы разобрали действа и с боевыми патронами, стреляя в воздух, направились к соседним казармам Преображенского и Литовского полков.

Уже в эти первые минуты солдатского восстания Федор Линде был в центре движения. Выступление волынцев застало его вне Финляндского полка. Благодаря солдатской форме, он сразу получил доступ к солдатской массе. В глазах его сверкнул огонь, движения, слова, голос—все преобразилось! Ни минуты колебания! Стихия нашла своего выразителя. Его вмешательство склонило преображенцев и литовцев. Вышедшие из повиновения солдаты услышали новый призыв вооружаться, строиться в ряды и идти к казармам еще не примкнувших частей. Ближайшей целью было восстание Московского полка, расположенного за Литейным мостом. По пути присоединялись другие части, силой был взят арсенал, где убит генерал Магусов. К солдатам присоединялись рабочие. Находившиеся на Литейном воинские пикеты сопротивления не оказали. Линде отбил где-то грузовой автомобиль и создал первый революционный летучий отряд, который поспевал всюду и разносил пламя восстания. За Литейным мостом учебная команда Московского полка встретила восставших пулеметным и ружейным огнем. Во время перестрелки падали убитые и раненые. Вскоре, однако, сопротивление москвичей было сломлено. Солдаты

выбегали с криками „ура“ и присоединялись к восставшим. Революционный ураган опрокидывал препятствия на пути и залетал во все улицы и переулки. К четырем часам дня 27 февраля весь город, за исключением Адмиралтейства, Зимнего дворца и Петропавловской крепости находился во власти восставших. Всюду царил ружейная перестрелка, пылали полицейские участки, горел Окружной Суд. Из тюрем были выпущены арестованные. По улицам бродили толпы солдат, которые не знали куда приткнуться — не возвращаться же в казармы! Революция искала центр и нашла его в Государственной Думе. Стихийно все тянулось к Таврическому дворцу, где депутаты еще колебались и не знали, куда направить свое решение: в сторону революции или подчиниться приказу Правительства о роспуске. Массы солдат, рабочих, студентов, обывателей толпились у решетки дворца и начинали уставать, томиться в ожидании новой власти. Сгущались сумерки, падало настроение, появлялись признаки сомнений и тревоги. Особенно внушали опасение разрозненные солдатские единицы, отбившиеся от своих казарм и кухонь, голодные и продрогшие. Сознание содеянного рисовало уже мрачную картину возмездия. Расползалась видимость коллективной силы. Восставшая армия грозила превратиться в сброд, который становится тем слабее, чем он многочисленнее. Наступал самый критический момент перелома в настроении. И революция могла принять характер бунта, которому, обычно, уготован один конец: самостребление.

В эту серьезную минуту решил исход восстания Федор Линде. Инстинктом бойца и вождя он понял опасность, и всю свою пламенную энергию воплотил в команду, властный окрик и приказ. Короткой речью были спалены разрозненные группы. Наметились первая военная уличная организация, оторванная от прежних административных центров и подчиненная новому революционному началу. Появились караулы, дозоры, пикеты, посты. Нашлись начальники и командиры. Военное обучение пошло в прок. Федор Линде, еще никому не известный солдат, никем не поставленный и неуполномоченный, закрепил в эту первую решительную ночь поле битвы за революцией. И пока в Таврическом дворце создавался Совет рабочих депутатов, он носился по городу на своем грузовике, проникал в отдаленные воинские пункты, доканчивал победу восстания, рассеивал последние сомнения, где убеждал, а где действовал силой, был сам одновременно штабом, офицером и солдатом, — словом, творил историю этого неуловимого мгновения, которое нельзя предвидеть и нельзя заблаговременно подготовить. Позже других частей он посетил свой Финляндский полк. Уже весь петроградский гарнизон был на стороне революции. Финляндцам он мог рассказать итог своей дневной и ночной деятельности. Солдаты сразу его подняли на щит и провозгласили своим представителем. „Полковая честь“, в новом ее понимании, была высоко поддержана Линде. Симпатии всего полка (и значительной части офицерства) принадлежали ему. Единогласно он был уполномочен войти в Совет солдатских депутатов. Уже с улицы имя его проникло внутрь Таврического дворца. Естественно, что в его лице выступал в те дни восставший гарнизон. И когда

образовался Первый Исполнительный Комитет, Федор Линде занял в нем бесспорное место. Из прежних революционных деятелей со стажем его никто не знал. Но то, что он успел сделать за несколько дней, сразу подняло его в глазах окружающих и сделало популярным. Неустрашимость, бурная энергия и пафос, пламенный энтузиазм и способность подбивать хаос толпы — выдвинули Линде в ряды тех людей, которым поручают самые опасные дела и от которых ждут известий о победе. Одним из таких поручений была рекогносцировка в Кронштадт.

В Петрограде революция торжествовала победу. Кольцо восстания выступило за пределы города. Благодаря авторитету, который сразу приобрел Совет, и сдерживающему влиянию думского Комитета, эксцессов было сравнительно мало. Отношения между офицерами и солдатами быстро наладились. Но зато мрачные сведения доходили из Кронштадта. Восстание матросов сразу приняло там форму массового истребления офицерства. Некоторые, особо ненавистные военачальники, как, например, адмирал Вирен, были растерзаны на площади в присутствии многотысячной толпы. Ненависть матросов, озлобленность их против палочной дисциплины и духа прежней службы были так велики, что трудно было предвидеть, каким количеством жертв утолится жажда мести. Отсутствие сведений и правильной связи множило опасения восставших матросов и усугубляло тревогу. В Кронштадте кем-то распространялись слухи, что революция разбита и что в Петрограде свирепствует кровавая реакция. Матросы затаили глухое отчаянье и собирались дорогой ценой продать вырванную свободу. Кровь лилась, и потокам ее не видно было конца. Надо было остановить эту стихию эксцессов, укрепить победу революции, но показать эту победу со стороны ее торжественного величия, а не мрачной жестокости. Но еще до этого необходимо было связать Петроград с Кронштадтом, послать туда вестника, который одним своим появлением мог бы рассеять сомнения. Эту роль взялся без колебаний выполнить Федор Линде. В одну из бивуачных ночей, когда каждый час мог привести любую тревогу, он на автомобиле, в сопровождении матроса понесся в Кронштадт. Его имя было неизвестно; полномочия казались тогда эфемерными, силы за ним не было никакой. Одна уверенность в себе, энтузиазм и непреодолимость порыва закрывали пред ним призрак опасности. Наоборот, чем загадочнее казалась обстановка, тем сильнее было влечение. Кронштадт был вовлечен им, как звено, в Петербургскую цепь. Влиянию Петроградского Совета Линде открыл дорогу.

VII.

В Петрограде революция укрепилась. Старая власть была разоружена. Карательный отряд генерала Иванова не дошел до столицы и вынужден был повернуть назад. Николай II отрекся от престола, Михаил отказался воспринять верховную власть. Образовалось Временное Правительство, и пустил глубокие корни Совет рабочих и солдатских депутатов. Столица приняла обычный вид;

открылись магазины, пошли трамваи, заработали фабрики, вышли газеты. Страна по телеграмме комиссара путей сообщения Бубликова узнала о перевороте и с большей или меньшей быстротой проделала тот же процесс перевоплощения, что и Петроград. Потанулись длинной чередой уличные демонстрации, митинги, собрания, резолюции; закипела политическая жизнь с неизменными платформами, программами, дискуссиями, съездами и совещаниями. Руководительство перешло к профессиональным политическим деятелям, искушенным в борьбе, настойчивым и односторонним. Вскрылась зияющая пропасть двоевластия между Временным Правительством и Исполнительным Комитетом. Наружу лезли социальные и всякие иные противоречия, которые в первые дни революции лежали незамеченные под покровом национального единства и всеобщего воодушевления. Благоразумные звали к умеренности, демагоги подхлестывали алчущих и жаждущих утоления своего социального голода. Блекли краски героической минуты, наступали будни, хотя революционные, шумные, многоречивые, но все же будни, — и Федор Линде почувствовал тещету окружающего, призрачность суеты и свою отчужденность. В Исполнительном Комитете не мог он найти подходящего места; ни к одной партии не примыкал; судил обо всем по своему, не по фракционному, не по указанному, и потому часто оставался незамеченным. Солдатско-революционная среда перестала быть материалом для революционных маневров и утомляла своим однообразием активную натуру Линде. Он охладел, заметно скучал, бродил по залам Таврического дворца и испытывал горечь неудовлетворенности. Он расточал весь свой героический пафос в надежде увидеть фантастический расцвет новой жизни. То, что он видел, смущало его мятежную душу...

И особенно вызывал в нем недоумение самый факт продолжения войны. Увлеченный так называемым „революционным оборончеством“, ставшим официальной программой Исполнительного Комитета и всей массы демократии, он не разделял, вернее, стихийно отвергал. Эта программа была построена на компромиссе и нерешительной половинчатости. Миротворческая роль русской революции, волшебное прекращение войны на всех европейских фронтах по мановению магической палочки казалось ему более достойным того, что произошло. Ради этого стоило совершать революцию и опрокидывать трон. Ради этого стоило революцию углублять и продолжать. Впрочем, таково было распространенное настроение тех кругов, среди которых Линде тогда вращался. Но только оно не доводилось до конца и обрывалось на полпути, на компромиссе. Об этом миротворческом влиянии русской революции писали во всех социалистических газетах и говорили на всех митингах. На эту тему продолжали изо дня в день свою агитационную кампанию „Известия“. Линде воспринял непосредственно, не мудрствуя лукаво, круг подобных идей. Поведение политического деятеля, умалявшего обалдение русской революции, он считал вредным и опасным. Особенно, если такой деятель ставил себе целью продолжение войны. Ему чудилась в этом прямая измена революции. Фокусом таких подозрений продолжал быть Милюков, с самого начала переворота подорвавший к себе доверие речью о регентстве Михаила и сохранении монархии.

Линде сделал для себя последовательные выводы из всех обвинений, которые по адресу Временного Правительства рсточали в явной и скрытой форме Суханов, Стеклов и другие руководители советской политики. Они разбрасывали обильные намеки и не стеснялись употреблять термин: „контр-революция“. Действенная натура Линде, наивная по части политических выводов и хитро-сплетений, подсказала ему решение, как всегда смелое и рискованное — сделать то, о чем много говорят другие, т.-е. выступить во главе петроградского гарнизона с протестом против вредной политики Временного Правительства и в частности сбросить Милюкова. Так были подготовлены „апрельские дни“, связанные в истории февральской революции с именем Федора Линде и повлекшие за собой первый серьезный правительственный кризис.

Повод к этому кризису дал сам Милюков. В день, когда происходило торжественное празднование первого мая, министерство иностранных дел направило ко всем послам злополучную ноту; в ней правительство заявляло о своем несогласии с основным направлением политики демократии и Совета, выраженным в историческом манифесте к народам всего мира. Это был прямой вызов, брошенный Исполнительному Комитету. Милюков сознательно пытался проверить свою независимость. Он непримиримо относился к Совету и болезненно реагировал на всякую попытку вмешательства и контроля с его стороны. В особенности, его враждебно настраивал интернационализм внешней политики Совета.

Исполнительный Комитет узнал поздно ночью 19 апреля о том, что редакции газет получили для напечатания вызывающую ноту Милюкова. Было ясно, что опубликование ее вызовет негодование части общества. Приостановить печатание этого документа уже нельзя было. Первое впечатление было ошеломляющее. Ночное заседание, созванное экстренно в Таврическом дворце, не принесло никаких результатов. Решено было запросить правительство, какие причины побудили его совершить этот неосторожный шаг. Утром 20 апреля Петроград прочел слова о „решительной победе“ и „продолжении войны“. Более благодарного материала для противоправительственной агитации трудно было придумать. Кто ранее сомневался в демократизме Временного Правительства, теперь получал неопровержимое доказательство этого. За правительством не уследили — таков был вывод умеренных критиков. Правительство злоумышляет — думали и говорили более резкие противники. Настроение Федора Линде вполне соответствовало крайнему решению. Теперь наступил, по его мнению, момент, когда можно выровнить изгиб революции. Не посоветовавшись ни с кем, не доверив никому своего плана, он сразу приступил к действиям. Пока происходили переговоры между Исполнительным Комитетом и Временным Правительством, Линде направился в Финляндский парк, созвал комитет и предложил немедленно пойти всем полком к Мариинскому дворцу, где обычно заседало правительство, с выражением протеста против политики Милюкова. Предложение Линде было принято, и в 3 часа дня по улицам Петрограда уже направлялась внушительная демонстрация финляндцев с вызывающими плакатами, на которых кра-

совались надписи об отставке Милиюкова. Полк был в полном составе; во главе шли офицеры. Солдаты живо откликнулись на призыв своего представителя в Совете; отбивая твердый шаг, они думали, что исполняют волю Исполнительного Комитета. Линде, видимо, после Финляндского полка бросился в другие казармы с тем же призывом. Вскоре выступили Московский, Павловский, Кексгольмский полки, флотский экипаж и другие воинские части. За два месяца существования Временного Правительства это была первая правдивая демонстрация, да еще военная. Временное Правительство в те дни пользовалось сравнительно большой популярностью. Определенные слои населения успели разочароваться в главенстве Совета рабочих и солдатских депутатов и тем сильнее чувствовали свою связь с Правительством, которое считали единственным легальным и полномочным органом власти. Революция уже вскрыла социальные противоречия и оставила позади минуты национального подъема и единодушия. Теперь вопрос о власти ставился остро и решался некоторыми в духе непримиримого конфликта. Выступления полков сразу вызывали тревогу. В воздухе повис призрак гражданской войны. И вдохновителем ее объективно был Федор Линде. Таков приговор исторической хроники.

VIII.

Конечно, конфликт назревал в течение всего предыдущего времени, и не будь вмешательства Федора Линде, другой повод привел бы, вероятно, к аналогичному исходу. Думать иначе значит не понимать или преуменьшать значение того трагического узла, который в виде безвластия Временного Правительства был завязан февральской революцией. Поступок Линде, быть может, приблизил развязку, подогнал и без того быстрый бег истории. Во всяком случае современники тогда готовы были излить на нем „всю желчь своей досады“. Особенно усердствовала „Речь“ и правая печать, окрестившая Линде большевиком и изрыгавшая проклятия по его адресу. Мирной по существу демонстрации Финляндского полка приписывались агрессивные намерения арестовать Временное Правительство и произвести переворот в мексиканском духе. На этом основании печать измышляла факты, которых на самом деле не было: будто финляндцы первоначально заняли все входы и выходы Мариинского дворца и задержали Милиюкова. Впоследствии председатель полкового комитета Дорошевский опровергал в печати этот слух. Финляндцы и другие военные части подходили ко дворцу и, выслушав речи представителей Исполнительного Комитета (Чернова, Гоца и Скобелева), которые срочно прибыли на место и внесли струю успокоения, расходились по казармам. Солдат встречали речами и члены Временного Правительства и даже командующий Петроградским военным округом генерал Корнилов, в то время еще весьма популярный человек среди Петроградского гарнизона.

Но события подчинились своей логике, независимо от эпизода с Финляндским полком. Исполнительный Комитет поспешил снять с себя всякую

ответственность за военную демонстрацию; он заявил, что Совет рабочих и солдатских депутатов не организовал выступления войсковых частей и что это выступление „является недоразумением, созданным некоторыми неответственными личностями“. Под этими „личностями“ подразумевался единственно Федор Линде. Исполнительный Комитет испугался той самой тени, которую сам же неустанно вызывал. Когда Линде претворил слова в действия, считая себя наиболее последовательным выразителем революционной идеологии, от него отреклись и готовы были забросать камнями. Негодование слева не уступало возмущению сторонников Временного Правительства справа, Линде был изолирован со всех сторон. Даже Финляндский полк вынес ему осуждение. На заседании полкового комитета решено было отправить его с ближайшей маршевой ротой на фронт. Революционная импровизация, которая так недавно слепила глаза своей яркостью, теперь оказалась вредной и ненужной. Революция вступила в такую полосу, когда народное движение пугает тех, кто вчера еще на гребне этой же народной волны достиг политической власти.—Испугалось Временное Правительство, испугался и Исполнительный Комитет.

Гарнизон вернулся в казармы, но на улицах закипела гражданская распря. Развязались политические страсти, резко обозначились два стана, два умонастроения: сторонников и противников Временного Правительства. Невский проспект выражал бурно свою приверженность Марининскому дворцу; окраины, населенные рабочим людом,—Таврическому. Демонстрации следовали одна за другой. Партия народной свободы мобилизовала во всех городских районах доверие Временному Правительству. Десятитысячная толпа заливала площадь пред Марининским дворцом и рукоплескала главному виновнику апрельских дней—Милюкову. С окраин к центру направлялись рабочие шествия. Во главе некоторых из них были отряды впервые возникавшей красной гвардии. На рабочих знаменах пестрели слова: „долой войну“. На кадетских—„долой Ленина“. Езанимое ожесточение накапливалось и вело неизбежно к открытому столкновению. Нетерпеливые сторонники Временного Правительства видели в рабочих демонстрациях призрак переворота. Агрессивность одних вызывала резкие движения других. Кто-то вырвал красное знамя; уничтожил плакат; произошла стычка двух враждебных демонстраций, защелкали ружейные затворы, громыхнули выстрелы, полилась кровь. В нескольких местах остались на мостовой убитые и раненые. Казалось, столица ввергнута в новую борьбу за власть. Февральская революция за два месяца успела состариться и обнаружить свою внутреннюю слабость. Мрачные провидцы говорили: „мы отравлены свободой“...

Однако, влияние совета было значительнее разрушительных сил. А совет, вернее—Исполнительный Комитет, не склонен был заострять борьбы за власть и в особенности не выражал намерения самому стать формальным носителем верховной власти. Соглашение с Временным Правительством было достигнуто. Опубликовали новую ноту, которая „разъясняла“ текст прежней милюковской. Исполнительный комитет быстро признал себя удовлетворенным

и принял ряд мер к прекращению уличных выступлений. Страсти улеглись. Конфликт казался исчерпанным. Призрак гражданской войны испарился. Правительство осталось у власти. Но зловеющий симптом изгладить из воспоминаний нельзя было. Кризис власти еще не был изжит. Прекратилась только его уличная видимость. Острый воспалительный процесс принял форму хронической болезни. В поисках целебного средства решили прибегнуть к коалиционному правительству. Тем самым предпринят был вопрос об устранении Милюкова. Федор Линде достиг цели. Милюков был сброшен.

Газеты продолжали время от времени травить Линде. Кадетская и правая печать обвиняла его в принадлежности к большевикам или, как тогда говорили, к „ленинцам“. Агрессивность в отношении большевиков считалась в те времена признаком хорошего тона не только среди уличной толпы и читателей „Маленькой Газеты“ Ал. Суворина, но и солдатской массы, заливавшей своими демонстрациями и делегациями залы Таврического дворца. Линде был сброшен с того пьедестала, на который вознесли его успехи первых дней революции. Его репутация оказалась поколебленной и даже опороченной. Исполнительный Комитет от него отрекся; Финляндский полк вынес ему порицание и применил репрессивную меру, общественное мнение его осудило. Оставалось подчиниться судьбе и отправиться рядовым на фронт. Линде не было свойственно чувство раскаянья. Иначе он несомненно стал бы жертвой этого душевного состояния. Впервые на его выразительном, жизнерадостном лице появились следы равнодушия. Он был угнетен происшедшим.

Однако, в советских кругах не все безнадежно его осудили. В апрельской истории Линде все же проявил решимость и своеобразные организационные способности. Близко знавшие его особенно поражались этой последней особенностью, которая так противоречила полуфантастической складке его натуры. Между тем Исполнительный Комитет подбирал людей для отсылки на фронт в качестве комиссаров, главное достоинство которых как раз заключалось в твердой воле и способности увлекать за собой солдатскую массу. Действующая армия начинала тогда внушать опасения. Демократизацию, интернациональные лозунги революции, фронт воспринял как прекращение военных действий и пассивное стояние в окопах. Братание приняло стихийные размеры; дезертирство началось неудержимым потоком. Русская армия выбывала из числа противогерманских сил. Союзники сначала заняли выжидательную позицию, потом обнаружили признаки тревоги и, наконец, заявили о своем недовольстве, напоминая об обязательствах прежней власти. Временное Правительство считало своим политическим призванием продолжать войну и не изменять союзникам. Исполнительный Комитет при всей уклончивости внешней политики все же боялся разложения армии и готов был принять все меры, лишь бы поддержать ее боеспособность. В этом направлении действовал Керенский; такая задача была поставлена и пред комиссарами, которые должны были явиться проводниками взглядов революционной демократии. Со времени образования коалиционного правительства существовало единство тактики между правительством и Советом. Комиссар отражал в своем лице

это единство. Друзья Федора Линде выдвинули его кандидатуру на место одного из комиссаров. Инициаторы этого предложения проявили достаточно легкомыслия. Линде не был тем человеком, которому можно было доверить систематическое руководство армейскими организациями, искусное лавирование между озлобленностью высшего командного состава, происками армейских демагогов и безудержным падением дисциплины в солдатской массе. Близорукые политики проглядели своеобразие его революционной одаренности, неукротимость нрава, которая не всюду и не всегда полезна и пущна. Они не предвидели, что в том месте, где атмосфера насыщена недовольством и враждой, пламенная стихийность и бурный его темперамент могут вызвать в любой момент взрыв и катастрофу.

Линде сразу отнесся с энтузиазмом к этой „комиссарской“ перспективе. Его воображению рисовались неизведанные впечатления боевой жизни, шум побед, фантастические походы, главное — огромное поприще для проявления своих „волевых импульсов“. В деморализацию солдатской массы он не верил или, во всяком случае, не придавал этому серьезного значения. Всякое равнодушие, всякую пассивность, по его мнению, сможет преодолеть порыв вождя, непреклонность характера и сила желания. Его непосредственность подсказывала ему роль такого вождя. Куда исчезла вера в миротворчество русской революции? Иной совершенно план пленил его действительную натуру. Зажечь энтузиазмом войска, преодолеть сопротивление австро-германцев, перешагнуть с армией через границу, повести в Европу на знаменах и штыках лозунги русской демократии. И, таким образом, торжествовать победу русской революции. „Nous le forcerons être libre“. В этом плане были элементы бонапартизма и якобинства — два начала, которые обычно сочетаются в богато одаренной индивидуальности. Судьба должна была так позаботиться, что одновременно с Линде на испытании в качестве будущих комиссаров у Исполнительного Комитета были Савинков и Моисеенко. И тот и другой импонировали своим революционным прошлым и выдающимися организаторскими способностями. Но Савинков уже тогда внушал подозрения со стороны своего скрытовраждебного отношения к Совету, а Моисеенко находился всецело под его влиянием. После долгих колебаний и в виду выраженного Керенским желания, Исполнительный Комитет согласился послать обоих на юго-западный фронт. Линде был назначен помощником Моисеенко в особую армию. Они были и ранее друг с другом знакомы и выразили взаимное желание работать вместе. Старый террорист, боевик, сошелся с утопистом и мечтателем. Обоим революционная демократия доверила армию в этот критический момент перелома настроений на фронте.

А момент был действительно критический... Армия выходила из состояния повиновения; она грозила утопить страну и революцию в волнах беспорядка и анархии. Власть теряла авторитет. Отданные приказы оставались безнаказанно неисполненными. Ни одна военная операция не могла быть задумана, тем более выполнена, так как не было уверенности, что ее доведут до конца. Железнодорожный транспорт разрушался на глазах —

солдаты, покидающие фронт, брали с бою поезда, заставляли под угрозой смерти менять направление, перегружали вагоны, ломали двери, окна, крыши, словом, ценой варварского опустошения производили стихийно демобилизацию. В тылу шла безудержная агитация сторонников немедленного мира и новой социальной революции, которая должна империалистическую войну перевести в войну гражданскую. Законность и право в обычном смысле отступали под напором социальной стихии. Власть не решалась применять репрессии, не зная в точности, найдутся ли решительные исполнители ее велений. Все чаще и чаще повторялись случаи откровенных самосудов, когда дикие нравы состязались с изощренной жестокостью. Поколеблены были все устои, все правила... Вожди теряли популярность, пылкие лозунги выплывали, программы раздражали своей неопределенностью. Массы жаждали немедленного удовлетворения своих appetitов. Успехом пользовался тот, кто говорил и действовал в этом направлении. Керенский после неудачной попытки июньского наступления стал мишенью фронтовой ненависти и потерял все свое обаяние. Временное Правительство пребывало в состоянии неизлечимого паралича и не выходило из состояния кризиса. Члена Исполнительного Комитета Соколова жестоко избили под Минском возмущившиеся солдаты. Революция вышла из берегов и разлилась широкой волной недовольства, социальной розни. На фронте целые дивизии отказывались выступать и идти на смену в передовые линии окопов. Командный состав чувствовал себя обреченным враждебной солдатской массой; офицер, который бросался первым в атаку, падал мертвым от выстрела в затылок. Одни части занимались разоружением других. Военные действия с естественным противником давно не производились, и только перестрелка, сопровождавшая обычно разоружение, нарушала безмолвие уснувшей окопной жизни.

В обстановке такого развала власти и армии ощутился Федор Линде на фронте. Подъем и неостывающий пафос мешали ему разглядеть трагизм и безысходность положения. Он герил, в силу своего влияния, в ореол присвоенного ему звания, в значение слова и приказа. Солдаты уже не понимали его, он не понимал солдат. Армейские и полковые комитеты сыграли свою роль организующих центров и к тому времени лишились руководящего влияния. Настроением солдатской массы владели не они, а никому неизвестные, но популярные агитаторы. Комиссар был, в сущности, беспомощной фигурой, обреченной на бездействие. Не к такой роли готовился Линде. Тем более вырастал трагизм его положения. А судьба между тем дописывала последние страницы его жизни...

Он жил в Лудце, где расположен был штаб армии. Здесь иногда в нем просыпалась тоска по тихой созерцательной жизни. Единственный человек, с кем можно было иногда поделиться тревогой своего духа, был врач-литератор Войтоловский, который с затаенным вниманием следил за разнообразными отблесками его творческой натуры. Провинциальная обстановка тяготила Линде своим однообразием. В ожидании бурной деятельности утешение доставляла игра какой-то девочки-музыкантши, которую он „открыл“

в залулстном ресторанным оркестре и собиравлся вывезти с собой в Петроград. Неожиданно хлынули события.

IX.

В ночь на 24 августа бездействие комиссара было прервано тревожным сообщением. По телефону дали знать, что полки пехотной дивизии, стоявшей на позиции у селения Духче, отказываются исполнять боевые приказы по укреплению позиции. На требование командующих лиц выдать агитаторов солдаты 444-го пехотного полка ответили отказом. Командир корпуса считал необходимым приступить к разоружению. Линде, назначенный комиссаром на место Моисеенко, выразил желание личным вмешательством ликвидировать этот случай. Начальник пехотной дивизии генерал Гиршфельдт был об этом предупрежден. Все же казачий полк под командой генерала Краснова получил назначение выступить в боевой готовности, чтобы в случае необходимости провести кампанию усмирения.

Доклад Гиршфельдта рисовал в мрачных красках настроение солдат. Линде не разделял тревоги. „Ну еще бы“, говорил он, исполненный уверенности, „они вас никогда не послушают. С ними надо уметь говорить. На толпу надо действовать психозом“ ¹⁾. В этих словах сказался безграничный пафос индивидуалиста, все рассматривающего под углом зрения своего волевого превосходства.

Когда Линде подъезжал к позиции, казаки уже окончили окружение бивака 444-го полка. Они выставили заставу с пулеметами, сидели на лошадях с обнаженными шашками и, казалось, готовы были по первому приказанию броситься в атаку на пехоту. „Гиршфельдт и Линде вышли из автомобиля. Был очень жаркий полдень. Солнце высоко стояло на синем небе, в лесу пахло хвоей, можжевельником. У землянок раздавались крики офицеров, приказывавших выходить всем до одного и строиться по-ротно“...

— Вот вторая рота,—сказал командир полка.—Она главная зачинница всех беспорядков.

Линде вышел вперед. Лицо его было бледно, но сильно возбуждено. Он оглянул роту гневными глазами и сильным, полным возмущения голосом начал говорить.

— ... Я комиссар юго-западного фронта, я, который вывел солдат, свергнуть царское правительство, чтобы дать вам свободу, равной которой не имеет ни один народ в мире, требую, чтобы вы сейчас же мне выдали тех, кто подговаривал вас не исполнять приказа начальника. Иначе вы ответите все. И я не пощажу вас!.. Когда Линде замолчал, рота стояла бледная солдаты тяжело дышали. Видимо, они не того ожидали от „своего“ комиссара.

¹⁾ Описание трагической смерти Федора Линде заимствуем из воспоминаний генерала Краснова, напечатанных в Архиве русской Революции (стр. 105 и сл.).

— Ну что же!—грозно сказал Линде и пошел вдоль фронта.

Командир полка стал вызывать людей по фамилиям. Он уже знал зачинщиков. Выходившие были смертельно бледны, тою зеленоватой бледностью, которая показывает, что человек уже не в себе... Их набралось двадцать два.

— Это и все?—спросил Линде.

— Все,—коротко ответил командир полка. Один из вызванных начал что-то говорить. Линде бросился к нему:

— Молчать! После поговоришь... Негодяй!

— Возьмите их,—сказал он сопровождавшему его казачьему офицеру.

— Не выдадим!.. Товарищи! Что же это!..—раздалось из роты, и несколько рук, сжатых в кулаки, поднялось над фронтом.

Конная сотня, стоявшая шагах в двадцати, грозно надвинулась, и люди стихли.

Арестованные были выведены из строя и, оруженные казаками, направились в ближайший сборный пункт.

Дело было сделано; но настроение солдат осталось возбужденным; квадраты батальонных колонн, выстроившихся на лесной прогалине, были грозны. Солдаты находились в каком-то оцепенении. Но ясно было, что, как только пройдет первое чувство, они осознают силу своего неподчинения и бессилие начальственного приказа. Линде, ослепленный успехом, и слушать не хотел Краснова, который советовал ему уехать. Мог ли генерал состязаться с ним в знании массовой психологии.

— Нет, генерал. Вы ничего не понимаете,—говорил он.—Первое впечатление сделано. Надо воспользоваться психологическим моментом. Я хочу поговорить с солдатами и разъяснить им их ошибки.

Он подошел к первому батальону. Отрекомендовавшись, он произнес речь о долге перед революцией, о значении войны и требовал беспрекословного подчинения воинской дисциплине. Говорил патетически, страстно, сильно, местами красиво, воодушевлялся сам и был уверен, что воодушевляет других. Строгость тона уступила место убеждению, приказ призыву. Линде кончил и приказал разойтись людям 1-го батальона, а сам пошел говорить со вторым. Командир полка пробовал протестовать и советовал держать солдат все время в строю. Но Линде так был уверен в силе своего влияния, так доверял солдатской массе, которую ведь не раз подчинял своей воле, что не согласился с командиром полка. Люди первого батальона разошлись по кучкам и начали совещаться. Была допущена роковая ошибка. Некоторые следовали за Линде; постепенно образовалась порядочная толпа, беспокойная, подозрительно оживленная.

К Краснову то и дело подходили офицеры 2-го уманского полка и говорили:

— Уведите его. Дело плохо кончится. Солдаты сговариваются убить его. Они говорят, что он вовсе не комиссар, а немецкий шпион. Мы не справимся. Они и на казаков действуют.

Действительно, подле каждого казака стояла кучка солдат и слышался разговор.

Краснов снова подошел к Линде и стал его убеждать. Но глаза его горели восторгом воодушевления...

— Вас считают за немецкого шпиона, — сказал генерал.

— Какие глупости, — отвечал он. — Поверьте мне, что это все прекрасные люди. С ними только никто никогда не говорил.

Было около трех часов пополудни и сильно жарко. Линде уже не говорил речей, но и он и генерал Гиршфельдт стояли в плотной толпе солдат и отвечали на задаваемые им вопросы. Вопросы эти были явно вызывающими. Из темной солдатской массы выступили уже определенные лица, которые неотступно следовали за Линде. Толпа наседала и теснее замыкала круг. Линде ничего не замечал и продолжал верить в свою силу, в силу слова.

— Вам надо ехать сейчас, — строго заявил ему Краснов. — Я ни за что не отвечаю.

— Вы боитесь? — сказал Линде.

— Да, я боюсь, но боюсь за вас. Вся злоба направлена против вас. Меня, быть может, и не тронут, побоятся казаков, но вам сделают худо. Уезжайте!

— Хорошо, я сейчас поеду, — сказал Линде, взявшись за дверцу автомобиля.

Но в это мгновение к Линде подошел командир полка и сообщил, что 443-й полк снялся с позиции и с оружием идет сюда.

— Как! — воскликнул Линде, — самовольно сошел с позиции? Я поеду к нему. Я поговорю с ним. Я сумею убедить его и заставить выдать зачинщиков этого гнусного дела.

— Люди вооружены, — сказал командир полка.

— Я комиссар. Меня не тронут. Это мой долг. Ведь вы знаете, — обратился он к окружающим, — они обвиняют генерала Гиршфельдта в том, что он продал немцам за 40.000 р. свою позицию. Как это глупо! За сорок тысяч! Вечно нелепая басня об измене генералов!

В это время в лесу в направлении позиции раздались несколько ружейных выстрелов. Пехота наступала правильными цепями, в строгом порядке. Пулеметчикам был отдан приказ открыть огонь, но они отказались.

— Но ведь это настоящий бунт! — крикнул Линде. — Мой долг быть там. Генерал, вы можете не сопровождать меня. Я поеду один. Меня не тронут.

И он поехал навстречу смерти...

Раздалась чья-то команда: в ружье! В одну секунду все разбежались по землянкам и сейчас же выскакивали оттуда с винтовками. Резко и сильно сзади Линде затрещал пулемет. Шесть тысяч солдат, а может быть и больше, разом открыли беглый огонь из винтовок. Лесное эхо удесатерило эти звуки. Казаки бросились врассыпную удирать. Пули тучей свистали около автомобиля. Ясно было, что он стал мишенью стрельбы. Шофер остановил машину и

в мгновение ока выскочил из нее и бросился в лес. За ним выскочили Линде и Гиршфельдт. Гиршфельдт побежал в лес, а Линде бросился вперед к землянке. На спуске в землянку какой-то солдат ударил его прикладом в висок. Он поблуднед, но остался стоять. Видно, удар был не сильный. Тогда другой выстрелил ему в шею. Линде упал, обливаясь кровью.

И сейчас же все с дикими криками, улюлюканьем бросились на мертвого...

Гиршфельдта нагнали в лесу, раздели, привязали к дереву, истязали и, надругавшись, убили.

Стихия разъяренной толпы истребила Линде — человека, который сам являлся воплощением стихийного расцвета личности.

Х.

Спустя две недели, в сентябрьский дождливый день тело Линде привезли в Петроград. Исполнительный Комитет решил отдать последние почести погибшему. На пути следования к Финляндскому вокзалу процессию встречали оркестры военной музыки. Финляндский полк выслал почетный караул. В сухой, бесцветной речи представитель Совета охарактеризовал революционную роль Линде. Кто-то еще отметил его заслуги пред демократией. Представитель Особой армии, сопровождавший тело комиссара, говорил об отношении к нему архейского комитета. Все восприняли видимость, иллюзорную сущность Линде. Никто не разгадал подлинной красоты, необычной, неадаптивной природы этого удивительного человека, для которого революция была лишь фоном.

Тесная группа почитателей и друзей проводила гроб в Финляндию, откуда вихрь революции унес Линде на встречу слепой судьбе, жестокой и расточительной.

Линде умер трагической смертью, но он не трагическая личность. Свойство его духовного облика, наоборот — гармония. Ей он не изменял ни одной минуты до последнего своего вдоха. В звуках гармонии исчезали ошибки, увлечения и шероховатости его характера. Этой своей гармонией внутренней подкупал он и покорял окружающих. Но не для шума площадей, военных и политических схваток родилась она в нем. И весь иррационализм истории, бездушность объективного „порядка“ сказались в том, что именно Линде был поставлен у того барьера, где столкнулись противоречия февральской революции 1917 года.

Вл. Канторович.

БАНДИТЫ.

(Очерки периода гражданской войны).

В августе месяце 1920 года случай забросил меня в глухой лесной район Киевского уезда, на границу этого уезда с Радомысльским и Чернобыльским. Случай имел характер длительный, и там я прожил почти два года, вплоть до мая 1922 г.

Село, в котором я жил, считалось чуть ли не штабом нескольких крупных бандитских шаяк, как, напр., Орлика, Струка и др. Таковым оно, правда, не было, но бандиты в этом районе, несмотря на самую решительную борьбу с ними, держались особенно упорно и долго — вплоть до начала 1922 года. Объясняется это естественными условиями — необъятными лесами, в которых был знаком бандиту, местному жителю, каждый кустик. Среди этих лесов там и здесь вкраплены редкие хутора и деревушки. В одну из таких деревушек я и попал.

Я передаю здесь то, что пришлось испытать, видеть и слышать за эти два года жизни в бандитском гнезде. Факты зафиксированы мною, по возможности, точно. Для пояснения необходимо добавить, что пребывание мое в этой глуши имело характер служебный; я был заведующим стекольным заводом (неработающим), находящимся в ведении киевского совнархоза и заведующим кооперативным складом бутылок при том же заводе. На селе же слыл за человека „ученого“ и потому исполнял писарские обязанности во всех многосложных случаях деревенской потребности на это ремесло.

* * *

Начиная с осени 1920 года и вплоть до лета 1921 года, собственно, трудно было установить в этой глуши, под чьей мы властью живем: советской или бандитской. Вернее, — бандитской, потому что представители советской власти появлялись у нас чрезвычайно редко, в два-три месяца раз, тогда как бандиты были постоянными нашими гостями. Тогда у нас на местном языке назывались они еще не „бандиты“, а „партизаны“, „козаки“, „добродни“ и т.п. Термин „бандиты“ появился в обиходе местного языка значительно позднее — летом 1921 года.

* * *

То была первая встреча с партизанами.

Как-то вечером дядько Мирон, умный и любовательный мужик, зашел ко мне:

— Ходим, побачимо...

— Що-таке?

— Хиба-ж не чули? У дядько Карпа — партизаны. Ходим!

Я пошел. Интересно было живых партизан, бесстрашных рыцарей темного леса, посмотреть с глазу на глаз.

На улице у хаты дядьки Карпа фигура с винтовкой маячит. Заглянула в глаза, — ни слова не сказала, пропустила. В хате накурено. Человек двадцать — все молодые, в костюмах военного покроя, усталые, озябшие. Поздняя осень на дворе, сыкотно, два-три местных жителя, из мирных. Вхожу, как ни в чем не бывало, будто случайно зашел, здороваюсь с хозяином. Хозяин, видимо, побанывается партизан и старается угодить, в тон им говорит. Слышу шопот за спиной: про меня говорят. Те спрашивают, кто я такой и получают разъяснение. Не обращая на них внимания, стараюсь поддерживать разговор с хозяином. У партизан свой разговор — какой-то незначительный. Часто слышу: „Пан полковник, пан полковник“. Смотрю на того молодого человека, которого величают „полковником“. Ничего полковнического. Как будто угадав мою мысль, подсаживается ко мне, улыбается:

— Я вижу, вы не верите, что я полковник?

Теперь уже окончательно не верю, коли ты, милый, убедить стараешься, однако, отвечаю:

— Нет, почему-же. Охотно верю.

Делает серьезное лицо:

— Да, да — это так. Вот видите — до чего походная жизнь довела... А когда-то был человеком...

Ловкий малый. Из уст его я слышу длинное повествование о невзгодах партизанской жизни, о победах, о ском — максимум через 10 дней — взятии Киева. По его словам выходит, что Киев окружен со всех сторон и большевикам даже уйти некуда.

— Здорово мы всех их там накроем! Вот будет веселое дело. Хлопцы, — а? Как вы думаете?

Но хлопцы, кажется, не очень разделяют его восторга и усиленно поглядывают в сторону печи, где шипит горячее сало.

Мой полковник долго еще рассказывает о неизвестных мне петлюровских частях и дивизиях, под разными фамилиями и номерами,двигающихся в разных направлениях всё на тот же Киев, говорит об удачных налетах на красноармейские обозы, о колоссальной добыче продуктов, захваченных в бою.

Но я вижу, что хлопцы его очень голодные, что сало жарится на шестье хозяйское, а не свое, и делаю нетерпеливый жест, собираясь возражать. И вдруг из уст его слышу такой, всеубивающий аргумент:

— Хотите, я вам пришлю муки белой мешка два, сахару можно мешок?.. Хотите?

— Ой, нет, полковник, ради бога — увольте.

— Почему же? Пожалуйста, не стесняйтесь, у нас есть...

— Нет уж, увольте. Не надо мне ни вашей муки белой, ни сахару. Поднимаюсь.

— Вы обиделись? Извините... Я от души. Я же знаю: на советское жалование не проживешь. А у нас гимет, пропадает...

Ах, думаю, чтоб ты пропал с твоим сахаром и с твоей мукой. И, выдумав какой-то благовидный предлог, удаляюсь.

На прощанье полковник щелкает шпорами. Будем знакомы — полковник N (фамилию, к сожалению, не запомнил).

Со мной выходит один из наших селян. Дорогой спрашиваю его:

— Вы знаете этого полковника?

— Кто? Вив? Да вив такой же полковник, як вы — генерал.

И рассказывает, что это сын одного из хуторян, верст за 20 от нас. Был на войне в чине прапорщика, быть может подпоручика (офицер военного времени).

— Он мне рассказывал, — говорю я, — что они муки у красных награбили, сахару даже девать некуда. Правда это?

— Брешет суки сын.

И задумчиво добавляет:

— Ведь добрые хлопцы, а брешут, щоб им добра не було!

Мой спутник тайне сочувствует партизанам и болеет за их манеру прихвастнуть.

* * *

В ту же ночь „полковник“ со своими „козаками“ сделал налет на две еврейские квартиры в нашем селе. Приехали на возах, обообрали всё, что попало под руку, заявив, что всё это нужно для „Украинской народной армии“. Впрочем, судя по рассказам пострадавших, в особенно длинные объяснения „козак“ с владельцами имущества не входили — просто залезли всех их в одну комнату и распоряжались в квартирах, как хотели.

С тех пор налеты на еврейские квартиры участились и в течение какой-нибудь недели все пять еврейских семейств нашего села подверглись ограблению, некоторые по два и по три раза. Евреи собрались выехать в Киев, но партизаны уверили их, что личная безопасность им не угрожает, так как они, мол, наши сельские евреи, народ трудящийся (мелкие ремесленники и обиватели, жившие в селе с незапамятных времен) и отвечают только своим имуществом за „грехи“ своей нации. Но эта декларация о неприкосновенности личности евреев имела силу недолго — недели две. Ограбив евреев почти дотла, партизаны стали искать в них признаков коммунизма, а затем и просто убивать только за то, что „жид“.

Характерный случай был с одним молодым евреем, заподозренным в сочувствии коммунистам. Его хотели убить, но он настоял, чтобы его повели к председателю сельского исполкома, где последний и удостоверил, что молодой еврей-дезертер из красной армии. Его отпустили.

Отношение населения к разгрому евреев было безразличное. Крестьяне не противодействовали открытому грабежу, но и не содействовали ему. Глубоко-флегматично, „по-хохлацки“ они обсуждали мотивы за и против. Однако, „жидивское добро“ иногда оказывалось после погрома в скрытых хозяйственных хохлушек. Но в то же время почти все селяне с большим риском прятали у себя евреев в самые опасные моменты бандитского разгрома.

— Ой, дядько, до тебя жида пийшли. Сказывай, де вони, а то плохо будет.

А дядько и в ус себе не дует:

— Яки жида? Шоб я собі в хату жида пустив?

И обидчиво отплевывается.

А еврей сидит где нибудь тут же, близко, искусно спрятанный хозяином, и слышит весь этот разговор.

Не беда, что у этого же дядьки впоследствии может оказаться какая-нибудь вещь, взятая им во время погрома из квартиры того самого еврея, которого он прятал с риском для своей жизни. С другой стороны и спасенный дядькой еврей нашего села способен был через два-три месяца прийти к нему с солдатами и властями и требовать свою вещь, взятую дядькой во время погрома, чем, конечно, ставил своего спасителя в положение соучастника бандитов.

* * *

Я сижу в квартире бывшего служащего завода Зуся Гринберга, уже дважды погромленного, и в десятый раз выслушиваю, как это было. Он уже привык и, рассказывая, посмеивается над своим несчастьем.

Случайно обернувшись, в окно вижу группу вооруженных всадников.

— Смотрите, Зусь Гершкович, что это такое?

— Ой, это скверно, это они — лесовики. Надо прятаться.

— Ну, что, куда вы? Не тронут. Ведь обещали не трогать. Притом же и грабить у вас уже нечего.

— Обещали? И вы думаете я верю их обещанию? Нет уж лучше я уйду...

И торопливо забежал по комнате, пряча в карман то, что можно спрятать. В квартире засуетились, заголосили члены многочисленной семьи Гринберга. Накрывались кто чем попало и выбегали черным ходом во двор. Подбегали к окнам, выкрикивали непонятные мне слова. Становилось жутко и неприятно. Только старый отец Гринберга, — ему 90 лет — невозмутимо сидел на кресле и, покачиваясь, нараспев читал свою священную книгу. Ему что-то говорили, он поднимал глаза на говорящих и, очевидно, не утомлялся их ответом. Он продолжал всё также рассказывать, и только огромная, белая, патриархальная борода его мелькала как-то несолидно — быстрее обыкновенного.

— Вот что, Иван Федорович, — торопливо заговорил Зусь, — возьмите вот этот замок и ключ и уходите, а когда выйдете — запирайте нашу квартиру с улицы, ключ же себе в карман. Я выйду с черного хода и тоже запру. Может быть увидят, что заперто, и не будут ломать.

— А как же ваш старик?

— Старик не хочет уходить. Да и кто его тронет!

Я вышел и сделал так, как уговорился: повесил замок, запер, а сам сел недалеко на лавочку и стал наблюдать, что происходит.

В село прибывали группами и в одиночку, конные и пешие, всё новые и новые партизаны. На этот раз их было человек сто. Разбрелись по селу, ходили без цели по улицам.

Кончилось всё это решительным и последним погромом остатков еврейского имущества, после которого все пять еврейских семейств выехали в Киев. Сами евреи разбежались, попрятались у крестьян. И хорошо сделали, потому что в этот налет не было уж никаких маскарадных фраз о „неприкосновенности личности“ евреев, хотя бы и знакомых и трудящихся.

Группа бандитов человек в шесть подошла к дверям квартиры Гринберга, ключ от которой находился в моем кармане.

— Ишь, разбежались, сукины дети и квартиру заперли. Ломай!

Два-три удара прикладом и замок с прсбоем вылетел. Бандиты ввалились в квартиру. Другая подошедшая группа рассыпалась по двору, полезла на чердак, сеновал и т. д. Обшарили все углы. Коров угнали, у гусей и кур шашками поснимали головы. Из квартиры неслись звуки разбиваемого стекла, грохот от падения тяжелых вещей. Погром полный, с ломанием и битьем того, чего взять нельзя. Из разбитых окон летит на улицу будильник, кусок кожи, табурет, самоварная труба. А жадные бабы-крестьянки тут как тут: у одной в руках табурет, другая стыдливо прячет самоварную трубу.

— Убили, убили! — слышу зловеющий шопот этих баб, успевающих за работой поделиться свежими новостями.

— Кого убили?

— Старого Гершко.

И рассказывают подробности. Старик сидел, очевидно, всё в той же позе, как мы его оставили, с книгой в руках и бормотал. Его спросили — „где деньги, где вещи?“. Старик не удостоил ответом, а только посмотрел на вопрошающего и вновь забормотал. Один из бандитов вышиб у него из рук книгу. Старик продолжал раскачиваться и бормотать.

— А, что с ним разговаривать! Дай ему!

Кто-то вынул кинжал и спокойно всадил его старику в грудь. А потом спокойно вытер кровь об это же кресло и вложил в ножны. Старик продолжал сидеть, но уже не раскачивался и не бормотал. Старый Гершко Гринберг прочел свою книгу до конца.

Такое бессмысленное убийство не вселило, видимо, радости и в сердца партизан. Они ходили мрачные и искали „кого бы помоложе“, как сами выражались.

Встретившись на улице с „полковником“, галантно расшаркавшимся со мной, как со старым знакомым, я мягко высказал ему свое неодобрение бессмысленного убийства.

— Совершенно с вами согласен. Ни к чему это убийство. Безвредный человек — я его знал. Но я тут ни при чем. Тут у нас — сам атаман, он распоряжается. И притом это сделали не мои ребята, за своих я ручаюсь.

А когда я продолжал возмущаться, он тоже перешел в наступление:
— Чего вы, собственно, волнуетесь? Что какого-то жиды убили? Ему и так две недели жить оставалось.

Какой-то черноусый бандит, присутствовавший при нашем разговоре, вышительно добавил:

— Старый или малый — все равно „жид“. Их, проклятых, всех до единого надо перерезать...

Спорить было бесполезно и, судя по настроению черноусого, даже не безопасно.

* * *

В вечерних сумерках я вижу группу мужиков, оживленно что-то обсуждающих. Подхожу к ним. Пастушек-подросток рассказывает. Событие, действительно, большой важности: в версте от села, в лесу, обнаружено 13 убитых красноармейцев. Один из них еще живой стонет, приподнимает голову и просит пить. Мальчишка-пастух, увидев такую картину, стремглаз пустился в деревню и вот теперь рассказывает, путаясь и дрожа от испуга.

Зовут председателя сельского исполкома, быстро собирается летучий сход. На сходе становится известным, что в прошлую ночь в деревне Галинке, находящейся от нас в 7 верстах, ночевал какой-то (мужики называли его „карательный“) отряд, в составе около 20 человек. Расположились по хатам, по 2—3 человека. В глухую ночь в деревню нагрянули бандиты и забрали 13 красноармейцев, остальные разбежались. Несомненно, эти 13 расстрелянных и были те самые, которые попали в руки бандитов в деревне Галинке в прошлую ночь.

Долго и нудно говорили наши мужики, что теперь делать. Убитые лежат на территории нашего села, всего в одной версте — надо что-то предпринять. Но что? Как посмотрит на их действия начальство, и то, и другое, — и советское и бандитское. Решают послать человек пять смелых мужиков, чтобы самим убедиться, верен ли рассказ пастушка. Уже совсем темно, когда разведчики возвращаются.

Пастушок рассказал верно: 12 убитых и один раненый, но настолько, что едва-ли выживет до утра. Попробовали его приподнять — нельзя, кричит от боли. Напили водой. Стучит зубами от холода. Ночи были осенние. Прикрыли его шинелями с убитых товарищей.

Больше всего мужики-разведчики обратили внимание на костюмы и обувь убитых и удивлялись, что бандиты не раздели убитых, а оставили их в целости. Перебывая один другого мужики рассказывали, какие „добрые“ на убитых шинели, штаны и чоботы. Даже такие детали, как обыкновенный ремешок, которым подпоясаны штаны убитого солдата, не ускользнули от внимания хозяйственного мужицкого ока.

Я посоветовал взять раненого в деревню. Некоторые меня поддержали, но „благоразумные“ замахали руками:

— Шо це? Як це можно? А шо скажут ции?

То-есть: что скажут бандиты?

— Чорт с ними, что они скажут, но нельзя же умирающего человека оставлять в лесу на ночь.

Согласились, что жалко его оставлять, беднягу, но и взять никак нельзя,— бандиты осерчают. Порешили оставить.

Ночью деревня спала беспокойно. А на следующий день по улицам бродили мужики и бабы и толковали о страшном происшествии. Были смельчаки, которые уже побывали в лесу рано утром и видели, что раненый еще жив. Они рассказывали, кроме того, что две пары сапог, а также некоторые куртки и особенно „гарние“ штаны на убитых за ночь таинственно исчезли. И при этом, по секрету добавляли, что операцию раздевания убитых производили двое наших же сельчан.

Часа в два дня в центре села, перед многолюдной толпой мужиков и баб, появился довольно большой отряд партизан с желто-голубым знаменем. Тут был, кажется, и сам неуловимый бандитский атаман Орлик, оперировавший в нашем районе вплоть до весны 1922 г. (это было осенью 1920). Мужики пошумевались, смелые выступили вперед и обратились к главарям бандитов с просьбой дать им приказ, что делать с убитыми и раненым. С убитыми им разрешали делать, что угодно: если хотите хоронить—хороните. Что касается раненого, то бандиты прежде всего удивились, что он остался жив:

— Яке живуче це кацапье!

А затем, подумав, приказали немедленно его привезти, вымыть, одеть и ухаживать за ним. За неисполнение пригрозили карами и уехали. Приказ был в точности выполнен. Раненый получил хороший уход и, в общем удивлению, выздоровел. К нему не раз заезжал бандитский эскал и долго с ним беседовал. Впоследствии раненый был горячим свидетелем защиты наших сельчан перед советской властью, взявшей наших мужиков под прямое подозрение.

Что касается убитых, то их похоронили на церковном кладбище и поставили над могилой крест. Когда хоронили, то одежда и обувь убитых, по решению схода, досталась тем, кто согласился привезти убитых и копать им братскую могилу. Охотников нашлось много; было соревнование и возникли взаимные препирательства при дележе—одному достались хорошие штаны, а другому только „якась-то поганенька куртка“.

Между прочим, через месяц к нам в село приехал какой-то мелкий советский служащий из Киева и рассказал трагическую историю: его брат, гимназист 17 лет, кормивший мать и сестер своей „спекуляцией“, пошел как-то по деревням добывать, менять и выпрашивать хлеб. В одной деревне сошелся со случайными красноармейцами из какого-то отряда, ночевал с ними, был захвачен ночью бандитами и убит. Брат отыскал его след—в виде креста над братской могилой 12 красноармейцев на нашем кладбище.

* * *

В период польского наступления осенью 1920 года отступавшие красноармейские части в нашем районе держались только по линии железной дороги,

не заходя вглубь. А потому мы, в 10 верстах от железной дороги, были в полной и открытой власти партизанских отрядов, грабивших красноармейские обозы, делавших налеты на отдельные малые воинские части. В этот период по селу проходили бандитские отряды численностью в 100, 200 и 300 человек, с пулеметами и обозами, а однажды даже и с сестрой милосердия, которая сидела на возу награбленной кожи и приветливо кивала бабам. Потом рассказывали, она скоро бежала от бандитов в компании со смазливим козаком, захватив с собой туго набитый мешок с царскими деньгами из партизанской кассы.

То был расцвет украинской партизанщины. В нашем районе оперировали большие партии атаманов Струка и Орлика, то объединявшиеся, то вновь разъединявшиеся. Бандиты уверяли всех, что Киев скоро будет ими взят, да и сами, кажется, были убеждены в этом, а пока что делали налеты на железнодорожные станции, волысполкомы, мельницы и на всё, что плохо лежало и носило хоть некоторые признаки государственного начинания. Евреев в районе уже давно не было, все выехали, что очень огорчало партизан. Другое же население они пока не трогали. Налеты чередовались с пьянством, с непрерывной выгонкой самогона по деревням и хуторам.

Состав бандитских отрядов иногда пополнялся бежавшими из своих частей красноармейцами. Украинцев и почему-то уральских казаков бандиты принимали охотно в свою среду; «кацапов» же гнали немилосердно, до чиста обирали и пускали на все четыре стороны, иногда после экзекуции нагайками.

* * *

Январь 1921 года. Зима для партизан—время года вообще очень неприятное:—в лесу не скроешься, а на одном месте сидеть долго нельзя, потому что советские отряды могут окружить и уничтожить. Вот почему больше суток на одном месте партизаны не сидели. Заметание следов и ловкость передвижения отрядов у них были организованы прекрасно. Из села, например, партизаны выезжали в одном направлении, а за селом поворачивали в противоположную сторону. Утром здесь, а вечером верст за сорок. А иногда, чтобы перейти пять верст из села в село, они делали 30 верст круглым путем. Население было совершенно сбито с толку их быстротой передвижения, неожиданными появлениями и исчезновениями и в каждый данный момент никогда не знало, где находятся главные силы партизан.

Жертвой этого незнания сделался и я, едва не поплатившись за это жизнью. По делам своей службы мне необходимо было идти на соседний Шибинский стеклянный завод, в 10 верстах от нашего села, сплошным лесом. Единственным населенным местом на этом пути были хутора Новосельцы, расположенные на полпути от нашего села до села Шибина. В этих хуторах партизаны делали свои стоянки довольно часто, но на этот раз крестьяне нашего села уверяли, что их там нет. Рано утром я двинулся в путь и, отойдя верст шесть, совершенно неожиданно на лесной дороге лицом к лицу столкнулся с партизанским часовым.

*

— Стой! Кто? Зачем? Куда?

Объясняю.

— Идем к коменданту!

Мне сначала было смешно: „комендант“ в лесу. Но потом я узнал, что у них не только комендант имеется, но и все соответствующие должности и институты, полагающиеся по воинскому уставу — квартирмейстер, штаб, канцелярия, караульное помещение и всё прочее. Оказалось, что я попал в самую гущу партизанской армии. На этих хуторах сидели сами атаманы Струк и Орлик, с отрядом в 150-200 человек, пулеметами, обозом и проч. Всё это объяснил мне словоохотливый и глуповатый часовой, пока вел к коменданту, бросив свой пост. Я ему заметил (с такой мыслью, что он меня отпустит), что часовой не должен бросать своего поста. Он немного подумал, но потом вполне резонно ответил, что передать меня некому, а отпустить не может, и повел за полверсты к коменданту, оставив свой сторожевой пост на дороге.

Комендантом был, как я узнал потом, известный в нашем районе партизан Рыбка, сын крестьянина из местечка Бородянки.

Комендант посмотрел на дело серьезнее, чем часовой. Выслушав мои объяснения и посмотрев документы, он высказал предположение, что я, по всей вероятности, „советский шпион“, и потому самолично, с револьвером в руках, повел меня в штаб, к самому атаману Струку. Перспектива беседы с самим Струком, страшным и неуловимым атаманом, известным всей Украине, меня тогда заинтересовала, и я даже с некоторым удовольствием шел в штаб, никак не рассчитывая, что меня в самом деле могут принять за шпиона.

В просторной крестьянской хате, отведенной под штаб, куда меня привели, сидело и спало человек десять партизанского начальства. Спящие в скрюченном состоянии на лавках и на полу партизаны так громко храпели, что положительно заглушали обыкновенную человеческую речь. Пахло самогоном и человеческим потом. Поражало обилие оружия в штабе. Посреди хаты стоял пулемет; всюду на полу, на столе, на лавках лежали винтовки и револьверы. Спящие и бодрствующие также увешены были оружием с ног до головы. Какой-то партизан кружился по хате, насвистывал и бил себя по ногам нагайкой. Он остановился было против меня, и мне показалось, что он думает, нельзя ли меня сейчас же отвезить нагайкой. Но, подумав, круто повернулся и продолжал свое лихое занятие.

В переднем углу под образами сидел, развалившись на половину стола, в куртке офицерского образца мужчина, в громадной папаче, с энергичным, упрямым, но усталым лицом. Это был Струк. Он вполголоса беседовал с человеком в буре.

Мой спутник, — капитан Рыбка, — без всякой военной субординации доложил атаману Струку обо мне. Когда в его докладе мелькнуло слово „шпион“, я запротестовал и попытался объяснить с грозным атаманом.

— Помилуйте, добродию, какой же я шпион...

Но не оборачиваясь ко мне, Струк прервал:

— Почекайте трошки... Мовчать!..

Так же печально кончились и все мои дальнейшие попытки объясниться. Струк просто не обращал ни малейшего внимания на меня и даже не удостоил меня взглядом.

Выслушав коменданта, он отрывисто приказал:

— В караульное помещение!

И окончательно отвернулся, давая тем понять, что аудиенция кончилась.

— А не разговорчивый у вас атаман,— заметил я дорогой партизану, которому поручено было подворить меня в караульное помещение.

— С похмелья видно,— буркнул сопровождающий.

Караульное помещение партизан находилось сажених в сто от штаба, в соседней хате хуторянина.

— Примите арестованного.

С лавки встал краснорожий, кудластый парнюга — „караульный начальник“.

— Ага! Ладно. Где поймали?

— В лесу. Шпион.

— Ага, попался!

Мне такая квалификация моей роли начинала определенно не нравиться, но я не возражал. Бесполезно. Этот краснорожий всё равно не поверит.

Приняв меня, „караульный начальник“ снова завалился спать. Я забрался в угол и от скуки начал разглядывать обстановку и прислушиваться к разговорам.

В хате было человек шесть рядовых партизан, скучающих от безделья. Двое сосредоточенно и с усердием, достойным лучшего применения, играли в карты — „в носы“. Носы у обоих распухли от усердного боя, но это их смущало меньше всего. Остальные занимались разговорами. Разговоры вертелись около темы о самогонке, которую эти ребята, видно, пили каждый день в лошадиных дозах. Дверь часто хлопала — входили и выходили новые партизаны и подводчики-крестьяне, захваченные партизанами для несения обозной повинности. Заходили покурить, погреться, рассказывали о боевых подвигах и делились новостями сегодняшнего дня. Хозяйева были уплотнены и вытеснены в другую половину ее. Только на печке остался мальчик лет 10 и жадно прислушивался к разговорам.

Входившие в хату обычно спрашивали, указывая на меня:

— А это кто?

И получали краткий, но исчерпывающий ответ:

— Шпион.

После такой аттестации некоторые особенно внимательно разглядывали мою шубу и сапоги. Я скоро понял причину такого внимания к моему костюму.

А понял я так. Пришел партизан и торопиво рассказал своим товарищам, что сейчас их разведка поймала четырех красноармейцев, которых скоро будут „зарубать“. Сообщение это вызвало огромный интерес среди моих

караульщиков. Все повскакали с мест, даже в носы бросили играть и занялись обсуждением — чего бы вы думали? Того, кому должны достаться шинели, куртки, сапоги и штаны предназначенных к зарубанию красноармейцев. Спорили горячо, доходили до личных оскорблений, чуть не до мордобоя; каждый предъявлял свои права, припоминали аналогичные случаи и, так сказать, бандитские традиции на этот счет. По время этой жуткой дискуссии я узнал, что традиции, собственно говоря, таковы: вещи убитого достаются тому, на кого выпадет эта „почетная“ роль — зарубить пашкой или пристрелить захваченного в плен. На эту операцию назначает, обычно, комендант. Но в данном случае возникал трудно разрешимый практический казус: если всех четверых зарубит один, неужели ему и переходят вещи всех четверых? Это было бы слишком большое обогащение, и такая привилегия недопустима. Высказывали предположение, что этот счастливцев может сразу разбогатеть, и тогда — поминай как звали — уйдет из отряда и даже жениться прилично сможет.

В такой плоскости велись эти оригинальные споры.

Двое побежали к коменданту просить предоставить им право зарубания, а остальные метали по их адресу отборную брань, называя их почему то „шкурниками“.

Во время этих споров кто-то взглянул в окно:

— Вот они!

Все бросились к окну. И я тоже. По дороге проползли сани, на которых лежали люди в шинелях, со связанными назади руками. Их лиц нельзя было разглядеть. Сани eskortировались партизанами — кавалеристами.

Мои караульщики успели заметить, что шинели на связанных „добыче“ и шапки тоже.

— В штаб повезли, — объяснил кто-то.

Двое ходатаев об операции смертоубийства вернулись не скоро и объяснили, что так как претендентов на эту операцию много, то комендант решил, что зарубит захваченных в плен какой-то Васька, но он Васька получит только то, в чем он сильно нуждается (сапоги, кажется). Остальное же обмундирование будет распределено „по справедливости“ — между действительно нуждающимися. Один из ходивших к коменданту моих караульщиков, которого, очевидно, за высокий рост звали Полтора-Петра, получил обещание на сапоги и шинель и потому был чрезвычайно доволен, а другие ему завидовали.

Часа через два прибежал от коменданта посланец к Полтора-Петра:

— Иди, получай шинель и сапоги.

— Разве уж готово?

— Кто же зарубил? Васька?

— Нет, еще не зарубали, только раздели...

Еще через полчаса Полтора-Петра пришел возбужденный и радостный — с новенькой шинелью и хорошими сапогами в руках. Очень боялся, что сапоги будут тесны, но оказались в самый раз. Когда он их примеривал, его обступили тесным кольцом и переживали вместе с ним чувства то страха, то надежды от размера сапог.

О тех, раздетых и приговоренных к смерти, никто не вспомнил. Сапоги пришлось впору, а шинель — новенькая. Чего же еще нужно? Везет этому длинному чорту, — Полтора-Петру...

Вполне естественно, что мысли мои приняли не особенно веселое направление, когда я понял таинственный смысл взглядов на мою шубу и сапоги. В довершение всего один из партизан хлопнул меня по плечу:

— А шуба-то у товарища-шпиона знатная! Добрая шуба!

И подмигнул своему приятелю.

— Да, хорошая шуба, — ехидно согласился тот.

От этих похвал мне стало холодно в моей хорошей шубе, хотя я и сидел в жарко натопленной хате.

Тогда я, довольно глупо, движимый инстинктом самосохранения, стал убеждать этих людей, что шуба у меня наоборот, очень скверная и развернул перед ними все ее дефекты, — рванный мех, торчащую вату, причем, незаметно для интересующихся, растегиваясь надорвал мех и увеличил таким образом некоторые дыры до значительных размеров.

— Ничего, можно починить — отозвался кто-то.

Всё, что я здесь видел в течение целого дня не могло вселять уверенности, что я выйду отсюда живым. Прочно установившаяся в умах бандитов аттестация меня как „шпиона“, документы советского служащего, легкость, с которой бандиты расправляются с людьми, жадность до шубы в зимнюю стужу — всё это были обстоятельства, вполне достаточные для печального конца. Это я хорошо сознавал и потому переживал состояние какого-то отупения, из которого вывел меня грозный окрик.

— Встать! Когда с вами разговаривают, вы должны стоять!

Предо мной была закутанная в башлык грозная фигура „пана сотника“ Железняк (псевдоним, взятый почтенным бандитом, бывшим семинаристом, очевидно, из подражания историческому Уманьскому Железняку). Я знал, что это ближайший помощник атаманов Орлика и Струка, мечтавший и пытавшийся не раз организовать свою банду и фигурировать в роли атамана. (За этот сепаратизм Железняк был впоследствии убит орликовцами около нашего села). До этой встречи с Железняком я видел его мельком, когда он проезжал на коне через наше село и по рассказам знал, что этот человек не мало пролил крови и с удовольствием об этом рассказывал.

На окрик Железняка я вскочил смущенный, не зная в чем дело. Случайные свидетели этой сцены крестьяне мне после рассказывали, что Железняк войдя в хату, обратился ко мне с вопросом — кто я, но, погруженный в свои думы, я не слышал его вопроса, чем и вызвал вспышку гнева.

Такое начало не предвещало ничего хорошего. Железняк медленно раздевался, а я почтительно стоял. Затем он пригласил меня жестом к столу, за который он сел важно, в позе судьи, а я стоял, как подсудимый.

— Мне нужно допросить вас. Вы обвиняетесь в шпионстве. Ваши документы?

Я вытаскиваю удостоверение о своей советской службе и мандат, по которому мне поручается срочно проверить наличие стеклянной посуды

на Шибинском государственном стеклянном заводе и объясняю „пану сотнику“, что во исполнение этого предписания я и шел в село Шибино, а на пути попал к ним в штаб и что шпионство не входило в мои задачи скромного, маленького советского служащего.

Не читая этих документов Железняк нетерпеливо замечает.

— Об этих ваших документах мне уже говорили. Я знаю. Покажите другие ваши документы... Одним словом, выверните все ваши карманы.

И „пан сотник“ привычным жестом ощупывает меня сверху до-низу, а я в это время добросовестно, чтобы не осталось никаких подозрений, выворачиваю все свои карманы и выкладываю перед ним на стол кучу всяких бумажек, служебных и личных.

Процедура из разбора тянется слишком долго. Я продолжаю стоять, а Железняк внимательно перечитывает каждую бумажку.

Кончив чтение, Железняк откидывается в стене, пожирает меня пронзительным взором своих черных глаз и задает ряд „ехидных“ вопросов, с видом опытного следователя:

— Так. Всё прекрасно. Документы в исправности. А вот вы что мне скажите: где же у вас членский билет профсоюза?

— Я его не имею.

— Почему?

— Потому что редко бываю в городе и некогда этим заниматься, чтобы заходить за билетом, тем более, что в деревне он мне совершенно не нужен. Вы первый спрашиваете его у меня.

— Но членом профсоюза состоите?

— Да состою.

— Какого?

— Совработников.

— Должны иметь членский билет.

— Верно должен, но не имею.

— Извольте представить немедленно. Без этого билета все ваши документы недействительны.

— Простите, пан-сотник, но когда этот билет требуют представители советской власти — я понимаю, а когда вы требуете — я ничего не понимаю. Неужели в ваших глазах это преступление — не иметь членского билета профсоюза? Я ничего не понимаю.

— Коммунисты хитрые, — заявляет Железняк, — но и мы не дураки. У вас, в Кацапии есть поговорка „лаптем щи хлебают“. Так вот мы здесь, на Угране, — не хлебаем. Вы вот всё предусмотрели — документы у вас в порядке, — а об одном забыли: членским билетом профсоюза не запаслись и это вас изобличает. В „жидовской“ России ни один советский служащий не может жить без членского билета какого-нибудь профсоюза. Вы это упустили из виду и попались. Да-с!

— Вы, „товарищ“ (иронически), совсем не то лицо, за которое себя выдаете и на которое очень ловко составлены ваши документы. Вы — коммунист и шпион.

— Помилюйте, — возражаю я, — если бы я сам фабриковал эти документы, то разве трудно было бы мне сфабриковать и членский билет профсоюза?

— И на старуху бывает проруха... Лукавый попутал... Одним словом, что там долго разговаривать (повышая тон): если вы сейчас же не представите мне членского билета вашего профсоюза, то ясно, что вы шпион, коммунист, посланный сюда для разведки... Вы, надеюсь, знаете, как мы поступаем с подобными типами?

— Членского билета представить вам я не могу, — уныло заявляю я, — мне для этого надо ехать в Киев, чтобы привести.

— В Киев? Нет, голубчик, в Киев вы больше не поедете...

Среди бандитов — хохот.

Положение становится критическим. Я прибегаю к новым аргументам.

— Пан сотник, вы же видите по документам, что я живу в селе Мирче. Неужели, если бы я был шпион, вы бы до сих пор не знали об этом? Ведь у вас есть своя разведка, свои агенты, вы всё знаете, что делается в деревнях. Отведите меня, пожалуйста, в свое село, соберите сход и спросите, подозрительный я человек или нет?

Упоминание о хорошо поставленной разведке и всезнайстве, очевидно, польстило самолюбию пана-сотника и он стал мягче.

— Ну, положим, возиться мне с вами некогда. Но допросить некоторых лиц я могу. Эй, Бондаренко, позовите-ка сюда мирчанских подводчиков.

У меня отлегло от сердца. Я начал надеяться, что буду спасен. Отношения с мирчанскими крестьянами у меня были хорошие, и я был уверен, что мирчанские мужики меня не подведут. Но мелькали некоторые сомнения: когда мужик стоит перед „начальством“, он плетет вообще, что в голову придет и старается только об одном — попасть в тон начальству и поддакивать ему. На вопрос о моем шпионстве — я мог услышать классическое на Украине:

— „А хто-ж его знае?“

Так, или почти так, вначале и получилось, когда в хату привели трех крестьян нашего села, моих добрых знакомых, случайно захваченных партизанами для гужевой повинности.

На вопросы пана-сотника они бормотали вначале что-то несвязное, пренебрежительно в стиле: „а хто-ж его знае“, топтались на месте, поглядывали на меня и боязливо пятились от пана-сотника.

И только когда окончательно освоились с обстановкой и уразумели, какая мне грозит опасность, и что моя судьба всецело зависит от их показаний, они в один голос стали уверять Железняка, что я не могу быть шпионом, что приехал я в деревню на советскую службу только для того, чтобы спасти семью от голода, что я защищаю мужиков, пишу им всякие бумаги, прошения и т. д.

Я понял, что спасен и настолько осмелел, что попросил у грозного следователя разрешения закурить, что мне и было, не без гримасы недовольства, разрешено.

Крестьян подводчиков отпустили, а мне было сурово заявлено:

— Мужики вас защищают, но я все-таки оставляю вас на подозрении, в качестве заложника. Вы будете здесь под арестом, пока мы здесь, а там увидим.

— А если вы будете здесь месяц, пан-сотни. Что-же мне делать?

— Хотя бы два месяца — и, хлопнув дверь, ушел.

Я просидел под арестом в качестве „заложника“ не два месяца и даже не месяц, а только сутки. На другой день вечером, когда мои караульщики ужинали, а я дремал в углу и думал, чем всё это кончится, раздался сигнальный выстрел. Кто-то вбежал в хату и крикнул: „собирайся, большевики!“ Через минуту в хате никого не было, причем один бандит выбежал босой, захватив сапоги в руки, а другой оставил винтовку.

Никаких большевиков на самом деле не было. Я переночевал у добрых хозяев хаты еще ночь и на утро вернулся домой.

Чем бы всё это кончилось лично для меня, — трудно сказать, но для тех четырех красноармейцев, об одежде которых метали жребий, кончилось это очень трагически. Их успели захватить во время молниеносного отступления, бросив в повозку в одном нижнем белье (при морозе градусов в 20) и, просякав верст шесть, около нашего села, в лесу, в ту же ночь зарубили. Подводчики крестьяне рассказывали мне потом, что несчастные плакали, ползали в снегу на коленях, целовали бандитам руки. Не помогло.

* * *

Весной 1921 года в бандитском стане нашего района наблюдалось сильное оживление. Крестьяне, неизвестно на чем основываясь, заговорили, что нынешней весной „что-сь такое буде“. Время от времени на заборах, там, где обычно развешиваются официальные приказы, стали появляться воззвания и „приказы“ различных штабов различных атаманов. В них нового ничего, по сравнению с прошлым, не было, — обычные приказы в борьбе с „коммунистами, жидками, кацапией, Москвиткой“ „зид ридну Неньку — Украинну“ и т. п., — всё в таком же стиле.

Под „приказами“ — подписи каких-то „начальников штаба“, „адъютантов“, „начальников развед. отряда“ и т. п. Но для мало-мальски внимательного человека, видно было, что всё это для шума, что никаких, собственно, „штабов“ не существует, что есть как и прежде, пять-шесть, бандитских главарей варьирующих свои подписи.

Однако, проявлением усиленной деятельности бандитские главари производили заметное впечатление, и приток крестьянской молодежи к ним весной усилился.

Кто к ним шел? Прежде всего, элемент, желающий поживиться, морально развращенный до последней степени; затем те, кому нравилось носить винтовку, сказать на коне в шапке на-бекрень, — веселая, разудалая, бродяжнически настроенная голытьба, и, наконец, — в самой малой степени — „идэйно“ ненавидящие советскую власть, представители, так называемых, „кулаков“.

В общем и целом, банды составлялись, преимущественно, из деклассированной, развращенной деревенской молодежи, выдавшей всякие виды в империалистической и гражданской войне, побывавшие в красных и в белых, и во всякий момент способные перейти туда, где сейчас удобнее и выгоднее. Я лично знал таких типов, побывавших во всех армиях, в том числе и в бандитских.

В эту же весну со стороны бандитских главарей были предприняты попытки насильственной мобилизации деревенской молодежи, но, конечно, они никакого успеха не имели.

В нашем районе появился еще „атаман“ — Гришка Хвостенко, сын крестьянина соседнего села. Он давно был в банде, но до сих пор в качестве рядового участника; с весны же — объявил себя атаманом, сделал попытку мобилизовать молодежь своего села, но его отряд в самые лучшие времена больше 12 человек не имел.

Операции бандитов с весны 1921 года приняли новое направление: они объявили войну всему советскому (до сих пор борьба велась только с военно-советскими институтами), чем затронули интересы коренного сельского населения и, естественно, вызвали неудовольствие его, перешедшее затем в открытую ненависть. Пока грабили и убивали „жида“: „комиссара“, „кацапа-красноармейца“, неизвестно откуда забравшегося на Украину, — дядько молчал и часто втайне сочувствовал, но когда стали бить его, дядьку, только за то, что он работает на советских лесных заготовках, — дядько стал выражать неудовольствие и высказывать мысль, что от „сих бандитов толку нема ни якого, — шкода одна“...

Главное внимание свое бандиты в это время обратили на борьбу с лесными заготовками (железкомы и лескомы), снимая с работ крестьянскую молодежь, работающую в лесу. У работающих отнимали топоры, пилы, убивали их и насильно уводили в свои банды, из которых невольные бандиты „выжили“ через два-три дня. Затем усиленная борьба велась с советскими мельницами. Все собранное за помол зерно, бандиты время от времени увозили. Если на какой завод привозился паек для раздачи рабочим — бандиты его отбирали. Если крестьяне собирали разверстку — она попадала также в руки бандитов. Награбленное имущество расхищалось по рукам, дешево продавалось, раздавалось и, главным образом, пропивалось. В роли советского служащего жить было жутко. Пришлось махнуть рукой на борьбу с хищением заводского имущества, так как бандиты, по наговорам заинтересованных в хищении имущества лиц, стали грозить расправиться со мной, как с „жидивським наймитом“. И только заступничество крестьян спасало от прямой расправы и ограбления, под благовидным предлогом борьбы с советской властью.

* * *

Немного лирика. Нельзя не отметить, что бандиты пользовались большим успехом среди сельских девушек. Они бывали постоянными участниками вечеринок, на которых лихо танцевали и побеждали сердца наивных пейзанок. Завязывались романы, иногда кончавшиеся трагически.

Во времена для бандитов особенно тяжкие, селянские Дульцинен носили им часто куда-нибудь в лес хлеб, сало и проч., с опасностью для своей жизни и чести. Но всё это делалось, конечно, не из сочувствия бандитским делам, а просто из тяготения к бандитским очам.

Главарь не отставал от рядовых бандитов. Так, атаману Орлику приписывают ряд серьезных увлечений, дававших иногда представителям военносудебной власти нити к отысканию бандитских следов.

Атаман Орлик недурно играл на гитаре и пел приятным баритоном. В вечерние сумерки я выдвигал его сидящим где-нибудь на куче бревен и с чувством выводившего:

— „Стонт явор над водою...

Или, любимая на Украине:

— „Козак уезжає, дивчиньоньке плаче —

— Куд аєдеш, козаче?..“

* * *

Как-то раз, во время одной стоянки бандитов в нашем селе, человек пять скучающих от безделья бандитов зашли на завод и потребовали у меня ключи от негоряемого шкафа в бывшей заводской конторе. Я объяснил им, что ключей у меня нет и, кроме того, мне доподлинно известно, что в негоряемом шкафу ценного ничего не имеется.

— Ну, мы все-таки будем ломать — заявили они.

Сломать негоряемый шкаф — штука нелегкая. Бандиты трудились часа два — не помогало. Я заходил в помещение конторы и уговаривал их не делать этого, так как, во первых, негоряемый шкаф пустой, во вторых, им всё равно его не взломать.

— А вот мы бомбу подложим, тогда дело пойдет быстрее — спокойно ответили взломщики.

Я встревожился, так как в том же здании, где помещалась контора, была и моя квартира. Перспектива оставаться с семьей без крова, или с выбитыми окнами, натолкнула меня на мысль обратиться к бандитскому начальству с просьбой, нельзя ли обойтись без применения взрывчатых веществ, и я, разузнав, где находится это начальство, побежал туда. К моему неприятному удивлению я в роли начальства увидел там пана-сотника Железняка, который зимой чуть не отправил меня на тот свет. Он меня узнал, но на этот раз вел себя поразительно прилично, даже совсем не по-бандитски. Он немедленно пошел со мной на завод и властным тоном начальства приказал бросить взлом негоряемого шкафа.

Но тогда Железняк уже не пользовался особенным авторитетом, и бандиты только временно прекратили взлом. Разойдясь по селу, они рассказали, очевидно, своим товарищам о неудачном взломе и подзаложили их; результатом чего было появление не пяти, а, по крайней мере, пятнадцати бандитов, энергично принявшихся за продолжение взлома.

Они стали бить по стенке несгораемого шкафа тяжелыми рельсами, обещая не прибегать к взрывчатым веществам.

Я все-таки еще раз пошел к сотнику Железняку и указал ему на непослушание казаков его отряда.

Он выслушал, сделал гримасу и неожиданно для меня ответил:

— Что вы хотите — ведь это же бандиты!

Такое верное определение профессии своих товарищей, да еще из уст главаря бандитов, я слышал впервые. Обычно они обижались на кличку „бандит“, гордо именуя себя „казаками“, „партизанами Украинской народной армии“ и т. п.

Железняк, видимо, был не в духе, выглядел разочарованным, скучающим и начал жаловаться, что с „этим народом“ очень трудно вести какое либо „серьезное дело“.

Бандиты несгораемый шкаф все-таки взломали, но ничего ценного там не нашли.

Через две-три недели пан-сотник Железняк был убит около нашего села самими же бандитами, по решению атамана Орлика, за то, что стремился отделиться от него и образовать самостоятельную партию.

Последние дни своей жизни Железняк представлял одинокую фигуру никем не признаваемого воина, бродил из хаты в хату и вел грустные разговоры на тему о том, что, собственно, он хотел бы всё это бросать, уйти к себе на юг и заняться мирным трудом. Он знал, что его убьют. В его записной книжке нашли много стихотворений собственного сочинения и письма к матери, сестрам и друзьям, которым он просил сообщить о своей смерти. Бандиты, конечно, этого не сделали.

* * *

Последний период бандитизма — осень и зима 1921—1922 г. Энергичными действиями особых отделов по борьбе с бандитизмом в этот период времени бандитизм в нашем районе был мало-по-малу ликвидирован окончательно. Для местного населения это был страшный период. Положение было как на фронте; происходили настоящие бои, преследования, обыски, убийства и т. п. Одна сторона карала за доносы, другая за недоносительство.

Бандиты стали уже настоящими бандитами, без примеси хоть какого-нибудь идейного содержания. Они спускали поезда под откос с мирными гражданами, чтобы пограбить; делали налеты на всё, что плохо лежит; требовали у населения продуктов и прятались в лесах, как дикие звери, потому что разгуливать открыто стало уже невозможно. Бандиты стали тогда часто прибегать к маскировке, выдавая себя за советские воинские части, и имели для этого соответствующие внешние признаки и документы. На этой почве происходило много недоразумений, ованчивавшихся иногда трагически. Население, окончательно сбившееся с толку, пряталось от всякого человека с винтовкой, не зная, какой он окраски и как себя вести с ним.

— Скажешь за большевиков — бьют, за бандитов — тоже бьют.

И прятались от всех, а на расспросы отвечали незнанием.

Особые отряды по борьбе с бандитизмом возлагали на население суровую ответственность за всякое соприкосновение с бандитами, и потому бандитов боялись как огня. По селам был установлен институт, так называемых „ответчиков“, назначаемых органами по борьбе с бандитизмом из числа наиболее зажиточных крестьян. Они несли суровую личную и имущественную ответственность за всякое проявление бандитизма и даже появление бандитов в районе их сел. Чтобы спасти себя от репрессий, ответчики вынуждены были сделаться доносителями-агентами органов борьбы с бандитизмом. А бандиты, в свою очередь, жестоко мстили за такое, хотя бы и вынужденное, доноительство.

В нашем селе был такой случай. Отряд по борьбе с бандитизмом послал из соседней деревни богатого крестьянина, Левко Малько (ответчика), лет 50, в разведку, чтобы выяснить, в каком направлении двинулись бандиты. Малько сел на коня и поехал. Дорогой он встречает конный отряд, по внешним признакам советский: красные банты, звезды, серп и молот. Спрашивают его: кто, куда и зачем? В полной уверенности, что это войска красные, Малько откровенно объяснил свое назначение. Оказалось, это были бандиты — орликовцы. Беднягу избili, а затем пристрелили средь бела дня, недалеко от моей квартиры (был очевидцем) и приколотили к его одежде записку:

— „Левко Малько, жидивский наймит и шпион“.

В рядах бандитов, под влиянием неудач и всё сжимающегося кольца преследующих красных отрядов, началось сильнейшее разложение. Рядовые бандиты бежали, являлись в отделы по борьбе с бандитизмом и, с целью сохранить жизнь, выдавали бандитские тайны: где хранится оружие, где производится явка, кто содействует бандитам среди населения и т. д. По этим показаниям перебежчиков производились аресты. Было много и невинных поклепов; имело место и сведение личных счетов. Так или иначе, но всё это разрушало бандитизм с каждым днем.

Кончилось это тем, что от когда-то громадных бандитских отрядов остались одни главари — рядовые разбежались. Но и эти главари — Орлик, Рыбка, Жорж, Хвостенко и др. — рыскали, как дикие звери, боясь показаться днем в населенном месте. Тем не менее они упорно не хотели признать себя побежденными и говорили, что это только временная заминка.

— Вот придет Петлюра!

Но им никто уже не верил.

* * *

К весне 1922 г. бандитизм в нашем районе был окончательно уничтожен. Все главари погибли, кто пал в бою, кто был живым схвачен. Уцелел один только хитрый и ловкий атаман Струк, значительно раньше других атаманов почувствовавший близость крушения своих затей и исчезнувший поэтому заблаговременно. Он имел в своем прошлом большой опыт, — с 1918 года — и потому понял, что начего путного из этого не выйдет, раз бандиты стали пачками переходить на сторону красных.

Атаман Орлик сделался жертвой предательства одного из своих же приближенных, некоего Хвостенко (однофамильца и односельчанина видного бандита Хвостенко). Орлик был однажды ранен и лечился в доме одной женщины, где его присутствие никогда не было бы открыто. Об этом знал узкий круг приближенных к Орлику лиц, в том числе и Хвостенко. Последнему давно уже надоело „ходить в бандитах“, он добровольно явился в отдел по борьбе с бандитизмом и предложил свои услуги — указать, где Орлик, которого власти искали чрезвычайно усиленно, зная, что он ранен и далеко уехать не мог. За услугу Хвостенко поставил условие: сохранить ему жизнь и отпустить домой. Условие было принято, и в ту же ночь бывший помощник Орлика привел вооруженных людей прямо к постели спящего Орлика, который не успел протянуть даже руку за револьвером у своего изголовья.

* * *

У Ивана Грищенко сын был в бандитах. Много старик перенес за Гришу, и отказывался от него и проклинал его. Но все-таки — сын. И потому, когда бандит Григорий Грищенко заболел где-то в лесу тифом и пришлось домой, отец забыл все обиды и стал ухаживать за сыном, увещевая его попутно бросить банду. Лечить Гришу приходилось тайно, под опасением, что прознает кто-нибудь и донесет, куда следует, а за приют бандиту, хотя бы и сыну родному — суровая кара ожидала Ивана Грищенко, тем более, что он дал подписку об извещении властей при всяком появлении бандита-сына.

Умер бандит Григорий Грищенко — не выходил его батько. Сидят над теплым еще трупом старый Грищенко и другой его старший сын и тяжелую мужицкую думу думают: как быть? Объявить, в чем дело и хоронить открыто — нельзя, опасно, — ведь отец отрекся от сына и обещал донести, как только тот придет. Опасности, конечно, для Грищенко никакой не было, но в его голове сложилось твердое убеждение, что как только раскроется эта история — не бывать добру, и на него посыплются все кары, предусмотренные правилами о борьбе с бандитизмом.

А потому Иван Грищенко сидел глубокой ночью над трупом сына и думал... Вдруг блестящая идея пришла ему в голову.

Накануне, верстах в пяти от их села, был горячий бой между советским отрядом и группой бандитов в 12 человек, засевших в хате лесника Козловского. Бандитов выследили, узнали, что они в хате лесника, окружили этот дом, и началась перестрелка, длившаяся часа три. Бандиты упорно отстреливались и все лежали там, а оставшиеся в живых и забравшиеся на чердак — сгорели, так как хату подожгли. Но трое из бандитов сделали в последний момент отчаянную попытку — спрыгнули с крыши в снежный сугроб и пустились удирать в лес. Двое были убиты в момент бегства, а третий — убежал. Этот третий спасшийся спрыгнул с крыши совершенно голым, без какого-то ни было покрывала и обуви, так что красноармейцы даже остолебели от удивления (дело было зимой) и не сразу начали стрелять по нем. А он, воспользовавшись

минутным замешательством, был уже в лесу. Бандит разделся до наготы для легкости в беге и, действительно, правильно рассчитал.

— Не стоит гоняться! — заявил командир, когда пришедшие в себя красноармейцы бросились было в лес в погоню за голым человеком. Всё равно содохнет, как сукин сын.

Действительно, зимой трудно было остаться живым голому человеку, да еще бандиту, который должен скрываться...

Всё это произошло накануне того дня, в который помер от тифа на руках своего отца бандит Григорий Грищенко. Обо всем этом говорили на всех углах и перекрестках и по всем крестьянским хатам окружающих деревень. Передавали подробности, строили легенды, делали предположения о судьбе бежавшего неизвестного голого бандита.

Вспомнил об этом и Иван Грищенко, когда глухой ночью сидел над трупом своего сына.

— Вставай, запрягай коней! — неожиданно строго приказал он своему старшему сыну.

— Что вы, батько, куда?

— Не твое дело, запрягай, сказано... На мельницу поедом.

Старший сын Грищенко думал, батько от горя ума решился, — ехать ночью на мельницу, да еще когда покойник в доме. Но слово батьки — приказ.

Запряг. А когда вернулся в хату, старик ему приказал:

— Ну-ка пособи, — и указал на завернутый в дерюгу труп сына, раздетый до-нага. — Неси в сани. Повезем в волость...

— Зачем же ночью?

— Не твоего ума дело... Неси!..

Зубы стучали у старшего Грищенко, когда он глухой ночью помогал отцу выносить тело брата и укладывать его на дно саней, но возражать отцу не посмел. Только думал: зачем же ночью? Неужели до дня нельзя обождать? И зачем это батько на труп брата мешки с житом туда же в сани наложивает? Должно быть, из волости он заедет на мельницу... А если его в волости арестуют, то как же будет с житом?

— Одевайся, живо, — и ты со мной поедешь — как бы угадав его беспокойство за судьбу жита, приказал отец.

Старший Грищенко оделся и сел вместе с отцом на мешки, под которыми — труп. Коня помчались быстро. Когда выехали в чистое поле, отец пустил лошадей шагом и, обернувшись к сыну, шопотом объяснил, в чем заключается его план.

А заключался он в том, чтобы выбросить где-нибудь недалеко от протопанных дорог труп своего сына-бандита. Люди скажут, что бандит Григорий Грищенко и есть тот самый бандит, который вчера голым убежал от пуль, а затем, конечно, замерз в пути.

Так и сделали. Положил отец на перекрестке двух лесных дорог голый труп своего Гриши, снял шапку, перекрестился:

— Прости, сыну...

А другому, еле живому от страху сыну, сказал:

— Смотри сыну, чтобы ни одна душа не знала!..

И, смахнув слезу, скорее в сани.

Уже рассветало, когда Грищенко подъезжал к своей деревне:

— А звідкіль це, дядько Иване?

— Та на млин надів, да завизно, ну и повиртався.

На саних были мешки, с житом и можно было подумать, что на мельнице, действительно, „завизно“ (т.-е. много навезено хлеба для помола, большая очередь), вот почему дядько Иван и „повиртався“.

Когда Ивана Грищенко через день позвали для опознания трупа его сына, бежавшего во время боя и замерзшего в лесу, а затем найденного местными жителями, которые опознали в нем бандита Григория Грищенко, сына Ивана Грищенко, — он посмотрел на него как-то боком и, смахнув слезу, заявил:

— Да, пей мій сыну, мій... Признаю...

Легенда об обстоятельствах гибели бандита Григория Грищенко держится в том районе до сих пор.

Я впервые даю ей новое освещение и надеюсь, что старый Иван Грищенко не будет на меня в претензии, если я выдал его тайну, которую он поведал мне, со всеми своими тяжелыми переживаниями, как-то в дружеской беседе за чаркой вина, тем более, что это дело прошлое и никто к старику за это, надеюсь, теперь не придерется.

Ив. Деревенский.

Два письма А. Д. Михайлова.

Повидимому, первое из этих писем, помеченное 15 февраля, собственноручное. Почерк его очень мелкий, и оно целиком поместилось на полустлистке почтовой бумаги.

Второе письмо так же, как и первое, очевидно, отправлено из дома предварительного заключения и, вероятно, по происхождению несколько позднее первого; в нем впечатления от суда менее сильны, менее заслоняют собой остальные переживания. Оно, несомненно, принадлежит Александру Дмитриевичу Михайлову. Это мнение разделит всякий, знакомый, хоть книжно, с его личностью. В этом письме мы находим его слова, его способ выражения, наконец его мысли, и в них отпечаток всего умственного и духовного облика А. Д.

Говорить ли о громадном значении обоих писем? Они важны во многих отношениях, и прежде всего они дают нам возможность увидеть и понять внутренний мир одного из вожаков народнольческого движения. Перед лицом смерти, в ожидании исполнения над ним казни, у А. Д. вырывается стон только по поводу того, что он не может больше работать и служить на пользу родного русского народа. (Во втором письме: „зачем не могу еще раз отдать всецело свою добрую волю, свои душевные силы делу и вам, милые братья!“). В первом письме мы находим отчетливо и ясно выраженный взгляд А. Д. на народничество в России и на его историческое значение, и взгляд этот является целой программой. „Не увлекайтесь прекрасными теориями. В России одна теория, одна практика: добиться воли, чтобы иметь землю, иметь землю и волю, чтобы быть счастливым“.

В конце той части 2-го письма, которая дошла до нас, А. Д. набрасывает план сражения, которое должно быть дано дому Романовых, и влагает таким образом в руки своих товарищей возможность полной победы над самодержавием.

Но читатели сами оценят достоинства обоих писем А. Д. Михайлова, которые отныне будут храниться в адепном Музее Революции.

Возможностью видеть два посмертных письма А. Д. Михайлова в печати мы всецело обязаны Вере Николаевне Фигнер, которая с полгода назад переслала их мне из Москвы. В то время я и Н. С. Тютчев предполагали приготовить к печати сборник, посвященный памяти А. Д.; в нем, между прочим, должны были появиться и оба письма. Но так как издание сборника, повидимому, надолго откладывается, то я решаюсь напечатать впервые прилагаемые письма на страницах „Былого“.

24 февраля 1921 г.

А. Прибылева-Норба.

I

15 февраля ¹⁾). Дорогие братья, дорогие сестры. Вчера мы сказали свое последнее слово суду, последнее слово врагам. Вняв себя пленниками, большинство предлагало гордо молчать. Но вам, друзья, хотелось бы говорить в последний раз долго и много, хотелось бы переслать, передать всю душу. Но нет для этого возможности. Передам только главное: мы прошли через горнило нелегких испытаний, мы находились многие месяцы в полном уединении, имели возможность самосозерцания и оценки прошлого, наконец — ныне происходит в нас борьба инстинктов жизни, страсти и идеи. Несмотря на все это я радуюсь, что могу сказать убежденно: вы стоите, братья, на верном пути, вы идете к цели прямою дорогою. Труден первый крупный успех, и вы его достигли, хотя с большими жертвами. Но что эти жертвы, что эти капли крови в сравнении со страданиями 100 м. народа? Несчастливого, голодающего, обездоленного. Да, братья, путь ваш верен, идите им без страха и сомненья. Не увлекайтесь мстью, освобождениями, личными чувствами, не увлекайтесь прекрасными теориями. В России одна теория, одна практика: добиться воли, чтобы иметь землю, иметь землю и волю, чтобы быть счастливым. Вот задача народа русского, вот в чем вы должны помочь ему. Ему надо власть, чтобы обеспечить себе хлеб и свободу. Заставить отдать или отнять власть единодержавца — вот задача, единственно достойная траты народных сил, жертв, столь дорогих и ценных. Радуюсь, что теперь эта цель несравненно ближе, чем тогда, когда я вступал на этот путь 4 года назад. Если еще таких 4 года, если успех и результат борьбы будут увеличиваться с приближением к цели, то вскоре, братья, увидите светлые точки зари, предвестников света, которых мы тщетно старались предвидеть после каждого решительного шага, после каждой схватки.

Если это десятилетнее движение хотя еще через десять лет приведет в желанную пристань полной свободы, о, тогда и нас, одиночных борцов, вспомнят добрым словом и, может быть, розыщут наши скромные могилы, чтобы украсить их венком бессмертных. Но лучшее в ваших руках, братья; вы живете в то время, когда цель так ясно определялась, так верно намечен путь. Не то было, когда мы, маленькая кучка людей, начинали эту борьбу с правительством, когда порождали в нас сомнения и наши силы, и наши несогласные товарищи, когда мы направились в эту сторону более по чувству и инстинкту, чем на основании положительных соображений. Теперь не то. И попытки и успех сделали свое дело. Они открыли слабейшую сторону монархии. Не может она процветать, когда личность самодержца уязвима, доступна для терроризации. Тогда одно спасение для нее — уничтожение,

¹⁾ День объявления приговора суда особого присутствия сената, судившего 20 народовольцев в феврале 1882 года.

истребление враждебной партии, истребление беспощадное, до конца. Однако, эта истребительная политика, создающая особые государственные учреждения, не жалеющая людей и средств, может сильно тормозить вашу работу, братья, обратите же на это серьезное внимание. Да не погибнет единый из вас без пользы. Выработайте революционную дисциплину, революционное искусство. Когда средства революционной борьбы будут так же верны, как наша светлая цель, как наш тернистый путь, тогда вы непобедимы, и постыдное вековое холопство земли русской сменится гражданской свободой.

Мы ждем с минуты на минуту приговора. Нас покарают за наш успех, за раны, нанесенные правительству. Но этот приговор невольно карает нас за наши организационные ошибки. Он потрясет нас, наверно, своею кровавостью, пусть же он еще более повлияет на вашу осторожность, пусть же двинет вашу мысль на выработку искусства революционной борьбы, пусть заставит оценить, разработать революционный опыт. Тогда наша гибель дважды окупится. Судя по спокойному и горделивому поведению моих дорогих товарищей, думаю, что и смерть их будет не менее мужественна. Мне некогда думать о себе... вокруг меня столько обреченных, столько дорогих друзей, стоящих одной ногой в могиле... Я не могу верить, что эти добрые, человечные, высоко-нравственные люди погибнут, что у галачей хватит духу задушить, убить столько прекрасных жизней. Колодкевич, Суханов, Баранников произвели на всех глубокое впечатление. Колодкевич — настоящий апостол свободы. Так чисты, так просты, так величаво-прекрасны его поступки, его слова, его движения. Суханов — человек искреннего, сильного чувства. Его отрывистая речь потрясла даже судей. Баранников — рыцарь без страха и упрека, служитель идеала и чести. Его открытое, гордое поведение так же прекрасно, как его юношеская душа. Фроленко — неуклюжая безмолвность, твердость и спокойствие. Исаев — бесповоротная решимость погибнуть. Терентьева — розовый бутон, невинный и свежий, но беспощадно колющий своими шипами враждебную, бесцеремонную руку. Лебедева — сильная, решительная и самопожертвованная натура. Якимова — простой цельный человек, до конца отдавшийся делу. Клеточников — достойный всякого уважения человек. Тетерка — и он сегодня заплатил дань народного презрения к предателям. Он пред судьями публично ударил Меркулова по щеке и этим поступком отягчил свою участь. Всех нас этот протест взволновал до крайности. Да, Тетерка, народная натура, характерно-народен и его поступок. Еще ранее несколько дней, я убедился, что подозрения на него несправедливы.

Александр Михайлов...

1 февраля умерла здесь ¹⁾ Гесса Гельфман от воспаления брюшины, причина которого было искалечение матки после родов. За неделю до смерти у нее отняли ребенка и отдали в воспитательный дом, и это ускорило ее смерть.

¹⁾ Письмо отправлено из дома предварительного заключения. А. П.

II

Дорогие братья, сердечные друзья! Ваша деятельность, ваши надежды возрождают нас на новые, готовят на самые тяжчайшие испытания. Пусть останется у меня тончайшая нить, связанная с жизнью, и я готов на самые ужасные ежедневные пытки. Жизнь для меня, это—постоянная борьба, всеми силами существа, во имя идеи. Смерть же много лучше прозябания и медленного разрушения. Поэтому я так спокойно и весело жду приближающегося момента небытия. Но ваши успехи—благодарная почва, которая ждет только сеятеля, приближение свободной эры для родной и любимой страны,—все это рождает страстное желание вновь возродиться из пепла обновленным и сильным, и опять работать вместе с вами, дорогие. Но увы! Зачем это не возможно, зачем не могу еще раз отдать всецело свою добрую волю, свои душевные силы делу и вам, мои милые братья. Но таковы законы природы, и что с ними поделаешь!?... Высоким, исцеляющим всякие страдания средством служит нам ваша работа. Горько сожалею, однако, что не могу ни с кем поделиться этим светлым утешением. Мы вполне разобщены. Не только теперь, но и во время суда довольно грубо подавлялись попытки сношений и разговоров подсудимых между собой. Во время заседаний почти невозможно было перекинуться словом; мы окружены были со всех сторон жандармами и судебными приставами. Сам император отдал строгий приказ, чтобы нам не позволяли разговаривать, и послал для наблюдения за нами своего доверенного генерала. Только и можно было сказать одно-два слова, позвать руку, поцеловать, когда нас строили в коридоре в шеренгу между десятками жандармов, с которыми мы и отправлялись в залу суда. Но и здесь насаживали часто на неприятности. Так, например, после того как я взял от нескольких по клочку бумаги с приветом лично ко мне, меня приказано было обыскать, и я должен был отправить в рот эти записки. Впрочем, самонужнейшими указаниями все-таки удалось обменяться со всеми, но почти вслух в коридорах на пути в залу. О вас же мы не могли так передавать. На первом заседании Лиха сидела возле меня, и мы, несмотря на запреты, все время беседовали. Она передала мне все, что знала. Но за эти разговоры нас разлучили, и на следующих заседаниях она сидела уже ближе к судьям около Морозова, между тем как нас (Баранникова, Исаева, Фроленко, меня и Емельянова) отодвинули как можно далее от судей. Очевидно, все время боялись резких выходов с нашей стороны. Но их не последовало, хотя мне сильно хотелось обругать в конце концов этот вертеп палачей.

Но это было бы диссонансом с общим поведением и имело бы характер личной дерзости, а потому я предпочел холодное молчаливое спокойствие большинства. По той же причине, а отчасти вследствие бесцеремонного и беззастенчивого игнорирования многих наших объяснений со стороны судей, я отказался от мысли говорить речь после защитника и последнее слово.

Действительно, не стоило метать бисер перед свиньями... Но будет говорить о нас, поговорю о вас, дорогие братья, о вашем деле.

По настоянию защиты, в заключение судебного следствия был прочитан вслух Манифест Исполнительного Комитета Александру III от 10-го или 12-го марта 81 года. Я и раньше слышал о нем и поражаюсь верностью мысли и тона, прослушав же его в подлиннике, нахожу, что ничего совершенней не производила русская революционная мысль. Это венец и в литературном и в практически-программном смысле. Условия жизни и революционная деятельность привели Россию к такому моменту, когда всеми здравомыслящими и честными гражданами должны быть сознаны и выдвинуты насущнейшие вопросы дальнейшего гражданского прогресса России, ее дальнейшего человеческого существования. Все отдаленное, все недостижимое должно быть на время отброшено. Социалистические и федералистические идеалы должны отступить на второй план дальнейшего будущего. Слишком широкие организационные задачи так же нелепы в данный момент. Должно стать ближайшей задачей не переворот государственного строя, а еще одно сильнейшее потрясение его. Необходимо своротить еще зараз две головы, и вы победите. Абсолютизм сделается нелепым. Никто не рискнет поднять голову на плаху царей-единодержавцев, а тем менее Алексей-протектор. Лозунгом вашим должно стать минимум желательного, но с максимальной настойчивостью. Земское учредительное собрание при общем избирательном праве, при свободе слова, печати и сходов—вот минимум желательного. Для него отдайте все ваши силы, все ваши жизни, и в ближайшем будущем вы воздвигнете себе нерукотворные памятники в сердце народа. Он оправдает самые крайние средства ваши, когда станет распоряжаться своими судьбами.

Не раскидывайте слишком широкую, но инертную организацию,—она не даст вам нужной силы. Но сплотите какую-нибудь сотню людей совершенно устойчиво и направьте ее прямо к цели, к фактам. Та среда, об успехах в которой вы сообщаете, наиболее желательна—и я ликую и торжествую, предвидя успех. Но ради счастья Народа, умоляю вас, будьте осторожны, предусмотрительны и не увлекайтесь пылом мести. Разбейте сумму этих лиц на замкнутые группы, чтобы избежать предательства, которые неизбежны в таком решительном деле и при таком числе. Если в этой среде существуют круговые личные знакомства, убедите положить им границы, заключив в каждую группу наиболее знакомых лиц. Пусть принцип обособленности и тайны станет руководящим. Свяжите группы выборным или каким-либо другим центром и центр подчините Исп. Комитету. Тогда ловите удобные моменты этого лета и осени и действуйте на обе головы одновременно, на чьей стороне предпочтение—это вам видней! Если Ц, действительно, хотя по имени, совершивший реформы, не вызвал сочувствие народа, то III засвидетельствовал себя только виселицами и рублевой подачкой на водку. Успеху вашему будут рады все. Кошмар царской охраны... (Здесь письмо обрывается).

Новая книга о Шлиссельбургской крепости.

Литература о Шлиссельбургской крепости 1884—1905 г.г. обогатилась новым ценным произведением — книгой Евг. Евг. Колосова: „Государева тюрьма—Шлиссельбург“ (Изд. „Атеней“, 1924 г. Петроград. 248 стр. Предисловие Н. А. Морозова).

Помимо того, что книга хорошо написана, она представляет своеобразный интерес по тем источникам, на основании которых она составлена. В самом деле: до сих пор о Шлиссельбурге писали лица, так сказать, потерпевшие — узники, подвергшиеся долголетнему заточению в этой крепости. Л. А. Волкенштейн, Панкратов, Ашенбреннер, Попов, Новорусский, Морозов, я — все мы, наряду с обрисовкой фактических условий нашего заключения, описывали наши переживания и судили об окружающей обстановке с субъективной точки зрения. Теперь заговорила другая сторона — наши тюремщики. Книга Колосова заставляет их самих свидетельствовать о том, что и как было, и их собственными словами выявлять черты режима, установленного царским правительством для Шлиссельбурга, и все те последствия, которые вытекали из этого режима, приводившего к гибели узников.

Читатель найдет в книге Колосова и доклады Плезе, и отчеты врачей, и телеграммы о событиях в крепости, всевозможные рапорты и донесения тюремной администрации в Петербург, показания унтеров и пометки царя Александра III на докладах и т. д. Вся эта документальная сторона книги покажет изучающему литературу о Шлиссельбурге, правильно ли в своих описаниях мы судили о том, что происходило в наших стенах; верное ли представление давали мы о нашей жизни и отношении к нам всякого рода высших и низших чинов, изобретавших и выполнявших репрессию против нас.

Сами мы, шлиссельбуржцы, не мало можем извлечь из этого произведения. Оно показывает нам то, что было доселе скрыто от наших глаз, что делалось за нашей спиной, и значительно пополняет наши сведения даже и о внутренней жизни тюрьмы. Фигуры Щедрина и Коношевича в главах, посвященных им, выходят гораздо более рельефными, чем их выявляли мы; история развития душевной болезни того и другого впервые подвергнута психологическому анализу, и как-то глубже по прочтении этих глав чувствуешь меру их страданий и варварство отношений к ним коронованных и некоронованных палачей.

Не могу не прибавить, что эти товарищи, оба, уже кончили жизнь. Когда в сентябре 23-го года я была в Казани, мне сообщили об этом. Но никаких сведений о последних годах их я не могла узнать. Мне сказали только, что Щедрин умер от тифа, а Коношевич, подобно Похитонову в Николаевском госпитале, скончался в условиях полного разрушения организма.

В дополнение к тому, что сообщает Колосов, можно указать на прекрасную, тепло написанную статью Лившица, помещенную в „Пролетарской Революции“ за 1923 г. № 10 (22): „Революционеры в Казанской психиатрической лечебнице“. В статье, кроме ценных сведений об Елиз. Ник. Оловенниковой, сообщается и о наших погибших шлиссельбуржцах: Щедрыне и Коношевиче. Относительно судьбы Коношевича нелишнее сказать о влиянии на него нашей 9 дневной голодовки в 1889 году (по поводу изъятия ценных для нас книг и библиотеки).

Когда мы предпринимали эту голодовку, один из товарищей сделал мне предостережение, что последствием ее может быть психическое заболевание. Я отнеслась к этому скептически и потом даже забыла. Но на Коношевиче влияние голодовки сказалось очень явственно. В „Запечатленном Труде“ я сообщала, как насмешил нас Коношевич последовавшим за голодовкой показанием: он признался, что не утерпел и поддерживал (!) свои силы тем, что постепенно съедал шахматные фигуры, сделанные из черного хлеба: сначала, как республиканец, съел короля и королеву, потом, как антимилитарист, съел офицеров и пушки, а под конец проглотил и все пешки. Но не взирая на это „щедрое“ подкрепление, в самом непродолжительном времени у него появились галлюцинации обоняния. И это сейчас же внушило нам тревогу. Началось с этого, а потом болезнь уже пошла своим ходом.

Сцена между Коношевичем и министром Горемыкиным — такая характерная и для Горемыкина, вероятно, совершенно убедительная, — нам не была известна; по крайней мере, я впервые узнала о ней из книги Колосова.

Да и мало ли нового можно узнать из нее... например о Покрошинском, Нарышкине, Заркевиче, Дубровине, Гузе — наших администраторах и врачах, не говоря уже о различных именах и характеристиках унтеров, о всех хлопотах по приисканию надлежащего персонала для русской бастилии и пр.

Следует еще отметить лживость показаний унтеров полковнику Каарову, лживость заглавия ведомости о поведении и о посещении священником для религиозных бесед с 1 мая по 1 сент. 1895 года и 1 сент. 1902 по 1 янв. 1903 г. Этих посещений не было.

По моему мнению, книга Е. Е. Колосова необходима для каждого, интересующегося историей Шлиссельбурга.

Вера Фигнер.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ.

ДНЕВНИК А. С. СУВОРИНА. Редакция, предисловие и примечания М. Кричевского. Издательство Л. Д. Френкель. Москва-Петроград. 1923 г. стр. 407.

Чехов писал как-то Суворину: „Либеральное вам всегда чрезвычайно удастся, а когда попытаетесь проводить какиенибудь консервативные мысли или даже употребите консервативные выражения (вроде „к подножию трона“), то напоминаете тысячуудовый колокол, в котором есть трещинка, производящая фальшивый звук“. Одну такую статью с „подножиями трона“ и всякими другими выкрутасами монархического пафоса Суворин написал по случаю коронации Николая II в Москве в 1896 г. Николай II был усердным читателем и поклонником Суворина, и министры не раз передавали Суворину комплименты государя. Конечно, и в этой статье, написанной для царя и двора, Суворин постарался... Но вот что написал он накануне в своем дневнике.

„Член государственного совета Анастасьев говорил по поводу вчерашней церемонии“:

„Ну что? Чувствовался подъем народного духа, мощь?“

Трудно сказать, что чувствовалось. Я стоял у окна, на плечо мне опиралась М. Я. Гурко... Я ничего не чувствовал, кроме того, что все было красиво. Попробовал вчера писать, ничего не выходит? (с. 101).

Но хоть ничего не чувствовал, а все-таки написал.. И как написал! Не дошел еще до Москвы номер „Нового Времени“ со статьей, как разразилась ходынская катастрофа. И Суворин отметил в дневнике: „Я было написал о коронации и получил корректуру своей статьи сегодня здесь, но после всего этого стыдно говорить в том тоне, в каком я написал“ (с. 106). Ход следствия по делу о Ходынке был хорошо известен Суворину. Он имел возможность знакомиться с секретными материалами. И у себя в дневнике он записал: „Это, действительно, страшная драма, в которой начальство является по истине презренным, достойным народной расправы. Оно и в высших, и в низших своих представителях являлось ничтожным и дрянным... Как это начальство в своих показаниях лжет, лицемерит, оговаривает других, является малодушным!“ (с. 115). Но ведь малодушным было не только начальство. И если просмотреть номера „Нового Времени“, относящиеся к тому же периоду, то нетрудно убедиться, что лгала, лицемерила и была малодушна и эта газета, вдохновляемая Сувориным. И ему, повидимому, было „стыдно“. Но что из того! С удовлетворением он заносит в свой дневник: „Гессе говорил на днях о том, что государь хвалил меня за статьи. У Саблера разговор обо мне. Митрополит Антоний интересовался мною“ (с. 193).

Эта двойственность проходит через весь дневник. А. С. Суворин был одним из умнейших и талантливейших людей старой, дореволюционной, дворянской России. А в публицистике своей он плелся за правительством, которому дал в интимной заметке такую характеристику:

„Можно спросить: есть ли у правительства друзья? И ответить совершенно уверенно: нет. Какие же могут быть друзья у дураков и олухов, у грабителей и воров“ (с. 327).

Сказано сильно. Но перелистываешь дневник, и чуть ли не на каждой странице: „Завтракал у Тимирязева... Завтракал у Шувалова... Сидел вечером у Витте... Приходил с визитом Соловьев (начальник управления по делам печати)... Был у Горемыкина... Был у Сипягина... Министр путей сообщения сказал мне“ и т. д. А когда в 1901 г. „Новое Время“ праздновало юбилей Суворина, то в доме его собралась полная коллекция „дураков и олухов, грабителей и воров“, — почти весь совет министров, с великим князем Владимиром во главе. Такой почести не удостоивался до Суворина ни один журналист — ни в России ни за границей.

Суворин с паразитической чуткостью предвидел и предчувствовал революцию. В 1896 г. еще ничто не говорило о скором приходе ее; между тем, он писал: „... в прошлом царствовании ничего подобного не было. Дни коронации были серенькие, и царствование было серенькое, спокойное. Дни этой коронации — яркие, светлые, жаркие. И царствование будет жаркое, наверное. Кто сгорит в нем и что сгорит? — вот вопрос. А сгорит, наверное, многое, но и многое вырастет!“ (с. 105). И затем он не раз отмечал приближение революции, как будто слышал шаги ее, — и сам в душе, в интимных своих переживаниях, шел ей навстречу, и готов был принять ее, как грозовую силу, уничтожающую дрянь и ничтожество, олухов и дураков, грабителей и воров. Он остро ненавидел наиболее глупых министров — таких, как Сипягин, и у себя ночью, в кабинете, записывал на клочке бумаги: „Хирург Троянов говорил мне: „Да, Сипягин — животное. Это продукт полного вырождения“.

„Посмотрите на его череп, на его уши. Действительно, великих людей с такими черепами и ушами не было. В настоящее время продукты вырождения в пене, ибо они умеют правиться и совершенно безопасны государю в том отношении, что во всем с ним согласны и во всем готовы ему угодить“ (с. 261). Так писал Суворин ночью, а днем он сам писал и помещал статьи других сотрудников, проникнутые пассивным холопством, угонением парю и его министрам, и всему правящему классу, толкавшему слепо, упорно и негнело Россию в жаркий огонь революции. Суворин знал, что он холопствует. „Только похвалы печатаешь с легким сердцем, — признавался он, — а чуть тронешь этих „государственных людей“, которые в сущности — государственные недороды и дегенераты, и начинаешь вилать и злиться в душе и на себя и на свое холопство, которое нет возможности скинуть“ (с. 83). В 1897 г. после поездки за границу он написал: „кратковременное пребывание за границей отрезывает от русского холопства, но приедешь назад, и эти русские сети охватывают тебя плотно, и становишься бессильной и жалкой рыбой“ (с. 163). Пресматривая старые свои статьи и заметки, Суворин написал: „В одной из своих записных книжек я нашел образчик свободной статьи. Недурно написано. Попробовать разве теперь?“ (с. 221). И пробовал — но выходили из-под пера статьи, отравленные злобой и ненавистью против революции, против интеллигенции, против студенческой молодежи. И в результате статей студенты устраивали беспорядки и шли бить окна в редакции „Нового Времени“, а литературные организации привлекали Суворина к суду за недопустимые приемы polemica, а министры брали „Новое Время“ под свою защиту и зажимали рот его противникам. И складывалось — сплошным основанием складывалось — общее убеждение о том, что правительство и „Новое Время“ это одно и то же, что „Новое Время“ это официоз. И за все ошибки и преступления старого государственного строя Суворин несет ответственность в той же мере, как и другие главные деятели. Ночные покаянные мысли ничего не меняют в историческом и политическом облике Суворина. Напротив, то что, называется „гнилью“ до-революционной правящей России, и в чем, пожалуй, не обнаруживается с такой яркостью, как в этой душевной опустошенности, в полном моральном банкротстве талантливого публициста. На страницах „Нового Времени“, в частности на страницах Суворина, выросли и воспитались поколения русской бюрократической интеллигенции. В их руках была власть и неограниченные возможности. Но в моменту революции — в душе их идейного вождя была только пустота, усталость, безграничное презрение к людям и полное отсутствие хотя какой-нибудь политической и моральной идеи.

Историческая ценность „Дневника“ невелика. Он завален до краев мусором слетев — театральных, бюрократических, литературных. Среди них алмазами сверкают меткие характеристики, яркие словечки, на которые Суворин был такой мастер. Многочисленные объяснения с министрами по делам о газете дают любопытный материал для истории периодической печати в последние годы истекшего столетия. „Новое Время“ было на особом положении. Даже всепильные министры побаивались его и заискивали перед Сувориним. И все же непрерывно давал себя чувствовать административный произвол, и газета, которую читал царь, неоднократно боялась за свое дальнейшее существование. Новые министры считали своим долгом сделать визит Суворину; это не мешало тому, что Суворин вызывали в министерскую канцелярию и распекали, как мальчишку, за случайный промах в газете или за робкую попытку оппозиции. Суворин был умен, опытен и ловок, и ему удавалось сглаживать недоразумения. Но у себя в кабинете, ночью, он отводил душу в крепких выражениях по адресу министра и всего самодержавно-монархического строя.

Собственно, вот этот психологический контраст между Сувориним дневным и Сувориним ночным придает интерес и литературную остроту „Дневнику“ и делает его любопытнейшим человеческим документом. Это, в сущности, талантливо поведавшая история человека, который продал душу чорту. У Суворина была душа подлинного, одаренного публициста. Он начал свою литературную карьеру в семидесятые годы и шел, хотя бы и отставал изрядно, за революционными движениями. Но он одним из первых круто повернул, когда обнаружилось бессилие революции. Бюрократия пригрела и приютила его, заласкала, дала богатство и славу. Другой удовлетворился бы, и дневник последних лет жизни отражал бы покой, довольство, благодушие. Но „Дневник“ Суворина полон тревоги и беспокойства, даже отчаяния. Не случайно обмолвился он таким афоризмом: „Деньги и богатство портят людей, особенно тех, которые должны быть независимы по самой своей профессии, как напр. журналисты“ (с. 277). Суворин до конца дней своих знал пену независимости, знал, что без независимости печать вырождается в казенную переписку, и остро ощущал в себе потерю этой независимости. Покуда государственный строй стоял прочно и самодержавие казалось неизменным, можно было мириться с утратой свободы. Но дохнуло революцией, почва заколебалась под ногами, — и с болью ощутил старик Суворин, что без независимости живая публицистика невозможна. „Газета становится противной“, — пишет он о „Новом Времени“ уже в 1901 г., и потом эти резкие отзывы становятся все чаще. И растет одиночество. Вокруг — редакция, сыновья, сотрудники, — все холопы, политические лакеи, рожденные в лакействе, или ренегаты, утратившие давно всякий стыд. Суворин даже пробовал бороться с современничеством, которое сам создал; но махнул рукой и отошел. Он дождался дни свои, боясь смерти, старчески брызжа, тоскуя по утраченной независимости и свободе. Это придает „Дневнику“ временами характер исповеди. Чрезвычайно слишком человеческое выступает в Суворине-политическом деятеле и подкупает искренностью и простотой своего выражения.

Д. Заславский.

Памяти Николая Сергеевича Тютчева.

Мы потеряли одного из постоянных сотрудников, — Николая Сергеевича Тютчева. Читатели „Былого“ не могут не помнить ряда его статей в нашем журнале за время революции, когда исследователи революционной старины получили доступ в прежде недоступные царские архивы. Николай Сергеевич Тютчев был одним из первых и сделался одним из самых неутомимых работников на этом поприще. Еще в феврале 1918 года им была помещена в „Былом“ статья — „Разгром «Земли и Воли» в 1878 году“ и вслед за тем ряд статей и заметок в первомартовском № „Былого“ за тот же год (№ 10 — 11, апр. — май 1918 г.). Там были его статьи, написанные по архивным материалам: „Здание у Цепного Моста“ и „Судьба Ивана Окладского“, а также заметка: „Судьба Первомартовцев“. В самое последнее время он приготовил для печати и снабдил предисловием чрезвычайно интересные воспоминания П. С. Ивановской, напечатанные в предыдущей книжке „Былого“, а также поместил в №№ 22 и 23 нашего журнала ряд рецензий, отличавшихся богатым фактическим содержанием.

Покойный Н. С. Тютчев не был литератором по профессии, за перо он вообще брался после долгих колебаний и с неохотой. К литературной работе он обращался только тогда, когда в его распоряжении оказывался ряд каких-либо новых и неизвестных фактов, оставлять которые при себе он не чувствовал себя в праве. Поэтому все его статьи, в том числе перечисленные выше, носят чисто фактический характер, — в чем и состоит их главная ценность, — и так обидно скупы на всякого рода подробности интимного характера, обычно столь свойственные мемуаристам. Чувствуется, что автор ограничивает себя сообщением самого необходимого и в самой ригористически строгой форме, с отсутствием каких бы то ни было лирических отступлений, хотя иной раз они у него и прорываются. Тот же характер носят даже те статьи покойного Николая Сергеевича, которые у него целиком писаны по личным воспоминаниям. Такова самая большая из его работ: „Ссылка в Баргузине и побег с Е. К. Брешковской“, напечатанная еще в 1914 г. в журнале „Русские Записки“. Такова же и небольшая заметка о пребывании Н. Г. Чернышевского в Сибири (в „Русск. Вед.“ за 1914 г.), составляющая по первоначальному плану непосредственное продолжение предыдущей статьи. И в этих обеих статьях автор до последней степени скуп на

всякого рода интимные подробности, и ограничивается строго фактическим рассказом, очень точным и очень содержательным, но временами почти-что протокольным. Историк русской общественной жизни не может не пожалеть об этом литературном ригоризме Н. С. Тютчева.

Не может не пожалеть потому, что Н. С. Тютчеву более чем кому иному было что рассказать о своем прошлом. Николай Сергеевич принимал участие в революционном движении в России, с 1875—76 гг., и вплоть до самого последнего времени. Тогда в 1870-е гг. он был близким другом Н. И. Кибальчича и А. К. Преснякова. Самый побег его из Баргузинской ссылки в 1881 году (или точнее попытка к побегу), был вызван письмом Н. И. Кибальчича, вызывавшего своего старого друга из революционных резервов на арену непосредственной борьбы. Вместе с Пресняковым Ник. Серг. входил в дезорганизаторскую группу „Земля и Воля“ и одновременно принимал участие в землевольческой пропаганде среди рабочих. Осип Вас. Аптекман в книге о „Земле и Воле“ и в предисловии к сборнику „Черный Передел“ так и относит Н. С. Тютчева к составу РАБОЧЕ-ДЕЗОРГАНИЗАТОРСКОЙ ГРУППЫ об-ва „Земля и Воля“. Тютчев правда не входил в состав, „основной группы“ этой организации, составившей главное зерно, из которого развивалось все землевольческое движение. Но уже летом 1877 года он был введен, в числе первых, несколько даже раньше С. Л. Перовской, С. М. Кравчинского, Д. А. Клеменца и др. в состав тогдашних „троглодитов“, как называли в те годы будущих землевольцев. За этот период Н. С. Тютчев был особенно близок с А. Д. Михайловым и Марк Андр. Натансоном, которому жандармские историки того времени отводили такое же место в „Земле и Воле“, как А. И. Желябову в „Народной Воле“. С. М. А. Натансоном покойного Н. С. Тютчева связывала тесная дружба в течение свыше, чем 80-ти лет, оборвавшаяся только под самый конец.

Пресняков, Кибальчич, Натансон, Алдр. Михайлов, — уже эти имена достаточно характеризуют положение и роль Тютчева в 1870-е гг. К ним мы должны прибавить еще Г. В. Плеханова и М. Р. Попова, с которыми Николай Сергеевич был связан по пропаганде среди рабочих за период 1877—78 годов.

Будучи выходцем из рядов старого дворянства, имея отца, занятого службой при дворе, — сам Ник. Серг. пошел по иной дороге. В 1877 году он поступил даже простым рабочим на патронный завод в целях пропаганды, что было так типично для того времени. Вместе с Плехановым и Поповым он принимал руководящее участие в знаменитой в то время забастовке на Новой-Бумагопридильной (1878 г.), описание которой имеется во всех курсах по истории революционного движения того времени, и в особенности в брошюре Плеханова „Русский рабочий в революционном движении“. С этой же забастовкой связан еще один эпизод в жизни Ник. Серг., о котором сам он не раз передавал своим друзьям. Будучи арестованным вместе с Плехановым за участие в забастовке, Н.-Бумагопридильной, Ник. Серг. передал ему свой нелегальный паспорт, что дало возможность Г. В. Плеханову изба-

виться от ареста. П. С. Тютчев после этого ушел в ссылку в далекий Баргузин, но ценой своей ссылки он, не задумываясь, купил освобождение Плеханову. Этот небольшой инцидент очень характерен для того времени, так как показывает насколько тогда сами землевладельцы ценили Плеханова, раз готовы были, не задумываясь, делать все возможное для его освобождения. Но он типичен также и для Тютчева, так как показывает, насколько высоко в нем были развиты товарищеские чувства.

В ссылку Тютчев ушел землевладельцем. Но за его отсутствие почти весь наличный, поскольку он сохранился, состав прежней дезорганизаторской группы вошел в ряды Исполнительного Комитета Народной Воли. На эту же позицию, будучи в ссылке, перешел и сам Ник. Сер., вызываемый в столицу, в центр борьбы, письмом Кибальчича, как об этом упомянуто выше. Какие героические усилия он делал тогда, чтобы снова встать в ряды активных борцов, освободившись от ссылки, видно из статьи его о попытке бежать из Баргузина. Эта попытка не увенчалась успехом, и тем не менее образ Н. С. Тютчева незримо присутствовал на арене борцов „Народной Воли“. Тут в его жизни произошел другой красочный эпизод, связанный на этот раз с делом 1 марта 1881 года.

Первые дни после трагедии на Екатерининском канале власти не знали, кто был бросившим вторую бомбу: — имя Гриневецкого для властей оставалось неизвестным. Перебирая предположительно, кто бы мог быть этим вторым метальщиком, власти остановились на Н. С. Тютчеве. „Нам сообщают — писалось в газете „Голос“ в №-ре от 9 марта 1881 года, — что умерший в Конюшенном госпитале злоумышленник, бросивший вторую бомбу, повергнувший, всю Россию в траур, есть беглый преступник, по фамилии Тютчев“. Это известие, обошло тогда всю прессу. Одновременно, арестованного еще в 1879 году Дм. А. Клеменца вызывали на допрос и показывали ему чью-то отрезанную и заспиртованную голову и спрашивали: не Тютчев ли это? Потом оказалось, что это была голова Гриневецкого. „После смерти преступника голова его была отрезана и набальзамирована“ — сообщалось тогда же в газетах (см. „Молва“ от 13 марта), и вот в этом отрезанном виде голова Гриневецкого пред'являлась для опознания, не Тютчев-ли это, на допросах, в том числе Клеменцу.

Из всего этого читатель видит не только, какое значение правительство придавало в свое время Н. С. Тютчеву, но равным образом и то, с какими яркими эпизодами в нашем прошлом связано было его имя. Но кроме этого Н. С. Тютчеву приходилось и в позднейшее время не раз бывать в положении аналогичном выше характеризованном. После „Земли и Воли“ и „Народной Воли“ он дважды принимает крупное, даже центральное участие в революционной деятельности: это в 1891 — 94 гг. при организации об-ва „Народного Права“ и позже в 900-х гг. в ряде революционных предприятий, в том числе боевого характера, партии эс-эров. Здесь он был связан с П. С. Ивановской, о воспоминаниях которой выше упомянуто, с Максим. Швейцером, одним из самых крупных боевиков того времени, с Бор. Савинковым, о воспоминаниях

которого Н. С. Тютчев оставил чрезвычайно интересные критические заметки, и с другими деятелями того времени. Обо всем этом он мог бы рассказать лучше, чем кто иной, будь он настолько же словоохотливым мемуаристом, как некоторые из его прежних соратников, ныне испытывающих наше терпение весьма пристратным описанием своей деятельности — „за полвека“.

Правда, история нашего прошлого за ряд минувших десятилетий приковывала в последние годы почти все внимание Н. С. Тютчева. Уклоняясь от систематического изложения своих воспоминаний об этом прошлом, он тем не менее все свое время и свои силы посвящал его изучению. Он выбрал для этого своеобразный путь, — с одной стороны изучение архивных документов и с другой фактическую проверку имеющегося уже мемуарного материала. Так создались у Н. С. Тютчева, как его самостоятельные статьи, выше перечисленные так и ряд рецензий на новые книги по истории нашего революционного прошлого. Эти рецензии (в „Книге и Революции“, в „Былом“ и нек. др. изданиях), при всей своей краткости, всегда заключают в себе настолько ценные фактические замечания (см. напр. рецензии в „Былом“ №№ 22 и 23), что без справки с ними не сможет обойтись ни один историк нашего прошлого. За последний год Н. С. Тютчев нашел и более систематическое применение этих своих способностей и сил: — он вошел в состав ближайших сотрудников журнала „Каторга и Ссылка“ и сделался его представителем в Ленинграде. Для „Каторги и Ссылки“, и вообще для того Об-ва Б. Политкаторжан и сс.-поселенцев, органом которого является журнал „Каторга и Ссылка“, Ник. Серг. явился незаменимым, исключительной ценности сотрудником.

Своей работе в „Каторге и Ссылке“ Н. С. отдавал все силы и занимался ею с большой любовью и поразительной энергией. В это же время им были подготовлены и отредактированы „Воспоминания“ М. Ю. Ашенбреннера. Это была последняя большая работа, сделанная им почти накануне смерти. Закончив ее, он с таким же рвением занялся очередным №-ром „Каторги и Ссылки“, который, как и книга Ашенбреннера, печатался в Ленинграде под его непосредственным наблюдением. Можно сказать без преувеличения, что за этой работой он и умер: — первый приступ смертельной болезни он почувствовал по дороге в типографию, в которой печатался очередной № „Каторги и Ссылки“. С трудом вернувшись домой и оправившись от первого удара, но не подозревая об опасности, нависшей уже над его головой, Ник. С. собирался снова сесть за работу по подготовке к печати следующего №-ра, как был неожиданно, и на этот раз навсегда, сражен вторым ударом. Он умер от кровоизлияния в мозг. Ему было еще не так много лет, — 63. Как раз за последнее время он чувствовал себя особенно бодро, и не было никаких признаков надвигавшегося конца. В прошлом году он перенес тяжелую операцию, с которой однако организм его справился очень быстро и без всяких признаков рецидива той же болезни (рак желудка). Он обладал вообще сильной организацией, как духовной, так и физической. Духовно он был даже еще сильнее, чем физически. По натуре это был суровый, непреклонный революционер,

не умеющий идти на сделки с совестью и компромиссы. Таким же непреклонным и полным упорной веры в торжество своих старых идеалов он и умер.

Он похоронен на Волковом кладбище, вблизи могил своих старых товарищей и вместе с тем учителей: — Глеба Ивановича Успенского, Германа Александровича Лопатина и Н. К. Михайловского. Со всеми с ними он был связан узами личной дружбы и узами политической деятельности. И в их тесной семье он нашел место своего вечного успокоения.

Предполагаемое содержание 25-ой книги.

1. О записках декабриста А. М. Муравьева. Неизданная статья Е. И. Якушкина. 2. Петрашевец Н. А. Спешнев. В. Р. Лейкиной. 3. Крестьяне в Шлиссельбургской крепости. П. Е. Щеголева. 4. [Художник] Константин Маковский на процессе по делу 1 марта 1881 года. Неизданные рисунки. 5. К. П. Победоносцев. Опыт характеристики по письмам. Проф. Н. Н. Фирсова. 6. «Взволнованные лоботрясы». Из истории Священной Дружины. Д. О. Заславского. 7. [Гапон и охранное отделение до 1905 года. Новые данные П. Иванова. 8. В. И. Ленин в Красноярске. Марка Горбунова. 9. С царем в Тобольске в 1917 году. Воспоминания В. С. Панкратова. 10. Медовый месяц. Глава из книги о денкинской в Киеве. С. Д. Мстиславского. 11. К биографии Ф. Энгельс. П. П. Щеголева. 12. Материалы к ист. процесса С.-д. членов 4-ой Думы. 13. 1914 год в Германии. Из воспоминаний Конст. Федина. 14. Неизданное письмо А. С. Пушкина с предисловием Н. О. Лернера и т. д.

100
101
102
103
104
105
106

107
108
109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

DK 1
B982
New Ser
No. 23-24



3 0000 108 522 867



DK 1
B982
New Ser
No. 23-24



3 0000 108 522 867



